





ЛЮСЬЕН ФЕВР  
(1878—1956)

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

---



LUCIEN FEBVRE

COMBATS  
POUR  
L'HISTOIRE

ЛЮСЬЕН ФЕВР

БОИ  
ЗА ИСТОРИЮ

Перевод

А. А. БОБОВИЧА, М. А. БОБОВИЧА  
и Ю. Н. СТЕФАНОВА

Статья А. Я. ГУРЕВИЧА

Комментарии

Д. Э. ХАРИТОНОВИЧА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА · 1991

ББК 63.3(0)  
Ф 31

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

*К. З. Ашрафян, Г. М. Бонгард-Левин, В. И. Буганов* (зам. председателя),  
*Е. С. Голубцова, А. Я. Гуревич, С. С. Дмитриев, В. А. Дунаевский,*  
*В. А. Дьяков, М. П. Ирошников, Г. С. Кучеренко, Г. Г. Лигаврин,*  
*А. П. Новосельцев, А. В. Подосинов* (ученый секретарь),  
*Л. Н. Пушкарев, А. М. Самсонов* (председатель),  
*В. А. Тишков, В. И. Уколова* (зам. председателя)

Ответственный редактор  
*А. Я. Гуревич*

Ф 0503010000--369  
042(02)—90 без объявления

ББК 63.3(0)

ISBN 5-02-009042-5

© Издательство «Наука», 1991

# БОИ ЗА ИСТОРИЮ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы, объединяя эти статьи, отобранные среди стольких других, я задался целью воздвигнуть себе нечто вроде памятника, я подыскал бы сборнику другое название. Смастерив за свою жизнь (и рассчитывая смастерить еще) некоторое количество грузной мебели для меблировки истории — достаточное для того, чтобы заслонить, хотя бы временно, иные из голых стен во дворце Клио, — я назвал бы «Моиими стружками» эти древесные обрезки, вырвавшиеся из-под рубанка и подобранные под верстаком. Но я затеял этот сборник вовсе не для того, чтобы похвастаться повседневным своим ремеслом, а чтобы принести кое-какую пользу своим товарищам, особенно самым молодым. Выбранное заглавие, стало быть, должно напомнить о том, какие качества бойца я сохранил в течение всей своей жизни. «Мои сражения»? Конечно, нет: я никогда не сражался ни за себя, ни против кого бы то ни было, если иметь в виду определенные личности. «Сражаться за историю» — другое дело. Именно за нее я всю жизнь и сражался.

Сколько я себя помню, история всегда была для меня предметом развлечения или увлечения, если не сказать — сердечной склонности и призвания. Будучи сыном человека, который отошел от занятий историей (но никогда не переставал ею интересоваться) лишь под влиянием Анри Вейля, подвизавшегося сначала на филологическом факультете в Безансоне, а потом в Парижском педагогическом институте, и под воздействием столь знаменитого в ту пору Тюрю, философа грамматики; будучи племянником человека, всю жизнь преподававшего историю и сизмальства привившего мне любовь к этой науке; с наслаждением листая найденный в отцовской библиотеке под регулярно выходящими выпусками Даранбера и Сальо двухтомный альбом, на страницах которого оживала замечательная «Греко-римская история» Виктора Дюрюи, шедевр тогдашнего издательства Ашетт: то была вся известная к тому времени античность — ее храмы и бюсты, боги и вазы, изображенные лучшими граверами; с ненасытной жадностью проглатывая роскошно изданные Этцелем тома «Истории Франции» Мишле с иллюстрациями неистового визионера Даниэля Вьержа — иллюстрациями, столь отвечающими духу иных текстов великого ясновидца, что мне трудно сказать, смог ли бы я перечитать их теперь в тусклом издании, которое — нашлись же такие знатоки! — объявлено «окончатель-

ным»; насыщенный всеми этими наставлениями, обогащенный чтением всех этих книг и откликами, которые они порождали в моей душе,— разве мог я не стать историком?

То были мои наставники, истинные наставники, к которым присоединились позже, между шестнадцатым и двадцать пятым годами моей жизни, и другие: Элизе Реклю и глубокая человечность его «Всемирной географии»; Буркхардт и его «Ренессанс в Италии»; Куражо и его лекции в Луврской школе, посвященные бургундскому<sup>1</sup> и французскому Возрождению; затем, начиная с 1910 года,— Жорес и его «Социалистическая история», столь богатая экономическими и социальными предвидениями, и, наконец и в особенности, Стендаль как автор «Рима, Неаполя и Флоренции», «Истории искусств в Италии», «Записок путешественника» и «Переписки»: эти «введения в психологическую историю и историю чувств» долгие годы были моими настольными книгами — я открыл их для себя почти случайно в те далекие времена, когда они, обезображенные Коломбом, были только что отпечатаны Кальманом на дрянной бумаге с помощью полустертого шрифта...

Такова моя «бумажная душа». А рядом — душа сельского приволья, душа Земли, бывшая второй моей наставницей в истории. Двадцать первых лет моей жизни протекли в Нанси: там, бродя среди зарослей кустарника и стволов строевого леса, открывая на горизонте череду резко очерченных холмов и косогоров Лотарингии, я копил в душе сокровищницу воспоминаний и впечатлений, которые пребудут со мной навсегда. Но с какой радостью возвращался я каждый год на свою настоящую родину, Франш-Конте! Сначала — приветливая долина Соны, скромное величие Грэя, царящего над лугами, вернувшими душевный покой Прудону<sup>2</sup>, потом — старый ворчун Юра́, его луговины и сосновые рощи, зеленые воды и ущелья, над которыми нависают тяжкие пласты известняка, запечатленные героической кистью Гюстава Курбе; вот она, провинция Франш-Конте, которую я еще в детстве изъездил вдоль и поперек на допотопных, с желтыми кузовами, дилижансах почтово-пассажирской компании Буве: пахучая старая кожа, острый запах взмыленных лошадей, веселое звяканье колокольчиков и хлопанье кнута при въезде в каждую деревушку; вот она, эта провинция, где не меньше, чем в Лотарингии, заветных мест, нелюдимых и священных высот: От-Пьер де Мутье и Пупе де Сален шлюют привет Монблану через зубцы соседних хребтов, дальше виднеется Доль, эта «литературная вершина», и множество других, менее примечательных высей; эти привольные края, где дух веет, как ветер, на всю жизнь вселяют в человека тягу к открытиям, стремление вдохнуть в себя бесконечную даль. Нас, уроженцев Франш-Конте, не назовешь соглашателями и приспособленцами. Не был таким ни Курбе, когда писал «Похороны в Орнане» и «Мастерскую», ни Пастер, когда



академические круги организовали заговор, стремясь вынести смертный приговор открытой им истине, ни Прудон, сын бочара, когда он с издевкой посетил безансонским толстосумам свою книгу «Собственность — это кража». Кстати сказать, Прудон дал бы нам, жителям Франш-Конте, наилучшее определение: «Это анархисты... чтущие правительство», если бы Мишле не предложил своего: «Они сызмальства овладевают умением взяться за дело и умением вовремя остановиться».

Франш-Конте и Лотарингия одарили меня двойной долей упорства и упрямства — критического, полемического, воинствующего, — поэтому я не мог покорно принять участь побежденных в войне 1870 года, не мог смириться с трусливой их осмотрительностью, с их отказом от всякого синтеза, с их кропотливым, но, в сущности, свидетельствующим лишь о лености духа культом «фактов», с их вкусом, направленным почти исключительно на дипломатическую историю («Ах, если бы мы лучше ее изучали, с нами бы такого не приключилось!»), которая была сущим навяждением для людей, вдальблывавших нам в голову свои идеи между 1895 и 1902 годами: начиная с полубога Альбера Сореля, кончая Эмилем Буржуа, в котором от божества не осталось и осмушки; поэтому в стане историков я действовал на свой страх и риск и, можно сказать, без всякой поддержки (которую, впрочем, находил среди своих друзей лингвистов и ориенталистов, психологов и медиков, географов и германистов, таких, как Жюль Блок, Анри Валлон, Шарль Блондель, Жюль Сион и Марсель Рей, в то время как мои братья-историки, даже менее всего склонные к конформизму, за редкими исключениями — упомяну Огюстена Реноде, — чувствовали себя храбрецами, становясь под двусмысленный стяг Шарля Сеньбоса); поэтому я тут же зачислил себя в ряды сторонников «Журнала исторического синтеза» и его создателя Анри Берра: ничего странного во всем этом не было. Разве что одно обстоятельство, характеризующее целую эпоху: ни смелость моя, ни горячность не смогли настроить против меня многих искренних людей, которым я пришелся по душе и которые не упускали возможности доказать мне свое расположение: я думаю о Габриеле Моно, Кристиане Пфистерере, Камиле Жюлиане, а также о Гюставе Блоке и Видале де ла Блаше (хотя он в ту пору уже успел совершить собственную революцию как для себя, так и для своих преемников). Высшие университетские круги того времени состояли, по меньшей мере, из аристократов сердца. Действенная благожелательность и дух братства царили среди крупных ученых.

Итак, будучи одиноким на своем поприще, я старался, как только мог. Одни из положений, выдвинутых мною полвека назад, стали теперь общим местом, — а ведь когда я излагал их впервые, они казались рискованными! Другие до сих пор находятся под вопросом. Незавидна участь первооткрывателя: может случиться,

читься, что поколение, к которому он принадлежит, почти сразу же признает его правоту, и тогда усилия искателя-одиночки сливаются с мощным потоком коллективных усилий; но бывает и так, что современники противятся новшествами и тем самым возлагают на следующее поколение заботу о вызревании семян, слишком рано брошенных в борозды. Вот почему стойкий успех некоторых книг, некоторых статей подчас удивляет их автора, — а все дело в том, что они нашли свою настоящую аудиторию лишь десять—пятнадцать лет спустя после публикации, когда им была оказана поддержка со стороны.

Такой поддержкой и источником огромного удовлетворения было для меня знакомство с трудами Анри Пиренна, начавшееся в 1910 году, когда я погрузился в томик под заглавием «Старинные формы демократии в Нидерландах», вышедший у Фламариона, затем и первые выпуски «Истории Бельгии», а еще позже, в ожидании блестящих мемуаров, которым суждено было стать его лебединой песней, прочел такие работы, как «Периоды социальной истории капитализма», 1914; «Магомет и Карл Великий», 1922; «Меровинги и Каролинги», 1923; и, наконец, небольшую книжечку «Средневековые города», подлинную жемчужину, появившуюся в 1927 году, — все это было для меня источником удовлетворения, а затем и личной радости от сознания того, что в дружественной Бельгии нашелся сильный человек, способный ровным и уверенным шагом обойти поля ее истории. Еще одна радость — встреча с молодым (я был старше его на восемь лет) историком, уже избравшим себе самостоятельно линию, несколько отличную от моей: он по-братски подал мне руку, вызвавшись поддержать и продолжить мои усилия в области медиэвистики: я говорю о Марке Блоке. И наконец, «Анналы», с первого номера опиравшиеся на неизменную поддержку Лейлио, вместе с которым мы основали их в 1929 году не только с благословения, но и при неосценном участии Анри Пиренна, — можно ли забывать о том, что во всем живом и свежем, что с первого взгляда сквозит в этом журнале, быстро завоевавшем себе известность, есть доля заслуги каждого из его сотрудников, сплотившихся вокруг меня в братское и ревностное содружество? Оно существует и по сию пору: Фернан Бродель, могучий певец Средиземноморья, столь богатого историческими резонансами, смелый зачинатель обновления экономической истории; не так ли, Жорж Фридман, проницательный аналитик человеческих душ и души коллектива, от Лейбница и Спинозы до безымянных прислужников машины; и вы, Шарль Моразе, пытливый и неутомимый исследователь неведомых земель, неуклонно продолжающий упорные поиски новых методов; и все вы, мои сотрудники, читатели, ученики и собратья по Франции и за ее пределами, чья взыскательная любовь придает мне силы и поддерживает мой творческий порыв, — не так ли? Я должен был упомянуть об этом, дол-

жен был в самом начале настоящего сборника выразить сердечную признательность стольким людям, а также городам и учебным заведениям, которые с таким радушием меня принимали: Парижскому педагогическому училищу (1899—1902), Фонду Тьера в университетах Дижона и Страсбура и многим другим учреждениям Старого и Нового Света, не забывая ни о Брюссельском Свободном университете, предоставившем мне на целый год свои кафедры, ни о благородном Коллеж де Франс<sup>3</sup>, где я работал с 1933 года. Ведь только благодаря этим высоким трибунам мой голос мог быть услышанным так далеко.

Пусть же еще раз послужат дорогому для меня делу эти страницы, собранные воедино и от того, надеюсь, ставшие еще более красноречивыми. В нашу тревожную годину не хочется повторять вслед за Мишле: «И молодежь, и старики — все мы устали». Полно, устала ли молодежь? Надеюсь, что нет. А старики? Не допускаю. Сквозь тучи стольких трагедий и потрясений необъятные зарницы блещут на горизонте. В крови и муках рождается новое человечество. А стало быть, вот-вот должна родиться и новая история, новая историческая наука, сообразная с этими непредсказуемыми временами. Хочется, чтобы мои усилия помогли мне заранее угадать направления этой науки и следовать им. И чтобы мои ручейки слились с ее потоком.

Ле Суژه, Рождество 1952

# СУД СОВЕСТИ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА

1892—1933

Нет возврата к прошлому, нет возврата к себе самому. «Domine non sum dignus» [Не достоин тебя, Господи]<sup>1</sup> — вот какие слова готовы сорваться с уст человека, когда, впервые оказавшись в стенах этого Коллежа<sup>2</sup>, где его окружает и подстерегает столько незримых тепей, он чувствует на плечах бремя собственной слабости, — мне было бы стыдно не признаться в этом. К тому же слушатели и коллеги новоизбранного лектора вовсе не ждут от него дустопорожних излияний. Они надеются, что он мужественно пообещает пожертвовать им свои усилия, принести им в дар свою энергию. Ради чего? Чтобы ответить на этот вопрос, я как историк должен прежде всего обратиться к датам.

1892: после смерти Альфреда Мори Коллеж де Франс упраздняет с целью преобразования кафедру всеобщей истории и прикладного исторического метода, просуществовавшую более века. Кафедра истории и морали — таково было ее прежнее название; именно она позволила ее руководителям — от классика Дону до романтика Мишле — развить блестящую и новаторскую систему обучения.

1933, сорок лет спустя: Коллеж добивается создания кафедры всеобщей истории и исторического метода, приложимого к истории новейшей, — таков мой собственный вольный перевод ее официального названия (кафедра истории современной цивилизации), которое отныне начертано на стенах Коллежа.

1892, 1933 — две даты, одна проблема: именно ее я и должен в силу необходимости поставить перед вами. И если для ее разрешения я вынужден буду заняться нелицеприятным разбором идей, воспринятых людьми моего поколения, и методов, которым их обучали, вы не должны усматривать в этом самодовольного высокомерия: мною движут просто-напросто неодолимое стремление к ясности и общая для нас с вами потребность осветить путь, по которому мы теперь идем вместе.

## I

Упраздняя кафедру истории и морали, Коллеж в 1892 году имел на это свои основания. Он был создан не для того, чтобы лететь вслед за победой, а для того, чтобы предшествовать ей. Но к 1892 году история, как тогда ее себе представляли, уже окончила битву и одержала победу. Она царяла всюду: в лицах, битком набитых дипломированными историчками, в университетах, украшенных кафедрами историч, в специальных учебных заведениях, где процветал ее культ. Переливаясь через край, она растекалась оттуда по всем направлениям системы образования,

по ректоратам и высоким постам народного просвещения. Будучи гордой и могучей в общественной сфере, она и в сфере духовной была так же самоуверенна — по чуточку сонлива.

А ее философия? С грехом пополам слаженная из формул, заимствованных у Огюста Конта, Тэна и Клода Бернара, она зияла бы дырами и трещинами, если бы их не скрывала широченная и мягчайшая подушка эволюционизма, как нельзя более кстати пригодившаяся для этой цели. История чувствовала себя весьма недурно, плывя по течению этих успокоительных мыслей; впрочем, как мне уже не раз приходилось говорить, историки и не испытывают особой нужды в философии. Я вспоминаю насмешливую тираду Шарля Пегу в одном из самых острых номеров его «Двухнедельных записок»<sup>1\*</sup>: «Обычно историки занимаются историей, не задумываясь над ее пределами и возможностями; тут они, бесспорно, правы; хорошо, когда каждый занимается своим делом; хорошо, вообще говоря, когда историк начинает заниматься историей, не стремясь вникнуть в нее поглубже, — в противном случае он никогда ничего бы не сделал». Боюсь, что, читая эту обманчиво благодушную фразу орлеанского хитреца, многие из тогдашних историков принялись бы кивать в знак одобрения, не замечая едкого ее привкуса...

Все это касается внешней стороны вопроса. С внутренней дело обстояло куда проще.

История — это история — такова была отправная точка для ее определения. Если же, однако, кто-то и впрямь прилагал усилия, чтобы ее определить, то странным образом исходил при этом не из ее предмета, а из арсенала ее технических средств. Я бы сказал даже — всего лишь из части этого арсенала.

«Историю изучают при помощи текстов»<sup>4</sup>. Знаменитая формула: и по сей день она не утратила всех своих достоинств, а они, без сомнения, неоценимы. Честным труженикам, законно гордящимся своей эрудицией, она служила паролем и боевым кличем в сражениях с легковесными, кое-как состряпанными опусами. Но, если вдуматься, формула эта представляется опасной: она как бы противостояла общему направлению различных, но действующих заодно гуманитарных дисциплин. Она предполагала тесную связь между историей и письменностью — и это в тот самый момент, когда ученые, занимавшиеся исследованием доисторического периода, — как показательно само это название! — старались восстановить без помощи текстов самую странную из глав человеческой истории. Рождалась экономическая история, которая с самого начала хотела быть историей человеческого труда, но можно ли изучать эту историю труда, чьи особенности разбирал год назад в этих самых стенах Фран-

<sup>1\*</sup> *Peguy Ch. De la situation faite à l'histoire et la sociologie. les temps modernes // Cahiers de la quinzaine. Sér. 8. Cach. 3. P. 28. (Здесь и далее цифра со звездочкой означает примечание автора.)*

суа Симиан, на основании одних только бумаг или папирусов, не имея понятия о развитии техники? Рождалась гуманитарная география<sup>5</sup>; она привлекала внимание молодых ученых, тотчас же обращавшихся к реальным и конкретным исследованиям, благодаря которым в затхлую атмосферу аудиторий словно бы вторгались небеса и воды, леса и деревни — словом, вся живая природа. «Историю изучают при помощи текстов» — достаточно принять эту формулу, чтобы разом покончить с тщательным наблюдением над различными ландшафтами, с тонким пониманием ближних и дальних географических связей, с изучением следов, оставленных на очеловеченной земле упорным трудом многих поколений, начиная с людей эпохи неолита, которые, отделяя то, что должно остаться лесом, от того, чему суждено превратиться в пашню, устанавливали на грядущие времена первые исторически известные типы первобытных человеческих организаций.

К счастью, исследователи древних обществ не попадались в калечащие тиски этой косной формулы. Беспреданно поддерживаемые и обновляемые раскопками, находками памятников культуры и предметов обихода, их исследования, связанные в силу этого с осязаемыми и конкретными вещами — металлическим топором, сосудом из обожженной или сырой глины, весами и гириями, всем тем, что можно потрогать, подержать в руках, — их исследования, находящиеся в строгой зависимости от особенностей той или иной местности, проводимые с помощью пробудившегося «чувства топографии» и благоприобретенного «чувства географии», — их исследования не могли рабски подчиниться предписаниям этой строго ограниченной формулировки.

Совсем иначе обстояло дело в области изучения более поздней истории. Молодые люди, чья интеллектуальная культура была сформирована на основании одних только текстов, изучения текстов, толкования текстов, переходили, не порывая со своими привычками, из лицеев, где принимались в расчет только их текстологические способности, в институты, в Сорбонну, на факультеты, где им предстоял все тот же труд по изучению и толкованию текстов. Труд усидчивый, связанный с письменным столом и бумагой. Труд при затворенных окнах и задернутых шторах. Отсюда все эти крестьяне, которые словно бы никогда и не нюхали навоза, а только и делали, что копались в старинных картуляриях<sup>6</sup>. Отсюда все эти владельцы феодальных поместий, о которых никому не было известно, что они делали с излишками своих запасов или что представляли для них их собственные владения с точки зрения барщины и оброка, человеческих отношений или денежных доходов. История была чем-то вроде знатной дамы, а убогая экономическая действительность казалась рядом с ней жалкой замарашкой. История не имела понятия ни о деньгах, ни о кредите. Сельское хозяйство, промышленность, торговля — все это было для нее чистой абстракцией. Тем самым

она лишний раз подчеркивала свою причастность ко всему благородному и возвышенному, к идеальному и аристократическому бескорыстию текстологических и литературных изысканий. Она пользовалась величайшим уважением, которое снискали ей во Франции со времен Возрождения такого рода занятия. Если мы вспомним, что даже теперь, в 1933 году, университеты требуют от своих выпускников-историков всего лишь четыре письменные работы на исторические темы и столько же докладов, по возможности «блестящих»; если мы вспомним, что, желая научиться их воссоздавать картину прошлого — всю его материальную и духовную жизнь, экономическую и социальную политику, — университеты не требуют от своих выпускников ни умения читать статистические таблицы, составлять их или подвергать разбору, ни знания права и начатков его эволюции; не требуют не то чтобы знакомства с противоречивыми теориями политической экономии, а и способности толково объяснить, что представляет из себя та или иная денежная единица в ее повседневном обращении, что такое денежный курс, что фактически происходит за фасадом фондовой биржи или за окошечком депозитного банка; если в довершение всего мы вспомним, что университеты не требуют от своих питомцев даже критического осмысления текста, а приучают их откупаться почти исключительно словами — датами, именами исторических деятелей и названиями местностей, — если мы вспомним все это, то, без сомнения, поймем суть формулы «история изучается при помощи текстов».

Но ведь посредством текстов постигались факты? Разумеется. Каждый согласился бы с тем, что задача историка — установить факты, а потом пустить их в ход. Все это было верно, все это было ясно, но чересчур общо, особенно если смотреть на историю единственно как на совокупность различных фактов. Такой-то король родился в таком-то году, в таком-то месте. Там-то и там-то он одержал решающую победу над соседями. Отлично; разыщем все тексты, в которых упоминаются это рождение и эта победа; отберем только те, что заслуживают доверия; используя лучшие из них, составим строгое и точное изложение — разве все это так уж трудно?

А вот что делать с турецким ливром, который в течение веков постепенно обесценивался? Или с заработной платой, которая в течение определенного промежутка времени понижается, тогда как цены растут? Все это, бесспорно, исторические факты, причем, с нашей точки зрения, куда более важные, чем смерть какого-нибудь государя или заключение непрочного договора. Но постигаем ли мы их непосредственно? О нет! Обмениваясь опытом, сменяя друг друга, дотошные исследователи накапливают такие сведения медленно, по крупице, при помощи множества тщательно проведенных наблюдений, при помощи цифровых данных, с трудом извлеченных из всевозможных документов. Сами

собой такие факты в руки не даются. И пусть нам не возражают, говоря, что все это не сами факты, а лишь коллекции фактов. Ибо где взять факт как таковой, этот пресловутый атом истории? Убийство Генриха IV Равальяком<sup>8</sup> — это факт? Но попробуем проанализировать его, разложить на составные элементы, материальные и духовные, попробуем представить его как сложный итог действия общих исторических законов, частных обстоятельств времени и места, личных особенностей, присущих каждому из безвестных или известных людей, игравших роль в этой трагедии, — и мы увидим, как быстро начнет распадаться, расплзаться, расслаиваться все это запутанное хитросплетение... Фактических данных? Нет, фактов, созданных, воссозданных, вымышленных или сфабрикованных историком при помощи гипотез и предположений, посредством кропотливой и увлекательной работы.

Здесь, между прочим, таится причина особой притягательности, которую представляют для исследователя начальные периоды исторических процессов: сколько в них тайн, ждущих раскрытия, сколько забытых истин, жаждущих воскрешения. Это необозримые пустыни, среди которых так и хочется — были бы только силы — отыскать подземные источники и посредством упорного труда породить, вызвать из небытия оазис новых знаний.

А теперь попытаемся пошатнуть еще одно положение, столь часто преподававшееся студентам в недалеком прошлом. «Историк не должен отбирать факты. Отбирать? По какому праву? Во имя какого принципа? Выбор — это отрицание научного метода...» Но всякая история есть выбор.

Она есть выбор уже в силу случайности, которая уничтожает одни следы прошлого и сохраняет другие. Она есть выбор в силу особенностей человеческого мышления: как только документы накапливаются в избыточном количестве, исследователь начинает сокращать и упрощать, подчеркивать одно и сглаживать другое. Наконец — и это самое главное, — она есть выбор в силу того, что историк сам создает материалы для своей работы, или, если угодно, воссоздает их: он не блуждает наугад по прошлому, словно тряпичник в поисках случайной наживы, а отправляется в путь, имея в голове определенный замысел, проблему, требующую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо проверить. И сказать, что все это не имеет ни малейшего отношения к «научному подходу», — значит признать, что мы просто-напросто не имеем отчетливого представления о науке, о ее особенностях и методах. Итак, способен ли историограф, всматривающийся в окуляр своего микроскопа, непосредственно различить голые факты? Ведь суть его работы состоит в том, что он, так сказать, сам создает объекты своего наблюдения, подчас при помощи весьма сложных технических приемов. И лишь потом принимается



за изучение приготовленных «срезов» и «препаратов». Нелегкая задача: не так уж трудно описать то, что видишь; куда труднее увидеть то, что нужно описать.

Установить факты, а затем пустить их в ход... Разумеется, — но будьте осторожны: не соглашайтесь на невыгодное разделение труда, на чреватую опасностями иерархию. Не поощряйте тех скромных и самокритичных с виду, а по существу пассивных и тупоголовых деятелей, которые накапливают факты безо всякой определенной цели, а потом целую вечность сидят сложа рук в ожидании человека, способного привести эти факты в систему. Поля истории усеяны грудями камней, кое-как отесанных добротными каменщиками и брошенных на месте без употребления... Камни эти ждут толкового архитектора, не особенно, впрочем, надеясь на его приход, но мне кажется, что если он и впрямь появится, то обойдет стороной эти бесформенные завалы и начнет строительство на свободной и пустой площадке. Здесь — механический труд, там — творческий порыв; здесь — подсобные рабочие, там — мастера-строители: такое положение вещей никуда не годится. Творчество должно присутствовать всюду, чтобы ни крупницы человеческих усилий не пропадало втуне. Установить факт — значит выработать его. Иными словами — отыскать определенный ответ на определенный вопрос. А там, где нет вопроса, нет вообще ничего.

Все эти истины слишком часто ускользали от многих историков, воспитывавших своих учеников в духе священной ненависти к гипотезе, на которую они, несмотря на высокопарные разглагольствования о научном методе и научной истине, смотрели как на худшее из прегрешений перед так называемой Наукой. На фронтоне их истории красовался начертанный огненными буквами непререкаемый девиз: «Hypotheses non fingo» [Гипотез не измышляю]<sup>9</sup>. А в области классификации фактов они признавали один-единственный прием: строгое соблюдение хронологического порядка... Строгое? Мишле сказал бы иначе — умелое. Но каждому в ту пору было яснее ясного, что Мишле и история ничего общего между собой не имеют. А что такое хронологический порядок — не чистое ли надувательство? История, которой нас обучали (я часто употребляю глаголы в несовершенной форме, но не делайте из этого выводов об излишней моей наивности), история, к которой нас приучали, была, в сущности, обожествлением настоящего при помощи прошлого. Но сама она не хотела видеть этого, не хотела в этом признаться.

История Франции — от римской Галлии, описанной Цезарем в начале его «Записок», до Франции 1933 года в ее теперешних границах — подобна ладье, которая плыла по течению времени, ни разу не потерпев крушение, ни разу не уклонившись в сторону. Она не разбивалась о подводные камни, не тонула в водоворотах и, достигнув цели своего плаванья, могла бы сказать:

«Смотрите, отбыв из Галлии, я беспрепятственно добралась до современной Франции — это ли не доказательство поразительного постоянства нашей национальной истории!» Все это было верно вплоть до 1933 года, когда историки начали вновь подниматься вверх по течению, обследуя все притоки, кроме тех, что уводили их в сторону, — иными словами, не вели напрямик к Цезарю. И это державное струение все больше очаровывало их по мере того, как они придавали живой истории, сотканной из катастроф и трагедий, недолговечных захватов и аннексий, характер надуманной и в конечном счете мертвенной определенности.

Но попробуем, бросив свежий взгляд на исторический атлас, представить себе то поразительное многообразие столь несхожих между собою обликов, которое являет страна, именуемая нами Францией (не будем забывать, что название это она неизменно носит в течение веков); постараемся избавиться от навязчивой формулы «что было — то и есть», взглянем мысленным взором в чередование парадоксальных для нас формаций, таких, как Франция и Испания, Франция и Рейнская область или Франции и Англия, Франция и Италия, Франция и Нидерланды... Если хотя бы один из этих исторических сплавов существовал, история — уж будьте уверены — сумеет доискаться до его происхождения. Всего не перечесть, но кто знает, насколько сухе и безжизненной станет история, если мы не будем принимать во внимание всех этих случайностей, бесплодных потуг, метаний из стороны в сторону. И — будь у меня возможность, говоря с этой кафедры, пользоваться не одним только языком науки —, я добавил бы: кто знает, какую опасность может представлять история при таком к ней подходе.

Обратимся к истории Рейна<sup>2\*</sup>. Вы станете писать эту историю, простодушно исходя из иллюзорного убеждения, будто вам предстоит спуститься вниз по течению событий, тогда как на самом деле вам пришлось бы сначала подняться к их истокам. Вы исходите из того, чем является для нас теперешний Рейн — олицетворением взаимной ненависти народов, пограничной рекой, ставкой в кровавой игре воинствующих политиканов. И вот мало-помалу вы добираетесь до знаменитого и пророческого места из «Записок» Цезаря, где говорится о Рейне, «разделяющем Галлию и Германию». После чего поворачиваете вспять. Разумеется, все так же простодушно. И — готов согласиться — по собственной воле. Но теперь в продолжение всего путешествия вы будете судорожно сжимать в руках два конца одной цепи. Сами того не сознавая, вы перенесли жгучую современность в остывшее лоно былых веков. И нашли ее там именно в таком виде, в каком она была вами же привнесена. Это реакционный метод, хотя вы не

<sup>2\*</sup> *Febvre L., Demangeon A. Le probleme historique du Rhin. Strasbourg. 1930. Vol. 1, ch. 1; repr.: Febvre L. Le Rhin, problèmes d'histoire et d'économie. P., 1934.*

отдаете себе в этом отчета. Метод, некогда выдвинутый Вильгельмом II, а вслед за ним проповедуемый теми, кто, возмнив о себе как о перле творения, полагает, будто прошлое во всей его совокупности — всего лишь подготовка и желанное оправдание их собственного существования, их замыслов<sup>10</sup>. Спорить с этим не приходится. Но при чем тут наука?

Таким образом свершала история свое триумфальное шествие. Можно было только позавидовать ее внешнему могуществу. Однако мало-помалу она теряла внутреннюю силу. История, как говорилось тогда, не является определенной дисциплиной со строго определенным содержанием. Это всего лишь метод, чуть ли не универсальный метод гуманитарных наук; метод, находящийся в процессе становления. Слово бы этот метод, который в одном известном тексте определяется как «средство для составления истории», в действительности хоть чем-то отличался от одного из методов, применяемых всеми науками, — метода опосредованного познания! История не потеряла своей тени, но ради нее отреклась от истинного своего существа. И те, которые напоминали ей об этом, — я имею в виду прежде всего сотрудников «Журнала исторического синтеза» и их руководителя Анри Берра, с пророческой храбростью писавшего в 1911 году в предисловии к своему критическому и теоретическому эссе «Синтез в истории»: «Утверждают, будто история утратила связь с жизнью в силу чрезмерной своей научности; я убежден в обратном: это произошло именно потому, что она недостаточно научна», — те, которые напоминали ей об этом, были, без сомнения, провозвестниками будущего, но у них, разумеется, не было власти над настоящим.

## II

И вот наступило пробуждение, внезапное и тягостное. Пробуждение в разгар кризиса, в пору сомнений.

Сомнений, порожденных войной<sup>11</sup>. Сомнений, испытанных теми, кто вновь принялся за свое мирное ремесло, но уже не мог забыть ни на минуту, что их личная цель стала теперь не совсем такой, какую они преследовали бы, не прокатись над миром смертоносный ураган, — что им предстоит, помимо прочего, взять на себя задачи тех, кого уже нет на свете, задачи двух безжалостно истребленных поколений, от которых остались только обломки, подобные кошмарным обломкам лесов, встречающимся в прифронтовой полосе...<sup>3\*</sup>

«Заниматься историей; преподавать историю; ворошить груды золы, местами остывшей, местами еще теплой, — любой золы, хранящей мертвые следы чьих-то испепеленных жизней... К чему все это? Разве иные задачи, более насущные и, если говорить

<sup>3\*</sup> *Febvre L. L'histoire dans le monde en ruines // Revue de synthèse historique. 1920. T. 30, N 88. P. 1 sqq.*

напрямик, более полезные, не требуют, чтобы мы отдали им остаток своих сил?»

Сомнения тех, кто потешался над «банкротством истории», были более легковесными. Обвинять историю в том, что она не сумела ничего предвидеть и предсказать; иронизировать над крушением выработанных ею «законов», высмеивая их несостоятельность; издеваться над «экономическим спиритуализмом», который, как утверждал в свое время Фредерик Ро<sup>4\*</sup>, скрывается под вывеской «исторического материализма»; сомневаться в потенциальных возможностях моральной энергии, чья действенная сила никем не отрицалась; отвечать тем, кто говорит о среде и ее воздействии на человека шутовским каламбуром Бернарда Шоу: «Разумный человек приспосабливается к среде; неразумный старается приспособить ее к себе; отсюда следует, что всякий прогресс есть дело рук дураков», — во всех этих насмешках нет ничего непредвиденного и ничего особенно интересного для историков. Ибо им отлично известно, что существуют две изначально несхожие сферы: сфера познания и сфера действия, область науки и область вдохновения, мир вещей, уже причастных к существованию, и тех, что еще находятся в процессе бурного зарождения. Разве могут достоверно установленные исторические законы подавить человеческую волю? И кто осмелится утверждать, что самостоятельный творческий порыв не является в данной среде необходимым орудием борьбы с гнетом традиций, с косностью общественных институтов, тогда как даже с точки зрения будущего одиночные усилия новаторов несомненно должны обнаружиться среди наследия режима, против которого они боролись?

Куда серьезней был кризис всего, что составляло окружение и обрамление истории. Тот современный мир, которым мы так гордились, который был удобным поприщем для нашей деятельности, вселявшим в нас уверенность в неколебимости раз и навсегда усвоенных убеждений; тот мир, где царил строгая математичность физики, возведенной в ранг геометрии, и сама эта физика, лишавшая материю всех ее свойств, сводившая ее к простой протяженности, — сама эта наука о естественных явлениях, изо всех сил стремившаяся к объективности, недоступной человеческому «я», извлекавшая ценности не из качественного, а из количественного; и в особенности та наука о человеческой деятельности, которая складывалась посредством приложения к гуманитарной сфере методов, до сей поры применявшихся лишь в области дисциплин, ограниченных строжайшим детерминизмом, — все это рушилось целыми пластами под неустанным напором новых идей, под воздействием подземных толчков, расшатывавших и потрясавших вековые устои физики.

<sup>4\*</sup> *Rauh F. Etudes de morales. P., 1911. P. 61 sqq.*

Итак, банкротство старых идей, старых учений, сметенных новыми веяниями? Ничего подобного! Нет морей, которые не оставили бы геологических отложений, свидетельствующих об их глубине. Крушение идеалов, необходимость возврата к примитивному или обновленному мистицизму? Ни в коей мере! Скорее их обогащение и расширение. И — если говорить конкретно о занимающем нас теперь вопросе — давно уже смутно предвидимая возможность новых связей, взаимообогащающих отношений между двумя сферами, дотоле разделенными пропастью: объективной сферой природы и субъективной сферой духа...

Сейчас не время рассматривать, как, в какой мере и в каких именно частностях это грандиозное преобразование идей может затронуть историю, едва вступившую в общую семью наук. Для подобного рассмотрения потребовалась бы если не целая книга, то хотя бы полный курс лекций. Ограничимся же несколькими простыми вопросами. Можно ли среди стольких потрясений рассматривать историю как нечто застывшее, скованное своими старыми навыками? Можем ли мы не ощущать потребности в согласовании наших идей и методов с идеями и методами других наук? Можно ли — и это главное — не стремиться к восстановлению истории, если все ее здание покрыто трещинами?

Восстановление, но на какой основе? Не будем искать далеко: на прочной основе того, что принято называть человечностью.

История — наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые их исповедуют? Ведь идеи — это всего лишь одна из составных частей того умственного багажа, слагающегося из впечатлений, воспоминаний, чтений и бесед, который носит с собой каждый из нас. Так можно ли отделить идеи от их создателей, которые, не переставая питать к ним величайшее уважение, беспрестанно их преобразуют? Нет. Существует только одна история — история Человека, и это история в самом широком смысле слова. Вспомним, с каким рвением именно здесь, в стенах этого Коллежа, опровергал Мишель Бреаль заблуждения Джеймса Дармстеттера, когда тот написал книгу «Жизнь слов», главным героем которой был не человек, а язык.

История — наука о Человеке; она, разумеется, использует факты, но это — факты *человеческой* жизни. Задача историка: постараться понять людей, бывших свидетелями тех или иных фактов, позднее запечатлевшихся в их сознании наряду с прочими идеями, чтобы иметь возможность эти факты истолковать.

История, разумеется, использует *тексты*, но это — *человеческие* тексты. Сами слова, которые их составляют, насыщены человеческой сутью. И у каждого из этих слов — своя история, каждое в разные эпохи звучит по-разному, и даже те из них, что относятся к материальным предметам, лишь изредка полностью

совпадают по смыслу, лишь изредка обозначают равные или равноценные свойства.

История использует *тексты* — не спорю. Но — *все тексты*. А не только архивные документы, получившие, как сказал некто<sup>5\*</sup>, особую привилегию на поставку оторванным от действительности историкам всего их позитивного материала: имен, мест, дат, мест, дат, имен... А и стихи, картины, пьесы: все это тоже источники, свидетельства живой человеческой истории, пронизанные мыслью и призывом к действию.

История использует *тексты* — это ясно как день. Но *не только тексты*. А и все источники, какова бы ни была их природа. Те, что находятся в обращении издавна, и те в особенности, что порождены бурным расцветом новых дисциплин: статистики; демографии, заменившей генеалогию в той мере, в какой народ сменил у кормила власти королей и князей; лингвистики, заявляющей устами Мёйе, что всякое языковое явление знаменует собой определенный шаг в развитии общества; психологии, переходящей от исследования отдельных личностей к исследованию групп и масс, — всего не перечесать. Тысячелетия назад пыльца цветущих деревьев осела на поверхности северных болот. Современный ученый, рассматривая эту пыльцу в микроскоп, кладет ее в основу захватывающих исследований о древнем населении тех мест, — исследований, которые не могла бы должным образом произвести историческая наука, даже присовокупляя к данным, почерпнутым из текстов, данные топонимики и археологии. Пыльца тысячелетней давности превратилась в исторический источник. История претворила эту пыльцу в свой мед. Ничего не отвергая, история пользуется всем тем, что только может изобрести или предложить пытливый человеческий разум, жаждущий восполнить утрату текстов и провалы забвения...

Постоянно устанавливая новые формы связей между близкими и дальними дисциплинами; сосредоточивать на одном и том же объекте исследования взаимные усилия различных наук — вот наиглавнейшая задача из тех, что стоят перед историей, стремящейся покончить с изолированностью и самоограничением, — задача самая неотложная и самая плодотворная.

Речь идет не только о заимствовании понятий, хотя иногда оно и необходимо. Но прежде всего — о заимствовании методов и духа исследования. Сегодня это, как правило, проблема искателей-одиночек, вынужденных просить поддержки у соседей. Завтра мы станем свидетелями фактического сотрудничества ученых разных специальностей, объединивших свои усилия в рамках одного коллектива: физик, скажем, ставит проблему; математик вносит вклад в ее разработку, используя свое виртуозное владение языком науки; астроном, наконец, выбирает в бес-

<sup>5\*</sup> Физик Буасс.

крайних небесных просторах именно те светила, которые следует избрать, и начинается наблюдение за ними. Таким, я думаю, будет положение вещей в грядущем. Оно лишит работу исследователя ее интимного характера. Работа перестанет быть глубоко личным делом отдельного человека, его духовной сферы. Но известная потеря личностного характера труда возместится его возросшей эффективностью. Хотим мы этого или нет, времена ремесленничества постепенно отходят в прошлое. Подобно остальным своим собратьям, кустарь от науки — а именно таковыми все мы и являемся, — которого мы любим даже за его пороки и чудачества, который все делает самостоятельно и вручную: сам вырабатывает свои методы, сам определяет область исследований, сам составляет их программу, — этот кустарь скоро исчезнет с нашего горизонта, примкнув к неисчислимому сонму мертвых красот. Но иная красота уже начинает вырисовываться на земле.

Сотрудничество ученых, согласованность методов, аналогичные пути развития различных дисциплин. От одной из отраслей филологии — я говорю о филологии сравнительной, зародившейся в XVIII веке в связи с открытием санскрита в Европе, — отпочковалась новая наука, лингвистика. Но перед тем как обратиться к статическому изучению языковых явлений, независимо от исторического языкознания, она посвятила себя почти исключительно именно этой дисциплине. Подобная эволюция может служить отдаленным и грубым прообразом развития, которое наверняка предстоит истории, когда от общего исследования исторических систем — народов и наций, если угодно, — она перейдет (в форме, которую трудно предугадать заранее, ибо форма эта будет во многом зависеть от прогресса смежных дисциплин) к статическому изучению исторических фактов... А пока смиримся и не будем указывать ей иных задач, кроме постановки общечеловеческих проблем. Этого требует от нас как приверженность к гуманизму, так и предвидение того, чем когда-нибудь станет история — наукой об исторических фактах.

Наукой, обладающей собственными законами? Возможно. Все зависит от того, что называть законом. Это высокопарное слово отягчено многими, подчас противоречивыми, значениями. Если закон принуждает к действию, мы, как уже говорилось, против него. Не будем подавлять свободный человеческий порыв мертвыми грузом прошлого. Именно потому, что мы являемся историками, нам нужно во всеулышание повторить: такой закон ни к чему не обязывает. Впрочем, о каком прошлом может идти речь? Постараемся отделаться от иллюзий. Человек не помнит прошлого — он постоянно воссоздает его. Это касается и такой абстракции, как отдельный человек, и такой реальности, как человек, являющийся членом общества. Он не хранит прошлого в своей памяти подобно тому, как северные ледники тысячелетиями хранят в своей толще замерзших мамонтов. Он исходит из

настоящего — и только сквозь его призму познает и истолковывает прошлое.

Не угодно ли пример — самый, наверное, типичный; на него совсем недавно и с полным основанием ссылался Марк Блок. Это пример из области обычного средневекового права. В течение многих веков то или иное установление, та или иная повинность признавались законными и имеющими силу лишь потому, что восходили к незапамятным временам, и добросовестный судья в поисках юридической истины неизменно обращался к прошлому: «А как в этих случаях поступали до меня? Каков обычай?» Не следует ли из этого делать вывод, что правовые нормы столетиями оставались неизменными? Вовсе нет: они не переставали развиваться, и развивались быстро. Точно так же, как христианство в промежутке между временем мира в Церкви и Реформацией<sup>12</sup>...

Чем же был обусловлен такой подход к прошлому? Жизненной необходимостью. Инстинктивной защитной реакцией против чудовищной массы отживших фактов, идей, обычаев. Наполнить саму традицию современным содержанием — вот первый способ борьбы с ней. Не такой, разумеется, должна быть реакция объективной исторической науки. Отбрасывая подобные методы интерпретации, она прилагает героические усилия, пытается восстановить последовательные системы идей и общественных институтов во всей их первоначальной свежести. Но она способна измерить и все трудности этой задачи. Она отлично сознает, что ей никогда не удастся найти и включить волшебный аппарат, пролежавший в бездействии столько-то веков, который донес бы до нее живой голос минувшего, записанный с расчетом на целую вечность. Она истолковывает факты. Она группирует их. Она воссоздает их и добивается от них ответа. И во всем этом нет никакого кощунства, никакой попытки посягательства на ее величество Науку. Науку не создают в башнях из слоновой кости. Она творится в гуще жизни, творится живыми людьми, сыновьями своего времени. Тысячи тончайших и запутанных нитей связывают ее со всевозможными видами человеческой деятельности. Иногда ей случается даже испытывать влияние моды. Варясь в том же котле, что и остальные гуманитарные дисциплины, может ли избежать их сомнений и тревог эта наука, о которой Пуанкаре говорил, что она «угадывает прошлое»? Скажем так: воскрешая прошлое, она касается своей магической палочкой только отдельных его частей, а именно тех, что представляют какую-то ценность для идеала, которому она служит, и времени, на которое приходится ее служение... Но вернемся к вопросу о законах.

Что такое законы? Если понимать под ними некие общие формулы, которые, группируя дотоле разрозненные факты, слагают их в определенные серии, то почему нам эти формулы не принять? Именно таким образом история может лишней раз ощутить



живую общность наук, именно так может она еще отчетливой осознать себя сестрою других дисциплин, главная задача которых сегодня — достижение согласия между логикой и реальностью, точно так же, как для истории эта задача состоит в том, чтобы согласовать свое назначение со своими возможностями.

Нелегкая задача. Сейчас повсюду, среди всех наук, — сплошные разногласия, конфликты, противоречия. В стенах этого Коллежа тоже найдутся люди, которые не прочь позлорадствовать над нашей беспомощностью. Пусть себе злорадствуют. Они забывают об одном: в основе каждого научного достижения заложен дух противоречия. Успехи науки суть плода раздора. Точно так же религии питаются ересями и развиваются за счет ересей. *Oportet haereses esse* [Надлежит ересям быть]<sup>13</sup>.

Начиная свою лекцию, я отдавал себе отчет в том, сколько времени и усилий может потребоваться, чтобы должным образом прояснить все эти идеи. Моей целью не было изложить перед вами некую систему: я просто хотел представиться вам, поделиться своими намерениями, поведать о своих пристрастиях и слабостях, но самое главное — выразить свои добрые чувства.

В превосходном юбилейном издании, которое выпустит этот Коллеж по поводу своего четырехсотлетия, находится волнующий документ, воспроизведенный тщанием Поля Азара. Это автограф Мишле — исписанная его мелким почерком страница, содержащая наброски одной из последних прочитанных им здесь лекций. Вот что можно разобрать на этом листке, пронизанном неповторимой ритмикой великого поэта-романтика от истории:

«Я не принадлежу ни к какой партии... Почему? Потому что в истории я не видел ничего, кроме истории...

У меня нет школы... Почему? Потому что я старался не завладеть умами людей, а, напротив, освободить их, делиться с ними животворной силой, толкающей к поискам и находкам».

В свое время, когда рано или поздно подойдет к концу начатое мною сегодня преподавание, хотелось бы и мне заслужить такую похвалу:

«В истории он не видел ничего, кроме истории... Обучая, он не стремился завладеть умами, ибо не исповедовал тех систем, о которых Клод Бернар в один голос с Мишле говорил, что они имеют склонность порабощать человеческий дух. Зато он интересовался идеями и теориями. Идеями — потому, что наука движется вперед лишь благодаря самобытной и творческой силе мышления. Теориями — потому, что все мы отдаем себе отчет в том, что им не дано объять всю бесконечную сложность естественных явлений. И тем не менее именно теории служат ступенями, по которым поднимается наука в ненасытном желании расширить горизонты человеческой мысли, — поднимается, заранее уверенная в том, что ей никогда не удастся достичь вершины вершин, той выси, откуда можно видеть рождение зари из ложа мпака».

# КАК ЖИТЬ ИСТОРИЕЙ

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я люблю историю. Не любил бы — не стал бы историком. Разрывать жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую посвящая удовлетворению своих глубоко личных потребностей, — вот что кажется мне ужасным, особенно если избранное ремесло относится к сфере духовной. Я люблю историю — и потому счастлив сегодня поговорить с вами о предмете моей любви <sup>1\*</sup>.

Я счастлив, и это вполне естественно. Я не особенно склонен к путанице жанров и не собираюсь подменять лекцию исповедью. Тем не менее могу сказать вам вот что. Когда в 1899 году я поступил, как вы сейчас, в это учебное заведение после года воинской службы (первого из тех семи лет, которые в среднем выпали на долю мужчин моего поколения), я записался на филологический факультет. Это было предательством: с самого раннего детства я был убежден, что призван стать историком. Но призвание это не смогло устоять перед двумя годами занятий высшей риторикой в лицее Людовика Великого <sup>1</sup>, перед двумя годами пережевывания «Учебника иностранной политики» Эмиля Буржуа, который, кстати сказать, оказался одним из моих преподавателей здесь, в Высшем педагогическом училище. Анатоль Франс где-то рассказывает, что, будучи ребенком, он мечтал написать историю Франции «со всеми подробностями» <sup>2</sup>. Могло показаться, что наши лицейские учителя собирались осуществить эту ребяческую затею маленького Анатоля. Заниматься историей значило для них если и не доискиваться до всех ее подробностей, то хотя бы до тех, что касаются, скажем, миссии г-на де Шарнасе при дворах северных государей <sup>3</sup>. И тот, кто заучивал больше таких подробностей, чем его сосед, одерживал, разумеется, над ним верх: он был годен для занятий историей!

Боюсь, что положение вещей с тех пор не особенно изменилось. Великий математик Анри Лебег — мы были с ним коллегами по Коллеж де Франс, стены которого он недавно покинул навеки, — сказал мне однажды с юмором первокурсника, не изменявшим ему до конца дней, что, по его мнению, существуют как бы две математики: устрашающая математика школьных инспекторов, которую он, признаться, не очень-то понимал, и математика доступная, которую он день ото дня развивал, не усматривая в ней никаких трудностей, способных его оттолкнуть. Не существует ли подобным образом и двух исторических наук и не

<sup>1\*</sup> Это «Вступительное слово» было обращено к воспитанникам Высшего педагогического училища в начале 1941/42 учебного года. Мне предложили прочесть для них три вступительные лекции по экономической и социальной истории; я считал возможным дать им несколько следующих ниже советов.

сталкиваются ли все и каждый только с первой из них? Трудный вопрос. Я, во всяком случае, буду говорить лишь о второй разновидности этой науки. Об истории как таковой. Которую я стараюсь развивать. Которую я люблю.

## I

«История как таковая? — удивитесь вы. — Что за недоразумение? Ведь нам был обещан курс лекций по „экономической и социальной“ истории». Но как раз первое, что мне хотелось бы вам сказать, — это что «экономической и социальной» истории, собственно говоря, не существует. Не только потому, что связь экономического и социального не является единственно возможной, или, как выразился бы какой-нибудь директор кинотеатра, исключительной, в том смысле, что нельзя было бы с тем же правом говорить о связи политического и социального, литературного и социального или даже — философского и социального. Привычка естественно и бездумно связывать между собой эти два эпитета вовсе не продиктована какими-либо разумными доводами. Это чисто исторические, легко поддающиеся определению доводы — и разбираемая нами формула является в конечном счете не чем иным, как отголоском или наследием затянувшихся дискуссий, поводом для которых вот уже целое столетие служит то, что было названо проблемой исторического материализма. Не думайте же, что, говоря об экономической и социальной истории, пользуясь этой заезженной формулой, я питаю хоть какие-то иллюзии относительно ее подлинной ценности. Когда мы вместе с Марком Блоком отпечатали оба этих традиционных слова на обложке наших «Анналов», мы прекрасно понимали, что «социальное», в частности, относится к числу тех прилагательных, которыми в течение долгих лет навязывалось столько значений, что оно, в конце концов, почти полностью перестало что-либо означать. Именно поэтому мы его и выбрали. И выбрали так удачно, что в силу некоторых, чисто случайных обстоятельств только это прилагательное и значится теперь на обложке «Анналов», которые из «экономических и социальных» превратились вследствие новой немилости судьбы просто в «социальные». Немилости, воспринятой нами с улыбкой. Ибо нам обоим казалось, что столь расплывчатое слово, как «социальное», было создано и пущено в ход личным указом исторического провидения именно для того, чтобы служить вывеской журнала, цель которого — не замыкаться в четырех стенах, а широко, свободно и даже навязчиво разносить на все четыре стороны свой дух — дух свободной критики и всяческой инициативы.

Итак, экономической и социальной истории не существует. Существует история как таковая во всей своей целостности. История, которая является социальной в силу самой своей природы. История, которую я считаю научным способом познания

различных сторон деятельности людей прошлого и их различных достижений, рассматриваемых в соответствии с определенной эпохой в рамках крайне разнообразных и все-таки сравнимых между собой обществ (это аксиома социологии), заполняющих поверхность земли и последовательность веков. Длинноватое определение, но я не особенно доверяю определениям кратким, чудодейственно кратким. А мое, как мне кажется, посредством самой своей терминологии устраняет много ложных проблем.

Так, я с самого начала называю историю научным способом познания, а не наукой — по той же причине, по какой, составляя план «Французской энциклопедии», я не захотел положить в его основу, как того требовал установившийся ритуал, общую классификацию наук; в особенности же потому, что говорить о науках — значит прежде всего развивать мысль о совокупности их результатов, или, если угодно, о некоей сокровищнице, более или менее полной драгоценностей, как настоящих, так и фальшивых, не делая ударения на том, что является движущей пружиной настоящего ученого, — я имею в виду Беспокойство с большой буквы, то есть не безостановочный и маниакальный, а разумный и методичный пересмотр традиционных истин, потребность в переработке, переоценке, переосмыслении (когда это бывает необходимо и как только становится необходимым) полученных ранее результатов с целью их приспособления к новым понятиям и, исходя из этого, к новым условиям существования, которые непрестанно выковываются временем и людьми — людьми в рамках времени.

И с другой стороны, я не забываю о людях! О людях, единственных подлинных объектах истории — науки, которая вписывается в группу гуманитарных дисциплин всех порядков и всех степеней наряду с антропологией, психологией, лингвистикой и т. д.; науки, которая не интересуется каким-то абстрактным, вечным, неизменным по сути своей человеком, всегда подобным самому себе, — но людьми, рассматриваемыми в рамках общества, членами которого они являются, членами этих обществ в определенную эпоху их развития — людьми, обладающими многочисленными обязанностями, занимающимися всевозможными видами деятельности, отличающимися различными склонностями и привычками, которые перемешиваются, сталкиваются, противоречат одна другой, но в конце концов приходят к компромиссному соглашению, устанавливая некий *modus vivendi*, который называется Жизнью.

Рассматриваемого таким образом человека можно удобства ради притянуть к делу за что угодно — за ногу, за руку, а то и за волосы, но, едва начав тянуть, мы непременно вытянем его целиком. Человека невозможно разять на части — иначе он погибнет. Пиренн, великий современный историк, как-то назвал своих собратьев «людьми, которые любят жизнь и умеют в нее

вглядываться», а между тем эти люди, изучая прошлую жизнь, нередко только тем и занимаются, что расчленяют трупы. Короче говоря, человек в нашем понимании является средоточием всех присущих ему видов деятельности; историку позволительно с особым интересом относиться к одному из этих видов, скажем к деятельности экономической. Но при единственном условии: нельзя забывать, что любой из этих видов всегда затрагивает целиком всего человека — в рамках обществ, созданных им самим. Но именно в этом и состоит смысл эпитета «социальный», традиционно сочетаемого с эпитетом «экономический»; он лишний раз напоминает нам, что предмет наших исследований — не какой-нибудь фрагмент действительности, не один из обособленных аспектов человеческой деятельности, а сам человек, рассматриваемый на фоне социальных групп, членом которых он является.

Прошу прощения за некоторую отвлеченность моих предыдущих соображений. Излагая их, я не терял из виду ни моего истинного замысла, ни тех глубоких причин, в силу которых я оказался здесь. Я прочел вам вчера любопытный и прекрасный текст Мишле, изданный еще в 1914 году, — текст, полный гениальных озарений. Это отрывок из лекции, произнесенной здесь 10 июня 1834 года перед студентами третьего, выпускного курса этого училища, которым предстояло вскоре покинуть его стены и отправиться в провинцию. Мишле хотелось подбодрить своих юных воспитанников — ведь их ждала нелегкая профессия учителя в королевских коллежах в захолустных городишках, где нет ни научных архивов, ни каталогизированных библиотек, где они будут лишены возможности путешествовать, откуда им будут отрезаны все пути для бегства. Он старался показать им, что историк, если только он сам этого захочет, может плодотворно работать повсюду, куда занесет его судьба. Сейчас перед нами стоят несколько иные проблемы. И однако, с известными оговорками разумеется, я хотел бы внушить вам то же, к чему некогда стремился Мишле, пуская в ход весь свой авторитет, весь блеск своего ораторского искусства, весь пыл своего гения. Если бы мне удалось выявить или поддержать еще неокрепшее призвание к истории; если бы я мог предостеречь вас против предрассудков, связанных с этой наукой, уберечь от соприкосновения с тем, что слишком часто выдается за историю, — с тем, что так долго вдавливали вам в головы и что будут требовать от вас на экзаменах вплоть до получения вами докторской степени (лишь она способна, да и то не всегда, избавить от подобной опасности), — если бы я мог внушить вам, что можно достойно прожить жизнь, будучи историком, я считал бы, что хоть отчасти возместил свой собственный долг по отношению к нашему училищу.

А можно ли внушить вам эту мысль, не излагая перед вами, не изучая вместе с вами животрепещущих проблем, которые ставит сегодня История перед теми, кто находится на передовой линии поисков,— перед теми, кто, стоя на палубе корабля, без устали вглядывается в горизонт?

Постановка проблемы — это и есть начало и конец всякого исторического исследования. Где нет проблем — там нет и истории, только пустые разглагольствования и компиляции. Припомните-ка: я не говорил об исторической «науке», я пользовался выражением «научно проводимое исследование». Эти три слова — не какое-нибудь словесное излишество. Формула «научно проводимое исследование» включает в себя два действия, лежащие в основе всякой современной научной работы: постановку проблем и выработку гипотез. Два действия, на которые людям моего поколения указывали как на опаснейший соблазн: ведь постановка проблем и выработка гипотез были в те времена равносильны предательству — пользовавшийся такими методами историк словно бы вводил в священный град объективности троянского коня субъективности...

В ту пору историки питали ребяческое и благоговейное почтение к «фактам». Они жили наивным и трогательным убеждением, что ученый — это человек, который, приложив глаз к окуляру микроскопа, тут же обнаруживает целую россыпь фактов. Фактов, дарованных ему снисходительным провидением, фактов, созданных специально для него, фактов, которые ему остается лишь зарегистрировать. А ведь любому из поклонников подобного метода достаточно было бы хоть раз в жизни взглянуть в настоящий микроскоп на гистологический срез, чтобы убедиться, что гистолог не столько *наблюдает*, сколько *осмысливает* свой препарат, который вне этого осмысления остается чистой абстракцией. Освоившись с препаратом, подготовленным долгими и тщательными усилиями гистолога, руководимого заранее обретенной идеей, наш историк в какие-нибудь пять минут осознал бы всю важность личного вклада самого исследователя, который действует так или иначе лишь потому, что наперед поставил себе ту или иную проблему и выработал ту или иную гипотезу.

Точно так же действует историк, которому никакое провидение не поставляет готовых фактов, чудодейственным образом найденных подобием реальной жизни, вполне определенной, нерушимой, неизменной. Исторические факты, пусть даже самые незначительные, зависят от историка, вызывающего их к бытию. Мы знаем, что факты, те самые факты, перед которыми нас то и дело призывают преклоняться, являются сами по себе чистыми абстракциями: для их определения приходится прибегать ко всякого рода побочным свидетельствам, подчас самым противоречивым, среди которых мы по необходимости вынуждены производить отбор. Таким образом мы приходим к выводу, что нагромож-

дение фактов, которое слишком часто выдается за факты в чистом виде, призванные автоматически слагаться в писаную историю по мере хода событий, само имеет свою историю, историю прогресса познания и сознания историков. Так что перед тем, как принять свидетельства фактов, мы вправе потребовать, чтобы нас предварительно ознакомили с критической работой опирающегося на них исследователя, в чьем сознании они впервые сложились в стройную цепь.

Если же историк не ставит перед собой проблем, или, ставя их, не выдвигает гипотез, призванных эти проблемы разрешить,— в плане ли ремесла, в плане ли техники или научных усилий,— то я с полным основанием берусь утверждать, что историк этот в умственном отношении уступает последнему из мужиков, который как-никак понимает, что негоже выпускать скотину куда попало, на первое подвернувшееся поле, где она разбредется и будет пастись кое-как, что нужно отвести ее на определенное место, привязать к колышку, выбрать именно то, а не иное пастбище. И этот мужик, безусловно, прав.

Что вы хотите? Когда в какой-нибудь из толстенных книг, научная подготовка которых с давних пор отнимает все силы наших лучших профессоров истории, когда в каком-нибудь из этих солидных трудов, тщательно подготовленных, умело составленных, битком набитых фактами, цифрами и датами, перечнями картин, романов и машин, когда в одном из этих фолиантов, украшенных хвастливыми ярлыками Французского института<sup>4</sup>, Сорбонны и местных университетов наподобие иного туристического отеля с его кричащими вывесками, встречается по случайности мысль вроде нижеследующей: «Период, который нам предстоит изучить, один из самых интересных в нашей истории, является продолжением периода предыдущего и началом последующего; он замечателен в равной мере тем, чему положил конец, и тем, чему дал начало» и т. д.,— когда нам встречается подобная мысль, мы волей-неволей перестаем удивляться тому, что над историей насмеются, что от нее отрекнутся, что ее порочат и клеймят даже умные люди, с горечью видящие, сколько усилий, сколько денег, сколько отличной бумаги изводится на распространение таких вот идеек, на поддержание этой *попугайской* и безжизненной истории, в которой ни за что и никогда не почувствуешь (здесь я уступаю слово Полю Валери) «трепета перед неизведанным, одного из самых сильных ощущений великих наций и великих людей: так трепещут целые народы накануне грандиозной битвы, в которой должна решиться их судьба; так содрогается честолюбец, знающий, что следующий час возведет его либо на престол, либо на эшафот; так трепещет художник, готовый сдернуть покров с только что оконченной статуи или дать сигнал к разборке лесов, скрывающих еще никем не виданное здание». Что же удивительного во всех этих яростных

нападках на историю, в отвращении, которое питает к ней молодежь, в том последовательном отступлении и подлинном кризисе истории, которые свершались на глазах моего поколения — медленно, неуклонно, неотвратимо. И все же не упускайте из виду, что ко времени моего появления в стенах этого училища история уже выиграла битву. Выиграла с чрезмерным успехом. Чрезмерным, потому что она перестала быть отдельной, обособленной дисциплиной. Чрезмерным, ибо она приняла обличье универсального метода, приложимого без различия ко всем формам человеческой деятельности. Чрезмерным, ибо и по сей день встречаются ретрограды, судящие об истории не по ее содержанию, а именно по этому методу, который, собственно говоря, является даже не историческим, а просто критическим.

История завоевала одну за другой все гуманитарные дисциплины. Литературная критика превратилась при участии Гюстава Лансона в историю литературы, а эстетическая критика — в историю искусств, чему способствовал Андре Мишель, преемник грозного Куражо, этого Юпитера-громовержца Луврской школы. А извечный спор о возможностях богопознания выродился в историю религий. Довольная своими достижениями, гордая своими завоеваниями, кичащаяся своим материальным успехом, история почилла на лаврах. Застопорила свой ход. Она пережевывала избитые истины, повторялась, топталась на месте, не в силах создать ничего нового. И с каждым годом голос ее обретал все большее сходство с гнусавым замогильным лопотаньем.

А между тем новые дисциплины продолжали развиваться. Психология под влиянием Рибо, Жана и Дюма обновляла свою методичку, заодно избирая новые объекты для исследований; социология, повинувшись призыву Дюркгейма, Симиана и Мосса, превращалась в подлинную науку и в то же время — в научную школу; гуманитарная география, изучение которой было начато Видалем в Высшем педагогическом училище, а затем продолжено Деманжоном в Сорбонне и Жаном Брюном в Коллеж де Франс, стала отвечать реальным нуждам времени, ранее не находившим удовлетворения в совершенно произвольных, оторванных от всякой действительности исторических исследованиях, склонявшихся либо к истории дипломатии, либо к политической истории, равнодушной ко всему, что не касается ее собственных проблем. Все большее число молодых ученых отдавало свои силы этим новым дисциплинам. Затем грянула война, разразился кризис — и одни забросили историю, другие принялись насмехаться над ней. А ведь она занимает слишком большое место в наших умах, чтобы мы могли безучастно наблюдать за ее злоключениями. Что толку пожимать плечами, говоря о нападках на историю, несправедливых и неумелых, — чаще всего именно такими они и являются, — если нападки эти, помимо прочего, свидетельствуют о тяжком недуге, от которого нам нужно как можно ско-



нее избавиться, — от разочарования в истории, утраты доверия к ней, от горького сознания того, что в наше время заниматься историей — значит попусту терять время.

## II

Необходимо побороть этот недуг, но каким образом? Отчетливо осознав наличие связей, существующих — известно ли нам это или нет, хотим ли мы этого или нет — между историей и родственными ей дисциплинами, чья судьба неотделима от ее собственной.

В одной из лекций 1834 года Мишле говорил своим воспитанникам: «История похожа на роман Стерна: что делается в салоне, то повторяется и на кухне. Или на ход пары сверенных между собою хронометров: один указывает час, другой, за двести лье от первого, отзванивает его». И приводил еще один пример: «Средние века не составляют в этом смысле исключения. Философия Абельяра отзванивает час свободы, а пикардийские коммуны приветствуют его наступление»<sup>5</sup>. Весьма вразумительные формулировки. Мишле, кстати говоря, не стремился установить между различными видами человеческой деятельности нечто вроде иерархии, не был склонен к иерархической классификации. Ему была чужда примитивная метафизика простоватого каменщика: вот один слой кладки, вот другой, вот третий — вот первый этаж, вот второй, вот третий. Не занимался он и генеалогией: то-то проистекает из того-то, то-то порождено тем-то. Нет. Он имел в виду некую общую для всех исторических явлений атмосферу, а эта идея является куда более тонкой и глубокой. Какую нелепость, замечу между делом, совершали мы, когда в наше время, в мире, насыщенном электричеством, могущим подсказать нам столько образов и сравнений, продолжаем с важным видом пользоваться метафорами, дошедшими до нас из глубины веков — веков тяжелых, неповоротливых, неуклюжих; мы упорствуем, говоря об истории по старинке, мысля этажами, кладками, булыжниками — фундаментами и надстройками, тогда как всевозможные явления, связанные с электричеством, — ток, бегущий по проводам, перемена фаз, короткое замыкание — могли бы одарить нас целой сокровищницей образов, с большей гибкостью выражающих наши мысли. Но все идет так, как шло прежде. Специалист, вздумавший заняться теоретической историей, перечитывает (если у него хватает на это любопытства) «Введение в экспериментальную медицину» Клода Бернара — таким образом он знакомится с общим состоянием научной мысли. А ведь этот замечательный труд сохранил в наши дни лишь чисто исторический интерес, что и неудивительно — со времени его выхода в свет прошло чуть ли не целое столетие. Простодушный Платтар писал некогда статью, полную недоумений по поводу того, что система Коперника не получила в свое время

бурного распространения и не произвела резкого перелома в сознании людей. Можно было бы написать не менее интересную статью, посвященную тому поразительному факту, что все старые научные системы, на которых умиротворенно покоилось наше мировоззрение, были за последние тридцать—сорок лет поколеблены и опрокинуты под напором современной физики. Да что говорить о системах — самые основные их положения приходится теперь пересматривать и перестраивать заново, целиком начиная с понятия детерминизма. Так вот, я думаю, что лет через сто, когда свершится новый переворот в науке и теперешние понятия окажутся устаревшими, найдутся умные и знающие люди, работающие в области гуманитарных наук, и прежде всего в истории, которые вспомнят, что были некогда во Франции (я ограничусь только нашей страной) такие ученые, как супруги Кюри, Ланжевен, Перрен, Морис и Луи де Бройль, — вспомнят и воспользуются кое-какими отрывками из их теоретических трудов, дабы навести порядок в собственных. С опозданием на добрую сотню лет.

Впрочем, все это не имеет особенного значения. Ибо историки могут упустить из виду то обстоятельство, что кризис, поразивший их науку, обрушился не только на нее одну. Недуг, постигший историю, явился всего лишь одним из аспектов, а именно историческим аспектом великого кризиса человеческого духа. Или, точнее говоря, недуг этот был одним из признаков и в то же время одним из последствий недавней и весьма ощутимой перемены в отношении ученых к Науке.

Ясно как день, что фактической отправной точкой всех новых концепций, овладевших учеными (или, вернее, исследователями, теми, кто создает, кто движет вперед науку и чаще всего бывает поглощен именно исследованиями, а не их осмыслением), — этой отправной точкой была великая и драматическая теория относительности, потрясшая все здание науки, каким оно представлялось людям моего поколения в годы их юности.

В ту пору мы безбоязненно и пассивно полагались на систему понятий, неспешно и последовательно выработанных в течение веков на основании чувственных данных, которые позволительно назвать антропоморфными. Прежде всего под общим названием физики сформировался сгусток дотоле фрагментарных, обособленных и разобщенных знаний, включивший в себя факты, сопоставимые в том отношении, что все они были получены с помощью того или иного органа чувств. Оптика была порождена зрением. Акустика — слухом. Понятие о теплоте — осязанием и мышечным напряжением. Более сложной была механика, наука о движении тел, воспринимаемом как зрением, так и мышечным чувством, — наука, сочетающая в себе, таким образом, чувственные данные различного происхождения. Наука более сложная, но развивающаяся быстрее других, — возможно, в силу

того, что она способна принести больше ощутимой пользы. Люди интересовались ею из соображений практического и технического порядка: она помогала им строить машины — лесопилки, например, или ветряные мельницы, разрабатывать все более и более сложные проблемы гидравлики, создавать и постоянно совершенствовать огнестрельное оружие, в частности, пушки, отливка которых требовала решения все более и более сложных баллистических задач. Другие области физики, явная практическая выгода которых была менее ощутима, развивались медленней. Больше всего отставали ее новые отрасли, связанные с электричеством и магнетизмом, в которых все или почти все ускользало от прямого наблюдения посредством органов чувств.

Не берусь описывать — это было бы и нелегко, и в конечном счете бесполезно для моего изложения, — каким образом механика стала мало-помалу завоевывать и подчинять себе все эти различные области физики. Сначала она овладела акустикой, объяснив слуховые ощущения с помощью вибрации. Затем учредила небесную механику, обусловив движение звезд теми чисто человеческими законами, которые родились в головах наших предков на основании их собственных мускульных усилий. Потом она распространила свои методы и законы на всю область учения о теплоте — на всю область учения о жидкостях и газах. И хотя оптика, магнетизм, электричество сумели выстоять, но считалось, что дни их независимости сочтены; можно было заранее праздновать всеобщий и неоспоримый триумф картезианской физики, мировой геометрии; самые грандиозные надежды вот-вот должны были сбыться, все предрекали, предсказывали, провидели неминуемый и победный рывок, окончательно сводящий психику к физике, — и мы, историки, чувствовали себя как нельзя лучше в этой онаученной вселенной, каждый уголок которой, как нам казалось, был уже пронумерован и расчислен, как вдруг грянула революция. Единая революция, свершавшаяся в два этапа: сначала неожиданным образом обнаружилось, что электричество, магнетизм и даже оптика и не думают поддаваться заранее предсказанному и уже отпразднованному захвату. А вслед затем явный разлад между механикой, разработанной Ньютоном на основании наблюдений Коперника, и электродинамикой, основанной Максвеллом на основании опытов Ампера и Фарадея, уступил место чудодейственному синтезу, который, по-новому пользуясь извечными понятиями Времени, Пространства и Массы, объяснял целиком всю физику и связал в пучки законов те факторы, что оставались разрозненными при владычестве прежних концепций.

В области биологии свершалась тем временем аналогичная революция — революция, порожденная микробиологией; в ходе исследований зародилось понятие об организмах, состоящих из огромного числа клеток порядка тысячных долей миллиметра.

И тогда как живые организмы, наблюдаемые невооруженным глазом, все более и более принимали обличье физико-химических систем, организмы, изучаемые микробиологией, оказывались системами, к которым почти неприложимы механические законы, понятие о тяжести и т. д. Эти организмы не поддавались объяснению в свете теорий, возникших в ту пору, когда ученым казалось, будто органическая природа, по крайней мере в элементарных своих проявлениях, также подчиняется законам классической механики. Организмы, открытые микробиологией, оказались системами, не обладающими собственным сопротивлением, системами, в которых больше пустот, нежели заполнений, системами, которые по большей части являлись всего лишь участками пространства, пронизанного силовыми полями. Таким образом, человек резко изменил всю картину мира. Перед ним, с одной стороны, предстали организмы, подобные его собственному телу, видимому невооруженным глазом, осязаемому с помощью простого прикосновения; организмы, наделенные сложными механическими системами — вспомним хотя бы о кровообращении, — к которым, как и прежде, были вполне приложимы законы классической механики, основанные на евклидовой геометрии. Но с другой стороны, перед ним предстали миллиарды клеток, составляющих этот организм, всю огромность и всю сложность которого мы не в силах себе представить. Процессы, происходившие на клеточном уровне, постоянно вступали в противоречие с тем, что происходило на уровне наших чувственных восприятий. Органические структуры, столь внезапно открывшиеся нашему взору в ходе недавних исследований, противоречили так называемому здравому смыслу, не уместались в его рамках. Пустоты, из которых они были сотканы, приучали биологов к тому понятию дискретности, что внедрялось в это же время в физику вместе с квантовой теорией: умножая неразбериху, уже внесенную в научные представления теорией относительности, квантовая теория ставила под вопрос извечную и традиционную идею причинности и тем самым опрокидывала понятие детерминизма, это неоспоримое основание всякой позитивной науки, этот несокрушимый столп старой классической истории.

Таким образом, от одного толчка рушилось целое представление о мире, выработанное в течение веков поколениями ученых, — представление о мире абстрактном, обобщенном, заключающем в себе свое объяснение. Познания наши внезапно превысили меру нашего разума. Конкретное вдребезги разбило рамки абстрактного. Попытка объяснения мира с помощью ньютоновской, или рациональной, механики окончилась полным провалом. Старые теории необходимо было заменить новыми. Следовало пересмотреть все научные понятия, на которых покоилось до сих пор наше мировоззрение.

Здесь было бы слишком долго вникать во все подробности этого пересмотра. Заметим лишь, что он оказался всеобъемлющим. Пересмотру подверглись концепции исторического факта, научного закона, случайности, равно как и понятие о науках в общем и целом — о Науке с большой буквы. Понятие о науках, подвергнутых иерархической классификации, — именно так представлял их себе некогда Огюст Конт — страдало двойным пороком. Он состоял в непонимании глубокого единства научной работы и в намеренной подмене фактического ее состояния состоянием желаемым. Благодаря ему, например, на вершину знаний были возведены геометрия и чванливая механика, которые, взаимно угождая одна другой и кичась своим совершенством, диктовали свои законы прочим наукам — законы истинные, абсолютные, всемирные и необходимые как в качестве образца, так и в качестве идеала. Но что такое науки? Это участки земной коры, сотрясаемые сейсмическими толчками. Это потоки магмы. Открытия не внутри каждой из них, не в сердцевине, а на границах, на окраинах, на задворках — там, где происходит их взаимопроникновение. Вот что такое науки. Что же касается Науки с большой буквы, то она со своей стороны сближалась с Искусством и о ней можно было сказать в общем то же самое, что Бертло говорил в 1860 году об органической химии, основанной на синтезе. Опьяненный первыми ее успехами, он восклицал: «Химия сама творит свои объекты!» И добавлял: «Эта способность к творчеству, роднящая химию с искусством, резко выделяет ее в ряду естественных и исторических наук». Ибо эти науки, уточнял он, «получают объекты своих исследований со стороны, в готовом виде, независимо от воли и деятельности ученого», тогда как новейшая химия «наделена способностью создавать множество искусственных веществ, подобных веществам естественным и наделенных сходными свойствами». Устаревшее различие: ведь то, что некогда казалось ученым целью всех их усилий, то есть познание, все чаще и чаще стало уступать место пониманию; ведь современные ученые все чаще и чаще определяют Науку именно как творчество, являют ее нам в момент «создания своих объектов» и подчеркивают постоянное вмешательство в нее самого исследователя — его воли, его творческой активности.

Такова сегодняшняя научная атмосфера, не имеющая ничего общего с атмосферой той науки, что царил в пору моей юности. Та наука вкуче с постулатами, на коих она покоилась, поколеблена, раскритикована, стала достоянием прошлого. Ученые давно уже отреклись от основных ее положений, заменив их другими. В связи со всем этим позвольте мне задать один вопрос, один простейший вопрос: до каких же пор мы, историки, будем считать эти положения все еще пригодными для себя? И есть ли хоть какой-нибудь смысл в нашем упрямстве, если весь материал употребляемых нами научных понятий мы заимствовали у людей,

которые много десятков лет назад занимались науками в наполеоновском смысле этого слова, науками физическими и натуральными? Не пора ли заменить эти обветшавшие, устаревшие понятия новыми концепциями, более точными, более соответствующими современному положению вещей? Или по меньшей мере чистосердечно отречься от «наук» полувековой давности, не опираться на них в разработке и осмыслении своих теорий — ведь те науки давно уже отошли в область воспоминаний, превратились в призрачные тени. Вот в чем вопрос. Ответить на него — значит положить конец кризису истории. И если справедливо утверждение, гласящее, что все науки солидарны и взаимосвязаны, ответ напрашивается сам собой. Бессмысленно изречь его с торжественным видом.

Такова разветвляющаяся перед нами великая драма. Одна из великих драм. Ибо множество других — со всеми их завязками и развязками — свершается у нас на глазах, но мы не удосуживаемся уделить им хотя бы минуту внимания. «Ах, будь у меня время», — вздыхает каждый из нас. А как бы мне хотелось пересказать вам в качестве отступления и сравнения содержание одной трагедии, которую можно назвать «Трагедией Прогресса»! Как мне хотелось бы, чтобы перед вашими глазами предстали создатели и вдохновители сильных буржуазных обществ XIX века, которые основывали свое могущество на законах Разума, поддерживали это могущество с помощью чисто рационалистической философии, а потом, к концу XIX века, когда выявились трудности, связанные с разделом мира, когда организованные массы стали все более и более настоятельно требовать повышения жизненного уровня, внезапно и резко изменили свои взгляды, выбросили этот самый Разум за борт и в тот момент, когда их жизнь попала в зависимость от техники, от порождения той самой Науки, которую их отцы превозносили, называя Прогрессом, — от порождения, не только отказавшегося служить им, но и поработившего их, — перестали верить в Науку и в Прогресс и возопили об их крахе... Воистину патетическое противоречие, которое, однако, разрешается довольно просто, если принять во внимание, что эти люди были поработаны собственными техническими достижениями лишь потому, что перестали верить в человеческую ценность Науки. Когда никакая высшая цель не влечет людей за край привычного горизонта, их целями становятся средства, а сами они из свободных людей превращаются в рабов.

Великий урок нам, историкам. История — наука о человеке, не будем забывать об этом. Наука о непрерывных изменениях человеческих обществ, об их постоянном и неизбежном приспособлении к новым условиям существования — материальным, политическим, моральным, религиозным, интеллектуальным. Наука о тех соответствиях, о том равновесии, которое во все эпохи само собой устанавливается между различными и одновременными

условиями человеческого бытия: условиями материальными, условиями техническими, условиями духовными. Именно таким образом история обретает дорогу к жизни. Именно так она перестает быть надсмотрщицей над рабами, стремящейся к одной убийственной (во всех смыслах этого слова) мечте: диктовать живым свою волю, будто бы переданную ей мертвыми. И поскольку я счастлив знать, что в этом зале собрались молодые люди, решившие посвятить свою жизнь историческим исследованиям, я говорю им со всей определенностью: чтобы творить историю, повернитесь спиной к прошлому. Прежде всего — живите. Вмешивайтесь в жизнь. Во все многообразие духовной жизни. Историки, будьте географами! Будьте правоведами, социологами, психологами; не закрывайте глаза на то великое течение, которое с головокружительной скоростью обновляет науки о физическом мире. Но живите также и практической жизнью. Не к лицу вам, лениво сидя на берегу, смотреть на разбушевавшееся море. А если вы окажетесь в бурю на борту корабля, не уподобляйтесь ни Панургу, страдающему от морской болезни, ни даже доброму Пантагрюэлю, который, вцепившись в мачту, обращает взор к небесам и творит молитвы. Засучите рукава, как брат Жан. И постарайтесь помочь матросам<sup>6</sup>.

И только-то? Нет. Все это ничему не послужит, если действия ваши не будут увязаны с мыслями, а ваша жизнь историка — с вашей человеческой жизнью. Не существует никаких перегородок, никаких барьеров между действием и мыслью. История не должна вам казаться сонным кладбищем, по которому бродят одни только бесплотные тени. Вам нужно ворваться в старый безмолвный дворец, где она спит вечным сном, — ворваться с бою, дыша жаром схватки, не успев стереть с лица ни пыли сражения, ни засохшей крови поверженного чудовища, — и, настезь распахнув окна, наполнить дворец светом и шумом, вдохнуть собственное дыхание, юное и горячее, в оледеневшие уста спящей красавицы...

Но единство мира — мира истерзанного, израненного, вызывающего о помощи — не восстановить посредством вмешательства извне. Каждому надлежит восстановить его в самом себе путем гармоничного сочетания глубокой мысли с бескорыстным действием, путем полнейшей самоотдачи: только таким образом сможем мы избавиться от гнетущих нас сомнений, обрести уверенность в своих силах и дать утвердительный ответ на важнейший вопрос, о котором я упомянул в начале моей лекции: «Имею ли я право?»

Прошу извинения за неожиданный оборот, который приняла моя беседа. Я обращаюсь прежде всего к историкам. Но если они сочтут, что такая форма речей историкам вовсе не пристала, я заклинаю их хорошенько поразмыслить перед тем, как бросить мне в лицо подобный упрек. Ему нет оправдания.

История — такое же ремесло, как и все остальные. Она нуждается в добросовестных мастеровых, в опытных подрядчиках, способных выполнить работу по плану, составленному другими. Нуждается она и в хороших инженерах. И они-то должны смотреть на вещи отнюдь не с высоты фундамента. Они должны уметь составлять планы, обширные планы, всеобъемлющие планы, осуществлением которых займутся в дальнейшем добросовестные мастеровые и опытные подрядчики. А чтобы составить обширный и всеобъемлющий план, необходимо обладать широким и ясным умом. Трезво и зорко смотреть на вещи. Работать в согласии с ритмом своего времени. Ненавидеть все мелкое, узкое, пошлое, отжившее. Одним словом, нужно уметь мыслить.

Не постыдимся признать, что именно этого умения как раз и не хватает историкам последнего полувека. Именно это умение должны они теперь обрести. В противном случае на вопрос: «Стоит ли заниматься историей?» — вам вслед за мной придется со всей определенностью ответить: «Нет». Не растрачивайте же впусту собственную жизнь. Вы не имеете на это права. В следующий раз я постараюсь показать вам, что широкий и ясный взгляд на соотношения, связывающие историю с другими дисциплинами, несколько не может помешать вам в разработке ваших конкретных задач — совсем наоборот! И если последующие мои лекции покажутся вам, будущим историкам, более интересными, придутся вам по вкусу больше, чем это вступление, я все-таки попрошу вас не забывать о той простой истине, что все в мире взаимосвязано. И что для архитектора солидная общая культура, пожалуй, более полезна, чем овладение практическими навыками простого каменщика.

Вот и все, что мне хотелось сказать вам сегодня — сказать прямо, без обиняков. И спасибо за то, что у вас хватило терпения меня выслушать.



# ЛИЦОМ К ВЕТРУ

## МАНИФЕСТ «НОВЫХ АННАЛОВ»

«Анналы» не переставали выходить с 1929 года.

Какие бы бедствия ни обрушивались на Францию и на весь мир, «Анналы» ни на один год не прерывали своей деятельности, преследующей двойную цель: развитие науки и образования.

«Анналы» продолжают выходить. В новой обстановке, с новыми рубриками. И под новым названием.

Откуда эта любовь к переменам? Сначала вы назывались «Анналами экономической и социальной истории». Затем — «Анналами социальной истории». А теперь — просто «АННАЛАМИ», правда, с длинным подзаголовком: «Экономики, Общества, Цивилизации».

Мы могли бы ответить, что изменения эти были отчасти непредвиденными, случайными. Но к чему извиняться? Создавая в 1929 году «Анналы», мы с Блоком прежде всего хотели, чтобы издание это было *живым*, — и я надеюсь, что те, кому придется продолжить наши усилия, не изменят нашим заветам. А жить — значит изменяться.

Мы восхищаемся — да и нельзя не восхищаться — теми солидными журналами, чьи комплекты высятся в той или иной области знания со спокойной уверенностью, с равнодушной невозмутимостью египетских пирамид. Они были. Они есть. Они будут. Издалека они кажутся истинным воплощением величия. Но, в конце концов, пирамиды — не что иное, как гробницы. В их тяжелых недрах заключен иссохший труп какой-нибудь знаменитости. Так да здравствует же бетон и прозрачное стекло! А когда и эти материалы перестанут отвечать новым потребностям, отбросим их прочь без малейших колебаний и сомнений. Нужно перестраиваться. Нужно меняться. Нужно брать пример с тех больших американских городов, которые каждые десять лет меняют кожу, заново отстраиваются.

«Анналы» изменяются, потому что все изменяется вокруг них: люди, вещи — словом, весь мир. Тридцать восьмой год не похож на двадцать девятый. Что же говорить о мире сорок второго или сорок шестого года — где найти истинные и, стало быть, действенные слова для его описания?

Ибо наше движение сопровождается трагической мелодией развалин. Мы минуем мертвые электростанции, виадуки и мосты, городские кварталы и деревни, которые не откликаются на наш призыв. И мы, тревожно вглядываясь в будущее, шепчем: «А что, если атомная бомба... От мира и без того остались одни развалины...» Развалины? Но есть вещи и посерьезней развалин. Например, чудовищный рост скоростей, который, сталкивая континенты, упраздняя океаны, сбрасывая со счета пустыни, приводит к неожиданным контактам человеческих групп, заряженных проти-

воположным электричеством и вплоть до сего дня склонных «взаимно сохранять дистанцию» как в моральном, так и в физическом смысле этого выражения... И вдруг — внезапный контакт, короткое замыкание!

Вот где таится угроза для нашего мира. Осознать ее — насущная необходимость. Тот, кто видит вокруг одни развалины, скоро утешится: «Терпение... Еще год-другой, пусть даже десяток лет, и все наладится. Вновь откроются станции метро. Виадукы будут восстановлены. И в овощных лавках появятся бананы». Что за необоснованная уверенность!

Наряду с первым существует и второй взгляд на увеличение скоростей, взгляд не менее ошибочный и опасный. «Прежде всего — проблема связи. Она уже решена в рамках отдельных государств. Мы работали над ее разрешением в масштабах материков. А со временем разрешим ее в масштабах целой планеты. Необходимы лишь время, труд и материальные средства. Особенно — материальные средства». Иллюзия, свойственная инженерам. А также политикам, окруженным чиновниками с техническим образованием, которые считают себя вправе управлять людьми только потому, что досконально вы зубрили алгебру.

Конечно, существуют и технические проблемы. И проблемы экономические. Но для будущего человечества важна одна лишь проблема — человеческая. Та самая, что предстала передо мной во всей своей новизне и неотвратимости в 1932 году, после посещения Колониальной выставки. Тогда я сформулировал ее так: «История обращает свой взгляд на город, размышляя над теми явлениями, которые уже послужили причиной общественных потрясений, над двойственным характером изменения дистанции между расами и народами. Материальные дистанции что ни день сокращаются; но другие дистанции, моральные, огромны и, быть может, непреодолимы». В этом вся драма. Драма цивилизации. Она уже намечалась в тридцать второму году. Она разыгрывается в сорок шестом.

«Мы, цивилизации, знаем теперь, что мы смертны». Эта фраза, написанная Полем Валери в конце двадцатых годов, наделала в свое время немало шума; однако историкам истина эта не могла показаться чересчур новой. Старина Балланш, если вспомнить только его одного, сказал буквально то же самое еще в 1817 году; в том и в другом случае изречение принадлежало людям, только что пережившим эпоху катастроф. Но Балланш еще простительны подобные речи — он был гражданином той горделивой Европы, которая, несмотря на сарказмы Фурье, ощущала себя единственным оплотом цивилизации и открыто заявляла об этом. А Валери? В те времена, когда писался «Взгляд на современный мир», проблема состояла уже не в том, чтобы осознать, что *наша* цивилизация, которую мы продолжали называть Цивилизацией с большой буквы, обречена на гибель. В самом выражении «обре-

чена на гибель» есть оттенок спокойного величия и естественной ясности. Проблема состояла не в том, чтобы осознать, что наша цивилизация должна умереть насильственной смертью. Нужно было понять, что за цивилизация установится завтра в новом мире, который уже зарождается в плавильном горне истории.

Ибо та или иная цивилизация может погибнуть. Но Цивилизация как таковая — бессмертна. Она — воплощение присущего людям порыва к самопреодолению, трамплин для нового взлета. Но до настоящего времени люди осуществляли величайшие из своих свершений исключительно в узких рамках отдельных общественных групп. Создаваемые ими цивилизации были цивилизациями племен, народов, целых материков или частей материков. То были замкнутые, ограниченные образования. А завтра, если только не случится какой-нибудь катастрофы, они впервые в истории если и не сольются тотчас во всемирную цивилизацию, цивилизацию землян, распространившуюся на всю ойкумену, — то по меньшей мере превратятся в одну или две межконтинентальные цивилизации, вобравшие в себя множество локальных культур и готовые к тому, чтобы столкнуться и поглотить одна другую.

Какими будут этапы этого грандиозного процесса? Какими будут его первые частичные успехи? На каких последовательных уровнях они осуществляются? Какой вклад внесут в это общее дело неевропейские народы? Что останется от нашей цивилизации в этих новых структурах мирового порядка, которые мало-помалу заменят ее? Будущее полно тайн. Как хотелось бы предвидеть его или хотя бы предугадать...

«Все это — пустые бредни. Особенно если они исходят из уст историка...» А из чьих же, по-вашему, уст должны исходить подобные рассуждения об Истории? Вспомните, что происходило в Европе в VI—X веках? Такая же битва цивилизаций, полная несказанных конвульсий, потрясений, резни, пожариц, то затишающих, то вспыхивающих с новой силой. Варвары против римлян, северные народы против средиземноморских, азиаты против европейцев — цивилизации поглощали и переваривали одна другую. А в результате возникла юная и свежая христианская цивилизация средних веков, то самое новшество, которым мы только и жили еще вчера. Которым мы дышим и по сей день. Чем же в таком случае являются мои «предсказания»? Взглядом в прошлое, только и всего.

Уже теперь ясно одно: и нам, и нашим детям нужно приспособиться — не сегодня, так завтра — к жизни в непрестанно меняющемся, зыбком мире.

Великая работа началась. И она не остановится, сколь бы долгими ни были перерывы и передышки. Страховые компании, ликвидируйте личные страховки! Прошли те времена, когда отцы семейств вкладывали в ваши копилки сотню-другую монет на имя

своих сыновей, чтобы те через двадцать лет получили взнос вместе с прибылью. Займитесь лучше страхованием от пожаров, основательно обновив его методику. И страхованием от грабежей...

Ибо нас ожидают великие опасности. Хныкать и жаловаться бесполезно. Необходимо приспособливаться. И прежде всего — не теряться. Каждый день заново разбираться в своем положении. Определять свое место во времени и пространстве.

В пространстве, которое иначе мы называем Вселенной. Миллиардный шарик, затерявшийся среди миллионов других в одном из закоулков Млечного Пути, уже становится тесным для наших творческих дерзаний. Мы впервые начинаем осознавать всю его крохотность. Он был велик, пока его мерили туазами. Поубавился в размерах, когда счет пошел на километры<sup>1</sup>. А при скорости современных самолетов — обратился почти в ничто. Пассажир, улетающий утренним рейсом из Карачи, пьет свой чай в Лондоне уже в 16 часов. И случайно ли, что, соскучившись на своей планете, где для нас не осталось ничего не известного, мы вот уже добрый десяток лет грезим о ракетах, о полетах в бездны пространства, к той бледной Луне, которую мы в конце концов непременно достигнем?

Да, какой маленькой, жалкой, лишенной тайн внезапно показалась нам скромная наша планета! На которой, однако, все мы — белые, желтые и черные — должны волей-неволей продолжать свое существование. Это — Дом человечества, чей устав, вывешенный в вестибюле, гласит: «Любое нарушение карается смертью».

Дом с сотнями квартир, дом с тысячами комнат. Но нам нужно знать их все, ибо теперь достаточно двух шагов по коридору, двух секунд пребывания в лифте, чтобы желтый мог войти к белому, а белый — к черному. С автоматом в руке или с рюкзаком, набитым продовольствием: таковы два аспекта новейшего интернационализма.

Познать устройство этой Вселенной, разобраться в обстановке этих помещений, полных как различных товаров, так и сил, до сих пор не подвергнутых учету, причем осуществить все это с единственно возможной позиции — позиции человечности, — вот первейшая задача европейца сорок шестого года. А в чем состоит вторая? Определить свое отношение не только к тем обществам, которые обитали в нашем собственном жилище до нашего рождения, но и ко всем тем, что предшествовали теперешним жильцам остальных помещений Дома человечества, — обживали их, оставляли кое-какую обстановку своим наследникам, завязывали отношения с нашими собственными предками. Пространство — первая из наших координат, Время — вторая. Воспользуемся же формулой Гюстава Моно, реформатора нашей высшей школы, чтобы дать определение цивилизованному человеку сорок шестого года: «Это человек, сознающий свое положение в

пространстве и во времени и способный передать другим цивилизациям то, участником и свидетелем чего был он сам. Это человек, который вместе со знанием определенного числа важнейших исторических событий, — знанием, усвоенным как в начальной, так и в обновленной высшей школе, — обрел известный опыт, приобретающий его к жизни и смерти цивилизаций...»

Выражаясь яснее, скажем: Пространство принадлежит географии, Время — истории.

Иные точки зрения имеют, разумеется, своих защитников. «А вы посмотрите-ка на соседа, — скажут мне, историку-гуманисту. — От него исходит опасность. Пусть даже он не желает вам зла, но все люди на планете — белые, желтые, черные — соприкасаются теперь так тесно, что малейший толчок, произведенный одним, тотчас передается другим. Все имеют касательство друг к другу. Но касательство — не значит братство. Сколько вокруг нас чужаков, сколько подозрительных соседей! Одним словом — сколько разных людей!»

Да, — отвечу я, историк-гуманист, — именно людей. Но вместо того чтобы коситься на других, последуйте призыву Сократа и всмотритесь в самих себя. Осознайте сокрытую в вас человеческую суть. Неизменную во все века, при всех цивилизациях. Человек всегда остается человеком, со всеми его достоинствами, озарениями, высокими порывами. Меняются только внешние формы, только обличье. Человек, зависящий от обстоятельств, недостойн внимания. В нем нет ни величия, ни постоянства. Он, самое большее, живописен. Стремитесь же к Человеку вечному. Пусть юноша постарается выявить его в себе. А взрослый человек — закрепить выявленные черты: силу, гордость, основательность, способность противостоять давлению извне, волю, которую невозможно сокрушить...

Вечный человек? Но разве именно этой прекрасной химере, скроенной по всем академическим канонам (отберите десяток красавцев, у одного возьмите плечи, у другого — ноги и т. д.), мы не пытаемся всеми силами противопоставить живых людей? Разве все мы, молодые «гуманитарии», специалисты в области психологии, человеческой экологии, этнографии, фольклора, социологии, не говоря уже об истории, — разве все мы, включая хирургов школы Лериша<sup>2</sup>, которая с каждым днем становится все более человеческой, заботящейся прежде всего о человеке, не стремимся отделаться от этой химеры?

Разве лет тридцать назад географы не любили разглагольствовать о «Человеке» и его земных делах? И не мы ли приучили их говорить исключительно о человеческих обществах и об их героических усилиях по приспособлению к окружающей среде — усилиях, которыми объясняется конечный успех этих существ, столь скудно вооруженных природой, столь хрупких и уязвимых и тем не менее обживших теперь весь или почти весь земной

шар — от Полярного круга до Экватора, от Гренландии до Конго? Разве все наши старания не направлены к тому, чтобы уловить их в процессе труда, постичь их упорные и величественные усилия, которых они не оставляют с тех пор, как появились на Земле, — усилия, направленные на то, чтобы закрепиться в самой неблагоприятной среде, изменяя и преобразовывая ее, используя малейшие возможности для отвоевания все большего пространства, чтобы с честью выполнить свою роль, чтобы жить — жить во всей человеческой полноте этого прекрасного слова?

«Всмотритесь в самих себя». Но когда мы нисходим в собственные глубины, когда мы ищем в них самих себя, мы с удивлением обнаруживаем там не академическую химеру во всем совершенстве ее абстрактной наготы, а бесчисленные следы, оставленные нашими предшественниками, потрясающие свидетельства былых веков, древние верования, давнишние формы чувств и мыслей, которые каждый из нас, сам того не зная, наследует в миг своего рождения. И которые открываются ныне историкам даже в сознании Перикла, Фидия, Платона — открываются ценой некоего святотатства, до сих пор неодобряемого гуманитариями старой закваски. Ибо подобные открытия, в сущности, не очень-то нам по душе. Они оскорбляют наше достоинство. Они принижают нас в наших собственных глазах. Но ничего не поделаешь — факты налицо. Вспомним хотя бы, что подчас под влиянием бурных эмоций — индивидуальных, а чаще всего коллективных — в нас внезапно разверзаются древние бездны и проступает наружу дикарская первооснова, унаследованная от предков, вызывающая панику, вселяющая неистовство в толпу, овладевающая нами до такой степени, что мы превращаемся в «одержимых».

Всмотримся же в самих себя. Сколько находок может обнаружить археология человеческих мыслей в той последовательной смене слоев, что составляют первооснову нашего сознания! Это наследие, завещанное нам предками. И мы должны принять его безоговорочно. Ибо мертвые все еще сохраняют власть над нами, живыми.

Итак, скорее за дело, историки! Довольно бесплодных споров. Время бежит, время торопит нас. Вам, быть может, хотелось бы передохнуть? Но отдыхать некогда — каждому надлежит разгрести сор у собственного порога. В этом-то и состоит ваша задача. Мир подталкивает вас, лихорадочно дышит вам в лицо. Он не оставит вас в покое. Ни англичан, ни американцев, ни русских, ни ливанцев, ни сирийцев, ни арабов, ни кабилов, ни грузчиков из Дакара, ни боев из Сайгона<sup>3</sup>. Какое уж тут спокойствие! Ведь вы составляете единую массу. Вас теснят, на вас напирают, вас толкают люди, не обучавшиеся хорошим манерам. Вашим хорошим манерам, которыми вы так кичитесь, хотя всем известно, во что они обращаются при малейшем испытании. Соседи наступают вам на ноги: «А ну, подвинься, уступи мне место!» Что же

делать? Скорчить недовольную гримасу: «Но послушайте, господин...» Да ведь он просто-напросто расхохочется вам в лицо, этот господин Кабил, господин Сенегалец, господин Тонкинец, — и как следует, по-братски, двинет вас локтем в бок. Чем вы на это ответите? Танками, пушками, самолетами? Но всего этого добра достаточно и у них. Вы сами его им продали. А к тому же их слишком, слишком, слишком много... Стало быть, остается только засеять земной шар атомными бомбами — методично, километр за километром, квадрат за квадратом? Нечего сказать, и впрямь прогрессивный способ самоубийства — но ведь есть и более привычные, они обходятся дешевле..

Со вчерашним миром покончено. Покончено раз и навсегда. И мы, французы, сможем извлечь выгоду из создавшегося положения, если быстрее и лучше других осознаем эту очевидную истину. Если перестанем цепляться за обломки погибшего корабля. Если бесстрашно пустимся вплавь. Та фактическая солидарность, которая связывает сегодня всех потерпевших кораблекрушение, а завтра объединит и все человечество, должна благодаря нашим усилиям превратиться в солидарность, основанную на труде, взаимобмене, свободном сотрудничестве. Мы потеряли все или почти все свои материальные блага. Мы не потеряли ничего, если сумели сохранить разум. Так объясним же всему миру, что он собой представляет.

Объясним с помощью истории. Но какой? Той, что «романизирует» жизнь Марии Стюарт? <sup>4</sup> Той, что «проливает свет» на шевалье д'Эона и его галантные похождения? <sup>5</sup> Той, что в течение полувека исследует два последних сегмента четвертой пары чьих-то конечностей? Простите, я что-то перепутал.

Нет, теперь нам недосуг всем этим заниматься. Слишком много историков — получивших прекрасное образование и, что самое худшее, мыслящих — все еще пережевывают уроки своих дедов, победенных во франко-прусской войне. Спору нет, они работают не за страх, а за совесть. Трудятся над историей столь же прилежно, как их бабки трудились над своими вышивками. Стежок за стежком. Но если спросить их, в чем же смысл всей этой работы, они в лучшем случае с простодушной детской улыбкой ответят вам словами старика Ранке: «В том, чтобы узнать, как все это происходило». Во всех подробностях, разумеется.

У нас нет больше ни времени, ни права всем этим заниматься. В 1920 году, двадцать шесть лет назад, впервые получив собственную кафедру в университете только что освобожденного Страсбура, я — оставшийся в живых, но не забывавший о кладбищах, на которых тревожным сном спали два поколения, скошенные в расцвете сил, — не переставал задавать себе мучительный вопрос: в чем состоит мой долг?

Имею ли я, историк, право на то, чтобы вновь заняться историей? Чтобы посвятить ей и время и остаток сил в ту самую

пору, когда моих сограждан властно зовут к себе иные задачи? Имею ли право я, профессор, зажигать других своим примером, увлекать молодых людей на стезю, избранную мной самим? С каким же напряжением должны мы задаваться этими вопросами теперь, в эпоху куда более трагическую?

Хочу ответить напрямик, без колебаний. Да, заниматься историей нужно. В той мере, в какой она — и только она — помогает нам жить в теперешнем мире, потерявшем последние остатки устойчивости, жить не одним только чувством страха, не одной только мыслью об очередном повальном бегстве в бомбоубежище, не одной только заботой о том, как бы продержаться еще хоть несколько часов, как бы сохранить над головой зияющую дыраю крышу и проломанный потолок.

История не объединяет людей. История никого ни к чему не обязывает. Но без нее все лишается основы. Архитектору, строившему церковь Сакре-Кёр на вершине Монматра, пришлось сначала пробурить всю толщу холма — до уровня Сены. Песок, мергель, известняк: когда известно, что скрывается под облупленной поверхностной коркой, можно строить уверенно, с полным знанием дела. Геология, разумеется, не принуждает зодчего работать в неовизантийском или неоготическом стиле. Но какой бы стиль он ни избрал, она позволяет ему строить надежно, так, чтобы здание не рухнуло, простояв всего год. Так же обстоит дело и с историей. Она познает сама и делится своими познаниями. Она не пустой набор слов, благоговейно повторяемый каждое утро, а воистину непременная часть нашей духовной атмосферы. Такой она была всегда для Марка Блока и для меня здесь, в наших «Анналах». Такой останется она и завтра для наших друзей, которые будут помогать мне в осуществлении моих задач. История — это ответ на вопросы, которые неизбежно встают перед современным человеком. Это объяснение сложных ситуаций, в которые он попадает: зная их причины, он уже не будет действовать вслепую. Это напоминание о том, как решались сходные проблемы в прошлом, хотя, разумеется, они ни в коем случае не могут быть теперешними проблемами. Но сам процесс понимания того, чем прошлое отличается от настоящего, — это ли не лучшая школа гибкости ума для человека, вскормленного историей?

«Стало быть, вы стараетесь подчинить ее величество Науку тем проблемам, которые газетная братия именует актуальными?..» Ни в коей мере. У меня и в мыслях не было сравнивать историков с услужливыми дамами из бюро справок по телефону, которых каждый абонент вправе допытывать вопросами о том, сколько лет стукнуло той или иной знаменитости или какие знаки отличия приняты в перуанской армии. Но, с другой стороны, я не собираюсь возводить Фульгенция Тапира, описанного Анатолем Франсом<sup>6</sup>, в ранг Бога-Отца. Я требую у историков, при



ступающих к работе, чтобы они относились к ней не так, как это делал Франсуа Мажанди, учитель Клода Бернара: этот предшественник современной физиологии больше всего на свете любил, сунув руки в карманы, бродить среди россыпей редкостных и курьезных фактов, точь-в-точь — по его собственному выражению — как тряпичник бродит среди мусорных куч. Я требую, чтобы они приступали к работе так, как это делал сам Клод Бернар: уже имея в голове интересную гипотезу. Чтобы они не занимались коллекционированием фактов, не выуживали их наугад, как библиофил выуживает книгу с лотка букиниста. Чтобы они подавали нам историю не в механическом, а в проблематическом ее аспекте.

Только таким образом смогут они воздействовать на свою эпоху. Только так помогут своим современникам и согражданам осознать смысл драмы, действующими лицами и зрителями которой те должны стать или уже стали. Только так внесут свой вклад в решение проблем, волнующих людей их времени.

Исторический метод, филологический метод, критический метод — все это превосходные и точные инструменты. Они делают честь как их создателям, так и тем поколениям тружеников, которые получили их от своих предшественников и сумели усовершенствовать в процессе труда. Но одного умения действовать этими инструментами, одной любви к ним еще недостаточно, чтобы именоваться историком. Этого высокого звания достоин лишь тот, кто самозабвенно бросается в море жизни, окунается в него с головой, омывается в его волнах, проникается его общечеловеческой сутью — так он удесятерит свои творческие силы, свою способность к воскрешению прошлого. Прошлое, которое таит в себе сокровенный смысл человеческих судеб и с благодарностью открывает его историку.

# КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ НАУКИ

## ЗА ЕДИННЫЕ ЦЕЛИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

Коллективные исследования — вот формула, или, если угодно, программа, которая не могла бы удивить или шокировать ни биолога, ни физиолога, ни даже психолога; не показалась бы она необычной и более близким нашим соседям — географам-гуманитариям, антропогеографам, охотно прибегающим к такого рода «дознаниям». Но будучи отнесенной к истории, эта формула возмущает и шокирует большую часть людей, считающих себя историками, — по крайней мере, в такой стране, как современная Франция. Это неоспоримый факт. Нужно понять его, прежде чем попытаться объяснить.

Можно для начала воззвать к традиции. Когда на заре XX века я начинал заниматься историей, фирма Клио не питала пристрастий к коллективному труду. Она обходилась чудовищными *историями* старых архивных крыс, спешивших припрятать «открытые» ими связки документов, на целые годы изымавших эти документы из обращения, чтобы воспользоваться ими, когда подвернется случай. Время от времени приключались скандальные и в высшей мере смехотворные истории, связанные с «приоритетом» того или иного ученого; бывало и так, что мы становились взволнованными свидетелями состязания в скорости между двумя историками, работавшими над одной и той же темой, которые на всех парах (метафора тех времен, когда еще не было автомобилей) мчались к цели, норовя любой ценой обогнать один другого. Что за ребяческий индивидуализм! Не история была важна для этих людей, не развитие этой науки. А их собственная личность. Имя на обложке книги. Авторское самомнение.

Я недостаточно наивен, чтобы не понимать, что такое положение вещей — в слегка затушеванном виде, разумеется, — сохранилось и по сей день. Но оно является следствием, а вовсе не причиной. Оно основывается на твердо сложившихся убеждениях, противоположных с точки зрения чистой логики, но в конечном счете сходных. Одни убеждены в том, что история — это «не наука». Другие считают, что, будучи наукой, история тем самым воспрещает историку всякий отбор элементов исследования, всякие предварительные заключения (в форме гипотез или даже теорий) в период между появлением еще не обработанных документов и подачей их читателю. Не будем заниматься подробным рассмотрением этих противоречивых теорий. Причина их неизменного успеха в кругах историков объясняется, с одной стороны, полнейшим непониманием внутреннего единства, связующего между собой — нравится ли нам это или нет — все научные дисциплины, а с другой — абсолютным и высокомерным пренебрежением

к эволюции (или революции), которая свершается теперь во взглядах целых научных «корпораций» на то, что принято именовать «научной объективностью».

Попросту говоря, важно помнить вот что: Наука не разрабатывается в башнях из слоновой кости чисто личными и скрытыми от постороннего взгляда усилиями полубесплотных ученых мужей, живущих вне времени и пространства исключительно интеллектуальной жизнью.

Наука — я разумею под этим словом все Сообщество Наук — разрабатывается людьми, неразрывно связанными со своей средой и своей эпохой; это закон, обязательный как для математиков, физиков и биологов, так и для историков; это закон, распространяющийся равным образом на всех ученых, — закон, посредством которого осуществляется связь между их научной деятельностью и совокупностью всех остальных научных исследований данной эпохи <sup>1\*</sup>.

Иными словами, Наука не есть государство в государстве. Она неотделима от социальной среды, в которой разрабатывается. Она испытывает давление, нажим со стороны всевозможных обстоятельств, затрудняющих ее развитие. И вот почему, кстати сказать, история Науки представляет из себя вовсе не сумрачное и пыльное хранилище мертвых теорий и обветшавших понятий, а, напротив, живую главу общей истории человеческих мыслей: она в конечном счете описывает процесс приспособления духа к материи, процесс овладения людьми своей жизненной средой.

Из этого следует, что если за два последних десятилетия на всех естественных дисциплинах сказались последствия подлинной идейной революции; если на их глазах под воздействием внезапного и непредсказуемого прогресса физики обрушились все теоретические построения, разработанные в XVII—XIX веках целыми поколениями ученых; если конкретное сломало рамки абстрактного и попытка объяснения мира посредством «рациональной» механики завершилась полным провалом; если возникла необходимость в пересмотре всей совокупности научных концепций, на которых основывались до сих пор естественные дисциплины; если ни один существенный элемент этих концепций не избежал в конечном итоге пересмотра — ему подверглись понятия научного факта, закона, необходимости, обстоятельств, равно как и понятие о каждой из наук в частности и о Науке вообще, Науке, создающей объекты своих исследований при постоянном и

<sup>1\*</sup> Об этом, помимо отчетов заседаний Международной недели синтеза, особенно докладов по теме «Наука и закон» (Semaines Internationales de Synthèse. 5<sup>e</sup> semaine: Science et loi. P., 1934), см. интересный коллективный труд: A la lumière du marxisme. P., 1935, а также мои рассуждения по этому поводу: *Febvre L. Un débat de méthode: Techniques, Sciences et Marxisme // Annales d'histoire économique et sociale.* 1935. P. 615—623.

серьезном участии самих исследователей, — если все это так, то и история никоим образом не могла остаться в стороне от всех этих потрясений. Хочет она этого или нет, она вовлечена в них. Ей необходимо отделяться от багажа «научных» идей вековой давности, уже целиком и полностью отброшенных учеными, у которых она их некогда позаимствовала, — вздумай она упрямитесь, ее поднимут на смех. И если все науки и впрямь действуют заодно, история рискует выставить себя на всеобщее посмешище не за что ни про что — лишь для их удовольствия.

Чему же учат нас эти действующие заодно дисциплины, чей пример должен быть подхвачен историей? Весьма многому, а главное — тому, что любой научный факт «изобретается» ученым, а не дается ему в сыром виде. Что необходимо полностью пересмотреть взгляд на различие между наблюдением, то есть простым фотографированием действительности, и экспериментом. Что наблюдение ни при каких обстоятельствах не поставляет наблюдателю голых фактов. Что оно, в сущности, является созданием — как сами «точки зрения», которыми ученые пользуются для того или иного объяснения или доказательства теории. Что вследствие всего этого теряет силу затасканное возражение, гласящее, что «историк не имеет права отбирать факты», — ведь фактически любой ученый, кем бы он ни был, всегда стоит перед проблемой отбора, да и сама история есть отбор, ибо игра случайности может уничтожить то или иное свидетельство, тот или иной след прошлого, то или иное собрание документов — и сохранить другие. И наконец, что цепляться за старые предрассудки относительно подлинной ценности научной работы — значит следовать в русле самой истории нелепой и наивной вере в то, что, собирая факты «просто так», ради собственного удовольствия, в ожидании грядущего гения, который сумеет их обработать, мы совершаем некое благое дело. Сюда же, кстати сказать, относится и предрассудок, касающийся соотношений между историей и смежными науками, — предрассудок, некогда столь свойственный социологам (и весьма льстящий их самолюбию); согласно ему, историк — это просто-напросто чернорабочий, обреченный добывать из карьера и обтесывать камни; использовать же их для строительства вправе только социолог-архитектор...

Избавимся же раз и навсегда от наивного реализма ученых вроде Ранке, воображавшего, будто можно постичь факты сами по себе, так, «как они происходили». Мы видим и физическую и «историческую» реальность только сквозь формы собственного духа. Попытаемся же заменить устаревшую последовательность, традиционную схему исторических исследований (сперва установить факты, а затем начать их обработку) иной схемой, принимающей во внимание как сегодняшние технические приемы, так и практику будущего, которая начинает обрисовываться уже теперь. Историки не должны рассуждать как заправские логики,

более всего заботящиеся о последовательности и постепенности своего перехода от прошлого к сложному — перехода, в процессе которого они ступень за ступенью создают лестницу, ведущую от наипростейших к наивозвышеннейшим целям. Порядок наших исследований должен быть более органичным. И с этой точки зрения важнее всего разработка и неустанное внедрение в практику заранее обдуманых научных программ самого широкого размаха <sup>2\*</sup>.

Стало быть, в основе вашего подхода к науке лежат «теории»? — Должен признаться, что не нахожу в этом слове ничего предосудительного. На глаза мне попались недавно нижеследующие строки: «Теория — это мысленная конструкция, которая, отвечая нашей врожденной и властной тяге к познанию, призвана поставлять нам объяснения фактов. В этом отношении она является отражением самой Науки... конечная цель которой состоит не в открытии законов... а в осмыслении природных явлений». Кому же принадлежит это коварное высказывание? Кто этот подозрительный метафизик? Это биолог Энтона, цитируемый другим биологом, Фрэпоном <sup>3\*</sup>. Прошли, навсегда прошли времена, о которых тоскует Луи Лапик <sup>4\*</sup>, безнадежно устарели восторги бродячего тряпичника Франсуа Мажанди, восклицавшего: «Я брожу там словно тряпичник и на каждом шагу натываюсь на что-нибудь интересное, такое, что можно сунуть к себе в мешок». «Там» — значит внутри живого организма. «Там» для большинства историков, даже современных, — значит в лабиринте живой истории. Но Лапик противопоставлял восторгам Мажанди высказывание Даэстра; запомним его, оно пригодится нам, историкам, а «Наука» нас оправдает: «Когда не знаешь, чего ищешь, не понимаешь того, что находишь».

Может ли быть бессмыслицей и чушь для историка то, что пригодно для биолога, что в его глазах исполнено мудрости и смысла? И как может исследователь, намеревающийся работать в сложнейшей из областей, в области истории, бросаться в это предприятие очертя голову, без компаса и карт, в одиночку, уювая, как на бога, лишь на случайность? Ведь еще и сегодня на историческом попроче каждый устраивается где придется и начинает городить свой участок стены — у одних он побольше у других поменьше — из первых попавших под руку материалов, в выбранном наугад направлении, руководствуясь только собственной фантазией. А потом, потирая руки, восклицает: «Как много сделано для будущего дворца!» Но ведь это не так. Не сделано ровным счетом ничего. Когда хотят построить дворец, приглашают архитектора, поручают ему составить проект. И прежде всего

<sup>2\*</sup> См. в наст. издании «Суд совести истории и историка».

<sup>3\*</sup> *Fraipont Ch. Adaptations et mutations. P., 1932.*

<sup>4\*</sup> *Lapique L. L'orientation actuelle de la physiologie // Revue philosophique. 1930. N 9-10.*

расчищают строительную площадку от загромождающих ее несуразных сооружений. Итак, начнем сначала, с составления архитектурного проекта <sup>5\*</sup>.

Проекта, направленного на координацию усилий, — это главное. И на осуществление совместных действий. Итак, мы возвращаемся к проблеме «коллективных исследований», которую и не думали упускать из виду. Времена универсализма прошли. Везде, во всех областях. Нам говорят: «Жиар был последним из всесторонних натуралистов». Или: «Сильвен Леви был последним из всесторонних индологов». Спору нет, но что из этого следует? Что после смерти Александра империя его неминуемо должна распасться? <sup>1</sup> Иначе говоря, должны появиться люди, каждый из которых будет владеть лишь частью огромной империи, когда-то целиком принадлежавшей и подчинявшейся одному Сильвену Леви? Но разве это единственно возможный вывод? Я лично вижу и другой.

Сузить поле деятельности ученого — значит усилить «специализацию», сделать это бедствие непоправимым. А что, если оставить преемнику Александра власть над всей его державой, но при этом склонить его к сотрудничеству с пятью-шестью советниками — полководцем, дипломатом, казначеем, зодчим — так, чтобы ему пришлось лишь налаживать взаимосвязь между ними, намечать задачи, распределять обязанности?

Что, если историк удовлетворяется именно этой ролью, вместо того чтобы взваливать на себя все заботы — сначала собственно-ручно изготовлять орудия труда, затем производить отдельные детали и, наконец, прилаживать их одну к другой и пускать в дело? Ведь если он, избрав, исходя из приемлемых соображений, объект исследования, тщательно его ограничив, заранее определив, что именно требуется прежде всего установить (ибо следует отречься от ребяческих представлений о том, будто все может быть интересно для всех); если, покончив со всем этим, он подберет группу специалистов, состоящую (если речь идет, к примеру, о возможных и желательных исследованиях в области истории техники) из техника в собственном смысле слова, из химика, знакомого с историей своей дисциплины, из экономиста, на-

<sup>5\*</sup> Здесь позволительно не без гордости напомнить, что «Французская энциклопедия» (*Энциклопедия проблем, а не справок*) — в том виде, в каком она была мной задумана, — является самой значительной попыткой, когда-либо предпринятой во Франции и за ее пределами, сближения между собой не талантливых популяризаторов, а самих исследователей, «творцов» науки во всех ее областях, — попыткой осуществления непосредственного контакта между образованным читателем и этими людьми, которые, находясь на переднем крае математических, физических, биологических и иных исследований, черпают свои идеи не из чужих трактатов и учебников, а обретают их в ходе неустанной и каждодневной битвы с неизведанным, все глубже и глубже вторгаясь в его пределы.

деленного конкретным мышлением; если, отведя себе самому труднейшую роль, которая заключается в том, чтобы составить предварительные вопросники, сопоставить полученные ответы, извлечь из них элементы решения проблемы, организовать необходимые дополнительные исследования и, что важнее всего, определить соотношения данной проблемы со всей совокупностью исторических проблем того времени, когда она возникла; если, проделав весь этот долгий путь, который в конечном счете окажется куда более коротким, чем прежние окольные пути, он сумеет наконец превратить историю хотя бы в «науку постановки проблем», если не в способ их немедленного и уверенного разрешения, — тогда, я думаю, речь историка уже не будет ограничиваться заурядной ролью сочинителя «личных» книг; тогда никто не станет задаваться вопросом, что такое история — наука или искусство; тогда либо будет отказано в звании историка ученым авторам ученых трудов о женах Людовика XV<sup>2</sup> и о ядах, употреблявшихся семейством Борджа<sup>3</sup>, либо историк, уступив вышеупомянутым почтенным господам обесславленный ими титул, а заодно и основанные для них академические премии, без колебаний изберет себе новое звание, дабы не быть больше жертвой обидной и в конечном счете абсурдной путаницы.

И если мы хотим приблизить это время — а мы должны этого хотеть, — то наша первейшая задача состоит в том, чтобы прислушиваться к советам со стороны. Быть в курсе чужих достижений. Опирайтесь на опыт тех, кто в своей области уже организовал коллективные исследования.

# ИСТОРИЯ ИЛИ ПОЛИТИКА?

## ПРОТИВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КАК ТАКОВОЙ

ДВА РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1930, 1945

### I

«Дипломатическая история Европы» (1871—1914), которую группа квалифицированных французских историков под руководством Анри Озе недавно выпустила в издательстве «Пресс Университэр», не подлежит прямой компетенции таких журналов, как наши «Анналы». Однако не заметить появления такого труда — значит совершить по отношению к нему несправедливость и, более того, отказаться от постановки вопроса, который не лишен известного интереса.

Открывая эту книгу, заранее предполагаешь, что сам Анри Озе, рассудительный автор стольких исследований по экономической истории, постарался не забывать о том, что на смену прежней «политике придворных кругов и дворцовых кабинетов» постепенно приходит новая дипломатия, которая должна все больше и больше считаться с общественным мнением и с интересами отдельных групп населения. «Одного конфликта между рабочими той или иной страны, защищающими свой *standart of life*, и неквалифицированными зарубежными тружениками, довольствующимися мизерной заработной платой,— пишет он в своем обширном Вступлении,— теперь достаточно, чтобы восстановить одну нацию против другой». Спору нет, надо только открыть газеты, перелистать журналы. Торговые и таможенные соглашения, усилия по реорганизации финансовых учреждений и промышленных предприятий, банковские ссуды, выдаваемые и получаемые в обмен на те или иные экономические или политические выгоды,— таков, как в этом можно убедиться с первого взгляда, насущный хлеб теперешней дипломатии, которой, помимо собственной воли, приходится испытывать под давлением обстоятельств постоянный и прямой контроль со стороны избранных народом парламентов.

Ясное дело, что это преобладание экономики над политикой началось не сегодня и не вчера и что немало давнишних войн было, если докопаться до сути вещей, войнами за соль, перец или селедку,— кому это лучше знать, как не самому Анри Озе, автору превосходной книжки «Исторические корни экономических проблем», которую мы имели удовольствие отметить и похвалить потчас по ее выходе в свет? Но верно и то, что за последние полвека преобладание это становится все более и более явственным, вот несколько самых ярких его примеров: покупка правительством Дизраэли акций хедива Измаила явилась решающим



фактором английской политики в Египте начиная с 1875 года<sup>1</sup>; строительство Гератской железной дороги едва не стало причиной давно ожидавшегося столкновения между русскими и англичанами<sup>2</sup>; сущность Тройственного союза остается не совсем ясной, если забывать о прорытии Сен-Готардского тоннеля<sup>3</sup>; несомненно, наконец, что именно проблемами полезных ископаемых, горючего сырья, рынков сбыта и промышленных кредитов определились действия людей и стран, вступивших в войну в 1914 году.

Так вот, эти факты, явным образом зависящие от стечения обстоятельств, или, как их иногда называют, «сопутствующие», едва ли могущие из-за своей незначительности служить показателем скрытого, но постоянного давления экономики на политику, которое наряду с другими столь же важными обстоятельствами является одним из факторов, определяющих отношения между государствами, — эти частные и в какой-то мере анекдотические факты приводятся авторами «Дипломатической истории Европы» всегда к месту, подчас даже с излишней сдержанностью и краткостью; куда меньше эти авторы заботятся о том, чтобы пролить свет на скрытые силы, на тайные пружины, движущие людскими массами, — пусть они так и пребывают во мраке неизвестности! Ведь это «подспудные слои истории», как их именует автор Вступления. Они отрезаны от исследователей стеной предвзвешенного мнения, в силу которого историк дипломатии вправе использовать только сугубо дипломатические источники: всевозможные официальные «книжки» — синие, серые, желтые и красные<sup>4</sup>; подборки обнародованных национальных документов — хотя бы немецких и английских, так как французские еще не целиком рассекречены; добавим к этому переписку и мемуары действующих лиц и очевидцев событий — ведь они интересуются лишь поверхностной шелухой своей политико-дипломатической сферы... Но можно ли их за это упрекать? Их — нельзя. Людей — нельзя. А вот породившую их традицию — еще как!

На обложках каждого из двух томов «Дипломатической истории» значится нижеследующая формула: «Руководство по европейской политике». Стоит ли говорить, как она мне не нравится? Лучше сказать, что в ней с самого начала намечается известная ориентация, выражается известная концепция, закономерная сама по себе, но чересчур узкая. Та самая концепция, которую во Франции, начиная с 1892 года, выражали весьма известные некогда книги, выходившие в серии «Исторические руководства по зарубежной истории»; та самая концепция, которая, к нашему несчастью, мало-помалу восторжествовала в области образования. К нашему несчастью — я пишу именно так, как давно уже думаю, и не потому, что с профессиональной точки зрения считаю эти «руководства» плохими книжками, а потому, что они более других способствовали замене в сознании нескольких поколений студентов (многие из которых стали потом профессорами) праг-

матического понятия<sup>1\*</sup> «исторической политики» абстрактным понятием истории «отношений», иными словами, они были направлены против истории, которая стремится в какой-то мере (в той, в какой это вообще возможно) понять и растолковать другим истинные, глубокие и разнообразные причины тех великих движений человеческих масс, которые то приводят национальные коллективы к объединению и мирному сотрудничеству, то подталкивают их к противоборству, возбуждая в них яростные и смертоносные страсти.

Совершенно ясно, что причины эти не следует искать лишь в настроении, психологии и личных капризах «сильных мира сего», в запутанной игре соперничающих дипломатий. Есть более существенные причины: географические и экономические, социальные и интеллектуальные, религиозные и психологические. Я не забываю, разумеется, того обстоятельства, что, чем более историк углубляется в прошлое — в данном случае в прошлое современных европейских государств, — тем более он вынужден считаться с влиянием личностных факторов в той или иной политике, — ведь из исторических текстов явствует, что политика эта всегда проводится более или менее абсолютными владыками, а то и министрами, обладающими еще более абсолютной властью, чем их господа. Понятно и другое: тому, что можно назвать дипломатической техникой, следует отвести место, соответствующее ее значению. И наконец, не подлежит сомнению, что вовсе не бесплодны исследования, которые подчас ценой невероятных трудностей и самоотверженных критических усилий позволяют установить — с точностью до недели и дня, а то и часа или даже минуты — датировку дипломатических демаршей, сыгравших решающую роль в тех или иных событиях. Все это понятно, понятны и возражения, которые можно было бы мне высказать, пользуясь не противоположными, а дополнительными аргументами; и тем не менее я утверждаю, что назвать книгу «Историческим руководством по зарубежной политике» или, короче, «Руководством по европейской политике» — значит поставить эту политику над живой историей государств «из плоти и крови», государств, включающих в себя множество различных местностей, земель и вод,

<sup>1\*</sup> Сознательно прагматического, разумеется. Ср.: «В былые времена, когда народы вручали свою судьбу в руки царственных династий, отпрыскам этих династий, как мужского, так и женского пола, приходилось знакомиться с государственными архивами, дабы посредством изучения общественного права и осознания традиционных интересов государства подготовиться к обязанностям, которые их ожидали. Теперь же повсюду, где нация взяла верховную власть в свои руки, она сама обрела право давать своим сынам и дочерям подобные уроки» (*Bourgeois E. Manuel historique de politique étrangère. P., 1892. T. 1. P. 7*). Одни и те же уроки, составленные в одном и том же духе, основанные на одних и тех же соображениях, истекающие из одних и тех же принципов? В этом-то весь вопрос, и сочинение, которое мы цитируем, раз решает его, даже не успев поставить.

лесов и гор, государств, населенных людьми, ведущими определенный образ жизни, привыкших к определенному строю мыслей, чувств, верований, — причем все это сочетается в пропорциях столь изменчивых, что каждая страна обретает благодаря этому единственный и неповторимый облик; назвать книгу именно так — значит вознести надо всей этой живой реальностью неистребимую абстракцию «зарубежной» политики, «внешней» политики, «большой» политики (выбор формул велик) или даже политики «всеевропейской» — абстракция эта, парящая в небесах дипломатии, питается не вторичными интенциями, подобно Энтелехии доброго Рабле<sup>5</sup>, а королевскими капризами, имперским угаром и министерскими «великими замыслами».

Если же мне возражат: «Но ведь между реальными интересами народов и „большой“ политикой правителей и впрямь нередко наблюдается тот разлад, который вы так подчеркиваете», — я отвечаю, что в таком случае исследования, замалчивающие этот огромной важности факт, исследования, старающиеся показать, будто абстрактные системы различных дипломатий (тоже рассматриваемых как абстрактные сущности) выражают единодушные чувства, мысли и волю национальных групп, от имени которых говорят, пишут и действуют дипломаты, — в таком случае следует признать, что подобные исследования обходят стороной истинную проблему, единственную, которой им следовало бы заняться. К тому же я ограничиваюсь здесь лишь чисто научным аспектом спора. Будь у меня возможность взглянуть на все это с иной точки зрения, вздумай я заговорить о профессиональной подготовке и общем образовании иных авторов, — легко можно представить, что именно я им сказал бы. Грубейшее заблуждение — вот самая мягкая оценка, которую я могу дать действиям людей, маскирующих вышеуказанный разлад.

В заключение подытожим в нескольких словах суть этих замечок, свободных рассуждений по поводу труда, чья беспристрастность, искренность и связность достойны всяческого уважения.

Пресловутый *homo oeconomicus*, которого привечали радушной улыбкой благорасположенные к нему экономисты, ныне почти полностью изгнан из поля зрения серьезных исследований, сослан в те ледяные пустыни, где, подобно мыльным пузырям, наддуваются и лопаются всевозможные схоластические выдумки. Когда из этого поля будет окончательно изгнан и *homo diplomaticus* со всей его протокольной любезностью, со всеми его хитроумно разработанными формулами приветствий, со всей его омерзительной дикарской сущностью, выпирающей из-под румян наигранной вежливости, — тогда победа просвещенного разума над иссушающей рутинной будет обеспечена не только с чисто научной точки зрения (хотя именно она столь важна для нас, историков), но и с точки зрения сугубо практической: это доброе

дело поможет по-иному готовить молодых дипломатов к их будущей роли, а к тому же просто-напросто будет способствовать просвещению свободных граждан.

Наши прадеды знали политику, основанную на Священном писании. Но следует ли обучать наших современников политике, основанной на дипломатической истории в узком смысле слова? Здесь есть что оспорить; есть с чем поспорить. Я твердо убежден в том, что эта политика и эта история — вещи разные: история не занимается произвольным выделением воли или капризов руководителей из общей сферы интересов руководимых; история не имеет дела ни с дипломатией как таковой, ни с политикой, оторванной от экономики, ни с экономикой, не отражающей наряду с воздействием мощных природных и физических факторов не менее пылкую игру тех духовных или психологических сил, которые усматриваются (или угадываются) на фоне любых проявлений человеческой деятельности, подобно неутомимым и трескучим языкам пламени, пляшущим среди поленьев.

## II

Пятнадцать лет спустя. В малой серии Армана Колена вышла книга А. Рубо под названием «Вооруженное перемирие (1871—1914)». Мне как-то неловко ее критиковать. Ведь она написана с полным знанием дела, ее автор хорошо известен в университетских кругах, он привык к серьезной работе, черпает свою документацию из наилучших источников.

И однако этот труд затрагивает проблему такой важности, что его все же следует подвергнуть беспристрастному разбору.

Не будем останавливаться на заглавии. «Вооруженное перемирие» — это явление само по себе вполне заслуживает исследования. Но здесь речь идет вовсе не о таком исследовании, а о краткой сводке всей истории дипломатических отношений за период с 1871 по 1914 год, часто именуемый «эпохой вооруженного перемирия». Хотя, надо признаться, особого смысла в этом названии нет. Ведь мирный период после 1920 года был не менее «вооруженным», чем тот, что ему предшествовал. И мне совсем не кажется, что мирную эпоху после 1946 года можно считать чересчур «разоруженной». Важно другое: эта ясно написанная книга, снабженная по школярской моде множеством заголовков, подзаголовков, параграфов и сносок, является прямой противоположностью того, что мы в своих «Анналах» привыкли считать хорошей книгой по современной истории.

Ни слова о географии. Автор ни в коей мере не принимает во внимание ни труды французской географической школы, ни работы немецких геополитиков<sup>9</sup>. Что и говорить, лучше держаться подальше от этих германских сирен, однако особой заслуги в этом нет: нужно же по крайней мере знать об их существовании, если публикуешь в 1945 году оконченную пятью годами

раньше книгу, посвященную проблемам «международных отношений», которые разворачиваются отнюдь не в каком-нибудь безвоздушном пространстве. Приходится признать, что нашему автору полностью чуждо «чувство географии», столь ярко проявившееся, скажем, в трудах Жака Анселя, который с его помощью пытался обновить историю дипломатических отношений.

Ни слова об экономике. Точнее говоря — всего два-три загасканных слова, таких, как «экономика в запущенном состоянии»... А ведь мир все больше и больше волнуют именно экономические проблемы, именно они являются ставкой в борьбе противоборствующих сил.

«Где тут существительное?» — спрашивает учитель латыни у школьника, вникающего в смысл какой-нибудь фразы Цезаря. Окажись на месте этого школьника наш автор, он вместе со всеми остальными приверженцами обветшалой и злополучной «дипломатической истории» воскликнул бы: «Дипломатия!» Ну уж нет! Дипломатия — никакое не существительное. А дипломаты — отнюдь не прилагательные к этому существительному. Существительным в данном случае является весь Мир в период с 1871 по 1914 год.

Весь Мир, а не только Европа. Мир с его открытиями, свершениями, страстями. Ибо именно в те годы, что подаются нам в виде простого перечня дипломатических конфликтов, и зародился Мир как таковой. Этим я хочу сказать, что определенный образ жизни, дотоле ограниченный всего несколькими странами, несколькими местностями внутри этих стран, внезапно обрел мировое распространение — все жители Земли стали пользоваться всеми плодами людского труда, как духовными, так и материальными: общечеловеческая цель была намечена. Определена. К ней направлены отныне все наши стремления. Но для того чтобы ее достичь, необходим взаимобмен во всех областях...

Итак, существительным является весь Мир. Его страсти. Его потребности. Его прихоти. А при чем тут дипломатия? Она — всего лишь одно из средств, которыми пользуется этот дикий, неустроенный, бурный, страстный Мир, исполненный столь могучих сил, что они в любой миг могут вырваться из-под контроля тех, кто с величайшей осмотрительностью управляет ими; всего лишь одно из средств, которыми пользуется этот Мир, чьи основные движущие силы именуется капиталами, кредитом, промышленностью, куплей и продажей, — пользуется для утоления своих страстей, удовлетворения потребностей, исполнения прихотей. Всего лишь одно из средств. Есть и другие: откровенная и грубая военная сила; действующая исподтишка, всеразъедающая сила коррупции и пропаганды.

Закрывать на все это глаза, с безмятежным видом сообщать нам, что «сложная подоплека международных событий и, в частности, соображения, которыми руководствуются правительства,

покрыты мраком неизвестности, рассеять который в иных случаях не удастся никогда»; заниматься самогипнозом и пытаться за- гипнотизировать читателя анекдотическими ссылками на «соображения правительства»; не замечать истинных, глубоких, глобальных причин международных событий, причин явных и неоспоримых, — я имею в виду великие индустриально-технические революции, порожденные великими революциями в науке и, в свою очередь, порождающие революции в мировой экономике, — поступать так — значит заниматься игрой. Опасной игрой.

Когда наш автор, беря под защиту тайную дипломатию, с умилением вспоминает ее деятелей, всех этих здравомыслящих людей, работающих под строгим контролем ответственных министров, «недоступных страстям и утопиям», мне кажется, что он грезит наяву. «Недоступных страстям и утопиям?» А не вспомнить ли нам Лавала<sup>1</sup>, не вспомнить ли господ X, Y и прочих (не буду называть печально знаменитых имен) — разве не под их строгим, беспристрастным и неусыпным контролем так славно потрудились все эти дипломатические чиновники? Не буду продолжать. Эта мирная игра по маленькой накануне 1940 года, эта невинная игра, которая привела и нас, и наших дипломатов, и нашу дипломатию ко всем известному итогу, — не слишком ли она затянулась? До 1940 года можно было говорить, пожимая плечами: «Это неразумная игра». Теперь нужно сказать: «Игра, направленная против Франции». Мы не желаем больше играть в нее. Мы заявим об этом во всеуслышание, во весь голос. И будем повторять, неустанно повторять фразу Марка Блока: «Поражение Франции было прежде всего поражением разума и национального характера».

Франция, дотоле раздувавшая, возглавлявшая и направлявшая мировые революции, начиная с 1850 года отреклась от этой роли, сама того не заметив (а если и заметила, то лишь: возгордилась подобным открытием)<sup>2</sup>. Дело было в том, что свершилась революция иного порядка — материальная и французы, прикрываясь своей извечной философией умеренности, мудрости и осмотрительности, стали жить политикой, одной только политикой, ничем, кроме политики. «Долой монархию, да здравствует республика! Долой республику, да здравствует империя! Долой империю, да здравствует республика! Долой республику, да здравствует король!» — даже если под этим королем подразумевался всего-навсего какой-нибудь маршал<sup>3</sup>. Вот несколько сжатая, но точная история мыслей, владевших французами начиная с 1848 года. Мыслей и устремлений почти единодушных.

Тем временем механистическая цивилизация распространялась по свету — вал за валом, один яростней другого. Что же надо было делать? Прыгнуть в лодку, мужественной рукой схватить весло, возглавить события. По крайней мере в духовном смысле. Тут мы принялись искать Францию. И в конце концов

нашли ее — нашу милую маленькую Францию, столь мудрую, столь рассудительную, столь скромную, — в поношенном старомодном платьице она сидела в саду возле прелестного прадедовского домика и, заткнув пальцем уши, дабы ничего не слышать, читала и перечитывала своих старых классиков. Мастеров пресловутой французской умеренности.

Умеренности или посредственности?

Да, все это так трогательно. И смертельно опасно. Франция сделала свой выбор. Она выбрала катастрофу. Выбор этот никому не понятен. Мы искали Францию там, где ей надлежало быть. Но там ее не оказалось. Она играла в куклы, которые достались ей от бабушки. Играла с умным видом. С благоговением. Играла по-дурацки.

Что же, пора со всем этим кончать. Французы — и прежде всего те, кто берется поучать других, — должны взглянуть в лицо событиям. Так кто же правит Миром? Дипломаты? Политики? Или представители тех двух слоев новой элиты, которых описал в своей недавней книге Ж. Шапней? С одной стороны — работники духовной сферы, литературы, художники, моралисты; с другой — работники сферы материальной, промышленники и торговцы; несмотря на взаимную перебранку, которую они иногда затевают ради забавы, они являются союзниками, вот уже несколько десятилетий назад объединившими свои усилия ради совместного управления Миром.

«Поборники исторического материализма всегда стремятся преувеличить роль экономических факторов в международных конфликтах в ущерб факторам политическим и моральным», — заявляет наш автор на 212-й странице своей книги. Праведное небо, при чем же тут «исторический материализм»? И как понимать все эти простодушные метания из стороны в сторону: «Не подлежит сомнению... И тем не менее...»? Мир есть Мир. Вы скажете, что до войны 1914 года он был не совсем таким, каким стал в период между 1920 и 1940 годами. Согласен, но ведь и в эпоху «вооруженного перемирия» он стал уже не тем, чем был в промежутке между 1848 и 1871 годами. Так в чем же причина всех этих перемен? В политике? В морали? Нет! Причина — в экономике. Это самоочевидно.

И я повторяю: заявить об этом в 1945 году не значит оказать услугу разуму и истории. Для француза это значит оказать услугу Франции.

# ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

## ЗА СИНТЕЗ, ПРОТИВ «КАРТИННОЙ ИСТОРИИ»

### НЕУЖЕЛИ ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕ?

В кратком предисловии Ш. Сеньобос представляет французской публике «Историю России» в трех объемистых томах<sup>1\*</sup> — труд, задуманный и осуществленный группой авторов во главе с ним самим, а также Ш. Эйзенманом и Павлом Милюковым, широко известным историком русской цивилизации и общественной мысли. Это коллективное произведение людей, знающих толк в практике исторической работы и находящихся в более или менее натянутых отношениях с теперешним режимом, царящим на их родине, — произведение, в котором они хотели поделиться с французским читателем своими неоспоримыми знаниями и компетенцией.

Нужно только приветствовать почин, предпринятый руководством издания. Мы, французы, могли составить представление об истории России лишь по учебнику А. Рамбо, который в свое время казался новинкой; не стоит говорить, что теперь он устарел. Поэтому-то мы с таким воодушевлением набросились на три эти солидные тома, которые издательство Леру выпустило один за другим с завидной быстротой. После чего... Не хочу сказать, что мы были разочарованы. Слишком уж это сильное выражение. Но читателю сразу же становится ясно: сей благой почин далеко не оправдывает всех возлагавшихся на него надежд. До такой степени не оправдывает, что начинаешь думать: уж не ошиблись ли издатели, проставив на обложке дату — 1932 год? 1902-й был бы куда уместнее. Почему?

Во-первых, «История России» как таковая начинается со страницы 81 статьей Мякотина о появлении в VII веке на исторической арене Восточной Европы славянских племен. Страница 81 — VII век; страница 150 — уже Иван Грозный (1533—1584); страница 267 — Петр Великий! Прикинем: трехтомное издание, 1416 страниц; из них описанию первых десяти столетий (VII—XVII вв.) посвящено всего 200 страниц, тогда как двум с половиной последующим векам (1682—1932) — 1140... Так что когда на странице IX читаешь фразу Ш. Сеньобоса, уверяющего, будто в этом труде «соблюдена справедливая соразмерность как между описаниями последовательных периодов, так и в изложении различных проблем», то, памятуя о тонкой иронии, свойственной автору предисловия, все же начинаешь невольно противиться глаза...

<sup>1\*</sup> Заглавие гласит: «История России с древнейших времен до 1918 года» (Histoire de la Russie, des origines à 1918. P., 1932. T. 1—3). На самом же деле весь современный период русской истории, начиная со смерти Александра II, уместился всего на нескольких страницах.



Но хуже всего то, что Ш. Сеньобос пытается оправдываться! Ведь если бы нам сказали: «Примите наши извинения. Времена сейчас не из лучших, издатели свирепствуют; они вбили себе в голову, будто всемирная история (та, на которой можно нажить-ся) начинается с 1900 года; ну что мы можем поделаться?» — или: «У нас нет сотрудников, нет настоящих специалистов, способных осветить тот или иной период, так что вы уж нас простите...» — если бы нам сказали что-нибудь в этом роде, мы вздохнули бы и отложили книгу: нам стало бы ясно, что нас лишают именно того, на что мы рассчитывали. Того, в чем мы больше всего нуждаемся<sup>2\*</sup>. Но приняли бы такие доводы: действительно, что поделаться, обстоятельства сильнее нас. Однако ничего подобного нет и в помине! Ш. Сеньобос стоит на своем. Вам ничего не говорят, утверждает он категорически, потому что **ж** говорить тут нечего — во-первых, «за неимением источников», а во-вторых, «за неимением событий...». Нет, господа, так дело не делается; если же подобный метод возводится в систему, мы должны напрямик сказать вам, что это — никуда не годный метод.

«За неимением событий». Значит, вы призываете нас отождествить «историю» с «событием»? Важно восседая на исполинской гряде бумаги, сделанной из древесных опилок и замазанной анилиновыми красками, которые уже успели выцвести всего за какой-нибудь десяток лет, — восседая на этой гряде, именуемой вашей «документацией», вы заявляете: «История целых десяти веков непознаваема!» Нет уж, извините! Познать ее можно, да еще как можно! Это известно всем, кто ею занимается, кто стремится не просто переписывать источники, а воссоздавать прошлое, прибегая для этого к помощи смежных дисциплин, подкрепляющих и дополняющих одна другую; ваш долг историка в том и состоит, чтобы поддерживать, всемерно развивать и закреплять их совместные усилия; а тем, кто высокомерно цедит сквозь зубы: «Здесь ничего не напишешь...», не удастся оправдать подобными отговорками свою явную лень и достойную всяческого сожаления близорукость...

Так обстоит дело с соразмерностью между периодами. А как оно обстоит с «дозировкой составных частей», если пользоваться языком фармакологии? Увы, нисколько не лучше. Политика прежде всего! Это девиз не одного лишь Морраса... Наши историки не только провозглашают его, но и проводят в жизнь. Превращают в систему. Или, скорее, в контрсистему. И вот, не желая отставать от других, Ш. Сеньобос возглашает пэан<sup>1</sup> в честь «картинной истории», сиречь истории кустарной. Вот уж

<sup>2\*</sup> Перелестав маленький шедевр Анри Пиренна, посвященный средневековым городам, можно найти несколько примеров, показывающих, что история России могла бы послужить ключом к пониманию одной из глав истории средних веков в Европе.

подлинно человек, над которым не властны годы! Авторы, разъясняется нам в предисловии (с. X), «старались создать историческую картину всех аспектов русской жизни: описать внутриполитический режим и внешнюю политику; народные движения и организацию общества; сельское хозяйство, промышленность и торговлю; литературу и искусство; науки и образование». Далее в этой программе значится: «Представить порознь и последовательно группы различного рода фактов: политических, социальных, экономических, духовных». Подобную систему я привык называть «комодной» — так мещанские семейки рассовывают свои вещи по ящикам добрых старых комодов красного дерева. До чего же удобно, до чего практично! В верхнем ящике — политика: «внутренняя» — справа, «внешняя» — слева, никогда не спутаешь. Следующий ящик: в правом углу — «народные движения», в левом — «организация общества». (Кем, кстати сказать, эта организация осуществляется? Надо думать, политической властью, которая с высоты своего ящика № 1 повелевает, руководит и управляет всем комодом, как ей и положено.) Это один из возможных способов раскладки; есть и другой, согласно которому «экономика» помещается позади «общества»; но и он далеко не нов. Я был еще желторотым юнцом, метавшимся во все стороны в поисках самого себя, когда в так называемой Лависсовской «Истории Франции»<sup>2</sup> вышел «Шестнадцатый век» Анри Лемонье. До сих пор не могу забыть наивного возмущения (мне было всего двадцать лет!), овладевшего мной, когда я с ужасом увидел, что автор в простоте душевной принялся рассуждать об общественных «классах», не успев и словом обмолвиться об экономической жизни... Тридцать пять лет прошло с того дня; прогресс налицо: с торжествующим видом записав «организацию общества» во второй ящик, «История России» помещает в третий... что бы вы думали? Экономические факторы? Нет, там у нее располагаются пресловутые три старушки, три, так сказать, сводные сестрички: Сельское хозяйство, Промышленность и Торговля. А за ними следуют Литература и Искусство. Как тут не вспомнить какую-нибудь провинциальную сельскохозяйственную выставку? Только там Торговле отводится первое место, а в «Истории России» ее загнали в дальний угол. Не правда ли, весьма удачное расположение, особенно если вспомнить, что речь идет о стране, где важна именно продажа, как на местных рынках, так и за границей, продуктов сельского хозяйства, издавна работающего на экспорт, и изделий промышленности, шагающей по пятам за сельским хозяйством. О «картинная история», вот к чему ты приводишь!..

Фактически перед нами никакая не «История России». Перед нами — «Курс политической истории России с 1682 по 1932 год», предваряемый Введением в двести с чем-то страниц, содержащим Rückblick [здесь: ретроспективный взгляд] на Россию до эпохи

Петра Великого. В этих пределах все сносно. И мы должны быть довольны тем, что нам дают. Бесспорно, что в традиционных рамках различных правлений сотрудники Милокова и сам Павел Милоков сумели составить достаточно точное изложение, насыщенное «событиями» русской истории — событиями политически вкупе с более или менее краткими экскурсами в область событий экономических, социальных, литературных и художественных — в той мере, в какой все они определяются политическими акциями правительств. Но...

Но вот что важнее всего: перед нами Россия. Я не видел ее собственными глазами, специально не занимался ее изучением и все же полагаю, что Россия, необъятная Россия, помещичья и мужицкая, феодальная и православная, традиционная и революционная, — это нечто огромное и могучее. А когда я открываю «Историю России», передо мной мельтешат придурковатые цари, словно сошедшие со страниц «Короля Убю»<sup>3</sup>, взяточники-министры, попугай-чиновники, бесконечные указы и приказы... Где же сильная, самобытная и глубокая жизнь этой страны; жизнь леса и степи; приливы и отливы непоседливого населения, великий людской поток, с перебоями хлещущий через Уральскую грядку и растекающийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока; могучая жизнь рек, рыбаков, лодочников, речные перевозки; трудовые навыки крестьян, их орудия и техника, севообороты, пастбища; лесные разработки и роль леса в русской жизни; ведение хозяйства в крупных усадьбах; помещицье землевладение и образ жизни знати; зарождение городов, их происхождение, развитие, их управление и внешний облик; большие русские ярмарки; неспешное формирование того, что мы называем буржуазией. Но была ли она когда-нибудь в России? Осознание всем этим людом России как некоего единства — какие именно образы и какого порядка при этом возникают? Этнические? Территориальные? Политические? Роль православной веры в жизни русской общности и, если такое иногда случалось (а если нет — оговоритесь), в формировании отдельных личностей; лингвистические проблемы, региональные противоречия и их причины — да мало ли еще чего? Обо всем этом, стоящим передо мной сплошным частоколом вопросительных знаков, обо всем этом, что является для меня подлинной историей России, на протяжении 1400 страниц не говорится ничего или почти ничего. Я не считаю себя каким-нибудь недоумком, полуидиотом, ярмарочным монстром. Так с какой же стати меня пичкают всяким анекдотическим вздором о госпоже Крюднер и ее отношениях с Александром<sup>4</sup>; о той царице, что была дочерью корчмаря, и о той, что чересчур увлекалась молодыми людьми?<sup>5</sup> Нет, все это отнюдь не история.

История — это то, чего я не нахожу в «Истории России», а посему она кажется мне мертворожденной.

Добавлю к тому же, как ни резко это звучит: она слишком слабо увязана с настоящим и будущим России.

Краткая глава повествует о том, что происходило в СССР с октября-ноября 1917 года. Стремление к объективности налицо. Стремление тем более похвальное, что страницы эти подписаны Милюковым. Но стоило ли заказывать их именно Милюкову, который сам был действующим лицом трагедии? В чем состояла его задача? В том, чтобы добиться понимания этих событий. Но, несмотря на все благие порывы, нет и не может быть истинного понимания там, где все отмечено печатью неизбежных и роковых симпатий и антипатий.

Если мы хотим узнать, что же в самом деле одушевляет людей, которые в течение шестнадцати лет занимаются нелегким делом — ведут корабль Советского Союза по чудовищно бурным волнам, — людей, которые лавируют, меняют курс, колеблются, а иногда, сталкиваясь друг с другом, занимаются взаимоистреблением, но тем не менее не покидают своего поста и с поразительной энергией месят человеческую массу, — если мы хотим получить ответ на этот вопрос, зададим его десятку наблюдателей — французских, английских, американских и других, которые видели все это воочию, которые (к счастью!) противоречат друг другу по многим пунктам, но сходятся в главном: у них у всех осталось впечатление жизненности, силы, напряженного труда и творческой воли, которая, стоит ли об этом говорить, служит показателем духовного горения, ибо невозможно объяснить историю исходя из ничего, это пустая игра. Но «Историю России» не расспросишь обо всем этом, что для меня, повторяю, и является историей; самое большее, что можно от нее требовать, — это краткий обзор политических событий, увиденных глазами их участников.

# ИСТОРИЗИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ

## О ЧУЖДОЙ ДЛЯ НАС ФОРМЕ ИСТОРИИ

Я внимательно и, разумеется, с интересом прочел небольшую книжку, которую написал мой старый друг Луи Альфан, пользуясь вынужденным досугом, предоставленным ему правительством Виши,— написал в одиночестве, лишась расхищенной оккупантами библиотеки и уничтоженных ими бумаг, полагаясь лишь на свой навык историка,— ведь начиная с 1900 года он неустанно трудился на историческом поприще, то в одиночку, то организовывая и направляя работу других: тут мне, естественно, вспоминается серия «Народы и цивилизации», с которой наряду с именем Саньяка связано и его имя.

Книжку свою Альфан назвал «Введением в историю»<sup>1\*</sup>. На самом же деле это не столько введение в историю, сколько ее защита. «Полезность исторических исследований,— пишет он,— никогда еще не оспаривалась столь ожесточенно, как теперь... Но я не собираюсь защищать дело, которое может само за себя постоять...» Увы, это не так: иначе нападки на историю давно бы уже прекратились. Понимает это и Луи Альфан; вот почему он вопреки своему заявлению тут же принимается защищать и отстаивать давно всем известную и лишнюю всякой таинственности точку зрения.

«Из всех форм верности,— пишет в своих «Предлогах» Андре Жид,— наиглупейшей, по сути дела, является та, которую не назовешь непосредственной». Так вот, нет ничего более непосредственного и, стало быть, более правомерного, нежели верность Луи Альфана своим идеям. Таким он был в годы воинской службы, таким остался по выходе из Шартрской школы: верным паладином той формы истории, которую Анри Берр весьма удачно окрестил историей историзирующей. Ей Луи Альфан посвятил всю свою жизнь. И теперь, знакомясь с «Введением в историю», не будем забывать, что этот его жертвенный дар предназначен вовсе не вселенской Клио — богине, скрывающей под складками своего пеплума все формы, все многообразие, все разновидности исторических школ, подобно тому как Богоматерь Милосердия осеняет своим покровом всех истинно верующих христиан. Замысел Луи Альфана куда скромней и в то же время куда заносчивей: он помышляет лишь об одной определенной форме истории — той, которой он сам занимается, и делает нам честь, полагая, что мы примем ее как единственно возможную. «Введение в историю»? «Защита истории»? Нет, Альфан ратует за Историзирующую историю, ту самую, о которой Берр писал в 1911 году: «Есть некая самодовлеющая форма истории, которая, не нуждаясь в посторонней помощи, сама способна оказать

<sup>1\*</sup> *Alphen L. Introduction à l'histoire. P., 1946.*

ее историческому познанию». Фраза эта приводит меня в восторг. Ее одной достаточно для рецензии на книгу Луи Альфана <sup>2\*</sup>.

Что же такое — историзирующий историк? Анри Берр отвечает на этот вопрос по существу, пользуясь выражениями из адресованного ему в 1911 году письма самого Альфана: это человек, который, работая над частными, им самим установленными фактами, задается целью увязать их между собой, согласовать, а затем (я цитирую письмо Альфана) «проанализировать политические, социальные и духовные перемены, о которых в данный момент свидетельствуют источники». Не будем забывать, что автор имеет в виду частные перемены: ведь история для него является наукой о частностях <sup>3\*</sup>.

Итак, откроем это вышедшее в 1946 году «Введение в историю». В книге три основных раздела: 1. «Установление фактов»; 2. «Согласование фактов»; 3. «Изложение фактов». Мы видим, что методика не изменилась — это все та же старая методика, состоящая из двух операций, включающих в себя всю историю: сначала установить факты, потом пустить их в дело. Так, уверяют нас, действовали еще Геродот и Фукидид. Так действовали Фюстель и Моммзен. Так действуем по сей день и все мы. Ничего не имею против. И все-таки эта двучленная формула принадлежит к числу тех, которые самой своей ясностью способны встревожить и озадачить любого пытливого человека...

Все факты да факты... Но что вы называете фактами? Что за содержание вкладываете в это коротенькое слово? Неужели вы думаете, что факты даются истории как некие субстанциональные сущности, более или менее глубоко погребенные в толще времен, и вся трудность состоит лишь в том, чтобы раскопать их, почистить и подать современникам при выгодном освещении? Или же вы готовы принять на свой счет слова Бертоло, превозносящего до небес только что одержавшую первые победы химию — свою химию, единственную из всех наук, как он заносчиво выражался, которая сама творит свои объекты. В чем Бертоло ошибался. Ибо каждая наука творит свои объекты.

Простительно нашим предшественникам, современникам Олара, Сеньбоса и Лангуга, всем этим людям, которым «Наука» внушала такое уважение (хотя они ничего не смыслили ни в научной практике, ни в методике), — простительно им было воображать, будто гистолог — это человек, которому достаточно су-

<sup>2\*</sup> *Berr H. L'histoire traditionnelle et synthèse historique. P., 1921.* «Беседа с историзирующим историком», составляющая основу второй главы, была написана еще в 1911 году.

<sup>3\*</sup> Частностях, которые страшно смахивают на общие понятия, если только их рассматривать в рамках определенного круга цивилизации, в определенную эпоху. Так, по крайней мере, утверждает одна знатная дама, столь милая сердцу Пиренна, Марка Блока, да и моему собственному, — даму эту зовут *Сравнительной историей*.

нуть под микроскоп срез мозга крысы, чтобы тут же получить голые, неоспоримые и, так сказать, «готовые к употреблению» факты,— остается лишь разложить по полочкам эти дары, неподнесенные ему не братьями Мишлен<sup>1</sup>, а самой природой... Мы бы очень удивили этих историков старшего поколения, сказав им, что на самом деле гистолог, пользуясь тончайшими техническими приемами и сложнейшими красителями, заранее создает объект своих исследований и гипотез. Он как бы «проявляет» его в том смысле, в каком это слово употребляется фактографами. После чего приступает к интерпретации. Он «читает» срезы — а это операция не из легких. Ибо в конце концов не так уж сложно описать то, что видишь; куда сложнее увидеть то, что должен описывать. Да, мы повергли бы наших предшественников в немалое изумление, если бы вслед за одним современным философом назвали факты «гвоздями, на которых висят теории»<sup>2</sup>. Гвоздями, которые нужно сначала выковать, а потом уже вколачивать в стену. Если этот образ применить к истории, то именно историку и надлежит их выковывать. И они для него отнюдь не являются «прошлым» или, выражаясь тавтологически, давно прошедшей «историей».

Вы согласны со мной? Заявите об этом во всеуслышание. Не согласны? Тогда давайте спорить. Но, ради бога, не замалчивайте эту проблему. Эту пустяковую проблему. Эту важнейшую из проблем.

Такова первая разделяющая нас недомолвка. А сколько она может вызвать последствий!

Вы не раз слышали, как наши предшественники твердят: «Историк не имеет права отбирать факты. Кто дал им это право? Из каких соображений? Отбирать — значит посягать на „реальность“, сиречь „истину“». Идея неизменна: факты — это кубики, составляющие мозаику,— отдельные, однородные, гладкие. Землетрясение разрушило мозаику; кубики потонули в земле; выкопаем же их, постаравшись ничего не упустить. Соберем их все до единого. Но не будем заниматься отбором...» Вот что повторяли наши наставники, забывая о том, что вся история есть выбор хотя бы потому, что игра случая уничтожает одни остатки прошлого и сохраняет другие (я уж не говорю о намеренном вмешательстве человека). А если эта игра случая идет по крупной? Нет, история есть не что иное, как выбор. Но не произвольный, а заранее намеченный. И это еще больше разделяет нас, дорогой мой друг.

Гипотезы, планы исследований, теории — ничего этого не отыщешь в вашем «Введении», сколько ни ищи.

А ведь без предварительной, заранее разработанной теории невозможна никакая научная работа. Мысленная конструкция, отвечающая нашей тяге к познанию, теория как раз и является наглядным примером научного опыта. Я говорю о науке, конеч-

ная цель которой состоит не в открытии законов, а в понимании сути явлений. Всякая теория естественно основывается на постулате, гласящем, что природа объяснима. А человек, предмет истории, составляет часть природы. Он для историка — то же самое, что скала для минералога, животное для биолога, звезда для астрофизика: нечто, подлежащее объяснению. Понимаю. И стало быть, осмыслению. Историк, отказывающийся осмыслить тот или иной человеческий факт, историк, проповедующий слепое и безоговорочное подчинение этим фактам, словно они не были сфабрикованы им самим, не были заранее *избраны* во всех значениях этого слова (а он не может не избирать их), — такой историк может считаться разве что подмастерьем, пусть даже превосходным. Но звания историка он не заслуживает\*\*.

Кончаю свою длинную, полную упреков речь. «Введение в историю», «Исторический метод», «Защита истории»... Но, в конце концов, что же это такое — история?

Сейчас я вам скажу. Вы собираете факты. С этой целью вы отправляетесь в архивы. В кладовые фактов. Туда, где стоит лишь нагнуться, чтобы набрать их полную охапку. Затем вы хорошенько стряхиваете с них пыль. Кладете к себе на стол. И начинаете заниматься тем, чем занимаются дети, складывающие из рассыпанных кубиков забавную картинку... Вот и все. История написана. Чего вам еще надо? Ничего. Разве что одно: понять, какова цель всей этой игры. Понять, зачем нужно заниматься историей. И стало быть, понять, что такое история.

Вы не хотите ответить на этот вопрос? Что ж, тогда я раскланиваюсь. Вы похожи на тех горемык, которым университетские власти по странному заблуждению поручали задание (кстати сказать, труднейшее) — преподать основы высшей математики юным «гуманитариям», студентам четвертого, пятого и шестого курсов классического отделения. Эти горе-преподаватели справились со своей задачей претотлично: они навсегда отбили у меня охоту заниматься математикой. А все потому, что сводили ее к мешанине из мелких хитростей, грошовых уловок, мелочных предписаний, позволяющих якобы мигом разрешить все проблемы. Короче говоря, к системе «трюков», как мы тогда выражались (теперь это словечко в студенческом жаргоне уже не употребляется).

Так вот: «трюки» эти интересовали меня меньше всего. Мне давали «шпаргалку», с помощью которой я должен был произве-

\*\* В книге Луи Альфана есть указатель авторов. Это тоже своего рода свидетельство. Ну неудивительно ли, что в нем не значатся ни Камилл Жюльен, ни Анри Пиренн, ни Жорж Лефевр — словом, ни один из тех, кого мы привыкли считать историками в подлинном смысле слова, настоящими современными историками. Я уж не говорю о Видале: в царстве Историзирующей истории география лишена всех гражданских прав.



сти какое-то действие, но никогда не говорили, стоит ли это действие того, чтобы его совершать. Как и почему оно было придумано? И для чего, в конце концов, служит?.. Для того, чтобы в один прекрасный день поступить в Высшую политехническую школу? Но и она сама по себе не является конечной целью. Все это показывает, что уже в те юные годы я не был чужд определенных духовных запросов. Но в ту пору все решалось легко. Я просто-напросто повернулся спиной к математике. А те из моих однокашников, что относились к ней менее требовательно, осилили ее...

Историзирующая история нетребовательна. Слишком нетребовательна. Так думаю я, так думают многие другие. Это наш единственный упрек, но он достаточно весом. Это упрек тех, кто нуждается в идеях. В тех самых идеях, которых Ницше называл храбрыми маленькими женщинами, что не отдаются мужчинам с лягушачьей кровью в жилах.

## ОТ ШПЕНГЛЕРА К ТОЙНБИ

На моем столе — три толстых тома. На первой странице — имя автора: Арнольд Дж. Тойнби. Он хорошо известен в Англии (и даже за ее пределами) благодаря своим практическим заслугам и научным трудам. Заглавие: [A Study of History] [Изучение истории] <sup>1</sup>\*. Не будем делать вид, будто нам принадлежит честь открытия этого труда, который по своему значению, размаху и величине достоин занять место рядом со знаменитым трудом сэра Джеймса Фрэзера <sup>1</sup>. Если автор «Золотой ветви» был родоначальником сравнительного исследования «первобытных» религиозных институтов, то Арнольд Тойнби взял на себя задачу довести до конца двадцатитомное <sup>2</sup> сравнительное исследование поочередно создаваемых человечеством цивилизаций или, если угодно, исследование человеческого опыта в области цивилизации.

Обширный и многообещающий замысел. Пусть он внушает нам с самого начала некий трепет; пусть в конечном счете, когда мы взвесим все «за» и «против», разум и склонность к методике заставят нас несколько от него отстраниться — тем не менее мы не предъявим его автору никаких предвзятых запросов. Разбирая эти книги, мы не горим желанием «историка-специалиста» взять шумный и легкий реванш у обольстительного историка-эссеиста. Труд Арнольда Тойнби сложен. В нем есть и положительные и отрицательные стороны; в нем ясно прослеживается связь с целым рядом недавних выступлений — различных по форме, схожих по духу.

С недавних пор историки то и дело устаиваются чести восседать на скамье подсудимых пред пестрым синклитом, состоящим из разного рода знаменитостей — поэтов, романистов, журналистов, эссеистов, — которые, уделив богине Клио всего несколько минут своей жизни, посвященной служению иным культам, ухитряются мигом уразуметь (так по крайней мере они нас уверяют) то, чего за долгие годы упорного труда не удается понять историкам, способным мыслить и выражать свои мысли. После чего со снисходительностью, к которой у одних примешивается французская ирония, у других — германское неистовство, у третьих — английский юмор, сии блистательные и скоропалительные мыслители несколькими молниеносными штрихами обрисовывают нам свои открытия и системы. Что же нам в таких случаях делать? Безо всякого ложного стыда рассыпаться в благодарностях? Со всей серьезностью вникнуть в их критику? Сдаться без боя? Продолжать сопротивление? Любое из этих решений может оказаться уместным, если мы увидим в них соратников, которые способны тронуть нас либо своими разумными доводами, либо призывами, обращенными к чувствам: ведь в конечном счете мы, историки, живем в той же атмосфере кризиса, что и ос-

\* *Toynbee A. J. A Study of History. L., 1934. Vol. 1-3.*

тальные наши современники; мы нуждаемся в доверии к нам и к делу наших рук — в доверии, помогающем нам выстоять. Ни одно из этих решений неприемлемо, если мы увидим, что за ширмой истории эти люди скрывают соблазнительные заблуждения и иллюзии. Решительно неприемлемо, если в их писаниях мы распознаем признаки духовного яда.

Именно это обстоятельство и побуждает нас к подробному разбору труда Тойнби. Но прежде чем к нему приступить, позволим себе отвлечься. Не ради развлечения, а в качестве вступления.

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР:  
ВЕЛИЧИЕ И НЕМОЩЬ ПРОРОКА

В 1922 году в Германии появилась книга никому не известного автора, Шпенглера. Заглавие гласило: *Der Untergang des Abendlandes*<sup>2\*</sup> [Закат Европы]<sup>3</sup>. Помню прилавки рейнских книжных магазинов, заваленные внушительными кивками этих *in-octavo*: они таяли, как снег на солнце. В несколько недель имя Освальда Шпенглера стало знаменитым во всем германском мире, а книга его обрела такой успех, какого не имело в Германии ни одно историко-философское сочинение со времен Гиббона<sup>4</sup>. Нет, успех не то слово: книга эта была встречена как некое открытие.

За границей ей был оказан менее горячий прием. Сдержанное любопытство в Англии; ироническое недоверие у нас; французский перевод вышел с двухлетним опозданием (1925 г.), а еще через год появилась небольшая книжка Фоконне, в которой разбирались основные шпенглеровские темы. Однако обширная литература — «*Der Streit um Spengler*», «*O. Spengler und das Christentum*» [Споры вокруг Шпенглера, О. Шпенглер и христианство] и т. д. — уже начала с терпеливым однообразием так и этак манипулировать идеями пророка, не постеснявшегося провозгласить себя «Коперником истории». Не будем его судить: историки не судьи; попытаемся его понять; иными словами, попробуем связать эту книгу и ее успех с актуальными нуждами тогдашней Германии, в которой назревало то, что вскоре должно было стать гитлеровским национал-социализмом.

Этот человек — он умер в 1936 году, в полном одиночестве, всеми оставленный, — родился в 1880 году в Восточной Пруссии. Протестант, выходец из скромной семьи, он получил в 1904 году степень доктора естественных наук за диссертацию о Гераклите. Не мудрено, что каждая страница «Заката Европы» пропитана жгучей ненавистью к столь почитаемым в Германии естествен-

<sup>2\*</sup> *Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. 2 ed. München, 1924. T. 1—2.*

ным наукам и к либерализму их приверженцев, особенно к их понятиям о прогрессе. Либерализм и прогресс — вот два божества, служение которым было навязано юному Шпенглеру его домашними, его наставниками, его товарищами по учению. Отсюда бурный протест против этих божеств, а также против «исторического атомизма», против кропотливой «монографической» работы, делящей историю, словно пирог, на разрозненные ломти: историю дипломатическую, экономическую, литературную, историю искусств, наук, философских течений и т. д. На месте всех этих закутков он решил выстроить грандиозный и светлый дворец. Дворец всеобъемлющей истории. Народы и языки, боги и нации, войны, науки и философия, понятия о жизни и экономические формации — все это являлось в его глазах символами, которые нужно было истолковать, пользуясь методом аналогии, главным историческим методом. Соответствия между интегральным исчислением и политикой Людовика XIV, между евклидовой геометрией и греческим полисом, между телефонной связью и кредитными операциями нельзя считать поверхностными и надуманными. Они глубоки и существенны.

Все проявления человеческой деятельности в определенную эпоху сплавлены в понятие «культур». И эти культуры суть живые существа, удобные, скажем, растениям: они зарождаются, расцветают, увядают и отмирают. Их судьба определяется в тот момент, когда разрастание и умножение всего, что они в себе заключают, становится хаотичным и беспорядочным. И хотя все они должны проходить в одной и той же последовательности одни и те же этапы развития, каждая из них глубоко отлична от соседних вследствие присущего ей духа. Наша западная культура наделена фаустовской душой — для нее характерно вечное напряжение, тяга к недостижимому, сердечный и духовный динамизм. Душа античной культуры была «аполлоновской» — ей свойственна не динамика, а статика, спокойствие, неспешность, ясность; она породила не хронометр и научную историю, а юридическую колонну и евклидову геометрию. Подобным же образом можно подобрать символ, определяющий египетскую культуру: это резко очерченная дорога, узкая и загадочная, ведущая путника к таинственной гробнице фараона. Но все культуры, сколь бы различными они ни были, должны в свой черед миновать период восходящий (Kultur) и нисходящий (Civilization) — затем их ожидает смерть.

Стоит ли вглядываться в эти бойко раскрашенные картинки с таким же вниманием, с каким коллекционер вглядывается сквозь лупу в пробный оттиск гравюры? Какое отношение имеют к нам эти одноликие и всеобъемлющие культуры, включающие в себя без разбора всех живых людей данной эпохи независимо от их общественного положения — будь то Бергсон или Бэббит<sup>2</sup>, приказчик за прилавком, ученый в лаборатории или крестьянин

на ферме? Неужто все они наделены фаустовской душой и ее неистовым величием? А что означают эти красивые слова, эти цветистые метафоры, столь излюбленные виталистами: зарождение, расцвет, гибель, культур? Это всего лишь заново перелицованное старье. Оно возвращает французского читателя в ту прекрасную эпоху, когда Арсен Дармстеттер выпустил небольшую книгу под названием «Жизнь слов»<sup>3\*</sup>, тут же разобранную по косточкам Мишелем Бреалем: она опередила свое время.

Как же объяснить фантастический успех Шпенглера — и не только у широкой публики, не способной противостоять его чарам, но и у всех образованных людей Германии и Австрии, особенно молодых?

Дело в том, что Шпенглер предстал перед всеми в роли освободителя. Когда мы читаем его призывы и увещания: «Довольно монографий, довольно общих сводок!» — мы едва сдерживаем улыбку. Конечно, и у нас есть близорукие ученые, слепые кроты<sup>4\*</sup>, но у нас нет недостатка в содержательных и ярких обобщающих трудах. Иное дело в Германии: там даже после войны история все еще продолжала испытывать гнет чрезмерной специализации. Монографии, написанные специалистами для специалистов на специальном жаргоне, не выходили за пределы университетских кругов; история, в чье основание они ложились, оставалась занятием профессоров, яростно противоречащих один другому: то была схватка Вадюса с Триссотеном<sup>6</sup>. То был замкнутый мирок специалистов и их дикарских основополагающих диссертаций. Туда не было доступа нормальному образованному человеку. Этот мирок был *Fach* [ремесло], и посягнувший на него посторонний считался святотатцем.

А Шпенглер как раз и проповедовал это святотатство — и всеобщий раздел награбленных историй сокровищ. Он вел свою проповедь не на жаргоне специалистов, а на языке ясном и живом, полным блеска и ритмической гармонии. Он предлагал духовно смятенной послевоенной буржуазии поистине лакомый кусок — историю, вырванную им у патентованных историков, историю, облеченную в формулы, каждая из которых покрывала целые века. Он обнаруживал поражавшие своей неожиданностью и ослеплявшие многообразием соответствия между фактами, до того раз и навсегда распределенными по различным отсекам с непроницаемыми перегородками: геометрия Евклида протягивала руку дорической колонне — ну не потрясающее ли зрелище?

<sup>3\*</sup> «Языки суть живые организмы, чье существование, являясь чисто духовным, тем не менее вполне реально и сравнимо с существованием растительных и животных организмов» (*Darmstetter A. La vie de la mot. P., 1887. P. 3*). Ср.: «Действие одних и тех же законов распространяется как на органическую жизнь растений и животных, так и на жизнь слов» (*Ibid. P. 175*).

<sup>4\*</sup> Ср.: *Espinass G. De l'horreur du général; une deviation de la methode erudite // Annales d'histoire economique et sociale. T. 6. P. 365*.

Благодаря Шпенглеру вся немецкая публика познала наивную и чистую радость первооткрытия истории — по крайней мере истории, доступной ее пониманию, с начертанными именно для нее перспективами. И надо ли говорить, с какой признательностью публика эта приняла предназначенное ей подношение.

Тем более что автор, встав в позу пророка, возвещал гибель всего, чем в самом деле дорожили его читатели, — то было для них еще одним источником радости и свободы. Ибо — спору нет — хорошо участвовать во взлете развивающейся цивилизации. Но куда лучше жить во времена упадка. И мужественно принимать гибель, стоя на ее пороге: «Что ж, пусть она поскорее наступит!» Великолепная романтическая позиция; приняв ее, не мудрено преисполниться гордости за самого себя. Профессиональные историки, разумеется, либо пожимали плечами, либо вопили о нарушении приличий, при этом украдкой подбирая под столом крохи от чужого пирога. Марксисты, разумеется, возмущались, обличая учение, равнодушное ко всем социальным аспектам истории и жизни. Но средний читатель чувствовал, что автор польстил его личному и сиюминутному самолюбию. Что и говорить, не было у этого прусского или саксонского обывателя никакой фаустовской души, но он был бы не прочь ее занять или по крайней мере сделать вид, что имеет. Фауст, символ всей европейской цивилизации, был славной и милой его сердцу фигурой. И что за важность, если та или иная теория Шпенглера показалась ему туманной или неудобоваримой? Смутные чувства охватывают нас сильнее всего; к тому же они менее утомительны, чем трезвое понимание. Отметим, наконец, вот что (кое-какие наивные приемы французской критики делают это замечание отнюдь не бесполезным): философия истории была всего лишь одной из сторон шпенглеровской мысли — и далеко не самой важной. История — это двуликий Янус: один его лик обращен к прошлому, другой — к будущему. Но к какому будущему? К закату Европы, прообразом которого, согласно законам аналогии, был закат Римской империи. К эпохе образования новых гигантских империй, к эпохе войн между ними: в первую очередь войн между империей Британской, цитаделью капитализма, и Германской — оплотом этатизма. Что такое будущее согласно Шпенглеру? Это горсточка великих людей, с одной стороны, и масса — с другой. Отсюда наставления молодежи: «Не тратьте времени на поэзию, философию, живопись. Все это — мертвое прошлое. Созидайте в самих себе первооснову, которая породит великих людей». Подобные темы, намеченные в «Закате Европы», были подхвачены в «Neubau des deutschen Reiches» [Новое издание Германской империи] и в «Politische Pflichten der deutschen Jugend» [Политический долг немецкой молодежи] — политических программах, разработанных человеком, являвшимся, как утверждали, одним из первых приверженцев национал-социализма<sup>7</sup>.

Дело в том, что в то время у Шпенглера и его читателей, будущих ярых нацистов, были общие враги: демократия, буржуазный либерализм и марксизм. Тогда, в 20-е годы, Шпенглер держал лавочку, полную самых ходовых товаров — таких, скажем, как известного рода патетика, решительный антиинтеллектуализм, героическое понимание судьбы, антиэстетизм, убеждение в ничтожестве человека перед величием, непомерным величием истории. А также (см. его книгу 1920 года «Der Mensch: Die Technik» [Человек и техника]) предвидение гибели, столь близкое обывателю-нацисту, столь сообразное с его автаркическими грезами: «Избыточное развитие техники погубит Европу; цветные расы научатся у белой ковать в своих мастерских оружие, которое они против нее же и обратят...» Всем этим и был обеспечен успех Шпенглера — не вдумчивого и последовательного в своих выводах историка, а пророка, волхва, ясновидца, пришедшего как нельзя кстати в охваченной брожением Германии 1922—1929 годов. Дополнительное тому доказательство: в последние годы жизни он утратил всякое уважение со стороны нацистских кругов вовсе не от того, что его исторические теории были сочтены ложными. А от того, что и сентиментальная позиция Шпенглера, некогда обеспечившая ему успех, и навязчивые его пророчества уже не соответствовали идеологии нацистской партии, дорвавшейся до власти.

«Сегодня нам принадлежит Германия, завтра — весь мир!» — таким стал ее призыв после победы. «Umbruch» [Перелом], «Neubeginnen» [Новое начало], «Der neue Mensch» [Новый человек] — эти полные активного оптимизма выражения все чаще звучали изо всех уст, вытекали из-под всех перьев. Как было согласовать эту необходимость доверия к будущему, веры в него, эту фанатическую потребность в надежде, способной выявить силы и мужество для повседневного труда; как было согласовать все это с мрачными предсказаниями человека, год за годом неустанно проповедовавшего, что судьба неотвратима, что настоящее определяется прошлым, что попытка поколебать итог истории, воодушевив издыхавшую цивилизацию иллюзорным порывом, заранее обречена на провал.

Шпенглер не понимал всего этого, и последняя его книга — «Jahre der Entscheidung»<sup>5\*</sup> [Годы решений] окончательно рассорила его с национал-социалистами. Книга эта полна перепевов: цветные расы несут погибель миру, идеология не играет никакой роли во внешней политике и международной экономике и т. д. Автор не скупится на резкие выражения по адресу нацистских светил, этих «взвинченных вечных юнцов» (schwärmende ewige Jünglinge), этих молокососов, у которых нет ни

<sup>5\*</sup> Spengler O. Jahre der Entscheidung. München, 1933. Нацистскую критику Шпенглера см.: Zweininger A. Spengler und 3. Reich. В., 1933; Grandel G. Jahre der Überwindung. В., 1934.

опыта, ни воли, которые и не желают набираться опыта, — словом, этих романтиков, но романтиков не социального пошиба, какими являются коммунисты, а приверженцев политико-экономического романтизма, считающего положительными и убедительными такие факторы, как число голосов на выборах, зажигательные речи с высоких трибун и монетарные теории, высосанные из пальца ничего не мыслящими в финансовых вопросах деятелями. Он считает их не людьми, а стадом баранов, которые, чувствуя свою многочисленность, твердят о победе над индивидуализмом, охотно закрывая глаза на собственное бессилие.

То был явный разлад с новой Германией, лишний раз заставивший усомниться в достоинствах Шпенглера как историка и пророка. И, сверх того, комическая несообразность: человек, порвавший с народом, который некогда ему рукоплескал, продолжал предлагать свои услуги нацистам в качестве наилучшего советника<sup>8</sup>. Он пускался в высокопарные разъяснения: «Кто действует — тот не заглядывает вдаль. Он стремится вперед, подталкиваемый событиями, не видя перед собой ясной цели. Быть может, он двинулся бы против течения, если бы сумел ее рассмотреть — ведь логика Судьбы никогда не согласуется с человеческими желаниями, но чаще всего продолжает блуждать наугад, сбитый с толку призраками окружающих его вещей...» (S. 7). Что же остается ему делать, как не довериться истории, не уверовать в Шпенглера, державного обладателя волшебного ключа, открывающего врата прошлого и будущего?

«Пешка ты, Oberlehrer [старший преподаватель]!»<sup>9</sup> — отвечали ему нацисты. И прибавляли, вспоминая шпенглеровские разглагольствования о человеке-хищнике и о мире, катящемся от войны к войне, от революции к революции в последнюю бездну: «Садист за письменным столом! Сочинитель мелодрам!» — ибо в Германии 1936 года полагалось верить, что средний человек добр и что установление мира во всем мире является главной задачей победившего национал-социализма...

Так при чем же тут история? Как быстро в охваченной брожением Германии 1922—1929 годов полиняла историческая этикетка на пузырьке с политической микстурой, состряпанной этим ловким и пленительным краснобаем...

#### ВОЗВЫШЕНИЕ НОВОГО ПРОРОКА: АРНОЛЬД Дж. ТОЙНБИ

И вот через двенадцать лет после появления книги Шпенглера начинает обрисовываться новый труд (на сей раз на английском языке, предназначенный для английской публики), который также выдает себя за откровение, за некую неизвестную доселе и новаторскую философию истории.



Фактически же идеи Арнольда Тойнби, подобно построениям Шпенглера, не являются бескорыстными идеями человека науки. Сколь бы различными ни были оба труда, сколь бы независимым от немецкого доктринера ни казался этот английский публицист, — и здесь и там налицо та же смесь, содержащая (чуть ли не в равных пропорциях) элементы критики (нападки на историков, на неэффективность их методов), конструктивные элементы (философия истории, выдающая себя за нечто оригинальное) и, наконец, политическую подоплеку, вполне осознанную и определяющую суть всего труда. В кругах, закрытых для Шпенглера, «*A Study of History*» вызвало живейшее любопытство и нескрываемый восторг, можно даже сказать — прилив страстей. Уже через несколько месяцев весь удобопонятный лексикон этого сочинения был усвоен целыми кругами британских историков, этнографов и социологов, а затем вкупе с самими книгами Тойнби пересек Ла-Манш, по обе стороны которого поднялся крик о новизне, об откровении, о гениальности. Попытаемся же разобраться, какие уроки и наставления может извлечь историк со дна этих трех томов, представляющих собой «первый эшелон» всего труда — труда технически безупречного, ясного для чтения и удобного для справок. Итак, оставив в стороне частности, займемся главным вкладом Тойнби в историю: его теорией Обществ и Цивилизаций.

Истинными объектами истории, утверждает он, являются общества, цивилизации. Именно они, а не рассматриваемые поодиночке нации. Таких цивилизаций, сосуществующих в наши дни одновременно, насчитывается всего пять: наша западная цивилизация; православная цивилизация Балкан, Ближнего Востока и России<sup>10</sup>; более отдаленная мусульманская; еще более отдаленная индийская и, наконец, дальневосточная. К ним следует добавить кое-какие обломки агонизирующих обществ: монофизитское христианство; несторианство<sup>11</sup>; общества евреев и парсов<sup>12</sup>; два буддийских общества — махаянистское и хинаянистское<sup>13</sup> — и общество джайнов в Индии<sup>14</sup>. Как видим, преобладают религиозные ярлыки; наша цивилизация, впрочем, такового лишена: назвать ее христианской нельзя — слишком уж расплывчат этот термин; католической тоже не назовешь — ведь это определение неприложимо ни к стране Генриха VIII, Елизаветы и Кромвеля, ни к странам Лютера, Кальвина и Цвингли (так же обстоит дело и еще с кое-какими странами; назовем наудачу несколько имен: Вольтер, Дидро, Карл Маркс, Ленин)<sup>15</sup>. Но не станем углубляться в этот вопрос, посмотрим лучше, чем же может поживиться история, изучая общества, занявшие место наций; что может дать это двойное расширение ее пределов — в пространстве и во времени.

Изучая историю того или иного общества, говорит нам Тойнби, нужно прежде всего заглянуть в его сердцевину, туда, где

яснее всего различима вся полнота его самобытности. А затем, отправляясь от сердцевины, шаг за шагом добраться до пункта, в котором происходит вполне возможное его столкновение с другим, столь же определенным и доступным исследованию обществом. Возьмем, к примеру, наше западное общество: поднявшись вверх по течению времен, мы достигнем наконец некоей по *man's land* [ничейной земли], где исчезают все определенные признаки, способные хоть как-нибудь ее охарактеризовать. Ступив за пределы 775 года, мы почувствуем, что очутились внутри чего-то, что с каждым шагом все более будет нам казаться особой и самобытной формацией, — внутри чего-то, что с самого начала является уже не западным обществом, а, если можно так выразиться, опушкой общества римского. Идея не нова — и не мне ее критиковать: я и сам давно уже предлагал ее своим собратьям для решения проблемы хронологических срезов истории<sup>6\*</sup>.

Эти рассуждения приводят Тойнби к необходимости поставить другую проблему, которую он называет проблемой наложения: речь идет о соотношениях, которые могут связывать между собой два общества, одно из которых приходит на смену другому. Осуществляется ли эта преемственность прямым и непосредственным путем, без разрыва во времени? Не обязательно. Возьмите Багдадский халифат. Его зарождение не было медленным и постепенным, как зарождение Римской империи. Он образовался от одного удара, каким явилась его победа над халифатом Дамаска (I, 73). Эта победа восстановила связь Египта и Сирии, бывших римских провинций, с Аравией, провинцией сасанидской, — связь, некогда осуществленную империей Ахеменидов (разрушенной, как известно, Александром Великим)<sup>16</sup>. Стало быть, победа Аббасидов способствовала воскрешению огромной исторической формации, погибшей за тысячу лет перед этим, от грубого и чисто внешнего толчка. Но, выявив эту скрытую преемственность, Тойнби отделяется всего несколькими метафорами (застой, насильственный сон, пробуждение, исцеление) (I, 17), говоря о целых десяти веках, полных живой истории, и, опуская промежуточные формации, связывает между собой государства Аббасидов и Ахеменидов...

Стоит ли, однако, совершать вместе с ним эти рискованные прыжки назад, достойные самого Коллеано?<sup>17</sup> Что он хочет ими доказать? Если воспользоваться его мыслью для изучения какой-нибудь политико-социальной формации (чья дата рождения может быть хотя бы приблизительно установлена), то чаще всего и впрямь можно заметить, что в эпохи, иной раз отдаленные от нее значительным временным промежутком, формация эта была предвосхищена другими формациями, в которых без труда уга-

<sup>6\*</sup> *Febvre L. Observations sur le problème des divisions en histoire// Bulletin du Centre international de Synthèse. 1926. N 2. P. 22–26.*

дываются кое-какие из ее отличительных признаков. Но ведь мы, историки, только тем и занимаемся, что ищем подобные прообразы! Только смотреть на эти поиски можно двояко: либо как на игру, либо как на средство, помогающее в конечном счете составить общее представление о законах образования общественных формаций. Или — если скрепя сердце воспользоваться столь неаналитичным и приблизительным лексиконом самого Тойнби — о законах образования «цивилизаций».

Что же нового вносит Тойнби в решение этой важной проблемы?

Понятие расы он решительно отменяет. Вовсе не она создает цивилизации. Чистых рас нет; научные представления о них не совпадают с представлениями обывательскими. Нет и привилегированных рас: из перечисленной им двадцати одной цивилизации<sup>18</sup> одни были созданы белыми, другие — желтыми, черными и краснокожими (I, 223). А как относится Тойнби к географической среде, климату, топографическим особенностям? Точно так же (I, 249). Схожие в географическом отношении страны — Канада и Россия, например, породили совершенно несходные цивилизации. А «речные» цивилизации Нила и Янцзы<sup>19</sup> столь же резко отличаются одна от другой, как и цивилизации «островные» — минойская, японская, эллинская<sup>20</sup> (I, 269).

Что правда, то правда: естественные науки не могут подсказать нам разгадку проблемы. Здесь Тойнби сходится со Шпенглером. Речь идет о проблеме общечеловеческой — и закон, управляющий столь огромной областью, является законом жизни, законом Призыва и Отклика (Challenge and Response), или в вольном переводе законом Раздражения и Приспособления. Это извечный закон: его знают и проповедуют все наиглавнейшие книги человечества — «Книга Бытия» и «Книга Иова», «Фауст» Гёте и скандинавская *Völuspá* [Прорицание вельвы] или «Ипполит» Еврипида. Переходя от Гесиода к Вольнею, от св. Матфея и Оригена к Гёте, от апостола Павла и Вергилия к Тюрго, Тойнби (I, 271—302) перечисляет всех богов, полубогов и героев, склонившихся над колыбелью этой великой идеи<sup>21</sup>. Вся эта долгая церемония, производимая автором с весьма важным видом, не может иной раз не вызвать насмешливой улыбки французского читателя, который, согласно известному присловию, «и уродился насмешником». Тем не менее весь второй том «Изучения истории» посвящен описанию достаточно путаной «физиологии» того, что мы условились называть «Раздражением». Или раздражениями, ибо автор подразделяет их на пять категорий.

Прежде всего — раздражения грубые (всякое раздражение должно обладать известной силой). Не будем искать их следы в местностях с мягким климатом. Нередко зарождение той или иной цивилизации является «чудом» чисто человеческим и столь исключительным, что результаты его оказываются весьма кратко-

временными: таков урок, который могут преподать нам развалины майя, свидетельства трагической борьбы человека с девственным лесом, или удушенные лианами памятники Цейлона и Камбоджи, или, если взять иную географическую среду, руины Пальмиры, порожденные неумолимым призывом пустыни<sup>22</sup>.

Обратный пример: раздражение слишком слабо, жизненные условия чересчур благоприятны — и вот перед нами Капуя, perfida Capua (коварная Капуя), предательски сгубившая воинов Ганнибала<sup>23,7\*</sup>. Но повсюду ли этот закон остается в силе? Да, повсюду. Где родилась китайская цивилизация? На берегах милостивой Янцзы или бесноватой Хуанхэ? А цивилизация Анд? В умеренном Чили? Нет, в Перу, где с такой остротой стоят проблемы орошаемого земледелия (II, 34)<sup>25</sup>. Атика, сердцевина Эллады, засушлива<sup>8\*</sup>, тогда как густая Беотия зелена и плодородна<sup>26</sup>. И так всегда, и так повсюду. Современная Германия родилась не в благодатном рейнском вертограде — она была выкована на тяжелой бранденбургской наковальне. Габсбурги вышли не из самых богатых, а из самых скудных земель, которыми обладал их род<sup>27</sup>. С грубыми раздражениями связан призыв к обновлению, властный зов нетронутых человеком просторов: вавилонская цивилизация родилась в Ассирии<sup>28</sup>, индийская — на юге Индостана<sup>29</sup>: обе они были порождениями неводеланных, требующих расчистки земель.

Но не все раздражения являются природными. Есть и такие, что вызываются людьми, носят чисто человеческий характер. Таковы реакции, обусловленные внезапными испытаниями, поражениями, катастрофами: Рим, воспрянувший после разгрома на Аллии<sup>30</sup>, Оттоманская империя, значительно усилившаяся за те полсотни лет, что прошли со времени ее поражения под Анкарой войсками Тимура<sup>31</sup> (II, 702). Закон, который остается в силе

<sup>7\*</sup> Требуются ли другие примеры? В нужный момент Тойнби выводит на сцену Цирцею, за которой следует Калипсо, окруженная толпой хананских прелестниц<sup>24</sup>. Автор статьи и некстати смешивает исторические ссылки со ссылками на поэзию, мифы, легенды — таков уж излюбленный им прием.

<sup>8\*</sup> Я не учитываю весьма существенных перемен, которые претерпела Атика со времен античности. В двух шагах от нее находилась Халкида — местность плодородная, но по площади совсем незначительная. Места не хватало, приходилось «рваться». Переселенцы из этого края устремлялись даже во Фракию и Сицилию (II, 42). Перейдем к Сирии. Там был изобретен алфавит, открыта Атлантика, выработано понятие о едином боге, общее для иудаизма, религия Зороастра, христианства и ислама, но чуждые религиям шумеров, египтян, мидян и греков (II, 50). Какой же народ явился распространителем подобных открытий? Тучные филистимляне? Нет, сухопарые финикийцы, население скудной земли, теснимые одновременно и морем и пустыней, — именно они открыли Атлантику, целый неведомый дотоле мир, в то время как маленький кочевой народец, живший в еще худших условиях среди каменистых пустынь Иудеи, открыл единобожие.

на протяжении всей истории, от битвы при Заме<sup>32</sup> до битвы под Верденом<sup>33</sup>, — его действием Тойнби объясняет даже... описанное в «Деяниях Апостолов» воодушевление учеников Христа, вызванное вторичным исчезновением их Учителя...

Таков, говоря языком Тойнби, Stimulus of blows [влияния ударов]. Наряду с ними существуют и раздражения, вызванные постоянным давлением: stimulus of pressures [влияния давлений]. Что такое история Египта, как не пример постоянного напряжения между двумя его политическими полюсами, северным и южным, — напряжением, отдающимся в сердце Египта, в Фивах?<sup>34</sup> Чем, как не подобным напряжением, объясняются жизнестойкость, сила и политическая плодovitость окраинных государств? Взгляните на Индию: Пенджаб, край, которому приходилось беспрестанно реагировать на толчки извне, и по сей день поставляет лучшие части в индийскую армию<sup>35</sup>. Покуда культурный центр Индии находился в Дели, городе, не защищенном от внешних воздействий, он процветал и бурлил; когда же англичане перенесли его в Бомбей, он зачах<sup>36,37\*</sup>. А где зародилось королевство Меровингов? В Австразии, которой то и дело угрожали саксы и авары. Когда же была завоевана Саксония, именно она стала при Оттоне самой жизнеспособной провинцией его государства<sup>37,10\*</sup>.

И наконец, последний stimulus: ответ на притеснения. Stimulus of penalization [влияния притеснений] — это раннее христианство, чья потаенная жизнь была куда интенсивней его официальной жизни из-за преследований языческих императоров. Это реакция фанариотов, живших в христианском гетто Стамбула на положении нежелательных гостей; именно благодаря этому они сделали активными торговцами, установили связи с Западом, развили свои административные таланты, первоначально проявившиеся в области управления хозяйством Патриархии; все эти качества обеспечили им в Османской империи конца XVII века поразительный материальный и духовный успех<sup>39</sup>.

Вывод: цивилизации порождаются трудностями, а не благоприятными условиями. Чем сильнее раздражение, тем живее отклик — до известного предела, разумеется. Скандинавская цивилизация проявила себя с особенной силой не в Гренландии с ее чрезмерно жестоким климатом и не в Норвегии, наименее суровой из стран этого региона, а в Исландии. Ибо цивилизация

\* Теперь именно в Бомбее, на побережье, у морских границ, пробуждается великое национальное движение индийского народа, являющееся реакцией против одержавшего победу Запада.

<sup>10\*</sup> Что справедливо для Европы, то справедливо и для Америки: завершая свой обзор, Тойнби ведет нас в Анды — в Куско, в Теночтитлан, которые (в отличие от расположенных внутри континента Тлашкалы и Чолулы) являлись активными центрами, ибо испытывали давление со стороны лесных племен или чичимеков (III, 207)<sup>38</sup>.

эта прежде всего должна была отвечать нуждам заморских миграций населения, благодаря которым переселенцы попадали в худшие условия, нежели те, которыми они пользовались в Норвегии. В худшие, но не в наихудшие, как в Гренландии<sup>40</sup>.

Таким образом, Тойнби пытается объяснить нам, как зарождаются цивилизации. Но родиться — это еще полдела. Нужно выжить. И жить дальше. История полна несостоявшихся цивилизаций — или таких, что, не будучи уничтожены внешними силами, с какого-то момента перестали развиваться и как бы окаменели, столкнувшись с чересчур постоянными и чрезмерными трудностями; они продолжают жить лишь ценой чудовищного напряжения, не имея возможности достичь подлинного расцвета. Пример — цивилизация эскимосов, остановившаяся в своем развитии, связанная, так сказать, по рукам и ногам самой чрезмерностью каждодневных усилий, необходимых для того, чтобы выжить в столь суровой среде. Другой пример — цивилизации кочевников, которым приходится расплачиваться за то, что они дерзнули бросить вызов степи. И наконец, примеры более развитых цивилизаций такого рода — к ним Тойнби относит цивилизации османов и спартанцев.

Первый их отклик прозвучал на раздражения человеческого порядка. Османам предстояло покорить общества, прочно осевшие на землях, которые они желали заполучить. Когда-то османы были степными пастухами, они сохранили некоторые пастушеские навыки и воспользовались ими для достижения своей цели. У пастуха есть кони и псы — прирученные им животные, помогающие ему перегонять стада. Оттоманские падишахи научились с той же целью приручать людей. Солдаты и чиновники стали их сторожевыми псами, охраняющими человеческое стадо. Вследствие парадокса, являющегося таковым лишь при поверхностном рассмотрении, османы избирали этих псов не из своей среды, а из среды христиан. Ведь их дрессировка была настолько сложна и жестока, что вынести ее могли только существа, полностью вырванные из привычного человеческого окружения. Впрочем, к концу XVI века свободные мусульмане уже получили возможность вступать в ряды янычар — и это было концом всей этой затеи, ее развалом и провалом (III, 46).

Сходным примером при всех своих отличиях является цивилизация спартанцев. Когда примерно в VIII веке до Р. Х. перед эллинским миром встала проблема перенаселенности полисов, Спарта разрешила ее отнюдь не путем заморской экспансии. Она предпочла наброситься на своих соседей, мессенцев<sup>41</sup>. Но те не были в противоположность варварам, колонизируемым греками, носителями низшей цивилизации<sup>41\*</sup>. Победа над ними спарта-

<sup>41\*</sup> Превосходство греков над варварами было таково, что, с одной стороны, будучи меньше численностью, они легко брали верх над последними, а с другой — завоеванные и обработанные греками земли могли

цев принадлежала к числу тех, когда «меч побежденного навеки остается в душе победителя» (III, 53). С той поры все существование Спарты определилось единственной целью: удержать завоеванное. Ради этого ей приходилось постоянно выковывать все более и более жесткие и совершенные механизмы угнетения и полицейского надзора. Основу этой машины составляли не рабы, избранные из массы побежденных, как то было у османов, а свободная спартанская молодежь, подвергавшаяся той же обработке, что и янычары: тщательный отбор, абсолютная специализация, строгий надзор над личной жизнью, развитие духа соревнования, в равной мере избыточные поощрения и наказания. А позади стояла Спарта — в вечной дрожи, в непрестанном напряжении. Что за ирония: спартанцы, составлявшие ничтожное меньшинство среди прочего населения Эллады, не осмеливались пустить в ход свою несравненную армию, ибо тщательно рассчитанное социальное равновесие оставляло так мало возможностей для его перестройки, что всего одна излишняя победа могла бы нарушить, а то и разрушить это равновесие. Такой и явилась роковая победа 404 года, повлекшая за собой не менее роковое поражение в 371 году и закат Спарты<sup>43</sup> (III, 71—75).

Таков удел остановившихся в своем развитии цивилизаций. Цивилизаций окостеневших. Схожих с миром насекомых: и тут, и там — та же скованность, неподвижность, безысходность. Те же усилия, направленные к одной цели: как бы не сломиться окончательно.

Чем же определяется жизнеспособность того или иного общества? Тойнби перечисляет свои критерии. Это, во-первых, последовательное овладение жизненной средой. Затем — последовательное одухотворение всех видов человеческой деятельности. Даже в области чистой техники: разве не наблюдается и здесь переход от более тяжелого к более легкому, от более плотного к более разреженному — от угля к мазуту, от воды, служащей источником движения, к пару? И наконец, последний критерий — это перенос раздражений и откликов из внешней среды во внутреннюю. Для нас, например, внешние проблемы уже разрешены. И нечего утверждать, что извне нам угрожает большевизм. Он является западным, а отнюдь не чужеродным фактом: это критика Запада в адрес временного и шаткого социального устройства, установившегося в XIX веке. Что такое пятилетний план, как не победа западной техники, как не парадоксальный порыв, направленный к тому, чтобы распространить среди русского крестьянства противоречивые идеалы Ленина и Форда? Или, вернее, методы Форда и идеалы Ленина (III, 202). Внешние проблемы для нас решены; их решение обеспечивается техникой —

удовлетворить нужды как победителей, так и побежденных. Отсюда примеры мирного сосуществования между теми и другими в эллинических поселениях Сицилии, Великой Греции<sup>42</sup>, Фракии и т. д.

но в состоянии ли мы обуздать нашу технику? Победить ее во внутреннем плане? Вот великий вопрос и великое испытание. Будем же неуныпно бодрствовать.

Все это, хоть и несколько окольным путем, приводит Тойнбу к постановке вопроса о внутреннем развитии обществ, — и, в частности, к вопросу о взаимоотношениях между обществом и личностью. Каков же его ответ? Общество само по себе ничего не создает. Оно является лишь полем столкновения индивидуальных творческих усилий. Оно осуществляет связи между личностями, они-то, а не само общество, и творят историю (III, 231). Общества развиваются благодаря усилиям гениев, которые изменяют общественную среду, откликаются на полученные ею раздражения, вынуждают ее к тем переменам, которые претерпели они сами. А если им не удается все это, — значит, они родились прежде времени и обречены на гибель<sup>12\*</sup>.

Иногда происходит одновременный расцвет множества гениев. Новые веяния посягают в воздухе. Одинаковые раздражения, получаемые личностями, живущими в одной и той же среде, вызывают сходные отклики. Но масса всегда остается инертной. Именно отсутствие творческого меньшинства коренным образом отличает первобытные общества от настоящих цивилизаций. Везде и всегда путь истории пролегает по узкому гребню, с одной стороны которого находятся косные массы, а с другой — бодрствующее меньшинство, гении, обладающие своими собственными законами, своим собственным жизненным режимом...

Действие, творческий толчок, и снова действие. Вот что Тойнбу называет законом Отступления и Возвращения, *Withdrawal and Return*, вслед за тем иллюстрируя этот закон диковинной галереей гениев, насаженных им на булавки, наподобие насекомых; перечислим кое-каких представителей этого собрания: св. Павел, св. Бенедикт, св. Григорий Великий, Игнатий Лойола, Будда, Давид, Солон, Филомен, Цезарь, Лев Сирий, Магомет, Петр Великий, Ленин, Гарибальди, Гинденбург, Фукидид, Ксенофонт, Иосиф Флавий, Оливье (Эмиль!), Макнавелли, Полибий, Кларендон, Ибн Хальдун, Конфуций, Кант, Данте и ... Гамлет. Британский юмор и тут остается в силе<sup>13\*</sup>.

<sup>12\*</sup> Всякому гению приходится сначала нарушать с большим или меньшим трудом установленное равновесие, прежде чем он заново не восстановит его. А если и восстановит, то на каких основах — прежних, уже сложившихся, или новых, непредвиденных? И в том, и в другом случае гений восстает против общества, и конфликт этот может кончиться либо его победой, либо поражением (III, 236).

<sup>13\*</sup> Каждому из этих гениев посвящена короткая — от двух до восьми страниц — заметка, превращающая их всех в своего рода анатомические препараты, искаленные, бесформенные, обезжизненные донельзя. И все это стараниями человека, на все лады трубящего о своем преклонении перед жизнью...



Отступление и Возвращение: универсальное движение. Ему подчиняются не только отдельные личности, но и целые группы людей, вынуждаемых жизнью замкнуться в самих себе, с тем чтобы потом развернуться с невиданной мощью. Ему подчиняются и сами цивилизации: Тойнби уверяет, что этот ритм присущ даже Советской России, уточняя, однако, чтобы не отступить от своих идей об инертности масс, что withdrawal творческого меньшинства всегда предваряет это понятие по отношению ко всей цивилизации в целом. И что нередко творцы уже начинают реагировать на новые раздражения, тогда как масса еще продолжает переваривать достигнутые ранее результаты.

Отсюда следует заключить, что ход цивилизации носит скачкообразный характер. Резкие расслабления и периоды покоя служат подготовительными периодами для новых скачков (III, 375). Ибо в каждом живом обществе всякий ответ на раздражение тотчас порождает новое раздражение. И поскольку последствия этих раздражений неоднозначны, цивилизации становятся непохожими одна на другую. У каждой из них — особый характер: в этом Тойнби целиком следует за Шпенглером. Характер нашей цивилизации — а он сложился давно, задолго до всех современных открытий, — механический. И третий том Тойнби завершается нижеследующим оптимистическим заключением: любая цивилизация — достигшая расцвета, несостоявшаяся или остановившаяся в своем развитии — обретает смысл во вселенной, одухотворенной тем ритмом, о котором говорит один из стихов Корана (X, 4): «Все вы обратитесь к Нему. Таково истинное обещание Божие. Он выдохнул творение — Он и вернет его к Себе».

#### УРОК «ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ»

Таков этот труд, или по крайней мере его начало (Тойнби обещает еще два десятка томов). Такова атмосфера этой грандиозной затеи, полной несомненных достоинств, несколько театрального блеска, живости и сноровки.

Атмосфера, пронизанная дрожью перед величественной громадой Истории; чувство сенсации, вызванное у доверчивого читателя внушительным обзором всех этих тщательно пронумерованных цивилизаций, которые, подобно сценам мелодрамы, смеяются одна другую перед его восхищенным взором; неподдельный восторг, внушенный этим фокусником, который с такой ловкостью жонглирует народами, обществами и цивилизациями прошлого и настоящего, тасуя и перетасовывая Европу и Африку, Азию и Америку; ощущение величия коллективных судеб и человечества и ничтожества отдельной личности, но вместе с тем и ее значимости, ибо, следуя руководству Тойнби, она обретает способность обозреть одним взглядом двадцать одну (ни больше

ни меньше!) цивилизацию, которые составляют основу человеческой истории... А это всеведение, эта самоуверенность в себе, эти объяснения, столь исчерпывающие и толковые, что, прочитав всего полсотни страниц, приходишь к выводу, что до сих пор ты ничего ни о чем не знал, — и тут тебя охватывает лихорадочное желание научиться всему заново, ибо только теперь перед тобой открывается решение стольких редкостных и диковинных загадок...

Но если не поддаться искусительным чарам, если отвергнуть сентиментальную позицию верующего, присутствующего при богослужении, если беспристрастно взглянуть и на идеи Тойнби, и на выводы из них, — то что нового мы, историки, увидим во всем этом? Подлинно нового, такого, что заставило бы нас пересмотреть наши убеждения, отречься от наших методов и принять методы Тойнби?

Могут ли нас привлекать эти заманчивые фейерверки, эта извращенная страсть к неожиданным аналогиям, к столкновениям между разнородными фактами, идеями и точками зрения — словом, все то, что мы уже заметили у Шпенглера? Тойнби вспоминает великого Моммзена (I, 3), первым значительным трудом которого, как известно, было исследование в области «национальной» истории, истории римского народа. После чего он занялся публикацией текстов и надписей — всевозможных «Корпусов», «Кодексов» Феодосия и «Дигест»... О чем же это свидетельствует? О том, уверяет нас Тойнби, что кривая его жизни в точности повторяет кривую его века: сначала — навязчивая страсть ко всему «национальному» и, стало быть, сужение поля исторических исследований, интерес к отдельным частям человечества, замкнутым в национальных границах; а затем — в соответствии с развитием индустрии — чисто «индустриальная» страсть к сбору, переработке и всяческому перемальванию исторического «сырья» — иными словами, страсть к работе над источниками... Ловко обыграно, ничего не скажешь! Но рассуждая подобным образом, нам ничего не стоит превратить Мабийона<sup>44</sup> — он ведь тоже был усердным поставщиком исторического «сырья» — в современника индустриального общества, озабоченного вопросами добычи и переработки полезных ископаемых...

Пойдем дальше. Тойнби вслед за Шпенглером объявляет священную войну произвольным выборкам, дроблению, всему тому, что отдает духом «монографичности». Что ж, превосходно. Мы и сами вели и будем вести впредь подобную войну. Но мы-то более или менее компетентны в такого рода делах: одной доброй воли здесь еще недостаточно, необходима квалификация. И разумеется, Тойнби не может сказать ничего нового никому из тех, кто — во Франции и за ее пределами — вот уже много лет участвует в работе группы исследователей, которых еще в 1901 году сплотил вокруг своего «Журнала синтеза» Анри Берр, зачина-

тель «Эволюции человечества». Ничему не может он научить и молодых специалистов, объединившихся вокруг «Анналов экономической и социальной истории», — и уж тем более тех опытных ученых, которые, откликнувшись на призыв «Комитета Французской Энциклопедии», решили сообща осмыслить современный мир не с точки зрения отдельных специальностей, а с точки зрения животрепещущих проблем, не принимая во внимание школярских и цеховых разграничений. Тойнби просто присоединяет голос Англии к французским голосам. И нам принадлежит право судить, в какой степени этот голос выделяется в британском мире на фоне прочих голосов. В нашем мире его обладатель может рассчитывать разве что на место среди хористов.

Что же касается судилища над сугубо «национальными» историками и близорукими их творцами (I, 15), которые отказываются рассматривать свою родину лишь как составной элемент единого целого, то здесь бойкот Тойнби вполне оправданна. С пылкостью неопита поучает он своих читателей, что нельзя гипнотизировать себя одной лишь Англией, что необходимо принимать во внимание все западное общество целиком, точно так же, как не следует посвящать свои бдения исключительно Афинам или Лакедемону, когда их достойна вся Эллада. Спору нет. Но при условии, что мы не будем забывать о нижеследующем пустяковом факте: никто иной, как Анри Пиренн, еще недавно с такой убежденностью и страстью защищавший сравнительный исторический метод, является автором национальной истории, «Истории Бельгии», написанной с таким блеском, что она достойна стать самой интересной главой несозданного еще свода всевропейской истории. Именно это обстоятельство и предостерегло его от всякого рода броских сопоставлений и упрощенных предсказаний: то, что простительно публицисту, недопустимо для ученого.

Покончив с разбором, подведем итоги: все «оригинальное» содержание этой тысячи с лишним страниц, которое мы с грехом пополам попытались изложить на двадцати, сводится в конечном счете всего к трем-четырем положениям. Стоит ли их обсуждать? Да, но при условии, что предварительно мы позволим себе кое-какие оговорки.

В отличие от Шпенглера Тойнби не проповедует всеобщий пессимизм. Совсем наоборот. Его учение можно назвать космическим оптимизмом. Он считает, что смысл стольких зародившихся и угасших цивилизаций открывается до конца в некоем ином мире. Похвальное, хотя и несколько туманное убеждение (будь я смелее, я сказал бы: несколько бредовое); не будем, однако, его критиковать: оно не имеет ни малейшего отношения ни к истории, ни к критике.

С другой стороны, тщась вернуть истории утраченный ею жизненный порыв, Тойнби всячески старается спасти ее от ме-

ханистичности. С этой целью он пускает в ход целый арсенал «виталистических» выражений и метафор, с этой целью он манипулирует понятием «высшего закона жизни», каковым для него является закон «Challenge and Response». И на сей раз мы, историки, должны сказать: это философская, а не историческая формула. Или философская истина, если так будет угодно господину Тойнби. Мы не беремся ее обсуждать. Точно так же, как не станем оспаривать и другой его закон — «Withdrawal and Return», заставляющий нашего автора нанизывать на одну нить и волочить перед нами Фукидида, Магомета и... Эмиля Оливье. И на это мы можем со всей простотой ответить: здесь нам нечем поживиться, здесь нет ничего, относящегося к нашей работе, к нашим заботам, нашим методам, — ничего, если бы автор не утверждал, что открыл эти законы благодаря определенному методу — методу сравнительно-историческому. В таком случае перед нами, исследователями и любителями исторической действительности, а не философских истин, встает вопрос: да возможно ли подметить столько приемлемых и удачных сравнений между особенностями двух десятков цивилизаций, протянувшихся из конца в конец времен, охвативших всю поверхность земного шара? Допустим ли такой метод, обоснован ли такой прием, правомерна ли такая процедура?

Взглянем на этот вопрос глазами самого Тойнби: ведь в первой части своего труда он посвящает сорок страниц защите... не сравнительного метода как такового, а *своего собственного* сравнительного метода. Он поочередно приводит и опровергает возражения, которых более всего опасается. Первое из них гласит: общества несопоставимы в силу их разнородности. У них нет ничего общего, кроме того простого обстоятельства, что все они представляют собой объекты, в равной мере пригодные для исторического исследования, — а эта черта сходства чересчур расплывчата для правомерных сопоставлений. Заблуждение, отвечает Тойнби. Двадцать одно общество имеет, во всяком случае, ту общую черту, что все они являются «цивилизациями», а не первобытными обществами. Первобытных обществ, согласно Тойнби, насчитывается шестьсот пятьдесят. Но эта двадцать одна цивилизация включает в себя большее число членов, чем все первобытные общества за все время их существования. И тот факт, что все они в равной мере являются «цивилизациями», составляет приемлемую основу для их сравнения. Пусть так, но сначала следовало бы все-таки условиться, что мы называем цивилизацией...

Второе возражение полностью противоположно первому: мы только что уяснили, что следует думать по поводу разнородности цивилизаций; но можно ли отказаться от тезиса в защиту общности цивилизации? Человечество едино, его не поделишь, как пирог, на куски; стало быть, не может идти речи о цивили-

зациях: она всего одна, Цивилизация с большой буквы. Тойнби отводит целых двадцать две страницы (I, 150—172) на опровержение этого тезиса, а заодно и европоцентристской концепции истории, которая ставит во главу угла европейскую цивилизацию XX века. Все это очень хорошо, но французский читатель, глядя на это донкихотское сражение с призраками, сначала усмехнется, а потом удивится: неужели Великобритания сохранила такую верность идеям конца XVIII века, что для их опровержения потребовалось столько усилий, столько страниц?

Тойнби предвидит более серьезное возражение. «Эти два десятка цивилизаций,—могут ему сказать,—не сосуществуют одновременно. Расхождения во времени между некоторыми из них составляют шесть тысяч лет. Какие уж тут сравнения!» Но что такое эти шесть тысяч лет, если вспомнить, что земному шару два миллиарда лет, что жизнь на нем появилась триста миллионов лет назад, а человек (всю ответственность за эти выкладки мы, естественно, возлагаем на самого Тойнби) существует вот уже триста тысяч лет?<sup>45</sup> С точки зрения какого-нибудь жителя Сириуса, эти шесть тысяч лет — сущий пустяк, временная пленка почти неуловимой толщины. А мы еще пытаемся искать какие-то различия! По сути дела, все цивилизации современны и одновременны. Тем более что каждая из них, рассматриваемая в качестве отдельного индивидуума, неизменно проходит три возрастных периода: период зарождения, иногда связанный со вживлением в постороннюю цивилизацию, период расцвета и период перерастания в новую цивилизацию или полного угасания. Вот и вся недолга! Что и говорить, фокус удачен, трюкачу нельзя отказать в ловкости, но не свидетельствуют ли подобные трюки о механическом подходе к истории, а вовсе не о стремлении «вдохнуть в нее жизнь»? Оставим, однако, в стороне и эти и многие другие частности. Главное в другом: Тойнби изо всех сил старается распахнуть новую дверь в историю — дверь, надпись над которой гласит (I, 175—177): все цивилизации равноценны и наша не является их венцом. Так воздадим же автору должное за это утверждение!

Остается последнее возражение: «Всякий исторический факт единственен в своем роде и поэтому несопоставим с другими». — Каждое проявление жизни, с некоторой неуверенностью отвечает Тойнби, единственно в своем роде и в то же время сопоставимо с другими жизненными явлениями. Существование таких наук, как ботаника и зоология, существование общих биологических дисциплин и психологии само по себе доказывает, что жизненные феномены поддаются сравнению. Да и антропология тоже не отказывается от сравнений... — Сравнений? Но первобытные общества лишены истории... — Это кажется вам лишь потому, настаивает Тойнби, что они лишены документов. Вы ведь не возражаете против сравнения между собой первобытных установлений?

Но если бы вам удалось восстановить историю обществ, принявших извне или создавших эти установления, вы не возражали бы и против сравнительного изучения этих обществ в ходе их развития. А если это так, то что вам мешает заняться таким же сравнительным изучением обществ и цивилизаций, которые обладают всеми необходимыми документами для подобного исследования? Тем более, ловко ввертывает Тойнби, что всякое эмпирическое изучение цивилизаций наводит на мысль о наличии элемента регулярности и повторяемости, который может послужить наилучшей из основ сравнительного метода,— нечего сказать, хитрая уловка, с помощью которой автор пытается выдать за установленный факт то, что еще надлежит установить!

Вы, историки, добавляет Тойнби, привыкли препираться по мелочам о возможности применения сравнительного метода к живым фактам (или к тем фактам, что когда-то были живыми). Деловые люди так не поступают. На чем основывают они свои предприятия? На чем, к примеру, основывается деятельность страховых компаний? На статистических данных. Иначе говоря — на сравнениях между фактами, которые считаются «единственными в своем роде». Эти статистические данные достаточно надежны: попробуйте ими пренебречь — и ваше предприятие захиреет; обдуманно воспользуйтесь ими — оно будет процветать. Стало быть... Стало быть, мы, трусоватые историки, должны брать пример с деловых людей. И, подобно им, пользоваться сравнительным методом.

Но не спешите с выводами, — продолжает наш автор. — Я ведь не говорю, что все высокопарные разглагольствования о жизни и о живой истории сводятся к вычислению прибыли от ценных бумаг или страховых премий. Я просто-напросто хочу сказать, что здравый смысл деловых людей не имеет ничего общего с устаревшими методами изучения истории. — Превосходно. — Этот здравый смысл побуждает их «естественным образом» употреблять сравнительный метод в привычной для них области. — Согласен. Но что они сравнивают? В каких временных пределах осуществляются их сравнения? И что получится, если они нарушат эти пределы? Представим себе теперешнего хлебного маклера, вздумавшего строить прогнозы на будущий урожай с учетом колебания цен на хлебном рынке в Египте времен Рамсеса II... Ведь даже выводы из наблюдений над фактами европейской истории полувековой давности вряд ли применимы в чистом виде к современным фактам: я бы посоветовал любому деловому человеку хорошенько подумать перед тем, как пустить их в ход. Но не пора ли нам оставить избранный самим Тойнби метод воображаемой полемики с британскими оппонентами, которые, если смотреть на них с его точки зрения, могут показаться нам старомодными представителями старомодной и отсталой страны, чья наивность лишь способствует успеху нашего автора? Я считаю,

что ни я сам, ни мои товарищи по оружию из «Журнала синтеза», «Анналов» и «Энциклопедии» не стараемся намеренно рядиться в маски противников всяких новшеств в истории. Я утверждаю, что никогда не выступал против сравнительного метода, — а только что упомянутые издания подтвердят это г-ну Тойнби, если он перестал интересоваться состоянием исторических идей во Франции (исключая идеи Эмиля Оливье<sup>46</sup> и Гобино<sup>47</sup>). Напротив: я сломал немало копий в защиту этого метода. Но всегда вступал в бой с достаточной осторожностью.

Давайте сравнивать. Но сравнивать так, как подобает историкам. Не ради извращенного удовольствия поваляться в двадцати одной пустой скорлупе, а ради здравого и разумного постижения конкретных фактов, ради все более и более глубокого проникновения в те останки былых времен, которыми являются цивилизации. Давайте сравнивать — но не для того, чтобы из неудобоваримой мешанины китайских, индийских, русских и римских фактов извлечь в конце концов некие абстрактные понятия вроде Вселенской Церкви, Всемирного Государства или Варварских Вторжений. Давайте сравнивать, чтобы с полным знанием дела заменить все эти нарицательные имена именами собственными. Чтобы — позволю себе воспользоваться знакомым материалом — говорить не о Реформации, а о реформациях XVI века, показывая, сколь различным образом свершались они в различных сферах, национальных и социальных, в ответ на «раздражения», исходящие от разлагающегося средневекового мира. Исследование этих реформаций — это отнюдь не серия монографических рассуждений о тех или иных подробностях догм, сформулированных Лютером, Цвингли, Меланктоном, Буцером или Кальвином, а объяснение перемен, вносимых жизнью со всеми присущими ей частностями в совокупность «понятий о мире», выработанных этими деятелями для самих себя и для своих современников, — перемен, каждая из которых связана со всеми остальными: все они определены условиями существования отдельных личностей, социальных групп, классов и народов. Замысел, который не осуществишь одним махом, — что правда, то правда. Но все же более скромный, чем замысел Тойнби. Без малого век в сравнении с шестью тысячами лет: две пленки, но первая куда тоньше второй.

И пусть нам не возражают: «Разве то прошлое, которое вы стремитесь понять и объяснить другим, не превращается в конце концов в производимую вами самими реконструкцию?» Ну разумеется! Всякая наука конструктивна. Но не всякая конструкция устойчива, приемлема, закономерна. Можно утверждать, что источники не говорят нам всего. Что из них нельзя автоматически извлечь однозначных и необратимых заключений. Что осмысление их требует от историка особого чутья, умения угадывать, чуть ли не дара провидения. Но утверждать, будто с помощью какой-нибудь сотни данных, почерпнутых из специальных трудов,

можно должным образом восстановить прошлое цивилизации, — значит брать на себя непомерную ответственность. А делать это, пользуясь фактами из третьих рук, примерами, взятыми из учебников, — значит заниматься пустыми химерами.

Добавлю к тому же: упорно противопоставлять «специалиста», «автора монографии» «истинному историку», «мастеру обобщений» — значит во всеуслышание объявить себя ретроградом. Я говорю это как практик в области истории. Как «специалист» и «мастер обобщений» в одном лице, ибо эти ипостаси историка неразделимы. Не серийное производство абстракций, а обобщение, извлеченное из конкретных фактов, — вот наивысшая вершина, доступная историку, — наивысшая и найтруднейшая. Не все ее достигают — не каждому это дано. Она покоряется лишь тем, кто медленно, с трудом, шаг за шагом одолевает все ведущие к ней уступы. Никому не миновать этого подъема. А тот, кто уверяет, будто способен одним прыжком взлететь на самый высокий гребень, покрасоваться там в эффектной позе, а потом, помахав рукой, перескочить на другой пик, пусть снимается для броских журнальных обложек. Альпинистам, то бишь историкам, подобные трюки не к лицу.

И пусть, бога ради, Тойнби и ему подобные из других стран перестанут провозглашать над «специалистами», над этими полуслепыми кротами, над этими мракобесами, источниками всяческого зла. И сам Тойнби и его приспешники являются по меньшей мере «ровесниками» этих кротов. Они тоже принадлежат вчерашнему, а то и позавчерашнему дню. Они во всю глотку вопят о «жизни» — точь-в-точь, как вопили их предшественники в 1900 году. Но жизнь не поймает в сеть двадцати одной цивилизации, растянувшуюся на шесть тысяч лет. А если и поймает, она задохнется в руках «сравнителей», проецирующих Ашшурбанипала на Людовика Святого, а Сезостриса<sup>48</sup> на Ленина. Поменьше словесного пиетета перед *Жизнью вообще*, побольше уважения к отдельным *жизням*. Даже в рамках строго определенного периода историку XX века трудно удержаться от привнесения своих собственных идей, чувств и устремлений в сердца и души людей XVI или XII века. А пытаться сопоставить между собой двадцать одну цивилизацию — значит совершить двадцать один смертный грех, непростительный грех анахронизма. К тому же...

Можно ли, нельзя ли говорить об истории «первобытных» племен? На мой взгляд, вопрос поставлен неправильно. Главная разница между «первобытными» племенами и «цивилизованными» обществами состоит в том, что можно с достаточным основанием говорить о зулусах, кафрах и тукулерах<sup>49</sup> вообще — ибо они относительно мало отличаются друг от друга в пределах данной этнической группы; но говорить о каких-то абстрактных «греках», «римлянах», «французах эпохи средневековья» или «итальянцах



эпохи Возрождения», а уж тем более о «человеке средних веков» или «человеке эпохи Возрождения» — значит злоупотреблять доверием к истории. И обольванивать жизнь, пытаясь втиснуть ее в немногосложную формулу. Возьмем столь дорогой сердцу Тойнби пример. Хитроумный «маневр» его спартиатов существует на самом деле, но это всего лишь маневр ловкого журналиста. Попробуем-ка и мы разок перепрыгнуть через века: сколько прекрасных страниц можно было бы при желании посвятить «сравнению» Спарты с нацистской Германией! Но что такое эта «нацистская Германия», как не этикетка, ярлык, удобное выражение? Нацистская Германия — это сами нацисты, выдающие этикетку за реальность. А подлинная реальность современной Германии складывается, с точки зрения историка (и выражаясь языком Тойнби), из различных откликов различных групп и различных индивидуумов на «раздражения» национал-социализма. Она складывается из целой гаммы отношений к этому режиму: от 95% приятия до 100% отказа — и эта подвижная (и живая) совокупность живучих традиций, обрывочных пережитков и реальных переживаний никак не уместается под оболочкой официального конформизма. Что же тогда говорить о Спарте? Если нацистское единообразие есть не что иное, как пустая формула, что же тогда говорить о единообразии спартанском и о том его описании, которое дает нам Тойнби? Не будем же стараться скрыть столько белых пятен картонными декорациями, если даже они броско размалеваны и находятся в полном соответствии с лондонскими вкусами 1936 года.

Сравнительная история глазами Тойнби... Что это такое, как не воскрешение в XX веке старого литературного жанра, бывшего в свое время популярным, давшего столько шедевров? От Луккиана до Фонтенеля жанр этот именовался «Диалогами мертвых»<sup>50</sup>.

Подытожим в двух словах. То, что в «A Study of History» достойно похвалы, не представляет для нас ничего особенно нового. А то, что в нем есть нового, не представляет особенной ценности.

Прочитав эту книгу, мы начинаем озираться вокруг, но с облегчением замечаем, что все осталось таким, как было прежде: ничего не поломано, ничего не задето. Мы не больше, чем раньше, гордимся своими достижениями и сокрушаемся о неудачах. Нам не преподнесли никакого нового ключа. Никакой отмычки, с помощью которой мы могли бы открыть двадцать одну дверь, ведущую в двадцать одну цивилизацию. Но мы никогда и не стремились завладеть такой чудодейственной отмычкой. Мы лишены гордыни, зато у нас есть вера. Пусть до поры до времени история останется Золушкой, сидящей с краю стола в обществе других гуманитарных дисциплин. Мы отлично знаем, почему ей досталось это место. Мы создаем также, что и ее коснулся глупо-

кий и всеобщий кризис научных идей и концепций, вызванный внезапным расцветом некоторых наук, в частности физики, поколебавшей считавшиеся неколебимыми понятия, на которые десятилетиями безмятежно уповало человечество. Мы создаем, наконец, что в силу этих преобразований, а также потому, что Наука едина и все ее отрасли взаимосвязаны,— мы сознаем, что наши идеи, основанные на устаревшей научной философии, должны быть пересмотрены, а вслед затем должны подвергнуться пересмотру и методы, неотделимые от этих идей. И в этом нет ничего страшного, ничего такого, что могло бы заставить нас отречься от нашего кропотливого и нелегкого труда и броситься в объятия к шарлатанам, к наивным и в то же время лукавым чудотворцам, к сочинителям дешевых (но зато двадцатитомных!) опусов по философии истории.

Что же касается утверждения, которое, не будучи высказанным явно, угадывается на каждой странице труда Тойнби,— утверждения, гласящего, что история повторяется,— то тут спорить не о чем. История действительно повторяется. В том смысле, в каком понимал это старый библиотекарь одного персидского шаха, пожелавшего за несколько минут до смерти узнать, что такое история... «Государь,— сказал мудрый старец испускающему последнее дыхание владыке,— люди рождаются, любят и умирают»<sup>51</sup>.

# ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

## ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

«Способность к открытию соотношений» — таково одно из наиболее приемлемых определений научного гения. Вспомним о каком-нибудь крупном враче, выдающемся клиницисте, который, сопоставляя и сравнивая разрозненные признаки и симптомы, описывает, или, вернее, открывает, новый вид заболевания. «Способность к согласованию смежных дисциплин, к взаимообмену между ними» — вот не менее верное определение прогресса в какой-либо развивающейся отрасли науки. Нередко эту проверенную на опыте истину выражают иными словами: «Крупные открытия чаще всего совершаются на стыке наук».

А раз это так, то нет нужды долго доказывать, что психология, то есть наука, изучающая ментальные функции, непременно должна вступить в тесную связь с социологией, наукой, изучающей функции социальные, и что не менее необходимыми являются ее постоянные соотношения с рядом трудно определяемых дисциплин, чья совокупность традиционно именуется Историей. Но в настоящее время соотношения эти могут лишь разочаровывать — с этим приходится смириться с самого начала. Психология с трудом высвобождается из пут философских словопрений и только-только вступает на твердую почву экспериментальных исследований. О социологии заговорили всего каких-нибудь сто лет назад, а в настоящую науку она превратилась и того позже. Что же касается дисциплин, которые за последнее столетие выявились из перемешанных слоев Истории, то они еще попросту не успели обрести «права гражданства». Лишний довод, свидетельствующий о том, что нельзя упускать из виду ни одного из столь изменчивых аспектов жизни гуманитарных наук.

Какой же должна быть первоочередная цель обмена мнениями между психологами, социологами и историками? Ясное дело, что цель эта состоит в изучении человеческой личности. «Психология, — утверждал Болдуин, — исследует человеческую личность, а социология — человеческий коллектив». Если бы он взялся за определение истории, то, как мне кажется, включил бы в него, словно в некий общий загон, и личность, и коллектив — и добавил бы, что история, вооруженная данными психологии и социологии, старается установить их взаимоотношения в рамках прошлого.

Прекрасные определения, но пригодные разве что для студентов: они дают им в руки ключи, которыми так легко пользоваться. Беда в том, что ключи эти подходят лишь ко внешним дверям истории — ими не отпереть дверей внутренних! Но оставим эти пустопорожние рассуждения, не будем заниматься проведением границ на бумаге, посмотрим-ка лучше в лицо действительности. И пусть в ход хороший метод: попробуем усложнить то, что с первого взгляда кажется таким простым.

## I

Что является объектом исторических исследований? Общепринятое мнение отвечает на этот вопрос так: с одной стороны — неясные движения безымянных человеческих масс, обреченных, образно выражаясь, на черную работу истории; с другой же стороны — руководящие действия известного числа так называемых «исторических фигур», выделяющихся из этой серой массы.

Историки мало что знают об этой массе. Есть целые эпохи, не оставившие о ней прямых и подробных свидетельств. История, аристократка по рождению, столетиями взирала — а нередко взирает и по сей день — лишь на Королей, Князей, Вождей и Полководцев — словом, на людей, которые «творят Историю». «Menschen, die Geschichte machen» [Люди, творящие историю] — именно под таким заголовком вышел недавно в Германии толстый сборник исторических биографий<sup>1\*</sup>. Таким образом, связь между психологией и историей, рассматриваемая с общепринятой точки зрения, представляется весьма простой.

Что такое безымянные массы прошлого, исторические массы? К ним без труда приложима — по крайней мере так предполагается — коллективная психология, основанная на изучении теперешних масс. Что же касается отдельных личностей, «исторических фигур», то они, естественно, подлежат ведению индивидуальной психологии. Относящиеся к ним источники (чаще это психологические объяснения их деятельности и характера) являются хорошей добычей для психологов. Они призваны приумножить сокровищницу накопленных ими наблюдений. И наоборот: выводы, извлеченные психологами из наблюдений над современностью, помогают историкам лучше осмыслить, лучше понять поведение и действия «руководителей» былых обществ, подлинные творцов человеческой истории.

Итак, мы все еще остаемся в плену двучленной формулы: «личность — общество». Но попробуем присмотреться к этой проблеме попристальней.

Кем являются эти чарующие личности, эти «исторические фигуры»? Они являются, как мы уже говорили когда-то, «ответственными исполнителями великого исторического процесса»<sup>2\*</sup>. Но что такое этот великий исторический процесс? Это совокупность фактов, собранных, сгруппированных и приведенных в систему историками таким образом, что факты эти становятся определенным звеном в цепи разнородных и в то же время схожих между собой явлений (политических, экономических, религиозных и т. д.). Мы, историки, стараемся все плотнее окутать исто-

<sup>1\*</sup> Переведен на французский в 1936 году.

<sup>2\*</sup> Semaines Internationales de Synthèse. 3<sup>e</sup> Semaine: L'individualité. P., 1932. P. 129.

рическое прошлое человечества целой сетью таких цепей. Мы без конца выковываем и укрепляем эту сеть, стремясь «организовать прошлое», внести ясность и упорядоченность в его беспрестанно волнующие глубины, в беспорядочное сверкание и кружение фактов, которые, не подчиняясь никакой зримой закономерности, вьются, сталкиваясь и сливаясь, вокруг каждого человека в каждый миг его жизни, — а стало быть, и в каждый миг жизни общества, которому он принадлежит.

Исполинские цепи, огромные звенья — чем объясняется их величина? Тем, что среди деяний человеческих следует различать такие, которые затрагивают лишь отдельные и малочисленные группы людей, и такие, что, попирая границы этих малых групп, стремятся объединить их между собой или по меньшей мере указать им единое направление. Таковы религии, если они, разумеется, не являются верованиями замкнутых групп, недоступными для посторонних. Таковы великие системы идей и учений, которые, невзирая на все границы, связывают людей, принадлежащих к различным группам. Таковы равным образом политические явления: заговоры и революции, завоевания и вторжения со всеми их последствиями: захватом, с одной стороны, сопротивлением — с другой.

Исторические деяния? Да, в той мере, в какой они не остаются простым итогом насилия, а обретают поддержку времени и людей, которые, испытав последствия этих деяний, принимают их, соглашаются с ними и распространяют их дальше. Да, в той мере, в какой они творятся не отдельными людьми на благо, для выгоды отдельных групп, а перерастают в совместные усилия по перестройке жизни человеческих масс. Да, в той мере, в какой эти деяния, которые вначале могут быть частными и даже эгоистическими, превращаются в общее дело цивилизации. Ибо факторы цивилизации — по крайней мере частично — не ограничиваются данным обществом, а распространяются и внедряются в области, весьма отдаленные и непохожие на область, их породившую.

Итак, историческое деяние не уменьшается в рамках «местного» и «национального», а стремится к общечеловеческому, оказывается способным к распространению и расширению. Но что же такое «историческая личность»? Это личность, отвечающая простейшему постулату общепринятого мнения: как не бывает часов без часовщика, так не бывает и исторических деяний без их виновников, без их творцов. Таким образом, вступает в силу основная категория соподчинения: «порождающий — порождаемое».

Автором исторического деяния является историческая личность, человек, которому общепринятое мнение приписывает ответственность за это деяние: необходимое упрощение и удобная мнемотехника. Но что, если формулировка эта все-таки верна?

С той оговоркой, что автор — не предполагаемый основатель догматичной коллективной организации, а достоверно известный творец научной, литературной, философской или религиозной системы, которую на самом деле можно считать плодом его ума (Дарвин, Шекспир, Маркс, Кальвин), — что автор этот не в состоянии, однако, внедрить свою систему в жизнь без сотрудничества, без активной поддержки группы единомышленников. Нет ничего необычного, из ряда вон выходящего в драме человека, который дарит миру ту или иную идею и к которому идея эта возвращается полностью искаженной и преображенной окружающей его «средой». Как типична судьба Мартина Лютера, подлинного отца лютеранства, которого сотни раз охватывали смятение и растерянность от сознания того, что его идеи с самого начала искажаются массами, присвоившими их себе и уготовившими им участь, знакомую всем великим творцам духовных ценностей: извращение, а то и полное ниспровержение системы, за которую они тем не менее несут иллюзорную ответственность перед историей!

Да и можно ли представить себе человека — в том числе историческую личность — в качестве некоей самостоятельной, независимой и обособленной силы, в качестве первоисточника творческой энергии, если каждый человек подвержен столь сильным влияниям, дошедшим из глубины веков или порожденным теперешней средой, — влияниям прежде всего языковым и техническим?

Язык — это самое могучее средство воздействия коллектива на личность. Это разновидность техники, постепенно созданной человечеством и достигшей теперешнего своего состояния, беспрестанно изменчивого и подвижного, в результате усилий, длившихся не веками, а целыми тысячелетиями. Теперь, по прошествии этого времени, язык стал средством выражения всех различий, диссоциаций и категорий, мало-помалу выработанных человечеством. Он совмещает в себе функции мифов, занимавших место технических средств в ту пору, когда у человечества еще не было орудий, могущих обеспечить ему власть над природой, и функции самих технических средств, столь родственных между собой в каждую определенную эпоху, столь одностильных, что их датировка может осуществляться без малейшего затруднения. Все это позволяет сказать, что личность всегда такова, какой ее делают эпоха и общественная среда.

И тут встает вопрос: личность или массы? Или, если выразить проблему несколько по-иному: личность или общество? Общественная среда питает и окружает творца исторических деяний, в широкой мере определяет исход его деятельности. Созданное им творение либо погибает, либо продолжает жить, но для этого ему необходимо обрести активную поддержку, устрашающую поддержку масс, испытать неодолимое и тяжкое давление среды.

Иными словами, общество для человека — органичная потребность, насущная реальность. Пользуясь выражением д-ра Валлона, можно сказать, что лишь для него «язык предполагает наличие общества, как легкие предполагают наличие воздуха, годного для дыхания, а тот, в свою очередь, — атмосферы». Личность определяется запросами общества, которые являются необходимым дополнением ее внутренних потребностей. «Человек тянется к общественной жизни, стремясь обрести в ней равновесие».

## II

Теперь все кажется нам не столь простым, как сначала. Если в каждом порознь взятом человеке видеть прежде всего определенную личность, более или менее отчетливо характеризуемую неповторимой и своеобразной совокупностью черт, присущих только ей; если, затем, того же отдельного человека рассматривать и как представителя рода человеческого, носителя тех же отличительных признаков, что присущи остальным членам той же части человечества, и в особенности как члена строго определенного общества в определенную эпоху, то, с одной стороны, контраст между личностью и обществом настолько усиливается, что становится невозможным схематическое их противопоставление; а с другой — начинает отчетливо вырисовываться метод исследований, приложимых к отдельной личности.

Перед психологами — три последовательных стадии исследований. Сперва предстоит заняться изучением того, что обусловлено в человеке общественной средой: *коллективной психологией*. Затем надлежит выяснить, как влияет на человека его собственный организм, то есть разработать *специальную психологию*, или психофизиологию. И наконец, выяснить, какое воздействие на человека оказывают индивидуальные особенности его физиологии, частные отклонения от нормы в конституции, непредвиденные случайности его общественной жизни, — словом, разработать *дифференциальную психологию*.

Логично предположить, что изучение этой последней отрасли может начаться лишь после углубленного исследования двух предыдущих. А до тех пор, пока они не достигнут решающего прогресса; пока психологам не удастся заменить хаос индивидуальных случаев четко обозначенными «психологическими типами», подобно тому как медики заменяют хаос симптомов строго определенными «типами заболеваний»; пока не будет завершена выработка таких «типов», позволяющих осуществить деликатную операцию «диагностики личности», которая состоит в увязывании каждого индивидуального случая с одним из предварительно выработанных «типов», — до тех пор дифференциальная психология будет вынуждена в основном довольствоваться эмпирическими методами.

Это верно по отношению к современной психологии, но еще более верно по отношению к психологии ретроспективной. Или, если угодно, к психологии исторической.

Ибо существует проблема исторической психологии. Когда в своих статьях и трактатах психологи говорят нам об эмоциях, чувствах, рассуждениях «человека» вообще, они на самом деле имеют в виду *наши* эмоции, *наши* чувства, *наши* рассуждения — словом, нашу психическую жизнь, жизнь белокожих обитателей Западной Европы, представителей различных групп весьма древней культуры. Каким же образом мы, историки, должны пользоваться данными психологии, основанной на изучении людей XX века, для объяснения поступков людей далекого прошлого? И каким образом психологи могут обогатить и расширить свой опыт, накопленный в контакте с их современниками, используя данные о духовной жизни людей прошлого — данные, которые им поставляет (или должна поставлять) история? Обмен подобными данными может по меньшей мере предоставить психологам типы для сравнения, позволяющие им лучше осмыслить разницу между нами и нашими предками, прямыми или косвенными, далекими или близкими.

В действительности же психология наших современных психологов не заглядывает в прошлое, а психология наших предков оказывается неприложимой к современным людям. Это верно и в том случае, когда речь идет о «героях» истории, об «исторических личностях», известных благодаря более или менее значительному числу биографических материалов или «портретов», реальных и воображаемых, и в том, когда имеются в виду безымянные массы, чья духовная жизнь не удостоилась психологического анализа, чьи реакции не подверглись обобщающей характеристике. И в том и в другом случае — я пользуюсь выражениями, которые употребил Шарль Блондель в своем «Введении в коллективную психологию» — «пора отказаться от упорного стремления определить *de plano* [легко, без усилий] некие всеобщие образы чувств, мыслей и действий, возможно не существующие вообще или по крайней мере на сегодняшний день» (с. 197). Далее Блондель уточняет: «Рассматривая порознь человеческие группы, рассеянные в пространстве и во времени, исследователь должен, насколько возможно, описывать и анализировать присущие им ментальные системы, стараясь выявить механизм их образования, особенности развития и природу соотношений, связывающих между собой их элементы» (с. 202).

Невозможно лучшим образом определить опасность, состоящую в желании перейти (даже не подозревая о трудности такого перехода) от присущих нам мыслей и чувств к мыслям и чувствам, выражаемым схожими или одинаковыми словами, порождающими величайшую путаницу в силу своей проблематичной и обманчивой равнозначности, — к мыслям и чувствам, подчас отде-



ленным от нас несколькими веками. Не угодно ли два-три примера?

Чтобы не ходить за ними далеко, процитируем того же Шарля Блонделя: «Когда мы рассматриваем два общества, достаточно удаленные друг от друга в пространстве или во времени, разница между свойственными им типами мышления сразу же бросается в глаза». Но если они более близки друг к другу, то могут иной раз потребоваться изощренные и долгие исследования, призванные выявить их несхожесть, нередко весьма значительную. Не будем же обращаться ни к первобытным племенам, чьи чувства, мысли и поступки попытался проанализировать Люсьен Леви-Брюль (его наблюдения относятся, собственно, не к истории, а к доистории, или, если угодно, к психологической палеонтологии), ни к особенностям мышления китайцев, которые стало возможно сравнивать с нашими благодаря необычайно содержательным трудам Гране. Зададимся лучше простым вопросом: чем больше всего дорожит современный человек, чем он менее всего склонен жертвовать? Вопрос этот сам по себе требует осмотрительности, ибо при такой его постановке остается неясным, что за человека мы имеем в виду. И однако, мы можем без колебаний ответить на него так: «Больше всего он дорожит жизнью. Собственной жизнью».

А теперь откроем какой-нибудь из трудов Фрэзера и в любой из этих ставших классическими книг мы обнаружим массу поразительных (по крайней мере для нас) фактов, показывающих, что между нашими обществами и обществами, сравнительно близкими к нашим, существуют поистине разительные расхождения во взгляде на ценность человеческой жизни — ценность, казалось бы «самой природой» возведенную в разряд первостепенной. Из этих трудов мы узнаем, что целые народы в течение долгих веков не только не заботились о сохранении жизни своих сыновей, но без раздумий обрекали их на смерть во время жертвоприношений. Мы узнаем также, что кажущаяся нам нерасторжимой связь между понятием божества и понятием бессмертия (или вечной жизни) была и остается неизвестной миллионам и миллионам людей, верящих в смерть богов, создающих смертных богов по своему образу и подобию.

Седая древность? Разумеется. Но заглянем в девятый том «Литературной истории религиозного чувства во Франции» Анри Бремона, озаглавленный «Христианская жизнь при старом режиме»<sup>1</sup>. В нем есть удивительная глава — «Искусство умирать», из которой явствует, каким психологически жестоким — по крайней мере на наш взгляд — было отношение к умирающим всего три столетия назад<sup>2</sup>. Как это непохоже на нас самих, как далеко от присущего нам строя мыслей!

Другие примеры. Что более всего шокирует историка в романизированных биографиях, столь расплодившихся за последние

годы к пользе и удовольствию их издателей, но отнюдь не культурных читателей? Промахи, оплошности, ошибки, допускаемые некомпетентными и неподготовленными авторами? Организованный грабеж, бесстыдный плагиат, которому подвергаются настоящие историки со стороны газетных писак, возомнивших себя историографами? Куда более непростительна постоянная и досадная склонность к неосознанному анахронизму, свойственная людям, которые проецируют в прошлое самих себя, со всеми своими чувствами, мыслями, интеллектуальными и моральными предрассудками, — людям, которые, придав Рамсесу II, Юлию Цезарю, Карлу Великому, Филиппу II (и даже Людовику XIV) обличье какого-нибудь современного Дюрана или Дюпона<sup>3</sup>, открывают в своих героях черты, которыми сами же их наделили, наивно удивляются этому открытию и заключают свой «анализ» *nil novi* [здесь: заранее известным]: «Итак, человек всегда остается человеком!»

Не распространяясь на эту тему дальше, обращусь к своему собственному опыту историка. Невозможно изучать жизнь, нравы, привычки и поступки людей средневековья (эпохи, которая простирается вплоть до XVI века, а то и дальше) — невозможно читать подлинные тексты о жизни вельмож, сообщения о празднествах, шествиях, публичных казнях, народных клятвах и т. д., не поражаясь удивительному непостоянству настроения, чрезвычайной впечатлительности, свойственной людям того времени. Людям, склонным к мгновенным переходам от гнева к восторгу, с одинаковой легкостью обнажающим меч и открывающим друг другу объятия: пляска сменяется плачем, запах крови — запахом роз.

«Нужно постоянно помнить, — пишет голландский историк Хейзинга в своей замечательной книге „Закат средневековья“<sup>4</sup>, — нужно постоянно помнить об этой восприимчивости, об этой смелости настроений, о склонности к слезам, к душевным причудам, если мы хотим составить представление о терпком вкусе, о красочном обличье тогдашней жизни»<sup>5\*</sup>. Разумеется; но важнее всего — дать этому объяснение. А оно не может быть простым. Оно требует привлечения множества данных, до сих пор не объединенных историками в единое целое, не осмысленных ими с должной глубиной.

Нам говорят, что люди средневековья были сотканы из контрастов. Но разве их материальная жизнь — я сам писал об этом еще в 1925 году<sup>5,4\*</sup> — не была целиком соткана из контрастов? Задумаемся над кое-какими важными вопросами, которым мы не привыкли придавать значения.

<sup>3\*</sup> Huizinga J. Le déclin du moyen âge. P., 1932. P. 16.

<sup>4\*</sup> Febvre L. Une civilisation: La première Renaissance française // Revue bimensuelle des Cours et Conférences. 1925. N 11, 12, 13, 15.

Что представляет для нас, людей XX века, контраст между днем и ночью? Ничего или почти ничего. Достаточно щелкнуть выключателем — и солнечный свет сменяется электрическим. Мы — владыки дня и ночи, мы играем ими, как хотим. А люди средневековья? Люди XVI века? Бедняков той поры никак нельзя назвать владыками — у них не было не только масляных ламп, но и свеч, которые могли бы разогнать ночной мрак. Их жизнь была расчленена и ритмизирована каждодневной сменной сумерек и света, разбита на две неравные части — в зависимости от времени года и местности — на день и ночь, на белое и черное, на период полной тишины и шумный трудовой период, — так неужели эта жизнь могла породить людей с теми же формами мышления, с тем же строем чувств, желаний, поступков, что и наша упорядоченная жизнь, лишенная столь резких перемен, столь четко разграниченных контрастѳв и противоречий?

День и ночь — это одна пара контрастов, но есть и другие: зима и лето, стужа и зной. Существует ли теперь зима для обеспеченного европейца или североамериканца? Лишь в том случае, если они сами этого хотят, если они ищут ее там, где она особенно выразительна, — ищут, чтобы предаться «зимним развлечениям». Но и эта зима постоянно сопровождается и сменяется летним теплом комфортабельных отелей. Можно целый день кататься на лыжах по снегу, а к вечеру вернуться в натопленное до 20° помещение. Топят повсюду. Входя среди зимы в современную «буржуазную» квартиру, мы чувствуем, как нас тут же обдает теплом паровых батарей. И скидываем верхнюю одежду. А тот, кто возвращался домой в январскую стужу XVI века, тут же ощущал, как она давит ему на плечи — эта недвижная, молчаливая, черная стужа нетопленного жилья. При одной мысли о ней человека заранее пробирала дрожь, хотя он уже успел продрогнуть в церкви. Мерзли даже в королевских покоях, несмотря на огромные каминь, пожиравшие целые деревья. И человек, вернувшись домой, первым делом накидывал на себя что-нибудь потеплее той одежды, в которой был на улице, — надевал подбитый мехом плащ, нахлобучивал меховую шапку.

Контрасты зимы и лета смягчились даже для самых простых людей нашего времени. А для самых влиятельных, самых богатых людей прошлого они представляли во всей своей чудовищной резкости. И бесспорно — хотя психологам виднее, — что уравнивание условий материальной жизни связано с нивелированием нравов: разве оба эти процесса не идут рука об руку и не влияют друг на друга? <sup>6</sup>

А взять условия обеспечения безопасности? Пожар, дорожное происшествие, внезапная смерть — все это сегодня заранее предусмотрено страховым полисом. А в те далекие времена? Да если еще речь идет не о таких напастях, что обрушиваются на отдельного человека? Когда в одном конце деревни, состоящей из кры-

тых соломой домов, занимался пожар, когда гонимое ветром пламя пожирало дворы, в считанные минуты уничтожая целое поселение, застигнутое бедствием врасплох, беззащитное, не имеющее возможности спасти даже скот,— тогда внезапно распались десятки, а то и сотни семей: молодежь уходила куда глаза глядят, навеки пропадая из виду старших собратьев. Что уж тут говорить о личной безопасности?

А необъятная область питания? Можно ли сравнивать психологию пресыщенного населения, каким было в течение многих лет, исключая периоды войн, население Западной Европы, располагавшее в XIX и XX веках все возрастающим изобилием богатых и разнообразных пищевых продуктов,— можно ли сравнивать его психологию с психологией людей, постоянно недоедающих, находящихся на грани истощения, а в конце концов массами гибнущих либо от недостатка продовольствия, либо — что куда более трагично — в результате неуместного рвения каких-нибудь благодетелей, невольно выступающих в роли убийц: вспомним хотя бы описанных Люси Рандуэн эскимосов, ставших жертвами филантропии сострадательных европейцев, которые, полагая, что творят доброе дело, ввели в их рацион непривычные и высококалорийные продукты, нарушив тем самым шаткое равновесие пищевого режима, которому пионеры недавно зародившейся науки о питании придают столь большое значение... И эскимосы, дотоле кое-как прозябавшие в нужде, стали массами погибать от изобилия.

Стоит ли напоминать, что средневековье было эпохой постоянного недоедания, нехватки продовольствия и голода, иногда прерываемой кратковременными периодами чудовищного обжорства? Мог ли такой режим способствовать зарождению и поддержанию в людях таких же физических и умственных особенностей, которые порождает наш сидячий образ жизни, делающий из нас то мучеников тучности, то страдальцев похудания? Вспомним о резком чередовании этих двух типов, вспомним о том, какими совсем еще недавно мы представляли перед глазами ближайших наших соседей: англичанам XVIII века жители берегов Сены казались (и не без основания) бледными и тщедушными лягушатниками, тогда как сами они с удовольствием узнавали себя в образе Джона Буля, тучного любителя кровавых бифштексов, орошенных крепким пивом. Сколько материалов, сколько фактов для исследований, которые еще не начаты, но которые непременно следует довести до конца!

Вышесказанного достаточно для того, чтобы показать, что если мы отрицаем психологический анахронизм, худший из всех, самый коварный и самый непростительный; если мы стремимся осветить всю деятельность того или иного общества (и прежде всего его духовную деятельность) посредством рассмотрения общих условий его существования, то, очевидно, мы не можем

считать пригодными для изучения прошлого описания и заключения наших психологов, пользующихся данными, поставляемыми им современной эпохой. Не менее очевидно и то, что зарождение подлинной исторической психологии станет возможным благодаря заранее оговоренному сотрудничеству историков и психологов. Психологов, направляемых историками. Историками, которые, будучи должниками психологов, должны взять на себя заботу об организации их труда. Совместного труда. Яснее говоря — труда коллективного.

И в самом деле: сначала детально инвентаризировать, а затем воссоздать духовный багаж, которым располагали люди изучаемой эпохи; с помощью эрудиции, а также воображения восстановить во всей его целостности физический, интеллектуальный и моральный образ эпохи, в которой зрели предшествующие ей поколения; отчетливо осознать, что, с одной стороны, недостаточность фактических познаний в той или иной области, а с другой — природа технических материалов, используемых в определенную эпоху в обществе, подлежащем изучению, неизбежно порождали искажения и пробелы в представлениях о мире, жизни, религии, политике того или иного исторического коллектива; наконец, отдать себе отчет в том, что, говоря словами Анри Валлона, вселенная, «где человек не может противопоставить окружающим его существам ничего, кроме силы собственных мускулов», несравнима и не может быть сравнимой с той вселенной, в которой человек овладел электричеством и, чтобы овладеть им, подчинил себе силы самой природы; словом, понять, что «Вселенная» является не большим абсолютом, чем «Дух» или «Личность», что она постоянно изменяется вместе с изобретениями, вместе с цивилизациями, порождаемыми человеческими обществами: вот последняя цель историка — но она не может быть достигнута усилиями одиночек, даже если они позаботятся о том, чтобы наладить связь с психологами.

Огромна задача, стоящая перед историками, если они хотят обеспечить психологов материалами, в которых те нуждаются, чтобы выработать приемлемую историческую психологию. Столь огромна, что не только превосходит силы и возможности отдельного человека, но и выходит за рамки отдельной науки или даже двух наук. Чтобы довести ее до конца, необходима целая сеть взаимопомощи.

Возьмем технику. Если речь идет о ее изучении в цивилизованных обществах прошлого, необходима действенная помощь археологии, чья компетенция распространяется на эпохи, куда более близкие к нам, чем, собственно говоря, античность. Если же речь идет о современных обществах, необходима не менее действенная поддержка этнографии, не ограничивающей себя описанием одних только примитивных племен, а изучающей таким же образом, как Сустель изучает своих лакандонов,

а Метро — своих тупи-гуарани<sup>1</sup>, более близкие к нам и более цивилизованные народности.

Возьмем язык, другой важный путь влияния общества на личность. Тут не обойдешься без поддержки филологов, составляющих свои описи языков отнюдь не для историков, — и однако историки могут извлечь из их трудов большую для себя пользу: не из тех общих описаний великих языков цивилизации, что являются совокупностью дошедших до нас вперемежку языковых вкладов множества разных групп, территориальных или социальных, а из описаний отдельных наречий; будучи истолкованы историком сельских общин, они дадут нам немало драгоценных сведений; которые можно почерпнуть только из них. В меньшей степени необходимо сотрудничество с «семантиками», которые, воссоздавая историю особенно богатых по смыслу слов, одновременно вписывают интереснейшие главы в историю идей. Необходимо сотрудничество с историками языков — такими, как Мёйе, пишущий историю греческого языка, или Фердинан Брюно, шаг за шагом прослеживающий судьбы языка французского, — которые отмечают появление в определенные эпохи целых групп новых слов или новых значений, приобретаемых старыми словами. А чтобы иметь возможность перейти от одной знаковой системы к другой, необходимо сотрудничество специалистов по иконографии, которые, пользуясь датированными памятниками, восстанавливают историю сложнейших религиозных чувств. Необходимо... но не будем продолжать перечисление, ибо проблему можно сформулировать в двух словах: необходимы находчивые, изобретательные, деятельные умы, стремящиеся к сотрудничеству и в ходе каждого научного исследования задающиеся вопросом: «Чем оно может быть полезно для меня? И как найти применение тому, что лично меня не касается?»

Итак, за работу! Проблема эта отнюдь не теоретическая. Речь идет не о том, должна ли вся история человеческих обществ — политическая, социальная, экономическая, духовная — служить лишь придатком к некоей самодовлеющей и непомерно раздутой «психологичности», должна ли она вращаться вокруг истории мыслей, чувств и желаний, прослеживаемых в ходе их исторических изменений. Эта мысль была некогда высказана Карлом Лампрехтом. Мысль глубокая, выдающаяся. Но не будем сейчас вдаваться в ее обсуждение. Сейчас речь идет о том, чтобы направить индивидуальную историческую психологию (которую еще предстоит создать) в русло мощного потока исторических исследований, стремящегося, как и все на свете, к неизвестным судьбам Человечества.

# ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИСТОРИЯ

## КАК ВОССОЗДАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ПРОШЛОГО

Чувствительность и История: новая тема. Я не знаю книги, в которой бы она обсуждалась. Как мне кажется, проблемы, которые она в себя включает, не были даже нигде сформулированы. Но ведь это (да простится бедному историку сей патетический возглас!) поистине великолепная тема. Сколько людей расстается с Историей, жалуясь, что в ее морях, исследованных вдоль и поперек, больше нечего открывать. Советую им погрузиться во мрак Психологии, сцепившейся с Историей: они вновь обретут вкус к исследованиям.

Не так давно мне довелось познакомиться с отчетом об одном научном заседании. Некий «историк» делился с ученой братией выводами из только что оконченного им труда, посвященного одной из неразрешимых исторических «проблем»: какое значение следует придавать пресловутым «Письмам из ларца Марии Стюарт» и как «с научной точки зрения» разобраться в столь знаменательном событии, каким явился брак шотландской королевы и убийцы ее мужа? <sup>1</sup> Наш горе-историк настаивал на том, что для разъяснения этой тайны можно за неимением лучшего прибегнуть к психологии. Говорил он и об «интуитивном воображении»: оно, по его словам, вполне применимо для разгадки, если только дело касается отдельной личности; способ этот, впрочем, весьма ненадежен, ибо стендалевский Наполеон не схож с Наполеоном Тэна <sup>2</sup>, а тот, в свою очередь, и т. д. Не стану развивать эту мысль дальше, хотя он ее развивал и завершил таким образом: есть по крайней мере одна область, полностью закрытая для психологии. Область, в которой ей нечего делать. Это область внеличной истории, истории учреждений и идей: если те и другие рассматривать в рамках определенного общества и в течение определенного временного промежутка, «интуитивное воображение» не может играть во всем этом никакой роли. Будь у меня хоть малейшее сомнение в уместности разбора соотношений между Чувствительностью и Историей, чтение вышеупомянутого отчета мигом бы его рассеяло. А почему — я сейчас попытаюсь объяснить.

Но сначала два слова по поводу терминологии. «Чувствительность» — слово достаточно старое, оно засвидетельствовано в нашем языке по крайней мере с начала XIV века; прилагательное «чувствительный», как это нередко случается, появилось несколько раньше. Будучи словом живым, слово «чувствительность», как это опять-таки часто бывает, имеет разные значения, узкие и широкие, которые можно локализовать во времени. Так, в XVII веке оно означало главным образом некую восприимчивость человека ко впечатлениям морального порядка: тогда

много говорилось о чувствительности к истине, к добру, к наслаждениям и т. д. В XVIII веке слово это стало означать особую манеру переживания чувств — чувств сострадания, печали и т. п. И старания лексикографов, составлявших в ту пору словари синонимов, сводились в данном случае к тому, чтобы противопоставить «чувствительное» «нежному». «Чувствительность,— писал, например, аббат Жиран в своем изящном трактате «Французские синонимы» (я пользуюсь изданием, пересмотренным Бозе, Париж, 1780, т. II, с. 38),— более подходит к ощущению, а нежность — к чувству. Нежность соотносится скорее с порывами души, устремляющейся к объектам, она активна. Чувствительность же теснее связана с впечатлениями, которые оставляют у нас в душе эти объекты, она пассивна. Жар крови влечет нас к нежности, телесная хрупкость способствует чувствительности. Поэтому молодые люди нежнее стариков, а те, в свою очередь, чувствительнее молодых людей...».

Но есть у этого слова и другие значения, полунаучные и полуфилософские, мало-помалу выдвигаемые на первый план той культурой, которой нас наделяют в лицах. «Чувствительность,— читаем мы уже у Литтре<sup>3</sup>,— есть свойство, выпавшее на долю некоторых частей нервной системы, посредством коих человек и животные воспринимают впечатления, как производимые внешними объектами, так и внутренними». Не задаваясь целью подыскать свое собственное, полностью иллюзорное определение этого слова и, с другой стороны, не обращаясь к старой и отжившей психологии душевных свойств (коих, как известно, насчитывалось три: разум, чувство и воля), скажем, что *чувствительность* вызывает в нас представление об *эмоциональной жизни* и ее проявлениях. В этом смысле мы и будем употреблять это слово в дальнейшем.

Здесь я предвижу возражение: «Если это так, то какой смысл имеет взятая вами тема: Чувствительность и История. Ведь в основе эмоциональной жизни, а стало быть, и чувствительности лежат эмоции. Но есть ли что-нибудь более индивидуальное, более личное, нежели эмоция?» Рассмотрим это возражение. Но сперва мне хотелось бы предупредить моих читателей: все следующее ниже изложение будет опираться на великолепный VIII том «Французской энциклопедии» — «Духовную жизнь», в котором ученые нашей страны, находящиеся в авангарде психологических исследований, с незаурядной и оправданной смелостью впервые составили общую картину психологического развития человека на протяжении всей его жизни — от момента зачатия до дня смерти. Особенно же часто я буду использовать статью об эмоциях, подписанную самим д-ром Валлоном: не много сыщется текстов, которые могли бы лучше осветить путь историка, стремящегося к ясности.



Итак, нам могут возразить, что нет ничего более индивидуального, более личного, нежели эмоция. Нет ничего более мимолетного, добавим мы. Разве эмоция не является мгновенными выпадами или отзвуками на некоторые внешние раздражения? И не отражают ли они тех тонкостей нашего внутреннего строения, которые по сути своей не поддаются постороннему осмыслению? Эмоциональная жизнь, согласно формулировке Шарля Блонделя, содержащейся в его «Введении в коллективную психологию» (с. 92), есть «нечто неотвратно и неискоренимо субъективное». А если это так, то какое отношение может иметь история ко всему этому персонализму, индивидуализму, психологическому субъективизму? Требуется ли от нее выискивать органические причины приступов страха, гнева, радости или тоски, которые могли овладеть Петром Великим, Людовиком XIV или Наполеоном? Не следует ли считать задачу историка выполненной, если он просто-напросто скажет нам: «Наполеоном овладел приступ ярости» или: «Наполеон испытал чувство живейшего удовольствия»? Вправе ли мы ожидать, чтобы он, так сказать, заглянул в нутро великого человека и раскрыл нам его физиологические тайны?

Все это — вопросы весьма сложные. Прежде всего потому, что эмоция — это нечто совсем иное, нежели *автоматическая* реакция организма на раздражения внешнего мира. Никем не доказано, что реакции, которыми сопровождается эмоция как выпад и отклик, в любом случае способны убыстрить и уточнить жесты человека, находящегося в состоянии эмоционального возбуждения, сделать их более живыми и разнообразными. Скорее наоборот.

Д-р Валлон весьма справедливо заметил, что эмоции составляют некую новую форму человеческой активности сравнительно с простыми и автоматическими ответными действиями. Прежде всего, эмоции проистекают из иных источников органической жизни; но это обстоятельство не столь важно для нас, историков, вовсе не сведущих в изучении этих источников. Куда важнее другое: эмоции в противоположность тому, что обычно о них думают, смешивая их с простыми автоматическими реакциями на раздражения внешнего мира, обладают некоей особенностью, которую никак не должен упускать из виду человек, занимающийся изучением социальной жизни себе подобных. *Эмоции зарайательны.*

Они составляют часть взаимосвязей между людьми, часть общественных взаимоотношений. Они зарождаются, бесспорно, в сокровенных органических недрах данной личности, нередко под влиянием события, которое только ее и касается, или по меньшей мере касается особенно осязательно, особенно остро. Но выражение их есть результат целого ряда опытов совместного существования, результат схожих и одновременных реакций на потрясения, вызванные схожими ситуациями и контактами; оно

является, так сказать, плодом такого слияния, такого взаимопоглощения разнородных чувств, что они тут же обретают способность вызывать у всех присутствующих, посредством некоей мимической заразительности, эмоционально-моторный комплекс, соответствующий событию, пережитому и прочувствованному только одним индивидуумом.

Итак, связывая между собой все большее число участников, становящихся поочередно то зачинщиками, то передатчиками, эмоции мало-помалу слагаются в систему межличностного возбуждения, которое, обретая все большее разнообразие в зависимости от ситуаций и обстоятельств, в свою очередь, разнообразит чувства и реакции каждого. Установившаяся таким образом согласованность и одновременность эмоциональных реакций обеспечивает данной группе относительно большую безопасность и силу: сложение подлинной системы эмоций тотчас оправдывается полезностью этой системы. Эмоции превращаются в некий *общественный институт*. Они регламентируются наподобие ритуала. Многие церемонии у первобытных народов являются зрелищами-сборищами, цель которых в том, чтобы вызвать у всех присутствующих однородные эмоции посредством одинаковых поз и одинаковых жестов и тем самым сплотить их в некую единую сверхличность, подготовитель к единому деянию.

Но пора остановиться. Может ли все изложенное выше оставить историков равнодушными? Конечно, речь тут идет о тех обществах, которые мы продолжаем именовать «первобытными», не переставая в то же время подчеркивать полную абсурдность этого выражения. Не лучше ли назвать их обществами, все еще находящимися на стадии детского лепета? Но и в таком случае не будем, говоря о них, презрительно поджимать губы. Эти косноязычные общества занимали в прошлом куда больше места в пространстве и во времени, чем теперешние речистые цивилизации. От этих косноязычных обществ мы унаследовали немало их косноязычия. Ибо ничто не пропадает, все лишь претерпевает превращения. Главное же здесь в том, что вкратце изложенные выше положения позволяют нам осмыслить другой, куда более важный вопрос: разбирая их, мы как бы присутствуем при зарождении интеллектуальной жизни человечества.

Интеллектуальная жизнь невозможна вне жизни социальной. Наиважнейшие ее орудия (в первую очередь язык) предполагают наличие человеческой среды, в которой они неизбежно выработаются, ибо цель их состоит в том, чтобы установить связи между всеми участниками данной среды. Так где же искать корни сознательных межличностных отношений людей, как не в том, что мы только что описали и что можно назвать эмоциональной жизнью? Разве небезосновательно считается, что членораздельная речь, эта специализированная функция языка, возникла и развилась на основе той же органической и тонической

активности, что и эмоции? Ведь даже сейчас нарушения тонических функций тотчас влекут за собой нарушения речи. Но не следует забывать и о том, что между эмоциями и их выражением очень быстро обозначился разлад, выявилось их взаимное несоответствие. Ибо, с одной стороны, было сразу же замечено, что, проявляясь, эмоции нарушают функционирование интеллектуальной деятельности, а с другой — что лучшее средство подавления эмоций — точное мысленное воссоздание их причины или объекта, внутреннее их лицемерие, или, проще, осмысление посредством медитации. Претворить свое страдание в поэму или роман — вот наилучший способ душевного обезболивания для многих художников.

Таким образом, мы — свидетели затянувшейся драмы, которую переживают развивающиеся цивилизации: речь идет о более или менее постепенном подавлении эмоций активностью интеллекта; сначала лишь эмоциям под силу установить между отдельными личностями единство поведения и сознания, из которого может родиться духовное общение и его первое орудие — язык; затем оба эти рода человеческой деятельности вступают в конфликт с теми новыми средствами общения, создание которых стало возможно лишь благодаря их участию. И чем более совершенствуются интеллектуальные операции в тех социальных кругах, где отношения между людьми все успешней регламентируются эмоциональными *институциями* или специально разработанными *приемами* подавления эмоций, тем очевидней проявляется тенденция, оценивающая эмоции как некую помеху человеческой деятельности — как нечто опасное, неуместное, постыдное или по меньшей мере неблагоприятное. Порядочного человека ничто не может задеть. А если он и чувствует себя задетым, то и тогда не теряет самообладания, не выдает своих чувств. Приятно сознавать, что наше общество состоит сплошь из людей в высшей степени добропорядочных!

Могут ли мне сказать, что эта схема, чьи основные элементы, повторяю, заимствованы из отличной статьи Валлона в VIII томе «Французской энциклопедии», не представляет интереса для историка? Все зависит от того, что считать историей. Я лично думаю, что какой-то интерес в этой схеме есть. Что она позволяет нам не только лучше понять поведение людей прошлого, но, быть может, и яснее определить методику исследований в этой области, а это и является целью данной работы.

Передо мной книга, не имевшая во Франции — чего уж там скрывать — того успеха, которого она заслуживает: это «Осень средневековья» («Herbst des Mittelalters») Хейзинги, превратившаяся во французском переводе в прозаический «Закат средних веков». Превосходная книга, я не устану это повторять. Так, может быть, относительный ее неуспех обусловлен какими-то подспудными причинами?

Открываю первую главу под названием «Терпкий вкус жизни». В ней говорится о том, насколько велика была в конце средневековья власть эмоций, какой взрывчатой силой они обладали — силой, способной подчас расстроить самые разумные и наилучшим образом подготовленные начинания. «Мы не можем представить себе всей необычности средневековых эмоций», — пишет автор (с. 24). И показывает, что в основе чувства справедливости, столь развитого в те времена, лежала чаще всего потребность в мщении. Далее он уточняет, что чувство это достигало максимума напряжения между двумя полюсами, одним из коих являлся столь дорогой язычнику принцип «око за око, зуб за зуб», а другим — ужас перед грехом, порожденный христианством. Но грех для этих необузданных и неистовых натур был в большинстве случаев всего лишь удобной формой для обозначения поступков их врагов. Автор сталкивает нас, людей XX века, в которых (что особенно важно) осталось немало от века XIX, людей, старающихся «дозировать» наказания со всей возможной рассудительностью и осмотрительностью, пользоваться ими не торопясь и умеренно, цедить их, так сказать, по капле, — он сталкивает нас с людьми закатного средневековья, знавшими только одну альтернативу, категорическую и жестокую: либо смерть, либо помилование. Причем помилование зачастую необъяснимое — внезапное, непредвиденное, полное, незаслуженное, — если только помилование как таковое вообще можно чем-то заслужить... Жизнь в те времена, включает Хейзинга, «была столь яростной и полной контрастов, что от нее исходил смешанный запах крови и роз...».

Все это справедливо; все это, сверх того, довольно красиво сказано — и, однако, оставляет нас в некотором недоумении. Добротная ли это работа? Иными словами: может ли быть решен этот вопрос при такой его постановке? Можно ли в самом деле говорить о позднем средневековье как об особенном и несхожем с другими периоде эмоциональной истории человечества? Неужто все эти резкие метания, эти мгновенные переходы от злобы к милосердию, от самой буйной жестокости к самому пылкому состраданию были признаком неустойчивости, характерным для определенной эпохи, приметой конца средневековья, заката средневековья, средневековой осени — в противоположность, как следует думать, началу средних веков, средневековой весне или же, скажем, преддверию нового времени?

Несколько сомневаюсь насчет начала средневековья. Любой отрывок из Григория Турского тотчас же внес бы ясность в нашу полемику...<sup>4</sup> То же самое могу сказать и насчет преддверия нового времени. Не угодно ли один пример? Несколько лет назад, выступая в Женеве, Лозанне и Невшателе с лекциями о происхождении французской Реформации, я предлагал моим слушателям следующую ниже тему для размышлений: когда в

своих богословских трудах Жан Кальвин упорно настаивает на абсолютно беспричинном и ни от чего не зависящем характере получения благодати избранниками божьими; когда он заявляет, нередко в самых резких выражениях, о своем неодолимом отвращении к двойной бухгалтерии добрых дел и прегрешений, которая ведется в господних конторах целой армией неподкупных счетоводов и заканчивается обязательным подведением итогов, не разделяет ли неволью сам Кальвин чувств — а ему не раз случалось и в других сочинениях сравнивать своего Господа с Государем, — не разделяет ли он чувств соотечественников, которые при виде короля, гарцевавшего по их полям во время непрестанных поездок по стране (они начинались со дня коронации и завершались днем погребения в Сен-Дени), бросали свои косы и грабли и сломя голову неслись навстречу государю, норовя облобызать его стремя, край плаща или на худой конец круп его коня? Ведь встреча эта была для них встречей с королевским правосудием во всем его величии, встречей с наместником божим на земле, каковой, как и сам Господь Бог, обладает всемогуществом и состоит выше всякого закона. Мановением руки он может осудить на казнь. И таким же мановением помиловать. Среднего не дано. Никаких переходов. Никаких полу-мер. Либо смерть, либо помилование...

Но почему казнь порой сменяется помилованием? Принимались ли здесь во внимание факты, обстоятельства, достоинства осужденного? Никогда. Только наше правосудие взвешивает и прикидывает, колеблется и соразмеряет. А правосудие XVI века? Для него существовали только две категории: все или ничего. И когда оно произносило одно из этих слов, вмешивался король. Зачем? Чтобы что-то уточнить, соразмерить? Нет. Король одаривает осужденного не своим правым судом, а своим состраданием. Оно может коснуться недостойного, равно как и милосердие, эта великая добродетель христианского мира. Народ, подобно своему государю, не задается всеми этими вопросами. Народ с равным восхищением принимает дарованное им помилование, кого бы оно ни касалось — преступника или праведника. Точно так же он восхищается милостью, кому бы она ни досталась — плуту или честному человеку. Отягчающие обстоятельства и степень вины здесь не в счет. Главное — это само сострадание. *Дар*, который является *чистым даром*. *Милость*, которая является *чистой милостью*.

Вспомним какой-нибудь эпизод той поры: преступник с завязанными глазами стоит на коленях, положив голову на плаху... Страшный человек в красном уже занес над ним обнаженный меч. И вдруг — крики, всадник на взмыленном скакуне врывается на площадь, потрясая пергаментным свитком: он принес весть о помиловании. Что за точное слово — помилование! Король смиловился над осужденным, не приняв во внимание его вину.

Таков Бог Жана Кальвина. Таков и человек, склонный к неожиданным переменам, к крутым поворотам, — черно-белый человек, которого Хейзинга считает типичным для конца средневековья и который вполне может считаться человеком вообще, человеком всех времен... Если бы автор с самого начала взял за основу своих рассуждений, что всякое человеческое чувство по природе своей *амбивалентно*, то все сразу же стало бы на свои места и книга его значительно выиграла бы в ясности. Скажем проще: всякое человеческое чувство является одновременно и самим собой и своей противоположностью. Некое глубинное родство всегда связывает противоположные полюсы наших эмоциональных состояний. Стечение обстоятельств, прихотливость наших представлений, те или иные особенности нашего поведения — все это может в том или ином случае, в тот или иной момент объяснить временное преобладание одного полюса над другим: ненависти над любовью, потребности в жалости над инстинктом жестокости и т. д. Но эти контрастные состояния сохраняют свою нераздельность, и одно из них не может проявиться, не выявив другого — хотя бы отчасти, в полураскрытой форме. Отсюда все эти колебания, резкие перемены и внезапные обращения, которые никак не согласуются с логикой. Подобно эмоциональной жизни людей, взятых порознь, жизнь человеческих групп в течение определенной эпохи не может быть передана посредством сочетания локальных тонов, как это было принято в прошлом. Она слагается, с одной стороны, из противоборствующих и взаимовозбуждающих тенденций, а с другой — из влечений, тяготеющих к различным объектам и потому различным образом ориентированных.

Итак, если бы мы с самого начала рассматривали эту проблему под таким углом зрения, если бы мы начали с общего и общечеловеческого, а потом обратились к частному и зависящему от обстоятельств, нам не пришлось бы в голову говорить, подобно Хейзинге, о какой-то особой «терпкости», неотделимой от средневековой жизни, — терпкости, которая придает ей некий особенный, оригинальный и неповторимый характер. Средневековая жизнь не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Вернее сказать, вообще неуместно так ставить проблему.

Принимая во внимание этот всеобъемлющий, этот «всечеловеческий» фактор амбивалентности чувств, следует ли как-то отличать эпохи истории человеческих обществ, когда изменчивость эмоциональных состояний проявлялась с необычной частотой и силой? Следует ли думать, что в определенные эпохи этой истории тенденции одного порядка преобладают по частоте и силе над тенденциями противоположного порядка: жестокость — над жалостью, ненависть — над любовью? Или, говоря еще более обобщенно, следует ли думать, что в истории есть периоды преобладания интеллектуальной жизни, сменяющиеся периодами,

когда исключительное развитие получает жизнь эмоциональная? И если это так, то почему и каким образом это происходит? Вот пример правильной постановки вопросов. Вопросы, которыми во избежание путаницы не задавался Хейзинга, не захотевший углубиться в первопричину феномена, обратиться к проблеме зарождения эмоций, которая иным из наших читателей могла бы показаться скучной и неуместной: я полагаю, однако, что теперь они ее осмыслили и поняли. Нужно сказать, что попытка реконструкции эмоциональной жизни определенной эпохи — задача крайне соблазнительная и в то же время чудовищно трудная. Но что с того? Историк не имеет права отступать.

Он не имеет такого права хотя бы потому, что, не взявшись за решение этой задачи (не говоря уже о том, чтобы довести ее до конца), он невольно подписывается под утверждениями, подобными тем, что я приводил выше. Но ведь можно, советуют нам иные историки, «использовать психологию», чтобы осмыслить почерпнутые из приемлемых источников факты, касающиеся характера, жизни и поступков человека «первого плана», одного из тех, что «творят историю»? Но что следует понимать под «психологией»? Неужто это всего лишь разновидность несколько пошловатой мудрости, основанной на старинных приговорах, публиках литературных воспоминаниях, на унаследованных или благоприобретенных условностях, которые служат нашим современникам руководством в их повседневных отношениях друг с другом?

Нафаршированная изысканными цитатами и броскими сентенциями, щеголяющая благолепным академическим стилем, эта «психология» приходится весьма к месту в бесчисленных шедеврах романтизированной истории, которые за последние десять лет заполнили прилавки наших книжных магазинов, но мне кажется, что их тошнотворная затхлость в конце концов начнет отпугивать читателей. Говоря об этой «психологии», представляешь себе Буvara и Пекюше<sup>5</sup>, которые набираются опыта в общении с модистками и лавочниками своего квартала, а потом используют этот опыт, чтобы представить чувства Агнессы Сорель к Карлу VII или отношения между Людовиком XIV и мадам де Монтеспан таким образом, что родственники и друзья сочинителей поминутно восклицают при чтении: «Ах, как все это верно!» Примером подобной «психологии» является Хильдерик<sup>6</sup>, вышедший из-под пера аббата Велли, — Хильдерик, над которым так потешался мой милый учитель Камилл Жюлиан. «Хильдерик, — писал Велли в своей «Истории Франции» (1755), — был государем, рожденным для великих деяний, а сверх того, наикрасивейшим мужчиной в своем королевстве. Он был и умен, и храбр. Наделенный чувствительным сердцем, он слишком пылко предавался любви, что и послужило причиной его гибели...»  
Что за чушь!

Нет, подлинная психология ничего общего со всем этим не имеет. Эта область, из которой иным хотелось бы изгнать всякое интуитивное воображение, является областью истории идей, областью истории общественных учреждений: какое прекрасное поприще для историка-психолога, призванного исследовать, воскрешать, истолковывать! Поприще, уготованное именно для него. Ибо ни механизмы общественных учреждений, ни идеи той или иной эпохи не могут быть поняты и разъяснены историком, если он не охвачен первоочередной заботой, которую я назову заботой психологической: стремлением увязать, соизмерить каждую совокупность условий существования данной эпохи со смыслом, который вкладывают в свои идеи люди этой эпохи. Ибо эти идеи, как и все прочее, окрашиваются этими условиями, приобретая вполне отчетливый для каждой эпохи и для каждого общества колорит. Ибо эти условия налагают отпечаток на идеи, равно как и на общественные учреждения и их деятельность. И ни эти идеи, ни эти учреждения ни в коем случае не могут рассматриваться историком как некие извечные данности: они являются историческими проявлениями человеческого гения в определенную эпоху, возникшими под давлением обстоятельств, которым не суждено больше повториться.

Но одно условие: никаких иллюзий! Задача трудна, инструментов мало, действовать ими нелегко. Каковы же главнейшие из них?

В первую очередь вспомним о лингвистах, точнее, о философах, поставляющих нам свои лексиконы и словари — такие, впрочем, неудобные, такие неполные и недостаточно точные... Что же можно извлечь из работы со словарем? Совсем немного, если речь идет о чувствах. Иногда словарь позволяет выделить и подчеркнуть некоторые условия существования людей, которые этот словарь издают. Возьмем более чем классический пример: словарь позволяет заметить отчетливую крестьянскую окраску, сохранившуюся в словах таких языков, как латынь, где *ревность*<sup>7</sup> первоначально означала соперничество между соседями, ведущими /тяжбу за один и тот же оросительный канал, *rivus*; где человеческое достоинство, *egregius*, сравнивается с ценностью племенного животного, за которым особенно ухаживали в отдельном стойле, отделяя от стада, *e grege*; где немощный, бессильный человек, *imbecillus*, наводит на мысль о неухоженном растении, *bacillus*; где понятие «радость», *laetitia*, остается тесно связанным с понятием «удобрение», *laetamen*. И лишь тогда, когда речь заходит о совокупности чувств и об их изменчивых оттенках, становится возможным проследить их индивидуальную и фрагментарную эволюцию. Никакая работа со словарем не позволит восстановить во всей ее целостности эволюцию системы чувств в данном обществе и в данную эпоху. Здесь приходится довольствоваться узкоспециальными исследованиями: они, если



угодно, играют роль геологических срезов, вскрывающих картину земных наслоений, которые по недостатку времени нельзя изучить целиком. Такие схемы способны стать источником множества всевозможных предположений. Но они имеют ценность лишь как пробные изыскания, не могущие служить статистическим элементом для изучения целого.

Второй инструмент — художественная иконография, та самая дисциплина, которая благодаря искусным и увлекательным работам Эмиля Маля уже добрых полвека привлекает к себе внимание специалистов во Франции. Как известно, с помощью иконографии Э. Маль восстановил то, что можно назвать последовательными и зачастую контрастными проявлениями религиозного чувства. Как известно, он противопоставил божественно-классическому, рациональному и ясному искусству готики XIII века патетическое, человеческое, сентиментальное, а подчас и чувствительное искусство пламенеющей готики XV века, искусство экспрессивное и мучительное. Как известно, ему удалось точно датировать появление в пластическом искусстве того или иного оттенка чувств, который при его сравнении с другими позволил автору написать ряд связных глав из художественной истории религиозного чувства во Франции с XII до начала XVII века. Не будем преуменьшать высокую ценность этого начинания и последовавших за ним работ — ценность не только для истории искусств, но и для Истории вообще. Однако и тут следует соблюдать осмотрительность.

Прежде всего потому, что необходимо считаться с заимствованиями. С подражаниями смежным искусствам. Со всем этим приходится считаться в гораздо большей степени, чем то делал Эмиль Маль, если принять за истину, например, что известная оплошность с самого начала исказила всю перспективу его второго тома — оплошность, которую впоследствии он так и не смог по-настоящему исправить: я имею в виду некоторое пренебрежение автора к итальянскому искусству, недосценку мощного воздействия итальянского искусства XIV века на искусство французское в процессе зарождения того патетического, реалистического и человеческого стиля, который он приписывает исключительно совместному влиянию «*Meditationes vitae Christi*» Псевдо-Бонавентуры<sup>8</sup> и мистерияльного театра<sup>9</sup>.

Труднейшая это проблема — заимствования. Ведь недостаточно сказать: «Смотрите, вот эта особенность французского искусства заимствована из Италии или Фландрии», чтобы положить конец любым дальнейшим рассуждениям об эволюции чувств во французском искусстве или в искусстве на французской почве в определенную эпоху. Если налицо заимствование, значит, оно было неизбежным. Если французы усваивают сентиментальные темы, разработанные их соседями в Италии и Нидерландах, значит, мотивы эти глубоко их трогают. И, усваивая их, они превра-

щают их в собственность. Точно так же, заимствуя целый раздел словаря из соседнего языка, они присваивают себе разнообразные его элементы. Взгляните на те объемистые и любопытные тома, одновременно и тяжеловесные и уточненные, глубокомысленные и пристрастные, которые Луи Рейно посвятил некогда проблеме культурных связей между Францией и Германией в средние века. Он утверждает, что Германия полностью заимствовала у Франции куртуазный словарь: выражения, а вместе с ними и желание создать (на первых порах искусственно) соответствующую им систему чувств и настроений. Усвоение иностранного слова или чужеземного художественного мотива всегда — следствие необходимости. По крайней мере для тех, кто их усваивает...

С этим связана и вторая трудность. Эмиль Маль слишком настаивает на целостности религиозного чувства масс, чьи сентиментальные оттенки ему удалось воскресить с помощью анализа художественных памятников. «Целостность», разумеется, имела место, но были и оттенки, которые при ближайшем рассмотрении начинают выступать на первый план. Один пример. Нет иной патетической темы, чью разработку и эволюцию можно было бы лучшим образом проследить на основе художественных памятников конца средневековья, нежели тема страданий Богоматери, слившихся воедино со страстями Христа: эта целая вереница кровавых и скорбных образов, то выставляемых непосредственно на показ верующим, дабы пробудить дремлющий в душе каждого двуединый инстинкт жалости и жестокости, то преображаемых в мистическом плане в такие иконографические композиции, как «Живоносный источник» или «Мистический вертоград»<sup>10</sup>. Эта тема завершается в конце концов изображением Марии у подножия Распятого: она то никнет долу, полубесчувственная, много-страдальная и трагичная, то стоит в позе, которую описывает «Stabat»<sup>11</sup>:

Stabat Mater dolorosa,  
Juxta crucem lacrimosa,  
Dum pendebat Filius.

[Стояла Матерь, скорбная  
и рыдающая, у креста,  
на котором висел ее Сын.]

Так вот, уже в начале XVI в., в 1529 г., в книге католического богослова Жерома Хангеста появляется осуждение противников культа Марии, которые, не принимая этих изображений скорбящей Богоматери, высказываются против них под тем предлогом, что «non super Filii passione doluit aut lachrymosa est» [не из-за страданий Сына горевала и рыдала].

Что это? Простая прихоть? Но только что приведенный текст пришел мне на память уже несколько лет назад, когда, читая «Литературную историю религиозного чувства во Франции», я натолкнулся на пассаж, посвященный жарким спорам, которые вызывала в XVII веке эта критика «Stabat». Более того: в пре-

восходном труде Марсея Батайона «Эразм и Испания» говорится не только об успехе, который обрел в патетической Испании конца XV века мотив Богоматери, простертой в слезах у подножия Распятого, но и о протестах, вызванных введением в это изображение известных элементов натурализма.

Конфликт двух методов и двух школ, двух понятий трагического в лоне религии — это извечное противоречие прекрасно передает в сонете Кампанелла, отводящий взор от Распятого, чтобы погрузиться в ликующее созерцание Воскресшего:

«Какой смысл выставлять Его повсюду, описуемого и живописуемого в часы страданий, которые так мало значат в сравнении с радостью, что за ними последует?»

Ах, безмозглый невежа, упирающий взгляд в землю, болван, неспособный лицемерить славное вознесение, когда же ты отворишь глаза от созерцания Его жестокой агонии?..»

А вот каков ответ вечной молитвы святой Терезы<sup>12</sup> — этого великолепного крика женской страсти:

«Я люблю Тебя не столько за Твое воскресение, сколько за муки Твои и смерть. Ибо думаю, что, когда Ты воскреснешь и вознесешься в лазурную высь, когда вся вселенная будет к Твоим услугам, Ты не так будешь нуждаться во мне, Твоей служанке...»

Вывод из всего этого таков: при всех обстоятельствах нужно уметь соизмерять, взвешивать, оценивать. Не торопиться с безсловными и безоговорочными обобщениями. Не воображать, будто в любой данный момент религиозная вера представляет из себя нечто единое. Чем больше в ней жизненных сил, тем более она индивидуальна, разнородна, тем больше взаимной непримиримости между различными ее тенденциями. Не будем принимать то или иное специфическое проявление благочестия — скажем, особое пристрастие францисканцев к страдающему Христу и его скорбной матери, их особые формы поклонения страстям Спасителя и его крестным ранам, — не будем принимать все это за практику, единодушно усвоенную всеми мистически настроенными верующими в эпоху стремления к внутреннему христианству.

Все эти поправки нисколько не уменьшают ценность труда Эмиля Маля, а лишь призывают нас самих к осмотрительности, которой лично он не всегда мог похвастаться.

Какой же еще инструмент может нам пригодиться? Литература. И не только литературная регистрация (хотя мы стольким ей обязаны) оттенков чувствительности, разграничивающих эпохи, а с еще большей точностью — поколения, но и изучение тех способов, с чьей помощью литература создает, а затем распространяет ту или иную форму чувства среди масс, значение которых, кстати, необходимо учитывать с достаточной отчетливостью. Ибо круг читателей рыцарского романа в средние века совсем

не таков и количественно и качественно, как круг читателей романа-фельетона в XIX веке или круг зрителей популярного фильма в веке XX. Но, поскольку в данный момент речь идет о чувствительности и ее оттенках, нельзя не сослаться на два уже вышедших из печати тома «Французского предромантизма» Андре Монгло, две главы будущей «Истории литературного чувства во Франции», отличающиеся той же исключительной тонкостью, тем же изяществом мысли и вкуса, что и последовательные тома «Литературной истории религиозного чувства» Анри Бремона. Нельзя не обратиться в особенности к прекрасному второму тому, целиком посвященному «властителю чувствительных дум» Жан-Жаку Руссо и всем тем, кто подготавливал его творчество, кто помогал и покровительствовал ему.

Все это — бесценные свидетельства. При том, разумеется, условии, что литературные тексты будут изучаться с той же критической осмотрительностью, что и памятники пластического искусства. При том условии, что мы будем трезво оценивать реальную глубину и размах чувств, которые, если верить истории литературы, с неумолимой логикой сменяют друг друга, тогда как на самом деле — стоит лишь попристальной взглянуть — они то проявляются, то исчезают, и так без конца.

Был ли XVIII век эпохой царственного триумфа чувствительности? Без сомнения. Но давайте еще раз обратимся к тем же «Французским синонимам» аббата Жирана (издание 1780 г.). Как трактуются там это и сходные с ним понятия? «Нежность — это пристрастие. Чувствительность — это слабость... Чувствительность побуждает нас соблюдать наши личные интересы. Нежность склоняет к действиям ради интересов других... Чувствительное сердце не может быть злым, ибо наделенный им человек не способен уязвить других, не будучи уязвлен сам. Нежное сердце исполнено доброты, ибо нежность — это действенная чувствительность. Человек с чувствительным сердцем не может быть врагом человечества. Человек с нежным сердцем не может не быть его другом».

Вот в нескольких строках — полное изложение этой параллели занимает четыре страницы — прекрасный образец того отрицательного отношения, которое французы восьмидесятых годов XVIII века (я имею в виду наиболее культурных и утонченных людей) испытывали к слезливой и безудержной чувствительности, безусловно присущей известному отрезку этого столетия. Всего лишь отрезку, не будем об этом забывать, да и тогда дело не обходилось без некоторых возражений, пусть не слишком яростных, но зато особенно отчетливых и нелицеприятных.

Подведем итоги. *Юридические источники*: элементы исследования, почерпнутые из судебных архивов, а также из той несколько расплывчатой области, которую именуют казуистикой. *Художественные источники*: свидетельства пластических искусств,

а также должным образом изучаемого искусства музыкального. *Литературные источники*: со всеми оговорками, на которые я только что указал. Право, мы не совсем уж безоружны! И если мы сумеем прежде всего наладить постоянный контакт с психологами, чтобы быть в курсе их исследований и результатов этих исследований; если мы возьмем за правило никогда не приступать к изысканиям в области психологии, приложимой к истории, или истории, стремящейся восстановить эволюцию психологических данных, не ознакомившись предварительно с теперешним состоянием вопроса (ибо какой смысл листать старые книги, чьи заглавия сохранились у нас в памяти лишь потому, что нам говорили о них двадцать, тридцать, а то и сорок лет назад, когда мы были еще школьниками, — да и в ту пору сочинения эти чаще всего уже казались устаревшими); если мы с самого начала будем твердо опираться на последние результаты критического и плодотворного труда наших соседей, психологов, тогда, я думаю, нам удастся предпринять серию исследований, ни одно из которых еще не осуществлено; а до тех пор, пока они не осуществлены, не приходится говорить и о *подлинной истории вообще*. Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости. Налицо лишь краткий обзор истории Страха, которым мы обязаны Анри Берру и его «Журналу исторического синтеза»<sup>13</sup>. Но и этого обзора достаточно, чтобы показать, какими потрясающе интересными могли бы быть все эти истории...

Когда я говорю: «У нас нет ни истории Любви, ни истории Жалости», — нужно иметь в виду, что я не требую трудов, рассматривающих эти чувства во все времена, во все эпохи, при всех цивилизациях. Я только указываю направление поисков. Но указываю его не отдельным исследователям — чистым физиологам, чистым моралистам, чистым (в светском и традиционном значении этого слова) психологам. Нет. Я требую проведения обширных коллективных исследований в области основных человеческих чувств и их оттенков. Сколько неожиданностей подстерегает нас на этом пути! Я говорил о Смерти. Возьмите же IX том «Литературной истории религиозного чувства во Франции» Анри Бремона — он называется «Христианская жизнь при старом режиме» (1932). Откройте его на главе «Искусство умирать». И трех столетий не прошло, а какая пропасть пролегла между правами и чувствами людей той эпохи и нашими собственными!

А теперь бросим последний взгляд на ту схему, с которой я начал, — на схему, разъясняющую роль эмоционального начала в истории человечества, сопоставимого с ролью интеллектуальной деятельности, схему, начертанную мной с помощью основных мыслей, выработанных VIII томом «Французской энцикло-

педии». Вспомним то подобие кривой, которая показывает нам в общем виде систему эмоциональной активности, все более и более подавляемую непрерывно возрастающей массой интеллектуальных элементов человеческой деятельности; вспомним их неудержимый и властный напор, отбрасывающий эмоции на задворки, на периферию жизни, оставляющий им второстепенную и жалкую роль.

Превосходно. И будь мы теми воинствующими рационалистами старого закала, которые всем нам, конечно, встречались (в иные часы мы с легкостью можем узнать их и в самих себе — стоит лишь поглубже копнуть), — будь мы такими рационалистами, нам исходя из этого оставалось бы только грянуть ликующий гимн во славу Прогресса, Разума, Логики. Но не угодно ли вам вместо этого перечитать уже знакомый отрывок из данной статьи?

«Итак, связывая между собой все большее число участников, становящихся поочередно то зачинщиками, то передатчиками, эмоции мало-помалу слагаются в систему межличностного возбуждения, которое, обретая все большее разнообразие в зависимости от ситуаций и обстоятельств, в свою очередь, разнообразит чувства и реакции каждого. Установившаяся таким образом согласованность и одновременность эмоциональных реакций обеспечивает данной группе относительно большую безопасность и силу: сложение подливной системы эмоций тотчас оправдывается полезностью этой системы. Эмоции превращаются в некий *общественный институт*. Они регламентируются наподобие ритуала. Многие церемонии первобытных народов являются зрелищами-сборищами, цель которых — вызвать у всех присутствующих однородные эмоции посредством одинаковых поз и одинаковых жестов и тем самым сплотить их в некую единую сверхличность, подготовить к единому деянию».

Все это вполне приложимо к большим празднествам первобытных обществ — возьмем, например, «пилу»<sup>14</sup>, праздник коренных жителей Новой Каледонии, описанный в превосходной книге Мориса Линхардта «Люди Большой Земли», чей гуманизм делает честь французской науке, — все это за ничтожным исключением приложимо и к множеству трагических зрелищ, разворачивающихся перед нашими глазами, приложимо к терпеливым и упорным усилиям, одновременно и хитроумным и несознанным, которые направлены к тому, чтобы тайком завладеть таящимся в каждом из нас запасом эмоциональной энергии, вечно готовой взять верх над энергией интеллектуальной, и, завладев этим запасом, внезапным рывком повернуть вспять эволюцию, которой мы так гордились, — эволюцию от эмоции к мысли, от языка эмоционального к языку артикулированному...

Чувствительность в истории — тема для изысканных любителей... Не пора ли нам, да как можно скорее, вернуться к под-

линной истории? К обстоятельствам дела Причарда<sup>15</sup>. К вопросу о Святой Земле<sup>16</sup>. К переписи соляных складов в 1563 году. Это и есть настоящая история, которую надлежит преподавать нашим детям в школах, нашим студентам в университетах. А что касается истории ненависти и страха, истории жестокости и любви, то, ради бога, перестаньте нам докучать всей этой пошлой литературщиной! Этой пошлой литературщиной, чуждой всякой науке, но которая тем не менее грозит не сегодня-завтра окончательно превратить наш мир в подобие смрадной бойни.

Да-да. Приступая к чтению данной статьи, иные, возможно, задавались вопросом: «К чему ведет весь этот краткий психологический разбор?» Теперь, надеюсь, им стало ясно: он ведет к истории. К самой древней и самой актуальной из историй. К истории первобытных чувств, проявляющихся сейчас, в данном месте или искусственно пробуждаемых. К истории этих непрестанно воскресающих и воскрешаемых чувств. Я имею в виду культ крови, алой крови, во всем его скотском и дикарском обличье. Культ природных сил, свидетельствующий о нашей усталости — усталости подневольных скотов, измученных, издерганных, искалеченных неистовым шумом, неистовым динамизмом тысяч машин, от которых нам некуда скрыться. Воскрешение культа Матери-Земли, к лону которой так приятно по-сыновнему прильнуть всем своим натруженным телом. Не менее всеобщее воскрешение культа Солнца, кормильца и целителя: отсюда кемпинги и пляжи, головокружительная тяга к воздуху и воде. Возвеличивание первоначальных чувств наряду с внезапной утерей ориентации, забвением истинного соотношения ценностей: восхваление жестокости в ущерб любви, животного начала в ущерб культуре — причем начало это, и как данность и как опыт, ставится выше культуры... Итак, судите сами: стоит ли история чувств исследования, разностороннего, полного, коллективного исследования? И можно ли считать психологию всего лишь болезненной грезой, если она, как мне, надеюсь, удалось доказать, является основой основ работы каждого настоящего историка?

# ДАТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ АНРИ БЕРРУ

ОТ «ЖУРНАЛА СИНТЕЗА» К «АННАЛАМ»

Дорогой мой друг, позавчера, если не ошибаюсь, Вам исполнилось восемьдесят лет. Самые близкие из Ваших друзей не могли не отметить эту годовщину, собравшись здесь, на поле Ваших битв, чтобы, воспользовавшись случаем, сказать Вам то, что они давно о Вас думают и что, в конце концов, им нужно выразить во всеуслышанье...

Дорогой мой друг, нас немного в этом зале. Мы сами хотели, чтобы так оно и было. Сейчас не время для многочисленных собраний, для широковещательных и шумных форумов. Нас немного — но это всего лишь видимость. Ибо мы представляем здесь и Ваших друзей, и Ваших должников. Ваших друзей, о счастливый не имеющий врагов, друг, то есть тех, кто был Вам близок в течение Вашего долгого жизненного пути, во время Вашей великой посольской миссии в страну Науки, которую Вы благополучно довели до конца при внимательной, чуткой и внешне неприметной поддержке госпожи Берр. Ваши друзья, то есть все те, кто в той или иной степени имел возможность воспользоваться Вашими трудами и Вашими начинаниями...

Мне часто — а сегодня с особенной неотвязностью — приходят на память давние обстоятельства моих первых с Вами встреч. Они происходили неподалеку отсюда, в доме № 12 по улице Св. Анны, в редакции «Журнала исторического синтеза». В небольшом, довольно унылом кабинете восседал за письменным столом стройный молодой человек в строгом, но элегантно костюме. Его длинная борода была так черна, что проседь в ней и по сей день не может справиться с ее смолюю. Кабинетик был всегда набит битком. Кого там только не было — и молодежь, и старики. Слева, как сейчас помню, размещался Поль Лакомб, то полусонный и молчаливый, то возбужденный, порывистый, задорный, — он был там завсегда, этот самобытный мыслитель, исполнявший одну из главных партий в первых концертах «Синтеза». Напротив него часто можно было видеть Феликса Матгё, le Mathieu du Pascal<sup>1</sup>, как его называли, слывшего бездонным кладезем знаний, из коего, однако, никому не удавалось почерпнуть ни капли. Как не вспомнить и куда более близкого мне по возрасту Абея Рея, бедного Абея, так внезапно унесенного смертью в разгар его замечательных трудов. Раздвигая стулья, с великим трудом я прокладывал себе путь к Вашему письменному столу. Щуплый юнец, робкий новичок, я заранее знал, какой прием меня ожидает. Редкостная отзывчивость, само собой разумеется; редкостная сердечность; а сверх того — некая взаимоустремленность, душевный порыв, братское уважение искателя к ищущему... Как я был Вам благодарен, друг мой, за этот прием! Когда я покидал Вас, меня всегда окрыляло чувст-



во взрослого доверия к жизни, желание собственным трудом сделать ее полезной, прекрасной и плодотворной...

Именно этим порывом были отмечены все Ваши начинания. Он придавал им неповторимое своеобразие, наделял их своей силой. В Париже издается немало книжных серий. Но «Эволюция человечества» — серия в своем роде единственная. Славная «Эволюция», уже выпустившая в свет десятков шесть полезных и благотворных книг, и среди них — добрую дюжину подлинных шедевров; славная «Эволюция», сумевшая в одиночку возместить столько недочетов, недоделок и упущений в стране, с остревением старающейся подорвать собственный авторитет; славная «Эволюция», которую можно встретить в библиотеках любой части света, где она гордо носит национальные цвета Франции.

Немало у нас и журналов. Научных журналов. Но на рубеже XX века этого звания заслуживал только Ваш «Журнал исторического синтеза». Успокойтесь, дорогой мой друг: когда будет написана история Истории, ему посвятят в ней одну из самых прекрасных страниц. Скажу больше: журнал этот был не только рупором, вызывающим к разуму, не только постоянным голосом протеста против всего, что старается нарушить единство человеческого духа, против всяческих барьеров, возводимых между различными сторонами его проявления. Он был благодаря Вам активным, живым, действенным и целеустремленным союзом единомышленников. Он был подлинным *средоточием* — во всей полноте этого слова, которое Вы так любите. Он был *очагом*, подобно всем остальным организациям, которые Вам удалось создать (что уже немало) и сохранить (что еще более важно). И все мы, прошедшие Вашу выучку, видевшие Вас за работой, поддерживавшие Вас со всей страстью молодости, — все мы обязаны Вам нашими замыслами и свершениями во славу науки и ее прогресса: из разожепного Вами исполинского очага мы черпали жар для наших собственных начинаний, как бы они ни именовались, — я, в частности, имею в виду «Французскую энциклопедию» и «Анналы экономической и социальной истории», созданные мною совместно с тем, кого, как Вы знаете, нам больше всего недостает сегодня в этом зале<sup>2</sup>.

Дорогой мой друг, я взял слово. И чем дольше говорю, тем простительней кажется мне невинная уловка, с помощью которой мы сегодня заманили Вас сюда... Я должен был, как Вам сказали, говорить о цивилизации. Прекрасное слово. Прекрасный подарок, сделанный Францией Европе и всему миру. Тем более прекрасный, что цивилизация вот уже три года является для нас всего лишь надеждой, подобием зыбкого миража, обманчиво сияющего в пустыне, над которой только что пропесся ураган. Цивилизация... Вы видите, что я Вас не обманул, ибо говорю о Вас и о том, что Вы для нее сделали...

Но что такое цивилизация? Пустое слово? Тех, кто хотел бы удостовериться, что это не так, что за словом этим стоит конкретная, человеческая реальность, — тех я пригласил бы на Ваши «Семинары синтеза». В моей памяти навсегда сохранится та захватывающая дискуссия, которая разгорелась в конце одного из самых плодотворных семинаров 1933 года, — дискуссия, посвященная определению понятий науки и научного закона. В ней участвовали (упомяну только тех, кого нет сегодня в этом зале) цюрихский математик Гонсет, астроном Минёр и физик Бауэр, биолог Гепо, социолог Хальбвакс и философ Брюнсвик. Присутствовали там и двое из тех, кого нам больше не суждено увидеть: на редкость энергичный, пышущий здоровьем Абель Рей и Франсуа Симиан — у него был такой проникающий в самую душу, окрашенный глубокой печалью взгляд, какой бывает у людей, сознающих, что их ждет преждевременная кончина. Этим собранием блестящих умов и выдающихся специалистов руководил Лапжевен, наш дорогой и великий Ланжевен, величайший из теоретиков науковедения на рубеже двух веков. Был там и я, скромный историк, представитель скромной дисциплины, которая еще не обрела своей истинной формы, — историк, сознающий всю скромность наших свершений в сравнении с возвышенностью нашего идеала. Я был там, я слушал этих людей, искренно и чистосердечно старавшихся как можно точнее определить, в какой степени наши предрассудки пострадали вследствие бурного роста современной физики. Я был свидетелем того, как из хора этих обычно разрозненных и не внимающих друг другу голосов вырастала гармония, как они — с разным выражением — произносили одни и те же слова и как в результате всего этого становилась конкретной, осязаемо конкретной для всех проблема коренного единства человеческих тревог и надежд... Это великий урок, дорогой мой друг, который благодаря Вам навсегда перестал быть для нас пустой абстракцией, который обрел, если можно так выразиться, человеческое обличье. И те, кто присутствовал на этой плодотворной дискуссии, навеки, подобно мне, сохраняют в памяти прекрасные глаза ученых — внимательные, ясные, а временами задумчивые, следящие за собственными мыслями и за мыслями других, — глаза ученых, в которых отражаются то замыслы их критического разума, то мистические порывы их верности Науке. И их оптимизм.

Оптимизм — имено то слово, которое я никак не мог бы не произнести здесь, перед Вами, заканчивая свое краткое выступление. В нем Ваша сила и Ваша благородная тайна. Позвольте в этой связи напомнить Вам Ваши слова. Они были написаны давным-давно, но кажется, будто их только что вызвала к жизни наша полная смятения эпоха. Они с предельной силой раскрывают главнейшую из причин нашей высокой к Вам любви:

«Я не могу поверить, что война должна быть вечной. Не могу

поверить, что лишь она одна может служить источником силы и героизма. Не могу верить, что единство человечества является надуманной химерой, а человечность — пустым звуком. Одним из аспектов человеческого прошлого были, разумеется, битвы, вторжения, гибель или распад империй, но, несмотря ни на что, доминирующей чертой истории была солидарность человеческих сообществ, которые беспрестанно и почти механически старались сплотиться вновь; это сплочение было прообразом полной и целостной материальной цивилизации, за которой должна последовать цивилизация духовная, нечто полностью противоположное «Священному союзу» («Гимн жизни», с. 192).

Вот что позволяет мне, дорогой мой друг, обобщив в одном слове наши общие чувства, сказать вам: спасибо!

# МАРК БЛОК И СТРАСБУР

## ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОМ ИСТОРИКЕ

Первая наша встреча в Страсбуре произошла, насколько мне помнится, в октябре 1920 года на первом факультетском собрании — одном из тех, от которых остается впечатление восторженного порыва и бескорыстного душевного пыла. Нас было человек сорок, почти все прибыли буквально накануне, едва успев расстаться с мундирами и уже как-то чисто по-французски стыдясь своих боевых наград и званий. Мы были, разумеется, преданными сынами Франции — мы целых четыре года доказывали это с оружием в руках, — но теперь нам предстояло стать верными слугами истерзанного войной Эльзаса, чье доброе духовное здравие, как мы были уверены, в немалой степени зависело от нас и от наших усилий. И в то время как под блестящим председательством совсем еще молодого в ту пору Этьена Жильсона мы договаривались об избрании декана — уже заранее, впрочем, намеченного нами, как это всегда бывает во французских университетах, — мы, еще не зная своих коллег в лицо, принялись знакомиться. Мы устремлялись навстречу друг другу с такой искренней непосредственностью, какой потом нам уже никогда не суждено было ощутить. Каждый из нас вкладывал свой кирпичик — тщательно, с толком и умом отобранный — в прекрасное здание дружбы и взаимной преданности.

Марк Блок, родившийся в Лионе 6 июля 1886 года, был одним из наших младших товарищей. Мне он казался сущим юнцом. Впрочем, сорокалетнему человеку всегда кажутся молодыми те, кто едва перевалил за тридцать. Я видел его и куда более юным — то было в 1902 году на улице Алезии, в доме его отца, Гюстава Блока, замечательного педагога, человека грозного и в то же время приветливого; он с блеском преподавал древнюю историю в Высшем педагогическом училище на улице Ульм; не я один считаю его наставником своей молодости... От той мимолетной встречи у меня осталось воспоминание о стройном подростке с блестящими умными глазами и застенчивой улыбкой — в ту пору его несколько затмевал старший брат, будущий первокурсник медик. Теперь же я видел перед собой молодого человека, отмеченного печатью четырех лет войны, четырех жестоких лет, полных славных деяний, о которых свидетельствовали четыре благодарности в приказах, справка о ранении и орден Почетного легиона — словом, весь этот непременный в те годы багаж французского воина. Он только что женился, и его брак с юной особой, столь же склонной к самоотверженности, сколь не расположенной к показной аффектации, с самого начала стал глубоко человеческим и прекрасным союзом, который он поддерживал до последнего своего часа. Устроив личную жизнь, Марк Блок, однако, еще не нашел себя как историк. Его отец, его

наставники из Высшего педагогического училища (в Страсбурге он встретился с главным из них, тем, кто когда-то открыл ему дверь в средние века, — с нашим дорогим Кристианом Пфистером), его заграничные поездки — и, в частности, тот год, что он провел в Берлине и Лейпциге у Бюхера и Гарнака, — вся эта долгая и тщательная подготовка была наилучшим залогом того, что на историческом поприще ему предстоит великие свершения. Но какие? Он все еще колебался в поисках выбора, завершая свою диссертацию «Короли и сервы, глава из истории Капетингов», небольшую работу, вышедшую в 1920 году. Он поехал защищать ее в Сорбонну; вернулся, разумеется, с наилучшими отзывами. И, разделавшись с трудом, который в конечном счете был для него скорее обязанностью, чем внутренней необходимостью, занялся свободным определением своей научной судьбы.

Уже в этой диссертации Марк Блок поставил перед собой серьезную, крайне серьезную проблему психологической и социальной истории. Он не принадлежал к числу тех, кто занимается историей точно таким же образом, как их бабушки занимались вышиванием: для препровождения времени и оправдания своих титулов. Он уже размышлял над своим «ремеслом историка»<sup>1</sup>. Раздумывал над датами и — не даром он был историком-юристом — правовыми институтами. Занимался всем этим не только как юрист, но и как социолог: его увлекала школа Дюркгейма. Он питал живой интерес ко всем проявлениям коллективных верований в истории. Именно от них он отталкивался, изучая проблему свободы в средние века. Судя по старинным текстам, разница между свободными и несвободными была в ту пору разительной. В чем же состояла ее суть? Что на самом деле означало для «средневековых людей» (формула, кстати сказать, столь же нелепая, сколь и общераспространенная) это полное глубокого смысла слово СВОБОДА? Вопрос сложный, трудный для разрешения, но сама его отчетливая постановка столь молодым ученым — это уже кое-что.

Впрочем, в то время Блока увлекали и другие исследования. Исследования, в сущности, того же порядка. Мысль о том, чтобы заняться ими, пришла ему в голову, когда он беседовал со своим братом-медиком, человеком крайне откровенным и любопытным. Речь зашла о *королях-чудотворцах* — такая проблема не могла не заинтересовать историка, изучающего коллективные верования. Посвященная ей книга Блока<sup>2</sup> редкостна по своим достоинствам; это подлинный перл среди изданий страсбургского филологического факультета, а кроме того, едва ли не первое из этих изданий. Я часто говорил Блоку, что это одна из самых любимых мною его книг, — и он был признателен мне за столь благосклонный отзыв о его, как он выражался, «увесистом детище». Когда подумаешь, во что подобная тема могла бы обратиться под неуклюжим пером какого-нибудь наивного обожа-

теля чудес, яснее сознаешь проявившиеся в этом по-юношески сумбурном, но содержательном произведении духовные качества настоящего историка, одного из тех, что воскрешают людей прошлого не затем, чтобы журить и поучать их с высоты собственных достижений, а для того, чтобы постараться их понять.

В университете наши семинары были по соседству. Мы работали дверь в дверь. И двери эти всегда оставались открытыми: не могло быть и речи о том, чтобы медиевисты чурались новейшей истории, а специалисты по новому времени сторонились средневековья. Наши студенты переходили из одной аудитории в другую — и мы вслед за ними. Часто мы с Блоком возвращались домой вместе: центральный тротуар аллеи Робертео был свидетелем наших бесконечных прощаний и расставаний, провожаний и перепровожений — все это несмотря на разбухшие от книг портфели, которые оттягивали нам руки. Мы подолгу беседовали, обменивались мнениями, размышляли — и в результате Блок мало-помалу начал склоняться на сторону новых направлений, которые я пытался наметить еще в 1911 году в своем объемистом сочинении, относившемся к истории скорее социальной, чем экономической, и скорее экономической, нежели религиозной и политической<sup>3</sup>.

История, хранившая добрый запах земли, деревни, пахоты и жатвы, — эта история вовсе не отталкивала такого завязанного горожанина, каким был Блок, родившийся в дыму Лионе, воспитанный в каменной пустыне Парижа и не питавший, казалось, никаких пристрастий к провинции, к своему родному углу.

Как и многие среди нас, его сверстников или старших братьев, он испытал сильное влияние той географии, которую Видаль де ла Блаш — выдающийся и оригинальный ученый, человек редкой культуры и редчайшей широты ума — незадолго перед тем возвел в ранг первостепенной дисциплины. Суть географии не выскажешь, разумеется, в двух словах, но для многих молодых французов, томившихся в угрюмых и неуютных аудиториях, чьи стены были выкрашены понизу бурой, а поверху грязно-охристой краской, где над склоненными головами мертвенно чадил удушливые газовые рожки (вплоть до 1900 года, а то и позже сей источник мигрени полновластно царил во всех наших лицеях и школах), — для этой молодежи география была чем-то вроде глотка свежего воздуха, прогулки за город, возвращения домой с букетами дрока и наперстячки — прогулкой, промывающей глаза и прочищающей мозги, позволяющей ощутить превосходство реальности над любыми абстракциями.

Все это к тому, что наш друг Анри Берр, руководитель «Журнала исторического синтеза», служившего для нас своего рода троянским конем, с помощью которого мы проталкивали в печать столько необычных и дерзких новинок, — Анри Берр затеял в начале 1900-х годов серию под названием «Монографии о про-

винциях». «То, что сделано, и то, что еще предстоит сделать», — гласил девиз на обложках этих многообещающих книжек. Мне было поручено подготовить монографию о Франш-Конте. Блок последовал моему примеру и написал «Иль-де-Франс», замечательную работу, как, впрочем, и все, что выходило из-под его пера. В ней уже чувствовалось его призвание специалиста по аграрной истории. И не было ничего удивительного в том, что этот молодой ученый, искавший собственное поприще, в конечном счете обратился к исследованию земельных и крестьянских проблем. Я говорю так, ибо ненавижу термин «аграрная история». В нашей корпорации насчитывалось уже немало «аграрных историков». Но то были любители юридических категорий, довольствовавшиеся, подобно знатокам феодального права в XVIII веке, классификацией средневековых общин (а средневековье в крестьянской среде продолжалось — не будем об этом забывать — по меньшей мере вплоть до ночи 4 августа)<sup>4</sup>. Когда же требовалось обнажить живую реальность, скрытую за этой паутиной абстракции, поставить позитивные, конкретные, человеческие проблемы духовного мира крестьян, их образа жизни, моральных и физических тягот, оплаты их труда и так далее, когда требовалось выпутаться из привычных абстрактных представлений, — они пасовали. Не делали ни шагу вперед. То было время (да и минуло ли оно, несмотря на все наши усилия?) — то было время, когда крестьяне, взяв на подмогу какого-нибудь нотариуса, пахали не пашни, а одни только картулярии.

Отсюда отвращение, которое внушала ему подобная история, отсюда его желание, его потребность «обратиться к земле», распахнуть окна аграрной истории на живую деревню-кормилицу, поведать о нуждах крестьян, их чувствах и потаенных мыслях, покончить с пассивным раскладыванием пасьянса и всевозможных псевдоюридических этикеток. Всеми этими соображениями Блок начал делиться со мной уже давно. Я по мере сил поощрял его желание двинуться по этому пути. И, желая оставить за ним полную свободу действий, решил, что сам я больше не буду работать в этом направлении. К чему дублировать исследования, когда подлинно квалифицированных специалистов так мало, а фронт работ так широк?

Словом, Блок принялся за дело. С той скрупулезной методичностью, с тем усердием, на которых держалась вся его деятельность. Он всегда умело пользовался текстами. Но в первое время его внимание привлекали прежде всего отечественные письменные источники, французские картулярии. Однако и ход развития его собственных мыслей, и влияние Анри Пиренна — в 1921 году Блок вместе со мной слушал в Брюсселе потрясающий доклад о сравнительной истории, прочитанный этим удивительным человеком, столь простым при всем своем величии, — а тезисы знаменитого историка наложились в его сознании на

соображения и установки, уже неоднократно высказанные по этому поводу ученым-лингвистом Антуаном Мёйе. Ход развития его собственных мыслей, обогащенный столькими заманчивыми и плодотворными тезисами, привел моего друга к заключению, что сельская история Франции не является самодовлеющей областью, что решение многих проблем, десятилетиями висевших в воздухе и передававшихся от одного историка к другому, находится, по всей вероятности, вне Франции и что именно там его следует искать, вооружившись предварительно всем необходимым для этих нелегких поисков. Блок как следует к ним подготовился. Выучил несколько языков, как новых, так и старых, вдобавок к немецкому и английскому, с которыми уже был знаком. Обрел некоторые познания в русском, фламандском и древнескандинавском и основательные — в старонемецком, чтобы иметь возможность самостоятельно погрузиться в крайне интересную литературу. Столь же основательно занялся он и старосаксонским — этого требовало изучение нордических<sup>5</sup> обществ по ту сторону Ла-Манша. В то же самое время начал он приобщаться и к реальным сторонам сельской жизни. К особенностям севооборота, к технике корчевания и расчистки почвы, к технике пахоты и жатвы. И открыл для себя ту необъятную область позональных переписей и планов, крупнейшим французским исследователем которой ему суждено было стать впоследствии.

Пестрая чересполосица полей и культур, яркие и контрастные цветочные пятна, приведшие бы в восторг Ван Гога. А за всем этим — масса исторических проблем. Проблем невероятно сложных, но заманчивых. Заслуга Блока в том, что он заметил их, а заметив, решительно вторгся в этот новый мир и открыл его для всех. Вошел в него как исследователь действительности — как толкователь жизни. Почему, к примеру, в одной области все земельные наделы вытянуты в длину? А в другой — квадратны и массивны? Отчего здесь царит единообразие, а там — полнейшая неразбериха? Почему здесь поля огорожены зарослями густого кустарника или рядами деревьев, растущих на высоких межевых полосах? И почему в другом месте уголья ничем не разграничены, лишены изгородей, голы, почему на них не увидишь ни деревьев, ни кустов? Когда в этих долах изредка поднимается ветвистый могучий дуб, он тут же становится известным и почитаемым; сколько-нибудь приметная липа, грушевое или ореховое дерево заносится на карты Генерального штаба и служат на них ориентиром для всей окрестности. Мы равнодушно взираем на все эти мелочи. Мы настолько к ним присмотрелись, что уже и не замечаем их. Здесь, как и повсюду, нужно заново учиться искусству удивления. Благотворного удивления, без которого нет любознательности, а следовательно, и науки. Блок постиг это искусство. И сколько открытий удалось ему попутно сделать! Ибо стоявшие перед ним проблемы



могли, оказывается, проясниться с помощью географии. Возьмем проблему огороженных и открытых полей: не следует ли для ее решения учитывать структуру почвы и подпочвенных образований, особенности климата, водный режим и десятки других факторов «землеустройства»? Германия протягивала толкователю великой книги полевых культур иной ключ для раскрытия этой загадки — массивный ключ этнографии, ту самую отмычку, которой давно уже и на виду у всех орудовал старина Мейцен<sup>6</sup>. А разве сельскохозяйственная техника не могла сказать здесь своего слова? Как в самом деле они обрабатывались, эти столь несхожие друг с другом поля? При помощи каких орудий, инструментов, машин? И разве сам факт употребления этих орудий, инструментов, машин не может служить, хотя бы отчасти, объяснением проблемы?

Трудность состояла не в том, чтобы вникнуть во все эти многообразные способы объяснения — географические, этнические, сельскохозяйственные, технические. А в том, чтобы не пытаться выстроить их в очередную блестящую систему. Чтобы избежать абстрактного и выхолощенного эклектизма, находящего свое оправдание в пресловутой широте взглядов. Чтобы прежде всего быть историком. Не отворачиваться ни от действительности, ни от предвзятых идей. Смотреть им прямо в лицо. Уметь обращаться к текстам. И вопрошать эти исписанные поля точно так же, как и поля вспаханные, — не теряя из виду столь излюбленного Блоком определения: «История — это наука перемен». Я — при своей ненависти к абстракциям — сказал бы несколько иначе: «История — это наука о переменах». Стало быть, разница между замкнутым и открытым характером угодий, между *open fields* [открытыми полями] и *enclosure* [огороженными] все-таки не обусловлена божьей волей, не является вневременным установлением провидения. Заглянем в прошлое — на пять, десять или двадцать веков: быть может, там все-таки обнаружатся не приметные и скромные причины этого явления — и мы поймем, почему бретонские поля без оград и рвов так похожи на поля Шампани.

Итогом всего этого был цикл лекций, прочитанный Марком Блоком в Осло, в Институте сравнительного исследования культур. Институте, словно бы созданном именно для него, скроенном, так сказать, по его мерке. Эти лекции, посвященные аграрной истории Франции, имели огромный успех. И тотчас же по возвращении домой, довольный не столько тем, что ему удалось отыскать собственный путь, сколько этим успехом, увенчавшим все его усилия, Блок переработал свои лекции, дополнил и уточнял их. Так родилась книга с несколько длинноватым, но выразительным названием «Характерные черты французской аграрной истории» — она вышла из печати в 1931 году одновременно в Париже и Осло. Блок посвятил ее памяти Эмиля Беша, одного

из своих школьных друзей, умершего после долгой болезни,— жест, характерный для всего нашего поколения: все мы, открыто или в глубине души, с законным основанием посвящали частицы своего труда друзьям юности, которые были свидетелями наших мечтаний и свершений, которые помогли нам вынашивать наши заветные мысли, как мы, в свою очередь, помогали им...

Книга быстро стала классической. Но вовсе не в том смысле, который придают этому слову, говоря об учебном пособии. Мой друг Жюль Сион, не забывая о сильном впечатлении, которое она не него произвела, тем не менее замечал, что было бы хорошо, если бы лет через тридцать она полностью устарела и стала бесполезной. Нужно быть историком, чтобы понять, каким образом такое пожелание может совмещаться с восхищением той или иной книгой по истории. Книгой, вовсе не претендующей на то, чтобы дать застывший, вневременной, мертвенный образ действительности, как это свойственно учебникам; книгой, несколько не похожей на кубик желатина, который в один прекрасный момент растечется, так и не успев никого насытить. Книгой, побуждающей к мыслям, поискам, находкам. Книгой, чьи основные выводы, постоянно пересматриваемые и обновляемые, изменяются вследствие прогресса, ею же самой вызванного. Ибо каждый вывод должен быть пересмотрен — и в первую очередь самим автором.

Нужно плохо знать Блока, чтобы вообразить, будто он был раз и навсегда удовлетворен своим произведением и отныне занимался лишь тем, что яростно отстаивал заключенные в нем выводы. Блок не был поставщиком систем. Он был искателем. «Характерные черты» были для него не самоцелью, а, скорее, отправной точкой.

В 1928 году он поделился со мной одним замыслом. Дело в том, что сразу же после окончания войны, едва успев демобилизоваться, я загорелся идеей создания толстого международного журнала, посвященного экономической истории. Мне представлялось, что руководить им должен Пиренн, чей авторитет в данной области был неоспорим, а себя я готовил к роли ответственного секретаря этого издания. Проекты мои зашли достаточно далеко, и Пиренн живо ими заинтересовался. На международном конгрессе историков в Брюсселе я изложил их перед несколькими компетентными учеными, среди которых был сэр Уильям Эшли. Была сформирована соответствующая комиссия. Пиренн счел за благо ознакомить с моей затеей кое-какие жене́вские организации. В итоге предполагаемый журнал увяз в топких берегах озера Леман<sup>7</sup>. Изрядно разочарованный, я расстался со своими идеями и планами. И вот в одно прекрасное утро Блок предложил мне свою помощь, чтобы снова взяться за их осуществление. Однако учитывая мой горький опыт, он имел в виду создание отечественного журнала, выходящего при широ-

ком международном участии. Я поддержал эту мысль, уверив Блока, что, как только издание встанет на ноги, я всячески буду содействовать его дальнейшему существованию, но лишь из-за кулис, в качестве простого сотрудника. Судьба распорядилась иначе. Столкнувшись с издательскими трудностями, Блок призвал меня на помощь, предложил заняться делами вплотную. Мы объединили усилия, и нам удалось наладить выпуск «Анналов экономической и социальной истории», чему немало способствовала широта взглядов нашего издателя Макса Леклерка, с которым нас свел (мне приятно лишний раз об этом напомнить) Альбер Деманжон. Решение было принято. Пути к отступлению отрезаны. С той поры я вместе с Блоком сделался ревностным служителем и поставщиком материалов для этого журнала, главную редакцию которого мы решили открыть в Страсбуре, — одно время он, ко взаимному нашему удовлетворению, именовался «Страсбургскими Анналами». Именно «Анналы», наши «Анналы», и стали для Блока, только что выпустившего в свет свои «Характерные черты», желанным орудием непрерывного пересмотра, неутомимой переработки, постоянного и последовательного углубления проблем, поднятых в его замечательной книге.

Среди разделов нашего журнала была рубрика, посвященная землеустройству, поземельным планам, сельскохозяйственной технике и всевозможным отражениям этих тем в гуманитарной истории — отражениям, способным заинтересовать таких столь непохожих друг на друга людей, как Жюль Сион, которого я только что упоминал, как Альбер Деманжон, скрывавший свою привязанность к нам под маской ворчливого нелюдима, как Арбос и Мюссе, Аликс и Дион; я уж не говорю об Анри Болиге, который был в Страсбуре нашим каждодневным помощником и добрым советчиком, неизменно основательным и надежным...

Что за славные то были годы — тридцатые годы в Страсбуре! Славные годы яростного, самоотверженного и плодотворного труда. И что за невероятное стечение благоприятных обстоятельств способствовало успеху этой работы! Я имею в виду прежде всего дружеские связи, не только отличавшиеся горячей сердечностью, но и служившие источником взаимного соревнования. То была пора, когда дорогой наш Шарль Блондель писал «Введение в коллективную психологию», свой шедевр, небольшую книжку, ставшую одной из величайших книг нашего времени, сочинение, столь родственное нам по духу, что мы могли бы считать его своим, если бы его словесная ткань и форма (как всегда, удивительно изящная) не принадлежали Блонделю, и только Блонделю. А рядом с ним (упомяну главным образом тех, кто умер: их список уже достаточно обширен) — целая армия лингвистов, начиная с милейшего Эрнеста Леви, непревзойденного знатока старого Эльзаса, его обычаев, его нравов, его фольклора — не говоря

уж о мебели и антикварных безделушках, — и кончая когортами наших германистов, англистов, славистов... Вам встретилась какая-нибудь филологическая тонкость в средневековом тексте? Эрнест Хёпфнер тут же придет к вам на подмогу. Вы наткнулись на археологическую загадку? П. Пердризе поспешит раскрыть перед вами неисчерпаемую сокровищницу своих знаний. Хотите получить справки по литургии, теологии, истории церковных догматов? Страсбургский теологический факультет незамедлительно предложит вам свои услуги. У вас есть вопросы по каноническому праву? Обратитесь к Габриелю Лебра, к его живой и богатой эрудиции. Ибо ни Блок, ни я, ни остальные наши коллеги не замыкались в стенах нашего факультета, каковы бы ни были его богатства, какой бы активной, в частности, ни была деятельность группы историков, руководимых Андре Пиганьолем, Э. Перреном и Жоржем Лефевром, которые, к нашей с Блоком большой радости, пришли работать на факультет после смерти Паризе. Посещали нас и временные гости. Самым выдающимся и самым деятельным из них был, без сомнения, великий Сильвен Леви — окончив курс лекций в Коллеж де Франс, он по собственной воле приезжал на несколько месяцев в Страсбург. Он был, как известно, индологом, но, помимо, этого и прежде всего, он проповедовал любовь к Франции, ко всему, что есть в ней щедрого, благородного и человеческого. Что же касается Пиренна, то он никогда не навещался в Страсбург, не дав о себе знать Блоку и мне. А порой даже читал нашим студентам лекции, позволявшие им воочию убедиться в неоспоримой широте его ума. Словом, нас окружали звезды первой величины. А фоном этому созвездию служила наша библиотека, восхитительная национальная библиотека Страсбургского университета, чьи манящие взор сокровища всегда были у нас под рукой, — несравненный рабочий инструмент, единственный во Франции. Если кому-либо из нас удалось оставить след в науке, он обязан этим — хотя бы отчасти — Страсбургской библиотеке. Ее неисчислимым богатствам, которые только и ждали исследователя.

Страсбургские ученые принимали гостей. И сами были желанными гостями. Я уже говорил, что перед тем, как выпустить в свет свои «Характерные черты», Блок ознакомил с ними норвежскую публику. В то же время он активно и достойно представлял Францию в Брюсселе, Генте, Мадриде, Лондоне и Оксфорде — особенно в Лондоне, где перед компетентной аудиторией Лондонской школы экономики был прочитан блестящий доклад на одну из самых излюбленных его тем: «Французская сеньория и английский манор»<sup>8</sup>. И повсюду слушателям дано было ощутить его творческую силу, самобытность и острый ум. Когда же в серии «Эволюция человечества» один за другим вышли два тома его «Феодального общества», стало ясно, что он окончательно выиграл партию, за которую взялся. Мы поняли, что среди нас

появился великий историк. Точнее сказать — великий европейский историк. Ибо неоспоримо, что история средневековых обществ, породивших наше собственное общество, может изучаться только в европейских рамках. Ведь Европа — в наиболее значении этого слова — родилась именно в средние века, родилась благодаря сближению нордических элементов, дотоле остававшихся вне сферы притяжения Рима, и элементов средиземноморских, распавшихся и разъединенных вследствие падения Империи. Поэтому понятно, что он, столь активно ратовавший еще в 1928 году «За сравнительную историю европейских обществ», оставивший наброски неоконченной «Истории Франции в рамках европейской цивилизации», — понятно, что он, проследившая эволюцию «Феодалного общества», не мог довольствоваться одними только французскими текстами и французскими данными. Он знал, что в подобных исследованиях границы ничего не значат, что если поместья в Иль-де-Франс в общих чертах схожи с рейнскими поместьями, то поместья Лангедока представляют из себя нечто совсем иное; что если можно сравнивать между собой такие типы городских поселений, как Амьен, Гент или Кёльн, то невозможно отыскать черты, роднящие их с Марселем, Флоренцией или Генуей; он знал, что аграрная система деревень Шампани в общем сопоставима с той же системой саксонских деревень, но отличается от системы Бретани или Лангедока. И все это чревато далеко идущими последствиями. Тот факт, что во Франции, Германии и Англии начиная с XII века зародились три совершенно разных понятия о социальной иерархии, объясняет многие особенности дальнейшей судьбы этих стран<sup>9</sup>. Мы видели, как терпеливо, как настойчиво запасался Марк Блок всем необходимым научным инструментарием. Инструментарием, который в руках умелого мастера оказался совершенным. Свидетельство тому — две замечательные книги, производшие на нас столь глубокое впечатление.

Марк Блок уже не был страсбурцем, когда вышел его двухтомник «Феодалное общество». Отставка Анри Озе, заведовавшего кафедрой экономической истории в Сорбонне, позволила ему вернуться в Париж, где к тому времени мало-помалу собралось столько его верных друзей и сотрудников. Никак нельзя сказать, что он покидал берега Иля с легким сердцем, беззаботно отряхнув с ног пыль временного пристанища, где ему пришлось так долго томиться. Думаю, что и никто из нас, обосновавшихся в Страсбуре около 1920 года, никогда не испытывал подобных чувств. Он отвечал на призыв долга, а кроме того — заботился о судьбе своих детей, шестерых детей: ему хотелось перевезти их в Париж, великий город, воплощение духовного величия Франции.

В Сорбонне его ждали нелегкие задачи; он знал это с самого начала. К счастью, на кафедре экономической истории Блок ос-

тавался несколько в тени, ибо и сама эта дисциплина всегда была у нас чем-то вроде бедной Золушки. Не так сильно обремененный профессиональными обязанностями, как иные из его коллег, автор «Характерных черт» мог продолжать свою работу — тому в немалой степени способствовала его неутомимая натура. Не хочу сказать, что он не знал усталости. Но его энергия всегда одерживала над нею верх. Пребывание в древних стенах Сорбонны имело для него и еще одно преимущество: он постоянно ощущал тесный контакт с молодежью, до той поры привыкшей получать подлинно духовную пищу только на филологическом факультете, и нигде более.

Едва прибыв в Париж, Блок занялся организацией семинара по экономической истории в выделенном ему для этой цели тесном помещении; там же он разместил и соответствующую библиотеку, обогатив Сорбонну столь же драгоценным подспорьем для работы студентов, каким располагал в Страсбуре. Помимо прочего, он пристально следил за ходом развития высшего образования во Франции. Его, как и меня, волновала серьезная проблема конкурсов на замещение должностей в высших учебных заведениях — конкурсов, которые направляют по неверному пути, извращают всю деятельность наших университетов. Обширная статья, задуманная нами совместно и написанная им одним, выражала нашу точку зрения на этот вопрос, или, как мы шутя говорили, «точку зрения „Анналов“».

Тем временем вокруг сгустились тучи. Блок никогда не занимался политикой. Впрочем, я всю жизнь задавался вопросом — да и может ли подлинный историк ею заниматься? Тем не менее он оставался настоящим гражданином и патриотом. Следя за политическими событиями, мы с 1936 года начали испытывать серьезное беспокойство. И для него, и для меня Мюнхен явился чудовищной катастрофой, предвестием роковых судеб. Франция растеряла все свои козыри. Франция по собственной воле пожертвовала своим материальным и моральным авторитетом в Центральной Европе. Франция с омерзительным равнодушием бросила в беде государство, чье зарождение приветствовали в лице Дени лучшие из ее сынов; государство, чья молодая армия проходила выучку у лучших наших военачальников; государство, которое, несмотря на все трудности, уверенно смотрело вперед, в счастливое будущее; государство, которое в силу своего географического положения призвано было сдерживать и умирять Германию, страну вечных агрессий, разбоя и завоеваний<sup>10</sup>. Так же как я, Блок не принимал этого предательства. Будучи историком и географом, он не мог питать никаких иллюзий относительно этого отступления, предвещавшего полный разгром. Мы определили свое отношение к событиям, но что могли мы поделать перед лицом столь грозных сил? Разве что чисто платонически хранить свою честь...

Когда грянула война, Блок больше не колебался ни минуты. Он родился 6 июля 1886 года, стало быть, ему пошел уже пятьдесят четвертый год. Он был отцом шестерых детей. Двадцать лет назад, во время войны 1914—1919 годов, он получил чин капитана. С тех пор он не испрашивал себе новых званий и оставался, как и тогда, обладателем трех скромных нашивок пехотного офицера. «Я самый старый капитан французской армии», — говорил он мне, смеясь. Я отвечал ему, что, не выйди я окончательно из призывного возраста несколько лет назад, я по тем же причинам мог бы оспаривать у него этот единственный в своем роде титул. Блок имел возможность спокойно оставаться на своей сорбоннской кафедре, избавившись от военной обязанности. Но вопреки всему этот ученый, известный всей gelehrte Еуропа [ученой Европе], этот неоспоримый мастер, который мог бы еще столько сказать, столько написать, который был живой сокровищницей интеллектуальных и духовных богатств, снова надел военную форму. Снова стал просто-напросто капитаном Блоком.

Но его талантам не нашлось применения. Если Франция и нуждалась в химиках, то историки всегда были ей ни к чему. Было бы естественно и логично, если бы этот маститый ученый, более знаменитый за рубежом, чем у себя на родине, и более, чем где бы то ни было, в Англии, — было бы естественно, если бы он получил какой-нибудь высокий пост в сферах, осуществляющих связь с английской армией. Сам он именно этого и желал. Он знал, он чувствовал, какую пользу он мог бы таким образом принести своей стране. Но его заставили заниматься писаниной в Страсбуре, на неприметном посту, недалеко от линии фронта, которая в начале сентября 1939 года проходила сначала через Мольсхейм, а затем через Саверну. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежат его письма, полные желания с максимальной отдачей служить своей стране. Вот что он писал мне 8 октября 1939 года:

«Мои обязанности не очень-то существенны, нашлось бы немало других, когда я мог бы быть более полезен... Я уж не говорю о том, что мне здесь нечего делать с точки зрения чисто практической; я заранее уверен, что все мои коллеги с параллельных кафедр Оксфорда, Кембриджа и Лондона впряглись в более продуктивную работу, но у нас не стоит пытаться спорить с мерзостными предрассудками деловых людей. Впрочем, я совсем не цепляюсь за Париж: мне не хотелось бы делать вид, будто я намерен полностью отказаться от моих первоначальных замыслов. Но когда я думаю о том, что человек, обладающий более или менее ясным умом и привыкший к обработке информации, мог бы быть полезен во Втором или даже в Первом управлении<sup>11</sup>; когда я думаю о том, что человек, в какой-то степени знакомый с положением вещей в Англии, мог бы участвовать в решении необходимых и, как мне кажется, трудных вопросов свя-

зи, — теперешняя моя работа начинает меня бесить... Ведь я мог бы стать активным штабистом, да и чувствовал бы себя лучше, если бы мне удалось хоть немного размяться».

И, призывая меня на помощь — «нужно добиваться возможности приносить пользу», — он напоминал мне свое воинское звание, свой опыт («на трудных работах начиная с 1920 года», — уточнял он без явной иронии) и свои воинские заслуги, «самые обычные»: четыре благодарности в приказах, одно ранение, крест Почетного легиона.

15 октября 39 года обстановка меняется. Блок оказывается в крупном северном городе, расположенном среди равнины, засеянной свеклой и кормовыми травами. Над ним — огромное небо с прекрасными облаками. Где-то неподалеку — штаб армии. Блок внезапно переведен из Второго в Четвертое управление, где получил «важную должность» — ему поручено обеспечение горючим. Должность достаточно трудную, а подчас связанную с тяжелой ответственностью. Если три нашивки Блока позволяли ему во Втором управлении разве что «проявлять свой несносный характер», не имея возможности «хоть что-либо изменить в плачевных методах работы, заменить их лучшими», то теперь он стал «безраздельным хозяином бензина, бочек и цистерн на колесах». Неудовольствия он не проявлял, но особого энтузиазма тоже не испытывал; его поддерживало чувство, что здесь он хоть чем-то может быть полезен. Впрочем, это не мешало ему при случае говорить *cum grano salis* [здесь: с долей иронии] «о впечатлении пустоты, смехотворности, почти отчаяния, которое испытывает человек, прибывший в Страсбург с тем, чтобы отправиться на передовую, а вместо этого вынужденный целых семь месяцев мараить бумагу, чувствуя себя в такой же безопасности, словно он находится в Клермон-Ферране или Байонне». Пробуждение было резким и ужасным. Попад из Дюнкерка в Англию и из Англии в Бретань, едва избежав плена, 4 июля 1940 года Марк Блок добрался на своей чудом уцелевшей машине до Гере, где встретился с женой и детьми, еще во время «странной войны»<sup>12</sup> поселившимися в этом мирном городке, неподалеку от которого находилась их дача в Фужере. События развивались с катастрофической скоростью. Злосчастные деятели, подписавшие перемирие, вскоре стали покорными исполнителями расистской политики своих немецких хозяев. Блок был одним из немногих университетских профессоров, которых временно, из лицемерных соображений, решили оставить в покое. Но жить и работать в Париже не позволили. Он был выслан сначала в Клермон-Ферран, где возобновил работу в Страсбургском университете, эвакуированном в Овернь, а годом позже перебрался в Монпелье, чей климат, как ему казалось, больше подходит его жене, только что перенесшей тяжелое легочное заболевание. Но в Монпелье собралась не вся его семья. Старшие сыновья Блока не замедлили перейти грани-



цу в Пиренеях и, проведя несколько месяцев в испанских тюрьмах, присоединились к армиям-освободительницам. Да и самому Блоку не сумело было надолго там задержаться. Когда немцы, успевшие тем временем прибрать к рукам его богатейшую рабочую библиотеку в Париже и всю ее, до последней книги, переправить за Рейн (точно так же поступили они и с библиотекой Анри Озе), — когда немцы, перейдя демаркационную линию, оккупировали всю территорию Франции<sup>13</sup>, Марк Блок, следуя совету местных властей, тут же покинул Монпелье. Это позволило правительству Виши через некоторое время призвать его к ответственности за то, что он «оставил свой пост перед лицом врага». Формула — поразительная в своем бесстыдстве, — особенно если подумать о том, что она была продиктована или по меньшей мере одобрена этим самым «врагом».

В этот момент Блок мог бы просто-напросто скрыться, провести вместе с женой и младшими детьми несколько месяцев в ожидании окончательной и давно предвиденной катастрофы. Но он, как всегда, избрал путь действия. Он вступил в ряды движения Сопротивления. Главным поприщем деятельности Блока стал Лион, его родной город. Мой друг перестал быть Марком Блоком, став одновременно Морисом Бланшаром — это имя значилось на его удостоверении личности — и Нарбонном, представителем движения Фран-Тирёр<sup>14</sup> в местной директории Объединенного движения Сопротивления в Лионе, взвалившим на себя весь риск, все тревоги, все опасности подпольного существования, несмотря на свой возраст, несмотря на здоровье, которое никогда не было особенно блестящим, несмотря на привычку к размеренной жизни.

В ту тяжкую пору я встречался с ним всякий раз, когда он наезжал из Лиона в Париж для участия в решающих совещаниях своей организации. Внезапно раздавался поздний телефонный звонок: «Алло, это я... Вы не против, если я загляну к Вам сегодня поужинать?» Из предосторожности он всегда останавливался подальше от Латинского квартала, где-то в районе кладбища Пер-Лашез. Остерегался появляться поблизости от Сорбонны и Высшего педагогического училища — я был единственным обитателем этих мест, которого он посещал, предварительно предупредив. Иногда он просил меня пригласить одного-двух друзей, Поля Этара или Жоржа Лефевра. Он был таким же, как и раньше, — собранным, оптимистичным, деятельным. Задумывался над тем, какие задачи встанут перед нами сразу же после освобождения, говорил о необходимости реформы или, вернее, *революции* в системе образования. В один из последних своих визитов он передал мне замечательный документ — «Проект общей реформы системы образования», начинавшийся следующими словами:

«Наше поражение было, в сущности, поражением нашего строя мыслей, нашего характера. Признать это — значит при-

знать, что одной из первейших наших задач после Освобождения будет срочная перестройка нашей системы образования. Обновленная Франция нуждается в молодежи, воспитанной согласно новым методам, без чего наши прошлые ошибки неизбежно будут повторяться в будущем».

Отрывки из этого документа под названием «Заметки о революции в образовании» были напечатаны в третьем выпуске «Политических тетрадей», подпольном органе, руководство которым было предложено Блоку (хотя он его и не принял). Вот выдержка из этого издания:

«Наш разгром был поражением строя мыслей и характера, присущих в первую очередь нашим руководителям, а также — чего уж там скрывать — и части всего нашего народа. Одна из глубинных причин этой катастрофы — в недостатках образования, которое наше общество дает молодежи».

Я передал проекты Блока Полю Ланжевену, председателю Комиссии по реформам в системе образования. Надеюсь, что он сумеет провести в жизнь многие из содержащихся там идей, когда наступит время той «революции», которую все мы ожидаем.

Блок не питал иллюзий относительно подстерегающих его опасностей. Помню, как-то вечером, расставаясь с ним после долгой беседы, я с глупейшим видом (но кто в подобной ситуации не выглядел глупо?) сказал ему: «И все-таки будьте осторожней! Вы так понадобитесь нам потом...» — и услышал в ответ: «Да, я знаю, что меня ожидает, если... Добро бы еще просто смерть. А то ведь — ужасная смерть! Но что поделаешь?» — И он скрылся в лестничной темноте.

Катастрофа разразилась в Лионе, в один из зловещих весенних дней 1944 года. После многомесячных усилий гестаповцам удалось выследить часть руководителей Лионской директории движения Сопротивления. Блок был арестован, брошен в камеру зловещего форта Монлюк, избит, истерзан палачами. Его видели в застенках гестапо с покрытым кровью лицом. Стало известно, что он был подвергнут пытке ледяной водой, — известно потому, что Блок, заболевший вследствие такого зверского обращения воспалением легких, попал в тюремный лазарет, где с ним, надо признать, хорошо обращались и быстро вылечили, после чего он был снова отправлен в камеру. Он знал, что готовиться надо к самому худшему, но не падал духом. Он говорил своим сокамерникам о Франции, о ее истории, о ее будущем. Они не знали его подлинного имени; впрочем, оно ничего бы не сказало этим простым людям. Но и они в конце концов догадались, что их товарищ по испытаниям и надеждам — профессор Сорбонны. Тем временем союзники высадились в Нормандии. Немцы в Лионе стали готовиться к возможной эвакуации и принялись очищать тюрьмы — на свой, разумеется, лад. Вечером где-нибудь километ-

рах в тридцати от города останавливался грузовик, с него спрыгивали заключенные, которых тут же расстреливали либо сами оккупанты, либо их прихвостни из местной милиции. После чего палачи сжигали все документы, уничтожали все метки, по которым можно было бы опознать убитых, приказывали мэру ближайшего селения закопать тела и отправлялись за новыми жертвами.

16 июня 1944 года семнадцать французов, семнадцать патриотов, томившихся в застенках Монлюка, были привезены в поле возле местечка Лерусий, что на полдороге между Трево и Сен-Дидье-де-Форман, километрах в двадцати пяти к северу от Лиона. Среди них был немолодой человек с сединой в волосах, с быстрым и пронизательным взглядом. А рядом с ним, как пишет Жорж Альтман в своей волнующей статье, помещенной в «Политических тетрадах», а рядом с ним — дрожащий парнишка лет шестнадцати, который все повторял: «Не хочу, чтобы мне было больно...» Марк Блок обнял его за плечи, говоря: «Не бойся, малыш, это совсем не больно», — и первым рухнул наземь с криком: «Да здравствует Франция!»

Так пал от немецких пуль один из великих ученых Европы, которая была для него не пустым звуком, а живой реальностью. Так погиб один из величайших французов. И нам — теперь и в будущем — предстоит приложить все силы, чтобы смерть его не оказалась напрасной.

# ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

## КРИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

### I

Прекрасная книга Марка Блока, названная «Феодальное общество. Формирование связей зависимости»,<sup>1\*</sup> не только прибавит новый том к многотомному изданию «Эволюция человечества», руководимому нашим другом Анри Берром, но и обогатит это собрание новой ценностью. Это — прекрасная книга, ученая и убедительная, порождение обширного ума и дотошного знания; она лишней раз ставит передо мной трудно разрешимую проблему (оба руководителя «Анналов» с явным удовольствием ставят такого рода проблемы друг перед другом): как сказать о книге все то хорошее, чего она заслуживает, избежав при этом опасности показаться чересчур дружески расположенным? Придется пренебречь тем, что церковь называет людским мнением, и попытаться сказать здесь о Марке Блоке то же, что сказали бы на страницах какого-нибудь другого журнала.

Книга, какую она предстала перед нами, — это половина большого целого. По сути дела, феодальному обществу автор должен был посвятить только один том. Но тема столь велика и столь настоятельна необходимость осветить ее, что слишком обширную рукопись пришлось разделить на две части. Вторая книга под названием «Классы и управление людьми» последует в недалеком будущем за первой. Не дожидаясь выхода второй книги, рассмотрим вкратце первую. При этом мы с легкостью можем подвергнуться еще одной опасности: столь многие взгляды у нас — у Блока и у меня — общие (как бы ни были глубоки различия наших темпераментов), что мы всегда, когда один из нас говорит о другом, можем оказаться менее чувствительными, чем сторонний читатель, к оригинальности, к новизне воззрений, которые с давних пор нам привычны.

Какое определение дает Марк Блок своей книге? «Анализ социальной структуры и ее связей». Какой социальной структуры? Сразу он этого не говорит. Чтобы узнать, нужно добраться до второй части (и, более того, дожидаться второго тома книги). Однако социальная структура нарождается, растет, приобретает свои отличительные черты и утверждается в некоторой среде. Как пишет Блок, «средневековый феодальный строй вышел из лоноа эпохи, чрезвычайно изобиловавшей потрясениями. В какой-то мере он родился из самых этих потрясений» (с. 10). Итак, рассмотрим, что это за потрясения. Они вызывались в первую очередь нашествиями. Это уже не германские нашествия: книга охватывает, грубо говоря, IX—XIII века. Речь идет о трех ве-

---

<sup>1\*</sup> Bloch M. La société féodale. P., 1939. T. 1: La formation des liens de dépendance.

ликих и грозных нашествиях: арабов и ислама, венгров и норманнов<sup>1</sup>. Именно эти бедствия привели к тому, что «создавшаяся несколькими веками ранее в пылающем горниле германских нашествий новая западная цивилизация оказалась теперь, в свою очередь, в положении осажденной крепости или, лучше сказать, крепости, захваченной врагами» (с. 10). Однако же дело не только в потрясениях и в их различных последствиях. Существует нечто более общее — определенные условия жизни. Условия материальные, моральные, интеллектуальные. Марк Блок исследует их в пяти обширных главах, исполненных мудрости историка, насыщенных его долгими и содержательными размышлениями о человеке средних веков, — мне кажется, у меня есть некоторое право так выразиться — о человеке XVI века. Четкое разделение феодальной эпохи на два периода; как тогда чувствовали и мыслили; коллективная память; интеллектуальное возрождение во втором периоде феодализма; основания права. Сколько проблем, сколько формулировок и плодотворных указаний в каждом из этих больших разделов! Только тридцатилетние занятия историей могут принести подобные плоды.

Мы добрались до страницы 190. Здесь начинается часть вторая: связи, соединяющие человека с человеком. Одна за другой проходят перед читателем проблемы, порожденные племенной общностью и ее трансформациями — назовем это «узами крови»; далее, обычай вассального долга и ленного владения; следствия того, что вассальные отношения были многоступенчатыми; правильное истолкование вассальной зависимости; установление власти сеньоров; как появилось различие между подневольным и свободным состоянием; наконец, эволюция сеньориального владения на первых его этапах. Закljučают книгу богатая библиография, не критическая, но отлично подобранная, и четыре листа приложений, где воспроизведены документы<sup>2\*</sup>.

Тут я начинаю испытывать затруднение, как поведать о богатстве, разнообразии, увлекательности этих 428 страниц насыщенного текста, за каждой строкой которого стоит — не скажу «подлинник», слово гадкое, припахивающее старинным крючкотвором, его употреблявшим, — но свидетельство, или, лучше сказать, откровение документа, часто живописное, всегда безукоризненно отобранное и отвечающее своему назначению. По ходу изложения — множество методических замечаний, полезных отнюдь не только для начинающих. Хотите несколько примеров?

<sup>2\*</sup> Очень мало подстрочных примечаний и почти полностью отсутствуют ссылки на работы предшественников. Блок приводит свои объяснения по этому поводу (с. 6, примеч. 1) и готов без страха встретить «досадный упрек в неблагодарности». Он ставит вопрос весьма существенный. Что до меня, то я охотно перевел бы его из сферы морали в область метода. Но в подобном случае нужно располагать временем и местом. Здесь это было бы делом не совсем подходящим.

«Когда два сеньора спорили о цене участка земли, они не изъяснялись на языке Цицерона. Облечь их соглашение в классические одежды — дело нотариуса. Поэтому каждый или почти каждый договор или список, составленный на латыни, представляет собой результат переложения, и современный историк, если он хочет ухватить скрытую под оным истину, должен заново повторить труд перелагателя, только в обратном порядке» (с. 125). В нескольких строках — целый метод интерпретирования текстов. Но вот Марк Блок ведет рассказ о территориальном распространении сеньориального режима. Как определить достоверно, какая доля земель избежала этого способа управления даже в тех местностях, где он был в наибольшей силе? А так: «...только сеньории — во всяком случае те, что принадлежали к церкви, — держали архивы, и поля без сеньоров — это поля без истории. Если то или иное земельное угодье попадает ненароком в поле зрения документов, это происходит только тогда, когда запись констатирует окончательное поглощение этих угодий комплексом сеньориальных прав; так что, чем дольше земля была без сеньора, тем больше вероятности, что наше незнание окажется непоправимым». Мы чувствуем стиль и увлекательность этого непринужденного собеседования учителя с учеником, без педантизма, не в «духе профессионализма», боже упаси! Скажем так: этого непрестанно обращения к разуму.

Когда же подумаешь, какое устрашающее число фактов нужно было перемолоть, чтобы написать эту книгу, разобраться в них, классифицировать; когда представишь себе все огромное множество теорий, споров и диспутов на тарабарском языке и на немецком, тонкостей, мелочных словопрений о пустяках — все то, что нужно было познать, проанализировать, высветлить, — для того чтобы либо отбросить, либо использовать (я имею в виду прежде всего часть вторую и то, какие героические усилия требуются, чтобы с топором в руках прорубиться к смыслу таких терминов, как «ленное владение», «власть сеньора», «подданство», «вассальная зависимость», в непроходимом криволезье диссертаций); вспомнив обо всем этом, понимаешь, что пользу этой книги оценить попросту невозможно; она как бы создана для того, чтобы подвести культурных людей, влюбленных в историю (такие, к счастью, еще не перевелись), к глубокому пониманию живого прошлого. Но никто, конечно, и не пытается опомнито право автора на заслуженные им похвалы.

Рассматривать эту книгу глава за главой и подвергать их главы бесплодному анализу было бы занятием, лишенным всякого интереса. Книгу будут читать. Ей не нужны рекомендации. Спросим себя только, какое общее впечатление оставляют у читателя самые статьи ее и поступь. Ответу без раздумий: впечатление довольно отчетливого контраста. Крепко и плотно сбитое единство части второй (связи, соединяющие людей). Пестрота и

некоторая зыбкость первой части (среда обитания). Однако же эта первая часть битков набита идеями — не меньше, чем вторая, а в каком-то смысле и больше<sup>3\*</sup>; она в такой же мере, как и первая часть, отмечена печатью личности, обладающей сполна своим талантом и дарованиями. Откуда же, несмотря на все это, возникает чувство беспокойства? Виноват ли в этом план книги? Скорее, я бы сказал, недостаточная точность изначальных определений. На с. 3, внизу, читаем: «При обычном употреблении термины „феодализм“, „феодальное общество“ включают в себя беспорядочный ворох образов, в которых ленное владение как таковое отступает на задний план. Историк может пользоваться этими образами при условии, что будет относиться к ним, как к этикеткам, которые использует лишь предварительно для обозначения некоего содержания, которое еще нужно определить». Мы говорим себе: «Содержание, которое нужно определить? Перевернем страницу и найдем определение». Переворачиваем; определения не находим. Напротив, нас тут же отсылают от понятия «средневековое общество» к понятию «феодализм в узком смысле этого слова» («феодализм, анализ которого мы попытаемся предпринять,— тот, который первым получил это название», с. 4). Однако следующий параграф перебрасывает нас к понятию «цивилизация» и к противопоставлению античной средиземноморской цивилизации средневековому европейскому обществу (с. 6). После чего нас приводят к понятию «анализ социальной структуры». Какова тема этой книги, если попытаться определить ее точно? «Каркас установлений, на котором стоит общество», как сказано на с. 94? Феодальная Европа — об этом сказано, например, на с. 142? «Эпоха», ранний феодализм (с. 97) или, быть может, различные аспекты цивилизации, «феодальная цивилизация» (с. 97) и ее связи с «сопредельными цивилизациями» (с. 112)?

Да, конечно. Я рассуждаю сейчас так, будто передо мною — завершенный труд, в то время как перед моими глазами всего лишь первая его половина. Вторая же выходит в свет в то самое время, как я пишу эти строки. И Блок может мне ответить: определение, которое Вы требуете от меня, — подождите: оно появится в конце исследования; моя вторая книга — или, вернее, вторая половина моей книги (а книга была задумана и написана на одном дыхании) — поможет Вам попытаться ответить на вопросы, поставленные во вступлении. Что ж, справедливо. Подождем. Однако все же, я думаю, стоило упомянуть о том, не-

<sup>3\*</sup> Что ни возьми: «уклон в экономику» во втором периоде феодализма, или любопытный анализ «духа эпохи» (здесь Блок следует за Хейзингой), или его тонкие и оригинальные замечания о средневековой культуре и «царстве обычая» и т. д. Однако это собрание свежих мыслей, остроумных и убедительных, следует прочесть своими глазами. Весьма заслуживают внимания указания на структуру «системы связей» в средние века (с. 103—105).

сколько тревожном, ощущении, которое оставляют страницы, читая которые все ждешь и ждешь.

Слишком много противоречивых понятий; много колебаний в неопределенностей. Иной раз речь заходит о проблеме четко очерченной, ограниченной, как бы ни был велик ее объем. Какие институты группируют ныне под вывеской «феодализм» в том точном и определенном смысле, который приведен во Введении (с. 1—8)? Где они возникли, когда, почему? В чем они, собственно, состояли? Как они распространялись, из какой страны в какую? Наконец, как они развивались от такой-то эпохи до такой-то? В других же случаях автор устремляется к вопросам гораздо более широким. Прежде всего вопрос о среде... Феодализм вышел из лона эпохи, богатой потрясениями. Коли так, первым делом набросаем в общих чертах точную, четкую и яркую картину этих потрясений<sup>4\*</sup>, а именно трех нашествий — мусульманского, венгерского, норманнского. Ладно. Но я не совсем удовлетворен. Во-первых, вот почему: «феодализм, возникший из потрясений» — эта формулировка весьма напоминает мне другую, против которой я некогда отчаянно воевал: «Реформация, порожденная злоупотреблениями». Разумеется, в канун Реформации злоупотребления были. И были потрясения, когда возник феодализм, — без всякого сомнения! Однако... запускаем в машину злоупотребления или потрясения — и из нее выходят готовенькие Реформация или феодализм: Блоку, думается, такое фокусничество нравится не больше, чем мне. Далее, «феодалная цивилизация». Допустим. Но в таком случае почему столько пробелов? Взять, например, художественную деятельность или религиозную, то есть те два вида цивилизующей деятельности, которые были для «людей средневековья» главными...

Я не сетую. Блок ответил бы мне... именно так, как он отвечает своим читателям. Но я чувствую, что шатаюсь, разрываюсь между двумя образами, двумя восприятиями одной и той же книги. С первых же страниц этого труда, отправившись от его порога в путь по начертанному маршруту, я жду, когда же мне скажут, что такое феодализм как социальная структура; и меня несколько сбивает с толку, когда передо мною разворачивают «картину» трех великих нашествий...

Когда Анри Берр пишет в своем Предисловии (с. VIII): «Страницы, которые Марк Блок посвящает завоеваниям, читатель прочтет с самым живым интересом не только в связи с темой книги, но и ради них самих», мне чудится в этом замечании отголосок той же легкой досады, которую испытываю и я, когда

<sup>4\*</sup> См. с. 67—72 книги. «Потрясения — это опустошения», — говорит Блок; материальные потери. Скажем так: потрясения экономические, а также психологические — нравственный шок, он всегда сопутствует опасности. Но существуют же и потрясения политические, изменения политической структуры, — не так ли?



приходится перемещаться из одного измерения в другое. И такую же досаду я чувствую снова, когда от описания среды обитания перехожу к «условиям жизни и духовной атмосфере»<sup>5\*</sup>.

Безусловно, здесь мы встречаем в изобилии прозорливые указания — в замечательной серии «заметок к пониманию некоторых характерных черт средневековой цивилизации», ибо именно так можно озаглавить эти двести страниц, столь богатых содержанием. Однако, как это часто бывает (и со многими весьма почтенными историками), Блок, когда писал эти страницы — с явным удовольствием и увлечением, — слишком может быть, поддался радостному искушению изложить некоторые из своих мыслей о средних веках сами по себе и ради них самих, поддался иллюзии, что его читатели с такой же легкостью, как и он сам, установят связь между «заявками» первой части и «следствиями» второй. Он часто пренебрегает необходимостью наложить скрепы. В итоге — на первых двухстах страницах все фрагменты, все фразы и все параграфы превосходны, однако связь между этими страницами и второй частью представляется слишком рыхлой.

Если я отмечаю это здесь, то только потому, что мы ведем разговор не о ком-нибудь, а о Марке Блоке. И прежде всего потому, что я очень доволен возможностью упрекнуть его хоть в чем-то. А во-вторых, перед нами доказательство, неоспоримое доказательство того, какие трудности испытываем все мы и какие трудности испытывают лучшие из лучших, когда приходит пора избавиться от привычек, приобретенных смолоду, и нужно ставить проблемы и формулировать их «так, чтобы они могли быть разрешены», как говорил математик Абель. От историконцепции (и всего того, что есть в ней от литургии) — к истории как таковой, да будет нам ведомо, что это путь, на котором нас всегда подстерегает опасность поскользнуться. Так будем же наготове против этой опасности: «Путь скользкий — берегись юза!» Чтобы избежать его, нужны разумные предосторожности. Но и самые предусмотрительные не избегнут, если не несчастного случая, то по меньшей мере риска попасть в дорожное происшествие. Это последнее наставление, которое мне хотелось бы добавить ко всем урокам благоразумия, преподнесенным читателю Блоком. Однако благоразумие — добродетель суровая. Давайте перечитаем эту книгу, чтобы получить удовольствие, после того как мы препарировали ее для назидания.

---

<sup>5\*</sup> Даже прочитав объяснения на с. 96–97, я остаюсь не вполне удовлетворенным. Что же касается с. 131–139, посвященных религиозной психологии, то они по краткости своей не могут дать об этой теме, рассматриваемой под углом зрения, избранным Блоком, адекватного представления, или, как мне хотелось бы сказать, представления о пропорциях.

## II

В начале 1940 года я оповестил читателей «Анналов» о выходе в свет (в серии «Эволюция человечества») первого из двух томов, которые посвятил феодальному обществу ученый, наиболее достойный из нас их написать, — Марк Блок. Том назывался «Формирование связей зависимости». Второй том, появившийся в 1940 году, называется «Классы и управление людьми»<sup>6\*</sup>. По-настоящему, это не две разные книги, а две части одного труда, замысленного и исполненного в едином промежутке времени; поскольку размеры этого сочинения превышают обычные, пришлось разделить его надвое; так или иначе, второй том, несколько менее тщательно отделанный, чем первый, по меньшей мере столь же интересен. И его выход побуждает читателя перечитать единым духом весь труд целиком.

На сей раз книга имеет два раздела. Один из них озаглавлен «Классы», и я, говоря по правде, предпочел бы, чтоб он назывался несколько иначе. Раздел под таким названием — пять обширных глав — посвящен почти исключительно знати — это один из полюсов притяжения книги: «1. Знать как класс *de facto*. 2. Благородный образ жизни. 3. Рыцарство. 4. Превращение знати из класса *de facto* в класс *de jure*. 5. Классовые различия внутри знати». Итого сто великолепных страниц. После чего Марку Блоку хватило шестнадцати страниц, чтобы рассказать о духовенстве и о «классах профессиональных» — так он называет крестьян и горожан<sup>7\*</sup>.

Второй раздел книги посвящен *управлению людьми*. Под этим заголовком рассказ ведется в таком порядке: о правосудии, затем о традиционной власти — имперской и королевской, о местных правителях — о власти графов и шателенов, о церковных владениях. Царство порядка. Беспорядок не заставляет себя ждать, и борьба с ним — важнейшая проблема средневековья: поддержание мира и спокойствия. Наконец, одна глава описывает объединения людей на пути к восстановлению государств и дает представление о перегруппировке сил, которая при этом происходит. Здесь тоже добрая сотня страниц, написанных живо, остро, насыщенно.

Две последние главы представляют собою заключение, хотя таковым не названы. Первая из них рассматривает «Феодализм

<sup>6\*</sup> Bloch M. La société féodale. P., 1940. T. 2: Les classes et le gouvernement des hommes.

<sup>7\*</sup> Я думаю, что г-н Блок еще вернется к крестьянам и горожанам в тех двух томах, которые обещаны им также для серии «Эволюция человечества»; один из них будет называться «Происхождение европейской экономики», в другом будет прослежен переход «От городской и сеньориальной экономики к финансовому капитализму». Но духовенство — кто возьмется написать о нем как о социальной группе, разумеется в рамках упомянутой серии?

как тип общества» и представляет собою прекрасную страницу той «Сравнительной истории», к созданию которой столь горячо призывал Пиренн и которой в своей области Марк Блок доблестно служил добрых два десятилетия. Вторая из этих глав трактует о «продолжениях» европейского феодализма (быть может, следовало уточнить: о *продолжениях во времени* \*\* *идей, особенно близких и дорогих Марку Блоку*, с которыми читатели «Анналов» уже отчасти знакомы, поскольку встречались с ними на страницах множества внушительных критических обзоров).

Мы были вынуждены ограничиться этим весьма поверхностным разбором потому, что намерение подвергнуть второй том анализу — в настоящем смысле этого слова — было бы неосуществимым. Точно так же, как в свое время было бы тщетным пытаться анализировать первый том. Давайте просто подчеркнем то, что да будет позволено мне назвать «большими победами» этой книги.

Как сформировалась знать? Это крупная проблема, которая очень часто ставилась неправильно, и автору «Феодалного общества» принадлежит с давних пор заслуга, заключающаяся в желании ставить ее, и ставить правильно \*\* . Мы знаем, к каким выводам привело его исследование. В том промежутке времени, который в первом томе определен как «первый период феодализма» <sup>10\*</sup> (с. 95), не было знати в собственном смысле этого слова, в юридическом смысле. Скажем так: знати не было, строго говоря, до XI века, который оказался в этом отношении рубежом. Затем — постепенное учреждение новой аристократии, которая получит собственный общественный статус, которая уже отличалась особым образом жизни, где не было места какому бы то ни было прямому участию в деятельности экономической (имеется в виду работа с целью заработка или барыша), — аристократии, чьим занятием являлась только война; но она уже не вела свое происхождение от освященных древностью родов прошедших времен — те давно исчезли <sup>11\*</sup>. Таким образом,

\*\* Поскольку речь не идет о некоторых «продолжениях» феодализма сразу во времени и в пространстве, что имело место, когда некоторые страны были колонизованы старыми европейскими нациями, принесшими туда всю свою цивилизацию целиком, — я имею в виду, например, Канаду, Канаду XVII века <sup>2</sup>.

\*\* Здесь нет необходимости упоминать об исследовании проблем, относящихся к знати, проведенном «Анналами». Оно было задумано нами совместно, но возвестил о нем Блок своими глубокими и замечательными статьями, они широко известны.

<sup>10\*</sup> Заметим в скобках, что этому «промежутку времени» пошло бы на пользу, если бы его упомянули где-нибудь на титульном листе (или, вернее, заглавие книги выиграло бы от этого в ясности и точности).

<sup>11\*</sup> О том, как в давние времена пресеклись старинные роды «*edelingen*», и об исчезновении этой аристократии крови см. том второй (с. 2–3); эти страницы являются продолжением главы «Кровнородственные связи» в первом томе (с. 191).

тому, что аристократия эта по природе своей военная в те времена, когда война занимает центральное место в жизни людей и человеческих групп; и потому еще, что профессиональный воин, обладающий всем, что нужно для войны, применяющий все усовершенствования, достигнутые в вооружении, снаряжении, тактике<sup>12\*</sup>, держит своего рода монополию на оружие, — поэтому он доминирует. И Марк Блок великолепно показывает нам «как» и «почему» этого доминирования — на тех страницах, где он воссоздает «благородный образ жизни», как он пишет, используя краткую формулу, которую мне приятно было увидеть возродившейся под его пером.

Картина, которую рисует обширная вторая глава, — жизнь знатного человека: силы его реализуются на войне и охоте — физическая сила могучего и тренированного зверя. Это большая фреска, на которой изображены все его турниры и сражения. Автор реконструирует происхождение правил поведения знати (правил, которые будут уточняться по мере того, как знатные люди будут все лучше осознавать свою социальную функцию). Все это живет, все из первых рук, написано ярко и пронзительно. Как возникло рыцарство; почему этому термину суждено было приобрести постепенно более узкое значение; почему обряд чисто светский — вручение оружия конному воину, умевшему биться в полном вооружении, — превратился в религиозный ритуал<sup>3</sup> — все это великолепно воссоздано в книге. Она бросает яркий свет на историю сложную, причудливую, и, чтобы в ней разобраться, требовалось не меньше смелости, чем знаний и таланта; сему порукой тот факт, что до Марка Блока никто в этом так славно не преуспел. Для этого нужно было обладать и обостренным чутьем, способностью отыскивать связи, и всепроникающим интересом к взаимоотношениям светского и религиозного — нужно было обладать всевропейской эрудицией, столь же богатой, сколь надежной.

Такой же впечатляющей, как и первая группа глав, о которой шла речь выше, а в некотором смысле еще более свежей и захватывающей представляется картина, нарисованная Марком Блоком во втором разделе его книги, — картина эволюции, которую можно было бы назвать «от расчленения — к воссоединению». Здесь великолепны страницы, отведенные королевской власти и ее священным основаниям и тому, как постепенно крепло королевское могущество, тогда как бесконечное дробление власти, результат непреодолимого натиска локальных сил, происходило почти повсюду в европейском мире — и тогда можно было видеть, как плодятся графы и виконты, маркизы и герцоги, «аристократия de facto», превратившаяся в наследственные ди-

<sup>12\*</sup> Ценные, но краткие сведения по этому вопросу можно найти во втором томе (с. 13–14). Относительно старых и новых приемов владения копьем см. таблицы 1 и 2 (вне текста).

насти, потому что отвлеченная идея «общественного служения не могла выдержать простого и неприкрытого испытания реальной властью — в сознании людей,— ибо они лучше понимают силу, чем правовые установления, легче прельщаются живым образом вождя, чем теоретической идеей авторитета. И еще страницы, не менее прежних замечательные и исполненные новизны, об эволюции, которая протекает небыстро, многократно меняя направление, возвращаясь к прежнему и запинаясь,— от территориального дробления к воссоединению, от расчленения власти к ее концентрации; и о становлении национальных групп в течение второго периода феодализма. Разумеется, по всем этим нелегким проблемам не делается никаких категорических утверждений, но в соответствии с желанием автора нас приглашают следовать неизведанными путями поиска, постоянно и действенно побуждают к пересмотру того, что мы, казалось, уже знаем<sup>13\*</sup>.

Откликнемся же на этот призыв к свободе мышления. И на страницах нашего журнала, где никогда не было места расчетливому благоразумию и лукавой игре в глубокие чувства, попытаемся выразить по поводу этих двух великолепных книг, столь богатых содержанием, новизной, эрудицией, сверкающих умом,— попытаемся выразить те мысли, что внушены нам нашей страстной приверженностью к ремеслу историка — одному из прекраснейших (не постесняюсь это сказать) в сфере наук о Человеке.

Науки о Человеке: превосходное название. Однако же (поскольку нужно, чтобы я исполнял свою работу критика) меня больше всего поражает — после того как я закрыл прочитанную книгу — то, что личность отдельного человека в ней почти не видна. В труде, который учит нас, что век феодализма, что оба века феодализма, первый и второй, «плохо умели отделять конкретный образ вождя от абстрактной идеи власти» (с. 197), — в книге этой ни разу не выступил «конкретный образ» какого-нибудь определенного вождя. Я отлично понимаю: нужно избегать сомнительных реконструкций «из головы», которые на деле являлись построением заново. Существуют же, однако, письменные источники. И в источниках этих — есть же в них сведения, заслуживающие внимания? Я опасаясь, что воздержанность автора (раз уж пришлось об этом заговорить) призвана как бы подкрепить многочисленные его рассуждения о том, что средневековое общество было в каком-то смысле подобно стаду и нимало не заботилось о правах личности.

<sup>13\*</sup> Чтобы получить представление о том, как много удач может принести стремление не замыкаться в пределах одной страны, а выйти из них, дабы заняться сравнением и совершить тур по Европе (стремительный, ибо другие неоднократно проделывали это не спеша), прочтите, например, во второй главе второго тома параграф, озаглавленный «География королевств». Ср. с «Обзором европейского горизонта» в первом томе (с. 270), где говорится о феодальных государствах.

Отметим, что психология в этой прекрасной книге отсутствует, конечно, не полностью. Но каждый раз нам говорят о психологии коллективной. «Насилие было в обычае, в нраве эпохи, потому что люди, малоспособные укрощать свои первые побуждения, с нервами, малочувствительными к зрелищу страданий, люди, не испытывавшие большого почтения к жизни, которую они считали лишь переходным состоянием перед Вечностью, — эти люди были к тому же весьма склонны полагать для себя делом чести едва ли не звериные проявления физической силы». Отлично сказано; эти несколько строк много говорят нашему разуму. Но в них речь идет о людях. Почему бы не показываться время от времени, отделившись от массы, — человеку? Или, если мы и впрямь требуем слишком многого, показали бы нам хотя бы какое-нибудь человеческое деяние, поступки отдельных людей.

Давайте не будем лить слишком много воды на старую мельницу, на грозную мельницу абстракции. «Не судить, но понять» — так определяет Блок (с. 56) «единственный долг историка». Можете не сомневаться: если кто и возмутится против этой формулы, то только не я. Но я внесу небольшую поправку. Я бы сказал: «Привести людей к пониманию»; эти слова я сделал девизом «Французской энциклопедии». «Привести людей к пониманию» — это означает одновременно «показать» и «объяснить». Большинству людей необходимо увидеть, чтобы узнать и понять. Так в чем же дело — дадим увидеть, покажем личности в действии, в момент свершения, не будем ограничивать себя демонстрацией одного только устройства феодального человека (*homo feodalis*), как бы умно, тонко и проникательно ни была произведена его разборка. Смело покажем страны — вплоть до пейзажей. Книга, о которой мы говорим, держится, пожалуй, далековато от почвы. От нее слишком мало пахнет землей — Землей, вид которой в феодальные времена, несомненно, был более разнообразным, чем ныне.

И мне хотелось бы сказать (только бы набраться смелости!), что в книге Блока можно усмотреть своего рода возврат к схематизму. Назовем это своим именем — возврат к социологизму, который является весьма соблазнительной формой абстракции<sup>14\*</sup>. Вы можете сколько угодно говорить: «А где взять место? И время?» Не будем останавливаться на этом возражении. Сочиняя

<sup>14\*</sup> Не нравятся мне и названия разделов книги. Я, например, обошелся бы без «классов». По многим причинам. Первая из них та, что автор знакомит нас с одним только классом, с единственным, а именно со знатью; я уже говорил о крайней, чрезмерной краткости того, что написано о духовенстве; все остальные, можно сказать, не появляются вовсе. Что же касается «класса» знатных людей... Класс с точки зрения юридической? Класс социологический? Зачем ломать голову над всей этой схоластикой? <sup>4</sup>

два тома, Блок мог написать еще сотню страниц. И вообще, обладая талантом, место находят. А время? Им овладевают.

И вот еще что: «понять...». Но понимают не только умом. Не все постигается умом. Однако не сыщется книги менее эмоциональной (хотелось бы выразиться именно так), чем эта книга, автор которой в своих разъяснениях отводит столь большое место страстям; скажем даже — все, которое им причитается, и делает это очень часто весьма убедительно.

Чуть выше я с удовольствием выписал отличный отрывок из второго тома о духе насилия у феодалов. Мы видим, Блок не забыл отметить с большой пронизательностью, что люди той эпохи без особого уважения относились к жизни другого человека, поскольку считали земную жизнь переходным состоянием перед Вечностью. За этим должен был бы последовать комментарий, богато иллюстрированный текстами: замечание заслуживает того, чтобы его не обронили походя; во всяком случае, оно свидетельствует о неусыпном желании показать с полной ясностью, когда это уместно, воздействие религиозного чувства на поведение людей. Бесспорно. Но мне представляется, что феодалы, как их изображает Марк Блок, и в самом деле уж слишком мало чувствительны<sup>15\*</sup> и что об очень сложной проблеме соотношений, существовавших в ту отдаленную эпоху между чувствами (проявления которых были очень часто гораздо более бурными, чем в наши времена) и непреклонной волей, высокомерной и варварской жестокостью, — об этом в книге говорится несколько бегло<sup>16\*</sup>. Между тем сколько интересного можно было бы позаимствовать из того, что написал недавно Хейзинга в своей «Осени средневековья».

Написав все это не отрывая пера от бумаги, на следующий день после того, как во второй раз перечитал весь труд (и даже в третий, если речь идет о первом томе), хочу подчеркнуть — я не занимаюсь критикой. Я пытаюсь понять. Более всего я пытаюсь разобраться в некоторых своих впечатлениях.

В этой превосходной книге мне нравится все, чем поделился с нами автор, — пронизательный ум, ясность, широта мышления,

<sup>15\*</sup> Когда я писал это, то не имел намерения упустить из виду с. 39–43 второго тома — о любви. Отмечу, однако, что, описывая чувства знатного человека, Марк Блок вовсе не упоминает о благочестии. А ведь в Европе того времени была не только знать! Равным образом я не забываю и о параграфе (из первого тома), который Блок посвящает религии. Точнее, проблеме религии. Название параграфа весьма знаменательно: «Религиозное мышление» (с. 131). Мышление, а не чувство. Кроме того, параграф этот — единственный, «один за всех». Его содержание, мне кажется, не вошло в достаточной степени в состав книги, в ее плоть.

<sup>16\*</sup> О проблеме в целом см. мой очерк: *Февр Л.* Чувствительность и история: Как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого (наст. издание. С. 109–125).

всеобъемлющая любознательность, богатое разнообразие, критически осмысленная информация. Но факт остается фактом: я не всегда чувствую, что захвачен достаточно сильно и влеком мощным устремлением к ясной цели. Взятые по отдельности, фрагменты этой книги мне нравятся, вызывают интерес, порою захватывают надолго; сообщают бог весть сколько новых и умных вещей. Ну а в целом?

Книга начинается как широкая и яркая картина цивилизации. А затем — после столь величественного начала — мельчает. Это уже не картина, а исследование: исследование социальной структуры (с. 7) — излюбленная формула Блока, который за последние десять лет сделал для ее пропаганды больше, чем кто-либо другой. Однако анализ социальной структуры — это не картина цивилизации. 190 страниц «картины» в начале книги — не слишком ли много, если книга эта о социальной структуре, и не слишком ли мало, если мы имеем дело с чем-то другим? Само число этих страниц приводит в некоторое замешательство. И исследование, на которое водрузили непомерно большую шапку, отправляется в путь несколько шаткой поступью. Не по вине писавшего. По вине читателя, который продолжает размышлять над интереснейшими вопросами, поставленными перед ним первой частью первого тома, столь расточительно щедрой.

Мне трудно оторваться от двух прекрасных частей большого и мощного целого. Еще раз я кладу их перед глазами. Воссоздать такой мир — всю феодальную Европу! Кто из нас мог бы одолеть такую тему? Правда, труд Марка Блока испытал на себе естественную и неизбежную силу противодействия столь мощному усилию. Это не фреска, неистово набросанная замечательным виртуозом: ученый не позволит себе такого. Это и не картина «из мастерской», с предусмотрительно продуманной композицией, выписанная тщательно и не торопясь, в которой все взвешено и отмерено: сама ширина темы не допускала такого способа действий. Философия феодализма? Тоже нет. Если хотите — отчасти то, и другое, и третье. И, в сущности, ни то, ни другое, ни третье. Причины для этого, впрочем, вполне почтенны — я хочу сказать, что они вполне оправдывают первоклассного историка, попытавшегося воссоздать целый мир. Я говорю это не лукавя, поскольку уважаю тех, кто меня читает, и в первую очередь моего товарища по борьбе, уважаю, не скрывая своего уважения и не притворяясь. И потому еще, что книга достаточно основательна, достаточно надежна и сделана надолго благодаря прочности материалов, которые пошли на нее, благодаря силе вложенного в нее ума — чтобы лучшей данью этой книге было искреннее подношение друга, который будет спорить, продумывать свои суждения и немного упротствовать, прежде чем дать себя увлечь.



# ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ»

## О НЕДАВНИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

По довольно странному совпадению за последнее время вышли сразу три книги, посвященные изучению одной и той же проблемы, относящейся к числу самых важных, какие только ставит перед нами наука о человеке, — проблемы соотношений между географической средой и человеческими обществами. Три книги, очень, впрочем, различающиеся как по духу, так и по своим только им присущим особенностям. Первая из них представляет как бы завещание выдающегося ученого, истинного создателя современной французской географии Видаля де ла Блаша <sup>1\*</sup>. Вторая — совместный, вызывающий к себе несколько двойственное отношение труд двух авторов, в полной мере владеющих своим методом и своими идеями, Камилла Валло и Жана Брюна <sup>2\*</sup>. Третья книга — критическое эссе историка, поставившего своею главной целью выделить то, что в трудах и в самих устремлениях современных географов может интересовать историю <sup>3\*</sup>.

Именно этот историк, продолжая заниматься обоснованной критикой географических идей, во всяком случае постольку, поскольку они затрагивают объект его собственных исследований, — именно он хотел бы ныне сделать сообщение о двух весьма важных работах, которые появились почти одновременно с его собственной. Надеюсь, ему извинят то, что он не сделал этого раньше. Из щепетильности, которую нетрудно понять, он добровольно отложил чтение и подробное изучение упомянутых выше работ до того времени, когда была полностью опубликована его собственная книга. Но пусть ему простят также то, что, представляя их читателю, он не совсем забыл и ту точку зрения, которой придерживается сам; поэтому пусть никто не удивляется, если он станет отмечать при случае, делая это насколько возможно четко, согласие или несогласие своей мысли с мыслью тех географов, чьим трудам будут посвящены эти страницы.

### I

Книга Видаля де ла Блаша — посмертная. Мы знаем, что великий географ умер 5 апреля 1918 года. Много лет назад он начал труд теоретического и методического характера, посвященный науке, которую он во Франции поистине создал. Когда его унесла смерть, первая часть его труда «Распределение людей по земному шару» была достаточно близка к завершению, чтобы мно-

<sup>1\*</sup> *Vidal de la Blache P.* Principes de la géographie humaine / Pub. d'après les manuscrits de l'auteur par E. de Martonne. P., 1922.

<sup>2\*</sup> *Bruhnes J., Vallaux C.* La géographie de l'histoire: Géographie de la paix et de la guerre sur terre et sur mer. P., 1921.

<sup>3\*</sup> *Febvre L., Bataillon L.* Introduction géographique à l'histoire // La Terre et l'évolution humaine / Dir. par H. Berr. P., 1922. T. 4.

гие главы могли быть напечатаны отдельно в 1917 и 1918 годах в «Анналах географии»: их можно найти и в «Принципах»<sup>4\*</sup>; они составляют главы I—V этой книги. Однако г-н Э. де Мартонн, издатель книги, зять Видаля де ла Блаша и сам профессор физической географии в Парижском университете, сообщает нам: вторая и третья части замышлявшегося труда, посвященные соответственно формам цивилизаций и обмену, оставались целиком в рукописи и представляли собою, за исключением двух или трех полностью написанных глав, всего лишь «увесистые папки с заметками и черновиками». Привести в порядок такие материалы было, надо полагать, делом непростым, мы можем легко в это поверить.

Чем стала бы книга, предлагаемая нам теперь г-ном де Мартонном, если бы ее закончил и опубликовал сам Видадь? Никто не может этого сказать. В нынешнем своем виде она не свободна от некоторой тяжеловесности. И я не знаю, не оказал ли бы г-н де Мартонн лучшую услугу автору «Картины Франции», если бы, вместо того чтобы собрать *membra disjecta* [разъятые члены] незаконченного труда в единое, но все же несколько искусственное целое,— если бы он просто опубликовал в виде отдельных кусков фрагменты, созданные рукою покойного мастера. По-видимому, законченность — своего рода «пунктик» г-на де Мартона. «Если мы не заблуждаемся,— пишет он,— большая часть глав выглядят как однородное целое; лишь очень немногие заметным образом неполны». Странное преклонение перед полнотой и завершенностью, при том, что Видадь никогда не отличался талантами архитектора. Ибо в самом деле этот очень большой, очень пронизательный географ чувствовал себя довольно неуверенно и был несколько неуклюж в области теоретических концепций. Чтобы одерживать победы, ему нужно было не покидать эту, по выражению Мишле, «добрую, прочную основу» — землю. Самое живое в его книге — это «фрагменты», некоторые из его «разборов», столь индивидуальных, тонких и в то же время убедительных, что они могут принадлежать только одному географу во всем мире, и никому другому. И если бы толстая белая нитка не соединяла жемчужины, найденные в папках мастера, никто от этого особенно не потерял бы — даже сам Видадь де ла Блаш, чья слава отнюдь не была славою создателя теоретических обобщений.

Часто говорили и повторяли, что на страницах этой посмертной книги читатель не находит ничего особенно нового, а также ничего, что указывало бы на реальный прогресс мысли мэтра. Конечно, мы находим там во множестве совершенные образцы того таланта и той особой элегантности, которые делают «разбо-

<sup>4\*</sup> Под этим заглавием вышел в свет посмертный труд Видаля. Принадлежит ли название книги самому Видалю? Г-н де Мартонн этого не сообщает.

ры» Видаль столь бесценными и неподражаемыми, особенно когда он трактует о странах Средиземноморья, которые он любил и так хорошо знал; однако на страницах, найденных и опубликованных г-ном де Мартоном, несомненно, можно встретить и немало новых замечаний, неопубликованных указаний, которые стоит удержать в памяти. Отметим лишь одно из многих. В «Принципах» есть очень интересная попытка использовать для целей географии некоторые данные, полученные ценою долгих и настойчивых усилий молодой наукой, находящейся в стадии становления, — этнографией.

Видаль де ла Блаш очень живо объясняет нам, какого рода интерес пробуждался у него при посещениях «этнографических музеев, какие существуют в некоторых городах Европы и Соединенных Штатов». Их коллекции вызвали пред его глазами видения тех обществ, которые представили экспонаты для этих коллекций. Он не был нечувствителен к сильному, хотя на деле поверхностному ощущению экзотичности, которое возникает, когда видишь собранными вместе столько различных предметов из разных мест; и как же могло быть иначе, если Видаль был наделен столь сильным географическим воображением и столь несомненным даром видеть мысленно. Однако, как это было ему присуще, созерцание побуждало его к размышлению. «В тех случаях, когда размещением экспонатов в этих музеях руководила последовательная мысль, мы сразу заметим, что предметы одного происхождения объединяет глубокая внутренняя связь. По отдельности они поражают только своею причудливостью; собранные вместе, они обнаруживают печать общности. Понемногу, путем сравнения и анализа, географическое впечатление уточняется. Подобно тому как внешний вид листьев и других вегетативных органов растения или шерсти и органов животного позволяет ботанику или зоологу распознать, под действием каких основных влияний климата и рельефа протекает существование этих организмов, так и географ по тем предметам материальной культуры, которые были им изучены, может заключить, в каких условиях среды они создавались. Материал и форма орудий охоты и ловли, оружия, орудий труда, емкостей для хранения и транспортировки говорят нам: то, из чего и как они сделаны, гармонирует с тем или иным способом существования, в свою очередь формировавшимся под влиянием физических и биологических условий, которые можно установить и определить. В этом смысле урок сравнительной географии можно извлечь из данных, относящихся к обществам самым неразвитым»<sup>5\*</sup>.

Очень любопытный отрывок, свидетельствующий — не будем называть это «новым направлением мыслей ученого», ибо не составило бы труда найти в его наследии значительно более ран-

<sup>5\*</sup> Vidal de la Blache P. Principes... P. 120—127.

ние указания на выраженный интерес к этнографии, — во всяком случае, о более четком и ясном осознании этого интереса и о том, насколько он был глубок. К тому же попутно можно отметить явный намек на хорошо известную теорию «образов жизни», изложенную самим Видалем в 1911 г. в нескольких статьях, представляющих фундаментальный интерес<sup>\*\*</sup>. Действительно, в «Принципах» целая глава (вторая глава части второй), посвященная орудиям и материалам, может служить доказательством упомянутых выше тенденций; а три прекрасные цветные карты под общим названием «Природная среда: автономное развитие цивилизаций» превосходно представляют нам в наглядной форме основные результаты, полученные Видалем де ла Блашем в его исследованиях. Одна из этих карт иллюстрирует, какую роль среди материалов, используемых различными цивилизациями, играют те или иные растения, не только кокосовая пальма или бамбук, но также береза или хлопок (ограничимся этим перечнем). Другая повествует о практическом применении материалов, получаемых, например, от северного оленя или от овцы, от гигантских черепах, от жемчужниц или от великолепных раковин Тихого океана. Цель третьей карты — показать распределение форм строительства в зависимости от применяемых материалов: вот область сооружений из камня, другая — кирпичных или глинобитных сооружений или из богатой смолой древесины, а вот область тропических хижин, то прямоугольных, то цилиндрических...

С живым интересом знакомимся мы как с этой наглядной документацией, так и со страницами текста, часто блистательными и достойными Видаля его лучшей поры. Мэтр посвятил их осмыслению (с тем чтобы передать свое понимание нам) того «семейного сходства», которое роднит предметы материальной культуры, например, тропических цивилизаций. Разумеется, эти цивилизации используют тропический лес как источник материалов; однако, кроме того, они вдохновляются ежедневным зрелищем и, если можно так выразиться, стоящим постоянно перед глазами примером растительного мира, который их окружает и предоставляет им убежище. «Это как бы живые строения, громоздящиеся один поверх другого, подобно хорам, этажи леса, — тонко замечает Видаль, — от подлеска внизу, на самой земле, от деревьев в половину высоты и до величественных верхушек, облаченных в пронизанную воздухом кровлю листвы и увенчанной ею. Хотя архитектура хижин всего лишь весьма слабое воспроизведение архитектуры леса, она тем не менее вызывает некие отдаленные ассоциации с этой последней. Переплетения лиан, помогающие иным лесным обитателям передвигаться по всему лесу не касаясь

<sup>\*\*</sup> *Vidal de la Blache P. Les genres de vie dans la géographie humaine // Annales de géographie. 1911. T. 20.*

земли, стали в человеческих руках растительными мостами, которыми пользуются от Западной Африки до Меланезии. Обитатели Амазонии взяли эти же переплетения за образец для гамака, который, по-видимому, впервые появился именно у них. Крупные шарообразные плоды *Lagenaria*<sup>1</sup> и кокосовой пальмы, так же как скорлупа страусиных яиц, передали чашам и калебасам, сделанных из них, форму округлую или овальную... Живая природа отличается тем, что, поставляя материал, она одновременно подсказывает форму»<sup>7\*</sup>. Далее отметим такие тонкие замечания: «Поучительно наблюдать — это относится особенно к центральной части Западной Африки, — до какой степени производство металлических изделий вдохновляется формами, заимствованными из царства растений. Кажется, будто железо заменило собой дерево, лишь подражая ему». И, перечислив метательные ножи, серпы, орудия для свершения жертвоприношений, которые навели его на эти размышления, Видаль замечает: «Одни из них распластаны симметрично вдоль оси, подобной центральной жилке бананового листа; у других концы имеют ланцетовидную форму, как молодые побеги пальм; третьи искривляются и по вогнутому краю образуют выступающие зубцы или пластины, подобные прилистникам, окружающим черешок листа».

Мы узнаем здесь Видаль де ла Блаша, скупыми и меткими словами отметившего в «Картине Франции» «особенную элегантность», ту, что являет Лотарингия человеку, направляющемуся туда со стороны Бельгии или Арденн, — Лотарингия с ее флорой, что «уже приобретает южный оттенок»; в изящной растительности, добавляет он, «можно увидеть те узоры, которыми бесчисленное число раз вдохновлялось местное искусство, давая им повториться и ожить в переплетениях рисунка на изукрашенном оружии и в стройном орнаменте стеклянных ваз»<sup>8\*</sup>.

Все это очень умно, очень интересно, взаправду поучительно. Но какие выводы делает из этого Видаль де ла Блаш — географ? Конечно же, что среда жестко определяет и обуславливает те своеобразные цивилизации, которые он называет «автономными», а также, что географ находит в них превосходные примеры обществ, действительно детерминированных почвой и климатом их местообитания, — не так ли? Нисколько.

Эти цивилизации непосредственно зависят от местной среды: это верно. Это настолько верно, что можно было бы по примеру некоторых географов-ботаников возвести такие-то и такие-то виды животных и растений в ранг «типических» и по такому принципу выделять различные регионы цивилизаций; вспомним, например, о бамбуке и кокосовой пальме в тропиках, о финиковой пальме и агаве в засушливых странах, о березе в субарктиче-

<sup>7\*</sup> Vidal de la Blache P. Principes... P. 122.

<sup>8\*</sup> Vidal de la Blache P. Tableau de la géographie de la France. P., 1903. P. 207.

ских областях, о северном олене на севере Старого Света, о тюлене и морже на севере Нового. Видаль попутно все это отмечает. Но он не поддается искушению превратиться в «географа-ботаника». Не только потому, что он отлично знает: эти цивилизации как раз в той степени, в какой они привязаны к специфическим средам обитания жесткими и, есть искушение полагать, неизбежными узами,— именно в такой степени они страдают ущербностью. «Им недостает способности сообщаться друг с другом и распространяться». Но также и потому, что он особо подчеркивает следующее: местные ресурсы в конечном счете никогда не доставляют человеку ничего, кроме материалов, необходимых для изготовления орудий, основная идея, замысел которых не имеет местного происхождения. Орудия и предметы, которые человек создал для нападения и обороны, для транспортировки или как емкости для хранения, не отклоняются существенным образом от неких общих форм<sup>9\*</sup>. Независимо от того, камень или золото, раковина или дерево использованы в составе сложного целого — топора, палицы, лука, они составляют все то же целое. Пироба, выдолбленная из ствола дерева, челнок из древесной коры, каяк, одетый кожами<sup>2</sup>; такелаж с парусами из рогожи, из полотна, из кожи, как у древних кельтов,— все они различаются более материалом, нежели формами. Такими путями воплощаются замысел (который предшествует приспособлению материала) и творческое начало, накладывающее на материал печать человека.

Таким образом, рассмотрение замкнутых обществ, которые, как кажется, все извлекают из окружающей среды, которые сами представляются, если можно так сказать, не чем иным, как продуктом окружающей среды,— это рассмотрение не побуждает выдающегося географа обмануться видимостью и объявить о подчинении человека природным условиям. Напротив. Вот что поражает Видаль в первую очередь: изобретательность человека, его инициатива, пластичность, свобода, если хотите,— нужно лишь отнять у этого слова метафизический смысл,— но только не его закабаление. Какова его зависимость от природного окружения? «Она лишь дает ярче засверкать — в определенных ситуациях — могуществу и разнообразию выдумки, на какую он только способен». И в итоге вот что считает Видаль де ла Блаш в конце своей научной карьеры, обогащенный всеми наблюдениями, размышлениями и опытом целой жизни, заполненной постоянной работой мысли,— вот что он считает наиболее примечательным в материальной культуре цивилизации: не связи, которые он видит лучше и тоньше, чем кто-либо другой, связи между созданиями человеческих рук и разнообразными произведениями природы,

\* *Vidal de la Blache P. Principes... P. 131, 132.*

окружающей людей, а всеобъемлющее и властное могущество человеческого разума.

Читатель извинит нас за то, что мы — с особым удовлетворением — остановились на этих глубоких идеях выдающегося мыслителя и лишней раз воздали должное его широте и щедрости.

## II

При всей своей незавершенности последний труд Видаля в любом случае являет во всех своих частях прекрасное единство мысли и чувства. Напротив, «География истории» господ Ж. Брюна и К. Валло — книга составная, довольно странная по композиции, а то, как она написана, может озадачить читателя. Книга двойственная — не только потому, что авторов двое, их и в самом деле двое, — и у каждого из них свои достоинства и недостатки, но еще — и главным образом — потому, что она составлена из двух разнородных частей и установить связь между этими частями, сказать по правде, представляется делом затруднительным. Ответственность за это, как сказано в Предисловии, несет только один из авторов, г-н Брюн, ибо он сообщает нам, что «География истории» была уже «скомпонована и частично написана», когда г-н Валло предложил ему свое сотрудничество.

Первая часть книги, намного более внушительная — 440 страниц, является общим исследованием связей географии с историей. Вторая, менее обширная — 250 страниц, представляет собою серию заметок о мировой войне 1914—1918 годов под названием не совсем понятным, зато изобилующим существительными: «География современных битв; Расы, Народы, Нации, Государства, Война и Мир». Есть ли какая-нибудь реальная связь между этими двумя частями? Авторы об этом не говорят. Они не захотели подразделить свою книгу старым удобным способом: первая часть — приведение в систему теоретических принципов, извлеченных из историко-географических знаний всех времен; вторая — приложение этих принципов к основным событиям войны 1914—1918 годов. На деле последние 250 страниц книги не имеют никакой определенной связи с 400 первыми. Они образуют нечто вроде самостоятельного исследования. Они более похожи на статью из журнала, чем на географический трактат. Порою они очень определенно напоминают нам о том обстоятельстве, что один из двух авторов, а именно тот, чью печать несет на себе вся эта последняя часть книги, во время войны властно почувствовал в себе призвание журналиста. Пусть извинят нас за то, что мы не последуем за ним в эти сферы. Каждому — его ремесло. Перед нами с 1914 по 1918 год война поставила лишь небольшое число скромных вопросов тактического характера, связанных с «Инструкцией по боевым действиям некрупных боевых подразделений». Мы не чувствуем себя достаточно искушенными столь малым опытом, чтобы судить ныне живущих полководцев с вы-

сот стратегии — сухопутной, морской и военно-воздушной. Или, скажем точнее, наше мнение по этим вопросам не имело бы ни веса, ни ценности.

Что же касается первой части книги, то здесь мы чувствуем себя более уверенно, так что можем обсудить ее и по мере необходимости поспорить. Здесь мы попадаем в законную область интересов географа и историка: к тому же автор пишет о вещах, уже достаточно знакомых. Ибо то, что на этих 440 страницах принадлежит г-ну Брюну, не содержит в себе ничего неожиданного. Мысли те же, что были изложены уже в «Человеческой географии» того же автора — как в общей форме, так и довольно подробно в главе VIII. Опубликованная в 1914 году в «Ежегодном географическом обзоре»<sup>10\*</sup> статья под таким же названием, что и нынешняя книга, развивает и формулирует те же идеи. Равным образом и то, что принадлежит г-ну Валло, тоже выходит из-под его пера, собственно говоря, не в первый раз. Уже в 1910 году в объемистом томе под названием «Социальная география. Земля и Государство»<sup>11\*</sup> этот знающий географ уже сформулировал те соображения, «более сжатое и упорядоченное изложение» которых (так пишет он сам) он представляет нам ныне. Вообще, видно, что затея гг. Брюна и Валло во многом надуманная и их сочинение обязано своим появлением, по всей вероятности, скорее успеху предыдущих работ, чем подлинной интеллектуальной потребности.

Поспешим отметить, что в этом труде есть удачные страницы, абзацы, которые можно прочесть с пользой, остроумные рассуждения. Их немало, в особенности это, конечно, относится к главам, посвященным населению земного шара, путям сообщения, границам, столицам, — эти главы изобилуют небесполезными указаниями. Однако здесь, на этих страницах, нам хотелось бы поспорить относительно идей, принципов и в известной степени методов. Перейдем же напрямик к самому существенному, я хочу сказать — к нескольким довольно сжатым и насыщенным главам, в которых г-н Валло, подытоживая свой предыдущий опыт, сконцентрировал главные мысли о фундаментальной проблеме (или проблемах) политической географии. Прекрасный случай пересмотреть лишний раз наши собственные мысли относительно совокупности процессов, в изучении которых историки из вполне законных побуждений (надеемся, что географы с этим согласятся) стремятся принять участие. В первой из трех глав, посвя-

<sup>10\*</sup> *Bruhnes J.* La géographie de l'histoire // *Revue de géographie annuelle.* 1914. Т. 8. Fasc. 1. Статья по-прежнему представляет интерес даже после выхода в свет солидной книги, благодаря интересным иллюстрациям, помещенным отдельно, вне текста, — весьма характерным photographиям Боснии и Герцеговины.

<sup>11\*</sup> Ему предшествовал другой том под названием «Море». О выходе этих двух томов мы в свое время оповестили читателей. См.: *Revue de synthèse historique.* 1911. Т. 18. P. 242.



ценных последовательному рассмотрению «трех фундаментальных проблем политической географии», г-н Валло в первую очередь исследует и пытается определить «первичные географические условия», являющиеся необходимой основой для образования любого государства <sup>12\*</sup>. Действительно, именно в этом вопрос вопросов — сердцевина всей политической географии.

Избранный же автором метод представляется безупречно адекватным. Составить карту государств. Затем — карту обитаемого мира. Наложить первую на вторую. Отметить несовпадения. И применить географический анализ к тем частям обитаемого мира, которые избежали государственности; попытаться вырвать у них тайну географического аспекта жизнедеятельности политических организмов. Теоретически — нет ничего разумнее. На практике — давайте посмотрим.

Составить карту государств... Но что такое государство? Г-н Валло сообщает нам это, и именно там, где он должен был это сделать: в самом начале своей книги. Государства — это общества, организованные для того, чтобы гарантировать составляющим их индивидам личную безопасность, мирное пользование своим достоянием и плодами своих трудов <sup>13\*</sup>. Безопасность, собственность — перед нами политико-юридическая теория. Но в таком случае при чем здесь география? Безопасность, собственность: это ведь понятия отнюдь не географические.

Позвольте, возражает нам г-н Валло. Само осуществление этих прав государством (почему «прав»? Мы ожидали бы здесь слова «функций») «немыслимо, если этим правам не сопутствует обладание, пребывание на каком-то участке земной поверхности». Но какая в том необходимость? Государство, как Вы его понимаете и определяете, — это абстрактное и военное государство Ратцеля из его «Политической географии»: общество гарантий и защиты против опасностей, угрожающих его членам. Однако в этом определении нет ничего такого, что не позволило бы применить его, скажем, к государству кочевников, кочующих постоянно; иными словами, оно не содержит в себе необходимости постоянно занимать участок земной поверхности, очерченный границами. Были ли на самом деле в истории чисто кочевнические государства (или, как говорит г-н Валло, «абсолютные и законченные») <sup>14\*</sup> — это другой вопрос. Но в данный момент мы подвижаемся в сфере понятий и дефиниций. Я утверждаю, что абстрактная и правовая дефиниция государства, рассматриваемого попросту и всего лишь как система защиты и охраны, не подразумевает сама по себе необходимости в постоянном владении, пребывании на некоторой территории.

<sup>12\*</sup> Bruhnes J., Vallaux C. Op. cit. Ch. 7. P. 269, 281 sqq.

<sup>13\*</sup> Ibid. P. 269.

<sup>14\*</sup> Ibid. P. 277.

Я отлично знаю: Камилл Валло ответил на это заранее. «Группа людей, которая все время перемещается, нигде не переходя к оседлости, и не прилагает никакого преобразующего усилия к той земле, где она временно пребывает, не может создать общество, оформленное политически, даже в зачатке», ибо «потребность в коллективной безопасности начинает появляться с того дня, когда, осев на какой-то территории, освоив ее, используя ее для нужд материальной жизни, люди, объединенные в группу, почувствуют, что им нужно защищать их общее достояние». Однако куда при этом девается различие, сформулированное самим К. Валло, с одной стороны, между «суверенитетом», то есть специфической для государства формой владения территорией, и, с другой стороны, простым владением, или частной собственностью? Когда наш автор говорит нам, что нет государства, которое не занимало бы постоянно некоторую территорию, — не впадает ли он в путаницу, подобную той, какую он обличает у Анатоля Франса или Ратцеля?

Оставим это и вернемся к происхождению «потребности в коллективной безопасности», которая может появиться не иначе как только если люди закрепились на территории, освоенной ими. Но не испытывают ли участники каравана «потребности в коллективной безопасности»? И чтобы почувствовать, что им «нужно защищать общее достояние» (при том, что это достояние является действительно общим или состоит из суммы индивидуальных), должны ли они обязательно быть землевладельцами? Когда какой-нибудь Ратцель совершает такого рода ошибки и путает суверенитет с оседлостью, это можно понять. Он начинает с утверждения, что «государство есть посредник, при помощи которого общество связано с землей», только для того, чтобы прийти к заключению: «Народ должен жить на той земле, которая дана ему судьбою; он должен там и умирать, чтобы исполнить ее закон». Для Ратцеля — годится. А для г-на Валло?

Теперь о другом. Нам объясняют, что тот, кто говорит «государство», говорит «организация для защиты и охраны». Но любая человеческая группа, сколь угодно малая, разве не заботится она прежде всего о защите своих членов от нападений и посягательств других групп? В таком случае при помощи приведенного выше определения как отличить примитивные, или зачаточные, в политическом отношении общества от крупных и развитых государств? Я знаю, что по ходу дела г-н Валло предлагает и другие критерии. Подлинное государство, государство, достойное так называться, говорит он, может возникнуть не иначе как на территории, достаточно населенной, чтобы могли установиться постоянные и тесные соседские отношения между элементарными группами, ассоциация которых приведет к образованию самостоятельного и политического общества. Естественно. Однако исходное определение государства, данное г-ном Валло, несет ли

оно в себе эту мысль? Нет. Кроме того, даже когда он вводит новые уточнения подобного рода, представление о государстве, характеризующемся исключительно организацией системы защиты своих членов, не дает покоя нашему автору. «Нужно, чтобы между людьми, составляющими группу, были постоянные соседские отношения, для того чтобы могла возникнуть потребность в коллективной безопасности и организация таковой»<sup>15\*</sup>. Опять безопасность. Именно в этом, на взгляд г-на Валло, самая сущность государства.

Поистине довольно парадоксально, что такую позицию занимает географ, ибо, в конце концов, верно ли, что государство возникает только в силу потребностей военного характера? Разве не играют роли потребности экономические (не будем говорить о других) — своей важнейшей и первостепенной роли в образовании политических объединений людей? Но если так, что не вызывает сомнений, разумно ли географу оставить это вне сферы своих интересов? Если юрист, если теоретик государственного права может удовлетвориться абстрактным определением, которого придерживается г-н Валло и которое служит для него отправным пунктом, — я понимаю такого юриста. Путь для него «земля» может быть каким-то образом «сублимирована» до такой степени, что становится абстрактной категорией мышления; пускай есть основания (все у того же юриста) выделить понятие «чистой земли», не имеющей иных свойств, кроме пространственного положения, размеров и т. д. Но для географа? Если он не интересуется землей как таковой, землей, производящей и кормящей, землей, покрытой растениями, населенной животными и несущей в себе металлы, кто же другой будет иметь право ею интересоваться? Не говоря о том, что концепцию государства, совершенно формальную, целиком военную, мог принять Ратцель, немец Ратцель, пангерманист Ратцель. Она соответствовала логике его мышления и его доктрины, отнюдь не научной, а политической. Не лучше ли будет, если мы не последуем за ним по этой стезе?

Признаюсь, я остался неисправим. Сегодня, как и прежде, на мой взгляд, «проблема политической географии и проблема географии человеческой — это единая проблема». Для меня не существует ни политической, ни исторической географии без географии социальной — ни социальной географии без географии экономической, ни экономической географии без географии физической. Это цепь, которая не может быть разорвана. И я упрямо отказываюсь видеть в обществе всего лишь что-то вроде пружины, движущейся в жесткой коробке-государстве, то разжимаясь, то сжимаясь. Мне кажется, что группы людей, объединенных в общество, обосновавшиеся на земле и извлекающие из нее сред-

<sup>15\*</sup> Ibid. P. 279.

ства к существованию, следует изучать непосредственно как таковые и ради них самих.

Пойдем, однако, дальше. В наши времена высказать мысль, что географы порой слишком одержимы «несеситаристскими»<sup>3</sup> предубеждениями и, кроме того, слишком часто признают возможность прямого, как бы механического «влияния» физических факторов на человеческие общества, — сказать это — значит вызвать горячие протесты: «Детерминизм или, вернее, географический несеситаризм? Что за ветряная мельница, на которую вы кидаетесь? Дверь открыта, дружище, напрасно вы в нее ломитесь!»

Давайте же вернемся к главам, которые К. Валло посвятил политической географии. Когда он сопоставил карту государств и карту обитаемого мира, то констатировал, что в двух случаях они не совпали. Во-первых, в арктической области, во-вторых, в лесной экваториальной. «Обе они обитаемы. Но ни та ни другая не имеют и никогда не будут иметь собственной политической истории»<sup>4</sup>. Это не оговорка. Далее К. Валло настаивает и уточняет. «Останутся ли они не затронутыми организацией или будут колонизованы чужеземными державами — невозможно представить себе, чтобы там образовалось государство, действительно имеющее корни в этой почве». Но почему? Потому что «всякое историческое развитие в этих регионах подавляется законами географии. Эта область земного шара — единственная, где можно зафиксировать непосредственное влияние климата на форму правления у людей. Только здесь подтверждается теория, получившая распространение благодаря великому имени Монтескье...»<sup>5,16</sup>.

Пророчество: «никогда». Роковое предопределение: климат. Да, в самом деле, географический несеситаризм — это не более как ветряная мельница...

Как много, однако, можно возразить. Мы, конечно, не станем вступать в пререкания с г-ном Валло по поводу рудиментарного характера политических сообществ, существующих в настоящее время в зоне влажных тропических лесов, ограниченных полосой приблизительно между 10° северной широты и 10° южной. Все же скажем в двух словах — вместе с Видалем де ла Блашем, — что, хотя вполне очевидные причины способствуют поддержанию изоляции человеческих групп в тех краях, «было бы ошибкой сделать вывод, что там не развились интересные цивилизации»<sup>17\*</sup>. Но как можно говорить о «прямом» влиянии климата на форму правления? И особенно — как можно провозгласить это столь категорическое и самоуверенное «никогда»? При том, что это не я, а сам К. Валло пишет на странице 271: «Политическая

<sup>16</sup>\* Ibid. P. 282, 283.

<sup>17</sup>\* Vidal de la Blache P. Principes... P. 121.

карта распространилась на ббльшую часть обитаемого мира всего лишь несколько десятилетий тому назад». По какому же праву этому явлению говорят: «Дальше не пойдешь»? По какому праву можно исключить ту или иную область из сферы человечества, политически организованного? Пускай на этих территориях, несомненно находящихся в невыгодном положении из-за своего климата и всякого рода географических условий,— пусть на этих территориях не могут с легкостью и беспрепятственно образоваться крупные государства, полные жизненных сил и с богатыми перспективами развития, способные соперничать с наиболее мощными и энергичными политическими образованиями умеренной зоны земного шара,— это можно не говорить, не стоит доказывать. Но суть проблемы не в этом. «Карта государств» К. Валло включает только государства перворазрядные. Подобная карта, безусловно, может включать и государства кочевников, таких, как туареги, сенусси, киргизы<sup>6</sup>. Она может включать также слаборазвитые государства, такие, как страны тропической зоны Африки. Наконец, она может включать колониальные государственные образования. И кто осмелится утверждать, что через некоторое время даже в районах экваториальной сельвы, которую цивилизованный человек начнет разрабатывать, освоит, заселит,— что там не возникнет одно или несколько колониальных государственных образований, способных если не к беспредельному развитию, то хотя бы к какой-то самостоятельной и организованной жизни?

Прошу Вас остановиться, скажет Валло. Я говорю только о возникновении «автономных политических образований». Колонии — это политические образования, привнесенные извне и навязанные... Навязанные? Но если принять в расчет этот признак, чем тогда отличаются колонии от других государств, о которых сам автор говорит нам (с. 270): «Все великие государства, прошедшие путь развития и имеющие историческое прошлое, объединяют осколки народов, рас и наций узами принуждения, навязанными насильственно или принятыми добровольно». Таким образом, мы называли бы государством, если бы оно не было разрушено, государство хова на Мадагаскаре (а было ли оно результатом самостоятельного политического развития?)<sup>7</sup>, но откажем в этом звании колониальному государственному образованию Мадагаскар, все более освобождающемуся от своих связей с породившей его метрополией. Есть, однако, знаменитый пример по ту сторону Атлантики, когда колониальное образование превратилось в великое государство... Как же можно декретировать, что никогда не будет другого такого же?

Камилл Валло, предвидя это возражение, отвечает на него. Но как! Не знаю ничего более поучительного. «Колониальные победы великих государств, проросшие в экваториальной зоне или в ее непосредственном соседстве,— пишет он на странице 283,—

хотя основаны недавно, уже сейчас обнаруживают признаки чуждости, которые являются плохим предзнаменованием на будущее».

Речь идет, как мы помним, о влиянии климата на «форму правления у людей» и о том, что из-за этого влияния в циркумполярной полосе, так же как в экваториальной, «всякое историческое развитие подавлено законами географии». Но что это за колониальные отпрыски великих государств, которые, будучи жертвами климата и законов географии, уже хиреют и идут к неизбежному концу? Камилл Валло приводит два примера. Один — его он касается вскользь: из всех американских республик «самые слабые, рыхлые, наименее процветающие те, что соседствуют с экватором с севера и с юга». Однако типичский случай, самый поучительный пример — это Австралия. Ибо так написал Д. Ф. Фрэйзер: в этой сравнительно новой стране «молодые англичане не слишком отличаются инициативой» и все же они активнее молодых австралийцев.

Не будем придирааться. Отнесемся к этому утверждению с максимальным доверием. Будем считать строго доказанным недостаток инициативы у молодых англичан, переселившихся в Австралию, или у австралийцев, рожденных в самой Австралии<sup>8</sup>. О чем здесь идет речь? О жизненной немощи колониальных отпрысков великих государств, «проросших в экваториальной зоне или в ее непосредственном соседстве». Я смотрю на карту и вижу, что населенная часть Австралии — та, которую стоит принимать в расчет, — находится в точности на широте Трансвааля, Оранжевой республики и оживленных областей английской Южной Африки<sup>9</sup>, а также Чили и Аргентины, где как будто не наблюдается подавления человеческой энергии неблагоприятным климатом. Я вижу, что Мельбурн, лежащий на 27°50' южной широты, не ближе к экватору, не более «экваториален», чем Афины, лежащие на 38° северной широты, или чем Севилья, Гранада, Тегеран; и вижу, напротив того, что Фес, Алжир и Тунис, Мессина, Сиракузы и Палермо, Александрия, Каир и все главные города Древнего Египта, и Мекка, и Иерусалим, и Багдад, не говоря уже о Вавилоне и Ниневии<sup>10</sup>, что все города Индии, Центрального и Южного Китая, все политические центры Японии «экваториальнее», чем Мельбурн, и по большей части «экваториальнее» Сиднея. Видя все это, я чувствую себя неловко: ведь не географ<sup>18\*</sup>.

<sup>18\*</sup> Все же я являюсь им в достаточной степени — и не думаю, будто для того, чтобы судить о температурных условиях в какой-либо местности, достаточно знать ее широту. Я отвечаю очень грубыми допущениями на допущения не менее грубые — мне это известно.

## III

В последнее время многие и с разных сторон очень старались обвинить меня в том, что я замыслил на редкость черное дело — задушить географию. И — это является отягчающим обстоятельством — задушить ее, позаимствовав «роковой шнурок» у самой географии.

Позвольте не согласиться. Мне всего лишь хотелось бы, чтобы географы сами себя обязали, по собственному убеждению, к строгой и коллективной дисциплине во всем, что касается готовеньких теорий, крупномасштабных доктрин с большими претензиями, не географических по своему происхождению (Камилл Валло имел полное право напомнить об этом, хотя и был не совсем прав, напоминая об этом именно мне)<sup>19\*</sup>, от которых они яростно отмежевываются, когда эти теории им представляют в догматической форме; но на деле — и после того примера, который был нам преподнесен самою «Географией истории», — кто решился бы утверждать, что географы не испытывают зачастую влияния все тех же доктрин, которые толкают их к неосторожному обращению с фактами, к сомнительным интерпретациям?

Необходима четкая постановка вопроса. Как именно он может быть поставлен? Мне, историку, не подобает говорить об этом географам; они, конечно, знают это лучше меня. Позволят ли они мне, однако, указать им на высказывание, которое, как мне кажется, представляет самый живой интерес? Вновь я позаимствую его у Камилла Валло. В своей рецензии на посмертную книгу Видаля (эту книгу мы представили читателям несколько ранее) он процитировал отрывок из письма своего учителя, которое тот написал ему в 1909 году<sup>20\*</sup>. Речь идет об эпитете «humaine» [«человеческая»]; в те времена все больше входило в обыкновение присоединять его к слову «география». Видаль, как всегда пекущийся о поддержании единства и целостности географической науки, пишет: «Прилагательными поистине злоупотребляют. Почему бы не заниматься просто географией? К этому еще возвратятся».

Думаю, что будущее время было употреблено главным образом, чтобы выразить пожелание. Во всяком случае, я упрекал бы себя, если бы ничего не добавил к этим четырем коротким заключительным словам, которые кажутся мне пророческими и исполненными смысла.

Однако могут возразить — зачем придавать такое большое значение какому-то прилагательному? Какое зло может причинить невинный эпитет «человеческая», которым ныне столь часто пытаются поднять несколько сомнительный престиж слова «география»? Названия, формулировки, вывески — все это слова...

<sup>19\*</sup> Chronique // Mercure de France. 1923. 1 janv. P. 205, 206.

<sup>20\*</sup> Ibid. P. 202.

Да, конечно, но слова, которые указывают на те или иные концепции, приводят их за собой, заключают в себе. А концепция «человеческой географии» — кто станет сегодня утверждать, что не следует пересмотреть ее тщательным образом?

«Человеческая география»... Будьте осторожны. Пока речь шла о «просто» географии, как говорит Видаль, — о географии, которая естественным образом и в самом широком смысле занимается человеком, ибо человек, «поскольку он возводит сооружения на поверхности земли, оказывает воздействие на реки и даже на самые формы рельефа, на флору, фауну и вообще на равновесие живого мира, — человек принадлежит географии», пока дело обстояло таким образом, не было никаких сложностей, никаких столкновений, никаких опасностей. С того дня, когда вздумали стачать из разных кусков самостоятельную науку, окрещенную «человеческой географией», с того дня, как таким манером человек был официально введен в должность, с этого времени появились трудности философские, если будет позволено так выразиться, и методические. Выделить человеку его долю — задача нелегкая. Он завоеватель по своей природе. Слово «география» — прежде всего существительное. Но вот: прилагательное понемногу затмило существительное. Прежде человек. А все, что связано с человеком, полно неопределенностей. И вот географам приходится рассуждать (с грехом пополам) о детерминизме, который не детерминизм, о прерывистом нессеситаризме, который по временам не срабатывает, о... Все это — с какой целью и с какими результатами? Более того, вот уже географам приходится заниматься мнимыми проблемами совершенно особого свойства, которые, казалось бы, не входят в сферу их исследований — они и в самом деле могут быть причислены к разряду географических не иначе как путем откровенного насилия или же из ребяческого тщеславия. Здесь мы имеем в виду все эти вопросы о «влияниях», все поиски «первопричин» — выше мы уже говорили об их порочности и тщетности (быть может, говорили недостаточно энергично, недостаточно сурово). В чем же дело? Этот обратный эффект можно было предсказать: если человек воздействует на землю, то и земля, в свою очередь, воздействует на человека... Географы, называющие себя «человеческими», знайте отныне, что ничто человеческое вам не чуждо... И поскорее спросите себя, не климат ли является причиной политического полузастоя современных австралийских обществ, — продолжая провозглашать самое похвальное и всеобъемлющее пренебрежение к устаревшим теориям Монтескьё. Однако, сколько бы вы ни старались, ваша наука будет от вас убегать, ибо кто помешает тому, чтобы вслед за вами и г-н де Морган, историк, тоже задался вопросом: «Не являются ли важные этапы развития человечества следствием двух великих природных явлений: засухи, принудившей семитов уйти со своего полуострова<sup>11</sup>, и похолодания Сиби-



ри, заставившего индоевропейцев покинуть свои степи?»<sup>21\*</sup>,<sup>12</sup>

Хорошо или плохо (скорее плохо, чем хорошо, так как я не философ, а сделаться философом вдруг — невозможно) в книге «Земля и эволюция человечества» я сказал об этом, или, вернее, попытался сказать<sup>22\*</sup>: зародыш всех сложностей, среди которых мы ныне барахтаемся, пытаюсь конкретно измерить ценность усилий современной «человеческой географии», именно здесь: я хочу сказать — в том, что слишком многие географы принимают без достаточной критики и размышлений — назовем это вульгарным представлением о причинности, или, проще говоря, в том, что у них есть потребность, что они ставят перед собой иллюзорную цель «дойти до первопричин». Некогда их наука была всего лишь описанием. Она хочет стать объяснением. И это замечательно. Но что следует понимать под «объяснением» в области наук наблюдательных — вот в чем вопрос<sup>23\*</sup>. Классифицировать наблюдаемые факты, располагать их в определенном порядке, выстраивать из них последовательности — это прекрасно. Но является ли безусловно законным вводить в эти последовательности факты совсем другого порядка? Корректно ли с научной точки зрения вдруг приклепывать к звену метеорологическому звено политическое и считать цепь, полученную таким путем, совершенно однородной? Обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. И я совершенно не имею соответствующей подготовки, чтобы вести подобную дискуссию. Каждому его ремесло — так гласит мудрость всех народов. Я только прошу, чтобы квалифицированные географы серьезно поразмыслили над упоминавшимися выше сложностями, Думаю, это не означает, что я хочу их, географов, удушить.

<sup>21\*</sup> *De Morgan J.* Des origines des Sémites et de celles des Indo-Européens // *Revue de synthèse historique.* 1922. Т. 34. P. 7.

<sup>22\*</sup> *Febvre L., Bataillon L.* Op. cit. P. 86.

<sup>23\*</sup> *Berr H.* La synthèse en histoire. P., 1911. P. 49; вообще все Введение ко второй части книги.

## СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ МИР В ЭПОХУ ФИЛИППА II

Мы открываем книгу — толстую книгу в одиннадцать сотен страниц, которую Фернан Бродель озаглавил «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»<sup>1\*</sup>. Открываем ее на любом месте, все равно на какой главе. Читаем десять строчек, двадцать строчек или тридцать. Мы поражены манерой, в которой они написаны. Самобытной мощью богатого оттенками стиля, который хотя и не избегает чеканных формулировок (таковых множество), но, не прилагая к тому усилий, очаровывает какую-то теплотой доверительности, излучением света, мягко проникающего в темные глубины. Это не сноп света без полутонов и отблесков, какой помещает в центре своих «Ноктюрнов» Жорж де Латур<sup>1</sup>, великий лотарингский художник, — света, который яростно лепит формы, обнажает лица, бросает на стены резкие тени. Это слегка приглушенное освещение голландских мастеров, от которого их полотна становятся своего рода созерцанием и раздумьем, человеческим и трогательным. Это свет, присущий одному Броделю и ни на что другое не похожий.

Итак, мы читаем. Читаем все дальше. Читая, мы восхищаемся совершенством труда, созданного рукою труженика, изобилием и качеством использованных им материалов, богатством не знающего промахов воображения. Не возникает желания сказать: «искусно», «с пониманием», «умело» — все вещи хорошие, но слова эти обозначают достоинства второстепенные. Мы скажем: ум, провидательность, обаяние. И поскольку книга читается без скуки, она прочитывалась бы залпом, если бы так можно было усвоить книгу, битком набитую сокровищами.

Дать о ней представление немислимо. Прочитав ее один раз, даже внимательно, нельзя исчерпать ее богатства. Это книга глубокая и основательная, она принадлежит к числу тех, что становятся «настольными» на долгие годы. «Да, быть может, возразят мне, если интересоваться Средиземноморьем XVI века, Филиппом II Испанским, наконец, просто XVI веком...» Нет. Если интересоваться историей. Я чуть не написал «просто историей». Не будем останавливаться на частностях. Пусть каждый сам

---

<sup>1\*</sup> *Braudel F. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. P., 1949.* Чтобы книга могла выйти в свет, Фернан Бродель должен был пожертвовать огромной и великолепной «средиземноморской» библиографией, которую он собрал, и отказаться от огромного иллюстративного материала — карт и документов, который он подготовил. Труд, подобный книге Броделя, — если бы Франция поощряла достижения Разума — должен был бы выйти томом in-4<sup>o</sup> или двумя томами in-4<sup>o</sup>, в роскошном издании, с множеством иллюстраций и карт, ибо и рисунок, и карта — это тоже история. Но увы!

извлекает из них пользу и удовольствие. Постараемся в самых общих чертах объяснить, почему эта великолепная книга, это совершенное творение историка, исчерпывающим образом владеющего своей прекрасной профессией, — чем она отличается (и много) от образцового сочинения профессионала. Эта книга — революция в подходе к истории. Это переворот в наших старых привычках. «Историческая мутация» основополагающего значения.

## I

Во-первых, тема. Среди моих бумаг наверняка до сих пор лежит письмо, много лет назад полученное мной из Алжира, от молодого преподавателя истории, который в те времена казался созданным для быстрой и блистательной карьеры историка Северной Африки. Он сообщил мне о своем намерении в скором времени представить в Сорбонну диссертацию на классическую тему: «Средиземноморская политика Филиппа II». Он знал, что когда я собирал материалы для собственной диссертации «Филипп II и Франш-Конте», то вплотную столкнулся с загадочной фигурой Осторожного короля, ткущего свою «бургундскую паутину»; он знал, что многие деятели средиземноморской политики Испании были уроженцами Франш-Конте и что я пытался (в 1911 году) разобраться в их личных устремлениях и социальной принадлежности; он знал, что в Безансоне и в других местах я множество раз разбирал на полях какой-нибудь депеши, написанной в рощах Сеговии или в пустынном Эскуриале, короткие заметки хозяина Испании<sup>2</sup>. Поэтому Бродель полагал, что я могу сильно заинтересоваться его планами. Я не замедлил подтвердить ему это, добавив, однако, в конце письма: «„Филипп II и Средиземное море“ — прекрасная тема. Но почему не „Средиземное море и Филипп II“? Ибо роли этих двух главных действующих лиц — Филиппа и Внутреннего моря — не равны».

Неосторожный намек, который, по-видимому, усилил имевшиеся у самого Броделя сомнения и тревоги (а сделать соответствующие выводы самостоятельно он не сумел). Короче, он решился и, препоясав чресла, начал блистательный и опустошительный поход за документацией по всем архивам средиземноморского мира. Ничего особенного в этом нет. Необычно то, что он решился действовать в одиночку, с отвагой, на собственном малом суденышке, без кормчего и без товарищей, без Наставления по навигации — он осмелился пуститься в плавание по яростным волнам моря, которое вечно спокойно и улыбается в лазури только на вокзальных панно для туристов. Он посвятил десять лет своему путешествию вокруг моря. И уже видел конец своему плаванью, когда пришла война сорокового года.

Затрудняюсь сказать, каким образом пленный французский офицер в концлагере, не слишком довольный тем, что он обязан в качестве старосты лагеря поддерживать бодрость в каждом, — как совершил он сей неслыханный подвиг: написал по памяти одну за другою все главы трактата в одиннадцать сотен страниц. Я получал эти главы одну за другою в течение четырех гибельных лет. Такими, какими они выходили из-под пера Фернана Броделя. И если мы помним великий пример Анри Пиренна, увезенного в глубь Германии и писавшего там в школьных тетрадках «Историю Европы»<sup>3</sup>, не имея ни книг, ни своих заметок и материалов, то справедливо будет запомнить и другой, не менее прекрасный пример Фернана Броделя, который, будучи пленником в Германии, тоже писал свое «Средиземное море» в ученических тетрадках, имея еще меньше книг и заметок, среди шума и гвалта (их легко себе представить) барака для пленных, под постоянной угрозой, под постоянным гнетом...

Ныне книга готова; она перед нами: вышла из печати. И после того как я, случалось, упрекал себя в том, что слишком усердно, быть может, толкал Фернана Броделя на пути нелегкие и нескорые, теперь я могу только восхищаться его успехом. Он победил.

Впервые море (или, если хотите, комплекс морей) возведено в ранг действующего лица истории<sup>2\*</sup>. Действующее лицо во многих лицах, заполняющее собою весь объем, обладающее неисчерпаемыми возможностями вмешиваться в жизнь людей, притягивать их к себе, быть посредником между ними. Действующее лицо из ряда вон выходящее, неподвластное времени, несоизмеримое с нашими привычными мерками. Действующее лицо пленительное, коварное, всепроникающее; оно вкрадывается в жизнь людей, в самую жизнь обитателей суши и порождает рядом с нею своеобразную жизнь людей моря, открывает перед теми и другими ристалища, столь же прекрасные и столь же кровавые, как прибрежные долины и горы; наконец, действующее лицо огромное; на протяжении многих веков оно было единственным средоточием обмена и общения белых людей, наиболее предприимчивых из них, наиболее богатых идеями и продвинувшихся в своем развитии; оно оставалось еще в XVI столетии (во времена, когда другие «морские персонажи» привлекают к себе внимание государств и государей и, побеждая, все прочнее им

---

<sup>2\*</sup> Я говорю «действующего лица», но, конечно, не «объекта». Ибо уже было множество книг, посвященных Средиземному морю: работы географического, исторического характера; вы найдете в книге Броделя (с. 1127) перечень тех книг, что заслуживают внимания. Однако эти книги, сочинения по большей части скороспелые, написанные второпях лихими журналистами, не имеют ничего общего с трудом, о котором идет речь. Бродель проявляет снисходительность в оценках этих книг.

завладевают), оно оставалось еще одним из крупнейших центров активности белого человечества, впервые получившего право гордиться собою, будучи уверено в своей окончательной победе<sup>3\*</sup>.

## II

Такова тема. А метод?

Что касается метода, то здесь — подлинная революция. Вот почему книга Фернана Броделя (не перестающая после своего выхода в свет вызывать во Франции и за ее пределами живое и благодетельное любопытство) — вот почему она заслуживает, чтобы ее принимали с той смесью энтузиазма и почтения, какая подобает только творениям, за которыми будущее<sup>4\*</sup>. Три части. Вначале «Роль среды обитания», 300 страниц. Портрет, если хотите, или, вернее, физический и физиологический анализ персонажа, чье огромное, близкое и благотворное присутствие угадывается совсем рядом на каждой странице книги. Перед нами водная равнина и кайма побережий, ближние горы, плоскогорья и выходящие к морю равнины. Вот по ту сторону Средиземного моря — океан застывших волн щебня, пустыня, та самая Сахара, которая отчасти управляет климатом<sup>5\*</sup> и задает временам года их ритм и темп. Разнообразие, но также и единство. И прежде всего единство человеческого пейзажа. Единство мира деятельных и шумных городов, имеющих богатое прошлое, пожирателей человеческих толп; их хрупкое величие, конечно, может быть раздавлено одним ударом; их величие, занятое добыванием ежедневного пропитания, но бесконечно, от одного к другому, текут потоки, которые их соединяют, увлекают за собой, заставляют сотрудничать (вопреки сепаратизму, порой отчаянно) — в едином великом деле цивилизации...<sup>6\*</sup>

«Во всем этом нет ничего нового, и в чем Вы видите новаторство? То, что дает нам Фернан Бродель, разве это не классическая глава-жертва, какую каждый историк считает себя обя-

<sup>3\*</sup> Именно: наконец-то обретенная гордость — завоевывалась она долго и трудно (см.: *Grenard J. Grandeur et décadence d'Asie: l'avènement, de l'Eugore. P., 1939*). Та самая гордость, которая, как мне кажется, в значительной степени выразилась во всеобъемлющем и могучем явлении, которое мы зовем Возрождением.

<sup>4\*</sup> Не стану здесь задерживаться на методологическом аспекте труда Фернана Броделя. Краткий очерк идей, положенных в основу этой книги, можно найти в моей статье: *Febvre L. Vers une autre histoire // Revue de la métaphysique et de morale. 1949. Juill.*

<sup>5\*</sup> См. с. 196: «Ответственные за климат: Атлантика и Сахара».

<sup>6\*</sup> См. пятую главу первой части: «Дороги и города». И в особенности прекрасный очерк «Участь городов в XVI веке», исполненный новых мыслей, требующих обсуждения (например, с. 293: «...последняя вселенская цивилизация — Барокко, которую приморские города создали для христианской Европы; цивилизация, полная жизни, драматичная, напыщенная, как нельзя более чопорная»). Ибо «города — это школа зависти и пышности».

занным, ради соблюдения приличий, предпослать своей книге: «1. Физические условия: почва и климат»? Три десятка страниц — и привет. Мы свое дело сделали и возвращаться к этому не будем».

Однако, читая Фернана Броделя, мы возвращаемся непрерывно... Ибо, если он пишет о горах, то не для того, чтобы попутно приукрасить текст комментариями в духе какого-нибудь Филиппсона<sup>4</sup>. И, сказать по правде, пишет он не о горах. Он пишет о Горе, о мире сильных людей, связанных тесными семейными узами, скрытных людей<sup>7\*</sup>, чье доверие трудно завоевать, живущих в стороне и поодаль от общих течений; людей, засевавших в своих орлиных гнездах и мало озабоченных ходом большой истории<sup>8\*</sup>, как бы она ни называлась — христианизацией, феодализмом или денежным обращением.

И если Бродель говорит о водных равнинах (с. 73—99), то не как о пустых пространствах, где только ходят волны. На его взгляд, роль этих водных пространств в том, чтобы создать, способствовать созданию единой цивилизации. Потому что выйти из узких морей, связать одни моря с другими, проникнуть через морские преграды, которые их разделяют, установить между ними сравнительно легкое сообщение — такова была всегда великая задача<sup>9\*</sup>, которую ставили перед собой властители, скажем точнее, задача, которую всегда ставили перед собой средиземноморские города.

<sup>7\*</sup> «Ибо Гора есть именно то самое: фабрика, производящая людей, и это ее жизнью — развеянной по ветру, расточенной, потерянной безвозвратно — питается вся история моря». К тому же «свойственный горцам образ жизни — более движение, чем оседлость, скотоводство более, чем земледелие, — это, по-видимому, и было первоначально жизнью Средиземноморья». Населенные людьми долины были созданиями поздними, потребовавшими тяжкого труда, немислимыми без столетий коллективных усилий.

<sup>8\*</sup> Эти мирки, угнездившиеся среди гор, не знали города и, стало быть, жизни города. Рим повсюду насадил свой язык, но не в неприютных горных массивах Северной Африки, Испании и т. д. Рим насадил христианство повсюду, но в изолированных мирках диких пастухов и крестьян этот процесс не завершился окончательно и в XVI веке. Гора — земля ересей. Вспомним о вальденсах. Позднее — североитальянский протестантизм и т. д.<sup>5</sup> Не менее важные последствия имело то обстоятельство, что феодальный режим (система политическая, экономическая, социальная и, следовательно, правовая) оставил вне сферы своих захватов большинство гористых областей. Например, Корсика и Сардиния; но и, помимо них, между Тосканой и Лигурией — Лундджьяна, своего рода внутренняя Корсика. Исследование о вендетте, проведенное Жаком Ламбером, показало, что страны вендетты — это те, которые средние века не завоевали своими идеями феодального правосудия.

<sup>9\*</sup> Великолепны заметки о «водных пустынях» (с. 99—100). В Средиземном море — столь небольшом сегодня в масштабах земного шара и по меркам привычных нам скоростей — в XVI веке имелись обширные опасные и запретные районы, мореплаватели должны были обходить их стороной.

И наконец, если он, Фернан Бродель, говорит об островах (с. 116, след.), то не для того, чтобы разобрать их по косточкам. И это не перепись — при том, что такая задача была бы в известном смысле новой и необычной, — ибо островов в Средиземном море намного больше, чем можно подумать, заглянув в наши учебные атласы, в наши мелкомасштабные карты; на морских картах россыпь мелких крошек, отвалившихся от материка, кажется нескончаемой, и перед нами предстает рой миниатюрных мирков, в одинаковой мере принадлежащих тверди и хляби<sup>10\*</sup>, они живут семьями, архипелагами, образуя в водном просторе разорванную сеть мостов; они баюкают среди своих берегов участки сравнительно спокойной воды. Но не об этом речь. На взгляд историка, это миры, постоянно подвергающиеся опасностям; их всегда подстерегает голод; миры, без передышки осаждаемые морскими разбойниками и грабителями, — и потому миры отсталые, архаичные, хранители примитивных способов хозяйствования. Но в то же время они открыты дыханию просторов; острова вспыхивают порой таким великолепием, что их можно причислить к самым блистательным из рискованных затей цивилизации; они — промежуточные станции на пути ее авантюры. «Большая» история затрагивает их раньше и глубже, чем горные местности. Через них осуществляется интенсивный обмен культурными влияниями, растениями, животными, тканями, технологией и даже модами, в том числе модой на одежду<sup>11\*</sup>. Все идет через острова, великие поставщики-экспортеры людей. Они подмешивают в Историю своих эмигрантов.

Итак, полуострова, горы, долины, водные пространства, острова малые и большие — все это термины географические. Однако Бродель не географ. Он специально подчеркивает это в своем великом стремлении к ясности без каких бы то ни было недоумений<sup>12\*</sup>. Прежде всего человек, а не земля, не море и не небо. Бродель всегда помнит о хронологии, у него есть та одержимость датой, которая так отчетливо отличает прирожденного историка от его собрата, а иногда и врага — социолога. Среда,

<sup>10\*</sup> «На самом деле нет такого участка побережья (каким бы простым он ни выглядел на картах), возле которого не было бы роя островов, островков, торчащих из воды скал» (с. 116).

<sup>11\*</sup> См. кратко изложенную (с. 112) историю сахарного тростника, пришедшего из Индии в Египет, оттуда на Кипр (X век), с Кипра на Сицилию (XI век), с Сицилии на Мадейру, оттуда на Азорские острова, на Канарские, на острова Зеленого Мыса и, наконец, в Америку. Бродель вспоминает также, как высадились десантом на Кипре, при пышном дворе Лузиньянов, китайские моды (обувь с заостренными носами, высокие женские прически с рогами и т. д.) — моды, вызывающие перед нашими глазами времена Карла VI и Изабеллы Баварской<sup>6</sup>.

<sup>12\*</sup> С. 3: «Главы с первой по шестую не о географии. Это главы об истории». И далее (с. 295) он напишет придуманное им слово «геоистория». Сказано хорошо, хотя и тяжеловато.

которую он описывает, — это не вневременная среда. Это среда, которую Средиземное море создает для человеческих объединений XVI века, или, точнее, второй половины XVI века. Точно так же, как (да будет мне позволено вспомнить об этом в доказательство преемственности замыслов и стремлений), — точно так же, как описание Франш-Конте в начале моей диссертации — это не Франш-Конте, зафиксированное вне времени, в своего рода географическом постоянстве, граничащем с вечностью. Это среда, в которой в XVI веке развивались человеческие группы, сформированные ею и одновременно ее формирующие.

### III

Итак, первая часть — среда обитания. Вторая часть — «Коллективные судьбы, единое движение» (414 с.). Самый большой раздел книги после географического (анализ и синтез) — социальный. Медленная, размеренная поступь истории. «Экономики; Общества; Цивилизации» — с таким подзаголовком начиная с 1945 года выходят «Анналы»; главы книги Фернана Броделя добровольно следуют этому продуманному порядку и иллюстрируют его.

И вот перед нами хозяйственная деятельность Средиземноморья — я хочу сказать, те ее виды, для которых источником является Средиземное море, и те, что, существуя в местностях, в той или иной степени удаленных от Внутреннего моря, пытаются заинтересовать обитателей его побережий своими произведениями. Исследование весьма оригинальное. Оно избавляет нас от множества бесцветных перечислений, разбитых на школярские параграфы и сводящих экономику к чему-то вроде каталога товаров — наподобие тех списков, что выставлены для обозрения в таможенных конторах Великобритании, дабы помочь путешественнику составить декларацию.

Прежде всего Фернан Бродель приучает нас к мерам, которыми пользовался его век — XVI век<sup>13\*</sup>. Какова была истинная цена расстояниям в те времена, когда верховая лошадь оставалась самым быстрым средством передвижения? «Один из величайших шутников, каких только можно сыскать в две пути верхом на лошади»: я привожу фразу из «Сельских бесед» Ноэля дю Файля<sup>7</sup>; она характерна для того времени. Из этого следует, что персонаж, исследованный историком, — я имею в виду Средиземное море — был гораздо больше размером, гораздо огром-

<sup>13\*</sup> С единственной целью — в этот раз, как и прежде, — сказать об узлах, которые добровольно объединяют историков одного направления — я напомню, что Марк Блок в своей книге «Феодальное общество» (т. 1) посвящает целую главу под названием «Материальные условия и характер экономики» проблемам измерения пространства и времени в средние века.



нее, чем он кажется сегодня <sup>14\*</sup>. «Средиземное море XVI века,— пишет Бродель,— имеет в общем те же размеры, что и во времена римлян. Для человека оно огромно и необъятно... Это не то озеро, каким оно стало в XX веке. Это не улыбочивая вотчина туристов и яхт, где всегда можно добраться до берега за несколько часов... Чтобы понять, чем оно было тогда, нам нужно раздвинуть его пространства настолько, насколько хватит нашего воображения» (с. 318).

Из этого следует (ибо в книге Броделя каждое замечание по поводу предметов неодушевленных тут же влечет за собой щедрую и плодотворную мысль, относящуюся к людям) — из этого следует, что управление империями XVI века ставило трудные проблемы перед правителями. И прежде всего управление огромной Испанской империей. Империей, которая была в те времена колоссальным предприятием по перевозкам на суше и на море. Можно сказать так: проблема связи. И Бродель совершенно прав, отмечая, что история никогда не ощущала важности этого существеннейшего аспекта испанской проблемы при том, что добрая половина актов Филиппа II объясняется исключительно необходимостью поддерживать связь, обеспечивать транспорт, осуществлять необходимые перевозки денег в каждом из отдаленных углов его королевств. Пути, по которым передвигались войска, денежные документы, драгоценные металлы, непрерывный круговорот (мощь которого я почувствовал в одной из главных перевалочных зон, во Франш-Конте, и она поразила меня в свое время <sup>15\*</sup>) — вот на что была направлена «добрая половина» политической деятельности Осторожного короля, и Бродель объясняет ее с захватывающей ясностью и убедительностью <sup>16\*</sup>. Это История с большой буквы, и это поистине возведение Пространства в ранг действующего лица Истории.

<sup>14\*</sup> Весьма достойно сожаления, что П. Сарделья, который уже много лет пишет замечательный труд о расстояниях и скоростях в начале XVI века, еще не опубликовал его; он окончательно объяснит эти вопросы. Можно испытать предвкушение, прочитав со всем вниманием, какого она заслуживает, статью Сардельи «Экономическая роль новостей в Венеции в начале XVI века» (*Sardella P. Le rôle économique de la nouvelle à Venise au début du XVI<sup>e</sup> siècle // Cahiers des Annales. P., 1947*).

<sup>15\*</sup> *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté. P., 1912. Ch. 25: La Franche-Comté exploitée et sacrifiée. P. 744—745.*

<sup>16\*</sup> «Жить в воображении подле Филиппа II — это значит постоянно держать в мыслях (не правильное ли было бы: „промерять“?) Францию, это пространство, занимающее промежуточное положение (Францию, про которую Антонио Перес писал, что она — сердце владений Филиппа II); это значит — научиться разбираться в организации и снаряжении Французской почты, научиться распознавать в возобновившемся движении курьеров помехи, создававшиеся то здесь, то там нашими религиозными войнами». И все, что написано далее относительно «испанской медлительности». Сказать более пронизательно, более ярко и убедительно — невозможно.

Пространства — поскольку оно оказывает влияние на государства; Пространства — поскольку оно влияет на экономику.

С особой признательностью читатель прочтет страницы 324—347, которые Бродель озаглавил «Экономика и Пространство». Выше я говорил, что он пустился в плавание, не имея самых элементарных Наставлений по навигации. Ибо ни у кого из своих предшественников — я имею в виду историков, писавших ранее, — он не мог найти того, о чем написаны эти страницы, исполненные мыслей и новизны. То же относится и к следующим — «о числе людей»: сколько их было? И, само собою, увеличивается ли их число?

После того как установлены эти основные вехи и масштабы, и установлены тщательно, мы сталкиваемся с проблемами драгоценных металлов, то есть металлических денег, то есть цен, — эти проблемы современники Филиппа II должны были разрешать ежедневно. Но мы уже знаем, как свободно чувствует себя Фернан Бродель среди этих реальностей. Вот перед нашими глазами обращение продуктов первостепенного значения: перца и пряностей, а также пшеницы. С полной убедительностью Фернан Бродель показывает, что вопреки легенде на протяжении всего XVI века продолжала существовать дорога пряностей, протянувшаяся от Ормуза до Алеппо<sup>8</sup>. С полной уверенностью он относит «точные сроки окончательного упадка торговли Дальнего Востока со Средиземноморьем» (с. 447) к временам более поздним, чем 1600 год, то есть «на век позже, чем та дата, которую большинство историков приводят как официальную дату кончины старой королевы Средиземного моря, Венеции, смещенной с трона новым владыкой мира — Океаном».

После того как автор поведал нам обо всем этом, следует ряд глав, посвященных империям, цивилизациям и, наконец, способам ведения войны (в порядке, который я, быть может, мог бы оспорить). Однако, в конце концов, порядок изложения не так уж важен. Важно, чтобы было сказано все, что должно быть сказано в этом разделе книги; там сказано все. Сказано хорошо.

#### IV

Наконец, третья и последняя часть: «События. Политика. Люди». То есть, иными словами, традиционная история. Та, которую Симмиан называл перечнем или хроникой событий. И которая наперекор всем традициям оказывается здесь задвинутой на последний план. На третий. И с полным основанием.

Не потому, чтобы такой истории могло быть поставлено в упрек, будто ей недостает жизни. Напротив. Это «история, полная резких поворотов, стремительных и нервных», — и поэтому увлекательная, богатая человеческим содержанием, порою все еще жгучая; несмотря на века, что прошли с тех пор, жар ее

плохо остыл<sup>17\*</sup>. Но это «поверхностный слой истории». Пена. Гребешки волн, рябь на поверхности мощных дыхательных движений океана. И вот перед нами проходят войны, договоры, перемены политики. Вспышки молний, озаряющих ночь. Кусочки большого разбитого зеркала. Мелкая пыль индивидуальных поступков, судеб, происшествий. Войны. Испанцы против турок. Лепанто<sup>9</sup>. Перемирия между испанцами и турками. Европейские последствия событий на море. Вот Карл Пятый и Филипп II, Пий V, Дон Хуан, Фарнезе, Гранвелла. Великолепные фигуры, которым Фернан Бродель, проходя мимо, не забывает отдать поклон. Но только после того, как он завершил два своих исследования — основательные, долгие и глубокие — «среды» и «общих процессов». Только после того, как он подвел под свою книгу прочное и надежное основание. И тем самым наперед придал «перечню событий» подходящие ему размеры.

Так нужно ли доказывать, как много нового в этом замысле? Это не более и не менее как отражение в структуре книги новой концепции Истории<sup>18\*</sup>. Истории, развертывающейся одновременно на многих этажах, на различных уровнях. Впрочем, они сообщаются между собой, это ясно без слов. Постоянно сообщаются — но различны. Ибо если на место Истории-абстракции хотят поставить Человека — объект истории, то скажем так: это есть логичное и неизбежное завершение процесса разъятия Человека, взятого в его абстрактном единстве, на целую «вереницу персонажей», как говорит Фернан Бродель. Ибо есть человек, отвечающий требованиям географической среды. И человек, который живет в группе и обладает особенностями, свойственными членам его группы. И, наконец, человек, живущий своей индивидуальной жизнью, проявления которой от случая к случаю регистрируются хроникой — предком газеты.

Поистине такое происходит впервые: историк, захватив в охапку огромный ворох собранных им фактов и документов, относящихся к очень крупной теме, — это поистине первый раз, что историк, доводя свою мысль до конца, осмеливается таким вот образом порвать с самыми старыми и почитаемыми традициями, заменив порядок хронологический, четкий и простой, или порядок систематический, чреватый опасностями, порядком

<sup>17\*</sup> Впрочем, из всех разновидностей истории — самая недостоверная. Размышления Марка Блока по этому поводу см.: *Bloch M. Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien* // *Cahiers des Annales*. P., 1948.

<sup>18\*</sup> *Febvre L. Examen de conscience d'une histoire et d'un historien* // *Revue de synthèse*. 1934. Vol. 1, N 2 (repr.: *Combats pour l'histoire*. 2 éd. P., 1953. P. 3–17); *Idem. Propos d'initiations: vivre l'histoire* // *Mélanges d'histoire sociale*. 1943; *Idem. Une réforme de l'enseignement historique: pourquoi?* // *Education nationale*. 1947. 25 sept.; *Idem. Sur une forme d'histoire qui n'est pas la nôtre* // *Annales. E.S.C.* 1947. Fasc. 3 (repr.: *Combats pour l'histoire*. P., 1953. P. 114–118); *Idem. Introduction* // *Morazé Ch. Trois essais sur Histoire et Culture* // *Cahiers des Annales*. 1948.

динамическим и одновременно эволюционным — порядком, который не разъединяет то, что должно быть единым, но позволяет в каждый момент временной последовательности освещать различные уровни, на которых разворачивается действие, — одни через посредство других.

Такой порядок не есть простое размещение как таковое; он иерархичен. Он идет от более глубокого и постоянного к более поверхностному и эфемерному. Впрочем, без пренебрежения к эфемерному. Ибо история «не может быть только большими и пологими холмами времени, только коллективной действительностью, в которой свойства и соотношения устанавливаются неспешно и столь же неспешно сменяются другими. История — это и мелкая пыль событий, индивидуальных жизней, тесно между собой сплетенных — иногда освобождающихся на мгновение, как будто рвутся великие цепи». И Фернан Бродель заключает: «История — это изображение картины жизни во всех ее проявлениях. Это не „избранное“» (с. 721).

Я хотел кратчайшим путем прийти напрямик к самому главному. И решительно подчеркнуть большую новизну замысла, воплощенного с такой ясностью и элегантностью — и к тому же с умной осмотрительностью. Для нас, кто уже двадцать лет в самой гуще борьбы, в «Анналах» (я могу сказать это в стенах дружественного дома, каким для нас является «Историческое обозрение»), — для нас, работавших в полном единодушии, как бы каждый из нас ни прозывался — Марк Блок или Анри Пиренн, Жорж Эспинас или Андре Сайу, Альбер Деманжон, Анри Оэз или Жюль Сион, — я не хочу называть никого, кроме ушедших, — для нас, стремившихся утвердить концепцию истории более живую, лучше продуманную, безусловно более действенную, чем прежняя, и лучше приспособленную к потребностям нашего времени, — для нас это большая радость: увидеть, как наши идеи обретают плоть, как становится реальностью (и делается это столь убедительно, с такою гибкостью и тонкостью ума) образ той Истории, какую нам так нравилось рисовать себе в воображении. Однако и для самой истории это большой успех, благодарное новаторство. Заря нового времени, я в этом убежден.

И мне хотелось бы сказать, особенно молодым: читайте, перечитывайте, обдумывайте эту прекрасную книгу. Подолгу, не торопясь. Сделайте ее своей спутницей. Сколько вы из нее почерпнете нового для вас о действительности XVI века, не считать невозможно. Но какие знания о человеке сообщит она вам — просто о человеке, о его истории, о самой истории, ее истинной сути, ее методах и целях, — этого вы заранее не можете себе представить.

Это не книга, которая учит. Это книга, которая заставляет расти.

## ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ КАПИТАЛИЗМА

Международному историческому конгрессу 1913 года в Лондоне выпала большая удача — получить сообщение крупнейшего бельгийского историка Анри Пиренна. Оно было принято с большим одобрением учеными различных национальностей и взглядов, которые выслушали его в английском переводе; в апреле 1914 года оно было опубликовано в «*American Historical Review*» в доработанном и расширенном виде, с некоторыми изменениями, внесенными самим автором; наконец, оно приняло форму щедро документированного доклада на сорока страницах, и 6 мая 1914 года автор прочел его членам отделения словесности Бельгийской Королевской академии, главою которого Пиренн тогда состоял<sup>1\*</sup>. К несчастью, война началась раньше, чем текст и тщательно составленные примечания могли быть напечатаны в «*Бюллетене*» Французской академии; мы, французы, храним благодарную память об Анри Пиренне, о тех испытаниях, в какие ввергло его вражеское нашествие, о его новом долге перед страной, ибо «*История Бельгии*» Пиренна стала не только фундаментальным творением исторической науки, но и действенным выражением национального духа и самосознания. Короче, труд, законченный Пиренном в 1914 году, стал известен во Франции практически только после перемирия, когда стало возможным его читать и обсуждать.

Он заслуживает изучения, в этом можно быть уверенным заранее — порукой тому самый размах этого труда, многочисленность проблем, которые он ставит, уважение, которым по праву пользуется его автор, всеми признанные научные заслуги последнего и более всего смелость этого произведения. Оно имеет заглавие: «*Периоды социальной истории капитализма*». Истории социальной — запомните хорошенько. Анри Пиренн не пытался написать исследование о происхождении, формировании, эволюции капитализма — расширенное подобие теперь уже давней, но все еще не утратившей значения статьи Анри Озе, который в 1902 году в «*Обзрении политической экономии*» опубликовал свою работу об истоках современного капитализма во Франции; и не повторение сравнительно недавнего эссе Артуро Лабриолы, напечатанного в Турине в 1910 году (издательство Бокка), «*Капитализм, исторические очерки*» — резюме и итог курса, читавшегося автором в Неаполитанском университете.

Нет. Пиренн не задается целью изучить, как образуется капитал, но раскрывает нам происхождение и самую природу владельца этого капитала — правильное было бы сказать: добытчика и владельца капитала — в различные эпохи экономической истории.

<sup>1\*</sup> Доклад был опубликован, см.: *Bulletin de la classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique*. 1914. P. 258—299.

Иными словами, Пиренн предлагает нам исследование не по истории экономической, а по истории социальной в полном смысле этого слова. И ценность этого исследования заключается главным образом в интересной и плодотворной гипотезе. Именно она дала название нашей лекции; сформулированная в 1913 году, перед великим мировым военным потрясением, гипотеза получила, по-видимому, в этих событиях поразительное, неожиданное и грозное подтверждение. И уж во всяком случае, теперь мы бесконечно лучше, чем прежде, подготовлены к тому, чтобы оценить ее истинное значение и возможности ее дальнейшего развития.

Основной тезис отличается четкостью и ясностью. В общем и целом среди историков и экономистов ныне существует согласие насчет того, что в экономической истории политических образований Западной Европы можно выделить некоторое число хорошо очерченных крупных периодов; перепутать их невозможно. Давайте примем то деление, которое предлагают нам специалисты, не вдаваясь в дискуссию относительно признаков, характеризующих эти периоды, или их границ, и тогда мы обнаружим факт, поразительный с точки зрения социальной истории: каждому из этих различающихся между собой периодов соответствовала своя особая разновидность капиталистов.

Капиталисты какой-либо эпохи, те, что появляются тогда, когда эта эпоха сменяет предыдущую, — те, что, так сказать, возвышаются вместе с нею и в известной степени ее воплощают, — никогда не бывают сыновьями, наследниками, прямыми преемниками видных капиталистов непосредственно предшествовавшего периода. Напротив. Есть, по-видимому, общий закон — как только успех достигнут, сыновья тех, кто, работая локтями, рискуя напропалую, бросался в схватку (как правило, не соблюдая правил), стали победителями своей эпохи, научились использовать ее для своего обогащения, — сыновья их выходят из борьбы или сами, или их наследники. За одно или два поколения (здесь все зависит от обстоятельств) они превращаются в конечном счете в денежную аристократию, более или менее удалившуюся от дел или в лучшем случае принимающую участие в делах лишь в качестве вкладчика денег.

Иными словами, все происходит так, словно эти капиталисты, финансовые короли или наследники финансовых королей определенного периода, держатся во главе делового мира совершенно естественным образом до тех пор, пока общие условия рынка и товарооборота, условия жизни продолжают оставаться прежними, именно теми, что служат историкам для характеристики данного периода. Но как только условия становятся иными, эти люди оказываются неспособными (или менее способными, чем другие) последовать за неизбежными изменениями и приспособиться к ним. На их место выдвигаются новые люди. Благодаря своим достоинствам и в равной мере порокам они без труда, естественно

и стихийно, оказываются приспособленными к своей эпохе. Это они «пользуются», как говорил Рабле; они владеют секретом, начав с нуля, создавать колоссальные состояния, предосудительные с точки зрения мелкого и среднего люда; они накапливают капитал, поднимаются к могуществу, которое дается богатством, и царствуют — до тех пор, пока, в свою очередь, их потомки, оказавшись жертвами развития, которое никогда не останавливается, не уступят место другим, более ловко эксплуатирующим потребности, до той поры неведомые, приемами и методами, дотоле не применявшимися; однако и их потомки, когда придет черед, уступят поле битвы другим, которые вытеснят их, будучи стяжателями капитала, если можно так выразиться, активными капиталистами, капиталистами в движении на подъеме, которые в скором времени достигнут полноты могущества — в отличие от «прежних» капиталистов, пресыщенных, усталых и, помимо всего прочего, сбитых с толку новыми нравами и новыми требованиями; «прежние» озабочены теперь только тем, как удержать и упрочить то, что осталось у них в руках, чтобы тратить и наслаждаться, и становятся, если можно так выразиться, обладателями почетного звания, лестного, но почти не связанного с какой бы то ни было деятельностью.

В некотором смысле капиталистами не бывают по наследству — от отца к сыну; скажем точнее: не бывают по наследству собирателями, приумножателями капитала. И каждая эпоха имеет таких капиталистов, каких она заслуживает, — сделанных по ее мерке, по ее образу. Мы не видим медленного и плавного возвышения; вместо этого — ряд ступеней. То здесь, то там — лестничные площадки той или иной протяженности: это утверждается новая генерация богачей. И борьба, которую она неизбежно затевает не только против бедняков и против кандидатов в богачи, ею подавляемых, но и против «прежних богачей» (независимо от того, сохранили они крупные капиталы или же их достояние быстро уменьшается, словно тает в новой среде), — картина этой борьбы является до настоящего времени одной из наименее изученных в общей истории, но, безусловно, наиболее любопытных и достойных изучения.

Такова центральная гипотеза мемуара Анри Пиренна, таково основное положение, которое требуется доказать. Факты общей истории экономики, во всяком случае те, что известны нам в настоящее время, — подтверждают ли они или опровергают это положение? Такой вопрос возникает сразу же. Очевидно, чем шире будет круг доказательств, чем больший период сможем мы рассмотреть, тем доказательства будут убедительнее. Теоретически лучше всего было бы начать с античности. Но история античной экономики до сих пор настолько плохо известна, ее связь с последующими периодами до такой степени ускользает от нас, что искать и обрести там надежную основу невозможно. Приходит-

ся обратиться к средним векам. Именно на развитии экономической истории, какую она известна нам от начала средних веков, Пиренн пытается основать доказательства своей исходной гипотезы.

Однако тут же возникает серьезное возражение. Что может дать история раннего средневековья для подтверждения основного положения истории капитализма или, точнее, капиталистов?

Поистине своего рода аксиома, что современный капитализм родился во времена Возрождения и что средневековье его совершенно не знало. Это тезис не только Зомбарта, автора большой книги о современном капитализме «*Der moderne Kapitalismus*», третье издание которой ныне вышло в свет; в своих книгах, полных противоречий и вздора, но всегда интересных и порой поучительных, Зомбарт, как известно, отказывает средневековью в каком бы то ни было знакомстве с капиталистической экономикой. Строго говоря, более важно то, что такова же точка зрения Карла Бюхера.

В своем «Происхождении экономики», которое Пиренн, кстати, некогда поручил перевести на французский язык одному из своих учеников, Ансею<sup>2\*</sup>, Бюхер, методически описывая средневековую экономику (сделал он это ярко и захватывающе), обошел полным молчанием деятельность, роль и самое существование капитала.

Мы знаем его основную концепцию и что он выделяет три последовательные стадии в эволюции европейской экономической жизни. Вначале была стадия замкнутой домашней экономики. Никаких обменов. Все производится в семье, семьей, для семьи. Это экономика раннего средневековья. Конечно, тогдашняя «семья», бывало, принимала такие размеры, что могла охватывать обширные домициальные владения, куда входили земли королевские, земли знати и духовенства, обрабатываемые держателями и зависимыми людьми; несомненно также, что раннее средневековье в конце концов узнало и обмен — рудиментарный и ограниченный — некоторых естественных продуктов и некоторых изделий, обладавших значительной стоимостью. Однако это никак не влияет на общую экономическую систему, которая в основном продолжает оставаться закрытой; не было в те времена ни предпринимательства, ни капитала — в смысле накопления ценностей с целью приобретения новых ценностей. Такие категории, как промышленный капитал, торговый, ссудный, оборотный капитал, совершенно не встречаются в раннем средневековье.

От этой стадии осуществляется переход к следующей — к стадии прямого обмена или городской экономики, когда производят, имея в виду определенную клиентуру, а не для семейной

<sup>2\*</sup> Bucher K. Etudes d'histoire et d'économie politique. Bruxelles; P., 1901.



группы. Город был укреплением — бургом. Он становится впридачу рынком. И закон этого рынка содержится в двух формулах:

А. Непосредственный обмен между производителем и потребителем: деньги служат только для того, чтобы покрывать разницу, любое вмешательство посредников по-прежнему категорически запрещено.

В. Монополия на производство обеспечена жителям города, в городе, для жителей самого города и небольшого территориального округа, к нему примыкающего. Жители последнего, защищенные аналогичной монополией, несут на рынок свою продукцию — масло, сыр, яйца, чтобы обменять их на изделия горожан: главным образом орудия труда и другие произведения ремесла. И здесь деньги продолжают служить только для покрытия разницы. И для капитализма — во всяком случае, для развитого капитализма — нет места. Ибо, если в те времена он и проникал кое-куда порою, вкрадывался (робко, почти скрытно), то благодаря некоторым сделкам особого рода, например если каким-нибудь ремеслом в данном городе не занимались. Тогда в этот город поступали предметы, произведенные в другом месте, — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для К. Бюхера капитализм не существует, не может существовать иначе как на стадии национальной экономики, установление которой совпадает с возникновением больших современных государств, больших централизованных держав, что приводит нас во времена, приблизительно соответствующие Возрождению. Теперь речь идет о производстве не для семьи, не для города, но для нации. Иными словами, рынок из городского становится национальным. И тогда — видимое проявление такого расширения рынка — появляются крупные ярмарки вроде Франкфуртской. И равным образом тогда же капитал набирает силу и развивается свободно; он уже не удовлетворяется ролью торгового капитала; он становится предпринимательским капиталом для местной промышленности, которую он стимулирует, которую он побуждает к расширению производства с разделением труда и сосредоточением большого количества работников на мануфактурах или на фабриках, в те времена уже значительных.

В общем такова была уже концепция Карла Маркса. Для него тоже, он об этом говорил специально в двадцать четвертой главе третьего тома «Капитала», капиталистическая эпоха начинается XVI веком. Ей предшествовал переходный период, бывший свидетелем того, как в некоторых городах Средиземноморья в XIV и XV веках возникали первые разрозненные очаги капиталистического производства. Но истинное начало — это век Возрождения и Реформации, и именно там стремился найти его Маркс.

Что же касается Анри Пиренна, то он решительно занимает позицию, противоположную этим тезисам, и в частности положениям Карла Маркса <sup>1</sup>.

Неверно, говорит нам Пиренн, что средние века — эпоха бескапиталистическая. Капитализм в средние века существовал, в том числе в первом раннем периоде средневековья, откуда Бюхер изгоняет его наиболее решительно, — капитализм проявлял себя с энергией, с силой и свободой, о которых мы и не подозреваем. А доказательство то, что во втором периоде, который продолжался от конца XIII до конца XV века, человеческие коллективы принимали многочисленные и тщательные предосторожности разного рода, чтобы защититься от капитализма. Ведь не станут же защищаться от того, чего не существует и что не опасно?

Иными словами, с точки зрения К. Бюхера, средние века делятся на две последовательные эпохи: первую, в которой капитализм полностью отсутствует, и вторую, когда он отсутствует почти полностью; на взгляд Пиренна, напротив, в первую эпоху наличествовали в значительно большем числе, чем мы думаем, выраженные проявления капитализма; а вторая знала, что такое капитализм, настолько хорошо, что была в общем и целом вполне антикапиталистической...

На что опирается утверждение бельгийского историка? Главным образом на две серии фактов. Одни из них — итальянского происхождения. Он почерпнул их из экономической и социальной истории средиземноморских республик — Венеции, Генуи, Флоренции, Пизы и т. д. Другие факты — фламандского происхождения; он черпает из богатого источника, питаемого архивами могущественных городов, принадлежавших Нидерландам: Гента, Ипра, Брюгге, Турне и Дуэ. По мнению Пиренна, ошибка Бюхера, начало и корень его заблуждения — как раз в том, что немецкий ученый опирался только на немецкие факты, на свои познания (хотя и немалые), относящиеся к немецким городам XIV—XVI веков. Большинство же германских городов той эпохи было далеко от уровня развития, которого достигли в те времена крупные коммуны Северной Италии, Тосканы и Нидерландов. Германские города представляют нам не классический пример средневекового города (как слишком часто полагали и утверждали), но образец не вполне развитых и отсталых средневековых городов. Выводы Бюхера безукоризненны, если они распространяются исключительно на германские города, которые он изучил. Они становятся несостоятельными, как только их пытаются распространить на все средневековые города Запада.

Это очень тонкое критическое замечание. Но что же представляет собою на самом деле первый период средневековой истории, который, по словам Пиренна, характеризуется относительно большой капиталистической активностью? Откуда происходят, как выглядят, чем объясняются проявления этой активности, которые так поразили бельгийского историка?

С момента возникновения европейских городов, говорит он нам, эти проявления можно захватить с поличным. Города — де-

тища торговли. Из этого с необходимостью следует, что первые капиталисты должны были жить в XI, XII веке — и это были торговцы.

Нужно вспомнить, что в те времена богатством (если можно так выразиться — естественной и нормальной формой богатства) было в основном владение землей. Доходы, которые землевладельцы получали от своих держателей или арендаторов земли, давали им огромное социальное могущество. Однако это могущество не было в их руках эффективным экономическим орудием; из того, чем они владели, они ничего не пускали в торговый оборот. Торговлей, напротив, занимались люди новые, лишенные корней — по большей части сельские жители, сбежавшие от деревенской эксплуатации, чтобы поискать счастья там, где грузят и выгружают товары, где тянут бечевою суда, где есть возможность заработка и барыша благодаря тому, что появился и набрал силу новый и живучий организм — торговый *portus* [здесь: предместье], прилепившийся к феодальному замку. У этих людей не было начального капитала: разве могло быть иначе? Их величайший, их единственный капитал — это ум, это, говоря точнее, коммерческая хватка, активность, практическая сметка. Их главный способ наживы — морская торговля, торговля с другими странами — торговля, связанная с передвижением и требующая коллективных действий, ибо, чтобы иметь возможность отбить нападение, нужно объединиться; торговля караванная, когда продажа и покупка товаров производятся сообща, а распределение прибыли соразмерно вкладу каждого, — это уже дух торгового общества, который столь пышно расцветет позднее, на пороге нового времени. Это оптовая торговля; мелкая розничная торговля была предоставлена сельским разносчикам товаров, убогим корабейникам, шагающим пешком порядком по опасным дорогам.

Странные фигуры появляются в текстах того времени — можно сказать, почти случайно, ибо раннее средневековье в общем мало помышляет, надо полагать, о социальной истории и интересах историков. Однако вот, например, любопытная история одного святого — на нее ссылается Пиренн — святого Годрика из Финшала, о котором мы можем узнать довольно много из «Книжицы о житии и чудесах св. Годрика», написанной благочестивым монахом. Крестьянский сын, родившийся в конце XI века в Линкольншире, он сделался сначала, за неимением лучшего, береговым бродягой и собирателем того, что выбрасывает море: подходящее занятие для голодранца. Не это ли ремесло доставило ему средства закупить мелкого товару и стать разносчиком? И вот он в дороге — крутящийся камень, к которому вопреки поговорке пристает немного мха\*, ибо биограф рассказы-

\* Французская поговорка: «Pierre qui roule n'amasse pas de mousse» — крутящийся камень мохом не обрастает. (Здесь и далее звездочка означает примечание переводчика.)

вает нам, как Годрик, войдя в компанию с очень богатыми и сильными торговцами, становится участником одного из тех торговых караванов, о которых мы говорили выше, и вместе с сотоварищами ходит с ярмарки на ярмарку, с рынка на рынок, ведя суровую жизнь странствующего *negociator*'а [торговца] и авантюриста той эпохи, когда не было ни жандармерии, ни централизованной власти. В скором времени он уже может вместе с несколькими компаньонами нанять судно и пуститься в каботажное плавание вдоль берегов Англии, Шотландии, Дании, Фландрии, перевозить за границу товары, которых там не хватает, продавать их по дорогой цене, а на вырученные деньги приобретать товары, которые он будет сбывать там, где спрос превышает предложение. Так за несколько лет мудрое обыкновение покупать задешево и продавать втридорога сделало Годрика человеком невероятно богатым. Ему оставалось только обратиться в христианство, чтобы украсить эту историю, и стать отшельником, и он не преминул сделать это.

Кто такой Годрик? Анри Пиренн отвечает без колебаний: это капиталист,— объявляет он без обиняков. «Годрик предстает перед нами как оборотистый торговец, я бы сказал даже — как спекулянт, заключает он (с. 275).— У него безошибочное коммерческое чутье, практическая сметка, которую, впрочем, можно встретить у людей некультурных. Он горит стремлением к наживе, и в нем отчетливо проявляется пресловутый *spiritus capitalisticus* [капиталистический дух] (нас хотели уверить, что дух этот появился только в эпоху Возрождения)... Его не волнует теория справедливой цены, и декрет Грациана<sup>2</sup> в ясных и недвусмысленных выражениях осуждает привычные для Годрика спекуляции. После всего этого какие могут быть сомнения в том, что Годрик и все, кто вели такой же образ жизни, были не кем иным, как капиталистами?»

Пример в самом деле убедительный, следует это признать. И появление в XI веке, да еще в Англии, фигуры, которая, если напрячь воображение, поможет вспомнить о таких крупнейших центрах капиталистических предприятий, как Жалюзо и Коньяк во Франции, и обо всех их основателях — о Пирпонтэ Моргане и других миллиардерах Соединенных Штатов, у которых начальным капиталом были только ум, энергия и практическое чутье,— появление Годрика, скажем прямо, несколько неожиданно и весьма любопытно.

Какое же применение находили капиталу, накопленному таким путем, в те отдаленные времена, которые мы до самых последних лет считали как раз совершенно не ведающими о капитализме и его проявлениях (ошибочно полагая капитализм отличительной чертой нашей эпохи),— какое употребление находили капиталу торговцы, чьи следы г-н Пиренн обнаружил в текстах, на которые он ссылается?

Прежде всего они заставляли капитал работать. Они не оставляли его лежать втуне на дне сундуков. Они его одалживали — и у них с самого начала не было недостатка в должниках: государи, города, монастыри, знать. Но они и консолидировали капитал, превращая его в пахотные земли, луга, виноградники, дома. С начала XIII века городские земли почти целиком находятся в руках патрицианской аристократии, о которой в текстах говорится не иначе как с почтением. Кто они? Без всякого сомнения, потомки дерзких путешественников, члены гильдий и ганз XII века. Существовала некогда теория, которая изображала нам их прямыми наследниками древних обитателей, укрепившихся в *civitates* [городах] и *castra* [укреплениях] франкской эпохи. На самом же деле их богатство родилось из торговли. Имеется множество текстов, которые показывают нам, как торговцы того времени тратили свои доходы на покупку земельной собственности. При этом они совершали небызыгодную сделку, так как непрерывный рост городского населения вызывал соответствующее увеличение земельной ренты в черте города. Поэтому с начала XIII века внуки кушцов, собственными руками создавших свое богатство в XII веке, частенько полностью забрасывали торговлю с ее трудностями, превратностями и риском и довольствовались беспечальной жизнью на доходы от своих земель. Отказавшись от кочевой жизни «караванщика», поселившись в горделивых каменных домах с зубцами и надменными башнями, они берут в свои руки управление городом; иногда они даже роднятся с мелкой местной знатью. Во всяком случае, начиная с этого времени, они неукоснительно придерживаются основных обычаев и порядков «благородной жизни». Внуки нуворишей, они забыли своего предка, который бегал босиком по морскому берегу в поисках случайной находки или таскал за плечами тяжелые тючки с заморским товаром. Теперь это люди старинного богатства, почтенные, культурные и прочно утвердившиеся. И они яростно презирают тех, кто в скором времени вытеснит их, — нуворишей XIII века.

В самом деле, наступили новые времена. Поэтому неизбежно явились и новые люди.

Будучи поначалу простыми торговыми организмами, города понемногу превращаются в организмы производственные — по крайней мере некоторые из городов, и эта перемена имеет очень важное значение. Конечно, все города изначально содержали в себе небольшое ядро ремесленников. Но эти ремесленники работали только на местное потребление. С того дня, как благодаря торговле начался приток сырья в промышленных количествах в определенные центры, — с этого времени работники, которые также стекались туда со всех сторон, могли приступить к созданию настоящего производства, работающего на внешний рынок. Так было, например, — случай этот широко известен —

с фландрским сукноделием. Впоследствии между городами произошло своего рода размежевание. Или, точнее, возникла целая категория второстепенных городов, которые пробавлялись местной торговлей, владея местным рынком и его эксплуатирова; и наряду с ними несколько крупных и могущественных городов с обширной сферой влияния стали европейскими рынками, настоящими международными рынками.

Города с местным рынком неизбежно и довольно скоро, естественным ходом событий, стали организмами антикапиталистическими. Среди их горожан не было ни крупных предпринимателей, ни крупных торговцев; самое большее — несколько купцов, покупающих оптом на рынках больших городов, с тем чтобы продать в розницу на местном рынке. А в основном — лавочки без больших доходов и без больших амбиций, узколобые и ограниченные; им нужно только одно: мерами строгого протекционизма оградить себя от внешней конкуренции и на веки вечные обеспечить удовлетворяющий их скромный достаток, установив к своей выгоде режим монополии — бесхитростный и в то же время очень сложный — посредством суровой регламентации, определяющей внутри городской черты положение и долю участия каждой группы ремесленников и торговцев, живущих в городе, а внутри каждой группы — положение и долю каждого участника, получившего свое место в иерархии.

Напротив, в больших городах, в центрах производства и экспорта, имевших всемирное значение, — там капитализм не только наличествует, но и развивается, стремительно совершенствуясь. Появляются средства кредита: доверенности, векселя. Развивается торговля деньгами. Ярмарочное обычное право порождает настоящее коммерческое право. Денежное обращение расширяется и становится более упорядоченным. Возобновляется чеканка золотой монеты; торговля становится более безопасной; улучшаются дороги; грандиозные торговые сооружения вроде крытого рынка в Ипре, о котором ныне сохранилось только воспоминание, свидетельствуют о том, что новые дрожжи бродят вовсю.

Разграничение двух категорий городов — весьма интересно и полезно. Оно позволяет А. Пиренну установить, в каких границах справедлива теория Бюхера. К городам с местным рынком — только к ним одним, говорит он, применима теория городской экономики, как ее сформулировал немецкий экономист. Остроумное замечание, подчеркивающее, что Пиренн отметил ранее: относительную отсталость крупных германских городов, на изучении которых основывался Бюхер. В то же время Пиренн отмечает следующее: проявления узкопротекционистского, монополистического, антикапиталистического духа в городских образованиях второй категории — тенденция новая. Это замечание Пиренна служит одновременно подтверждением тому, что он

пытается обосновать, говоря об особенностях первого периода средневековья.

В ту эпоху не было регламентаций сдерживающего и запрещающего характера. Торговец был свободен в своих действиях. Годрик не был обязан ограничивать себя тем или иным видом торговли; за ним не следили, его не стесняли, не обуздывали, его инициативу не сдерживали поминутно регламентациями, имеющими силу закона. Ему были ведомы только ограничения, налагавшиеся свободной и жестокой конкуренцией, враждебностью соперничающих гильдий и ганз, а также примитивными еще условиями торговли, в особенности примитивной организацией монетного и банковского дела. Эти времена кончились. Ибо даже в больших городах, широко распространивших свое влияние, в городах — носителях активного и беспокойного капиталистического духа, где капиталисты большого размаха появляются сотнями, вырастают они не беспрепятственно. При всем своем могуществе они наталкиваются на муниципальное законодательство второстепенных городов и даже крупных городов; с ним приходится считаться. Они сталкиваются также с сопротивлением ремесленников, которые иногда объединяются: например, ткачи и сукновалы Фландрии объединяются, чтобы защитить свои заработки. Капиталистов прокликает Церковь, которая ужесточает свои канонические запреты, направленные против их занятий, против их «ростовщичества». Все это создает новые условия, совсем иную экономическую атмосферу, чем в предшествующую эпоху. В некотором смысле торговая жизнь становится более затрудненной, менее свободной, менее независимой, чем в XII веке.

Эти перемены окончательно отвращают от торговли прежних коммерсантов, постепенно превратившихся в патрициев. Они освобождают место для новых людей, обладающих иными качествами, иными талантами, нежели те, благодаря которым были основаны городские династии заканчивающегося XII века. Компаньоны и сотоварищи Годрика находили применение своим способностям и сноровке — в свободной торговле на суше и на море; новые люди должны были употреблять свои таланты на то, чтобы обходить препятствия, которые ставились городскими регламентациями и церковными запретами на пути к быстрому и непомерному обогащению. Другие времена, другие условия, другие свойства духа, другая генерация новых богачей. Они вырастают из ловких предпринимателей, из работодателей, из посредников, особенно из банкиров, спекулирующих на непрерывно растущей нужде в деньгах у королей и государей, спекулирующих бесстрашно и бессовестно; но и они порою терпят катастрофу...

Так течет человеческая река, спокойная и плавная на длинных плесах, переходящих один в другой. Затем вдруг стремнина, водопад, водовороты и обратные течения — и снова возвращается спокойствие, открывается новый плес и воды растекаются вширь.

На этот раз перемены произойдут в конце XV — начале XVI столетия: мы знаем, что это — подлинная революция. Все сразу: великие морские открытия, которые изменяют направления потоков торговли; формируются великие монархические государства и вступают в борьбу за гегемонию; великие денежные кризисы, приток драгоценных металлов, изменение масштаба цен, наконец, усиление государственной власти, которая постепенно берет верх над городами, суживает их политическое влияние и в то же время избавляет торговлю и промышленность от сковывавшей их опеки. С протекционизмом и исключительными привилегиями местных буржуа покончено. Эти последние, конечно, сопротивляются; они защищаются. Но сколько возникает новых центров рядом со старыми (которые охраняют привилегии)! Новые города свободны от всех мелочных регламентаций и быстро перерастают старые, которые чахнут и погибают от рутины. Это, например, Вербье в льежских землях; это — самый знаменитый пример — свободный Антверпен, сбросивший с трона регламентированный Брюгге...<sup>3</sup>

Дух свободы, ничем не стесняемой, почти безграничной, веет над миром. Личность, индивид может дерзать беспредельно. Это относится к области духа и в такой же степени справедливо в сфере обогащения. Разнuzданные спекуляции и здесь, и там. Только и слышно, что о монополиях, перекупке, ростовщичестве, а также о банкротствах, кражах, убийствах. Золотая лихорадка овладевает всем миром. И вырастает многочисленное поколение новых богачей, со всею силою воплощающее в себе тенденции эпохи. Выскочка — некто Жак Кёр, и некто Якоб Фуггер, и Гаспар Дуччи из Пистойи, и Кристоф Плантен, сын простых крестьян из Турени. И множество других.

Между ними и «богачами» предшествующей эпохи — никакой связи. Эти последние, сбитые с толку новыми условиями, приведенные в замешательство ветрами свободы и вседозволенности, сразу распатавшими старые установления и регламентации, под сенью которых они взрастили свои богатства, — «старые богачи» мудро вышли из схватки: они купили земельные владения и упрочили свое положение браками с дворянством. Любопытное чередование (заметим в скобках) эпох свободы и регламентации. Они регулярно сменяют одна другую: после свободы XI и XII столетий — зарегулированная городская экономика; свободное развитие странствующей торговли в XIII и XIV веках приводит к жестко упорядоченной городской торговле, в той или иной степени монополизированной. А эта последняя, в свою очередь, уступает место необузданной вольности XVI столетия; однако индивидуалистическому взлету Возрождения наследует не что иное, как меркантилизм<sup>4</sup>, а регламентации этого последнего исчезнут в конце XVIII — начале XIX века в победоносном и всесокрушающем подъеме великого современного капитализма,



не ведающего ни законов, ни ограничений; он тоже был делом рук выскочек, новых людей, «сделавших себя собственными руками»: Ротшильда, Крунна, Шнайдера, Пежо, Кокрелла, Лаф-фитта — все они начинали с нуля, имея в качестве капитала только свой ум: особого рода ум, не тот, что у интеллектуалов, чей ум может не иметь ничего общего с таковым капиталиста; ум полностью практический, особое и изощренное чувство выгоды, умение пользоваться случаем и идти на хорошо рассчитанный риск.

Короче: имеем ли мы дело с прямолинейным, непрерывным и равномерным движением? Ни в коем случае. Последовательность рывков, разорванная кризисами, рывков, независимых один от другого, ибо они не имеют продолжения.

Такова важнейшая гипотеза, или, точнее, такова совокупность искусно сформулированных и согласованных между собой гипотез, представленных в замечательной работе Анри Пиренна.

Одно не вызывает сомнений. Когда Пиренн — вслед за другими и вместе с другими учеными, которых он не забывает процитировать, — когда он выступает против чрезмерной абсолютизации, которая свойственна схеме Бюхера, он прав, тысячу раз прав; и он сделал полезное дело, указав на слабости одной из самых соблазнительных и умело построенных теорий. Факты, которые привлекает Пиренн, когда их собрали воедино и сопоставили друг с другом, выглядят по-новому, даже если они сами по себе и не новы. В сущности, это великолепный и естественный ответ наблюдателя (притом наблюдателя выдающегося и поразительно пронизательного) теоретику. Это — я не скажу «конфликт», но плодотворное сотрудничество историка и экономиста, из коих первый уточняет и совершенствует слишком жесткие, негибкие и слишком общие теории второго.

Однако должен признаться: когда слова «капиталист», «капиталистический» употребляются применительно к людям XII века и их делам, что-то во мне все же протестует. Ибо если придавать этому термину смысл очень неопределенный и очень общий, то становится возможным говорить если не о капитализме, то о капиталистах не только в XII веке, но и гораздо раньше, в античности и во времена еще более отдаленные; уже давно один из критиков Маркса, Слонимский, так возражал автору «Капитала»: «Отчуждение трудящихся от средств производства, составляющее основу и сущность капитализма, — это явление экономической жизни, которое обнаруживается уже в самой ранней античности; и приписывать его только совсем недавней эпохе, которая начинается XVI столетием, — значит игнорировать историю»<sup>5</sup>. Все это говорит о том, что нужно условиться, как определять капитализм. Ибо действительно все зависит от этого.

Пиренн же исходит из определения, взятого им в неизменном виде у Зомбарта. Капитализм существует там, говорит нам этот последний, «где есть собственность, эксплуатируемая своим владельцем с целью воспроизводства с прибылью». А. Пиренн пишет, что он позаимствовал формулировку Зомбарта прежде всего потому, что находит ее очень точной, но также и затем, «чтобы избежать подозрений, будто он, Пиренн, дает такое определение капитала, которое работает на его тезис». В самом деле, мы уже вспоминаем, что Зомбарт, безусловно, не может быть причислен к признанным сторонникам пиренновского тезиса; совсем наоборот. Однако, нам кажется, стоило задать себе вопрос — законно ли это или, во всяком случае, разумно ли, если историк заимствует у экономиста определение, подобное тому, что мы приводим выше, — определение чисто экономическое, которое может быть превосходным с точки зрения экономистов, с их особым подходом к явлениям, но годится ли оно для историков?

Из этого не следует, что мы утверждаем, будто есть два капитализма, подобно тому, кто провозгласил некогда, что существуют две морали<sup>6</sup>. Однако мне хочется сказать (извинившись, впрочем, за то, что затронул столь важный вопрос): если существует одно или несколько определений капитала, выработанных экономистами, исполненных точности и смысла, — определений, коих историк не имеет права не знать, — то, наверное, существует, помимо них, и историческое понятие капитализма, которое не укладывается точно в экономическое понятие капитала. Историческое понятие сложнее; кроме того, оно более живое, значительно менее строгое логически, но гораздо богаче конкретным содержанием. Иными словами, отправляясь в столь дальнюю дорогу, следовало бы, наверное, попытаться несколько глубже проникнуть в психологию капитализма или, точнее, капиталиста — правильно определить природу сознания современного капиталиста, которое в основном сводится к тому, чтобы делать деньги — не для того, чтобы их тратить и жить широко и беззаботно (это было бы полным отрицанием самого капиталистического духа); но добывать деньги для того, чтобы сберечь их, чтобы, ограничив, если нужно, свои потребности, вложить побольше денег в дело и снова заставить их работать, воспроизводиться и умножаться.

Что же касается главного тезиса А. Пиренна — его общей концепции эволюции капитализма, каковая, по его представлению, не была плавным, непрерывным, последовательным развитием, но серией отдельных рывков, а также того, что он ввел в историю нувориша, нового богача, которого он считает естественным и необходимым катализатором истории, — здесь можно только вознести хвалу и принять положение Пиренна безоговорочно.

Достоинства гипотезы измеряются вытекающими из нее след-

ствиями; до настоящего времени ни одно из тех, что могли бы вытекать из изложенной выше гипотезы, не было изучено и подтверждено. Это еще одна причина указать на те следствия, которые, как нам представляется на первый взгляд, должны быть тщательно изучены прежде всех прочих. И в первую голову такое: если в самом деле каждому периоду экономической истории соответствует новая разновидность капиталистов, то стоило бы внимательно изучить, какое влияние могло оказать появление поколения «новых богачей» определенного типа в хорошо известном и доступном для изучения обществе — какое влияние могли они оказать на общую ориентацию этого общества, на его умственную и нравственную жизнь.

Возьмем один лишь пример. Это факт, что в конце XV — начале XVI века, в то время как приходят в упадок династии предпринимателей, посредников, торговцев, финансистов, которые с выгодой умели использовать экономический режим, возникший в XIII веке и породивший новые условия, перед нами предстает поколение новых людей, выскочек, новых богачей, воодушевленных духом свободы и безудержной конкуренции, презирающих традиции, «упоенных своею ловкостью», без зазрения совести предающихся чудовищной лихорадке спекуляции и наживы — именно ей был обязан своим поразительным, пугающим душу размахом Антверпен, великий капиталистический рынок той эпохи. Однако, когда мы отмечаем характерные черты этого поколения (столь своеобразные и выразительные), не означает ли это, что мы в какой-то мере задаемся самою проблемой Возрождения и еще более — проблемой Реформации? Многие пытались установить, какое влияние оказывали религии, например протестантская или иудейская, на экономическую жизнь своих приверженцев<sup>7</sup>. Думаю, что занятие это довольно пустое; в основе его лежат многие заблуждения или допущения. Несомненно, было бы полезнее задать себе вопрос, каким могло быть влияние экономического сознания людей в различные эпохи и в различных обществах на религии, которые этими людьми исповедовались. И тогда, быть может, нашли бы, что влияние это было немалым, и, может быть, пришли бы к выводу (если говорить о XVI веке), что Реформация, несомненно и безусловно, обязана частью своих особенностей и частью своего успеха новым богачам, сознание и психология которых так хорошо согласовались с некоторыми чертами нового учения, ибо хорошо известно, что как в Нидерландах, так и во Франции и в других местах эти люди, как правило, — среди наиболее решительных и ярых сторонников Реформации.

Последнее замечание. Одно из возможных крупных благодетельных великолепной теории Пиренна и, несомненно, не самое малое — то, что она позволяет нам избавиться от одного из неуклюжих, нечетких и докучных понятий, которое тяжким грузом

висит на нашем представлении о социальной эволюции: понятия «буржуа».

Не было шагающего сквозь историю «класса буржуазии», цельного, компактного, единообразного, который возник в средние века, укрепился и развился понемногу, в особенности начиная с XVI века, рос медленно в XVII и XVIII, расцвел и развернулся внезапно на пороге XIX века и наконец охватил весь мир своим современным могуществом и величием. Общий обзор социальной эволюции капитализма, сделанный Пиренном, убеждает нас, что схему нужно детализировать и что следует внимательнее изучать реальность. Заключение самого бельгийского историка звучит так: «Всякий класс капиталистов одушевлен поначалу духом прогресса и новаторства, но становится консервативным по мере того, как деятельность его упорядочивается». Это значит, что продемонстрировано разнообразие там, где слишком многие тяжеловесные конструкции пытаются насадить искусственное единообразие. Но даже приведенная выше формулировка, вероятно, слишком щадит прежнее представление о классе буржуазии, якобы составляющем единое целое в каждую эпоху, о классе капиталистов, едином и сплоченном в каждой стране, в каждый момент исторического развития. В действительности же, как это следует из очерка Пиренна, всюду и всегда одновременно сосуществуют разные классы буржуазии, очень различающиеся по своему поведению, сознанию, даже экономическому положению; реальность заключается в том, что чаще всего имеется отчетливо выраженный конфликт между старыми и новыми богачами, между традиционалистами и наследниками, с одной стороны, и новаторами без рода и племени — с другой.

Язык, которым пользуется социальная история, не учитывает этих противостояний. Он знает одно только слово «буржуазия» и применяет его без разбора к обществам и группам, разительно между собой несхожим. Это означает, что наш социальный анализ еще весьма груб. В языке существует одно только слово — потому, что разум располагает только одним понятием. И именно поэтому труды выдающегося ученого-историка Бельгии невозможно переоценить; они могут, они должны стать отправным пунктом новых исследований и новых, более точных концепций, к которым они возродили живой интерес как у закоренелых рутинеров, так и у тех, кто идет впереди.

## КАПИТАЛИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ

Обширная и глубокая проблема связей и соотношений между капитализмом и Реформацией — проблема, породившая столько частичных решений и продолжающая ставить перед нами столько вопросительных знаков, — кто первым выдвинул ее? Ответим без колебаний — Карл Маркс. Он был, безусловно, пропагандистом, стремившимся установить новое общество на новых основаниях; был он и историком, или, если хотите, философом истории, и его взгляды лежат у истоков, у отправной точки многих наших самых «новейших» спекуляций на исторические темы. Разве не он первый, исследуя исторические корни капитализма, ткнул пальцем в XVI век и сказал: ищите здесь? Мысль прозорливая, интуитивная — в его времена вполне могла показаться революционной; с тех пор она господствует во всех наших концепциях.

Одновременно Маркс отметил и другое. XVI век был свидетелем не только рождения капитализма. Этот героический XVI век видел также Возрождение наук и искусств, Реформацию старинного христианства, национальную политику, проводимую национальными королями и противостоящую средневековому интернационализму ученых богословов и людей Церкви. Разобобщение? Нет, отвечает Маркс. Совокупность. Единство. Ибо революция в политике, революция интеллектуальная, революция религиозная — все это вытекает из одного и того же явления, направляющего и господствующего: экономической революции. Формируется капитал. И, формируясь, он порождает капиталистическое сознание. Он диктует капиталистическую политику. Он придает капиталистическую окраску мыслям, чувствам и верованиям. Политические события, религиозные, интеллектуальные — все это меняющиеся маски, за которыми скрывается истинное лицо, одно-единственное, — лицо капитала.

Итак, проблема поставлена. И естественно, что многие с тех пор принимались ее решать. Я не забыл ни про Макса Вебера, ни про Трёльча, ни про близкого к нам по времени Анри Пиренна<sup>1</sup>. Дополнительные штрихи, которые они внесли в первоначальную формулировку, уточнения, сделанные ими, предложенные ими решения — все это складывается в великолепное целое, прекрасное свидетельство того, как много может дать коллективная работа ученых, помогающих один другому, опирающихся друг на друга. Но зачинателем, тем, кто первым связал своей могучей рукою экономические факты (скорее угаданные им, чем проанализированные) с фактами политическими, интеллектуальными и религиозными, которые до него всеми рассматривались как самостоятельные, и, уж во всяком случае, каждый интуитивно отдал бы им первенство перед экономикой, — этим человеком, бесспорно и несомненно, был Карл Маркс.

Если я настаиваю на этом факте, не вызывающем, по-видимому, серьезных споров, то это не ради суетного удовольствия решить вопрос о приоритете, который никого не занимает. Но потому, что это всегда безразлично для науки истории — знать, кто первым поставил проблему, как и почему.

В Марксе сидит историк. И в еще большей степени — пророк. А пророк знает только свою истину. Он полон ею. Он не видит ничего, кроме нее. Он ее утверждает, он ее провозглашает с такой силой и настойчивостью, что люди, убежденные, увлеченные им, покоряются и, уходят, твердят не только, что «религии — дочери своего времени», но и более строгую формулировку: «Религии — дочери экономики, общей матери человеческих обществ...» А потом, в скором времени, с еще большей определенностью: «Реформация, великая и могучая Реформация, родившаяся в XVI веке, — дочь той новой формы экономики, которая возникла тогда и навязала себя стремительно покоренному ей миру, — капиталистической экономике». Иными словами: «Из капитализма родилась Реформация». Формула увлекательная. Даже чересчур. Настолько увлекательная, что ее можно перевернуть: «Из Реформации родился капитализм». Или даже совершить плагиат: «Из иудаизма родился капитализм, из иудаизма как религии и из самого духа этой религии»; это тезис Зомбарта из его книги о евреях, которая в 1911 году наделала немало шуму.

Все требует доказательств — и вот эффектные утверждения начинают подкреплять доказательствами. Капитализм и Реформация — мы видим, что проблема эта не из малых. Проблема, несомненно, историческая. Во всяком случае, методологическая. Более того, проблема человеческая. Верно ли это, в самом ли деле экономика и религия связаны столь нерасторжимо в нашем мире, что можно переходить от одной к другой, не споткнувшись и не испытывая затруднений? Правда ли, что одна порождает другую — ту любую, что нам больше по вкусу: экономика — религию или наоборот, как кому понравится? Давайте посмотрим.

## I

Посмотрим, как подобает историку, который исходит из фактов — скромно, храня благоразумие. Как подобает историку — не возносясь над миром, подобно чудотворцу или фокуснику: «Взгляните, дамы и господа! Здесь, у меня в шляпе, капитал в стадии возникновения, банки флорентийцев, генуэзцев, лионцев; фантастические богатства Фуггеров. Я дуну — и перед Вами Лютер, а это Кальвин. Вот это порождено вон тем». Нет. Метод историка не таков. История много скромнее. Но, может быть, она надежнее.

Метод историка: он должен исходить из фактов. Каких фактов? Вот они. Если мы составим список первых по времени сторонников реформационного движения во Франции, в Германии, в Швейцарии Фареля и в Швейцарии Цвингли<sup>2</sup>, нас поразит одно обстоятельство. Среди приверженцев Реформации много священников и монахов; много интеллектуалов, гуманистов, преподавателей школы, издателей, книгопродавцов. Но много и капиталистов, купцов, богатых людей. А если мы составим по этому же принципу перечень городов, урбанистических центров, где Реформация очень быстро укоренилась и развернулась, то окажется, что в еще значительно большей степени, чем интеллектуальные столицы и университетские города, на призыв откликнулись крупные деловые и торговые центры: Антверпен, Базель, Страсбур и Нюрнберг, а у нас — Лион. Это факт, а не догадка. Факт, доказательства которого легко умножить. Факт, который следовало бы уметь объяснить.

Мы — в начале XVI столетия. Давайте бросим беглый взгляд на мир того времени. Выйдя из губительных войн XV века, после краткого периода передышки и покоя, которые Европа получила между Нанси и Павией (соответственно 1477 и 1525 годы) — между смертью Карла Смелого и пленением Франциска I, — мир трудится не жалея сил. Наш западный мир<sup>3</sup>. Бешеная жажда денег, первейшая и непреодолимая движущая сила капиталистического индивидуализма, не ведающего ни узды, ни совести, овладевает тысячами людей. На берегах Шельды, подавив своим великолепием поверженный Брюгге и свергнув с трона Венецию, высокомерный город торговцев и банкиров первым воздвигает свою Биржу как символ новых времен. К причалам Антверпена швартуются корабли со всего света. На антверпенских набережных сложено все, что производится в мире. По набережным Антверпена проходят авантюристы со всего света, обуреваемые безудержным стремлением к наживе. Нет более ни нравственных правил, которые бы их обуздывали, ни страха, который бы их сдерживал, ни традиций, которые бы их стесняли. Эти макиавелли торговли и банковского дела всякий день на деле «воплощают» «Государя»,<sup>4</sup> каждый своего. Их цель не земля, не владение землей, приобщающее человека к благородному сословию. Им нужно золото, подвижное и компактное, и дающее всю полноту власти. Завладеть им; накопить его в сундуках, насладиться им: чтобы не произносить эти слова, несколько режущие слух, они в последнем приступе стыдливости восклицают: «Свобода!»

Ибо вековые приливы и отливы, что столь давно уже своими однообразными подъемами и спадами во все времена и под всеми широтами колышут экономическую жизнь человеческих обществ и заставляют ритмически сменяться периоды свободы периодами регламентации, периоды регламентации периодами

свободы, — это движение приводит в час рождения капитализма в его современной форме к безудержной вспышке свободолюбия. Свобода, свобода; этим словом клянутся в Антверпене торгаши, жаждающие выгодных спекуляций; это слово повторяют капиталисты, сильные люди, которых Гольбейн напишет такими же энергичными, какими они были в жизни; это слово твердят в своем аугсбургском дворце несокрушимые и всевластные Фуггеры, чьи несметные богатства окружают их сиянием золотых легенд; его — не так громко — повторяют в Лионе вместе с Клебергером, легендарным «честным немцем»<sup>5</sup>, который стал гражданином города Берна, чтобы удобнее было торговать, — повторяют сотни французских, итальянских и швабских торговцев, толкающихся по ярмаркам большого города...

Во Франции — стране умеренной, уравновешенной, стране здравого смысла и спокойной рассудительности, любезного обхождения и иронического лукавства (это ценное противоядие от избытка усердия, часто бывающего разрушительным) — во Франции буйные ветры, шквалами пронсящиеся по потрясенному миру, успокаиваются, утихают и дают распусться под ласковым солнцем Возрождения незатейливым цветам туреньской Примаверы<sup>6</sup>. С песней на устах мир трудится, наживает деньги, процветает и растет. Мир буржуазный.

Ибо именно этот общественный класс, единый и в то же время многосложный, необычайно разнообразный и дифференцированный в своих занятиях, у которого, как у Панурга, не одна тетива на луке, но тысяча, — этот класс все больше и больше занимает позиции на всех перекрестках века, господствует на его главных улицах, старается оседлать все его течения. Это буржуазия, пребывающая в постоянном возбуждении, всегда стремящаяся к успеху и самоутверждению; она борется, жестоко отбивается, она с неимоверной силой хочет того, чего она хочет, ибо она может возвыситься только силою своего желания.

Впрочем, она очень разнообразна по составу; в нее входит и ремесленник, сидящий в своей лавке, окруженный подмастерьями; и странствующий торговец, постоянно разъезжающий по дорогам на своем коне, приторочив дорожную суму с монетами позади себя, поперек седла, а по обе его стороны — меч и аркебузу; и изворотливый прокурор, алчный до денег тяжущихся, или — на самой верхушке буржуазной пирамиды — кумир и образец для подражания краснолицый советник Парламента, направляющийся, сидя на своем муле, в гудящий голосами Дворец правосудия<sup>7</sup>. Целая галерея четко очерченных типов, отличающихся своими занятиями, обычаям, статусом. Но все они в равной степени владеют (и эксплуатируют его сообща) огромным капиталом идей, чувств, мироощущения, а именно буржуазных идей, чувств и мироощущения.



Попытаемся кратко проанализировать их психологию. В первую очередь мы находим там рассудок. Немного приземленный, очень ясный рассудок людей, которые хотят понимать, которые стремятся понимать. И знать. Ибо для буржуазии учение не роскошь, а орудие. Средство преуспеть, разбогатеть, подняться, добиться почетного положения.

Затем мы обнаруживаем большую осторожность и сдержанность. Памятуя о своих недалгих предках, о тючке с мелочным товаром, который таскал на спине дед, или о лавочке с едва приоткрытыми ставнями, где продавал сукно отец, буржуазия знает, что грош — это грош, что деньги легко тратить, но тяжело добывать. Она передает от отца к сыну науку расчетливой осмотрительности, хитрого недоверия к ближнему, потайной страсти к наживе. Это правда, но в то же время она деятельна, склонна к перемене мест, легка на подъем; полная противоположность буржуазии XIX века, которую назовут сидячей и бумажно-бюрократической. В значительной мере буржуазия воплощается в торговце. Купец XVI века — человек, не имеющий под рукой ни почты, ни телеграфа, ни телефона, ни автомобиля, ни самолета, ни банковских билетов, ни чеков, — по этой причине является он везде сам — собственной персоной, разъезжает по свету в поисках товара, отправляется туда, где его производят, привозит его караванами, преодолевая большие трудности и большие расходы, подвергаясь большим опасностям, доставляет его покупателю; по дороге он видит нравы множества людей, соприкасается со всеми народами, со всевозможными обычаями и религиями, утрачивает по ходу дела свои предрассудки и расширяет кругозор.

Наконец, она горда собой, эта буржуазия. Своими успехами, своим непрерывным восхождением, своим богатством тоже. Она чувствует под собою твердую опору: ее земельные владения, ренты, сундуки, полные золота и серебра. Она шагает с высоко поднятой головой. Она смотрит прямо в глаза старым властителям мира. В глубине души она чувствует себя способной одолеть их. Она жаждет утвердить свой престиж, заявить о своей силе, заменить старые авторитеты, клонящиеся к упадку, своим собственным молодым авторитетом; а пока что — сбросить иго давящей зависимости и ограничений. Разумеется, не следует делать из нее кумира. У нее есть свои изъяны. Обладая многими чертами посредственности, она слишком заурядна. Но она несет новый взгляд на вещи, самостоятельный, специфически буржуазный и победоносный. Где он проявляется? Всюду. Но особенно в области религии.

Религия. Не следует думать, что по отношению к ней эти люди заняли позицию полной отчужденности. В действительности воздействие религии на них было сильным, глубоким, всеобъемлющим. Я сказал бы — тираническим, если бы ее власть

могла восприниматься таким образом. Религия проникала всюду, пронизывала все действия людей, даже самые, с нашей точки зрения, мирские. Составить завещание или выдержать экзамен на степень доктора — это акты церковные. Докторская степень часто присуждалась в церкви, перед алтарем, под органную музыку, а в заключение служили мессу. В завещании из восьми страниц — более четырех отводят обращениям к Богу, к Пресвятой Деве, к «святым царствия небесного в раю», особенно к покровителям завещателя. От рождения до смерти человек живет под постоянным надзором религии. Не акт о рождении, а крещение. Не свидетельство о смерти, а церковное погребение прихожанина. Церковь подробно регламентирует труд и отдых, питание и образ жизни. Сердце прихода, центр, где верующие собираются в час радости или опасности, — Храм Господень.

«А не внешнее ли все это..?» Мысль поспешная. Если религия оказывает на общество такое сильное и многостороннее влияние, то говорить пренебрежительно: «Это всего лишь обряды» — несерьезно. Но пусть так, согласимся: все это внешнее... Но бок о бок с внутренним. Считать же, что в те времена люди были равнодушны к вере, — заблуждение; только что же предлагала Церковь верующим?

Для людской массы — суеверия. Для элиты — непонятные спекуляции и поучения докторов-богословов, которые вслед за своим учителем, одним из самых хитроумных и смелых схоластов XIV века англичанином Ульямом Оккамом, проповедовали, что учение Церкви непостижимо, поэтому долг христианина верить — не размышляя и не любя — в догматические положения и исполнять обряды, не вкладывая в них ничего личного<sup>8</sup>... Ну а как относятся к этому верующие? Одни уходят в мистицизм, который становится глубинным источником, питающим их потребность в вере. Монастыри заполнены до отказа. Их кельи забиты избранными христианами, разочарованными и страстно верующими; они укрываются там, в тихом мире обители, в поисках пищи для ума, утешения для сердца. Мистицизм, аскетизм — это необходимый и неизбежный реванш, к которому стремятся те, кого суровая и бесплодная доктрина оккамизма, не в состоянии удовлетворить и утешить.

А другие — буржуа, чье сознание мы только что анализировали? Они перед нами — неудовлетворенные, разочарованные, недовольные. С их культом рассудка, любознательностью, склонностью «входить в суть нового»; с их верой в себя и нетерпением сбросить старые пути. Они ходят к обедне, говеют, едят постное в предписанные дни. Они живут и умирают по закону Церкви. Они не подвергают сомнению основы того, чему учит священник. Они верят в Бога справедливого, в Христа Искупителя, в действительность таинств. Чувствуют себя, однако, беспокойно. В их религиозном сознании есть пустота, пробел.

У них нет ощущения, что они обладают учением, приспособленным к их умонастроению, к их потребностям. Проповедники для народа — те порою вызывают у них смех: крикливые нищие, приправляющие соусом фарса обломки священной морали и искаженной догматики. Буржуа все же чувствуют их бездарность, неуместность их грубого заигрывания с божественным. Они ждут.

## II

Как вдруг — на клич свободы, опьяняющий и вызывающий недоверие, повторяемый столькими бессовестными торгашами, — вдруг из сердца Германии ему звучит в ответ громкий клич, исходящий из груди монаха: «Свобода, свобода!» Из своего монастыря, затем из большого зала в Вормсе, где однажды вечером при дымном свете факелов, едва разгоняющих мрак, он предстанет перед лицом императорской власти, — это слово бросает миру героический и мощный голос Мартина Лютера, провозгласивший поверх голов людей согбенных свою волю стоять во весь рост, полным хозяином своего религиозного сознания и своего достоинства. Свобода! Он добавлял «христианская» и, конечно, понимал ее иначе, чем те темные крестьяне, которых эхо его голоса вскоре вышвырнет на свет из мрака их нищеты; иначе, чем те осмотрительные и умеренные гуманисты, которые поддерживали его своим тихим благожелательством; совсем иначе (стоит ли об этом говорить?), чем банкиры Антверпена, занятые погоней за золотом. Но какое значение имели эти различия? Мир слушал, и люди узнавали в громком голосе брата Мартина то самое, что так часто выкрикивали они сами: отчаянный призыв к свободе...

Исходил ли Лютер из анализа, подобного тому, что мы бегло провели выше? Сознательно ли предлагал он неуверенным и обеспокоенным людям религию, более приспособленную к их нуждам, чем прежняя? Религию под стать буржуазным потребностям, буржуазному сознанию? Тысячу раз нет. В моей последней книге<sup>1\*</sup> я попытался показать, до какой степени то, что, собственно, является религией Лютера, его персональной верой августинца, не имеет прямой связи с веком и берет начало единственно в его личных тревогах и потребностях. И не будем лукавить: то, что справедливо относительно Лютера, справедливо для Цвингли, справедливо для Эколампация в Базеле и для Буцера в Страсбуре. Справедливо для Фареля во Франции и вскоре — для Кальвина. Все они не политики. Скорее агитаторы. Они не составляют хладнокровно перечень, сводную таблицу потребностей века, чтобы в точности удовлетворить их с помощью соответствующих теологических решений. Нет, тысячу раз нет. Они поведали людям истину, действительную силу которой они ощутили в себе. Свою истину. Только ведь...

<sup>1\*</sup> *Febvre L. Un destin, Martin Luther. P., 1928.*

Только ведь нет и никогда не было человека, великого, гениального человека, который совершил бы именно то, что хотел совершить. Нет гениального человека, который не должен был бы считаться с другими людьми, с людской массой. Давайте представим себе: как только появляется чудовище, внушающее нам не восхищение, а инстинктивный ужас,— человек, несущий новую идею,— в половине случаев мы начинаем ненавидеть его, высмеивать его, отрицать новизну, интерес, саму возможность того, что он принес. Это обычная участь изобретателя. В другой половине случаев, когда окружение, с самого начала благорасположенное, увлекается новинкой и рукоплещет ей,— тогда это окружение само завладевает ею, если можно так выразиться, влезает в нее, изменяет, подгоняет на свой манер. И за какие-нибудь недели так наводняет ее своими мечтами, желаниями и побуждениями, что иной раз ее автор, ее первый автор, останавливается в растерянности и не узнает свое детище. Если он в конце концов смиряется, то чаще всего отрекшись от себя самого.

Так и реформаторы XVI века. Они видят, как в их идеи очень быстро внедряется буржуазный дух. Часто — помимо их воли. Им наперекор.

Взгляните на Лютера: что может быть удивительнее? Сын мелких буржуа, выходец из среды вполне заурядной, разделяющий все предрассудки этой среды,— кем предстает он в области экономики? Поборником зарождающегося капитализма? Вовсе нет. Защитником старых идей и старых предрассудков. Ему не хватает слов для проклятий в адрес Фуггеров, этих Ротшильдов того времени. Он яростный антифинансист, антибанкир, антикапиталист. Он свирепый антисемит. Он держится старых добрых средневековых установлений и никогда от них не отступается. Ну, и что из этого?

Богатые антверпенские купцы не испытывают колебаний. Маклеры, доверенные представители, родственники или конкуренты Фуггеров — все становятся лютеранами. Не обращая внимания на проклятия брата Мартина, ставшего доктором Мартином Лютером и продолжающего призывать на головы «Fuggerei» гнев народный. Ибо что для начала дает этим людям учение Лютера? То, чего они хотят больше всего: осуществление некоторых из их наиболее глубоких стремлений. Тем более что они берут это учение силою и понемногу изменяют его, приспособливают, прилаживают к своим надобностям.

Мы говорили о буржуазной склонности к простым и ясным мыслям. Этим людям нужно понимать. И религия Лютера говорит с немцами немецким языком, так же как религия Фареля — с французами по-французски. Первая забота Лютера: перевести Библию на «язык народа». Такова же первая забота Лефевра д'Этапля и Оливетана, родича Кальвина<sup>9</sup>. А что отыщется

в этой Библии, ставшей ныне доступною? Живой Бог, человеческий, родной. Тот, кого уже научилось изображать искусство,— трогательный и вызывающий сострадание; и вот он заговорил, и все Евангелие, спихнувшее свою латынь, показывает его простым и свободным в обращении и как он странствует по Иудее и говорит со всеми кротким и ласковым голосом; и что дарует он людям, одному за другим? Уверенность.

Уверенность — это сила. Это все равно что «аванс» для человека действия. Попробуем воссоздать драму совести торговцев, банкиров, охотников за золотом, чья повседневная жизнь была беспощадной войной. Церковь говорила им: «Вы грешны, но не отчаивайтесь. Придите ко мне. Исповедайтесь и покайтесь. Отпущение грехов вернет вам радость и спокойствие». Да, но «исповедайтесь!» Чтобы быть действенной, исповедь должна быть полной. Главная причина для беспокойства кающегося: не забыл ли он чего? Перечислять свои грехи, раскрывать все свои побуждения, давать им оценку... Для людей совестливых это пытка. Кальвин говорит: геенна. И описывает нам ужас этих людей. «Они больше не видели ничего, кроме неба и моря, не находя ни гавани, ни пристанища. Поэтому они пребывали в ужасе и не находили в конце иного исхода, кроме отчаянья». Далее. Церковь отпускает грехи... А можно ли быть в этом уверенным? Во всяком случае, при одном условии: чтобы ей в них признались. Чтобы в них исповедались. А если не было времени? И вот встает призрак внезапной смерти. В состоянии смертного греха? В таком случае — осуждение: вечное пребывание в аду. В состоянии греха простительного? Тогда — муки в Чистилище, месте загадочном, о котором мало что известно; тем досаднее. Поэтому понятно яростное стремление людей того времени отвергнуть это Чистилище, вычеркнуть его из своих забот, желание любой ценой получить полную уверенность. И в самом этом стремлении проявляется светлая воля отныне не искать в смерти главное предназначение Судьбы, но обрести его в жизни.

Добавим, наконец, еще следующее. Эти люди горды. Эти буржуа. Им не терпится показать всем свою полную самостоятельность. Что же говорит им Лютер? Что повторяют вместе с ним все вожди Реформации? Вот что: откройте Евангелие и читайте. Вы можете его прочесть, мы даем его вам на вашем языке. Что вы там находите? Бога, который свободно разговаривает без посредников. И которого вы понимаете без толмача, не так ли? В таком случае зачем священник-посредник, может быть, плохой толмач? Каждый из вас священник в той мере, в какой вы понимаете, любите, проповедуете учение вашего Бога. И точно так же зачем нужны между вами и божеством посредники и заступники, которых плодит Церковь? К чему эта никчемная толпа христианских святых? Лицом к лицу с Богом. Вы один пред Ним, единым. Когда вы ведете денежные дела, разве вы посвя-

щаете третьих лиц в свои секреты? Ваши дела по спасению души гораздо важнее — обсуждайте их с Богом, с ним одним, без посредников, без докучных и ненужных людей.

Так завязывались узы между душами буржуа и новым учением, которое им несли Лютер, Кальвин. Так раскрывается смысл, которым для них, для буржуа, наполнялись эти абстрактные формулы: перевод Писания на язык народа и оправдание верой. Сотни людей подвергались преследованиям, терпели пытки и принимали смерть во имя победы этих требований. Теологическое безумство? Да нет. Эти лозунги нашли отклик в самой глубине души детей века — людей действующих, упорно работающих, борющихся.

Итак, вернемся к нашей проблеме. Экономика и религия. Не будем говорить: «Это очень просто» — наоборот, это довольно сложно.

Лютер и его конкуренты — они, конечно, заговорили, начали проповедовать и действовать вовсе не ради того, чтобы приспособить древнее учение Церкви к нуждам времени. Безусловно, они были людьми своего века. Они не избегли жесткого и грубого давления обстоятельств. Не стремление соответствовать обстоятельствам, сознательное и продуманное, диктовало им слова, мысли, чувства.

Однако же едва мысли эти были сформулированы, как сыновья века набросились на них. Они их проглотили, переварили, обратили в пищу для себя. Это была работа глубокая, стихийная и напряженная. Дети своего времени, они создали из идей, которые были им преподаны, «идей своего времени» в полном смысле слова. Они почерпнули из речей Лютера «лютеризм», чтобы сотворить из него в своем сердце и в своей голове главное слово XVI века: лютеранство, а вскоре — протестантизм.

Работа на этом не остановилась. Не могла остановиться. Жизнь — это не что иное, как действия и противодействия. Жизнь — это прежде всего система обменов; в те самые времена был человек, который это увидел: наш великий Рабле в превосходной главе, где Панург, рассуждая о долгах, доказывает, что все на свете, кто не должники, те — кредиторы; должники и вместе кредиторы. Из Реформации, которую люди XVI века, которую буржуа XVI века получили от великих реформаторов такой, какой она вышла непосредственно из их религиозного сознания, из их пророческой души, они сделали — подделав, переделав, изменив ее — Реформацию для себя, только для себя, полностью для себя. Но вот, отделившись от них, она начинает жить своею собственной жизнью, самостоятельной, независимой от их жизни. И, в свою очередь, воздействует на их сознание. Они сотворили ее по своему образу и подобию. Они думали, что отныне и навсегда она останется им тождественной. Однако, изменяясь, она начинает оказывать на них сильнейшее влияние. Она усиливает,

делает более определенными и обостряет в них капиталистические целенаправленность и деловитость. Скажем проще — капиталистический дух. Как, каким таинством?

Церковь хотя и смягчала суровость своих традиционных установлений, но продолжала осуждать отдачу денег в рост под проценты. Не ссуду под непомерные проценты. Просто самый факт ссуды под проценты. Каким бы скромным ни был процент, она по-прежнему считала его воровством, вымогательством и осуждала его, следуя древнему изречению: «*Rescupia rescupiam non parit*» [От денег деньги не рождаются]. По сути дела, Церковь продолжала взирать на торговлю с подозрением. В торговце, тем более в банкире, ей хотелось видеть мошенника. Мы располагаем сотнями завещаний, авторы которых, купцы или финансисты, завещали своим наследникам отдать полностью или частично их имущество либо Церкви, либо тем, за чей счет завещатели его наживали. Таким образом, Церковь продолжала делить людей на две категории. На тех, кто жили в миру, с одной стороны. И другие, отвергавшие мир, избранные христиане, отборные христиане, истинные христиане, те, кто благочестивыми размышлениями и подвижничеством возвысились до чистого созерцания, до блаженства сопричастия своему Богу.

Это разделение Реформация упразднила. Можно сказать, под давлением своих приверженцев. Давлением, которое проявилось главным образом внутри кальвинизма. Выходец из среды простых, ограниченных людей, проведенный в монастыре многие годы юности, когда человек созревает и формируется, Лютер упорствует в своем осуждении займов под проценты. Кальвин — мирянин, Кальвин — сын юриста, человек более широкий и восприимчивый, допускает, объявляет дозволенной эту общепринятую практику. Он делает больше. Уже Лютер сказал: истинное средство быть угодным Богу не в том, чтобы удалиться от мира, затворившись в монастыре, а в том, чтобы исполнять свой долг на Земле, пребывая в своем состоянии, в своей профессии, там, куда сам Бог поместил нас. Это значит истово, добросовестно делать то, что ты обязан делать; заниматься своим делом: «*Beuuf*» [должность, призвание] — это слово впервые появляется в лютеровом переводе Библии. Прямой удар по институту монастырей. И Кальвин подхватывает мысль Лютера, Кальвин уточняет. Заниматься своим ремеслом, выполнять на Земле свои профессиональные обязанности — это долг, основной долг человека. Цель существования во Вселенной — свидетельствовать о славе Господней. А Бог любит труды. Выполнять свои профессиональные обязанности — значит подчиняться воле Божьей. Это значит служить общему благу и одновременно славе Божьей.

Итак, вперед! С чувством, что мы — среди избранных, с доверием и с радостью. Будем считать себя избранниками. Сомневаться в своем спасении, не иметь уверенности и гарантий в этом

вопросе — значит расписаться в том, что нет благодати внутри нас. Так пусть же наша вера будет такою же, как у святых и праведников, — такая вера будет в XVII веке, опорой стольким купцам, буржуа, банкирам — кальвинистам и поведет их в землю англосаксов; такою будет вера пуритан. Пусть у нас будет любовь к труду, культ, религия труда, ужас перед бездельем, праздностью, нищенством; поэтому наше общество, поскольку оно стремится оказать помощь, а не подать милостыню, проникнуто духом кальвинизма...

Только тот, кто работает, зарабатывает. Кто работает, тот богатеет или может разбогатеть. Как теперь относиться к богатству? Проклипать его? Да, если богатство влечет за собою праздность. Да, если богатый бросает труд ради наслаждений. Не богатство — зло, а безделье и наслаждения. Работать ради обогащения — зло? Нет, если человек трудится в поте лица своего не ради презренных радостей плоти и греха, а чтобы исполнить всемогущую волю Господа на своем месте и в своей профессии, ведомый его рукою. Отсюда до заключения, что человек, преуспевающий в делах, благословен Богом, остается один шаг. Известно, что пуритане сделали его очень скоро.

### III

Таким образом, все непросто. Сложная игра действий и противодействий. Сначала Лютер, который меньше всего думал о «своевременности» своих взглядов. Лютер, человек Божий, пришедший на Землю как пророк, чтобы объявить людям благую весть об открытии, давшем ему после стольких смут и тревог изобавительную уверенность. Затем современники Лютера, которые внедряются в его учение, переоборудуют его изнутри, преобразуют в соответствии со своими жизненными устремлениями, приспособляют его так, чтобы оно служило им как можно лучше.

Наконец, воздействие учения, таким образом преобразованного этими людьми, на них самих. Учения, которое вскоре их перерастает, владычествует над ними, воздействует на их умы и души, преобразует и усиливает их первоначальные черты, выявляет, делает эти черты более резкими, глубоко их запечатлевает. И создает наконец в XVII веке во Франции тип кальвиниста — аскета, который наживает деньги, в определенном смысле абстрактные, копит их и не пользуется ими; или же в Англии, а вскоре и в Соединенных Штатах — тип пуританина, который, будучи поглощен своими делами, погоней за успехом, постепенно отказывается от постулатов веры, из которых исходили и которыми руководствовались его отцы во всех своих устремлениях, — и теперь это всего лишь служитель утилитарной морали, прикрытой фарисейской маской; а когда маска снимается, обнажается истинное лицо, оскал банкира, торговца, человека, обуреваемого бешеной страстью к наживе. Он копит, он жаждет золота.



Беглый, чересчур беглый очерк одной из самых больших и увлекательных проблем на свете. Что можно из него извлечь?

Урок истории в буквальном смысле слова? Нет. Наш очерк слишком краток. Это даже не картина, мы только наметили расположение фигур. Урок методологии? Может быть; а также суждение о важной проблеме примата экономики — о проблеме, которую ныне с такой настойчивостью вновь и вновь выдвигает у нас марксизм, вернувшийся из России.

Религия или экономика, Реформация и капитал — попробуем уточнить. Разумеется, подобно тому как для большинства из нас наша профессия — это то, что главенствует, обступает со всех сторон и в конечном счете управляет нашей жизнью; подобно тому как эта профессия, являясь экономической формой нашей индивидуальной деятельности, чаще всего определяет наши горести и радости, наши привычки и наши поступки, наши мысли и мечты, точно так же в каждый исторический период не что иное, как экономическая структура общества, определяя его политические формы, обуславливает и общественные нравы, и даже основное направление мысли, и даже ориентацию духовных сил.

Но не надо никогда забывать, что предмет истории — человек. Человек, такой удивительно многообразный, и его сложность отнюдь нельзя свести к простой формуле. Человек, продукт и наследник тысяч и тысяч союзов, смешений, сплавов различных рас и кровей: разве можно без содрогания подумать, разве можно без священного трепета наклониться над бездной прошлого, где шло брожение такого множества живых сил, над бесконечным рядом союзов, бурных или спокойных, между мужчинами, пришедшими отовсюду, и женщинами, взятыми отовсюду, которые породили нас, пользующихся их наследием, их преемников после стольких напластовавшихся друг на друга веков?

Предмет истории — человек. Человек, который, конечно, жив человечеством (и среди человечества), но также чем-то более широким и глубоким — самой Вселенной, огромным космическим пространством, в которое он погружен; лишь в своих мечтах поэта, перемежающихся редкими наблюдениями ученого, он едва прикасается к невидимым, но реальным силам, которые входят в него без его ведома, заставляя звучать таинственные струны.

Наши мысли, даже наши мечты, наши верования... Да, существует несомненная связь между ними и экономической системой, способами производства, составляющими тот контекст, в котором протекает наша повседневная жизнь. Но объяснить движение человеческой мысли только эволюцией экономических форм, открывать все замки одним ключом из своего кармана — это прекрасная мечта, способная опьянять сердца двадцатилетних...

Реформация — дочь капитализма, или же, наоборот, капитализм — продукт Реформации: нет, тысячу раз нет. Догматизм столь примитивной интерпретации мы заменим «новым» (можно

ли назвать его новым?) представлением о взаимной обусловленности явлений, ибо современная наука дает нам именно такое представление. Но его самую простую формулировку — где же ее искать, если не у Паскаля: «Все части нашего мира так связаны и соединены одна с другою, что я полагаю невозможным познать одну без другой и без целого». Совершенная формулировка тех действий и противодействий, которые оказывают друг на друга различные последовательности явлений как на поверхности Земли, так и внутри человеческих существ: формулировка той взаимозависимости, которая объединяет — не в неподвижный сноп, а в живое и реагирующее тело — все проявления мысли, деятельности, творческой энергии людей.

Ничто не принимается пассивно. Нет ничего неумолимо навязанного. Как только наш дух оказывается перед тем, что он страстно ищет в этом мире — перед истиной, перед своей истиной, — он более не зависит ни от экономических сил, ни от социальной системы, ни даже от своей отчизны — человечества, которое обнимает его и, случается, душит в своих родительских объятиях. Истина сама по себе, наша истина, у которой свои законы, своя внутренняя последовательность, становится, если можно так выразиться, непосредственной средою духа. Да, Кеплер и Галилей в своих астрономических наблюдениях и построениях исходили из основ того общества, к которому принадлежали; да, Лютер и Кальвин прочно стояли на почве политической, экономической и социальной реальности своего времени; они в сильной степени испытали на себе влияние этой реальности; они могут, они должны предстать перед нами (при историческом исследовании их деятельности) как плод своего времени, который вырос и созрел в благоприятной атмосфере той огромной теплицы, какою для каждого из нас является общество. Но как только они сформулировали, одни — свою систему Мироздания, другие — свою систему Веры, как только это произошло — для первых существуют уже только их разум и Вселенная, для вторых — лишь их религиозное сознание и величественные надежды. Социальный мир, на котором они базировались, воздействию условий которого они поначалу подверглись, — этот мир внезапно раздается перед ними, расширяется, убегает, как земля под взлетающим самолетом: их мысль более не ведает иных законов, кроме великих законов небуквотного звездного пространства; их совесть не признает иного руководителя, кроме Бога, угаданного и познанного ею.

А мы, историки, мы воздаем им честь не как каким-то слепым и жалким гребцам, прикованным к скамье и надрывающимся всю жизнь на тяжелой и мрачной галере экономических необходимостей. Мы хотим, чтобы они стояли на высоком легком корабле, властвующем над волнами, и ловили в то мгновение, когда их поднимет волну, луч солнца, встающего из пучины.

## ТОРГОВЕЦ XVI СТОЛЕТИЯ

В наши времена, говоря «торговец», разумеют человека оседлого. Это соответствует истине не только тогда, когда речь идет о мелком или среднего достатка торговце, который у себя в магазине дожидается покупателя, стоя за прилавком, и время от времени принимает торгового агента — странствующего посланца производителя. Крупный торговец, негодичант большого размаха, с международными связями, проводящий операции самого разнообразного свойства, тоже не путешествует. Лишь его распоряжения бегут по всему свету. Разве он действует не в царстве отвлеченного (а именно такова сфера денежных дел — более, чем всякая иная сфера спекуляции, есть такое старое слово, но над точным значением его ныне никто не задумывается)? Совсем иным был торговец XVI века — мелкий или крупный — современник Возрождения и Реформации.

### I

В те времена еще не было регулярной почты. Конная почта с подставами только начинала устраиваться. Она предназначалась для государей и их переписки. Что касается частных лиц, то свои письма они отправляли со скороходами, редко — с верховыми гонцами, часто — с посыльными, которых содержали многие города ради обеспечения внешних связей. Во многих местностях сеньоры располагали правом требовать от подвластных им людей доставки писем пешим порядком за очень скудную оплату. Даже когда почтовая служба была уже создана, она действовала поначалу столь неисправно, что ею отнюдь не было уничтожено обыкновение пользоваться услугами скороходов. К тому же существовало всего несколько больших почтовых дорог. Кому не посчастливилось обитать возле одной из них, тот вынужден был посылать своего гонца, иной раз весьма далеко, до ближайшей почтовой станции: потеря времени, длительные задержки; всадник, путешествующий поспешая, но не минуя, однако, обычные остановки, затрачивал в конце столетия на дорогу от Лиона до Брюсселя через Франш-Конте, Лотарингию и Люксембург, как правило, двадцать суток. В случае крайней срочности антверпенский купец, пойдя на огромные расходы и отправив верхового гонца к своему корреспонденту в Лион, мог получить от него ответ в лучшем случае не ранее чем по прошествии сорока дней; лишь в 1577 году по приказанию дона Хуана Австрийского между Нидерландами и Лионом было установлено постоянно действующее почтовое сообщение через Люксембург, Грe, Доль и Лон-ле-Сонье. С той поры купец, желавший ворочать крупными делами, мог либо передавать свои полномочия «доверенным лицам», ответственным за принимаемые ими решения и практически от него независимым, либо ехать самому, перемещаться телесно.

Но в этом последнем случае — как это было трудно! Пути чаще всего находились в плачевном состоянии. Дороги были грунтовые, разумеется, немощеные. Редкая удача выпадала на долю того, кому доводилось воспользоваться одной из тех римских дорог, вымощенных навечно, которые и по сие время выходят победителями в борьбе со столетиями: «дамбами Цезаря», «дорогами Брунгильды», «римскими дорогами» или «дорогами для дам» '... Но на дорогах и тропах, проложенных по глинистой или болотистой почве, после каждого дождя появлялись бесчисленные рытвины и ямы; лошади проваливались в них по грудь, повозки вязли по ступицу. Приходилось все время менять дорогу, пробираться в объезд полями, без конца расширять вытопанное, изрытое пространство, сплошную топь. Ко всему не было постоянных мостов или их было очень мало; зато было множество барок, наплавных мостов, паромов и попросту бродов; настоящие мосты, деревянные или каменные, попадались редко, и за проезд по ним нужно было платить дорожную пошлину и «мостовые деньги»; мосты часто сносились паводками. И наконец — никакой безопасности для путника. Всякий одинокий всадник мог подвергнуться нападению — особенно если он вез на крупе своего коня порядочное количество звонкой монеты, или сопровождал вместе со слугой, как это было в обычае у купцов, повозку с товаром, или вел за собой небольшую вереницу мулов. Когда в 1577 году дон Хуан повелел создать упоминавшийся выше почтовый тракт из Брюсселя в Лион, дорогу, столь насущно важную для европейской торговли, начальнику почты в Доле Жану Тевене было поручено обеспечить проезд через Франш-Конте. Тевене объехал весь намеченный участок и велел крестьянам починить дороги и мосты, по которым будут скакать гонцы, забросать вязанками хвороста и прутьев самые большие рытвины и водомоины; наконец, «свести леса»: в двух этих последних словах — целое социальное явление. Ибо путник, особенно иностранец, никоим образом не был огражден от опасностей, подстерегавших его на дорогах. Проводник, предлагавший ему указать путь в заросшей лесом или гористой местности, обычно отыскивался на постоялом дворе и бывал нередко сообщником и кумом разбойников, поджидавших в засаде где-нибудь на трудном переходе. Гостинщик, и он тоже, мог при случае без зазрения совести потребовать выкуп с проезжего, следующего без сопровождающих и не огражденного высоким покровительством власть имущих.

Сельская местность кишмя кишела беглыми солдатами, мародерами, грабителями: подстеречь купца и не только отнять все, что было при нем, но и принудить его выложить выкуп, чтобы вернуть себе свободу, — какая славная пожива! Итак, все в жизни купца было трудно, опасно, подвержено случайностям. Пускаться в путь одному — нешуточное дело. Но пуститься в путь с большими деньгами! Вспомним, что это — звонкая и бречча-

щая монета, золотые, серебряные и медные; деньги самого различного происхождения, веса и из разных сплавов, — и скромный кошель купца тотчас разбухал и приобретал изрядный вес и объем. Недавно я обнаружил в одном счете 1585 г. упоминание о выплате 10 франков посыльному за доставку на двух лошадях 720 франков из некоего города во Франш-Конте в другой, отстоящий от первого километров примерно на тридцать. Такая сумма, гласит текст, была выплачена, ибо во внимание было принято то, что идут военные действия и что «одна лошадь, неся на себе всадника, не в состоянии доставить сумму в 720 франков». Мысль о том, что всадник не может, не опасаясь переломить хребет лошади, везти 720 франков (помимо веса конской сбруи и кое-каких своих пожитков), кажется нам невероятной; и все же, как это было тогда? Если перевозимая сумма превосходила 1500 франков, необходимо было нанять тележку, запряженную лошадьми — в крайнем случае одной лошадью, чтобы везти поклажу без особых усилий. Упомянутый выше счет сообщает нам, что тот же посыльный запросил 55 франков — а это большие деньги, — чтобы отвезти в однокошней тележке 2200 франков на расстояние приблизительно шестидесяти нынешних километров в сопровождении трех верховых: нотариуса, священника и слуги, наряженных для охраны. Эта поездка на столь небольшое расстояние заняла три дня. Осторожности ради переправляемые деньги прятали иногда в бочки, которые наполняли товаром. Но это ухищрение не всегда защищало груз. Свидетельством тому — незадача, случившаяся в 1583 году с торговым приказчиком из Мирекура в Лотарингии, которого хозяин отправил в Женеву, чтобы он там получил в погашение долга 1800 франков. Получив эту сумму, приказчик уложил ее, как он сам сообщает в судебной жалобе, в бочку, наполненную каштанами, полагая, что такая кладь не привлечет при перевозке чьего-либо внимания; но он тщетно на это рассчитывал, так как в пути бочка раскрылась и драгоценное содержимое стало из нее высыпаться. Обычно монеты укладывали в баулы, дорожные кошельки и сундучки, которые привязывались позади седла, на крупе лошади. Но если денег было много, приходилось для перевозки их собирать целые караваны. Каким образом испанский король Филипп II переправил в Нидерланды через Савойю и Франш-Конте 50 000 экю для выплаты жалованья войску? Пришлось ждать, чтобы по меньшей мере рота жандармов могла отправиться в путь — дабы доверить ей охрану столь громоздкого сокровища.

И все-таки купцу было необходимо пускаться в путь-дорогу! Вся торговля того времени сосредоточивалась в нескольких крупных населенных пунктах, славившихся своими ярмарками, которые проходили там неизменно в определенное время; кто хотел там что-либо продать или купить, тому пужно было туда приехать. Из этих ярмарок самыми знаменитыми во Франции в

XVI веке были лионские. Большая роль, которую они играли в качестве финансового рынка, где происходили расчеты между купцами, проживавшими в удаленных друг от друга местах, составляет порой забывать об их собственном торговом значении. Там можно было найти все и всех<sup>1\*</sup>, и не только людей отовсюду: немцев, фламандцев, испанцев, итальянцев — а именно флорентийцев, венецианцев, лукканцев и особенно генуэзцев. Достаточно раскрыть весьма любопытную книгу Никола де Николаи, его «Общее описание Лиона»<sup>2\*</sup>, а еще лучше — порыться в архивах сопредельных областей и познакомиться в них с приходно-расходными счетами, чтобы убедиться в сказанном выше.

Вот, например, в архивах департамента Ду любопытные документы, касающиеся покупок, за которыми посылала на каждую лионскую ярмарку высокородная и могущественная принцесса Филиберта Люксембургская, мать последнего из рода Шалонов, принцев Оранских, того самого Филибера, о чьей жизни рассказывал нам Улисс Робер в своем насыщенном фактами сочинении и чья смерть последовала в Италии вскоре после разграбления Рима, каковое происходило под его руководством, поскольку он командовал императорскими войсками<sup>2</sup>. Делая очередные «покупки» для принцессы, один из ее людей отправлялся в Лион во главе целого каравана. Верхом на коне, этот доверенный человек возглавлял вереницу мулов, причем каждое животное, держа его за узду, вел конюх, и эта вереница мулов медленно, неспешно подвигалась вперед, из Лон-ле-Сонье в Лион. Порой приходилось затрачивать весь день на преодоление какого-нибудь затопленного участка длиной в одно лье в области Бресс. Нет ничего любопытнее, чем список покупок, которые надлежало сделать в городе ярмарок: пряности, конфеты, сахар, бочонок мальвазии, тюк миндаля, столько же риса и марсельских фиг; коринка; много соленой рыбы к великому посту — тунцов, трески, дельфинов и анчоусов; шафран; три стопы тонкой бумаги, шестьдесят фунтов парижского льняного полотна, шелк в мотках, шотландская пряжа, тесьма, много лент, женевская тафта, голландские льняные ткани, скатерти, шерсть, иголки, булавки, зеркала, пять испанских лайковых кож, одну кожу красного сафьяна, ошейники для борзых псов и сук монсеньера, перчатки для соколиной охоты, мячи для лапты и т. п., и т. д. И за всем этим нужно было идти к иностранным купцам: к бакалейщикам из Оранжа и Авиньона — за плодами юга, за рыбой — к фламандцам, за прочим — к немцам или испанцам... Ничто не дает более ясного представления о том, чем была в те времена торговля со всеми ее трудностями и сложностями — занятие, ныне столь простое и

<sup>1\*</sup> Brésard A. Les foires de Lyon aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles. P., 1914. P. 161 sqq.

<sup>2\*</sup> Nicolai N. de. Description générale de Lyon. Lyon, 1882.

доступное каждому. Текстов подобного рода насчитывают тысячами. Опасность, медлительность, помехи — таков был закон торговых сношений в старину. Отсюда два вида последствий, вполне естественных и неизбежных; одни — нравственного порядка, другие относятся к экономической выгоде.

С одной стороны, купец эпохи Возрождения не обладал, не мог обладать ни мягким, спокойным нравом, ни вкусом к домохозяйству, ни консервативными устоями мелкого лавочника, кругозор которого замыкается порогом его дома. Он был путешественник, странник, некое подобие Одиссея, повидавшего и ежедневно наблюдавшего нравы множества людей; он расставался с какой-то долей своих предрассудков в каждой из тех стран, где протекала его полная превратностей жизнь — жизнь, которую он, впрочем, любил главным образом за ее превратности и разнообразие, за рискованные встречи, за контрасты: сегодня роскошное пиршество, завтра нищета и опасности. Нравственный облик и умственный уровень купца очерчиваются в литературе того времени очень рано, четко и точно: с ним нас знакомит, например, уже автор «Ста новых новелл»<sup>3</sup>, выводя на сцену в начале новеллы девятнадцатой добропорядочного и богатого лондонского купца, столь закаленного сердцем и смелого, что, «движимый горячим желанием повидать свет и изведать на собственном опыте многое из того, что ежедневно происходит в подлунном мире», он, хорошенько запасшись наличными и «великим изобилием товаров», покидает свой дом и пять лет проводит в странствиях, после чего возвращается домой, к жене, но вскоре, охваченный тоской по бродячей жизни, он снова «возмечтал о приключениях в чуждадельных краях, как христианских, так и сарацинских, и пребывал там ни больше ни меньше как десять лет, прежде чем жена его снова увидела». То было возвращение на короткое время, потому что даже после двух столь долгих отлучек он «все еще не пресытился странствиями» — и снова пустился в путь.

С другой стороны, сами условия, в которых, как мы описали, протекала торговая деятельность, приводили к тому, что специализированная коммерция в ту эпоху, очевидно, была невозможна. Передвигаясь по большим дорогам, будучи вынужден по ним передвигаться, купец покупал все, что считал выгодным, и продавал все, что мог продать с прибылью: никаких других правил, никакого выбора. Если у него был вкус к торговому риску — в морской торговле имелось в наличии то, что могло доставить ему удовлетворение. Но даже благоразумный, чуждый чрезмерному тщеславию купец вовсе не ограничивался тем, что закупал, а затем распродал какой-нибудь единственный вид товара. Он стремился осуществить как в самом малом, так и в самом большом в меру своих возможностей и размаха операцию, которую мы хорошо знаем, с которой мы нынче слишком хорошо знакомы, а именно скупить весь имеющийся товар.

«Скупка товара подчистую и монополии» — эти термины постоянно повторяются в текстах XVI века. Это неотвязный мотив — постоянные сетования покупателей, потребителей, принужденных терпеть купеческое иго, это великая выдумка, великая ловкость, великое торжество торговцев. Речь идет не только о князьях коммерции, исполнителях главных ролей, вроде лионских Пейра, пытавшихся захватить всю торговлю пряностями, или о Рокетте из Тулузы, который монополизировал в 1502 году торговлю руссильонскими и каталонскими сукнами, или о меховщике Конте, который в сговоре с неаполитанскими импортерами прибрал к рукам всю пушную торговлю Леванта. Нет, мы имеем в виду тысячи мелких и средних торговцев, у которых было больше дерзости, чем капиталов: они сновали по сельской местности, дочиста забирали зерно, вино, масло, сыр, кожи, сало для салых свечей, воск для восковых, врываясь в деревни с обозом и нагружая их всем, что удавалось выманить у крестьян с помощью убеждения, угроз и обмана; часто они имели в своем распоряжении целый сонм подручных, мелких маклаков и зазывал, создавали искусственный дефицит товаров, подготавливая повышение цен, умело пользовались дороговизной или сосредоточивали в своих руках в целях вывоза всю крестьянскую продукцию целой области, как немцы из Нюрнберга и прочие (об этом мы рассказывали недавно), которые загребали всю пряжу и ткани местного производства в 1570-х годах в местностях, соседствующих с Лионом, чтобы вывозить их без остатка в торговые центры. Указы и постановления тщетно осуждали их пагубную деятельность и запрещали злокозненные и разорительные «монополии», постановления эти были не более действенными в XVI столетии, чем ныне. Соблазн наживы слишком велик, и, в конце концов, в те времена, когда общее производство было недостаточно, когда к тому же циркуляция продукта сталкивалась с многочисленными трудностями, «монополия» была почти что необходимостью; во всяком случае, это был как бы злой рок: он тяготел над человеческими делами и вещами.

Итак, тип купца прежних лет начинает вырисовываться перед нами ярко и выпукло. Купец по сути своей — воин. Он по меньшей мере авантюрист, если исходить из этимологии слова. Человек, занимавшийся в XVI веке делом романтиков, которое после многих и многих лет романтических насмешек и карикатур на лавочника и бакалейщика кажется нам самым безмятежным из всех занятий буржуа, — купец времен Возрождения и Реформации, напротив, был человеком стремительных решений, исключительной физической и духовной энергии, несравненной смелости и воли. Он должен был быть таким, ипаче его ремесло раздавило бы его. Кроме того, устремленный только к наживе, он должен был добиваться ее любыми средствами, без чрезмерной щепетильности; чтобы оставаться честным и почитаться таковым,



ему достаточно было соблюдать по отношению к другим купцам, особенно в финансовых обязательствах, основные правила своей профессии... Наконец, в торговой деятельности он не сосредоточивался на чем-нибудь одном. Он был отнюдь не пассивный и оседлый посредник, как ныне. Он — «открыватель» товаров, он — «изобретатель» в мире торговли; он также — и прежде всего — спекулянт. Он являлся таковым, поскольку скупка товаров приносила ему прибыль, и потому еще, что занятие торговлей никогда не удовлетворяло его и он в эту эпоху дополнял его спекуляцией звонкой монетой и отдачей денег под проценты. Барышник, делец, сбывающий недоброкачественную монету, ростовщик — вот три облика, в которых обычно предстает перед нами тот, кто сегодня занимается лишь перепродажей.

## II

Чтобы понять, что такое спекуляция звонкой монетой, следует оценивать ее главным образом как следствие «скупки товара», «монополии», столь характерных для купцов той эпохи. Равным образом надо хорошо представить себе, какую была монетная система в XVI веке <sup>3\*</sup>.

Ныне при помощи усовершенствованных машин мы с легкостью чеканим монеты, разве что едва отклоняющиеся от законенного типа и в точности повторяющие одна другую. Выходя из-под пресса, монеты имеют установленный законом диаметр; отклонения от веса и подобающей пробы доведены до самого жесткого минимума. Кроме того, по обеим сторонам монеты идут бордюр и кантик, опоясывающие «франки» и «луидоры»; на ребре монеты начертаны надпись или какие-либо отличительные знаки; всякий обман, связанный с исчезновением любого из этих отличий, бросился бы в глаза даже наименее недобросовестным.

В конце XV и в начале XVI века монеты в отличие от нынешних еще отбивались молотом. Давление, достигавшееся этим нехитрым способом, было небольшим. Поэтому нужно было использовать очень ковкое золото. Как только в сплаве оказывалось на один гран больше меди, монетчики, которым не удавалось отбить слишком твердый металл, начинали жаловаться. Карл V в ордонансе от 11 сентября 1521 года объявлял <sup>4\*</sup>, что он предписывает чеканить золотой «каролус» с содержанием 14 каратов <sup>4</sup> золота из сплава, в котором было еще  $7\frac{1}{2}$  каратов серебра и  $2\frac{1}{2}$  карата меди; но так как монетчики не могли обрабатывать такой металл, пришлось снизить содержание меди до 2 каратов. Кроме того, удары молота были неравной силы и, поскольку металл был к тому же очень мягким, края монет получались дале-

<sup>3\*</sup> Подробности см. в дельной статье Левассёра, предпосланной первому тому «Ордонансов Франциска I».

<sup>4\*</sup> Recueil des anciennes ordonnances de Belgique. Sér. 2. T. 2. P. 103.

ко не одинаковыми, вследствие чего, несмотря на предписания закона и старания рабочих, в форме и весе выбитых ими монет существовали заметные различия. Эти различия, как можно легко себе представить, не ускользали от опытных глаз торговцев, ювелиров, золотобитов, плавильщиков, менял, банкиров и прочих коммерсантов и деловых людей. Они сортировали монеты по весу — самые легковесные пускали в оборот; более полновесные удерживали, чтобы их обточить или обработать царской водкой. Добытое таким образом золото плавили в слитки, и оно возвращалось в монетные мастерские или продавалось за границу. Выгода была порою весьма значительной. Занятие описанным промыслом было повсеместным. Повсюду, во всех странах, сетуют на мошенничество торговцев неполноценной монетой (во Франции их называли «billoneurs», в Германии — «Kirreg» и «Wipreg»<sup>5</sup>) — всех тех молодцов, которых не пугала призрачная угроза быть сваренными заживо как фальшивомонетчики или, самое малое, подвергнуться строгому тюремному заключению; еще менее тревожили их меры, предлагавшиеся экономистами, например предложение Бодена выпускать в обращение монеты «в форме отлитых медалей, как это было принято у древних греков, римлян, евреев, персов и египтян, ибо издержки на изготовление подобных монет были бы значительно меньше, производство их — легкое, а их округлость — совершенной». Тщетные прожекты. Махинации с неполноценной монетой процветали на протяжении многих веков и часто приводили к тяжелым кризисам денежного обращения в те периоды, когда звонкой монеты было немного. Вот почему после каждого выпуска ее в обращение страна почти немедленно лишалась части полноценной монеты. Вот почему добродетель всегда бывала наказана, а порок неизменно вознагражден: ведь государство воздерживалось от чеканки полноценной монеты из доброкачественного сплава, поскольку такая монета тотчас же исчезала; целая армия торгашей накидывалась на такую страну; полными баулами, полными сундуками они осыпали ее ущербными, низкопробного сплава монетами и всучивали их простакам, наивным людям, легковерной деревенщине, обменивая на полноценную местную монету и извлекая из этого огромные барыши.

Надо отчетливо представить себе, что в ту эпоху каждая страна держалась собственной монетной политики. Все европейские государства со второй половины XIII века использовали для чеканки монет два металла: золото и серебро; именно в это время почти повсюду снова стали чеканить золотую монету. Но не все одинаково оценивали каждый из этих металлов сравнительно с другим. В странах, тяготеющих к латинскому миру, это соотношение долгое время оставалось постоянным: 1 к 15,5. В XVI веке в разные периоды оно варьировало от страны к стране и даже внутри одной страны. Дело в том, что монета была делом госу-

даря, частью его наследственного имущества, его достоянием, чуть ли не личным. Он решал, каким будет вес монеты, и устанавливал, сколько монет чеканить из меры металла, принятой за единицу марки. Ему равным образом принадлежало право определять пробу металла, который мог быть чистым (24 карата для золотых монет и 24 грана для серебряных) или в той или иной степени нечистым, то есть с тем или иным количеством примесей. Наконец, ему предоставлялось право устанавливать курс, то есть определять номинальную стоимость отчеканенной монеты.

Ныне эта последняя операция не имела бы смысла. Расчетные монеты и монеты реальные совпадают: мы считаем на франки, франк реально существует и он реально стоит франк. В XVI веке считали на ливры, но реальных монет — ливров не было. В обращении находилось множество всяческих монет, золотых и серебряных, и все они различались формой, весом, составом сплава и выбитыми на них изображениями. Пуская их в обращение, властитель назначал им стоимость в ливрах, су и денье, то есть в расчетных единицах. Но эта стоимость на монете никак не указывалась. Ее определял эдикт, решение государя. Другой эдикт, другое решение могли ее изменить. И действительно, такие изменения курса были весьма нередки. История монетного обращения во Франции в XVI веке, можно сказать, соткана из случаев подобного рода. Она представляет собой непрерывную и почти регулярную последовательность «похуданий» звонкой монеты, то есть решений государя, в соответствии с которыми — возьмем такой пример — монета содержала 23 карага золота и стоила, допустим, 3 ливра, в дальнейшем содержала лишь 22 карата золота, но по-прежнему стоила 3 ливра. Сразу видно — заметим мимоходом, — что такие действия, столь частые и регулярные, были выгодны держателям металла и звонкой монеты, а именно купцам, и ущемляли интересы сеньоров или получавших подати обладателей рент, размер которых был установлен в расчетной монете, — тут они проигрывали. Помимо прочего, эти непрерывные и произвольные вмешательства государя неизменно влекли за собой нарушения в соотношении между ценою золота и серебра. Оно варьировало от страны к стране; спекулянты на этом наживались. Золото уплывало туда, где его больше ценили, серебро — тоже. Торговцы скупали эти металлы в тех областях, где они были относительно обесценены, и вывозили их туда, где они ценились относительно высоко. Впрочем, отнюдь не золото было первым из этих металлов, именно серебро являлось, как правило, символом богатства, основным драгоценным металлом. Разве наш язык не свидетельствует об этом и поныне? О богатом человеке говорят, что у него «есть деньги» («argent» — букв. серебро), а не «золото». Золото было металлом купцов, крупной торговли, металлом для вывоза, банковским металлом, стало быть, металлом спекуляции. Оно было таковым в

силу своих свойств: при меньшем объеме оно обладает ббльшим могуществом и более, чем серебро, пригодно для крупных платежей и вывоза; притом его легче скрыть и припрятать, оно легче пересекает охраняемые границы..

Ну а во Франции в XVI веке золота по сравнению с серебром, как правило, ценилось выше, чем в соседних государствах. Согласно Соетбееру, соотношение золота и серебра в Европе с 1501 по 1520 год в среднем было равно 1 : 10, 75; с 1521 по 1540 — 1 : 11,25. Во Франции в 1519 году оно равнялось 1 : 11,76, а в 1540-м — 1 : 11,82. Иными словами, за одно и то же количество золота во Франции в те времена можно было купить больше серебра, чем в Италии и Испании, или иначе: за меньшее количество золота можно было приобрести во Франции столько серебра, сколько в Италии и Испании за большее. Вследствие этого — постоянный отток желтого металла в королевство лилий<sup>6</sup>, при том, что в руках людей, занимавшихся этим промыслом, то есть купцов, оседала немалая прибыль. Вот почему в Италии, Испании, Португалии, Англии и Германии — повсюду в XVI веке сгуют на утечку золота во Францию, вызванную более высоким курсом этого металла там.

Это особенно существенно потому, что Франция — государство богатое и производительное — являлась великой страной-экспортером, страной, куда приезжали в мирные времена, чтобы купить все, чего не было в других местах; современники это хорошо понимали, и среди прочих — Боден. В своем «Ответе на парадоксы г-на де Малетруа касательно денежного обращения» он вывел испанца, который «неодолимой силой обстоятельств» вынужден ехать во Францию, чтобы купить зерно, полотна, сукна, краски, бумагу, книги, изделия из дерева — все, «сделанное руками». Ради этого испанец вначале отправлялся «на край света за золотом, серебром и пряностями», чтобы затем купить у нас перчисленные драгоценные товары. Равным образом англичанин, шотландец и «все обитатели Норвегии, Швеции, Дании и Балтийского побережья, располагающие бесчисленным множеством рудников, роют землю до самой ее сердцевины в поисках металлов, чтобы купить наши вина, наш шафран, наш чернослив, наши краски, а в особенности нашу соль, эту манну небесную, ниспосланную Богом по особому его к нам благоволению, при том, что doublyча ее не требует большого труда».

Замечания весьма интересные, обещающие многие стороны истории, и очень важные стороны. Так, Испания порой могла победить Францию на полях сражений, выставив против нее объединенные силы огромного сообщества народов, каким была единственная в своем роде империя Карла V<sup>7</sup>. Но в том, что относилось к торговле, Испания зависела от Франции; она была вынуждена покупать у нее все, чего не производила сама, и платить ей обильную дань. Испания предпочитала выплачивать эту

дань золотом, и не только потому, что при крупных платежах было удобнее использовать золото, чем серебро, но и потому, что в отличие от Франции она старалась удерживать курс серебра на самом высоком по возможности уровне. Пиренейский полуостров изобиловал этим металлом. Как только рудники Потоси начали разрабатывать в полную силу, серебро стало поистине испанским металлом<sup>5\*</sup>. Это объясняет нам, почему Карл V всегда питал некоторое отвращение к повышению курса золотой монеты относительно серебряной, хотя и понимал, что только повышение может воспрепятствовать вывозу золота.

Впрочем, для Кастилии этот вывоз был менее тягостен, чем для Италии, потому что Испания извлекала из Нового Света не только серебро; оттуда поступало и золото — из Мексики и Перу; и Левассер подсчитал, что до 1545 года, то есть до открытия рудников Потоси, Испания извлекала из своих колоний примерно столько же желтого металла, сколько белого. Не менее верно, однако, что в 1537 году Карлу V пришлось уменьшить содержание золота в испанской монете — и ему тоже, подобно тому как перед тем Венеция, Генуя и Флоренция были вынуждены по сходным причинам перечеканить на эску-соли свои превосходные дукаты и флорины<sup>8</sup>. Кастильское эску содержало 22 карата золота в соответствии с лучшими эску Италии и Франции. Эта мера пресекала спекуляцию, но не вывоз испанского золота, которое продолжало утекать за границу теперь уже вследствие того, что торговый обмен был, как правило, не в пользу Испании, а также из-за разорительных войн, в которые вовлекали свою страну Их Католические Величества<sup>9</sup>.

Мы понимаем, что у живописцев XVI столетия есть на то основания — когда они хотят изобразить «торговца», как, например, Квентин Матсейс на своей прелестной небольшой картине, хранящейся в Лувре, они показывают его нам за взвешиванием золотых монет, с выражением лица одновременно печальным и внимательным; таким и должно быть лицо финансиста, тогда как жена подле него в черной, кокетливо надетой шляпке рассеянно листает страницы роскошно изукрашенного молитвенника и поглядывает — не без того — долгим взглядом искоса на золотые монеты, которые ее муж тщательно взвешивает и перевешивает. Взвешивание золота — одно из сокровенных священнодействий купца эпохи Возрождения. Не только Квентин Матсейс, не только его соперник и продолжатель Маринус на любовных картинах, авторство которых установил г-н де Мели, не только Корнель де Лион, чье авторство было окончательно подтверждено тем же г-ном де Мели, на других картинах воспроизводят ту же знакомую нам сцену: на большой гравюре Йоста Аммана пред-

<sup>5\*</sup> *Lonchay H. Recherches sur l'origine et la valeur des ducats et des écus espagnols // Bulletin de Academie Royale de Belgique. Cl. des Lettres, 1906.*

ставлена аллегория Коммерции и мы видим на переднем плане рядом с пюпитрами счетоводов и козторкой кассира большой стол для обмена денег и за ним двоих служащих, они старательно пересчитывают мешочки, полные монет, лежащие на чашках весов.

Весы для взвешивания золота — поистине символ коммерческой деятельности той эпохи.

### III

Итак, серебро, золото, наличность — в кассе торговца. Что он с ними делает?

Довольствуется ли он попросту тем, чтобы пустить их на расширение объема своей торговли, покупки и продажи товаров, своего специализированного дела? Нисколько: коммерческая деятельность в описанных нами условиях не может быть непрерывной и регулярной, она по необходимости должна прерываться. Всякая торговая сделка, всякая крупная закупка, всякая крупная продажа выступают в виде операции, которую нужно подготовить старательно и предусмотрительно, провести решительно, смело и твердо. Но как только с нею покончено, нужно затевать другую, которая, может быть, окажется во всем отличной от предыдущей, и товары, вероятно, будут другие — во всяком случае, условия сделки будут совсем иными. Между этими отдельными «операциями» — затишье, остановка в делах, пауза. Могут ли деньги недвижно покоиться в сундуках во время этих перерывов в коммерческой деятельности? Нет, это противоречит природе денег: нужно, чтобы они безостановочно «работали», как выражались в XVI столетии. Деньги «работали». Купец их ссужал — но кому и каким образом?

Прежде всего выделим особую группу операций: я имею в виду торговые товарищества на вере. Купец мог дать деньги займы и действительно нередко давал их займы другим купцам. У нас хватает конкретных примеров, подтверждающих это. Особенно рекомендую всем весьма интересную книгу, в которой г-н П. Массон исследовал деятельность любопытных «Коралловых компаний», возникших в Марселе в XVI веке ради добычи кораллов у побережий Алжира и Туниса; счета этих компаний неожиданно и счастливо для нас сохранились в архивах Изера. Но я предпочитаю привести пример еще более типический и поучительный. XVI век оставил нам некоторое число кратких руководств по практической коммерции и счетоводству. Перелистывать их, как правило, весьма занятно. Одно из самых интересных и наиболее известных озаглавлено: «Краткое наставление как вести счетные книги прихода и расхода». Оно написано неким Пьером де Савонном, уроженцем Авиньона, и выдержало много изданий; мы ознакомились с четвертым, «пересмотренным и во многих местах дополненным, с прибавлением книги шестой»,

которое выпустил в Лионе Жан де Турн в 1608 году. Пьер де Савонна предлагает такой пример.

Три купца составили сообщество на три года: Мартен и И. Куве — братья из Марселя, торгующие совместно; П. Годен из Лиона; А. Рено из Лиона. Этот пример целиком вымышленный, но можно с уверенностью предположить, что он не надуманный, не химерический и что автор позаботился о правдоподобии: когда ставят условия задачи, стараются не выходить за пределы возможного, особенно если речь идет о столь точном предмете, как счетоводство. Итак, три наших компаньона объединяются:

братья Куве вносят 25 000 экю наличными;

П. Годен вносит 12 000 экю, частью деньгами, частью — натурой;

А. Рено вносит 10 000 экю, частью деньгами, частью натурой.

Таким образом, образуется общество с капиталом 47 000 экю червонного золота. Кто же такие братья Куве? Это заимодавцы, попросту — богатые купцы, финансирующие торговое предприятие, за которое они не несут ответственности и которым непосредственно не руководят. Другими словами, они ссужают свои деньги другим купцам, чтобы те заставили деньги «работать». Любопытно познакомиться с результатами деятельности созданного воображением Пьера де Савонна товарищества: капитал, пущенный в оборот, составлял 47 000 золотых экю, из которых две трети — наличные деньги; товарищество должно было функционировать три года; по прекращении его существования Пьер Годен имеет в итоге 21 371 экю (а вносил он 12 000, из коих часть — товарами); А. Рено причитается 18 364 экю (внес он 10 000, из коих часть — товарами); наконец, братьям Куве причитается 39 456 экю (они вносили 25 000).

Полученная в этом примере прибыль составляет в сумме 21 592 золотых экю — 21 592 золотых экю, порожденных капиталом в 47 000 экю, «работавшим» в течение трех лет; прибыль в общем довольно солидная. Это немногим более 7000 экю дохода в год на 47 000 капитала, то есть около пятнадцати с половиной процентов. Повторим еще раз: это вымышленный пример, однако ясно, что автор его отнюдь не стремился показаться нелепым.

Купец не довольствовался тем, что финансировал других купцов; он ссужал также частных лиц, и в этом случае он был заимодавцем в прямом смысле этого слова. К мелкому торговцу городка или поселка тянулись толпы сельских жителей, нуждавшихся в деньгах. Чего они просили? Немного денег, чтобы справиться с насущными нуждами: покупкой зерна, скота или сена. У торговца они получали по большей части и желанный товар, и деньги для его приобретения. Получали, но какой ценой?

Торговец, собственно говоря, не давал займы. Запрещение Церкви — отдавать деньги в рост — имело силу более в теории,

но все же эту силу сохраняло. Чаще всего упомянутую трудность обходили посредством того, что называлось установлением ренты: допустим, крестьянин нуждался в 100 франках для покупки домашнего скота; в таком случае он обязывался поставлять торговцу ежегодно определенное количество пшеницы, овса, ржи, иной раз — вина или сыра, благодаря чему получал аванс — нужные ему 100 франков. Нетрудно предположить, что количество продуктов, о которых идет речь, исчислялось торговцем всегда таким образом, что стоило меньше одолженной суммы. Разумеется, торговец шел на риск: предположим, что в том году, когда был заключен контракт с крестьянином, урожай хлебов оказывался на редкость обильным; зерно обесценивалось, продажная цена его была невысокой; продав его, торговец мог выручить немного. Но поскольку он — человек обеспеченный, ничто не вынуждало его к продаже; в амбаре зерно крестьянина присовокуплялось к прочим запасам хлеба; торговец выждал год, два года, если нужно, — пока плохой урожай не повысит цену на хлеб и не появится возможность продавать его так, чтобы возместить затраты. Что же касается ссуженных крестьянину 100 франков, то очень редко случалось, чтобы торговец не удержал из них части себе в обеспечение: в действительности он выдавал крестьянину не 100 франков, а чаще всего только 80 при ссуде сроком на год. В конце концов, торговец торгует все подряд. Как поступал крестьянин с деньгами, которые хотел получить взаймы? Купить скотину? Торговец же:

1. Одолжив ему некоторую сумму и удержав предварительно какую-то ее часть, он устанавливал ренту в пристойной и законной форме.

2. Связывал крестьянина неременным условием, без которого займа не могло быть, чтобы скотина была куплена лишь у него, и продавал ее вдвое дороже настоящей стоимости. Все это, конечно, изображено схематически. Но эта схема составлена на основании тысяч и тысяч документов. Наши судебные архивы, архивы провинциальных парламентов битком набиты текстами подобного содержания. Достаточно раскрыть реестр обвинительных приговоров, вынесенных в середине XVI века, чтобы отыскать в процессах против ростовщиков достаточное число дел подобного рода. Ибо время от времени бывали и судебные преследования. Жалобы бедняков — обобранных, эксплуатируемых, доведенных до нищеты — становились настолько громкими, что власти возобновляли свои обвинения против ростовщиков и затевали сколько-то судебных дел. Эти преследования были примерно столько же действенными, как и в наши дни, и я представляю читателю сделать вывод — препятствовали они дельцу промышлять по-прежнему или же не препятствовали.

Торговец ссужал не только крестьян. Но несомненно, что безоружный крестьянин, которого было нетрудно запугать и поте-



шиться над ним, невежественный и незащищенный — за околицей своей деревни, — был самым удобным должником. Однако можно было еще дать займы горожанину, испытывающему кратковременные денежные затруднения; знатному человеку, на которого свалилась какая-нибудь из предвиденных неприятностей, составляющих исключительную и неотъемлемую привилегию знати, как-то: необходимость заплатить выкуп, обновить воинское снаряжение, приобрести боевого коня, провести крупные восстановительные работы в родовом замке; наконец, дать займы городу (это было, как правило, самое надежное помещение денег; для тогдашних благоразумных отцов семейства — лучше не придумаешь) — все эти операции, при том, что приносимая ими прибыль не была столь «левой», противозаконной, как барыши, извлекаемые из ссуд деревенским жителям, — операции эти тем не менее приносили отличный доход. Обычная ставка в этой категории займов в середине XVI века никогда не опускалась ниже 8 процентов. Да и 8 процентов брали исключительно редко. 12,5, 13,33 процента, порою 16,66 процента — обычные, нормальные, вполне дозволенные ставки. Они давали возможность получать достаточно высокую прибыль, и к тому же такие сделки обычно бывали надежными.

Наконец, поднявшись еще ступенькой выше, купец давал займы уже не жалкой деревенщине (дела эти, отнюдь не почетные, были, без сомнения, самыми прибыльными, если только взаимодавец готов был вести их тщательно и жестко) и не должникам, в общем платежеспособным и занимающим известное положение, как горожане, зная, попавшая в трудные обстоятельства, или города, которым срочно потребовался заем, а властителям, государям, то есть государствам. Эти последние операции были и престижными, и щепетильными, и выгодными, и вместе с тем крайне рискованными. Поначалу они приносили почести, милости, влияние при дворе, огромные прибыли, княжеский образ жизни; но кончались порой виселицей в Монфоконе<sup>10</sup>.

Чтобы понять это, нужно хорошо представлять себе, что такое были государственные финансы в XVI веке. В наши времена государство, если оно нуждается в деньгах, добывает их наимпростейшим способом: либо выпускает казначейские билеты, которые охотно принимают крупные финансовые учреждения и частные лица с целью использовать часть своих средств, которые они не хотят вкладывать на длительные сроки; либо выпускает государственный заем. Такой заем делим до бесконечности. Кредиторов у государства — легион. Это соотечественники и иностранцы, крупные капиталисты и обладатели ничтожных сбережений, отдельные лица и коллективы людей. Они полны доверия. Поскольку заем выпущен нацией или ее представителями, он представляется обеспеченным всеми богатствами страны, и этого в общем достаточно; заимодавцы государств в обычное время не требуют

от него ни залога, ни конкретных ипотечных обязательств. В XVI веке все обстояло иначе.

Прежде всего с точки зрения финансовой государства как такового не существовало. Был государь. Государь был частным лицом — таким же частным лицом, как все прочие люди; он мог быть рачительным хозяином или расточителем, верным слову или вероломным, но получить кредит он мог только как частное лицо. В 1530 году займы брала не Франция, а государь, Франциск I, внушавший больше или меньше доверия кредиторам. И когда в 1530 году Франция нуждалась в деньгах, Франциск I, который с финансовой точки зрения и был Францией, должен был искать кредиторов — точно так же, как последний из приближенных к нему дворян, желавший купить боевого коня и не имевший для этого достаточно средств в своем кошельке. Государю приходилось искать займодавца. Он вынужден был длительно препираться с ним об условиях займа. Он должен был обещать выплатить долг в кратчайший срок. Нередко его принуждали давать залогом — грамоту, передававшую право на доходы с его владений или на некоторые виды доходов, или же брали расписку с поручительством третьего лица, принявшего на себя ответственность за долг государя. Помимо всего прочего, никаких постоянных, «придворных» кредиторов не было. Государь стучал во все двери, протягивал руку перед каждой мощной. Еще не существовало достаточно мощных финансовых учреждений, способных в одиночку удовлетворить его нужды; а если бы и были, то они отказались бы давать займы постоянно, потому что это значило бы отдавать деньги без обеспечения.

Каково в тот или иной момент было истинное финансовое положение такого-то государя? Никто этого в точности не знал, даже он сам. Получил ли он уже заем и от кого, сколько и на каких условиях? Это никому не было известно. Поэтому государь, который ничего не получил бы, если бы всегда обращался к одним и тем же кредиторам, домогался займов отовсюду: капиталы знати и духовенства, или королевских чиновников, или купцов — все годилось в дело. В Европе в XVI веке существовали два-три крупных коммерческих центра, где заключались сделки подобного рода. Во Франции это Лион — тот самый Лион, где Франциск I вел переговоры о займах чаще всего. Для имперской коалиции такой центр — Антверпен, в котором Карл V вел переговоры о займах для себя, иногда лично, иногда через своих представителей в Нидерландах. С кем же договаривались тот и другой? С купцами — французскими, немецкими, итальянскими, с кем придется. Договориться было нелегко. Царствующим особам не доверяли.

Обычная процентная ставка была очень высокой. Начнем с того, что займы выдавались на очень короткий срок: на время между двумя ярмарками или самое большее — так бывало очень

редко — на год. Как правило, взимали 3 процента с выданной суммы за три месяца — промежуток между двумя ярмарками; то есть 12 процентов в год. Но когда истекал срок платежа, когда начиналась ярмарка, государю, как правило, было нечем платить. Тогда «продлевали», предоставляли отсрочку до следующей ярмарки; разумеется, такая отсрочка не была безвозмездной. Помимо прочего, банкиры получали обычно дополнительный «добровольный дар» — от двух до четырех процентов годовых, — который должен был вознаградить их за убытки и за риск. Ведь чаще всего ссуду предоставляли не они сами лично. Они выступали всего лишь как посредники. Те деньги, что ссужались королям, они занимали у других купцов или просто богатых людей и несли перед теми обязательства. Эти операции бывали выгодны, если удавалось, предположим, занять под 10 процентов годовых те деньги, что затем отдавали в долг под 12 процентов, плюс от 2 до 4 процентов «добровольного дара», плюс меняющаяся от случая к случаю прибыль (которую после еще следовало реализовать) при расчете звонкой монетой, ибо кредиторы добивались, как правило, чтобы с ними расплачивались по биржевому курсу монеты, а не по официальному тарифу. Таким образом, при официальном расчете номинальные 12 процентов оборачивались в действительности 16 процентами по меньшей мере, иной раз 18, изредка 20 процентами. За шесть или семь лет первоначальный долг — если государь не смог его погасить в установленном соглашением сроки — удваивался.

Не приходится удивляться тому, что государства XVI века стали в конце концов изнемогать под гнетом этих операций. Не приходится удивляться и тому, что для императоров и королей того времени банкротство было постоянным соблазном. Займодавцы знали об этом и принимали в расчет. Самые обеспеченные займы, обязательства, торжественно скрепленные «королевским словом», — все было надежно. В один прекрасный день властитель мог прийти к мысли, что, выплачивая проценты своим кредиторам, он впадает в великий грех и нарушает церковный запрет давать и брать деньги под проценты; и, чтобы облегчить свою совесть, он мог не только отказаться платить проценты, но и удержать с кредиторов те проценты, которые он выплатил им ранее. В таком предположении нет ничего невероятного. Как известно, в 1545 году в Лионе кредиторы Франциска I потребовали от короля письменных заверений, что «дары», то есть проценты, которые он выплатил ростовщикам, одалживавшим ему деньги, должны рассматриваться как оплата обычных обязательств и что купцы могут быть спокойны на этот счет — и за прошлое, и за будущее. Кредиторов также терзала мысль о возможной смерти короля, когда он достигал преклонного возраста или если с ним приключалась какая-нибудь болезнь. Если он умрет, что будет с их займом? Возместит ли им их деньги наследник?

Не объявит ли он банкротство, полное или частичное? В 1546 году, когда Франциск I нуждался в деньгах, кредиторы давали ему лишь при условии, что дофин вместе с королем возьмет на себя обязательство возместить отданные в долг суммы, и откровенно выражали опасение оказаться обманутыми.

Впрочем, если кто захочет узнать, с какой дерзостью кредиторы разговаривали со своими должниками или писали им — даже если должника звали Франциск I, — достаточно прочесть в качестве одного из многих примеров такого рода письмо, которое опубликовал г-н Виаль в 1912 году<sup>6\*</sup>. 26 апреля 1522 года Франциск I занял 17 187 золотых эку у Жана Клебергера, «честного немца» из Лиона. Эта сумма должна была быть погашена в четыре срока из денег, взимаемых за перевоз соли по воде бечевой. Наступил месяц первого платежа — долг не отдан. Клебергер, честный нюрнбергский немец, в свое время стал гражданином Берна, дабы с большим удобством вершить свои дела в Лионе: как видим, определенного рода уловки появились на свет не вчера. Клебергер не преминул обратиться за поддержкой к бернскому городскому совету, сославшись на свое бернское гражданство, и совет, уступив его настояниям, направил 6 июля 1527 года Франциску I письмо, которое следовало бы прочитать целиком, но я приведу наиболее существенный отрывок: «Мы поражены тем, что Вы так дурно выполняете свои обещания, то, что Вы отказываетесь от данных Вами ранее письменных, с печатями, обязательств, — это не может доставить Вам ни выгод, ни чести, от этого Ваше Королевское Величество, когда дело будет предано гласности, может понести превеликий ущерб не только в нашей стране, но также во владениях всех германских государей и в имперских городах Германии, что было бы для нас весьма прискорбно». Суровая отповедь, лишенная какой бы то ни было учтивой фразеологии. В классической работе Эренберга, посвященной эпохе Фуггеров, можно прочесть другое письмо, вдохновленное такими же чувствами и очень сходное по тону. Оно было отправлено Якобом Фуггером, великим аугсбургским банкиром, императору Карлу V.

Однако, как бы ни был велик риск, возможность вести дела с государями была для купцов очень заманчива. Прибыль получалась немалая. И, помимо всего прочего, часто бывало трудно отказать государю. Клебергер был иностранцем, он мог искать защиты у «Блистательных Правителей» Берна, что он и сделал. Но несчастные французы! Они не могли позволить себе вольностей в поведении. Хочешь не хочешь — ложить в давящую. Порой они там и оставались. Такова была судьба, часто трагическая, крупнейших французских купцов того времени; и чтобы ограни-

<sup>6\*</sup> Revue d'histoire de Lyon. 1912. Т. 9. P. 282.

читься повествованием об одной лишь из таких историй, возьмем ее в качестве типической — расскажем о судьбе Самбланса.

Жак де Бон — купец из города Тура, известный в истории под именем Самбланса<sup>7\*</sup> (по названию принадлежавшего ему поместья), — был сыном не менее известного Жана де Бона, который впервые упоминается в 1454 году как поставщик владетельного Ангулемского дома<sup>11</sup>; спустя десять лет Жан де Бон — один из крупнейших негоциантов королевства. Его ремеслом была торговля сукнами, но он ею не ограничивался. Мы знаем, например, что он был активным участником крупных коммерческих предприятий Людовика XI, когда-то в 1464 году велел построить четыре галеаса, а именно «Святого Мартина», «Святого Николая», «Святого Людовика» и «Святую Марию», чтобы продолжить дело Жака Кёра, направившего ранее свои четыре галеаса в Средиземное море. Жан де Бон из Лиона вступил в компанию с Жоффрау ле Сиврие из Монпелье, Ж. де Камбрэ из Лиона, Никола Арнулем из Парижа и Жаном Пла из Брюгге. Как мы видим, эти богатые купцы создавали крупные и уже вполне международные компании.

Жан де Бон был одним из тех, кто получал товары, доставленные из Леванта на галеасах, и пускал их в обращение. Кроме того, в 1470 году он поставил первые партии шелка-сырца на шелковые мануфактуры с итальянскими мастеровыми, которых Людовик XI вывел из-за Альп, чтобы поселить сначала в Лионе, а затем и в Туре. Позднее вместе со своим зятем Жаном Брисонне он по просьбе короля отправил в Лондон пряности, парчу и шелк на 25 000 экю. Это была попытка открыть прямой доступ к английскому рынку и избавиться от посредничества Брюгге. Предприятия коммерческие и одновременно политические: вскоре к ним присоединяются и дела финансовые: Жан де Бон по воле короля принимает участие в конфискации имущества у известного в истории кардинала Балю и не менее знаменитого Филиппа де Коммина<sup>12</sup>. В 1473 году он на половинных началах со своим зятем Брисонне ссудил королю 30 000 ливров, чтобы выкупить Перпиньян у короля Арагона<sup>13</sup>. Он — казначей дофина Карла (будущего Карла VIII). И естественно, к нему текли доходы, богатства, сыпались почести; когда король в октябре 1471 года учредил мэрию в Туре, де Бон ее возглавил; он женился на богатой невесте; у него особняк, конюшни, сады в Туре, усадьбы, виноградники, дома; в Турени — наследственное поместье, оценивавшееся примерно в 23 000 ливров. Жан де Бон — это первый набросок, эскиз, заготовка. Его сын Жак де Самбланса — законченная картина.

<sup>7\*</sup> Обо всем этом написано в солидной, но слишком краткой книге: *Spont P. Semblançay. P., 1895.*

Поначалу Жак, подобно своему отцу, был торговцем сукна; однако на примере человека такого размаха, как Жан де Бон, мы видели, что могло скрываться под этим званием. Жан оставил после себя троих сыновей; один из них посвятил себя Церкви, а два других — Гийом и Жак — стали суконщиками. У Жана было шесть дочерей; шесть его затьев были суконщики или финансисты. В свою очередь, Жак, занимавшийся торговлей, как и его отец, женился на Жанне Рюзе. Это был брак внутри касты, брак денежный, брак крупного капитала. Рюзе вместе с Бонами, Брисонне, Вертело — сливки богатой купеческой буржуазии Турени, и нет ничего более запутанного, чем клубок их браков, свидетельствующий о том, насколько спаянным был мир крупной коммерции и финансов.

Жак начал с торговли: он продавал разным владетельным особам сукна, шелк, шерсть, полотно. Он постоянный поставщик домов Орлеанского, Ангулемского, де ла Тремуи. В компании с Брисонне он продал с октября 1490 по январь 1492 года на 41 127 ливров сукна и полотна королю Карлу VIII. Одновременно он, подобно отцу, занимался финансовыми сделками, ссужал, авансировал различные суммы, заставлял капитал «работать».

В 1492 году наступает новый этап: он стал главным казначеем герцогини Анны Бретонской, которая незадолго перед тем, в 1491 году, сочелась браком с королем; затем, в сентябре 1492 года, к этой должности де Бона прибавилась другая — управляющего дворцом герцогини. Жак де Бон — интендант; он не был, как мы сказали бы теперь, высокопоставленным сановником; он был именно интендантом и, безусловно, не зря получал свое жалованье: 24 000 ливров за казначейство, 2000 за управление дворцом. Ибо он распоряжался годовым бюджетом в 100 000 ливров, установленным для герцогини королем, не считая ежегодных дополнительных выплат по 20 000, 40 000, иной раз 50 000 ливров.

Добавим, что поступления в казну шли не наличными деньгами: то были письменные предписания на получение тех или иных сборов и выплат; другими словами, Жак де Бон должен был обеспечить, как сумеет, получение денег, теоретически ему причитавшихся. К тому же Анна была расточительна, и ее мотовство доставляло немало хлопот казначею: с января по сентябрь 1492 года расходы составили 277 750 ливров; с октября 1492 по сентябрь 1493 года — 201 199 ливров; тогда как постоянный годовой бюджет предусматривал всего 100 000 ливров. Траты на произведения искусства и предметы роскоши, на непрестанные перемещения герцогини и ее окружения: громоздкий поезд — повозки с вещами, коляски с путешественниками, носилки с придворными дамами и девицами, целая армия проводников, саперов, перевозчиков для переправ через реки, всадников эскорта, квартирьеров и т. д. Всеми этими людьми распоряжался Жак де Бон,

он же поставлял денежные средства, когда их не хватало, выкупал драгоценности королевы, заложенные в Лионе во время войны с Неаполем, обеспечивал приданое фрейлинам, когда королева дарила им суммы, которыми не располагала; он же в 1495—1496 годах дал займы своей госпоже 20 000 ливров. Он — интендант, но не чиновник. Еще он купец и частное лицо, которому никто не возбраняет давать по своему усмотрению деньгам «работать». Однако он уже ступил одной ногою в мир двора и политики. В его лице коммерция приобщалась к славе и тяготам государственного управления.

1496 год: новый этап. Жак де Бон стал одним из четырех генералов финансов, то есть одним из четырех верховных распорядителей, ведающих поступлением доходов от налогов, податей и пошлин на соль. Ничто не может быть оплачено из сумм, поступивших от налогов, податей и пошлин, без подписи одного из генералов. Отсюда — могущество этих людей, высокое положение, доверие. Они не министры, не высокие сановники, не дворяне: всего лишь простолюдины, купцы — невзирая на то что их возводят во дворянство и у них есть поместья, по названиям которых они теперь прозываются. Однако они могущественнее, чем министры и высокопоставленные сановники, которые от них зависят, потому что нет никого, кто бы в них не нуждался, кто бы без них мог без задержки получить свое жалованье и содержание, без них — некуда податься. Сеньоры, города, владельческие фамилии — ради устройства своих денежных дел; поэты и придворные, желающие, чтобы им выплачивали пенсии, — все льстят генералам, курят им фимиам, принимают их у себя, осыпают подарками. Все это почетно; но была и выгода. Самблансэ, хотя и являлся распорядителем королевских финансов, оставался частным лицом, он спекулировал и наживался. В частности, он завел настоящий банк, куда являлись благодетельствованные королевскими щедротами и торговали там платажными распоряжениями, выданными им тем же Самблансэ. Получать деньги по этим распоряжениям нужно было у различных сборщиков налогов, частных лиц, «греньетье»<sup>14</sup> по всему королевству; чтобы избавить себя от дальних поездок и нелегких хлопот, связанных с получением денег, обладатели королевских грамот обращались непосредственно к генералу финансов, который, удержав определенный процент, давал им деньги — с тем чтобы потом собрать эти суммы с «греньетье». Кроме того, он в затруднительных ситуациях устраивал займы самому государю; он и сам ссужал королю, порою немалые суммы: например, в 1503 году при Людовике XII война шла повсюду — в Неаполе, в Перпиньяне, в Байонне, в Калабрии, в Каталонии; финансы пребывали в плачевном состоянии; королева одолжила королю 50 000 ливров, Жак де Бон — 23 000, его тесть Гийом Брисонне, герцог Немурский и маршал де Жье — по 20 000 каждый. Можно, однако, быть уверенным, что

Самблансэ своих денег не потерял: он знал тысячу способов возместить их, притом сторицей. Он пользовался этими возможностями, и столь успешно, что в один прекрасный день становился слишком богатым... И тогда накопившаяся против него ненависть прорывается, король велит бросить его в темницу, отобрать все, что он нагреб, а затем без долгих разговоров повесить в Мон-Фоконе как изменника.

По сути дела, Самблансэ всего лишь исправно следовал правилам игры...

Пример нашего Самблансэ типичен. Он характерен для социального процесса огромной важности. В самом низу, у основания, — мелкий торговец, занимавшийся куплей-продажей на ярмарках, ссужавший свой барыш под проценты и помаленьку извлекавший доход, эксплуатируя тех, кто еще беднее его. Поставщик Дворца, ставший интендантом какого-нибудь владетельного дома или генералом финансов королевства, вовлеченный в дела самой высокой политики и дипломатии, живший в окружении королей и королев, — на вершине. Но это — одна пирамида.

Финансовая деятельность, которая в те времена не отмежевывалась еще от деятельности собственно коммерческой, дала «торговле» мощные крылья, что привело к созданию огромных состояний: семейства Понше, Брисонне, Бон, парижские и турские, дю Пейра в Лионе, Пенсе в Анжере, Бональд и Вигуру в Родезе, Рокетт и Ассеза в Тулузе — все они держали себя принцами, утопающими в роскоши, принцами Возрождения; они не только копили богатства, но и тратили сумасшедшие деньги, и их имена остались в истории искусств, ибо все они в своих великолепных палатах собирали книги, мебель, ткани, драгоценности, произведения искусства постигие княжеские. Пониже их — изрядное число купцов меньшего достатка, извлекавших из своей коммерческой деятельности от 80 000 до 100 000 ливров, что давало им 5000—10 000 ливров ренты; стоимость графских или баронских владений, доход с крупного епископства или аббатства; эти купцы были столь же богаты, как самые богатые дворяне их провинции, — если исходить только из цифр — и более богаты, чем дворяне, ибо не исполняли обязанностей, возложенных на дворян.

Так поднялась новая аристократия. Аристократия выскочек; та, другая аристократия не признала ее, завидовала ей, ненавидела, по большей части — искала с ней союза. Аристократия капитала, аристократия драгоценных металлов, владычица золота; в мире, который все более обуревала жажда золота, в котором экономические и финансовые проблемы выходили на передний план, — она в той или иной мере становилась владычицей судеб страны.



## ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВА И ГРУППЫ ИДЕЙ

Проследить историю какого-нибудь слова — такой труд никогда не бывает напрасным. Кратким ли будет это путешествие или долгим, однообразным, полным приключений — оно в любом случае поучительно. Можно, однако, насчитать в обширном лексиконе культуры дюжину терминов, никак не больше, скорее меньше, прошлое которых следует изучать не просто ученому-эрудиту, но историку — да, историку в полном смысле этого слова.

Эти термины, смысл которых, более или менее приблизительно очерченный словарями, продолжает эволюционировать по мере развития гуманитарных знаний, предстают перед нами обогащенными, если можно так выразиться, всей историей, сквозь которую они прошли. Достаточно одних этих терминов, чтобы проследить и точно измерить (с некоторым опозданием, ибо язык не быстрое средство регистрации); превращения группы фундаментальных понятий; человеку нравится считать их незыблемыми, так как их незыблемость как бы гарантирует ему уверенность и безопасность<sup>1\*</sup>. Воссоздать историю французского слова «цивилизация» на деле означает реконструировать этапы глубочайшей революции, которую совершила и через которую прошла французская мысль от второй половины XVIII века и по наше время. И тем самым охватить взглядом — с особой точки зрения — историю, интерес и значение которой не ограничиваются пределами одного государства. Даже краткий предварительный очерк этой революции, который приводится ниже, позволит, быть может, более точно датировать ее этапы. Во всяком случае, он лишней раз покажет следующее: ритм волн, качающих наше общество, то, что в конечном счете определяет этот ритм и устанавливает его, — это не прогресс какой-нибудь частной науки и мыслей, обращающихся в той же сфере, — это прогресс всех дисциплин, всех знаний, которые помогают друг другу.

### I

Давайте четко очертим проблему. Несколько месяцев назад в Сорбонне была защищена диссертация. В ней шла речь о цивилизации тупи-гуарани. Эти тупи-гуарани, племена Южной Аме-

<sup>1\*</sup> Заметим в скобках, что ни один маститый историк не надоумил, ни один молодой историк не дошел своим умом до мысли посвятить истории какого-нибудь из этих слов углубленное исследование — скажем, докторскую диссертацию. Это отлично рисует то состояние не материальной, а духовной неорганизованности, в котором по-прежнему пребывают исследования по современной истории. Подобного рода монографии есть в области древней истории, и мы знаем, насколько они полезны и поучительны. Ясно, что написать такие монографии не просто — для этого нужны историки, обладающие большой философской культурой: *aves gaгае* [редкие птицы]. Есть, однако, и такие; а если нет, то нужно позаботиться о том, чтобы их воспитать.

рики, полностью соответствуют тому, что наши отцы называли словом «дикари». Однако представление о цивилизациях племен нецивилизованных уже давно стало обычным. Мы без большого удивления узнали бы, что некий археолог (если бы археология доставила ему такие материалы) начал толковать о цивилизации гунной — тех самых гуннов, о которых нас учили недавно, что они были «бичом цивилизации». Между тем наши газеты и журналы и мы сами не перестаем твердить об успехах, завоеваниях и благодеяниях цивилизации. То убежденно, то с иронией, порою — с горечью. Но так или иначе говорим. О чем же это свидетельствует, если не о том, что одно и то же слово служит для обозначения двух разных понятий? В первом случае слово «цивилизация» означает для нас попросту совокупность свойств и особенностей, которые открывает взгляду наблюдателя коллективная жизнь некоторой человеческой группы: жизнь материальная, интеллектуальная, моральная, политическая и (чем бы заменить это неудачное выражение?) — жизнь социальная. Именно это было предложено назвать «этнографической концепцией цивилизации»<sup>2\*</sup>. С одной стороны, она не содержит в себе никакого оценочного суждения — ни об отдельных фактах, ни даже о совокупности изученных данных. С другой — не имеет дела с отдельными индивидами, взятыми сами по себе, с их индивидуальными реакциями, с их поведением и поступками. Она относится в первую очередь к категории «коллективных».

Во втором случае, когда мы говорим об успехах или упадке, о величии и слабостях цивилизации, мы, конечно, прибегаем к суждениям оценочным. Мы исходим из того, что цивилизация, о которой идет речь — наша цивилизация, — есть нечто великое и прекрасное, а также нечто более благородное и более комфортабельное, лучшее как в моральном, так и в материальном отношении, нежели то, что не есть цивилизация, — нежели дикость, варварство или получивилизованность. Мы, конечно, уверены, что эта цивилизация, участниками и носителями, на хлебниками и пропагандистами которой мы являемся, придает нам всем ценность, престиж, высокое достоинство. Ибо она — коллективное благо, которым пользуются цивилизованные общества. Но также — и личная привилегия, и каждый гордо объявляет себя ее обладателем.

Итак, в нашем языке, имеющем репутацию ясного и логичного, одно и то же слово означает два очень разных понятия, почти противоположных. Как это произошло? Как и в какой степени сама история слова может помочь в объяснении этой загадки?

<sup>2\*</sup> *Niceforo A. Les indices numériques de la civilisation et du progrès. P., 1921.*

Слово «цивилизация» появилось в языке недавно. Андре Луи Мадзини на первой странице своей книги «Об Италии, о ее отношении к свободе и современной цивилизации» пишет: «Это слово появилось во Франции, оно создано французской мыслью последнего столетия». Мадзини предвосхищает письмо Ницше Стриндбергу, который в 1888 году выражал сожаление, что он не немец: «Нет никакой иной цивилизации, кроме французской. Против этого нечего возразить; это сама истина, и она безусловно верна»<sup>3\*</sup>. Подобные утверждения, как мы увидим далее, ставят, но не разрешают один довольно важный вопрос. Во всяком случае, одно остается неоспоримым: слово «цивилизация» (civilisation) было придумано специально и вошло в язык недавно.

Кто его произнес первым или хотя бы — кто его первым напечатал? Этого мы не знаем. Таким признанием никого не удивишь. У нас очень беден инструментарий — скажем честно, мы вовсе не вооружены, чтобы изучать историю слов, недавно появившихся в нашем языке. У нас нет ничего, кроме серии «Словарей Французской академии» (1694, 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 1878) и классических сводов — от Фюретьера через «Энциклопедию» и до Литтре, дополняющих упомянутые выше фундаментальные издания; кроме — в том, что относится к XVIII веку, — нескольких работ, дельных, но кратких и слишком общих, таких, как исследование Гоэна «Изменения во французском языке с 1710 по 1789 год» (1903) или работы Макса Фрея «Изменения французской лексики в эпоху Революции 1789—1800» (1925). И если я называю эти работы слишком общими, то только потому, что к этому принуждают факты: нам очень недостает двух десятков словарей языка отдельных авторов: языка Монтескьё, Вольтера, Тюрго, Руссо, Кондорсе и других, — а только такие работы позволили бы написать одну из самых замечательных и свежих глав той всеобщей истории французской мысли, отраженной в языке, важность и плодотворность которой столь убедительно доказывает г-н Фердинанд Брюно свою «Историю французского языка».

Тот, кто имеет намерение заняться историей слова, появившегося в XVIII столетии, вынужден искать, зондировать вслепую, блуждать по беспредельному морю литературы, не имея в своем распоряжении никаких индексов или лексических сводов, которые могли бы ему помочь. И вот ради результата, который неизвестно еще, будет ли достигнут, растрачиваются многие часы работы. Что касается меня, то, проводя много времени за чтением книг, по возможности подобранных в соответствии с темой,

<sup>3\*</sup> Цит. по: Counson A. Qu'est ce que la civilisation? Bruxelles, 1923; *Idem.* La civilisation, action de la science sur la loi. P., 1929. P. 187; 188, not.

и не нашел слова «цивилизация» во французских текстах, напечатанных ранее 1766 года.

Я знаю, что появление этого неологизма обычно относят ко временам более ранним, к речам молодого Тюрго в Сорбонне. В работе Гоэна приводится дата рождения слова «цивилизация» «около 1752 года» и дается ссылка — «Тюрго, II, 674»<sup>4\*</sup>. Очевидно, что имеется в виду не издание Шелля — оно одно только и авторитетно, — а издание Дера и Дюссара, два тома которого, напечатанные по изданию Дюпона де Немура, вышли в «Собрании трудов виднейших экономистов» в 1844 году. В этом издании опубликованы, или, вернее, перепечатаны, во втором томе (с. 671) «Мысли и фрагменты, которые были занесены на бумагу, чтобы использовать их в какой-нибудь из трех работ по всеобщей истории, или Об успехах и упадке наук и искусств». На странице 674 можно прочесть: «В начале цивилизации успехи могут быть и особенно казаться быстрыми». К сожалению, слово «цивилизация», по всей вероятности, принадлежит не Тюрго, а Дюпону де Немуру, который мог употребить его вполне естественным образом, публикуя значительно позднее труды своего учителя<sup>5\*</sup>. Это слово невозможно найти в тексте, воспроизведенном г-ном Шеллем непосредственно по рукописям<sup>6\*</sup>. Мы не находим слова «цивилизация» ни в речах 1750 г., ни в письме 1751 г. к мадам де Граффины по поводу «Писем перуанки», ни в статье «Этимология» в «Энциклопедии» (1756). Во всех этих произведениях<sup>7\*</sup> смысл часто требует, на наш взгляд, того самого слова, на которое приор Сорбонны<sup>1</sup> якобы отважился в 1750 году; однако он ни разу его не употребляет; он не пользуется даже глаголом «цивилизовать» (*civiliser*), причастием «цивилизированный» (*civilisé*), которые уже были в употреблении. Он придерживается слов «*police*» и «*police*» — короче, получается, что он единственный раз в жизни написал на бумаге слово, которым больше никогда не пользовался и, добавим, на которое не отважился после этого более десяти лет ни один из его современников: ни Руссо в своем «Рассуждении», снискавшем награду в 1750 году в Дижоне, ни Дюкло в своих «Размышлениях о нравах нашего века» (1751), ни Гельвеций в своей книге «Об уме»; не будем удлинять перечень.

Итак, только в 1766 году мы обнаруживаем интересующее нас слово в напечатанном виде. В этом году в Амстердаме у

<sup>4\*</sup> Цит. по: *Counson A. Qu'est ce que la civilisation?* P. 11.

<sup>5\*</sup> Как достоверно установил г-н Шелль, для Дюпона де Немура это было обычным делом: он очень вольно обращался с текстами Тюрго.

<sup>6\*</sup> Слово «цивилизация» фигурирует, однако, в первом томе сочинений Тюрго (*Turgot A. R. J. Oeuvres et documents le concentrant / Ed. G. Shell. P., 1913*), но только в резюме, предпосланном «Философской картине последовательных успехов человеческого разума». Это резюме написано г-ном Шеллем.

<sup>7\*</sup> Все собраны в первом томе Сочинений Тюрго.

Рея вышла в двух разных изданиях (одно было in-quarto, другое — три тома in-12°) «Древность, разоблаченная в своих обычаях» недавно скончавшегося г-на Буланже. В третьем томе издания in-12° читаем: «Когда дикий народ становится цивилизованным, ни в коем случае не следует считать акт цивилизации законченным после того, как народу даны четкие и непрерываемые законы: нужно, чтобы он относился к данному ему законодательству как к продолжающейся цивилизации»<sup>8\*</sup>. Это оригинальное и очень удачное выражение выделено курсивом. «Древность» была опубликована посмертно: автор скончался в 1759 году. Таким образом, слово можно было бы датировать самое позднее этим годом — если бы мы не знали, что был человек, дополнивший, если не переработавший рукопись покойного инженера мостов и дорог Буланже, чтобы она увидела свет. И этим человеком был великий творец неологизмов перед лицом вечности барон де Гольбах, написавший, например, в 1773 году в своей «Системе общества»: «В обществе человек электризуется», — и это через два года после того, как вышла из печати «История электричества» Пристли<sup>9\*</sup>. И вот какое удивительное обстоятельство: де Гольбах употребляет слово «цивилизация» в своей «Системе общества»<sup>10\*</sup>. А Буланже — никогда, ни разу, за исключением фразы, процитированной выше. Я внимательно прочел «Исследование происхождения восточного деспотизма», посмертно изданный в 1761 году труд «г-на В. I. D. P. E. С.»<sup>\*</sup>; слово «цивилизованный» встречается там довольно редко; «цивилизация» не встретила ни разу; обычно «police» и «police». Пример, приводившийся выше, как будто единственный в литературном наследии Буланже, но не в наследии де Гольбаха. Так или иначе факт налицо. Перед нами — один случай употребления слова, датированный 1766 годом. Я не утверждаю, что он первый, и выражаю пожелание, чтобы другие, более удачливые искатели отняли лавры (впрочем, достаточно скромные) у Буланже или де Гольбаха.

Слово не осталось незамеченным. В промежутке между 1765 и 1775 годами оно получает права гражданства. В 1767 году аббат Бодо, в свою очередь, использует его в «Календаре горожа-

<sup>8\*</sup> *Boulangier N. A. L'Antiquité dévoilée par ses usages. Amsterdam, 1766. Liv. 6, ch. 11. P. 404—405.*

<sup>9\*</sup> *Holbach P. H. de. Système social. Vol. 1—3. L., 1773. Vol. 1, ch. 16. P. 204; Pristley J. Histoire de l'électricité. P., 1771.*

<sup>10\*</sup> «Полная цивилизация народов и вождей, которые ими руководят... может быть только результатом работы веков» (*Holbach P. H. de. Système social. Vol. 1, ch. 16. P. 210*). В этом сочинении слова «цивиловать», «цивилизованный» употребляются постоянно, так же как в «Системе природы» (1770), где слова «цивилизация» я не нашел.

\* Аббревиатура расшифровывается так: *Boulangier, ingénieur des ponts et chaussées* — Буланже, инженер мостов и дорог.

нина»<sup>11\*</sup> и утверждает, что «право земельной собственности — это очень важный шаг в направлении самой совершенной цивилизации». Несколько позже, в 1771 году, он снова возвращается к этому слову в своем «Первом введении в экономическую философию, или Анализе государств, приобщенных к культуре»<sup>12\*</sup>. Его примеру следует Рейналь в «Философской и политической истории администрации и торговли европейцев в обеих Индиях», в книге XIX этого труда он употребляет новое слово многократно<sup>13\*</sup>. Дидро, в свою очередь, отваживается употребить его в 1773—1774 годах в «Систематическом опровержении книги Гельвеция „О человеке“»<sup>14\*</sup>. Однако слово это встречается не везде. В трактатах «Об общественном благе» и «Рассуждениях об участии людей в различные исторические эпохи» — первый том этого сочинения вышел в Амстердаме в 1772 году — брат Жан де Шастеллю много пишет о «police», но, кажется, никогда о «цивилизации»<sup>15\*</sup>. Бюффон, автор-пурист, хотя и употребляет глагол и причастие, по-видимому, игнорирует существительное в своих «Эпохах природы» (1774—1779). То же самое — Антуан Ив Гоге в книге «О происхождении законов, искусств и наук и их развитии у древних народов» (1778) — в книге, где можно было надеяться встретить это слово. В отличие от него Деменье в «Духе нравов и обычаев разных народов» (1776) говорит об «успехах цивилизации»<sup>16\*</sup>. Мало-помалу слово становилось не столь уж

<sup>11\*</sup> *Baudeau L.* Ephémérides du citoyen. P., 1767. P. 82.

<sup>12\*</sup> «В том состоянии, в котором пребывает ныне цивилизация Европы» (*Baudeau L.* Première introduction à la Philosophie economique, ou Analyse des Etats policés. P., 1771. Ch. 6, art. 6. P. 817).

<sup>13\*</sup> «Освобождение от рабства, или, что то же самое, названное другим именем, цивилизация какого-нибудь царства, — дело долгое и трудное... Цивилизация государств была в большей мере плодом обстоятельств, чем следствием мудрости государей» (*Raynal G. Th. F.* Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, 1781. T. 10, ch. XIX. P. 27, 28). О России: «Климат этой страны — благоприятствует ли он цивилизации?»; «Мы спросим: возможна ли цивилизация без правосудия?» (P. 29); «Таинственные, загадочные обстоятельства, задерживающие... успехи цивилизации» (T. 1. P. 60).

<sup>14\*</sup> «Я думаю, что аналогичным образом существует какая-то ступень цивилизации, более соответствующая счастью человека вообще» (*Diderot D.* Réfutation suivie de l'ouvrage de Helvétius intitulé l'Homme // Oeuvres complètes / Ed. J. Assézat, M. Tourneaux. P., 1875. T. 2. P. 431).

<sup>15\*</sup> Он, конечно, пользуется словами «цивилованный», «цивиловать»: «Кто они — цивилилованные люди?» (*Chastellux J. de.* De la félicité publique et considérations sur la sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire. Amsterdam, 1772. T. 1. P. 10); «Радуйтесь, что царь Петр начал цивилиловать эти северные края» и т. д. (Ibid. T. 2, ch. 10, P. 121).

<sup>16\*</sup> Во Введении; см.: *Van Gennep A.* Religions, mœurs et légendes // *Mercur* de France. Sér. 3. 1911. P. 21 sqq.

редким. С приближением революции слово «цивилизация» празднует победу<sup>17\*</sup>. И в 1798 году оно впервые пробивается в «Словарь Академии», который до той поры игнорировал это слово, как игнорировала его «Энциклопедия» и даже «Методическая энциклопедия»<sup>18\*</sup>. Только «Словарь Треву» отвел ему место, но лишь для того, чтобы приписать слову старое судейское значение: «Цивилизация», термин юридический. Судебное решение, которое переводит уголовный процесс в разряд процессов гражданских»<sup>19\*</sup>.

<sup>17\*</sup> Текстам нет числа. Несколько примеров: 1787 год, Кондорсе. «Жизнь Вольтера»: «Чем шире распространится по Земле цивилизация, тем все больше будут исчезать войны и завоевания» (цит. по: *Jaurès J. Histoire socialiste de la Révolution française. P., 1902. T. 2: La Convention. P. 151 sqq*); 1791 год, Буассель. «Катехизис рода человеческого»; 1793 год, Бийо-Варенн. «Элементы республиканизма»; 1795 год, Кондорсе: «Первая стадия цивилизации, в которой можно было видеть род человеческого»; «Между этой ступенью цивилизации и той, на которой еще пребывают дикие племена»; «Все эпохи цивилизации»; «Народы, достигшие очень высокой ступени цивилизации» и т. д. (*Condorcet M. J. A. N. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. P., 1795. P. 5, 11, 28, 38*)<sup>2</sup>; 1796 год, Ламарк: «Он (японский на род.— Л. Ф.) сохранил ту долю свободы, которая допустима в условиях цивилизации» (*Voyages de C. P. Thunberg au Japon, traduits par L. Laigles et revus par J.-B. Lamarck. P., an IV (1796). T. 1. Introduction*). Наконец, слово стало настолько общепотребительным, что 12 мессидора VI года (30 июня 1798 года), накануне высадки в Египте, на борту «Востока» Бонапарт писал в прокламации: «Солдаты, вам предстоит завоевания, влияние которых на цивилизацию и торговлю во всем мире будет неизмеримым». Мы постарались подобрать примеры понемногу из разных категорий текстов того времени.

<sup>18\*</sup> Таким образом, Литтре допускает грубую ошибку, когда в своем «Словаре», в статье «Цивилизация» (в общем весьма посредственной), утверждает, что «слово появилось в „Академическом словаре“ только в издании 1835 года и стало широко употребляться лишь современными писателями — когда общественная мысль сосредоточилась на общественном развитии».

<sup>19\*</sup> *Dictionnaire universel français et latin, nouvelle édition, corrigée, avec les additions. Nancy, 1740.* Издание «Академического словаря» 1762 года обогатилось множеством слов, которых не было в издании 1740 года (как утверждает Гоэн, 5217 словами), что говорит о расширении концепции «Словаря». Тем более примечательно, что слова «цивилизация» в «Словаре» нет. Издание 1798 года фиксирует 1887 новых слов и, что особенно важно, обнаруживает новую тенденцию: оно уделяет внимание философскому смыслу всех новых слов; оно уже не ограничивается регистрацией употребления слова: оно высказывает суждения. Впрочем, определение 1798 года просто, но невыразительно: «Цивилизация — цивилизирующее действие или же состояние того, что цивилизовано». Все словари повторяют это определение, пока мы не прочтем в «Полном словаре французского языка от начала XVII века до наших дней»: «Неологизм; в широком смысле — продвижение человечества вперед в моральном, интеллектуальном и других аспектах» (*Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVII siècle à nos jours / Ed. G. Hatzfeld, J. Darmesteter, A. Thomas. P., [1890]. S. v. «Civilisation»*).

Вот так за время с 1765 по 1798 год термин, без которого мы теперь не можем обойтись, появился на свет, окреп и завоевал признание во Франции. Однако здесь встает одна проблема, она, в свою очередь, может быть решена разве что с помощью счастливого случая.

Если вы откроете второй том «Английского словаря» Мэррея, если вы станете искать в нем историю английского слова, которое, не считая одной буквы, является точной калькой французского слова «civilisation», то найдете примечательную цитату из Босуэлла<sup>20\*</sup>. Он рассказывает, как 23 марта 1772 года отправился к старику Джонсону, который трудился над четвертым изданием своего словаря. Привожу его слова в переводе: «Джонсон не хочет помещать слово „цивилизация“, а только „цивилизованность“. И хотя я очень уважаю его мнение, но подумал, что слово „цивилизация“, происходящее от „цивиловать“, лучше, чем „цивизованность“, передает смысл, противоположный „варварству“». Орывок этот весьма любопытен. 1772 год: мы знаем, как много было интеллектуальных связей между английской и французской умственной элитой; поэтому нельзя не задать себе вопрос: было ли заимствование? Но кто у кого заимствовал?

Мэррей не проводит текстов более ранних, чем отрывок из Босуэлла, где слово «цивилизация» имело бы значение «культура». Текст этот 1772 года; текст Буланже 1766 года, не позднее: пять лет разницы. Это немного. Существует, однако, текст, который как будто подтверждает, что французское слово появилось раньше английского. В 1771 году в Амстердаме вышел французский перевод «Истории царствования императора Карла V» Робертсона<sup>21\*</sup>. Я, естественно, заинтересовался этим произведением, которое могло чем-то помочь в решении проблемы происхождения слова «цивилизация». И вот во Введении (с. 23) я прочел такую фразу: «Нужно проследить за теми стремительными шагами, которые они (северные народы.— Л. Ф.) сделали от варварства к цивилизации» — и немного дальше встретил другую фразу, а именно: «Наиболее порочным состоянием человеческого общества является такое, когда люди утратили... простоту первобытных нравов и не достигли такой ступени цивилизации, когда чувства справедливости и порядочности служат уздой для диких и жестоких страстей». Тогда я обратился к английскому тексту, к «Взгляду на общественное развитие в Европе», который открывается эта столь известная книга. В обоих случаях слово, которое французский переводчик перевел как «цивилизация», — это не «civilization», а «refinement» [утонченность].

<sup>20\*</sup> Murray J. A. A New English Dictionary. Oxford, 1893. Vol. 2. S. v. «Civilization» (1772, Босуэл. Джонсон XXV).

<sup>21\*</sup> Первое английское издание вышло в 1769 году.



Этот факт многозначителен. Он, безусловно, умаляет ту роль, которую можно было бы приписать шотландцам во введении в обиход, в интродукции нового слова. Во Франции его, конечно, можно найти в переводах, например в «Заметках о начале общественного устройства» профессора из Глазго Дж. Миллара<sup>22\*</sup>. И Гримм, сообщая о выходе этой книги в своей «Correspondance Littéraire» (ноябрь 1773 года), пользуется случаем употребить слово «цивилизация»<sup>23\*</sup>. Впрочем, в те времена в этом уже не было ничего необычайного. Слово это, конечно, встречается и в «Истории Америки» Робертсона<sup>24\*</sup>; но книга датирована 1790 годом. Наконец, естественно, находим его в переводе «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита; перевод был сделан Руше и снабжен комментариями Ковдорсе<sup>25\*</sup>. Он вышел в 1790 г. Это — примеры, избранные среди множества других. Они не позволяют сделать вывод, что слово пришло во Францию из Шотландии или Англии. Впредь до получения новых сведений текст Робертсона исключает подобную гипотезу.

## II

Однако, как бы там ни было, употребление этого слова в английском языке, а равно и во французском порождает новую проблему. По обе стороны Ла-Манша глагол «civiliser» («to civilize») и причастие «civilisé» («civilized») появляются в языке намного раньше соответствующего существительного<sup>26\*</sup>. Примеры, приведенные Марреем, позволяют отодвинуть датировку ко второй трети XVII века (1631—1644). Во Франции в конце XVI века слово уже известно Монтеню, автору «Опытов». «У него была, — пишет Монтень о Турнебе, — особенная манера

<sup>22\*</sup> «Влияние успехов цивилизации и управления» (Предисловие, с. XVI), раздел второй главы четвертой (с. 304) называется: «Изменения, происходящие в управлении народом под влиянием успехов его в цивилизации». В английском тексте раздел второй главы пятой (с. 347) озаглавлен: «Наблюдаемое обычно влияние богатства и цивилизации на обращение со слугами» (*Millar J. Observations sur les commencements de la société. P., 1773. P. XVI, 304, 347*).

<sup>23\*</sup> Последовательные успехи цивилизации... первые успехи цивилизации (*Grimm F. M. Oeuvres / Ed. M. Tourneux. P., 1879. P. 164*).

<sup>24\*</sup> *Robertson W. Histoire de l'Amérique. P., 1790. T. 2. P. 164*.

<sup>25\*</sup> «Народы... по всей вероятности, первыми достигшие цивилизации, — это те, которым природа дала родной берега Средиземного моря» (*Smith A. Recherches sur la richesse des Nations. P., 1790. T. 1, ch. 3. P. 40*). Перевод был сделан с четвертого издания.

<sup>26\*</sup> Во всяком случае, в смысле, относящемся к культуре, ибо в английском языке, так же как и во французском, «цивилизация» в значении «судейском» (которое приводит «Словарь Треву») существует с давних пор. Меррей приводит примеры, относящиеся к самому началу XVIII века (Харрис; «Энциклопедия» Чемберса и т. д.).

говорить, которая порой бывала не столь учтивой (*civilisée*), как у придворного»<sup>27\*</sup>. Полвека спустя Декарт в «Рассуждении о методе» явно противопоставляет понятия «цивилизированный» и «дикий»<sup>28\*</sup>. В первой половине XVIII века слова «цивилизовать» и «цивилизированный» продолжают время от времени появляться. Образовать же из глагола, оканчивающегося на «-iser», существительное на «-isation» — операция, в которой нет ничего необычного<sup>29\*</sup>. Как же случилось, что никто до этого не додумался? Вольтер в 1740 году в предисловии к «Опыту о нравах» одобрил метод мадам дю Шатле, которая хочет «сразу перейти к народам, которые были цивилизованы первыми»; он предлагал ей «медленно пройти по всему земному шару, изучая его в той же последовательности, в какой он, как нам представляется, становился цивилизованным»<sup>30\*</sup>; но, если не ошибаюсь, он никогда не употребляет слова «цивилизация». Жан-Жак в «Общественном договоре» упрекает Петра Великого в том, что тот хотел цивилизовать свой народ, «тогда как его следовало всего лишь сделать годным для войны»<sup>31\*</sup>. Но и он не употреблял слова «цивилизация»<sup>32\*</sup>. Вот уж кто сумел удивить; это наводит на мысль, что время еще не пришло — что опера-

<sup>27\*</sup> Опыты. Кн. 1. Гл. 25: О педантизме.

<sup>28\*</sup> «Итак, я полагал, что те народы, которые, будучи поначалу полудикими и становясь постепенно цивилизованными, вырабатывали свои законы лишь постольку, поскольку к этому их вынуждали неудобства, проистекавшие от преступлений и раздоров: такие народы не могли быть столь культурными и законопослушными (*bien policés*), как те, которые с самого начала, лишь только произошло объединение людей, соблюдали установления какого-нибудь мудрого законодателя». Несколько дальше — другой отрывок, в котором варварство и дикость охарактеризованы как лишенные разума: «Признав, что все те, кто мыслят совсем не по-нашему, не являются по этой причине ни варварами, ни дикарями, но многие, как и мы или в еще большей мере, наделены разумом...» На эти места указал мне г-н Анри Бепр (*Descartes R. Discours de la Méthode // Oeuvres / Ed. Ch. Adam. P., 1905. T. 6, pt 2. P. 12*).  
<sup>29\*</sup> Тем более что именно в XVIII веке число глаголов на «-iser» увеличивается; г-н Фрей приводит внушительный список таких глаголов (см.: *Frey M. Les transformations du vocabulaire français à l'époque de la Révolution, 1793–1800. P., 1825. P. 21*): *centraliser, fanatiser, fédéraliser, municipaliser, naturaliser, utiliser* etc. Однако еще раньше г-н Гозн составил для эпохи, предшествовавшей Революции, другой список аналогичных глаголов, взятых у энциклопедистов; среди прочих там можно найти «*barbariser*».

<sup>30\*</sup> *Voltaire. Essai sur les moeurs // Oeuvres complètes / Ed. P. Beuchot. P., 1829. T. 15. P. 253, 256.*

<sup>31\*</sup> *Rousseau J. J. Contrat social. P., 1762. Liv. 2, ch. 8.*

<sup>32\*</sup> Слово «цивилизация» не встречается, как я в этом убедился, и в джонском «Рассуждении» 1750 года («Способствовало ли возрождение наук и искусство улучшению нравов»). Руссо употребляет только «*police*» и «*polisé*», так же как и Тюрго в «Философской картине последовательных успехов человеческого разума» (1750) или Дюкло в «Рассуждениях о нравах нашего века» (1751) и множество их современников.

ция, заключающаяся в том, чтобы произвести существительное из глагола, не была простой и механической...

Можно ли сказать, что слова, что существительные, находившиеся в употреблении до того, как появилось слово «цивилизация», делали его появление излишним и ничемным? На протяжении всего XVII века французские авторы классифицировали народы в соответствии с иерархической шкалой, довольно неопределенной и в то же время очень жесткой. На самой низшей ступени — «дикари». Несколько выше — при том, что точно определенных отличий не было, — «варвары». После чего, поднявшись еще на ступень, мы находили народы, обладавшие «civilité», «politesse» и, наконец, мудрой «police».

Что касается довольно многочисленных оттенков значений этих слов, то, как можно легко догадаться, в толкователях и синонимистах недостатка не было. Целая литература (полная, впрочем, заимствований, в которых никто не признавался) пыталась определить точный смысл терминов, каждый из которых нес замысловатую психологическую нагрузку.

Слово «civilité» было очень старым. Оно фигурирует у Годфруа вместе с «civil» и «civilien», все — со ссылкой на текст Никола Орезма, в котором встречаются также «police», «civilité» и «communité»<sup>33\*</sup>. Робер Этьен в своем бесценном «Французско-латинском словаре» (1549) не обходит молчанием слово «civilité». Он помещает его после слова «civil», которое определяет довольно мило; как «умеющий себя хорошо вести»; дается и латинский перевод — «urbanus, civilis»\*. Фюретьер в 1690 году в своем «Полном трехтомном словаре», где рядом с «civil» появляются также «civiliser» и «civilisé», так толкует слово «civilité»: «Способность открыто, мягко и вежливо держать себя, вести беседу»<sup>34\*</sup>. То есть, в то время как слово «civil» сохраняет смысл политический и юридический (наряду со смыслом «человеческим»), слово «civilité» вызывает только представление об учтивости (courtoisie); если верить Кальдеру, он охотно дал бы отставку слову «courtoisie», как устаревшему<sup>35\*</sup>. Для

<sup>33\*</sup> Dictionnaire de l'ancienne langue française. P., 1881. На «Этики» Никола Орезма ссылаются также в статье «Civilité» Хацфельд, Дармстетер и Тома в своем «Полном словаре».

\* Наряду с другими значениями (типа геродской) латинское слово «urbanus» могло иметь и такие, как благовоспитанный, образованный; одно из значений латинского слова «civilis» — учтивый.

<sup>34\*</sup> Слово «civiliser» [цивилизовать] определяется тем же Фюретьером так: делать благовоспитанным и вежливым, общительным и любезным (пример: «Проповедь Евангелия цивилизовала самые дикие из варварских племен» — или: «Крестьяне не столь цивилизованы, как буржуа, а буржуа — не в такой мере, как придворные»).

<sup>35\*</sup> «Слова „courtois“ и „affable“, — пишет Кальбер, — теперь почти не в ходу у людей светских; их место заняли „civil“ и „honnête“ [здесь: учтивый]» [Callières F. Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'ex-

изощренных грамматистов XVIII века «civilité» — это всего лишь «лоск». В издании 1780 года занятых «Французских синонимов» аббата Жирана<sup>36\*</sup>, исполненных светского опыта и вымученного остроумия, мы узнаем, что по отношению к людям «civilité» (учтивость) — это то же, что публичный культ по отношению к Богу: внешнее и зримое появление внутренних чувств. Напротив, «politesse» (любезность) добавляет к civilité то, что благочестие добавляет к публичному отправлению культа: проявления человечности более сердечной, более внимательной к другим, более изысканной». «Politesse» предполагает «культуру более широкую и систематическую», чем «civilité», и «природные достоинства — или нелегкое искусство изображать их наличие»<sup>37\*</sup>. Таким образом, делалось, как правило, заключение о превосходстве «politesse» над «civilité». Монтескьё излагает парадокс, когда утверждает в одном месте своего «Духа законов», что «civilité» в некоторых отношениях предпочтительнее «politesse»: эта последняя «льстит порокам других», в то время как первая «не позволяет нам обнаруживать перед людьми наши собственные пороки». Однако Вольтер заранее возразил ему во втором посвящении к «Заире» (1736). Он полагал (с веком заодно), что если французы, «начиная с царствования Анны Австрийской, были самым обходительным (sociable) и любезным (poli) народом на свете», то эта любезность отнюдь не представляет собой «нечто насильственное в отличие от того, что называют „учтивостью“ (civilité). Это — закон естества, который они счастливо развили в большей степени, чем другие народы»<sup>38\*</sup>.

primer. P., 1693). Боссюэ сообщает, что слово «civilité» полностью утратило политический смысл. В одном месте «Рассуждения о всеобщей истории» он противопоставляет употребление этого слова древними и его современниками: «Слово „civilité“ у древних греков означало не только взаимную уступчивость и терпимость, которые делают людей способными к общению; человек „civil“ был не кем иным, как добрым гражданином, который всегда считает себя членом государства, который дает законам управлять собою и совместно с ними содействует общественному благу, ни на кого не посягая» (ч. 3, гл. 5). В тосканском языке слово «civilità» сохраняло некоторую долю значения юридического, которое у нас удерживалось только словом «civil», — если верить «Словарю академии делла Круска», к значению «обычай и манера жить civile» [здесь: культурно, добропорядочно, от латинского «civilitas»] этот «Словарь» добавляет значение «городское право».

<sup>36\*</sup> Girard G. Les synonymes françois. 2<sup>e</sup> éd. P., 1780 (это издание, пересмотренное Бозе). Первое издание сочинения Жирана вышло в 1718 году (La justesse de la langue françoise ou les synonymes), второе — в 1736 (Les Synonymes, français), третье, пересмотренное Бозе — в 1769; переиздано в 1780 году.

<sup>37\*</sup> Girard G. *Op. cit.* T. 2. P. 159.

<sup>38\*</sup> Voltaire. *Essai sur les moeurs*. Liv. 19. ch 16. Речь идет о китайцах, которые, «желая, чтобы их народ жил спокойно», сделали так, что «правила учтивости получили самое большое распространение и влияние».

Было, однако, нечто более высокое, чем «politesse», то, что старые авторы именовали «policie» — словом, которое очень нравилось Руссо<sup>39\*</sup>, — а более новые — «police». Над народами «civils», над народами «polis», бесспорно, возвышаются народы «policiés».

«Police» — слово, которое вводит нас в сферу права, администрации, управления. В этом сходятся все авторы, начиная с Робера Этьенна, который в 1549 году в своем «Словаре» переводит «citez bien policées» как «bene moratae, bene constitutae civitates» [города с добрыми нравами, хорошо управляемые], и до Фюретьера, который писал в 1690 году: «Police» — закон, правила поведения, которые следует соблюдать ради существования и поддержания государства и человеческих обществ вообще; противопоставляется варварству». И он приводит такой пример употребления слова: «Дикари Америки — когда она была только открыта — не имели ни законов, ни police». То же самое писал Фенелон о циклопах: «Им неведом закон, они не соблюдают никаких правил police». Через тридцать лет после Фюретьера Деламар, сочиняя свой объемистый и весьма ценный «Трактат о police», в первом посвящении книги первой дает определение основной идеи «police»; он вспоминает то, очень общее, значение, которое имело это слово на протяжении долгого времени. «Его употребляют иногда, — объясняет он, — в смысле общего управления любым государством, и в этом значении „police“ можно разделить на Монархию, Аристократию и Демократию...» В других случаях слово это означает управление каждым государством в отдельности, и тогда «police» подразделяется на «police ecclésiastique» [церковная власть], «police civile» [гражданская власть] и «police militaire» [военная власть]<sup>40\*</sup>. Эти значения уже тогда были устаревшими и вышедшими из употребления. Деламар, который был в этих вопросах знатоком, настаивал на том, что слово «police» должно использоваться в узком значении. Цитируя Лё Бре и его трактат о верховной власти короля, он пишет: «Обычно — и в значении более ограниченном — слово „police“ мы понимаем как общественный порядок в любом городе,

<sup>39\*</sup> «Местности, где труд людей не может дать ничего, кроме необходимого, должны быть населены народами варварскими: какая бы то ни было *politie* здесь невозможна»; «Из этого двоевластия воследовал постоянный конфликт в вопросах юрисдикции, который сделал невозможной какую-либо хорошую *politie* в христианских государствах» (*Rousseau J. J. Op. cit. Liv. 3. ch. 8; Liv. 4. ch. 8*). Годфруа приводит слова «policie», «pollicie», «politie» в качестве средневековых форм и регистрирует эфемерное существительное «policien» — гражданин, которым воспользовался Амио.

<sup>40\*</sup> *Delamare N. Traité de la police. P., 1713. Liv. 1. P. 2*. Шестьдесят лет спустя брат Жан де Шастеллю отмечал, что «вплоть до наших дней слово „police“ может означать „правление людьми“» (*Chastellux J. de. Op. cit. T. 1, ch. 5. P. 59*).

и обычай до такой степени связал его с этим значением, что всякий раз, когда оно произносится само по себе и без продолжения, его понимают только в этом смысле»<sup>41\*</sup>. Деламадр был прав. И однако же, несколькими годами позже у писателей, интересовавшихся общими идеями больше, нежели терминологической точностью, проявляется тенденция придавать слову «police» смысл менее узкий, менее специально-юридический, связанный с законностью и правлением. И этот факт имеет для нас первостепенное значение.

В 1731 году Дюкло в своих «Размышлениях о нравах нашего времени», говоря о народах «policés», замечал, что они «стоят выше, чем народы „polis“, ибо народы „polis“ не всегда самые добродетельные»<sup>42\*</sup>. Он добавляет, что если у диких народов «сила дает знатность и почет» среди людей, то у народов «policés» дело обстоит иначе. У них «сила подчинена законам, которые предупреждают и укрощают ее буйство», и «самый истинный и заслуженный почет воздается духовным качеством»<sup>43\*</sup>. Замечание для того времени любопытно: получается, что тогда же, когда люди, занятые управлением, а также пуристы и лингвисты-профессионалы стремились изгнать «двусмысленность», затруднявшую употребление слова «police», Дюкло, напротив, к традиционному значению этого слова, преимущественно политическому и связанному с законностью, добавлял новое значение — моральное и интеллектуальное. Он был не одинок. Раскройте «Философию истории» (1736), которая стала впоследствии «Вводным рассуждением» к «Опыту о нравах». Когда Вольтер пишет: «Перуанцы, будучи policés, обожествляли Солнце», или же: «Наиболее policés народы Азии по эту сторону Евфрата обожествляли звезды», или еще: «Вопрос более философский, в котором все великие policées нации — от Инда до Греции, были одного мнения, — это вопрос о происхождении добра и зла»<sup>44\*</sup>. Когда четырнадцать лет спустя Руссо в своем дижонском «Рассуждении» писал: «Науки, литература и искусства... заставляют их любить свое рабство и делают из них то, что называется народы policés»; когда в 1756 году Тюрго в статье «Этимология» отмечал, что «язык народа policé — более богатый... только он может дать названия всем понятиям, которые отсутствовали у на-

<sup>41\*</sup> Определение, данное Лё Бре, тоже профессиональное, еще не ограничивалось рамками города. «Я называю „police“, — писал он, — законы и указы, которые всегда издавались в хорошо управляемых государствах, чтобы упорядочить вопросы продовольствия, пресечь злоупотребления и монополии в торговле и ремеслах, воспрепятствовать порче нравов, обуздать роскошества и изгнать из городов запрещенные игры».

<sup>42\*</sup> Дюкло уточняет: «У варваров законы должны формировать нравы. У народов policés нравы и обычай совершенствуют закон и порою его заменяют» (*Duclos Ch. Oeuvres complètes*. P., 1806. T. 1. P. 70).

<sup>43\*</sup> *Ibid.* Ch. 12. P. 216.

<sup>44\*</sup> *Voltaire. Oeuvres complètes*. T. 15. P. 16, 21, 26.

рода дикого», или превозносил «преимущества, которые свет разума дает народу *police*»<sup>45\*</sup>, то очевидно, что все эти люди, активно участвовавшие в жизни, причастные к философской деятельности своего времени, были заняты поисками — скажем так, в таких выражениях, против которых они не стали бы возражать, — поисками слова, которое означает торжество и расцвет разума не только в сфере законности, политики и управления, но и в области моральной, религиозной и интеллектуальной.

Язык не дал им такое слово в готовом виде. Слово «*civilité*», как мы видели, уже не годилось. Тюрго в 1750 году еще оставался приверженцем слова «*politesse*» — той «*politesse*», о которой Вольтер в 1736 году объявил, что она не есть «нечто насильственное в отличие от того, что называют „*civilité*“». И вслед за мадам де Севинье, которая незадолго перед этим сетовала: «Я как деревянная чурка — вдали от всякой *politesse*; я уж не знаю, существует ли в этом мире музыка»<sup>46\*</sup>, — вслед за нею Тюрго употребляет это же слово, когда в высокопарных выражениях обращается к королю в своей «Философской картине» 1750 года: «О, Людовик! Какое величие тебя окружает! Твой счастливый народ стал центром „*politesse*“!» Парадная фраза, в которой уместна некоторая архаичность<sup>47\*</sup>. В самом деле, для точного выражения того, что означает для нас сегодня прилагательное «*civilisé*» (цивилизованный), не было вполне подходящего слова. И в те времена, когда вся работа мысли была направлена к тому, чтобы приписать превосходство народам, не просто соблюдавшим «*police*», но богатым философской, научной, художественной, литературной культурой, пользоваться для обозначения этого нового понятия словом, которое так долго служило для обозначения старого понятия, — это могло быть только временным и неудовлетворительным выходом. Тем более, как мы видели, слово «*police*», от которого так или иначе зависело слово «*polisé*», приобретало все более ограниченное и «приземленное» значение. Значение, определяемое персонажем с внушающей страх и все более растущей властью: *lieutenant de police*<sup>3</sup>.

И тогда вспомнили о слове, которым уже в 1637 году воспользовался Декарт, придав ему совершенно современный смысл, — о слове, которое Фюретьер переводил как «делать кого-либо *civil poli*», сопроводив, однако, таким примером: «Проповедь Евангелия цивилизовала (а *civilisé*) самые дикие из варварских народов» — или еще: «Крестьяне не столь цивилизованы, как буржуа, а буржуа — не в такой мере, как придворные»; примеры эти, как видим, допускают весьма широкое толкование.

<sup>45\*</sup> *Turgot A. R. J. Ethymologie // Oeuvres. T. 1. P. 222.*

<sup>46\*</sup> Письмо от 15 июня 1680 года. Любопытно отметить, что в те времена говорилось: «быть вдали от *politesse*, вернуться в *politesse*», как мы говорим: «вернуться в цивилизацию».

<sup>47\*</sup> *Turgot A. R. J. Tableau au philosophique // Oeuvres. T. 1. P. 222.*

Кто же ухватился за новый термин? Разумеется, не все. Тюрго, например, в своей «Философской картине», во французском тексте своих речей в Сорбонне, в статье «Этимология» не употребляет ни «civiliser», ни «civilisé». То же самое — Гельвеций в книге «Об уме»: оба верны термину «police», как и многие другие в те времена. А вот Вольтер очень рано начал пользоваться обоими словами — «civilisé» и «police». В «Философии истории» слово «police» встречается часто. Однако в главе IX («О теократии») под вольтеровское перо прокралось слово «civilisé». Впрочем, с ремаркой, которая выдает сомнения автора. «Среди народов, — пишет он, — которые столь неудачно называют цивилизованными (civilisés)»<sup>48\*</sup>. Это «неудачное» слово Вольтер употребляет еще раз и два в «Философии истории». «Мы видим, — замечает он, например, — что мораль одинакова у всех цивилизованных народов». А в главе XX читаем: «Египтяне могли объединиться, стать civilisés, polices, искусными и предприимчивыми, могущественными лишь много позже тех народов, которые я перечислил выше»<sup>49\*</sup>. Очень интересная последовательность: образование общества; смягчение и употребление нравов; установление естественных законов; экономическое развитие и, наконец, могущество. Вольтер взвешивал свои слова и не отдавал их в печать, не подумав. Однако он еще воспользовался двумя словами там, где двадцатью пятью годами позднее Вольней<sup>50\*</sup> в любопытном отрывке из своих «Объяснений относительно Соединенных Штатов», пытаясь развить одну из мыслей «Философии истории» Вольтера, употребит только одно из них, а именно «civilisé», в эпоху, когда это слово обогатит свое содержание всем содержанием слова «police». Вольтеровский «дуализм» позволяет нам хорошо разглядеть те возможности, которые представлял язык людям того времени. У них было искушение включить в содержание слова «police» весь смысл, заключающийся в словах «civilité» и «politesse»; как бы там ни было, слово «police» сопротивлялось, а с тыла сильно досаждало новаторам слово «police» — полиция. Что касается слова «civilisé», то был соблазн расширить его значение, но слово «police» сопротивлялось,

<sup>48\*</sup> Voltaire. La philosophie de l'histoire // Oeuvres complètes. T. 15. P. 41.

<sup>49\*</sup> Ibid. P. 83, 91.

<sup>50\*</sup> Под словом «цивилизация» следует понимать объединение этих людей в пределах города, то есть огражденной стенами совокупности жилищ, располагающих общими средствами защиты против грабежа со стороны и внутренних беспорядков; это объединение включает в себе идею добровольного соглашения его членов, охраны их естественного права на безопасность, естественных прав личности и собственности; таким образом, цивилизация есть не что иное, как общественный порядок, охраняющий и защищающий личность и собственность и т. д. (Volney C. F. Eclaircissements sur les Etats-Unis // Oeuvres complètes. P., 1868. P. 718). Весь этот весьма существенный отрывок — критика Руссо.



оно было еще живучим. Чтобы сломить его сопротивление, чтобы выразить новое понятие, которое в то время формировалось в умах, чтобы придать слову «civilisé» новую силу и вложить в него новое содержание, чтобы сделать из него нечто иное, чем заменитель слов «civil», «poli» и даже частично «polisé», для всего этого нужно было создать новое слово. Помимо причастия, помимо глагола, потребуются слов «civilisation» — цивилизация: термин несколько ученый, однако он никого не удивил; под сводами Дворца правосудия уже давно можно было слышать его звучные слоги; и, что очень важно, у него не было компрометирующего прошлого. Он был достаточно далек от «civil» и «civilité», чтобы эта обветшавшая родня могла ему помешать. Это было новое слово, и оно выражало новое понятие.

### III

Слово «цивилизация» появилось на свет вовремя. Я имею в виду — в то время, когда завершился великий подвиг — издание «Энциклопедии», начавшееся в 1751 году, оно дважды прерывалось (в 1752 и 1757 годах) из-за преследования властей, но было возобновлено в 1765-м благодаря дерзкому упорству Дидро и наконец триумфально завершилось в 1772 году. Слово «цивилизация» явилось на свет после того, как «Опыт о нравах», заполнивший начиная с 1757 года образованную Европу своими 7000 экземпляров первого тиража, установил в первой попытке синтеза связи между некоторыми из основных направлений человеческой деятельности — политической, религиозной, социальной, литературной, художественной — и сделал их неотъемлемой частью истории. Слово явилось на свет, когда начала приносить плоды философия, четыре основания которой составили Бэкон, Декарт, Ньютон и Локк, — философия, которую Д'Аламбер в «Предварительном рассуждении» провозгласил последним завоеванием и истинным венцом современности<sup>51\*</sup>. Оно явилось на свет, и это особенно важно, когда, порожденная всей «Энциклопедией» в целом, начинает формироваться великая идея рациональной и экспериментальной науки, единой в своих методах и подходах — идет ли дело о покорении природы (возьмем в качестве примера Бюффона, не признававшего Библию) или о том, чтобы вслед за Монтескье сводить человеческие общества с их бесконечным разнообразием в абстрактные категории. Были написаны такие слова: «Цивилизация вдохновляется новой философией природы

<sup>51\*</sup> См. вторую часть «Слова об энциклопедии — толковом словаре наук и искусств». «Таковы имена величайших гениев, которых человеческий разум должен почитать своими учителями», — заключает Д'Аламбер (*D'Alembert J. L. Discours sur l'Encyclopédie comme dictionnaire raisonné des sciences et des arts // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. P., 1751. T. 1*).

и человека»<sup>52\*</sup>. Были основания так написать; хотя добавить к этому: «Ее (цивилизации.— Л. Ф.) философия природы — это эволюция. Ее философия человека — это способность к совершенствованию» — такое добавление несколько опережает события. В самом деле, прекрасные исследования Анри Додена о Ламарке и Кювье показали: чтобы понятие эволюции было принято и воспринято в его истинном значении и современном духе, потребовалось больше времени, чем принято думать<sup>53\*</sup>. Не менее справедливо, что «новая позиция, занятая просвещенным человеком перед лицом изучаемой им природы, мощно содействовала тому, что концепции мыслителей конца XVIII века изменились»<sup>54\*</sup>. Они прислушивались к тому, что подсказывала и советовала наука, и это означало, помимо всего прочего, что они устремляли взоры в будущее и вместо ностальгии по прошлому с энтузиазмом предавались надеждам. Невозможно понять появление и стремительное распространение в нашем языке слова, передающего понятие «цивилизация», если мы упустим из виду огромную революцию, которая свершилась в умах благодаря трудам и открытиям Лавуазье, который начиная с 1775 года публиковал свои знаменитые статьи, подытоженные впоследствии в «Начальном учебнике химии» в 1789 году, или позднее всей той исследовательской и организационной работе, которая выполнялась начиная с 1793 года в Музее<sup>5</sup>, «этом центральном и столь необходимом средоточии наук», как писала в час его возникновения «Философская декада»<sup>55\*</sup>, выражая удовлетворение тем, что Музей «способствует здоровому воспитанию свободного народа, знакомя его с научными фактами». Факты. «Декада» права, она отражает великое стремление людей того времени. Она заставляет вспомнить о Фуркруа, который, выпуская в 1793 году пятое издание своих «Основ естественной истории и химии» — первое издание вышло в 1780 году, — был вынужден объяснить читателям, что он буквально не успевает отдышаться, стараясь поспеть от издания к изданию за слишком стремительным шествием химической революции. «На самом деле, — объясняет он, — мы всего лишь делаем простые выводы из большого количества фактов. Мы признаем безоговорочно только то, что нам дает опыт»<sup>56\*</sup>. Это формула экспериментальной науки, восставшей против химер, — будь то учение о флогистоне, опровергнутое Лавуазье. или

<sup>52\*</sup> *Counson A.* Qu'est ce que la civilisation?

<sup>53\*</sup> *Daudin H.* Cuvier et Lamarck: Les classes zoologiques et l'idée de série animale (1790–1830), P., 1926. Т. 2, ch. 10. P. 254 sqq; *Febvre L.* Un chapitre d'histoire de l'époque humaine: les sciences naturelles de Linné à Lamarck et à Georges Cuvier // *Revue de Synthèse historique.* 1927. Т. 43.

<sup>54\*</sup> *Counson A.* Qu'est ce que la civilisation?

<sup>55\*</sup> *Décade philosophique.* An II (1794). Т. 1. P. 519–521; *Daudin H.* Op. cit. Т. 1. P. 25, нôt. 4.

<sup>56\*</sup> *Fourcroy A. F.* *Eléments d'histoire naturelle et de chimie.* P., An II (1793). Vol. 1: Avertissement. P. IX.

«космогонические романы» Бюффона, сурово развенчанные около 1792 года молодыми натуралистами из Музея<sup>57\*5</sup>. Эта формула относилась к наукам о природе. Она была применима не только к ним.

Ибо внимание и уважение к фактам стало всеобщим уже давно, оно становилось все более всеобщим и привычным (для описателей Человечества так же, как и для описателей Природы) по мере того, как XVIII век близился к концу. Первые жаждали фактов не меньше, чем вторые, и в их стремлении собирать и изучать документы было что-то героическое и одновременно трогательное. Относилось ли это к современности (тогдашней)? Что касается вопросов политики и управления, XVIII век — век мемуаров; в науке экономической, в науке об обществе это век зарождающейся статистики, век числовых данных; в изучении технологии — век опросов и анкет. Нет таких проблем теоретических и одновременно практических — народонаселения, заработной платы, продуктов потребления, цен, а также вопросов, которые были поставлены новаторской деятельностью первых «ученых»-земледельцев и зачинателей современного производства, — нет таких проблем, которые не порождали бы десятками книги, брошюры, тщательные исследования, выполненные отдельными частными лицами, учеными корпорациями или королевскими чиновниками. Вспомним о провинциальных академиях, о сельскохозяйственных обществах или фабричных инспекторах, чей труд по составлению документации сегодня представляется нам столь заслуживающим внимания и уважения. Но и в том, что относилось к прошлому или к большей части тогдашнего мира, существовавшей как бы во временах более ранних (когда европейцы конца XVIII века сравнивали положение там с положением на их континенте). — и здесь фактов накапливается множество и они не лежат втуне: нужно ли напоминать, что, хотя «Энциклопедия» была не только сводкой всех фактов, известных к 1750 году<sup>58\*</sup>, в первую очередь она была именно такой сводкой и стремилась ею быть — огромная компиляция из текстов, почерпнутых непосредственно из трудов крупнейших ученых последнего столетия, а также из бесчисленных рассказов о путешествиях, которые раздвинули умственные горизонты цивилизованных белых людей до берегов Дальнего Востока, Америки, а в скором времени — и Океании. А чем иным, чем более интересным занимался Вольтер (с его неприязнью к рискованным построениям, с его постоянным живым пристрастием ко всему осо-

<sup>57\*</sup> В особенности Милленом. См.: *Daudin H.* Op. cit. T. 1. P. 9, not. 4. По отношению к Бюффону поворот во мнениях был довольно крутым. См.: *Ibid.* P. 38, not. 3.

<sup>58\*</sup> Советуем обратиться к работе: *Hubert R.* Les sciences sociales dans «l'Encyclopédie». Lille, 1923. P. 23 sqq, 361 sqq.

бенному, индивидуальному) — чем занимался он, если не обработкой и систематизацией прочно установленных фактов?

Однако такой урожай вырастает не за один день. К середине XVIII века, когда родилось слово «цивилизация», мир в целом был еще не познан, до этого было далеко; мир тогдашний. Прошлое было познано еще меньше. Знания людей, даже тех, кто наиболее ревностно собирал и подвергал критическому рассмотрению исторические и этнологические факты, способные содействовать формированию общих теорий, относящихся к человечеству и его развитию, — их знания были еще не полны, они изобиловали пропусками, провалами, неясными местами. Впрочем, мы можем повторить (применительно к «нашим» научным дисциплинам) то, что недавно писал Анри Доден, задавший себе вопрос (подразумеваемая Ламарка и Кювье): «Каким образом „наблюдательная“, описательная наука, имевшая в качестве объекта конкретную реальность, очень сложную и очень разнообразную, — наука, которая должна сначала инвентаризировать эту реальность, свести ее многообразие к порядку и которая к тому же находится на очень еще примитивной стадии и мало разработана, — как может она выбирать верные пути и добиваться результатов?»<sup>59\*</sup> Для нас, так же как и для них, — я хочу сказать, для пробирющихся на ощупь историков и социологов второй половины XVIII века, так же как и для натуралистов, чьи методы Доден изучает и, если можно так выразиться, анатомирует, — совершенно очевидно, что «факт не может быть получен разумом в чистом виде и независимо от каких бы то ни было психологических условий». Было, напротив, того, вполне естественно, что «проверка и подтверждение исходной («предвзятой») идеи в большой степени зависели от самой этой исходной идеи»<sup>60\*</sup>. Поэтому стоит ли удивляться, что возникает не релятивистское представление об этнических или исторических цивилизациях, из которых каждая имеет свои особенности и, безусловно, индивидуальна, а абсолютное представление о человеческой цивилизации, целостной и единообразной?

И здесь мы можем вспомнить о концепциях, которые крепко сидели в головах натуралистов того времени, живучести и различных воплощениях идеи «последовательности», «ряда», которую они связывали с понятием «естественного порядка», находя достаточное обоснование этого последнего в нем самом. Когда Ламарк около 1778 года пытался составить представление об этом «естественном порядке», он понимал его как постепенное поступательное движение, в основном непрерывное. И когда в начале XIX века, после долгого путешествия в области физики и химии, он возвратился оттуда и обнаружил свою точку зрения

<sup>59\*</sup> Ibid. P. 265 (Conclusions: L'idée scientifique et le fait).

<sup>60\*</sup> Ibid. P. 269—270.

натуралиста, свой центральный тезис, свое учение, которое он излагал в лекциях и книгах прежде, чем говорить обо всем прочем, — это по-прежнему было учение о единой лестнице животных<sup>61\*</sup>. Конечно, не стоит нажимать слишком сильно, но было бы противно подлинному духу истории пренебрегать такого рода сопоставлениями. И разве они не помогают понять, каким образом на вершине великой лестницы, где дикость занимает первые ступеньки, а варварство — средние, цивилизация совершенно естественным образом утвердилась на том месте, где до нее царила «police»?

Итак, рождается слово. Слово распространяется. Слово, которое будет жить, будет иметь успех, обретет славную судьбу. Нам хочется — с самого его появления — облечь это слово богатым одеянием идей, которое будет выткано за долгие годы. Попешность несколько смешная. Разыщите подлинные тексты и прочитайте их непредубежденным глазом. Долгое, очень долгое время мы не находим ничего: я хочу сказать, ничего такого, что подлинно подтверждало бы образование истинно нового слова. Между «politesse», «police», «civilité» прежних времен это слово появляется то там, то здесь довольно беспорядочно. Отдельные попытки лучше определить его значение, и в частности установить его соотношение с «police», не очень успешны<sup>62\*</sup>, и часто создается отчетливое впечатление, что даже для тех, кто пользовался неологизмом, он еще не был однозначно связан с какой-то вполне определенной потребностью.

По некоторым пунктам, само собою, спорили. Или, точнее, высказывались мнения, порой противоположные. Как совершается процесс «цивилизация»? Де Гольбах отвечал в 1773 году: «Нация цивилизуется под воздействием опыта». Мысль, которую не стоит пренебрегать. Он развивает ее несколько далее: «Полная цивилизация народов и вождей, которые ими руководят, благотворные изменения в правлении, искоренение недостатков — все это может быть только результатом работы веков, постоянных усилий человеческого ума, многократного общественного опыта»<sup>63\*</sup>. Этому широкому, но несколько нечеткому взгляду противостояли

<sup>61\*</sup> О происхождении этого понятия и его развитии на протяжении XVIII века см.: *Daudin H. Op. cit. T. 1; T. 2. P. 110–111.*

<sup>62\*</sup> См., например, попытки брата Ж. де Шастеллю противопоставить тому особенному, что есть в каждом политическом устройстве, в police, то общее, что есть в «наиболее возможном благополучии»; это понятие в его уме (но не в словаре, ибо автор не знаком с неологизмом) смешивается с понятием «цивилизация»: «Все народы не могут иметь одинаковое правление. Внутри одного народа все города, все классы их обитателей не могут иметь одни и те же законы, подчиняться одному порядку (police), следовать одним и тем же обычаям. Но все без исключения имеют право стремиться к наибольшему возможному благополучию» (*Chastellux J. de. Op. cit. T. 1. P. XIII*).

<sup>63\*</sup> *Holbach P. H. de. Système social. Vol. 1, ch. 14. P. 171.*

экономические теории. Своя теория была у физиократов: можно вспомнить ранний текст Бодо (1767): «Земельная собственность, привязывающая человека к земле, — это очень важный шаг к самой полной цивилизации». Для Рейналя особенно большое значение имела торговля. «Народы, сделавшие все остальные народы polis, — это торговые народы», — писал он в 1770 году. И здесь можно ухватить живьем ту неопределенность смысла, которую мы отмечаем выше, ибо «*poli*» под пером Рейналя означает именно «цивилизованный», поскольку несколько далее, воспользовавшись на этот раз другим словом, он писал: «Кто сплотил эти народы, дал им одежду, цивилизовал их? Торговля»<sup>64\*</sup>. Теория утилитарная. Ее будут придерживаться шотландцы, например Миллар, для которого в его «Заметках о началах общественного устройства», переведенных на французский в 1773 году<sup>65\*</sup>, «цивилизация — это *politesse* правов, которая естественное следствие изобилия и безопасности». Точно так же Адам Смит — и он тоже — свяжет тесными узами богатство и цивилизацию<sup>66\*</sup>. Напротив, Антуан Ив Гоге, который, по-видимому, не знал слова «цивилизация», будто прямо отвечает Рейналю, когда объявляет в своей книге «О происхождении законов, искусств и наук и их развитии у древних народов»: «*Politesse* никогда не учреждалась в какой-либо стране иначе как через посредство письменности и литературы»<sup>67\*</sup>. Это учение тех (и таких было тогда много), кто вместе с Бюффоном полагали, что «ствол человеческого могущества вырос из древа науки», или вместе с Дидро искали в развитии знаний и просвещения источник цивилизации, которая рассматривалась как восхождение к разуму: «Просветить нацию — значит цивилизовать ее; отнять у нее знания — значит вернуть ее в первоначальное состояние варварства. Невежество — участь раба и дикаря»<sup>68\*</sup>. Несколько позже Кондорсе в знаменитом отрывке из «Жизни Вольтера» будет вторить автору «Проекта Университета для российского правительства»: «Не политика государей, но просвещенность цивилизованных народов навсегда обезопасят Европу от вторжений; и чем шире распространится по Земле цивилизация, тем скорее будут исчезать войны и завоевания, равно как рабство и нищета»<sup>69\*</sup>. По сути дела, разногласия

<sup>64\*</sup> *Raynal G. T. F. Op. cit. T. 1. P. 4.*

<sup>65\*</sup> Со второго издания (Амстердам, 1773; цитата взята из Предисловия, с. XVIII). Второй раздел пятой главы называется: «Наблюдаемое обычно влияние богатства и цивилизации на обращение со слугами».

<sup>66\*</sup> «У народов богатых и цивилизованных — напротив того, и т. д.» (*Smith A. Op. cit. T. 1. P. 3.*)

<sup>67\*</sup> *Goguet A.-Y. De l'origine des loix artes et des sciences et de leurs progrès chez les anciens peuples. P., 1778. T. 4, liv. 6. P. 393.*

<sup>68\*</sup> *Diderot D. Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie // Oeuvres complètes. T. 3. P. 429.* «Проект Университета для российского правительства» написан около 1776 г. (?). Опубликован впервые в 1875 г.

<sup>69\*</sup> Мысль о том, что мир и цивилизация вообще, которая есть самое необходимое условие мира, не зависят от государей и от их власти, часто

не заходили слишком далеко. Во всяком случае, они не затрагивали главного. Для всех этих людей, какими бы ни были их личные наклонности и устремления, цивилизация оставалась прежде всего идеалом. В очень большой степени — идеалом нравственным, моральным. «Мы спросим,— писал Рейналь,— возможна ли цивилизация без правосудия и справедливости?»<sup>70\*</sup>

Это относится даже к тем философам, которые, последовав за Руссо в его сферы, пытались с большей или меньшей убедительностью разрешить важную проблему, поставленную в 1750 году его дижонским «Рассуждением». Новое слово как будто подходило для того, чтобы поспорить о парадоксах Женева. Оно позволило назвать по имени того врага, против которого — во имя первобытных добродетелей и священной девственности лесов — он встал с таким неистовством, но ни разу так и не назвал своего врага по имени, которого он, как кажется, никогда не знал. Споры были очень горячие, они будут продолжаться долго — и после смерти Жан-Жака, и в XIX веке тоже. В конце XVIII века они практически не вели к критическому рассмотрению самого понятия «цивилизация». Ее просто принимали или не принимали — ту цивилизацию-идеал, цивилизацию-совершенство, которую все сыновья того времени так или иначе держат в голове и в сердце как доминирующую, но отнюдь не ясную идею. И разумеется, ни у кого еще не возникает намерения конкретизировать ее, поставить пределы ее универсальной применимости. В них безмятежно живет, не вызывая никаких сомнений, абсолютное и унитарное представление о человеческой цивилизации, которая способна постепенно установить единообразие этнических групп, которая уже отвоевала у дикости народы «polités», все народы «polités», включая самые почитаемые, вплоть до древних греков, которые, по описанию Гоге, «в героические времена» были лишены какой бы то ни было морали и принципов и у которых было не больше слов для обозначения «справедливости, честности, большинства моральных добродетелей», чем у дикарей Америки<sup>71\*</sup>. Единый ряд, непрерывная цепь народов: де Гольбаху, объявлявшему в «Опыте о предрассудках», что последовательная цепь шагов познания ведет человека от дикого состояния к такому, в каком мы видим его в цивилизованном обществе, где он занимается самыми высокими науками и овладевает самыми сложными знаниями»<sup>72\*</sup>, — Гольбаху отвечал не только Рейналь, утверждавший, что «все народы polités были некогда дикими, а все дикие народы, представленные своему природному стремлению, были

высказывалась и развивалась в те годы. См., например: *Raynal G. T. F.* Op. cit. T. 10. P. 31.

<sup>70\*</sup> «Возможно ли, чтобы варварские народы цивилизовались не имея добрых обычаев» (Ibid. P. 28, 29).

<sup>71\*</sup> *Goguet A.-Y.* Op. cit. T. 4, liv. 6. P. 392.

<sup>72\*</sup> *Holbach P. H. de.* Essai sur les préjugés. L., 1770. Ch. 11. P. 273.

предназначены судьбою стать *policiés*»<sup>73\*</sup>, но и Моо, писавший со всею серьезностью: «Отнюдь не следует удивляться тому, что у человека грубого и дикого может возникнуть желание преклониться перед человеком цивилизованным и развитым»<sup>74\*</sup>.

Каким бы ни было всеобщим и трогательным такое согласие, оно было не слишком плодотворным. Чтобы выйти из состояния беспредметного оптимизма, безусловно, следовало, приложив упорное старание, установить — во всех его аспектах — непротиворечивое и адекватное понятие «цивилизации». Но для этого нужно было разрушить старое унитарное представление о мире и прийти наконец к релятивистскому представлению о «стадиях цивилизации», а затем, в скором времени, и ко множественному числу — к представлению о «цивилизациях», более или менее разнородных и самобытных, понимаемых как удел и достояние каждой из множества различных этнических и исторических групп. К этому и пришли между 1780 и 1830 годами (промежуток времени немалый) через ряд последовательных этапов и, как сказал бы де Гольбах, путем опыта и познания. История эта непростая. Могла ли она быть простой, если само понятие «цивилизация» есть в конечном счете понятие синтетическое.

#### IV

Давайте перескочим одним махом через Революцию и Империю. И вот мы в Лионе, в 1819 году. В свет вышла книга под заглавием в духе времени: «Старец и молодой человек» Балланша; в ней много всякой всячины и разбросанных в беспорядке мыслей. Недавно ее переиздали с комментариями<sup>75\*</sup>. Так вот, если мы начнем читать пятую из семи Бесед, составляющих это сочинение, то дважды натолкнемся на примечательное новшество (хотя оно и рискует остаться не замеченным современным читателем). «Рабство,— пишет Балланш на странице 102 издания Моджю,— существует ныне только на обломках прежних цивилизаций». И немного далее, на странице 111, он рассуждает о религиях, которые в эпоху средневековья собрали воедино «наследие всех предыдущих цивилизаций». Первый ли это случай, когда французский автор, нарушив пятидесятилетнюю традицию, заменил в печатном тексте «цивилизацию» «цивилизациями»? Я бы остерегся это утверждать, ибо не могу похвалиться, что прочел все, написанное во Франции с 1800 по 1820 год, с целью проследить, появилось ли окончание множественного числа у имени существительного. И все же я был бы очень удивлен, если бы обнаружили «цивилизации» во множественном числе значитель-

<sup>73\*</sup> *Raynal G. T. F.* Op. cit.

<sup>74\*</sup> *Moheau J.* Recherches et considérations sur la population de la France. P., 1778. P. 5.

<sup>75\*</sup> *Ballanche P.* Le vieillard et le jeune homme. Nouv. éd. / Avec introduction et notes par R. Mauduit. P., 1928 (см. нашу рецензию: *Revue critique.* 1929).



но более ранние, нежели те, что попались мне благодаря неслучайной случайности. Что касается важности самого факта, то ее можно специально не подчеркивать. Множественное число, использованное Балланшем,— знак того, что долгий труд, включавший в себя сбор материалов и исследование, завершился.

Выше мы говорили, какое пристрастие питали люди XVIII века, историки и прочие зачинатели будущих общественных наук,— какое пристрастие всегда и всюду питали они к фактам: эта любовь была столь же явной и несомненной, как и у натуралистов, физиков, химиков — их современников. Загляните в «Энциклопедию» — и вы убедитесь в этом. Мы знаем, что в конце XVIII века великие мореплаватели, совершавшие свои открытия (в особенности в Тихом океане), их многочисленные рассказы, которые публикуются повсюду на французском и на английском языках и очень быстро переводятся с одного языка на другой, доставляют разбуженному любопытству многих людей новую пищу — документальные данные о человеке или, вернее, о людях, их нравах и обычаях, их представлениях и общественном устройстве. Довольно рано все это было собрано, скомпилировано, классифицировано тружениками, которые продолжили дело таких, как Деменье и Гоге<sup>76\*</sup>, и постарались составить как можно более подробные и точные описания «диких народов», явившихся из безвестности. «Я — путешественник и моряк, иными словами — лгун и болван в глазах той породы писателей, ленивых и спесивых, которые в прохладе своих кабинетов до потери разума философствуют о мире и его обитателях и повелительно подчиняют природу воображению». Так резко выразился в своем «Путешествии вокруг света в 1766, 67, 68 и 69 годах» тот самый Бугенвиль, о котором столько говорили и писали<sup>77\*</sup>. Однако в умах ученых домоседов, которых он высмеивает, «унылых кабинетных умников», как сказал однажды другой первооткрыватель, «тех, кто проводит свою жизнь, измышляя никчемные системы и теории», — в их умах тоже «те весьма заметные различия», которые они вслед за мореплавателями могли заметить «между разными странами», куда привозили их мореплаватели<sup>78\*</sup>, — эти

<sup>76\*</sup> Книга Деменье «Нравы и обычаи различных народов, или Наблюдения, извлеченные из путешествий и повествований» была опубликована в 1776 году, переведена на немецкий М. Хисманном в 1783 году в Нюрнберге. В «Обращении к читателю» сказано очень ясно: «После того как было написано столько книг о человеке, мы не приблизились к знанию нравов, порядков, обычаев и законов различных народов. Мы хотим исправить это упущение». Однако автор добавляет: «Мы стремились проследить развитие цивилизации» (*Van Gennepe A. Op. cit. P. 21 sqq.*).

<sup>77\*</sup> *Bougainville L. A. de. Voyage autour du monde en 1766, 67, 68 et 69. Neuchâtel, 1772. Pt 1: Discours préliminaire. P. 26.*

<sup>78\*</sup> Письмо г-на Коммерсона г-ну де ла Ланду из Иль де Бурбона<sup>6</sup> от 18 апреля 1771 года, см.: *Ibid. P. 162.*

различия должны были поколебать веру в прочность всеобъемлющих унитарных построений. Впрочем, редактор «Путешествия Лаперуза» Миле-Мюро жаловался двадцатью годами позже, что рассказы путешественников все еще позволяют некоторым людям, «высокомерно сравнивая наши обычаи и нравы с таковыми дикарей, делать вывод о превосходстве цивилизованного человека над прочими людьми»<sup>79\*</sup>. Тот факт, что подобным образом порицались запоздалые носители старых предубеждений, свидетельствует о том, что автор считает себя свободным от этих предубеждений и что все факты и материалы, собранные Лаперузом и теми, кто с ним соревновался, начинают пробуждать новые мысли. Ограничимся тем, что процитируем сочинение Вольнея, которое многократно подтверждает, что в умах происходила некая работа. К его всеобщей концепции цивилизации нам еще придется вернуться. Но когда в своих «Руинах» он писал о «неудавшейся цивилизации» китайцев; в особенности же когда в «Объяснениях относительно Соединенных Штатов» он говорил о «цивилизации дикарей», — я понимаю, что он по-прежнему придавал слову «цивилизация» значение «морального воздействия», и все же его формулировки, как мне представляется, содержали новый оттенок<sup>80\*</sup>. Несколькими годами позже это стало еще более очевидным у Александра фон Гумбольдта. «Людьми племени хайма, — писал он, например, в «Путешествии в равноденственные области Нового Света», первое издание которого вышло в 1814 году, — очень трудно уразуметь что-либо из области числовых соотношений... Г-н Марсден наблюдал то же самое у малайцев на Суматре, хотя они насчитывают уже более пяти веков цивилизации»<sup>81\*</sup>. Далее он говорит о Мунго Парке, «предприимчивом человеке, который в одиночку проник в центр Африки, чтобы открыть там, среди варварства тамошних племен, следы древней цивилизации». И еще, по поводу своей книги «Виды Кордьер и памятники древних народов Америки» он замечал: «Этот труд имеет цель пролить свет на древнюю цивилизацию американцев — через изучение их архитектурных памятников, их иероглифов, их религиозного культа и астрологических фантазий»<sup>82\*</sup>. Поистине

<sup>79\*</sup> Voyage de la Perouse autour du monde. P., 1798. T. 1. P. XXIX.

<sup>80\*</sup> Volney C. F. Les Ruines, ou Meditations sur les Revolutions des Empires // Oeuvres complètes. P., 1868. P. 31; *Idem*. Eclaircissements sur les Etats-Unis // *Ibid.* P. 717. С этими цитатами можно сравнить такое место из «Рассуждения об изучении статистики» Пеше, которым открываются «Краткие статистические данные о Франции» (Париж, 1805); речь идет об африканских племенах: «поскольку они постоянно находятся в состоянии войны с соседними племенами, их цивилизация продвигается медленно».

<sup>81\*</sup> Цит. по: Humboldt A. von. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent. Vol. 1—3. P., 1816—1817. О малайцах см.: Vol. 3. P. 301; о Мунго Парке — P. 50.

<sup>82\*</sup> *Ibid.* Vol. 1. P. 38. Несколько выше (P. 35) Гумбольдт анализирует свой «Политический очерк королевства Новая Испания», в котором, как он

отсюда уже не так далеко до представления о «цивилизациях» во множественном числе, этнических или исторических, разделяющих неоглядную империю «Цивилизация» на самостоятельные провинции. Отметим, что вслед за географами, вслед за предшественниками социологии лингвисты, в свою очередь, приняли новое представление с энтузиазмом. Мы знаем, скольким обязан Александр фон Гумбольдт своему брату Вильгельму, которого он часто цитирует и часто ссылается на его идеи (к которым мы еще вернемся) относительно цивилизации, культуры и *Bildung*\*. Он, безусловно, повторял мысли Вильгельма, когда говорил в «Космосе», что санскритская цивилизация передается посредством языка<sup>83\*</sup>. У наших писателей я обнаружил еще один случай употребления слова «цивилизация» во множественном числе — в «Очерке о Пали»<sup>7</sup> Бюрнуфа и Лассена (1826). «Этот язык, — писали авторы, — еще больше укрепляет могучие узы, которые с точки зрения философии приводят к своего рода единству представителей столь различных цивилизаций, как тупой и грубый горец из Аракана<sup>8</sup> и более „polisé“ обитатель Сиама. Эти узы — религия буддизма». Чтоб ограничиться одним Бюрнуфом, давайте возьмем его последующие работы: всюду мы найдем вполне современное употребление слова «цивилизация» — идет ли речь о «происхождении индийской цивилизации» или о своеобразии Веды, где «ничто не заимствовано из предшествовавшей цивилизации или у других народов»<sup>84\*\*</sup>.

Как бы ни были редки такие тексты, их достаточно, чтобы показать, какую роль сыграли путешествия, интерпретаторы этих путешествий, а также лингвисты конца XVIII и начала XIX века в разработке того, что Ничефоро называет «этнографической концепцией цивилизации». Нужно ли добавлять, что эволюция их идей могла бы и должна была быть облегчена не менее стремительной и решительной эволюцией в области естественных наук?

К счастью, мы располагаем двумя текстами одного и того же автора, имеющими точную дату) один из них 1794 года, другой — 1804-го), которые позволяют с большой точностью установить,

говорит, представлены рассуждения о «населении, нравах обитателей, их древней цивилизации и политическом разделении страны»; там же перечисляет он и «колонияльные товары, в которых нуждается Европа на нынешнем этапе своей цивилизации».

\* Немецкое слово «Bildung» имеет много значений, в том числе: «образование», «образованность», «культурный уровень».

<sup>83\*</sup> Humboldt A. von. *Cosmos. essai d'une description physique du monde* / Trad. H. Fayl. P., 1847. T. 1: Considerations. P. 15.

<sup>84\*\*</sup> Burnouf E., Lassen Ch. *Essai sur le Pali*. P., 1826. P. 2. См. также вступительную речь, произнесенную Эж. Бюрнуфом в Коллеж де Франс, «О санскритском языке и санскритской литературе» (*Burnouf E. De la langue et de la littérature sanscrites* // *Revue des Deux Mondes*. 1833. 1 févr.; см. также: *Idem. Essai sur le Véda*. P., 1863. P. 20, 32. Это только отдельные примеры.

какие перемены за этот строго отмеренный промежуток времени претерпели самые фундаментальные представления ученых. И хотя я уже цитировал эти тексты<sup>85\*</sup>, прошу позволения напомнить хотя бы важнейшие места. В первом отрывке, помещенном в начале «Основ естественной истории и химии», Фуркруа, говоря довольно пренебрежительно о классификациях, которые «удобства ради зиждутся на различиях форм животных», тут же замечал, что «такого рода классификаций в природе нет, и все создаваемые ею особи образуют непрерывную и неразрывную цепь». Знакомая тема: ее с завидным усердием развивают все ученые того времени, тогда как историки и философы тянут монотонную кантату о постепенно прогрессирующей цивилизации — от диких народов к народам *polisés* и от первых людей к современникам Дидро и Жан-Жака. Год XII<sup>10</sup> (1804); Фуркруа написал предисловие к «Словарю естественных наук» Лавро. На этот раз, ровно десять лет спустя, он пишет: «Знаменитые натуралисты (речь идет о Кювье и его учениках.— Л. Ф.) отрицают возможность построить такую цепь (непрерывную и нераздельную цепь живых существ.— Л. Ф.) и утверждают, что такого последовательного ряда в природе нет; что она создала лишь группы, отделенные друг от друга; или, вернее, что есть тысячи и тысячи независимых цепочек, непрерывных на каждом отрезке, но между собой они не согласованы и оторваны одна от другой, и связи между ними установить невозможно». Как видим, между двумя цитатами — пропасть. Революция, вышедшая из стен Музеев и руководимая Кювье, за несколько лет навязала даже самым сдержанным и осмотрительным людям концепции, в корне противоположные прежним. Это было начало долгого процесса специализации в естественных науках и релятивистской «доводки» «универсальных» идей XVIII столетия; аналогичный процесс будет идти параллельно в сфере истории, этнографии и лингвистики.

История не может обойти молчанием то, до какой степени политические события — короче говоря, Революция — способствовали этой эволюции. Выше мы отмечали, что слово «цивилизация» восторжествовало и завоевало свое место под солнцем в годы тревог и надежд, которые переживала Франция и вместе с Францией — Европа начиная с 1789 года. Это было не случайно. Революционное движение неизбежно было движением оптимистическим, полностью обращенным к будущему. За этим оптимизмом стояла философия, поддерживавшая и оправдавшая его: философия прогресса, беспредельного совершенствования человеческих существ и их творений — каждый этап на этом пути знаменовал собою новый успех. Это были не пустые слова и не

<sup>85\*</sup> *Febvre L.* Un chapitre d'histoire de l'esprit humain // *Revue de Synthèse historique.* 1927. Т. 43. P. 42–43.

бессмыслица, когда Баррер писал: «Для философа и моралиста основание Революции — в успехах Просвещения, в потребности более высокой цивилизации»<sup>86\*</sup>. Таким был итог бесконечных и упорных споров того времени и неистовых опровержений тезиса Руссо, его отрицания прогресса, его проклятий в адрес цивилизации<sup>87\*</sup>. Однако Революция постепенно развивалась, обнаруживались ее последствия. Она устанавливала новый порядок — но на развалинах старого; такие перемены неизбежно порождают у многих немалую тревогу и неуверенность. Каковы были первые последствия Революции в том, что касалось литературы, с одной стороны, и таких невольных путешественников, как эмигранты, — с другой? Ответы на эти вопросы можно поискать в книге Фернана Бальденспрегера<sup>88\*</sup>. В том, что имеет отношение к нашей теме, мы не можем пренебрегать влиянием путешествий, хотя и вынужденных, на мысли людей того времени. Во всяком случае, эти путешествия подготавливали их к тому, чтобы лучше понять, правильнее воспринять то, что узнали мореплаватели, первооткрыватели неизвестных человеческих обществ, и натуралисты, верные спутники этнографов, которые привлекли внимание современников к богатому разнообразию нравов и человеческих установлений<sup>89\*</sup>. Можно ли пренебречь этим отличным отрывком

<sup>86\*</sup> Цит. по: *Counson A. Qu'est que la civilisation? P. 8, not. 1.*

<sup>87\*</sup> Эти споры мы можем встретить не только в книгах, предназначенных для образованной публики; интересно, например, длинное рассуждение Вольея, в котором он стремится доказать, что если существуют народы порочные и развращенные, то «вовсе не потому, что объединение этих людей в общество породило у них порочные наклонности, а потому, что эти наклонности достались им в наследство от дикого состояния — первоначального источника, откуда происходит каждый народ, откуда проистекает и любое правление», и что, пожалуй, можно отвергнуть утверждение, что изящные искусства и литература являются „частью цивилизации“ и верными признаками счастья и процветания народов» (*Volney C. F. Eclaircissements sur les Etats-Unis. P. 718 sqq.*). Этими спорами заполнены и пропагандистские брошюры. См., например: *Boissel F. Le Cathéchisme du genre humain... 2<sup>e</sup> éd. P., 1791.* Аргументация Буасселя весьма занята там, где он противопоставляет идеям Руссо («исходившему в своих рассуждениях из того, что цивилизованное общество, чьи губительные недостатки заставили его предпochсть образ жизни дикаря (!), — первично») права и принципы, которые ныне, в 1791 году, должны послужить основой и устоями цивилизации; Руссо они были, конечно, неведомы.

<sup>88\*</sup> *Baldenspreger F. Le mouvement des idées dans l'émigration française. P., 1924. T. 1—2.*

<sup>89\*</sup> Можно было бы написать отличную книгу о том, какую роль сыграла Америка в развитии французской мысли (или, если взять шире, европейской мысли) в промежутке от 1780 и примерно до 1850 года. Книгу историческую, разумеется, и философскую. Те, кто интересуются источниками социологии, смогли бы немало из нее почерпнуть. Мы несколько чрезмерно загнипнотизированы литературным образцом — Шатобрианом; есть сочинения, в которых написано больше, больше такого, что заслуживает внимания и анализа, чем в «Натчезах»<sup>41</sup>. Полагаю, вы были

Талейрана, который писал в докладе, прочитанном в Институте 15 жерминаля V года, о поездке в Америку: «Путешественник пересекает там все уровни цивилизации, все уровни техники и заканчивает свой путь в хижине из стволов только что поваленных деревьев. Такое путешествие — это своего рода живое и практическое исследование происхождения народов и государств... Кажется, что мы путешествуем в прошлое, в историю развития человеческого разума». Однако это не все.

Если мы раскроем беседы «Старца и молодого человека» Балланша, из которых мы уже приводили великолепную цитату, то прочтем там в самом начале весьма полезные для нашего замысла страницы<sup>90\*</sup>. «Бросив взгляд окрест,— говорит мудрый Нестор своему слушателю и ученику,— Вы увидели, как старое общество бьется в смертной агонии... Вы твердите беспрестанно: „Что станет с родом человеческим?“ Я вижу, как цивилизация с каждым днем все глубже погружается в пучину, где я могу разглядеть лишь огромные обломки... Вы говорите еще: „История учит меня, что цивилизованные общества погибли, что империи прекратили свое существование, что губительная тьма опустилась на человечество на долгие века. И сейчас я замечаю такие аналогии, которые бросают меня в дрожь...». Давайте остановимся и не будем дальше цитировать прозу старины Балланша, то напыщенную, то слезливую. Люди, пережившие Революцию и Империю, узнали одну вещь, которую их предшественники не ведали,

---

бы удивлены, узнав, какое множество мыслей, размышлений, прозорливых догадок возникло в светлых головах в результате внимательных наблюдений над американской цивилизацией — от Вольера (прочих упоминать не будем) до Александра фон Гумбольдта и Мишеля Шевалье, автора «Писем о Северной Америке» (*Chevalier M. Lettres sur l'Amérique du Nord. P., 1834—1835*), или Токвиля, автора «Демократии в Америке» (*Tocqueville A. de. Démocratie en Amérique. P., 1835*). Впрочем, отметим и консерваторов. Не станем останавливаться на Балланше, в книге которого «Палингенез» Америке уделено не больше места, чем во «Всеобщей истории» Боссюэ. Мы знаем, что Огюст Конт, оправдывая Боссюэ в том, что тот «ограничил свой исторический кругозор исследованием одного только однородного и непрерывного ряда, который тем не менее справедливо признан универсальным», — Конт исключал из своего поля зрения то, что он называл «различными другими центрами самостоятельной цивилизации, чья эволюция до сих пор по тем или иным причинам задержалась на стадии менее совершенной». Он имел при этом в виду не только Америку, но и Индию, Китай и т. д. Правда, добавлял он (несколько платонически), «если только сравнительное изучение этих второстепенных рядов не может принести пользу и пролить свет на основную тему» (*Comte A. Cours de philosophie positive. P., 1841. T. 5. P. 3 sqq.*).

<sup>90\*</sup> *Ballanche P. Op. cit. P. 48 sqq.* Это текст 1819 года. Два года спустя появилось сочинение Сен-Симона с таким посвящением королю: «Государь, ход событий делает все более и более глубоким тот кризис, в котором находится общество не только во Франции, но и во всей великой нации, образованной различными западными народами Европы».

когда пускали в обращение, где-то около 1770 года, слово «цивилизация». Они узнали, что цивилизация может умереть. И узнали они это не из книг<sup>91\*</sup>.

Это все? «Состояние тревоги и неуверенности», — отмечали мы выше и в подкрепление себе цитировали многих эмигрантов, изгнанников, путешественников всякого рода и звания. Но это были аристократы и одиночки. На самом же деле — и гораздо глубже — именно нация, как говорили в те времена, нация вся целиком испытала на себе воздействие кризиса, безусловно породившего «смутное беспокойство» и «неуверенность в мыслях», но также и вполне конкретные экономические потрясения и социальные катаклизмы. Отсюда следует странная вещь: пессимистическая теория Руссо, которую Революция, опьяненная собою, казалась, перечеркнула своим успехом, — теперь сама же Революция неожиданно возвращала ее к жизни; теми тревогами и смутами, которые она породила, мыслями, на которые навела, ситуациями, которые она создала или которым способствовала; и вот, когда завершился великий кризис, другие люди снова выступили на защиту этой теории. Правда, акцент теперь делали на другом. «Величайшие люди всех времен, Ньютон и Лейбниц, Вольтер и Руссо, знаете ли вы, чем вы велики? Своим ослеплением... ибо вы думали, что цивилизация — это общественное предназначение рода человеческого». Кто этот запоздалый вития, пришедший к гражданину города Женевы с запоздалым подкреплением? Статья называлась «Всеобщая гармония»; она появилась в «Лионском бюллетене» 11 фримера XII года, а ее автор — приказчик из безансонской лавки по имени Шарль Фурье<sup>92\*</sup>. «Слепые мудрецы, — продолжал он, — взгляните на города, в которых полно нищих, на ваших соотечественников, борющихся с голодом,

<sup>91\*</sup> Значительно позднее Ж. А. де Гобино напишет: «Падение цивилизации — самый поразительный и в то же время самый загадочный из исторических феноменов» (*Gobineau J. A. de. Essai sur l'inégalité des races humaines*. P., 1853. Ch. 1).

<sup>92\*</sup> *Bourgin H. Charles Fourier*. P., 1888. P. 70. Похоже, что еще до выступлений Фурье и до его теории цивилизации, режима свободной конкуренции и мнимой анархии — еще раньше цивилизации с разных сторон были вынесены своего рода суровые спартанские приговоры людьми, весьма между собой несхожими. См., например, такой фрагмент из сочинения Бийо-Варенна «Элементы республиканизма» (1793): «Кто не знает, что, поскольку цивилизованное состояние погружает нас всех, как Тантала, в реку впечатлений, получается, что это наслаждение воображения и сердца делает радости чисто животные совершенно второстепенными» (цит. по: *Jaurès J. Op. cit.* P. 1503). См. также цитату из Шамфора: «Цивилизацию можно уподобить кухне. Когда мы видим на столе блюда легкие, здоровые и хорошо приготовленные, мы радуемся, что стряпня стала наукой, когда же на столе подливки, наваристые бульоны, пироги с трюфелями — мы проклинаем повара и его губительное искусство» (Максимы и мысли, 1794). Из этого, помимо всего прочего, следует, что Шамфор не обладал желудком Брийа-Саварена.

на поля войны и все ваши социальные мерзости. Полагаете ли вы после этого, что цивилизация — это предназначение рода человеческого или же что прав был Ж.-Ж. Руссо, сказавший о цивилизованных людях: „Настоящие люди не здесь; а здесь все пребывает в расстройстве, причину которого вы не можете постигнуть“?» Так пробовал голос отец социетарного социализма, в то время как мадам Сталь испытывала потребность выступить в защиту теории, провозгласившей способность человека к совершенствованию. «Каковая теория, — писала она, — разделялась всеми просвещенными философами последние пятьдесят лет»<sup>93\*</sup>. В самом деле, произошли какие-то сдвиги в мышлении. И совместными усилиями ученых, путешественников, лингвистов и тех, кого за неимением более точного слова приходится назвать философами, понятие «цивилизация», бывшее столь простым в момент своего появления на свет, обогащалось новыми значениями и обнаруживало свойства, которые нельзя было предвидеть.

## V

Тогда потребовалась новая корректировка. Ее попытались осуществить с одной только стороны. В эпоху реконструкции и восстановления, какою была в основном эпоха Реставрации, по-прежнему стали создаваться в той или иной степени строгие, в той или иной степени разработанные теории цивилизации. Приведем лишь несколько имен и несколько названий. В 1827 году в продаже появились переведенные на французский и снабженные предисловием Эдгара Кине «Мысли о философии человечества» — книга Гердера, написанная уже давно<sup>94\*</sup>. В том же году в Париже вышли «Принципы философии истории» Дж.-Б. Вико, перевод из его сочинения «Новая наука» с предисловием Жюль Мишле, посвященным теориям автора и его биографии<sup>95\*</sup>.

<sup>93\*</sup> *Stael G. de. De la littérature considerée dans ses rapports avec les institutions sociales // Oeuvres complètes. P., 1848. P. 12.* Отметим несколько далее (р. 16) замечание, оно свидетельствует о позиции, отличной от позиции Огюста Конта, о которой говорили выше: «Каждый раз, когда новая страна, например Америка, Россия и т. д., делает успехи в деле цивилизации, род человеческий становится совершеннее».

<sup>94\*</sup> *Herder I. G. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'Humanité. Strasbourg, 1827.* Переведена в 1834 году. Об успехе этой книги см. докторскую диссертацию (в Сорбонне): *Tronchon P. La fortune intellectuelle de Herder en France, Bibliographie critique. P., 1920.*

<sup>95\*</sup> «Другие науки, — писал Мишле в Предисловии, — заняты тем, что пытаются совершенствовать человека и руководить им. Но ни одна из них не ставит цель познать принципы цивилизации, из которой они произошли. Новая наука открывает нам знание этих принципов, даст нам возможность измерить путь, который проходят народы в своем развитии и упадке, рассчитать, в каком возрасте жизни они находятся. Тогда мы узнаем, какими способами общество может возвыситься или поднестись на самую высокую ступень цивилизации, на какую оно способно подняться; тогда наступит союз теории и практики...» (*Vico J.-B. La science nouveau. P., 1827. P. XIV.*)



В 1833 году Жюффруа объединил в своих «Философских сборниках» множество статей, написанных в 1826—1827 годах, в частности две лекции из курса «Философия истории», прочитанного в 1826 году<sup>96\*</sup>, частично или целиком посвященные цивилизации<sup>97\*</sup>. Но один человек в особенности завладел, если можно так выразиться, самим понятием «цивилизация» и его исторической интерпретацией: это Франсуа Гизо, который в своем «Философском и литературном обзоре 1807-го», опубликованном в «Литературном архиве Европы» за 1808 год (т. 17), уже тогда писал следующее: «Человеческая история может рассматриваться только как собрание материалов, подобранных для великой истории цивилизации рода человеческого». Когда в 1828 году он занял кафедру в Сорбонне — мы знаем, какова была тема его лекций; один за другим он прочел курсы: в 1828 году «О цивилизации в Европе» и в 1829 году «О цивилизации во Франции»<sup>98\*</sup>; методически и, если можно так сказать, дотошно анализируя само понятие «цивилизация», он подарил соотечественникам не только великолепное собрание мыслей, но и великолепный образец грандиозного построения во французском духе, в котором сумел (благодаря нескольким искусным ходам) примирить самые противоположные точки зрения и прояснить, сделать доступными и привлекательными для ума (разумеется, ценою ряда упрощений, несколько рискованных) самые темные из темных мест, разобраться в сложностях, самых запутанных и безнадежных.

Первым делом Гизо выдвинул такое положение: цивилизация — это явление, «такое же явление, как и всякое другое», и может быть, «как всякое другое, изучено, описано, изложено»<sup>99\*</sup>. Формулировка и декларация несколько загадочны, но вскоре разъясняются следующим замечанием: «С некоторого времени много говорят, и не без основания, что историю следует ограничить фактами. Мы сразу же вспоминаем о замечании Жюффруа в его статье из «Глоб» (напечатанной в 1827 году) «Боссюз, Вико, Гердер»: «Что бросается в глаза у Боссюза, у Вико, у Гердера,— отмечает Жюффруа,— так это пренебреже-

<sup>96\*</sup> Они были опубликованы под названием «О теперешнем состоянии человечества» (*Jouffroy Th. Mélanges philosophiques*. P., 1833. P. 101). В этом же сборнике, изданном в Париже у Полена, следует особенно отметить статью «Боссюз, Вико, Гердер», перепечатанную из «Глоб» от 11 мая 1827 года.

<sup>97\*</sup> С 1832 по 1834 год даже вышло шесть выпусков «Социального обозрения» — журнала, посвященного цивилизации и ее успехам (орган общества «Цивилизация»). На это указал П. Троншон (см.: *Tronchon P. Op. cit.* P. 28, not. 265).

<sup>98\*</sup> Два курса стали двумя книгами (неоднократно переиздавались): *Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe*. P., 1828; *Idem. Histoire de la civilisation en France*. P., 1829.

<sup>99\*</sup> *Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe*. P. 6.

ние к истории: факты гнутся и мнутся у них, как трава под ногами»<sup>100\*</sup>. Так объясняется немного удивляющая нас позиция Гизо (за которую позднее Гобино будет упрекать его с горячностью, хотя и неискренне). Гизо хочет быть историком, он не хочет, чтобы его считали идеологом за то, что он стремится писать о явлениях крупных и всеобщих, а не частных. Однако это «явление», «такое же, как всякое другое», это общее явление, «малодоступное взору, сложное, трудно поддающееся описанию и изложению, но тем не менее существующее», принадлежащее к «категории исторических явлений, которые нельзя исключить из истории, не искалечив ее», — Гизо знает (и говорит несколько далее), что это «как бы океан, который составляет богатство каждого народа и в лоне которого соединяется все, что составляет жизнь народа, все силы его бытия»<sup>101\*</sup>. Любопытно отметить, что он тут же добавляет: даже такие явления, которые, «собственно говоря, нельзя назвать социальными, — индивидуальные явления, которые, казалось бы, более относятся к человеческой душе, чем к общественной жизни, — таковы религиозные верования и философские идеи, науки, литература и искусства», — они тоже могут и должны рассматриваться «с точки зрения цивилизации». Прекрасная цитата, весьма полезная для всякого, кто захотел бы более или менее точно измерить успехи социологии и оценить, насколько за сто лет изменилось значение и понимание некоторых слов, считавшихся некогда простыми и ясными.

Из предварительных рассуждений вытекают по крайней мере два вывода. Полемика своих рассуждений Гизо избирает нацию или, вернее, как он пишет, «народ». Конечно, он имеет в виду цивилизацию европейскую. Но что такое Европа, если не народ, возведенный в квадратную степень? И разве европейскую цивилизацию Гизо изучает не через Францию<sup>102\*</sup>, созидавательницу и распространительницу милостью божией? Таким образом, он принимает точку зрения Жюффруа: у каждого народа — своя цивилизация, при этом подразумевается, что существуют «семьи народов»; но все в целом пребывает под сенью «древа цивилизации, которое должно со временем одеть всю Землю своею листвою»<sup>103\*</sup>. В этом суть решения Гизо вопроса о том, «существует ли общая цивилизация рода человеческого, предназначение всего челове-

<sup>100\*</sup> *Jouffroy Th. Mélanges philosophiques. P. 88.*

<sup>101\*</sup> *Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe. P. 9.*

<sup>102\*</sup> «Почти невозможно найти такую великую идею, такой великий принцип цивилизации, которые, прежде чем получить всеобщее распространение, не прошли бы через Францию» (*Ibid. P. 5*).

<sup>103\*</sup> Например, как ни далека цивилизация России от таковой Франции или Англии, легко увидеть, что русские участвуют в той же системе цивилизации, что и французы, и англичане... Это более юные дети той же семьи, менее сильные ученики той же школы цивилизации (см.: *Jouffroy Th. Du rôle de la Grèce dans le développement de l'Humanité // Mélanges philosophiques. P. 93*).

ства, и передавалось ли народами из века в век нечто накопленное человечеством, что не было утрачено» (добавим от себя: «прогресс»). Гизо отвечал: «Я убежден, что у человечества — общая судьба, что передача накопленного человечеством действительно происходит и, следовательно, всеобщая история цивилизации должна быть написана». И далее: «Идея прогресса, развития представляется мне основной идеей, содержащейся в слове „цивилизация“»<sup>104\*</sup>. Итак, в результате умелого обобщения разрешен щекотливый вопрос. Существуют цивилизации. И их нужно изучать, анализировать, анатомировать — каждую по отдельности и через посредство их самих. Но над ними есть еще Цивилизация и ее движение, непрерывное, если и не прямолинейное. Цивилизация и ее прогресс. Но только что же прогрессирует?

Цивилизация, учит Гизо, состоит в основном из двух элементов: из некоторого уровня социального развития и некоторого уровня развития интеллектуального. Формулировки несколько расплывчатые, и Гизо пытался их уточнить. С одной стороны, есть развитие условий внешних по отношению к человеку и всеобщих; с другой — развитие внутренней и личной природы человека; одним словом, есть совершенствование общества и таковое же — аспектов человеческих. Впрочем, Гизо настаивает на том, что здесь речь идет не только о сложении и наложении; одновременность, тесное и сразу же возникающее единство, взаимное воздействие этих двух рядов явлений, социальных и интеллектуальных, необходимых для самого развития цивилизации. Опереждает ли явным образом какой-нибудь из этих рядов другой? Этот вопрос вызывает неуверенность и замешательство. «Значительный социальный прогресс, крупные успехи в области материального благосостояния — могут ли они проявиться у того или иного народа, не будучи сопровождаемы усиленным интеллектуальным развитием, прогрессом человеческого сознания, аналогичным прогрессу материальному? При таких обстоятельствах социальный прогресс представляется непрочным, необъяснимым, почти незаконным». Окажется ли он жизнеспособным? Распространится ли? «Одни только идеи шутя преодолевают расстояния, пересекают моря, заставляют понять и принять их повсюду». И потому «социальное благополучие имеет отпечаток чего-то второстепенного, если оно не принесло никаких иных плодов, кроме благополучия как такового». Фраза, которую странно встретить у человека, которого несколькими годами позже его противники объявят ничтожным, великим, жрецом обогащения. И напротив, если где-то начинается бурное развитие умственной деятельности и никакой социальный прогресс с ним как будто не связан — мы этим удивлены и обеспокоены. «Кажется, что мы видим прекрасное дерево, на котором нет плодов. Мы проникаемся некоторым пре-

<sup>104\*</sup> Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe. P. 7, 15.

небрежением к идеям... которые не сумели овладеть внешним миром»<sup>105\*</sup>.

Мы знаем, как разворачивались далее доказательства Гизо. Исходя из того, что два великие «элемента», составляющие цивилизацию, теснейшим образом связаны один с другим, а именно развитие разума и развитие социальное, и это при том, что совершенствование цивилизации — результат не только их единства, но и их синхронности,— для Гизо было достаточным бегло окинуть взглядом европейские цивилизации, чтобы прийти к выводу: английская цивилизация — это цивилизация, ориентированная почти исключительно на улучшение социальное, однако ее представители оказались лишены таланта «зажечь мощные факелы разума, которые осветили бы целую эпоху». Ее противоположность — цивилизация немецкая: могучая духовно, но слабая организационно, в частности в том, что относится к совершенствованию социальному. В Германии, где человеческий дух с давних времен возвышался над условиями существования, разве мысль и действительность — сторона интеллектуальная и сторона материальная — разве не были они там почти полностью разобщены? И была одна страна, одна только страна, которая, напротив, сумела дерзко осуществить гармоничное развитие мысли и действительности, стороны интеллектуальной и стороны реальной: этой страной была, как вы сами понимаете, Франция, где природа никогда не обделяла людей ни личным величием, ни достоинствами, а личное величие и достоинства всегда имели общественное значение и могли быть полезны обществу...<sup>106\*</sup>

И здесь синтез сделан умело. Трудности исчезли бесследно. Понятие материального благополучия, хорошей организации социальных отношений, «более справедливого распределения между людьми как прав, так и благ, созданных коллективами», — все, в отсутствии чего Фурье в 1807 году упрекал цивилизацию, — все это Гизо внес в перечень элементов, из которых состоит и цивилизация, которые она должна предъявить наблюдателю, чтобы быть достойной своего имени. И, разрешая тем самым старый спор, он показал, что «police» и «civilité» объединяются, чтобы породить такую цивилизацию. Точнее, широта взглядов, с которой он предоставлял место в построенном им гостеприимном и великолепно распланированном здании как факторам, обеспечивающим могущество и благосостояние обществ, так и факторам развития и обогащения личности и нравственности человека, его способностей, его чувств, его мыслей, а также наукам и искусст-

<sup>105\*</sup> Guizot F. Histoire de la civilisation en France.

<sup>106\*</sup> Таким образом, Гизо возвращается к своим рассуждениям из «Цивилизации в Европе», где они изложены в общей форме и где страны не названы; здесь же он пишет подробнее и называет поименно народы, которые имеет в виду (Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe. P. 12–13).

вам, этим «гордым отражениям человеческой природы»<sup>107\*</sup>, — эта своеобразная всеобъемлющая терпимость его концепции пришлась очень кстати, чтобы не допустить во Франции такого тяжкого разрыва, какой происходил тогда в Германии (кое-кто, быть может, мечтал о таком же и у нас), — разрыва между «культурой» и «цивилизацией».

О понятии «культура» во Франции не написано ничего. Я сказал бы: «естественно», если бы хоть какая-нибудь доля трезвой иронии уместна, когда мы отмечаем такие пробелы в наших знаниях. Как бы ни были малы мои знания об истории культуры, я, во всяком случае, могу сказать, что у французской культуры есть история и что она заслуживает того, чтобы ее воссоздали, и что она не лишена интереса.

Ограничимся самым основным. Не мне надлежит разыскивать в истории идей Германии дату и обстоятельства появления слова «Kultur». Ни даже поставить вопрос о заимствовании. Я вижу только, что в нашем «Академическом словаре», изданном в 1762 году, сказано, что во французском языке слово «culture» означает — в переносном смысле — «попечение об искусствах и умственной деятельности». Приводятся два примера: «culture искусств — дело очень важное»; «заниматься culture умственной деятельности». Довольно скудно. Определение, конечно, будет развиваться. В том же «Словаре», но 1835 года издания, читаем: «...говорится в переносном смысле о деятельности, направленной на совершенствование наук и искусств, на развитие умственной деятельности». По правде говоря, скорее перефразировка, чем более содержательное толкование; даже поясненное таким образом, понятие не может сравниться богатством с тем, которое по другую сторону Рейна соотносит со словом «Kultur» «Словарь» Аделунга издания 1793 года: облагораживание, уточнение всех умственных и моральных качеств человека или народа. Я вспоминаю также, что Гердер, о котором писал Кине, придавал этому слову ряд разнообразных значений; среди них: способность одомашнивать животных; осваивать новые земли, сводя леса; развитие наук, искусств, ремесел и торговли; наконец, «police». Выражение подобного рода мы часто встречаем и на нашем языке. Однако (заметим мимоходом) не следует слишком уж торопиться верить в заимствование; примечательно, что эти мысли у нас всегда относят к рубрике «цивилизация»<sup>108\*</sup>. Так, для мадам де Сталь «большие площади лесов, их большая протяженность указывают на то, что цивилизация здесь — недавняя»; по правде говоря, нужно заметить, что слово «культура» в ее фразе могло бы при-

<sup>107\*</sup> Ibid. P. 18.

<sup>108\*</sup> Первый признак человека, который начинает цивилизоваться: «он добивается владычества над животными» (*Buffon G. L. Epoque de la Nature. P., 1778. P. 101*).

вести к забавному недоразумению<sup>109\*</sup>. Коротко отмечу еще, что мысли Гердера почти во всем совпадают с мыслями Канта, который связывал успехи культуры с успехами разума и считал их окончательной целью установление всеобщего мира<sup>110\*</sup>.

Хотя эти мысли были известны и у нас, пусть фрагментарно, несомненно следующее. Не пускаясь в далекие поиски, давайте вспомним германизованного француза Шарля де Вилье, проникшегося столь пылкой любовью к германской мысли своего времени. Идеи Канта отнюдь не остались незамеченными. Я не стану приводить тому иных доказательств, кроме тонкой книжки — сорок страниц петитом, которая знакомила французского читателя с «Представлением о том, чем могла бы быть всемирная история с точки зрения гражданина мира». Сочинение Канта впервые увидело свет, если не ошибаюсь, в 1784 году в «*Berlinische Monatschrift*»; на переводе была указана дата — 1796 год. В книге много говорилось о «культурном состоянии» (*état de culture*), которое есть не что иное, как «увеличение общественной ценности и значимости человека»<sup>111\*</sup>. Переводчик, взяв слово, сообщал от своего имени (с. 39) читателям, что они уже вышли из состояния дикости, то есть абсолютного невежества, из состояния варварства, и вошли в период «культуры»; оставалось лишь достичь эпохи «нравственности» (*moralité*). Кроме того, в «Очерке о духе и влиянии лютеровой Реформации» (1804) и во «Взгляде на современное состояние древней литературы и истории Германии» Шарль де Вилье обращал внимание французов на рождение «Истории культуры» (*Kulturgeschichte*), которую создавали немцы, представляя «достижения истории политической, истории литературы и истории религии в их связи с цивилизацией, промышленностью, человеческим благом, нравственностью, характером и образом жизни людей»; эта тема, добавлял он, породила у немецких авторов «сочинения глубокие и замечательные»<sup>112\*</sup>. Все это, как нам представляется, еще достаточно расплывчато и

<sup>109\*</sup> Возможность подобных недоразумений должна нас настораживать. Когда мы читаем, например, в книге Кондорсе «Жизнь Вольтера», что «невозможно расширить пространства земли, на которых процветает культура (*culture*), где обеспечена безопасность торговли, где деятельная промышленность, без того, чтобы увеличить сумму довольства и благ для всех людей», то можно в первый момент подумать, что слово «культура» употреблено здесь в смысле немецкого «*Kultur*», и не сразу распознать просто «агрикультуру», то есть земледелие.

<sup>110\*</sup> Это мысль Кондорсе из его «Жизни Вольтера»: чем шире распространяется по Земле цивилизация, тем все больше будут исчезать войны и завоевания, так же как рабство и нищета.

<sup>111\*</sup> *Kant I. Idée de ce que pourrait être un histoire universelle dans les vues d'un citoyen du monde. P., 1796. P. 13, 23, 25 etc.*

<sup>112\*</sup> *Villers Ch. de. Coup d'oeil sur l'état actuel de la littérature antique et l'histoire en Allemagne. P., 1809. P. 118, not. O Шарле де Вилье см.: Wittmer L. Charles de Villers, 1765–1815. Genève; P., 1908; Tronchon P. Op. cit.*

путано. Во всяком случае, из этого не вытекает противопоставление культуры — цивилизации.

Александр фон Гумбольдт также не сформулировал специально такое противопоставление. В своих сочинениях он часто пользовался словом «культура» наряду со словом «цивилизация», не заботясь как будто о том, чтобы уточнить соотношение этих терминов <sup>113\*</sup>. Однако он охотно ссыался на своего брата Вильгельма, лингвиста <sup>114\*</sup>, а у того на этот счет были ясные представления, которые он умел четко излагать. В своем знаменитом исследовании языка кави <sup>115\*</sup>,<sup>12</sup> он дал подробные разъяснения по этому вопросу. Он показал, как кривая прогресса шаг за шагом поднималась по шкале градаций, построенной искусно, хотя и несколько искусственно, — от человека, чьи нравы смягчены, гуманизированы (человека цивилизованного), к ученому, художнику, к человеку культивированному («культурному» — *cultivé*), чтобы вознестись к олимпийскому, мне бы хотелось сказать — «гётеанскому», величию человека, полностью сформированного («образованного» — *formé*). Так возвышаются друг над другом «Civilization», «Kultur», «Bildung». В общем и целом у такого автора, как Вильгельм фон Гумбольдт, слово «цивилизация» захватило сферу прежнего слова «police»: безопасность, разумный порядок, прочный мир, кротость и спокойствие, установившееся в области социальных отношений. Однако народы кроткие, народы хорошо *polisés* не обязательно являются народами культурными (*cultivés*), если иметь в виду их умственное развитие; нравы некоторых дикарей — в частной жизни — достойны всяческого уважения, и тем не менее эти дикари чужды какой бы то ни было интеллектуальной культуры. И наоборот. Отсюда вытекает независимость этих двух сфер, различие двух понятий.

Имели эти мысли влияние на умы во Франции? Отметим только, что они могли подкрепить или поддержать ту интеллектуальную позицию, прекрасным образцом которой, и притом ранним по времени, может служить Вольней. Занятый, как и многие из его современников (мы об этом уже говорили), опровержением

<sup>113\*</sup> См., например: *Humboldt A. von. Cosmos...* Т. 1. P. 430, not.

<sup>114\*</sup> *Humboldt W. von. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java. B., 1836–1839. Bd. 1–3* (см. Введение к первому тому).

<sup>115\*</sup> «Именно интеллектуальная культура более всего способствует разнообразию характерных черт» (*Humboldt A. von. Voyage...* Т. 3. P. 287). «Я с сожалением употребляю слово „дикий“, поскольку оно указывает на различие в культуре между индейцем „обращенным“, живущим при миссии, и индейцем свободным или независимым — различие, которое зачастую опровергается наблюдениями» (*Ibid.* P. 264). «Варварство, царящее в этих краях, может быть, в меньшей степени является следствием положительного отсутствия всякой цивилизации, нежели результатом длительного одичания и забитости... Вероятно, большинство орд, которые мы называем дикими, происходят от народов, некогда обладавших более развитой культурой (*culture*)» (*Ibid.* P. 60).

идей Руссо касательно испорченности, порожденной развитием литературы, наук и искусств, разве не предлагал он радикальную операцию, которая должна была ввести «цивилизацию» в игру, пожертвовав, если нужно, одним из ее аспектов? <sup>116\*</sup> Руссо мог бы, отмечал он, Руссо должен был заметить и объявить, что изящные искусства — поэзия, живопись и архитектура — не являются «частями цивилизации, верными признаками счастья и процветания народов». Нашлись у Вольнея и примеры, «взятые из прошлого Италии и Греции», которые с несомненностью доказывают, что «искусства могли процветать в государствах, порочных военному деспотизму или разнузданной демократии, при том что как тот, так и другая были по своей природе дикарскими». На самом деле искусства — это декоративные растения: «чтобы вызвать их расцвет, достаточно правительству, располагающему властью в данную минуту, каким бы оно ни было, поощрять их и оплачивать»; по слишком усердно культивировать эти цветы — опасно: «изящные искусства, питаемые за счет обложения народов податями и в ущерб тем искусствам, которые связаны с пользой грубой и насущной, очень часто могут оказаться губителями общественных финансов и тем самым общественного устройства и цивилизации». Этот подвергнутый ревизии Руссо, исправленный и подчищенный Вольнеем, представляется, конечно, довольно ребячливым, не более. Все же следует считать определенной заслугой Гизо то, что в своем обширном обобщении он включил «развитие интеллектуального состояния» в число основных элементов цивилизации.

Эту заслугу признавали не всегда. Когда в 1853 году Гобино в книге «О неравенстве человеческих рас» делает в свой черед попытку определить слово «цивилизация» <sup>117\*</sup>, он принимается прежде всего за Гизо, и довольно резко. Гизо определил цивилизацию как «явление». Нет, доказывает Гобино. «Это ряд, это цепочка явлений». Гизо, по правде говоря, немного сомневался в своем определении (он сам об этом писал), а Гобино прочел его несколько торопливо. Но что более всего ставил он в упрек автору «Общей истории цивилизации в Европе», так это то, что Гизо не обошел вниманием понятие «формы правления». Если глубже всмотреться в его идеи, уверяет Гобино, мы очень быстро убедимся, что, для того чтобы получить право называться цивилизованным, народ, по мнению Гизо, должен «располагать учреждениями, умеряющими и сдерживающими как власти, так и свободу; под сенью этих учреждений материальный прогресс и моральное развитие приводились бы в соответствие определенным способом, и никаким иным, а правительство, так же как религия, пребывало бы в четко установленных границах». Короче.

<sup>116\*</sup> Volney C. F. Eclaircissements sur les Etats-Unis. P. 718 sqq.

<sup>117\*</sup> Gobino A. de. Op. cit. Liv. 1. ch. 8 (определение слова «цивилизация»)



заключал Гобино с некоторым лукавством, «по мнению Гизо, нет иной по-настоящему цивилизованной нации, кроме английской». Это был мальчишеский вызов, и книга от этого только бы выиграла, если бы автор не растянул ее на множество задиристых страниц. На самом деле позиция Гобино была довольно забавной. Он ставил в вину Гизо, что тот продолжал считать «police» одним из основных элементов понятия «цивилизация». Несчастное понятие, бедный Гизо. Одни призывали его выбросить за борт литературу, науку и искусства — все, что составляет культуру; другие — отбросить политические, религиозные и социальные институты. Он не сделал ни того, ни другого и, со своей точки зрения, поступил правильно.

Все же он испытывал некоторое смущение — не без того. Он признавался в этом читателям в примечательном отрывке из «Общей истории цивилизации в Европе»<sup>118\*</sup>. Прежде, писал он, в науках, которые занимаются миром физическим, факты были плохо изучены и к ним относились без почтения; «люди вдохновенно предавались домыслам, дерзали, не имея иного руководства, кроме умозаключений». В то же время в явлениях политического порядка, в мире реальном «факты были всемогущими, и это считалось едва ли не естественным и законным. Разуму незачем было во имя истины соваться с какими бы то ни было идеями в дела земные». Столетие назад (это указание отсылало читателей Гизо к началу царствования Людовика XV) произошел переворот. «С одной стороны, факты никогда ранее не занимали такого места в науке; с другой — никогда еще идеи не играли такой большой роли в мире». Это настолько справедливо, что противники современной цивилизации до сих пор постоянно ропщут. Они осуждают ту сухость, ту ограниченность и мелочность, которые, по их мнению, проникли в дух науки и «принижают мысли, замораживают воображение, отнимают у разума его размах, его свободу, надевают на него узду, обращают к сугубо вещественному». Напротив, в политике, в управлении обществом они видят только химеры и претенциозные теории: люди стремятся повторить попытку Икара; они разделяют судьбу дерзкого. Напрасные сетования, уверяет нас Гизо. Все в порядке. Человек перед лицом мира, который не он создал, не он придумал, прежде — наблюдатель, а затем уже деятель. Мир — это явление. В качестве такового человек его изучает; на фактах он упражняет свой разум; и когда он находит общие законы, управляющие развитием и жизнью мира, эти законы теперь не что иное, как факты, которые он констатирует. Затем, познание фактов внешнего мира порождает у нас идеи, которые главенствуют над этими фактами. «Мы чувствуем себя призванными переделать, улучшить, упорядочить действительность. Мы чувствуем себя в силах воздейст-

<sup>118\*</sup> Guizot, F. Histoire générale de la civilisation en Europe. P. 29–32.

водить на мир и распространить на него славное владычество разума». Таково назначение разума: когда он — наблюдатель, он подчиняется фактам; когда он — деятель, он становится властен придать им порядок более правильный, более ясный и безупречный.

Отрывок примечательный. Да, существовал конфликт. Конфликт между двумя умонастроениями, двумя методами, двумя различными подходами. Конфликт между духом поиска и исследований, позитивным научным методом, основанным на изучении и обработке фактов и преследующим только бескорыстные цели, и духом, скажем так: мечты и надежды, воображения, предшествующего фактам и их опережающего, — духом социального совершенствования и материального прогресса. И очень хорошо получается на бумаге — стараться, подобно Гизо, выровнять крен и привести к мирной гармонии прогресс умственный и социальное совершенствование. А на практике? Это два могущественных бога, и как подчинить одного другому или — несколько наивная химера — заставить их сосуществовать бок о бок?

В самом деле, когда Гизо писал эти строки, когда он читал свои курсы 1828—1829 годов, как обстояло дело? Во-первых, методы экспериментальных наук не проникли глубоко в те науки, которые в те времена назывались «науками моральными». По каким причинам? Или, вернее, вследствие какого сложного комплекса разнородных причин? Указать их было бы довольно трудно. И чтобы сделать это, нам пришлось бы, в свою очередь, задуматься над проблемой истоков и причин, и духа романтизма — проблемой, которая еще не нашла общепризнанного решения.

Было и другое. Цивилизация представлялась современникам Гизо не только объектом исследования. Это была реальность, в лоне которой они жили. Хорошо или плохо? Многие отвечали: плохо. И с точки зрения, которой мы придерживаемся в нашем очерке, это важно. Ибо упреки «противников цивилизации», как их называет Гизо, эти упреки, которые предъявляют и наперегонки повторяют все школы социальных преобразований; эти упреки, которые зовут к действиям, совершенно иным, нежели написание книг и диссертаций, — разве не подготавливали они, разве не делали заведомо легкой и соблазнительной критику (на этот раз с научных позиций) — критику понятия «цивилизация», несущего в себе суждение о ценности? Иными словами, разве они не способствовали тому, что стало возможным то расхождение, та диссоциация, с которой мы начали и которая завершилась во втором пятидесятилетии XIX века: расхождение двух представлений о цивилизации, научного и прагматического; одно в конце концов пришло к выводу, что любая группа человеческих существ, каковы бы ни были средства ее воздействия, материального и интеллектуального, на окружающий мир, обладает своей цивилизацией; другая — теперь уже старая концепция высшей цивили-

зации, которую несут и распространяют белые народы Западной Европы и Северной Америки, — концепция, присоединенная к фактической стороне вопроса как некий идеал.

Проследить расходящиеся в течение XIX—XX веков пути этих двух концепций не наша цель. Мы кратко наметили историю одного слова. Мы довели наш очерк до того времени, когда во всеобщем употреблении наряду с «цивилизацией» появились «цивилизации» — во множественном числе. Наша задача выполнена. Это была задача всего лишь для «автора предисловия». Отметим только, что практическое, радикальное и само по себе неуязвимое положение, которое заключается в утверждении «сколько существует народов, столько и цивилизаций», не препятствует тому, что в умах людей живет старое представление об общечеловеческой цивилизации. Как примирить две концепции? Как понять их соотношение? Исследовать это не моя задача. Моя задача заключалась всего лишь в том, чтобы ясно показать, как очертания и границы проблемы за полтора столетия поисков и размышлений — и за полтора столетия истории — постепенно обрисовались и уточнились для нас — в самом нашем языке.

# ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ ОДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

## РАННЕЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ЧЕТЫРЕ РАКУРСА

«Цивилизация,— пишет Литтре в своем «Словаре» издания 1873 года,— есть состояние того, что цивилизовано, то есть совокупность взглядов и нравов, устанавливающаяся в результате взаимодействия и взаимного влияния производительной деятельности, религии, искусств и наук».

Определение могло бы быть более элегантно; мысль, однако, ясна. Цивилизация — это равнодействующая; равнодействующая сил материальных и духовных, интеллектуальных и религиозных, воздействующих в данный отрезок времени в данной стране на сознание людей <sup>1\*</sup>. Литтре выразился не очень складно, но видел он хорошо.

Твердо придерживаясь изложенного выше представления, мы, конечно, хотели бы на последующих страницах не исследовать и не воспроизвести «совокупность взглядов и нравов» общества, столь жизнедеятельного, столь щедрого в различных своих проявлениях, каким было французское общество времен раннего Возрождения. Не собираемся мы и подражать тем хитроватым хозяевам, к которым приезжают в гости в деревню на выходной,— но они не расстанутся ради вас ни с кочаном капусты со своей грядки, ни с кроликом из своего садка. Нет, конечно. Мы ограничимся самым основным и займемся тем, что было наиболее характерным для цивилизации раннего французского Возрождения в ее самых высоких и самобытных проявлениях — цивилизации, которая и сейчас вызывает у нас уважение и восхищение. Устремленность к знанию; устремленность к красоте; устремленность к божественному; разве не это лучше всего характеризует, разве не к этому в конечном счете сводится неистовая деятельность людей того времени в ее самых высоких проявлениях — людей, которые жили в эпоху Возрождения, Гуманизма, Реформации и создали эту эпоху? Во всяком случае, именно это будет предметом нашего очерка.

Общая точка приложения всех этих благородных устремлений — человеческое сознание. История — наука о человеке. Мишле в своем знаменитом «Введении» ставит себе в заслугу, что он дал этой науке «отличное прочное основание» — Землю. Однако нужно, чтобы на этом основании, столь же устойчивом, сколь изменчивом, стояли люди. Возрождение, Гуманизм, Реформация: для нас это не персонифицированные абстракции, блуждающие по небу, где химеры идут следом за отвлеченностями

<sup>1\*</sup> Относительно понятия «цивилизация» в целом и разнообразных проблем, которые оно ставит перед историками, см. небольшую, но очень убедительную книгу: *Niceforo A. Les indices numériques de la civilisation et du progrès*. P., 1921.

ми. Чтобы лучше судить об этих великих движениях, мы должны проникнуть в самое сознание их творцов.

Было ли их сознание подобным нашему? Сущность человеческая всегда остается одинаковой, во все времена и под всеми широтами... Я прекрасно знаю эту старую песню. Но это — всего лишь постулат. И добавим — постулат, не представляющий ценности для историка. Для историка (так же как для географа, мы отметили это недавно <sup>2\*</sup>) нет человека вообще, а есть люди. Люди, особенности которых он всеми силами стремится познать, установить их отличительные признаки — все то, чем они отличаются от нас, — люди, которые жили не так, как мы, чувствовали и действовали не так, как мы.

Именно их, людей начала XVI столетия, нужно увидеть прежде всего, если мы хотим понять, чем было Возрождение, чем была Реформация. «Восстановить» их, воссоздать во всей естественной полноте и целостности — задача почти невыполнимая, да и стремиться к этому не стоит. Не будем столь честолюбивы. Удовольствуйтесь тем, что в качестве своего рода введения вызовем мысленно из небытия и отбросим на экран нашего воображения несколько типичных теней. Взгляд на них позднее безусловно сослужит нам службу — когда, увидев, мы постараемся понять.

#### ЧЕЛОВЕК ТОГО ВРЕМЕНИ — ФРАНЦУЗ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Кто мы такие? Каковы мы теперь — французы XX века? Свойств у нас, конечно, множество. Но наша суть реально существующих, живущих телесной жизнью людей такова: мы — горожане; мы живем оседло; мы — люди изнеженные.

Мы горожане. Мы живем в городе, внутри большого современного города, который не только место, где скапливается больше людей (и в большей тесноте), чем вне города, но и место, где человек не таков, как в иных местах; например, возрастной состав горожан не таков, как тех, кто живет в сельской местности; в городе относительно меньше детей и стариков из-за того, что там проживают много людей зрелого возраста, которые провели свое детство не в городе (и многие из них в старости тоже будут жить не в городе), но явились в город, чтобы растратить в нем силы молодости и зрелости. Наши связи с деревней разорваны, если не считать быстротечных часов отпуска. К тому же наша «деревня» — деревня горожан — это деревня, существующая для того, чтобы дать отдых нашим нервам и усладу взору, но не для работы рук.

<sup>2\*</sup> *Febvre L., Bataillon L. La terre et l'évolution humaine, Introduction géographique à l'histoire. P., 1922. Pt 2, ch. 3. P. 175 sqq.*

Мы домоседы. Мы захлебываясь рассказываем о наших поездках, о лихорадочных перемещениях в автомобиле, в самолете. Это еще ярче свидетельствует о нашей укorenившейся потребности в оседлом образе жизни. Ибо все увеличивающаяся скорость средств передвижения, их проворство и простота управления, наконец, их комфортабельность — вот что позволяет нам совершать дальние вояжи без долгих отлучек. Как редко бывает теперь (для большинства людей), чтобы нельзя было вернуться домой за срок восемь часов!

Горожане. Домоседы. А также изнеженные. Какое огромное место заняло в нашем языке старое слово «confort» [помощь, содействие], предшественник нашего «gесonfort» [утешение, подержка], ставшее для нас — после своего возвращения из Англии — не более и не менее как «комфортом», нашим современным спесивым комфортом. Вот что заключено в этом слове, что облегчает нам жизнь — материальные удобства: свет, который зажигается и гаснет от движения пальца; атмосфера в помещении, не зависящая от времени года; вода, холодная или горячая, какую захотим, льющаяся по нашему велению в любое время где угодно; все это и еще тысяча чудес, которые нас не удивляют; все это и то, каким становится благодаря этому наше тело; и темперамент, который всем этим формируется; и болезни, от которых нас все это избавляет, и болезни, которые нам все это приносит; навыки труда и мышления, нравы и обычаи, способности думать и чувствовать, которые из всего этого вытекают: да полно, разве это — нечто внешнее по отношению к нам, такое, о чем не стоит говорить, что не стоит отметить?

В действительности все это нас связывает. Держит нас. Все это делает нашу душу странной душой существ, прикрепленных к месту и укрощенных. Горожане, домоседы, цивилизованные и изнеженные, мы трижды рабы, мы трижды поработаны ненасытными потребностями, которые мы сами себе создали.

Люди XVI века были в этом отношении свободными.

## I

Горожане ли они — люди XVI века во Франции, при Карле VIII, при Людовике XII, при Франциске I? Нисколько. Они — сельские жители. Больших городов в современном смысле слова тогда не было. Конечно, иностранцы, да и сами французы восхваляли города Франции. Они прославляли Париж как одно из чудес света. Но что представляли собою города?

Город XVI века? Вот он перед вами на старых эстампах того времени, в космографиях, в сборниках планов городов. Мюнстер, Бельфоре, Антуан дю Пине, Браун и Гогенберг<sup>1</sup>... Город ограждают зубчатые стены с круглыми башнями. Наезженная, выбитая дорога ведет к узким воротам, к подъемному мосту; днем и ночью охраняет их стража. Справа — грубо сколоченный крест. Напро-

тив, на возвышении, — монументальная виселица (гордость горожан), на которой дотлевают тела повешенных. Часто над воротами на острие коды водружена — с соответствующим объявлением — отрубленная голова, или рука, или нога, какой-нибудь ужасный кусок человеческого тела, расчлененного палачом: это — Правосудие эпохи, имевшей крепкие нервы.

Наезженная дорога ведет к воротам. За ними начинается улица, проложенная прихотливо и небрежно, со сточной канавой посреди проезжей части, с навозной жижей, вытекающей из отхожих мест, в непролазной грязи, когда идет дождь, ни проехать, ни пройти, а когда жарит солнце, такая пыльная, что не продохнуть. И все вперемешку: мальчишки, утки, куры, собаки, даже свиньи (вопреки запрещающим указам) копошатся на ней.

Войдем в город и присмотримся. У каждой семьи свой дом, как в сельской местности. Как в сельской местности, при каждом доме сад, позади строений, с грядками овощей, обсаженными самшитом. И все как в деревне, потому что жизнь в городе — это деревенская жизнь с небольшими лишь вариациями. В каждом доме есть чердак с окном и с блоком для подъема сена, соломы, зерна и зимних запасов продовольствия. В каждом доме есть печь, в которой хозяйка со служанками еженедельно печет хлеб. При каждом доме есть своя давяльня рядом с погребом, который в октябре полнится запахами молодого вина. Наконец, при каждом доме есть конюшня с верховыми и упряжными лошадьми и хлев с быками, коровами, овцами, которых каждое утро в каждом квартале пастух собирает звуками рожка, а вечером приголяет домой.

Вот город. Его заполонила деревня. Она вторгается даже внутрь его домов. Она проникает в гостиную горожанина — вместе с его арендаторами, когда они в положенные сроки доставляют хозяину плоды его земли и ставят на лакированные плитки пола свои корзины, отягощенные деревенскими приношениями. Деревня входит в кабинет законника — прокурора или адвоката — в лице жалобщиков с зайцами и кроликами, петухами и утками в руках<sup>3\*</sup>. Она заполняет все комнаты летом охапками цветов и зелени, разбросанными по полу или подвешенными под печным колпаком, чтобы поддерживать влажную и настоенную ароматами свежесть воздуха. Зимой она вторгается в комнаты толстою подстилкой из соломы, которую кладут на покрытый плитками пол, чтобы сберечь тепло для людей и животных. Деревня вторгается и в язык — в нем полно слов, связанных с де-

<sup>3\*</sup> Фотографию с занятой картины XVI века, на которой изображен кабинет прокурора с вереницей тяжущихся, в чьих корзинах лежат обычные в таких случаях приношения, можно увидеть в «Revue du XVI<sup>e</sup> siècle» за 1922 год. Г-н Платтар воспроизвел этот снимок, сделанный г-ном А. Лефраном, см.: *Plattard J. Adolescence de Rabelais en Poitou*. P., 1923.

ревенской жизнью. Счет временам года ведут по стрекотанию цикад, по цветению фиалок, по созреванию хлебов на полях. Город, наполненный садами, огородами, зелеными деревьями, — это всего лишь деревня, несколько более густо заселенная. Жизнь там не более лихорадочная и не более комфортная, чем в деревне. Город не держит человека в плену.

## II

Однако много ли людей жило в те времена в городах по сравнению с теми, что жили в сельской местности?

Крестьяне ли эти последние? Нет. Во всяком случае, не все. Вся французская знать жила тогда в сельской местности<sup>44</sup>. В своих замках и дворцах? Да, таковые существовали. И многие из этих замков были замечательными постройками. Но отведите на минуту взгляд от фасадов в античном стиле, от многочисленных скульптур, от великолепно отделанного мрамора. Взгляните на эти роскошные резиденции попросту глазами нанимателя, осматривающего жилье. Все помещения расположены анфиладой, они огромны, однообразны, нарезаны квадратами; глухая стена впереди, глухая стена позади, окна в стене справа, окна в стене слева. И если кто хочет пройти из одного конца этажа в другой, нет иного способа, как миновать одну за другою все сообщающиеся между собой залы. Так обстояло дело не только во Франции. Бенвенуто Челлини в занимательных мемуарах рассказывает нам о довольно забавных причинах ненависти, которую питала к нему, как он говорит, великая герцогиня Тосканы<sup>54,2</sup>. Когда во Флоренции Козимо Медичи звал к себе во дворец любимого скульптора, Челлини приходилось, оставив все дела, спешить к своему государю. Очень торопливо, почти бегом, он входил в двери, поднимался по лестнице и пускался в путь — туда, где пребывал герцог. Он шел из залы в залу, через все помещения. Но не все они были парадными. Некоторые предназначались для дел особого свойства, даже очень особого свойства, и их посещала сама великая герцогиня собственной персоной. И случалось порою, рассказывает Челлини (при этом он выражает не больше удивления, чем дело того заслуживает), — случалось, что поме-

<sup>44</sup> Советуем обратиться к живому, хорошо документированному, хотя несколько идеализированному и теперь уже давнему описанию деревенской знати XVI столетия: *Vassière P. de. Gentilshommes campagnards de l'ancienne France. 2<sup>e</sup> éd. P., 1903.* См. также некоторые любопытные сведения, опубликованные другим знатоком: *Maulde la Claviere R. de. Les Origines de la Révolution française au commencement du XVI<sup>e</sup> siècle. P., 1889. P. 85–106.* О последующем периоде см.: *Romier L. Le Royaume de Catherine de Médicis. P., 1922.* Наконец, можно сослаться на документы, использованные при написании девятой главы («Благородный образ жизни») второй части нашей книги: *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté. P., 1912.*

<sup>54</sup> *Cellini B. Oeuvres complètes / Trad. E. Leclanché. P., 1853. P. 153 sqq.*



щения эти, когда он проходил через них, не пустовали и художник бывал вынужден, проходя, отвесить поклон высокой и могущественной особе (весьма поглощенной своим делом), которую внезапно вторжение мужчины в наиболее потаенные апартаменты должно было смущать самым неприятным образом. Но что было делать Челлини? Великий герцог ждал его, а дорога была только одна.

Это во Флоренции. В Уффици. Во Флоренции, которая по сравнению с Францией того времени была образцом утонченности и изысканности. Судите сами по этому маленькому примеру о том, каковы были удобства в наших замках. В частности, можно не сомневаться, что зимою там приходилось дрожать от холода. Мы восхищаемся монументальными печами, занимающими целую стену в просторных квадратных залах. И у нас есть все основания. Особенно после того, как в замке было установлено центральное отопление. Люди XVI столетия тоже восхищались; но для этого им приходилось носить, не снимая, меховые одежды и шапки. Тщетно целая армия истопников таскала полные короба хвороста и поленьев из одной комнаты, где стояла печь, в другую такую же. Все топящиеся (и часто дымящие) печи в замках Шамбор или Блуа не могли бы, конечно, удовлетворить наше сибаритство. Поодаль от огня люди мерзли. А если огонь пылал, люди под навесом камина изнемогали от жары. Чтобы избежать этих неприятных крайностей, они, естественно, оставались весь день в одежде и в головных уборах: тепло одетыми и в теплых шапках. У людей, которым холодно, вечно холодно в своем жилище; у людей, чей дом является как бы частью открытого поля и не отличается от него разительно своим дружественным теплом, — можно ли поверить, что представления этих людей о «доме», об «очаге», о семейном уюте были такими же, как у нас, — людей, испорченных и поработанных центральным отоплением? Итак, предположим, что имеющиеся у нас представления о доме, о нашем очаге — что представления эти внезапно вытеснены из головы и души современного человека, — и затем измерим образовавшуюся от этого пустоту... Если представить себе, чем были эти дворцы, — порою ловишь себя на том, что начинаешь тихо бормотать речи брата Бернара Лардона\*, амьенского монаха, посетившего Флоренцию вместе с Эвдемоном\*\*, и повторять за ним следом: этот порфир и мрамор прекрасны. Не скажу о них ничего дурного. Но амьенские булочки, но старые аппетитно пахнущие харчевни, а уж юные красотишки нашего края...

Все это замечательные вещи, обслуга, потребление и комфорт; во всяком случае, мы ценим их высоко, очень высоко...

\* Прозвище монаха (Lardon) означает «ломоть сала».

\*\* Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. 4. Гл. 11.

## III

Впрочем, что касается замков Блуа, Шамбор, Шенонсо, Азэ, Амбуаз, Уарон, Бонниве,— перечислить их недолго. Они — исключения. Обычно для дворянина, живущего не по-княжески, обиталище — усадебный дом, в котором он три четверти времени проводит в одном помещении — на кухне. До XVIII века французский дом не имеет особой комнаты — столовой. Людовик XIV в обычные дни ест в спальне, за квадратным столом, лицом к окну. Сеньоры XVI столетия, более скромные, они обычно едят у себя на кухне, которую в иных провинциях называют «*chauffoir*» [обогревальня]. На кухне тепло. Или, точнее, не так холодно, как в других комнатах. Здесь постоянно пылает огонь. Пахучий пар, вырываясь из кастрюль, создает атмосферу несколько тяжеловатую, но в общем теплую и уютную. Свежая солома на плитах пола сохраняет тепло для ног. И, кроме того, на кухне многолюдно. Люди живут локоть к локтю. А люди XVI века очень любят так жить. Как все крестьяне, они терпеть не могут одиночества. У XVI века понятия о стыдливости не такие, как у нас. Ему совершенно неведома наша потребность в уединении. В доказательство я упомяну только о размерах кроватей того времени: это монументальные сооружения, в них укладывалось порою множество людей, не испытывая стеснения и смущения<sup>7\*</sup>. Каждому своя комната — эта мысль принадлежит нынешнему времени. К чему это? — сказали бы наши предки. Отдельная комната, предназначенная для того или иного,<sup>2</sup> это тоже современная выдумка. На кухне собирались все и делали все или почти все.

Прежде всего там восседали сеньор и его супруга в деревянных креслах напротив очага. На скамьях — их дети, девочки и мальчики. При случае — гости, приходской священник; слуги. Под бдительным оком госпожи озабоченные служанки накрывали стол, убирали после еды. Арендаторы, работники, поденщики, возвращаясь с полей вечером, к обеду, изнемогающие от усталости и покрытые грязью, приваливаются каждый к своему месту в ожидании пищи. И вперемешку с людьми шумит домашняя живность: куры и утки — под столом они у себя дома; охотничьи птицы уселись на плечах охотников; собаки разлеглись у ног хозяев на подстилке, под юбками женщин выкусывают у себя блох или поджаривают себе бока, растянувшись возле пылающих углей.

Ели медленно, сосредоточенно, с чувством простую пищу. Хлеб, который редко был пшеничным. Густые мучные похлебки. Большие миски пшеничной каши или сваренного в молоке проса заменяли картофель, который не был еще известен, и отсутству-

<sup>7\*</sup> *Noël du Fail. Propos rustiques* / Ed. E. Borderia. P., 1881. Ch. 6. P. 42.

ющие пироги. Чаще всего каждый клал перед собой «tranchoir» \*. Представьте себе круглый ломоть черствого хлеба, толстый и твердый. На него клали пищу, взятую пальцами с общего блюда. Мясо, убойна, бывало редко: его подавали только на свадьбах и к праздничному столу. Сало бывало чаще. Но постных дней было много, и таких дней, когда вовсе воздерживались от пищи и питья, не говоря уж про долгий Великий пост, который соблюдался так строго, что из него выходили совсем ослабевшими. В те времена мясо — это дичь и домашняя птица. Возбуждение, которое нам дают говядина и баранина, мясная пища, сопровождаемая спиртными напитками и вином; иллюзия силы и мощи, которую современный человек черпает в своей привычной пище; кратковременная мобилизация нервов, которая в нашем современном обществе знакома самым тихим людям благодаря кофе, — ничего этого в XVI веке нет. Единственное излишество — это пряности. Тут не было никаких ограничений, только те, что налагались состоянием кошелька, — ибо пряности на рыночных площадях Лиссабона и Антверпена стоили недешево. Однако эти люди, которые не знают ни табака, ни кофе, ни чая, ни крепких напитков и едва знакомы с говядиной, они подстегивали себя на свой манер — воспаляя тело с помощью перца, имбиря, мускатного ореха или горчиц, приготовленных по мудреным рецептам.

Впрочем, они, по сути дела, проводят в доме немного времени. Они приходят туда, чтобы поесть или когда льет сильный дождь и полевые работы приостанавливаются. Они сидят дома, когда наступают темнота и начинается вечерняя жизнь. Ночь... Никто не знает, как одолеть ночную темноту. Что лучше всего освещает кухню или комнату — так это пляшущие огни камина. Лампы? Зловонные светильники, которые коптят, трещат, чадят отравляя воздух. Мы плохо представляем себе, что творится в какой-нибудь обширной кухне после того, как в нее набилось два десятка людей в рабочих одеждах и целый домашний зверинец впридачу, — запахи животных, людей, пищи, кожаных гамаш, которые сушатся на огне, над коптящих фитилей... Можно представить себе посреди всего этого — усердного мальчика, который хотел бы позаниматься и почитать в своем уголке. Но возможно ли это в таком кавардаке? На кухне никто не читает. Впрочем, четыре или пять раз в году, когда уж слишком льет дождь и нечего делать, кто-нибудь с горя читает вслух какую-нибудь главу из старого рыцарского романа в прозе. А иногда поздно вечером, когда все улягутся спать, хозяин достает книгу, в которой ведется запись всех семейных дел и событий, или, водрузив на стол

\* В современном французском языке этим словом называют деревянную доску, на которой режут хлеб или мясо.

счета с костяшками, принимается прилежно изучать свой бюджет.

В сущности, настоящая жизнь этого человека и всех ему подобных заключается в том, чтобы обойти или объехать свои поля, виноградники, луга, леса, обозреть свои владения, охотясь, или поохотиться, обозревая их. В том, чтобы посещать рынки и ярмарки, по-свойски толковать с крестьянами на их языке и о предметах, которые одни только их и интересуют (легко догадаться, что это вопросы не политические и не метафизические). По воскресеньям и праздничным дням этот простой в обращении сеньор, во многих отношениях тот же крестьянин, только рангом повыше, открывает бал вместе со своей супругой, кружит девушек в пляске, а при случае — играет в шары, стреляет из лука, сбивает наземь какую-нибудь птицу или развлекается борьбою ладонь на ладонь.

#### IV

Однако — могут мне возразить — есть еще и двор: двор Франциска I или даже раньше, двор Карла VIII, Людовика XII. Да, конечно, есть двор. Поговорим о нем.

Двор! Какое слово! Оно вызывает у нас ослепительные видения: большие позлащенные залы, залитые светом, полные богато разодетых сеньоров и дам, чье постоянное место обитания — покои роскошных замков. Будь то Лувр или Сен-Жермен, Фонтенбло или Шамбор или позднее Версаль<sup>3</sup>: неважно где. Меняется только обрамление — и люди. Но двор — разве он не остается двором всегда и везде? Место, доступное лишь для избранных, средоточие пышности и блеска, где множество могущественных особ, носящих на своих одеждах целые состояния, ведут жизнь в роскоши и комфорте, все время на виду, среди непрерывных празднеств и развлечений; конечно, это жизнь людей праздных и бесполезных, но она не лишена некоторой умственной живости; люди острят, сочиняют салонные стишки и бывают изощренно извительными.

Отлично. Но не хотите ли вместе со мною раскрыть на любой странице толстую книгу\*\*, в которой терпеливые ученые-эрудиты по датам писем и документов королевской канцелярии восстановили день за днем на протяжении тридцати лет царствования Франциска I маршруты всех передвижений государя? Мы остановились на 1533 годе; пусть будет этот, он не хуже и не лучше других. 1533 год; королю недавно исполнилось сорок. Он уже начинает седеть. Его взгляд стал тяжезым, нос вытянулся. Парижские (и всякие иные) дамы оставили суровый след на внешности галантного короля. А конфуз, приключившийся не

\*\* Catalogue des Actes de François I: Collection des Ordonnances des rois de France. T. 8. Itinéraire. P. 481 (1533).

так давно в Павии<sup>4</sup>, немало подорвал его престиж и обаяние. Итак, 1 января 1533 года; Франциск I пребывает в Париже, в Лувре. Он провел там весь декабрь и пробудет еще январь и февраль. Три месяца подряд на одном месте: подобное постоянство достойно удивления. Такое повторится нескоро. Ибо в марте король уже в пути. Сначала он объедет области Валуа и Суассона. 7 марта король в Ферте-Милоне; 9-го в аббатстве Лонпон; 10-го в Фер-ан-Тарденуа; 15-го в Суассоне; 17-го в Куси. Затем он направляется на север: 20-го он приезжает в Марль и ла Фер; 21-го в Рибемон; 22-го в Гиз; 24-го в Марль. Но его влечет Шампань. 28 марта он прибывает в Сен-Маркуль де Корбени; 29-го в Кормиси; 30-го в Реймс; в городе, где королей венчают на царство, он задерживается недолго. 3 апреля он через Фер-ан-Тарденуа прибывает в Шато-Тьерри. Он остается там на 3 дня. 7-го он уже в Мо; но идет Страстная неделя, близится Пасха: король на праздники остается в Мо. Только 19-го он приезжает в Фонтенбло; там он проводит неделю. 26-го через Монтаржи и Шатильон-сюр-Луэн он прибывает в Жъен. Оттуда он направляется в Бурж, прибывает туда 2 мая, проводит там три дня, затем отправляется в поездку по Бурбонне; через Иссуден, Мейлан, Серильи, Бурбон-л'Аршамбо Франциск I добирается до Мулена; он приезжает туда 16-го и живет там четыре дня. Затем через Роанн он направляется в Лион, куда и прибывает 26 мая. О чудо, он останавливается! Он проводит в Лионе около месяца, совершая, правда, вылазки в его окрестности. В конце июня он покидает город, проезжает через Форэ, въезжает в Клермон-Ферран 10 июля, разъезжает по Оверни, из Риома — в Исуар и Вик. Через неделю он в Велэ. 17 июля он ночует в Полиньяке; 18-го он в Пюи, где проводит два дня; 24-го в Родезе; 25 июля он на пути в Тулузу, где остается на неделю в начале августа. 9-го он прибывает в Ним; 29-го он в Авиньоне и проводит там двенадцать дней; 15 сентября приезжает в Арль; 21-го в Мартиг, 22-го в Мариньяну. 4 октября он въезжает в Марсель... Остановимся. От этого чудовищного перечня мы устанем раньше, чем Франциск I от своих переездов. И это король? Скорее можно было бы сказать, что это рыцарь, странствующий, как паладин из романа, по горам, по долам. Дон Кихот, дополненный и исправленный Вечным Жидом<sup>5</sup>. Ну а двор? Двор — он следует за королем. Двор — на больших дорогах, в лесах, на берегах рек, на возделанных полях. Это не двор, это караван. Точнее сказать, войско на марше. Вот «передовой отряд», который выступает загодя, чтобы все устроить и подготовить к прибытию государя; в этом отряде — королевские заготовители продовольствия, квартирыеры, отмечающие мелом дома, предназначенные для ночлега, и все племя поваров — специалисты по соусам, по жареному мясу, пирожники — верхом на лошаденках, купленных благодаря королевским щедротам. Рано утром передовые трогаются в путь и

спешат к месту будущего привала — таким местом мог стать простой деревенский дом, жилище дворянина, дворец крупного сеньора... Если, конечно, таковые попадались на пути, потому что король, если понадобится, может довольствоваться своей палаткой, которая всегда следует за ним на спине мула и которую могут разбить где угодно по прихоти государя<sup>9\*</sup> на опушке леса, в чистом поле, посреди луга.

Передовой отряд ушел, теперь приходят в движение главные силы. Сначала король и его свита: охрана, сановники, придворные. При его проезде звонят колокола, священнослужители суетятся, крестьяне, завидев издали кортеж, бросают работу и устремляются поближе к нему. В центре ослепительной кавалькады проезжает король, когда — верхом на коне, когда — в конных носилках, покачиваясь в такт шагам крепких мулов. Следом за королем — дамы, совершающие переход наравне с мужчинами и ведущие по примеру государя походную жизнь солдата; к ней в конце концов привыкают, входят во вкус, и если такую жизнь ведут долго, то испытывают к ней своего рода странную тягу; как бы там ни было, это не спокойная жизнь, она не для неженки.

Впрочем, дамы того времени отнюдь не неженки... У нас есть их портреты<sup>10\*</sup>. Известно, какое пристрастие XVI век имел к собраниям карандашных рисунков, на которых умелые или не очень умелые рисовальщики изображали самых знатных и красивых дам французского двора. Такие альбомы мы находим повсюду, вплоть до краев самых отдаленных. Когда их листаешь — сколько разочарований! В писаниях современников этих дам мы читаем тысячи самых пылких восхвалений. Дамы несравненной красоты — вот они все, какими сохранил их, например, знаменитый сборник Монмора в библиотеке городка Экс-ан-Прованс; составление этого сборника до недавнего времени приписывали

<sup>9\*</sup> Эти и дальнейшие подробности извлечены из различных счетов, опубликованных в «Каталоге документов Франциска I». Как ни странно, нет специальных работ, посвященных французскому двору той эпохи. Для последующего периода можно найти некоторые сведения у М. Делюша (*Deloche M. Les Richelieu, le père du Cardinal. P., 1923*). Франсуа дю Плесси, отец Кардинала, был назначен в 1578 году прево королевского дворца и одновременно главным прево Франции<sup>6</sup>; это отдавало в его руки управление королевской резиденцией и всем, что к ней относилось, а также судебную власть над придворными чиновниками и слугами. Делюш пишет об этом во второй главе своей книги, совершая иногда экскурсии во времена, предшествовавшие 1578 году.

<sup>10\*</sup> См.: *Bouchoi H. Les Portraits au crayon du XVI<sup>e</sup> et du XVII<sup>e</sup> siècle conservés à la Bibliothèque Nationale (1884)*; *Idem. Quelques dames du XVI<sup>e</sup> siècle et leurs peintures (1888)*; *Idem. Les femmes de Brantôme (1890)*. Две последние нужно читать *cum grano salis* [здесь: с некоторым недоверием или иронией]. *Dimier L. Histoire de la peinture de portrait en France au XVI<sup>e</sup> siècle. P.; Bruxelles, 1924* — к книге приложен полный каталог карандашных рисунков и портретов XVI века.

г-же де Буасси, жене обер-гофмейстера. Вот рукописные девизы на портретах. Начнем с фаворитки, мадам де Шатобриан, подруги короля, подруги Бонниве, подруги многих других, которые вовсе не прятались; более чем преданная сестра Лескена, Леспарра, злосчастного Лотрека<sup>7</sup>. Смотрим на портрет красавицы, которой так добивались: довольно плотная блондинка, широкое плоское лицо, не слишком красивые плечи... Правда, девиз оставляет нам некоторую надежду: «Вылеплена лучше, чем нарисована». Вот мадам де Лестранж; ее имя во всех мадригалах того времени рифмуется с «*face d'ange*» [ангельский лик] — ее довольно выразительное лицо, кажется, вырезано ножом из неподатливого дерева. Но Диана де Пуатье, жена великого сенешаля?<sup>8</sup> Говорят, она дарила любовные утеху сыну, Генриху II, после того как дарила их его отцу, Франциску I: редкостная участь для придворной дамы. Нужно было быть очень обольстительной особой, чтобы продлить власть от одного царствования до другого, притом власть над столь несхожими воздыхателями! В работе Луи Димье «История портретной живописи во Франции XVI века» посмотрите лист семнадцатый, посвященный иконографии великой фаворитки. «Прекрасная для взгляда, достойная поклонения», — гласит девиз под ее портретом в монморвском сборнике. Увы! «Достойной» она, несомненно, была — в духе Брантома<sup>9</sup>, но прекрасной? Остроносое лицо коварной женщины, рано появившиеся мешки под глазами, большой извивающийся рот с тонкими сухими губами — такую нам показывает ее не один, по меньшей мере пять или шесть карандашных рисунков, сделанных с 1525 по 1550 год. При всем желании приписать любовному чувству наших предков собственную эстетику мы не можем найти в этой женщине ни очарования, ни благородства, ни изящества, ни красоты<sup>11\*</sup>.

Странное дело, в этих изображениях знатных дам, высокородных принцесс, признанных фавориток — почти никогда не чувствуется порода. Или, вернее, в этих придворных дамах видна порода простонародная и неухоженная. Будем, однако, справедливы: как могли они сделать свои лица утонченными или даже просто сохранить свою прелесть, живя в непрерывных переездах верхом, под открытым небом, под северным ветром, под всеми ветрами, под дождем, под снегопадом, без длительных остановок, многие недели без настоящего отдыха, ночуя где придется, в чужих домах... Когда придворные дамы хмурою свитой следовали за королем, все их разглядывали. Самые старые дрем-

<sup>11\*</sup> «Вытянутые рот и нос, а также постоянная гримаса, свойственная лицам, над которыми вволю потрудились притирания и румяна, делают ее неприятной и едва ли не смешной; морщины у подбородка, следствие возраста, сочетаются у нее с угловатой худобой» (*Dimier L. Histoire de la peinture... P. 55*). Сказано достаточно, чтобы развеять наши сомнения и снять с нас упрек в чрезмерной суровости суждения.

лют в глубине своих конных носилок; другие покачиваются на своих кобылках или едут, втиснувшись кое-как в безрессорные повозки, влекомые по бездорожью; они бывали счастливы, если путь лежал по реке и река несла их, отдавших ее течению, между плоскими берегами, в битком набитых наемных барках...

Двенадцать тысяч лошадей. Три или четыре тысячи человек, не считая женщин (из которых не все были женщинами достойного поведения). Этот двор составлял небольшую армию, живущую своей особой жизнью, снабженную всем, что ей было нужно. В своем движении она увлекала за собою торговцев всевозможными товарами; они находились под покровительством и под началом главного прево и имели монопольное право продавать придворным; эта армия влекла за собой поставщиков продовольствия: мясников, торговцев птицей, рыбой, зеленью, фруктами, хлебом; торговцев вином оптом и в розлив, поставщиков сена, соломы, овса; толпу псарей, доезжачих, служителей при собаках, сопровождающих тележки с сетями и ловушками; сокольничьих. Люди, прислуживающие за столом; два иноходца, на которых едут бутылки для королевской трапезы, для обер-гофмейстера и камергеров; повара и фигляры королевского дома, развлекающие короля в отведенные для этого обычаем дни веселыми плясками; накопец, скороходы и конные гонцы, джюкье наездники, всегда готовые скакать во весь опор из самой глубины Оверни или Бургундии к ближайшему морскому побережью за устрицами, мидиями и морской рыбой — чтобы король мог поститься. Необходимость постоянно следовать за этим «летучим лагерем» приводила в отчаяние итальянских послов. Один из них, Марино Джустиньяно, ставший послом при короле в 1535-м, то есть два года спустя после 1533 года, о котором мы писали выше (приведя подробный перечень королевских перемещений), пишет в донесении венецианскому сенату: «Мое посольство продолжалось сорок пять месяцев... Я почти все время был в пути... Ни разу за это время двор не оставался на одном месте и двух недель кряду...»<sup>12\*</sup> Отметим, что из тех, кто сопровождали двор, дипломаты, несомненно, находились в наименее выгодном положении. Не только потому, что король, не очень-то стремившийся встречаться с этими соглядатаями (которых сама их профессия побуждала интересоваться тщательно скрываемыми секретами), — король всячески старался затруднить им жизнь, держать их в неведении относительно маршрутов своих перемещений, всячески старался избегать их под предлогом охоты или внезапного отъезда, но и потому, что они были обязаны находиться там постоянно и возможно ближе к королевской особе. Сеньоры — те были менее усердны. Лишь немногие из них не-

<sup>12\*</sup> Relations des Ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVI<sup>e</sup> siècle / Trad. J. Tommaseo. P., 1838. T. 1. P. 107—108, 559—561.



отлучно следовали с королевским поездом несколько месяцев кряду. Большинство дворян — я имею в виду тех, кто принадлежали уже к придворному миру, — ежегодно проводили при монархе по несколько недель. Но они покидали свои замки и усадьбы с тем, чтобы вернуться. Они возвращались к себе при первой возможности. Там они отдыхали, приходили к себе, в то время как король Франции, сидя на коне, продолжал свое странствие — с Севера на Юг, с Востока на Запад, из Арденн в Прованс, из Бретани в Лотарингию — странствие, начавшееся тотчас после коронации и кончившееся с его смертью...

V

Какие из этого выводы? Выводов не будет. Эти страницы имели одну только цель — показать читателю, чтобы ввести его в курс событий, несколько картинок из французского XVI века, несколько зарисовок времен Людовика XII и Франциска I. Картины, конечно, довольно неожиданные и способные вызвать удивление. Они, если можно так выразиться, показывают нам в движении некое человеческое общество, которое, несомненно, делает то, что люди делали извечно, вращаясь в извечном круге бытия. Однако (если только я не совсем заблудился в своем повествовании) я надеюсь, вы увидите и почувствовали по ходу дела, что в XVI веке кружение это было не таким, как ныне...

Абстрактный человек был таким же, как теперь? Может быть. Этого я не знаю. Историк и абстрактный человек друг с другом не встречаются, нигде и никогда. История живет реальностями, а не абстракциями. Конкретный человек, живой, из плоти и крови, — француз из французского XVI столетия — и мы, французы XX века: между нами мало сходства. Этот сельский житель, кочевник, человек грубый и неотесанный — как он далек от нас! К тридцати годам, когда он достигал расцвета сил, — каких только опасностей он не преодолел, каких испытаний не перенес! Прежде всего, он выжил. Он миновал, не погибнув, первые шестнадцать лет своего существования — за это время погибал каждый второй ребенок (по самой скромной оценке)<sup>13\*</sup>. Об этом свидетельствуют книги семейных записей, где сообщения о смерти детей повторяются через каждые две строчки, как удары погребального колокола. В более позднем возрасте он выстоял, не погибнув, против всех смертельных поветрий (называвшихся одним общим словом «la peste» — мор), которые каждый год уносили жизни многих тысяч людей цветущего возраста; порою заболевание свирепствовало с особой яростью, и это сопровождалось подлинными гекатомбами... Горожанин, буржуа той эпохи, столь далекий по роду своих занятий (если мы будем представ-

<sup>13\*</sup> Обстоятельных исследований по демографии во Франции XVI века нет. За отсутствием таковых общие аспекты проблемы см.: *Mathorez A. Les étrangers en France. P., 1919. T. 1.*

лять его себе в соответствии с современным смыслом слова «буржуа») — столь далекий от воинского ремесла и бивачной жизни, — он сотни раз рисковал своей жизнью, как солдат. Не только потому, что, когда враг осаждал его город, ему приходилось бежать на городские укрепления, подхватив свой шлем и бердыш и драться там наравне со всеми; но попросту потому, что он путешествовал, потому что он сын века, когда все путешествовали<sup>14\*</sup> — от чиновника до купца, от подмастерьев «*Tour de France*»<sup>10</sup> до студента, отправляющегося в Италию, «в школы Павии и Падуи», который, прежде чем отправиться в путь, пишет завещание... А в ближнем лесу — нельзя без тревоги смотреть на его темные лохматые чащи, поднявшиеся на широких холмах, — сидит в засаде разбойник и подстерегает одинокого или плохо вооруженного путника; на подозрительном постоялом дворе, куда добираются вечером на пределе усталости, — там бродяги, похожие на висельников, угольщики, с черными руками, с грубыми жестами, с пугающими ухмылками, потихоньку заполняют комнату и напиваются. Ночь приходится провести не ложась в постель, в убогой комнате без огня в очаге и без освещения, с обнаженной шпагой, лежащей наготове на тяжелом столе, придвинутом к плохо закрывающейся двери; из этого дома убираются поскорей, чуть забрезжит рассвет, не требуя у хозяина сдачи, и хорошо еще, если жулики не увели лошадей...

Жизнь в те времена — постоянное сражение. Человека с человеком. Со стихиями. С враждебной и почти дикой еще природой. И у того, кто вышел победителем из этого сражения, кто достиг зрелости, не подвергшись слишком большому злоключению и напастям, — у того твердая кожа, у того толстая кожа, дубленая шкура — в прямом и переносном смысле. Быть может, под грубой внешностью били родники нежных и тонких чувств? Мы этого не знаем. И никогда не узнаем. Наша ретроспективная история чувствований должна ограничиться регистрацией внешних проявлений, не более того. А то внешнее, что мы наблюдаем в XVI веке, — часто беспощадно и сурово. В семье умирает ребенок, два ребенка, пять детей и нежном возрасте, унесенные неизвестными болезнями, которые не умеют отличить одну от другой, которые никто не умел тогда ни распознавать, ни лечить; сухое свидетельство из семейной книги, просто дата, сообщение о факте, после чего автор записи, отец, переходит к какому-нибудь более значительному событию: сильные заморозки в апреле, уничтожившие надежду на хороший урожай, или землетрясение — предвестник великих бедствий. А супруга? Ее почитают за добродетели, уважают за женскую плодовитость, иногда хвалят за хозяйственные таланты. Но если она умирает, оставив мужу слишком мало детей — не более пяти-шести, он очень

<sup>14\*</sup> См. в наст. издании «Торговец XVI столетия».

быстро, не теряя дорогого времени, женится снова: ведь нужно добрать по крайней мере до дюжины, а то и превзойти это число, и порядком. Так что если деревенская женщина-крестьянка, оставшись вдовой, выходила снова замуж, то для ее детей это в большинстве случаев означало, что нужно уходить, поступать в услужение или заниматься ненадежным и опасным нищенством на дорогах. Томас Платтер в суровых «Мемуарах<sup>15\*</sup>», ярко рисующих времена столь невероятные (при том что от нас его отделяет жизнь нормальной продолжительности всего семи или восьми поколений), — Томас Платтер рассказывает — как будто речь идет о чем-то вполне естественном — и не выражает при этом ни малейшего удивления, что, когда умер его отец, а он тогда был маленьким ребенком, его мать вскоре снова вышла замуж. И ее дети сразу же разбрелись, довольно быстро, что Платтер признается: ему просто-напросто неизвестно, сколько в точности было у него братьев и сестер. Порывшись в памяти, он припоминает имена двух сестер и трех братьев, о которых ему кое-что известно — что с ними случилось; а остальные? Его самого приютила тетюшка. О матери он ничего не знает. Это, конечно, нравы крестьянские, простых крестьян из дикого Вале. Однако были ли более мягкими обычаи крестьян в наших краях?

Поистине все то, что так крепко держит нас за душу и так сильно нас привязывает: наш семейный очаг, отчий дом, наша жена, дети — все это человек XVI столетия считал, по-видимому, лишь преходящими благами, от которых он в любое время был готов отступить. И очень часто — отступить без достаточных причин, в силу какой-то неясной потребности в странствиях, замешанной на старой закваске бродяжничества и крестовых походов... Раскроем одну из настольных книг любого историка, занимающегося XVI веком, небольшую, но такую содержательную книгу «Разговоров» Эразма. Перед вами за столом четверо мужчин, четверо добропорядочных буржуа, миролюбивые домоседы, удачно женатые и обеспеченные; вечерком они выпивают в дружеском кругу. Они выпили немного больше, чем следует, и вино разгорячило им головы. Вдруг один из них говорит: «Кто меня любит, пойдет со мной... Я отправляюсь в паломничество к святому Якову Галисийскому<sup>11...</sup>» Внезапный порыв пьяного человека. Тут поднимается второй собутыльник: «А я отправляюсь не к святому Якову Компостельскому: я пойду в Рим». Однако третий и четвертый приятели восстанавливают согласие: сначала пойдем к святому Якову, в дальний угол Галисии, а оттуда доберемся до Рима... Они попутешествуют на славу. Большой кубок наполнен вином и пущем вкруговую. Каждый пьет в свой черед. Итак, договор скреплен, обет принесен по всем правилам;

<sup>15\*</sup> Отсылаем читателя к их французскому переложению: *Fick E. La vie de Thomas Platter écrite par lui-même. Genève, 1862.*

отступать некуда. Вино выпито, нужно отправляться в путь. Отправляются. Один из паломников погибает в Испании; другой — в Италии; третьего во Флоренции на смертном одре бросает четвертый, он один только и возвращается домой по истечении года, измученный усталостью, одряхлевший и разоренный... Что это, вымысел? Ни в коем случае. Это — нравы того времени, которое отнюдь не похоже на наше.

Припомним еще раз его черты, его особенности. Будем держать их перед глазами, в памяти, когда попытаемся понять «дела XVI столетия». Не забудем, что все мы в той или иной степени, хотим мы того или не хотим, — дети теплицы. Человек XVI столетия вырастал под открытым небом, открытый всем ветрам.

### УСТРЕМЛЕННОСТЬ К ЗНАНИЮ

Когда мы говорим: «XVI век» — мы говорим: «Возрождение». Но что такое Возрождение? Что такое Гуманизм? Каковы их истоки — во времени, в пространстве? Когда начинается Возрождение во Франции? В Италии? В Германии? Откуда оно взялось и не было ли Возрождений до Возрождения? Все это вопросы, несомненно, важные и заслуживающие изучения. Безусловно, так, но хватит ли одной лекции для их рассмотрения? Конечно, не хватит. Поэтому, оставив в стороне теории, дискуссии принципиального характера, противоречия между научными школами, — давайте прямо посмотрим в лицо человеку: человеку деревенскому, неотесанному, кочевому — человеку французского Возрождения.

То, что прежде всего можно увидеть, что читается на этом лице — честном и твердом, обветренном на свежем воздухе, выдубленном солнцем и дождями, — это неиссякаемая добрая воля, слуги которой — крепкие нервы, не слишком утонченные и отнюдь не перевозбужденные, и неисчерпаемое здоровье крестьянского тела с широкими, слегка сутулыми плечами.

Итак, представим себе, что этот человек засел за учебу. Что из него получится? А priori можно сказать: scholar [школяр, здесь: зубрила]. Я хочу сказать: этот человек выучит все, что можно выучить. Он будет учиться с особой упрямой одержимостью, с немою яростью, подобный виноградарю, вытаскивающему наверх в тысячный раз корзину с землей, которая все сползает вниз на его винограднике, — под палящим солнцем, под беспощадным ливнем; или подобный косарю на лугу, кладущему траву — ряд за рядом — движениями ритмичными, неутомимыми, вечными.

Этот человек, знающий, как трудно достается учение; это дитя вольного воздуха, согнувшееся над трудной сидячей кабинетной работой, будет испытывать почтение к знанию, своего

рода благоговение, подобное тому, какое испытывают его родители и он сам к такой священной вещи, как пицца, как хлеб, добрый пшеничный хлеб. Старина Вире, реформатор франкоязычной Швейцарии, рассказывает нам — страница эта полна очарования<sup>16\*</sup>, — что ребенком, у себя на родине, в Орбе, слыша, как звонят колокола, он отлично знал, что они говорят и повторяют своими мерными ударами: его мать открыла ему эту великую гайну. Колокола Орба звонили о чем-то очень французском: «Потеряешь хлеб — будешь крепко бит». И малые дети на пути в школу повторяли про себя: «Потеряешь хлеб — будешь крепко бит». Простой человек, сын крестьянина, упорным трудом добудет себе и хлеб духовный: уж будьте уверены; в XVI веке — такой человек не даст пропасть ни единой крошке. Добавим: этот человек будет предаваться работе целиком, без остатка. Он не станет беречь себя. Он отдаст себя учению с такой наивной и упрямой верой, так добросовестно — в точности как остервеневший от работы крестьянин, который не засмеется, пока не закончит ее.

Поразмыслим. Так ли плохо согласуются эти черты с тем, что все мы знаем о литературе, об умственной жизни XVI столетия? Только не будем спешить. Ибо основной вопрос таков: почему этот человек учится? Этот мужлан, закоренелый неуч? Что движет им? Что побуждает его к учению? Отвечаем: мир. В первую очередь — мир.

## I

В конце XV — начале XVI столетия Франция имела то, что она всегда цепила высоко; две вещи, к которым стремилась с равной страстью: славу и безопасность<sup>17\*</sup>. Славы было выше головы. Итальянские кампании принесли Франции обильный урожай военной славы. Форново, Милан, Новара, Генуя, Аньядель, Равенна, а затем и Мариньяно<sup>12</sup> — какая богатая жатва! Сердца предков, баронов стародавних времен, отправлявшихся в крестовые походы, должны были забиться от радости в их могилах. Теперь эти старики возродились в таких, как Ла Тремуи, Гастон де Фуа, Тривульдио — и высший над ними во весь рост Баярд<sup>13</sup>. Они — эпические герои, и восхищаются ими тем сильнее, чем дальше от Франции милой совершают они свои героические деяния... За подвижными, меняющимися рубежами, протянувшимися по территории Италии, дела у торговцев идут, и крестьяне работают не покладая рук...

Да, у торговцев и крестьян работы хватало. Английские вторжения, грабежи, чинимые солдатней и бандитами; позже —

<sup>16\*</sup> Pierre Viret d'après lui-même. Lausanne, 1911. P. 4.

<sup>17\*</sup> Эта мысль была высказана Р. де Мольд ла Клавьером в его местами странной, но полной полезных сведений и ярких наблюдений книге: *Maulde la Claviere R. de. Op. cit. P. 3.*

беспощадный деспотизм и безжалостное налоговое обложение при Людовике XI за долгие годы разорили и обезлюднили Францию. В 1470 году, даже в 1480 — всюду развалины; поля не вспаханы; деревни покинуты и сожжены; волчьи глаза светятся в зарослях колючего кустарника, а посреди разрушенных домов — пустой остов церкви с полуобвалившимися стенами, точно мертвец с отлетевшей душой... Пройдет тридцать лет, и при Людовике XII — всюду мир, богатство, изобилие, земля оделась в белый наряд домов, церквей, новых дворцов и замков<sup>18\*</sup>. Люди повеселели. Они едят. Они смеются. Они пляшут. Это — мир, высшее благо, благо из благ. Юность века — и все на свете рукописи, все документы двух древних культур смогли воспрянуть после долгого сна; если бы не установился мир, если бы не было богатства, благополучия, безопасности — кто стал бы думать об учении?

Это еще не все. Кому пошли на пользу покой и безопасность? Знати? Ни в коем случае. Она как раз начинает клониться к медленному и долгому упадку и постепенно становится ничтожной — или покорной. Знатные люди не могут, не должны зарабатывать деньги. Они не хотят, не умеют их беречь. Они сорят деньгами и обрастают долгами. Вскоре, если король не придет им на помощь, тех, кто не ухватился за какую-нибудь должность, какое-нибудь доходное место, какую-нибудь пенсию, ждут нищета и вырождение.

Кому мир принес большую пользу — так это горожанам. Поднимается новый класс — буржуазия. И по многим причинам, но в первую очередь потому, что постепенно формируется государство современного типа, с профессиональной бюрократией и обособленными функциями и службами, испытывающее нужду в сведущих людях и квалифицированных специалистах в области правосудия, управления, дипломатии, особенно — в финансах. Профессионалы — они происходят из знати? Нет, за несколькими редкими исключениями. Это буржуа и лица духовного звания — те из них, кто были носителями буржуазной культуры; это они взяли в свои терпеливые и умелые руки государство современного типа и его службы, чтобы оно могло функционировать и процветать. У них есть деньги. Они могут одалживать деньги королю. Они умеют распоряжаться своими деньгами к выгоде короля. Двойное могущество: оно обеспечивает их процветание.

Что нужно им для успеха? Благородное происхождение? Нет. Добытое ими богатство? Богатство не повредит, но оно не обязательно. В самом деле, среди людей, вышедших в первые ряды, есть такие, что начинали с пустого места, — есть нувориши.

<sup>18\*</sup> Некоторые сведения общего характера об этом экономическом Возрождении см.: *Imbart de la Tour P. Les origines de la réforme. P., 1909. T. 1.*

Нувориши, новые богатеи, — такие были всегда и всегда будут. Нувориши вовсе не таковы, какими их считают легкомысленные люди: удобная мишень для авторов водевилей, а для народного ожесточения как нельзя более подходящее отвлекающее средство — и вообще феномен «d'après guerre» [времен после войны] \*. Какая нелепость! Да ведь нувориши для историка — как хлеб насущный. Нувориши — соль социальной истории. Никто не показал это лучше, чем крупнейший бельгийский историк Анри Пиренн в своем прекрасном исследовании «Периоды социальной истории капитализма» <sup>19\*</sup>, вышедшем в 1914 году, то есть перед войной. Он отлично показал, как в истории капитализма одни периоды сменяются другими и каждый из них открывает перед людьми дела свои особенные возможности и способы разбогатеть и специфические условия деятельности. При этом качества, необходимые таким людям в одном каком-нибудь периоде, оказывались ненужными (а часто и мешают) в следующем. Из этого автоматически вытекает, что при любых переменах на дорогах удачи и богатства утверждается новое поколение нуворишей. Проходит время. Новые богатеи превращаются в давних богатеев. Возвышаются новые нувориши. И цикл бесконечно повторяется... Однако вернемся к нашему XVI веку.

Людям того времени, которые, начав на пустом месте, надеялись достигнуть всего, единственное, что им требовалось, что было необходимо (за отсутствием благородного происхождения, за неимением богатства), — это знания, образованность <sup>20\*</sup> — они были орудием, средством не для отдельных людей, а для целого общественного класса, приступившего к восхождению из низов и идущего к вершинам.

## II

Именно тогда великое изобретение дает этой потребности в знаниях наилучшее средство для ее удовлетворения: книгопечатание. Это общее место: утверждение, что книгопечатание было «причиной» Возрождения, обеспечив быстрое распространение по всему миру прекрасных творений античности. И я не говорю: «Это неверно!» Скажу только: «Будем внимательны к хронологии!»

В самом деле, книгопечатание, рожденное тогда же, когда капитализм начинает становиться на ноги, книгопечатание с самого начала — капиталистическое производство. Я хочу сказать, что печатники работают с самого начала на хозяев, располагающих необходимым оборудованием, обладающих собственным капиталом или финансируемых на паях капиталистами. Поэтому

\* Речь идет о периоде после первой мировой войны.

<sup>19\*</sup> См. в наст. издании «Общий взгляд на социальную историю капитализма».

<sup>20\*</sup> *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté. Liv. 2. Ch. 10. P. 439 sqq.*

хозяева (или совладельцы) — никакие не сверхчеловеки, опередившие свое время, и не бескорыстные человеколюбцы. Они попросту печатают то, что можно выгоднее всего продать. Книжки, пользующиеся большим спросом, усиленным спросом. Античные авторы? Ни в коем случае. Поначалу, с 1480 по 1500 год, да и позже, то есть во времена инкунабул<sup>14</sup> и первых последовавших за ними изданий, — какими тиражами могли бы печатать во Франции греческих авторов трагедий или римских ораторов? Когда во всем королевстве было не более десяти человек, способных разобраться в греческом тексте<sup>21\*</sup>, не время было печатать Платона (который, впрочем, уже был издан в Италии и при желании его можно было купить в Венеции и в Лионе)... То, что делается доступным и распространяется во Франции благодаря книгопечатанию, — это вовсе не «литература Возрождения», если воспользоваться выражениями очень неточными, но привычными, это «литература средних веков». Под таковою следует понимать в первую очередь культовую литературу для нужд духовенства — требники, молитвенники, сборники готовых проповедей, а также книги благочестивого содержания для верующих; но более всего — в неисчислимом количестве непрерывно издающиеся часословы, столь ценимые ныне библиофилами, великолепные часословы начала XVI века с их украшениями на полях и заставками, с великолепными гравюрами на дереве. Подлинно семейные книги, настольные книги, часто единственные там, где вовсе не читают. Вместе с текстами молитв и церковных служб в такой книге можно было найти календарь и святцы, часто — азбуку, чтобы малые дети учились читать; а на чистых листах-форзацах отец семейства обычно записывал свадьбы, рождения, кончины.

Кроме того, с первых печатных станков сотнями, тысячами сходили учебники, Донат<sup>15</sup>, Катон<sup>16</sup>. «De moribus in Mensa Servandis» [Как держать себя за столом], весь набор грамматик для детей, моральных прописей, а также наивных и бесхитростных «правил хорошего тона». Сотнями, тысячами печатали станции королевские ордонансы, собрания эдиктов, своды обычного права, «кодексы» (как мы сказали бы теперь) для судей и деловых людей. Сотнями, тысячами печатаются и распространяются эти небольшие книжки для широкого круга читателей, недорогие, писанные по-французски; они проникают в кордегардии при дворцах и замках, в гостинные купцов, не притязающих на ученость: истории о богатырях и великанах, собрания факций и забавных историй, альманахи, предсказания на будущее, «Пастушеский календарь» с его полезными советами, народные ле-

<sup>21\*</sup> Первым шагам книгопечатания на греческом языке посвящен очерк Омона (см.: *Mémoires de la Société d'histoire de Paris*. 1892. Т. 18).



генды о Гаргантюа и Мерлине-Волшебнике или Амадис (для читателей)<sup>17</sup>.

Конечно, печатались и классики. В Париже они были (по воле случая) изданы в самом начале книгопечатания. Но их печатают не спеша, осторожно, позже других. Иными словами, не книгопечатание создает контингент для Возрождения; оно только будет его обслуживать, когда он возникнет. Так что, по правде говоря, великая услуга книгопечатания — не в этом.

1420 год: человеку, который хочет учиться, нужен учитель. Учитель говорящий, который диктует ученикам. Сидя перед учителем у подножия его кафедры, ученики записывают. Они пишут под его диктовку — в спешке, со множеством ошибок, описок и искажений — слова, которые они ловят на лету. Они сами составляют себе книги. Других у них нет. Манускрипты — это предметы роскоши, более того, предметы драгоценные. Самые редкие приковываются цепями к пюпитру, на котором они лежат в бдительно охраняемой библиотеке принца, аббатства, университета. Эта цепь символична. Книгопечатание ее сбросило, вот в чем была его роль. 1500 год: за несколько су одинокий бедняк, желающий учиться, может обзавестись грамматикой, словарем греческого или древнееврейского языка; он может самостоятельно в свободное время, в часы досуга познать самые трудные языки, проникнуть в самые закрытые для непосвященных области знания. Нет теперь нужды в учителях, ведущих урок с высоты деревянной кафедры. Книгопечатание породило несметные тысячи странствующих «учителей», всегда готовых учить повсюду, всех, в любое время, и любой может заполучить такого учителя, какого захочет, по своему выбору. Вот какую великую революцию породило новое искусство — книгопечатание.

И только тогда во Франции, наслаждающейся миром, во Франции, где все общественные слои жаждут возвыситься, во Франции, где все увеличивается число типографий, — тогда в 1490—1520 годах начинает чувствоваться мощный рывок Гуманизма. Тогда действительно античная мысль начинает пробуждаться, и ослепительное, как флорентийская Примавера, восходит Возрождение<sup>22\*</sup>.

Оно приходит вовремя. Несомненно, в конце XV века повсюду царит бесплодный и засохший формализм. Поистине это была безлезна века. И люди, которые впервые за долгое время дышали легко, глубоко и свободно; люди, которые жили вольготно и счастливо и испытывали ненасытное желание объять, ухватить жизнь во всех ее проявлениях — жизнь, а не ее тень, не ее призрак, не ее лишенный плоти иссохший скелет, — эти люди с отворачиванием, с неким инстинктивным и непреодолимым ужасом от-

<sup>22\*</sup> За иллюстрациями ко всему изложенному выше советуем обратиться к прекрасной книге: *Renaudet A. Pré-Réforme et Humanisme à Paris guerres d'Italie (1494—1517)*. P., 1916.

ворачивались от учения о смерти, которое им так щедро преподносили. Античность внезапно предстала перед ними. Со своим интересом к человеку, культом человека действующего, размышляющего и живущего свободно, имеющего ясные представления, прямые и четкие мысли. Это было настоящее просветление. До того времени лучшие умы, измученные шумом суеты, дабы обрести самих себя, искали убежища в одиноком и тайном мистицизме. Однако в мире, который трудился всюду, в мире XVI столетия, гудящем от деятельности, как улей, в мире, пылающем и многоцветном, словно весна, мистицизм был поистине актом отчаяния — самоубийством. И школьное обучение, механическая и бесплодная логика последних схоластов, — какая насмешка и, может быть, какой вызов! Человек решительно повернулся спиной к келье, где витал в одиночестве один только дух подражания примерам, и, засучив рукава, как полный сил работник, взялся за дело. Что же касается мирка софистов, скаредного и мертвящего, то им занялся Эразм, а позднее — Рабле. Они раздавили его смехом. И перед Гаргантюа, оглуленным своими учителями, косноязычным, неопрятным, застенчивым, который умел только вертеть в руках свой колпак и реветь, как теленок, они поставили образ века, стройный образ Возрождения, гармоничное тело Эвдемона, чистого и прекрасного, как юный Давид; воспитанный в заветах античности, в соответствии с представлениями древних о человеке, он нес в себе всегда, возле самого сердца, свое сознание и свободный разум<sup>18</sup>.

Стремительное движение к античности было великолепным. Не забывайте, что все нужно было создавать заново, восстанавливать, искать и находить. С неистовой страстью взялись эти люди за созидание. Представьте себе, в каком состоянии было изучение древнегреческого языка и литературы во Франции в те времена. Ни грамматик, ни словарей, ни текстов, ни преподавателей — или самая малость: два или три захожих искателя приключений, которым, в сущности, неведомо то, знанием чего они похваляются. Те, кто с душой, исполненной решимости и преданности, впряглись в дело, говоря себе: «Я достигну цели», — и достигали ее — все эти люди были воистину подобны Шампольонам, склонившимся над таинственными иероглифами...<sup>19</sup>

### III

Сколь поразительны биографии самоучек! Самая, быть может, удивительная — путь Томаса Платтера из Базеля, который оставил нам (так же как позднее два его сына) очень любопытные биографические мемуары<sup>23\*</sup>. Бедный крестьянин из семьи крестьян, он родился в убогой деревушке в кантоне Вале. Отец его умер. Мать вторично вышла замуж. Нитка рвется — четки

<sup>23\*</sup> См. примеч. 15\*.

рассыпаются. Сыновья по одной дорожке, дочери по другой — все дети разбредаются куда глаза глядят... Томас — самый младший. Сестры его отца сжалились над ним и приютили. Однако с шести лет он начинает зарабатывать себе на жизнь. И вот он в услужении, бедный маленький козопас, он бродит со своими козами в Альпах, по неприступным скалам, продираясь сквозь леса, спускаясь по обрывам, двадцать раз рискуя погибнуть самым плачевным образом. В девять с половиной лет его отправляют в школу, к деревенскому кюре: быть может, и он когда-нибудь станет кюре, если будет прилежен? Но школа — хуже всего. Школа — это плети, которыми бьют так жестоко, что даже грубые обитатели Вале порой возмущаются и заступаются. Терпение у мальчика кончается, он убегает. Как раз в то время через эти места проходит один из его двоюродных братьев, взрослый парень шестнадцати лет. Он из бродячих студентов, которых называли вакхантами<sup>20</sup>: они побирались на дорогах. Но сами они не протягивали руку за подающим. Они водили с собой детей, которые прозывались «желторотыми». Эти несчастные дети вызывали жалость у добрых людей и получали от них хлеб, яйца, фрукты, а при случае, когда на них никто не смотрел, могли и сами взять что-нибудь... И вот Томас — «желторотый», попрошайничает и ворует, а также поет, совсем как юный Лютер на улицах Эйзенаха. Нескончаемая одиссея, из Вале — в Люцерн, затем в Цюрих, затем в Наумбург, в Галле, Дрезден, Вроцлав, Нюрнберг, Мюнхен, с возвращениями в Вале — и снова в путь; краткие периоды благополучия, когда какая-нибудь жалостливая душа примет участие в обездоленном мальчике, и долгие времена нищеты, когда «желторотые» отказывались шагать по дорогам, потому что кровоточащие ноги не слушались их, и тогда безжалостные вакханты хлестали их прутьями по голеним и гнали перед собой, точно скотину.

В один прекрасный день Томас Платтер приходит в Селеста. Ему уже восемнадцать лет. Однако он едва умеет читать. Он поступает в знаменитую школу Иоанна Сапидуса. Он прилагает героические усилия, чтобы рассеять густой мрак, затмевающий его разум. Подный яростной решимости, он сходитя врукопашную с потрепанным учебником латинской грамматики, по которому учились в те времена, — грамматикой Доната. Вскоре его приглашают в качестве педагога — наполовину репетитора, наполовину слуги — родители двух молодых буржуа. Днем он служит своим господам; ночью учится, борясь в одиночестве с одолевающим его сном, набирая в рот (как он рассказывает) холодную воду, или сырую репу, или мелкие камешки, чтобы «почувствовать зубами», если задремлет, и тотчас проснуться... Так он постигает латынь, древнегреческий, немного древнееврейский. Все его состояние — одна золотая монета, крона. Он не раздумывая расстается с пею, чтобы купить Библию на древнееврейском, ко-

торую он жадно читает в ночной тиши. Однако нужно зарабатывать на жизнь, а ремесло педагога его не прельщает. Он становится канатчиком в Базеле. Это было примерно в то самое время, когда в том же Базеле героический и гениальный бедолага, великая душа той эпохи Себастьян Кастельон<sup>21</sup>, который наперекор Кальвину провозгласил на будущие времена великую заповедь терпимости,— Кастельон зарабатывал себе на жизнь тем, что вытаскивал из Бирсы собственными руками огромные сосновые стволы, несомые потоком в дни половодья. И между делом переводил Библию.

Под началом грубого и жестокого хозяина Платтер как нельзя лучше осваивает ремесло канатчика. Когда же приходит ночь, он с тысячей предосторожностей поднимается с постели, зажигает тусклый светильник и, заглядывая в латинский перевод, пытается разобрать греческий текст Гомера. Утром он снова при канатах... В Базеле много говорили об этом странном мастеровом. Однажды можно было наблюдать, как на площади святого Петра, где Платтер помогал плести толстый канат, к нему — к бедному «механизму»<sup>22</sup> — подошел и стал расспрашивать Беатус Ренанус, знаменитый эльзасский гуманист, тоже простолюдин, один из славных гигантов раннего Возрождения, чистосердечных и трудолюбивых. В другой раз на этой же площади появился невысокий тщедушный человек, закутанный в длинный плащ: мессир Дидье Эразм собственной персоной, самый великий из гуманистов, их принц, их король. И так же как Ренанус, он предлагал Платтеру свою поддержку, суля ему более легкую должность педагога. Платтер отказался. Он, как и все люди того времени, чтобы не перечислять прочих, например Цвингли, испытывал своего рода трогательное почтение к ручному труду, к труду человека, занимающегося своим ремеслом. Немного времени спустя в Базеле разыгралась такая странная сцена: Опорин, великий книгоиздатель, в свой черед навестил Платтера и тот обещал — по часу в день — давать ему уроки древнееврейского языка. И вот Платтер идет выполнять свое обещание. Но в назначенном месте он находит не только Опорина, но и человек двадцать, все — ученые люди, священники, магистраты, богословы и даже один француз<sup>24\*</sup> столь богатый, что на нем шелковый плащ, а при нем слуга. Смутьившись, бедный канатчик хочет сбежать. Опорин его удерживает, заставляет сесть и начать беседу. И с этого времени каждый вечер можно было видеть, как сидящий в натопленной комнате на теплой фаянсовой грелке рабочий в кожаном переднике, с мозолистыми, а порой и кровоточащими от работы руками, со славным грубоватым лицом и взлохмаченной бородой жителя Вале, преподает как умеет изысканной аудитории то, что знает, — древнееврейский язык.

<sup>24\*</sup> Возможно, это был дю Шастель (см.: *Doucet R. P. du Chastel, grand aumônier de France // Revue historique. 1920.*)

Зрелище, единственное в своем роде? Вовсе нет. Эпоха богата людьми той же закалки, которыми целиком завладела героическая страсть познавать. Так, около 1471 года в Париж пешком из Гауды приходит Жан Стандонк в надежде, что его возьмут на учебу и содержание в какой-нибудь монастырь, где было холодно, голодно и грязно. Принятый в качестве служителя братией обители Святой Женевьевы, днем он работает на кухне, а по ночам учится. Но поскольку он был слишком беден, чтобы всегда покупать себе свечи, ему случалось, говорят, подниматься на самый верх колокоelni, чтобы, примостившись возле колоколов, читать при бесплатном свете луны<sup>25\*</sup>. И точно так же несколько позже Гийом Постэль, великий ориенталист середины XVI века, поступает служить в Коллеж де Наварр и ночами в одиночестве изучает древнегреческий и древнееврейский. Еще позднее Рамус, слуга богатого школяра, — он тоже проводит ночи за учением — выдерживает один за другим все экзамены и становится главою Коллеж де Прель<sup>23</sup>.

Сильные характеры, столь же суровые к другим, как и к себе. Эти люди не знали, что такое жалость, мягкость, нежность — «гуманность». Тот же Стандонк провозгласит свирепый устав Монтэю и установит в своем коллеже режим столь дикий, что Рабле вслед за Эразмом объявит его более убийственным, чем тот, на котором мавры и татары держат каторжников. «И если бы я был королем парижским, пусть бы черт меня забрал, если бы я не поджег (этот коллеж. — Л. Ф.) изнутри и не спалил начальника и профессоров, которые допускают, чтобы столь бесчеловечные дела вершились у них на глазах». Однажды Платтер, наставляя своего сына Феликса, которым, впрочем, гордился и любил его всей душой, так свирепо ударил его розгой по глазу, что бедный ребенок едва не ослеп. Однако ни грубое обращение, ни жестокость, ни лишения, ни ужасный режим коллежей не отвращали детей от учения. В этом смысле дети буржуа были такими же, как те великолепные и удивительные самоучки, прототипом которых может служить Платтер. Анри де Месм, проходивший в возрасте тринадцати лет обучение в коллеже Тулузы, поднимался каждый день в четыре часа и, помолившись Богу, являлся в класс в пять утра с толстыми книгами под мышкой, с чернильницей и подсвечником в руке. Учение продолжалось с пяти до десяти часов, без единой минуты отдыха. После чего завтракали и развлечения ради, как бы играя, читали из Софокла, из Аристофана или из Еврипида, а иной раз из Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация. В час дня занятия возобновлялись и продолжались до пяти. Затем возвращались в свои комнаты и просмат-

<sup>25\*</sup> Renaudet A. Jean Standonk, un réformateur catholique avant la réforme // Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. 1908. Janv., févr.

ривали в книгах те отрывки, которые были объяснены в классе. В шесть часов ужин, затем снова — в форме игры — чтение греческих и латинских текстов. Таким был образ жизни юношества, не знавшего ни ласки, ни ухода; таким было яростное стремление к знанию в этот суровый век.

#### IV

Во всем этом таилась одна несомненная опасность. Давайте вспомним те черты, которыми мы предварительно пытались охарактеризовать человека XVI столетия, изучающего древнюю литературу. Эти люди были такими серьезными, убежденными, такими неистовыми в работе, жадными до книжного знания и, добавим, наделены столь чудовищной памятью — не впадали ли они в рабское и бездумное обожание древних, великих и не очень, компиляторов и творцов?

Опасность, конечно, несомненная, и о ней говорят многие литературоведы, многие историки. Не растеряло ли Возрождение, пойдя учиться у античности, не промотало ли оно сокровища самобытного французского гения, каким он сложился на протяжении средних веков? Не подменило ли оно просто-напросто старые догмы прошлого догмой античной? Ответим решительно, ибо это говорится не всегда: спасло этих людей то, что они были из деревни, и еще — их склонность к бродячей жизни.

Для этих людей, выросших на вольном воздухе, обветренных всеми ветрами, очень важна природа. Они жили некогда — они по-прежнему часто и охотно живут — среди полей, в любом возрасте, занимая любое положение. И так же как все, кто живет в сельской местности, они пристально вглядываются в природу, непроизвольно и страстно. Возможно, они не любят ее, как художники. Не всех она наводит на философские размышления, и их опыт не всегда и не обязательно расцветает чудесной раб-дезианской притчей о Физис, о Природе, которая баюкает людей в своем просторном плодоносном чреве, пока они не уснут, доверчивые и успокоившиеся, на лоне нашей общей матери Земли... Но все они — можно сказать, со дня своего рождения — испытывают страстный и очень вдумчивый интерес к растениям, животным, деревьям.

Из этого не следует делать слишком поспешный вывод, будто они — безупречные наблюдатели. Наблюдать — о, как это трудно! Вести наблюдения правильно, по-научному: даже для нас — сколько здесь трудностей и сложностей! Для людей XVI века — тем более. Раскроем любую книгу того времени, творение сколь угодно выдающегося ума: два или три гения составляют исключение, но все остальные! Это сплошь дива дивные, видения, знамения божественные или дьявольские, чудеса и пророчества. Земля трясется: это — проявление Божьего гнева. Красное солнце заходит среди багровых туч: предвестие войны и крови. Сумасшед-

ший бросается зимой в реку, в ледяную воду; его быстро вытащили, обогрели, его лечат; он остается в живых: это есть чудо. Разве не призывал он на помощь Богородицу, когда падал? Мы, нынешние, с самого детства не расстаемся с удобным и практичным представлением о естественном детерминизме в природе. Даже те из родителей, кто менее всего склонны к философии, вдальблывают ничтоже сумняшеся это представление в головы самых бездарных из своих отпрысков, как только те начинают соображать. Мы стараемся привить детям рациональное мышление с самого раннего детства; мы стараемся избавить их ум от всех химер, которыми их пичкают во младенчестве, от глупых и инстинктивных страхов, которые их матери и бабки усердно поддерживали в них своими рассказами... О, люди XVI века! Самые легковверные из наших детей являют чудеса критического подхода по сравнению с лучшими умами той героической эпохи.

Вот перед нами врач, очень хороший врач; известный и по заслугам ценимый. Это Феликс Платтер, сын Томаса Платтера, о начале жизненного пути которого мы рассказали выше<sup>26\*</sup>. Изучая медицину в Монпелье, он приближается к своему тридцатилетию, он на четвертом или пятом году своих занятий медицинской. В один прекрасный день арестовывают слугу, которого обвиняют в том, что три года назад он убил своего хозяина-каноника. Чтобы изобличить обвиняемого, из земли выкапывают его жертву; преступника ставят перед трупом трехлетней давности. И Платтер, будучи врачом, страшно удивлен, что труп вопреки тому, что ему полагалось сделать (если можно так выразиться), не начал в присутствии виновного тотчас же кровоточить, обливая убийцу. Вот подлинный текст: «Не было, однако, ни одного из тех знаков, которые ожидалось; мы не видели, например, чтобы раскрылись раны и потекла кровь». Мы легко улавливаем в словах рассказчика удивление, вызванное подобным уклонением от своих обязанностей<sup>27\*</sup>.

Разум этих людей! От каких долго копившихся пластов суеверий ему нужно было отмыться, мужественно очиститься, чтобы он начал видеть, — ибо видят головой, а не глазами! Для этого понадобилось еще по крайней мере два или три столетия. Поклонимся же низко тем из людей того времени, кто, свершив героическое усилие над собой, поразительным образом опередил свою эпоху и поднялся достаточно высоко, чтобы посмотреть миру и людям в лицо — и притом весьма зорко.

Однако помогла им в этом античность. Вечно твердят о множестве ошибок, суеверий, непроверенных фактов, которые под влиянием авторитета древних были приняты на веру, как слова

<sup>26\*</sup> Félix et Thomas Platter à Montpellier. Montpellier, 1892. P. 146—147.

<sup>27\*</sup> О всеобщем распространении и стойкости такого рода верований во Франции в прошлые времена см.: Duval J. Les idées primitives dans la Bretagne contemporaine. P., 1920.

Евангелия. Все это правильно. Но те же самые античные писатели — такой скептик, как Лукиан; такой вольнодумец, как Лукреций; в особенности такой мыслитель, как Цицерон, автор «О природе богов» и «О дивинации»<sup>24</sup>; добавим, такой позитивный ученый, как Плиний<sup>28\*</sup>, — эти древние авторы для людей XVI века были отличными учителями рационализма. И тем самым лечили раны, которые могли нанести они сами или другие древние сочинители.

И, кроме того, кочевой дух того времени, когда казалось, никто прочно не закреплялся на одном месте, когда купцы проводили свою жизнь в дороге, когда студенты переходили из города в город и придворные, следом за королем, из провинции в провинцию, — этот дух сослужил им службу. Это не только бешеная жажда знания; это еще и неистовое желание видеть новое, перемещаться, одолевая пространство — такое желание владеет людьми того времени. Заставить отступить границы неведения; расширить сверкающую сферу знания и человеческого разума: все это хорошо, но недостаточно. Своими путешествиями, своими экспедициями, в которые они пускались со страхом и в то же время доверчиво, эти люди хотят заставить отступить еще и пределы самого мира. Это времена, когда всюду открывают новые миры; когда на новых морях конкистадоры — не все они испанцы — бросаются очертя голову в страны, еще полусаказочные. Тех же, кто не стремится так далеко, — тех привлекает Восток, старый Восток их отцов, который с давних времен вводит в соблазн людей Запада. Туда устремляются многие. Было бы любопытно составить список ученых, людей книжных, которые при первом удобном случае пускаются через Венецию, ворота мусульманского Востока, к Леванту, в Сирию, на Нил. Все интересовало этих открывателей. Подряд, без разбора: еще сохранившиеся развалины эллинистической эпохи; старые рукописи, запрятанные в монастырях; неизвестные растения, странные животные, но также и люди, их обычаи, их верования, захватывающая загадочность ислама и Турции. И они идут, невзирая на трудности, на опасности, на лишения, не останавливаясь ни перед чем; случается, их захватывают в плен берберы и продают в рабство; три-четыре года они стонут под ударами плети, потом их выкупают, освобождают, чудом они спасают свои записи — и вот уже с пылким усердием переписывают их набело...<sup>29\*</sup> Их треплет своего рода лихорадка знания, постижения. Кроме мира географического, земного — другой мир, который есть человек. В Монпелье

<sup>28\*</sup> Об этих авторах и их философском влиянии см. очень интересную работу: *Busson H. Les sources et le développement du rationalisme de la littérature française de la Renaissance. P., 1922. Liv. 1, ch. 1.*

<sup>29\*</sup> Чтобы ограничиться одним только примером подобной судьбы искателей знания, упомянем Белона, о жизни которого рассказал г-н Делоне (см.: *Revue du Seizième siècle. 1922, 1923*).



около 1540 года каждый вечер студенты отправляются на кладбище воровать свежеспребенные тела, двадцать раз рискуя жизнью; затем они ночь напролет вскрывают и анатомируют, проникают в тайны «устройства человеческого тела», которое Андрей Везалий «выставит» на всеобщее обозрение в своей великолепной книге. Тем временем, начиная с 1507 года, Коперник принимается размышлять над устройством мироздания. Его размышлениям суждено было длиться двадцать три года (1507—1530). Когда они были завершены, когда, отважно отбросив геоцентрическую гипотезу, этот ученый вслед за Леонардо да Винчи объявил, что Земля не является центром солнечной орбиты<sup>25</sup>, — этим гениальным прозрением он не только скинул Землю с незаконно захваченного ею трона: вследствие этого сам Бог должен был, если можно так выразиться, отступить перед человеком и укрыться в Бесконечном Пространстве.

## V

Все это вносит своеобразные дополнения, исправления, уточнения в тот несколько искусственный, несколько узкий взгляд на Возрождение, который столь часто преподносят нам историки литературы.

Частичное включение, ассимиляция античной мысли людьми, которых отделили от античного мира уже десять веков, — людьми, которым десять веков христианства сформировали ум, сердце, сознание, глубоко отличающиеся от ума, сердца, сознания древних: да, конечно, Возрождение смогло это совершить. Но оно совершило и нечто другое.

Кочевой дух людей того времени; своеобразное вечное беспокойство, которое толкает их идти все вперед, все дальше и дальше; их приверженность к жизни сельской и естественной; их крестьянская закалка; своего рода отрешенность от всего, что связывает и привязывает нас, — от очага, семьи, даже любви, — короче, грубая и близкая к природе крестьянская простота людей, в которых зато воскресает душа живших совсем недавно крестоносцев и нищенствующих монахов, тех францисканцев, которые в XIII, в XIV веке отправлялись в сердце Азии основывать монастыри, создавать епископства<sup>30\*</sup>: вот что нужно положить на чашу весов, положив на другую ученические добродетели и усердие людей той эпохи.

Эти люди были рабами античности? Нет. Когда Гаргантюа, со своим потрясающим и символическим аппетитом, идет к столу, перед ним изобильно раскидывается вся природа, включая античность. Затем он садится за стол, осенив себя крестом и прочитав «Benedicite» [Благословите] \*, как подобает христианину;

<sup>30\*</sup> Карты см.: *Golubovitch G. Bibliotheca bio-bibliographica della Terra Santa e de l'Oriente Franceseano. Caracci, 1913. T. 2.*

\* Первое слово молитвы, которую обычно читали перед едой.

античная мысль, христианская традиция, культ природы: вот что, взятое вместе, питает, вот что насыщает этих ненасытных людей. Все это они жадно поглощают. Подряд, без разбора. Чтобы переварить, чтобы усвоить то, что было ими проглочено за несколько десятилетий, понадобится два столетия... Что такое по сути своей XVII век, если не затянувшаяся на сотню лет медленная переработка и усвоение тех противоречащих одна другой мыслей и разношерстных фактов, которые были проглочены XVI веком?

Нет, не напрасно сделал Рабле своего Гаргантюа, своего Пантагрюэля великанами. Он просто воздал должное своему веку.

### УСТРЕМЛЕННОСТЬ К КРАСОТЕ

«Возрождение» — слово завораживающее, много говорящее нашему воображению, но двусмысленное. У него есть два значения. Оно применяется то к интеллектуальному движению, то к движению эстетическому. Каковы соотношения между первым и вторым?

Некогда вопрос этот считался очень простым. Карл VIII в своем обозе, ускользнувшем от неприятеля при Форново, привез разом и «Возрождение наук» и «Возрождение искусств». На одном эффектном диптихе была изображена Франция кончающегося XV века с ее готикой в состоянии полного упадка — и ей противопоставлялась блистательная Италия кватроченто, осыпанная славой своих живописцев и ваятелей. Как не предположить, что, оказавшись перед потрясающим множеством шедевров, которыми изобиловали даже малые города Италии, наши предки, опьяненные, ослепленные, подавленные увиденным, стали бить себя в грудь при мысли о своем эстетическом убожестве и принялись тут же за работу с целью восполнить столь ужасный пробел?

В самом деле, с первых же лет нового века замки на Луаре начинают воздвигаться словно по волшебству. Готический декор в них все более заменяется античным; Франциск I приглашает во Францию Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и Приматиччо, не говоря о прочих. И вскоре на развалинах готики поднимается новое классическое искусство — в Лувре, в Тюильри; оно уже предвещает логичное и рациональное искусство великого века...<sup>26</sup>

Некоторые оспаривали этот тезис, пытались доказать, что здесь есть преувеличение, что на самом деле итальянцы не играли во всей этой истории столь основополагающей роли, какую им приписывают. Однако, чтобы спорить, они были вынуждены становиться на ту же платформу, что и их противники. Другие негодовали, выражали скорбь и печаль по поводу того, что французский гений оказался жертвой итальянского нашествия, что на-

циональный гений был раздавлен тем, что было занесено из-за рубежа; они проклинали Возрождение за то, что оно похоронило французское искусство.

От этих споров понемногу отходят. В последние годы в основном стараются тщательно исследовать судьбы людей и явлений: итальянцев, призванных во Францию в начале XVI века; произведения искусства, созданные во Франции в то время. Пытались весьма объективно определить в точности, какую долю во всех крупнейших постройках, во всех великих произведениях искусства того времени следует приписать старым национальным традициям, а какую — итальянским новшествам. Все это, вполне законно, весьма разумно, очень полезно. Но все это не имеет отношения к нашему замыслу и, на наш взгляд, по нашему разумению, неудовлетворительно. Ставить вопрос подобным образом — значит, как нам представляется, совершать фундаментальную ошибку, которая заключается в том, что исходят из следующего положения: во Франции накануне войн с Италией, в конце XV — начале XVI века, было свое французское самобытное искусство, совсем особое и охранявшее эту особенность, строго национальное, никому и ничем не обязанное. Искусство, то есть наряду с архитектурой, подлинное имя которой — французская архитектура, целый куст различных искусств, где были еще и скульптура, и живопись, и гравюра — тоже французские.

Внезапно преграда, воздвигнутая горами, была преодолена, клынул поток итальянцев. И туземное, национальное искусство, чисто и строго французское, было будто бы стремительно преобразовано, а затем и вытеснено искусством, импортированным извне.

Однако, если мы не ограничимся рассмотрением одних только памятников архитектуры; если мы изучим также произведения других искусств — скульптуру, живопись, миниатюру, гравюру, — придется сделать иной вывод. Во Франции Людовика XI, в конце его царствования, и при Карле VIII нет французского искусства в том смысле, который мы придаем этому термину в наше время. Во Франции в ту эпоху есть художественные центры и в них выработалось некое космополитическое искусство, европейское искусство, искусство северных стран. Или, если хотите, в XV—XVI веках разыгрывается великая драма, главными действующими лицами которой были итальянское и фламандское искусство. Великая драма разыгрывается, так сказать, над головой у Франции, лежащей посередине между Фландрией, с одной стороны, и итальянскими государствами — с другой; над головой у Франции, страны умеренности, смешения и примирения. Драма бурная, речь идет о том, кто из двух соперников выйдет победителем. И в течение всего XV столетия исход ее не вызывает сомнений. Победитель — искусство Севера. Оно побеждает настолько явно, что перешагивает через горы и склоняет на свою

сторону самих итальянцев в разгар кватроченто, торжествующего и роскошного. Разве не итальянец Бартоломео Фацио объявил в 1465 году в своей книге «О знаменитых мужах», что Ян ван Эйк — первый художник века? А разве не символична старинная легенда об Антонелло да Мессина, который приехал во Фландрию, чтобы выведать там секрет живописи масляными красками? И когда Рогир ван дер Вейден путешествует по Италии (около 1450 года), сколько крупных произведений заказывают ему итальянцы, и северный мастер пишет их в Италии — разве это не говорит о том, что люди по ту сторону Альп были покорены фламандским искусством?

Однако в начале XVI века внезапно произошел полный переворот, быстрый и решительный. Итальянское искусство поворачивается лицом к сопернику, сходится с ним и, в свою очередь, переходит в атаку. Оно предпринимает неожиданное и сокрушительное наступление. За несколько лет оно одолевает, поработывает, подавляет и фламандцев, и немцев. Во всей истории искусств немного найдется переворотов, столь неожиданных и резких и закончившихся таким полным успехом.

Такова великая драма, которая разыгрывалась, повторяю, как бы над головою у Франции, и перипетии этой драмы отнюдь не оставили Францию безучастной. Сделать из этой истории некую абстракцию; поставить, не мудрствуя лукаво, лицом к лицу национальную Италию и национальную Францию, каждую со своим самобытным и национальным искусством; две нации, поначалу разобщенные, закрытые одна для другой, а затем благодаря войнам пришедшие в соприкосновение, и одна из них, та, что была побеждена оружием, покоряет другую искусствами: «Graecia capta [пленная Греция]...» \* Сделать так — значит умалить эту эпопею. Это значит запретить себе что-либо понять в ней. Это значит обречь себя на грубейшие ошибки, на жестокие недоразумения.

## I

Чем было французское искусство в канун Возрождения? Прежде всего давайте условимся, что понимать под словами «французское искусство».

На территории, которая ныне является территорией Франции, существовало определенное количество очагов искусства, возникших вокруг богатых, щедрых и культурных государей — вокруг меценатов, число которых умножилось в конце XV — начале XVI столетия; такими, например, были Жан Беррийский, Рене Прованский, Филипп Добрый; ограничимся этим перечнем. Ничего «национального» в современном значении слова в этом

\* Полностью эта латинская фраза из Горация звучит так: «Graecia capta ferum victorem cepit» («пленная Греция взяла в плен своего дикого победителя», то есть Рим).

искусстве не было. Не будем забывать к тому же, что границы Франции в XV веке, скажем в 1475 году, накануне смерти Карла Смелого, были вовсе не там, где они проходят ныне. Из этого проистекают бесчисленные и непреодолимые трудности.

Пикардия — это Франция? Пикардией правит Карл Смелый. Вы говорите «да»? Пусть будет по-вашему. Но Аррас и Артуа — это тоже Франция? Тот же Карл Смелый правит Артуа. Вы все еще говорите «да»: «Разве, в конце концов, Карл Смелый не французский принц? И, кроме того, Артуа находилось в ленной зависимости от французского королевства». Да, конечно, до Мадридского договора, а после? И Мадридский договор был в этом пункте подтвержден Камбрейским договором от 3 августа 1529 года<sup>27</sup>. Более ста лет этот край не подчинялся французским королям. Ну, хорошо, согласимся с вами еще раз... Остаются еще Лилль, Сент-Омер, Брюгге, Гент.

Речь идет по-прежнему о бургундских городах, признающих Карла Смелого сувереном. Могут сказать: есть различия. Лилль и Сент-Омер — Франция; Брюгге — нет, и Гент — тоже. И все-таки? На каком основании (если говорить о тех временах) можем мы противопоставить Лиллю Брюгге, Сент-Омеру Гент? И те, и другие — фландрские города, те и другие находятся в одинаковом политическом положении по отношению к Франции. Посмотрите на карты королевства 1476, 1610, наконец, 1648 года. Аррас, Камбре, Мелль, Ипр, Брюгге, Гент: целых полтора века эти города живут вне Франции, под властью врагов короля, вместе с его врагами. И тот же самый вопрос встает относительно Лотарингии, Бургундии, Франш-Конте, Савойи...<sup>28</sup> Как разрешить его? Просто и прямолинейно, спроецировав настоящее — отнюдь не вечное — на прошлое? Такого решения достаточно, чтобы скомпromетировать саму попытку.

Но есть и другое. Не только страна в те времена была непохожа на современное нам государство. В самом духе, царившем в искусстве того времени, не было ничего «национального».

В сфере мысли и искусства средние века были глубоко интернациональны. Единая христианская цивилизация, обладающая едиными свойствами и признаками, занимает всю территорию цивилизованной Европы XIII и XIV столетий. Этот интернационал мысли, науки, искусства, обслуживаемый единым языком — латынью, продолжает существовать и в XV веке; он просуществует еще долго, несмотря на возникновение крупных национальных государств.

Художники, которые образуют «центры искусства», — о них мы недавно говорили — отнюдь не обязательно уроженцы той страны, где они работают, и, более того, не являются ими, как правило. Это — кочевой народ. Они приходят отовсюду. Школу бургундской скульптуры в Дижоне основывает голландец Клаус Слютер, или, во всяком случае, в том, что она приобретает широ-

кую известность,— его заслуга. Эта школа существует благодаря художникам, из коих ни один не был бургундцем. Кёльнская школа живописи, изучаемая ныне в музее Вальраф<sup>29</sup> и представляющая столь единой, столь дружной и однородной,— среди ее корифеев нет ни одного уроженца Кёльна. Там можно встретить швабов, как Стефан Лохнер; уроженцев Антверпена, как Йосс ван Клеве, Мастер «Успения Марии»; голландцев, как Бартоломей Брюйн; наконец, даже француза Пьера де Мара. Прекрасная Авиньонская школа живописи, с которой познакомили наших современников труды аббата Рекена, ее полотна с триумфом ворвались в залы Лувра тотчас после выставки французского примитива; среди картин этой школы — трагическая «Pietà» [жалость, сострадание] \* из Вильнёв-лез-Авиньона; здесь мы находим пикардийцев, бургундцев, уроженцев Лиможа, уроженцев Ардеша, даже каталонцев, и ни одного авиньонца. Художники, пришедшие отовсюду,— так же как гуманисты приходят отовсюду и родом отовсюду. Где родина Эразма? И в самом ли деле он принадлежит только графству Голландия? Художники связывают свою жизнь не с той или иной страной, а с тем или иным мастером, учителем, кто был их учителем в полном смысле этого слова, кто обучил их ремеслу, передал им свои приемы, свой обычай, свои навыки. И стиль их определялся, с одной стороны, наукой этого учителя, воспринятой и сохраненной ими старательно и благоговейно, а с другой — личными художественными вкусами мецената; для него они работают, и он часто имеет свои взгляды, свои понятия, весьма отсталые, он их навязывает, с ним не поспоришь.

Эти предварительные замечания, несомненно, позволят нам понять, до какой степени мы ошибались, говоря о французском искусстве XV века, как если бы это было искусство действительно глубоко национальное, однородное, монолитное, которое легко отличить от всякого иного и дать ему определение. Впрочем, существует солидный документ, и на него невозможно не сослаться, коль скоро мы рассматриваем развитие искусства в наших краях в XIV и XV веках. Это — чудо из чудес, истинная жемчужина коллекций, собранных в Шантильи герцогом Омальским: «Роскошный часослов» Жана, герцога Беррийского<sup>30</sup>. Мы раскрываем его, мы перелистываем страницы этого шедевра — или на худой конец очень хорошего издания, принятого в 1904 году графом Дюррьё; мы смотрим и испытываем восхищение. Но и смущение тоже. К какой школе отнести эти великолепные миниатюры? К фламандской? Да — и нет. Порою чувствуется фламандский дух... Но если обратить внимание на детали, то где, например (ограничимся только этим), —

\* Так назывались произведения, изображавшие сцену оплакивания Христа.

где «фламандские» складки, которые безусловно характерны для всех произведений этой школы в ту эпоху? Итальянская работа? Нет. И однако, эти прекрасные миниатюры полны итальянских реминисценций. Не будем говорить о тех страницах, где точно воспроизведены творения итальянского искусства, например «Введение Богородицы во Храм» Таддео Гадди, которое до сих пор можно увидеть (или, вернее, угадать под уродующими его переделками) в Санта Кроче во Флоренции; одна из миниатюр «Роскошного часослова» воспроизводит эту картину очень точно. Но если мы хоть сколько-нибудь внимательно разглядели произведения сиенских тречентистов, исполненные очарования, нежные и трогательные, — нас непременно поразит, как много в манускрипте из Шантильи неоспоримо сиенского... Сверх того, вот навеянное Востоком или заимствованное у Востока; навеянное классической античностью или заимствованное у неё, прославленные античные группы, воспроизведенные или мастерски использованные художниками Жана Беррийского; вот оживают старинные медали, восточные миниатюры — и они, похоже, вдохновили некоторые из лучших страниц... И все пронизано духом французского восприятия жизни, французской задушевности, французской сельской природы — особенно на восхитительных листах календаря.

Интернациональное искусство? <sup>31</sup> Формула несколько высокопарная. Это — искусство для Жана, герцога Беррийского, и в соответствии с его вкусами, а исполнители — несколько лучших искусников того времени. А Жан, французский принц, очень французский по своим вкусам, был к тому же наиболее сведущим и наиболее любознательным из ценителей; и его любознательность простиралась без разбора на все, что было красиво, на все, что было ново...

Однако разве этот «Роскошный часослов», благодаря именно красоте, знатному происхождению и художественным достоинствам, — не является ли он одним из тех единственных в своем роде памятников, одним из стоящих особняком шедевров, которые — вне всяких правил, и к ним поэтому нельзя обращаться, изучая закономерности развития художества? Несомненно так. Но справедливо и то, что смешение влияний, которое проявилось здесь столь гармонично, — мы находим его, угадываем, можем наблюдать всюду, на протяжении всего XV века, во всех произведениях, выполненных в то время для французских принцев, городов, общин, на той территории, которая ныне входит в состав Франции. Конечно, в этом смешении пропорции не всегда так умело подобраны, не всегда оно так мастерски выполнено, не так удачно. Сочетания меняются в зависимости от меценатов, и от художников тоже. Впрочем, то, что сделано менее умело, тем легче анализировать, разлагать на элементы, относящиеся к тем или иным регионам.

## II

Каким был дух этого искусства? Каким потребностям оно удовлетворяло? Какие чувства отражало? Какое общее представление о жизни, о религии, об обществе оно передавало?

Об этом пишет г-н Эмиль Маль в превосходной книге, главный тезис которой я не могу принять целиком, но которая тем не менее написана рукой мастера<sup>31\*</sup>. Если в XIII веке христианское искусство пребывает классическим, строгим и суровым и ничто до него не достигает, ничто не нарушает его ясности, то в конце XIV — начале XV века появляется новая иконография, которая придает художеству характер дотоле неведомый. Она делает его живописным, эмоциональным и человеческим.

Живописность — это очень важное новшество. Нет ничего более чуждого искусству XIII века, чем интерес к сюжетности, к местному колориту, к историческим или псевдоисторическим декорациям. Оно полностью удовлетворялось тем, что создавало, отвлекаясь от любых конкретных деталей или обстоятельств, вечные образы — на все времена, для любой страны, для любого мышления: «Прекрасный Бог» в Амьене<sup>32</sup>, святой Теодор в Шартре, святой Стефан в Сане.

А искусство XV века? Его интерес к живописной детали, к индивидуализирующим особенностям проявляется в costume, который становится костюмом определенной эпохи, определенно-общественного класса или корпорации. Святой Михаил на главном портале в Бурже, занятый взвешиванием душ, — в длинных одеждах с классическими складками. Святой Михаил в Дижоне, в алтаре Жака де Берзе — это рыцарь XV века, вооруженный с головы до ног; точность деталей его вооружения приводит в восхищение археологов. Даже сам Бог, Бог Отец, которого XIII век не изображал вообще, как бы робая перед его величием, — в XV веке его изображают часто, и он становится каким-то царственным Нестором, бородатым Карлом Великим, сидящим на троне в пышном облачении, держа на руке свою царскую державу в виде шара, подобно императору, а на голове у него тиара, как у папы римского. Есть только одна наивная деталь: тиара первосвященника — с тремя венцами, а у Бога их четыре или пять.

Так же как и костюмы, приобретает характерные особенности и место действия. Где в XIII веке происходит Благовещение? В мире веры и надежды. Дева получает от ангела божественную весть. Оба облачены в одеяния с длинными прямыми складками. Оба стоят. А в XV веке? Богородица — молодая дама в красивом голубом платье, припимает ангела в своей молельне или в своей комнате — в комнате, где от наших глаз не укроется ни одна

<sup>31\*</sup> *Mâle E. L'art religieux à la fin du Moyen age en France. P., 1908.*



портьера, ни один предмет мебели, ни налой в одном из углов, ни даже — можете в этом убедиться в Брюссельском музее, посмотрев очень красивое панно, которое приписывают Флемальскому мастеру, — образ святого Христофора, висящий на стене, — святого Христофора, который, конечно, несколько опережая события, несёт младенца Иисуса на плече! Итак, стена опустилась с небес на Землю: на землю фламандскую, или французскую, или немецкую: мы это видим, мы можем определить страну и назвать дату с точностью чуть ли не до года.

Искусство отказывается наконец от своего высокомерного бесстрастия. На смену торжествующему Христу XIII века приходит Христос страдающий, измученный пыткой и распятым Христос XV века. Драма страстей господних, драма, как бы медленно продвигающаяся от остановки к остановке, к последнему пределу — Голгофе, — искусство XV века пересказывает ее со всеми подробностями, беспощадно, не утаив ни одной язвы Христовой, ни одного его падения, ни одной слезы. Оно выводит эту драму даже за пределы Креста Христова и продолжает ее Крестом Матери — распятием, быть может еще более мучительным; поистине излюбленная тема XV века — «Pietà»: на коленях истерзанной Богородицы — тело Христа, окровавленное и жалкое.

И таким вот образом, благодаря своей любви к живописному и красочному, благодаря силе пробуждаемого им сострадания, искусство делается человеческим. Оно становится ближе человеческому сердцу. Оно спускается со своего высокого пьедестала, чтобы прийти и утешить, согреть, воодушевить создания Божьи... Но зачем еще раз развивать все эти темы, которые г-н Маль сумел оркестровать столь искусно?

Г-н Маль объясняет эти новые черты и свойства искусства появлением как раз в первые годы XV века больших драматических мистерий, которые играли на площадях, на улицах, перед соборами, перед всем народом, воодушевленным этим зрелищем. Мысль остроумная, блестящая, соблазнительная. Мысль несостоятельная — коротко назовем ее так, ибо, по правде говоря, она оставляет вопрос без ответа <sup>32\*</sup>.

Почему искусство стало живописным и красочным, эмоциональным и человеческим? Благодаря мистериям. Ну а почему сами мистерии в те времена были живописными, эмоциональными и человеческими? Ввиду влияния, которое оказала на сознание людей небольшая книжка, плод францисканского благочестия XIII века, «Размышления о жизни Христа», прежде ошибочно приписывавшаяся святому Бонавентуре. Но почему «Размышле-

<sup>32\*</sup> Мы не пытаемся дать здесь краткий критический обзор книги г-на Маля. Можно было бы припомнить ему и многое другое, в частности то, что он не знает о более ранних аналогичных явлениях в Италии.

ния», написанные в XIII столетии, обрели такой успех в XV веке и главным образом во Франции?

Объяснить изобразительные искусства через театр, театр через «Размышления» — это значит (если мы согласимся, что объяснение действительно дано) — это значит всего лишь отодвинуть проблему. Почему произошла такая эволюция вкусов в эту эпоху? Почему все искусство того времени стремится удовлетворить вновь возникшую потребность в живописности, эмоциональности и человечности? Нам представляется возможным одно только объяснение, объяснение порядка социального, — г-н Маль такого не дает: именно в эту эпоху завоевывает себе завидную судьбу и место в обществе новый класс, своеобразный, активный, любознательный, глубоко реалистичный во вкусах и устремлениях, класс людей, которых искусство XIII века, создававшееся иными людьми и для людей тоже иных, больше не удовлетворяло.

Этот класс — буржуазия.

В конце XIV — начале XV века одновременно происходили следующие события (или три ряда событий): успехи буржуазии; распространение по всей Европе реалистического искусства, в котором доминировали художники-бюргеры Фландрии; появление новой иконографии, в которой отразилось стремление к живописности, эмоциональности и человечности. Эти три ряда явлений — они всего лишь совпадали во времени? Или, что более вероятно, обуславливали ли они друг друга?

### III

Однако, если проследить с середины XV века и до конца первой четверти XVI века общую эволюцию искусств в такой стране, как Франция, сможем ли мы констатировать быстрые перемены, аналогичные, равноценные тем, что произошли в конце XIV — начале XV века в искусстве и одновременно в обществе? Никким образом.

Искусство во Франции во времена Карла VIII и еще позже, при Людовике XII, — это то же самое искусство, которое чаровало наших пращуров при Людовике XI и даже раньше, при Карле VII, Карле VI и Карле V. Те же слова приходят на ум, когда мы пытаемся охарактеризовать это искусство. Правда, больше крупных ансамблей. Но и множество небольших прелестных произведений, разбросанных более или менее повсеместно, в наших церквах, в наших старых усадьбах, в сельских придорожных часовнях, на фасадах особняков буржуазии. Множество роскошных витражей с красочным рисунком, который по-прежнему подчинен канонам установившейся иконографии. Наконец, множество миниатюр, живописных и человечных. И конечно, повсеместно, по мере того как мы продвигаемся от начала

столетия к его концу, искусство становится как бы шире и свободнее; однако изменения происходят незаметно, через ряд трудно-уловимых переходов. Если мы проследим, например, эволюцию такой четко очерченной, такой однородной школы, как бургундская, от 1400 года (примерно) до конца столетия, то увидим: на протяжении всего века это, по существу, одно и то же искусство, как нельзя более красочное, как нельзя более эмоциональное, как нельзя более человеческое: самое большое, что можно подметить в самых поздних произведениях,— это нечто вроде радостного чувства, которое постепенно появляется на лицах, прежде — замкнутых, печальных, немного неприязненных лицах начала века; и оно же оживляет и расправляет несколько хилые и скованные фигуры начала XV века. Откуда идет это новое чувство? Из Италии? Да полно! Оно — от мира на Земле, от радости жизни, да, конечно,— и, кроме того, от естественного прогресса искусства, которое становится более утонченным и более охватным, которое совершенствуется по мере своего естественно-го развития..

Так пускай же специалисты-искусствоведы говорят, что хотят. Пусть сколько угодно разворачивают перед нами некую абстрактную механику стилей, порождающих новые стили, и форм, порождающих новые формы,— я с большим почтением склонюсь перед их ученостью, я буду восхищаться тщательной документацией их исследований, но повторю: когда общество не меняется или меняется незначительно, когда общество не ведает резких перемен, а только медленную эволюцию — ни мода, ни престиж, ни увлечения не подчинят его своей власти. Этому обществу никто, как бы он ни был могуществен, каким бы ни пользовался авторитетом, не навяжет искусство, не соответствующее полностью его потребностям. В данном случае — Франции Карла VIII и Людовика XII не было навязано искусство итальянского кватроченто.

Искусство кватроченто? Тогдашняя Франция — что она стала бы с ним делать?

Во-первых, отметим следующее: это было не такое искусство, которое легко унести с собой. Искусство итальянских мастеров того времени нашло свое наивысшее выражение во фреске. А фреска по самой ее природе перемещаться не может. Конечно, понемногу в течение XV века художники по ту сторону Альп начинают писать на досках, небольших портативных досках, которые долгое время были монополией живописцев Севера. Но лучшее в их творчестве — это фрески, большие декоративные фрески. Сколько итальянских мастеров, и притом из самой первой шеренги, остаются до сих пор, несмотря на то что теперь повсюду появилось множество музеев, абсолютно недоступными для тех, кто не путешествовал по Италии! Джотто и его последователи? Не будем о них говорить. Мазааччо? Те, кто не видели

капеллу Бранкаччи в «Carmine» \* во Флоренции, никогда не узнают живописи Мазаччо. И даже Гирландайо, даже Мантенья, даже Рафаэль — кто они для тех, кто не знает их великих настенных росписей?

Однако оставим это. Предположим, что эта первая трудность преодолена. Тут же перед нами встает другая. Искусство итальянских школ не было, конечно, совершенно однородным. Доказательство тому то, что мы говорим скорее об итальянских школах, чем об итальянском искусстве. Тем не менее, несмотря на многообразие художественных темпераментов и почерков — региональное или индивидуальное, несмотря на различия между школами, между мастерами, общие черты роднят как произведения, так и авторов и заставляют нас ощущать и называть их «итальянскими» без колебаний и каких-либо сомнений. Разве не были эти черты достаточно явными, достаточно выраженными, чтобы исключить для тех, кто этими чертами обладал (ибо они ими обладали), возможность оказать на искусство страны с абсолютно иным душевным складом, чем у обитателей заальпийских краев, — оказать влияние, глубокое и стойкое?

Одно из самых сильных ощущений, какие можно испытать во Флоренции, я уверен, — то, что чувствуешь, оказавшись внезапно в одной из зал Уффици перед шедевром, написанным Гуго ван дер Гусом около 1476 года для графа Томасо Портинари, доверенного лица Медичи в Брюгге. Вы идете по залам, где собраны шедевры кватроченто; покидаете высокие галереи, откуда простирается вид до лесистых вершин Сан-Миньято. Перед глазами теснятся прекрасные формы, исполненные гармонии изящные фигуры, написанные флорентийскими мастерами. И вы подолгу склоняетесь над изысканным искусством «tondi» [круглые] \*\*, каждый из которых ставит и разрешает (и с каким мастерством!) новые проблемы композиции, расположения и соотношения линий и форм...

Внезапно перед нами вырастает огромное панно, которое прежде всего захватывает нас своими яркими и насыщенными красками. Покоряет широтой замысла и исполнения. Уверенной в себе силой, которая утверждает себя не мудрствуя лукаво. В этом произведении нет ничего затейливого, ничего хитроумного, изысканного, искусно придуманного. Композиция, если начать ее анализировать, кажется даже неуклюжей, размеры персонажей непропорциональны, передние планы несуразны и плохо выписаны. Но какое ощущение глубокой сосредоточенности исходит от огромной картины, где все способствует созданию этого настроения — все, вплоть до «промахов» художника, вплоть до

\* Церковь Санта Мария дель Кармине.

\*\* Так назывались портреты овальной формы.

уродства этих несчастных северных ангелов с угловатыми и печально-задумчивыми лицами!

Мы потрясены. Вывод ясен. Фламандцы и итальянцы в XV веке поистине говорили на разных языках. И началось это не вчера. Фламандцы и итальянцы: нужно, конечно, добавить — французы и итальянцы. Фламандцы и итальянцы — это противоположные полюсы. Французы, находясь посередине между двумя соперничающими очагами искусства, выступают в роли посредников (как это им в достаточной мере свойственно). Они знакомы с искусством по ту сторону Альп. Не будем забывать, что они много передвигались. Знатные люди путешествуют — те, кто передают приказы и поручения, — и путешествия порождают (у тех из них, кто наделен даром чувствовать искусство) своего рода эклектизм, очень либеральный и просвещенный. Художники тоже путешествуют; и когда Жан Фуке из Тура, художник, чья судьба была типичной для времен Людовика XI, приезжает работать в Париж, а затем в Тур, — он уже побывал в Италии (между 1443 и 1447 годами) и выполнил в Риме тот портрет папы Евгения IV, о котором и сто лет спустя, в XVI веке, будет писать Вазари. И хотя французы отлично знакомы с искусством Севера, они воздерживаются от того, чтобы счастье его своим, — в том виде, в каком оно есть, не смягчив его, не добавив ему новых оттенков, не наделив качествами, присущими им самим, — лукавым добродушием и мудрым чувством меры. Но для них, так же как для фламандцев, остается истиной, что религиозное чувство живет и питается не блеском, движением и яркостью света, не широко развернутым зрелищем — но тишиной и углубленностью в себя.

Для французов, так же как для мастеров (и буржуа) Севера, Рождество не могло быть «визитом к роженице», лежащей в роскошной зале флорентийского дворца, — визитом знатных дам-патрицианок, раздетых в парчу и расшитые золотом шелка, желающих нравиться, не теряя, однако, достоинства, и умеющих пройти по-благородному перед восхищенным народом, который на них глядеет. Когда во Флоренции в 1485 году, спустя лишь десять лет после завершения великого триптиха Гуго ван дер Гуса, Гирландайо решает написать для капеллы Сасетти в Святой Троице знаменитое «Поклонение пастухов», в котором фигуры трех крестьян нарочитым реализмом их морщинистых лиц и плохо побритых щек явственно доказывают, что предельно живая и правдивая группа пастухов с алтаря Портинари отнюдь не осталась незамеченной во Флоренции, — в этом прелестном произведении, написанном в такой прекрасной манере, где флорентийский художник сумел связать, и так удачно, три эпизода (Весть пастухам, их Поклонение и Шествие царей-волхвов)<sup>33</sup>, — в этом произведении нет, вовсе нет того, что составляет неповторимую ценность, достоинство и очарование картины ван дер

Гуса. Красивая дева Мария, стоящая на коленях перед сыном, такая изысканная в одежде и манерах; вяло сложив свои прекрасные округлые руки патрицианки, она заставляет нас любоваться ими; три пастуха, которые так любезно позируют в углу картины, и один из них так хорошо воспроизводит ритуальный жест, театральный жест фигуранта: прижав одну руку к сердцу, а другую вытянув перед собой, он выражает старательно имитируемое чувство; младенец Иисус, столь отличный от трогательного и жалкого новорожденного с картины фламандского мастера, — младенец, как нельзя лучше упитанный и розовый и в день своего появления на свет пухленький и улыбающийся, как десятимесячный ребенок; все эти приятные персонажи действия, из которого изгнано всякое чувство истинного благочестия, — они самим своим видом и поведением полностью исключают появление того чувства, которое несколько выше мы пытались передать с помощью слов «сосредоточенность», «углубленность в себя» — слов, столь мало итальянских, столь принадлежащих Северу.

В произведении флорентийского мастера есть одна многозначительная деталь. Святой Иосиф, коленопреклоненный рядом с двумя традиционными домашними животными, не участвует. Однако, в Поклонении. Он не смотрит на младенца, как дева Мария и пастухи; но, обратив свое красивое, невыразительное лицо «благородного отца» к пейзажу в глубине картины, он как будто подзывает взглядом и жестом царей-волхвов, которые действительно приближаются — роскошные, на тяжелых боевых конях, в сопровождении блестящего и пестрого каравана. Так пусть же они прибудут поскорей, и с ними — движение, краски, живописность, зрелищность, — пусть, наконец, ворвутся в эту сцену немого поклонения, тихо преклоненных колен и неподвижности, которую можно вытерпеть одну секунду — время, достаточное, чтобы сделать набросок, но невыносимую для стремительных итальянцев, если она затягивается надолго.

Иными словами, если искусство кватроченто не владеет даром глубокого, искреннего и сосредоточенного чувства, который достался на долю художников Севера, — зато у него есть неоспоримое чувство театрального или, лучше сказать, патетического. Оно малочувствительно к внутренней жизни. Однако оно недостижимо в своем умении изобразить, заставить увидеть — поистине заставить ожить с совершенно особенной волнующей силой великие трагические сцены двух миров древности: Священного писания и античности. И это — с самого начала. Мы знаем прекрасно, сколько драматической мощи во фресках Джотто — в падуанской «Арене» или в Верхней церкви в Ассизи<sup>34</sup>. Но самый выбор сюжетов или, вернее, моментов итальянскими художниками заслуживает подробного рассмотрения.

В книге весьма разумной и убедительной — сборнике сравнительных исследований «Искусство к северу и к югу от Альп

в эпоху Возрождения» — г-н Жак Мениль в 1911 году очень метко заметил, что фламандцы и итальянцы, когда им доводилось изображать такой распространенный сюжет, как Тайная вечеря, подходили к нему совершенно по-разному. Он пишет: «Тайная вечеря, как ее рассказывают Евангелия, содержит два момента — один, когда Христос причащает апостолов; другой, когда он произносит слова неожиданные и ужасные: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня“, — слова, которые приводятся в Евангелии от Иоанна (13, 21). Так вот, любопытно отметить, что фламандцы, совершенно естественно ведомые интуитивным пониманием природы своего гения, — фламандцы стремятся передать чисто внутреннюю драму Причастия. И добиваются великолепных успехов, о чем убедительно свидетельствует наряду со многими другими „Тайная вечеря“ Дирка Боутса в церкви святого Петра в Лувене. Но столь же естественно ведомые таким же верным инстинктом итальянские мастера стремились представить взору, передать во всей ее трагической силе сцену ужаса, изумления, возмущения, оскорбленного протеста, которые вызвало у апостолов откровение Христа. О том, что итальянцы тоже добились блестящего успеха в реализации своего замысла, — говорит восхищение, которое посылает нас всех в почтительное и волнующее паломничество к той стене в трапезной монастыря Санта Мария делье Грацие в Милане, где скоро исчезнут последние контуры и краски „Тайной вечери“ Леонардо»<sup>33\*</sup>.

Конечно, г-н Мениль слегка упрощает. Ибо в действительности существуют не два, а по меньшей мере три различных способа трактовать и изображать Тайную вечерю; и все три обильно иллюстрирует бесчисленное множество картин. На одних изображен Христос, преломляющий хлеб; так было установлено таинство Святого причастия; на других картинах Христос дает причастие апостолам. Наконец, последние стремятся передать драматическую сцену откровения: «Один из вас предаст меня...» Я сказал «последние»: и в самом деле, кажется, Гирландайо на своей фреске в трапезной монастыря Оньисанти во Флоренции был первым среди итальянцев, кто довольно поздно (в 1480 году, всего на пятнадцать лет раньше Леонардо) попытался изобразить трагическое мгновение, которое снова оживает перед нами в Милане. Андреа дель Кастаньо на прославленной фреске начала XV века изображает установление обряда Святого причастия; множество художников-кватрочентистов делают то же самое, тогда как Фра Анджелико в монастыре Сан Марко показывает нам, как апостолы принимают причастие; еще в 1512 году в соборе Кортоны Лука Синьорелли изобразит этот же сюжет; прав-

<sup>33\*</sup> *Mesnil J. Art au nord et au sud des Alpes à l'époque de la Renaissance. P.; Bruxelles, 1911. P. 50 sqq.*

да, в этом случае он был вдохновлен знаменитым произведением Иоса ван Гента, которое фламандский мастер написал около 1475 года в Урбино по заказу братства Тела Господня, которому помогал в этом деле герцог Федерико де Монтефельтро.

Таким образом, действительность предстает более разнообразной, более богатой оттенками, чем того хотелось бы г-ну Менилю. Однако он все же был прав, противопоставляя творчеству художников Севера, задушевному и трогательному, более драматичное творчество итальянских мастеров. Даже люди не беспристрастные — и те уже в XVI веке отнюдь не были в неведении относительно этих различий. Хотите доказательств? Раскройте, к примеру, «Четыре беседы о живописи»; беседы эти велись в Риме в 1538 и 1539 годах, были записаны или сочинены в 1548 году Франческо де Ольянда, опубликованы Иоахимом де Васконсельсом<sup>34\*</sup>, в них автор выводит на сцену Микеланджело, рассуждающего об искусстве. «Фламандская живопись, — такие слова вкладывает автор в уста великому флорентийскому скульптору, — будет нравиться людям набожным более, чем итальянская. Эта последняя никогда не заставит их пролить хоть одну слезу. А та — заставит пролить много слез; и причиной тому не сила и совершенство живописи, а нежное сердце самого верующего».

Отметим вот еще что: итальянские художники, конечно, позволяли себе слишком много вольностей, слишком пренебрегали тщательным исполнением приемов, слишком мало заботились о «фламандской законченности», чтобы очень уж нравиться поклонникам искусства Севера. Не будем забывать, что всякий буржуа стихийно видит в живописи искусство подражания. Итальянских же художников XV века отнюдь не отличает верность передачи тканей, драпировок, оружия, граничащая с обманом зрения имитация реальных предметов. Их искусство — это никоим образом не искусство портретистов в буржуазном понимании этого слова. Сами итальянцы охотно с этим соглашались. И даже больше чем просто соглашались. Когда им хотелось иметь свой портрет, писанный с натуры, они обращались не к кому-нибудь, а к фламандцам. Вспомните, сколько портретов итальянцев, написанных мастерами Севера, находится в наших больших собраниях картин. В наследии одного только Яна ван Эйка числятся лондонский портрет Арнольфини, дрезденский — Джустиньяни, венский — Альбергати<sup>36</sup>. И сколько других? Позже, много позже, в 1475—1476 годах, когда умерли Мазаччо, Паоло Учелло, Андреа дель Кастаньо, Доменико Венециано, Фра Филиппо Липпи; когда Андреа дель Верроккьо, Поллайоло, Бальдовинетти, Мантенья работали в полную силу, а слава Боттичелли и Гирландайо только зарождалась — именно тогда один из первейших любителей искусства, один из лучших тогдашних знатоков, герцог урбинский

<sup>34\*</sup> Французский перевод см.: *Raczinski A. Les arts en Portugal. P., 1846.*



Федерико де Монтефельтро, когда захотел, чтобы была написана целая серия портретов, то пригласил с Севера Йосса ван Гента, фламандца. Вкусы главных ценителей совпадали со вкусами прородушных буржуа. Для последних фламандцы были несравненными виртуозами подражания природе. Их картины можно с удовольствием разглядывать через лупу. У них есть все, чтобы нравиться толпам наивных людей, которые и по нынешний день развлекаются в гентском Сен-Бавоне тем, что, стоя перед «Агнцем божьим», пересчитывают с услужливой помощью большого увеличительного стекла волоски на головах судей или в бровях у патриархов...<sup>37</sup> Чудесные, небольшие картины, которыми мы любимся, например, в Брюгге, в скромном и строгом зале гостиницы Сен-Жан<sup>38</sup>, — эти картины легко представить себе в руках восхищенных заказчиков, которые рассматривают их, стоя в оконной нише, при ярком свете; и сколько раздаются радостных восклицаний, когда счастливые владельцы, надев сильные очки, обнаруживают какую-нибудь мелкую деталь, не замеченную ранее, какую-нибудь нитку, нарисованную с неподражаемым сходством, или на сверкающей грани драгоценного украшения — отражение окна, расчерченное на квадраты переплетом рамы...

В том, что в эпоху, когда буржуазия, сбросив последние путы, утверждается в своем господстве, в том, что тогда северяне, жители Фландрии, Германии, да и Франции, предпочитали в соответствии со своими склонностями живопись фламандскую живописи итальянской, — в этом нет, конечно, ничего загадочного. Или, во всяком случае, это загадка, которую можно объяснить себе без большого труда.

#### IV

Однако почему с некоторого времени, с первых лет XVI столетия, начинается этот грандиозный и внезапный поворот, описанный нами выше? Итальянское искусство под напором торжествующего и победоносного искусства фламандского было, если можно так выразиться, заперто на полуострове на протяжении всего XV века — как, почему оно вдруг вырывается из-под замка, распространяется за пределы Италии и очень быстро одерживает верх над искусством других стран, в том числе в Нидерландах и Германии? Почему произошла эта громадная и повсеместная перемена?

Что до меня, то я вижу здесь одну главную и общую причину. В конце XV — в начале XVI века мир стал образованным.

Мир стал ученым и образованным. Вспомним: он пошел учиться у античности. Он узнал о множестве прекрасных вещей, о которых, можно сказать, и не подозревал. Античность научила его, что художник, этот ремесленник, пребывающий в одной корпо-

рации мастеровых с седельниками и переплетчиками, затерявшийся среди них, этот работник ручного труда, этот «механизм» — на самом деле он нечто совсем иное, чем невежественный и приносящий пользу ремесленник. Ибо если он талантлив, если он может своею кистью воспроизводить жизнь, воскрешать прошлое, облакая его в живые краски настоящего, то он — один из великих мира сего, сравнившийся знатностью и благородством в глазах образованных людей и творцов с принцами и королями. Разве Тициан не достоин того, чтобы Карл V поднял с пола уроненную им кисть? Но и много раньше, когда Альбрехт Дюрер покидал блистательную Венецию, чтобы вернуться в свою буржуазную Германию, — разве не сказал он в сокрушении сердечном слова, исполненные значения: «В Венеции я дворянин. В Нюрнберге я жалкий бедняк»?

Мир становится образованным. Мир обучается в школе древних римлян и греков. Мир — и раньше всех Италия, много раньше, чем другие страны Европы, — узнает, обучаясь в этой школе, не только о высоком достоинстве искусства, но и о том, что такое само искусство, что такое Прекрасное. Он узнает об этом из Платона раньше, чем увидит в Риме, как в кардинальских виноградниках постепенно, одну за другой, извлекают из земли и выносят на свет античные статуи. Он узнает об этом из Витрувия, которого он читает, переводит и комментирует даже раньше, чем увидит и распознает, восхитится и начнет восстанавливать великие развалины античности, которыми так изобилует земля Рима, земля итальянская и галльская. Не забудем о столь характерном для той эпохи пристрастии того же Рабле к произведениям архитектуры — будь то современные ему замки Турени или Пуату, которые вдохновляли его, когда он описывал Телемскую обитель — эту точную копию замка Бонниве, или римские развалины: после путешествия в Рим в 1534 году Рабле замыслил составить их полный список<sup>35\*</sup>. Через науку, через эрудицию, через внимательное изучение Витрувия<sup>36\*</sup> и Альберти, вдохновлявшегося Витрувием, через общение с образованнейшим Филандрье<sup>37\*</sup>, комментатором античного ученого, через общение с эрудитом Филибером де л'Ормом<sup>38\*</sup> — благодаря этому Рабле, великий ум, не слишком чувствительный, как нам кажется, к чарам искусства, начал в духе своего века активно интересо-

<sup>35\*</sup> *Plattard J.* Op. cit. P. 11 sqq.

<sup>36\*</sup> «Восемь книг об архитектуре» Витрувия были переведены на французский лишь в 1547 году Жаном Мартеном, который двумя годами раньше перевел «Шесть книг об архитектуре» Серлио. Конечно, Витрувия читали и задолго до этого — по-латыни и в итальянских переводах с комментариями.

<sup>37\*</sup> О связях Рабле и Филандрье см.: *Heulhard A.* Rabelais, ses voyages en Italie, son exil à Metz. P., 1891. P. 274 sqq.

<sup>38\*</sup> Рабле водил с ним знакомство в Риме в 1536 году.

ваться созданиями того, что прежде было просто «строительными работами», а в его время стало именно архитектурой<sup>39\*</sup>.

Но так же как в школу античности, XVI век идет учиться и школе природы и наблюдения. Ибо искусство в Италии в конце XV века стремится стать наукой или, вернее, опереться на точную науку о перспективе и о формах живого. Апогей этого великого движения мы видим в величественном и гениальном творчестве Леонардо, ученого-новатора и художника, в равной мере оригинального и прекрасного. Однако и весь кватроценти, вокруг Леонардо и до него, с поразительным усердием стремился овладеть двумя вещами: научной и точной теорией перспективы в совершенным знанием анатомии человеческого тела<sup>40\*</sup>. И это движение было движением специфически итальянским, подобного которому не было в те времена ни во Франции, ни во Фландрии, ни в Германии. В конце XV — начале XVI века итальянские художники превосходят художников-северян в том, что относится к общей композиции их крупных декоративных произведений, к их анатомическим познаниям и эффектам перспективы, таким смелым и одновременно точным. Вспомним, например, усопшего Христа на картине Мантеньи, изображенного в дерзком и патетическом ракурсе, — это превосходство было столь велико и неоспоримо, что никто уже не мог ни сомневаться в нем, ни остаться не чувствительным к его соблазнам; никто из тех — прошу понять меня правильно, — для кого наука в искусстве стала подлинной потребностью; никто из тех, чьи глаза раскрылись навстречу свету античности. Ибо теперь мы хорошо видим, почему итальянское искусство в начале и в первой половине XV века не влияло на искусство Севера, почему оно не вышло за пределы полуострова. Не пришло еще время. Итальянское искусство еще не владело своей поразительной техникой. Оно еще было в поисках. Оно еще осваивало, день за днем, медленно, мучительно осваивало трудную науку перспективы, точное знание анатомии. И к его удачным попыткам, и к его первым успехам люди, жившие по другую сторону гор, не могли еще проявить слишком уж живой интерес. Природная склонность этих людей к искусству художников Севера, художников тщательных, точных, излишне детальных — и неумелых, — оставалась неизменной, и ничто не могло ее поколебать. На это потребовалось время, много времени; потребовался прогресс как художественной техники в Италии, так и интеллектуальной культуры в странах Севера, чтобы вдруг превосходство итальянского искусства над исконным и привычным искусством их любимых художников — показалось северянам ослепительным — неоспоримым, как догма.

<sup>39\*</sup> Из примеров, приведенных Л. Сенеаном, следует, что слова «архитектура», «архитектор» появились во французском языке между 1539 и 1546 годами (*Sainéant L. La langue de Rabelais. T. 1. P. 54—55*).

<sup>40\*</sup> Интересные мысли на эту тему см.: *Mesnil J. Op. cit. P. 57 sqq.*

Не нужно, впрочем, преувеличивать. Итальянское искусство одолело, подчинило себе и в конечном итоге раздвинуло прежде всего фламандское и немецкое искусство начала XVI века, а не искусство, милое сердцу французам XV столетия. Что заимствовала Франция из Италии? Как раз то, чего она не знала до XVI века, о чем не имела даже представления: картины большого размера; мифологическую живопись; языческие сюжеты, с крупными обнаженными фигурами, что висят в галерее Фонтенбло<sup>41\*</sup>. Заимствование вполне естественное. Кому из художников Франции, Нидерландов или Германии мог бы заказать Франциск I в те времена, когда он пригласил на берега Луары Джованни Баттисту Россо (в 1531 году) и Франческо Приматиччо из Болоньи (в 1532 году), — кому мог он заказать такие произведения, каких ожидал от этих славных итальянских мастеров?

Однако заимствовала ли Франция у Италии архитектуру замков на Луаре — я имею в виду те из них, где хотят увидеть, где действительно нетрудно увидеть легко узнаваемую руку итальянских строителей и подрядчиков? Нет. Франция породила нечто композитное и в то же время оригинальное, восхитительную смесь старых и стойких французских традиций с пленительными новшествами, пришедшими из-за гор; это смешение прослеживается во всех французских резиденциях, выстроенных перед 1535 или 1540 годом. Французские мастера — строители того времени — не занимались копированием. Они не занимались рабским воспроизведением итальянских образцов. Они комбинировали, приспособляли, прилаживали, переставляли. Они умело брали свое добро всюду, где находили его...

И точно так же — отказалась ли Франция от своего закоренелого пристрастия к художникам северных стран? Нет. Мы знаем, какое важное место в истории французского искусства XVI века занимает портрет. Мы знаем, сколькими «Клуэ» (так их называют по традиции) располагают наши музеи, как богаты ими даже наши жилища. Кто же он такой, Жанне Клуэ, чье имя первый раз появляется в счетах короля Франциска I в 1516 году? Фламандец. Кем был его соперник Корнель де Лион, которого можно было бы назвать также Корнелем из Гааги? Фламандцем. Все искусство французского портрета XVI столетия, такое своеобразное и особенное, такое выразительное, — это фламандская живопись, выполненная фламандцами и во фламандской манере. Любопытно отметить, что, когда при Карле IX и Генрихе III «итальянизм» начнет робко проникать в портретное искусство Франции, носителями его будут не итальянцы, а итальянизированные фламандцы<sup>39</sup>. Г-н Димье в своей «Истории портретной

<sup>41\*</sup> Об этом искусстве см.: *Dimier L. Le Primatice*. P., 1900.

живописи во Франции в XVI веке» пишет об этом с пониманием дела, но удивления не выражает<sup>42\*</sup>.

Иными словами: увлечение Италией, каким бы оно ни было сильным, само по себе не могло глубоко изменить характер искусства во Франции в начале Возрождения. И это увлечение, и то, что называют нашествием итальянского искусства, — все это могло проявиться только тогда, когда Возрождение античной культуры начало преобразовывать сознание людей, сделало их способными понимать итальянское искусство, ценить его, сделало его желанным, — или, вернее, не само это искусство, а итальянскую прививку к искусству времен Людовика XI и Карла VIII. Еще отметим, что движение на том бы и остановилось, если бы интеллектуальное Возрождение не оказало сильнейшего влияния и на религиозные представления людей XVI века. Реформация, контрреформация. Вот те могучие потоки, которые между 1540 и 1560 годами опрокинут старые художественные и иконографические традиции французского искусства XVI века. Именно это, а не итальянские войны и не проникновение итальянских художников во Францию, — вот что наряду с Возрождением античной культуры есть истинная причина одного из самых крупных переворотов, которые когда-либо происходили в искусствах во Франции.

И поэтому на ум постоянно приходит одно слово — как вывод из этого беглого очерка. Слияние. Совмещение. Одновременность и взаимосвязь великих господствующих потоков, несущихся сквозь этот век, такой бурный в своих проявлениях, такой жестокий, переменчивый и мятущийся, — и увлекающих его за собой. Синтез, если хотите. Однако этому ученому слову я предпочитаю другое. Это слово — жизнь. Жизнь, которая является единственным объектом истории. И человеческая жизнь тоже есть не что иное, как совмещение, слияние, сцепление, синтез; а также подвижность, постоянный взаимообмен между силами, что сталкиваются и вступают в схватку, и от их сшибок вспыхивает порой странное пламя. Чтобы почувствовать жизнь и понять ее во всей полноте, нельзя неподвижно засесть у себя дома и задуматься — не имея ни широкого горизонта, ни устремленных вдаль мыслей, словно фландрский ткач, законопатившийся на зиму в своей натопленной комнате с двойными рамами на окнах. Нужно двигаться по большому мировым дорогам, останавливаться надолго на главных перекрестках, чтобы почувствовать все ветры, дующие в разные стороны. Чтобы лучше понять искусство французского Возрождения, нужно не спеша пройти от скрупулезно тщательной и сосредоточенной Фландрии в драматичные, образованные и живописные итальянские государства.

<sup>42\*</sup> *Dimier L. Histoire de la peinture du portrait en France au XVI<sup>e</sup> siècle. P.; Bruxelles, 1924. P. 6 sqq, 32 sqq, 117 sqq.*

## УСТРЕМЛЕННОСТЬ К БОЖЕСТВЕННОМУ

Как умели в прежние времена питать умы юношества прекрасными рассказами, забыть которые невозможно! История была занимательной вереницей анекдотов и новелл, они хорошо укладывались в наши юные головы и до сих пор отвечают: «Здесь!», если их выкликнет наша старая память. Так, когда мы говорим «Реформация», — перед нашими глазами тут же оживает история Мартина Лютера, истового монаха. Обитель послала его в Рим; увидев тамошние ужасы и мерзкие гнусности, он вернулся оттуда с разбитым сердцем и тогда же решил порвать с Церковью.

Теперь мы стали более взыскательными, чем были прежде. Так что в наших школах, наверное, рассказывают юным двенадцатилетним лоботрясам, что Мартин Лютер, добравшись до Рима, вел себя там как примерный паломник<sup>43\*</sup>, бегая из церкви в церковь, чтобы получить поелику возможно побольше отпущений грехов; в общем, самый исправный монах на свете, исполненный почтения и даже восхищения перед папою и кардиналами, чья ученость и заслуги он долго еще восхвалял во весь голос — месяцы спустя после возвращения в Германию.

Упомянутая выше историйка иллюстрировала для всех такой абстрактный тезис: Реформация родилась из злоупотреблений Церкви. Откроем же книги, учебники, которые, гордясь недавней датой своего выхода в свет, пересказывают историю великой религиозной революции XVI века для образованной публики, — мы и там ничего иного не найдем. Реформация? — написано в этих книгах — ее прямо и непосредственно породил глубокий упадок Церкви. В конце XV — начале XVI века духовенство впало в ничтожество. Его религиозное образование было равно нулю. Его благочестие было показным и формальным. Его нравственность — ниже всякой критики. Именно из неудержимого стремления исправить это положение родилась Реформация во всей своей славе.

Так-вот, все это неверно, тысячу раз неверно. У меня нет времени подробно продемонстрировать здесь, насколько это утверждение ложно и, в сущности, абсурдно. У меня нет времени перебрать одну за другой биографии великих деятелей Реформации и разобрать их психологию, чтобы показать, до какой степени понятие «злоупотребление» было непричастно к формированию их мысли, к ее глубинам. Все же я могу поставить один вопрос. Каким образом злоупотребления сами по себе и в качестве таковых могли бы породить что-либо, кроме новых злоупотреблений? Говорят, они вызывают реакцию? Но вовсе не обязательно. На

<sup>43\*</sup> О путешествии Мартина Лютера в Рим см.: *Böhmer H. Luthers Romfahrt. Leipzig, 1914; Scheel O. Martin Luther. Tübingen, 1917. T. 2.*

протяжении многих веков существовали злоупотребления, которые не вызвали никакой реакции, ни в какой форме. Поскольку они не воспринимались как таковые. Само по себе злоупотребление не провоцирует никакой реакции. Оно вызывает реакцию только в том случае, если ощущается как злоупотребление, становится непереносимым для тех, кто его таковым ощутил. Условие порядка психологического. Однако за психологическим стоит социальное, и я лишний раз вынужден повторить то, что уже так часто говорил, читая эти лекции: «Давайте искать среди явлений социального порядка — и обрящем. Вглядимся в общество того времени — и мы поймем».

Взгляните на весь этот класс, поднимающийся, процветающий, увеличивающийся в числе, богатеющий, — на всех этих буржуа, которые лезут высоко, до самой верхушки государственного управления. Посмотрите на них, послушайте их: причина кроется именно в них. Реформация не родилась в полном вооружении, она не хлынула, кипя жизнью и страстью, из сердца одного человека, как бы он ни был глубок и широк. Голос Лютера, если бы он прозвучал на две сотни лет раньше, поднялся бы к небу, как струя воды, которая сильна и упруга у основания, но понемногу теряет силу, ослабляет свой порыв и вдрог, разбившись, рассыпается дождем разрозненных капель. Голос Лютера в 1517, в 1520 году, подобно чудовищному эхо, заполнил весь мир потому, что тысячи и тысячи человеческих голосов, которые ожидали только сигнала, отозвались на него и понесли голос Лютера с собой и в себе — сделали его таким звучным, таким неистовым и мощным, что он, подобно библейской трубе, поверг стены Иерихона.

Это сказал Мишле, и надо ли повторяться — лучше не скажешь<sup>44\*</sup>: «Великая слава Лютера, его могучая личность, его несокрушимая стойкость воссияли на всю Европу, и Реформация была вдохновлена ими. Она родилась повсюду — сама по себе...» Сама по себе — допустим; однако уточним: она была рождена веком. Она была дочерью определенного общества. Она была — по своей сути — в буржуазном веке буржуазным способом понимать и чувствовать религию.

## I

Вглядимся и проанализируем.

Мы — в 1470, даже в 1490 году, на пороге нового века. Что такое религия в такой стране, как Франция, для таких людей, как французы того времени? Прежде всего, следует ли говорить «религия»? Нет. Для постороннего взгляда во Франции в те вре-

<sup>44\*</sup> *Michelet J. Histoire de France. P., 1855. Vol. 7: La Renaissance. Liv. 1, pt. 2, ch. 7.*

мена была, конечно, только одна религия. Ну, а если посмотреть изнутри, из глубины человеческих сердец?

Для огромного большинства французов того времени религия — это обширная система обычаев, обрядов, установлений и правил, церемоний и ритуалов, которые непосредственно руководили всем их существованием. Я не говорю «поучений», «наставлений», ибо в действительности кто мог наставлять простых верующих, кто наставлял их в вере? Выкинем из головы нынешнюю действительность. В нынешней действительности священник наставляет детей в вере с самых юных лет; священник вдальбливает им в голову катехизис систематически и методически. А в те времена?

Светское духовенство — мы знаем, что оно собою представляло. Наверху — полуаристократия бенефициантов<sup>40</sup>, а под нею — убогий пролетариат приходских священников<sup>45\*</sup>; бедные, лишь слегка обтесавшиеся крестьяне, которые ходили в школу разве что для того, чтобы сносить там побои деревенского священника, научившиеся с грехом пополам служить мессу и читать или твердить молитвы из требника. Чему мог научить, в чем мог наставить этот несчастный невежда, который сам ничего не знал? В те времена не было семинарий для священников.

По-настоящему наставлять в вере могли только монахи. Они делали это неплохо в городах, где в Великий и Рождественский посты избранные и хорошо оплаченные проповедники вдоволь учили народ, собирая его для бесед. Но в сельской местности, в малых городах? Время от времени проходил какой-нибудь монах. По просьбе кюре он читал проповедь, потом шел дальше своей дорогой. Разрозненные, от случая к случаю, убогие наставления. От одного посещения до другого все забывалось. А постоянно существовал каркас обрядов и ритуалов.

Религиозность заключалась в том, чтобы посещать мессу. По возможности ежедневно. Входя в церковь и выходя из нее, неукоснительно бросать взгляд на большого святого Христофора, который, стоя у врат, охранял верующих от внезапной смерти. Религиозность заключалась в том, чтобы, находясь в церкви, читать одну за другою молитвы, перебирать четки, пока священник совершает богослужение. Это значило строго поститься в Великий пост, в «*Quatre-Temps*» [Четыре времени года]\*, в другие постные дни; не работать по воскресеньям и в дни праздников; молиться ежедневно; два или три раза в жизни совершить паломничество, близкое или далекое: лучше всего наперекор всем стихиям добраться до Святой Земли — не страшась ни пиратов,

<sup>45\*</sup> Полезные сведения об этом см.: *Maulde la Claviere R. de Op. cit. P. 159 sqq; Vassière P. de. Les curés de Campagne // Revue du Clergé de France. 1923.*

\* Так назывались установленные католической церковью трехдневные посты на первой неделе каждого времени года.



ни турок, ни штормов. По возвращении — повторить паломничество в миниатюре, пройдя Крестным путем: как раз тогда этот благочестивый обычай начал распространяться<sup>41</sup>. Именно в этом заключалась религия для большинства людей.

Я затрудняюсь сказать: «Все сводилось только к этому». Ибо если обряды, обычаи, ритуалы занимают в жизни так много места; когда все действия и поступки обыденной жизни, даже те, что представляются нам сегодня наиболее далекими от религии — например, составить завещание или выдержать экзамен на степень доктора, — когда все эти акты, от рождения человека до его смерти, остаются под постоянным контролем религии и совершаются, так сказать, под знаком креста; если Церковь регулирует до мельчайших подробностей все, что относится к работе, отдыху, питанию, образу жизни людей, — так же как за отсутствием часов колокола церквей и монастырей, отзванивая молитвы и службы, задают ритм ежедневному существованию этих людей; наконец, если церковь, находясь в самом центре прихода, является средоточием всех верующих в часы празднества, радости и опасности и если людское общество каждое воскресенье, каждый праздник встречается там в полном сборе, расположившись в порядке, предписанном иерархией: священнослужители в полном составе; местный сеньор со своими собаками, с женой и господами детьми на господской скамье — выше всех; затем старшины, застывшие в своем крестьянском достоинстве, — сразу за сеньором; затем — зажиточные крестьяне, затем вперемешку всякая мелкота: слуги, служанки, дети, не обходится и без домашних животных, чувствующих себя внутри церкви как дома, так же как и все обитатели деревни. Когда Церковь, когда религия имеет на общество столь сильное и многообразное влияние, то, по правде говоря, бросить пренебрежительно: «Это были всего лишь обряды» — несерьезно. Скажем коротко: вся жизнь была пронизана обрядами. Или сделаем еще лучше.

Вот небольшая книга<sup>46\*</sup>. Это дневник очень скромного буржуа из Франш-Конте; мы располагаем тысячами подобных документов.

Этого буржуа зовут Жак Корделье. Он живет в Клерво, в Юре. Это, конечно, не духовное лицо. Это мирянин, и он целиком погружен в жизнь своей эпохи. Он женат, он отец семейства. Он торгует кожами. Он человек ничем не примечательный, отнюдь не исключительный. Читаем:

«Ежедневные молитвы, которые творит Жак Корделье из Клерваля, нотариус, перед тем, как подняться с постели».

Прежде всего, осеняя себя крестным знаменем, он произносит: «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen» [Во имя

<sup>46\*</sup> Longin E. Le Manuscrit de Jacques Cordelier de Clairvaux (1570–1637) // Mémoires de la Société d'Emulation du Jura. 1898. P. 283.

Отца и Сына и Святого Духа, аминь], затем говорит: «Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende» [Приди, Святой Дух, наполни верные Тебе сердца и зажги в них огонь любви к Тебе] — и такой стих: «Qui per diversitatem» [Кто по различию] и т. д.

Затем он произносит: «Pater noster» [Отче наш] ad longum [до конца, полностью]; «Ave Maria» [Аве Мария], тоже ad longum; «Credo in unum Deum» [Верую во единого Бога], тоже ad longum; «Benedicite» [Благословите] тоже; «Agimus tibi gratias» [Благодарим Тебя], тоже; «Confiteor» [Исповедую], ad longum; «Misereatur» [Да смилуется], тоже; «Ave, salus mundi» [Радуйся, спасение мира], тоже; «Corpus Domini Nostri» [Тело Господа нашего], тоже; «In manus tuas Domine, commendo» [Отче! В руки Твои предаю], тоже; «Dominus pars hereditatis» [Господь естъ часть наследия], тоже; «Salve Regina» [Радуйся, Царица], ad longum; Евангелие от святого Иоанна: «In principio erat» [В начале было]; Евангелие от святого Луки: «Missus est angelus» [Послан был ангел]; Евангелие от святого Матфея: «Cum natus esset» [Когда же (Иисус.—Л. Ф.) родился]; Евангелие от святого Марка: «Recumbentibus» [...возлежавшим]; Псалом Давида: «Miserere mei, Deus secundum» [Помилуй меня, Боже, по великой...]; «De Profundis» [Из бездны], до конца вместе с «Oremus Fidelium» [Помолимся, верные]; «Stabat Mater» [Стояла Матерь], ad longum; Поклонение Кресту: «O Cruce ave» [О славыся, Крест]. Встав с постели, осенив себя крестным знамением, он произносит: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, In nomine Domini nostri Jesus Christi crucifixi, regat, protegat, custodiat et ad Vitam perducat aeternam, amen. Abernuntio tibi, Satanas et conjungo tibi, Deus, Et verbum caro factum est et habitat in nobis» [Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Во имя Господа нашего Иисуса Христа распятого, я встаю. Он меня благословляет, управляет мною, защищает меня, бережет и ведет к вечной жизни, аминь. Отвергаю тебя, Сатана, и приклоняюсь к Тебе, Боже. Молитва сотворена и пребывает в нас].

Затем, далее: «Dignare, Domine, die isto sine peccato nos» [Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам], ad longum. И затем, иногда (но не каждый день): «Pange, lingua, gloriosi» [Восславь, язык, доблестных]; гимн «Magister cum discipulis» [Учитель и его ученики]; «Ave maris stella» [О славыся, звезда морей]; молитву Святой Троице; плач Иеремии, начинающийся словами: «Recordare, Domine, quid accederit nobis» [Вспомни, Господи, что над нами свершилось].

Вот документ, который, конечно же, переносит нас в действительность, достаточно далекую от нынешней, и красноречиво повествует нас о том, чем на самом деле была в XVI веке религия для среднего человека того времени.

## II

Средний человек. Но любая средняя величина находится между двумя крайними, верхней и нижней, не так ли? Давайте посмотрим.

Внизу? Это масса бедняков, обездоленных, отсталых, невежественных, тех, что много работают и страдают, кого едва отличают от скотины и кто сам зачастую испытывает больше братских чувств, живя среди скотины, чем при общении с себе подобными. Внизу — это вилланы, презируемые и нелепые, вызывающие смех, неотесанные и неуклюжие в своем поведении и повадках. Они тоже ходят в церковь. Все ходит в церковь — и разве там они не у себя дома, как все люди? Не чувствуют ли они себя там тем более дома оттого, что, когда переступают порог дома Господня, их охватывает дух древнего христианского эгалитаризма, древний дух крестьянских марсельез всех времен: «Когда Адам пахал, когда Ева пряла — кто был сеньором?»<sup>42</sup>. «Мы — люди, такие же, как они» — и перед Богом, если не перед миром, значим столько же, сколько и любой другой...

Они стоят в церкви, бедные «Жаки»<sup>43</sup>, в одежде, полинявшей от многих стирок. Они стоят там, еще усталые после вчерашней тяжкой работы, и пока идет богослужение, пока дым ладана поднимается к Богу и песнопения заполняют внутренность церкви, прерываемые долгими паузами, когда слышно только, как священники бормочут латинские слова, — какие смутные грезы медленно витают в тяжелых головах этих людей с грубыми чертами лица?

Никаких ясных мыслей. Над чем стали бы они думать? Что могло бы заполнить пустоту их раздумий? Служба идет на латыни. Молитвы для них — не более чем формулы, заклинания, которых они не понимают. Их вера? Никто и никогда их не учил, не наставлял в вере. Они здесь, в церкви, потому, что таков обычай, и потому, что полагается быть здесь. Они осеняют себя крестным знаменем, потому что полагается креститься, потому что все крестятся и потому что с малолетства они видели, как крестятся. И они становятся на колени и поднимаются с колен, слушают краем уха песнопения и молитвы, рассеянно, с отсутствующим взглядом, и все их мысли блуждают где-то...

Где? Об этом нам говорит Мишле<sup>47\*</sup>. В полях. В лесах. В пустошах. У дуба Фей, у прохладного родника, куда ночью при свете полной луны приходят пить сказочные драконы, покрытые медной чешуей, осыпанной жемчужными каплями. В глубине сердец они хранят темную, упорную и непокорную память о культах, которые считаются заглохшими, — дремлющее язычество, продолжающее в них жить. Могучие потоки народной рели-

<sup>47\*</sup> *Michelet J. Op. cit. Introduction.*

гии природных сил, стихийного пантеизма текут через все средневековье — не будем об этом забывать — и через все Возрождение. Людей, которые дали этой религии соблазнить себя, увлечь, утянуть невесту куда, — таких людей христианство обогатило, наврное, одним только представлением о Дьяволе — этом противобогге негодяев. И вот внезапно толпы инаковерующих движутся куда глаза глядят, а власти их преследуют, хватают, пытаются, убивают. Потом — полная тишина, а немного погодя и чуть подальше — поднимаются новые толпы...<sup>44</sup>

Часто из этих взбаламученных вод всплывает древняя коммунистическая первооснова: древний деревенский коммунизм крестьянина, отстаивающего свое право на воду и на дерево — на блага, которые должны принадлежать всем: на рыбу речную и дичь полевую, на лес — с древесиной, пчелами, желудями, на тварей лесных — светлой масти и темной. И мы можем представить себе этих неповоротливых крестьян: вот они собираются для тайных разговоров или тяжело, неловко пляшут, облапив друг друга, как на прекрасных гравюрах старых немецких мастеров, современников социальных схваток начала века. От неуклюжей медлительности этих примитивных существ исходит нечто тревожное, подозрительное, таинственное, внушающее страх... Несметное множество бунтов, по большей части остающихся безвестными, — на обочине цивилизации, которой до них нет дела, которая оставляет их за своей чертой. Но порою яростная масса, поднятая во весь рост взрывом бунта, схватывается лицом к лицу с миром, который ее перемальвает и отшвыривает.

Таков нижний экстремум. Есть и верхний.

Есть ученый мир или пользующийся репутацией ученого — тесный закрытый мир школ, тех, кто читает, умея читать и имея что читать: рукописи в монастырях и книги, стоящие на полках. Тех, кто много спорит и препирается; тех, кто питает свою веру доводами догматического и богословского характера...

Чем же они занимаются — как раз накануне Реформации? Мы это прекрасно знаем<sup>45\*</sup>. Их почти всех увлекло одно учение: оккамизм, плод ума критического, смелого и сильного, который, яростно ополчившись против интеллектуализма святого Фомы Аквинского, категорически отверг стремление доминиканского богослова дать рациональное истолкование вере — и с неодолимой силой набрасывается на любые попытки томистов согласовать разум и веру; оккамизм сводит обязанности христианина к соблюдению обрядов и исполнению ритуалов, а всю христианскую религию — к совокупности утверждений, в кото-

<sup>44\*</sup> В особенности после появления прекрасной книги: *Renaudet A. Pré-Réforme...* (об оккамизме см. с. 61 и след.).

рые полагается верить без размышлений и без любви: рассудок подчиняется букве, а человек, личность — духовенству...

Конечно, доктрина Оккама сама по себе не была ни плоской, ни заурядной. Она могла, она смогла бы в других условиях стать плодотворной. Она сводилась к тому, что запрещала людям входить в область трансцендентных спекуляций и метафизики — поскольку сфера эта непостижима для людей; в сферу откровения, где разум человеческий оказывается бессильным; следовательно, это сфера авторитета, обязывающего признавать непрекаемую истинность догмы. Однако критическая концепция Оккама не запрещает человеку опытное и позитивное изучение явлений. Поэтому она могла бы в конце XIV — начале XV столетия и позднее подвинуть умы на то раздвоение между Верой и Разумом, которое знаменует возникновение нового, уже современного сознания: Разуму — управление жизнью нынешней, здешней, земной, попечение о правосудии, мире, войне, труде и благосостоянии; вере — культ вечных упований, величие откровений, обещание грядущей жизни.

Окказимизм мог бы. Теоретически. Ибо подходящее время еще не пришло. Идея экспериментальной науки была слишком чуждой людям XVI века, которые не располагали ни соответствующими методами, ни инструментами. Изгнанные Оккамом из царства метафизики, эти люди были неспособны устроить свое земное царство. Они пренебрегали наблюдениями даже над самой близкой и непосредственной психологической реальностью; они отворачивались от самонаблюдения, чтобы затвориться в самом абстрактном и бесплодном исследовании формальной логики и силлогистического метода рассуждения. Так построили они науку, состоящую из одних слов, пустую и бесполезную, — бессмыслицу, против которой в начале XVI века дружно восстают все гуманисты, все поборники нового.

Это чрезвычайно важно: совпадение устремлений мелкого духовенства, бездумного и сводившего религию к комплексу обрядов, и ученого духовенства, докторов и богословов, которые тоже замкнулись (из высоких, конечно, побуждений, но непоколебимо, как подобает логикам) в буквальном и смиренном соблюдении указаний Церкви. Это очень важно, потому что рядом с ними жила и противостояла им и жаждала собственного Бога и собственной веры масса верующих, носителей нового сознания.

### III

Не понимать. Запретить себе понимание. Запретить своему разуму и сердцу кощунственную дерзость — желание жить, желание понимать учение. Считать учение непознаваемым для человека. Проповедовать вместе с Оккамом «то, что мы знаем здесь, на Земле, не есть Бог». Преклоняться и верить, не рассуждая и без любви, в авторитарные утверждения. Выполнять,

не вкладывая в это никакого чувства, совершенно формальные обряды, по-начетнически, буквально следуя ритуалу: таков был закон, который духовенство всего западного мира предлагало верующим под влиянием терминистического номинализма<sup>45</sup> и апологетики Оккама. Ну, а верующие?

Среди них было много буржуа. Люди с разумом ясным, логическим и точным. Люди, способные на инициативу, на риск, на дерзновение. Люди, образованные и знающие цену образованию, всю освободительную силу человеческого знания. Добавим — люди, уверенные в себе, гордящиеся собой, прочно сидящие на своих землях, в своих домах, на своих сундуках, полных золота и серебра; они, естественно, горячо желали заменить старые авторитеты своим молодым авторитетом и объявить себя перед лицом всего мира теми, кем они были: на самом деле: любимицами и хозяевами столетия.

Религию чисто церковную и формалистическую, которую им предлагали; религию авторитета, послушания и непонимания — как могли они принять ее без неудовольствия вначале, без бунта затем? Однако, скажут нам, чем это доказывается? Где документы? Откуда Вы взяли это резкое несоответствие между глубоким религиозным чувством целой эпохи, целого класса и теологической доктриной, господствующей и торжествующей в эту же эпоху?

Я отвечу просто: посмотрите на произведения искусства — и взгляните на монастыри. Монастыри? Нам постоянно твердят, что христианство накануне Реформации — при последнем издыхании, институт монастырей в упадке<sup>49\*</sup>. Но сила монастырей, их светская сила — их привлекательность и престиж — были ли они утрачены? Да полно! Кельи монастырей набиты горячо верующими христианами, избранными христианами, которые уходят от мира, устав и разочаровавшись, подальше от церквей, в которых отсутствует вера, от школ, где нет сердечного чувства, и идут искать пищи для духа, утешения для сердца в мирной тишине обители. Мистицизм и аскетизм — закономерная и неизбежная реакция, реванш, к которому стремятся те, кто неспособен удовлетвориться жестким и бесплодным учением оккаизма, выродившимся в терминизм. Безусловно, в этом мистицизме была немалая доля уныния и отречения. Туда входило и ощущение того, что зло слишком велико, а мир слишком испорчен, чтобы живущий мог праведно жить и бороться в миру. Это правда. Но мы чувствуем и нечто другое в том мощном потоке мистицизма, который захватывает и увлекает за собой столько избранных душ — даже после того, как разразилась Реформация: упомянем из них только Маргариту Наваррскую, сестру короля Франциска.

<sup>49\*</sup> Ренде очень ярко описал весьма многочисленные и смелые попытки монастырских реформ, которые следовали во Франции одна за другой в первой четверти XVI века (см.: *Ibid.*).

В их мистицизме ощущается как бы протест всех тех, кого не устраивала религиозная позиция номиналистов, пассивное приятие слов, произносимых священником, бесстрастное исполнение обрядов и предписаний. И это дает нам очень много для понимания истинного духа того времени.

Но есть и другое зеркало, еще более выразительное, поскольку отражает оно не немногих избранных — оно принадлежит всем. Это искусство, религиозное искусство XV века, живописное, эмоциональное и человеческое, которое так хорошо описывает Эмиль Маль в своей прекрасной книге<sup>50\*</sup>. Это искусство показывает, насколько богословие в те времена отстает от века; насколько этот век свободнее, человечнее, современнее, чем можно было бы представить, читая философские и схоластические трактаты того времени. Лефевр д'Этапль с его тяжелой, нескладной, варварской еще латынью, суровый и трудный Лефевр, живший одновременно (или почти одновременно) с Леонардо да Винчи. Он — такого сопоставления дат никто еще не делал — современник нашего большого скульптора Мишеля Колomba... Порой удивляются быстрому распространению Реформации в народной среде. Но непременно нужно иметь в виду, что добрый французский народ к тому времени, когда книжники, ученые, проповедники, первые пропагандисты Реформации вознамерились объявить о новой религии, более отвечающей их потребностям, более интимной, больше говорящей их сердцу, — народ уже давным-давно был приучен исполненными человеческого чувства «Богородицами», горестными «Pietà», трагическими «Ессе Номо»<sup>46</sup> [Се человек]\* — приучен к религии, лишенной жреческой строгости, к религии, полной сострадания, всегда обращенной непосредственно к сердцу. И когда позднее реформаты уничтожат эти изображения, они будут не только повинны в вандализме: наверное, они проявят еще и в некотором смысле неблагодарность по отношению к искусству, втайне проторившему им путь...

Я говорю: народ. Под этим словом я, конечно, подразумеваю буржуазию. Посетите наш прекрасный собор в Бурже. Ничто не перегораживает и не дробит его высокий строгий неф XIII века, окруженный приделами, из коих одни XIII века, другие XV. Вы будете невольно поражены — настолько разителен контраст между строгими, простыми и голыми приделами XIII века и приделами XV века, такими интимными, смеющимися, такими приятными для глаза. Хочется сказать не «приделы», а «комнаты», где на картинах, писанных тогда же, в XV веке, юная элегантная дева Мария, склонившись, очень любезно принимает ан-

<sup>50\*</sup> *Mâle E. Op. cit.*

\* Так назывались изображения страдающего Христа с терновым венцом на голове.

гела Благовещения. Все приделы семей Фраде, Бокеров, Труссо, Жака Кёра, Копенов, Леруа, Тюллье, Алигре носят имена старинных буржуазных семейств, которые заказывали убранство, витражи, алтари. Каждый из этих приделов дает нам неоспоримое и подлинное доказательство того, насколько человечно, прочувствованно и взволнованно воспринимали свою религию и жили своею верой (посреди царства термиристского номинализма, посреди торжества окканизма) представители просвещенной буржуазии, богатые купцы и просвещенные судейские.

#### IV

Все же — бежать от мира... Укрыться в голых стенах монастырской кельи. Когда приходит вечер и заканчиваются труды — погружаться в учение, требующее отречения и умерщвления плоти. Или в темном приделе церкви размышлять о мучительных страданиях Христа, у которого холодный пот, смешанный с кровью, струится из-под тернового венца: вряд ли это могло удовлетворить людей мужественных и страстных и оправдать их в собственных глазах. Громкий клич радости и надежды заполнил весь мир, возрожденный к жизни Миром. Время безмолвного уединения в запертых кельях миновало. Пришло время засучить рукава, как Брат Жан, и приняться за дело — от всего сердца.

И вот, когда началась первая четверть века; когда буржуазия исполнилась уверенности в своей силе и своем мастерстве; когда она своим золотом, своими кредитами поставила — руками Фуггеров — такого императора, как Карл V, и такого папу, как Лев X<sup>47</sup>; когда книгопечатание стало служить ее вкусам, наклонностям, профессиональным интересам — буржуазия поднялась и принялась за дело. Духовенство не могло противопоставить ее порыву почти ничего. Духовенство? Пусть убирается прочь! Пусть оно посторонится и даст дорогу буржуа, гордому своим здравым смыслом, уверенному в своих знаниях, буржуа, твердо стоящему на ногах и стойкому в убеждениях.

«Я молю Бога за тебя, брат мой», — бормочет монах мирянину, сыну своего века. «Пока ты работаешь руками и головой, пока ты тяжко трудишься, чтобы прокормить свою семью, — я в моем монастыре, склонившись перед Богом, искупаю грехи твои, грешник...»

Мысль вполне средневековая, человек нового времени ее гордо отвергает. Зачем вмешивается этот монах, этот человек, этот жалкий человек, который сам подвержен греху? Да пусть он спасается сам, с него довольно! Спасение — личное дело каждого человека. Каждый лицом к лицу со своим Богом по-своему рассчитывается с ним в конце жизни, как добропорядочный торговец в конце месяца, в платежный день, уплатит то, что обещал своею подписью, — сам без поручителей.



Каждый раз, когда я пытаюсь представить себе это состояние духа, перед моими глазами предстает одна сцена. В этой сцене оживает наивный рассказ, сохранившийся в передаче неизвестных и анонимных свидетелей<sup>51\*</sup>.

Герой этой сцены — Гийом Фарель, маленький тощий человек, весь — комок нервов, горец из Гапенсе, бесконечно выносливый физически; его жизнь не что иное, как поразительный приключенческий роман: его бросало из Гапа в Мо, из Мо в Гап, в Базель, в Страсбург, в Метц, откуда он бежал в один прекрасный день под видом прокаженного в тележке, набитой настоящими прокаженными; затем в Монбельяр, в Невшатель, в Лозанну, в Женеву, всюду, где сражаются, где схватились духовенство и поборники нового... Этот маленький рыжий человек с пронзительным взглядом, с упрямым лбом, сухим и острым носом, с широким ртом и длинной рыжей бородкой, загнутой, как лезвие алебарды, — вот самый лучший, самый достоверный человеческий документ французского протестантизма докальвиновского периода.

Этот человек — мирянин, чистой воды мирянин. Он не вступил ни в какой орден, не имеет духовного сана. Он вовсе не перешел, подобно Лютеру и Цвингли, от служения католической церкви к реформистской проповеди<sup>44</sup>. Он из мирянина становится священником — и проповедует с таким блеском, с такой властью и страстью! Впрочем, случалось порой, что сами его сторонники немного удивлялись и слегка возмущались.

Итак, мы в Домбрессоне, в глубине прекрасной долины Рюц, которая выходит к Невшателю узкими теснинами Сейона, но за Виланженом, где стоит старый замок, она расширяется и покрывается веселой зеленью.

Мы в Домбрессоне. Нынче — воскресенье, 19 февраля 1531 года, зимнее воскресенье, само собой — холодное и снежное; но ничто не могло остановить Фареля в его пропагандистских турне. Священник, мессир Гийом Гайон, спокойно служит мессу. Внезапно входят неизвестные. Одни из них прибыли из Бьенна, другие из Невшателя. Среди них Фарель; он некоторое время слушает, потом резко встает и прерывает юре: «Жалкий человек! Соболаговолите прекратить поношение имени Иисуса Христа!» Старый юре останавливается, озадаченный: «Поносить? Поистине я не знал, что делаю это, ибо если бы знал, то не делал бы!» Фарель выступает вперед: «Дайте мне Вашу книгу, и я укажу Вам, как Вы всецело отрекаетесь от смерти и страстей Господа нашего, который принес себя за них в жертву один раз, и нет нужды, чтобы он делал это множество раз!» И Фарель берет «книгу» священника и с текстом в руках

<sup>51\*</sup> Рассказ можно найти в ценнейшем сборнике: Documents inédits sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel // Ed. A. Piaget. Neuchâtel, 1909. Doc. 52. P. 134 sqq.

демонстрирует, как тот «кощунствовал». Настолько убедительно, что кюре, признав себя заблуждавшимся, публично объявляет перед своими прихожанами, что мэтр Фарель был прав... Автор рассказа, которому я следую без отклонений, продолжает: «И тогда кюре пошел снимать с себя облачение, каюсь в том, что жил дурно и дурно служил, повторяя эти слова и прося прощения у Господа Бога, обещая Богу, что больше не будет служить мессу. И во славу Господа Бога и по его воле тогда же были повержены и сожжены идола названного выше Домбрессона».

Поистине символичная сцена, когда мирянин, взяв в собственные руки священную книгу с алтаря, комментирует ее, объясняет ее народу, толкует по своему разумению — и принуждает старого священника, побежденного и убежденного им, отречься от своей веры, отказаться от мессы. «И тогда... пошел снимать с себя облачение, каюсь, что жил дурно...»

Сцена поистине символичная, ибо Гийом Фарель в Домбрессоне, так же как и в прочих местах, не представляет никого, кроме себя самого. Он всего лишь человек, индивид, каким бы он ни был горячим, решительным, энергичным. За ним стоит целый класс общества, который тоже совершает символический жест и своими могучими и разумными руками отбирает прямо в алтаре у озадаченного священника книгу, которую тот читает вслух, но не истолковывает...

## V

Однако же две группы людей держатся в стороне.

С одного боку — в своей сорбоннской башне, хорошо укрытые, хорошо защищенные Ианотус де Брагмардо, Тубал Олоферн и иже с ними, жалкая, смешная и свирепая шайка сорбоннистов<sup>49</sup>. Несчастные педанты, затворившиеся в своей буквоедской науке и забавляющиеся ею, никуда из нее не вылезая. Наверное, это гротеск? Но они, безусловно, страшны, ибо они воплощают контрреформацию; и, скрежеща зубами, они уже поглядывают в сторону палача.

И напротив них, на другом полюсе, — немая масса крестьян. Что она думает? Однажды оказалось возможным узнать об этом — во время короткого трагического кризиса. Когда Лютер поднялся над Германией и издал свой громкий клич «Свобода!», по крестьянским массам словно прошло дуновение ветра, парии, зависимые, обездоленные, которых все эксплуатировали, над которыми все потешались, — внезапный порыв поднял их на ноги. Их старинный коммунизм, разбуженный всеобщим оживлением сердец и умов, их древний крестьянский коммунизм с яростью выплеснулся наружу. Произошел ряд бунтов, бессильных и беспредельных, которые потрясли всю Германию и нагнали страху на всех...

И вот пришла Реформация, ранняя Реформация, буржуазная и стихийная Реформация 1520—1530 годов — она затронула оба эти полюса. Наверху — яростное сопротивление богословов. Внизу — волнующаяся пучина социальных революций. Внезапная остановка. Жестокий кризис. Что делать?

Что было сделано, мы знаем. С крестьянином, с незванным, как смерть на свадьбе, страшилищем, чьи большие белые зубы, сверкающие на чумазом лице, вызывали ужас, — с ним справились быстро. Сеньоры тешили душу, убивали с высоты своих коней, надежно укрытых неуязвимой броней. И Лютер возрадовался этому. И великая масса мужланов снова стала немой. Она продолжала молча присутствовать — телом, не душой — на проповедях и мессах. А душой? Тысяча, десять тысяч, сто тысяч костров, разоженных по всей Европе между 1530 и 1600 годом, говорят нам, куда шла крестьянская масса. Ибо на каждом из этих костров горели колдуны и колдуньи, которых обезумевшие и мрачные судьи заставляли расплачиваться за воображаемые преступления и слишком явное инакомыслие<sup>50</sup>.

Что же до ученых богословов, которые высмеивали Реформацию и злобно объявляли ее предтечей социальной революции или иронично спрашивали у новоиспеченных священников: «Каковы ваши звания? И откуда взялись ваши полномочия?» — ученые богословы восторжествовали очень быстро. Они восторжествовали не только потому, что сплотили против Реформации силы обновленного и ставшего наступательным католицизма, но и потому, что своим сопротивлением они вынудили Реформацию стать Церковью, установить свои рубежи, очертить границы — это сделал отчасти Лютер, а в особенности Кальвин; Кальвин, дабы провести черту, преступить которую нельзя, отметил ее вехами казней — от костра Сервета<sup>51</sup> до плахи Бертелье<sup>52</sup>.

Кровавый выкидыш? Да, но только по видимости. Да, реформаты сожгли Мигеля Сервета — что из того? Все равно неизбежным порождением Реформации была терпимость. Пускай реформаты остались за тесными догмами своей жесткой ортодоксии. Тем не менее свободная критика тоже была неминуемым порождением Реформации. Об этом было очень хорошо сказано, и уже очень давно: сказал это Прудон в отличном отрывке своей книги «Социальная революция, продемонстрированная переворотом второго декабря»<sup>52\*</sup>.

«Когда Лютер отверг авторитет Римской церкви и вместе с ним все католическое устройство и в вопросах веры установил тот принцип, что каждый христианин имеет право читать Библию и толковать ее в соответствии с разумением, которое Бог вложил в него; когда он таким образом секуляризовал богосло-

<sup>52\*</sup> Proudhon P. J. La Révolution sociale démontrée par le coup d'état du deux décembre. P., 1852. P. 46—47.

вие — какой вывод можно было сделать из этой оглушительной декларации? Что Римская церковь, которая до той поры была госпожою и наставницей христиан, заблудилась в святом учении и следует созвать собор истинно верующих, которые, занявшись изучением евангельского предания, восстановили бы чистоту и целостность учения (в чем реформированная церковь нуждается более всего) и, чтобы проповедовать, учредили новые кафедры.

Таково было мнение самого Лютера, Меланхтона, Кальвина, Беза, всех преданных вере и ученых людей, примкнувших к Реформации. Будущее показало, в чем было их заблуждение. После того как под именем „свободного изучения и истолкования“ была провозглашена суверенность народа в вопросах веры, так же как в вопросах философских, единое вероисповедание стало столь же невозможным, как единая философская система. Тщетными были попытки посредством самых единодушных и торжественных деклараций свести протестантские идеи воедино: нельзя было во имя свободы критики обуздать критику; отрицание должно было идти до бесконечности, и все попытки остановить его были заранее обречены, как отступление от принципа, узурпация прав, принадлежащих грядущим поколениям, как акт ретроградный. Поэтому чем больше проходило лет, тем дальше расходились вероучения, множились Церкви. И именно в этом заключались сила и истина Реформации; этим подтверждалось ее царственное право, в этом заключалась ее жизнеспособность. Реформация была разрушающим ферментом, благодаря которому народы смогли незаметным образом перейти от морали, основанной на страхе, к морали, основанной на свободе: Боссюэ, который ставил в вину протестантским церквям их многообразие, и протестантские священники, которые этого устыдились, — все они тем самым показали, как мало они понимали дух и размах этой великой революции.

Сказать лучше невозможно и сейчас. Нет, критическому духу еще не воздали должное. Люди, для которых совершалась Реформация, люди, которые совершили ее, — они, конечно, могли, утомившись к концу первого дня своего творения, остановиться, прилечь в уголке своего старого жилища, перетащить туда несколько воспоминаний, кое-что из старой мебели и устроить себе там новое обиталище на прежний лад, такое же тесное и укромное. Это была всего лишь остановка, временный привал. Это случилось даже не со всеми. Слишком много пыла, слишком много было в них кипучей энергии и революционной доблести. Им нужно было выполнить свой долг до конца. Им потребовалось на это еще по крайней мере три столетия. Но что лежит у истоков этого грандиозного дружественного развития мысли философской, мысли религиозной? Великий век, о котором мы можем сказать теперь с возросшей силой убежденности, повторив прекрасный, родной нам по духу клич Мишле: «Век шестнадцатый — это герой!»

# ФОЛЬКЛОР И ФОЛЬКЛОРИСТЫ

## ПРОБЛЕМЫ И ИТОГИ

Тогда во Франции еще не увлекались изучением этнографии культурных народов — она оставалась уделом небольшого числа любителей; дело это редко принималось всерьез представителями старых ученых корпораций; этнографию культурных народов легко было принять за одно из тех легкомысленных занятий, которые помогают «провинциалам» в их борьбе со скукой (какую парижане благосклонно им приписывают). Но уже тогда — я хочу сказать, в первый же год своего существования — «Анналы экономической и социальной истории» обращали внимание своих читателей на такие проблемы, как городской дом, сельскохозяйственный инвентарь или уменьшение размеров земельных участков; уже тогда журнал просил чешского историка В. Черны прислать сообщение о деятельности Чешского сельскохозяйственного музея, основанного в 1918 году, — незадолго до того, как Марк Блок, вернувшись из Норвегии, написал о достоинствах и наглядности великолепных музеев под открытым небом, которые он имел возможность посетить в Скандинавии <sup>1\*</sup>, а вскоре мы пригласили доктора Поля Риве (наделив его символическим званием, смысл которого он, так же как и мы, очень хотел бы понять) занять место среди членов нашего Руководящего комитета, в то время как при Энциклопедии создавалась — при активном и мудром участии Андре Вараньяка — Комиссия по коллективным исследованиям с ее умеренно-подробными анкетами <sup>2\*</sup>. Вот что дает нам сегодня моральное право с интересом следить за успехами научной дисциплины, современный расцвет которой мы предвидели уже в 1929 году и зарезервировали ей место в Большом совете исторических наук, среди членов «обширного содружества», о чем в 1926 году говорил бельгийский историк Демаре <sup>3\*</sup>; напомним, что, помимо истории, археологии, географии, топонимики, филологии и лингвистики, он назвал также «фольклор и историю права». С тех пор в наших национальных музеях появился новый «раздел» — народного искусства, ремесел и обычаев; два музея, наследники прежнего Музея этнографии Трокадеро, вступили во владение собраниями дворца Шайо: один из них — Музей Человека, руководимый д-ром По-

<sup>1\*</sup> *Febvre L.* La maison urbaine // *Annales d'histoire économique et sociale.* 1929. T. 1. P. 292; *Bloch M.* Une enquête: les plans parcellaires // *Ibid.* P. 58; *Idem.* Musées ruraux, musées techniques // *Ibid.* T. 2. P. 248; *Cerny V.* L'histoire rurale en Tchécoslovaquie // *Ibid.* T. 1. P. 78.

<sup>2\*</sup> См. об этом специальный номер «*Revue de synthèse historique*» (1936. T. 11, pt 1), посвященный организации коллективных исследований, главным образом в этнографии культурных народов (см., в частности: *Febvre L.* Les recherches collectives et l'avenir de l'histoire).

<sup>3\*</sup> *Des Marez G.* Le problème de la colonisation franque et du régime agraire de la Basse-Belgique. Bruxelles, 1926. P. 5.

лем Риве; другой — молодой Музей народного искусства, ремесел и обычаев; его поставил на ноги Жорж-Анри Ривьер, которому очень активно помогал Андре Вараньяк. И вот недавно мне прислали богатую мыслями и ценными сведениями брошюру Вараньяка, а также том, в котором представлены результаты Первого международного конгресса по фольклору, состоявшегося в Париже прошлым летом, и два солидных тома учебника по французскому фольклору, написанные одним из наиболее известных пионеров фольклорных исследований во Франции: все это доказывает, насколько мы, Марк Блок и я, были правы, когда в 1929 году уверовали в грядущие успехи этой науки, при том что некоторые из наших очень серьезных коллег должны были счесть нас людьми несколько «восторженными» за то, что мы принимаем ее в расчет. Однако мы не переставали поддерживать ее, сколько могли, на страницах этого журнала и всюду — поддерживать ее стремление к развитию и достижениям <sup>4\*</sup>.

Небольшая книга Андре Вараньяка называется «Определение фольклора» <sup>5\*</sup>. Ее основное содержание составляют лекции, прочитанные в Эколь дю Лувр. Книга эта удовлетворяет не только глубокую потребность в ясности и четкости, которую испытывает всякий ясный ум и которую я отмечал недавно у П. Сентива, рецензируя его посмертно изданную книгу «Учебник фольклора» <sup>6\*</sup>. Книга Андре Вараньяка, по происхождению своему философа, в большей мере отвечает потребности в глубине, или (если это слово может его напугать) потребности в углубленном исследовании. Что такое фольклор? Существует множество определений. Многие из них сформулированы «в простоте» людьми, которые исповедуют принцип «искать не слишком далеко» и, конечно, думают про себя, что лучше и важнее собирать факты наудачу, поддевая их крючком, как тряпичник, о котором говорил Мажанди, чем задумываться в первую очередь над истинной природой, смыслом и значением этих фактов. Это последнее, по их мнению, означает «заниматься метафизикой» — словцо, несомненно, самое ругательное из всех, что они могут подобрать <sup>7\*</sup>. Дру-

<sup>4\*</sup> Даже посредством обращений к широкой публике, например, в серии бесед о французском народном искусстве, ремеслах и обычаях для национальной станции Радио-Париж (см.: «Cahiers de Radio-Paris». 1938. Vol. 9, № 5. P. 429); Введение — Л. Февр; «Сельскохозяйственные орудия труда» — М. Блок. Это помимо девяти превосходных бесед Жоржа-Анри Ривьера, Р. Монье, А. Вараньяка, М. Жантона и др.

<sup>5\*</sup> *Varagnac A. Définition du folklore. P., 1938.*

<sup>6\*</sup> *Saintyves P. Manuel du folklore. P., 1936.* Об определении фольклора, данном в этой книге, см.: *Febvre L. Un manuel de folklore // Annales. 1937. T. 9. P. 400 sqq.*

<sup>7\*</sup> Я нашел это слово у А. Ван Геннепа в третьем томе «Учебника», речь о котором пойдет дальше: «это, скорее, собрание метафизических дискуссий по разным методическим вопросам...» (*Van Gennep A. Manuel du folklore français contemporaine. P., 1938. T. 3. P. 100*). Вот уж действительно, каждый из нас для кого-то — метафизик!

гие определения более продуманные. Таково определение, предложенное П. Сентивом членам Международного центра синтеза для «Исторического словаря», издание которого было предпринято г-ном Анри Берром. «Фольклор,— писал тогда Сентив,— это наука о традиции и ее законах у цивилизованных наций, и главным образом в народной среде». Определение, повторенное и развернутое в «Учебнике фольклора»; там сказано: наука «обо всем, что передается изустно — знаниях, приемах, рецептах, секретах, правилах и обычаях, словесных выражениях и суевериях, сказках, легендах и т. д.— членами цивилизованных обществ, главным образом — в народной среде»<sup>8\*</sup>.

Андре Вараньяк критикует ограниченность этих определений и приводит такие возражения: существует фольклор и не народный, поскольку множество обычаев, безусловно фольклорных, живут в среде буржуазии и аристократии; и наряду с крестьянским фольклором, весьма богатым, есть и городской; и фольклор не только давний, поскольку и в наши дни можно наблюдать рождение новых фольклорных явлений; традиция не есть синоним фольклора, поскольку культура (ограничимся одним только этим примером) — культура в целом может быть определена как совокупность интеллектуальных традиций; однако же никто не относит ее к фольклору. И наконец, культуру «низших классов» в наших цивилизованных обществах очень затруднительно квалифицировать как «фольклорную» в противоположность культуре «высших классов»: ибо в действительности разграничить эти классы в такой стране, как Франция,— дело нелегкое...

Какое же определение предлагает Андре Вараньяк? Он пишет: фольклор — это «массовые верования без писаного учения; имеющие массовое распространение, приемы и способы действовать — без теории». Чтобы пояснить свою формулировку, он предлагает читателю подумать о тех предметах, которые в старину кузнецы делали своими руками, не по формулам, выведенным из законов, а руководствуясь рецептами, приемами, секретами, полученными чисто эмпирически и никак один с другим не связанными. Нынче кузнец ничего не изготавливает. Он чинит или подгоняет сделанное на заводе, где производство регламентируется специалистами — инженерами, все более и более применяющими научные знания. Ремесленные приемы труда прежних времен, имеющие массовое распространение, приемы, не выведенные из теории,— это фольклор. Индустриальные методы нынешнего времени, имеющие массовое распространение, но выведенные из теории,— это противоположность фольклора<sup>9\*</sup>.

Очень остроумный анализ. Он представляет собою весьма важную, разумную и убедительную попытку подняться над ви-

<sup>8\*</sup> Revue de synthèse historique. 1931. Т. 1. P. 81; *Saintives P.* Op. cit. Ch. 1.

<sup>9\*</sup> Изложение этой концепции см.: *Varagnac A.* Op. cit. P. 18 sqq.

димостью явлений, схватить самую их суть. Но вот что меня останавливает: всегда ли так уж легко и просто провести границу между «выведенным путем дедукции» и «полученным в готовом виде», без вывода — между теоретическим и практическим, между тем, что человек берет из «сундука с приданым», и тем, что он с тяжким трудом извлекает из своего разумного мозга? Проблема немаловажная. Даже для историка: разве она не затрагивает вопрос о самом происхождении наших научных представлений, об историческом соотношении между магическим и математическим, вопрос постепенного замещения представлений о качественных и иррациональных «влияниях» представлениями о логических и количественных связях. Отметив это, я в остальном могу только похвалить остроумие и справедливость как критических замечаний Андре Вараньяка, так и некоторых его тезисов. Например, такого: каждое фольклорное явление отличается тем, что содержит в себе как традиционное, повторяющееся, так и новое; и следовательно, оно ни в коем случае не передается механически. А также что функции, выполняемые тем или иным фольклорным явлением сегодня, не обязательно такие же, какими они были некогда; и поэтому каждое фольклорное явление на протяжении веков может отвечать разным потребностям и соответствовать разной психологии<sup>10\*</sup>.

Мысль глубокая, и относится она не только к фольклорным явлениям. «Можно ли представить себе, — говорил как-то в моем присутствии один человек, отличавшийся на редкость пытливым умом, причем его ум охотно обращался к проблемам театра, — можно ли представить себе, что наши актеры чувствуют и играют (я хочу сказать, могут сыграть) пьесу Мольера в 1936 году так, как ее играли во времена самого Мольера? Можно ли представить себе, чтобы нынешняя публика чувствовала и, значит, наслаждалась этой пьесой именно так, как воспринимала ее и наслаждалась ею публика 1670 года? И разве не было бы захватывающе интересным делом определить, что мы вкладываем в эту пьесу такого, что не могли вкладывать современники Мольера — и наоборот?» Я имел удовольствие признать в этих речах своего старого знакомца: тот самый метод, за который я ратовал

<sup>10\*</sup> Это смыкается с мыслями — их я уже имел случай изложить — об условиях, при которых традиции человеческих обществ как устанавливаются, так и разрушаются. Вполне очевидно, что традиций такое великое множество (они образуются и накапливаются подобно осадочным породам), что никакой прогресс был бы невозможен, если бы человеческие общества в процессе изменений, часто незаметных для них самих, не вводили постоянно новации в толщу традиций. Самый убедительный пример подобного эффекта приспособления — это средневековые обычаи (пример этот мне часто доводилось слышать от Марка Блока), обычаи, незбылемые «по определению», установленные неизменно, но находящиеся в постоянном развитии, дабы отвечать изменяющимся требованиям времени.



несколько лет назад, полагая его необходимым при изучении истории науки; в ближайшее время я собираюсь его применить в области истории религии<sup>11\*</sup>. Очевидно, Вараньяк совершенно прав, когда говорит, что его замечания открывают на редкость широкие перспективы. Настолько широкие, что надежда на обильные плоды, которые они могут принести, должна воодушевить нас в нашей работе.

Отметив это, остается сказать, что книга Вараньяка содержит не столько определение фольклора как таковое, сколько разъяснения и истолкования, касающиеся фольклора. Она несет весьма ценную концепцию, которая несколько превосходит, быть может, методологические потребности и возможности тех, кого, да будет мне дозволено, назвать средними фольклористами, — деятелей, необходимых для прогресса этой дисциплины.

Каковы фактические результаты их деятельности? Великолепный том «Трудов первого международного конгресса по фольклору»<sup>12\*</sup> — он проходил в Париже 23—28 августа 1937 года в Луврской школе — может просветить нас в этом вопросе. Лично я, задержанный порученными мне делами очень далеко от Франции, не присутствовал на заседаниях, которые, если верить дошедшим до меня свидетельствам, запомнились участникам как очень насыщенные; достаточно, однако, перелистать отчеты конгресса, чтобы сразу же оказаться в курсе дела. Конгресс под председательством д-ра Поля Риве разделился на две секции: описательный фольклор и связи фольклора с социальной жизнью. В первой секции — четыре подсекции: материальная культура; устные традиции и литература; социальные структуры; методология. Во второй секции — тоже четыре подсекции: народное искусство, ремесла, костюм; современное строительство; музыка, театр, танцы, празднества; молодежь, музеи народного творчества. Многочисленные зарубежные ученые из разных стран откликнулись на призыв комитета и привезли на конгресс как бы отзвуки своих занятий и интересов. Не входя в подробности, что было бы невозможно, ограничусь тем, что выскажу несколько мыслей и замечаний по поводу сообщений, сделанных на секции материальной культуры.

Давайте остановимся на самом названии этой секции. Не вызывает сомнений, что материальная культура относится к компетенции фольклора. Но в такой же мере она принадлежит и другим дисциплинам. Вот деревенский дом. Его можно изучать с точки зрения географии: в этом случае дом будет рассматриваться как «продукт географической среды» — при том что этой сре-

<sup>11\*</sup> *Febvre L.* Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle: la religion de Rabelais. P., 1942; об истории науки см.: *Idem.* Un chapitre de l'histoire de l'esprit humain: les sciences naturelles, de Linné à Lamarck et à Georges Cuvier // *Revue de synthèse historique.* 1927. T. 43. P. 37—60.

<sup>12\*</sup> *Cahiers du I Congrès International du folklore.* Tours, 1938.

де можно дать два десятка различных определений. Можно изучать этот дом с точки зрения исторической. Тогда мы будем исходить из гипотезы — чтобы принять ее или же отвергнуть, но в любом случае подвергнуть критическому анализу — тогда мы будем исходить из гипотезы: у каждого народа — свой дом. Можно изучать его с точки зрения архитектора: материалы, приемы строительства, возможности приспособить его к технике и нуждам сегодняшнего дня. Можно, наконец, изучать его с точки зрения фольклориста, поскольку он находится в сфере интересов фольклора.

Каким образом? Я вижу множество аспектов. Например, в аспекте того, что Андре Вараньяк называет «переносом» («transfert»): каким образом дом, устройство которого завещано и определено обычаем, и завет этот передается из века в век, — как мог он отвечать меняющимся потребностям, соответствовать меняющейся психологии? Ибо не будем считать его незыблемым, неприкосновенным, неспособным к эволюции. Народный костюм тоже все время эволюционировал, оставаясь традиционным <sup>13\*</sup>. То же относится к дому. И возникает проблема: как, сохраняя в неприкосновенности свою внешнюю форму, дом в действительности выполняет новые функции и перестает выполнять прежние? А это должно повлечь за собой гораздо более тщательное изучение различных «функций» дома, чем это делалось раньше. Мы имеем в виду не только различные «полезные» свойства дома — укрывать от холода, от жары, от ненастья, давать защиту от нападения людей и животных, от воровства, разбоя и т. д.

Дом — так же как и все, что порождено человеком, все, что сделано человеком и для человека <sup>14\*</sup>, — существует не только для удовлетворения непосредственных материальных потребностей вроде перечисленных выше, он получает значение отличительного знака, символа. Точно так же, как и костюм <sup>15\*</sup>, который имеет не одну только функцию — обеспечивать организму, телу нужные ему условия температурного оптимума; он может, кроме того, указывать на национальность (например, еще недавно — белые чулки немцев в Чехословакии) или же на гражданское состояние (женщины замужние, вдовы, девственные), на воз-

<sup>13\*</sup> См. доклад Шарля Брюна (он цитирует Ш. Ле Гоффика (Ibid. P. 346), писавшего о народных костюмах, что они в конечном счете и в некотором смысле «стали объектами неосознанного художественного творчества и в качестве таковых следовали тайным законам гармонии, хотя те, кто способствовали их эволюции, не отдавали себе в этом отчета». Эволюция: произнесено именно то слово, какое нужно.

<sup>14\*</sup> Об этой проблеме в целом см.: *Febvre L., Bataillon L. Introduction géographique à l'histoire // La Terre et l'évolution humaine. P., 1922. Pt 3. P. 194 sqq.*

<sup>15\*</sup> См. по этому вопросу интересное сообщение: *Bogatyrew P. Le costume national villageois au point de vue fonctionnel dans la Slovaquie morave // Ibid. P. 347 sqq.*

раст, социальную группу, вероисповедание и т. д., и т. д. Конечно, дом — одеяние менее пластичное, чем личная одежда из ткани или кожи животных; однако нет никакого сомнения, что, поисквав хорошенько, мы сможем выстроить вокруг него целую свисту социальных функций. Ибо, в конце концов, мы уже не верим, что в наших деревнях живет Крестьянин с большой буквы К в Деревенском Доме с большой буквы Д; Марк Блок высказал по этому поводу несколько превосходных мыслей на конгрессе в сообщении «Типы домов и социальная структура»<sup>16\*</sup>. А мы знаем, как сложно на самом деле крестьянское общество, сколько там разрядов, групп и родов деятельности.

Что же находим мы по этому вопросу в трудах конгресса? В начале раздела, ответственного изучению материальной культуры, — «Попытка классификации деревенских домов» Альбера Деманжона. Безусловно, яркая работа, в которой еще раз отразился темперамент ее автора и его умение работать, всем хорошо известные. Я написал: «еще раз». Ибо эту классификацию Альбер Деманжон уже предлагал — в качестве географа — и в тех же самых выражениях, за исключением нескольких деталей, в «Annales de géographie». Иначе говоря, его сообщение, начинающееся словами: «Дом, так же как и многие другие создания человека на земле, есть продукт географической среды», — там ли оно было доложено, не ошиблось ли оно конгрессом? Ну и что же? Оно заставит задуматься; оно познакомит фольклористов с тем, что делают их соседи — географы; к тому же на первых же страницах книги оно дает ясное представление о том, какое исследование не является фольклорным: представление негативного характера, но получить его не менее полезно, чем позитивное. Но и нам тоже следовало бы «рационализировать» нашу работу. И если доклад Альбера Деманжона относится к фольклору, то он не географический; и наоборот.

В этом нет ничего удивительного. Фольклорные исследования во Франции до настоящего времени были делом одиночек. Эти исследования едва только начинают организовываться солидно, по-научному. Приходится принимать сотрудничество людей, явившихся со всех сторон научного горизонта; этим людям, начинающим научные исследования в новом для них направлении, нелегко забыть, кто они такие. Понемногу все станет на свои места. И молодые ученые, которые начинают формироваться под кровлей, сработанной несколько кустарно и на скорую руку, — под кровлей, которую мы, благожелательные люди, создаем для них, — завтра они сумеют провести (нам наперекор, если требуется) необходимые разграничения. Тем лучше, и пусть это произойдет поскорее!

<sup>16\*</sup> Bloch M. Types de maison et structure sociale // Ibid. P. 71.

В части докладов говорится о старинном процессе молотбы во Франции и других странах. К блестящему докладу Шарля Парэна, который широко использует лигвистические факты и основывается на точной хронологии, примыкает сообщение П. Шейермейера, где речь идет об Италии; интересное наблюдение А. Люнеля об архаичном способе молотбы, сохранившемся в Мулине (департамент Приморские Альпы), и даже отличное исследование Пьера Кутена о том, как менялся процесс уборки зерновых в одной деревне в Лимани. Отметим выдающуюся работу Фернана Бенуа, высокоученого хранителя музея Арлатен, — о мельницах для зерна и давяльнях для слив в Средиземноморье; автор называет свое исследование «опытом стратиграфии»... В других сообщениях, в частности Этъена Летара, профессора Ветеринарной школы в Альфоре, а также Л. Хейгеберта из Антверпена, речь идет о рабочих животных: лошадях и быках во Франции, собаках в Бельгии. Исследование П. Деффонтена о распространении двух- и четырехколесных повозок во Франции и, значительно шире, во всей Евразии (с приложением карты) вызывает немало возражений. Ибо что такое «повозка с двумя колесами», что такое «повозка с четырьмя колесами» — если не учитывать ни форму, ни способы изготовления, назначение, вместимость, приемы запряжки и т. д. И поэтому, что может дать общая карта, не учитывающая ни одно из этих различий? Однако и здесь мы снова скажем: тем лучше! Такой схематизм, выставленный напоказ перед молодежью, горящей желанием трудиться, может только отвлечь ее от определенных методов, про которые в лучшем случае можно сказать, что они и в самом деле несколько грубы.

Вопросы, связанные с питанием, были едва затронуты. Я этому не удивляюсь; в одном из курсов, прочитанных в Коллеж де Франс два года назад, я имел случай порассуждать об этом проблеме и сделать определенные выводы<sup>17\*</sup>. На конгрессе — только два сообщения. Во-первых, заметка Маурицио, автора превосходной «Истории растительных продуктов питания». Этой книгой, переведенной на французский доктором Жидоном, в общем, исчерпывается «французский раздел» библиотеки будущего историка человеческого питания<sup>18\*</sup>. В своем сообщении Маурицио рассматривает вопрос о том, «что ели до появления земледелия». Второе сообщение — от моего имени: оно связано с моей преподавательской работой в Коллеж де Франс, с подготовкой четвертадцатого тома «Французской энциклопедии» (благополучное состояние, спорт, досуг)<sup>19\*</sup>, в котором будут помещены наряду с другими

<sup>17\*</sup> *Annuaire du Collège de France*. 1937.

<sup>18\*</sup> *Maurizio G. Histoire de l'alimentation végétale / Trad. A. Gidon*. P., 1930.

<sup>19\*</sup> Этот том вышел в свет в 1954 году под названием «Цивилизация в быденной жизни».

статьи по проблеме питания — Марка Блока, Ж. Лефевра, Вараньяка и др.; но более всего эта работа связана с деятельностью Комиссии по коллективным исследованиям; она по моей просьбе провела специальную анкету относительно жиров, которые используют для приготовления пищи во Франции, и как они географически распределяются: очерчены зоны, где пища готовится на вытопленном свином жире, на сливочном масле, на свином сале, на растительном масле (оливковом, ореховом и т. д.), на гусином жире и т. д. Карта распределения жиров, которую Марсель Маже смог построить исходя из результатов этого исследования довольно любопытна<sup>20\*</sup>, она требует пояснений, которые и смог дать только в форме ответов на вопросы, — так мало внимания уделялось до настоящего времени этим проблемам. В моем комментарии не отражены интересные исследования, появившиеся позднее; д-р Жидон посвятил их жирам, которые можно было бы назвать «предшественниками сливочного масла»<sup>21\*</sup>.

Подробный анализ докладов, прочитанных в других секциях и подсекциях конгресса, выходит за рамки наших возможностей. Скажем только, что достоинства этих докладов щедро вознаграждают организаторов научного съезда (где удалось хорошо поработать и поспорить<sup>22\*</sup>) за их труды и хлопоты.

Об «Учебнике современного французского фольклора», который был заказан издательством Огюста Пикара Арнольду Ван Геннепу<sup>23\*</sup>, мы сейчас много говорить не будем, потому что вышли только третий и четвертый тома этого учебника. Они, конечно, девственно чисты от какой бы то ни было «метафизики», и это закономерно; в третьем томе воспроизведено большое число анкет, общих, частных и региональных, которые на практике показали себя результативными; за ними следуют два списка, один — прежних провинций с указанием департаментов, на кото-

<sup>20\*</sup> Вернее, карты, потому что кроме той, которая воспроизведена в томе, изданном Конгрессом (таблица XI), существует еще другая, относящаяся к второстепенным кухонным жирам (гусиный жир и т. д.); эта карта находится в Бюро материалов по фольклору, где с нею можно ознакомиться.

<sup>21\*</sup> *Gidon A. Anciennes conserves de lait aigre: (Acor jucundus de Pline et Caudelée normande) // Presse médicale. 1938. 14 mai. P. 787.* Д-р Жидон — один из немногих французских исследователей, занимающихся такими аспектами проблемы питания.

<sup>22\*</sup> Отметим весьма «практический» характер части работ, доложенных на конгрессе: ремесло, местная одежда, дом — и какую долю его устройства следует в наше время отнести к фольклорным элементам; очень важная проблема — досуг и его «фольклорное» использование; фольклор в школе и т. д. По всем этим вопросам было сделано множество сообщений; благодаря им некоторые заседания конгресса прошли очень оживленно.

<sup>23\*</sup> *Van Gennep A. Op. cit. T. 3: Questionnaires, Provinces et Pays, Bibliographie méthodique; T. 4: Bibliographie (fin), Index variés.* Должны выйти еще первый и второй тома; готовятся к печати два тома «Фольклор Франции. Средние века и Возрождение».

рые они были разбиты во время Революции; другой — довольно странный и разношерстный — список областей, на которые делится Франция. Эти таблицы имеют утилитарный характер, говорит нам г-н Ван Геннеп, и предназначены в основном для иностранцев, не знающих французских географических названий. Пусть будет так, но утилитарность не дает права пренебрегать научной строгостью, и самое вежливое, что можно сказать об этих двух списках, — они удивляют своей научной небрежностью (в учебнике, претендующем на научность) <sup>24\*</sup>. Заключает книгу внуши-

<sup>24\*</sup> Что касается «провинций», то в книге Ван Геннепа игнорируются дискуссии о значении и употреблении этого слова при Старом режиме — дискуссии, которые прошли после выхода в свет небольшой книжки: *Brette A. Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789*. P., 1907. Правда, г-н Ван Геннеп, исповедуя «утилитаризм», исполненный презрения к ненужной учености, декларирует, что его изложение имеет «полупопулярный характер»; ничего не имею против, но, помимо того, что мне хотелось бы узнать несколько точнее, в чем заключается эта «полупопулярность». Я задаю себе вопрос, зачем было в таком случае писать о тридцати губернаторствах при Людовике XIV и тридцати шести — в 1792 году. Последнее число меня смущает (в 1792 году — тридцать шесть губернаторств, подчеркивает г-н Ван Геннеп; это число, принятое в учебнике), когда я вижу, что в списке фигурирует губернаторство «графство Ницца» (графство было присоединено к Франции только в 1792 году), губернаторство Савойя (к Савойе относится то же самое) и губернаторство «графство Венеция» (присоединенное 15 сентября 1791 года) — при том что в 1790 году Франция была разбита на департаменты и с этого времени нельзя уже говорить о губернаторствах<sup>1</sup>. В действительности накануне Революции насчитывалось тридцать три губернаторства; и никогда не было ни губернаторства Ангуама, ни губернаторства Гасконь (Гюйенн). Можно повторить: прежние губернаторства не так уж важны; исследователю фольклора нужно знать крупные административные единицы (являющиеся в то же время и культурными единицами), давно возникшие во Франции и продолжающие существовать до настоящего времени. Но в таком случае пусть не говорят нам о губернаторствах, не перечисляют тридцать шесть губернаторств, бывших в 1792 году, — при том что их упразднили в 1790 году и их никогда не было более тридцати трех. Такая же небрежность и неточность там, где речь идет о географических областях Франции. Под этой рубрикой — все, что угодно: горные хребты и массивы — Аргонны, Альберы и т. д., долины — долина Бетмаль, но почему в таком случае не упомянуты 5000 других долин, имеющих такое же или еще большее право фигурировать в списке? В качестве примера упомяну одну из многих, потому что она мне хорошо знакома: то, что мы называем Соже (во Франш-Конте), часть долины О-Ду со «столицей» в Монбенуа; в этой долине местное наречие, обычаи и прочее сильно отличаются от наречия и обычаев соседей. Для того чтобы перечислить названия этих мелких «единиц», понадобилось бы не двадцать восемь, а все шестьдесят страниц. Мы находим в этих списках выкорчеванные леса (Бьер, Ивелин) рядом с мервингскими «раги» [сельские округа, сельские общины], например Аму: щегольство ненужной ученостью, не имеющее ничего общего с популярным изложением и увенчанное — когда автору захотелось написать об области Доль — шикарным «сирконфлексом» над «Доль» [географическое название «Доль» (Dole) пишется без значка «сиркон-

тельная библиография по темам и, когда это уместно, по регионам с алфавитным списком авторов в конце и указателем цитированной литературы (по провинциям).

Труд внушительный и не имеющий предшественников во Франции. Он будет очень полезен, и нужно поблагодарить как автора — за его похвальную усидчивость, так и издателя — за его широту. Конечно, какое бы старание ни проявил г-н Ван Геннеп, в книге много пробелов и их нужно восполнить, много ошибок, их следует исправить, и, может быть, стоит указать на некоторую необъективность<sup>25\*</sup>. Не будем впадать в педантизм — это

флекс» (Λ) над «о». — *Примеч. переводчика*]. Все это — легковесная фантазия, выдающая себя за реализм.

<sup>25\*</sup> Некоторые из ошибок не простой недосмотр. Мы встречаем ссылку (т. 4, с. 878, пункт 54) на книгу Ж. Сиона «Верхний Вар, очерк географии человека». Ссылка безупречна — за исключением того, что следует читать: «очерк физической географии» — и, стало быть, книга не имеет никакого отношения к фольклору. Поразительная забывчивость: фундаментальная книга Марка Блока «Характерные черты французской аграрной истории» неизвестна Ван Геннепу или, во всяком случае, он на нее не ссылается. Если мы ограничим себя областью Франш-Конте, то обнаружим довольно забавную ошибку атрибуции: старая работа Дея о колдовстве в графстве Бургундия отнесена Ван Геннепом к герцогству Бургундия; но герцогство и графство — разные территории. Отмечу, что не упомянута любопытная книга Ле Киньо о Юре, между тем книга эта представляет большой интерес. Не упомянута и фундаментальная книга Боге «Рассуждение о колдунах» (1602), а это самая что ни на есть классика. Не будем продолжать этот поиск ошибок и недостатков. Само собой, что в остальном «все хорошо, все хорошо». И все же какие странные пробелы. Еще один такой пробел — книга Маурицио. И в то же время сколько лишних ссылок на публикации о фольклоре праздничном и застольном (с. 924 и след.). Несколько вопросов. Что это такое — «исследования по вопросам питания», предпринятые недавно Институтом синтеза, о которых г-н Ван Геннеп сообщает нам, что «они являются всего лишь» (ах, всего лишь!) продолжением более ранних работ (черт побери!)? Прежде всего, что такое «Институт синтеза», о котором никто в Париже не слыхивал? Может быть, речь идет о научной организации, которую в другом месте г-н Ван Геннеп называет (т. 3, с. 55) «Комиссией по коллективным исследованиям Международного центра исторического синтеза» и которая на самом деле есть Комиссия по коллективным исследованиям при «Французской энциклопедии» — «частная» (как сообщает он читателям выше, на с. 149); «неофициальная» (к счастью!); «поддерживающая связь с Институтом исторического синтеза (опять этот Институт!) и с Энциклопедией, называемой Энциклопедией Монзи», которую правильнее было бы «назвать», вернув ей ее настоящее название, «Французской энциклопедией», указав, что седьмой том этой энциклопедии, написанный под руководством Поля Риве, имеет некоторое отношение к этнографическим исследованиям. Что касается анкет Комиссии, которые «по меньшей мере на две трети носят характер экономический и в лучшем случае одну треть вопросов можно отнести к фольклору» (какое странное соотношение!), то они напоминают г-ну Ван Геннепу «анкеты школы Ла Плэ для рабочих и ремесленников Старого и Нового Света». Думаю, что это означает очень низкую оценку; но признаюсь, сравнение меня удивляет

было бы довольно просто. Примем то, что нам дадут, констатируя, что дар достоин уважения и в нем содержится полезное подспорье в работе, а именно библиография. У нас будет повод вернуться ко всему этому, когда выйдут первый и второй тома «Учебника» и мы сможем в целом оценить попытку — в любом случае она была смелой.

Старая дисциплина, которая организуется ныне на научной основе, обзаводится своими основными орудиями труда и исследования и, что особенно важно, в нее приходят молодые и пылкие люди, ищущие истину: вот что может в наши грустные времена вернуть жизни хоть какой-то вкус.

---

в том смысле, какой слово «удивлять» имело в XVII веке). Сколько во всем этом неточностей и сколько неприятели (см. также выпад, содержащийся в пункте 54). Вот что заставляет меня быть кратким в перечислении неточностей, пробелов и небрежностей, допущенных в этой библиографии, и отметить только ее немалую полезность. Менее чую, однако, чем хотелось бы.



## КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Нам знакомы манера и стиль, мы знаем достоинства этого историка народных верований и обычаев, этого, если хотите, фольклориста, которого мы назовем — так же как он сам называет себя, когда, сменив род деятельности, пишет собственные книги, — назовем г-ном Сентивом<sup>1\*</sup>. Широкая и глубокая эрудиция; огромная начитанность; любознательность, направленная на многие предметы и питаемая широкой осведомленностью; выраженная склонность к детальному исследованию — при этом, конечно, несколько меньшая любовь к обобщениям; думается, есть подходящее выражение, которое полностью приложимо к тому, что мы щедро получаем от г-на Сентива ежегодно: выражение это — «вклад в науку», а оно подразумевает и точность, и полезность, и научное беспристрастие — и все те возможности, которые г-н Сентив открывает для тех, кто придет следом за ним и начнет новые исследования, устремится к новым поискам, основываясь на каком-нибудь из его замечаний, на той или иной группе фактов, которые он представил в наше распоряжение.

Сборник носит несколько туманное заглавие «На полях Золотой легенды»<sup>2\*, 1</sup>, однако подзаголовки уточняют замысел автора: «Сны; Чудеса; Пережитки верований; Очерк о формировании некоторых агнографических тем». Книга состоит из статей, подобранных без строгого плана и написанных в разное время. Но предмет у них один и тот же: все они имеют цель — показать нам, как, посредством каких механизмов создаются агнографические темы. В первых четырех очерках говорится о роли снов. Общий очерк — о том, какое место занимают сны в агнографической литературе. Более специальное исследование агнографических тем, полностью или частично обязанных своим происхождением снам (вера в привидения, вещие сны, сны «оракульские» и т. д.); ценные сведения о снах наяву, о посещениях во сне рая, преисподней и чистилища; эти сведения частично повторены и дополнены в очерке о путешествиях мистиков-ясновидцев и агнографов в иной мир; в этих очерках есть что взять на заметку — не только историку, но и психологу, и социологу.

Затем следуют несколько исследований, посвященных чудесам. И прежде всего очень любопытная работа о «воскрешениях мертворожденных младенцев и храмах, дающих отсрочку»; эта статья заинтересовала меня, наверное, больше всех остальных; она погружает нас в очень глубокие и скрытые пласты человеческого чувств. Речь идет о младенцах, не получивших крещения и пото-

<sup>1\*</sup> *Saintyves P. Folklore // Revue de la synthèse historique. 1931. Т. 51. P. 81.*

<sup>2\*</sup> *Saintyves P. En marge de la Légende Dorée. P., 1931.* Список иллюстраций отсутствует. Аналитический указатель, напротив, весьма обширен и подробен, так же как список имен святых. В качестве приложения — очень богатый и ценный список святых цефалофоров.

му не могущих — в соответствии с каноническим учением — понасть на небо (этот тезис, впрочем, все время претерпевал те или иные изменения; мы к этому еще вернемся). Автор пишет: такие дети лично не совершали грехов; тем не менее, поскольку пятно первородного греха не смыто с них крещением, они не избегают того, что есть главное мучение тех, на ком лежит проклятие: они никогда не смогут лицезреть Бога. Поэтому родители, опечаленные мыслью о страданиях, ожидающих невинных младенцев, несли их тела в некие определенные храмы, где тот или иной святой, к которому зывали с пламенной верой, воскрешал дитя на несколько мгновений: ровно настолько, чтобы священник мог его окрестить и открыть перед ним небесные врата<sup>3\*</sup>.

Можно же добавлять, что Пресвятая Дева тоже совершала бесчисленное множество таких воскрешений. Исследование г-на Сентива охватывает главным образом наши восточные области, среди которых особенно выделяются (по части воскрешений) Франш-Конте, Савойя и Бургундия. Эта работа с поразительной отчетливостью показывает нам, в какой атмосфере постоянного чуда жили люди, совсем близкие к нашему времени, — люди XVI, люди XVII века... Три другие статьи: одна посвящена теме повешенного, чудесным образом спасенного каким-нибудь святым, который либо служит ему опорой в воздухе, либо разрывает роковую веревку<sup>4\*</sup>; вторая статья, очень подробная и интересная,

<sup>3\*</sup> Даже простые монахини творили чудеса подобного рода. Я хочу обратить внимание г-на Сентива на историю временного воскрешения мертворожденного ребенка преподобною Франсуазой Моне, в монастыре сестроу Франсуазой от святого Иосифа, поступившей в 1626 году в монастырь Кармелиток<sup>2</sup> в Авиньоне. Эта монахиня была из обители Сен-Клод (в Юре) и, стало быть, такого рода чудеса были для нее делом обычным (см.: *La vie de soeur Françoise de Saint-Joseph / Par le P. Michel-Ange de Sainte Françoise, carme déchaussé. Lyon; Bruxelles. 1721. Ch. 9. P. 183—184.*)

<sup>4\*</sup> Из чудес XVI столетия следует обратить внимание на историю повешенного на площади Мобер в сентябре 1528 года, который чудесным образом воскрес; история подробно рассказана, см., в частности: *Journal d'un Bourgeois de Paris sous le règne de François I / Ed. Bourilly. P., 1910. P. 313* Интересно здесь то, что именно простонародье — бедная женщина, уличные зеваки — принялось кричать о чуде, когда снятый с виселицы начал шевелиться; они с трудом вырвали его из рук палача, а затем из когтей Парламента. Любопытно отметить, что в «Парижской хронике» Пьер Дриар, казначей в Сен-Викторе, озаглавил свой рассказ так: «Казнь, сопровождавшаяся, как говорят, чудом» — и, излагая эту историю, использовал довольно скептические выражения: «И некоторые говорили, что это было чудо, ниспосланное за то, что человек этот был на редкость предан Деве Марии, quod pie creditur» [и этому благочестиво верят]. См. также: *Le livre de Raison de Fr. Versoris (p. 116)*. Парижский Горожанин уточняет, что Богородица, воскресившая казненного, была кармелитская Нотр-Дам де Рекувранс. Он лично в этом несколько не сомневается и несколько далее сообщает о другом чуде, которое произошло в Лионе в апреле 1529 года, во времена

о святых цефалофорах, то есть изображавшихся с отрубленной головой в руках; третья — о нетленности трупов, что почиталось признаком святости; эти три очерка завершают «раздел о чудесах».

Последняя часть книги называется «Пережитки верований». В ней рассказано, как удивительно долго живут верования и обряды, которые можно было бы считать квазинеразрушимыми — такое впечатление появляется у человека, изучающего одно за другим такие чудеса, как «появление вод» и его связь с литургией; затем «прорицания по святым» — новое воплощение «Sortes Virgilianae» (Прорицания по Вергилию) и «Sortes Homericæ» (Прорицания по Гомеру) античных авторов и гуманистов; затем — история святого Гинефора, превращенного в собаку; наконец — похищения мощей и реликвий во все века<sup>5\*\*</sup>.

Наше перечисление не может дать представления об огромном количестве фактов, пересказанных и упомянутых автором, как и о богатстве мыслей и ценных указаний, которыми изобилует эта книга, в которой так много документов, исторических дат и полезных сведений. Единственное, в чем я мог бы упрекнуть автора: он не позаботился о том, чтобы локализовать географически те события, о которых пишет, или попросту о том, чтобы составить карты. Нет такой области знаний, нет такой науки, где картографический метод не нашел бы применения. Совершенно ясно, насколько этот метод был бы полезен при исследованиях вроде того, каким занимается автор, насколько он облегчил бы и сделал наглядными сопоставления и сравнения, в скольких случаях карта могла бы указать на существование новых связей, подсказать новые направления поиска. И если бы г-н Сентив сумел в один прекрасный день побудить славного издателя Нурри действительно заинтересоваться изданием собрания агиографических

Великого бунта<sup>3</sup>, с бедным школяром, который проходил посвящение в сан священника и был осужден на смерть невиновным; веревка оборвалась, и он «отправился в паломничество в Сен-Клод, чтобы возблагодарить Бога и Святого за великую милость, которую она ему оказала». Более того, он отслужил там свою первую мессу (Journal... P. 323). Мы видим, что святой Клавдий, чудотворец-универсал, в XVI веке без дела не простаивал. В своей «Истории аббатства и обители Сен-Клод» (1892) отец Бенуа об этих чудесах не упоминает.

<sup>5\*\*</sup> Во времена, относящиеся к новой истории, среди других знаменитых краж отметим похищение двумя монахами для архиепископа Санского Святой Плащаницы из Генуи, она была возвращена в Геную в 1508 году по приказу Людовика XII и встречена с большой пышностью. См.: *Borghese C. Et furto del S. Sudario nel 1507 // Rivista ligure di Scienze, Lettere ed Arti. Genova, 1915; относительно Италии см. также: Rodocanachi. La réforme en Italie. T. 1. P. 71; относительно Германии: Siebert H. Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen und Reliquienverehrung. Fribourg; Brissgau, 1907. Вспомним, что курфюрст Саксонский Фридрих Мудрый, будущий покровитель Лютера, снабдил реликвиями церковь в Виттенберге в первой половине XVI столетия (см.: *Febvre L. Un destin, Martin Luther. P., 1928. P. 89).**

карт — которое к тому времени, надо полагать, будет подготовлено, — я думаю, что он сделал бы хорошее, очень хорошее дело...

Кроме того, для нас, историков, при чтении такой книги поминутно возникают проблемы, связанные с датами или, если хотите, с периодами времени. Ибо поведение людей перед лицом чудес, верований и суеверий отнюдь не остается неизменным в разные эпохи. План, которому следует автор, самые его замысел и метод позволяют ему затронуть эти проблемы лишь мимоходом; тем не менее они существуют. Возьмем только один пример. Некоторые из самых интересных страниц книги посвящены, как мы видим, детям, умершим до крещения; люди молили об их кратковременном воскрешении, дабы над ними могло быть совершенно освобождающее их таинство крещения. От чего, однако, освобождает? Для святого Августина и его последователей не существует никаких сомнений<sup>6\*</sup>. Наперекор Пелагию, который отводил некрещеным приятное место отдохновения, расположенное между обиталищем проклятых и обиталищем блаженных, святой Августин объявил без обиняков, что неокрещенные должны подвергнуться каре вечным огнем. Нужно дождаться Абелияра, чтобы увидеть рождение доктрины не столь жестокой. Абелияр, стремившийся примирить почтение к епископу Гиппона с желанием снять с божественного правосудия упрек в жестокости, — Абелияр полагал, что «вечный огонь» святого Августина означал попросту лишение возможности лицезреть Бога. Затем новый шаг был сделан святым Фомой. Абелияр освободил неокрещенных невинных от адского огня, но не от страданий. Святой Фома, освобождая их от страданий, определил, что они будут счастливыми: созерцательного видения у них, конечно, не будет, но будут знание и естественная любовь к Богу — источник радости. После этого в течение двух веков ученые богословы были более или менее единодушны, пока Беллармин и Пето не встали во главе очень активного движения (среди его сторонников был и Боссюэ) против скрытого пелагианства<sup>7</sup> томистов; впрочем, эта реакция успеха не имела.

Однако каждому понятно, как интересно было бы найти, если можно так выразиться, ритмическое соответствие между изменениями общепринятого богословского учения<sup>7\*</sup>, которое то становится более суровым, то смягчается, и большей или меньшей частотой временных воскрешений в «храмах, дающих отсрочку». И каждому понятно — поскольку вопрос о крещении младенцев

<sup>6\*</sup> Обо всем, что изложено далее, см.: *Journal J. Histoire des Dogmes*. P., 1931. T. 1, ch. 23: *Conséquences du Péché originel dans la vie future*.

<sup>7\*</sup> В частности, следовало бы рассмотреть вопрос о возражениях, сформулированных в решениях церковных соборов, которые цитирует г-н Сентив и которые датируются 1452 и 1470 годами (Лангр), 1557 годом (Лион), 1592 и 1696 годами (Безансон). Даты на первый взгляд странные.

встал перед реформаторами со всей остротой — понятно, как интересно было бы проследить, сыграло ли какую-нибудь роль в их борьбе против католической доктрины — осознанно или неосознанно — чувство человеческой справедливости, оскорбленное концепцией сторонников святого Августина? Вспомним о яростных спорах по этим вопросам между анабаптистами, лютеранами и кальвинистами<sup>6</sup>: если разобраться, если попытаться применить тот метод — примеры его использования я пытался продемонстрировать в другом месте<sup>8\*</sup>, — то какую долю в этих психологических спорах следует отвести чувствам, которые, конечно, были весьма сильны?

Всеми этими вопросами г-н Сентив еще не задавался. Но для историка вопросительные знаки здесь бьют ключом. И внимательное чтение книги, о выходе которой мы здесь оповещаем читателя, именно тем и полезно, что каждой своей страницей она доказывает историку необходимость широких и комплексных работ над подобными проблемами. В этом — не последнее из ее достоинств.

---

<sup>6\*</sup> См. в наст. издании «Неверно поставленная проблема». О позиции Кальвина см. его «Наставления» (4, 16). Наиболее важен здесь § 26: «Наш Господь говорит, что, ежели кто верует в Сына, тому будет жизнь вечная и он не подвергнется осуждению, но уже перешел от смерти к жизни. Ни в коем случае Он не проклинает тех, кто не были окрещены. Говоря это, мы не имеем в виду отменить обряд крещения, как если бы им можно было пренебречь; мы лишь хотим показать, что он не настолько необходим, чтобы тот, кто не был окрещен, не имел оправдания, если препятствия к крещению были уважительными». Напротив, говорит Кальвин, если принять точку зрения анабаптистов, пришлось бы считать, что все неокрещенные, даже если в том не было их вины, «будут осуждены без исключения, даже верующие...». Рассуждая подобным образом, анабаптисты доходят до того, что обрекают проклятию «всех маленьких детей, чье крещение они не признают, при том что считают крещение необходимым для спасения души».

## ТРУД: ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВА И ПОНЯТИЯ

С тех пор как существуют люди, труд (*travail*) всегда заполнял жизнь большинства из них. Не знаю, в самом ли деле «они рождены для труда, как птица для полета», как сказано в Книге Иова (5, 7) в переводе Саси<sup>1</sup>; но все происходит именно так, будто древняя поэма права. О том, как со временем менялось отношение народов к труду в зависимости от эпохи, места и обстоятельства (и в особенности у современных народов), как по-разному воспринимали люди труд, на них возложенный или возложенный ими на себя, — наши познания об этом отрывочны, недостоверны и бессвязны. Нам неизвестны даже удивительные приключения слова, которое мы употребляем ныне для обозначения совокупности наших действий на ежедневном житейском риста лице.

Ибо они поистине удивительны — приключения слова «*travail*», которое, имея первоначальный смысл, восходящий к слову «пытка» («*tripalare*» — пытаться посредством «*tripalium*» — орудия с тремя кольями), вытеснило в течение XVI века в нашем французском языке два старых слова, употреблявшихся прежде; одним из них, «*labouger*»\*, все более и более завладевали земледельцы (при том, что «*travailleurs de laboratoire*» [лабораторные работники] возвращают ему ныне некоторый престиж интеллектуальности); другое слово, «*ouvrer*», служило бы ныне только дамам-патронессам, трудящимся на благотворительные нужды в своих *ouvroirs*\*\* , если бы наши *ouvriers* (рабочие) не произошли от того же корня. Однако еще в XVII веке слово «*travail*» сохраняло печать своего происхождения. Оно обозначало иной раз затруднение, бремя, страдание и даже — унижение<sup>1\*</sup>.

Когда затворники Пор-Руаяля<sup>2</sup>, перенимая традиции монашеских орденов, принялись искать действенные способы покаяния, которые могли бы принести им вождеденное уничтожение, — они тотчас же подумали о ручном труде. И вот мы видим, как г-н Леместр, «не зная, что придумать, дабы изнурить себя», принимается за полевые работы, копает землю, жнет пшеницу, косит траву под полуденным солнцем, чтобы, окончив эти работы, которые он полагал (и все вокруг тоже) еще более унижительными, нежели утомительными, погрузиться в упорное изучение древне-

---

\* В современном французском языке это слово означает «обрабатывать землю», «пахать».

\*\* Комната для занятий рукоделием — в домах, где рукоделие не является источником заработка.

<sup>1\*</sup> Слово «*travail*» употреблялось в смысле «усталость» еще в середине XVIII века, и притом хорошими писателями: «Каламю сел на коня... но, не в силах переносить *travail*, приказал подать носилки». Или еще (у Боссю): «Благочестивый *travail* Церкви по отношению к умирающим...» Здесь смысл слова «*travail*» — «забота», «попечение». См.: *Vignot F. Histoire de la langue française*. P., 1890. T. 6, pt 2, fasc. 1. P. 1349.

еврейского, каковым он занимался рьяно<sup>2\*</sup>. Однако умственная работа, какою бы трудной она ни была, не была покаянием. И г-ну Леместру не нужно было краснеть за нее. Напротив, затворники краснели (а после корили себя за то, что краснели), когда их обзывали «сапожниками», потому что некоторые из них, самоуничтожения ради, наловчились тачать сапоги. И Буало счел необходимым язвительными словами расквитаться с их обидчиками<sup>3\*</sup>. Ведь то были времена, когда труд лишал достоинства (в узком смысле этого слова), когда сельский дворянин утрачивал свое благородство, взявшись за труд садовника или за ручки крестьянского плуга.

Оптимистический XVIII век пытался противодействовать этому и, если не облагородить, то по крайней мере реабилитировать физический труд. Но и здесь мы по-прежнему остаемся «без амунции». Насколько мне известно, не существует ни одного ученого труда, в котором рассматривалась бы переменчивая судьба слова «travail» — труд — в век «физиократов» и «экономистов». И однако же, какие тут можно провести изыскания, какую эволюцию воссоздать! Труд — это мучение: так полагал еще Шарль Луи де Сегонда де Монтеस्कё, президент парламента в Бордо, обрадованный возможностью облегчить свою совесть, убедив себя, что ценою небольших поощрений, как он пишет, «мелких привилегий», «как бы ни были тяжелы работы, которых требует общество, все они могут выполняться свободными людьми»<sup>4\*</sup>.

Труд (travail) наделяет правами; это уже мнение Дени Дидро, сына ножовщика из Лангра: «богатства будут распределяться справедливо, когда распределение станет соразмеряться с производством и с трудами каждого» (с «трусами», но еще не с «трудом»); формулировка пока не найдена, но ее уже начинают ис-

<sup>2\*</sup> *Sainte Beuve Ch. A. Port Royal. P., 1840. T. 1. P. 392; T. 3. P. 322.*

<sup>3\*</sup> Некому незуиту, который утверждал, что Паскаль собственноручно сделал сапоги, Буало ответил: «Не знаю... Но признайте, досточтимый отец, что он всех вас засунул в сапог» (*Ibid. T. 2. P. 500*).

<sup>4\*</sup> Глава называется «Бесполезность рабства у нас». Там написано: «Используя преимущества, даваемые машинами, можно заменить непосильный труд, который в других местах заставляют выполнять рабов» (*Montesquieu Ch.-J. de. Esprit des Lois. P., 1809. Liv. 15, ch. 8*). Однако относительно тех же машин смотрите написанное тем же Монтескё — его цитирует Марк Блок в своем превосходном очерке «Водяная мельница»: «Если бы водяные мельницы не были поставлены повсеместно, я бы не подумал, что они столь полезны, как о них говорят, ибо они сделали праздными неисчислимое множество рук, отвяли у многих людей возможность пользоваться реками и лишили плодородия много участков земли» (*Bloch M. Moulin à Eau // Annales de l'histoire économique et sociale. 1932. T. 7. P. 538*). Монтескё принадлежит и такое замечание: «Духовенство, государь, города, вельможи и некоторое число видных горожан незаметным образом стали собственниками всей страны... человек трудящийся не имеет ничего» (*Montesquieu Ch.-L. de. Op. cit. Liv. 23, ch. 28*).

кать — ту, которую все «реформаторы» XIX века будут предлагать своим последователям, чтобы разрешить коренную проблему — проблему распределения продукта между трудом, капиталом и талантом. Однако «капитал» — слово не из XVIII века; оно появилось позже. Труд, о котором говорили люди того времени, — это труд земледельца или ремесленника, труд, который доставляет хлеб насущный и одежду, но не имеет цели доставить богатство; труд, который, кроме того, спасает труженика от величайшего из пороков, порождающего, согласно древней христианской традиции, все прочие пороки, — от праздности. Великая революция еще не свершилась — та, о которой пишет Мишле в великолепном — и столь малоизвестном — Предисловии к своей «Истории XIX века», показывая нам, как старая Англия — страна земледельцев — за четверть века исчезла, чтобы уступить место «стране рабочих, запертых в мануфактурах». Труженики XVIII века занимались ремеслами — теми ремеслами, к которым с любопытством приглядываются энциклопедисты, — и на их великолепных иллюстрациях оживают хитроумный инструмент и вольное мастерство. И это нужно отметить, ибо нельзя написать — не может быть написана История труда, если не создать одновременно Историю средств производства и приемов работы, Историю инструментов, Историю техники. Само собою, когда мы доберемся до XIX века, это уже будет история победного шествия машин и «фабрик»<sup>5\*</sup>, неразрывно связанных друг с другом. И то, какие это имело последствия, и как это отразилось на людях...

На деле же, с тех пор как в начале XIX века возникла целая литература — историческая, экономическая, социальная, — занимающаяся тем, что мы называем ныне «проблемами труда», люди того времени в своих книгах, в своих мыслях и попечениях связывали понятие «труд» с представлениями о бедности, нищете, эксплуатации. Будь то Бюре, печалившийся в 1840 году по поводу «Нищеты трудящихся классов в Англии и Франции», будь то Буайе, разбиравший в 1841 году «Положение рабочих и его улучшение посредством организации труда», будь то Мишель Шевалье, написавший в 1848 году свои «Письма об организации труда, или Исследование основных причин нищеты», или еще два десятка других авторов, опубликовавших в то же время аналогичные книги с подобными же названиями: труд и пауперизм, «Трудящиеся классы» и «Страдающие классы» — это названия двух последовавших одна за другою статей Кошута<sup>6\*</sup>; нищета, труд, организация и любовь к ближнему — все это совмещается в писаниях самых различных и несогласных между собой исследователей социальных вопросов.

<sup>5\*</sup> Следовало бы написать историю этого слова.

<sup>6\*</sup> Revue des Deux Mondes. 1842.



Тем временем теоретики отстаивали свою, отличную точку зрения и пытались возратить труду его достоинство. Вернуть ему права и четко их определить. Однако прежде всего — превратить его из проклятия, тяготеющего над обездоленными, и только над ними одними, в подлинный общественный долг, обязательный для всех; в долг приятный — и это реабилитирует его не менее, чем общеобязательность. Ручной труд «ненавистев в условиях цивилизации потому, что заработная плата недостаточна и есть страх ее лишиться, хозяева несправедливы, мастерские убоги, а трудовые действия чрезмерно продолжительны и однообразны». Это пишет Фурье, которого вскоре дополнит Кабе: «У каждого есть обязанность трудиться равное число часов в день соответственно его способностям — и право получать равную долю всего произведенного соответственно его потребностям... это относится ко всем и для всех обязательно». Труд возводится в ранг «общественной обязанности». Он выполняется в больших мастерских и становится, насколько возможно, привлекательным и непродолжительным; машины делают его более легким.

После этого неудивительно, что трудящиеся классы получили наконец «право на историю» — потому, что они были трудящимися, а не потому, что они были обездоленными. Они обрели почет, которому стали завидовать со всех сторон. Некогда звание «ремесленник» или «земледелец» было «низким». «Ремесленники, — писал старина Луазо в своем «Трактате о сословиях» в 1613 году, — это, собственно говоря, механизмы и почитаются существами низменными; «и в самом деле, — добавлял он, — мы называем „механизмом“ то, что низко и презренно». А земледельцы? Конечно, «нет жизни более безгрешной, чем та, что ведут они, и нет более естественного способа добывать себе пропитание». И что же? Во Франции «они столь унижены, даже угнетены, их настолько презирают, как людей низких, что можно удивляться, как они еще у нас есть, чтобы нас кормить». Это в 1613 году. А три века спустя именно они увенчают себя титулом трудящихся. Есть «труженики пера» — потому что есть «труженики рубанка». И мускулистые парни, которые держат ручки плуга, ведут борозду, косят, ворочают сено или на своих виноградниках на крутых склонах холмов без устали таскают вверх землю, неукоснительно сползающую вниз, — все они с удивлением слушают, как писатель, приехавший отдохнуть, или преподаватель, музыкант, певец, актер — как они говорят о своем «труде» и даже о требованиях профсоюза работников умственного труда или о профсоюзе театральных работников, к которому принадлежат кое-кто из говорящих, — так, словно речь идет о человеке, трудящемся под землей, в шахте. Жюль Ренар в своем «Дневнике» приводит одно остроумное замечание (это было сказано в 1901 году) — некий муж говорит о своей жене: «Ей повез-

ло, ее труд виден каждому; я же работаю больше нее, но мой труд никому не виден»<sup>7\*</sup>.

Тем временем Коллеж де Франс, верный своей миссии, насчитывающей четырехвековую давность, создает в 1907 году первую во Франции кафедру Истории труда; он доверит ее сначала Жоржу Ренару, затем Франсуа Симиану; и ученым этим будет затруднительно определить значение слова «труд», которое грозило оказаться приложимым ко всем людям, мужчинам и женщинам, в наших современных обществах. Ибо люди моего возраста видели, своими глазами видели, как между 1880 и 1940 годами был полностью развенчан человек, который ничего не делает, человек, не занятый трудом, праздный рантье, и как наметилось — с надлежащей задержкой — падение престижа «женщины, не имеющей специальности». Сегодня на сто французов приходится всего два рантье — я имею в виду людей, которые имеют гражданское мужество называть себя этим словом; это не намного больше, чем насчитывается в нашей стране бродяг, заключенных и призреваемых в больницах.

Так замыкается круг. Мы начали с труда-пытки, чтобы прийти (по крайней мере, если верить оптимистическим словесам) к труду на радость — потомуку «привлекательного труда», о котором мечтал и писал наш старина Фурье. Мы начали — или выразимся скромнее: мы должны были бы начать, ибо все это еще не сделано. Всю эволюцию слова «труд» нужно уточнять, устанавливать в подробностях. Когда это настоятельно нужное дело будет выполнено, можно будет похвалиться тем, что мы, воспользовавшись одним-единственным словом, сделали разрез истории психологической и социальной через четыре века истории французской.

В настоящее время за отсутствием серьезных и глубоких исследований мы можем дать лишь грубо упрощенную схему этого будущего разреза, точного и детального. Мы подменяем реальный срез — какой он получится, если исходить непосредственно из фактов, — подменяем его линией, проведенной жирно и размашисто, спрямленной, усредненной и приблизительной. Экономист этим удовлетворится. Брат и враг его — историк выразит, естественно, глубокую неудовлетворенность.

Дело ведь в том, что все, имеющее отношение к человеку, непросто. Ограничимся одним примером, зато понятным: если мы специально рассмотрим вблизи эволюцию идей, порожденных трудовою деятельностью именно в тот период, когда слово «труд» стало менять свое злое значение «пытки» на другое, все же более высокое — «тяжелая работа», то увидим, что в те же времена люди XVI века, люди Возрождения, его глашатаи, настойчиво пытались реабилитировать ручной труд, возвысить челове-

<sup>7\*</sup> Renard J. Journal. P., 1927. P. 690.

ка, который добывает свой хлеб в поте лица своего<sup>8\*</sup>. Проворно похитив у Рабле тень его замысла, его брата Жана, поразительного монаха, который никогда не празден, который все время что-то делает руками, даже когда поет в хоре, и при исполнении псалмов дает работу пальцам, плетя тетиву для арбалета, зачищая стрелы, мастера сети и силки для кроликов<sup>9\*</sup>, — откликается ему Ронсар в «Одах» (III, IV):

Ненавижу руки праздны —  
Пусть торопятся живеи!  
Друг мой, новой тетивою  
Встрепени свой дух заснувший...

Если продолжить изыскания, мы заметим странные вещи: например, что трудолюбивый горожанин того времени ополчается именем своего труда не только против монашеского безделья, но и против праздности знатных. Это было целое наступление, воссоздать которое заманчиво, если бы для этого нашлось время. Вслед за лирическими герольдами века — и это тоже знаменательно — мы видим, как встают подвигнутые на то же дело богословы — его лидеры, наставники, рупоры его идей.

Ибо так же как трудолюбив Бог иудейско-христианской традиции (в отличие от праздного аристотелевского Бога), столь же работающи — причем работают они руками — и персонажи обоих Заветов; а мы знаем, какой непреходящей силой воздействия — примером и назиданием — обладали эти книги. Разве сам Иисус не был мастеровым — каменщиком и плотником, как отец его Носиф? Что же касается его учеников-апостолов, то, даже если они и не одобряли горькие речи Екклесиаста: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (9, 10), они тем не менее со смирением вели суровую жизнь рыбаков и ремесленников — в пример людям, которые более, чем когда бы то ни было, доверялись им и поступали в соответствии с их наставлениями.

Все это было подхвачено, повторено голосом, который — наряду с голосом Платона — имел, несомненно, наибольшее воздействие на французов эпохи Возрождения, — голосом апостола Павла, наставлявшего фессалоникийцев, что только труд обеспечивает работнику достоинство и независимость, что наивысшая похвала — «ни у кого не ели хлеба даром» (2 Фесс. 3, 8) и, наконец,

<sup>8\*</sup> Достойные внимания размышления на эту тему см.: *Monod V. Le problème de Dieu et la théologie chrétienne depuis la réforme: Etude historique*. Montauban, 1910. В «Посвящении» Жака Пелетье к «Поэтике» Жюль-Эдуара Салюма мы находим такие примечательные слова: «Человек благородного происхождения должен иметь множество занятий, друг другу содействующих» (*Peletier J. Dédicace // Art poétique*. P., 1557).

<sup>9\*</sup> *Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль*. Кн. 1. Гл. 40.

что кто не работает, тот да не ест. Платон, другой величайший светоч эпохи, Платон «Государства», не признавал гражданином человека, не имеющего ни обязанностей, ни трудов<sup>10\*</sup>. И когда Жан Кальвин, прибывший в Страсбург, чтобы там поселиться, должен был записаться в цех портных — он, конечно, поразился тому, как хорошо сошлись закон города Страсбура и закон платоновского Города, истолкованный через поучения Павла<sup>11\*</sup>.

Так мы находим объяснение тому, что в XVI веке своего рода глубинная волна вынесла на поверхность культ, прославление ручного труда. Вспомним старину Платтера, гениального самоучку; ученики должны были приходиться за ним в мастерскую канатчика в Базеле, чтобы он явился перед ними и учил их древнееврейскому языку. Но он не был единственным в те героические времена, кто выполнял завет, изложенный в «Правде, скрытой на сто лет» (1533) самой дамой — Правдой:

Работай, рук не покладая,  
Живи, законы соблюдая...  
Тому апостол нас учил,  
Что вечным тружеником был.

Святой Павел, Платон; было, конечно, и другое, что с полной ясностью должен был бы показать здесь историк понятия «труд»: глас целого века, еще набожного и глубоко христианского, страстно жаждущего христианской правды, но который уже не перекладывает на Провидение заботы о своем хлебе насущном, и, дерзко повернувшись спиной к учению францисканцев и Нищего из Ассизи, большинство людей позволили соблазнить себя искушениям нарождающегося капитализма; они считают труд высшим законом для человека, вступают в борьбу, чтобы оседлать удачу и добиться богатства, — труд, благодаря которому можно жить, наживать, господствовать.

Однако не бывает действия без противодействия. По мифу, изложенному Платоном в «Политике» (он вернется к нему в четвертой книге «Законов»), круг земной движется попеременно то в ту, то в другую сторону. Вот золотой век, век Хроноса: ни го-

<sup>10\*</sup> Мы говорим о Платоне — авторе «Государства». Однако не забываем, что Плутарх в «Жизни Марцелла» рассказывал об осуждении, которому Платон подвергал таких людей, как Евдокс и Архит, пытавшихся создать инструменты для решения трудных геометрических задач, — Плутарх пишет, что Платон возмущался их намерением преодолевать интеллектуальные трудности, прибегнув к приспособлениям, «трудолубиво и услужливо сделанным руками» (XIV, 5).

<sup>11\*</sup> Отсюда — глава «О занятиях» у Томаса Мора; в ней Мор пишет о должностных лицах, на которых возложена обязанность следить за тем, чтобы все были заняты работой, чтобы всякий добросовестно делал свое дело и посвящал ему три часа утром и три после полудня, с правом работать сверх того в свои свободные часы, если есть желание (см.: *More Th. Liber Secundus* / Ed. M. Delcourt. P., 1936. P. 112 sqq.).

рода, ни семьи, ни труда; но созерцание приближает человека к богам. Затем — и это век Зевса — законы, изобретения, тяжесть терпеливого и мучительного труда. В XVI веке есть такие, кто идет за Зевсом. Но есть наряду с ними запоздалые подданные Сатурна, и они не хотят — в согласии с греческой и римской традицией, — чтобы грубый и докучный труд мешал их просветленному созерцанию; они протестуют. Эти аристократы, хранители греческой и римской мудрости, возрождают в себе высокомерие своих древних наставников, чьи руки были праздны, потому что за них работал раб. И именно они ввели в обычай презрительное отношение к ремесленникам, к работникам, к «механизмам», как они говорили; именно они — с высоты своего «Thesaurus» (Сокровища) и своих «Consciones» (Речей). У них будет длинная череда потомков. От Эразма через иезуитские коллежи они доживут до коллежей Императорского университета, затем до Королевских коллежей времен Реставрации. Последние из этих людей вымерли только перед самым концом XIX столетия.

По одному этому примеру видно, что чересчур обобщенная кривая, построенная по средним величинам, такая, какую мы провели и откомментировали, — до какой степени она может и должна быть усложнена терпеливым трудом историка, если он хочет постичь то, что одно только и важно: тысячу переменчивых оттенков, тысячу вариаций исторического процесса, тысячу столкновений различных струй и потоков. Историки эту работу не выполнили до сие время. Великолепный сюжет — новейшая история идеи труда с той поры, как он стал обозначаться во Франции словом «travail» — никто еще не взял на себя труд его изложить. И мы на первый случай должны удовольствоваться, сделав примерно то, что в свое время вынужден был проделать Симнан, чтобы построить кривые своей истории цен: использовать данные, часто неточные, всегда недостаточные, из различных источников, где они упоминаются некритически. Удобопонятная, простая и не строгая кривая, которой мы вынуждены удовлетвориться, передает по крайней мере тенденцию — «trend», как говорят наши экономисты, пользуясь английским словом. А тенденция ясна. Труд — суровый закон жизни. Но ничто не остановит человека в его борьбе за то, чтобы труд стал когда-нибудь благостным законом мира. Человек уже трудится в этом направлении. И помогает себе, изобретая новую технику. Технику, которую, конечно же, необходимо в наших исследованиях рассматривать совместно с понятием «труд» и его историей.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ

«Техника» — одно из многих слов, история которых не написана. История техники — одна из многих дисциплин, которые еще только предстоит создать целиком или почти целиком. Помещая эту статью, «Анналы» не претендуют на то, чтобы в порядке импровизации изложить скороспелую историю слова «техника» или спешно восполнить некоторые из наиболее вопиющих пробелов в наших знаниях. Цель у «Анналов» более скромная: побудить читателей, особенно молодых, к размышлению над комплексом проблем, которыми история пренебрегает слишком уж безмятежно. Что же означает «написать историю техники»?

1. Во-первых, это значит составить себе представление о том, как трудились в те или иные эпохи, в каждом ремесле, в каждом производстве — как работали работники. «Рабочие» из плоти и крови — или же из дерева и металла, люди и машины. Техническая история техники — это, конечно, занятие для техников; дело, чреватое грубыми ошибками, неизбежной путаницей, полным незнанием общих условий производства. Однако заниматься этим должны техники, не замыкающиеся в рамках одной какой-то эпохи, одной территории — и потому способные не только понять и описать, но и воссоздать старинные орудия труда, как подобает археологам, точно и остроумно; они должны интерпретировать документы, как проникательные историки; кроме того, они не должны забывать, что техника часто путешествует, что соседи часто заимствуют орудия труда, инструменты (или, наоборот, — что не менее интересно — решительно не желают заимствовать); что секреты, как бы тщательно их ни хранили, рано или поздно оказываются раскрытыми. Поэтому историк обязан следовать за своим объектом — за техникой — в ее путешествиях как во времени, так и в пространстве.

2. Любая попытка воссоздать технику прошлого, ее историю (я не решаюсь назвать эту историю «эволюционной», ибо слово «эволюционный» после Дарвина тянет за собой идею преемственности и даже постоянного совершенствования, при том что в области техники «прогресс» — это совместный эффект накопления мелких изобретений и ряда резких изменений, «революций», создающих радикально новые ситуации<sup>1\*</sup>), любая история совокупности приемов и процессов, инструментов и орудий труда, история производства ставит наряду с множеством второстепенных проблем одну основную: теория или практика. Это — проблема Науки. В какой степени (само собой, эта степень была различной в зависимости от эпохи, в зависимости от техники) — в какой степени создание и улучшение орудий труда, выработка или совершенствование приемов зависят, с одной стороны, от

---

<sup>1\*</sup> См., что говорит по этому поводу Поль Лесен в небольшой превосходно написанной книге: *Lesene P. L'évolution de la chirurgie. P., 1923.*

случайностей (или от того, что принято так называть) и, с другой стороны, от своего рода механической необходимости, от сцепления причин и обстоятельств чисто технического порядка? Или, может быть, определяющим является воздействие какого-нибудь чисто научного достижения или совокупности достижений науки? Проблема науки? Нет. Проблемы, много проблем. И все они двойные или тройные. Прямое движение — от причины к результату; есть и обратное — от результата к причине. Эпоха, момент, подходящий случай играют здесь значительную роль. Карл Маркс пишет, что «человечество всегда ставит перед собой только такие задачи, которые оно может разрешить»<sup>2\*</sup>. Если предположить, что к этим словам Маркса примыкают многие из рассуждений Курно, который в своих объемистых «Размышлениях о движении идей» констатирует, например, что уже за два столетия до изобретения телескопа «математическую оптику знали достаточно хорошо, чтобы можно было, руководствуясь теорией, найти такое сочетание и расположение линз, что из них получился бы прибор, известный под названием „телескоп“»<sup>3\*</sup>; однако Маркс, добавив такие слова: «при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления», — Маркс направил поиски по пути, отличному от того, который избрал Курно, старавшийся показать, как много выигрывает наука, «если изобретение, способствовать которому может случай, происходит именно тогда, когда разум людей подготовлен к тому, чтобы почти тотчас же извлечь все научные следствия и выводы из этого изобретения». Перед нами два разных подхода, одинаково заслуживающие внимания аспекты проблемы соотношения между наукой и техникой. Участие науки в технических изобретениях. Включение технических изобретений в последовательность событий, происходящих в науке.

3. Это все? Нет. Техническая деятельность не может отгородиться от других видов человеческой деятельности. Плотная и стиснутая ими со всех сторон, она попадает под их воздействие, всех вместе и каждой по отдельности. Будь то религия, или искусство, или политика, будь то военные или социальные потребности организованных человеческих групп. Техника находится, и это неизбежно, на службе у этих видов деятельности, при том что все они порождают определенную эпоху, все они (так же как и техника) — дело рук людей определенной эпохи и предназначены для того, чтобы удовлетворить потребности своего времени: мы имеем в виду «потребности» в широком смысле этого слова; милостыню подают не только

<sup>2\*</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 7.

<sup>3\*</sup> Cournot A. A. Considerations sur la marche des idées et des événements: dans les temps modernes / Ed. F. Mentré. P., 1934. Т. 1. P. 237.

хлебом — гласит старая французская поговорка; потребности бывают тоже не только насущные и чисто материальные. У каждой эпохи — своя техника, а у этой техники — стиль своей эпохи. Стиль, который показывает, до какой степени все взаимосвязано и переплетено в делах человеческих; стиль, который, если хотите, демонстрирует, как техника испытывает влияние того, что можно было бы назвать «общей историей», и в то же время воздействует на эту историю. Проблема здесь тоже двойная. Со времен Маркса ее называют бессмысленным термином — проблемой исторического материализма. Это, по сути дела, проблема глобальной истории.

Короче говоря, перед нами три больших раздела, неотделимые один от другого и полностью взаимосвязанные; их единство и составляет историю техники. Из этой констатации не вытекает ли то самое, с чего мы начали, а именно что история техники есть наука, которую еще только предстоит создать, целиком или почти целиком?

Археологи предоставили в наше распоряжение драгоценные реконструкции орудий труда прошедших времен. Этнографы добыли для наших музеев образцы «первобытных орудий». Инженеры по винтику разобрали для нас сложные современные механизмы. И все это, можно сказать, случайно, наудачу. Случайное любопытство, вооруженное знанием. Случайные находки, случайные стечения обстоятельств.

Тем временем другие люди, вооруженные знаниями совсем в другой области и движимые любознательностью совсем другого рода, ставили более или менее ту же двустороннюю проблему соотношений между наукой и техникой. Кювье освоил технику, абсолютно несвойственную натуралистам, его современникам, — технику препарирования; Ламарк остался верен прежним приемам работы. Кювье систематически вскрывал и препарировал мелких животных, погруженных в воду, и, чтобы сделать более отчетливо видимой систему сосудов тела, использовал тонкую технику инъекций окрашенного вещества. Именно она позволила ему так двинуть вперед науку. Именно она дала ему право в довольно кислом Похвальном слове, которое Кювье прочел в Академии после кончины Ламарка, отметить, что, если бы Ламарк умел препарировать, он ни в коем случае не думал бы того, что он думал. Все это так. Но уже то, что речь идет не о ком-нибудь, а о самом Ламарке, не показывает ли это нам, насколько сложен данный вопрос, не доказывает ли, что могучий и честный мыслитель может одним только усилием своего ума, устремленного в науки, чей путь еще не совсем определился, — может достойным образом возместить свое техническое несовершенство? Это один из сотен примеров, которые можно было бы привести. Однако мы видим, что любая попытка рассмотреть подобного рода вопросы почти сразу же оборачивается рассуждениями.



Вспышки света среди ночной темноты; прозорливые догадки, озарения, внушающие желание искать, забираться вглубь, находить,— вот что мы встречаем у лучших авторов. Например, у Курно. Труд философа, гораздо более, чем историка.

Наконец, «на самом верхнем этаже» разгораются споры о соотношении общей истории и техники. Тезисы приходят в столкновение: например, точка зрения Карла Маркса (чтобы не забираться во времена более ранние) и все те, с которыми он воевал,— тезисы не только «спиритуалистические», как это обычно себе представляют, но в такой же мере и тезисы плоского, ребяческого, однобокого материализма, для которого все, что образует «идеологическую надстройку» общества, может быть выведено прямо и непосредственно из «экономического базиса» — без всяких там хитростей, уверток и отклонений от правил. И здесь тоже — не пришло ли время подкрепить теории, какими бы они ни были убедительными, сколь бы ни были увлекательны их ошибки и схватки, не наступило ли время подкрепить теории достаточно твердо установленными фактами? Разве не настал час превратить утверждения в рабочие гипотезы (можно выразиться и так) и подвергнуть их проверке, изучая теперь не ту или иную группу, комплекс фактов, не наугад и не случайно, а целиком технику, все аспекты техники той или иной эпохи в их взаимозависимости, в их связях с наукой, современной этой технике, в их соотношениях с совокупностью человеческой деятельности, идей и институтов данной эпохи?

Однако разве не ведет все это к необходимому и неизбежному заключению? История, писал я в 1927 году, не может быть создана энциклопедическим трудом нескольких всезнаек, но только «самоотверженными усилиями людей, пришедших из разных областей науки, людей разной культуры, разных интересов. Ибо нужно иметь различную подготовку для того, чтобы описать содержание христианского религиозного сознания в XVI веке, или процесс изобретения паровой машины, или представление, которое имели о науке современники Руссо»<sup>4\*</sup>. К такой истории, как история техники, это относится в еще большей степени. Чтобы написать историю техники, потребуются направленные к одной цели усилия техников, интересующихся своею техникой и своим прошлым,— при этом они могут быть ремесленниками, инженерами, химиками и т. д.; усилия ученых, знающих историю своей науки (поскольку еще не созданы команды историков науки, надежно вооруженных и оснащенных для выполнения этой нелегкой задачи); наконец, усилия собственно историков — историков цивилизации, проникнутых духом синтеза. И все они должны со-

<sup>4\*</sup> *Febvre L. Un chapitre de l'histoire de l'esprit humain: Les sciences naturelles de Linné à Lamarck et à Georges Cuvier // Revue de synthèse historique. 1927. T. 43. P. 59.*

трудничать, иначе они рискуют увидеть, что труд их неудовлетворителен и лишен размаха. Но что значит «сотрудничать»?

Каждый пишет свою главу, руководствуясь старыми и известными методами? Зачем? Двадцать всезнаек (если вспомнить слово, которое я употребил выше) — двадцать всезнаек, пишущие двадцать глав, кое-как объединенных под одной обложкой, они, вместе взятые, составляют одного-единственного историка-всезнайку. Если где-нибудь необходима трудовая кооперация, то именно в этой области, где историк лишь крайне редко будет профессионально компетентным в технике; где историк стрельчатого свода будет настоящим архитектором, историк лошадиной сбруи — настоящим кавалеристом, а историк корабельного руля — настоящим моряком; при том что ни архитектор, ни кавалерист, ни моряк не будут правомочны говорить с авторитетностью, которую дарует мастерство, и со скромностью, какую дает истинное знание, о влиянии той или иной строительной конструкции, или сбруи, или корабельного руля на общую жизнь эпохи в целом, на условия труда работников того времени, на то, легко или трудно осуществлялись связи и контакты, на относительную активность тех или иных отраслей производства и т. д. Сотрудничество необходимо в работе над проблемой, которую нужно исследовать и которую каждый из сотрудничающих, конечно, должен исследовать в своем аспекте, но с обязательством соопоставить затем полученные им результаты и мысли, которые у него возникли, с мыслями и результатами, появившимися у других участников большой работы... Само собой, конечно, разумеется, что одному из работников, историку, особо для того подготовленному и, следовательно, наделенному выдающимися качествами и обладающему высокой общей исторической культурой, — такому историку на завершающем этапе вручается перо, чтобы он сделал выводы, согласовал, привел в систему и, если нужно, разъяснил результаты, полученные всеми, — сделал это за всех.

Только в тот день, когда наша старая техника мелких кустарей, работающих вручную, сменится такой вот системой, «тогда и появится история, такая, что никто уже не станет оспаривать ее ценность, важность и актуальность».

Я написал это в январе 1929 года<sup>5\*</sup>, в первом выпуске «Анналов». Если я об этом вспоминаю, то не ради суетного удовольствия процитировать самого себя. Но для того, чтобы подтвердить — на первых страницах этого специального номера журнала — преемственность замыслов и постоянство намерений.

<sup>5\*</sup> См. в наст. издании «Суд совести истории и историка».

## КАК ЖЮЛЬ МИШЛЕ ОТКРЫЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Возрождение: не так уж часто мы можем присутствовать при появлении на свет одной из таких исторических концепций, без которых люди обходились веками и которые затем вдруг доказывают свою необходимость, начинают жить и делаются столь привычными, что, даже критикуя их, люди более не могут без них обойтись, отказаться от них, писать историю так, как будто этих концепций не существует. Тирания слова, тирания имени, которой так страшатся люди из первобытных племен. Различие в том, что первобытный человек, назвав нечто по имени, завладевает им, становится хозяином. Что касается историка, то вещь, названная им по имени, очень часто становится вещью, владеющей тем, что ее называет.

Мы часто говорим о машинах, которые создаем и которые нас поработают. Машины делают из металла. Интеллектуальные категории, которые мы выковали в мастерских нашего мозга, завладевают нами с такой же силой, столь же тиранически; к тому же они значительно более живучи, чем техника, сделанная на наших заводах. История — сейф, слишком хорошо охраняемый, слишком крепко запертый. Из того, что она однажды приняла в себя, ничто уже не потеряется.

Что касается понятия «Возрождение», сработанного на долгую жизнь, — понятия, которое стало нам столь необходимым, что можно было бы составить целую библиотеку из одних только сочинений, написанных (во Франции и, быть может, еще более за границей) для того, чтобы приспособить и приладить это понятие в каждый момент его существования к движущейся реальности Истории, — понятие это родилось во Франции, и не очень давно. Самое большее — столетие назад.

Перечитайте «Прогулки по Риму» Стендаля, вышедшие в 1829 году, «Пармскую обитель» и «Аббатиссу из Кастро», помеченные более поздней датой — 1839 годом. С удивлением вы отметите, что Стендаль не располагал термином, который связывал бы воедино все то (факты и идеи), что содержится для нас в понятии «Возрождение». Перелистайте статьи из «Глоб», которые Сент-Бёв собрал и опубликовал в 1828 году под общим заглавием «Исторический и критический обзор французской поэзии XVI века»: в этих двух томах Сент-Бёв восстановил достоинство французского литературного и поэтического Возрождения, на которое классцисты так долго анафемствовали. Однако ни в заглавии, ни в тексте вы не встретите слова, которое стало для нас столь привычным, — слова «Возрождение» (и теперь нам на расстоянии это кажется чем-то почти невысказанным). И так же будет, если вы раскроете «Введение во всеобщую историю» Мишле, предисловие к которому было написано в апреле 1831 года. И предисловие к его «Воспоминаниям Лютера», которые были опубликованы в 1835 году, но написаны в 1828—

1829 годах; и «Примечания» к его курсу лекций в Эколь Нормаль<sup>1</sup> (1832—1834), которые откопал и извлек на свет Озе. Или все предисловия Виктора Гюго к тому, что мы вполне могли бы назвать его «драмами Возрождения»: к «Луcretии Борджа», к «Анджело, тирану Падуанскому», к «Король забавляется» и к «Марии Тюдор», — нет этого слова. Понятие «Возрождение» неизвестно поэту. Так же как оно неизвестно Мюссе, автору «Лоренцаччо» (1834), «Андреа дель Сарто», «Сына Тициана» или статьи 1833 года, вошедшей в Полное собрание сочинений и называющейся «Несколько слов о современном искусстве»: Мюссе перечисляет великие «века» искусства, такие, как век Перикла, век Августа, век Людовика XIV; он пропустил только век Льва X — век Возрождения.

Мы, конечно, не забыли, что в середине XIX века слово «Возрождение» встречается и здесь и там спорадически у разных авторов. Но во всех этих случаях речь идет о возрождении чего-то: чаще всего литературы или изобразительных искусств. Никогда не говорят о просто Возрождении с большой буквы, о том блистательном периоде истории Запада, когда, как принято считать, все воспрянуло сразу: искусства и литература — безусловно, но и науки, космография, география, анатомия, естествознание. И еще — христианская религия, обретающая новые формы; а также — экономическая активность, богатство века, удвоившего свой золотой запас, удесятерившего свои запасы серебра; и, наконец, само представление, которое составляют себе люди на Западе, — представление о мире, о жизни, о предназначении человека. И хотя Вольтер в своем «Опыте о нравах» говорит о блеске, который придало царствованию Франциска I «возрождение литературы», а Стендаль в «Истории живописи в Италии» (1817) говорит о «возрождении живописи», — не они создали понятие «Возрождение». «Возрождение, то есть великий подъем процветания, богатства и духа»: я нашел это определение (довольно любопытное) во втором томе «Философии искусства» Ипполита Тэна<sup>1\*</sup>.

Хорошо оно было выбрано или плохо — слово, которым будут называть все эти материальные и духовные, экономические и эстетические перемены; оно войдет во Франции в употребление только около 1850 года; скажем так: между 1850 и 1860 годами.

Итак, удивительное дело: нет еще и века, как это понятие, без которого мы, по-видимому, уже не можем обойтись, — не прошло и века с того времени, как оно привилось во Франции, разрослось и распространилось, воинственно отмежевалось от средневековья (при том что это последнее понятие тоже выражает концепцию недавнюю). Могущество слов удивительно.

<sup>1\*</sup> Taine H. Philosophie de l'Art. P., 1855. T. 2, ch. 2: La peinture des Pays-Bas.

Слов, придуманных исторической наукой. Но как только их придумали, они от нее ускользают. Они идут своей дорогой. У них своя судьба.

Возрождение: мы можем по всем правилам составить «свидетельство о крещении» этого понятия, которому была уготована столь славная судьба. Дата его рождения зафиксирована — 1840 год. Известен и отец — несомненный и знаменитый.

В Париже в те времена, а если сказать точнее — в 1838 году, можно было видеть, как два-три раза в неделю по направлению к Коллеж де Франс молодой походкой шел человек лет сорока, небольшого роста, с могучей головой, увенчанной серебряной шевелюрой<sup>2\*</sup>.

Это уже не был тот тридцатилетний человек, который десятью годами ранее, зимою 1828—1829 годов, тоже дважды в неделю пересекал площадь Пантеона по утрам, около половины седьмого, одетый в черный фрак, в кружевном жабо, с изяществом носившей короткие штаны и шелковые чулки. Появляясь в утренний час со стороны улицы Арбалет в придворном костюме, он скорым шагом добирался до улицы Сен-Жак и тех помещений, которые занимала Высшая нормальная школа. — под самой крышей старого «Людовика Великого». Этот человек, Жюль Мишле, преподавал историю маленькой принцессе Луизе, дочери герцогини Беррийской. И чтобы иметь возможность являться в Тюильри к восьми часам, он назначал свои лекции будущим преподавателям на столь необычное время. Он быстро забирался на чердак. Сонный юнец возвещал о его приходе. И можно было видеть, как по сырым и ветхим коридорам, словно тени, движутся один за другим несчастные ученики, оторванные от сна, с полузакрытыми веками и тяжелыми ногами, каждый со свечой в руке. Но как только Мишле начинал говорить, все забывалось — холод, усталость, мокрое безобразияе убогих комнат; взмах волшебной палочки — и аудитория вместе с пыльным волшебником улетала в феерический мир, где все было светом, жаром, жизнью...

В 1838 году Мишле, направляясь в Коллеж де Франс, имел вид более буржуазный. У нас есть драгоценная зарисовка. Она сделана превосходным человеком, Этьеном Галлуа, который, заменив Мишле на кафедре истории в Святой Варваре<sup>2</sup>, всю жизнь гордился тем, что был его преемником. «Мишле, — вспо-

<sup>2\*</sup> Напоминаю, что основная книга о Мишле — это труд моего учителя Габриеля Моно: *Monod G. La vie et la pensée de Jules Michelet*. P., 1923. Vol. 1—2. Будучи хранителем неизданных рукописей Мишле, которые он отдал в Парижскую Национальную библиотеку, Моно использовал эти материалы для своей книги; поэтому она будет обладать ценностью первоисточника до тех пор, пока бумаги Мишле не станут достоянием широкой публики (см. работы Поля Вяллана, появившиеся в 1959—1960 годах).

минает Галлуа, — шел в Коллеж, тщательно одетый, быстрым деловым шагом. Природная и немного застенчивая скромность, быть может, еще более, чем привычка к размыслениям, заставляла его чаще держать взгляд опущенным. Очертания его головы, лоб, изрезанный ранними морщинами, исхудавшее от работы лицо напоминали нам другого профессора, который с еще большим блеском занимал кафедру в Сорбонне: Гизо<sup>3\*</sup>».

В те времена, к которым относится зарисовка Этьена Галлуа, Мишле был совсем новичком в Коллеже. 23 апреля 1838 года в присутствии ректора Университета г-на де Сальванди (того самого, кто впоследствии, 12 апреля 1852 года, отрешит его от должности<sup>3)</sup>) он занял кафедру. И двумя годами позже в знаменитом курсе, начатом 2 декабря 1839 года, он приступил к современной истории Франции, средневековую историю которой он только что завершил. Он создавал «Возрождение». И определял его так. «Любезное нашему слуху слово „Возрождение“, — напишет он позже, — напоминает друзьям красоты только о пришествии нового искусства и свободном взлете фантазии. Для эрудита — это возобновившееся изучение античности, для законоведа — это свет, который начинает брезжить среди удручающего хаоса наших старых обычаев». Это все? Нет. Ибо Мишле создал не слово: он создал историческое понятие. Представление о целой стадии человеческой истории Запада, и эту стадию следовало понять и определить. Будучи, как всегда, первопроходцем, Мишле создал это представление прежде, чем люди, его современники, оказались готовы его правильно понять, наделить его всем тем смыслом, который в него вкладывал автор.

Он создал это понятие потому, что оно отвечало требованиям той человеческой и живой истории, которую он писал уже давно. И если он, породив это понятие, вынул его из глубины своего творческого гения, если он окрестил его «любезным нашему слуху именем „Возрождение“» — как истинный классик, умеющий возвращать словам их исконный смысл, — то это, конечно, потому, что слово носилось в воздухе, потому, что его употребляли, обозначая им возрождение искусств или возрождение литературы, а иногда и то и другое вместе; однако слово это не было необходимым. Имея достаточно узкий смысл, было ли оно в самом деле предназначено выразить этот двойной ряд событий: то, что люди за два или три поколения сбросили одежды средневековья, ставшие обременительными и тяготившие их плечи, и при новом ярком свете облачились в белые весенние одежды; и еще гораздо важнее, чем перемена убранства и одежд, важнее, чем торжество нового вкуса в литературе и искусстве, — постепенное создание и последовательное усвоение революционной концепции человека и мира — пред-

<sup>3\*</sup> Gallois E. Jules Michelet. Notes recueillies à son cours du Collège de France en 1838—1839.

ставления о месте человека в увеличившейся Вселенной, раздвинувшейся вширь и вглубь? Ибо именно таково Возрождение Мишле: понятие столь новое и оригинальное, что потребовалось два или три поколения, чтобы исчерпывающим образом постичь его содержание.

Да, конечно, Мишле мог в конце концов поискать новое слово, чтобы обозначить всю эту огромность. И силою своего гения заставить принять это слово. Если он этого не сделал, то потому, что вдохновение такого человека, как Мишле, всегда неотделимо от его личности. Потому что этот великий ясновидец, великий мистик, встречая то тут, то там слово «возрождение» применительно к истории искусства и литературы, со страстью набросился на это слово, сделав его «своим». Это слово, обычное, банальное, которое, казалось, начинает свой смиренный путь выражения, предназначенного для школьных учебников, Мишле внезапно наполнил щедрой жизнью, которую носил в себе. Всю свою страстную и ностальгическую тягу к смерти и к мертвым — к смерти, которая всегда была для него только дверью в иную жизнь. Всю свою горячую и неколебимую веру в бессмертие. Всю свою скорбь человека, недавно понесшего утрату, скорбь, которая его угнетала, — и всю свою надежду в начале страсти, которая его воскресала. Так родилось, так поднялось из глубин его души это понятие, такое плодотворное, такое оригинальное: Возрождение. Он создал его в одном из тех приступов вдохновения, в одной из тех богатых плодами конвульсий, испытать которые — исключительная привилегия великих в те благословенные часы, когда в их тигле осуществляется синтез духовных субстанций, к которому влечет их стремление души, — подобно тому как химик стремится к синтезу субстанций материальных <sup>4\*</sup>.

В июле 1839 года Мишле потерял свою первую жену Полину Руссо. Он женился на ней не по любви — из чувства долга, и этот союз был для него лишен той непосредственности чувства, которая оживляла увлечения его молодости. И все же Полина Руссо верно поддерживала огонь в семейном очаге в течение пятнадцати лет; и все же она родила ему двоих детей, Адель и Шарля; и все же она была ему подругой в трудные дни, и Мишле мог упрекнуть себя перед ее смертным одром <sup>5\*</sup> — не в том, что он ее предал, а в том, что слишком пренебрегал ею духовно, держа ее в стороне от своей интеллектуальной жизни, своей настоящей жизни, — оставлял ее слишком одинокой, душою и мыслями. Полина была для него привычкой и удобством. Она

<sup>4\*</sup> Мы вспоминаем великолепное определение истории, данное Мишле: «История — это неистовая гуманитарная химия, где мои личные страсти оборачиваются обобщениями, где народы, которые я изучаю, становятся мною, где мое „я“ возвращается, чтобы вдохнуть жизнь в „мои“ народы» (*Monod G. Op. cit. Vol. 1. P. 74*).

<sup>5\*</sup> Об этом см.: *Ibid. Vol. 2. P. 40*.

была дорога Мишле в той мере, в какой соединялась для него с домашним очагом, скромным буржуазным уютом, помаленьку отвоёванным у нужды человеком, все детство которого прошло если не в нищете, то, во всяком случае, в бедности, и были в нем бесконечные переселения с одной улицы на другую, из одного квартала в другой, и жилище без огня, и трапезы без хлеба. Теперь Полина покоилась на кладбище Пер-Лашез, в могиле под надгробием с латинской надписью, которую Мишле сочинил для нее, — не очень далеко от того места, где вторая жена историка под видом памятника мужу задумает поставить роскошный памятник себе.

Недели растерянности, раздражительности, никчемных приключений и невыразительных связей. А затем — страсть, внезапно ворвавшаяся в жизнь историка. Он познакомился с мадам Дюмениль, он пленился общностью мыслей и чувств (которую он, впрочем, преувеличивал в первом порыве страсти) с умной и чуткой, достойной его женщиной; после того как чувства его умерли — новая жизнь, *una vita nuova*<sup>4</sup>, расцветает в его сердце. *Mors et vita* [Смерть и жизнь]: у мистика Мишле эти два слова были нерасторжимо соединены неизбежной связью: жизнь выходит из смерти, смерть открывает двери для новых жизней<sup>5\*</sup>. Рождение, смерть, Возрождение: триада, хорошо ему знакомая. Так же как ему была привычна аллитерация: «рожденный, возрожденный», которую он употребляет очень часто<sup>7\*</sup>. Через свою новую любовь он возрождался к жизни. Он нес в себе глубокое ликующее чувство возрождения. И когда он встречал — в своей рукописи или среди написанного кем-нибудь из его современников — это словечко, выведенное с малой буквы, которое наряду с другими (восстановление, возобновление, воскрешение) служило для обозначения тех перемен, что произошли в литературе и искусствах на пороге нового времени (не более того), — он останавливался, он улыбался этому слову, которое улыбалось ему; он приберегал его для более высокой судьбы<sup>8\*</sup>.

<sup>4\*</sup> См. прекрасное письмо к зятю Альфреду Дюменилю с известием о рождении сына Мишле от второго брака (ребенок этот прожил недолго): «Его назвали Лазарем... „Лазарь“ означает „воскресение“, прекрасное слово, прекрасное имя, прекрасное начало... Воскреснуть, родиться или возродиться — это, я думаю, одно и то же. 3 июля 1850 г.» (*Michelet J. Lettres inédites à Alfred Dumesnil, et à Eugène Noël, 1841—1871* / Publ. P. Sivren. P., 1924).

<sup>5\*</sup> «После многих бедствий, о которых я рассказал выше, умерев и родившись вновь, я написал „Возрождение“» (*Michelet J. L'histoire de la France. 2<sup>e</sup> éd. P., 1869. Vol. 1. Préface.*

<sup>6\*</sup> См.: *Monod G. Op. cit. Vol. 1. P. 54, not. 1* — здесь ясное указание Мишле на то, что курс лекций его о Возрождении (1840 год) родился из отчаяния, в которое его повергла смерть Полины, и «возрождения» (слово написано черным по белому), которое принесла ему встреча с мадам Дюмениль.



Это еще не все. Мишле тогда закончил книгу, которая наряду с его «Жанной д'Арк» представляется нам лучшей в его истории средневековой Франции. Может быть, это его шедевр историка: «Людовик XI». Книга блистательная, острая, полная озарений<sup>9\*</sup>. Однако написал он ее не без страданий. Люди, которых он, передвигаясь во времени и переходя из XIII века в XIV, из XIV в XV век, встречал на своем пути, — он не мог принять их душою. Он страдал от этого — в своей страстной потребности любить прошлое, которое он воскрешал. В сущности, его настоящая любовь была в этом прошлом. Такие, как Мишле, — душою они не с современниками, людьми из плоти и крови; им владеет история — прежде всего и превыше всего, она пожирает его, не оставляет в нем места для живых страстей. Мертвецы грызут его мозг, его кости, его плоть: он говорит об этом, пишет об этом двадцать раз, сто раз в своих письмах, с сокрушением и гордостью<sup>10\*</sup>. Однако покойники XV века — это, на его взгляд, скверные покойники. И он, воскрешая, ненавидел их. Куражо, тоже человек импульсивный, написал как-то жестокие слова о скульптурных портретах, сохранившихся от этой не слишком привлекательной эпохи: это бюсты дегенератов с лицами хитрыми, злобными и низменными. Мишле подписался бы под этим обеими руками.

Перед ним возвышались только две крупные фигуры. Одну из них он написал размашисто, как фреску. Другую изобразил мелкими мазками, возвращаясь к ней снова и снова. С одной стороны, Карл Смелый — прообраз Карла V<sup>o</sup>. С другой — Людовик XI, король-буржуа, с тонким носом, с заостренным профилем, как у Панурга. Из этих двух людей первый отталкивал его своим беспокойством, жестокостью, одержимостью, чем-то похожей несколько на безумие. Но разве мог он в то же время ее притягивать историка — этот Великий герцог Запада<sup>7</sup>, от которого мы не можем просто так отделаться, пробормотав: «полу-

<sup>9\*</sup> Напоминаю, что Мишле опубликовал первый и второй тома своей «Истории Франции» в 1833 году; том третий «Филипп Красивый» — в 1837; том четвертый «Карл V и Карл VI» — в 1840; том пятый «Карл VII и Жанна д'Арк» — в 1841; том шестой «Людовик XI» — в 1843 году, в декабре. После чего (при том что книга «Возрождение» — курс, прочитанный в 1840 году, — была уже частично написана) Мишле забросил «Историю Франции», опубликовал «Иезуитов», «Священника», «Народ», затем первый том «Истории Революции». Закончив ее, он вернулся к «Истории Франции» и в 1855 году выпустил «Возрождение» и «Реформацию».

<sup>10\*</sup> К Эжену Ноэлю, 17 октября 1853 года: «Эта книга пожирает меня... я выпил слишком много черной крови мертвецов». К О. де Жерандо, 18 сентября 1849 г.: «Я занят очень трудным делом — мне нужно еще раз пережить, проделать, перестрадать Революцию. Я только что прошел через Сентябрь и все смертные муки; меня убивали в Аббатстве, а потом я шел в Революционный трибунал, то есть на гильотину<sup>5</sup>...» и т. д. Весь сборник Сирвена полон высказываний такого рода.

сумасшедший!» Карл Смелый, страстный любитель музыки, который мог на долгие часы погрузиться в немое созерцание бушующего моря и яростных волн; Карл Смелый, которого глоток вина приводил в лихорадочное состояние, которого душили кровавые вспышки гнева, который то раздражался потоками красноречия, то задыхался от ярости, не в силах вымолвить ни слова, — и собственными руками во время осмотра оружия убил в строю лучника — он стоял не так, как положено. Карл Смелый, который, как Пикрохол<sup>8</sup>, «брался за все» и не закончил ничего и испустил дух возле Нанси, в ледяной грязи пруда Сен-Жан, где его несчастные приверженцы нашли только обнаженное тело, обеденное волками. Карл Смелый, боец и труженик. Великий охотник составлять педантичные ордонансы. Кровавый убийца свирепых диких кабанов. Человек со светлыми, нежно-голубыми глазами на лице мулата.

Он притягивал, он отталкивал своего художника. Он внушал ему некоторый страх. Но в общем меньший, чем его соперник, — король-буржуа Людовик XI. И в Людовике XI ужас внушал историку именно буржуа. Ибо Мишле полагалось — там, куда он добрался, — ему было необходимо рассказать о пришествии буржуазии. Но как тягостна была ему эта обязанность! Глядя на всех этих буржуа, он не испытывал естественной радости, удовлетворенного довольства какого-нибудь Огюстена Тьерри, счастливого тем, что он живет при Июльской монархии вместе со своим братом Амедеем в мирной префектуре Везуль. И не мог Мишле испытывать чувства гордости, как Гизо, который всегда был готов провозглашать свое «Обогащайтесь»<sup>9</sup> — перед мужчинами и женщинами, готовыми следовать этому лозунгу с излишним рвением.

Я выдумываю? Да нет же. Прочитайте письма Мишле, полные жалоб, стонов и презрения. Историк задыхается, он едва волочит ноги «в этой прозе», как пишет он Альфреду Дюменилю 15 октября 1841 года. И он уже обдумывает двенадцатый параграф своего «Введения в Возрождение» — параграф, который называется «Фарс о Пателене. Буржуазия. Скука». «Пателен» — марсельеза плутовства. «Пателен»<sup>10</sup>, отражающий изменчивость народа и изменчивость буржуазии: «благородное взаимное обучение буржуазии и народа». Так же как «Маленький Жан из Сентре»<sup>11</sup>, выводит на свет и изображает моральное падение знати.

Мишле изнемогает в этой буржуазной пустыне. Мишле жаждет, у него страшная жажда, смертельная жажда. Мишле кричит: «Пить!», как герой Рабле<sup>12</sup>. Ему так необходимо помолодеть, посвежесть, обновиться! Внезапно он добирается до царствования Карла VIII. До Итальянских войн. Славный ходок из Арденн — он пускается в путь. Он следует за войском. И вот он уже слышит на темных улицах Флоренции шаг гасконской пехоты. Он слышит, как скачут по мостовым кони адъютантов,

слышит грохот тяжелых орудий, от которого сотрясается земля. Купол, творение Брунеллески, и красное здание Сеньории, и Савонарола предстают перед ним. Внезапно, как на повороте за большую скалу Гондо, на спуске с Симплона, перед нами вся Италия — сразу, вдруг, с ее красивыми девушками под сверкающим небом, с ее золотистыми плодами, быстрыми, подвижными людьми, с ее городами, обремененными историей, с церквями, полными статуй и картин. Вся Италия и ее радость жить прекрасной, вдохновенной, бескорыстной жизнью, украшенной трудами и заботами духа. Вся Италия, и ее величие, и ее вечная поэзия.

И тогда взлетело слово. Слово пришло на уста Мишле преобразенным, освобожденным, возрожденным. Слово «Возрождение». Возрождение литературы, искусств? Конечно, как же иначе! Возрождение: полное обновление всей жизни. Достаток, Надежда. Лица людей, которые теперь не наблюдают с отвращением упадок, жестокую агонию средневековья, но, сияя, поворачиваются к будущему. Исполненные веры, со светом в глазах и счастливым смехом, смехом с ямочками на щеках, как у красивых детей работы Донателло.

Вот так родилось понятие «Возрождение». Вот так Возрождение получило свое имя. Дитя Мишле, родившееся из его головы? Не столько из головы, конечно, сколько из его сердца, из его чувств, из бунта и ожидания — из его непобежденной любви к жизни<sup>11\*</sup>. Он сам сказал об этом в одном из тех кратких изречений, на которые был мастер: «Возрождение — это Возрождение сердца».

Здесь и заканчивается эта история? Нет, конечно. Чтобы понятие «Возрождение» явилось на свет, чтобы оно обрело права гражданства, нужно было не только, чтобы Мишле выбрался из темного туннеля XV века, через который он шел с трезвой головой и отвращением в сердце. Позади XV века были века XIV и XIII и великий XII век, век Абельяра, — Мишле очень хорошо сказал о бодрой силе и щедрой плодovitости этого века: когда-нибудь из него народится истинная эпоха Возрождения, исполненная юного пыла. Одним словом — позади Людовика XI и Карла Смелого лежало средневековье, которое современники Мишле наделили таким престижем и обаянием и которому он сам некогда благоговейно поклонялся. Огромный собор средневековья,

<sup>11\*</sup> Прекрасный отрывок из письма к Дюменилю от 15 мая 1841 года (12); речь идет о Возрождении: «Никогда еще прежде мне не доводилось поднять такую громаду, вобравшую в себя в живом единстве столько внешне противоречивых элементов. Все эти элементы — они были в моей голове, но только как знание, ныне они стали моими чувствами, моими собственными мыслями; если вся эта внешняя по отношению ко мне история стала теперь такой простой, — это потому, что, после того как я отыскал ее в себе, она стала мною самим» (*Michelet J. Lettres... P. 12*).

куда со времен Шатобриана образованные и чувствительные французы входили не иначе как отрешившись от суеты, обнажив голову, преклонив колено, как перед священнейшим алтарем их исконной цивилизации<sup>13</sup>...

Если бы этот алтарь сохранил все свое обаяние и престиж в глазах Мишле — никакое «Возрождение» не было бы возможно. Или, скорее, это было бы всего лишь «Возрождение» после старческого упадка — восстановление первоначального средневековья, средневековья во всей его изначальной чистоте, истинного средневековья, со всем лучшим, что в нем было... Но Возрождение Мишле не было восстановлением средневековой чистоты. Оно было отрицанием средневековья. Разрушением традиции. Оно не прибавило нового звена к цепи. Оно вышло из небытия. *Tabula rasa* (выскобленная дощечка, — здесь чистая, белая страница). Или, если хотите, — Чудо. Мишле сказал об этом великолепно и в своем стиле: «героический бросок исполинского стремления».

Так должно было быть. По причинам интеллектуального порядка или, если хотите, порядка исторического? Да нет же. По причинам личного характера. Такой человек, как Мишле, не анатомирует историю с холодной головой. В сороковые годы в нем самом завязывается драма — и разрешается. В сороковые годы Мишле отдаляется от средневековья и — не знаю, как сказать: от христианства или от Церкви? Прежде всего от Церкви, от священников, от иезуитов и тем самым — от христианства. И от его средневекового искусства, готического искусства. В сороковые годы Мишле отталкивает от себя все, что до этого времени питало его. И, будучи неистовым в своих страстях, он не ограничивается отречением, тем, что отворачивается от своих былых увлечений. Ему нужно было растоптать их. Отрицать, убивать. Чтобы иметь возможность жить вольготно в своем Возрождении, Мишле убивает, казнит, истребляет «этот причудливый и чудовищный порядок, фантастически искусственный»: христианское средневековье.

Драма духа, о которой он писал многократно. Впервые — в «Народе» (1846); вспомним признание, которым заканчивается эта книга: «Средневековье, в котором я провел свою жизнь, средневековье, чье трогательное, еле слышное дыхание я воссоздал в своих книгах... Я должен был сказать ему: „Прочь!“ — ныне, когда нечистые руки тащат его из могилы и ставят перед вами этот камень, чтобы мы споткнулись и упали на дороге, ведущей в будущее».

Драма духа? Но если человека, который страдает и отрекается, зовут Мишле... Однако что я такое написал и при чем здесь гений?

Глупец, убожество, невежественный магистр обнаруживает между «древним веком» (*aetas antiqua*) и «веком современным» (*aetas moderna*), которые уже были выделены его современника-

ми. — он обнаруживает обширную страну фактов и деяний, не имеющих своего прозвания. Он окрестил ее «промежуточным» или «средним веком» (*aetas intermedia*)<sup>14</sup>. И это название остается. И «созданное» таким образом средневековье обретает плоть и обретает жизнь. Мало-помалу становится реальностью. Чем-то живым. Существом, которое рождается, растет, переживает пору расцвета, деградирует и умирает. Личностью, чью психологию изучают. Изучают всерьез. Как будто эта личность в самом деле существует. Как будто она когда-нибудь существовала.

Великий историк, гениальный творец, Мишле тоже впервые связал воедино факты разнородные, но из одной эпохи. Целое он нарек прекрасным именем «Возрождение», словом, которое он нашел в себе самом, а жило оно в нем благодаря сугубо личным обстоятельствам самого Мишле. Так Возрождение, этот ярлык, в свой черед тоже становится реальностью, которая противопоставляется средневековью. Сталкивается с ним и побеждает. Но, кроме того, в значительной мере определяет наше понимание средних веков.

Безымянный педант. Гениальный Мишле. Результат одинаковый. Это учит нас скромности и тому, что все относительно. И я был прав (еще более прав, чем мне представлялось), когда написал: «История — наука о человеке. История — дело рук человека».

## НАУЧНЫЙ ПОРЫВ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Продолжив рассказ об истории связей и соотношений между развитием науки и развитием человечества — рассказ, начатый здесь же Апри Берром пятнадцать дней назад, — я, быть может, удивлю вас, если скажу, что глава о Возрождении — одна из самых недавних и незаконченных. Ведь каждый полагает, что у него имеется достоверное представление о Возрождении. И к тому же простое. У истоков — античная наука. Открытия древних греков, создавших геометрию Евклида, механику Архимеда, медицину Гиппократа и Галена, космографию и географию Птолемея, физику и естествознание Аристотеля. Целый мир знаний, которые от греков перешли к римлянам. Затем — нашествия. Погружение в ночь. Сокровища античности если не утрачены, то, во всяком случае, затерялись. И ничего взамен. На протяжении веков — ничего, кроме силлогистических рассуждений и бесплодной дедукции: никаких плодотворных теоретических достижений, никаких важных технических изобретений.

Так продолжается до того дня, когда вдруг в конце XV — начале XVI столетия разражается революция: люди осознают свою интеллектуальную нищету. Они пускаются на розыски пропавших сокровищ, находят один за другим куски, разбросанные по библиотекам и чердакам монастырей; люди обретают способность пользоваться этими сокровищами, то есть героическим усилием воли снова обучаются читать на настоящей латыни, на классическом греческом языке и даже на древнееврейском, бесполезном для познания наук, но необходимом для толкования религиозных текстов. Тогда наступает опьянение. Битком набитые античностью, внезапно поступившей в их распоряжение, эти гуманисты, осознав свой долг, принимаются за дело. Они призывают себе на помощь книгопечатание, которое они только недавно изобрели. На подмогу им приходят новые, только что ими полученные географические знания, которые резко расширили их духовный горизонт — так же как горизонт физический. И тогда из Пифагора вырастает Коперник, из Коперника — Кеплер, из Кеплера — Галилей<sup>1</sup>. Тогда же Андрей Везалий объединяет плоды опыта с наследием гиппократовой традиции<sup>2</sup>.

Все это логично, стройно, все просто. «Просто» — это ужасное слово, которое историк должен изгнать не только из своего словаря, но и из своего сознания. Ибо история — это одна из наук о человеке. А все, что относится к человеку, — просто.

Что же мы знаем обо всех этих проблемах сегодня?

Прежде всего, мы уже не говорим про «ночь средневековья». Не говорим, ибо эрудиты, терпеливые и упорные книжные черви, написали множество статей, чтобы доказать, что такие-то и такие-то люди средневековья не были, как полагали прежде, полными невеждами в античной словесности и античной науке. Эти свидетельства не имеют большого значения. Ибо важно не то,

что какой-нибудь брат Жан или брат Бенуа из ордена доминиканцев году в 1280-м прочел в рукописи тот или иной фрагмент классического текста. Важно, как, каким образом брат Бенуа или брат Жан прочитали этот фрагмент. Ибо люди средневековья, читавшие античные тексты, были, несомненно, насквозь пропитаны, проникнуты такими идеями и понятиями; присущие им способности и навыки мыслить, чувствовать, рассуждать оказывали на них столь сильное влияние, что все это как бы иммунизировало их против всякой не христианской мысли и в особенности против того типа мышления, против того способа рассуждать, которые были свойственны греко-латинской античности. Если воспользоваться словом, взятым из современности, средневековое христианство было «тотальным». Оно не ограничивалось тем, что предлагало свои решения всех великих метафизических проблем и забот, мучивших людей того времени. Сосредоточив в себе весь авторитет, все знание той эпохи, средневековые «Суммы» с выразительными названиями «Зерцало Мира», «Образ Мира» и т. д. охватывали жизнь человека целиком и сопровождали его во всех событиях и поступках его жизни, общественной и личной, религиозной и светской. Они вооружали человека вполне связанными между собой и непротиворечивыми представлениями о природе и науке, о нравственности и о жизни, об истории, о прошлом, о настоящем, о ближних, дальних и конечных целях человечества. В этих великих средневековых энциклопедиях человек узнавал о себе все. И поэтому — как же мог он уразуметь дух античных текстов, в которых (по счастливой случайности) мог разобрать тот или иной отрывок, тот или иной фрагмент?

Нет, это не меняет дела. Если мы теперь не говорим про «ночь средневековья», то потому, что не можем больше верить в эти праздные вакации, о которых нам говорили: вакации человеческого любопытства, стремления наблюдать (можно выразиться и так), стремления изобретать. Это потому, что мы сказали себе наконец, что эпоха, имевшая архитекторов такого размаха, как строители наших великих романских соборов — в Клуни, Везеле или собора Сен-Сернин в Тулузе; и наших великих готических соборов — в Шартре, Париже, Амьене, Реймсе, Бурже; и могучих укрепленных замков знатных баронов — таких, как Куси, Пьерфон, Шато-Гайар, строители, успешно разрешившие все возникающие при этом геометрические, механические<sup>3</sup>, транспортные проблемы, вопросы материального обеспечения, задачи, связанные с подъемом строительных материалов к рабочему месту, использовав всю сокровищницу наблюдений, без которой не обойтись и которая при этом, в свою очередь, пополняется, — было бы издевательством отказать такой эпохе в наблюдательности и изобретательности. Если поразмыслить здраво, если приглядеться повнимательней, станет ясно, что люди, которые придумали, или переоткрыли заново, или перенесли в

нашу западную цивилизацию лошадиную упряжь с подгрудным ремнем, обычай ковать лошадей, стремя, пуговицу, мельницу (водяную и ветряную), прялку, рубанок, компас, порох, бумагу, книгопечатание<sup>4</sup> и прочее,— эти люди вполне заслужили право называться изобретательными, и человечество должно быть им благодарно.

Поэтому, когда нам говорят: «В эпоху Возрождения дух наблюдательности, стремление наблюдать появляются вновь», мы отвечаем: «Нет, у них не было нужды появляться вновь, они никогда и не исчезали. Они продолжают быть. И прежде всего, обзаводятся соответствующим снаряжением и материалами». Ибо для того чтобы строить крупные ансамбли — теории, системы,— нужны в первую очередь материалы. Много материалов. Средние века никогда не располагали такими материалами.

Огромный труд античных компиляторов — средневековые его как бы потеряло. Здесь и там в какой-нибудь рукописи сохранялись какие-то обрывки — в рукописи, известной немногим людям. В трех сотнях лье от этого места находилась, быть может, другая рукопись, но практически не было никакой возможности сравнить их не торопясь, сопоставить с собственным опытом.

И вот появляется книгопечатание. В то же самое время отыскиваются разрозненные фрагменты античного знания. В дело вступает книгопечатание. Оно становится передающим звеном. В 1499 году в Венеции у Альдо Мануцио выходит сборник сочинений древнегреческих астрономов. С 1495 по 1498 год у того же Альдо печатается греческий текст Аристотеля. Уже в 1475 году в Виченце была напечатана «Космография» Птолемея, сначала без карт, затем, начиная с римского издания 1478 года,— с картами. Книги выходят одна за другою: в 1533 году в Базеле — первое издание «Начал» Евклида; в том же Базеле — «География» Птолемея с предисловием Эразма и в 1544 году тоже в Базеле — первое издание трудов Архимеда. Гиппократ был издан на греческом языке в 1526 году у Альдо. А всех опередил Плиний, впервые опубликованный в Венеции в 1469 году. Вот перед вами в оригинале вся математика, вся космография, география, физика, все естествознание, вся медицина древних, ставшие доступными для всех. Теперь мы во всеоружии. Можно дополнять, интерпретировать, если нужно — исправлять свидетельства древних. За это принимаются с необузданным пылом. Швейцарец Геснер с бешеной страстью каталогизирует всех животных, сказочных и реальных, о которых он нашел упоминание в каких-либо письменных источниках. Труд колоссальный, неблагодарный, необходимый. То же самое с растениями: взгляните на старейшину всех наших иллюстрированных «Флор» — на «Изображения растений» Брунфельса, три великолепные фолианта, вышедшие в свет в Страсбуре с 1531 по 1536 год. Взгляните на «Описание растений» Леонарда Фукса, напечатанное в Базеле в 1542 году.



Посмотрите на «Рыб» Ронделе и Пьера Белона, на «Металлы» Агриколы и т. д. За работу принялись труженики-титаны. Они могут предаться своей работе. Их труд не пропадет. Они знают, что существует книгопечатание, которое размножит и распространит их книги. И Рабле (он из этой же компании) — Рабле в своем «Гаргантюа» и в своем «Пантагрюэле» запекает гимны науке, беспредельному человеческому Знанию: Прогрессу.

Прогресс был стремительным: в 1543 году выходят в свет два героических труда: «Об обращениях небесных сфер» Коперника и «О строении человеческого тела» Везалия. Кто такой Коперник? Питомец итальянской науки, приобщившийся к учению пифагорейцев; имея возможность читать и перечитывать труды древних авторов и своих современников, он вывел из них собственную систему мира; только после этого он попытался сопоставить свою теорию с несколькими наблюдениями, довольно элементарными. Кто такой Везалий? Воспитанник медицинских факультетов в Париже и Монпелье; на собственный путь он вышел в Падуе (куда явился, чтобы учиться хирургии), когда начал анатомировать трупы; он ревизует или подтверждает Галена или противоречит ему, опираясь на факты, которые он может наблюдать и проверять на вскрытиях. У Коперника — сначала работа над книгами. Попытка проверить — позднее. У Везалия — сначала наблюдение, затем сопоставление. Тут и там книгопечатание играло ведущую роль. Книгопечатание, и только оно одно, позволило современному знанию соединиться с тем, что было сделано древними, и включить его в свой состав. Уточнить знание древних. А вскоре и превзойти. И заменить его собою.

Тем более что в наступающей армии нашего западного человечества всегда было более одного течения. Рядом с официальным знанием, знанием университетским, знанием профессионалов, всегда существовало и тайное знание, свободное, если хотите — еретическое. Здесь — мудрые профессора. Там — изобретатели, порою фантастические. Здесь — толкователи Аристотеля, Гиппократы, Галены и Птолемея, овладевающие заново античным наследием, чтобы затем его превзойти, следуя, однако, все время по путям, проложенным древними; там — самоучка, вольный стрелок науки вроде гениального Леонардо да Винчи, в котором сочетаются пронизательный наблюдатель, экспериментатор, предвосхитивший достижения современной науки, крупнейший философ науки; но воздать ему должное можем только мы — люди XIX и XX века, имеющие возможность прочитать его рукописи, которые были неизвестны его современникам. И там же — еще один художник, значительно меньшего масштаба, наш создатель «сельской глины»<sup>5</sup> — Бернар Палисси; в своих любопытных сочинениях он заставил Теорию, великую любительницу чтения, вести диалог с Практикой, великой изобретательницей. И там же — еще один ученый, правда полуеретический, — Пагел с,

увлеченный алхимией; сойдя с проторенных дорог, он бродил по кручам, которые впоследствии приведут врачей к арсеналу фармакохимических средств. Два течения. Множество течений, ибо человечество никогда не шествует по большой дороге, совершенно ровной и прямой, вдоль которой выстроились сменяющие друг друга алтари, называемые то «греческой философией» (словно рядом с греческим рационализмом не было греческого иррационализма, столь же мощного и исторически плодотворного), то «христианской теологией» (как если бы не было инакомыслия и ереси, противостоявших ортодоксии, и словно ортодоксия — это не равнодействующая противоречащих друг другу гетеродоксий), то «Университетской Наукой», наследницей науки иезуитов (как будто рядом с этой струйкой прозрачной воды не били всегда ключи свободного духа — от Рабле до Дидро, от Монтеня до Вольтера, от Руссо до Гюго и Мишле).

1543 год, Коперник. 1543 год, Андрей Везалий. Однако в 1564 году в пятой книге «Пантагрюэля», посмертной (и мы никогда не узнаем, в какой мере эта книга была написана по канве, оставленной Рабле), — в пятой книге, в тридцатой главе, — странная аллегория Часлышки: маленький уродливый старичок, слепой, парализованный, но весь увешанный ушами, всегда широко открытыми, и наделенный семью языками, которые болтают одновременно в его пасти, подобной зеву печи. Наслышка, через все свои уши получающий знания, которые он никогда не проверяет — знания из книг и от говорунов — и изливает их, пользуясь всеми своими языками, в распахнутые уши слушателей, которые никогда не будут эти знания проверять. «И все — понаслышке»: это — лейтмотив фрагмента, рефрен, который задает ему ритм. Разящая ирония. Она говорит нам о том, что целый большой цикл вот-вот будет пройден. И он завершится в тот день 1589 года, когда Галилей, прекратив рассуждения о том, каким образом должны падать тела и как не должны, поднимется на верх наклонившейся башни в Пизе, уронит тяжелый предмет и, призвав на помощь своих товарищей, измерит реальную скорость падения тел<sup>6</sup>. Вчера — сначала теория, затем — факты, сегодня — сначала факты, теория потом. Переворот произошел. Переход от эрудиции к наблюдению, от наблюдения к эксперименту. Благодаря работе, проделанной Возрождением, наука может двигаться по столбовой дороге прогресса.

## ИКОНОГРАФИЯ И ПРОПОВЕДЬ ХРИСТИАНСТВА

На протяжении всего средневековья искусство не было вольным творцом своих созданий. Законы диктовались ему иконографией. Что она собою представляла? В чем состояли ее предписания? Почему были установлены эти строгие, незабываемые, всеобщие правила (ибо памятники старины являют нам множество примеров совершенно единообразного применения этих правил)? Следует ли ответить просто: «Художественная условность» — и проследовать далее? Нет. Потому что речь идет о высокоразвитой, отлично согласованной системе правил и предписаний, объяснить которую старое понятие «условность» совершенно не в состоянии.

В чем же дело? Дело в том, что искусство в средние века было прежде всего средством пропаганды; не более, но и не менее того. И вот истинная причина, объясняющая зарождение, особенности и развитие христианской иконографии за все время ее эволюции. Одно из средств пропаганды в сочетании со многими другими: с музыкой, пением, драматическим действием. Но такое множество средств — не было ли оно чрезмерным? Ни в коей мере, ибо всегда нужно помнить одно очень важное обстоятельство: о том, с каким огромным трудом, как медленно и неуверенно шло распространение христианства в наших краях. История повествует нам об этой медленности, об этих трудностях — история, освободившаяся наконец от легенд об основании церквей, от благочестивых выдумок и басен о том, что церкви во Франции воздвигались апостолами<sup>1\*</sup>; по правде говоря, эти выдумки, имеющие цель приукрасить историю и окружить ее ожерельем чудес, умаляют и обесценивают драму, которая разыгрывалась в действительности, прекрасную человеческую драму распространения христианства, реальную и мучительную.

### I

История религии отнюдь не спокойная история. Она не разворачивается равномерно, чинно-благородно в соответствии с ясным и четким планом, начертанным заранее. Она часто возвращается вспять, начинает сызнова, в ней много тягостных повторов. И это отнюдь не простая история. Иногда думают или делают вид, что думают, будто она целиком сводится к хронологии. Это не так. Конечно, проблема хронологии существует; в общем она поставлена солидно и в настоящее время загадок не содержит (хотя, разумеется, есть темные места). Однако есть и другая проблема, более важная, более новая и более запутанная, — проблема духовная; попытаюсь объяснить.

<sup>1\*</sup> *Houtin A. La controverse sur l'apostolicité des églises de France. P., 1902.*

Писать историю распространения христианства — это значит заниматься в первую очередь датировками; да, конечно. А мы уже знаем сегодня из согласующихся между собою работ археологов и историков, что вехи, отмечающие продвижение новой религии в галльских провинциях, датируются поздними сроками. Чтобы упростить вопрос, приведем только два свидетельства, одно — исходящее от археолога, другое — от историка, при том что оба — компетентные ученые. «Из реального распределения самых древних христианских памятников, — пишет г-н Ле Блан в Предисловии к своей книге «Новое собрание христианских надписей»<sup>2\*</sup>, — я должен был сделать вывод, что исторические тексты, писания святого Севера и Григория Турского, знаменитые акты святого Сатурнина говорят правду, когда показывают нам (в противоположность некоторым утверждениям), что христианская вера распространялась в Галлии медленно и поздно». И в другом месте: «Если придерживаться сведений, извлеченных только из датированных письменных источников, — отмечает этот же автор, — приходится предположить, что распространение (христианства в Галлии. — *Л. Ф.*) в первые три века не происходило вовсе, в IV веке шло робкими шагами, ускорилося в V веке и завершилось только в последующем периоде»<sup>3\*</sup>. К такому выводу пришел — и уже давно — лучший знаток христианских древностей Галлии, ее весьма любопытных саркофагов и поучительной эпиграфики.

С другой стороны, историки собственными методами, изучая тексты (очень немногочисленные и ненадежные), которые могут дать нам сведения о тех далеких временах, все больше и больше склоняются к такому же выводу. Труды Дюшена полностью это подтверждают.

Благодаря ему, благодаря его тщательным и методическим исследованиям мы знаем сегодня с полной уверенностью, что епископат возник сначала в крупных городах Галлии, и только там: это безупречно доказывает помещенная в начале первого тома «Епископальных летописей древней Галлии» прекрасная статья «Происхождение епископальных диоцезов в Галлии». Первый пункт, весьма интересный, — каковы были истинная роль и значение епископов в эти давние времена. Но мы знаем также (и от того же ученого), знаем с уверенностью, что в областях, более или менее удаленных от Средиземного моря, в наших западных областях, вплоть до середины III столетия не было организованных церквей (единственное исключение — Лион). Во втором столетии в Галлии существует только одна церковь — в Лионе. Не первая — единственная. С нею связаны все христиане, рассеянные по Галлии. И если про Арль, Тулузу,

<sup>2\*</sup> *Le Blant E.* Nouveau recueil d'inscriptions chrétiennes. P., 1892. P. IV.

<sup>3\*</sup> *Le Blant E.* Manuel d'épigraphie chrétienne. P., 1890. P. 123.

Вьенн, Трир — города на Роне, или большие столицы, — можно с уверенностью сказать, что епископства появились там в III веке; если Руан, Бордо, Кёльн, Бурж, Санс, Отен вскоре последовали за этими городами — в 373 году Отенское епископство, несомненно, уже существует, — то большинство церквей возникают на галльской земле в IV веке. Именно тогда появляются двадцать две новые церкви, начало которых нам известно, — не считая шестнадцати других, существовавших ранее, но относительно которых мы не можем с точностью установить дату их возникновения. Третий и четвертый век: именно тогда в нашей стране возникает епископат — в городах. А как в сельской местности?

Здесь вопрос значительно менее ясен — и сама задача распространения христианства была значительно труднее. Нам мало что известно про сельское население галло-романской эпохи. В какой степени оно было охвачено романизацией? Мы этого не знаем. Оно, конечно, жило в стороне от больших дорог и проезжих *diverticula* [боковые дороги, ответвление дорог] — более или менее закоснелое в своих старинных верованиях, полностью проникнутых очень древними представлениями, верное культу предков, древней религии родников, деревьев, возвышенностей (Камилл Жюллиан установил, что такую религию исповедовали уже лигуры<sup>1)</sup> — люди тяжелого труда, для которых было естественно соблюдать эту исконную религию и искоренить ее было невозможно<sup>4\*</sup>. В наследственную сокровищницу древней религии здесь и там включились новые элементы, заимствованные из греко-романского политеизма. Но старая основа была жива и еще долго заполняла сердца. «То, что осталось жить в наших деревнях, — пишет С. Рейнак, — то, чьи многочисленные и свежие следы мы находим возле священных камней и источников — это не что иное, как полидемонизм, верования в гениев места, демонов, домовых, фей, великанов, карликов, не имеющих определенной облика и „персональной“ легенды, без генеалогических связей. В Галлии не существовало тщательно разработанной мифологии, но был политеизм, предшествовавший образованию кельтского пантеона или, во всяком случае, начатков такового, о которых сообщает Цезарь»<sup>5\*</sup>.

Было множество мотивов, которые могли в конечном счете побудить горожан принять христианство. Мотивы совершенно бескорыстные: любопытство в лучшем смысле этого слова, желание «понять новые веяния»; то, что новая религия пылко проповедовала милосердие; влияние и пример женщин, которые поначалу были очень активными и влиятельными пропагандистками христианства; наконец, воздействие христианской литературы, которая получает распространение начиная с IV века. Сульпиций

<sup>4\*</sup> *Jullian C. Histoire de la Gaule // Revue Bleue. 1914. T. 1: Les anciens dieux de l'Occident.*

<sup>5\*</sup> *Reinach S. Cultes, mythes et religions. P., 1910. T. 3. P. 364 sqq.*

Север (365—425) из Аквитании был не единственным, кто сочинил «Краткую историю» от сотворения мира и до своего времени и написал биографию Мартина Турского, подлинный религиозный роман, любопытный и знаменательный памятник преклонения перед христианским героем. Эти и другие подобные им книги имели успех; знать, образованные люди покупали их, читали, брали с собою, отправляясь в путешествие. Все эти причины, действуя совокупно, понемногу обращают мысли горожан — язычников к Церкви Христа. Кроме того, наряду с этими, совершенно бескорыстными мотивами были и другие, конечно менее благородные, но действенные. Когда император стал христианином — для многих сенатских семейств, для высокопоставленных чиновников, жадных до скорой карьеры, это был решающий довод в пользу обращения в ту же веру. Нужно заметить, что для всех этих людей перемена не произошла внезапно, в один день. Было отмечено, и, на мой взгляд, правильно: еще в конце IV века «обращения в христианство, подобные обращению Павлина Ноланского, к которому мы еще вернемся, были в те времена крупным скандалом»<sup>6\*</sup>. И формулировка Гастона Буассье «великим событием IV века была окончательная победа христианства» точна лишь на взгляд «старой» истории, занимавшейся только государями и их официальными актами.

Ясно, что в деревне вопрос стоял иначе. Что было нужно крестьянину? Религия охраняющая и бесхитростная, точнее сказать, религия сельская, полевая, которая давала бы уверенность в урожае, защищала поля от мороза и зноя, от града и грызунов, посылала бы дождь в засушливую пору и солнце, когда льют дожди, — короче, выполняла бы (но лучше, чем прежняя) все те же функции защиты и обеспечения, защиты привычной и постоянной, — и это оправдывало бы переход в новую веру; и добавим, вспомнив о традиционных праздниках, с незапамятных времен занимавших свое строго определенное место в упорядоченной череде трудов и дней: новая религия должна была столь же исправно служить отдыху и развлечению, как и языческая, привнесенная Римом и худо-бедно привитая к старой религии священными источниками, рощ и текучих вод. Была высказана такая мысль: «История установления христианства — что это такое, если не медленное приспособление верований, семитических по своему происхождению, к требованиям греко-латинского духа, который завладевает ими, развивает их и модернизирует, но затем проникается ими и кончает тем, что живет главным образом ими»<sup>7\*</sup>. Формулировка интересная, но на редкость узкая. То, что г-н Пюэш, исследователь литературных и философских тек-

<sup>6\*</sup> *Martino P.* Ausone et les commencements du christianisme en Gaule. Alger, 1906. P. 64.

<sup>7\*</sup> *Puech A.* Prudence: Etude sur la poésie latine chrétienne au IV<sup>e</sup> siècle. P., 1888. P. 26.

стов, пришел к такому выводу, — это легко объяснимо. Однако «история установления христианства» — нет, на самом деле это нечто совсем другое и намного более сложное, чем история постепенного приспособления семитических идей к требованиям греко-латинского духа. Проблема сводилась к этому только для людей культурных, для образованных горожан, в известной степени способных к религиозному умозрению; ну, а для людей из народа, «простых людей», как говорили прежде?

В действительности это произошло не в один день — не сразу Церковь оказалась способной завоевать крестьян, разбросанных по отдаленным наделам или живших в глубине лесов, на вырубках. Новая тактика, новый контингент деятелей: все нужно было создавать заново. На это требовалось время. И только в середине IV века Церковь в Галлии смогла начать свою суровую борьбу с богами полей, лесов и гор: войну с идолами, с языческими капищами, со старыми суевериями — войну, символом которой стали имя и труды Мартина Турского (о котором ныне столько спорят), продолженную другими епископами вокруг него и подобными ему. Этот труд едва начался, когда его прервала серия катастроф: нашествие варваров.

Это важное событие, а как часто его не принимают в расчет! Г-н Мариньян в статье, теперь уже давнишней, но по-прежнему интересной, «Триумф Церкви в IV веке»<sup>8\*</sup> ясно показал значение этого события с точки зрения той истории, которой мы здесь занимаемся.

Неверно, что пришествие варварских народов в римские провинции могло только губительно воздействовать на зарождающиеся Церкви и на процесс обращения в христианство. Цитируемый нами автор отмечает, что, как ни странно, во многих местах страх, ужас, вызванный приближением орд, с одной стороны, приводил порою к массовому обращению населения, которое препоручало себя новому Богу, чтобы испытать перед лицом опасности силу Его защиты. С другой — если варвары рушили, жгли, разоряли христианские храмы и сооружения, они точно так же разрушали, жгли и грабили храмы и сооружения языческие. Разница в том, что эти последние, после того как их разрушили, никто не стал восстанавливать. И таким образом варвары ускорили трудную работу по разрушению и изгнанию прежней религии. Не менее справедливо то, что вторжение варваров и их хозяйничанье в Галлии временно прервало продвижение Церкви. Массы новых людей устремились на Галлию и наводнили ее. Одни из них были язычниками, и их язычество при контакте воскрешало язычество крестьян, едва затронутых христианской пропагандой. Другие были христианами — новоиспеченными и довольно странными христианами — и часто еретиками: мы знаем, какой успех

<sup>8\*</sup> Marignan A. Le triomphe de l'Eglise au IV<sup>e</sup> siècle. P., 1887.

имела среди варваров арианская ересь<sup>2</sup>. Обращать язычников, наставлять новообращенных христиан, отвращать ариан от их ереси: новый труд, новая дополнительная задача встала перед Церковью.

Политические и социальные потрясения не способствовали облегчению ее задачи. Во-первых, нашествия превращали епископов в политических вождей; при всеобщем расстройстве политической и административной власти именно епископы постоянно посредничают между империей и варварами; роль дипломатов и управителей, вождей уводит их на время от трудов собственно религиозных. Во-вторых, от присутствия варваров усугубляется смешение языков. «Неужели я буду петь свадебные гимны фесценнинскими стихами<sup>3</sup> — среди косматых орд, оглушаемый звуками германской речи?» — восклицает Сидоний Аполлинарий<sup>4</sup> (Сарм. XXIII). Отвращение образованного человека; но разве германские языки не были еще одним препятствием для тех, кто занимался обращением в новую веру? Наконец, религиозная ситуация стала еще более сложной из-за того, что в Галлии обособились еретики. Вспомним, например, что происходило тогда в бургундском крае. Пришедшие туда бургунды — ариане. Поэтому после их прихода там живут бок о бок две враждующие религии: арианство и католицизм. Или даже три, ибо нужно учитывать еще и язычество, сохранившееся кое-где в глубине полей и лесов. Святой Авит, епископ Вьеннский (умер около 518 года), сообщает — текст приводится Мариньяном, — что в королевстве Бургундском существовали язычники; и в житии святого Евстазия, аббата в Люксейле (умер в 625 году), написанном Ипой из Боббио, упоминается, что в окрестностях Безансона было племя, целиком предававшееся культуре ложных богов.

Напасть кончилась, распространение христианства возобновилось. В сельской местности оно продолжалось упорно с V по VIII век; эти две даты следует запомнить.

В IV веке истинному Богу поклоняются только в городах. Север констатирует это в двусишии, которое приводится Имбаром де ла Туром<sup>5\*</sup>:

Signum quod perhibent Crucis Dei

Magnis qui colitur solus in urbibus

[Знак, про который говорят, что он есть знак Креста

Божьего, почитается только в больших городах].

В Галлии в V веке массы остаются языческими. «Язычество в Галлии V века является реальностью», — пишет аббат Л. Валантен в очерке «Святой Проспер Аквитанский и церковная ли-

<sup>5\*</sup> *Imbart de la Tour P. Les Paroisses rurales de l'ancienne France // Revue historique. 1896. T. 40.*



тература в Галлии V века»<sup>10\*</sup>; и он показывает, какую жизнеспособностью обладали еще тогда в этих краях древние культы.

Однако с первых лет VI века великими усилиями епископов и монахов сельские церкви начинают умножаться в числе. Далее этот процесс будет идти безостановочно, активно продолжаясь в VII, VIII, IX, X веках и даже позднее, ибо в Бретани в XVII веке, когда заново пришлось начинать христианизацию, которая до того оставалась весьма поверхностной, «католические апостолы, — пишет К. Валло, — обнаружили в Корнуае и Леоне весьма живучие обряды поклонения силам природы», при том что там продолжали существовать «стойкие пережитки манихейства: ибо крестьяне приносили жертвы дьяволу и верили в его силу, параллельную Божественной и равную могуществом»<sup>11\*</sup>. На этой земле, которая кажется нам такой католической, «народ по-настоящему примкнул к римскому христианству только в XVII веке» — и нет ничего более поучительного, более любопытного, чем история (одна из сотни ей подобных) — история о железной женщине Грэг-хварн из Кастеннека в Дьези, как она изложена в четвертом томе «Полного собрания барельефов и т. д. романской Галлии»<sup>12\*</sup> г-ном Эсперандье; в заметке рассказано о вековой борьбе из-за этого идола между епископами и владельцами Квинипили, хотевшими ее уничтожить, с одной стороны, и крестьянами, которые, желая поклоняться идолу, упорно вытаскивали его из глубин вод Блаве, — с другой.

Итак, мы рассмотрели хронологический аспект проблемы. Из сопоставления дат с полной очевидностью следует, что дело христианизации было долгим, трудным, кропотливым и прерывалось неизбежными проволочками, внезапными остановками, продолжительными паузами. Теперь нам надлежит заняться духовными аспектами вопроса.

## II

Обращение в христианство — что мы понимаем под этим термином?

Спросите у миссионеров, которые возвращаются из дальних стран, где они пытались вслед за другими в свой черед посеять семена веры в языческие души. Что они скажут? Скажут, что старались сделать как лучше, но не следует требовать слишком многого и что нужно поначалу удовлетвориться тем, чтобы принести поменьше вреда... Посмотрим же в лицо исторической реальности.

Вот люди (я говорю о горожанах и о самой верхушке), они, после того как римское завоевание Галлии завершилось,

<sup>10\*</sup> *Valentin L. Saint Prosper d'Aquitaine et la littérature ecclésiastique en Gaule au V<sup>e</sup> siècle. Toulouse, 1900. P. 36—38.*

<sup>11\*</sup> *Vallaux C. La Basse-Bretagne (thèse). P., 1907. P. 77.*

<sup>12\*</sup> *Recueil général des bas-reliefs etc. de la Gaule romaine. P., 1911. T. 4. P. 154, not. 3027.*

со страстью, с беспримерной жадностью пили из источника глубоких идей, к которым им открыл доступ язык победителей, быстро выученный ими. С тем же рвением, с каким они покрыли Галлию белым убором монументальных строений, бывших подражаниями римскому зодчеству, — они столь рьяно ассимилировали язык и дух римлян, что уже в первом столетии после завоевания, в первые годы после завоевания, в истории римской литературы появляются имена галлов. Это были люди на редкость с быстрым умом, живым и гибким, соотечественники, потомки и преемники Дивициака, великого друида эдуев, который побывал в Риме и в сенате, куда принес от имени своего народа жалобу на секванов<sup>5</sup>. Фигура незабываемая — его описал Цицерон, поселивший его у себя и беседовавший с ним о самых высоких материях — философии и религии; благодаря Цицерону мы можем мысленно увидеть статную фигуру галла, горячо говорящего в полной курии, опершись руками на свой большой щит... Для него, для ему подобных не потребовалось много времени, чтобы обучиться тонкостям латинского языка — что бы душа его стала душою греко-римлянина, наитанной и проникнутой до самых глубин культурою победителей. И вот к этим людям через три века после такого переворота приходит новая религия, вышедшая с мистического Востока и напитавшаяся изощренной греческой мыслью. Эти люди обращаются в христианство медленно, после долгих лет нерешительности, борьбы, сопротивления; одни — по убеждению, другие — из подражания, третьи — от усталости, наконец, четвертые — ради выгоды. Они обращаются в христианство. Однако отказываются ли они сразу от своих прежних убеждений и представлений, как от изношенной и вышедшей из моды одежды, которую просто выбрасывают?

Не будем ничего утверждать, давайте просто читать.

Вернемся в VI век. Возьмем в качестве примера не бедного человека, темного плебея, не обладающего культурой и интеллектуальными традициями. Возьмем епископа, величайшего из всех, самого ученого, самого добродетельного, — человека высокого и могучего благородства, самое прекрасное воплощение епископата VI века, который может гордиться и другими великолепными деятелями: возьмем Григория Турского. Так вот: этот великий епископ верит в гадания по небесным светилам. Он верит в предсказания по кометам, в гадания по птицам, верит, что их пение предсказывает будущее и что голубка Божья слетает, чтобы указать на избранника. Он верит в гадание по растениям и что раннее созревание плодов предвещает войну или чуму, ранние цветы — богатую жатву<sup>6</sup>. Его книги полны снов, фантазий и призраков — я отсылаю вас к текстам, которые были собраны г-ном Мариньяном в труде, цитировавшемся выше. В окружении епископа уже не обращаются за советом к богам, но адресуются к святым. Христианин оставляет записку на могиле, являющейся

объектом поклонения, и просит блаженного написать свой ответ на пергаменте. Или иначе: человек кладет на алтарь записки со словами «да» и «нет» и, помолившись, выбирает одну из них<sup>13\*</sup>. Рассмотрите, исследуйте это странное смешение у Григория — новых христианских идей, высоких и прекрасных, и старинных пережитков языческого прошлого. Оно удивительно, не правда ли, — это, скажем прямо, естественное, это неизбежное смешение: какой огромный труд должно проделать учение, чтобы овладеть человеческой душой! Не за один день и не за триста лет из Авсония получается Винсент из Бове<sup>7</sup>. Поначалу христианство было так трудно разглядеть даже у наиболее культурных людей, что можно было целыми веками спорить (и спорят до сих пор) об истинной религии Авсония, «который предстает пред нами, — пишет один из авторов, — галлом старого закала, у которого еще в середине IV века сохранилось благоговейное воспоминание о языке, богах и традициях кельтов»<sup>14\*</sup>, — Авсония, языческого поэта, проникнутого идеями античности, а о делах христианских просто информированного, или же поэта христианского, но полного языческих мыслей.

Ну, а если мы теперь бросим пристальный взгляд на крестьян, на тех, кто поднялись яростным мятежом в III веке на багаудов, свирепых предков Жаков, на багаудов, которых истребили в 286 году у Сен-Мора?<sup>8</sup>

«Багауды» — слово, несомненно, галльское, известное в середине III века. Это не простая констатация: она позволяет поставить вопрос лингвистический. Ибо если правда, что кельтский язык в конце концов исчез совершенно, так, что в нашем современном французском языке не наберется двадцати шести слов, происходящих из кельтского, то нужно помнить и сказать о том, что в действительности именно Церковь, а не Рим, не имперский Рим, изничтожила кельтский язык. Здесь тоже не было скорой перемены, по первому касанию волшебной палочки. Богатые, власть имущие латинизировались быстро, ибо «сменить язык было необходимым условием исполнения двух их самых главных желаний — преуспевать и блистать». Но крестьяне? Вполне можно предположить, что для них замещение галльского языка латынью было длительным, «произошло лишь в результате медленной работы веков»; и хотя «*pagani*» [сельские жители] \* услышали латынь достаточно рано, они потратили достаточно времени на то, чтобы заговорить исключительно по-латыни. Религия помогла этой окончательной перемене. «Учение обсуждали на латыни, — говорит г-н Брюно, — на латинском языке совершались обряды и ритуалы с таинственной и привлекательной символикой»;

<sup>13\*</sup> *Marignan A. Etudes sur la civilization française. P., 1899. Vol. 2: Le culte des saints sous les Mérovingiens.*

<sup>14\*</sup> *Jullian C. Ausone et son temps // Revue historique. T. 47. P. 244.*

\* Другое значение слова «*paganus*» — «язычник».

даже «благая весть» [то есть Евангелие]\* читалась по-латыни; и он доказывает, «как много выигрывала латынь от того, что была орудием молодой Церкви, пылкой, жаждавшей распространения и завоеваний, Церкви, которая в отличие от школы обращалась уже преимущественно не к горожанам, а к сельским жителям, их женам, их домашним»<sup>15\*</sup>. Нужно добавить, что, замещая кельтский язык латынью, распространители новой религии тем самым боролись, и очень действенно, со старыми суевериями, с религиозными традициями кельтского прошлого, охранявшимися языком друидов; а мы знаем, какое важное значение для языка имеют религиозные катаклизмы: Ленорман в своей статье «Алфавит» в «Словаре древностей» Даранбера и Сальо приводит тому поразительные и очень наглядные примеры<sup>16\*</sup>. Поражения кельтского языка, успехи церковной латыни — наравне с низвержением идолов, разрушением «*sacella*» [небольших святилищ] и деревенских храмов епископами и миссионерами, обращавшими галлов в христианство, — это были решающие удары, нанесенные тому, что было для Церкви главным препятствием: древней религии лесов, родников, гор, древнему культу духов, фэй и гениев; этот культ Церковь не могла уничтожить с корнем, она только стремилась, должна была стремиться христианизировать его по мере возможности.

Да, в V—VI веках Церковь торжествует. Да, своими неустанными трудами она мало-помалу христианизирует деревню. Все это так, но вот наступает день большого христианского праздника. Этот праздник — наследник большого языческого праздника и приходится на то же самое время года, на ту же точку в вечном круге земледельческих работ. Приходят крестьяне — новообращенные, невежественные, обросшие щетиной, в портах, в капюшонах. Они приходят в святилище, и святилище оскверняется: ибо то, что стало церковью, остается для них языческим храмом. Там они бодрствуют в ожидании праздника. Бдение в посте и молитве, в сосредоточенном раздумье? Ничего подобного. Всеобщие оргии в годовщины мучеников; бесстыдные пляски, пирушки, шумные попойки на этих поистине вполне языческих «*revigilia*» [ночных богослужениях]. И Церковь это допускает. Она вынуждена это допускать. Нужно, чтобы она это допускала, и кто упрекнет ее за это? Никто не виноват — ни Церковь, ни несчастный невежественный народ (это замечание принадлежит г-ну Мариньяну). Церковь сделала все, что могла; она провела великое, блистательное наступление; она боролась не только с враждебными силами, но и с глубоко укоренившимися пороками того времени и с унынием, с тем усталым разочарованием, которое по-

\* «Благая весть» — дословный перевод греческого слова «*euaggelion*».

<sup>15\*</sup> Brunot F. *Histoire de la langue française*. P., 1890. T. 1. P. 28, 35.

<sup>16\*</sup> Lenormant F. *Alphabetum* // *Dictionnaire des antiquités* / Ed. Daremberg-Saglio. P., 1872. T. 1. P. 191—192.

хищало каждый день у деятельной жизни лучших питомцев Церкви, жаждавших одиночества, забвения, отречения. Книжные выдумки? Вовсе нет: мы располагаем источниками.

### III

Когда мы мысленно делаем смотр крупным именам галло-романской литературы, есть два имени, которые тотчас же приходят на память; к тому же они связаны друг с другом: имя Авсония, поэта из Бордо, и его блистательного ученика, святого Павлина Ноланского. Святой Павлин тоже был бордосцем. Он родился в 353 году на берегах Гаронны, в сенаторской семье, несметно богатой и влиятельной; он посещал знаменитые школы Бордо; он заимствовал у своего учителя Авсония несносное пристрастие к игре слов, к остроумиям, к приятным и ничего не выражающим завитушкам. А затем, после блистательного начала, после того как получил высшую должность — консульство, будучи богатым человеком, уважаемым, избалованным всеми, Павлин покидает суетный мир, бросает свое имущество, политическую карьеру, отказывается от своего положения и будущности, перемещается в Испанию, оттуда в Кампанью и, наконец, останавливается в Ноле, близ могилы тамошнего святого — Феликса. Он остается там на всю жизнь: отличный образец (заметим в скобках) тех разочарованных, которые бежали от повседневной деятельности, ответственности, обязанностей, мужественной борьбы, чтобы целиком отдаться чарам тишины.

Какое влечение привело разочарованного с берегов Гаронны к могиле святого Феликса? Мы этого не знаем. Святой Феликс — «темный» святой, о котором ничего не известно, но его популярность в Кампанье среди простых людей была очень велика. Ему приписывалось столько чудес и таких странных, что в XVII веке Лё Нен де Тиллемон был этим крайне взволнован и растревожен. Как бы там ни было, в течение тридцати пяти лет, живя в скромном домике, Павлин пребывал подле избранного им святого. Но поскольку он был изысканным учеником Авсония, поскольку он перенял у него искусство слагать вычурные, изощренные, сложные стихи, — он добавил к славе святого Феликса великолепный венок стихотворений, его восхваляющих: «Natalia», или «Natalitia»\*. Это — лучшее и наиболее интересное в его творчестве; собрание этих стихотворений вы найдете в одиннадцатом томе «Латинской патрологии» Миня<sup>17\*</sup>; кроме того, я могу ре-

\* «Natalia» — множественное число среднего рода от латинского слова «natalis», означающее все, связанное с рождением или днем рождения. Адекватный перевод на русский язык затруднителен (так же как перевод названия цикла Овидия «Tristia»). Слово «natalitius» (natalitius) имело тот же круг значений, что и «natalis».

<sup>17\*</sup> Migne J. P. Patrologia latina. T. 61. Col. 661; Nathalium IX. Col. 511 etc.

комендовать вам чудесную статью Гастона Буассье, напечатанную в «Revue des Deux Mondes» в 1878 году.

Немного найдется на свете текстов, более выразительных, чем «Natalia». На сто ладов Павлин описывает праздник своего любимого святого. Он рассказывает о потоке сельских жителей, направляющихся в Нолу в середине января (годовщина отмечалась 14 января), — деревенские люди из Калабрии, из неаполитанских краев, из Капуи, пастухи из самой Романьи и земледельцы из далекого Лациума. Маленький городок на день или на два переполняется людьми. Старая базилика роскошно украшается; повсюду белые полотнища, светильники, запахи благовоний, сияние свечей. Но интерес славного поэта сосредоточен прежде всего на прибывших. Они приходят не одни. Они приводят с собою жен, детей, даже домашний скот: прекрасных быков, отборных овец, которых они хотят в простоте душевной принести в жертву святому Феликсу, как прежде приносили в жертву Марсу или Юпитеру. Они являются не только в утро праздника. Накануне вечером они через все ворота входят в Нолу и собираются под галереями во дворе собора. Ибо для них остался живым старый обычай, древняя традиция *pervigilia*, ночного богослужения, которое предшествовало большим языческим праздникам.

Развеселые бдения, против которых выступали в те времена с обличительными речами святой Амвросий и святой Августин. Добрый Павлин проявляет больше терпимости. «Ему, конечно, претило, — пишет Буассье, — быть суровым к этим простым душою людям, которые не хотели сделать ничего плохого»; и если он вместе со своими товарищами молился и постился, если шум песен, плясок и попок был слышен слишком громко, он не проявлял чрезмерного возмущения. Только — всего лишь, — чтобы несколько смягчить буйство этого веселья, уж очень языческого и плотского, он додумался применить деликатное средство — и вот мы у цели нашего рассказа: он велел изобразить на стенах портика, где крестьяне проводили ночь в оргиях, увлекательные истории, взятые из Священного писания. *Omnia* [все], пишет он:

Quae senior scripsit per quinque volumina Moses  
 Quae gessit Domini signatus nomine Jesus  
 [Что написал патриарх Моисей в Пятикнижье  
 Что именем Бога Иисус нам поведал].

Зачем было нужно это новшество (ибо Павлин подчеркивает, что это именно новшество):

... fingere sanctas  
 Raro more domos animantibus adsimulatis...  
 [... редко рисуют  
 Подобья живые на стенах зданий священных...].

Конечно, это для поучения крестьян, для тех, кого он называет:

Rusticitas non cassa fide, neque docta legendi  
[Деревенщина, веры лишенная,  
Мужичье, что слова прочесть не умеет],

но, увы, делалось это главным образом ради целей более непосредственных и прозаических. Пока крестьяне с разинутым ртом разглядывают эти раскрашенные фигуры<sup>18\*</sup> с пояснительными надписями поверху:

... ut littera monstret  
Quod manus explicuit...  
[... чтоб письмена пояснили  
То, что изобразила рука...],

в то время как, подталкивая друг друга локтем, они показывают соседям эти таинственные фигуры, обсуждают их и снова смотрят — время проходит, часы бегут; все это время они не думают о пирушке, об оргии, о грубой попойке; они пьют глаза, но не раскрывают рта — разве для того, чтобы выразить восхищение:

Dumque diem ducunt spatio majores tuentes,  
Pocula gaescunt...  
[Пока целый день они праотцов созерцают,  
Чаши вином наполняются реже...].

Теперь вы видите, какая существует связь между сделанным нами беглым обзором христианизации наших краев и возникновением, установлением той христианской иконографии, чье рождение и развитие я должен рассмотреть, прежде чем перейти к анализу ее постепенного распада. Видите теперь, в какой роли появляется художник, каково было положение христианского художника у истоков христианского искусства? Он — послушный исполнитель воли, стоящей над ним и ему предписывающей. Его искусство не свободно, он не предается ему ради удовлетворения — своего или своих современников. Его искусство — орудие, средство пропаганды, поучения, христианизации.

Впрочем, можно было бы и не упоминать о том, что идея святого Павлина не принадлежит исключительно ему. Теория педагогической пользы искусства в известной мере объясняет тот факт, что катакомбы были расписаны фресками; и в VI веке сам Григорий Великий, собственной персоной, в письме к епископу марсельскому Серенусу провозгласил: «Quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura» [Для невежд картина является тем же, чем для грамотных — писаное слово] (Epist. XI, 13). Это прототип знаменитой средневековой поговорки, которую мы встречаем всюду — у Гонория Отенского<sup>9</sup>, у Гийома

<sup>18\*</sup> Migne J. P. Op cit. Col. 582 etc.

Дюрана, у Петра Коместора, у Альберта Великого: «*picturae quasi libri laicorum*» [картины служат мирянам вместо книг]. Формулировка эта имеет важное историческое значение — если правда, что она, что выраженная в ней концепция была одной из причин разразившейся Реформации<sup>19\*</sup>.

#### IV

Однако, скажете вы, быть может, зачем так длинно объяснять явление, совершенно естественное? В том, что Церковь использовала изобразительное искусство наравне с ораторским, с музыкой, пением, драматическим действием, что тут удивительного?

Напомню еще раз о необходимости остерегаться грубого заблуждения: в истории идей нет, не должно быть явлений «естественных» или «совершенно естественных» для историка. В текстах, которые я цитировал, одно слово, быть может, поразило вас частым повторением: «*pictura*» [картина, живопись]. Именно о картинах, рисованных изображениях, говорит святой Павлин; о картинах пишет святой Григорий; о картинах идет речь в старой поговорке «*picturae quasi libri laicorum*».

Всегда «*picturae*», никогда «*sculpturae*» [статуи, изваяния]. И все-таки отметим, что в XIII веке наблюдается сильное отклонение от этого правила. Какое? Скульптура утверждается на порталах всех церквей, всех соборов; в Шартре по воле духовенства из изваяний создается великая каменная Библия, точная, полная, ортодоксальная; там и в сотне других мест она поистине служит «*liber laicorum*» [книгой для мирян], лучшей, какую можно придумать. Между тем в текстах говорится только о нарисованных изображениях.

Случайность? Традиция? Игнорируют древнюю поговорку — в том виде, в каком она сложилась? Но почему она сложилась такую? Потому что в течение веков, с V по X век, скульптуры не существовало. Но почему ее не существовало? Только ли по причинам технического порядка она исчезла? На самом деле (это нужно знать и об этом нужно сказать) на протяжении всего средневековья отношение христиан к скульптуре было, если можно так выразиться, стыдливым. Всегда следует помнить о том умонастроении, о котором свидетельствуют выступления иконоборцев. Это явление — самое древнее в истории Церкви, самое изначальное, оно стоит у самых ее истоков. Мы знаем, как страстно хотелось Тертуллиану, чтобы Христос был уродлив: «*Si inglorius, si ignobilis, si inhonestus, meus erit Christus*» [Даже невзрачный, безвестный, покрытый грязью — моим будет Христос] (*Adv. Marcionem*. III, 17). Ибо языческое искусство,

<sup>19\*</sup> *Perdrizet P.* La vierge de miséricorde, étude d'un thème iconographique. P., 1908.



языческая красота для Тертуллиана, так же как и для многих христиан, были врагами. Врагом была прежде всего статуя, идол, изваянное изображение.

Чем было изваяние бога для язычника (грека или римлянина), мы знаем: это был сам бог. Ш. Пикар пишет: «*Хоанон* [истукан, изваяние бога] — это воплощение бога, бог собственной персоной, действующий и живой, терзаемый теми же заботами, что и человек. Поклоняясь изваянию, стараются прежде всего услужить ему, обслужить его на человеческий лад; его моют, кормят, одевают. В культе изваяние заменяет бога и пользуется его священными правами. Во время Великих Дионисий Диониса водружают на трон в оркестре на все время игр. Иной раз его привязывают, чтобы не ушел. Его охраняют, потому что жители соседних городов, желающие заручиться его защитой, могут его украсть. Правда, обычно бог в своем могуществе наказывает всякую попытку незаконно воспользоваться покровительством его статуи<sup>20\*</sup>. Что может быть любопытнее (заметим в скобках), чем этот перечень, где мы находим все те же явления, которые в христианских странах во времена раннего средневековья были характерны для распространенного в народе поклонения статуям и реликвиям святых...

Безусловно, картина, нарисованная г-ном Пикаром, относится, если брать ее целиком, только ко временам весьма отдаленным. После того как статуя бога в первую очередь стала произведением искусства, представления изменились. Однако народное суеверие благочестие сохранило потускневшее воспоминание о первоначальном смысле и сущности статуи; и это представление прошло через всю античность и, более того, дожило до христианской эпохи.

Конечно, дело не обстояло так, что христиане почитали языческих идолов. Идол, который был местопребыванием бога для тех, чьи учения христиане опровергали, — христианам, совершенно естественно, он казался местопребыванием злого демона. Первым христианским толкователям веры — Тертуллиану в его сочинении «Об идолопоклонстве», святому Августину в «О соглашениях евангелистов» — не хватает слов для обличения идолопоклонников. Для Тертуллиана и Августина остается непререкаемым древний завет из «Десяти заповедей»: «*Non facis tibi idolum, neque cuiusquam similitudinem, neque in coelo sursum, neque in terra deorsum*» [Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу] (Исх. 50, 4). Вслед за «Исходом» они проповедуют, они настаивают на уничтожении языческих идолов: «*Non adorabis deos illorum, sed neque servies eis; non facies secundum opera ipsorum, sed deponendo deponere et confrigendo confringes simulacra eorum*» [Не поклоняйся богам

<sup>20\*</sup> *Piard Ch. Statua // Dictionnaire des antiquités.*

их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их] (Исх. 23, 24). Святой Августин в труде, цитированном выше, прямо связывает учение, которое он исповедует, с учением Библии: «*Quis autem dicit Christum atque Christianos non pertinere ad Israel?*» [Кто посмеет сказать, что Христос и христиане не принадлежат Израилю?] <sup>21\*</sup>. Идол — место-пребывание злого духа. Это представление свойственно всему средневековью. Когда Мария, Иосиф и Божественный младенец вступили в Египет, языческие идола рухнули разом; это — легенда и в то же время своего рода символ. В музее города Дижона можно видеть расписанные створки знаменитого герцогского алтаря, где Мельхиор Брудерлам не преминул напомнить знаменитую легенду, изобразив разбитую статую, разваливающуюся на куски. В соборах Богоматери — Парижском, Шартрском, Амьенском — под статуей Веры изваян человек в позе поклонения мохнатому идолу, похожему на обезьяну: это неверие, каким его себе представляло средневековье.

Идол — это, конечно, язычество. Ну, а когда сами христиане с трудом превеликим вновь овладели утраченным искусством ваяния и сами принялись ваять изображения Бога и фигуры святых? У многих христиан тотчас же проявилось, если можно так выразиться, предубеждение против идолопоклонства. Дидрон, великий знаток событий и мыслей средневековья, в своей «Истории Бога» в качестве одной из причин относительной редкости изображений Бога-Отца в средние века называет страх христиан воздвигнуть идола, который так или иначе напоминал бы Юпитера, верховного бога язычников и, следовательно, всевластного главаря злых духов. Есть ли необходимость еще раз напоминать про столкновения между иконоборцами и иконопочитателями?

В самом деле, несмотря на постановления соборов, принятые против иконоборцев, постановления, которыми пытались восстановить в правах культ изображений; вопреки решениям Второго Никейского собора <sup>10</sup> и множеству его анафем:

*Qui venerandas imagines non veneratur, anathema!*

*Qui in sanctas et venerabiles imagines blasphemias congerunt, anathema!*

[Тому, кто не чтит почитаемые изображения, анафема!

Тому, кто подвергает поношению почитаемые изображения, анафема!],

у многих, у большинства образованных христиан оставалось отвращение к искусству скульптуры и к изваяниям. Я хочу привлечь только одно свидетельство, но очень любопытное; его вспоминают часто, но текст не приводят и не извлекают из него все, что в нем содержится. Давайте посмотрим на него поближе.

<sup>21\*</sup> *Migne J. P. Op. cit. T. 34. Col. 1061.*

## V

Святая Вера была мученицей из Ажена. На ее могиле совершались обычные чудеса<sup>22\*</sup>, монахи соседнего аббатства Конк в Руэрге, стремясь приумножить славу своей обители, пустились на поиски чудотворных реликвий. Первым, на ком они остановили свой выбор, был святой Винсент.

Поначалу они попытались овладеть мощами святого Винсента Сарагосского, которые творили великие чудеса в Кастре. Тщетно. Тогда они набросились на святого Винсента Помпеянского в аженской епархии. Но монахи, которым было поручено это предприятие, по дороге узнали о славе и деяниях святой Веры Аженской; решение было принято быстро: они отказались от святого Винсента и вознамерились завладеть мощами святой Веры.

К сожалению, это было легче сказать, чем сделать. Один монах принес себя в жертву; медленно, терпеливо он завоевал доверие тех, кто охранял святую; медленно, терпеливо он стал одним из них, и наконец после десятилетних усилий ему поручили охранять могилу. Свершилось то, о чем он мечтал! Однажды, оставшись один возле мощей, он разбил гробницу, завладел ее содержимым и с триумфом вернулся в Конк. Можно представить себе, как его встречали! И аббатство, носившее имя Святого Спасителя, стало называться «аббатством Святого Спасителя и Святой Веры», а потом просто «Святая Вера Конкская».

Вскоре слава святой возросла и воссияла. В Конк стали приходить паломники. Их было особенно много потому, что это паломничество было связано с великим паломничеством к святому Якову Компостельскому. Статуя святой встречала верующих. Она существует и по сие время, и в 1900 году ее можно было увидеть на Всемирной выставке. Произведение необычное и удивительное. Святая сидит, вся из золота; поза скованная, иератическая, обе руки кажутся левыми, реставрированные кисти рук невыразительны, но взгляд глаз, сделанных из эмали, неподвижный, прямой, напряженный, обладает несравненной притягательной силой. Это должно было быть зрелищем варварским и грандиозным, вызывающим религиозный ужас и галлюцинации, когда святая, несомая на плечах монахами, двигалась в процессии, очень высокая, сверкающая в пламени свечей, со своим неподвижным взглядом, излучающая сияние и нетленная.

В нашем распоряжении есть рассказ о паломничестве в Конк. Оставил его не первый встречный: это преподаватель богословия Бернар из Анжера, воспитанник капитульских школ в Шартре. Его наивное повествование было издано аббатом Буйе в удобном для чтения виде<sup>23\*</sup>. В сочинении Бернара, в первой книге,

<sup>22\*</sup> По этому поводу см.: *Maignan A. Op. cit.*

<sup>23\*</sup> *Bernardus Audegaviensis. Liber Miraculorum Sanctae Fidis. P. 1897. Ch. 13.*

содержится весьма любопытная глава под названием «*Quod sanctorum statuae, propter invincibilem ingenitamque idiotarum consuetudinem fieri permittantur, presentim cum nihil ob id de religione depereat, et de celesti vindicta*» [О том, что статуи святых делать допустимо, ибо таков непобедимый и прирожденный обычай невежд, особенно если это не наносит ущерба вере и угодно небесам].

Формулировка, как видим, осторожная, полная сдержанности и недомолвок в том, что относится к статуям святых: они допустимы при определенных условиях, но восторга не вызывают. В этой главе речь идет о чуде, которое было совершено не мощами святой, не ее гробницей, а именно ее изображением.

Ее изображением? Выражение непонятное, думает Бернар из Анжера, его нужно объяснить читателям. «Существует укоренившееся обыкновение, — уточняет он, — во всей Оверни, идет ли речь о местности вокруг Родеза или вокруг Тулузы (впрочем, обыкновение это встречается во всем здешнем крае), сооружать из чистого золота, серебра или каких-либо других металлов статую, внутрь которой кладут голову или какую-либо иную часть святого тела». Однако преподаватель богословия не только констатирует, но и высказывает суждение: «Этот обычай разумные люди заслуженно считают суеверием; они полагают, что это ритуал, сохранившийся от прежнего язычества (*videtur enim quasi priscae culturae deorum vel potius demoniorum servari ritus*) [ибо он похож на древний обычай поклонения богам или, вернее, демонам], и я сам по глупости своей считал поначалу это делом предосудительным и полностью противным христианскому закону, когда впервые увидел (в Орильяке) статую святого Геральда на алтаре, всю покрытую чистым золотом и изукрашенную драгоценными камнями». Далее следует пассаж, который часто цитируют, очень живой благодаря тому, что он написан в форме диалога. «Я же, — продолжает Бернар, — повернувшись к Бернае, моему спутнику, спросил его с улыбкой: „А ты, брат, что скажешь об идоле? Как ты думаешь, Юпитер или Марс сочли бы себя достойными такой статуи?“» Бернае соглашается, беседа продолжается, и Бернар вносит чрезвычайно интересное уточнение (обычно, когда цитируют этот текст, ограничиваются тем, что приводят только восклицание непочтительного преподавателя богословия, но дальше не идут). Бернар же заявляет следующее: абсурдно и преступно изображать самого Бога, делать статую из камня, дерева или металла; можно допустить одно только исключение — Распятие. Поскольку оно полезно «*ad celebrandam Dominicae passionis memoriam*» [для прославления памяти о Страстях Господних]; формулировка, как мы видим, ясная и поучительная. Что касается святых, продолжает Бернар, то только через достоверное повествование, записанное в книгах, либо посредством раскрашенных фигур, нарисованных на стенах зданий, подобает

являть их глазам людей: «*vel veridica libri scriptura, vel imagines umbrosae, coloratis parietibus depictae*» [либо правдивое повествование книги, либо темные фигуры, нарисованные на светлых стенах]. Никакими убедительными доводами нельзя было бы оправдать обычай поклонения статуям святых, если бы не необходимость сделать уступку древнему заблуждению, упорной и неистребимой косности не знающих грамоты невежд (*nam sanctorum statuas nisi ab antiquam busionem atque invincibilem ingenitamque idiotarum consuetudinem, nulla ratione patimur*) [древнее заблуждение и неодолимый обычай невежд — вот единственный довод в пользу статуй святых].

Нет ничего любопытнее, чем этот текст, если взять его целиком и со всеми подробностями. Прежде всего в нем отмечено различие между двумя Франциями (оно в средние века было очень резким) — между Францией «ойль» и Францией «ок», которые различались как образом жизни людей, так и языком и обычаями<sup>11</sup>. Кроме того, в нем нашло отражение и то различие, которое часто делалось между изображениями Бога и изображениями святых, исполненное почтения к тому, о чем сказано в «Исходе» (33, 20), когда Бог говорит Моисею: «*Non poteris videre faciem; non enim videbit me homo et vivet*» [лица. Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых]; из этого делают вывод, что, поскольку никто не видел Бога, изобразить его невозможно. Здесь особенно четко и на редкость выпукло проявляется коренное противопоставление — «*imagines umbrosae, coloratis parietibus depictae*» и создания ваятелей: с одной стороны, живопись, дозволенная и полезная, с другой — скульптура, запретная и вредная.

Правда, мы имеем дело с текстом очень старым, написанным до великого расцвета скульптуры; но есть и другие, более поздние и столь же любопытные.

## VI

В своей отличной статье «Книги с картинками, предназначенные для наставления в вере и религиозных отправлений мирян»<sup>24\*</sup> Леопольд Делиль опубликовал фрагмент небольшого сочинения, которое служило руководством для художников, украшавших церкви. Сочинение это, несомненно, отмечено духом цистерцианства<sup>12</sup>. Поэтому речь идет только о живописи.

«Наша эпоха, — говорит неизвестный автор (мы воспроизводим перевод Л. Делиля), — слишком любит живописные изображения, чтобы можно было изгнать их из кафедральных или приходских церквей, и никто не может счесть дурным то, что они заменяют мирянам книги; простые люди могут черпать из них

<sup>24\*</sup> *Délisle L. Livres d'images destinés à l'Instruction religieuse et aux exercices de piété des laïcs // Histoire littéraire de la France. T. 31. P. 214.*

сведения о божественных тайнах, а в образованных они прибавляют любви к Священному писанию. Вместо того чтобы зреть близ святых алтарей орлов о двух головах, львов с четырьмя туловами, кентавров в богатой сбруе, безголовых чудовищ, хи-мер, сцены из жизни Лиса<sup>13</sup> и концерты обезьян, не лучше ли любоваться деяниями патриархов, богослужениями, славными подвигами судей и царей, битвами пророков, победами маккавеев и чудесами Спасителя?»

Заметим в скобках, что отрывок этот интересен во многих аспектах. Мне он напомнил любопытный факт из истории иконоборства. Когда иконоборцев изображают врагами искусства, всякого искусства, — это неправильно, и тезис этот был неоднократно опровергнут. Они боролись против того, чтобы изображались религиозные сцены, пишет г-н Диль<sup>25\*</sup>, и у них была сотня резоннов; но они отнюдь не были пуританами, требующими, чтобы церкви стояли голые. Автор, которого мы цитируем, рассказывает, как на месте фресок во Влахернской церкви, изображавших жизнь Иисуса, Константин V повелел изобразить птиц, животных в орнаменте из вьющегося плюща, журавлей, воронов, павлинов — в таких количествах, что императора упрекали в том, будто он сделал из церкви «сад и птичий двор». И когда иконоборцы видели изображенные где-либо «деревья, птиц, животных и в особенности, — говорит их современник, — сатанинские сцены: лошадиные скачки, охоту, различные зрелища и игрища на ипподроме» — такие изображения они не соскребали и не уничтожали: они бережно их сохраняли. Однако так ли далеки эти сюжеты от тех, против которых ополчается цистерцианский документ, комментируемый нами?

Как бы там ни было, в другом отношении этот текст совершенно ясен. В нем речь опять идет о живописи, а не о скульптуре. Опять *pictura*; и никогда *sculptura*.

## VII

Теперь вы, наверное, понимаете, что использование пластических искусств для распространения религии не было делом, которое идет само собою. Здесь мы встречаемся с очень древними представлениями, уходящими в далекое прошлое. Вспомните о магии, древней, как человечество; подумайте о том, что представляет собою с точки зрения магии изображение — хотя бы грубое подобие человека; обо всем, что мы знаем про таинства так называемой симпатической магии<sup>14</sup>; в такой книге, как «Золотая ветвь» Фрэзера, ныне переведенной на французский язык, говорится, что симпатическая магия имеет всеобщее распространение у примитивных народов; подумайте о том, что распространенность

<sup>25\*</sup> Diehl Ch. Manuel d'art byzantin. P., 1908. P. 339.

таких ритуалов, как сглаз и порча, доказывает, что идентичность изображения и живого существа считается установленной и общепризнанной.

Христиане не отрицают магию. Они верят в ее реальность, они провозглашают ее устами Тертуллиана, святого Августина, Евсевия и многих других. Они охотно относят к магии все проявления языческих верований и культов. Того, что от идолов исходили знамения, они не отрицают; но это, на их взгляд, результат магического действия. И глубоко сидящая в людях вера в идентичность личности и изображения будет существовать еще долго, долго еще будут в скрытой, неясной форме держаться старинные верования, наделявшие хоапон жизнью самого бога, вера в реальную жизнь статуй, заставлявшая римлян уже в императорскую эпоху тащить в тюрьму статуи своих врагов, чтобы отомстить им. Живопись была вне этого круга представлений. Изваянное изображение влекло за собой целую свиту представлений, религиозных и магических. Изображение нарисованное было всего лишь произведением искусства. Скульптура с самого начала существовала только для религии. Живопись у древних греков и римлян, напротив, считалась зависимой от других искусств и была всего лишь одним из элементов декора в архитектуре или скульптуре. Этим различием в происхождении объясняется многое. Итак, для того чтобы заставить искусство служить распространению христианства открыто и в полной мере, нужно было преодолеть укоренившиеся представления, предубеждения почти неодолимые («*invincibilis ingenitaque idiotarum consuetudo*») [непобедимый и прирожденный обычай невежд].

В поддержку своего тезиса я процитировал множество текстов, написанных на плохой латыни. Как же отказать себе в удовольствии и не напомнить напоследок французский текст — и какой! Речь идет о балладе, которую Вийон написал по просьбе своей матери, чтобы она прославляла Богородицу». Стихи эти входят в «Большое завещание»:

Я — женщина убогая, простая,  
И букв не знаю я. Но на стене  
Я вижу голубые кущи рай  
И грешников на медленном огне,  
И слезы лью, и помолиться рада —  
Как хорошо в раю, как страшно ада!

*Перевод И. Эренбурга*

Рай нарисованный, нарисованная преисподняя — драгоценные помощники христианской проповеди. Нельзя показать роль искусства в средние века лучше, чем это сделано в прекрасных стихах Вийона и передать смиренную и чистую набожность бедных старых женщин — укрощенных внучек крестьянок из Нолы.

## ГИГАНТСКИЙ ЛЖИВЫЙ СЛУХ: ВЕЛИКИЙ СТРАХ ИЮЛЯ 1789 ГОДА

Гигантский лживый слух. Эти слова принадлежат г-ну Жоржу Лефевру; так он определяет, и весьма удачно, «Великий страх 1789 года»<sup>1\*</sup>. Лефевр был первым, кто изучил это явление, и не только в его движении и развитии (как это всегда делалось до настоящего времени), но и самые его причины, как местные и частные, так и общие, лежащие в глубине. Книга, которую он посвятил этой любопытной странице истории Революции, написана живо, изобилует новыми документами и фактами и еще более исполнена человеческого опыта, знания и понимания крестьянской жизни. Эта книга не только достойна автора капитального труда «Крестьяне Севера страны во время Французской революции»<sup>2\*</sup>; она, на наш взгляд, представляет двойной интерес: во-первых, собственно исторический, и г-н Лефевр показал это весьма убедительно; во-вторых, методологический или, если хотите, психологический. Его мы особенно хотим подчеркнуть, поскольку он имеет непосредственное отношение к программе нашего журнала.

Мы знаем или, вернее, те, кто еще не прочел книгу г-на Лефевра, думают, что знают, что такое Великий страх: термин несколько расплывчатый, имеющий в нашем обычном употреблении множество значений: это и крестьянские бунты, вполне реальные жакерии, и взрывы паники, порожденные заразительным страхом перед воображаемыми разбойниками и громилами-разбойниками, которых будто бы видели за работой, чьи злодеяния взволнованно описывали; судорожно хватались за оружие — и, в конце концов, они оказывались не более реальными, чем мараж. Г-н Лефевр дифференцирует, анализирует, расчленяет. Хотя вся Франция в июле 1789 года пребывала в состоянии напряжения и тревоги, хотя вся она опасалась «разбойников», она не вся была охвачена Страхом. И прежде всего те самые районы, где проявилась жакерия: Франш-Конте, Эльзас, нормандский Бокаж, окрестности Макона — откуда чаще всего исходили волны паники, — они сами не испытывали того ужаса, рождению ко-

<sup>1\*</sup> *Lefebvre G. Grande peur de 1789. P., 1932. P. 87.*

<sup>2\*</sup> *Lefebvre G. Paysans du Nord pendant la Révolution. Lille. 1924.* Этому же автору принадлежит ряд замечательных работ: *Les recherches relatives à la répartition de la propriété et de l'exploitation foncière à la fin de l'Ancien Régime; Les études relatives à la vente des biens nationaux // Revue d'histoire moderne. 1928. P. 103–130, 188–219; La place de la Révolution dans l'histoire agraire de la France // Annales d'histoire économique et sociale. 1929. T. 1. P. 506–533; Questions agraires au temps de la Terreur. Strasbourg, 1932* (это собрание документов предваряется чрезвычайно важным Предисловием; в нем разбираются главным образом декреты, принятые в вандозе<sup>1</sup>, — о конфискации имущества подозрительных лиц, декреты о крупных фермах, об исполщине, об откупщиках налогов, о регламентации культуры).



того в соседних областях они способствовали. Другие области, притом многочисленные, на севере и востоке — Фландрия, Эно, Камбрези, Арденны, Лотарингия; на западе — Нормандия и Бретань; на юго-западе — Медок, Ланды, Страна Басков; на Средиземном море — Нижний Лангедок и Руссильон — все они лишь в малой мере или вовсе не были затронуты тем смятением, которое другие провинции испытали в сильной степени.

С другой стороны, и в этом пункте доказательства г-на Лефевра особенно сильны, Великий страх не имел единого очага. И уж тем более этим мнимым единственным очагом и источником Страх не мог быть Париж. Нужно отказаться от удобного и упрощающего действительность мифа о великой волне <sup>3\*</sup>, распространяющейся, подобно потоку, безостановочно от столицы до самых отдаленных районов королевства и двигавшейся со скоростью конного гонца. Мест, где зародился Страх, было много — в провинциях, очень отдаленных одна от другой; разразился он не всюду одновременно; Париж был не центром распространения, а конечным пунктом: именно к нему стекались токи беспокойства и смятения клермонтцев, суассонцев, жителей Гатине. Страх Можя и Пуату родился в Нанте, 30 июля. Страх Мена — возле Ферте-Бернара, 21-го. Страх востока и юго-востока возник 22-го, в районе Лон-ле-Сонье; он был порожден бунтом крестьян Франш-Конте, который, в свою очередь, был вызван (17 июля) событиями в Кинсее. В Шампани Страх распространился 24-го и в последующие дни, начавшись в Ромильи, может быть, из-за

<sup>3\*</sup> О начальном периоде Революции см., например, очерк Олара. Там можно прочесть: «Революционная муниципализация сельской Франции, еще несознательных людских масс, внезапный и одновременный выход на сцену деревенского люда, который так трудно расшевелить, — все это результат электрического удара, который последовал из Парижа. Этот удар пронзил всю Францию почти в один день, почти в одно мгновение — с 27 июля по 1 августа» (*Histoire générale* / E. Lavis, A. Rambaud. P., 1896. Т. 8. P. 68). Этот очерк Олара в 1896 году был «последним словом». Немного спустя Жорес в «Социалистической истории» нарисовал уже значительно более сложную картину явления. Он возражал в первую очередь против представления о внезапном начале событий. «На самом деле события начинались не с такой внезапностью, которая могла бы навести на мысль о своего рода заговоре... Если бы паника вспыхнула по чьему-либо приказу и повсюду одновременно, она точно так же и закончилась бы повсюду в одно и то же время». Особенно четко Жорес проводил различие между двумя движениями: «движением крестьян, владевших землей, против дворянства — с целью освободить свою землю от всех феодальных повинностей» и движением «безземельных бродяг, нищих, голодающих». Он говорит очень хорошо: «Я пришел к выводу, что Великий страх был главным образом увеличенным многократно проявлением той постоянной тревоги, которую внушали нищие, всегда подозревавшиеся в намерении поджечь фермы и урожай» (*Jaurès J. Histoire socialiste*. P., 1901. Т. 1: *La Constituante*. P. 271—299). Здесь Жорес еще раз показал себя историком, наделенным весьма пронизательным чутьем, пониманием человеческих реальностей.

того, что стадо коров приняли за банду вооруженных всадников. Земли клермонтские и суассонские Страх обуял после конфликта, который произошел 26-го между стражей и браконьерами близ Эстре-Сен-Дени; наконец, на юго-западе центр его возникновения — Рюффек, где причиной волнения послужили действия небольшой банды нищих, которые, нарядившись монахами ордена мерседеров<sup>2</sup>, занимались вымогательством, прибегая к угрозам.

Нет ничего более убедительного, чем общая карта этих событий, к сожалению недостаточно подробная и помещенная в самом тексте книги<sup>4\*</sup>, где обозначены центры возникновения и установленные пути распространения волн паники; районы жакерии, в которых она началась раньше, чем разразилась паника; наконец, перечисленные выше местности — они по непонятным причинам остались нетронутыми поветрием<sup>5\*</sup>. В первую очередь нас поражает характерный факт: Страх перемещался не по главным дорогам королевской дорожной сети, которые начинались в Париже. Страх из Рюффека достиг не только Пуатье, но и Буржа через Шатору; Монлюсона и Риома — через Гере; Кастра, Тулузы, Сен-Жирона — через Каор; Оша — через Ангулем и Ажен и, что очень любопытно, Орильяка, лежащего посреди Центрального массива, — через Брив и Тюль; Юсселя — через Юзерш. В то же время Страх, возникший в Лон-ле-Сонье, не только двигался на Гренобль и Лион и оттуда на Арль, Экс и Баржоль, но и, взобравшись на восточный край массива, достиг Монбризона, Клермона, Иссуара, а ниже — Шез-Дье, Менда и Милло. Странная география путей перемещения Страха показывает, что Центральный массив вопреки легенде не выполнил свою роль полюса стойкости и отталкивания и оказался весьма проницаемым для паники, в то время как долины, например долина Луары или Гаронны, не послужили ее распространению ни в малой степени. Возникает настойчивое ощущение, что мы имеем дело с разрозненными, не связанными между собой движениями, которые, конечно, порою распространялись путями, существовавшими искони (весьма любопытна и поучительна роль рюффекского центра распространения), но непосредственно управляли ими местные условия. В общем эта карта наводит на размышления, и над нею стоит подумать подольше; к ней нужно возвращаться, совершенствовать ее, сделать ее как можно более точной, указав даты, ибо даты на ней отсутствуют. Когда прекрасная книга г-на Лефевра принесет свои плоды, он непременно должен будет предпринять для нас новое ее издание, еще более богатое всякого рода данными<sup>6\*</sup>.

<sup>4\*</sup> *Lefebvre G. Grande peur de 1789. P. 198—199.*

<sup>5\*</sup> Г-н Лефевр не рассматривает эти причины сколько-нибудь подробно.

<sup>6\*</sup> По-настоящему нужна такая карта, на которой были бы отражены не только детали рельефа и гидрографии, но и местонахождение крупных лесных массивов, которое нетрудно восстановить по картам Кассини,

Однако чем в конечном счете объясняется этот Страх, хронология которого была впервые в общих чертах установлена, основные маршруты прослежены и темпы распространения определены? Зафиксировать точки, где он возникал, описать пути его распространения, датировать проявления: все это задачи первоочередные. Терпеливый и усердный труд позволил г-ну Лефевру впервые разрешить их. Установить причины Страха — задача подлинной истории. И я не скажу: именно этого ждали от автора, но — этого ждали именно от него.

Всего на шестидесяти страницах автор набросал картину французской деревни 1789 года — поистине замечательную, богато документированную, отличающуюся строгостью и точностью рисунка, широтой мазка. Г-н Лефевр изобразил нам сельскую Францию, значительно гуще населенную, чем ныне, сельскую Францию, относительно перенаселенную, — что ж, отсюда в 1789 году мог донестись крик отчаяния<sup>7\*</sup>: «Количество наших детей приводит нас в ужас!» Деревни, где многие семьи не владели никаким имуществом — буквально ничем, ни землей, ни плодовыми деревьями, ни хижинкой, даже самой убогой: каждая пятая семья в Камбрези, каждая четвертая в орлеанских землях, две из пяти в нормандском Бокаже и даже три из четырех во Фландрии и в окрестностях Версаля. И в лесах, и в ландах, по краям болот, на общественных землях — повсюду кишели люди в поисках земли...<sup>8\*</sup> Конечно, для того чтобы возделывать землю, не нужно было быть ее владельцем: лишь немногие из дворянства, духовенства, буржуазии — лишь очень немногие из этих землевладельцев, «сеньоров», что-то делали сами. Остальные отдавали свою землю в аренду, и почти как правило — маленькими участками очень маленьким людям; однако такие хозяйства очень часто бывали слишком малы, чтобы прокормить семью: г-н Лефевр сообщает нам, что на севере от 60 до 70% крестьян обрабатывали менее одного гектара. Добавим, что «сеньориальная реакция» не пустое слово в годы, предшествовавшие Революции<sup>9\*</sup>. Жестокое и все возрастающее ограничение коллективных прав, права подбирать колосья после жатвы, пасти скот на лугах после покоса; ужесточение притязаний и требований сеньоров; захват значительной части земель коллективного пользования; возникновение крупных хозяйств, где принципы «ново-

а также районы болот, большие королевские дороги, мосты; на прозрачном листе нужно изобразить стрелами направления воды и потоков Страха; кроме того, следовало бы проставить даты — числа и даже часы (в тех случаях, когда это возможно).

<sup>7\*</sup> *Lefebvre G. Grande peur de 1789. P. 9* (жалобы крестьян из Ла Кора, округ Шалон).

<sup>8\*</sup> Более подробно об этом см.: *Lefebvre G. Questions agraires au temps de la Terreur. P. 6–7, 59 sqq.*

<sup>9\*</sup> *Bloch M. Les Caractères originaux de l'histoire rurale française. P., 1934. P. 131, 201.*

го земледелия», приближающегося к научным методам, к высокой производительности и промышленному ведению хозяйства, — принципы такого земледелия начинают применяться всерьез, к большому ущербу бедных земледельцев; одновременно (и словно нарочно) — бедствия, вызванные неурожайными годами, в особенности ужасным неурожаем 1788 года: пустые амбары, безумный рост цен, которые достигнут своего апогея в июне 1789 года, призрак голода, вставший перед массами людей; к тому же — недальновидная политика, приведшая к ужасающему росту безработицы в промышленности. В результате торгового договора 1786 года с Англией королевство было внезапно наводнено изделиями английской промышленности, превосходство которой оказалось подавляющим, от чего незамедлительно понесли урон производства пряжи и тканей, красильное дело во Фландрии, Пикардии, Бретани, Нормандии, Лангедоке; рабочие этих производств, выброшенные на улицу, пополнили огромную армию скитальцев, людей, лишенных пристанища, и бродяг — в стране, где не было общественной стабильности как раз потому, что по ее дорогам из города в город постоянно передвигались толпы, все более и более осознающие свою беспощадную силу: профессиональные попрошайки, безработные, лишившиеся крова, жуликоватые разносчики товаров, контрабандисты и торговцы ворованной солью: целый мир, целая зловещая армия, которую усиливали элементы относительно здоровые, но пороку находившиеся под влиянием других людей, испорченные другими: попрошайки временные, от случая к случаю, бродячие сезонники, каменщики-лимузинцы, овернцы, трубочисты-савояры и прочие. Они организовывались в шайки — чем дальше, тем больше. Деревенские люди жили под постоянной угрозой: то похитители зерна набрасывались большой компанией на поля пшеницы и по-хозяйски собирали свою «десятину»; то «ночные бедняки» самовольно устраивались на ночлег в сарае и требовали вина и еды, а днем, когда мужчины были в поле, вторгались в дома, запугивали женщин, забирали все, что могли, съедобное или даже деньги; воровали при случае... Ничего не поделаешь, ничего не возразишь: оставалось только подчиняться, покоряться, улыбаться — из страха обнаружить утром приколотое к дверям страшное требование заплатить крупную сумму (и рядом с ним — пучок серных спичек). Крестьянин был безоружен против этих шаек — там, наверху, позаботились о том, чтобы отобрать у него огнестрельное оружие, дабы он не мог охотиться<sup>3</sup>. Три или четыре тысячи конных стражников ничего не могли поделать с надвигающимся потоком, а сборщики налогов были еще хуже грабителей. Поэтому оседлых земледельцев одолевала забота, нужда (а то и нищета) побуждала к размышлениям (размышление слишком часто означало осуждение и проклятия); странные тревожные слухи передавались неумелыми устами во время опас-

дивых ночных бдений, когда прислушиваются к каждому шороху снаружи. И, шагая по старым дорогам, истоптанным ногами их предков, наши крестьяне мысленно переносятся во времена, столь раз описанные, в мифические и все же реальные времена «шведов», то есть «англичан», когда так туго пришлось бедняге Жаку, совершенно задавленному, доведенному до голода и нищеты»<sup>4</sup>.

Вот среда, в которой родился Страх. Вот глубинные причины тех волн паники, которые стали столь странной деревенской увертюрой Революции.

Этих волн паники... Но почему паники? Пусть бы вооруженные бунты; можно понять захват замка, где живет жестокий землевладелец, уничтожение архивов, земельных списков, судебных бумаг. Но почему возникли эти страшные события, порожденные иллюзиями и миражами?

Именно в этом вопросе книга г-на Лефевра, столь важная для познания, для полного понимания первых шагов нашей Революции, оказывается в то же время очень поучительной для историка, интересующегося коллективной психологией. Именно этот аспект книги вносит первостепенный вклад в изучение лживых слухов, небылиц, которые подхватывает коллективное сознание охваченного смутой общества — чтобы потом взрастить их в своем лоне, напитать своею плотью и кровью и разослать во все стороны.

Настоящие жакерии, бунты, возникающие из желания сбросить изнурительные повинности: косвенные налоги, десятины, феодальные права; из потребности отомстить за прошлые оскорбления; по политическим мотивам — чтобы покарать слепое сопротивление привилегированных настояниям и требованиям третьего сословия; наконец (и здесь г-н Лефевр проявляет особенную пронизательность), из буйной радости угнетенных, ломящих ярмо, сбрасывающих его на денек, позволяющих себе бесплатное удовольствие выпить за здоровье Нации вина из подвалов сеньора или с хохотом сожрать голубей из его голубятни, — эти народные движения, сотрясающие с начала весны некоторые сельские местности, а затем нарастающие в июле, независимо от парижских событий, на нагорьях Маконне, в нормандском Бокаже, на плато Франш-Конте и в пастбищных районах Самбры (земля там повсюду неважная или попросту плохая), — эти события г-н Лефевр исследует очень тщательно и с большим мастерством. Ибо они предшествовали Страху, а в некоторых местах послужили к тому же его причиной и позволяют, поскольку они хорошо известны и точно датированы, восстановить его истинный облик и значение. Не было необходимости в Страхе, чтобы, как утверждалось многократно, поднять крестьян против старого режима. К тому времени, когда пришел Страх, крестьяне уже поднялись. Однако, побудив крестьян объединиться и организовать для отпора угрозам и опасностям, он дал им

осознать свою силу. Он придал новый импульс начавшемуся на-много раньше победоносному натиску Жаков из Бокажа, из северного Франш-Конте, из Эльзаса, из Эно и более всего, быть может, из Маконне — натиску на сеньориальный режим. Все это — о том «как» и о последствиях. Но остается вопрос «почему?».

Есть «рациональное» объяснение: был заговор. Заговор буржуа, которые вызвали крестьянское восстание, чтобы свалить старый режим и основать на его развалинах собственное господство; или заговор аристократов, пытавшихся нанести удар своим противникам. Так говорилось, и в это верили — особенно во вторую версию: аристократы сыграли свою роль, решающую роль в возникновении Страха. Г-н Лефевр показал совершенно ясно и с полной очевидностью, которая, как хочется верить, убедит самых упорных: эта версия беспочвенна, в возникновении Страха историк не может отыскать «никаких следов заговора». Из всего, что он пишет по этому поводу, самым обоснованным и убедительным является объяснение психологическое.

Человеческие группы так или иначе были достаточно замкнутыми и удаленными друг от друга; их разделяли довольно большие расстояния или естественные преграды, и они сообщались между собой лишь через посредство бродячих элементов, по большей части — через случайных прохожих и встречных, переносивших, однако, драгоценные новости, пришедшие издалека и ставшие от этого еще более захватывающими. Огромная восприимчивость, легкое верие, которое пышно расцвело в условиях нищеты и тревоги, длительного недоедания, смутного, но глубокого волнения, — все это разрушило у людей, не имеющих культуры мышления, последние остатки способности рассуждать критически. Наконец, скрытое брожение умов, подспудная работа воображения, сосредоточенного на нескольких простых темах, одинаково близких всем элементам одного и того же общества деревенских людей, — темах, развивавшихся и передававшихся изустно, не по-писаному и помимо печати. Эти исконные условия для расцвета слухов и легенд сыграли присущую им в истории роль; как писал несколько лет назад Марк Блок<sup>10\*</sup>, те, кто видели и пережили войну, имели отличную возможность наблюдать все это собственными глазами. Быть может, эти условия никогда не были представлены в более полном и законченном виде, чем в те дни, когда Великий страх распространился в потрясенных душах французских крестьян. Об изолированности человеческих групп, и в особенности крестьянских, об изоляции физической, изоляции нравственной; об отсутствии газет, которые были исключительно редки и крайне дороги и, помимо всего прочего,

<sup>10\*</sup> Bloch M. Réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre // Revue de synthèse historique. 1921. Т. 33: Introduction à l'histoire de la guerre mondiale. P. 13 sqq.

очень осторожны, содержание их оставалось неизвестным крестьянам, тем более что они не умели читать; о стойкости старинных полубогатых рассказов, древних воспоминаний, бережно хранящихся в глубине крестьянской памяти и облакавших неприглядную действительность в мишуру псевдоисторических одежд; о роли бродяг в распространении панических слухов; об удивительном отклике, который находил любой волнующий рассказ в настороженном молчании сельской Франции,— обо всем у г-на Лефевра написано точно и содержательно. Поэтому его книга представляется не только вкладом первостепенной важности в историю Революции — Революции, наделенной телесным обликом, хотелось бы сказать, вспомнив о множестве бесплотных описаний движения, которое в стране, где земля была почти всем, несомненно, в сильнейшей степени отмечено влиянием крестьянских масс. В столь необходимое нам знание и понимание деформирующей работы людского воображения Лефевр привносит то, что можно было бы назвать плодом великолепного эксперимента — одного из тех стихийных опытов по свидетельской психологии, какие частенько припасает для нас история в качестве сюрприза; однако, как правило, мы даем им пропасть без всякой пользы. Так завершает свой труд историк, который недавно, на одной из «Недель» Международного центра исторического синтеза, еще раз ярко обрисовал характерные черты и выделил подлинно историческую роль революционной толпы.

## НЕВЕРНО ПОСТАВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА: ИСТОКИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕФОРМАЦИИ И ЕЕ ПРИЧИНЫ

Сравнительная история... После того как блестящее выступление Анри Пиренна разбудило уснувшее эхо, эти два слова обрели второе дыхание. Разумеется, они не означают некую панацею. Однако на многие плохо поставленные вопросы можно получить кое-какие новые ответы — если заглянуть к соседу поверху разделяющих нас стен. Постараемся показать это на примере живо интересующей проблемы причин и истоков французской Реформации.

Конечно, за последний век потрудились немало, чтобы установить истоки движения, на протяжении нескольких десятилетий угрожавшего нашему католицизму, который был в те времена более галликанским, нежели заальпийским<sup>1</sup>. Объединившись вокруг журнала «Бюллетень Общества истории французского протестантизма» и великолепной библиотеки, что на улице Святых Отцов, терпеливые исследователи во главе с Натаниелем Вейссом, отменным знатоком прошлого, скрывающегося в тьме веков, — терпеливые исследователи возобновили и продвинули дальше изыскания, с энтузиазмом предпринятые в 1840—1860 годах отважными первопроходцами — по большей части жителями Страсбура или романской Швейцарии<sup>1\*</sup>. В то же время (мы ограничимся упоминанием лишь важнейших начинаний) — в то же время Анри Озе, историк весьма проникательный, стремящийся вписать религиозную жизнь французов XVI столетия в картину их экономической и социальной жизни, — Анри Озе показал, как в истории этого героического века в единую ткань сплелись элементы материальные и духовные<sup>2\*</sup>. Однако, несмотря на все эти

---

<sup>1\*</sup> Во главе страсбурцев стоял Ш. Шмидт. Его очерки о Фареле (1834), о Жерсоне (1839), о Жераре Русселе (1845) для тех времен поразительны. Кроме того, он оказывал влияние своим примером и был учителем. Н. Вейсс — один из его учеников. Следует упомянуть и Эд. Рейсса (умер в 1891 году) за его бесценные «Фрагменты из истории французской Библии» и за участие в многотомном издании «Трудов Кальвина», предпринятом совместно с друзьями — Эд. Кунцем и Ж.-Г. Баумом, автором книги «Теодор Без» и составителем бесценного собрания «Тезаурус Баумианус», хранящегося в Национальной библиотеке и в библиотеке Страсбургского университета. Что касается швейцарцев, то упомянем лишь Э. Л. Эрминьярда, автора замечательной «Переписки реформаторов в странах французского языка (1512—1544)».

<sup>2\*</sup> Эти работы Озе составили несколько книг: «Etudes sur la Réforme française» (1909); «Ouvriers du Temps passé» (первое издание вышло в 1898 году); «Travailleurs et marchands dans l'ancienne France» (1920); «Le débuts du capitalisme» (1927). Прибавим к этому четыре выпуска «Памятников истории Франции XVI века, 1494—1610» (1906—1915), исполненных эрудиции и проникательности, а также книгу «Начало нового времени: Возрождение и Реформация», написанную в сотрудничестве с О. Реноде для собрания «Народы и цивилизации» (1929).



старания и достижения, как только мы покидаем царство фактов и вступаем в устрашающее душу царство идей — какой мы слышим многоголосый хор противоречивых мнений и взаимных обвинений!

Была ли французская Реформация — ее основные черты, ее творцы — была ли французская Реформация с самого начала чем-то особенным, отличным от других современных ей Реформаций? Если принять, что эта особенная французская Реформация и в самом деле была такова, следует ли считать, что она началась раньше, чем Реформация Лютера? Затем: являлась ли она автохтонной, родившейся во Франции по причинам чисто французским, или семена ее были занесены извне, а именно из лютеранской Германии?

Таковы в общих словах три извечные проблемы специфичности, приоритета, национального характера французской Реформации, и проблемы эти уже много лет вызывают споры среди историков. Историки в этом довольно похожи на спорщиков-схоластов, описанию которых Мишле посвятил знаменитые строки. Утверждения, затем отрицания, снова утверждения, опровержения следуют друг за другом, ядовитые, но бесплодные; и тот, кто, пожелав понять и разобраться, погрузится в эту литературу, столь же пустую, сколь многословную, не найдет в ней ничего, кроме доводов, тысячу раз пережеванных тремя поколениями, которые топтались, обозначая шаг на месте.

Вот случай с Лефевром. Он типичен. Какова была роль этого скромного ученого в возникновении французской Реформации? Около сотни лет историки с докучным постоянством не устают давать два или три противоречащих друг другу ответа на этот вопрос. Не станем углубляться далее 1897 года. Тогда в своем «Жане Кальвине» Э. Думерг — он был не первым — решительно утверждал, что «Лефевр — создатель первого по времени протестантского учения»<sup>3\*</sup>. А в 1913 году Жоан Вьено в очень темпе-

<sup>3\*</sup> *Doumergue E. Jean Calvin. 1899. T. 1. P. 542 sqq. Ap. 5: Le Fevre, réformateur français. Удивительная смесь удачных формулировок и адвокатских преувеличений. «Лефевр не был ни Лютером, ни Кальвином: он был Лефевром... Лефевр был самобытным реформатором до Лютера, поскольку он остался таковым после Лютера» (P. 544). Эти утверждения, если их соответствующим образом пояснить, могут быть приняты. Но говорить: «ум Лефевра был настолько самобытен, что не было силы, способной повлиять на него» (P. 545) — это заблуждение. Свообразие Лефевра было вскормлено весьма различными источниками, и Реноде показал, как «старина Фабри» с течением времени испытал сильное влияние своего соперника Эразма. Автор «Фарса о теологастрах» [здесь: горе-теолог], написанного в 1523 году, имел резон, когда просил Царя Небесного поместить в своем святом раю того и другого вместе:*

Эразма, книжника великого,  
и умника великого Фабри...

раментной статье, помещенной в «Бюллетене»<sup>4\*</sup>, так опровергал аргументацию монтобанского декана. «Шутка слишком затянулась,—воскличал он,— было никакое французской Реформации, независимой от лютеровой и начавшейся прежде нее; пора избавить историю Реформации от этой легенды». Так-то оно так. Ну, а от легенды противоположного свойства? В статье Вьено, так же как и во всех прочих, нет ничего такого, что не утверждалось бы ранее многократно.

Итак, что же делать? Ждать возражений, затем возражений на эти возражения? Но отдых был неведом Сизифу. Намного раньше, чем Барно в «*Etudes théologiques et religieuses*», издаваемых в Монпелье<sup>5\*</sup>, полностью присоединился к утверждению, что Лефевр—предтеча французской Реформации—намного раньше германист Луи Рейно в претенциозной «Общей истории французских влияний в Германии»<sup>6\*</sup> (эта книга в свое время произвела некоторый шум) — не объявил ли он, что «Лефевр не только научил парижан лютеранству, но, быть может, научил ему самого Лютера?». Это «быть может» было благоразумным, но благоразумие быстро забывается, и Рейно заключает: «Таким образом, первичный очаг лютеранства был в Сен-Жермен-де-Пре, а не в Виттенберге»<sup>7\*</sup>. Это, однако, нисколько не помешало автору почтительно объявить учение саксонского монаха «наиболее совершенным выражением духа Германии, освобожденной в конце средних веков»<sup>7\*</sup>. Рейно даже добавил: «Это явление настолько же исконно германское, насколько исконно французским был кальвинизм»; так единым махом превзошли Думерга, а Вьено грубо и высокомерно оспорили и, кроме того, резко атаковали тех, кто в 1913 году, подхватив злобную расхожую мысль, поучали вместе с Пьером де Вессьером, который, как правило, бывал более осторожен: «Протестантизм мог быть отвергнут только самую страной, ее душа и гений, как было доказано выше, решительно

---

Однако Думерг еще больше отклоняется от всякой реальности, когда говорит о «дате обращения Лефевра» (Р. 545). Обращения — в какую веру? Думерг забывает, что «Лефевр не был ни Лютером, ни Кальвином» — он был самим собой.

<sup>4\*</sup> *Vienaux. J. Y a-t-il une Réforme française antérieure à Luther? // Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. 1913. P. 97—108. (Далее: BSHP).*

<sup>5\*</sup> Очерк достаточно поверхностный. См. более тщательно аргументированную работу: *Dörries H. Calvin et Lefèvre // Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1925. Bd. 44.* Это серьезная попытка обсудить с богословской точки зрения представления Лефевра о Боге и Божественном величии, о единстве в Боге и о славе Божией. Шайбе в работе «Учение Кальвина о предопределении свыше» (1897) утверждал, что в этих вопросах Кальвин лишь повторял мысли Лефевра.

<sup>6\*</sup> *Reynaud L. Histoire générale de l'influence française en Allemagne. P., 1914. Ch. 5. P. 157—171.*

<sup>7\*</sup> «Лютеранство — явление германского духа, возведенного в квадрат» (*Ibid.* P. 164).

воспротивились духу Реформации и реформированному учению»<sup>8\*</sup>. Не будем наивно допытываться ни имени автора этих строк, ни до истинной цены неопровержимых «доказательств». Они, конечно, не были делом рук Анри Ромье, который писал в 1916 году: «Реформация была принята и понята только теми, кто были самыми чистокровными французами — начиная с Беза и кончая Колиньи». Или еще: «Не было в истории ничего более национального, чем французская Реформация»<sup>9\*</sup>. Однако не откажем себе в удовольствии привести два отрывка из Брюнетьера. В своей «Истории французской литературы» он заявлял со свойственным ему непререкаемым авторитетом: «Реформация — это по природе своей нечто германское, то есть антипатичное французскому духу»<sup>10\*</sup>. А два года спустя он писал: «Была чисто французская Реформация, своим происхождением она ничем или почти ничем не была обязана Реформации немецкой...»<sup>11\*</sup>

Нам могут сказать, что «все это объясняется проходящими страстями, политическими или религиозными». Нет, не все. Эти страсти не объясняют того, почему Думерг и Вьено — оба историки и теологи реформистского толка — могли столь противоположным образом оценивать место Лefевра относительно Лютера или, вернее, то истинное положение Лefевра относительно новаторов, консерваторов и тех соотечественников, которые позднее пошли за Жаном Кальвином. Они не объясняют косности и не-

<sup>8\*</sup> *Vaissière P. de. Récits du temps des troubles: De quelques assassins. P., 1912. P. 16.* Ту же тему в другой аранжировке см.: *Autin J. Les causes de l'échec de la Réforme en France. Montpellier, 1917.* Среди бесчисленных работ, в которых излагалось противоположное мнение, см.: *Pannier J. Les origines françaises du protestantisme français // BSHP. 1928. T. 77.*

<sup>9\*</sup> BSHP. 1916. P. 343. И еще: «Я полагаю, что вся или почти вся нравственная цивилизация французского XVII века имеет корни в национальной Реформации XVI века». Отметим, что Ромье не занимается тем, что он называет «довольно смутным началом Реформации»; он интересуется только Реформацией Кальвина, «которая кристаллизовалась в учение и церковное устройство около 1560 года, выйдя из самых глубин нашей почвы и нашей национальной души». С ним дискутирует Вейсс: «Да — если под этим подразумевается, что французская Реформация была подготовлена и провозглашена во Франции и ей благоприятствовали некоторые французские традиции; нет — если настаивают, что Реформация зародилась во Франции и развивалась независимо от каких бы то ни было сторонних влияний» (*Ibid. P. 248, 343*).

<sup>10\*</sup> *Brunetière F. Histoire de la littérature française. P. 1898. T. 1. P. 193.* В «Учебнике» (1898) того же автора — другой занятый пассаж: «Франция отвергла для своего общественного устройства то, что сочла слишком германским, когда это германское явилось в облике феодальной системы (sic!), но лишь для того, чтобы включить в свое устройство нечто по меньшей мере столь же германское в виде протестантизма» (P. 75).

<sup>11\*</sup> *L'Oeuvre littéraire de Calvin // Revue des Deux Mondes. 1900. 15 oct. P. 898—923.* О полемике, которая за этим последовала, см.: BSHP. 1901. T. 50. P. 658; 1902. T. 51. P. 38.

желания отбросить старые привычки ведения споров. К тому же это не схватка отдельных историков, явившихся кто откуда. Это — целая проблема, фундаментальная проблема истоков французской Реформации, и она остается неразрешенной; между тем мы считаем, что в этом вопросе люди добросовестные могли бы прийти к почти полному единодушию — и это очень важно.

Это важнее, чем обычно склонны думать историки. Как известно, по большей части они испытывают основательное недоверие к тому, что они называют «общими идеями». Не стану утверждать, что они неправы; однако нужно подходить с разбором. Если движение столь широкое, как Реформация, развертывается в стране со столь богатой духовной культурой, какова Франция, искать одну исходную точку (как будто была в самом деле одна исходная точка) в узком замкнутом круге событий и побуждений; пренебрегать познанием глубинных источников (при том что любой беспристрастный исследователь не колеблясь назвал бы их) — источников потока столь мощных мыслей и чувств, к тому же тесно связанных со столькими насущными потребностями того времени, — это значит умышленно впасть в тяжелейшие заблуждения, предаться самым фантастическим толкованиям, тем самым, которые противоборствуют в цитатах, подобранных нами выше. Более того, это значит полностью лишиться себя возможности изобразить движение, траекторию которого нельзя провести, если не вычислить самым тщательным образом ее начальные координаты.

## I

Как определить сегодня те старые позиции, которые, похоже, соперники удерживают ныне только от усталости? И что побуждало их на протяжении длительного времени занимать эти позиции?

Это можно объяснить лишь самым приблизительным образом, потому что в нашем распоряжении нет истории, плохой или хорошей, — нет никакой истории французской Реформации<sup>12\*</sup>. В общем можно сказать, что решительный шаг вперед будет сделан тогда, когда к каждому сколько-нибудь важному историческому вопросу будет прилагаться подробная родословная предмета, составленная по всем правилам. Мы, если можно так выразиться, никогда не имеем дела с фактами, подобранными беспристрастно, с фактами, которые мы можем комбинировать по нашему усмотрению. Мы сталкиваемся с давнишними подборками, в той или иной мере произвольными, — с подборками событий и их интерпретаций, с наборами (ставшими каноническими) идей и документов — короче, с «крупными проблемами», поставленны-

<sup>12\*</sup> Поучительная книга Ребельо «Боссюэ — историк» в этом случае бесполезна: Боссюэ опускает все, что происходило во Франции до Кальвина.

ми иной раз столетия назад под влиянием уклада жизни, мыслей и потребностей, которые давно отошли в прошлое.

Здесь становится очевидным по крайней мере одно обстоятельство. Те, кто первыми задались целью найти причины, проследить перипетии и охарактеризовать принципы Реформации, — это были люди Церкви, католические священники и протестантские пасторы, и каждый из них был толкователем веры; для них задача заключалась не в том, чтобы изучить с сочувствием, свободным от каких-либо задних мыслей, происхождение того нового состояния души, которое привело тысячи и тысячи верующих, алкавших уверенности, к неприятию старых форм благочестия. Для любознательности такого рода время тогда еще не пришло. В самом деле, заботы, отнюдь не бескорыстные, истинно профессиональный долг или требования борьбы навязывали мнения и диктовали позиции этим воителям — история для них была лишь складом оружия. Будучи священнослужителями, они в первую очередь стремились защитить от соперников собственные церкви. И поэтому их более всего затрагивали в Реформации не вопросы веры, а дела церковные, разрыв с Римом, появление новых Церквей — событие первостепенной важности; одни пытались его оправдать, другие упорно оплакивали. Что до историков, скромных пособников властей предрежащих, — они вовсе не собирались окуна́ться в темные глубины истории, насыщенной психологией, о которой в те времена никто не догадывался — ни о самом ее существовании, ни о ее возможностях, ни о ее плодотворности.

Как новые Церкви, тесно связанные с государями, исполнили свои партии в разноголосом концерте Европы, раздираемой войнами, наполовину политическими, наполовину религиозными? Вот что постарался показать первый из историков Реформации в XVI веке Слейдан в своем сочинении 1551 года «О состоянии религий и государств»; вот что уже в течение трех столетий притягивает к себе исключительное внимание пестрой группы межуаристов, в большей или меньшей степени веротерпимых, из коих ни одному не пришла в голову мысль рассматривать Реформацию в ее историческом контексте<sup>13\*</sup>. И здесь, и там у толкователей веры и у летописцев это необозримое движение, столь богатое различными аспектами, оказывалось сведенным к двум весьма сухим материям — церковной и политической.

Проблема истоков становилась, таким образом, второстепенной. Точнее, вообще не было никакой проблемы во внезапном бунте некоего монаха Мартина Лютера, публично провозгласившего в 1517 году доктрины, которые Рим осудил как еретические, а сам Лютер считал спасительными; Лютера, вступившего в борьбу с властью святого престола и в конце концов отлученного

<sup>13\*</sup> Fueter V. Histoire de l'historiographie moderne / Trad. Jeanmaire. P., 1914. P. 305.

в 1521 году от исповедания правоверных католиков посредством торжественного акта. Какими индивидуальными путями религиозной психологии, под влиянием каких размышлений, каких теорий Лютер пришел к этому? Вот уж кем никто не интересовался. Реформация была расколом — ни больше ни меньше, а раскол был обязан своим происхождением бунту. Пойти дальше этого — как и чего ради? С 1517 года начинается новая эра; с этой роковой даты начинается *Historia nova* [Новая история], которая родилась вместе с Лютером подобно тому, как *Historia medii aevi* [История средних веков] родилась вместе с Христом. Итак, в качестве объяснения, почему цельнотканая риза оказалась разорванной<sup>3</sup>, два элементарных представления застряли в умах как католиков, так и протестантов, в одинаковой мере не страдавших излишним любопытством. Реформация, порожденная возмущением против злоупотреблений, была обязана своим происхождением самым этим злоупотреблениям, и творцом ее был Мартин Лютер, яростный искоренитель злоупотреблений.

Каким образом императивы пылкой и страстной полемики, продолжавшейся более двух веков, содействовали тому, что две столь упрощенческие концепции завоевали все умы? Проследить это в подробностях не наша задача. Но чтобы убедиться в том, что во Франции, так же как в Германии и в других странах, эти дропагандистские тезисы полюбились и католикам, и протестантам, — чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть две книги: «Историю изменений» Боссюэ и «Историю кальвинизма и папизма, взятых в сравнении» Жюрье<sup>14\*</sup>.

Реформация, порожденная злоупотреблениями? Выставить эти злоупотребления на всеобщее обозрение, дать обществу потешиться рассказами о личных слабостях священников и монахов, епископов и даже римских пап, подробно разобрать эксцессы системы налогов, которую так легко было назвать «симонической»<sup>4</sup>, — какое наслаждение для нападающей стороны! Однако послушные сыны Римской церкви, поспорив должным образом по частным вопросам, — разве восстали бы они по-настоящему против учения, которое, выдвигая обвинения против отдельных лиц, позволяло бы оставить вне поля их зрения то, что было для них единственно важным, а именно принципы?<sup>15\*</sup>

<sup>14\*</sup> *Jurieu P. Histoire du calvinisme et du papisme mis en parallèle.* Rotterdam, 1683. Это ответ на «Историю кальвинизма» отца Мембурга, опубликованную в 1680 году. Вероятно, в том же году Боссюэ начал свою «Историю изменений», законченную им в 1687 и увидевшую свет в 1688 году.

<sup>15\*</sup> Эта сторона вопроса не ускользнула от А. Озе. Вот что он писал о двух тенденциях: тенденции католической историографии — «представлять явления французской Реформации просто как умонастроения отдельных людей» и тенденции протестантской историографии — «считать истинно реформаторским только то, что до 1536 года было лютеранским, а после

Лютер — всеобъемлющий и единоличный творец Реформации? Католикам было выгодно повязать лютеран и кальвинистов узми солидарности, каковые узмы они, католики, считали весьма компрометирующими. Однако и их противники остерегались отвергать эту общность. Ибо утверждение того же Боссюэ: «Кальвинисты не могут отрицать, что они всегда считали Лютера и лютеран своими родоначальниками» — такое утверждение помогало им противопоставить соперникам (которые были рады «представить их обществу в виде многоголового чудовища») солидарный и тесный союз всех реформаций, объединившихся в одну Реформацию<sup>16\*</sup>.

Как могли наши предки отвергнуть эти тогдашние тезисы, столь издавна принятые в качестве неоспоримых истин?<sup>17\*</sup> Разве в течение всего XVI века злоупотребления не обличались всем христианским миром с бичующей яростью? Стоит исследователям заглянуть в архивы какой-нибудь епархии, капитула, монастыря — разве не открываются всякий раз нарушения, всевозможные скандалы и эксцессы? Кто мог усомниться в том, что самим Лютером двигала ненависть к подобным злоупотреблениям; в том, что истоки его деятельности восходят к его путешествию в Рим в 1511 году и к истории с индульгенциями; в том, что вся Реформация вышла отсюда, — кто мог в этом усомниться? Разве сей важнейший тезис не подтвердил стократно своими признаниями сам противник Тецеля, прозревший паломник в городе ложной святости? ° Итак, Лютер и впрямь был общим отцом всех реформаций: немецкой, взятой в целом, без различия областей и сект; равным образом швейцарской, хотя она порой следовала особыми путями; наконец, французской, несмотря на бесспорное свое-

1536 года — кальвинистским»<sup>5</sup> (*Hauser H. Sources de l'histoire de France, XVI<sup>e</sup> siècle, 1494—1610. P., 1909. T. 2. P. 86*).

<sup>16\*</sup> Еще раз Боссюэ: «Лютеране могут считать кальвинистов продолжателями того движения, которое они, лютеране, породили, и, наоборот, кальвинисты должны отметить у лютеран изначальные беспорядочность и непостоянство, унаследованные кальвинистами» (*Bossuet J. B. Histoire des variations. P., 1688. § 10*).

<sup>17\*</sup> Между тем один из реформаторов, Баснаж, уличает Боссюэ в переделках, ибо тот «старательно повторяет говорившееся другими служителями Церкви о безобразиях в среде духовенства», то есть пишет о «самом вопиющем и наиболее бросающемся в глаза», но отрицает, что «люди потребовали Реформации самой веры». Баснаж дает свое определение целей Реформации: «Изменить религию Церкви, исправить культ и низвергнуть власть Папы». Это, впрочем, не мешает ему начать с декламации, в которой он обличает коррупцию Церкви в канун Реформации: «Это была проказа, выбелившая все тело, мирянин, монах, священник, епископ, папа римский — все были запятнаны страшными преступлениями!» (*Basnage J. Histoire de l'Eglise depuis Jesus Christ jusqu' à présent. Rotterdam, 1699. T. 2. P. 1470*).

образе Кальвина<sup>18\*</sup>. Что делал бы пуйаонец<sup>7</sup>, что делали бы реформаторы всех реформаций, если бы Лютер не явился первым?

Лютер был «создателем» во всем значении этого могучего слова: религиозная история целого столетия выстраивается вокруг этого монаха, впоследствии витгенбергского реформатора. Те, кто занимались проблемами религии до него? Это — его предшественники, не более того; подобно Эразму, они откладывали яйца, высиживать которые предстояло могучему ереснарху. А люди, которые создали общины, исполненные иного духа, — анабаптисты или «духовные вольнодумцы»? Неблагодарные дети общего отца, питавшего их, войдя в силу, напали на него. Наконец, кто те люди, которые — в его время или после него — стали зачинателями нового католицизма, который ознаменовался глубоким преобразованием личного благочестия и публичного культа, религиозных управлений, чувств и даже самого христианского искусства? Это всего-навсего представители контрреформации, тем самым привязанные к Реформации, то есть к Лютеру: это с полной очевидностью следовало из самого их прозвания. Нелепые утверждения; однако потребовалось три столетия, чтобы их нелепость была осознана.

Ибо все продолжало идти своим чередом вплоть до середины XIX века. Тогда на сцену вышли историки. Сначала осторожно, как люди, привыкшие придерживаться политической ориентации. Затем со все возрастающей дерзостью, по мере того как они обрели поддержку и поощрение.

Их вмешательство не привело к немедленному и заметному продвижению вперед. Неоднократно отмечалось, что Ранке во втором (по времени) из своих шедевров — в «Немецкой истории времен Реформации» (1839—1847) — не решается покинуть испытанную почву политической истории и мало интересуется проблемами происхождения Реформации. То же во Франции. Один из двух традиционных тезисов наши историки приняли почти без споров: что Реформация была дочерью злоупотреблений; умственные привычки наших историков вовсе не побуждали их оспаривать это утверждение. Что касается другого утверждения — о Лютере, который был общим отцом всех реформаций, то факты, трудно поддающиеся классификации и интерпретации, постепенно принудили поставить этот тезис под сомнение.

«Иезуит Мембург, — писал насмешливо Жюрье в 1683 году, — не знает, что ему делать с Гийомом Брисонне, епископом Мо»<sup>19\*</sup>.

<sup>18\*</sup> Сразу заметно стремление полемистов-реформатов свести к несущественным расхождениям те «противоречия», на которые, торжествуя, указывали их противники. Цвинглианцы и кальвинисты, говорит Жюрье, «смешно делать две религии из этих небольших различий, которых не хватало бы, чтобы создать два течения внутри одной школы» (*Jurieu P. Op. cit. Pt 1, ch. 2. P. 85*).

<sup>19\*</sup> Жюрье пишет и о Лефевре, «одном из тех, кем воспользовался епис-



Что верно, то верно. Однако никто не понимал этого лучше, чем иезуит Мембург. Первый национальный французский собор реформированной Церкви состоялся в Париже в 1559 году. Лишь к ненамного более ранней дате, примерно к 1555 году, относят такой свидетель, как Креспен, появление упорядоченных Церквей, устроенных во Франции по образцу Женевской церкви, с пасторами, назначенными Кальвином. Таковы даты, и для людей Церкви, заботившихся о статусе и правах своих общин, эти даты имели основополагающее значение. Стало быть, в предшествовавшие тридцать или тридцать пять лет во Франции не было никого, кроме строго ортодоксальных католиков. В самом начале 1523 года на Свином рынке в Париже пылал костер августинца Жана Валльера. Кто они были те упрямцы, что заплатили жизнью за свои убеждения? Или те, кто держались более осторожно, колеблясь между ортодоксией и инакомыслием?

Были ли эти люди лютеранами? Католики издавна дали им это прозвище. Что не мешало тем же католикам издеваться над ними вместе с Флоримоном де Ремоном и изображать, как эти так называемые лютеране ворочают «каждый в своей голове — свою особенную веру и свое личное мнение и отвергают таковое своего товарища». «Один, — добавляет насмешливо Ремон, — находил правильным такое-то положение у Лютера, другой — совершенно иное у Цвингли, третий придерживался того же мнения, что Меланхтон, а четвертый был заодно с Эколампадием или Буцером». Легко догадаться, к какому заключению придет автор: «Их вера была путаной, беспокойной, беспорядочной, без устойчивого основания, лишенной глубины и четких границ»<sup>20\*</sup>. И реформатам очень хотелось бы стряхнуть с себя тяжесть груды эпитетов, которые отнюдь не были хвалебными; но как это сделать? Лютеранин — это тот, утверждал Боссюз, кто придерживается Аугсбургского исповедания<sup>21\*</sup>. Ну, а самое большее, самое лучшее, что смог сказать Жюрье, — это что после того, как Лютер затеял распрю из-за индульгенций, «во Франции, так же как и в других краях, захотели узнать, каковы основания для этой распри, и рассмотрение вопроса оказалось довольно благоприятным для Реформации»<sup>22\*</sup>. Итак, перед нами лютеранство, лишенное — вы с этим согласитесь — какого бы то ни было религиозного и догматического содержания. А как же наши «заблуждающиеся» французы-двинглианцы? И здесь мы сталкиваемся с теми

---

коп Мо, чтобы заложить основы Реформации в своей епархии». Однако он вовсе не рассматривает теории Лефевра (Ibid. P. 64, 66).

<sup>20\*</sup> *Florimond de Raemond. L'histoire de la naissance, progresz et décadence de l'hérésie de ce siècle. Rouen, 1628. Liv. 7, ch. 8. P. 879* (впервые издано в Париже в 1605 году).

<sup>21\*</sup> *Bossuet J. B. Op. cit. § 17.*

<sup>22\*</sup> *Jurieu P. Op. cit. Pt 2, ch. 9. P. 404.*

же затруднениями: никакой приверженности к какому-либо известному, четко сформулированному исповеданию; и местных церквей с регулярным устройством не существовало. В чем дело? Только любопытные люди интересовались мелкими подробностями такого рода. Эти люди были немногочисленны и еще менее того — настойчивы.

Во всяком случае, между французами и немцами никакого спора о приоритете не возникало. Или если такой спор возникал, то опосредованно — по поводу Ульриха Цвингли. Кто был первым — саксонец или гражданин Цюриха? «История Церкви» ставила обоих героев в один ряд; в ней было написано: «Итак, тогда были подвигнуты Богом в одно и то же время два человека, обладавшие поистине героическим духом». Все же эта книга отдает в конце концов предпочтение Лютеру: «он написал первым из двух»<sup>23\*</sup>. Однако наши реформаты XVII века уже не колебались. Они — кальвинисты и стремятся заявить о своей полной независимости от Лютера и лютеран. Поскольку они еще не помышляют ни о том, чтобы объявить Лефевра одним из своих, ни о том, чтобы воздать должное Фарелю, который был энергичным деятелем, но как теолог не пользовался влиянием — современники знали его плохо или относились к нему свысока, — они связали свою религию с именем Цвингли, которого они объявили истинным творцом Реформации. Баснажу, заявившему в своей «Истории Церкви» (1699), что «Цвингли был первым реформатором... Он предшествовал Лютеру. Не вступая с ним ни в какие сношения, не прочитав его сочинений, он составил план Реформации; наподобие лютеровой — если исключить вопрос о претворении хлеба»<sup>24\*</sup>, — Баснажу вторит Жюрье, написавший: «Цвингли, будучи первым творцом кальвинизма, представляется нам первым и по значимости»; или еще: «Хотя проповеди Лютера наделали много шума несколько раньше, чем таковые Цвингли, все же Цвингли начал проповедовать Реформацию раньше Лютера»<sup>25\*</sup>. Флоримон де Ремон, называвший Цвингли «скрытым лютеранином», а Фареля, Лефевра, Арно и Русселя — «цвинглианскими лютеранами» (довольно простодушно), — Флоримон де Ремон первым выдвинул тезис, подхваченный людьми вроде Жюрье и Баснажа: не следовало бы показать, «что тот же святой дух, который подвигнул Лютера в Саксонии, поднял и Цвингли в Швейцарии против индульгенций, при том что они не знали друг друга?». В этом замечании присутствует некое гасконское лукавство<sup>26\*</sup>. Оно объясняет далеко не все.

<sup>23\*</sup> Histoire ecclesiastique / Ed. J. W. Baum, E. Cunitz. 1883. T. 1, liv. 1. P. 9 (впервые издано в Антверпене в 1580 году).

<sup>24\*</sup> Basnage J. Op. cit. P. 1489. Баснаж ни слова не говорит о Лефевре.

<sup>25\*</sup> Jurieu P. Op. cit. Pt 1, ch. 1. P. 50, 53.

<sup>26\*</sup> Флоримон де Ремон ничего не видит вокруг себя, кроме лютеранства, об этом говорят названия частей и глав его сочинения: «Как лютеран-

Однако же нелегкий вопрос был в конце концов поставлен. Полемисты в пылу схватки с легкостью могли оставить его за пределами своей полемики, а историки, прикованные к политическим аспектам проблемы, вполне могли не подозревать как о том, что этот вопрос представляет интерес, так и о самом его существовании: но как только над ревниво обнесенной стенами областью религиозных изысканий повеет духом современной исторической науки, неизбежно разразится великий спор.

Наступление этого времени задержалось из-за того, что во Франции историки романтического направления с самого начала проявляли интерес почти исключительно к немецкой Реформации вообще и к Лютеру в частности: мы подразумеваем — к романтической фигуре Лютера, произвольно породненного с доктором Фаустом. Не будем забывать, что четвертая часть книги «О Германии» называется «Религия и энтузиазм» и что, кроме того, во второй главе («О протестантизме») мадам де Сталь посвящает Лютеру несколько фраз, которые звучат по-новому. Назвать Реформацию «революцией, произведенной идеями» (как она это делает), означает, как бы там ни было, что мадам де Сталь видела лучше и глубже, чем великое множество мужей, которые упорно определяли Реформацию как «бунт против злоупотреблений». Более того, написать, что «протестантизм и католицизм существуют не оттого, что были папы и был Лютер»; что «это — убогий способ рассматривать историю, приписывая ее случайностям»; что «протестантизм и католицизм существуют в человеческом сердце»; что «это — силы нравственные, они развиваются в народе, постольку живут в каждом человеке», — написать так значило отчётливо провозгласить новую эпоху в исторических исследованиях, посвященных проблемам религии<sup>27\*</sup>.

Так или иначе, достаточно перелистать оглавление «Revue des Deux Mondes» за 1830-е годы, чтобы увидеть, до какой степени внимание наших историков стихийно устремлялось к немецкой Реформации. 1 марта 1832 года Мишле публикует статью «Мартин Лютер», предваряющую его «Мемуары Лютера», изданные в 1835 году. 1 мая 1835 года Минье поведал о драматическом эпизоде — «Лютер на соборе в Вормсе». В то же году Низар темя статьями об Эразме начинает серию работ «Реформация и

---

ство пришло во Францию», «Лютеранство началось в городе Мо» и т. д. О приоритете Цвингли — Ремон, как и Боссюэ, его отрицает; о тайных лютеранах во Франции см.: *Florimond de Raemond*. Op. cit. Liv. 2, ch. 3; ch. 8. P. 166; Liv. 3, ch. 3. P. 278; Liv. 7, ch. 8. P. 845.

<sup>27\*</sup> *Billion*. M<sup>me</sup> de Staël et le mysticisme // *Revue d'histoire littéraire*. 1910. P. 107. Здесь же сведения о Захариасе Вернере, трагическом поэте, авторе трагедии «Лютер». В 1808 году он часто посещал Коппе<sup>9</sup>.

гуманизм», а Мерль д'Обинье<sup>28\*</sup> публикует первый из пяти томов своего сочинения «История Реформации XVI века, эпоха Лютера» — эту книгу многократно переиздавали и переводили на другие языки. В «Revue des Deux Mondes», где в апреле 1838 года был напечатан шедевр Ранке «Папство после Лютера», только в 1842 году появится статья Лерминье «О кальвинизме» — с нее начинаются исследования по французской Реформации. Впрочем, различие, которое мы здесь проводим, придумали мы, а не люди 1840-х годов. Изучая Лютера и Меланхтона, наши историки изучали отнюдь не «немецкую Реформацию», отличающуюся от реформаций, известных под именем «швейцарской», «французской», «английской». Они изучали просто Реформацию, не помышляя о ее национальной принадлежности; если они отмечают, так же как мадам де Сталь, что из всех великих людей, порожденных Германией, Лютер обладал характером наиболее немецким, — они видят в нем прежде всего человека, который посеял «семена Реформации» в Европе вообще и во Франции в частности.

Итак, лишь довольно поздно и только после того, как были предприняты серьезные исследования на факультете протестантской теологии в Страсбуре (этот факультет можно считать родоначальником научного изучения французской Реформации)<sup>29\*</sup>, — только после того как эти исследования извлекли на свет имя и труды Лефевра д'Этапля, проблема Лефевра была поставлена всерьез<sup>30\*</sup>. Этот скромный, старавшийся оставаться в тени че-

<sup>28\*</sup> Труд этого же автора «История европейской Реформации, эпоха Кальвина» появится только в 1863—1878 годах.

<sup>29\*</sup> Небезынтересно составить общий список «исторических» диссертаций этого факультета за первую половину XIX века; с удивлением убеждаешься, что ни одна из них не посвящена немецкой Реформации: *Viguiet J.* La Réformation étroitement liée à la Renaissance et au progrès des belles lettres (1828); *Brisset A.* Maillard considéré comme prédicateur et peintre des moeurs de son siècle (1831); *Ménégoz L.-A.-G.* Essai sur les causes de la Réformation (1832): «Во-первых, деспотизм пап и безнравственность духовенства вызвали необходимость в Реформации; во-вторых, события, происходившие в мире религиозном и политическом начиная с XII века, способствовали ей; наконец, возрождение литературы и образованности мощно содействовало ее осуществлению»; *Jaeglé L. V.* Pierre d'Ailly précurseur de la Réforme en France (1832); *Horning.* Gerson comme prédicateur (1834); *Wagner Ch.-A.* Histoire de la Réformation en France (1834); «В 1521 году у самых ворот Парижа зарождается протестантская община под покровительством известного и ученейшего Г. Брисонне»; *Schmidt Ch.* Etudes sur Farel (1834); *Pameyer.* Pierre d'Ailly (1834); *Paur.* Aperçu historique sur la Réformation en France jusqu'à la mort d'Henri II (1841): «Реформация, которую проповедовал Лютер, вскоре нашла отклик во Франции». Брисонне начиная с 1521 года призывает в Париж Лефевра, Фареля, Рюффи, «чтобы те помогали ему проповедовать Реформацию».

<sup>30\*</sup> Первая серьезная монография о Лефевре — диссертация Графа на звание лиценциата богословия, защищенная в Страсбуре: *Graf.* Essai sur la vie et les écritures de Lefèvre d'Étaples. Strasbourg, 1842. Позднее

ловец, чьи суровые труды (написанные к тому же отвратительным почерком) долгое время никто и не пытался перечитать, — Лефевр не отделился от католической Церкви официально. И не был изгнан ею, хотя Сорбонна подвергала его критике и преследованиям. Часть его учеников, например Йосс Клихтзэ, остались католиками и решительно выступили против Лютера<sup>31\*</sup>. Другие, проявляя симпатии к новаторам, остались подданными и даже сановниками католической Церкви: пример тому — Жерар Руссель, аббат в Клерাকে, затем епископ Олоронский<sup>32\*</sup>. Наконец, некоторые отважились вступить в открытую борьбу с Римом, как Гийом Фарель<sup>33\*</sup>. Будучи живым центром притяжения столь различных людей, Лефевр и сам испытал самые разные влияния<sup>34\*</sup>. Или, точнее, он сам искал их, беря из каждого источника лишь то, что соответствовало его натуре. Он создал... можно ли сказать, что он создал собственное учение? Или, правильнее, он создал собственное благочестие, свою веру. Хотя он был в этих вопросах человеком своего времени, это не давало оснований считать его лютеранином или двинглианцем. Никакой ярлык подобного рода не подходил к этому самобытному пикардийцу, одинокому — и окруженному учениками. Однако в 1512 году, пятью годами раньше, чем Лютер выступил против Тецеля, Лефевр опубликовал свои комментарии к посланиям Павла, великого святого Реформации, и в этих комментариях содержались кое-какие дерзкие мысли. Когда вспомнили об этом и о последующем его труде — переводе Священного писания (о нем поведал миру Проспер Маршан, а до него — Ришар Симон<sup>35\*</sup>), когда вспомнили о его пребывании в Мо у Брисонне, его бегстве в Страсбур вме-

Граф вернулся к этой теме. См.: *Zeitschrift für historische Theologie*. 1852. Bd. 22. S. 3 sqq.

<sup>31\*</sup> *Clerval*. De Judoci Clichtovei vita et operibus. P., 1894.

<sup>32\*</sup> См. о нем фундаментальный труд: *Schmidt Ch.* Gérard Roussel, prédicateur de la reine Marguerite de Navarre. Strasbourg, 1845.

<sup>33\*</sup> О Фареле, кроме *Schmidt Ch.* Etudes sur Farel, см.: *Heyer H.* Guillaume Farel, essai sur le développement de ses idées théologiques: Th. théologique. Genève, 1872; *Weiss N.* La Réformation du XVI<sup>e</sup> siècle, son caractère, ses origines et ses premières manifestations, jusqu'en 1523 // BSHP. 1919. T. 69. P. 179; 1920. T. 69. P. 115; Guillaume Farel, 1489–1565. Neuchâtel, 1930.

<sup>34\*</sup> Помимо Графа, см.: *Renaudet A.* Pré-Réforme et humanisme à Paris au temps des guerres d'Italie (1494–1517). P., 1916. О Лефевре в изображении Имбар де ла Тура см. наши критические заметки: *Revue de synthèse historique*. 1910. T. 20. P. 159–171; таковые же Реноде: *Revue d'histoire moderne*. 1909. T. 12. P. 257–273.

<sup>35\*</sup> О Ришаре Симоне см.: *Histoire critique des versions du N. T.* Rotterdam, 1690. Ch. 21; *Histoire critique des principaux commentateurs du N. T.* Rotterdam, 1693. Ch. 34. О Проспере Маршане см.: *Dictionnaire historique*. La Haye, 1758. T. 1. P. 252. Статья Бейля о Лефевре содержит лишь общие сведения; см. также диссертации: *Quiévreux*. La traduction du N. T. de Lefèvre: Th. théologie. P., 1894; *Laune A.* — под тем же названием (P., 1895); кроме того, см.: BSHP. 1901. T. 50. P. 595.

сте с Жераром Русселем, о его кончине в Нераке подле Маргариты<sup>10</sup> — разве нельзя было соблазниться представлением о славном Фабри как об отце и предшественнике Мартина Лютера?

К этой мысли пришли не без колебаний, но в конце концов пришли. В 1842 году Граф, поставив перед собой вопрос: «Был ли Лефевр протестантом?», ответил в конце диссертации: «Если он не объявил себя членом протестантской Церкви, то это потому, что во Франции в те времена не было протестантской Церкви, а он не был тем человеком, которого Провидение предназначало основать ее». Формулировки осторожные, достаточно двусмысленные. Мерль д'Обинье в двенадцатой книге труда, который мы указывали выше, пошел гораздо дальше. Представив перевод нескольких текстов Лефевра, он, торжествуя, заключил: «Перед 1512 годом, во времена, когда Лютер еще ничем не проявил себя на белом свете и поспешал в Рим по монашеским делам; во времена, когда Цвингли еще даже не начал усердно изучать Священное писание и шел через Альпы с конфедератами, чтобы сражаться за папу<sup>11</sup>, Париж и Франция уже слышали проповедь тех жизненных истин, из которых в дальнейшем выросла Реформация». Затем, констатируя, что если швейцарская Реформация «была независима от немецкой, то французская Реформация, в свою очередь, была независима и от швейцарской, и от немецкой», автор отваживается сделать еще один шаг, подготавливая за полвека вперед позиции для Луи Рейно. «Если принимать во внимание только даты, — объявляет он, — то ни Германии, ни Швейцарии не принадлежит слава зачинательницы этого великого дела. Эта слава причитается Франции»<sup>36\*</sup>.

Утверждение это вызвало резкие возражения. Но тех, кто его поддержал, было больше. В 1856 году в своем очерке о Лефевре авторы «Протестантской Франции» оставались осторожными и умеренными<sup>37\*</sup>. Однако в 1859 году Орентен Дуен провозгласил:

<sup>36\*</sup> «Итак, Реформация отнюдь не была во Франции заимствованием из-за рубежа. Она родилась на французской почве. Она проросла в Париже. Она пустила свои первые корни не где-нибудь, а в самом Университете». И далее: «если бы даже Цвингли и Лютер не появились вовсе, во Франции все равно было бы движение Реформации». Мерль д'Обинье признает, однако, что «Лютер был первым реформатором в самом широком значении этого слова. Лефевр был таковым не вполне... Он был первым католиком в реформационном движении и последним реформатором в движении католическом»<sup>12</sup> (*Merle d'Aubigné. Histoire de la Réformation du XVI<sup>e</sup> siècle, temps de Luther.* P., 1860. Т. 3, liv. 12. P. 378—380).

<sup>37\*</sup> «Он, безусловно, был одним из самых влиятельных деятелей Возрождения во Франции, и в то же время своими трудами, посвященными Библии, он, без всякого сомнения, оказал важные услуги Реформации». Братья Хааг пишут, что в «Комментарии» 1512 года Лефевр явно выражает «те религиозные взгляды, которые отделяют его от Римской церкви, не присоединяя его полностью к Лютеру и еще менее того — к Кальвину» (*France protestante.* P., 1856. Т. 6. P. 508). Граф в 1842 году, приступая к проблеме связей Лефевра с Реформацией (§ 11: «Был

«Можно видеть, как в 1512 году, за пять лет до Лютера, засверкали первые лучи солнца Реформации, которое поднималось над миром»<sup>38\*</sup>. Если Минье еще говорил о Франции, «получающей семена Реформации от протестантской Германии»<sup>39\*</sup>, то Мишле нашел в «Истории Франции» великолепную формулировку, которая должна была подытожить мысли его предшественников. «Слава Лютера, его могучая личность, его несокрушимая стойкость воссияли на всю Европу, и Реформация была вдохновлена ими. Она родилась повсюду — сама по себе»<sup>40\*</sup>. Впрочем, теперь эта фраза уже не могла удовлетворить наиболее пылких. Поднялась высокая волна и захлестнула все<sup>41\*</sup>. История французской Реформации оказалась «национализированной», хотелось ей того или нет. Обстановка, сложившаяся после 1870 года, способствовала этому больше, чем когда-либо, и было похоже, что все подталкивает историков именно к этому. Упорный и неуступчивый Орентен Дуен, возобновив атаку, в 1892 году четко поставил вопрос: «Является ли французская Реформация дочерью немецкой?»<sup>42\*</sup> Разумеется, его приговором было категорическое «нет»; при этом не принимались во внимание разного рода неприметные тонкости, касавшиеся мягкого и высокоученого Лефевра. Если

ли он протестантом?»), заключает более решительно: «Он не обладал ни достаточно предприимчивым характером, ни духом достаточно смелым, чтобы стать во главе движения» (*Graf. Essai...* P. 125, 127). Однако «он не признает иного источника христианской истины, кроме Библии; он не ожидает спасения ниоткуда, кроме как от милости Божьей, пребывающей лишь в Иисусе Христе, и не придает никакого значения предписанным Церковью трудам и обрядам».

<sup>38\*</sup> BSHP. 1859. P. 389. Уже в 1855 году Атаназ Кокрель писал: «Робкий Лефевр (слово «робкий» стало с того времени у протестантских писателей постоянным эпитетом автора «Комментария к посланиям святого Павла». — Л. Ф.) — Лефевр был первым по времени реформатором... Реформация родилась во Франции и во французском уме прежде, чем она появилась в любой другой стране» (*Ibid.* P. 102).

<sup>39\*</sup> Анкез в «Истории политических ассамблей французских реформаторов» ссылается на Минье: «Один известный историк... установил... что религиозная Реформа, которую в 1517 году начали проповедовать одновременно... Лютер... и Цвингли, была всерьез предпринята во Франции лишь в 1560 году» (*Anquez H. Histoire des assemblées politiques des réformes de France.* P., 1859. P. V).

<sup>40\*</sup> «Всюду — во Франции, в Швейцарии — она была местного происхождения. Она выросла на различных почвах и в различных обстоятельствах, которые всюду возрастали один и тот же плод» (*Michelet J. Histoire de France.* P., 1855. T. 8. P. 116).

<sup>41\*</sup> Эрминьярд, по обыкновению, проявил сдержанность. Правда, он открыл свою книгу «Переписка реформаторов...» переводом послания, которое Лефевр посвящал Брисонне свой «Комментарий к посланиям святого Павла», но удовлетворился замечанием, что это послание недвусмысленно провозглашает «обязанность придерживаться Священного писания и несостоятельность предписанных Церковью трудов и обрядов как средства спасения души». Эрминьярд не вступает в тяжбу о приоритете (см.: *Herminjard A.-L. Correspondance des Réformateurs dans les pays de la langue française (1512—1544).* P., 1865. P. 4, not. 5.

<sup>42\*</sup> BSHP. 1892. T. 41. P. 57 sqq., 122 sqq.

Фердинанд Бюиссон, рупор умеренных, два года спустя ограничился таким заявлением: «Французская Реформация берет истоки во Франции. Чем она стала бы без Лютера, мы не знаем, и несомненно, что, как только заговорил Лютер, она к нему примкнула. Но она родилась прежде, чем появился Лютер; она утвердилась помимо него»<sup>43\*</sup> —мы уже рассказывали, как Э. Думерг, со свойственной ему горячностью решая проблему сплеча, задался целью исполнить наказ Беда, высказанный еще в 1526 году. Из идей Лефевра он сделал не более и не менее как самый ранний из протестантизмов — «фабризианский протестантизм»<sup>44\*</sup>.

Какова бы ни была истинная ценность подобных утверждений, одна из частей прежней системы взглядов была отброшена. Реформация, как писал Озе, «не свалилась на Францию, как метеорит на бесплодную пустошь». Являлся ли Лефевр в самом деле «отцом» французской Реформации, если придерживаться «генеалогических» метафор, которые, по-видимому, любезны всем историкам? Об этом можно было спорить. Во всяком случае, с Лютера, по общему признанию, следовало как будто снять обвинение в столь отдаленном отцовстве.

Однако в результате довольно странного парадокса другая часть старой системы представлений осталась незыблемой — тем более что никто как будто и не пытался ее поколебать. В той же статье, которую мы уже цитировали, Фердинанд Бюиссон взял под защиту многовековой давности утверждение, что Реформацию породили злоупотребления. Реформация, которая была «всеобщим воплем, единственной и общей надеждой всех добропорядочных людей, духовенства и мирян», — эта всеми желанная Реформация отнюдь не была Реформацией идей. «Она была устремлена главным образом к порядку и дисциплине», — объявил Бюиссон, примкнув к одному из излюбленных тезисов Боссюэ в его полемике с Клодом<sup>45\*</sup>. «Грубое невежество одних; бесстыдная алчность других; распутство в низах, симония в верхах, на всех ступенях лестницы священные полномочия и торговля святынями стали источниками обогащения; короче, все безобразия, к которым приводит слишком долгое обладание бесконтрольной и не знающей ограничений властью: таковы были язвы Церкви». Стоит ли после этого удивляться, что любая история французской Реформации, любая монография, посвященная какому-нибудь частному вопросу, начинались (и начинаются поныне) на манер старинных фавбли — набором историй про духовенство: попойки прелатов, срамные истории с монахинями, — и никто не вспом-

<sup>43\*</sup> *Histoire générale* / Ed. E. Lavisse, A. Rambaud. 1909. Т. 6, ch. 12. P. 484.

<sup>44\*</sup> *Doumergue E.* Op. cit. Т. 1. P. 543.

<sup>45\*</sup> «Людам хотелось такой Реформации, которая касалась бы только порядка и дисциплины, но не веры» (*Bossuet J. B.* Op. cit. § 2). Об этой позиции Боссюэ и о критике ее Баснажем см. выше.



нит слова Мишле: «Триста лет шуток по адресу папы, монашеских нравов и домоправительницы кюре: не надоело?»

Пусть поймут нас правильно! Речь идет не о том, чтобы опровергнуть факты дисциплинарных нарушений, тысячу раз разоблаченных, или ту роль, какую сыграли они в возникновении Реформации<sup>46\*</sup>.

Все непотребства наши  
настолько всем известны,  
Что пахари, торговцы  
и «механизмы»<sup>13</sup>  
Постоянно толкуют о них  
с великой злостью...

Жан Буше, автор благонамеренных виршей «Жалобы воинствующей Церкви», написанных в 1512 году, не был одинок в сетованиях подобного рода. Однако если бы историки Реформации обладали более глубоким знанием средних веков и истории Церкви, они много раз имели бы возможность убедиться — перечитывая сетования людей XV и XVI веков — убедиться в том, что они имеют дело с ритуальными жалобами, если называть вещи своими именами: это литература, которую следует читать *sum grano salis*, отделив постоянное от случайного.

И, кроме того, нет ли в этом некоторого легкомыслия — коллекционировать и клеймить с такой педантичной суровостью слабости и проступки отдельных людей, в то время как, по всей очевидности, болезнь, которою страдала Церковь, была не столько «личностной», сколько «системной»? Ибо непотребство и убожество, разоблачением коих занимались люди того времени (вслед за своими отцами и дедами) с таким традиционным пылом, — эти непотребство и убожество поддерживала система, после того как она же их и породила, поскольку система бенефициев присоединяла к каждой церковной должности еще и собственность, которая вполне естественно в глазах тех, кто получали от нее доходы, в конце концов становилась важнее, чем сама должность. Сколь многие сочинители скорбных жалоб в канун великой трагедии ясно понимали, что сделать что-либо существенное будет невозможно, если не сбросить прежде эту систему! Однако как можно было ее разрушить, если оставалось неприкосновенным, во всяком случае по видимости, огромное здание, коего она была только частью, — оставалось неприкосновенным и по-прежнему предоставляло людям того времени обиталище, которому надлежало вместить все виды их деятельности: политической, экономической, духовной, — обиталище, с каждым днем все более

<sup>46\*</sup> *Febvre L. Excommunication pour dettes // Au coeur religieux du XVI<sup>e</sup> siècle. P., 1957. P. 225.* Однако именно во Франш-Конте Реформация не восторжествовала.

неудобное? Привычке предстояло еще долгое время прятать, замазывать недостатки этого здания.

К тому же вопрос не в этом, а в том, чтобы уяснить, какую именно роль в зарождении Реформации сыграл такой фактор, как злоупотребления в области дисциплины и порядка. Точнее, вопрос заключается в том, чтобы определить само понятие «злоупотребления» и спросить себя, могло ли могучее и многостороннее движение, о котором мы писали в свое время, что его участники вложили в него «все, что жило в них, свою потребность в вере, свои политические надежды, свои социальные чаяния и свое стремление к нравственной уверенности»<sup>47\*</sup>, — могло ли это движение в самом деле быть вызвано одним лишь возмущением людей, обладавших здравым умом и чистой совестью, против зрелища мерзких поступков и мерзких людей?

На протяжении многих лет никто, кажется, не позаботился о том, чтобы поставить этот вопрос прямо и четко. Находилось немало историков, приписывавших Реформации иные причины, более глубокие, чем беспутство каноников-эпикурейцев или избыток любовного пыла у монахинь из Пуасси. Но и самые проникательные считали себя обязанными солидаризироваться с общепризнанным мнением. Даже тогда, когда они шли за Н. Вейссом, который в замечательной статье 1917 года вернулся к тезису Клода в его полемике с Николем<sup>48\*</sup> и показал, как реформаты пытались докопаться до источника всех беспорядков: «Не что иное, как чтение Священного писания, отцов Церкви и решений Соборов, открыло им происхождение злоупотреблений, первоначальный вид христианской веры, христианского образа жизни и апостолической Церкви», — все равно эти люди, оставаясь во власти укоренившихся привычек, продолжали ритуально обвинять «упадок духовенства, невежество и аморальность пастырей, злоупотребления римской курии». Пользуясь этими формулами, они давали повод думать, что для них, как и для многих людей XVI столетия — потрясенных зрителей великой распри, — истинная и основная причина катастрофы была именно в этом. Об этом говорили многие католические богословы и полемисты — начиная с Флоримона де Ремона, который печалился, что «жить праведно, подобно еретикам, было опасно, и до Женсьена Эрве,

<sup>47\*</sup> *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté. P., 1912. P. XI.*

<sup>48\*</sup> *Claude J. La défense de la Réformation contre le livre intitulé «Préjuges légitimes contre les calvinistes». Quevilly, 1673.* Констатируя действительное существование злоупотреблений, Клод во второй главе показывает, что реформаты, однако, решились действовать «не только по этой причине». У них были и другие соображения, касавшиеся «самой религии в том состоянии, в каком она находилась в их времена». Это в общих чертах тот тезис, который будет подхвачен Баснажем. См. также: *Weiss N. Op. cit.*

«смело обличавшего дурную жизнь и невежество многих священнослужителей»<sup>49\*</sup>.

Однако же они знали, и часто лучше, чем кто-либо другой, что, предъявляя свой список претензий Церкви, Реформация называла прежде всего суеверия, богохульство и идолопоклонство; эти слова, понятные и реформатам, и их противникам, как раз и обозначали совокупность тех «злоупотреблений», смысл которых продолжают трактовать ошибочно по сие время. Они знали, что пропагандистские книжки, на которые люди набрасывались с каким-то фанатическим неистовством (начиная с «Краткого пересказа Священного писания», о котором нам поведал Н. Вейсс, написавший знаменательные слова: это было первое из известных во Франции краткое изложение евангелического вероучения тех, кто, став лютеранами не только благодаря Лютеру, «не помышляли еще о том, чтобы изменить порядок вещей, установившихся в Церкви»<sup>50\*</sup>), — они знали, что в этих книжках говорилось о религии, об оправдании верой, о крещении и Тайной вечере, но там не было ни сарказмов, ни проклятий по адресу «жирных тонзураносцев» и «рогатых епископов»; эти книжки породили мучеников. Они знали, наконец, что Гийом Фарель, отчаянный головорез (если можно так выразиться), когда врывается в какую-нибудь церковь во главе своей банды<sup>51\*</sup>, — он обвинял священников не в дурной жизни, а в дурной вере; и, взяв из рук священника книгу, он, мирянин, не бросал ему в лицо обвинение в пороках — его собственных и его коллег, — он с текстом в руках показывал священнику, как тот, служа мессу, «всецело отрекался от смерти и страданий господина нашего Иисуса Христа».

Все шло своим чередом. И никто не задавался вопросом, каким образом «злоупотребления» как таковые могли породить движение религиозного обновления, столь позитивное и многогранное, как Реформация. Никто не удивлялся тому, что множество

<sup>49\*</sup> *Hervet G. Epistre ou advertissement au peuple fidèle de l'Eglise catholique. P., 1562.* Этот текст — один из сотен подобных. Что касается любопытной фразы Флоримона де Ремона, то ее можно прочитать в «Истории зарождения... ереси». Флоримон развивает свою теорию довольно забавно: «Женщины (реформатки. — Л. Ф.), отличавшиеся скромным поведением и скромной одеждой, появлялись на людях, подобные скорбящим Евам или кающимся Магдалинам. Изможденные мужички, казалось, были поражены Святым Духом. Они были, как святой Иоанн, проповедующий в пустыне» (*Florimon de Raemond. Op. cit. Liv. 7, ch. 6. P. 863*).

<sup>50\*</sup> *BSHP. 1919. T. 68. P. 63.* То же можно сказать относительно всех аналогичных произведений, написанных в то время: это в первую очередь краткие своды евангелического вероучения.

<sup>51\*</sup> Поразительный текст опубликован А. Пиаже, см.: *Piaget A. Documents sur la Réformation dans le pays de Neuchâtel. Neuchâtel, 1909. Doc. 52. P. 134 sqq.* В другом тексте, относящемся к 1531 году, невнятноцы говорят о «злоупотреблениях, жертвой коих в прежние времена было в их краях Святое Евангелие» (*Ibid. P. 41*); любопытная формулировка, ее стоит запомнить.

благочестивых христиан, часто поддерживаемых государями и их сановниками, так и не добились, чтобы был положен конец безобразиям, о которых все скорбели. Никто не обратил внимания на то, что, если Реформация во Франции пошла не от Лютера, а от Лефевра, «теория злоупотреблений» несостоятельна, ибо никто не видел, чтобы Лефевр когда-либо ополчался против нравов духовенства и чтобы осуждение личных грехов и скандалов из частной жизни сыграло хоть малейшую роль в возникновении его идей и в эволюции его убеждений.

Более того. Когда немецкая ученость (по причинам, о которых мы недавно упоминали <sup>52\*</sup>) мало-помалу принялась вплотную за проблему религиозной эволюции Лютера, никто не подумал о том, что завоевания этой учености, добротное знание, которое она добивалась ценою тяжких усилий и не менее мучительных раздоров, наносило жестокие удары по отжившему свой век утверждению. Ибо теперь не могло быть и речи о том, чтобы считать добросовестного эрфуртского монаха, полностью погруженного в свою внутреннюю жизнь, реформатором, поглощенным задачей чисто внешнего возрождения Церкви. Исследователи и истолкователи Лютера проделали за двадцать лет обширную и важную работу, и если эта работа позволяет подтвердить какую-либо истину психологического порядка, относящуюся к личности и деятельности саксонского реформатора, то это та самая истина, которую Пруст в соответствующем месте формулирует так: «Факты не проникают в тот мир, где живут наши верования: не они породили их; они не могут их разрушить; они могут беспрестанно опровергать их, но ослабить не могут» <sup>53\*</sup>. Представляется, однако, что историки французской Реформации решили упрямо не признавать эту истину, имеющую столько приложений в сфере их деятельности. Разве им было не довольно того, что в их списки попадали все новые наложницы каноников и незаконные отпрыски прелатов, чтобы старая «теория злоупотреблений» оказалась подтвержденной? Подтвержденной, не будучи подвергнута серьезному анализу.

Так обстоят дела. Сегодня, как и прежде, историки выдвигают два простых тезиса. Один из них остался неизменным. Реформация родилась из злоупотребления — это продолжают повторять машинально. Другой тезис? Во Франции, говорят теперь, не Лютер, а французы, в значительной степени от него независимые, дали толчок Реформации и порою мысленно призывали ее еще до того, как стал слышен голос Лютера. Концепции, разумеется, несложные. Но в своей новой форме они оказываются несовместимыми. Ибо если прежде можно было установить прочную связь между Лютером и злоупотреблениями, объявив причиной мятеж-

<sup>52\*</sup> *Febvre L. Le progrès récent des études sur Luther // Revue d'histoire moderne. 1926. T. 1; Idem. Un destin, Martin Luther. P., 1928.*

<sup>53\*</sup> *Proust M. Du côté de chez Swann. P., 1934. P. 138.*

ного выступления монаха его протест против шарлатанства Тецеля, то невозможно установить подобную связь между Лефевром, кабинетным ученым, и злоупотреблениями в сфере как материальной, так и ритуальной, которым этот одержимый духовной жизнью старец никогда не придавал настолько важного значения, чтобы это могло оправдать давнишнюю теорию — применительно к Лефевру.

Выдвинутый на авансцену, Лефевр влечет за собой целую вереницу проблем, которые позволяют отойти от обычной декламации по поводу злоупотреблений. Ибо если некогда было возможно изображать Реформацию возникающей, словно по волшебству, в тот самый день и час, когда герой Лютер впервые поднялся против черного Тецеля, то Лефевр никоим образом не есть начало. Лефевр — это продолжение идей, развитие которых не всегда легко проследить. Это комплекс глубоких и разнообразных мыслей и чувств, и он как бы сам побуждает нас искать, погружаясь в древние истоки этого комплекса: воззрения гуманиста и в то же время глубоко верующего человека, комментатора Аристотеля, прилагавшего, однако, столько же благочестивого рвения, публикуя экстаические бредни какого-нибудь монаха XIV столетия, сколько прилагал он к истолкованию «Этики» или «Органона»; и, если хотите, воззрения паломника в Италию времен Медичи. Но от бесед с Фичино, Пико делла Мирандола и Эрмолао Барбаро Лефевр испытывает не больше воодушевления и внутренней радости, чем от находки в глубине какого-нибудь монастыря в Нижней Германии устного предания о мистических обрядах, которые свершал затворник<sup>54\*</sup>. Так что для всех, кто держится представления о Реформации как о деле чисто церковном; для всех, кто, думая, что пользуются очень простыми понятиями, определяют Реформацию как приверженность к некоему определенному символу веры и зачисление в ряды некоей строго организованной Церкви, — для таких людей логичным будет именно тот вывод, к которому пришел Жоан Вьено в статье, цитированной нами выше. Нужно исключить Лефевра, этого двусмысленного Лефевра, который не был ни подлинным протестантом, ни безупречным католиком; нужно начать — но, собственно говоря, с кого, если теперь уже нельзя считать, что Лютер в 1517 году возник из ничего? С Брисонне и группы, создавшейся в Мо? С Фареля? Но как говорить об этих людях, обходя молчанием Лефевра? Может ли быть, что многочисленные историки, более полувека рьяно изучавшие труды и влияние Лефевра, может ли

<sup>54\*</sup> О прихотливой хронологии интеллектуальной биографии Лефевра см. превосходную рецензию Реноде на книгу: *Imbart de la Tour P. Origines de la Réforme*, особенно с. 267—268 — там о произвольном делении на резко ограниченные периоды, которые устанавливает Имбар (*Revue d'histoire moderne*. 1909. T. 12. P. 258—273).

быть, что они ошибались? Ученые люди склоняются то в одну сторону, то в другую — куда поведет; противоречат себе, противоречат другим, плывут по воле волн и, что хуже всего, наивно доверяют, что держат курс прямо в гавань.

Итак, довольно давно, но с большей отчетливостью примерно в последние пятнадцать лет характер наших попыток понять и ощутить тех или иных людей претерпел ряд изменений, и эти перемены, при том что никто не стремится отдать себе в них ясный отчет, делают традиционные концепции специалистов по французской Реформации устаревшими.

Будучи погружены в поток ученых занятий, не приносящих никаких неожиданностей, мы, историки, охотно склоняемся к мысли, что наш труд сам питает себя, что продвижение наших исследований объясняется исключительно нашими скромными удачами копателей архивов. Мы — теоретики *Zusammenhang* [взаимосвязь], этой взаимозависимости фактов любого свойства, к которой мы громко и не без основания призывали в далекие и героические времена споров между историками и социологами. На самом деле нет такого работника науки, нет такого труженика мысли, который мог бы остаться независимым от медлительных, скрытых и неодолимых течений своей эпохи. Это было бы любопытным, но все же слишком долгим делом, ибо пришлось бы набросать полную картину всей эволюции французской мысли и религиозного чувства за четверть века — показать, как опыт, накопленный в многочисленных испытаниях обществом и отдельными людьми, стихийная реакция людей на всевластное воздействие новых сил, влияние философских теорий, которые и сами — порождения века, — как все это исподволь и незаметно для глаза подготовило новый этап в наших достаточно специальных трудах по французской Реформации и ее истокам.

Умерим наши притязания. Остаются два факта, доминирующих надо всем остальным. С одной стороны, еще двадцать или тридцать лет назад, согласно общепринятым представлениям, существовал как бы ров — широкий, глубокий, непреодолимый, резко отделявший средневековье, рассматриваемое как целостный многовековой монолит, которому можно дать полное определение, воспользовавшись четырьмя или пятью формулами, расплывчатыми и в то же время категоричными, от современной эпохи, которая внезапно возникла вполне сформированной, в готовом виде, в конце XV — начале XVI века; и ее тоже, в свою очередь, можно было охарактеризовать несколькими фразами и определениями, одинаково пригодными, надо полагать, и для итальянцев *кватроченто* (повергающего в отчаяние хронологистов)<sup>14</sup>, и для французов и англичан XVI и XVII веков. Этот ров больше не существует: сотня мостов, широких, как городские проспекты, приглашают нас свободно переходить через него в обоих направлениях. С другой стороны, двадцать или тридцать лет назад изу-

чать Реформацию значило заниматься прежде всего историей Церкви. Сегодня же — с колебаниями, с возвращениями вспять, — но сегодня уже прозревают, а завтра это предстанет перед всеми с полной ясностью: заниматься историей Реформации — это значит заниматься историей религии.

Если бы нам пришлось подробно исследовать причины этих смещений точек зрения, это завело бы нас слишком далеко. Отметим просто, что смещения эти в обоих случаях являются следствием одного и того же состояния умов и равным образом подчинены одной тенденции. Чтобы изучить и понять людей и дела человеческие, нужно войти в них, занять позицию внутри, а не вне их, как это делалось прежде; за системой четких идей и выверенных концепций, которыми мы пользуемся, чтобы перевести чувства людей на интеллектуальный язык, разглядеть и воссоздать их желания, их волю, их стремления, порою смутные, но неистовые, весь этот поток многообразных устремлений и чаяний, которые лишь в редких случаях могут быть выражены достаточно точно, — и тем не менее они руководят поступками и деяниями; наконец, разоблачить бесполезность и вредоносность всех этих «периодов», в искусственных границах которых историки, пленники по своей воле, сами себя запирают, как если бы их страшилась живая стихийность, внутреннее богатство человеческого существа, созданных из плоти, сердца и разума: все это множество формулировок так или иначе приложимо к трудам столь несхожим и, однако же, столь близким, как труды историка науки Дюэма, искусствоведа Эмиля Маля, знатока схоластики отца Мандонне. И если мы попытаемся приложить эти формулировки к изучению Реформации вообще и французской Реформации в частности, то получим следующее.

В начале XVI столетия, в этот особенно интересный период развития человеческих обществ, Реформация была проявлением и плодом глубокого переворота в религиозном сознании. В том, что он обернулся созданием новых Церквей, каждая из которых кичится своим особым символом веры, своим особым набором религиозных догм, ученым образом сформулированных ее богословами, своим ритуалом, до мелочей разработанным ее священнослужителями, — в этом нет ничего удивительного: каждая невидимая Церковь стремится раньше или позже воплотиться в Церковь видимую. Однако тысячи христиан в Европе присоединились к учению тех, кого в XVI веке почти всюду называли «заблуждающимися в вопросах веры» (а не «противниками церковных порядков»), не для того, чтобы создать Церковь, отличную от Римской. Отделиться от Церкви не было ни целью, ни стремлением людей, которые, совсем напротив, со всею искренностью полагали, что ими движет только желание «восстановить» ее по образу первоначальной Церкви, предание о которой пленяло их воображение. «Восстановление», «первоначальная Церковь» — слова,

весьма удобные для того, чтобы замаскировать от их собственных глаз дерзость их тайных желаний. То, чего они хотели на самом деле, — это было не восстановление, это было обновление. Дать людям XVI века то, чего они хотели, одни смутно, другие с полной ясностью: религию, лучше приспособленную к их новым потребностям, лучше согласующуюся с изменившимися условиями их общественного бытия, — вот что в конечном счете исполнила Реформация. Она была неким обобщением, родившимся из соперничества Церквей и из богословских споров, и главное ее свойство заключалось в том, что она утолила тревоги религиозной совести, от чего страдала значительная часть христианского мира, она смогла найти и предложить людям (они, казалось, ждали этого уже долгие годы и восприняли с какой-то поразительной торопливостью и жадностью) — сумела предложить решение, действительно приспособленное к нуждам и душевному состоянию беспокойных народных масс, искавших религии простой, ясной и действенной<sup>55\*</sup>.

Прежде считалось, что в конце XV — начале XVI века в таких странах, как Франция или Германия, религия с каждым днем теряла влияние. Изображали, как ее постепенно точит безверие, порожденное отчасти стараниями критиков-гуманистов, отчасти заботами о материальных благах и нейستовыми вождельниками. Мысль предвзятая. Она была частью системы представлений упрощенных, но хорошо приспособленных для нужд полемики; нам хотелось бы увидеть, как система эта наконец отступает и уступает место совокупности выводов, основанных на объективном изучении фактов.

Конечно, исследование таких предметов затруднительно. Нет ничего труднее, чем ретроспективное изучение человеческого сознания и чувств, которые по самой своей природе таятся от любопытных взглядов, а заметны главным образом такие проявления, в искренности и естественности которых можно усомниться. Кроме того, если мы признаем, что описать состояние веры и благочестия во Франции в конце XV — начале XVI века еще только предстоит, мы нисколько не преувеличим степень нашего незнания: не так просто понять, почему никто в наше время как будто не обращается к этой проблеме с тем интересом, которого она заслуживает (при том, что по этим первостепенной важности вопросам ранее уже были проведены ценные исследования).

Можно все же кое-как разглядеть, что в конце XV — начале XVI века в такой стране, как Франция, не только оставалась неизменной преданность старинным верованиям, но традиционному благочестию предавались с особенным рвением. Это отмечают не только путешественники<sup>56\*</sup> — есть свидетели и из камня, проч-

<sup>55\*</sup> *Febvre L. Un destin, Martin Luther. P. 115 sqq.*

<sup>56\*</sup> Было бы любопытно собрать их свидетельства. См., например, что рассказывает дон Антонио де Беатис о Франции, где церкви содержатся



но стоящие на нашей земле: множество новых церквей, боковых приделов, отдельно стоящих часовен, которые были воздвигнуты в те времена почти повсюду — в городах и в сельской местности — они дают нам увидеть все разнообразие и всю прелесть «пламенеющей готики»<sup>57\*</sup>. Признаем, это — самые прямые и непосредственные свидетели.

## II

Трогательное благочестие эпохи, столь богатой контрастами и переменами, концентрировалось, по-видимому, вокруг двух полюсов — страдания и нежности, Христа Распятого и Девы Марии Четок. Между ними есть явная связь.

Что касается первого из этих культов (мы не станем писать о самом культе страждущего и окровавленного Христа, ибо множество патетических произведений искусства повествуют нам о власти этого образа над людьми), то тогда рождалась и оформлялась новая разновидность поклонения, быстро ставшая популярной, а именно крестный путь<sup>58\*</sup>. Многочисленным и пылким паломникам в Святую землю — людям, жаждавшим там побывать или действительно побывавшим, он напоминал последовательность остановок на *Via dolorosa* [Скорбном пути], по которому мистагоги<sup>15</sup> вели верующих группами, в процессии от того места, «где Спаситель наш, осужденный на смерть, поднял на плечи крест» и до вершины Голгофы, «где он упал на камень». Поклонение, разукрашенное чарами искусства, и от этого сделавшееся для толпы более эмоциональным и трогательным. Мы знаем, каким почитанием пользовались в германском мире семь горельефов Адама Крафта, установленные в 1472 году на дороге к нюрнбергскому кладбищу святого Иоанна — горельефы, с такою выразительной силой представлявшие семь падений Христа на его последней пути; но и в романском мире скорбные остановки Христа были не менее дороги народным массам. Дон Антонио де Беатис в своем «Путешествии кардинала Арагонского, 1517—1518» по Европе описал, как в окрестностях Монтелимара толпа устремлялась, чтобы помолиться, в шесть небольших часовен, где

---

хорошо и культ отправляется исправно, и о Нидерландах, где жители ежедневно ходят слушать мессу рано поутру (*Beatis A. de. Voyage du Cardinal d'Aragon. 1517—1518. P., 1913. P. 123, 259*).

<sup>57\*</sup> Учет произведений зодчества пребывает во младенчестве. Списки архитектурных сооружений — вроде тех, что содержатся в «Учебнике археологии» Эвлара, — не позволяют ответить на множество вопросов, представляющих живой интерес.

<sup>58\*</sup> В силу самого своего происхождения Крестный путь не мог принять окончательную форму прежде, чем паломничество по *Via dolorosa* в Иерусалиме стало упорядоченным и пункты остановок были зафиксированы, что произошло где-то между концом XV и концом XVI века (см.: *Thurston H. Etude historique sur le chemin de la croix / Trad. Boudinhon. Letouzey, 1907*).

фламандский художник изобразил на фресках сцены Страстей; церковь с Голгофой была седьмым и последним пунктом паломничества. К этому любопытному тексту было бы нетрудно добавить другие свидетельства, по меньшей мере столь же убедительные<sup>59\*</sup>.

Одновременно в христианском мире распространилось поклонение Четкам. Его придумал отнюдь не Ален де ла Рош, однако во время своих религиозных странствий по северным землям, из Лилля в Дуэ, в Гент, Росток и Цволле, где он и умер в 1475 году, этот бретонский доминиканец был горячим «пропагандистом» Четок. «Четки» — это особый способ поклоняться и молиться Пресвятой Деве, читая сто пятьдесят молитв «Аве Мария», причем после каждых десяти следует читать «Отче наш». К молитве добавлялась медитация, пять основных тем которой были указаны Аленом де ла Рошем. Итак, очень быстро новый ритуал нашел горячих поклонников. По-видимому, в 1470 году Ален основал в Дуэ первое братство Четок. Во всяком случае, в 1475 году Шпренгер, автор «Молота»<sup>16</sup> создал такое братство в Кёльне<sup>60\*</sup>, оно было утверждено в 1476 году легатом Сикста IV; 30 ноября 1478 года еще одно такое братство было учреждено в Лилле; 8 мая 1479 года булла Сикста IV<sup>61\*</sup> подтвердила официальное признание этих сообществ. Из доминиканских обителей ритуал проник в монастыри Виндесхайма, заинтересовались им и картезианцы; похоже, он отвечал духовным потребностям<sup>62\*</sup>.

Поклонение Крестному пути столь быстро завоевало множество приверженцев потому, что оно опиралось на ряд ритуалов, идей, чувств, которые помогали его распространению и которые

<sup>59\*</sup> Об иконографии Крестного пути см. старую работу Барбье де Монто в «Annales archéologiques». Отметим любопытный текст, затерявшийся в «Annuaire du Doubs» (Besançon, 1895. P. 43) и обнаруженный там Ж. Готье. Это рассказ о путешествии жителя Франш-Конте Этьена де Монтарло к Святым местам в сопровождении художника, который в 1480 году зарисовал для него остановки на Скорбном пути. Когда он вернулся, его отец отдал распоряжение построить четырнадцать часовен, образующих Крестный путь, причем рабочие не потребовали за свой труд ничего, кроме хлеба и вина. Часовни были сооружены за три месяца и освящены аббатом обители цистерцианцев. См.: Longin E. Les stations de Montarlot // Bulletin de société grayloise d'émulation. 1925 (отрывок из Антонио де Беатиса см. на с. 219).

<sup>60\*</sup> В том же году Шпренгер устроил обсуждение нового ритуала, на котором мог выступить каждый желающий (см.: Hain. Repertorium. N 13664, 13666, 13667/Ed. Cologne et al.).

<sup>61\*</sup> Булла «Ea quae ex fidelium». О предшествовавших ей документах см.: Mortier. Les Maîtres généraux de l'ordre des Frères prêcheurs. 1909. T. 4. P. 626—648.

<sup>62\*</sup> Renaudet A. Pré-Réforme... P. 197; Thurston H. The Rosary // The Month. 1900. Oct.; 1901. Apr.; Résumé par Boudinhon // Revue de clergé français. 1902. Janv. О связи культа Четок с культом Страстей см. далее; примеч. 73.

оно, в свою очередь, усиливало. Горестная тема Бога Страждущего, каким он предстал святому Григорию; страстный культ пяти «кровавых ран» Распятого; поклонение сердцу, увитому терниями, множество первоначальных форм будущего культа Сердца Иисуса<sup>63\*</sup>, уже тогда отвечавших тем же желаниям и потребностям<sup>63\*</sup>, — вот что питало благочестивые размышления и упражнения в братствах Страстей, превосходивших числом братства Четок. Однако и тот ритуал, который с таким рвением превозносил Ален де ла Рош, пробуждал те же чувства, что издавна расцветали в сердцах верующих под воздействием культа Пресвятой Девы Заступницы, Пресвятой Девы Утешительницы, Пресвятой Девы Милосердной<sup>64\*</sup>. Вокруг Богоматери возникали ритуалы, их целью было прославление той, что все чаще представлялась как бы руслом, по которому на людей изливаются благодеяния, творимые ее божественным сыном. Именно тогда в тексте «Аве Мария» к приветствиям Гавриила и Елизаветы добавляются и другие<sup>65\*</sup>. Именно тогда к вечернему «Angelus»<sup>\*</sup> добавляется утренний, а затем и полуденный: Людовик XI в 1472 году предписал оглашать эту молитву трижды в день<sup>66\*</sup>. Наконец, в то время становятся постоянными литании Пресвятой Деве, которые еще до того, как они приняли свой окончательный вид (это произошло только в конце XVI века), уже вдохновляли граверов и миниатюристов<sup>67\*</sup>.

<sup>63\*</sup> См. указания отца Луи Гуго в пятой главе его труда и многочисленные библиографические ссылки в примечаниях: *Gougaud L. Dévotions et pratiques ascétiques du moyen âge. 1925. Ch. 5. P. 74—128*; об иконографии см.: *Mâle E. L'art religieux de la fin du moyen âge en France. P., 1908. P. 91 sqq.*; о распространении культа в Германии среди множества работ см.: *Richstaetter K. Die Herz — Jesu — Verehrung des deutschen Mittelalters. Paderborn, 1909*; в Италии: *Bernareggi A. L'iconografia del Cuore del Gesù // Arte Cristiana. 1920*; *Idem. Antécédents de la dévotion au Coeur eucharistique dans l'iconographie et la spiritualité italiennes // La vie et les arts liturgiques. 1925. Janv.*; в Нидерландах: *Kanters Ch. K. La dévotion au Sacré-Coeur dans les anciens Pays-Bas, XII<sup>e</sup>—XVII<sup>e</sup> s. Bruxelles, 1928*; в качестве дополнения: *Nouvelle série de documents. Bruxelles, 1928*.

<sup>64\*</sup> См. фундаментальный труд: *Perdrizet P. La vierge de miséricorde, étude d'un thème iconographique. P., 1908. Ср.: Mâle E. Op. cit. P. 198*.

<sup>65\*</sup> См. очерк отца Гуго об истории Ангельского целования: *Gougaud L. Salutation angélique // La vie et les arts liturgique. 1922. P. 539—540*; статью «Ангельское целование» см.: *Dictionnaire théologique / Ed. A. Vascant. E. Magenot. T. 1. Col. 1273*; см. также: *Hefele K., Leclerc A. Conciles. T. 5. Ap. 4. P. 1744—1759*.

<sup>\*</sup> Первое слово молитвы «Ангел Господень».

<sup>66\*</sup> Гиём Брисонне получил от Льва X отпущение грехов тем верующим из его епархий Лудев и Мо, которые будут читать по три «Аве Мария» трижды в день — всякий раз, как будут звонить колокола, призывающие к «Angelus».

<sup>67\*</sup> *Schleussner. Za. Entstehung der Lauretanischen Litanei // Theologische Quartalschrift. Tübingen, 1926. T. 107. P. 254—267*; более ранняя книга: *Santi A. de. Les Litanies de la Vierge. P., 1900. Пер. с ит.*

В то же время новому популярному культу Святой Плащаницы из Шамбери, который стал с середины XV века покровителем герцогов Савойских (увлечение это приобрело такой размах, что вскоре вызвало к жизни конкуренцию<sup>68\*</sup>), словно эхом отозвалось быстрое развитие (но с еще-большим размахом) нового паломничества высшего ранга. За несколько лет весь восхищенный христианский мир узнал полную чудес историю Святого Дома Богоматери в Лорето<sup>69\*,12</sup>, подлинность которой была удостоверена блаженным Батистой Спаньюоли и подтверждена в 1507 году папской буллой Юлия II. Люди той эпохи, когда еще воровали реликвии<sup>70\*</sup>, как во времена Меровингов (разве не похитила Венеция в 1485 году из Монпелье мощи святого Роха, верховного защитника людей от чумы?), — люди того времени толпами шли по дорогам, ведущим к Венеции, этому преддверию Иерусалима<sup>71\*</sup>, или ведущим к Риму, центру христианского

<sup>68\*</sup> *Chevalier U.* Le Saint-Suaire de Lirey, Chambéry, Turin et les défenseurs de son authenticité, 1902; о Святой Плащанице в Безансоне см. статью Ж. Готье (*Mémoire société d'emulation du Doubs*. 1902); о судьбе культа Святой Плащаницы в Савоие см.: *Bruchet M.* Marguerite d'Autriche, princesse de Savoie. Lille, 1927. P. 139–142.

<sup>69\*</sup> См. фундаментальный труд каноника У. Шевалье: *Chevalier U.* Notre Dame de Lorette, étude historique sur l'authenticité de la Santa Casa. P., 1906. Критические выводы автора были подтверждены Георгом Хуффером в книге, выпущенной с дозволения церковных властей (см.: *Huffer G.* Lorete. eine geschichtskritische Untersuchung der Frage des Heiligen Hauses. Münster (Westphalen). Vol. 1–2). Забавная подробность: первую мессу с гимном в честь Лоретской Богородицы сочинил не кто иной, как Эразм (*Erasmii Virginis Matris apud Lauretum cultae Liturgia*. Bâle, 1523); эта месса в 1524 году была одобрена архиепископом Безансонским Антуаном де Вержи и опубликована еще раз с добавлением «Concio» [Созываю]. См.: *Erasmii Opera*/Ed. Le Clero. P., 1704. T. 5. Col. 1327–1335; *Erasmii Opus Epistolarum*/Ed. Allen. T. 5. P. 341. Col. 1391; T. 6. P. 73. Col. 1573. Впрочем, ни в тексте Эразма, ни в «одобрении» Антуана де Вержи не упоминается о чудесном перемещении Дома Богоматери.

<sup>70\*</sup> На французском материале не написано ничего, сравнимого с книгой Х. Зибберта, которая содержит множество ссылок на религиозную литературу того времени (*Siebert H.* Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Religion Verehrung. Freiburg: Briesgau). О поклонении реликвиям см.: *Beatis de A.* Op. cit. P. 233–234; о воровстве реликвий см.: *Saintyves P.* En marge de la Légende dorée. P., 1931. Ch. 12. P. 444 sqq., 502–508. Обычай паломничества подкреплялся судебными решениями, которые присуждали виновного посетить то или иное святилище (см.: *Vancauwenberg E.* Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au moyen âge. Louvain, 1922).

<sup>71\*</sup> Об индустрии паломничества в Святую землю (в конце XV века эта индустрия была монополией венецианцев) см.: *Newet M.* Introduction // *Pietro Casola's Pilgrimage to Jerusalem in the year 1494*. Manchester, 1907. Ср.: *Journal de voyage de Louis de Rochechouart à Jérusalem, 1461* / Publ. Couderc // *Revue de l'Orient latin*. 1892. T. 1; *Voyage à Jérusalem de Ph. de Voisin* / Publ. Tamizey de Larroque. P., 1883; *Voyage de la Sainte Cyté de Hierusalem, 1480* / Publ. Ch. Scheffer; *Pèlerinage à Jérusalem de Jacques le Saige, marchand de Douai, 1518* / Réimpr. par Duthilloeul. Douai, 1852. Попытки составить библиографию путешествий

мира, — шли к маленькому кирпичному домику, который был пронесен ангелами над морем. Люди с восхищением смотрели на «окошко, через которое явился ангел, чтобы сообщить благую весть», и на небольшую купель, «в которой Прекрасная Дама омывала руки». Но это не все.

Верующих не устраивали существующие ритуалы. Чувства народных масс, подогреваемые проповедью красноречивых отцов францисканцев, в конце концов начали действовать даже на богословов. 3 марта 1497 года богословский факультет в Париже предписал лиценциатам и докторам давать клятву, что они будут исповедовать и отстаивать францисканское учение о непорочном зачатии, в защиту которого выступил папа — францисканец Сикст IV, одобряв (в 1476 году) литургию, сочиненную Леонардом Ногароле к празднику 8 декабря<sup>72\*</sup>,<sup>19</sup>: в Нормандии с давних пор его считали чем-то вроде национального праздника. Тем временем перешли от Пречистой Девы к ее матери. И хитроумная теория, освобождавшая святую Анну («*Anna labe capens*» [незапятнанную Анну]) от пятна, лежащего на всех людях, быстро обрела широкое признание<sup>73\*</sup>,<sup>20</sup>. Рвение, с которым

---

на Ближний Восток были предприняты Левалем, см.: *Leval A. Revue d'Orient et de Hongrie. Budapest, 1897*; для XVI века см.: *Hauser H. Le voyage du Levant de Ph. du Fresne-Canaye, 1573*.

<sup>72\*</sup> Если верить д'Аржантре, постановление факультета следует датировать 3 мая 1496 года. В действительности решение факультета было одним из результатов широкого движения; оно ускорило принятие 15 сентября 1437 года Базельским собором декрета, в котором учение о Непорочном зачатии объявлялось «*piam et consonam cultui ecclesiastico, fidei catholico, rectae rationi et Sacrae Scripturae*» [благочестивым и пребывающим в соответствии с церковным культом, католической верой, здравым смыслом и Священным писанием]. Не говоря уже о Жерсоне, такие люди, как Дионисий Картезианец в Нидерландах (умер в 1471 году) и Габриель Биль в Германии (умер в 1495 году), были активными поборниками учения о Непорочном зачатии. О судьбе этого учения во Франции см.: *Renaudet A. Pré-Réforme... О его проникновении в литургические книги см.: Dictionnaire théologique. Т. 7. Col. 1117. Лефевр д'Этабль в «Комментарии к посланиям святого Павла» осуждает тех, кто отвергает это учение (см.: *Renaudet A. Pré-Réforme... Р. 629, not. 4*). Библиографии иконографии см.: *Dictionnaire théologique. Т. 7. Col. 1150; Bataillon L. Symboles des Litanies et l'icongraphie de la Vierge en Normandie au XVI<sup>e</sup> s. // Révue archéologique. Т. 18. P. 261–288. Праздник 8 декабря часто называли нормандским праздником.**

<sup>73\*</sup> О культе святой Анны см.: *Mâle E. Op. cit. P. 216 sqq.; Schaumkell E. Der Kultus der heilige Anna im Ausgange des Mittelalters. Freiburg im Breisgau, 1893; Tritemius. De laudibus sanctissime matris Anne tractatus. Mayence, 1494* — эта книга сыграла большую роль в распространении культа Анны. См. также у Хайна многочисленные издания «Легенды о святой Анне» (№ 1111–1123). Но полный расцвет культа может быть датирован первой третью XVI века. Тем для культа много: родословная Пречистой Девы; семейство святой Анны; Пречистая Дева, излучающая сияние, непорочная в утробе матери. Эти темы, малодоступные для пластических искусств, вдохновляли обычно граверов;

граверы, однако не только граверы, но и витражисты (реже — скульпторы), спешили посвятить свое искусство святой Анне, могло сравниться только с усердием стихотворцев, ловких угодников перед властью имущими, превозносивших в своих двустыших культа, по поводу которого молодой Эразм писал одной даме (ее, конечно же, звали Анной), что «он с самого раннего детства благоговел перед объектом этого культа»<sup>74\*</sup>. Пусть же нас не осуждают за то, что мы сближаем культы, между собою не связанные: люди того времени сами так делали, сочетая в своих молитвах и писаниях культ Четок с культом святой Анны или повествование о Страстях Господних с поклонением Деве Марии. В своих писаниях — правильнее сказать, в напечатанных сочинениях, ибо религиозные мысли и чувства пользовались теперь новым способом распространения, который многократно, стократно усиливал их влияние.

Конечно, изображение — это книга для не умеющих читать — не было заброшено и им не пренебрегали. Каждый фламандский художник той поры обязательно рисовал на своей картине какой-нибудь благочестивый эстамп, разноцветный или в одну краску, прибитый к стене в любой, самой убогой, комнатушке. Подобные же картинки хранили между страницами молитвенников, которые в то время служили еще и книгами для записи семейных событий и тоже были украшены многочисленными гравю-

скульпторы обращались чаще только к двум сюжетам: воспитание Пречистой Девы ее матерью и группа: святая Анна с Пречистой Девой и младенцем, интересная тем, что нужно было показать матерей, принадлежащих к разным поколениям. О распространенности этих сюжетов в бургундской скульптуре см.: *David H. De Sluter à Sambin*. T. 1. P. 294 sqq.

<sup>74\*</sup> *Erasmii Opus Epistolarum*, I, 342 (речь идет о жене Ад. де Веере). Письмо было приложено к «Ямбическим стихам во славу Анны», которые были воспроизведены в «Оружии христианского воина» (1518). Эразм подтверждает, что восхваление святой Анны было одной из излюбленных тем версификаторов: «Annam Christiana pietas adorat, Rodolphi Agricoli Baptistae Mantuani fecundissimis literis celebratam» [Христианское благочестие чтит Анну, прославленную многочисленными писаниями Родольфа Агриколы, крестителя мантуанского]. Анна долго еще будет во Франции мужским именем (Анн де Монморанси, Анн де Жуайез и др.). Об объединении двух культов — Четок и святой Анны — см.: *Hain. Repertorium*. N 10070: «Libelli tres peritiles: primus, confraternitatem Rosarii declarat; secundus laudes et fraternitatem. S. Annae, officium missae et orationes de S. Anna, tertius orationes ad totam progeniem S. Annae» [Три полезные книги: первая повествует о братстве Четок, вторая — о хвалах святой Анне и братстве святой Анны, о мессах и молитвах, обращенных к ней, третья — о молитвах, обращенных ко всему роду святой Анны]. Об объединении культов Страстей, святой Анны и Четок см.: *Ibid.* N 12452: *Passio Domini et S. Annae legenda atque Virginis Mariae rosarii praeconia*. Louvain, 1496. Наконец, о различных попытках францисканцев и доминиканцев присоединить к Четкам культ Пяти ран см.: *Gougaud L. Dévotions...* P. 86, not. 39 (*Beis-sel S. Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland*. Freiburg im Breisgau, 1909. S. 527, 538).

рами. Кроме того, продолжало существовать обыкновение держать собрания гравюр на дереве на сюжеты Апокалипсиса, Страстей Господних, Пляски смерти — гравюр, которые ныне разжигают наши коллекционерские страсти. Но книгопечатание играло все ббольшую и ббольшую роль.

Церкви не понадобилось много времени, чтобы понять, что новое искусство печатания может оказать религии столь же могучую поддержку, как педагогике и литературе. Поэтому всюду, во всех странах, духовенство приняло самое деятельное участие в распространении нового изобретения, и уже не счесть было городов, где в два последних десятилетия XV века и в два первых десятилетия века XVI работали печатные станки для того лишь, чтобы производить для нужд духовенства и верующих молитвенники, требники и часословы на всю епархию <sup>75\*</sup>.

Однако с типографских станков сходили в большом количестве не только обычные богослужебные книги для нужд духовенства, катехизисы и сборники молитв — обилие подобных изданий заставляет все же предположить, что духовенство читало больше, чем принято думать <sup>76\*</sup>. Поражает одно обстоятельство: множество книг на латинском языке, предназначенных для *simplices sacerdotes* [простых священников]: ведь требовалось, чтобы эта продукция распространялась. Разве не странно, что в Париже, как только там не стало Фише и Эйлена, три их печатника, обосновавшись на улице Сен-Жак под вывеской «Золотое солнце»,

<sup>75\*</sup> Несколько примеров. 1482 год, Шартр; богатый каноник Плуме приглашает из Парижа мастера книгопечатания Дю Пре, устраивает его *in claustro* [взаперти; здесь: в стенах обители] и велит ему напечатать в 1482 году молитвенник, а в 1483 году требник для епархии. После этого Дю Пре возвращается в Париж. 1484 год, Сален; настоятель монастыря святого Анатолія приглашает трех печатников, поселяет их *in claustro*; в том же году они печатают требник, в 1485 году — молитвенник для нужд епархии. 1489 год, Эмбрен; епископ приглашает печатника Ле Ружа, поселяет его у себя; тот печатает требник. 1491 год, Нарбонн; каноники святого Юста поселяют печатников *in claustro*, в результате в конце ноября появляется молитвенник. И так далее. Простые кюре становятся печатниками, чтобы делать часословы (см. *Claudin P. Imprimeries particulieres en France au XV<sup>e</sup> s.* 1897. P. 22 — историю священника из Гупильера в Нормандии и его часослова 1491 года). Монахи следуют примеру священников; Этьен де Басиньяна, кармелит, печатает в 1516 году в Лионе часослов для нужд кармелитского монастыря.

<sup>76\*</sup> Об этом см.: *Maulde la Claviere R. Origines de la Revolution au commencement du XVI<sup>e</sup> siecle.* P., 1889. P. 137—185; ср.: *Desjardins. Sentiments moraux au XVI<sup>e</sup> s.* 1887; *Les abus dans le corps ecclesiastique.* P. 350—367; *Imbart de la Tour P.* Op. cit. T. 2. P. 283—291. Однако эти авторы слишком полагались либо на тексты литературных произведений, либо на полемические источники типа книги А. Этьена (*Estienne H. Apologie pour Herodote / Ed. Nistelhuber.* 1879. P. 139—150), либо на собрания проповедей, проникнутых застарелой враждебностью черного духовенства к белому, либо, наконец, на судебные документы, иллюстрирующие случаи исключительные.

решительно отказались от издания гуманистов, заменили прямые шрифты на готические и незамедлительно приняли печатать «Manipulus curatorum» [Манипул наставников] Ги де Монроше<sup>71\*</sup>... Жерэн, оставшийся единственным главою «Золотого солнца», выдает в 1478 году второе, а в 1480 третье издание того же «Манипула»<sup>72\*</sup>. В 1474 году возникает вторая парижская типография П. Сезара и Ж. Столля; что же напечатали они в первую очередь? «Манипул наставников». То же самое в провинции, почти повсеместно. И не только «Манипул». Не потому ли печатные станки в таких количествах размножали оттиски «Stella clericorum» [Звезды священнослужителей], «Instructio sacerdotum» [Наставления священникам], «Instructio ecclesiasticorum» [Наставления служителям Церкви] и т. д., что велико было число людей, покупавших эти сочинения, которые порою трудно отличить одно от другого из-за изменений их названий? Убогая литература, согласен. Но дело не только в этом. Типографии не ограничивались тем, что распространяли эти жалкие, в сущности, писания, ни даже тем, что печатали для людей образованных тексты более ученые — труды отцов Церкви и знаменитые трактаты схоластов; они, наконец, не ограничивались тем, что делали доступными для благочестивых людей основные тексты религиозной медитации: трактаты святого Бернара, викторинцев<sup>22</sup> и других или же «Подражание»<sup>23</sup> на латыни и на французском (под названием «Внутреннее утешение») <sup>73\*</sup>. Сотнями (учтите, что многое должно было затеряться) типографии выпускают в свет произведения на родном языке, напечатанные готическим шрифтом, привычным для глаза простых людей, чаще всего — переведенные с латыни, иногда — написанные сразу по-французски и предназначенные для средней буржуазии, которая не знала латыни, или для набожных женщин, умевших читать <sup>74\*</sup>.

<sup>71\*</sup> Жерэн издает одно за другим сочинения брата Нидера: «Наставления на темы десяти заповедей», «Утешения богобоязненной совести», «Зерцало души грешницы», Псалтирь с календарем, тревник и т. д.

<sup>72\*</sup> Полных статистических данных нет. И собрать их было бы нелегко, ибо, располагая в изобилии каталогами инкунабул, мы бедны по части каталогов книг, изданных с 1500 по 1530 год. Существуют достоверные данные Реноде относительно парижских изданий, но Париж — это особая культурная среда; там печатали лишь очень немногие из больших сочинений схоластов; они выходили в Венеции, Кельне, Страсбуре и т. д.

<sup>73\*</sup> Всего несколько примеров: многочисленные издания (1485, 1488, 1495, 1501, 1510, 1515 и т. д.) книги «Житие Господа Нашего Иисуса Христа, изложенное по Ветхому и Новому Завету» брата Жана Юрсена, настоятеля августинцев в Лионе, — это краткий пересказ Священного писания; другой краткий пересказ — «Библия на французском для простого народа», насчитывающая тридцать изданий готическим шрифтом; «Совокупность учений католической религии» Ги де Ройе, архиепископа Санского; «Размышления о жизни Иисуса Христа», Лудольфа Картезианца — книга, переведенная ле Менаном (о ней см. далее); переводы или пересказы «Золотой легенды» также встречаются очень час-



Сотнями; но тысячами эти же станки печатали коротенькие брошюры для публики, еще менее взыскательной и менее образованной. Сколько их было? Нам это до сей поры неизвестно. Такого рода сочинения пропадали в огромных количествах, как все, что писалось для масс. Однако когда до нас случайно доходит, не понеся слишком большого ущерба, собрание книг какого-нибудь благочестивого христианина, чьи интересы были более практическими, нежели учеными, мы удивляемся этому поистине роскошному изобилию печатных изданий для широкого круга читателей: здесь и религиозно-назидательные книжки, и рассказы о паломничествах, и всевозможные молитвы на все случаи жизни и во спасение от любых опасностей; чудеса Пресвятой Девы и святых обоего пола, таинства Богородицы, святого Христофора, святой Венисы, изречения Иисуса, не говоря уж про «Пятнадцать радостей Богоматери», «Средство против любых эпидемий» и «Нескучный Великий пост», «а именно как приготовить салат, тушеные бобы, дробленный горох и пюре...». Вот что мы находим в библиотеке, например, Фернандо Колумба из Севильи<sup>80\*</sup>. Это мощный поток; в дальнейшем Реформация не сумеет его остановить; она предпочтет частично отвести его в сторону, более или менее скрыто упорядочить его — себе на благо — или же подражать (с целью превзойти) трудам благочестивых популяризаторов конца XV — начала XVI века, которые открыли широкую дорогу этому потоку. Мы знаем, что Реформация загрузила заплечные корзины бродячих торговцев простенькой пропагандистской литературой; о количестве и богословской направленности этой литературы мы можем догадываться, но точных сведений не имеем. Однако можно думать, что не Реформация научила лотошников и разносчиков извлекать скромную прибыль из торговли религиозными книгами для народа и для деревни<sup>81\*</sup>.

Итак, работающие печатные станки, чья продукция в том или ином количестве одновременно достигала всех слоев общества, распространяли вширь и вглубь мысли и чувства, близкие и понятные поколению людей, жившему в конце XV века. Новые формы культа Марии, из коих одни были неразрывно связаны

то. «Золотая легенда», переведенная на французский монахом-якобинцем из Лиона, доктором богословия Жаном Баталье, — первая книга на французском языке с точно установленной датой выхода в свет (18 апреля 1476 года); известно, что напечатана она была в Лионе Гийомом Ле Руа в типографии Бартелеми Бюйе. За этой книгой последовало сочинение Родригеса, епископа Саморского, «Зерцало человеческой жизни», переведенное братом Жюльеном Мамо, и «Жития святых, коим посвящены новые праздники» в переводе некоего монаха-кармелита (20 августа 1477 года).

<sup>80\*</sup> См. опись этой библиотеки, опубликованную Еабеллоном.

<sup>81\*</sup> Hauser H. *Petits livres du XVI<sup>e</sup> siècle // Etudes...* Автор с большой пронацительностью замечает, что литература эртексальная могла превращаться в литературу, подкрашенную инакэмыслием, благодаря искусно сделанным изменениям.

с несколько приторной чувствительностью прирейнских обитателей, другие же — с более суровыми культами страдания, с культом Христа, истекающего кровью, со страстями Сына (к которым легко можно было присоединить страсти Матери) <sup>82\*</sup>, с мистическими ритуалами, в центре которых — раны страждущего Бога и его кровь, символизируемые Источником жизни и мистической Давильней <sup>25, 83\*</sup>; книги на латыни и на живом языке, даже листовки и плакаты, прямо-таки извержение печатной продукции, — все это популяризировало, разносило, пропагандировало живые элементы религии, исполненной жизненной силы. То, что сотворило книгопечатание, было завершено искусством: так было сказано, и с полным основанием; и в зеркале живописи и скульптуры мы можем увидеть правдивый облик эпохи, охваченной страстями.

Искусство живописное, патетическое, человеческое: все это так <sup>84\*</sup>. К тому же следует иметь в виду, что живописность, благодаря эффекту тех самых анахронизмов, которые нас забавляют, — она тоже часто добавляет трогательной человечности. Когда в каком-нибудь «Благовещении» XV века мы видим в комнате, сверкающей фламандской чистотой, приколотый к стене эстамп, изображающий — несомненно, слишком смело предвосхищающий события — Христа, сидящего на плечах святого Христофора <sup>85\*</sup>, мы можем улыбнуться тому, что шокирует наше (с таким трудом обретенное) чувство исторического соответствия. Важнее напомнить, что для обладателя картины это ребячливое смешение реалий благодаря своей человечности делало более близкой ему сцену, на которую художники предшествовавших веков, напротив, накладывали печать иератического и божественного величия. Вне всякого сомнения, за целое столетие пластические искусства и искусство театра, с которым художники постоянно поддерживают связи (нам это известно <sup>86\*</sup>), — все эти искусства, столь

<sup>82\*</sup> *Hain L. Repertorium. N 10758: «Historia de veneranda Compassione B. Dei Genitricis»; N 10996: «Incipiunt centum meditationes passionem D. N. Jhesu Christi ac compassionem B. Marie Virginis exprimentes» [Начинаются сто медитаций, посвященных страданиям Господа Нашего Иисуса Христа и состраданию блаженной Девы Марии] (Nuremberg). С конца XIV века появляется культ Богоматери Семи скорбей; см.: *Dissard. La transfiction de Notre-Dame // Etudes. 1918. Mai. P. 264; Idem. // Analecta Bollandiana. 1893. P. 333—352* (в статье четко и подробно освещены истоки проблемы). Возможно, что с подробной разработкой этого сюжета мы впервые встречаемся в двух антверпенских рукописях.*

<sup>83\*</sup> На эти темы см.: *Mâle E. Op. cit. P. 105 sqq., 113 sqq.; Corblat J. Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement et d'Eucharistie. 1886. Vol. 2. P. 514—518; Lindet. Les Représentations allégoriques du moulin et du pressoir // Revue archéologique. 1900. P. 403.*

<sup>84\*</sup> *Mâle E. Op. cit. Passim.*

<sup>85\*</sup> См., например, «Благовещение» в Брюссельском музее, приписываемое Флемальскому мастеру; эстамп приколот к печному карнизу.

<sup>86\*</sup> Помимо книги Маля, см. специальные работы Коэна.

властные над сердцами людей из народа, в конце концов создали для людского воображения раму, в ней могла двигаться трогательная фигура Христа, бесконечно доброго и вызывающего жалость, в тесном окружении людей, мужчин и женщин, которые могли узнать себя на картинах, на досках алтарей, а порою и увидеть свой портрет и портреты своих близких.

Таким образом, не было в те времена ни разочарования в древних обрядах, ни враждебного к ним отношения. Была скромная тяга к чудесному, она кое-как удовлетворялась случайной пищей, порою поддельной или просто убогой. И однако же, как нам представляется, было чувство некоторой неудовлетворенности, стеснения, смутные порывы к чему-то иному.

В силу политических, экономических и социальных обстоятельств их перечень приводился неоднократно, целый класс людей в те времена завоевывал себе одновременно с богатством обширное место под солнцем власти.

Далеко не все они были бессовестными авантюристами, нуворишами, возникшими из небытия за одну ночь благодаря мошенническим комбинациям, незаконным прибылям, спекуляциям, в той или иной мере преступным. Каковы бы ни были злоупотребления индивидуализма, почти наивного в своих крайностях, — не дадим себе увлечься или обмануться некоторыми выразительными фактами, обнаруженными в ходе исследований (основательно документированных) и относящимися к тому, что можно было бы назвать особыми, исключительными зонами, каковыми были крупнейшие мировые торжища, экономические столицы того времени — например, Антверпен, чтобы не упоминать другие, ему подобные<sup>87\*</sup>. Буржуа, которые постепенно проникались коллективным сознанием своего могущества и в то же время индивидуальным чувством своей значительности и достоинства, — эти буржуа помышляли отнюдь не только о наживе и об удовольствиях. У нас — я хочу сказать, во Франции — меньше, быть может, чем где бы то ни было. Эти люди, которые мирно трудились в больших городах и скромных поселках, имели в душе некую серьезную основу, потребность в моральном исправлении, вовсе не связанную с каким-либо социальным лицемерием, или фальшивой фарисейской стыдливостью, или внешней и показной строгостью: большинство людей инстинктивно ненавидят все это; напротив того — их насмешливая веселость и трезвый реализм шли рука об руку с глубоким чувством долга, а в конце XV — начале XVI века к этому прибавляется жгучая потребность в уверенности, которую должна была дать религия, и в поддержке с ее стороны.

<sup>87\*</sup> В книге Гори собраны любопытные документы, свидетельствующие о безнравственности в среде купцов и финансистов, их жульничестве с залогами, злодеяниях и др. (Goris A. Etudes sur les colonies marchandes meridionales à Anvers, 1488—1567. Louvain, 1925. P. 385 sqq.).

Купеческой буржуазии, той, что без устали торговала на дорогах и на морских просторах и, подобно Улиссу, знала обычаи множества людей и, познавая их, сравнивая, черпала из своего изменчивого опыта драгоценное чувство относительного; буржуазии судейской и чиновничьей, составившей солидно выстроенную иерархию и выталкивавшей на верхушку своей прочной пирамиды умеющего покорять сердца паломника по итальянским, французским, германским университетам, доктора *in utroque* [обоих <прав>] \*, удачливого победителя своего соперника старого образца — мэтра доктора богословия; наконец, всем тем, кто, занимаясь тонкими ремеслами и техникой, требующей изощренного мастерства, оттачивали разум, склонный к решению практических задач, или же в тиши своих ученых занятий среди книг в тяжелых деревянных переплетах обогащали свой ум и сердце изучением древних, — всем им в равной мере нужна была религия ясная, разумно человеческая и нежно братская, которая была бы для них светочем и поддержкой.

Эта религия — была ли она той самой, что предлагала людям того времени официальная Церковь? Нет, ни в коем случае. Массам, которые ведать не ведали (и не без причины) об усилиях белого духовенства, совершенно неспособного (если оно даже пыталось что-то предпринять) — неспособного посвятить себя тяжкому труду воспитания, — массам Церковь оставляла великое множество бродячих проповедников, чьи повадки и образ действий были зачастую сомнительного свойства<sup>88\*</sup>; Церковь предоставила им возможность распространять за пищу и ночлег ворох старых суеверий, которые можно было бы, не погрешив против истины, квалифицировать как магию: слово, это, впрочем, людям, жившим этой убогой манной небесной, не обязательно казалось оскорбительным. А как обстояло дело с людьми учеными? То, что предлагали им доктора богословия, презиравшие простой народ<sup>89\*</sup>, — это было учение, искусно разработанное

\* То есть канонического и гражданского.

<sup>88\*</sup> Нет ни одного хорошего исследования о проповедниках того времени. Старая книга Мере «Жизнь во времена вольных проповедников» (1878) не поднимается выше уровня забавных историй. Есть несколько монографий о проповедниках — о Майаре, Мишеле Мено, Гейлере из Кайзерсберга; однако следовало бы собрать разрозненные документы, особенно из архивов капитулов и городов, о деятельности проповедников, не имевших литературной известности; какими они пользовались приемами, об излишествах их языка, о скандалах, которые они вызывали; такой труд был бы не напрасным.

<sup>89\*</sup> За немногими исключениями. Гордыня богословов, их презрение к простым смертным типичны для той эпохи, идет ли речь о парижских богословах или о ком другом. Относительно лувенских богословов см.: *Yongh H. de. Ancienne faculté de théologie de Louvain. Louvain, 1911. P. 102*: «...обладатели ученой степени по богословию составляли касту, стоявшую в стороне от всех прочих людей. Линданус скажет позднее, что ни один из них не захотел бы взять бенефиций, обязывающий за-

всесокрушающими логиками, учение деградирующих богословов, которые, полностью потеряв из вида людей и их потребности, заняли в конце концов, поскольку мудрили с теологическими концепциями, — заняли позицию странную и негативную, характерную в канун Реформации почти для всех руководителей богословского факультета в Париже<sup>90\*</sup>. Воспитанные на изучении выродившегося окказиума, эти ученые богословы, казалось, были заняты главным образом тем, чтобы поставить вне разума (о котором было сказано, что он неспособен это понять) те догмы, которые верующий человек должен был, по их мнению, принять попросту такими, какими их ему преподносили<sup>91\*</sup>: принять безразмысленно и без любви некие утверждения, а пытаться их оспаривать или даже просто понимать было еще более бессмысленно, чем предосудительно; бездушно исполнять чисто формальные обряды и выполнять уроки, в известном смысле механические: к этому сводилось послушание, к этому сводился долг.

Итак, в низах — суеверие, в верхах — бесплодная сухость, на которую сетуют в начале века и К्लихтуэ, и Капитон, и многие другие; сухость, которую Лютер приписывает отчасти влиянию судейского духа, чем и объясняются его проклятия: «Juristen, böse Christen!» [Юристы, дурные христиане!]. Сухость — это слово часто приходит на ум, когда думаешь о тех или иных проявлениях духа в конце XV века. Если архитектура эпохи особенно четко выражает ее вкусы и устремления, давайте вспомним искусно сооруженные церкви того времени, воздвигнутые на одном дыхании и сохраняющие по сей день свою ледяную эле-

---

ботиться о человеческих душах». Подобным же образом вели себя младшие сыновья знатных фамилий, ставшие служителями Церкви; они считали налагаемые на них саном обязанности недостойными себя, в особенности проповеди; см., что говорит по этому поводу Гейлер из Кайзерсберга или Вимффелинг: *Dacheux L. Geiler de Kaysersberg. P.; Strasbourg, 1876. P. 137, not 1.*

<sup>90\*</sup> Однако некоторые парижские богословы взяли на себя труд сочинить на французском языке простенькие книжки благочестивого содержания. Например, Жан Кантен, каноник и исповедник Парижский (около 1499 года, см.: *Feret P. Histoire de la faculté de théologie de Paris // Epoque moderne. 1900–1906. T. 4. P. 165*), написал «Часослов благочестия», «Испытание совести» и «Как прожить каждый свой день в благочестии». Или еще Т. Варне, кюре из Сен-Никола-дэ-Шан, который вместе с Нозлем Беда, главой коллежа в Монтегю, написал «Учение и поучение, необходимые для христиан и христианок» — это небольшая книжка, три листа без пагинации, изданная между 1491 и 1508 годами; она содержит «Отче наш», «Ангельское целование», «Верую», предписания божеские и церковные и три молитвы. Небольшое сочинение тех же авторов (51 страница) совсем малого формата, набранная готическим шрифтом книжица, направленная против картежников и игроков в кости: «Небольшая дьявольская проделка, которую руководит Люцифер, а игроки в ней — участники» — без даты, изданная после 1518 года; к ней приложен текст «Учения», упоминавшегося выше.

<sup>91\*</sup> *Renaudet A. Pré-Réforme... P. 53–67.*

гантность чисто исполненного чертежа: собор Богоматери в Клерви, например, поскольку речь идет об эпохе Людовика XI. С одной стороны, логика, тщательность, а в целом — даже идеи, предвосхищающие будущее: Виолле-ле-Дюк на нескольких увлекательных страницах своего «Словаря»<sup>92\*</sup> прекрасно показал, как готическая архитектура в своем последнем периоде становится на путь технических решений, которые значительно позднее будут полностью реализованы в конструкциях из металла. С другой стороны, возможно, что видоизмененный оккамизм парижских ученых богословов в конце XV века заключал в себе, в философском аспекте, потенции плодотворного развития. А пока что в храмах — как в тех, что воздвигались из камня, так и в тех, что строились из философских концепций, — мало внутреннего порыва или же его нет вовсе. Только в глубине надмогильных часовен с причудливыми сводами, с тонкими украшениями, с каменным декором, изобилующим деталями, подобранными несколько ребячливо, — только там нужно искать тайну скрываемого чувства. И тут можно вспомнить о великом «алиби», о духовном и нравственном убежище множества людей, вскормленных лишенной плоти схоластикой и формальной логикой, — об их погружении в мистические тексты: о тех жителях Нидерландов и Рейнской области, чей дух воплотился в «Подражании»<sup>26</sup>, и о тех, кто были родом из Франции, вспомним наших старых отечественных богословов, святого Бернара, викторинцев или более близкого к нашим временам Жерсона<sup>93\*</sup>. Целая река молчаливых раздумий в уединении наглухо закрытых молелен течет сквозь последние годы раздираемого противоречиями века и продолжается до середины следующего века, еще более беспокойного<sup>94\*</sup>, и значение ее переоценить невозможно. Но эта пища, эта поддержка, исходившие от учителей экстаза и озарения, годились ли они для людей действия, для деловых людей, число которых все более увеличивалось, приобретает все большее значение, они в поте лица выковывали для себя групповое сознание? Годились ли они, могли ли они годиться для тех светлых умов, которых становилось все больше с каждым днем, ибо их раскрепощало углубленное изучение прекрасных литературных памятников античности?

Несоответствие. Между желаниями буржуазии, стремившейся к гармонии между своей деятельностью и верой, и теми решениями, то несуразными, то трудноприменимыми, которые им предлагала Церковь, ставшая анахронизмом; пропасть с каждым

<sup>92\*</sup> См. в первую очередь статью «Строительство».

<sup>93\*</sup> Исследования о Жерсоне возобновились около 1926 года. Кроме монографии Шваба (1858), которая остается основополагающей, см.: *Conolly. John Gerson reformer and mystic. Louvain, 1928; Stelzenberger. Die Mystik des Johannes Gersons. Breslau, 1928.*

<sup>94\*</sup> *Renaudet A. Pré-Réforme... P. 67-78.*

днем разверзалась все глубже. Тем более что духовенство, в особенности богословы, не ведающие о делах своего времени и к тому же не слишком стремящиеся их узнать, продолжали жить в собственной среде, в замкнутом объеме, закрывая глаза на любую реальность: в своем аристократическом пренебрежении к современникам, разве они не воображали, что верующие — это они, только они одни?

Забавно читать в первом томе сборника Эрминьярда (№ 5, с. 20) текст, принадлежащий перу Иосса Кликхуэ, ученика Лефевра. Ревностный и благонамеренный христианин, Кликхуэ ищет причины неблагополучия, которое он видит своими глазами. И совершенно искренне полагает, что нашел причину — в том обстоятельстве, что священники, служители алтаря, как он их называет, недостаточно хорошо понимают смысл слов, которые они произносят или поют. Так вот где корень зла. А средство избавления? Написать книгу «Разъяснения священникам», которая вернет людям Церкви глубокое понимание молитв и песнопений. Капитон, представивший по просьбе Кликхуэ его книгу епископу Базельскому, присоединяет свой голос к голосу Кликхуэ. Он тоже видит неблагополучие. Однако не понимает, почему оно продолжается. Ибо, в конце концов, у Церкви нет недостатка в епископах и ученых богословах, которые стараются искоренить неполадки. Нет никаких сомнений, корень зла — в «невежестве священнослужителей». Так давайте же вместе с Кликхуэ возьмемся за их обучение, объясним им значение различных частей мессы, церковных гимнов и священных песнопений — и все, конечно же, пойдет на лад... Отличные и весьма поучительные примеры естественной, быть может, но вредной иллюзии. Преобразуйте духовенство — и религия будет спасена: это заблуждение, свойственное профессионалу.

Заблуждениями этих людей, их поразительными заблуждениями можно заполнить целую книгу. Эти люди продолжали верить авторитетам. И не замечали, что если было нечто такое, что современники Мартина Лютера отталкивали всеми силами, так это именно ссылки на авторитеты<sup>95\*</sup>. Человеку из Вормса, который потребовал, чтобы его убедили свидетельствами из Священного писания или же очевидным доказательством<sup>27</sup> — *nisi convictus fuero testimoniis Scripturarum aut ratione evidenti* [меня могут убедить лишь свидетельства Священного писания или же очевид-

<sup>95\*</sup> Это можно увидеть, если взять на себя труд прочесть первые сочинения антилютеровской полемики, написанные французскими богословами. Кастовая гордыня, презрение распираемого теологией педанта к «жалкому идиоту», у которого нет ничего, кроме его разума, сквозят повсюду. О позиции П. Кутюрье, он же Сутор, см. далее. См. также: *Hangest J. de. De Academiis in Lutherum. P., 1532* — а не 1525, как напечатано у Фере (см.: *Feret P. Op. cit. P. 26, not. 11*); это — попытка восстановить престиж университетов, в котором Лютер пробил немалую брешь.

ное для разума], упреждающим эхом отзывается Эразм в письме к Генри Баллоку<sup>96\*</sup> от 22 августа 1516 г.: «Mea repellant argumentis, non conviciis!» [Пусть мои (доказательства.— Л. Ф.) опровергают доказательствами, а не бранью] — составляет контраст с презрительной позицией патентованных богословов.

И еще про богословов: они продолжали верить, что от их мнений, от того, как они будут поступать, от преобразований в их среде и от их намерений зависит в конечном счете судьба религии. Жан Момбер, каноник монастыря святого Августина, автор сочинения «Розарий духовных упражнений», о котором было известно Игнатию Лойоле, писал известному своей строгостью монаху того же ордена Ренье Кёткену<sup>97\*</sup> из Зволле, который приступал к реорганизации парижского монастыря Сен-Виктор, — писал в ноябре 1497 года, не ведая, что читать это будет смешно: «Ex manibus vestris pendet reformatio totius Ecclesiae gallicanae» [От ваших рук зависит реформация всей галликанской Церкви]. Это явный анахронизм. Нет, в 1497 году реформа всей галликанской Церкви не зависела от какого-то Ренье Кёткена и его влияния на нескольких более или менее покладистых монахов-викторинцев. Это была иллюзия. И самое неопровержимое доказательство того, что это так, — провал этих реформ или, вернее, то, что они оказались очень эфемерными и ничему не учили.

Чтобы все уладить, служителям Церкви оставалась лишь одна возможность — воззвать к глубоким душевным чувствам людей. Последняя иллюзия. Ибо эти чувства у большинства людей претерпевали в то время эволюцию. Давайте прочтем нехитрый отрывок из книги Жерома де Хангеста, в которой он полемизирует с противниками культа Марии<sup>98\*</sup>. Ученый богослов пытается опровергнуть их возражения. Он вкладывает в их уста такие слова: «Non est verum quod canitur» [Неправильно поют]:

Stabat Mater dolorosa,  
Juxta crucem lacrimosa,  
Dum pendebat Filius

[Стояла Мать, скорбная и  
рыдающая, у креста,  
на котором висел ее Сын].

Non enim super filii passionem, aut lacrimata est!» [Ибо скорбела она не о страданиях Сына и не потому была заплаканная!].

<sup>96\*</sup> *Erasmii Opus Epistolarum*. Т. 2. Р. 325 (122). Письмо написано в защиту Нового завета издания 1516 года, на которое напали богословы. В конце письма превосходная фраза: «Et spero futurum ut, quod nunc placet optimis, mox placeat plurimis!» [И я уповаю, что будет так: то, что ныне привлекает лучших, скоро будет привлекать большинство!].

<sup>97\*</sup> *Renaudet A. Pré-Réforme...* Р. 228, not. 2; про Кёткена см.: *Ibid.* Р. 217; про Момбера см.: *Debognie P. Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry, ses écrits et ses réformes*. Louvain, 1928; см. также статьи П. Ватригана, посвященные Момберу и «Упражнениям» святого Игнатия (*Revue d'ascétique et de mystique*. 1922. Т. 3. Р. 134; 1928. Т. 4. Р. 13).

<sup>98\*</sup> *Hieronimi ab Hangesto... Adversus Antimarianum propugnaculum*. Р., 1529.



Какая революция в чувствах, какой разрыв с прошедшей эпохой в этой простой строчке! <sup>99\*</sup>

Полный разлад. Поистине пропасть. Из этой пропасти поднялась Реформация.

### III

Какое бы мы ни поставили прилагательное перед словом «Реформация» — две вещи обеспечили ей успех, две вещи, предложенные ею людям, жаждавшим этого. Во-первых, Библия на родном языке; во-вторых, оправдание верой.

Не станем утверждать, что именно Реформация придумала все это или что только она стремилась к тому, чтобы это стало доступно всем. Были и другие люди, не только реформаты: и Лефевр, которого Реформация не может ни признать своим, ни отвергнуть; и Эразм, к которому она то относится с почитанием, то пренебрежительно; и великие книги, написанные христианами между 1510 и 1530 годами, книги, которые были источником глубокой духовной жизни для тысяч подобных им христиан того времени, — и еще многие другие люди и многие другие книги со своей точки зрения и руководствуясь своим разумением, со всей энергией, а порою и со всей неистовой силой выразили почти всеобщее стремление к этим насущным дарам. Не видеть этого, не сказать об этом — одна из величайших ошибок, совершаемых многими историками, которые исследуют эту непростую эпоху, будучи ослеплены старыми предрассудками. Что представляли собой в глазах современников Лютера эти два великолепных дара (их протягивали народу все проповедники новых учений), чтобы понять это, попытаемся перевести старинные богословские формулы на язык, более доступный нашему восприятию.

Библия, переведенная на известный всем язык и отданная в руки всех верующих, без купюр и пробелов и не подвергнутая предварительной цензуре корпорацией толкователей, получивших на то полномочия небес, — в этом подарке, сделанном с царственной беспечностью («*Quid est Biblia?*» [Что есть Библия?]), — спрашивал Лютера его наставник, а доктор Мартин отвечал:

<sup>99\*</sup> Этот пункт фигурирует в длинном перечне дерзостей «антимарианитов», который приводится Жеромом де Хангестом в начале его книги. Там можно найти все, что новаторы ставили в упрек приверженцам культа Марии: прозвание «Божьей Матери», которое приписывалось ей в молитве «*Ave, maris stella*» [О, звезда морей], «противоречия», имевшиеся в учении о Непорочном зачатии, титулы «Царица милосердия» и «Царица Небесная», которые были ей присвоены; упоминание ее имени в «*Confiteor*» [Исповедую] и т. д. Именно здесь появляется пассаж относительно «*Stabat Mater*». Об этих же предметах см. старинное сочинение картезианца П. Кутюрье: *Cousturier P. Prologeticum in novos anticomaritas praeclaris beatissimae Virginis Mariae laudibus detrahentes*. P., 1526. Оно демонстрирует неспособность людей Церкви отрешиться от своей профессиональной точки зрения, чтобы понять и убедить мирян. Эразм потешается над этим в Беседе «Собор грамматиков».

«Biblia est omnium seditionum occasio» [Библия есть причина всех споров], — в этом даре современники первых реформаторов находили то, что к чему стремились страстью и разумом: во-первых, Бога живого, человеческого и по-братски снисходительного к их слабостям и, во-вторых, если не упразднение, то, во всяком случае, коренное преобразование функций духовенства и самого духовенства. Два важных новшества.

Конечно, предкам тех, кто позднее воскликнут: «Сделай нам твоего Бога побольше ростом, если хочешь, чтобы ему поклонялись», Библия, которая есть «все Писание», а не только Новый завет, — Библия давала понять, что за Богом, явившимся людям, существует еще Бог тайны, перед ним сам Иисус склонялся ниц, не постигая бездонной глубины его замыслов. И однажды Фаге, который из всех реформаторов читал только Кальвина, и то немного, — Фаге однажды сказал верное слово, когда отметил в Реформации «вспышку идеи бесконечного». Это верно, как верно и то, что Бог, вновь обретенный реформаторами, — это не только Иисус.

Провести грань здесь трудно — и какая тонкость интуиции, какое богатство души, какая пронизательность потребовались бы дерзновенному, тому, кто взялся бы за такую тему. Однако для большинства верующих в конце XV века оставалось непреложным, что Бог — это прежде всего Христос, тот Христос, которого можно было увидеть под сенью часовен распростертым на коленях у Матери; тот Христос, «Подражание» которому читатели «Внутреннего утешения» страстно стремились осуществить; тот Христос, которого они алкали и жаждали, чтобы он был с каждым из них, прямо и непосредственно, в доверительной близости молений, признаний, задушевных бесед. Они были такими алчущими, такими жаждущими, что казались порой ненасытными...

Весьма поучителен для нас поразительный успех некоторых книг, и в первую очередь «Размышления о жизни Христа» Лудольфа Картезианца (умер в 1378 году), — успех, который как будто несколько смущает такого автора, как Пурра. Поклонники этого сочинения не захотели, чтобы им наслаждались лишь те, кто владел латынью. В 1490 году печатные станки размножили перевод Гийома ле Менана, францисканца (значительно позже, в 1580 году, будет еще один перевод). К нему добавился в 1495 году перевод на каталонский язык Хуана Руиса, затем на португальский<sup>100\*</sup>, затем на кастильский (в 1499—1503 годах) брата Амбросио Монтезино, францисканца: Марсель Батайон упоминает о нем в своем издании «Диалога» Вальдеса (1925). Однако спрос на латинский текст от этого не пострадал. В 1502 году попечением самого Йосса Баде вышло в свет новое латинское издание *assurgate annotata* [тщательно комментирован-

<sup>100\*</sup> *Hain L. Repertorium. N 10300, 10301.*

ное], которому он пожелал придать ученый вид и лоск, чуждые этому произведению. Откуда эта мода? Почему печатались повторные издания: Лион, 1507; Париж, 1509 и 1510; Лион, 1516; Париж, 1517; Лион, 1519 и 1522... И все они in-folio...<sup>101\*</sup> Потому, что в этой череде исполненных любви размышлений о земной жизни Спасителя старинный автор давал возможность верующему прикоснуться рукою к своему Создателю, к своему воплотившемуся Богу; он рассказывал, как тот ходил туда, ходил сюда, что говорил по тому или иному поводу, и, дополняя умолчания Священного писания болтовнею апокрифов, сплетал вокруг Богочеловека венок патетических цитат, в которых склонялись перед его Божеством святой Амвросий и святой Августин, святой Иероним и святой Иоанн Хризостом, наконец (и в особенности), святой Бернар. Прямой диалог. Верующий и Испытатель. Но священник в этом диалоге не участвует. Его голоса не слышно — голоса, который многие считали неуместным. Ибо этих людей, этих буржуа, которые благодаря своим личным достоинствам и дарованиям пробивались в первые ряды и завоевывали в тяжелой борьбе то положение, коим, как они были уверены, они были обязаны только самим себе и больше никому, своей «доблести» в итальянском значении этого слова<sup>28</sup>, своей умелонаправленной энергии, — этих людей чем дальше, тем больше раздражала и оскорбляла любая медитация и любое представительство за них перед Богом: это оскорбляло их гордость и их чувство ответственности, гордость людей сильных и умевших пользоваться своею силою; гордость торговцев, имеющих дело со

<sup>101\*</sup> Около 1530 года мода все еще держится. Впервые книга, до того ходившая in-folio, появляется в изданиях in-8° в Париже в 1529; в это же самое время появляются два новых издания in-folio, одно в Париже (Ж. Пти), другое в Лионе (Д. д'Арси); однако в 1534 году в парижском издании К. Шевайона делается попытка привести эту старинную книгу в соответствие со вкусами того времени; любопытно ее заглавие: «Жизнь Христа — из Евангелий и ортодоксальных писателей... достоверно и тщательно проверенная по старинным изданиям. С добавлением нового указателя». Загримированная таким манером под ученый труд, напечатанная уже не готическим, а прямым латинским шрифтом, книга продолжала свой путь. В 1542 году следует лионское переиздание под таким завлекательным заглавием: «Лудольф Картезианец о жизни Христа Хранителя, почеркнутой из сокровенных глубин Священного Евангелия». В 1580 году в Париже выходит издание, пересмотренное «per Jo. Dadraeum, Paris Scholae Doctorem-theologum» [Ио. Дадреусом, доктором богословия Парижского факультета]. В 1641, 1642, 1644 годах Каффен и Пленьяр печатают в Лионе поздние издания этой книги. Отличный пример упорного нежелания умирать. Я не уверен, что, порывшись хорошенько в каталогах коллег и соперников Баде, мы не найдем и в XIX веке запоздалых изданий этой сочиненной монахом книги, которая повергла в восхищение столько благочестивых душ и помогла им прожить их нехитрую жизнь. Я нашел среди прочих и такую ссылку: Ludolphus de Saxonia Vita Jesu Christi Ex Evangelio et approbatus ab ecclesia catholica doctoribus sedule collecta curante / Ed. G. Rigoliot. P. Palmé. P., 1878. Vol 1-4.

своими соперниками или с государями — лицом к лицу, человек против человека; и еще — гордость гуманистов, кичащихся сознанием того, что в них живет личность, обретенная ими в борьбе, освобожденная, вышестоянная в тиши кабинета, в интимном собеседовании с великими авторами древности. Этим сознанием своего достоинства, этой гордостью быть созданием собственных рук отчасти объясняется их тяготение к верховной власти, которое эти люди проявляют не только в делах политических.

Однако первые полемисты, выступившие против Реформации, не смогли этого почувствовать, ибо были наглухо отгорожены от своего времени. Пытаясь понять побуждения, толкающие многих христиан в лагерь Лютера, Жером де Хангест, автор «Защиты», не преминул отметить «gloriae sitis» [жажду славы], которая, как он говорит, движет людьми, желающими приобрести громкий титул восстановителей веры<sup>102\*</sup>. Он был плохим психологом; впрочем, он пышет презрением, так же как и его соратники, презрением, которое мешает пониманию и заставляет Кутюрье<sup>103\*</sup> написать, рассуждая о переводе Библии на живой язык: «Nolite sanctum dare canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos» [Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями]. Он цитирует авторитетный источник — Евангелие от Матфея (7, 6), однако, быть может, лучше бы он поостерегся демонстрировать свою начитанность в Евангелии перед «собаками» и «свиньями» — ведь для них он и писал. В сущности, ни он, ни Хангест, ни кто-либо другой из самовлюбленных богословов не отдавал себе отчета в подлинном состоянии умов буржуазии того времени.

Повиноваться королю? Прекрасно. Со рвением, даже со страстью. Разве он в самом деле не является частицей божества, которое особым повелением поставило его во главе целого народа? Не является ли он помазанником Божиим? Кроме того, говоря юридическим языком, разве его личность не имеет тенденции

<sup>102\*</sup> «Alios, seipso amantes, hanc amplecti scelestissimam sectam... fecit stimulans gloriae sitis; hoc pacto sperantes perenni laude celebrari christinae religionis instauratores» [Другие, любящие сами себя, собравшиеся в эту преступную шайку... которую породила возбуждающая жажда славы; надеющиеся благодаря этому союзу обрести вечную славу восстановителей религии] (*Hieronimi ab Hangesto. Op. cit. Fol. aiiii*). Недурной образчик (отметим в скобках) специфической богословской латыни.

<sup>103\*</sup> *Cousturier P. De translatione Bibliae et novarum reprobatione interpretationum Petri Sutoris, doctoris theologi, professione Cartuasiani (sic). P., s. a.* Немного далее — наивная ремарка, которая объясняет многое: «Si Scriptura Divina posset intelligi... a simplicibus faciliter et prima fronte sine expositore... superflui essent theologici doctores; at hoc dicere insanissimum est!» [Если бы Священное писание могло быть понято простыми людьми легко и с первого взгляда, без истолкователя, то излишними были бы доктора богословия; говорить же такое — величайшее безумие!].

все более поглощаться безымянной и вечной сущностью короны? Да, служить королю; но подчиняться принцам, вельможам, всем, кто, кичась своим происхождением, охотно присвоили бы долю власти монарха и навесили бы на подданных ярмо более тяжелое, более докучное, чем ярмо властителя? Вот что ведет в бой законников, горожан, купцов; вот что помогает нам понять их монархический пыл, их склонность к абсолютизму, их потребность в абсолютизме — то, что они поддерживают короля французского, короля римского, короля английского, то, что на службе Карла V они носят имя Никола Перрено де Гранвелла, а на службе Франциска I — Антуан Дюпра.

Это желание, это стремление — оно всегда и всюду с ними. «Выделить господина среди слуг», так написал где-то Марникс<sup>104\*</sup>, — это всеобщая забота в эпоху, когда, как тонко заметил Мишле, «начинающаяся централизация, не имеющая еще четких границ и форм, воспринимается народом только как неограниченная власть одного человека». Современники Франциска I и Карла V не могут отступить от этого стремления даже тогда, когда дело касается живого Бога, Христа, которого они представляют себе в виде короля: но разве не они провозгласили, что короли — это боги?<sup>105\*</sup> Иисус — государь, и, как все государи XVI века, в котором Пантагрюэль воюет с Пикрохолом, он и его могущество утверждают себя прежде всего войною. Верующему надлежит вступить в его войско, чтобы поддерживать превыше всего славу Иисуса, «от которой нельзя отнять даже самой малости»; верующий должен иметь «такое рвение к чести Господа, что, когда она уязвлена, мы испытываем муку, которая жжет нам сердце»<sup>106\*</sup>. Не только Кальвин называет Христа небесным главнокомандующим, «Coelestis dux», но и бедная женщина, мать чесальщика шерсти Жана Леклерка из Мо, воскликнула (в 1525 году), когда раскаленное железо палача отпечаталось на теле ее сына: «Да здравствует Иисус и знаки его!» А принести себя целиком на службу господину — это стрем-

<sup>104\*</sup> *Marnix Ph. de. Tableau des différens de la religion.* 1, IV, 2.

<sup>105\*</sup> Некоторые сведения см.: *Monod V. Le problème de Dieu et la théologie chrétienne depuis la Réforme.* Saint-Blaise, 1910. P. 39–40, 90–92.

<sup>106\*</sup> *Calvin J. Institution chrétienne.* 1560. I, 12, 13; *Contre la secte des libertins // Ibid.* VII, 197. Подобные мысли встречаются у Кальвина во множестве, см., например: «Послание Франциску I», которым открываются «Установления» (здесь и далее: издание Лефрана, 1541 года): «Ибо оно (наше учение. — Л. Ф.) не наше, но Бога живого и его Христа, которого Отец поставил королем, чтобы он властвовал от одного моря до другого и от начала рек до пределов земли» (XI, 13). В другом месте: «Иисус Христос получил от Отца верховную власть над всем живущим» (III, V, 8) и т. д. До Кальвина Фарель в «Кратком изложении» 1525 года писал: «Победа ждет вас, торжество обеспечено великим полководцем Иисусом» (конец гл. 41); и в другом месте: «Праведные пойдут за своим королем Иисусом, чтобы добыть славу и вечное царство» (гл. 42).

ление имеет и другой аспект — значит бороться с узурпаторами власти, с нарушениями прав, бороться с двором и придворными и вознести его величество, единственного и божественного, выше самых приближенных к государю людей. В сфере религиозной — поставить отныне на место и Деву Марию, и апостолов, и святых, и отцов Церкви, в особенности же — папу, этого смехотворного земного божка, вернуть «Святым Библиям» (как выражался еще Рабле) их верховное первенство над «болтовней оравы римских писак-богословов»<sup>107\*</sup>. Все эти мысли и действия продиктованы одним и тем же умонастроением. Однако наши мэтры-богословы, замкнувшиеся в своем восхищении самими собой, поскольку они, как Тубал Олоферн, «лучше всех в Париже сдали экзамены на лиценциата»<sup>108\*</sup>, — они ничего этого не видят. И еще одно обстоятельство они тоже не видят.

Своего рода волна, родившаяся в глубине, вынесла тогда на поверхность культ, прославление ручного труда<sup>109\*</sup>. Порою, впрочем, довольно странное в устах или под пером кабинетных людей, однако же очень распространенное и категоричное. Зоркий наблюдатель событий своего века, человек, которого сделала проницательным его страстность, Флоримон де Ремон не преминул отметить эту деталь. Он описывает проповедников, говорящих простому народу:

<sup>107\*</sup> *Marnix Ph. de. Op. cit. 1, IV, 2.*

<sup>108\*</sup> Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. 24. С. 185.

<sup>109\*</sup> Работ на эту тему, насколько мне известно, нет. Начиная такого рода исследование, было бы полезно специально изучить реакцию базельской культурной среды. См. в первую очередь «Мемуары» Томаса Платтера, гениального самоучки, которого Эразм нашел в канатной мастерской и против его воли определил профессором древнееврейского языка в Базельский университет. Платтер обучился мастерству канатчика у одного молодого ученого, уроженца Люцерна, которому Цвингли и Микониус дали совет стать канатчиком. Подобным же образом Вольфганг Мускулюс, отказавшись от своих доходов от церковного имущества, стал ткачом, потом землекопом, а его жена была служанкой; Кастельон в Базеле после разрыва с Кальвином работал своими руками, делая все, что полагалось делать черноработному; однако поношения, которыми осыпал его Кальвин за то, что он в паводок вытаскивал сосновые стволы из Бирсы, несомые потоком, показывают, насколько поверхностной была любовь к физическому труду, которую афишировали приверженцы учения святого Павла, проникнутые предрассудками против «механизмов». О факте, изложенном выше, см.: *Buisson F. Séb. Castellion. 1892. T. 1. P. 248.* Жерар Руссель, нашедший пристанище в Страсбуре, был охвачен подобным же чувством. Он восхищается пасторами, которые, следуя поучениям святого Павла, обрабатывают землю собственными руками; однако он добавляет: «*Admirari quidem istud specimen religiosum possum, sed interim assequi non datur, quamquam plurimum mihi cupiam*» [Я могу лишь восхищаться таким примером благочестивого рвения; но для меня невозможно подражать ему, как бы я того ни хотел] (цит. по: *Schmidt Ch. Gérard Russel... P. 190*).

Шесть дней работай, а на седьмой  
Пребывай в созерцательном покое <sup>110\*</sup>

Таким вот образом, отмечает де Ремон, «они заманивали поденщика, зарабатывавшего на жизнь трудами своих рук» <sup>111\*</sup>. В самом деле, весьма многочисленны тексты, в которых трудящимся людям повторяют то, что говорит им в реформатском моралите <sup>29</sup> дама Правда:

Работай, рук не покладая,  
Живи, законы соблюдая...  
Тому апостол нас учил,  
Что вечным труженником был... <sup>112\*</sup>

Опьянение подобными речами продолжается целый век; все столетие вместе с Рабле превозносит в лице Брата Жана человека, который беспрестанно трудится сам; все столетие вместе с Кальвином проповедует, что «монах, который не работает своими руками, должен почитаться мошенником» (слова, достаточно неожиданные в этих устах); все столетие упорно твердит:

Каждому сказал Господь:  
Ты будешь есть свой хлеб,  
Добытый в поте лица,  
Ибо тот не должен есть,  
Кто не трудится руками.

И если монах, «праздное монашеское брюхо», пытается сопротивляться этому потоку, если бедняга-монах робко пытается возразить гимну века: «Я тот, кто молит Бога за вас», — то столь же резко, как Гаргантюа возражает своему отцу Грангузье, многие отвечают ему непререкаемым тоном: «Ничего подобного!» — или вместе с Эразмом: «*Monachus non est pietas!*» [Монашество не есть благочестие!].

Кажется, время их кончилось. Жертва монаха, принявшего правила строгой жизни, согласившегося на лишения, налагаемые уставом, чтобы обеспечить благостыню своим ближним, — жертва эта теперь представляется его ближним не достохвальным самопожертвованием, а грубой назойливостью. Будь они, эти ближние, более утонченными, они могли бы сказать, предвосхищая Ницше, что «это нескромно»; будучи детьми сурового века,

<sup>110\*</sup> Это — слова Маро из его перевода повелений господних — знаменитое произведение, начинающееся словами: «Взбодри свое сердце, раскрой свои уши, бесчувственный народ»; как часто эти слова будут повторяться устами гугенотов!

<sup>111\*</sup> *Florimond de Raemond*. Op. cit. Liv. 7, ch. 13. P. 602. Высказывание направлено против осуждения реформатами тех праздников, когда прекращались работы, но порою принимает более общий характер — например, когда Ремон говорит о группе реформатов, «которая уповает больше на свое умение и труд, чем на Божественное провидение».

<sup>112\*</sup> *La Vérité, cachée devant cent ans, 1553 (?) // BSHP. (Recueil Vallière)*.

они ограничиваются общепонятной бранью: «Дармоеды!» «Монашество — это паразитизм», — сурово констатирует Гаргантюа<sup>113\*</sup>. Монах все равно что обезьяна. И первые защитники католицизма от Лютера имели основание считать такого рода упреки весьма опасными; все громче звучит контраргумент Маро:

Все, кто живут под Иисусом Христом  
И следуют его предписаниям,  
Разве они не монахи?<sup>114\*</sup>

Реформация обладала поистине великой возможностью — и это было одно из многих проявлений ее силы — принести удовлетворение сторонникам этих взглядов. Уже то, что она вернула мирянам Священное писание, слово Господне, в полном объеме, доказывало ее глубокий антиклерикализм; этот антиклерикализм был столь сильным в народе, столь популярным и желанным, что многие из его приверженцев, находя, что их вожди, зачинатели Реформации, не хотят зайти слишком далеко, взбунтовались против их робости, против тех остатков священнослужительства, которые они, особенно Лютер, намеревались сохранить в общественном культе.

Слово Божие; не будем забывать, что эти люди верили, будто слышат его из уст самого Бога. Не будем забывать о всеобщей вере в то, что каждое слово Писания было самым буквальным образом вдохновлено свыше, окружено ореолом божествен-

<sup>113\*</sup> См.: Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. 11: «Отчего миряне избегают монахов»; что касается произведений Лютера, написанных после 1516 года, см. «Комментарий к „Посланию к Римлянам“»: «Nunc rursus incipiunt (monachi.— Л. Ф.) displicere hominibus, etiam qui boni sunt, propter habitum stultum» [Ныне монахи, даже те из них, кто честен, снова начинают вызывать у людей неприязнь своим нелепым образом жизни] (XXIII). Во всем отрывке пространно развивается тема презрения. Цитата взята из «Послания к Франциску I», которым начинаются «Установления» Кальвина (о его личной позиции см. примеч. 109). В своем «Послании» он продолжает: один из Отцов Церкви писал, что «монахам не подобает жить чужим добром; даже если они прилежны в размышлениях, молитвах и ученых занятиях». Об этом последнем положении см.: *Calvin J. Op. cit. I, 19*: «О занятиях праведного монаха»: «Nunquam sis ex toto otiosus, sed aut legens, aut scribens, aut orans etc.» [Никогда не будь полностью празден, но либо читай, либо пиши, либо молись и т. д.]. См.: *Renaudet A. Pré-Réforme... P. 218* — текст, который забавным образом иллюстрирует этот отрывок. Конечно, текстов о монашеской праздности в реформистской литературе не счастье. См. Маро, особенно «Вторую песнь о беглеце-Амуре»: «Жить праздно, ничего не уметь — вот что называют они бедностью и добродетелью...» (*Marot C. Colloque de la vierge mesprisant mariage / Ed. Guiffrey. II, 139*).

<sup>114\*</sup> В эразмовской Беседе «Дева, отвергающая брак», которую Маро перелагает стихами, Евбул спрашивает: «Nonne sunt quicumque sequuntur praescripta Christi?» [Разве не монахи те, кто следует предписаниям Христа?] (*Ibid. II, 581*).



ности, и поэтому каждое слово, каждая фраза Евангелия сохраняли особую чистоту, какую-то сверхъестественную перво-данность. Священное писание было Богом говорящим. «Deus ipse loquens» [Бог, глаголящий собственными устами], — заявляет Кальвин; Богом истинно присутствующим, говорит Лютер<sup>115\*</sup>. Какое место мог сохранить священник старого образца между Предвечным, стоящим лицом к своему народу, и верующими, получающими божественную весть без какого бы то ни было посредника? Когда в соответствии со своей внутренней логикой Реформация устами Лютера провозгласила: «Всякий христианин — священник; всякий верующий — сам себе священник»; когда она решительным образом отменила монашеские взносы на небесные счета мирян и объявила жертвы, приносимые монахами, молитвы и умерщвление плоти их личным делом; когда она объявила святотатством и богохульством толкования священнослужителей, безапелляционно устанавливающих точный смысл божественных слов; наконец, когда она провозгласила, что, поскольку Бог есть дух, присутствие Спасителя следует искать в общении чисто духовном, вместо того чтобы предоставлять священнослужителю (который, будучи всего лишь человеком, может оказаться недостойным) грозное право сводить на Землю Христа при помощи священной формулы и претворять тело его в Причастие, — тогда по тому, какое волнение поднялось при вести об этих новшествах, вскоре стало ясно, что Реформация нашла волшебное слово, открывавшее сердца людей того времени<sup>116\*</sup>.

<sup>115\*</sup> Святой Павел не был человеком, говорящим от собственного имени; он был инструментом слова Божия. «Иисус Христос говорит устами святого Павла», — пишет Лефевр в своей «Псалтири». «Divo Paulo tubae Evangelii» [Божественному Павлу, трубе Евангелия] — таков был девиз богословского факультета в Виттенберге, и в этой трубе звучал голос самого Христа. Среди прочих текстов см. послание, которым Лефевр посвящает Брисонне свой «Комментарий к посланиям святого Павла» (в парижском издании А. Этьена 1515 года): «Qui mundanum forte attendent artificem, immo qui Paulum ipsum (qui jam supra mundum est) quasi hae epistolae sint ejus opus et non superioris energiae in eo divinitus operatae, suo sensu ad lecturam accedentes parum fructus inde sunt suscepturi... Nam Paulus solum instrumentum est» [Те, кто, быть может, внимают творцу земному, будь то сам Павел (который, впрочем, возвышается над миром), как если бы эти послания были его творения, а не сотворены в нем божественным образом внешнею силой, если они подходят к чтению со своим разумением, мало плодов от этого получают. Ибо Павел есть только орудие].

<sup>116\*</sup> Самый умный из французских толкователей веры, выступивших против Лютера, Иосс Кликтуэ в своем «Антилютере» не тратит времени на полемику по поводу индульгенций, папской власти и т. д. Он переходит к теории христианской свободы, к тому тезису, что каждый может быть священником и что монашеские обеты ничемны. Многозначительно самое название его книги: «Antilutherus Jud. Clichtovei Neoportuensis, tres libros complectens: primus, contra effrenem vivendi licentiam quam falso libertatem Christianam ac Evangelicam nominat

Как иначе объяснить поражающую нас суровую страстность, с которой столько христиан — в первую очередь богословы и священники, но также и простые люди, «деревенщина» и «механизмы», — отдавали все и даже саму жизнь, защищая тезисы, которые представляются нам чисто формальными и схоластическими? Для них эти тезисы означали жизнь, ее смысл, то, ради чего стоило жить, — для сыновей века, проникнутого буржуазными идеями; Реформация своими новшествами исполняла их сокровенные желания. Ибо теперь церковь была не для каждого отдельного верующего, жаждущего удовлетворить личную потребность в благочестии, не для священника, пришедшего совершить на алтаре таинство искупительной жертвы, — не стояла теперь для них церковь, обитаемая божеством, и не открывала двери свои в любой день, в любой час.

В результате всеобъемлющей революции обычаев и воззрений храм принимал теперь сплоченную массу верующих, группу, а не отдельную личность — храм, ставший теперь всего лишь местом, где собирались верующие в определенный день и час; это была община, организовавшаяся как собрание для отправления культа, чтобы непосредственно и открыто выразить своими гимнами, псалмами и молитвами (которые так поразили Лефевра и Русселя<sup>117\*</sup> в Страсбуре), выразить свое желание — достичь Бога через Священное писание без какого-либо посредничества священника, облеченного саном. Последнее звено священной логической системы, порожденной потребностями эпохи, находившейся в разгаре социальной и моральной эволюции; вот что заключалось в таких кратких словах: «Библия на родном языке».

Однако в том же столетии этим же людям — они тем более жаждали уверенности, потому что видели, как шатаются вековые устои, на которых покоилась жизнь их предков, — Реформация принесла этим людям и нечто другое, способное удовлетворить положительные умы, алкавшие искренности и простоты. Объявив, что только вера несет оправдание, Реформация дала новое и могучее удовлетворение весьма глубоким устремлениям.

И опять мы склонны удивляться. Какое нам дело до этой богословской формулы? Как могли ради нее тысячи людей на протяжении целого века стойко переносить преследования, изгнание, тюрьму, даже идти на смерть? И в богословии ли тут дело?

Lutherus... Secundus, contra abrogationem Missae; ...demonstrat non omnes Christianos esse sacerdotes... Tertius, contra enervationem votorum monasticorum» [Антилютер Иуд. Кляшторевя Неопортуензиса, заключающий в себе три книги: первая — против необузданной послушности жизни, которую Лютер ложно называет христианской — евангелической свободой... Вторая — против упразднения мессы; ...доказывает, что не все христиане суть священнослужители... Третья — против отмены монашеских обетов] (Р., 1524).

<sup>117\*</sup> Его письмо к Брисовне см.: Schmidt Ch. Gérard Roussel... P. 55, 188.

Конечно, команды хорошо натасканных богословов, взяв за основу поучения новых пророков, которые в начале XVI века восстали против старого христианства, и в первую очередь поучения Лютера, не слишком хорошо умевшего формулировать школьные истины, — команды богословов потрудились над ними соответственно своим наклонностям и способностям. Подрезая, подчищая, разделяя тексты, слишком пространные по содержанию и, на их взгляд слишком вольные, они сумели извлечь из этих текстов ладно пригнанные положения чисто обструганного «кредо». Но для Лютера оправдание верой отнюдь не было этим «кредо», этой мертвой формулой. Так же как для многих людей того времени, которые вместе с Лютером или до Лютера (список предшественников велик и не сводится к имени одного Лефевра), — людей, которые с таким пылом разделяли и исповедовали весьма непростые идеи и представления, охватываемые термином «оправдание верой». Следовало бы предпринять ряд исследований в духе историческом, а не догматическом. Они привели бы к признанию ценности таких сочинений, которыми ученые богословы могут пренебрегать и пренебрегают как слишком, на их взгляд, легковесными. Например, сочинений Фареля — его книги «Краткое изложение и краткая декларация» (1525), которую Артур Пиаже воспринял факсимиле. В этой книге мы видим, как пылкий апостол из Нёвшателя бросается по своему обыкновению прямо на препятствие: «Не нужно творить добрые дела для того, чтобы обрести рай и вечную жизнь, ибо это дается не за дела, а через милость, через веру, как дар Божий» (глава XXII). Высказав это, Фарель в запальчиво написанном заключении проводит различие между добрыми делами, проистекающими от «притворства, копания в грязи, истребления вшей, мясной пищи, одежд и жилищ», и истинными делами, состоящими не в том, чтобы давать деньги на часовни, алтари, священные изображения, на монастыри, «выкармливающие здоровых и хорошо упитанных бездельников», способных не только бы «зарабатывать себе на жизнь», но и помогать «бедным, которые не могут работать, погибающим от голода, жажды, стужи». Сказано с чувством. И все это напоминает нам о том, что вообще у французов постоянно проявлялась тенденция не исключать вовсе добрые дела — во всяком случае, у первого поколения реформатов<sup>118\*</sup>. Однако, чтобы рассмот-

<sup>118\*</sup> Например, в «Правилах инспектирования епархии» Жерара Русселя — сочинения, которое не было напечатано (см.: *Schmidt Ch. Gérard Rous-sel... P. 129*) и в котором он на склоне лет резюмировал основную мысль своего труда «Общедоступное изложение символа веры», — в конце длинного рассуждения читаем: «Евангелие и закон, вера и добрые дела, благодать и кара не противоборствуют и не противоречат одно другому; если понимать их правильно, они живут и согласуются в истинной гармонии, так что не могут существовать друг без друга, и в проповедях их следует объединять». Правда, «чтобы сделать доброе

реть вопрос с точки зрения богословской или, точнее, чтобы ввести (что вполне законно) психологические аспекты в изучение теологических понятий, давайте разберемся: оправдание верой — что это такое?

Прежде всего, будем избегать ложных толкований. Для католика нынешнего, так же как для тогдашнего, вера не есть личное представление о Божьем милосердии; это причастность к божественному откровению, как его излагает и толкует Церковь. И если эта причастность включает в себя устремления сердца, то не менее верно, что Церковь настаивает на преимущественно духовном характере этой причастности. Такая вера — именно та, которую как раз в конце XV века наши руанские мастера (а вскоре им стали подражать и другие) взяли обыкновение изображать в виде женщины, держащей в одной руке книгу, в другой — зажженную свечу, а на голове — церковь<sup>119\*</sup>. Или та, которую крупные парижские издатели изображали на полях красивых молитвенников, издававшихся ими во множестве, — в виде женщины, попирающей ногами Магомета, пособника Сатаны, или еретика Ария. Почти полная противоположность той веры, которую в начале XVI века множество богословов проповедают множеству верующих, жадно им внимающих.

Для этих богословов, для этих верующих вера, которая одна только несет оправдание (как они проповедают посредством формул, заимствованных у святого Павла), — это нечто совсем иное, нежели приверженность разума и сердца к символу веры, изложенному в виде ряда параграфов. Про эту последнюю ни один из реформаторов не говорил и не думал, что она несет оправдание. То, что они намеревались предоставить братьям, было решением животрепещущей проблемы — проблемы спасения. Церковь говорила: спасение прежде и наипаче всего заключается в

дело, нужно быть добрым работником», и Христос — «тот, кто делает добрых работников и очищает наши сердца». В своде евангельских поучений, приводимом Мартином Лемперёром в начале его «Святой Библии на французском языке», читаем: «Оправдание: вследствие той веры и преданности Иисусу Христу, которая проявляется в делах милосердия и побуждает человека совершать их, мы получаем оправдание; это значит, что Отец Иисуса Христа... считает нас оправданными и детьми своей благодати, не придавая никакого значения нашим грехам. Добрые дела, освящение: в конечном счете Он пришел для того, чтобы после, когда мы благодаря Ему будем очищены от грехов и освящены... мы служили Ему, живя праведно и свято всю нашу жизнь, добрыми делами (совершать которые предназначил нам Господь) доказывая, что мы и в самом деле призваны к этой благодати; ибо тот, кто их не совершает, показывает, что не имеет никакой веры в Иисуса Христа» (*L'empereur M. Sainte Bible en françois. Anvers, 1534*). О связях этого текста с латинским резюме евангельских поучений, которое Робер Этьен предпослал своей «Латинской Библии» (1532), см. полемике Н. Вейсса и О. Дуена: BSHP. 1894. Т. 43. Р. 57, 449, 455; 1896. Т. 45. Р. 159, 200.

<sup>119\*</sup> *Mâle E. Op. cit. P. 312.*

том, чтобы пребывать в лоне Церкви, иметь веру в «католическом» смысле этого слова; верить тому, чему учит священник, и ничему, кроме того, чему он учит. И потому (здесь начинаются сложности), если человек согрешил, то есть если он является человеком — ибо после адамова греха каждый человек грешит, подобно тому как каждый человек умирает, — он должен исповедаться священнику и, покайсявшись, получить освобождающее отпущение грехов. Это, наконец, совершать похвальные поступки, добрые дела. Учение на вид очень простое. В реальности оно ставило перед лучшими и самыми дотошными умами ряд грозных проблем.

Исповедаться в своих грехах, что может быть проще. Но чтобы исповедь была действенной, она должна быть полной. Первый повод для беспокойства у христианина, истинно благочестивого и в качестве такового одолеваемого страхом перед вечными муками, перед преисподней (и этот страх Церковь без стеснения провоцировала и поддерживала), — не было ли что-нибудь забыто на исповеди? Была ли поведена исповеднику вся окаянная мерзость содеянных грехов?

Когда Кальвин, столь строго судивший людей своего времени, начинает говорить об этих сомнениях и сложностях, он становится неистощим<sup>120\*</sup>. Он показывает нам, как верующие пытаются «навести счет» своим грехам, стараясь, кто как умеет, различить в них «стволы, ветви, веточки и листья согласно правилам, установленным учеными исповедниками», а затем взвесить в своей совести «качество, количество и обстоятельства»<sup>121\*</sup>. Поначалу эта работа казалась им нетрудной, но, «когда они шли несколько дальше», они теряли почву под ногами. Перечислить все свои грехи! Это то же, что возыметь желание пересчитать капли в океане... «Они не видели более ничего, кроме неба и моря, не находя какой-либо гавани или причала... пребывали в этой муке и в конце концов не находили другого исхода, кроме отчаянья». И все время — «„грозный голос“, звучащий, „гремящий“ в их ушах: „Покайся во всех своих грехах!“ — и ужас перед ним может утихнуть лишь после того, как будет получено надежное утешение».

Мог ли священнослужитель отпущением грехов дать это утешение верующему, уже объятому пламенем преисподней? Однако оставим в стороне коренной вопрос, на чем, собственно, осно-

<sup>120\*</sup> Мы обращаемся к кальвиновским сочинениям ради ясности и крепости их слога; но о том, что исповедь, совершаемая в определенные сроки, сама по себе имеет действительную силу освобождать совесть, — вот о чем не ведают все те, для кого христианин недостоин божественной поддержки, если он не осознал, и притом до глубины души, что, не имея такой поддержки, он не сможет совершать добрые дела. Кто это сказал? Лютер, конечно, но также и Эразм, и Лефевр, и Руссель; в Испании — Хуан де Вальдес в своем «Диалоге» 1529 года.

<sup>121\*</sup> Calvin J. Op. cit. III, IV, 47.

ывалось право отпускать грехи, которое присвоила себя Церковь: кто из смертных — прежде чем он испустил последний вздох и предстал перед своим судьей — кто мог похвалиться тем, что ему отпущены его грехи? Кто мог быть уверен в том, что ему не нужно бояться внезапной смерти, которую человек неверующий может желать для себя всей душой; но для католика она — самое ужасное, самое непоправимое из несчастий, и, конечно, он прав, если только учение его Церкви — истинно; у него есть резон благочестиво повторять охранительную молитву «*Obsecro te*» [Молю тебя], которая была в те времена в таком почете; у него есть причина, веря в покровительственную силу святых, собирать образа святого Христофора, хранителя от внезапной смерти! Но какой новый повод для терзаний, какая жестокая перспектива: тот, кто умирает в состоянии смертного греха, осужден на вечные адские муки; для остальных (за исключением святых, но сколько на Земле святых, приуроченных для рая! И кто может назвать их, и кто может сказать самому себе: я один из них? Впрочем, сказать себе это — не значит ли перестать быть таковым?) — для остальных — очищение в чистилище, месте не совсем определенном, но тем более страшном: в течение срока, предсказать который не может никто, грешная душа претерпевает там искупительные мучения; но сколько новых загадок возникает в связи с этим обиталищем, окутанным тайною, при том что оно представало воочию в церквях и часовнях, на подножиях грубых крестов, стоявших у дорог и мостов, — являлось взору постоянным обещанием освобождающих от кары отпущений! Как должны были злить людей эти загадки и какими они казались жестокими! Не доказывается ли это тем ожесточением, с которым такое множество людей принялось вымарывать это докучное чистилище из списка своих верований?

Мы легко можем себе представить, что реформаты столь яростно отрицали существование чистилища прежде всего по причинам исторического и критического порядка: достойные доверия тексты отсутствуют, авторитеты существования чистилища не подтверждают. Конечно, реформаты не упускали случая сослаться на то, что, по их мнению, чистилище было «придуманно помимо слова Божия», и утверждали, что, дабы заставить принять это новшество, «грубо извратили некоторые места Священного писания». Однако достаточно раскрыть «Установления», чтобы увидеть, что в глубине души реформаты считали эти доводы второстепенными <sup>122\*</sup>.

<sup>122\*</sup> Ibid. V, 6–10. Вопрос о чистилище был поставлен задолго до Лютера. В Париже, Лионе и других местах перепечатывали «Диалог о заблуждениях вальденсов относительно чистилища» (1509, 1512) брата Альфонсо Ричи.

«Допустим,— решается написать Кальвин,— что все эти заблуждения можно терпеть какое-то время; но вот что непереносимо: кто говорит «чистилище», тот говорит «муки, которые испытывают души давно прошедших времен во искупление своих грехов». Искупление грехов? Какая ересь! Разве Христос своей жертвой не «искупил» разом все грехи за всех и разве кровь Христа не есть «единственное очищение, жертва и искупление за грехи верующих?» Мы видим, куда ведет эта доктрина: цель ее — душевный покой. Теперь не имеет значения, была ли смерть внезапной, или к ней готовились. Теперь верующим обещают, что они получают «такой покой, как у пророков, апостолов и мучеников», притом «сразу же, как только умрут». Единственное условие? Иметь веру, ту веру, основание которой — «убежденность в обладании божественной истиной»; благодаря этой вере «в нас живет Господь Иисус, наше вечное спасение и вечная жизнь»; ту веру, которая, будучи для них гарантией, освобождает приверженцев Реформации от их «жалкого страха», в то время как католики с беспокойством вопрошают себя, «будет ли Бог к ним милостив»; ту веру, которая, как доказывает апостол Павел, порождает доверие, а доверие — отвагу, ибо безопасность, которую эта вера обеспечивает, — «разве не дает она отдохновение духу и веселие перед судом Божиим?»<sup>123\*</sup>

Как видите, мы все время возвращаемся к великому вопросу о гарантиях перед лицом смерти<sup>124\*</sup> и здесь конечная цель —

<sup>123\*</sup> Calvin J. Op. cit. III, II, 6, 13, 15, 16.

<sup>124\*</sup> То, какое место занимала эта проблема среди прочих, заботивших людей того времени, лучше всего демонстрирует обилие публикаций на эту тему. Речь идет не об арсенале, которым пользовались исповедники: «Сочинение об исповедях» святого Антонина в бесчисленных изданиях; «Составленный Ангелусом перечень прегрешений совести» Ангелуса де Клавазио; «Руководство для исповедников» Нидера (Хайн перечисляет двенадцать изданий этой книги на латыни, вышедших до 1500 года, № 11834—11845); «Введение» и «Сочинение о познаниях исповедников» Савонаролы; «Искусство выслушивать исповеди» Жерсона (другое название — «Омовение совести для всех священников», у Хайна перечислено девять изданий, а сколько еще? Например, в Кане — два, одно за другим). Речь идет не о частных трактатах, посвященных тем или иным проблемам совести, — один только Хайн насчитывает не менее пятнадцати изданий сочинения Жерсона «Трактат о ночном извержении семени», вышедших до 1500 года. Однако многочисленные наставления «О том, как надлежит приносить покаяние и исповедоваться» разных авторов и на всех языках выходят в изобилии, равно как и трактаты на тему «Искусство хорошо умереть», «Зерцало покаяния» и «Испытания совести» таких авторов, как Гийом де Вюар, Андрей Испанский, Гийом Упленд, Иаков из Клузы и др. Знаменитое произведение Жерсона «Сочинение в трех частях», столь часто издававшееся на латыни и на французском, заключает в себе три трактата, из коих один — об исповедях, другой — об искусстве хорошо умереть. Сочинение Дионисия Картезианца «De quattuor novissimis»<sup>30</sup> сопровождается беседой «О частичном осуждении душ» и т. д. В 1521 году Эразм почувствовал необходимость противопоставить этой литера-

научить тому, чтобы благодаря вере христианин, перестав бояться и сомневаться, «смело, уверенно и со спокойной душой мог предстать перед Богом». Поскольку Церковь учила, что верующий может противопоставить своим грехам добрые дела и что в качестве платы за отпущение грехов он должен в точности и до конца исполнить назначенное ему исповедником покаяние, — разве не давала она тем самым повод для новых тревог и новых сомнений, угнетавших людей? Кто мог уверенно и безошибочно свести двойную бухгалтерию своих добрых дел и грехов? Кто мог быть уверен, что он точно просчитал все по отдельности? И в особенности — кто мог без содрогания думать о пропасти, разделяющей недостижимое совершенство Бога и жалкое несовершенство дел человеческих? Давайте вспомним о страхах того же Лютера, который погрязался мыслью в глубины своей человеческой мерзости и не осмеливался измерить неоглядные пространства, отделяющие от божественной святости, — убожество и гнусность смертного, почитающегося самым что ни на есть святым<sup>125\*</sup>. Могут возразить, что Лютер был человек особенный, единственный в своем роде. Но то, что большинство людей того времени под влиянием мистических традиций, а также тех или иных идей социального порядка, о которых мы недавно упоминали и с которыми мы здесь встречаемся вновь, — большинство людей имели очень высокое представление о величии и всемогуществе Бога, — вот то единственное, что позволяет нам понять отвращение перепуганной людской массы, отвергнувшей католическое учение о благочестивых поступках, спасительных обрядах и об индulgенциях, что будут учтены в чистилище.

Вывод: «этот закон смертоносен, как чума, ибо, если несчастные души имеют страх Божий, закон этот повергает их в отчаяние; если они дремлют, он оупяляет их еще более». Так Кальвин резюмирует в «Установлениях» 1560 года свои обвинения против исповеди на ухо священнику<sup>126\*</sup>, против этого «ада», который «жесток мучил совесть тех, кто хоть сколько-нибудь думает о Боге». Слова эти были услышаны людьми отнюдь не безразличными. Ибо люди того времени поворачивают свое лицо навстречу жизни, их обуревают жадные и страстные желания. Они зна-

---

туре свое «О том, как надлежит исповедоваться», на собственный лад. Таким сочинением стал «Экзomологесис»<sup>31</sup> (1524), почти тотчас же переведенный на французский К. Шансонеттом из Метца с поспешностью, которая говорит о многом. Удовольствуемся тем, что напомним кратко о стремлении Эразма представить смерть менее ужасной: беседа «Похороны» резюмирует его доктрину: «Per ad mortem durius quam ipsa mors» [Дорога к смерти труднее, чем сама смерть]. И такое далеко идущее замечание: «Nascimus absque sensu nostri... cur non itidem emorimur?» [Мы рождаемся, не обладая разумом... почему мы не умираем такими же?].

<sup>125\*</sup> Fevre L. Un destin. Martin Luther. P. 52 sqq.

<sup>126\*</sup> Calvin J. Op cit. III, IV, 17.



ют, конечно, что смерть — это неизбежный предел человеческого существования, но не хотят, чтобы она отбрасывала мрачную тень на все бытие. Реформация учитывает эти чувства в той мере, в какой ей это позволяет ее преданность священным книгам. Если хотите получить об этом точное представление, перечитайте десятую главу третьей книги «Наставлений». В этой главе Кальвин поучает, «как нужно использовать данную нам жизнь и ее блага»; и когда он восклицает: «Отбросим же бесчеловечную философию, которая, не даруя человеку права пользоваться творениями Божьими кроме как по необходимости, не только лишает нас без всякой причины законных плодов Господнего благодеяния; она может существовать не иначе как отобрав у человека все чувства и сделав его подобным бревну» — мы, конечно, оказываемся достаточно далеко от решительного отворачивания к активной жизни, от стремления умерщвлять плоть, от всего, что пропагандировала такая, например, книга, как «Мистическая теология» Хендрика Херпа, столь часто переиздававшаяся в начале века; но мы можем представить себе, какие отзвуки должно было породить слово, столь уверенно и сильно сказанное, и как эти отзвуки множились.

Переворот в мыслях. Он значил не так уж много по сравнению с переворотом в чувствах, который ему сопутствовал. Грубая насмешка того же Кальвина, назвавшего «старушечьим желанием» просьбу святой Моника, чтобы ее поминули во время причастного канона<sup>127\*</sup>; безоговорочное осуждение культа усопших и молитв за них — а ведь это лежит в самой сердцевине христианского благочестия, христианского чувства; столько благоговейных и трогательных обрядов было лихо выброшено за борт пренебрежительным движением плеча и названо не более как «обезьяньими ужимками дикарей» — вот что было важно, еще важнее, чем продуманные выводы, содержащиеся в главе о жизни, которую должен вести христианин<sup>128\*</sup>. Вот что было показателем великого переворота, безусловно весьма желанного для множества людей на пороге нового времени.

Жизнь уже не искала свою конечную цель в смерти, и живые люди, горящие нетерпением воспользоваться радостями мира и возможностями, которые он предоставляет, ликовали, найдя в церковном учении решающий довод для того, чтобы стряхнуть груз мертвых.

#### IV

Все это — беглый набросок, приблизительная расстановка наиболее очевидных компонентов; сколько придется еще добавить подробностей, сколько нюансов подметить, сколько внести

<sup>127\*</sup> Ibid. X, 3.

<sup>128\*</sup> Ibid. VI, 10.

исправлений, в том числе в основные положения! Мы это знаем и знаем также, что отсутствуют монографии, на основании которых можно было бы строить надежные выводы. Однако разве не в том и состоит интерес и цель исследований, подобных нашему, чтобы вызвать к жизни, подтолкнуть изыскания, теперь уже не отрывочные, но систематические, последовательные и по возможности — согласованные? И тогда явятся необходимые дополнения и желательные исправления; для этого нужно (всего-навсего) включить (или вернуть) богословие в историю и, обратным образом, историю в богословие; нужно перестать видеть в богословии всего лишь собрание понятий и рассуждений, которые громоздятся одно на другое, как кристаллы в запечатанном сосуде; напротив, нужно сопоставить его с множеством других современных ему проявлений мысли и чувства и искать, какие необходимые связи объединяют богословие с этими проявлениями, а их — с богословием; одним словом, попытаться разглядеть психологические реальности, скрывающиеся за формулами, известными каждому школьнику, и указать, какое значение имели эти формулы для французов XVI столетия; не в этом ли состоит метод, за которым будущее, метод, который, если применять его систематически, сможет привести к новым и неожиданным выводам?

Давайте уже сейчас обратимся к этим грозным проблемам, на которые люди давно и тщетно тратят силы, пытаюсь разрешить их посредством никого не удовлетворяющих утверждений,— попытаемся и мы, в свою очередь, рассмотреть их в свете нескольких общих замечаний, изложенных выше. Быть может, это иллюзия, но нам кажется, что они получают новое освещение.

Специфичность, приоритет, национальный характер французской Реформации: постановка этих проблем становится резонной, только если пытаться разложить Реформацию по национальным полочкам. Конечно, нельзя не удивляться жизненной силе и своеобразию народов и государств, существовавших в начале XVI века. Страны современной Европы тогда уже в достаточной мере отличались одна от другой благодаря своим историческим традициям, особенностям своего устройства, самим условиям существования, которые они предоставляли своим подданным; поэтому необходимость обновить формы благочестия, изменить роль духовенства в богослужении и его социальную роль, соотношения между политической властью, церковной иерархией и монашеством — необходимость эта проявилась в разных местах неодинаковым образом. В глазах кого-нибудь из подданных Франциска I, в глазах самого Франциска I «римский папа» был не тем, кем был он в глазах лояльного подданного Генриха VIII Тюдора, в глазах какого-нибудь саксонца или гессенца, подвластных —

в рамках Империи — каждый своему государю<sup>32, 129\*</sup>. Германский конкордат отнюдь не был в точности воспроизведен, статья за статьей, во французском Конкордате 1516 года; этот последний заметно отличался и от Буржской прагматической санкции, воспоминание о которой продолжало волновать носителей галликанского духа<sup>130\*</sup>. Все это создавало предпосылки для того, чтобы каждая страна реагировала на события не совсем так, как соседние народы, — тому было множество доказательств после того, как повторные отлучения от Церкви, направлявшиеся Римом против Лютера и его сторонников, окончательно превратив приверженцев новых учений в заклеянных еретиков, поставили важную проблему раскола на почву реальности. Верно и то, что отношение флорентийца 1520-х годов к вопросам веры было не таким, как у жителя Тура, Оксфорда, Нюрнберга, и его интеллектуальная культура тоже, и его концепция жизни, ее целей и предназначения.

Этим объясняется (и удивительно, что, как правило, никто не пытается дать такого рода объяснение) — этим объясняется тот факт, что реформированные Церкви в дальнейшем отличались одна от другой в разных странах. Этим доказывается, что национальные условия играют важную роль в развитии Реформации; что они — одна из причин ее успеха и ее слабости. Однако переносить проблему в другую плоскость, как это упорно пытаются делать, — очевидная ошибка. Люди, которые в конце XV — начале XVI века всей душой стремились к обновлению рудников религиозной жизни; люди, которые, конечно же, пробудили

<sup>129\*</sup> Во Франции вопрос о папстве сыграл, по-видимому, второстепенную роль в происхождении Реформации. То, что Фарель писал Цвингли 9 июня 1527 года из Эгля: «Papa aut nullus, aut modicus hic est» [Папа здесь — ничто или значит очень мало] (*Herminjard A.-L.* ... cit. Т. 2. Р. 20); то, что писал Бонивар тогда же: «Правители Ланевы мало о нем думают» (*Ibid.* Р. 8. Not. 3), — все это в некотором смысле применимо к галликанской Франции, в центре которой факультет богословия в Париже следил за тем, чтобы никто не делал из папы абсолютного владыку Церкви (см. у д'Аржантре осуждение францискавца Анжели, бывшего в 1482 году проповедником в Туре, — он милоду с другими прерами приписывал папе право юрисдикции над двумя чистилища). Кляктуэ в своем «Антилютере» не упоминает о проблеме папства: в Указателе слово «папа» имеет только одну отсылку, на этой странице читаем: «Papa legibus ecclesiasticis debet praestare obedientiam» [Папа должен оказывать повиновение законам Церкви] (III, XXVII). Папа, уточняет Кляктуэ, должен повиноваться Богу и законам Божеским так же, как и всем законам, относящимся к сообществу верующих, и в особенности тем законам, которые имеют отношение «ad pietatem religionis et honestatem vitae» [к почитанию религии и к праведности жизни]. Если он преступает эти законы, «universalis ecclesia de eo iudicium ferre potest» [всеобщая Церковь может вынести ему приговор]. Подобным же образом в синодальном декрете с осуждением ошибок Лютера, изданном Брисонне в Мо, не говорится ни слова о папстве (*Herminjard A.-L.* Op. cit. Т. 1. Р. 153).

<sup>130\*</sup> *Renaudet A. Pré-Réforme...* Р. 576 sqq. (Конкордат 1516 года).

отзвук в массах лишь тогда, когда эти массы, безотчетно направляемые теми же потребностями, что и сами эти люди, были приведены под влиянием многих, но устремленных к одной цели воздействий к тому, чтобы внезапно заинтересоваться учениями основоположников, создателей общественного мнения,— и понять их,— в результате какого сужения исторического кругозора (а ведь история на самом деле столь же интернациональна, как история религиозных, философских и моральных концепций в масштабах Европы, которая на протяжении столетий обладала единой духовной культурой) — в результате какого странного заблуждения можно было бы утверждать сегодня, что каждый из этих людей, запертый в своей маленькой отчизне, питался (ревниво следя за ее чистотой) лишь пищей, возвращенной в его стране, только для нужд соотечественников — «патриотов»?

В действительности же (и в последние годы все усилия целой плеяды эрудитов имели цель доказать это) духовная пища каждого изобиловала яствами, прибывшими отовсюду, со всех сторон.

Лефевр д'Этапль был, конечно, пикардийцем, и в звучании его имени слышалась ересь, пикардийцем, которого почитали все образованные пикардийцы и с особой гордостью и симпатией следили за всеми его интеллектуальными свершениями.

Но если существовал когда-нибудь христианин, который, сделав свою христианскую веру центром жизни, собирал свой мед с цветов, растущих во всех странах, то это был именно этот маленький, сдержанный, робкий и тщедушный человек, которого, однако, совершенно не страшили самые долгие путешествия, когда речь шла о том, чтобы путем прямых контактов обогатить и еще более разнообразить свои познания в области учений, обрядов и религиозных чувств, почерпнутые в долгих раздумьях над библиотечными фолиантами. Влияние греческой мысли, аристотелизма (в те времена Лефевр потрудился более любого другого, чтобы сделать его доступным для изучения); влияние флорентийских платоников, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола (их воздействие на формирование великих религиозных и философских систем того времени получает ныне все большее признание)<sup>131\*</sup>; влияние герметических книг<sup>33</sup>, влияние Дионисия Ареопагита<sup>34</sup>; Ришара де Сен-Виктора и через него того францисканского мистицизма, традиции которого в начале XVI столетия были еще достаточно сильны, чтобы викторинцы могли ввести его в единую религию реформированных монастырей конгрегации Монтегю; влияние Рюйсбрука и Братьев общей жизни (Лефевр отправился в Кёльн, чтобы на месте проникнуть в их религиозные чувства), не говоря уже о Раймунде Луллии и,

<sup>131\*</sup> См. далее примеч. 143\*.

естественно, о Николае Кузанском<sup>132\*</sup>,<sup>35</sup>, — все это вперемешку и в сочетании с исследованием учения евангельской Церкви и учения святого Павла (того и другого — по первоисточникам), — все это питало мысль Лефевра в течение первого и самого длительного этапа его жизненного пути. Но если бы нужно было проследить его путь до конца, через годы его деятельности, представляющие наибольший интерес для историков французской Реформации<sup>133\*</sup>, — какую роль в эволюции религиозных концепций Лефевра пришлось бы приписать стимулирующему влиянию «первопроходца» Эразма и его базельского «Нового завета»? И какую — Лютеру как автору великих произведений 1520-х годов? Или вынужденному путешествию в Страсбург в 1525 году, которое, по свидетельству Жерара Русселя, произвело на Лефевра столь глубокое впечатление?

Большинство этих же влияний мы обнаруживаем (наряду с некоторыми другими), когда анализируем — как это сделал во Франции Ренде — мысль Эразма, ее формирование и развитие<sup>134\*</sup>. Мысль, безусловно в значительно большей степени проникнутую двумя древними культурами: классической, которую автор «Пословиц» усвоил лучше, чем кто-либо из его современников, и распространению которой он способствовал более, чем кто-либо другой, и христианской, которой издатель стольких великих произведений — от Нового завета 1516 года до «Святого Иеронима», изданного в том же году, — точно так же послужил на редкость плодотворно; но и он, Эразм, тоже был знаком с философами, и с гуманистами, и с филологами современной ему Италии<sup>135\*</sup> — от Лоренцо Валла до Пико делла Мирандола, чье влияние, несомненно, объясняет в какой-то мере тот факт, что у Эразма столько идей, общих с Томасом Мором; Эразм тоже сталкивался с фламандскими мистиками и был знаком с «Подражанием», мистицизм которого, довольно легко доступный, соотвечествовал природе Эразма, не созданной для экстаза и озарений; он тоже поддерживал связи с Братями общей жизни и с

<sup>132\*</sup> К сведениям Ренде следует добавить еще несколько, см.: *Vansteenberghe E. Le cardinal Nicolas de Cusa*. P., 1920. P. 466—468; *Roffa P. Il cardinale Nicolo di Cusa*. Milano, 1928.

<sup>133\*</sup> К сожалению, нет фундаментальных работ, которые позволили бы проделать это. В том, что относится к последнему периоду деятельности Лефевра, мы вынуждены довольствоваться самыми общими сведениями из Графа, из Имбара (эти последние не вполне надежны) и несколькими монографиями, которые мы цитировали выше (примеч. 35), говоря о Лефевре как переводчике Нового завета.

<sup>134\*</sup> *Erasmus, sa vie et son œuvre jusqu'en 1517, d'après sa correspondance // Revue historique*. 1912. Т. 111; 1913. Т. 112; *Erasmus, sa pensée religieuse et son action, d'après sa correspondance, 1518—1521 // Bibliothèque de la Revue historique*. 1926; *Etudes érasmiennes / Ed. E. Droz*. P., 1939; *Febvre L. Aug. Renaudet et ses études érasmiennes // Annales d'histoire sociale*. 1929.

<sup>135\*</sup> *Nolhac P. de. Erasme en Italie*. 2<sup>e</sup> éd. 1898.

монахами Виндесхейма, откуда распространялись аскетические и мистические традиции Херарта Хрооте<sup>136\*</sup>; и если Эразм не занимался, подобно Лефевру, учителями герметизма, ясновидцами вроде Луллия или викторинцев — до него дошли через его друзей Витрие и Колета отзвуки учений гуситов<sup>36</sup> и лоллардов<sup>37</sup>. Именно все это (при том что мы многого не знаем) сплавлено с тем, что было извлечено непосредственно из Нового завета (первое современное критическое издание которого было выпущено в свет Эразмом) и из святого Павла — он был для него предметом размышлений и толкований (так же как и для всех его современников), — все это, вместе взятое, образует богатую субстанцию «Философии Христа», которую «Оружие христианского воина» распространило по всей Европе и обеспечило ее автору столь большое влияние на людей самого разного склада ума<sup>137\*</sup>.

Однако давайте переберем одного за другим всех по-настоящему заметных людей эпохи, богатой могучими умами и героическими характерами: о каждом пришлось бы сказать примерно то же самое. Даже о тех, чья индивидуальность настолько сильна, что препарировать их доктрины почти невозможно, а определить источник их идей, которые плавилась в горниле чересчур пламенной мысли и потеряли все опознавательные признаки своего происхождения, трудно. Вспомним Лютера: пытаться объяснить его, исходя из круга его чтения, было бы занятием бесполезным<sup>138\*</sup>, но для его мысли (это совершенно ясно) учения святого Павла, святого Августина и Оккама не могут быть достаточной основой: к ним нужно добавить множество других составляющих — мистического, философского или филологического происхождения; их влияние мы можем скорее угадать, чем измерить, но оно не вызывает сомнений<sup>139\*</sup>. Если мы выйдем

<sup>136\*</sup> *Mestwerdt P.* Die Anfänge des Erasmus // Studien zur Kultur und Geschichte der Reformation (в особенности главы «Религиозные и теологические тенденции в итальянском гуманизме», «„Devotio moderna“ [Современное благочестие] и его связь с нидерландским гуманизмом»).

<sup>137\*</sup> Некоторые ссылки с оговорками — о них можно прочесть в рецензии Л. Февра (*Revue de synthèse historique*. Т. 34. P. 107–111), см.: *Pineau J.-B.* Erasme, sa pensée religieuse. P., 1924.

<sup>138\*</sup> *Fevre L.* Un destin, Martin Luther. P. 48.

<sup>139\*</sup> *Paquier J.* Un Essai de théologie platonicienne à la Renaissance: le commentaire de Gilles de Viterbe sur le premier livre des Sentences // Recherches de sciences religieuses. 1923. P. 293. Эгидий, избранный генералом ордена Августинцев 12 июня 1507 г., сложил с себя это звание 25 февраля 1518 г.; он пребывал в Риме, когда туда явился Лютер; некоторые положения его учения могли представлять интерес для Лютера, но был ли он с ними знаком? При этом мы знаем, сколько старания приложил А. В. Мюллер, чтобы установить связь Лютера с августинской школой (было даже написано, что «он был единственным, кто мог ее постигнуть»); богатую библиографию по этому вопросу см.: *Paquier J.* Luther // Dictionnaire de théologie. 1926. Т. 9. Вопрос о различных «влияниях», которые испытывал Лютер, был трезво рассмотрен А. Штролем, см.: *Strohl H.* Evolution religieuse de Luther jusqu'en

за пределы широкого круга людей, которые между 1500 и 1550 годами полностью посвятили жизнь распространению и защите своего религиозного идеала; если мы проникнем в тайные мысли детей века, гуманистов и художников, каждый из которых посвятил себя своему призванию, но при этом каждого из них не оставили равнодушным великие проблемы, стоявшие перед религиозным сознанием их современников; если, например, призвав на помощь недавно вышедшую монографию<sup>140\*</sup>, мы попытаемся выделить и проследить в ее развитии богатую религиозную мысль Микеланджело, — и здесь тоже, прямо или косвенно, можно уловить движение все тех же учений, тех же мыслей; и здесь тоже мы встретим крайнюю сложность и многообразие влияний на человека, чьи мысль и творчество испытали поочередно известное влияние сначала неоплатоновского эстетизма Анджеоло Полициано; павлинизма, характерного для всего этого столетия, таких апостолов Оправдания, как Окино или Хуан де Вальдес, который познакомил Микеланджело со своей близкой приятельницей Витторией Колонна<sup>38</sup>; влиянием Вальдеса можно объяснить те слова в лютеровском духе, что выходили порой из-под пера творца Сикстинской капеллы<sup>141\*</sup>. Все это присутствует (а может быть, кое-что еще) в созданных им поразительных образах Бога-творца, постоянно творящего, или человека, раздавленного тяжестью своего греха, — в образах, которые из самого папского дворца свидетельствуют: нет, в XVI веке те способности мыслить и чувствовать, которые нашли свое выражение в Реформации, не были изобретением нескольких мятежных богословов и еще менее того — исключительным достоянием людей особого склада и темперамента.

Вот так великие потоки идей и влияний пересекают столетие, и мы едва только начинаем различать главные русла этих потоков. Поживившись на книги и журнальные статьи, мы можем

1515. Strasbourg, 1922; *Idem*. Epanouissement de la pensée religieuse de Luther de 1515 à 1520. О приверженности Лютера к учению святого Павла см.: *Baruzi J.* Luther interprète de S. Paul // *Revue de théologie et de philosophie de Lausanne*. 1928. P. 5. Об учении святого Павла в XVI веке в более широких аспектах см.: *Febvre L.* Autour de l'Heptameron, amour sacré, amour profane. P., 1944.

<sup>140\*</sup> *Beyer H. W.* Die Religion Michelangelos. Bonn, 1926. Прекрасная рецензия на эту книгу принадлежит перу Реноде (см.: *Revue d'histoire moderne*. 1927. P. 69—72).

<sup>141\*</sup> Библиографические указания относительно Окино, Виттории Колонна и Хуана де Вальдеса см.: *Rodocanachi*. La Réforme en Italie: 2 т. P., 1920—1921. Т. 1. P. 174—188, 234—246, 454—455 (Окино); P. 335—336 (Виттория Колонна); P. 223—233 (Вальдес). Специально о Вальдесе см.: предисловие М. Батайона к «Диалогу о христианском учении», предпосланное им факсимильному переизданию этой книги (1925); см. также: *Bataillon M.* Alonso de Valdès, auteur du «Dialogo de Mercurio y Carón: Homenaje a Menéndez Pidal». Madrid, 1924. Т. 1; *Stern E.* Juan de Valdès // *BSHP*. 1928. Т. 76. P. 453—456 (на этих страницах ценные библиографические ссылки на литературу о Вальдесе).

выделить влияние (впрочем, значительно менее глубокое, чем утверждали некоторые <sup>142\*</sup>, — влияние движения «Devotio moderna», распространявшегося Братьями общей жизни и виднедеями; «продолжения» его во Франции в конце XVI века были описаны Реноде. Мы прослеживаем также (вернее, начинаем различать) воздействие флорентийцев — Фичино, Пико делла Мирандола: долгое время было модным относиться к их мысли без почтения и отрицать их влияние. А оно было реальным и разнообразным <sup>143\*</sup>, ибо если безбрежное христианство Пико, который пренебрежительно относился к обрядам и был безразличен к ритуалам, придавая значение главным образом свободному подражанию деяниям и мыслям Христа, когда тот жил среди людей, — если христианство Пико оказало известное влияние на мысль Лефевра, Томаса Мора, Эразма; если оно воздействовало, по всей вероятности, на мысль Хуана де Вальдеса, автора «Диалога», и в совсем других условиях — на мысль Цвингли, то Фичино, автор «Платоновской теологии», сыграл такую же роль для ряда пропагандистов «естественной религии», и мысль Фичино обнаруживается у многих свободных умов, которых мы изучаем, — от Постеля до Бодена и Джордано Бруно, как это показано в выдающейся диссертации о Кампанелле, написанной историком идей, слишком рано умершим <sup>144\*</sup>.

Сделать в этих направлениях остается чрезвычайно много. Нужно попытаться отыскать источники, питавшие не только мысль реформатов, но и мысль «рационалистов», как теперь

<sup>142\*</sup> Нума А. The Christian Renaissance: A History of the Devotio Moderna. N. Y.; L., 1925. Особенно см. главы «Христианское Возрождение во Франции» и «Лютер, его связи с Весселем Гансфортом, Роде, Эколампидом, Бучером, Цвингли и кальвинизмом»; есть обширная и ценная библиография. О тенденциях этой книги см. у Реноде (Revue historique, T. 45. P. 408).

<sup>143\*</sup> К указаниям Реноде относительно связей Пико и Фичино с Лефевром и сообщению Дореза и Тюазна (*Dorez L., Tuasne L. Pic en France. Leroux, 1897*) следует добавить статьи: *Pusino I. Ficino's and Pico's religiöphilosophische Anschauungen // Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1925. Vol. 44; Idem. Der Einfluss Picos auf Erasmus // Ibid. 1927. Vol. 46*; а также выдающуюся книгу: *Cassirer E. Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Leipzig, 1927* (глава «Николай Кузанский и Италия» содержит множество сведений о влиянии Пико и Фичино на Николая Кузанского). См. также написанную Семприни биографию Пико (*Semprini G. Pico della Mirandola. Todi, 1921*). О Фичино см.: *Torre A. della. Storia dell'Accademia platonica di Firenze. Florence, 1902; Balbino G. L'idea religiosa di M. Ficino. Cerignola, 1904; Festugière P. La Philosophie de l'amour de Marsil Ficin et son influence sur la littérature française au XVI<sup>e</sup> siècle. Coimbre, 1923. P. 169 sqq.*

<sup>144\*</sup> *Blanchet L. Campanella. P., 1920 (Th. Sorbonne)*. В главе пятой «Концепция универсальной и естественной религии у мыслителей — предшественников Кампанеллы» (P. 422—457) Бланше исследует идеи Николая Кузанского, Фичино, Пико, Постеля, Бодена, Шаррона, Бруно. О влиянии Фичино и двух Пико на Бодена см.: *Chauviré J. Jean Bodin. 1914. P. 110—111.*



имеют тенденцию называть <sup>145\*</sup> тех, кого наши отцы называли «вольнодумцами» (*libertins*), оригинальность которых (если мы хотим их понять) следует мерить мерками их, а не нашего века; нужно также отыскать источники мысли католиков, людей, которые, нося в себе наследие учений, чьи противоречия были жестокими и продолжали оставаться жгучими, — людей, которые вели дискуссии на долгих сессиях Тридентского собора <sup>146\*</sup>, пока наконец не были вынуждены под давлением большинства, хотевшего остановить раздробление теологии, истерзанной спорами и порою слишком подверженной влиянию гуманизма <sup>147\*</sup>, — вынуждены были объединиться под знаменем «Суммы теологии», шедевра Фомы Аквинского, которого уже на следующий день после закрытия собора, 11 апреля 1567 года, Пий V объявил «Доктором Церкви». Может быть, это легенда, что во время заседаний собора «Сумма» лежала на особом столе рядом с Библией. Во всяком случае, эта легенда символизирует ту важную роль, которую томисты (почти все они рекрутировались из доминиканцев) сыграли в обсуждении и решении наиболее затруднительных проблем, в особенности проблемы Оправдания. В те времена можно было видеть, какие плоды принес расцвет томизма, начало которому положил в Париже брабантец Пьер Крокерт, перешедший после 1503 года от окказимизма к томизму; в Италии подъему томизма ревностно служил Томмазо де Вьо, Газтанец, пока был генералом ордена и после (умер в 1534 году); наконец, в Испании, и в первую очередь в Саламанке, крепости томизма XVI столетия, его позиции с большим успехом укреплял Франсиско де Витория, ученик Крокерта, а затем его собственные ученики Мельчор Каню и Доминиго де Сото, которым предстояло продолжить и развить его труд. В то же время в лоне францисканского ордена ортодоксальные кордельеры <sup>40</sup>, а затем капуцины <sup>41</sup> поддерживали традицию францисканских таинств, независимых от «*Devotio moderna*»; однако знаменосцами этой

<sup>145\*</sup> *Busson H.* Les sources et le développement du rationalisme dans la littérature française de la Renaissance, 1533—1601. Letouzey, 1922; *Roger Charbonnel J.* La pensée italienne au XVI<sup>e</sup> siècle et le courant libertin. Champion, 1917. Позднее я вернулся к вопросу о рационализме XVI века (см.: *Febvre L.* Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle: la religion de Rabelais. P., 1942. Там приводится обширная библиография).

<sup>146\*</sup> О «борьбе школ», порожденной определением Оправдания, см.: *Rivière J.* Justification // *Dictionnaire de théologie*; *Paquier J.* Luther // *Ibid.* Для более углубленного изучения проблемы см.: *Ritschl A.* Die Christische Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. 3<sup>e</sup> éd. Bonn, 1889. T. 1; *Hefner J.* Die Entstehungsgeschichte der Tridentiner Rechtfertigungslehre auf dem Tridentinischen Konzil. Paderborn, 1909 (автор — католик); *Rückert H.* Die Rechtfertigungslehre auf dem Tridentinischen Konzil. Bonn, 1925; *Idem.* Die theologische Entwicklung Gasparo Contarinis. Bonn, 1926 (автор — протестант).

<sup>147\*</sup> Что и продемонстрировал эпизод с катаринизмом <sup>39</sup>, который был к тому же подвержен влиянию доминиканцев томистского толка. См.: *Mandonnet P.* Frères Prêcheurs // *Dictionnaire de théologie*.

традиции (в той или иной степени и с теми или иными примесями) предстояло стать и Игнатию Лойоле, и святому Иоанну Креста, и святой Терезе — в столь слабо еще изученные времена «тридентского религиозного возрождения», или «тридентской революции»<sup>148\*</sup>.

Нет, не в объектах для исследований испытываем мы недостаток. Не хватает исследователей — в такой же степени, в какой трудна задача. Философские и религиозные книги того времени, часто трудные для понимания, кроме того, еще малодоступны, разбросаны по библиотекам во всех углах Европы; они никогда не переиздавались, критические издания не выходили. У нас не наберется пяти-шести монографий, посвященных идеям, то есть книг, на которые мы могли бы опираться в наших выводах. Кто, например, набросает нам, ясно и кратко, историю понятия «Природа», столь богатого различными смыслами, которое мы встречаем в эту эпоху (впрочем, и в другие эпохи тоже) у множества враждебных друг другу авторов? Но вот что по крайней мере нужно видеть, вот что теперь уже можно увидеть, если не закрывать глаза на очевидное, — это до какой степени людские массы во всех странах старой Европы в первые годы XVI столетия были обуреваемы глубокой потребностью в религиозном и моральном обновлении — массы, более чем когда-либо жаждавшие уверенности. Редко человечеством владело более отчетливое чувство, что оно живет в хмельные дни весны, исполненной обещаний. Редко доводилось ему порождать больше вдохновенных проектов, и редко в его проектах бывало так много несбыточных мечтаний. Вот уж чего не следует делать: противопоставлять католицизм, сглаживающий и полирующий острые края своих догм, двум или трем протестантизмам, должным образом вооруженным благодаря стараниям патентованных богословов символами веры с печатью «*ne varietur!*» [не менять!]. Не будем умалять, не будем столь явным образом деформировать одну из самых живых и самых запутанных историй, какие только есть на свете; не будем игнорировать чудесное плодородие века — именно он попытался предпринять великолепное и почти отчаянное наступление, чтобы сломать узкие рамки Церквей и основать на их развалинах бесконечное разнообразие свободных религий.

Он, конечно, потерпел поражение. Поражение временное, но несомненное. Он достиг лишь того, что умножил число четко разграниченных вероисповеданий, враждующих духовенств, со-

<sup>148\*</sup> Изучение этих весьма интересных аспектов религиозной революции XVI века только начинается, однако в том, что касается Испании, существует фундаментальная книга, раскрывающая духовную эволюцию полуострова в XVI веке, см.: *Bataillon M. Erasme et Espagne, recherches sur l'histoire spirituelle du XVI<sup>e</sup> siècle.* P., 1937; см. также: *Febvre L. Une conquête de l'histoire, l'Espagne d'Erasme // Annales d'histoire sociale.* 1939. T. 1.

перничающих Церквей, нетерпимых и узколобых. Однако эпохе рабства предшествовал длительный период роскошной религиозной анархии. То, что даже во времена, когда век этот был наиболее дерзостным, даже во времена, когда, нисколько не принимая во внимание реальные обстоятельства, он увлекал толпы народа ввысь и вдаль под знаменами бестрепетного идеализма; то, что Лютер не смог принести удовлетворение безудержному желанию освобождения, которое обуревало людей его страны и его времени, — вот что убедительно говорит о состоянии умов этих поколений. И подобно тому как у Лютера был свой Карлштадт<sup>42</sup>, свой Мюнцер<sup>43</sup> — и анабаптисты<sup>44</sup>, так позднее Кальвин нашел своего Кароли<sup>45</sup>, своих духовных вольнодумцев<sup>46</sup> и никодимитов<sup>47</sup>; ибо брожение умов, вызванное великим религиозным кризисом 1520-х годов, утихло не в один день, не в один год<sup>149\*</sup>. Даже тогда, когда заявили о себе новые времена, даже когда на смену поколению великих основателей пришло поколение эпигонов, которые редуцировали дерзкие излияния ушедших пророков до размеров символа веры, заучиваемого наизусть, — сколь многие люди продолжали тайно идти за своей мечтой, от которой они не могли отказаться?

Даже те, кто не приняли Реформацию, потому что она была творением пророков с мощным дыханием, которые, однако, не смогли освободиться от пут, навязанных им временем (и люди очень скоро увидели, как эти пророки, после прекрасных полетов в вольном небе, упали на старую Землю, рассеченную безднами), — те, кто отказались присоединиться сердцем к этому вдохновляющему, но слишком рано загубленному порыву, не к старой религии они примкнули (одни умышленно притворяются, будто думают так, другие упорно повторяют по невежеству), не к прежней вере, что была до потрясения, вернулись они благо-разумно (или попросту хранили ей верность). В то время как одни из них, самые отчаянные, обследовали новые земли критического рационализма, который не обрел еще ни амуниции, ни уверенности в себе; пока другие мечтали о религии естественной и всеобщей (этой неотразимой химере предстояло в течение двух или трех веков вводить в заблуждение людей с самым различным складом ума и темпераментом — не без пользы для критического изучения событий религиозной жизни), другим людям, косной массе, ничего не ведающей о духовных треволнениях, ей тем не менее, поскольку времена изменились, было очень нужно, чтобы вожди обороняющейся стороны — папы, епископы, бо-

<sup>149\*</sup> Разве не знаменательно, что Общество Иисуса приложило столько же стараний к тому, чтобы войти в повседневную социальную жизнь людей, занятых трудами и заботами своего века, сколько старые духовные ордена прикладывали к тому, чтобы бежать от века и отгородиться от него? См.: *Pisani C. Compagnies de prêtres du XVI<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle.* P., 1928.

гословы — официально установили новую религию: тот тридентский католицизм, который не получил определения, когда изучалась его деятельность в области теории, но (и мы должны это понять) в смятенные и бурлящие времена юного напора, помещаемые под вводящей в заблуждение рубрикой «Контрреформация», действительно был живым в человеческих душах, в благочестии, в коллективном фанатизме экзальтированной толпы и в том энтузиазме, чьи проявления столь поразительно непредсказуемы, — в энтузиазме, поставившем во главе зачарованной людской массы стольких выдающихся святых, блиставших яркой оригинальностью.

Две религии — католическая и реформированная? Скорее, множество религий, ибо их было намного больше, чем две, и плетение века-зачинателя отнюдь не ограничилось тем, что воодвигло друг против друга хорошо организованный протестантизм и хорошо очищенный католицизм. На самом деле можно и должно насчитать десятки самобытных реализаций и воплощений самых различных и весьма сложных духовных тенденций. Было бы смешным ребячеством полагать, что они были порождены заурядным непотребством каких-то безликих «злоупотреблений» или бесстыдством, достаточно обыкновенным для торговцев во храме — этих извечных паразитов божественного.

Были ли Лефевр первым? Но были ли Лефевр протестантом? Вопросы праздные. Давайте перестанем нелепо суетиться за спинами этих людей, которые всеми силами стремились сбросить иго духовной власти священников, чисто внешней и формальной, — перестанем бегать с нашими карманными катехизисами в руках: «Смотрите, это, безусловно, „католик“, ибо отличительные признаки католика... — Ошибаетесь, это „протестант“, ибо надежный признак, по которому можно определить протестанта...» Разве не значит это, что в своих поисках мы берем в поводыри мэтра Дорибюса или доктора Марбаха из Страсбура?

Конечно, дальним потомкам мучеников XVI века дозволяется спросить самих себя, могут ли они, должны ли они повесить во храме (или только в преддверии храма) изображение славного старика Фабри. Это забота семейного порядка: не будет поднимать ее до уровня исторической проблемы (или, точнее, перестанем держать ее на этом уровне). Ортодоксия и инакомыслие, как все дела человеческие, подвержены изменениям. Кто скажет нам, что в точности означали слова «быть христианином» для современника Людовика Святого, для подданного Людовика XII, для парижского буржуа Великого Века? Те Церкви, что более других гордятся своею стабильностью, всегда готовые ликовать по поводу «изменений» у их соседей, — можно ли считать, что они остались незабываемыми? Безупречный католик 1520 года вполне может оказаться подозрительным на взгляд ортодоксального католика 1570 года. А мерить этого человека 1520 года теми же

мерками, что и католика 1928 года, — какая химера или какая глупость! Я имею в виду тот случай, когда занимаются историей и не примешивают к своим действиям конфессиональные побуждения.

Давайте в первую голову придерживаться некоего принципа, потому что он хранит нас, потому что только он привносит ясность в непомерно запутанную историю эпохи длиною в несколько веков, наполненных борьбой и конфликтами, — давайте будем придерживаться принципа разграничения. Есть Религия и есть Церкви: две разные плоскости, в одной из которых — организация церковная и политическая, в другой — внутренняя жизнь человека и его духовная свобода; лютеризм, как говорили некогда, и лютеранство. Во второй половине XVI века почти повсюду возникают христианские Церкви, которые папа римский считает раскольническими, а они считают его существование позором. Приверженцы этих Церквей, очевидно, имеют право на звание «реформатов». Однако «Реформация» не датируется временем, когда была учреждена самая ранняя из этих Церквей. Она не датируется (сколь бы ни было велико историческое значение этого события) отлучением, которому Рим подверг Лютера. Ее причина — моральный и религиозный кризис исключительной силы и глубины, и мы сможем полностью его объяснить, сможем по-настоящему понять лишь при условии, что в своем исследовании охватим все многообразные проявления жизни столетия, чья политическая активность, экономическое развитие, социальное состояние претерпевают столь же быстрые и глубокие изменения, как и религиозные чувства, как интеллектуальная культура. Именно на это, на все это должен обращать свое внимание историк, а не на мелкие частные правила и установления соперничающих Церквей.

Из всех тех, кто жили в эти тревожные времена, самые лучшие, самые великодушные, самые живые осуществили неслыханную попытку создать для самих себя веру, приспособленную к их нуждам. С одной стороны, стараться превратить их в усердных ревнителей упомянутых выше Церквей, которые представлялись им главными врагами веры и религиозной жизни, — значит обречь себя на то, чтобы потерять между строк, на своего рода «*no man's land*» [ничьей земле], тревожной и подозрительной, множество свободных душ, глубоко враждебных любой теологии и не считавших себя обязанными ограничить свои мечты теми пределами, которые были жестко установлены богословами. С другой стороны, желать сделать из этих людей анахронических знаменосцев некоего духовного национализма — значит не увидеть, что пацифизм, который они исповедовали вслед за своим учителем Эразмом, был не чем иным, как отражением их тоски по великой христианской родине, которую вооруженные до зубов короли и папы рвали на куски, ломали на мелкие национальные

обломки, и процесс этот был близок к завершению. В том и в другом случае это значит исключить из истории XVI века драму, которая придает ей истинное величие и которая утвердила в тысячах человеческих умов, смущаемых сомнениями и раздираемых противоречивыми обязательствами, необходимость общественной дисциплины и вольное стремление к индивидуальному религиозному сознанию.

Специфичность, приоритет, национальный характер: слова, которые следует вычеркнуть из исторического словаря. Это — проблемы беспредметные. Будучи ветхими лохмотьями религиозных диспутов, они до сих пор влачатся по страницам наших научных книг. Предпринять методическое исследование христианства начала XVI века, исследование великого кризиса, из которого оно вышло, по мнению одних, омолодившимся и обновленным, по мнению других — ущербным и смертельно раненным; не отделять эти исследования от изучения столетия в целом — века, беременного грядущим, — вот задача, которая стоит перед всеми. Чтобы выполнить ее до конца, потребуется не только поколение историков. Тем больше причин объединить наши усилия и не тратить их на бесплодное повторение одного и того же.

## КОЛДОВСТВО: ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ В СОЗНАНИИ?

Книга о колдунах<sup>1\*</sup>. Книга, которую невольно прочтешь до конца. Снабженная предисловием мэтра Мориса Гарсона, которого не удовлетворяют громкие судебные процессы современности (он имеет пристрастие вести дела ретроспективно, перед трибуналом исторических дознаний), книга эта несет нам целый ворох проверенных, однородных и легко сопоставимых фактов: события, о которых в ней рассказано, происходили на одном и том же клочке земли, датированы одной эпохой, не выходят за рамки одного общества, их окружает одна и та же атмосфера.

Этот клочок земли находится в сердце нашего старого Франш-Конте; это — восхитительная маленькая страна Кинжей, мирная и благодушная; она, без сомнения, помышляет больше о жирных форелях из речки Лу, чем о своей бывшей владелинице, доброй Маго д'Артуа, которая, однако же, часто навещала свое родовое гнездо; или о своем знаменитом земляке папе Каликсте II, который, будучи рожден в той же цитадели, принес с собою в Рим (задолго до кардинала Гранвеллы) все пороки, свойственные уроженцам Франш-Конте: хитрость, коварство, притворство и притом неукротимую отвагу. «У частных лиц это — недостатки, — возражает Анри Бушо, — но у политиков — достоинства...» Каликст II и в самом деле был великим папою; но зачем жителям Кинжей думать о папах былых времен? И что им колдуны былых времен?

Г-н Баву, помощник архивариуса в Ду, отыскал в своем хранилище ряд протоколов судебных процессов над колдунами. Он представляет их нам один за другим в живой и выразительной манере. Сначала — судьи, крючкотворы из судебного округа Кинжей: захудалый мирок, не всегда сплоченный, которым движут так себе страстишки, — в общем, достаточно узколобый и заурядный. Вот зал судебных заседаний, место заключения и поле, где возвышался столб, или иначе «поле висельников». Вот наконец судебное разбирательство, проанализированное шаг за шагом: специальная процедура, применявшаяся к колдунам. Начиная с 1604 года она становится повсеместной, потому что сеньориальные суды тоже получают право расследовать преступления, связанные с колдовством, и число дел сразу же увеличивается<sup>2\*</sup>.

Мы не станем входить в подробности процессов, которые анализирует г-н Баву. Эти подробности вызывают у нас ужас и отвращение, которые нам трудно перебороть. Вот одна семья: ста-

<sup>1\*</sup> La sorcellerie au pays de Quingey. P., 1947 (многочисленные рисунки в тексте и на отдельных листах. Предисловие мэтра Мориса Гарсона).

<sup>2\*</sup> О судебных округах Франш-Конте в конце XVI века см.: *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté*. P., 1912; о судебной процедуре см.: *Idem*. Introduction. Notes et documents sur la Réforme et l'Inquisition en Franche-Comté // II, Comment s'instruisaient le procès d'hérésie.

рая бабка, алкоголичка, которая за стакан вина рассказывает все, что угодно, обвиняет, доносит, толкует о шабаше и обо всем, что там происходило; сын, крепко сбитый человек, обладающий геркулесовой силой; поначалу он стойко выдерживает допросы и пытки, потом его ломают, он признается, разоблачает. Когда придет время умирать, он раскается и перед собравшимся народом торжественно обвинит себя в том, что солгал. Наконец, два внука, одиннадцати и тринадцати лет, которым тюремный сторож разрешает играть во дворе тюрьмы и о которых отечески печется страж у ворот: однажды он выразился так: «Только что я покормил своих пташек». И пташки беззаботно резвятся до того дня, когда им вдруг объявят, что они осуждены на смерть и что завтра их казнят. Младший этого даже не понимает. Однако же в грустный декабрьский день 1657 года оба они были за милую душу преданы смерти «на Тартре». Священник, потрясенный этой драмой, отворачивается и спрашивает себя, не должен ли он был посоветовать, чтобы направили просьбу о помиловании... Но сидящие в Доле люди в красных мантиях, что бы они сделали? Подтвердили бы приговор судебного округа.

Эти процессы — вызов всякому здравому смыслу. В деревне женщина рождает хилого ребенка, который через несколько дней умирает. Подыхает бык, пораженный неизвестной болезнью. Никому не сказавшись, бесследно исчезают две свиньи. Нет никаких сомнений, что это дело рук колдуньи. Ее быстро находят. Ее арестовывают, она признает все, шабаш и прочее. Ее осматривают. Вонзают в нее иглы, находят «знак Дьявола». Ее душат, ее тело сжигают. Пепел развеивают по ветру; это — семена, которые вскоре взойдут, и из них вырастут новые колдуньи, они спровоцируют новые преследования. Издевательство над здравым смыслом — и мы гордимся: «Ах, это делали не мы...» Еще немного, и вы скажете: «Кинжейские происшествия! И суд правили крючкотворы, о которых вы сами только что сказали, что это был захудалый мирок...» Стоп! Именно здесь дело становится интересным для историка. Именно здесь нужно поразмыслить.

Давайте перенесемся в Лотарингию. Еще один классический край колдовства. Если у Франш-Конте есть Боге, то у Лотарингии есть Никола Реми. Отправимся же в Лотарингию и, прибыв туда, поручим себя испытанному руководству моего старого учителя, Кристиана Пфистера<sup>3\*</sup>. Мы — в 1592 году. В Ранфене, что в Вогезах, живет красивая экзальтированная девушка с большими, немного сумасшедшими глазами. 1592 год — за четыре года до того, как в Ла Э, в Пуату, тихо и незаметно родился некто Рене Декарт. 1592 год — кажется, что вся Лотарингия населена колдунами и колдуньями, верными подданными Сатаны, Вель-

<sup>3\*</sup> Pfister Ch. Nicolas Rémy et la Sorcellerie en Lorraine à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle // Revue historique. 1907.



зевула, Персена и Верделе<sup>1</sup>: Дьяволу, имеющему множество имен, нужно много воплощений. В пятнадцать лет Элизабет вышла замуж. Ее официально сочетали браком со старым дворянином пятидесяти семи лет. За девять лет он наделал шестерых детей; выжили только три девочки. Элизабет стала вдовой в двадцать четыре года.

Будучи экзальтированно набожной, она мечтала об уходе в монастырь; но в 1618 году одна родственница склонила ее отправиться в паломничество в Ремирмон. Совершив религиозные обряды, Элизабет приходит на постоялый двор, садится за стол. Там же находился некий врач Шарль Пуаро. Красота Элизабет его поразила. Он суетится вокруг нее, говорит комплименты, подкладывает ей еду, подливает питье. По ходу дела в какой-то момент, когда врач положил ей на тарелку кусок соленого сала, известного лотарингского лакомства, Элизабет догадывается, что это не сало. Это приворотное снадобье; Пуаро дал ей снадобье, и с этого времени мысль о враче не покидает ее...

Ей это нравится. Ей страшно. Точнее (и именно потому ей страшно), это нравится не ей, а «Этому Самому». Однажды, встретив Пуаро, она падает в обморок. Она чувствует, что врач «вдохнул в нее нечто, и там была порча». Незамедлительно у нее проявляются все симптомы сильного истерического припадка по Шарко: паралич половины тела, потеря вкуса, обоняния, осязания и слуха и т. д. Аптекарь, к которому пошли за советом, советует обратиться к врачу. То есть к Пуаро, который прибегает тут же. Она его прогоняет. Затем призывает его. Снова прогоняет. Встревоженный духовник решает: это дело рук дьявола. И посылает свою подопечную в Нанси, где специалисты-экзорцисты изгоняют из нее дьявола.

После того как это было сделано, Элизабет выздоровела и оставалась здоровой до того дня, когда ей снова встретился Пуаро. Болезнь возвращается, дьявола снова изгоняют; мнимый исход дьявола «со страшным шумом», но он возвращается снова; хотят прибегнуть к помощи врачей, но те умывают руки: это дело экзорцистов. В течение шести лет экзорцисты работают не покладая рук, пытаются изгнать беса. Все монашеские ордена поочередно направляют к ложу одержимой дьяволом своих лучших людей: капуцинов, иезуитов, бенедиктинцев, францисканцев, кармелитов, августинцев. К ним присоединяются почетные гости. Когда епископ города Туля бывает в Нанси, он не упускает случая провести сеанс. Иногда его сопровождает принц Эрик Лотарингский. Принц — знаток этого дела. Ибо, поставленный епископом Верденским в двадцать один год, он не смог устоять перед чарами одной монахини, похитил ее, а потом, когда страсть утихла, сослался на колдовство, чтобы получить отпущение...

Однако же бес упорно отказывался покинуть тело Элизабет. Он отвечал допрашивающим на всех языках мира. Он читал

письма сквозь конверт. В груди облаток он отличал освященные от неосвященных. Иногда он принимался поносить весь свет, включая экзорцистов, самыми грубыми словами. Или побуждал Элизабет ходить, не падая, по карнизам церкви, или заставлял ее застывать в состоянии каталепсий на многие часы в самых невероятных позах. Короче, бедная женщина обнаруживала все классические признаки одержимости бесом — как их перечисляет требник Римской церкви...

Кое для кого это все имело роковые последствия... В один прекрасный день Элизабет объявляет, что ей известен один монах, который предается худшим безобразиям. «Какого он ордена?» — «Францисканец». Большое волнение во всей братии святого Франциска. Встревоженный отец Провинциал мчится из Шалона. «Кто этот монах?» Голосом Элизабет дьявол отвечает: «Это ты!» — и, сосланный в безвестный монастырь, Провинциал исчезает навсегда...

Бывало и похлеще. Однажды, когда Пуаро был проездом в Нанси, ему пришла в голову идиотская мысль присутствовать на сеансе. Элизабет его узнает, впадает в транс, разоблачает. Его арестовывают. Его препоручают самым высокопоставленным магистратам Лотарингии. 30 марта 1621 года ему сбивают все волосы на теле, его «колют, находят „знак Сатаны“». 24 апреля его подвергают допросу. Он все отрицает. Но в конце ноября молодая крестьянка, подозреваемая в колдовстве, называет его имя и тем подливает масла в огонь. Дело вспыхивает с новой силой. На женщине ищут «знак», находят. Для Пуаро это — смерть.

Однако ему удается найти защитников во Франции, в Италии, во Фландрии. Дочь самого Филиппа II инфанта Изабелла-Клара-Евгения пишет о нем герцогу Лотарингскому. Но высокий суд из двадцати четырех человек самых неподкупных и самых ученых, каких только можно было найти, единодушно признает Пуаро виновным. Его душат, крестьянку тоже. Их тела сжигают. Юная колдунья называла имена наугад, без разбора, и среди прочих — имя командующего армией герцога Лотарингского Андре Деборда; этому обвинению дали ход не сразу. Пока жив Генрих II, ничего нельзя сделать: герцог покровительствует Деборду. Но как только Генрих умер, несчастного хватают и сжигают заживо.

Переходим к эпилогу, кстати весьма любопытному. Понемногу Элизабет успокаивается; она отправляется в дальние паломничества в сопровождении своей старшей дочери, государственного советника герцога Лотарингского и своего духовника: целое посольство. Возвращается она созревшей для финального эпизода. 1 января 1631 года в Нанси открывается монастырь Нотр-Дам-дю-Рефюж (Божьей Матери убежища). Во главе его — мать Мари-Элизабет ордена Креста Иисусова, то есть та, что была в миру известной нам бесноватой из Рапфена. И мать Мари-Элиза-

бет обнаруживает поразительные административные способности. Обитель в Нанси становится образцовой. Когда ее основательница умирает в январе 1649 года в возрасте 56 лет, весь Нанси проходит в молчании перед ее останками. А сердце ее было с благоговением отправлено в Авиньонское убежище.

Я напомнил эту историю, все подробности которой были заново исследованы К. Пфистером с обычной для него научной тщательностью, лишь потому, что между столькими другими историями и всеми, ей подобными, во Франш-Конте, и в Лотарингии, и в Провансе, прибавим сюда еще мать Иоанну от Ангелов (из Лудена) и Юрбена Грандье<sup>2</sup> и еще многих и многих, десятки и сотни, — я напомнил ее потому, что история эта представляется мне одною из наиболее зовущих к размышлению.

Ибо если я припомнил здесь в общих чертах основные события этой поразительной истории, то не ради удовольствия пересказать анекдот, а для того, чтобы поставить некую проблему. Важную проблему. Как объяснить, что самые умные, самые образованные, самые неподкупные люди того времени могли все, как один (и без различия в религии: в лютеранской Германии в конце XVI — начале XVII века было столько же колдунов и колдуний, сколько и в католической Франции Людовика XIII), высказаться за казнь; как объяснить, что Боден, великий Жан Боден, один из могучих умов своего времени, удивительный человек, сумевший затронуть все на свете, и притом самым оригинальным и плодотворным образом: языки, право, историю, географию, математику, астрономию, — как объяснить, что этот человек, поистине создавший политическую социологию своей «Республикой» 1576 года, а десятью годами раньше создавший сравнительную историю политических форм в своем «Метод» изучения истории; человек, бывший создателем сравнительного и эволюционного подходов к изучению права в своем сочинении «Распределение общего права»; Боден, автор «Ответа на парадоксы г-на де Малетруа», сумевший связать рост дороговизны с притоком в Европу металлов из Америки, — как объяснить, что этот великий ум, столь смелый в вопросах религии (я имею в виду его «Беседы всемером» — отчаянную попытку путем сопоставления борющихся религий вывести религию поистине всеобщую), — как он мог в 1580 году напечатать одну из самых удручающих книг той эпохи — «Трактат о демонии колдунов» — книгу, переиздававшуюся несчетное число раз?

Бесы, бесы: они повсюду. Они заполняют дни и ночи самых умных людей того времени. Это уже не демоны Плеяды, которые полонили на какое-то время беспокойную душу Ронсара, демоны воздуха и земли, которым поэт поручает в своей космологии важные функции<sup>4\*</sup> — обеспечивать действие причин в мире явле-

<sup>4\*</sup> См. о них: *Hymne aux daimons* / Ed. critique par A. M. Schmitt. P., 1940;

ний, переносить с собою планетарные влияния, давать человеку управлять живыми существами и предметами посредством магических искусств. Эти платоновские демоны стали бесами. Примерно тогда же, когда маг стал колдуном<sup>5\*</sup>. Речь идет уже не о демонах эстетических, аристократических и благожелательных. Речь идет о демонах, которые внедряются в тела мужчин и особенно женщин, в столь большом количестве, что Боссюэ пишет: «Я полагаю, что колдуны могли бы выставить армию, равную армии Ксеркса, при том что эта последняя составляла миллион восемьсот тысяч человек. Ибо если в царствование Карла IX в одной только Франции было 300 000 колдунов, то сколько может их быть в других странах?» И, упомянув Германию, которая только тем и занимается, что «предает их огню»; Швейцарию, которая, чтобы избавиться от колдунов, истребила население целых деревень; Лотарингию, которая «являет взгляду иностранца тысячи и тысячи столбов, к которым привязывают колдунов для сожжения, а они размножаются, как гусеницы в наших садах», — Боссюэ раздражается такой фразой: «Я хотел бы, чтобы всех их загнали в одно тело, чтобы сжечь всех разом, на одном костре!»

Боссюэ... Но Боден? И, сказав «легковерие, предрассудки, отсутствие критического отношения», приблизимся ли мы к пониманию?

Я хочу обратить внимание на две вещи. В 1609 году Галилей, установив свой телескоп на верху колокольни святого Марка, испытал счастье доступное только богам, — он увидел в небе, увидел своими глазами то, чего ни один человек еще не видел до него: поверхность Луны, похожей на Землю, вздыбленную вулканами и изборозженную долинами; Юпитер, окруженный четырьмя спутниками, которые сопровождают его во всех его перемещениях; Венеру, являющую, подобно Луне, фазы, которые доказывают ее шарообразность; наконец, множество звезд, о существовании которых никто до него не подозревал, — и пятна на Солнце, которые он описал в 1611 году в Риме.

Вся аристотелианская физика была ниспровергнута сразу... Между тем в 1631 году некий ученый и утонченный молодой человек, трепетный, но расчетливый Жан-Франсуа-Поль де Гонди, будущий кардинал де Рец, защищает диссертацию в Сорбонне. И доказывает — рассудку вопреки, но с помощью силлогизмов, — что существуют три неба, из которых самое нижнее — жидкое. В 1631 году. Однако и в 1658 году в своей героической поэме «Людовик Святой, или Отвоение Святой короны» — семнадцать книг, 17 764 стиха — отец Лемуан перелагает эти не-

*Schmitt A. M.* La poésie scientifique en France au XVI<sup>e</sup> siècle. P., 1939; *Febvre L.* Cosmologie, occultisme et poésie // *Annales d'histoire sociale.* 1939. T. 1. P. 278, 279; *Idem.* Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle: La religion de Rabelais. 2<sup>e</sup> éd. P., 1968. P. 481–491, 455.

<sup>5\*</sup> *Wagner R. L.* Sorcier et magicien. P., 1939. P. 319.

лепости стихами. Профаны? Но отец Мерсенн, поставщик и разносчик новостей из ученого мира; но Ги Патен, но Сильон в 1634 году и Жак Шеврёй в 1623 году — все они заявляют, что отвергают гипотезу Коперника, «этот хитроумный вздор», как писал Шеврёй. Странное дело: величие новой Вселенной, загадочная огромность коперниковского мира, вечное молчание бесконечных пространств, не возмущаемое более скрежетом небесных сфер, враждаемых вручную покорными духами, — все это, по видимому, не волнует и не трогает людей того времени<sup>6\*</sup>. Даже «*déniés*» [утративших наивность, просветившихся], удивляющих нас своим нежеланием игнорировать природу. «У людей не будет более ни восхищения, ни преклонения перед Богом, — пишет Гассенди пером кюре из Грожана, — если он не будет превосходить людей и если они смогут чваниться тем, что сравнялись с ним в умении» (28 сентября 1640 года). Великий разлад между людьми и их ученостью... Нет, пожать плечами тут недостаточно. Нечего гордиться нашим мнимым превосходством. Нужно найти объяснения. Вернемся к Элизабет из Ранфена. Нельзя отмахнуться от людей, составлявших комиссию двадцати четырех в Ранфене, сказав: «Глупцы». Это были умные люди. Для своего века они обладали самым развитым мышлением. Значит, нужно, чтобы их мышление в самой своей основе глубоко отличалось от нашего? Или, скорее (ибо сказать «наше мышление» все равно что ничего не сказать: каждый день мы встречаем нос к носу в Париже, в подобной Афинам столице Франции, сотни мужчин и тысячи женщин, которые в глыбе души не видят для себя никаких препятствий к тому, чтобы поверить в колдунов), — итак, возвращаясь к моей фразе, я пишу теперь: нужно, чтобы мышление наиболее образованных людей конца XVI — начала XVII столетия в своей основе отличалось, и притом коренным образом, от мышления наиболее образованных людей нашего времени. Нужно было, чтобы за время, разделяющее их и нас, произошли революции: революции **разума**, которые совершаются бесшумно, и ни один историк не догадывается их зарегистрировать<sup>7\*</sup>. Если мы хотим разрешить проблему, которую в конечном счете ставит перед нами то, что вы с пренебрежением называете легковерием и с отвращением — декарством наших предков во времена Генриха IV и Людовика XIV (за восемь или десять поколений до нас), то заходить нужно именно с этого боку. И писать осмотительно.

Ибо давайте в конце концов приглядимся внимательно. Современница Гассенди Элизабет из Ранфена на четыре года стар-

<sup>6\*</sup> Следует, однако, учесть то, что Анри Бремон остроумно назвал «коперниковским переворотом у Берюлля»<sup>3</sup>.

<sup>7\*</sup> См. замечательные очерки: *Pintard R. Le Libertinisme érudit*. P., 1943. Vol. 1-2; *Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme*. P., 1943; *Febvre L. Au coeur religieux du XVI<sup>e</sup> siècle*. P., 1957. P. 337.

ше Декарта. Декарт: его нахмуренный лоб, его разум, его метод... Все это во времена Ришелье с его кошачьими усами, с его Академией и большой политикой. Перечитаем: «Здравым смыслом люди наделены в большей степени, нежели чем бы то ни было». И немного дальше: «Никогда не принимать за истинное что бы то ни было, кроме того, что я со всею очевидностью знаю как истинное».

Да, но есть судья Пуаро. Их двадцать четыре. Из них десять — французы, специально призванные в Нанси по причине их мудрости и рассудительности.

У них был здравый смысл. Во всяком случае, все их современники (и Декарт первый) заверили бы, что он у них есть. Эти люди не принимают «что бы то ни было за истинное, кроме того, что они со всей очевидностью знают как истинное». Именно поэтому они верят, что Элизабет одержима бесом. Разве они не видели собственными глазами, как бесноватая читала письма сквозь конверт и показывала удивительные, невозможные акробатические номера? Невозможные, если только... В эти времена, когда еще все приводится в движение вручную, и звезды, и машины, объяснить поведение Элизабет невозможно, если в нем не участвует рука — когтистая лапа дьявола.

«Никогда не принимать за истинное что бы то ни было, кроме того, что я со всею очевидностью знаю как истинное» — это хорошее правило. Но требующее поправки. Был в те времена человек, который такую поправку сделал. Одиночка. Сирано. Но, насколько мне известно, только он, и больше никто. Один из самых свободных и из всех, кого мы знаем по написанному ими, быть может, самый свободный ум своего времени <sup>8\*</sup>. Сирано де Бержерак — заметим, из маленького родового поместья Бержерак в долине Шеврезы, которая так хорошо учит задумчивости и погружению в себя... Ему принадлежит прекрасная формулировка, относящаяся к колдунам, чьи признания, говорит он, нельзя считать достоверными: «Не следует верить всему о каком-либо человеке, потому что человек может сказать все, что угодно. Когда речь идет о человеке, следует верить только тому, что свойственно человеку». Отличные слова, написанные несколько поздно: в 1654 году. Однако они позволяют нам отметить и приветствовать — наконец-то — рождение во Франции нового свойства сознания — того, что я окрестил «пониманием невозможности» <sup>9\*</sup>.

<sup>8\*</sup> Во всяком случае, именно он, как нам представляется, лучше и быстрее других понял, какую поддержку могут оказать открытия Галилея движению либертинизма. См. его «Путешествие в государства Луны».

<sup>9\*</sup> *Febvre L. Le problème de l'incroyance. P. 473.*

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## УРОКИ ЛЮСЬЕНА ФЕВРА

На наших глазах происходит возрождение интереса к истории. Этот интерес не попытка уйти от современности, укрыться от нее — он вызван противоположными причинами. Для того чтобы разобраться в нынешнем положении вещей и ориентироваться в мире, необходимо обрести прочную опору в прошлом, близком и далеком, в отечественной и мировой истории. Человек, гражданин все яснее и острее ощущает личную причастность к ней, ответственность за происходящее в собственной стране и в мире. Сознательно или инстинктивно он пытается восстановить «связь времен», оставшуюся разорванной на протяжении целого периода нашей жизни. Историческое знание всегда составляло важнейший аспект самосознания общества: понять самих себя можно лишь в исторической перспективе, притом достаточно глубокой и широкой, в сопоставлении с другими — с людьми, которые принадлежат к иным цивилизациям, к минувшим эпохам. И поэтому пробуждение гражданских чувств у наших соотечественников вполне естественно сопровождается интенсивным поиском корней.

Это оживление внимания к истории в первую очередь направлено на недавнее прошлое, столь долго замалчивавшееся, обогнанное и искаженное. Но пытливое внимание к истории не ограничивается и не может ограничиваться одной страной. Вся история, начиная с древних эпох, нуждается в научном освещении и правдивом изображении. «Вся история» — не только отечественная, но и всемирная, ибо невозможно прилагать к своей истории масштабы, не сопоставимые с масштабами истории человечества. Интерес исключительно к истории своей страны при забвении всего остального чреват культурным изоляционизмом и интеллектуальным провинциализмом, но мы чересчур долго страдали и от того и от другого, чтобы вновь к ним возвратиться. Такова одна из причин того пристального внимания, с каким мы обращаемся к научному наследию выдающихся ученых, работавших в области всеобщей истории.

Но есть и другая, не менее важная причина подобного интереса. Наше историческое знание переживает серьезный кризис. Не является ли симптомом этого кризиса, в частности, тот факт, что советская наука утратила международные позиции, которые были приобретены поколениями В. О. Ключевского, Н. И. Кареева, П. Г. Виноградова, И. В. Лучицкого, М. М. Ковалевского.

М. И. Ростовцева, Н. П. Грацианского, Е. А. Косминского, О. А. Добиаш-Рождественской? Кризис распространился на самое «ремесло» историка, на то, как он работает, какими категориями мыслит, на историческую гносеологию.

Крен в историю хозяйства, политических или правовых институтов либо уход в плоскую описательность, без серьезных попыток вскрыть глубинный и событийный смысл и прежде всего их человеческое содержание, традиционализм в постановке проблем и боязнь новых, в особенности проблем культуры, духовной жизни, — таковы некоторые из симптомов упадка исторической науки, объясняющие длительное отсутствие интереса к ней в недавнем прошлом. Труды историков по большей части не отвечают насущным потребностям общества и в системе нашего самосознания остаются неэффективными. Если вспомнить хотя бы, какой исключительный интерес в 40-е годы прошлого века вызывали публичные лекции Т. Н. Грановского об истории западноевропейского средневековья<sup>1</sup>, то контраст очевиден.

Давно назрела необходимость существенно обновить понятийный аппарат исторической науки, резко расширить проблематику исследований. Но подобного обновления невозможно было достигнуть в состоянии летаргии, охватившей историческую науку, пожалуй, еще полнее и сильнее, нежели другие отрасли знания. Теперь обстановка изменилась, и историки обязаны мыслить более свободно и перспективно. Одно из главнейших условий преодоления кризиса науки — освоение опыта, накопленного мировой исторической мыслью за последние десятилетия, — опыта, который в немалой степени прошел не замеченным нашими историками. Разумеется, это освоение должно заключаться во вдумчивом анализе трудов по истории и методологии истории, в отделении ценного от наносного. Но главное состоит в том, чтобы выявить новые тенденции в развитии исторической мысли, новые подходы к материалу, новые методы его расчленения и синтеза, дающие возможность иначе и глубже проникнуть в человеческую реальность. «Борьба с буржуазной историографией», ограничивающаяся отвержением, по сути дела, всего, что создано за рубежом, и наклеиванием «ярлыков», принесла горькие плоды: научное сектантство неизбежно повлекло за собой игнорирование достижений мировой науки и отставание от ее уровня.

Среди этих достижений, поднявших общий уровень гуманитарного знания, виднейшее место по праву занимают труды крупнейшего французского историка Люсьена Февра.

Творчество Февра приходится на первую половину нашего столетия. Но принадлежит ли сделанное им исключительно истории исторической науки? Можно ли считать его труды всего

<sup>1</sup> Дмитриев С. С. Грановский и русская общественность // Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 323 и след.



лишь «памятником исторической мысли», всецело относящимся к минувшему ее этапу? Или же это живое наследие, продолжающее активно «работать», обогащая творчество ныне живущих историков? Перевернута ли та яркая страница французской — и не одной лишь французской — историографии, которая была им в свое время написана? Вот, собственно, главный вопрос, встающий при публикации перевода методологических статей ученого.

Вопрос не из легких, но, как мы надеемся показать, в высшей степени существенный. Существенный прежде всего для понимания современного исторического знания и выявления тенденций его развития, перспектив, вырисовывающихся в свете опыта, накопленного Клио за последние десятилетия. Ибо Февру принадлежит особое место в исторической науке XX в., и в плеяде выдающихся историков этого века он высится как новатор, который оставил неизгладимый отпечаток на проблематике, методологии и исследовательской практике. Ни одного другого историка — за исключением, может быть, его друзей и соратников Марка Блока и Фернана Броделя — не цитируют в западной историографии столь же часто, как Люсьена Февра — он был и до сих пор остается крупнейшим авторитетом и эталоном. Его научная деятельность ознаменовала начало нового этапа в развитии исторической мысли. Выдающийся новатор и организатор науки истории, Февр обеспечил ей то видное место, которое она занимает в интеллектуальной жизни Франции. Бродель назвал его крупнейшим французским историком со времен Жюлья Мишле<sup>2</sup>.

Обидно, что отечественный читатель (не говорю о специалистах) до сих пор был лишен возможности познакомиться с трудами Февра. Нет сомнения, что, если б книги Февра, и прежде всего его классическое исследование «Проблема неверия XVI века: Религия Рабле», появились в переводе на русский язык, наши умственные горизонты были бы шире, а понимание истории — глубже. С сожалением приходится констатировать, что участь Февра разделило большинство виднейших зарубежных историков нашего столетия, повезло лишь единицам, да и то неизменно с досадным опозданием<sup>3</sup>.

Предлагаемый нами сборник статей Февра только отчасти заполнит этот пробел, но заполнит его в весьма существенном отношении. Дело в том, что научная деятельность Февра не исчерпывалась исследованием культуры и психологии людей XVI в. и творчества таких личностей, как Лютер, Рабле, Десперье, Маргарита Наваррская, — свою главнейшую задачу он усматривал в

<sup>2</sup> Braudel F. Lucien Febvre et l'histoire // Annales. E.S.C. 1957. N 3. P. 178.

<sup>3</sup> «Осень средневековья» голландского историка Йохана Хейзинги, отчасти предвосхитившая направление работ его современника Февра, впервые изданная в 1919 г. и давно переведенная на все основные языки науки, появилась в русском издании спустя почти 70 лет! Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988.

обосновании новых принципов исторического познания. Сборник демонстрирует «битвы Февра за историю», за новую историческую науку в его понимании — «науку о человеке». Пафос всего творчества ученого — возвращение историческому знанию утраченного им гуманистического содержания, насыщение истории проблематикой, связанной с жизнью современного общества и диктуемой коренными, глубинными запросами, волнующими цивилизацию, к которой принадлежат историки. «Бои за историю» Февр вел с эрудитской историографией, укрывшейся от действительности за каталогами и ящичками с выписками из древних текстов, в которых она была неспособна ощутить живых людей. Его друг и вдохновитель философ Анри Берр называл это направление «историзирующей историей», а сам Февр издевался над теми историками, в трудах которых крестьяне пахали «не плугами, а картуляриями» — сборниками хартий, упоминающих крестьян в качестве объектов эксплуатации и имущественных сделок господ. Под пером «историзирующих историков», замкнувшихся в «башню из слоновой кости» «мандаринов» университетской науки (сатирические, но вместе с тем близкие к действительности портреты подобных эрудитов, буквально утонувших в своих выписках, оставил Анатоль Франс, вспомним его персонажей — Фульгенция Тапира, Сарбетта и Сильвестра Боннара), реальная жизнь подменялась текстами памятников, которым придавалось самодовлеющее значение — как способа демонстрации снобистского всезнания мелочей.

Февр начал борьбу против этой традиционной и социально бесплодной историографии вместе с Марком Блоком и неустанно продолжал ее почти столетия. Февр писал о Блоке, ученом и герое французского Сопротивления: «Он был великим историком не потому, что накопил большое количество выписок и написал кое-какие научные исследования, а потому, что всегда вносил свою работу ощущение жизни, которым не пренебрегает ни один подлинный историк»<sup>4</sup>. Эти слова можно отнести и к самому Февру. В основанном в 1929 г. Февром и Блоком журнале «Анналы экономической и социальной истории» и появилась большая часть полемических, критических и исследовательских статей Февра, затем объединенных в сборники, самые известные из коих носят названия «Бои за историю» и «За историю во всей ее полноте».

Естественно, не все статьи представляют ныне равный интерес, кое-что было слишком тесно связано с моментом их написания, другие же — и их большая часть — не утратили своего принципиального значения; они-то и вошли в публикуемый сборник.

<sup>4</sup> *Febvre L. Marc Bloch // Architects and Craftsmen in History. Festschrift für Abbott Payson Usher. Tübingen, 1956. P. 77.*

\* \* \*

Особое место Люсьена Февра (1878—1956) во французской историографии определилось вскоре после окончания им Высшей нормальной школы в Париже. Он выделялся среди коллег широтой взглядов, оригинальностью постановки вопроса и изначальной тягой к междисциплинарному подходу в историческом исследовании. Молодой профессор Дижонского университета опубликовал в 1911 г. диссертацию «Филипп II и Франш-Конте»<sup>5</sup>, в которой история этой провинции изучалась им в политическом, социальном, религиозном аспектах с особым вниманием к естественно-географической среде и взаимодействию с ней людей. Февр всегда настаивал на необходимости укоренить изучаемые историками человеческие, общественные феномены в природном окружении, задолго предвосхищая тот интерес к экологии, который пробудился у менее чутких ученых лишь после того, как экология оказалась под угрозой тотального разрушения.

Такой подход с еще большей ясностью обнаруживается в его синтетическом труде «Земля и человеческая эволюция, географическое введение в историю» (1922), написанном для основанной и редактируемой Анри Берром серии «Эволюция человечества»<sup>6</sup>. К этому времени Февр уже преподавал в Страсбургском университете (с 1919 г.), который после присоединения Эльзаса к Франции стал одним из ведущих научных учреждений страны. Здесь сложилась чрезвычайно благоприятная для исследовательской мысли среда. Важными для Февра были дружба и интенсивное интеллектуальное общение с социологом М. Хальбваксом, психологом Ш. Блонделем, историком права и церкви Г. Лебра, географом А. Болигом. Большое влияние на формирование Февра-историка оказали такие видные ученые, как представитель школы «человеческой географии» П. Видадь де ла Блаш, глава французской социологической школы Э. Дюркгейм и философ и социолог А. Берр, который задался целью существенно обновить историческое знание.

Но особое значение для дальнейших судеб французской исторической науки имело сближение Февра с Марком Блоком, переросшее вскоре в тесную дружбу и постоянное сотрудничество. В созданном ими журнале «Анналы экономической и социальной истории» были продолжены и развиты тенденции, намеченные Анри Берром в «Журнале исторического синтеза». Получив постоянную трибуну, Блок и Февр развернули бурную деятельность; достаточно сказать, что за первые двадцать лет существования журнала Февр опубликовал в нем почти тысячу статей,

<sup>5</sup> *Febvre L. Philippe II et la Franche-Comté, étude d'histoire politique, religieuse et sociale.* P., 1912 (2<sup>e</sup> éd. 1970).

<sup>6</sup> *Febvre L. La Terre et l'évolution humaine, introduction géographique à l'histoire.* P., 1922 (2<sup>e</sup> éd. 1970).

критических обзоров, заметок и откликов на книги, программ. Во всех этих работах он последовательно отстаивал свое понимание науки истории. Им был разработан оригинальный план обновления гуманитарного знания, положенный в основу нового издания «Французская энциклопедия» (1932): преодоление барьеров между разными дисциплинами, предпочтение, отданное проблемам перед эмпиризмом и фактоописанием.

С 1933 года Февр — профессор Коллеж де Франс в Париже. После окончания второй мировой войны он уже признанный глава французской исторической школы. В 1947 году Февр возглавляет основанную им VI секцию Практической школы высших исследований (экономические и социальные науки) (ныне — Практическая школа высших исследований в социальных науках). В VI секции Февр с помощью Ф. Броделя и Ш. Моразе последовательно проводил в жизнь свою программу — междисциплинарный подход к проблемам человека. Велик список должностей и постов Февра. Он — член Французского института (Академии моральных и политических наук), председатель Национального комитета историков Франции, президент Комитета по истории второй мировой войны, член комиссии по разработке проекта реформы образования во Франции, член французской делегации в ЮНЕСКО, редактор журнала «Тетради всемирной истории», основатель «Журнала истории второй мировой войны», председатель научного совета серии «Дух Сопротивления», руководитель издания «Французская энциклопедия». До конца своих дней он возглавлял редакционную коллегию журнала «Анналы», который после войны носит название «Анналы. Экономика, цивилизации, общества».

Авторитет первого историка Франции Февр — ученый широчайшего диапазона и энциклопедической образованности, великолепный стилист и острый полемист — завоевал исследованиями по истории XVI в. Его книги «Судьба: Мартин Лютер», «Ориген и Деперье, или Загадка Кимвала мира», «Вокруг Гептамерона, любовь священная и любовь мирская» и прежде всего «Проблема неверия в XVI веке: религия Рабле»<sup>7</sup> далеко выходили за рамки обычных исторических биографий или очерков истории духовной жизни. В этих работах Февра занимал вопрос: каковы пределы мысли того или иного деятеля Реформации или Ренессанса, представлявшиеся ему его эпохой и средой? Интеллектуальная биография личности, по Февру, не что иное, как история общества; достижения его героев коллективно обусловлены. Великий человек — дитя своего времени и наилучший, наиболее совершенный

<sup>7</sup> *Febvre L. Un declin, Martin Luther. P., 1928 (2<sup>e</sup> éd. 1968); Idem. Origène et des Périers ou l'énigme du Cymbalum Mundi. P., 1942; Idem. Autour de l'Heptaméron, amour sacré, amour profane. P., 1944 (2<sup>e</sup> éd. 1971); Idem. Le problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle: La religion de Rabelais. P., 1942 (2<sup>e</sup> éd. 1968).*

выразитель его культуры и способов познания мира. Но он не растворяется в коллективном сознании, и в «Лютере» Февр внимательно приглядывается к тому напряжению, которое возникало между его героем и немецким обществом первой половины XVI столетия. Воссоздавая оригинальный стиль мышления Рабле или Лютера, Февр пытается вместе с тем распознать в нем стиль эпохи. Именно поэтому он стремится воссоздать ту историческую атмосферу, в которой формировались взгляды великого человека. Не герой творит эпоху, эпоха делает героя, и ее нужно «прочитать» в текстах, им оставленных. «Круг определяет центр», и те же Рабле и Лютер не «герои эпохи», а ее «герольды»<sup>8</sup>.

\* \* \*

Итак, «Проблема неверия в XVI веке: религия Рабле» — самое известное и капитальное произведение Февра. Полстолетия миновали с момента первой публикации этой книги (1942), с тех пор появилось множество новых исследований, посвященных творчеству Рабле; современное литературоведение кое в чем пересмотрело выводы Февра, указав на односторонность некоторых его наблюдений, открыв новые аспекты романов великого гуманиста и писателя. И тем не менее труд Февра не утратил значения. Ибо главное в этой работе не роман Рабле и не взгляды Рабле, которые, вероятно, могут получить еще не одно истолкование. Самое интересное у Февра — подход к изучению духовной жизни прошлого. На первой странице книги читаем: «Историк не тот, кто знает. Историк — тот, кто ищет»<sup>9</sup>. Таков принципиальный подход Февра к истории, присущий всему его творчеству и положенный в основу исследования романа Рабле. Именно в этом смысле книга Февра оказалась более всего плодотворной и новаторской. Она яркий документ истории исторической науки нашего столетия. Препопанные Февром уроки метода остаются поучительными и в наши дни.

Самый тяжкий и распространенный грех историков — грех анахронизма. Предпосылка, из которой сознательно, а чаще сами того не ведая, исходили ученые — предшественники и современники Февра (многие исходят и по сей день), — это уверенность, что человек во все эпохи своего развития оставался неизменной величиной, одинаково относился к миру, чувствовал и мыслил в древности или в средние века точно так же, как и в новое время. Февр неустанно боролся с тенденцией проецировать на экран прошлого наши чувства и идеи и изображать Рамзеса II, Цезаря, Карла Великого, Филиппа II и Людовика XIV по образцу «Дюпона или Дюрана 1938 года»<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> *Mairet G.* Le discours et l'historique: Essai sur la représentation historique du temps. P., 1974. P. 81.

<sup>9</sup> *Febvre L.* Le problème de l'incroyance... P. 1.

<sup>10</sup> *Febvre L.* Combats pour l'histoire. 2<sup>e</sup> éd. P., 1953. P. 215.

Книга «Проблема неверия в XVI веке», собственно, и посвящена развенчанию подобного предрассудка. Предшественник Февра, исследователь творчества Рабле Абель Лефран, мэтр французских раблеведов, утверждал, что этот гуманист был законченным атеистом и рационалистом, к которому непосредственно восходит вольномыслие последующие столетий<sup>11</sup>. Но прежде чем давать оценку тем или иным высказываниям и ситуациям в романе Рабле, пишет Февр необходимо поставить более общие вопросы: каковы объективные условия для возникновения умонастроения, ныне называемого атеизмом, и существовали ли подобные условия в XVI столетии? Не впадаем ли мы в модернизацию, когда навыки современного сознания, вскормленного наукой нового времени, влагаем в головы людей эпохи до Декарта? Каков был способ *их* мировосприятия, что формировало *их* отношение к действительности, присуще ли было им столь же четкое разграничение между естественным и сверхъестественным, т. е. неотъемлемые предпосылки научного мышления? Вот в чем значение исследования Февра о Рабле. Некоторые новейшие специалисты оспаривают его мысль о невозможности появления мыслителя-атеиста в первой половине XVI в. Допустим. Однако постановка вопроса Февром не исчерпывается тем, мог или не мог появиться во Франции времен Франциска I человек, который порвал бы с христианством. Более того, исследование Февра о Бонавентуре Десперье, который вслед за античным критиком христианства Цельсом видел в Христе «трикстера», «невежественную посредственность», а религию сводил к собранию бессмысленных сказок, доказывает, что сам Февр допускал возможность индивидуального свободомыслия в те времена<sup>12</sup>.

Самое существенное заключается не в этом, а в том, имелись ли тогда социальные и интеллектуальные предпосылки для распространения подобных идей? Иначе говоря, каково соотношение личной инициативы индивида и социальной необходимости, каковы условия, когда идеи и поступки того или иного человека приобретают значение исторического деяния? «Такова капитальная проблема истории»<sup>13</sup>.

Февра занимал вопрос: каков должен быть метод исследования роли личности и ее мировоззрения, ее вклада в развитие общества. Взгляды индивида репрезентативны для его времени и среды, но, чем значительнее и ярче человек, тем оригинальнее могут оказаться его идеи и творчество, и здесь возникает вопрос о приемлемости его идей, о том, завладеют ли они умами современников, как то было с Лютером, или же останутся неким про-

<sup>11</sup> *Lefranc A. Oeuvres. P., 1912–1931. Vol. 1–4.*

<sup>12</sup> *Febvre L. Origène et des Périers...*

<sup>13</sup> *Febvre L. Le problème de l'incroyance... P. 381; Idem. Un destin, Martin Luther. P. 1.*

рывом в будущее, но не найдут резонанса в его собственном времени (случай Деперье).

Мысль, высказанная задолго до начала методологических споров во французской историографии, — мысль, что нельзя судить об эпохе на основании одних только заявлений ее идеологов, вырабатывающих «ложное сознание» (Маркс), — эта мысль о «замутненности», «непрозрачности» идеологических систем, камуфлирующих общество, их порождающее<sup>14</sup>, оставалась чуждой традиционным историкам, которые сосредоточивали внимание на исследовании деяний и высказываний выдающихся исторических персонажей, сплошь и рядом принимая последние за чистую монету. Февр признавал эту опасность. Подобно тому как в 1900 году мелкие буржуа привешивали к «опасным людям» этикетку «анархистов», а в 1936 году причисляли их к «коммунистам», так в XVI в. идейные противники обвиняли друг друга в «атеизме». Но, вопрошает Февр, что же реально в ту эпоху это понятие означало?

Февр, как и Блок, достаточно далекий от теоретических аспектов социологии знания, пришел тем не менее к чрезвычайно важному выводу: историк должен стремиться обнаружить те интеллектуальные процедуры, навыки сознания, способы мировосприятия, которые были присущи людям данной эпохи и в которых они не отдавали себе ясного отчета, применяя их как бы «автоматически», не рассуждая и не подвергая их критике. При таком подходе удастся пробиться к более глубокому пласту сознания, теснейшим образом связанному с социальным поведением людей, «подслушать» то, о чем эти люди «проговаривались» — независимо от своей воли<sup>15</sup>.

Такой подход предполагает самое внимательное исследование словаря эпохи, равно как и присущих ее людям символических действий, их поведения. В сфере внимания историков должно быть «все, что причастно человеку, зависит от человека, исходит от него, выражает его, свидетельствует о присутствии, деятельности, вкусах и способах существования человека». Новый смысл приобретает изучение свидетельств литературы и искусства, конфигурации полей и характера пейзажей, данных археологии и истории техники. Нужно «заставить заговорить немые вещи, чтобы они рассказали о своих создателях то, чего сами они о себе не рассказали, — не в этой ли постоянно возобновляемой попытке самая важная и, несомненно, самая захватывающая сторона нашего исторического ремесла?»<sup>16</sup> )

<sup>14</sup> *Burquière A. L'anthropologie historique // La nouvelle histoire / Sous la dir. de J. Le Goff et al. P., 1978. P. 44.*

<sup>15</sup> Подробнее см.: *Гуревич А. Я. Марк Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд., доп. М., 1986. С. 205 и след.*

<sup>16</sup> *Febvre L. Combats... P. 428.*

Февр не был склонен видеть в историке судью; дело его — не выносить приговоры, но понимать (ср. М. Блок. «Судить или понимать?»<sup>17</sup>). Тем не менее в книге о Рабле он выступает в роли следователя, взвешивая одно за другим показания за и против религиозности французского гуманиста. Однако в ходе расследования выясняется: для того чтобы установить истину, недостаточно рассмотреть те или иные свидетельства о самом Рабле — анализу подлежит весь духовный универсум эпохи. Ибо основные категории, которыми мыслил Февр, — «эпоха» и «цивилизация». С его точки зрения, в цивилизации воплощено единство всех сторон материальной и духовной жизни. Февр настаивал на качественных различиях между цивилизациями, утверждая, что каждая из них на определенной стадии развития имеет неповторимые особенности, собственную систему мирозерцания. Понять специфику цивилизации и поведения принадлежащих к ней людей — значит реконструировать присущий им способ восприятия действительности, познакомиться с их «мыслительным и чувственным инструментарием», то есть с теми возможностями осознания себя и мира, которые данное общество предоставляет в распоряжение индивида. Индивидуальное же видение мира, по Февру, не что иное, как один из вариантов коллективного мировидения.

В книге о Рабле Февр вводит понятие «духовного оснащения» (*outillage mental*) человека. Для того чтобы в сознании людей XVI в. пустил корни атеизм, должно было существенным образом измениться мировосприятие, которое перешло к ним по наследству от средних веков. Но анализ индивидуального творчества мыслителей и поэтов французского Возрождения, равно как и коллективной психологии их современников, приводит Февра к противоположному заключению. Ибо ни в словаре людей XVI в., ни в их сознании, находившем в языке выражение и опору, еще не содержалось того материала, с помощью которого они могли бы создать новую картину мира.

Мало того, крупнейшие общественные движения XVI в. приняли форму Реформации, религиозных войн. Даже в следующем столетии современники Декарта и Галилея были охвачены массовыми психозами типа пресловутой охоты на ведьм.

В чем же коренятся особенности поведения и мышления людей того времени? Ответ Февра гласит: в образе жизни эпохи, в образе жизни, который оставался по сути своей средневековым. Новое, характерное именно для XVI в. — например, открытие гелиоцентрической системы мироздания или великие географические открытия — при всей колоссальной его значимости для будущего в то время не было адекватно оценено современниками.

Февр, как мне кажется, не доводит своего объяснения до конца. Не только косный быт тесно связанных с природой людей,

<sup>17</sup> Блок М. Апология истории... С. 79.



побуждавший их воспринимать время и пространство «на средневековый манер», и не одна наследственная сила религиозных верований и суеверий воздвигали в их умах прочные барьеры всему неизведанному, неслыханному, а значит, и неприемлемому, но и устойчивость традиционных социальных групп, в которых протекала жизнь основной массы европейского населения, крестьян и горожан, то есть цепкость старой социально-экономической системы, — не в этом ли в конечном счете следовало бы усматривать слабую восприимчивость к новому, враждебному по отношению к устоявшемуся укладу жизни?

Любопытно и, более того, симптоматично, что в объемистой книге Февра о Рабле, где затронуты самые разнообразные стороны французской и европейской действительности XVI столетия — от литературы и богословия до контрастов дня и ночи и «визуальной отсталости» человека той эпохи, склонного скорее полагаться на слуховые, нежели на зрительные, восприятия<sup>18</sup>, отсутствует такое понятие, как феодализм. Из широкой исторической панорамы, охваченной исследованием Февра, «выпали» собственно социальные отношения, структура общества. Едва ли было бы целесообразно выставлять оценку работам Февра на основе марксистского понимания общества и исторического процесса — ученый был далек от марксизма<sup>19</sup>. Лишь в следующем поколении марксизм начал оказывать заметное и более прямое воздействие на умы передовых французских историков. Но попробуем остаться на позициях, так сказать, имманентной критики, в пределах тогдашней школы «Анналов».

Достаточно сравнить «главную» книгу Февра с основным трудом его друга и — во многом — единомышленника Блока «Феодальное общество»<sup>20</sup>, чтобы сделалось ясным, что их научная методология далеко не идентична. Для Блока центральная категория исследования — «общество», для Февра же, как уже было сказано, — «цивилизация». Разница не столько в объеме понятий (цивилизация — понятие более широкое), сколько в их содержании. Февр обращает сугубое внимание на духовную жизнь, в частности и прежде всего на психологию людей; экологические, географические и иные материальные факторы живо

<sup>18</sup> Мысль Февра о «визуальной отсталости» людей XVI в., которую они, очевидно, разделяли с предшествующими поколениями, вызвала, и не без основания, сомнения у других исследователей. Отмечено, в частности, что вряд ли литературные произведения, на которые в данном случае ссылался Февр, способны адекватно передать визуальные восприятия. См.: *Duby G. Histoire des mentalités // L'histoire et ses méthodes / Ed. Ch. Samaran. P., 1961. P. 956 (Encyclopédie de la Pléiade).*

<sup>19</sup> См.: *Далин В. М. Историки Франции XIX—XX веков. М., 1981. С. 189 и след.; Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980. С. 70 и след.*

<sup>20</sup> *Bloch M. La société féodale. P., 1939, 1940. Т. 1—2. Ср.: Bloch M. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. P., 1931.*

интересовали его постольку, поскольку они влияют на восприятие людьми окружающего мира. Мало того, сами эти материальные факторы — будь то богатство, труд и другие явления экономической жизни — Февр был склонен расценивать преимущественно как «психологические феномены», как «факты верований и убеждений».

Между тем в фокусе научных интересов Марка Блока наряду со всеми этими условиями жизни стоят социальные связи, классовая структура, и их он рассматривает наиболее подробно и глубоко. С точки зрения Блока, средневековое общество есть некое единство всех аспектов: производства, отношений господства и зависимости, политической власти, мировосприятия, причем социальный строй, аграрная структура стоят у Блока на первом месте.

Февр же предпочитал понятию «структура» более расплывчатые термины: «ритмы, пульсации, течения и контртечения»<sup>21</sup>. Конечно, различие между Блоком и Февром — это различие между специалистом по социальной истории, исследователем экономики и общества, с одной стороны, и историком культуры, идей, психологии — с другой. Но в данном случае существенно отметить различия в понимании тем и другим иерархии факторов, детерминирующих исторический процесс<sup>22</sup>.

Февр многократно высказывался против априоризма исторических оценок и построений, против навязывания живой истории «прокрустовых» систем<sup>23</sup>. С этим трудно не согласиться. Но, принимая во внимание пафос синтеза, провозглашенного Февром в качестве цели исторического исследования, невольно задаешь себе вопрос: достигается ли синтез посредством определенной организации различнейших факторов, которые действуют в истории, организации, подчиненной некоей теории, концепции исторического процесса, либо же синтез этот мыслится как эклектическое объединение разнородных сил и течений<sup>24</sup>.

Возвратимся, однако, к книге Февра о Рабле. Ее главный нерв, мысль, пронизывающая все изложение, — это демонстрация качественного несоответствия, противоположности структуры со-

<sup>21</sup> Цит. по: *Mann H.-D.* Lucien Febvre: La pensée vivante d'un historien. P., 1971. P. 126.

<sup>22</sup> В этой связи нелишне сослаться на свидетельство Жоржа Дюби, одного из виднейших современных французских медиевистов. Напомнив слова Блока о Марксе: «Никто не превзошел его в силе социального анализа», Дюби продолжает: «...молодые французские историки, которые после 1945 года стали внимательно изучать труды Маркса, без труда приняли почти все методологические предложения Марка Блока» (*Duby G.* Préface // Bloch M. Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien. 7<sup>e</sup> éd. P., 1974. P. 12 sqq.).

<sup>23</sup> *Febvre L.* Le problème de l'incroyance... P. 10; *Idem.* Combats... P. 16, 25, 433.

<sup>24</sup> *Mairet G.* Op. cit. P. 65 sqq., 85; *Афанасьев Ю. Н.* Историзм против эклектики.

знания людей XVI в. и людей XX в. Истоки научного мышления нужно искать в более позднем периоде, нежели Ренессанс. Здесь, между временем Рабле и новым временем, пролегал глупая бездара. Иначе обстоит дело, когда мы пытаемся, исходя из работы Февра, отграничить эпоху Рабле от средневековья. Ведь, по сути дела, все, что пишет Февр о специфике мировосприятия современников мэтра Алькофрибаса, будь то их отношение к чуду или к авторитетам, будь то их верования и суеверия, пронизывавшие любые стороны их жизни,— все это, обильно подтвержденное источниками XVI столетия, могло бы быть без затруднений отнесено и к предшествующим столетиям: игнорирование противоположности естественного и сверхъестественного, традиционализм мышления и господство религиозного мировоззрения есть наследие, полученное Возрождением от средних веков.

«Медиевизация» Февром Ренессанса, способствовавшая пересмотру традиционных его оценок, встретила возражения ряда критиков. Правда, при этом стоило бы принять во внимание, что Февр в книге о Рабле не задавался целью развернуть целостную и уравновешенную картину духовной жизни XVI в.; не стремился он и всесторонне рассматривать творчество самого Рабле. Напоминая, книга Февра полемически направлена против модернизаторских толкований идей Рабле историками литературы, в силу чего упор неизбежно был сделан им на архаические, традиционные стороны мировоззрения французских гуманистов<sup>25</sup>.

Каждая культура представляет собой ансамбль, компоненты которого при всех противоречиях между ними тем не менее соотношены друг с другом, гласит центральный тезис Февра. Научное рационалистическое мировоззрение — основа последовательного атеизма и вольномыслия — нуждается в таких интеллектуальных опорах и предпосылках, каких не было и не могло еще быть в средние века. Критические нападки на теологов Сорбонны или веселый смех Панурга неправильно принимать за атеизм; подлинный атеизм в католической Франции первой полови-

<sup>25</sup> В работах учеников и последователей Февра эта диспропорция, естественно, была компенсирована показом не только традиционного, но и того нового, что внесла мысль передовых ученых и писателей в интеллектуальную жизнь Европы XVI в. См.: *Duby G., Mandrou R. Histoire de la Civilisation française*. P., 1958. Т. 1. P. 266 sqq., 293 sqq., 310, 325 sqq.; *Mandrou R. Introduction à la France moderne (1500–1640): Essai de psychologie historique*. P., 1961; *Idem. Des humanistes aux hommes de science (XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles)*. P., 1973; *Idem. Magistrats et sorciers en France au XVII<sup>e</sup> siècle: Une analyse de psychologie historique*. P., 1968. По признанию Мандру, последняя из упомянутых книг — плод его размышлений над статьей Февра «*Sorcellerie, sottise ou révolution mentale?*» (*Annales*. E.S.C. 1948. N 3).

ны XVI в., по убеждению Февра, не более правдоподобен, чем «Диоген с зонтиком или Марс с пулеметом»<sup>26</sup>.

Идея «потаенной» внутренней гомогенности культуры (относительной — при всех ее противоречиях!) ныне не кажется столь уж оригинальной и новаторской, но не будем забывать, что эта идея стала пускать корни в умах ученых лишь за последние десятилетия. Напомню лишний раз: книга Февра вышла в свет в 1942 году; в тот период еще не существовало ни структурной антропологии Клода Леви-Строса, ни «археологии знания» Мишеля Фуко и историки в массе своей были весьма слабо осведомлены о работах этнологов Марселя Мосса или Люсьена Леви-Брюля и едва ли догадывались, какое значение концепции этих этнологов могли бы иметь для их собственных исследований.

После всего, что было сказано об убежденной и последовательной борьбе Февра с анахронизмом в историческом исследовании, о модернизации сознания людей далеких от нас эпох, перо не поворачивается написать, что и сам автор труда о Рабле не избежал этого греха. Тем не менее такое обвинение — по-видимому, имевшее под собой определенные основания — было против него выдвинуто. На первый взгляд оно пришло с неожиданной стороны — из нашей страны.

В то самое время, когда Февр завершил и готовил к публикации «Проблему неверия в XVI веке», в далеком волжском городе Саранске мало кому известный тогда ссыльный филолог Михаил Михайлович Бахтин тоже работал над монографией о Рабле. «Книги имеют свою судьбу»... рукопись Бахтина стала книгой лишь в 1965 году<sup>27</sup>. Ныне труд Бахтина по праву считается капитальным вкладом не только в раблезистику, но и в теорию и историю культуры. Освежающее и стимулирующее воздействие его на отечественную, а затем и на мировую гуманитарную мысль трудно переоценить. Бахтин выдвинул и обосновал концепцию своеобразной народной культуры средневековья и Возрождения, которую квалифицировал как «карнавальную, смеховую культуру». Народная смеховая культура средних веков, насыщенная глубоким мировоззренческим содержанием, противостояла «серьезной», официальной, то есть церковной, культуре той эпохи, лишенной, по убеждению Бахтина, карнавально-смехового аспекта.

Было бы неуместно излагать здесь взгляды Бахтина, достаточно резюмировать его критику книги Февра. Смех, по Бахтину, в эпохи, предшествовавшие новому времени, обладал особой природой: он был амбивалентен, двуедин — он не только убивал, но и возрождал, в нем выражалась специфическая точка зрения на

<sup>26</sup> *Febvre L. Le problème de l'incroyance... P. 382.*

<sup>27</sup> *Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.*

мир, изначальная народная вера в неискоренимость жизни, в ее способность постоянно обновляться, прежде всего при посредстве животворящего смеха. Смех релятивизировал серьезное, отменял его абсолютизм и непререкаемость. Сферой господства смеховой культуры в средние века были фольклор, карнавал, площадное представление — короче, неофициальные пласты культуры; лишь в эпоху Возрождения, и именно в романах Рабле, эта народная культура с присущими ей образными формами вторгается на короткий период в «большую» литературу.

В разные эпохи смеются по-разному, и эти мировоззренческие богатства и полифонизм народного смеха были утрачены с переходом к новому времени. Вместе с тем и смысл народной культуры оказался для науки «книгой за семью печатями». Этой мирозерцательной функции смеха в средние века и во времена Рабле, когда карнавал выражал универсальный смеховой аспект мира, по мнению Бахтина, не понял Февр. Русский ученый воздает должное методологии французского историка, развенчивающего анахронистические построения Лефрана, более того, он признает, что в свете исследования Февра многие установившиеся взгляды на культуру XVI в. подлежат пересмотру. Но для Февра, как и для его предшественников, существует один только «серьезный» план культуры, только официальная культура, и он проходит мимо культуры народной с ее специфическим смехом, которого Февр «не слышит». «Художественное мировоззрение Рабле, — писал Бахтин, — не знает ни абстрактного и чистого отрицания, ни одностороннего утверждения»<sup>28</sup>.

Не заметив главного, с точки зрения Бахтина, — стихии народной и карнавальной культуры в творчестве и мировоззрении Рабле, — Февр «слышит раблезианский смех ушами человека XX века, а не так, как его слышали люди 1532 года». Но, спрашивает Бахтин, «так ли мы, люди XX века, смеемся, как смеялся Рабле и его читатели-современники?»<sup>29</sup> Февр исследует в романах Рабле преимущественно серьезное, между тем в образном мире гуманиста XVI в. возможна только «относительная серьезность», всегда сопровождающаяся смеховыми обертонами. Поэтому Февр прошел мимо предельного адогматизма и «исключительной внутренней свободы» художественного мышления, какие были свойственны той эпохе.

Я воздержусь от развернутой оценки этой критики, на мой взгляд наиболее серьезной из той, которой подверглась концепция Февра; иначе пришлось бы обсуждать и концепцию народной смеховой культуры самого Бахтина и это завело бы нас слишком далеко. Отмечу только, что при всех разногласиях оба исследователя склонны связывать художественное мирозерца-

<sup>28</sup> Там же. С. 145.

<sup>29</sup> Там же. С. 145, 146.

ние Рабле скорее со средневековьем, чем с Возрождением. Но Февр рассматривает его миросозерцание в контексте «высокой», официальной культуры, а Бахтин — преимущественно в контексте «низовой», народной-смеховой. Что же касается особой стихии смеха в давние времена, которую подчеркивает Бахтин, то следует признать: столь последовательно и развернуто применительно к средним векам двуединую природу смеха никто до Бахтина не выявлял и не раскрывал ее мировоззренческих основ<sup>30</sup>. Справедливости ради упомяну, однако, что именно Февр настаивал на плодотворности и желательности изучения истории человеческих эмоций, взятых не в изоляции, а в контексте эпохи и ее культуры. «Какие неожиданности можно здесь предвидеть!» — восклицал он<sup>31</sup>. Одна из этих неожиданностей — трактовка средневекового народного смеха Бахтиным, не предвиденная самим Февром!

Творчество писателя масштаба Рабле столь многопланово и сложно, в нем скрестились такие противоречивые тенденции, что возможны весьма разные его прочтения<sup>32</sup>. Поэтому едва ли правильно и плодотворно подходить к спору Бахтина с Февром как к дилемме, в которой истиной обладает лишь одна сторона. Рабле — писатель и мыслитель, в сознании которого воплотились культурные традиции гуманизма, стоял на вершине литературного развития средних веков и Ренессанса, но его же творчество, по словам Бахтина, представляет собой «незаменимый ключ ко всей европейской смеховой культуре в ее наиболее сильных, глубоких и оригинальных проявлениях»<sup>33</sup>.

Я бы прибавил к сказанному, что и для Бахтина и для Февра роман Рабле скорее средство, нежели цель: первый стремится выявить народную карнавальную стихию; второй использует произведение Рабле как свидетельство религиозной психологии во Франции в XVI в. Иными словами, задачи, поставленные перед собой обоими учеными, совершенно различны. И если Февр не сумел вскрыть с должными глубиной и историзмом смеховой субстрат образного мышления Рабле, то Бахтину, в свою очередь, можно было бы предъявить претензию, что он вообще прошел мимо религиозной жизни средневековья и Ренессанса, недооценив того несомненного факта, что, во-первых, карнавально-смеховой аспект так или иначе был присущ средневековой культуре на всех ее уровнях, включая и официально-церковный,

<sup>30</sup> Ср. посмертно опубликованные исследования О. М. Фрейденберг «Происхождение пародии» (Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6) и «Миф и литература древности» (М., 1978).

<sup>31</sup> *Febvre L. Combats...* P. 236.

<sup>32</sup> *Schrader L. Die Rabelais-Forschung der Jahre 1950—1960 // Romanistisches Jahrbuch. 1960. Bd. 11; Larmat I. Le Moyen age dans le «Gargantua» de Rabelais. Nice, 1973.*

<sup>33</sup> *Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 485.*

а во-вторых, «смеховая культура» едва ли представляла собой самостоятельную стихию: скорее она была теснейшим образом связана с вполне серьезным и мрачным мирозерцанием и являлась изнанкой страхов, неотделимых от тогдашнего мировосприятия<sup>34</sup>.

Построения обоих ученых односторонни, как, вероятно, и всякое новаторское исследование, в котором главное внимание сосредоточивается на вновь открытом аспекте изучаемого явления, но такая односторонность плодотворна. Споры о Рабле, о его творчестве и идеях, равно как и о культурной и идеологической жизни того времени, несомненно, будут продолжаться. Столь же несомненно и то, что всякому новому исследователю придется серьезно считаться и с концепцией Февра, и с концепцией Бахтина.

\* \* \*

Повторим: главное и наиболее ценное в книге Февра о Рабле и неверии в XVI в.— разработка проблемы ментальности, размышления о возможностях человеческого сознания воспринимать и осваивать мир, обусловленных его культурой и эпохой, о «мыслительном инструментарии», который в определенную эпоху находится в распоряжении человека, унаследован от предшествовавшего времени и вместе с тем неприметно изменяется в процессе его творчества, всей исторической практики. Неприметно, ибо ментальность, способ видения мира, отнюдь не идентична идеологии, имеющей дело с продуманными системами мысли; она во многом — может быть, в главном — остается непрорефлектированной и логически не выявленной. Ментальность не философские, научные или эстетические системы, а тот уровень общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций, от латентных привычек и приемов сознания, — люди ими пользуются, обычно сами того не замечая, не вдумываясь в их существование и предпосылки, в их логическую обоснованность.

Поэтому ментальность, принадлежащая сфере социальной психологии, не формулируется четко и непротиворечиво. Она принадлежит к «плану содержания», а не к «плану выражения». Это означает, что для выявления ментальности историку приходится не верить непосредственным заявлениям людей, оставивших те или иные тексты и другие памятники, — он должен докапываться до более потаенного пласта их сознания — пласта, который может быть обнаружен в этих источниках скорее как бы против их намерений и воли. Заслуга Февра в этом отношении заключалась прежде всего в том, что он воспринял те подходы в

<sup>34</sup> Подробнее см.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. Гл. 6.

изучении человеческой психики, которые разрабатывали психологи и этнологи, и смело использовал их в изучении истории. Коллективное неосознанное получило «право гражданства» в историческом исследовании.

Слово «*mentalité*», обозначающее ключевое понятие, введенное Февром и Блоком в историческую науку, трудно перевести однозначно. Это и «умонастроение», и «мыслительные установки», и «коллективные представления», и «склад ума». Но, вероятно, понятие «видение мира» ближе передает тот смысл, который они вкладывали в этот термин, применяя его к психологии людей минувших эпох<sup>35</sup>. Понятие «*mentalité*» приобрело «право гражданства» как раз в тот период, когда Февр начал борьбу за обновление исторического знания. Едва ли можно сомневаться в том, что на него оказал влияние труд уже упомянутого французского этнолога Люсьена Леви-Брюля «Первобытное мышление» (*La mentalité primitive*, 1922). До этого Леви-Брюль издал книгу «Ментальные функции примитивных обществ» (*Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures*, 1910). В этих книгах он подчеркивал «ирелогичность» и эмоциональную окраску сознания людей, не достигших стадии цивилизации. Речь шла прежде всего о коллективных представлениях, которые доминировали в первобытных обществах и резко контрастировали с образом мыслей, характерным для обществ цивилизованных.

В те же годы термин «*mentalité*» получает поддержку Марселя Пруста. *Mentalité*, по словам одного из персонажей романа «У Германтов», означает то же самое, что и «образ мыслей», но «никто не знает, что этим желают сказать»; «это нечто самоповерхнейшее, как говорится, „последний крик“». Другой собеседник отвечает: «*Mentalité* мне нравится. Есть вот такие новые слова, которые пускают в оборот, но они не прививаются»<sup>36</sup>.

Однако слово «ментальность» вопреки мнению героя романа привилось. В исторической науке его ожидала большая судьба. Ныне существует обширная литература, посвященная анализу этого понятия и того значения, которое оно имеет для постижения психологии и общественного сознания людей разных эпох и обществ<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> *Mandrou R. Histoire sociale et histoire des mentalités: La France moderne // Aujourd'hui l'histoire*. P., 1974. P. 221.

<sup>36</sup> *Proust M. A la recherche du temps perdu*. P., 1934. Т. 1: Le côté de Guermantes. P. 330; *Пруст М. В поисках за утраченным временем* / Пер. А. А. Франковского. М., 1936. Т. 3: Германты. С. 280–281. В новом переводе Н. Любимова (*Пруст М. В поисках утраченного времени. У Германтов*. М., 1980. С. 244) термин переведен, на мой взгляд, менее удачно — «направление».

<sup>37</sup> *Febvre L. Histoire et psychologie // Encyclopédie française*. P., 1938. Т. 8; *Duby G. Histoire des mentalités; Mandrou R. L'histoire des mentalités // Encyclopédia Universalis*. P., 1968. Т. 8; *Dupront A. D'une histoire des mentalités // Revue roumaine d'histoire*. 1970. Т. 9, N 3. P. 381–403;



Принципиально важно, что если Леви-Брюль и другие этнологи писали о специфической ментальности первобытных людей, то Февр и Блок применили это рабочее определение к сознанию людей других обществ: Блок — к людям раннего и классического средневековья, Февр — к людям эпохи Возрождения. Разумеется, эти ученые были далеки от намерения переносить психологические особенности дикарей на сознание людей феодального или раннебуржуазного периодов, но они убедились в том, что человек в разные эпохи мыслит неодинаково. Таким образом, позаимствовав понятие «ментальность» у собратьев по историческому ремеслу — этнологов, они стали применять его при изучении более сложных и развитых обществ<sup>38</sup>.

Контраст форм коллективного сознания и поведения первобытных людей, с одной стороны, и цивилизованных — с другой, бросался в глаза любому наблюдателю, прежде всего этнологу. Между тем различия в ментальностях людей средневековья и людей новейшего времени не столь очевидны, и историки до Февра и Блока их, как правило, в расчет не принимали, самое большее, речь шла о «косности», «недоразвитости» средневековых людей, о их «склонности к суевериям»<sup>39</sup>. Свои собствен-

*Le Goff J. Les mentalités: une histoire ambiguë / Ed. J. Le Goff, P. Nora // Faire de l'histoire. III. P., 1974. P. 76–94; Ariès Ph. L'histoire des mentalités // La nouvelle histoire. P. 402–423; Hutton P. H. The History of Mentalities: the New Map of Cultural History // History and Theory. 1981. T. 20, N 3. P. 237–259; Vovelle M. Idéologies et mentalités. P., 1982; Chartier R.*

*Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectories et questions // Revue de Synthèse. Sér. 3. 1983. Vol. 8. P. 277–307; Burguière A. La notion de mentalité chez Marc Bloch et Lucien Febvre: deux conceptions, deux filiations // Ibid. P. 333–345; Revel J. Mentalités // Dictionnaire des sciences historiques / Sous la dir. A. Burguière. P., 1986. P. 450–456; Mentalitäten im Mittelalter: Methodische und inhaltliche Probleme // Vorträge und Forschungen. Konstanz, 1987. Bd. 35; Гуревич А. Я. Некоторые аспекты научения социальной истории (общественно-историческая психология) // Вопр. ист. 1964. № 10; Он же. История и социальная психология: историкокультурный аспект // Источниковедение. М., 1969; Розовская И. И. Проблематика социально-исторической психологии в зарубежной историографии XX века // Вопр. филос. 1972. № 7; Афанасьев Ю. И. История против электизма; Он же. Эволюция теоретических основ школы «Анналов» // Вопр. ист. 1981. № 9; Он же. Вчера и сегодня французской «Новой исторической науки» // Там же. 1984. № 8; Идеология феодального общества в Западной Европе: Проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980; Культура и общество в средние века: Методология и методика зарубежных исследований. М., 1982.*

<sup>38</sup> Здесь нет надобности касаться вопроса об убедительности истолкования понятия «прелогическое сознание» Леви-Брюлем и его критики Клодом Леви-Стросом.

<sup>39</sup> Не употребляя понятия «ментальность», Йохан Хёйзинга, «Осень средневековья» которого Февр ценил очень высоко, по сути дела, им пользовался. Воображение, с его точки зрения, играет не менее важную роль в общественной жизни, нежели экономика. Иллюзия, разделяемая обществом или его частью, имеет для этих людей силу истины, а потому

ные представления историки ничтоже сумняшеся вкладывали в головы предков, живших тысячу или пятьсот лет до них, и, исходя из сегодняшнего «здорового смысла», объясняли поступки современников Григория Турского, Людовика Святого или Рабле. Основатели школы «Анналов» впервые со всей ясностью увидели ошибочность, более того, порочность подобной процедуры и встали против нее. Понятие «ментальность» при всей расплывчатости и неопределенности его содержания выражало обостренный историзм мышления Февра и Блока, историзм, распространенный на сферу эмоций и мировидения.

Именно в этой связи Февром было «выковано» и другое упомянутое выше понятие, сопряженное с понятием «ментальность», — «*outillage mental*», «психическая оснастка», «умственная вооруженность». Оно должно было конкретизировать ментальность. «Каждой цивилизации присущ собственный психологический аппарат», — писал Февр и продолжал: «Он отвечает потребностям данной эпохи и не предназначен ни для вечности, ни для человеческого рода вообще, ни даже для эволюции отдельной цивилизации»<sup>40</sup>.

Февр превосходно понимал, что сознание и его психологическая вооруженность суть достояние индивида. Но в каждом обществе на данной стадии развития существуют специфические условия для структурирования индивидуального сознания; культура и традиция, язык, образ жизни и религиозность образуют своего рода «матрицу» — в ее рамках формируется ментальность. Эпоха, в которую живет индивид, налагает неизгладимый отпечаток на его мировосприятие, дает ему определенные формы психических реакций и поведения, и эти особенности духовного оснащения обнаруживаются в коллективном сознании общественных групп и толп и в индивидуальном сознании выдающихся представителей эпохи — в творчестве последних при всех неповторимых, уникальных особенностях проявляются те же черты ментальности, ибо всем людям, принадлежащим к данному обществу, культура предлагает общий умственный инструментарий, и уже от способностей и возможностей того или иного индивида зависит, в какой мере он им овладел.

Влияние этнологии и психологии на мысль Февра несомненно. Но метод работы историка иной, нежели этнографа или психолога: он не может непосредственно общаться с людьми минувших времен и наблюдать их психическую жизнь в «полевых

должна быть предметом исторического исследования. В целом же до Февра изучение ментальностей не было свободно от тенденции сводить их к анекдоту, к историческим курьезам и историки не придавали этой стороне духовной жизни статуса серьезного предмета науки. См.: *Ariès Ph. L'histoire des mentalités*. P. 402—423.

<sup>40</sup> *Febvre L. L'outillage mental // Encyclopédie française*. P., 1937. T. 1. Сд.: *R. C. Outillage mental // La nouvelle histoire; Revel J. Outillage mental // Dictionnaire des sciences historiques*. P. 497—498.

условиях». Он способен лишь выявлять ее симптомы, как правило разрозненные, запечатленные в сохранившихся памятниках. По сути дела, в любом остатке прошлого так или иначе зафиксированы какие-то стороны духовной структуры людей, создателей некоего предмета или текста, — нужно лишь найти подход к данному источнику, разработать соответствующие методы его изучения, и тогда источник, возможно, заговорит, раскроет историю те тайны общественного сознания минувших времен, мимо которых проходили предшествовавшие истории. Главное и первейшее условие — исследовательская пытливость ученого, умелое задавание вопросов. «Всегда в начале — пытливый дух» — излюбленная формула Февра.

Общение с другими науками о человеке обогащает историка именно новыми вопросами, которые он, формулируя по-своему, задает своим источникам<sup>41</sup>. Отсюда — необходимость сотрудничества историка с представителями других наук, потребность у них учиться. О междисциплинарных подходах в гуманитарных науках говорят давно, но, к сожалению, по большей части не идут дальше самых общих рассуждений. Февр пытался, и подчас успешно, применить методы иных наук в историческом исследовании. Книга о Рабле — это книга историка, но историка, который смело вторгся в заповедные области религиоведения, филологии, лингвистики, психологии. Ныне историки, пошедшие по его стопам, работают во многом иначе, строже, у них — иная перспектива, больший опыт, но прорыв к такому комплексному, разностороннему подходу к историческим источникам одним из первых осуществил Февр.

Однако для Февра междисциплинарность, или, лучше сказать, полидисциплинарность, не самоцель, а средство построения науки о человеке, такой науки, которая охватывала бы самые различные аспекты его социальной жизнедеятельности — от высот интеллектуального творчества до отношения к природе. Поэтому и проблемы «человеческой географии» и экологии (термин, появившийся позднее), и проблемы индивидуальной и коллективной психологии, включая историю человеческих эмоций, и история техники, и изучение средств фиксации и распространения знания (книга в истории разных обществ и цивилизаций), и вопросы истории религии как на высших уровнях теологии, так и на уровнях обыденной религиозности, расхожих верований и ритуалов, а равно и массовых социально-психологических явлений, подобных пресловутой охоте на ведьм в период перехода от средневековья к новому времени, и фольклор, хранилище народных представлений о мире и человеке, и искусство, ярчайшее свидетельство мировосприятия данной эпохи, — все эти и многие

<sup>41</sup> См. об этом: Гуревич А. Я. Этнология и история в современной французской медиэвистике // Сов. этнография. 1984. № 5.

иные проявления общественного человека, человека в группе, человека своего времени, неизменно привлекали внимание французского историка.

Не все эти стороны жизни людей в равной мере были предметом углубленных изысканий Февра, историка Ренессанса по преимуществу, но все они входили в круг его интересов, и он живо откликался на те работы, в которых поднимались подобные вопросы, связывая их в целостное видение истории. Многочисленные статьи Февра в «Анналах» и других изданиях — свидетельства его неиссякаемого интереса к человеку в истории. Он энергично и решительно поддерживал новаторские исследования, отвергая установки традиционной историографии на разобщенную историю, которая разрабатывает какой-то один изолированный фрагмент жизни, не видя за деревьями леса, и лишена сколько-нибудь широкой исследовательской перспективы. Целостность видения истории, «стереоскопичность», стремление охватить конкретное многообразие и разноплановость обнаружений человека — неотъемлемая и характернейшая черта мышления Февра. Ведущим принципом школы «Анналов» сделался принцип «тотальной», или «глобальной», истории<sup>42</sup>.

«Тотальная» история не всемирная. Она может быть вполне локальной — историей какой-то местности, области, церковного прихода, ограниченного отрезка времени. Но это история людей, живших в определенном пространстве и времени, рассматриваемая с максимально возможного числа точек наблюдения, в разных ракурсах, с тем чтобы восстановить все доступные историку стороны их жизнедеятельности, понять их поступки в переплетении самых разных обстоятельств и побудительных причин. «Тотальная» история отказывается от разделения жизни людей на политическую, хозяйственную, религиозную или какую-либо еще частичную историю. Это история, взгляд на которую не закреплен жестко, но переклюкает внимание с одного аспекта на другие; это исследование, воссоздающее объемную картину исторической жизни, на многих ее уровнях. Таков был подход самого Февра к истории Франш-Конте при Филиппе II.

Разумеется, здесь возникает ряд вопросов. Каково соотношение разных факторов в историческом процессе? Каков их удельный вес, их воздействие на социальную жизнь людей? Для того чтобы избежать эклектизма, необходимо вычленить некое ядро, решающее звено в историческом объяснении, даже если историк

<sup>42</sup> *Le Goff J., Toubert P. Une histoire totale du moyen âge est elle possible? // Actes du 100<sup>e</sup> Congrès national des sociétés savantes. P., 1975; Section de philologie et d'histoire jusqu'à 1610. P., 1977. T. 1. P. 31—44. Иная оценка: Mandrou R. Histoire sociale et histoire des mentalités. P. 234—235. Особенно критично: Furet F. L'atelier de l'histoire. P., 1982. P. 5—34. Возражения против негативной позиции Ф. Фюре см.: Gurevič A. Ja. La storia, dialogo con gli uomini delle età passate // La teoria della storiografia oggi. Milano, 1983. P. 231—237.*

не склонен придерживаться узко понятого и угрожающего догматизмом монистического объяснения исторических явлений.

Как на эти вопросы отвечает Февр?

Прежде всего здесь приходится обратить внимание на то, что собственно социальная история, анализ состава общества и отношений между образующими его классами, сословиями и группами как бы выпадают из поля его зрения. Февр полагает, что поскольку история всегда и неизменно есть история людей, то человек как существо, обладающее психикой, мыслями, чувствами, и должен быть в центре интересов историка. С этим нужно согласиться: история не происходит вне людей, «над» людьми, силой, которая ее движет, являются люди. Февр признает, что люди входят в группы, в общество. Но социальный анализ не его стихия. В противоположность Марку Блоку Февр — историк культуры.

Между тем изучение ментальностей не самоцель и не какая-то обособленная область исторического знания. Едва ли правомерно говорить о независимой истории ментальностей. Если вдуматься в опыт историографии после Февра — на протяжении последних двух-трех десятилетий, — то можно утверждать: внедрение истории ментальностей связано с освоением нового аспекта социальной истории. Более того, необходимо переосмысление самого ее содержания и объема. В свете новых подходов, предлагаемых социально-исторической антропологией, социальная история лишается механицизма, игнорирующего живого человека. Он рассматривается не как жертва надличных и безличных сил, управляющих историей, не как пассивный участник событий, обусловленных глобальными законами, следовательно, не в качестве естественнонаучного объекта<sup>43</sup>. Его сознание — на всех уровнях, от философской рефлексии и вплоть до культурных стереотипов и коллективного бессознательного, — неизбежно и с необходимостью окрашивающее и во многом определяющее его социальное поведение, представляет собой неотъемлемый компонент жизнедеятельности общественных групп. Собственно, впервые тезис, гласящий, что история есть история людей, а не абстракций, приобретает конкретную наполненность и реализуется в самом исследовании.

Историческая наука постоянно сталкивается с гносеологической трудностью: как объединить в одну связную картину общество и культуру? Убедительного решения предложено не было; и исследования экономической и социальной истории, по существу, остаются никак не связанными с исследованиями истории духовной жизни. Труды историков, в которых делаются попытки сочетать эти две сферы функционирования общества, по

<sup>43</sup> Подробнее см.: Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // *Вопр. филос.* 1988. № 1. С. 56–70.

большей части остаются «синтезом переплетчика», социальное и культурное логически в них не сочленены и взаимно не обусловлены. Традиционное понимание «базиса» и «надстройки» доказало свою непригодность для объяснения реального взаимодействия указанных сфер единого целого.

Не является ли категория поведения тем «средним звеном», которое может их объединить? Общественное поведение индивидов и групп детерминировано материальной жизнью. Но эти детерминанты не определяют прямо и непосредственно поступков людей — они проходят сквозь сложные «фильтры» их сознания, преломляются в ментальности. Мировосприятие и культурная традиция, религия и психология суть та среда, где выплавляются реакции людей на объективные стимулы их поведения.

Разумеется, речь идет не о какой-то «психологизации» истории (и соответственно упреки, высказанные по адресу Февра и Блока, бьют, мне кажется, мимо цели<sup>44</sup>), а о понимании того, что любые объективные факторы исторического движения делаются его действительными пружинами, только пройдя через ментальность, сложно, подчас до неузнаваемости, их трансформирующую. Поэтому человек с его внутренним миром, психологией, в свою очередь исторически обусловленными, не может не стоять в центре исторического исследования.

Ментальности, в контексте традиционной историографии оставшиеся за пределами истории, как своего рода «внеисторичный остаток»<sup>45</sup>, не охватываемый исследованием экономики, социальной структуры, истории событий, литературы, искусства, в свете новых подходов становятся неотъемлемым и важным предметом истории. Неопределенность, расплывчатость, даже двусмысленность понятия «ментальность» обусловлены не только тем, что оно еще недостаточно прояснено историками логически. Эта неясность отражает существо дела: предмет не очерчен четко в самой ткани истории. Во всех без исключения проявлениях человека могут быть — и должны быть — обнаружены те или иные симптомы коллективной психической жизни, ее безличные, неиндивидуализованные аспекты и автоматизмы, то содержание сознания, которое не выражено эксплицитно и намеренно и коренится в потаенных глубинах социальной и индивидуальной психики.

К этому присоединяется еще одно обстоятельство. Историк работает с источниками. Но эти источники, будь то художественные, юридические или хозяйственные тексты, продукты и орудия труда, вообще любые предметы, вышли из рук человека, и потому на них лежит отпечаток их творца. Они не могут не отражать его представления, не запечатлевать те или иные психологические реакции, не фиксировать его позицию в мире и отношение

<sup>44</sup> См.: Далин В. М. Историки Франции... С. 188 и след.

<sup>45</sup> *Le Goff J. Les mentalités...* P. 76–94.

к нему. Поэтому любой историк независимо от целей его исследования вынужден так или иначе принимать в расчет ментальность людей, создавших изучаемые им тексты и иные памятники их жизнедеятельности. «Внешняя» историкокультурная критика достоверности памятника должна быть дополнена «внутренней» критикой его социально-психологического, культурологического содержания.

Общеметодологические следствия постановки проблемы ментальностей не были ясны Февру. Они не вполне ясны, по-видимому, и современному поколению школы «Анналов». Конкретное исследование они ценят выше теоретической рефлексии<sup>46</sup>. Конечно, история — прежде всего эмпирическое занятие и без погружения в материал общие рассуждения мало чего стоят. Но вместе с тем историческая наука достигла ныне той стадии, когда в высшей степени необходимо осмыслить аккумулированный ею опыт и вникнуть более глубоко в смысл того мощного историографического направления, которое именуют историей ментальностей или антропологически ориентированной историей.

\* \* \*

Как мы могли убедиться, Февр склонен понимать под ментальностями широкое поле чувств и мироощущений, свойственных людям в разные исторические периоды. Изучение ментальностей углубляет понимание истории, включая в нее те аспекты психической жизни, которые до Февра казались константами и игнорировались историками. Поэтому он считал важным предметом исследования историю самых различных человеческих эмоций. История общественных идей и научных знаний, настоятельно подчеркивал Февр, должна быть дополнена историей аффектов, исторической психологией.

Этот завет Февра был услышан и воспринят. Но каким образом был он реализован? Робер Мандру, специалист по истории Франции XVI—XVII вв., идя в целом в намеченном Февром направлении, набросал широкую картину социально-психологической жизни этого периода. Однако Мандру не изолировал историю эмоций и настроений от общей социальной истории. Эмоциональность, по Мандру, есть неотъемлемый аспект жизни общества. Невозможно говорить о социальных классах, не включая в это понятие и определенные черты культуры, которой обладали их члены, их самосознания и образ жизни<sup>47</sup>. Поэтому духовная жизнь должна быть исследована в тесной корреляции с социальной действительностью. Перипетии и противоречия последней

<sup>46</sup> Подробнее см.: Гуревич А. Я. «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности: (Критические заметки медиевиста) // История и историки, 1981. М., 1985. С. 99—127.

<sup>47</sup> Mandrou R. Histoire sociale et histoire des mentalités. P. 233.

суть источник тех массовых эмоциональных состояний, которые наблюдаются во Франции в период Ренессанса, Реформации и Контрреформации, религиозных войн и коллективных психозов.

Мандру изучал, собственно, те же проблемы, что и Февр, но, в то время как Февр социальное само по себе не занимало, Мандру поставил эти проблемы в более емкий контекст — в контекст социальной истории. Тем самым проблема ментальностей была перенесена в иной план.

Мандру во многом удалось преодолеть статичность картины эмоциональной жизни Франции, которой отличалось построение Февра о Рабле. Беспрецедентный по своей остроте социальный и экономический кризис, разразившийся в «период от Колумба до Галилея», породил, по убеждению Мандру, кризис психологический. В обстановке этого кризиса происходила перегруппировка основных элементов цивилизации, возникали новые формы освоения мира, природы, складывались новые формы религиозного чувства и зарождался дух капиталистического предпринимательства. Новые манеры чувствовать и способы осознания человеком самого себя можно понять только на этом фоне.

В частности, Мандру прослеживает сдвиги в ментальностях, происходившие на протяжении XVII столетия: в начале века идея вмещения дьявола в повседневную жизнь была повсеместно распространена и служила питательной средой для обвинения ведьм, которые, по тогдашним убеждениям, служили дьяволу, и для обоснования их массовых гонений; к концу века городские магистраты и судьи почти всецело отказались от подобных представлений — так на протяжении нескольких десятилетий ментальности, распространенные в части французского общества, пережили глубокую трансформацию<sup>48</sup>.

Мандру последовательно рассматривает такие вопросы, как питание человека (недоедание было источником повседневных страхов и повышенной возбудимости), болезни, эпидемии, демографическую ситуацию, выражавшуюся в высокой рождаемости и высокой смертности, в короткой средней продолжительности жизни, в преждевременных браках и распространении раннего вдовства. Он подчеркивает такие приметы тогдашней жизни, как господство устной информации, порождающей слухи и легенды, преобладание чувства и инстинктов над интеллектом. Человек еще не научился ценить время и не овладел природой, от которой всецело зависел.

Если в трактовке упомянутых сторон жизни XVI—XVII вв. Мандру отчасти идет по стопам Февра, то далее он переходит к проблематике, чуждой его учителю, — к проблематике собственно социальной. Вопрос о человеке в группе, об их взаимоотношениях, о «фундаментальных солидарностях» — семья, сельский

<sup>48</sup> Mandrou R. Magistrats et sorciers en France au XVII<sup>e</sup> siècle.



и городской церковный приход, общественный класс — естественно приводит исследователя к новым вопросам — о социальной обусловленности ментальностей членов этих групп — буржуа, дворян, ремесленников, крестьян.

Важнейшие социально-психологические черты француза в XVI и XVII вв. — повышенная чувствительность, легкая возбудимость, живость реакций, склонность к панике, агрессивность — объясняются Мандру не только особым отношением человека к природе, перед которой он испытывал чувство бессилия, что подчеркивал Февр, но и ростом социальных антагонизмов. «Всякая историческая психология, любая история ментальностей есть, несомненно, история социальная, — заключает Мандру. — Но вместе с тем она представляет собой и историю культуры»<sup>49</sup>. Мандру предостерегает: «Претензия на создание изолированной психологической истории (даже под именем истории идей и чувств, или социальной истории идей) — предприятие, обреченное на неудачу, ибо история ментальностей — неотчленимая часть тотальной истории»<sup>50</sup>.

Стремление Мандру, как и других медиевистов и специалистов по ранней истории нового времени, творчество которых началось в конце 50-х — 60-е годы, — Жоржа Дюби, Жака Ле Гоффа, Эмманюэля Леруа Ладюри, — к построению «тотальной» истории выражается в осознанном намерении обнаружить социальные основы психологии людей — членов групп и классов и в выявлении воздействия их психологии на социальное поведение. Принцип, провозглашенный Февром, — изучать человека в обществе и общество как организацию живых, чувствующих людей — нашел реализацию в трудах этих и многих других историков. Тем самым история ментальностей сделалась неотъемлемым компонентом социальной истории, и само понятие «социальная история», как уже было упомянуто, обрело новое, более емкое содержание.

Разумеется, не все историки, воспринявшие призывы Февра, пошли этим путем. Школа «Анналов» в теоретическом отношении неоднородна и включает в себя ученых весьма различных философских ориентаций, вследствие чего ее представители неохотно называют свое направление «школа», предпочитая ему более расплывчатое определение «Новая историческая наука».

Альффонс Дюпрон склонен интерпретировать историю коллективной психологии преимущественно под углом зрения изучения внутреннего смысла человеческих творений, побуждений их создателей, в том числе и подсознательных, обнаружения ценностей, мифов и архетипов, лежащих в основе литературных и изобрази-

<sup>49</sup> *Mandrou R.* Introduction à la France moderne (1500—1640). P. 353.

<sup>50</sup> *Ibid.* P. 366. Ср.: *Mandrou R.* Le baroque européen: Mentalité pathétique et révolution sociale // *Annales. E.S.C.* 1960. N 5; *Idem.* Histoire sociale et histoire des mentalités. P. 225—235.

тельных памятников<sup>51</sup>. Но эта коллективная психология едва ли представляет собой в глазах Дюпрона психологию людей, которые включены в конкретные социальные коллективы.

Изучая структуру семьи и отношение к ребенку при Старом порядке и сделав ряд в высшей степени важных наблюдений относительно специфики понимания детства в конце средневековья и в начале нового времени, Филипп Ариес принял установки, складывавшиеся в среде дворянства и буржуазии, за установки, якобы типичные для французской цивилизации в целом<sup>52</sup>. И точно так же, рисуя широкую картину изменений отношения европейцев к смерти на протяжении средневековья и нового времени, Ариес изолировал ее от развития общества и, по сути дела, пренебрег различиями в восприятии смерти, существовавшими в разных социальных слоях; умонастроения, связанные со смертью, выявленные им посредством анализа памятников, которые возникли в среде образованных, он распространил на всю толщу населения<sup>53</sup>.

Напротив, Мишель Вовель, изучая ту же проблему смерти как меняющегося социально-психологического феномена, продемонстрировал существенные различия в ее оценке и переживании в разных социальных стратах. Общественная структура в конечном счете находила свое выражение и в неодинаковых концепциях смерти. Глубокие философские расхождения между Ариесом и Вовелем выразились и в выборе контекста, в котором эта проблема рассматривалась: Вовель изучает ее более многомерно, нежели Ариес, — в планах социальном, демографическом, религиозном и художественном<sup>54</sup>.

Вовель — марксист, тогда как Ариес весьма далек от марксизма. Довольно чужд этому учению был и Февр — при всем его абстрактном уважении к создателю исторического материализма. Отмеченные выше сдвиги в трактовке ментальностей, происшедшие во французской историографии со времен Февра, в известной мере связаны с тем, что следующее за ним поколение историков, не сделавшихся марксистами и не приемлющих, как они сами утверждают, любую «философию истории» (заблуждение, и не безопасное!), испытало на себе влияние Маркса. «Мысль Маркса присутствует во всех моих работах и до сих пор играет в них значительную роль... Я изучаю системы ценностей, идеологии, условия художественного творчества с таким чувством, будто продолжаю или, во всяком случае, не отрываюсь от идей

<sup>51</sup> Dupront A. Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective // *Annales*. E.S.C. 1961. N 1. P. 3—11.

<sup>52</sup> Aries Ph. L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime. P., 1960.

<sup>53</sup> Aries Ph. L'homme devant la mort. P., 1977.

<sup>54</sup> Vovelle M. La mort et l'Occident de 1300 à nos jours. P., 1983.

Маркса». Таково признание крупнейшего современного французского медиевиста Жоржа Дюби<sup>55</sup>.

Дюби являет собой скорее предельный случай, когда граница между мировоззрением историка, связанного со школой «Анналов»; и марксизмом делается проницаемой и нечеткой<sup>56</sup>, но едва ли можно отрицать, что и другие ведущие историки этого направления, каковы бы ни были их заявления относительно марксистской догматики и негибкости (заявления, в немалой степени обоснованные, если заглянуть в иные труды как французских, так и наших отечественных «марксистов», во многом выхолостивших живое содержание из исторического материализма), испытали на себе в послевоенный период плодотворное влияние Маркса. Приходится признать: сотрудничество марксистов с представителями «Новой исторической науки» было бы более эффективным, если б не сектантская позиция части наших историков (я имею в виду прежде всего официальных руководителей «исторического фронта» 50-х — начала 80-х годов), которые почти неизменно отмежевывали себя от школы «Анналов» и видели в них своих «идейных противников», притом чуть ли не наиболее «опасных» в силу их неоспоримого влияния на западную историографию.

Мы видим, что «тотальная» история в интерпретации современных французских историков приобретает иной смысл, нежели тот, какой она имела в исследованиях самого Февра. В науку пришло новое поколение, которое смотрит на мир иными глазами, чем их предшественники и учителя. Соответственно изменилось и понимание ментальностей. Фундаментальной гомогенности мыслительных установок и способов чувствовать, присущей изучаемой эпохе, — предпосылка, из которой исходили как Февр, так и Ариес и Дюпрон, — другие историки противопоставляют социально дифференцированную картину эмоционального мира и «психической вооруженности» людей, принадлежавших к разным социальным стратам и классам.

Но исследование ментальностей историками, вступившими в науку после Февра, отличается и более широким фронтом работ. Если трудно говорить о согласованной и продуманной стратегии научного поиска, то, во всяком случае, можно утверждать: ныне в поле зрения историков, притом не одних лишь французских, но и итальянских, западногерманских, американских, польских, английских, включен комплекс тем, которые до недавнего времени оставались, по существу, вне их внимания. Каковы эти темы? Уже беглый их перечень свидетельствует о необычайно широком диапазоне интересов историков ментальностей. «Территория исто-

<sup>55</sup> Дюби Ж. Мое отношение к Марксу // Французский ежегодник, 1983. М., 1985. С. 45.

<sup>56</sup> Bois G. *Marxisme et histoire nouvelle* // *La nouvelle histoire*. P. 375–393.

рика» мощно раздвинула свои пределы, и эта экспансия исторической мысли на ранее не затронутые ею области продолжается. Все эти темы отражают определенные стороны картины мира, присутствующей в сознании человека изучаемой эпохи и заложенной в него культурой, традицией, языком, образом жизни. Картина эта многообразна, по сути дела, неисчерпаема. Назовем темы, сравнительно недавно сделавшиеся предметом пристального изучения:

- отношение членов данного общества и входивших в него классов к труду, собственности, богатству и бедности;

- образ социального целого и оценка разных групп, разрядов, классов и сословий;

- понимание природы права и обычая, значимости права как социального регулятора;

- образ природы и ее познание, способы воздействия на нее — от технических и трудовых до магических;

- понимание места человека в общей структуре мироздания;

- оценка возрастов жизни, в частности детства и старости, восприятие смерти, болезней, отношение к женщине, роль брака и семьи, сексуальная мораль и практика, то есть все субъективные аспекты исторической демографии, отрасли знания, работающей на границе культуры и природы, биологии и ментальности;

- отношение мира земного и мира трансцендентного, связь между ними и понимание роли потусторонних сил в жизни индивидов и коллективов — тема, в высшей степени существенная при рассмотрении религиозного мирозерцания, преобладавшего на протяжении большей части человеческой истории;

- трактовка пространства и времени, которые вплоть до сравнительно недавней эпохи воспринимались не как абстракции, а в качестве могущественных сил, этически окрашенных и воздействующих на человека;

- восприятие истории и ее направленности (прогресс или регресс, повторение или развитие), притом не одно осмысление истории профессионалами — хронистами, теологами, схоластами, но и более непосредственное переживание ее обыденным сознанием;

- разные уровни культуры, их конфликты и взаимодействие, в особенности соотношение официальной, интеллектуальной культуры элиты, имевшей доступ к знаниям, с народной, или фольклорной, культурой;

- формы религиозности, присущие «верхам» и «пизам», образованным и неграмотным;

- психология «людей книги» и психология людей, живших в условиях господства устного слова и соответственно по-своему воспринимавших и перерабатывавших информацию;

- социальные фобии и иные негативные эмоции, коллектив-

ные психозы и напряженные социально-психологические состояния;

— соотношение «культуры вины» и «культуры стыда», то есть ориентации на внутренний мир или на социум;

— история праздников и календарных обычаев, ритмизировавших жизнь коллективов;

— узловым вопросом истории ментальностей — человеческая личность как структурная единица социальной группы; мера ее выделенности и индивидуализации или, наоборот, включенности и поглощенности социумом; способы самосознания личности;

— осознание национальной, племенной, государственной идентичности, национальные противоречия и заложенные в них стереотипы, их использование государством и всякого рода социальными манипуляторами.

В конечном итоге все аспекты изучения истории ментальностей, сколь гетерогенными и разбросанными они ни кажутся на первый взгляд, стягиваются как к единому центру к личности человека, которая структурируется в зависимости от типа культуры.

Как явствует из приведенного и далеко не полного перечня тем (в принципе открытого и пополняющегося новыми проблемами), в поле зрения историков ментальностей стоят человек и его поведение, детерминированное и условиями материальной жизни, и культурной традицией, способом мировосприятия. Поэтому современное исследование ментальностей осознает себя в качестве культурно-исторической антропологии, или антропологически ориентированной истории.

Повторяю, отдельные специалисты изучают ту или иную из названных проблем, и по временам наблюдается крен в рассмотрении какой-либо одной из них. Так, в 70-е годы под влиянием работ Ф. Ариеса историография пережила своего рода «бум», связанный с повышенным вниманием к вопросу восприятия смерти и переживания ее в средние века и в начале нового времени. Это увлечение вызвало недоумение скептиков, усмотревших в нем не более чем дань моде. Однако М. Вовель с полным основанием возражал: интерес к изучению установок людей данного общества по отношению к смерти и потустороннему миру отнюдь не поверхностная и скоропреходящая мода. Исследование этого нового и «экзотичного» для историков предмета дало возможность глубже понять коренные установки в отношении к жизни<sup>57</sup>. Добавим, что анализ трактовки смерти и потустороннего мира проливает новый свет и на природу народной религиозности — важнейшую проблему, изучение которой началось сравнительно недавно и уже принесло ценные результаты.

<sup>57</sup> *Vovelle M. Encore la mort: un peu plus qu'une mode // Annales. E.S.C. 1982. N 2.*

Взятые в целом все темы истории ментальностей, на первый взгляд кажущиеся хаотичным конгломератом не связанных между собой вопросов, должны быть осмыслены как аспекты стихийно складывающейся стратегии историко-антропологического изучения человека. В совокупности рассмотрение всех этих аспектов картины мира и поведения людей прошлого дает возможность построения истории именно как человеческой истории. Что это, как не выполнение требования Февра, но в плане, который едва ли четко осознавался им самим?

Мощно расширяющаяся тематика исторического исследования нацелена преимущественно на раскрытие восприятия действительности, которое было присуще человеку изучаемой эпохи, в конечном счете на раскрытие его самосознания. Таким образом, историческое исследование приобретает новое измерение: наряду с «внешним» описанием феноменов прошлого, как они видятся современным историком, вырисовывается образ человека, мира и общества, который витал в сознании людей прошлого.

По словам Ж. Дюби, общество характеризуется не одними только экономическими основами, но и вырабатываемыми и развиваемыми им представлениями о себе самом, ибо люди ведут себя в соответствии не с действительными условиями жизни, а с тем образом ее, который они составили<sup>58</sup>. На «объективное» изображение истории в понятиях и категориях современной науки накладывается «субъективное» понимание самих этих людей, их видение мира. Координация этих весьма различных точек зрения делает картину истории стереоскопичной, более правдивой, ибо дает историкам возможность избежать модернизации, приписывания людям иной эпохи мыслей и чувств, присущих отнюдь не им, а нашим современникам.

Изучение сменяющихся картин мира властно побуждает историков действовать именно так, как повелевает им самая природа их ремесла, — изучать свой предмет не в качестве внешнего «объекта», наподобие естественнонаучным объектам, но таким, каков он по своей сути, в качестве мыслящего и чувствующего субъекта, собеседника, участника диалога между прошлым и настоящим. История не наука о политико-экономических абстракциях и не «социальная физика», это наука о живых людях и коллективах, в которые они были организованы, и, следовательно, историк, намеревающийся раскрыть тайны прошлого, не может не обращаться со своими вопрошаниями к людям, некогда жившим, и пытаться завязать с ними диалог, то есть задать сохранившимся источникам интересующие его вопросы и попытаться расслышать ответы этих людей, расшифровать их послания.

<sup>58</sup> *Duby G. Histoire sociale et histoire des mentalités: Le Moyen Age // Aujourd'hui l'histoire. P. 206; Idem. Histoire sociale et idéologies des sociétés // Faire de l'histoire. I. P., 1974. P. 147–168.*

Констатируя мощное расширение проблематики исторического изучения ментальностей во французской историографии на протяжении последних двух десятилетий, отмечу, что многие принципы, отличающие современную школу «Анналов», так или иначе уже были выдвинуты ее основоположниками. Когда Т. Стоянович, исследовавший «парадигму» «Анналов», спросил Броделя, когда эта «парадигма» сложилась — после второй мировой войны или же еще в период сотрудничества Февра с Блоком в 30-е годы, Бродель ответил: принципиальные установки «Новой исторической науки» были обоснованы создателями «Анналов»<sup>59</sup>. Это заключение нуждается тем не менее в оговорках и уточнениях.

В картине мира, которая выясняется по мере рассмотрения указанных выше и иных вопросов, объединяются социальные, культурно-религиозные и природные, биологические аспекты исторической жизни. Февр еще не был готов к разработке столь всеобъемлющей программы исследования, поскольку недооценивал значимости социально-экономических ее сторон. Центр тяжести в его анализе — в сфере элитарной культуры, главные персонажи его исследований — выдающиеся фигуры Ренессанса и Реформации. Хотя он и стремился разглядеть в них квинтэссенцию психологических черт человека изучаемой эпохи, «дух времени», проблема личности, как она виделась Февру, сводилась преимущественно к проблеме исключительной, яркой индивидуальности. Для понимания структуры личности ему требовалась встреча с конкретным индивидом.

Как не вспомнить в этой связи критику Февром книги Марка Блока «Феодальное общество»! Приведа мысль Блока о том, что в феодальную эпоху доминировал тип прямых, неанонимных социальных отношений типа «сеньор—вассал», «господин—подданный», основанный на личном служении и покровительстве, вследствие чего «абстрактная идея власти была слабо отделена от конкретного облика властителя», Февр выражал свое неодобрительное изумление: во всем обширном двухтомном произведении Блока нет ни одной характеристики личности какого-либо сеньора или государя<sup>60</sup>. Что это — досадный пробел, упущение Блока или вполне осознанный прием? Я полагаю, что это — выражение метода Блока — социального историка. Он восстанавливает живую ткань феодального общества как целостности, и личность средневекового сеньора вырисовывается на страницах его труда со всей определенностью и вполне конкретно. Блоку чужд абстрактно-юридический подход к анализу правовых и социальных институтов феодализма, столь распространенный в современной

<sup>59</sup> *Stoianovich T. French Historical Method: The «Annales» Paradigm. Ithaca; L., 1976.*

<sup>60</sup> *Febvre L. Pour une histoire à part entière. P., 1962. P. 424.*

ему (а отчасти и в позднейшей) историографии, он рассматривает феодальное общество как человеческое общество, как систему связей между людьми.

Однако для Блока и других историков, сосредоточивающих свое внимание на социальных структурах и ментальностях столь удаленной от нас эпохи, как средневековье, с ее специфическим репертуаром исторических памятников, изучение личности и ее особенностей означает не знакомство с теми или иными конкретными персонажами «переднего плана» (королями, крупными господами, писателями, теологами), которых все же удается в этих памятниках разглядеть, а нечто совершенно другое. Восстанавливается картина мира — не в виде достояния лишь конкретного индивида, но в качестве параметров личности, предлагаемых человеку его культурой. Индивид усваивает ее — через язык, воспитание, социальное общение, в своем жизненном опыте. Каждый отдельно взятый член общества усваивает от этой картины столько, сколько способен вместить. Картина мира лишь возможность, мера овладения ею зависит от конкретных условий и индивидуальных качеств человека, и она присутствует в его сознании и подсознании, проявляясь в его поведении независимо от того, в какой мере он знает о ее существовании. Даже не имея представления о том, что такое картина мира (подобно тому как мольеровский Журден не подозревал о том, что говорит прозой), индивид руководствуется ею в своих мыслях и делах и не может не руководствоваться ею, как не может не дышать. Все социальное и культурное поведение, весь облик людей — членов общества определяется этой латентной и спонтанно обнаруживающейся картиной мира, заложенной в их сознание социально-культурной традицией и неприметно для них самих видоизменяемой ими в процессе общественной практики. Ментальность выражает внеиндивидуальную сторону личности.

Но Февр критиковал Блока как раз за «социологизм», за недостаточное внимание к чувствам людей изучаемой им феодальной эпохи. Таким образом, в трудах Февра и Блока воплотились два весьма различных подхода к изучению истории. Этим двум подходам соответствуют и два несхожих понимания культуры. Согласно «элитарному» пониманию Февра, культура — это творческий процесс, в котором участвуют поэты, писатели, мыслители, религиозные деятели, реформаторы, и в их сочинениях находят свое наиболее полное и эксплицитное выражение процесс цивилизации. Эволюционируя, цивилизация поднимается на новую качественную ступень. Ментальность изученных Февром людей «алогична», «прелогична» и потому столь разительно отличается от современной ментальности, которая предполагается логичной и рациональной. Иными словами, процесс цивилизации предстает умственному взору Февра в виде прогрессивного восхождения от низших форм к высшим.



Соответственно Февр предпочитал говорить о ментальности общества, взятого в целом. Между тем современные историки школы «Анналов», следуя в данном отношении скорее Блоку, нежели Февру, осознают различия в ментальностях отдельных социальных слоев и групп. Наряду с мыслительными установками, которые так или иначе разделяют все члены общества в данный период, и «духовной вооруженностью», присущей этой эпохе, существуют немаловажные особенности сознания крестьян и бюргерства, светских аристократов и духовенства, купцов и интеллектуалов<sup>61</sup>. Ныне изучение ментальностей теснейшим образом связано с исследованием социальной структуры, включается как компонент в социальное исследование. И здесь для современных представителей «Новой исторической науки» более плодотворен опыт Блока, нежели Февра.

В противоположность эволюционному подходу Февра социологический подход Блока диктует необходимость анализа различных явлений, принадлежащих одной эпохе, в их взаимных связях и обусловленности. Каждое общество обладает собственным неповторимым лицом, и сравнение разных обществ — а Блок был энергичным поборником разумного компаративизма — способствует выявлению как общего, так и особенностей каждого из них. Но это сопоставление лишено у Блока оценочных суждений. Поэтому им не фетишизируется понятие «эволюция». В заметке о тексте «Апологии истории», которую Февр опубликовал после трагической гибели друга, он писал: «Если не ошибаюсь, во всей книге ни разу не произнесено слово „эволюция“»<sup>62</sup>. Февр ошибался: слово «эволюция» можно найти в этой книге, как и в других трудах Блока. Но то, что Февр ощутил подобный пробел в рукописи «Апология истории», симптоматично для понимания его собственного способа мышления.

Эволюцию Блок и Февр понимали неодинаково. Для Февра она представляла некое саморазвитие культуры или цивилизации (во французском языке в отличие от немецкого или русского это, собственно, синонимы). Для Блока же эволюция не более чем научная абстракция, которой он не склонен был придавать ценностного значения. Ибо понятие «культура» Блок интерпретирует скорее в антропологическом или этнологическом смысле — это

<sup>61</sup> В изданном под редакцией и со вступительной статьей Ж. Ле Гоффа сборнике «Человек средневековья» десять медиевистов из разных стран Европы дают очерки, характеризующие монаха, рыцаря, крестьянина, горожанина, интеллектуала, художника, купца, женщину, святого и маргинала. Все эти представители разных классов, сословий и групп общества имеют нечто общее, но вместе с тем обладают собственным социальным и социально-психологическим обликом, и история их на протяжении XI—XV вв. отличалась немаловажными особенностями. См.: *L'uomo medievale / A cura di J. Le Goff. Roma; Bari, 1987.*

<sup>62</sup> Февр Л. В каком состоянии находилась рукопись «Ремесло историка» // Блок М. Апология истории. С. 118.

образ жизни и мышления людей данной социальной общности, неотъемлемый компонент социальной системы. Культура не ограничивается суммой индивидуальных творений великих людей, ибо обычаи, нравы, верования, привычки сознания, способы миро-восприятия, картина мира, запечатленная во всех созданиях человека и в первую очередь в языке,— все это выражает духовную жизнь людей и должно быть изучено как для ее понимания, так и для уяснения способа функционирования общества.

Итак, для Блока человек в качестве предмета исторического исследования — человек в обществе, для Февра же — человек в цивилизации<sup>63</sup>.

«Социологический», или историко-антропологический, подход и подход «элитарный» не исключают один другого — они просто-напросто разные<sup>64</sup>. Человеческая действительность столь богата и неисчерпаема, что требует различных интерпретаций, и чем больше подходов у исторической науки, тем более многогранной делается картина истории. По какому из этих путей пошла школа «Анналов» после Блока и Февра? Вопрос далеко не праздный.

Ключевое слово для «Новой исторической науки» нашего времени — «ментальность». То, что начинали Февр и Блок, развивают их «внуки». Все ведущие современные французские историки, в том числе и те, кто, подобно Ж. Дюби или Э. Леруа Ладюри, много сил отдало изучению аграрной истории, ныне сосредоточивают свои исследования на ментальностях людей прошлого. Одно время могло казаться, что интерес к ментальностям характерен для историков, далеких от марксизма; ныне же марксистом Вовелем прямо сказано, что старое «разделение труда», основанное на молчаливом «джентльменском соглашении» между историками-марксистами и историками, далекими от марксизма, по которому первые разрабатывают проблемы социальной и экономической истории и классовой борьбы, отдавая вторым «на откуп» изучение общественной психологии и истории эмоциональной жизни.— это «разделение труда» отошло в прошлое, ибо современное марксистское историческое исследование не может пренебрегать духовной жизнью во всех ее видах и на всех ее уровнях<sup>65</sup>.

Сознавая, что у истоков этого направления стояли Февр и Блок и что именно Февр с особой настойчивостью подчеркивал важность подобных исследований, отмечу вместе с тем, что интерпретация истории ментальностей современными историками идет преимущественно в том ключе, в каком ее понимал Блок. В самом деле, Февр мечтал о создании истории эмоций: истории

<sup>63</sup> *Mairet G.* Op. cit. P. 109 sqq.

<sup>64</sup> *Баркин Л. М.* Два способа изучать историю культуры // *Вопр. филос.* 1986. № 12. С. 104—115.

<sup>65</sup> *Vovelle M.* Y a-t-il un inconscient collectif? // *Pensée.* 1979. N° 205. P. 125—131.

радости, смеха, страха, жестокости, жалости, любви, отношения к смерти и т. п. Ныне такая формулировка задачи историков ментальностей кажется весьма сомнительной. Человеческие эмоции исторически изменчивы, и тем не менее не существует и не может существовать автономной, самодовлеющей истории какой-либо из эмоций или социально-психологических моделей. Они представляют собой, повторяю это со всей настойчивостью, неотчуждаемые аспекты общественной жизни и могут быть верно поняты только в ее недрах, в ее общем контексте, в качестве компонента социальной системы.

Современное историко-культурологическое исследование видит свою задачу не в разработке истории ментальностей, как она представлялась Февру, а в постижении характера и функции ментальностей в совокупном движении исторической жизни. Ментальности, которые историки могут обнаружить — в сотрудничестве с лингвистами, демографами, психологами, историками искусства, литературы, этнологами, фольклористами, — образуют в каждую данную эпоху некую целостность, сложную и противоречивую картину мира. и на реконструкции разных картин мира в разных цивилизациях и в разные периоды истории и направлены усилия представителей «Новой исторической науки». Этот подход восходит к Марку Блоку, к социологическому взгляду на историю. Именно поэтому социальные и аграрные историки логикой собственных исследований были подведены к осознанию необходимости обратиться к изучению картин мира, социальной психологии людей прошлого.

Само собой разумеется, современная «Новая историческая наука» далеко ушла и от Блока<sup>66</sup>. Но главный принцип Блока-историка — «тотальная» социальная история — остается принципом, которым руководствуются такие несхожие ученые, как Эрнест Лабрусс и Пьер Вилар, Жорж Дюби и Эмманюэль Леруа Ладюри, Жак Ле Гофф и Робер Мандру, Мишель Вовель и Жан-Клод Шмитт, Натали Земон Дэвис и Карло Гинзбург, Франтишек Граус и Бронислав Геремек, Питер Берк и Рольф Шпрандель.

Высказывалось суждение, что правильнее было бы говорить не об одной школе «Анналов», а о двух — школе Марка Блока и школе Люсьена Февра<sup>67</sup>. Сомнительно, слишком многое их объединяло, особенно в борьбе против традиционной позитивистской историографии и за обновление исторической науки. Но тщетно было бы и недооценивать существенные различия в принципиальных установках и методах обоих ученых, в самом стиле их мышления.

<sup>66</sup> См. критические замечания Ж. Ле Гоффа по поводу методов, примененных Блоком в его книге «Короли-целители»: *Bloch M. Les rois thaumaturges*. Nouvelle éd. / Préface de J. Le Goff. P., 1983. P. XXVI sqq.

<sup>67</sup> *Mairet G. Op. cit.* P. 96.

\* \* \*

Если отвлечься от внезапных «конъюнктурных» сдвигов и взрывов, которые время от времени происходят в коллективном сознании, то придется констатировать, что ментальности обычно изменяются медленно, исподволь, незаметно для их носителей. Картина мира, или видение мира, — категория в высшей степени устойчивая. По выражению Броделя, ментальности суть «темницы, в которые заточено время большой длительности». Ментальности, утверждает Ле Гофф, — это то, что медленнее всего изменяется в истории. Но это отнюдь не значит, что ментальности неподвижны. Они переживают перевороты, но перевороты эти, как заметил Февр, «бесшумные», и историки обычно их не регистрируют.

Историю принято понимать как науку об изменениях, не обращая внимания на то, что изменения эти неравномерно охватывают разные стороны жизни общества и различные его слои, что в действительности речь должна идти не об едином и гомогенном времени хронологических таблиц, но о «спектре» времен, в которых движутся те или иные уровни социального целого. При одностороннем изучении социальной динамики оставляют в тени те мощные пласты «глубокого залегания» общественной жизни, которые подчиняются особым ритмам, не совпадающим с ритмами политической, событийной истории. Именно история, включающая в себя изучение картин мира, ментальных состояний, помогает высветить эти пласты.

Внедрение в историческое исследование понятия «ментальность» представляет важнейшее научное завоевание. Историки предшествовавшего времени на слово верили текстам источников, ограничиваясь формальной критикой их достоверности. Изучение ментальностей, т. е. такого слоя человеческого сознания, который не прорефлектирован, не осознан полностью, потаен от самих его посетителей, открывает новые перспективы<sup>68</sup>. Историк получает возможность проникнуть в тайники общественного сознания, увидеть в нем то, о чем, возможно, не догадывались сами обладатели этих тайн. Тем самым исследователи ближе подходят к подлинным побудительным причинам поступков людей, не ограничиваясь декларируемыми ими заявлениями, которые вполне могут быть не только намеренным обманом, но и самообманом, иллюзией; историки вскрывают социально-культурные автоматизмы поведения индивидов и групп.

Для изучения этого потаенного пласта общественного сознания нужны источники, дающие возможность выявлять константы, стереотипы, повторяющиеся и типичные феномены и ситуации. Нужны массовые однотипные источники. Ныне историки

<sup>68</sup> *Le Goff J. L'histoire nouvelle // La nouvelle histoire. P. 213, 238.*

ментальностей широко используют, в частности, такие памятники, как завещания — многотысячные серии духовных грамот, документов, относящиеся к значительным группам людей и простирающиеся на длительные временные отрезки, что дает возможность обнаружить как константы, так и неприметные для их составителей сдвиги в формулярах и содержании, фиксирующие изменения умонастроений и верований<sup>69</sup>. Историков средневековой религиозности привлекают жития святых, в которых наряду с индивидуальными чертами могут быть вскрыты стереотипы сознания<sup>70</sup>, проповеди, назидательные «примеры», включенные в проповеди и иллюстрирующие их поучения, — в этих произведениях монахов и священников, адресованных прихожанам, можно проследить своего рода «обратную связь» с духовным универсумом этих последних, отражение их понятий, верований и чаяний<sup>71</sup>. Анализ протоколов инквизиции, в которых запечатлены допросы еретиков<sup>72</sup>, и судов, рассматривавших обвинения в ведовстве<sup>73</sup>, при всей их специфике — показания от подсудимых добывались под пыткой или под ее угрозой — в свою очередь, проливает свет на определенные черты массовой ментальности.

Метод исследования памятников элитарной культуры, которым пользовался Февр и который привлекает многих других историков, как кажется, менее подходит для вскрытия ментальностей, поскольку в такого рода памятниках индивидуальное преобладает над общим, уникальное над типическим. Так, для понимания представлений средневековых верующих о потустороннем мире записи о видениях и «хождениях» на тот свет душ временно умерших (такие записи производились на протяжении всего средневековья) оказываются, пожалуй, более ценным свидетельством, нежели «Божественная комедия»<sup>74</sup>. Система оценок и соотношение масштабов в истории литературы и изучения ментальностей весьма несходны, а нередко и противоположны.

Впрочем, все зависит от установки исследователя, и, скажем, рассмотренная выше контрверза «Февр — Бахтин» показывает, как один и тот же памятник, в данном случае роман Рабле, может быть исследован и в качестве индивидуального творения, и в

<sup>69</sup> См., например: *Vovelle M. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle*. P., 1978.

<sup>70</sup> *Prinz Fr. Der Heilige und seine Lebenswelt: Überlegungen zum gesellschafts- und kulturgeschichtlichen Aussagewert von Viten und Wundererzählungen* (рукопись; доклад, прочитанный на конференции медиевистов в Сполето в марте 1988 г.).

<sup>71</sup> *Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников* (Exempla XIII века). М., 1989.

<sup>72</sup> *Le Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*. P., 1975.

<sup>73</sup> *Kunze M. Straße ins Feuer: Vom Leben und Sterben in der Zeit des Hexenwahns*. München, 1982.

<sup>74</sup> *Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры*. Гл. 4.

качестве обнаружения многовековой традиции народной карнавальской смеховой культуры.

Среди тем, изучаемых ныне, видное место заняли народная религиозность и культура, мирозерцание низших классов. Эти проблемы были далеки от Февра, поскольку он сосредоточивался на культуре интеллектуалов, гуманистов и реформаторов. Но в какой мере по творчеству и мировоззрению «высоколобых» можно судить о состоянии мировидения, «разлитого» во всей толще общества? Вопрос этот оставался открытым. Проблемы многослойности культуры и религиозности, различий в их интерпретации «на верхах» и «в низах» он не ставил.

Постановка этой исследовательской задачи открывает новые перспективы перед исторической наукой. Изучение мировосприятия крестьян, мелких ремесленников и бюргеров, низших слоев духовенства и рыцарства показало, что здесь историк способен обнаружить иные жизненные установки, особые способы освоения мира. И поэтому остро встает вопрос о взаимоотношениях между культурой образованных и культурой необразованных. Средневековье все более выступает перед историком в новом облике. Его культура оказывается не только и даже не столько «культурой книги», сколько культурой устного слова, господства фольклора, взаимодействовавшего с культурой официальной. Вот почему столь важно привлечение новых видов источников, в которых прямо или косвенно отразилось мировидение неграмотных. Историки постепенно открывают для себя мир «народного христианства», «приходского католицизма».

Но, по-видимому, необходимо сделать и следующий шаг. Дело не исчерпывается противостоянием разных пластов культуры в виде особых социальных ипостасей. Изучение ментальностей вскрывает внутреннюю неоднородность сознания средневековых людей, его многослойность. Не нужно ли предположить, что в сознании любого человека той эпохи соприисутствовали церковная ортодоксия и представления о мире, подчас от нее далекие? Что даже и наиболее ученый служитель церкви таил в себе также и «простеца», носителя народных верований? И что одновременно самый темный крестьянин из «медвежьего угла», до которого с трудом доходило слово проповедника, тем не менее был приобщен, пусть в самой ограниченной степени, к истинам христианства, сколь ни своеобразно он их усвоил.

Изучение ментальностей помогает избегать тех односторонних стилизаций средневековой культуры и культуры Ренессанса, к которым тяготели историки недавнего прошлого. Задача заключается не в замене «черной легенды» о средневековье «золотой легендой»<sup>75</sup>, а в более глубоком проникновении в существо средневековой культуры со всем ее многообразием и противоречивостью.

<sup>75</sup> *Le Goff J. L'imaginaire médiéval: Essais. P., 1985. P. 12.*

\* \* \*

Читатель, без сомнения, найдет в сборнике статей Люсьена Февра, и многие другие сюжеты, достойные его внимания. Я же хотел ограничить свою задачу, сосредоточившись на главном и решающем — на тех нетрадиционных подходах к изучению истории, которые были сформулированы великим ученым, на подходах, обнаруживших глубокую плодотворность в свете последующего опыта науки. Постановка новых проблем, новое прочтение старых источников и в этой связи применение новых методов их исследования — таков важнейший вклад Февра в историографию. Именно он вместе с Марком Блоком стоял у истоков того движения мысли, которое ныне по праву считается наиболее перспективным в современной зарубежной исторической науке. Эта заслуга Февра не умаляется тем, что многое его преемниками и критиками было пересмотрено, углублено или переформулировано. Ибо научное знание — всегда в движении и поиске. Повторим: «Историк — не тот, кто знает, он — тот, кто ищет».

То, что Февр в течение длительного периода был «властителем дум» передовых историков, в немалой степени объясняется его активной общественной позицией, неотчленимой от его позиции в науке. В трагическое для Франции время поражения и национального унижения, в 1941 году, Февр обращался к студентам Высшей нормальной школы со словами: «Находясь на терпящем бедствие корабле, не трусьте, подобно Панургу, и не молитесь, возведя очи к небесам, подобно Пантагрюэлю, но, как брат Жан, засучите рукава и помогайте матросам»<sup>76</sup>. На первом листе книги о Рабле, в посвящении Фернану Броделю, Февр начертил: «Espérance» (надежда). То был 1942 год, и Париж был оккупирован нацистами.

Это чувство надежды не оставляло его и в последние годы жизни. Гневаясь на тех коллег по ремеслу, которые «отсиживают в тиши кабинетов с задернутыми шторами наедине со своими бумагами» и умудряются в своих «стерильных историях» никогда не отвечать на вопросы, волнующие современников, а потому не способны «влиять на окружающий нас мир»<sup>77</sup>, Февр противопоставлял им собственное понимание предназначения историка, столь актуальное и для наших дней. В 1952 году он писал: «В крови и боли рождается новое Человечество. И вместе с ним, как и всегда, близится к появлению на свет История, историческая наука, соответствующая новому времени». Он высказывал надежду, что его усилия предвосхитили этот процесс и в какой-то мере способствовали ему<sup>78</sup>.

А. Я. Гуревич

<sup>76</sup> *Febvre L. Combats...* P. 32.

<sup>77</sup> *Febvre L. Sur Einstein et sur l'histoire // Annales. E.S.C. 1955. N 10. P. 310, 311.*

<sup>78</sup> *Febvre L. Combats...* P. IX.

## КОММЕНТАРИИ

Статьи для перевода взяты из следующих изданий: *Febvre L. Combats pour l'histoire*. 2<sup>e</sup> éd. P., 1953; *Idem. Pour une histoire à part entière*. P., 1962; *Idem. Au coeur religieux du XVI<sup>e</sup> siècle*. 2 éd., P., 1983.

### ПРЕДИСЛОВИЕ

- <sup>1</sup> Под бургундским Возрождением понимают обычно взлет искусства в Нидерландах в XV в., связанный с именами Яна ван Эйка, Гуго ван дер Гуса, Рогира ван дер Вейдена и других художников. Нидерланды с конца XIV в. входили во владения герцогов Бургундских.
- <sup>2</sup> Ж. П. Прудон, уроженец Безансона, исторического центра Франш-Конте, в молодости получал стипендию Безансонской академии, что давало ему возможность заниматься наукой. Написанная им в 1840 г. книга «Что такое собственность?» (в ней Прудон бросил ставшую знаменитой фразу: «Собственность — это кража!» — впрочем, впервые сказанную деятелем Великой французской революции жирондистом Ж. П. Бриссо) содержала яростные выпады против имущих, вызвала скандал, и Академия отказала ему в финансовой помощи. Лишившись средств к существованию, Прудон бедствовал, пока ему не удалось в 1842 г. получить сначала место секретаря мирового судьи в сельском округе, а потом приказчика в лавке.
- <sup>3</sup> Коллеж де Франс (Париж) — одно из старейших научно-исследовательских и учебных заведений в области как естественных, так и гуманитарных наук. Основан в 1530 г., принимаются лица с высшим образованием. В Коллеже свободное посещение лекций, нет экзаменов, не выдаются дипломы, не присуждаются ученые степени. Темы лекционных курсов и семинаров ежегодно определяются профессорами на основании их собственных исследований.

### СУД СОВЕСТИ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА

- <sup>1</sup> Мтф. 8, 8 — слова, которые говорит сотник из Капернаума Иисусу, пообещавшему прийти к нему и исцелить его слугу. (В синодальном переводе: «Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой».) Это выражение вошло в богослужебный обиход католической церкви, и его произносит священник перед свершением таинства евхаристии.
- <sup>2</sup> Имеется в виду Коллеж де Франс.
- <sup>3</sup> «Двухнедельные записки» (*Cahiers de la quinzaine*) — журнал социалистического направления, издававшийся Ш. Пеги в 1900—1914 гг. в Орлеане.
- <sup>4</sup> Приведенная формула — кредо сложившейся во второй половине XIX в. французской позитивистской историографической школы. Эта формула — парафраз высказываний ряда ученых этой школы: Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса — «История пишется по источникам»; Л. Альфана — «Там, где мол-



чат источники, нема и история»; Н. Д. Фюстель де Кулаужа — «Тексты, только тексты, ничего, кроме текстов».

- <sup>5</sup> Гуманитарная география (иначе — человеческая география) — дисциплина, изучающая как влияние географической среды на человека, в частности местных природных условий на историю данного региона, так и обратное — воздействие человеческой цивилизации на природную среду тех или иных ареалов. Основателем этого научного направления был французский географ П. Видаль де ла Блаш. Л. Февр уделял много внимания использованию методов и достижений гуманитарной географии в исторических исследованиях.
- <sup>6</sup> Картулярии — в средние века сборники грамот (или их копий), обычно касавшихся поземельных отношений.
- <sup>7</sup> Турский ливр (от г. Тура и «libra» — римский фунт, 489,5 г) — денежная единица Франции с каролингских времен по 1799 г. Из-за высокой стоимости (первоначально предполагалось, что в нем должна быть либра золота) служил преимущественно расчетной единицей, в 1667 г. был объявлен исключительно таковой (чеканка прекратилась в 1649 г.). Содержание золота в турецком ливре, как, впрочем, и в иных монетах, непрерывно уменьшалось на протяжении всего средневековья и особенно в XVI—XVII вв. Ввиду того что далее неоднократно упоминаются различные денежные знаки, уместно привести сведения о некоторых из них. Франк — первоначально (с 1575 г.) серебряная монета, содержащая 20 су, т. е. 1 ливр, с 1795 г. по настоящее время — основная денежная единица Франции; луддор («louis d'or» — букв. фр. «золотой Людовик») — золотая монета, названная по имени Людовика XIII, чеканилась в 1640—1795 гг.; первоначально была равна 10, а с середины XVIII в. — 24 турецким ливрам; эку — в середине XIII в. и с 1337 по 1653 г. — золотая, а в 1653—1793 гг. — серебряная монета стоимостью 3 ливра, демонетизирована лишь в 1834 г.; су — различная в разные времена разменная монета (золотая, серебряная, медная), до 1793 г. — 1/20 ливра, с 1795 г. — 1/100 франка, в 1947 г. изъята из обращения.
- <sup>8</sup> 14 мая 1610 г. король Франции Генрих IV был убит фанатиком иезуитом Франсуа Равальяком. Это событие явилось результатом совокупности причин — религиозных: Генрих IV, в сущности достаточно индифферентный в конфессиональных вопросах, был первоначально приверженцем протестантской религии и, хотя перешел в 1593 г. в католичество, чтобы овладеть престолом («Париж стоит мессы»), даровал своим бывшим единоверцам некоторые права и вольности (Нантский эдикт 1598 г.), что было абсолютным неприемлемо для крайних сторонников католицизма, возглавляемых орденом иезуитов; политических: в убийстве Генриха IV были заинтересованы враги Франции — испанские и австрийские Габсбурги, ибо Генрих поддерживал немецких протестантских князей в их борьбе против императора; личных: смерть короля открывала путь к власти его супруге Марии Медичи, ставшей регентшей при своем малолетнем сыне Людовике XIII. Впрочем, участие королевы в заговоре осталось недоказанным, ибо Дворец правосудия, где хранились материалы следствия по делу об убийстве короля, сгорел в 1618 г.; причины пожара не ясны до сих пор.
- <sup>9</sup> Эти слова приписываются Ньютону, якобы ответившему так на вопрос о причинах всемирного тяготения, законы которого он открыл.
- <sup>10</sup> Прирейнские земли были многовековым яблоком раздора между Францией и ее восточным соседом — Германией во всех исторических модификациях последней. Со времен завоевания Галлии Рейн служил границей между римскими владениями и территориями свободных германских племен (правда, германское население было и на левом берегу Рейна — провинция Верхняя и Нижняя Германия). В средние века после раздела государства Карла Великого, который произошел вслед за смертью его сына Людовика I Благочестивого (Верденский договор

843 г.), все земли к западу от Рейна, вплоть до Шельды и верховий Мааса и Соны, отошли к королевству старшего сына Людовика I Лотаря I. Регион между Шельдой и Соммой (будущее графство Фландрия) оставался за Западнофранкским королевством — будущей Францией. Распад владений Лотаря I привел к вхождению северной их части — будущего герцогства Лотарингии (иногда разделявшегося на два — Верхнюю и Нижнюю) — в состав Германии и созданию в центральной части этих владений отдельного Бургундского королевства (до 933 г. двух королевств — Верхне- и Нижнебургундского, или Арелатского), включенного в Империю в 1032–1034 гг. В XIV–XV вв. многие их прирейнских земель вошли в государство герцогов Бургундских, вассалов королей Франции. После расчленения бургундских владений в число имперских земель были включены и лены французской короны — Фландрия и Артуа. В XVII–XVIII вв. происходило неуклонное расширение Франции на север и восток. Еще в середине XVI в. в состав Франции вошли отдельные части Лотарингии и Эльзаса, включая небольшие территории левобережья Рейна (окончательно — в 1648 г.); в 1678 г. — Артуа, Франш-Конте (последний осколок Бургундского королевства, бывший в числе владений сначала герцогов Бургундских, потом Империи, потом Испании) и весь Эльзас; в 1766 г. — вся Лотарингия; в эпоху революционных войн (1792–1799 гг.) — все левобережье Рейна, включая австрийские Нидерланды, будущую Бельгию, и мелкие немецкие государства. В 1792 г. известные деятели Великой французской революции Ж. Ж. Дантон и Ж. П. Бриссо сформулировали понятие «естественных» границ Франции — океан, Рейн, Альпы и Пиренеи. На эти же идеи опирался на Венском конгрессе 1814–1815 гг. министр иностранных дел и глава французской делегации Ш. М. Талейран, пытаясь сохранить за Францией после крушения империи Наполеона I как можно больше. Рейнская проблема обострилась перед франко-прусской войной. С одной стороны, император Наполеон III снова выдвинул теорию «естественных» границ; с другой — в Германии, особенно в Пруссии, раздавались голоса о включении в состав будущего объединенного германского государства, образованного после победы над Францией в 1871 г., всех «исконно германских» земель, т. е. территорий, некогда входивших в королевство Лотаря. В результате поражения Франция потеряла Эльзас и Лотарингию. Перед первой мировой войной и во время войны в Германской империи (во главе с Вильгельмом II) вновь была развернута активная агитация за воссоединение всех регионов, когда-либо подвластных германской короне, — в этом среди прочего выдвигалось историческое и моральное оправдание захвата нейтральной Бельгии. По Версальскому договору 1919 г. Эльзас и Лотарингия снова возвратились в лоно Франции, но шовинистические идеи «Великой Германии» не исчезли и стали особенно популярны как раз в 1933 г. — в год прихода Гитлера к власти, тогда же Л. Февр читал лекцию, легшую в основу данной статьи. Отметим, что для Л. Февра, уроженца Франш-Конте и человека, чей творческий путь был тесно связан с университетом Страсбура, центра Эльзаса, вопрос о границах Франции представлял далеко не академический интерес.

<sup>11</sup> Имеется в виду первая мировая война.

<sup>12</sup> Видимо, автор говорит о периоде в истории католичества от времен, предшествующих разделению Церквей (1054), т. е. от момента, когда основные догматы христианства были окончательно сформулированы на первых семи вселенских соборах (с 325 по 787 г.) и обозначились догматические, обрядовые и организационные отличия западной разнородности тогда еще единой Церкви, до Реформации (начало — 1519 г.), когда многие положения ортодоксального католицизма были отвергнуты. При формальной неизменности вероучения в тот период возник ряд идей — о чистилище, о непорочном зачатии Девы Марии, о панской непогрешимости, — которые включались в вероучение, хотя догматически были оформлены значительно позднее. Аналогичным образом рождались в

тот период и еретические воззрения, например об апостольской нищете, о всеобщем священстве, которые либо ассимилировались Церковью (в деятельности, скажем, нищенствующих орденов), либо подготавливали почву для Реформации.

- <sup>13</sup> I Кор. 2, 19. В синодальном переводе это место несколько смягчено: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись истинные».

## КАК ЖИТЬ ИСТОРИЕЙ

- <sup>1</sup> Лицея во Франции — средние учебные заведения, в которые поступают после пятилетней начальной школы. Срок обучения семь лет, счет классов обратный: от седьмого к первому. Классы со второго подразделяются в зависимости от направления обучения на риторические (гуманитарные, с особым упором на филологию) и математические (точных наук). В настоящее время в первом классе предусмотрены пять секций: филологии и филологии, экономики, математики и физики, биологии, техники. Известный своим качеством преподавания лицей Людовика Великого (имеется в виду Людовик XIV) находится в Париже.
- <sup>2</sup> Анатоль Франс в автобиографическом романе «Книга моего друга» описывает, как он, выведенный под именем Пьер Нозьер, в возрасте шести-семи лет собрался вместе со своим столь же юным другом и по инициативе последнего написать «Историю Франции» «со всеми подробностями, в пятидесяти томах».
- <sup>3</sup> Французский дипломат барон Э. Ж. де Шарнасе сыграл большую роль в Тридцатилетней войне, подготавливая союз своей страны со Швецией, Баварией и Республикой Соединенных провинций (ныне — Королевство Нидерландов, именуемое часто Голландией по основной провинции).
- <sup>4</sup> Французский институт, или Институт Франции, — высшее научное учреждение. Создан в 1795 г. (до 1806 г. назывался Национальным институтом наук и искусств). Состоит из пяти академий: Французской академии (французская литература и филология, начиная с XVII в.; основана в 1635 г.), Академии наук (естественные науки; основана в 1666 г.), Академии надписей и изящной словесности (филология, кроме новой французской, археология, история; основана в 1663 г.), Академии изящных искусств (основана в 1816 г.) и Академии моральных и политических наук (философия, этика, экономика, право, социология, политология; основана в 1832 г.).
- <sup>5</sup> Мишле устанавливает параллели между событиями интеллектуальной и социальной жизни Франции XII в.: возникновением рационалистической философии Абелира, направленной против церковного догматизма, и так называемой «коммунальной революцией». движением городов, в основном Северной Франции (Камбре, Сен-Кантен, Амьен, Лан и др.) за политическую автономию и освобождение от власти сеньоров, в первую очередь духовных.
- <sup>6</sup> См.: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. IV. Гл. 18–24.

## ЛИЦОМ К ВЕТРУ

- <sup>1</sup> Туаз — старинная французская мера длины, около двух метров. В 1793 г. в революционной Франции была установлена метрическая система мер, где в основу измерения расстояний был положен метр, считавшийся тогда равным  $\frac{1}{40\,000\,000}$  длины парижского меридиана. Величины производных мер в этой системе определяются приставками: мега — 1 000 000, кило — 1000, санти — 0,01, милли — 0,001 и т. п.

- <sup>2</sup> Видный французский хирург и физиолог Р. Лерих был основателем нового физиологического направления в хирургии: он считал болезни не искажением нормальных функциональных отношений в организме, а созданием новых отношений.
- <sup>3</sup> Кабилы – народ в горных районах Северного Алжира, принадлежащий к берберской группе афразийской (семито-хамитской) языковой семьи, потомки древнего населения Северной Африки, жившего там до арабского завоевания в 690–709 гг. В настоящее время – около 2,5 млн человек. Упомянув о жителях Сирии, Ливана и Алжира, Сенегала и французского Индокитая, Л. Февр, видимо, намекает на развернувшееся в этих странах после второй мировой войны движение, направленное против французского колониального господства.
- <sup>4</sup> Бурная и трагическая жизнь Марии Стюарт послужила основой не только романов, но и многих «романизированных» исторических сочинений, ярким примером которых может служить ее беллетризованная биография, написанная С. Цвейгом.
- <sup>5</sup> Шевалье д'Эон де Бомон – французский авантюрист XVIII в., шпион и политический агент при многих дворах, в том числе при петербургском. Обладая красивой женственной внешностью, выдавал себя за девицу Лию де Бомон (и одновременно – в мужском костюме – за ее брата) и в этом качестве был приближенной дамой императрицы Елизаветы Петровны.
- <sup>6</sup> Фюльгенций Тапир – персонаж романа Анатоля Франса «Остров пингвинов», подслеповатый историк искусств, наделенный огромным и весьма чувствительным носом, с помощью которого он постигает мир форм и красок. Вся история мирового искусства занесена у него на разноцветные карточки в алфавитном порядке. В конце концов, злосчастный ученый гибнет, погребенный под грудой этих карточек.

#### КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ НАУКИ

- <sup>1</sup> После смерти Александра Македонского его гигантскую империю, простиравшуюся от Греции до Северо-Западной Индии, разделили между собой его полководцы (диадохи, от др.-греч. *διάδοχος* – преемник), основавшие самостоятельные династии Селевкидов (основатель – Селевк) в Сирии, Месопотамии, Иране и Средней Азии, а также на части Малоазиатского полуострова, Птолемея (основатель – Птолемей) в Египте, Антигонидов (основатель – Деметрий Полиоркет, династия названа по его сыну Антигону Гонату) в Македонии и др.
- <sup>2</sup> Людовик XV был женат законным браком только один раз – на Марии Лещинской, дочери низложившего польского короля Станислава. Но в правление предпоследнего дореволюционного французского монарха огромную роль играли его официальные фаворитки: сначала маркиза де Помпадур, а после ее смерти – графиня Дюбарри.
- <sup>3</sup> Борджа (исп. Борха) – знатный итальянский род испанского происхождения. Основателем могущества этой фамилии был Алонсо Борха, ставший папой Калликстом III. Под семейством Борджа обычно подразумевают племянника последнего – Родриго, взойшедшего на папский престол под именем Александра VI, и его детей: сына Чезаре и дочь Лукрецию. Это семейство прославилось жестокостью и развратом, совершенно неслыханными, даже если допустить, как это делает ряд современных историков, что слухи о поведении папы и его родни были сильно преувеличены их политическими и религиозными противниками. Александр VI и его сын стремились создать в Италии крупное государство во главе с Чезаре и в борьбе за это не брезговали ничем, в особенности отравлением неугодных с помощью самых неожиданных и экзотических спо-

собов. Яблоко, например, делилось ножом между папой и его сотрапезником — при этом одна сторона ножа была смазана ядом. Сам Александр VI умер, выпив отравленного вина, поднесенного ему то ли по ошибке, то ли в результате подкупа виночерпия.

## ИСТОРИЯ ИЛИ ПОЛИТИКА?

- <sup>1</sup> Египет, входивший в состав Османской империи, управлялся назначаемыми из Стамбула наместниками (вали). В 1841 г. вали Мехмет-Али добился наследственности своей власти, а его сын Исмаил (Исмаил)-паша, правивший с 1863 г., принял в 1869 г. титул хедива, т. е. вице-короля. Он стремился к расширению автономии Египта и его европеизации; обладал явными наклонностями к спекуляции и был наделен манерой величия. Все это требовало значительных средств, и хедив Исмаил залез в неоплатные долги, ввиду чего был принужден продать большую часть акций открытого в 1869 г. Суэцкого канала правительствам Англии и Франции и согласиться на международный контроль над финансами страны. Покупка этих акций правительством Б. Дизраэли активизировала ближневосточную политику Великобритании, ее стремление занять главенствующее положение в этом регионе. В 1879 г. был захвачен Кипр, в том же году смещен Исмаил-паша, пытавшийся ослабить финансовую зависимость от великих держав. В 1882 г., после подавления восстания, вызванного среди прочего этим смещением, Египет оккупировали британские войска.
- <sup>2</sup> В XIX в., особенно во второй его половине, возникло соперничество между Россией и Великобританией, вызванное продвижением русских в Средней Азии и усилением английского влияния в Афганистане. Для более активного освоения среднеазиатских территорий российское правительство предприняло в 1880 г. строительство Закаспийской железной дороги от Красноводска по направлению к оазисам Мерв и Пенде, которые еще предстояло покорить (первый вошел в состав Российской Империи в 1884 г., второй — в 1886 г.). Это вызвало беспокойство в Англии, где опасались, что в намерения русского правительства входит довести дорогу до Гератского оазиса, подчиненного Афганистану в 1862 г., и таким образом установить постоянные связи с правителем Герата, который проявлял заметную склонность к сепаратизму. По мнению Британии, это являлось нарушением русско-английского соглашения 1873 г., в соответствии с которым Афганистан должен был находиться в сфере британского влияния. В 1885 г. в оазисе Пенде близ Кушки произошло столкновение русских и афганских войск, причем последние потерпели поражение. Это вызвало резкую реакцию Великобритании и привело к дипломатическому конфликту, разрешившемуся ввиду объявления о завершении строительства Закаспийской железной дороги в 1886 г. в Кушке подписанием в 1887 г. русско-английского протокола о русско-афганских границах (этот протокол был подтвержден русско-английским соглашением 1907 г.).
- <sup>3</sup> Через находящийся в Центральной Швейцарии перевал Сен-Готард проходил старинный путь из Германии в Италию. В 1880-е годы через Сен-Готард была проведена железная дорога, важнейшим участком которой стал 15-километровый туннель под этим перевалом. Строительство железной дороги укрепило связи Германии и Италии и способствовало присоединению последней в 1882 г. к направленному против Франции Двойственному союзу Германской и Австро-Венгерской империй и тем самым превращению этого союза в Тройственный. Впрочем, этот альянс оказался не слишком прочным: с началом первой мировой войны Италия соблюдала нейтралитет, а в 1915 г. выступила на стороне Антанты (Англия, Франция, Россия и др.) против своих бывших союзников.

- <sup>6</sup> «Цветные» (чаще всего, но не обязательно — «белые») книги — называемые так по цвету переплетов сборники документов, обнаруженные правительствами (иногда также утверждаемые парламентами) для информации и в подтверждение правильности принимаемых решений. Подбор документов в этих сборниках бывает весьма тенденциозным, что, видимо, и вызвало иронию Л. Февра, выразившуюся в перечислении цветов данных книг.
- <sup>5</sup> Герои V книги «Гаргантюа и Пантагрюэль», написанной (или законченной) неизвестным автором уже после смерти Рабле, по пути к оракулу Волшебной Бутылки попадают в царство Квинтэссенции, именуемой также Энтелехией. Энтелехия (др.-греч. ἐντελέχεια — «осуществленность», от ἐντελής — законченный и ἔχω — имею) — термин философии Аристотеля, означающий единство в некоем предмете или явлении материальной субстанции, внутренней причины, конечной цели движения (или развития) и внутренней энергии этого движения или развития. Термин этот был весьма популярен в средневековой философии, ироническое отношение к которой у Рабле и его продолжателей выразилось в образе королевы Энтелехии, питающей только философскими категориями, список которых представляет собой смеховое пародирование схоластической терминологии. См.: Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. V. Гл. 20.
- <sup>6</sup> Термин «геополитика» был введен шведским политологом, пангерманистом Ю. Р. Челленом в годы первой мировой войны, но основателем немецкой геополитической школы явился еще в XIX в. создатель так называемой политической географии Ф. Ратцель. Сторонники этой школы полагают, что общество неразрывно связано с национальной почвой, и одновременно рассматривают его как некий квазибиологический организм, подверженный закону естественного роста и требующий новых территорий. Обязанность государства и призвание народа, согласно этому учению, — улучшать свое географическое положение. В 20-е годы XX в. геополитическая теория получила определенный импульс в трудах немецкого ученого К. Хаусхофера введением в нее расистских идей, имплицитно, впрочем, содержащихся там и ранее. Тогда же было окончательно сформулировано пресловутое положение о «жизненном пространстве». В таком виде геополитика вошла в корпус официальной идеологии «третьего рейха». О французской географической школе см. примеч. 5 к статье «Суд совести истории и историка».
- <sup>7</sup> Пьер Лаваль, французский премьер-министр и министр иностранных дел, в 30-е годы XX в. был активным сторонником так называемой политики умиротворения, т. е. фактического потворства захватническим стремлениям фашистских Германии и Италии; содействовал захвату Эфиопии итальянскими войсками, заключив в 1935 г. Рейнский пакт (соглашение Лавала—Муссолини). Пассивное отношение его правительства к агрессивным замыслам Германии способствовало тому, что германские войска заняли в 1936 г. демилитаризованную по Версальскому договору 1919 г. Рейнскую область, тем самым резко ослабив границы Франции. В годы второй мировой войны — капитулянт. В 1942—1944 гг. — глава так называемого правительства Виши; после освобождения Франции казнен как изменник.
- <sup>8</sup> После поражения революции 1848 г. и прихода к власти Наполеона III Франция стала играть активную роль в мировой политике, участвуя в европейских и колониальных войнах. Впрочем, Л. Февр имеет в виду, скорее всего, переворот не столько во внешней или внутренней политике, сколько в массовом сознании: с середины XIX в. Франция превращается из родины Просвещения и Великой революции в страну буржуа, рантье и политиканов.
- <sup>9</sup> С середины XIX по середину XX в. Франция испытала множество политических потрясений. В феврале 1848 г. была свергнута династия Орлеанов и провозглашена республика (Вторая республика). В декабре

того же года пост президента занял племянник Наполеона I Луи Наполеон Бонапарт, в декабре 1851 г. он совершил государственный переворот, который принес ему фактически неограниченную власть, и в декабре 1852 г. провозгласил себя императором под именем Наполеона III (Вторая империя). Во время франко-прусской войны в сентябре 1870 г. он был низложен, после того как сдался в плен со всей армией под Седаном, и в августе 1871 г. вновь была провозглашена республика (Третья республика). Что касается монархического движения, то оно продолжалось с приливами и отливами до второй мировой войны. Под «королем-маршалом» Л. Февр имеет в виду либо генерала Ж. Буланже, либо маршала А. Ф. Петена. Первый из них, политический авантюрист, связанный с монархистами, выступил в 1886—1889 гг. во главе разношерстного движения, выдвигавшего требования пересмотра конституции (цели и характер этого пересмотра Буланже не раскрывал), реванша по отношению к Германии и проведения социальных реформ (не ясно каких). В конечном счете движение распалось. Буланже, обвиненный в попытке государственного переворота, бежал в Бельгию, где в духе лучших романтических традиций застрелился на могиле своей возлюбленной. Маршал Петен, видный военачальник первой мировой войны, в 1940—1942 гг. был главой коллаборационистского правительства Виши, а затем занял пост «главы государства» (не президента). В вишистском государстве культивировались монархические формы: так, П. Лаваль, объявленный в 1942 г. не только премьер-министром, но и заместителем и преемником главы государства, официально принял титул дофина, как именовались наследники французского престола с 1349 по 1792 г.

## ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

- <sup>1</sup> Пэан — торжественный хоровой гимн, благодарственный, победный или умилоустительный, преимущественно в честь Аполлона. Здесь слово употреблено в переносном смысле — хвалебная песнь.
- <sup>2</sup> «История Франции» (до Великой французской революции) под редакцией Э. Лависса вышла в свет в 1900—1911 гг. в девяти томах.
- <sup>3</sup> «Король Убю» — фарс А. Жарри. Главный персонаж одноименной пьесы заимствован автором из масок студенческого карнавала второй половины XIX в. Имя короля Убю стало нарицательным для обозначения глупца, пользующегося бесконтрольной верховной властью.
- <sup>4</sup> Раздираемый противоречивыми политическими устремлениями, мучимый совестью из-за участия, пусть пассивного, в убийстве своего отца, императора Павла I, Александр I предался мистическим настроениям. На этой почве он сблизился с 1816 г. с писательницей, религиозной авантюристкой, духовидицей и пророчицей баронессой В.-Ю. Крюднер, проповедовавшей единство всех христиан, предвещавшей великие битвы между верой и неверием (к ним она относала многие политические события) и в конечном счете основание царства Христова на Земле у подножия горы Арарат. Выступала в поддержку греческого восстания против турок, что вызвало разрыв с Александром. Широко распространенное мнение, что именно ей принадлежала идея Священного союза государей против революций, вряд ли основательно.
- <sup>5</sup> Упомянутые Л. Февром царицы: Екатерина I (Марта Скаврнская), дочь литовского крестьянина, содержавшего корчму, наложница, а затем и вторая жена Петра I, правившая после его смерти, и Екатерина II, любвеобильие которой достаточно известно.

## ИСТОРИЗИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ

- <sup>1</sup> Братья А. и Э. Мишлен, изобретатели автомобильной пневматики, в 1863 г. основали «Société generale de etablissement» (Генеральное общество предприятий), в 1890 г. ставшее выпускать первые грузовики; в 1896 г. преобразовано в «Пежо-Отомобиль» (с 1976 г. — «Пежо-Строен»).
- <sup>2</sup> Это высказывание принадлежит философу-бергсоновианцу, видному представителю католического модернизма, а также математику, палеонтологу и антропологу Э. Леруа и представляет, в сущности, парафраз известного заявления А. Дюма-отца: «История — это гвоздь, на который я вешаю свою картину».

## ОТ ШПЕНГЛЕРА К ТОЙНБИ

- <sup>1</sup> Капитальный труд Дж. Фрэзера (Фрейзера) «Золотая ветвь» (существует множество изданий, наиболее объемистое, в 12 томах, вышло в 1911—1915 гг.), в котором автор группирует разнообразнейшие первобытные верования вокруг идеи умерщвления своим преемником царя-жреца (и отсюда — вокруг идеи умирающего и воскресающего бога), оказал огромное влияние не только на научную мысль, но и на культурное сознание целой эпохи.
- <sup>2</sup> Исследование А. Тойнби, выходявшее в 1934—1961 гг., в конечном счете составило 12 томов, причем в процессе написания книги взгляды автора несколько изменялись.
- <sup>3</sup> Традиционный русский перевод названия книги Шпенглера не вполне точен. На деле он гласит «Закат Западного мира», ибо автор включает в выделяемый им культурный ареал США, но исключает Россию, в которой зарождалась своя, особая культура. Правда, центром этой культуры, называемой «русско-сибирской», должны стать, по мнению Шпенглера, азиатские регионы нашей страны.
- <sup>4</sup> Сочинение Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (в шести томах, 1776—1788 гг.) привлекло внимание всей европейской читающей публики не только благодаря своим немалым литературным достоинствам, но и тем, что основными причинами падения Империи автор считал деспотизм императоров, финансовый гнет, производимый имперской бюрократией, а также разлагающее влияние христианства, убившего, по мнению Гиббона, дух патриотизма и гражданственности, — а все эти идеи были более чем актуальны в предреволюционную и революционную эпохи.
- <sup>5</sup> Л. Февр противопоставляет здесь людей высочайшей культуры, посвятивших себя активной духовной жизни (философ А. Бергсон), и обывателей, занятых лишь погоней за прибылью (Бэббит — герой одноименного романа американского писателя С. Льюиса).
- <sup>6</sup> Вадюс и Триссотен — персонажи комедии Ж. Б. Мольера «Ученые женщины». Первый — лжеученый, весьма гордящийся своей мелочной филологической эрудицией. Второй — напыщенный и пустой галантийный поэт, также похваляющийся своими обширными познаниями. Дружба этих персонажей, основанная на взаимном восхвалении талантов и учености, заканчивается бурной ссорой, вызванной резким отзывом Вадюса об одном стихотворении, причем он не знает, что автор — Триссотен. Во время перепалки герои обмениваются обвинениями в невежестве и бездарности.
- <sup>7</sup> О. Шпенглер был действительно во многом близок к фашизму, но скорее в интеллектуальном, нежели в политическом, плане. О его отношениях с победившими нацистами см. след. примеч.



- <sup>8</sup> Л. Февр не вполне справедлив к О. Шпенглеру. Мыслитель консервативно-националистического толка, он все же отклонил сделанное ему Геббельсом 26 октября 1933 г. предложение о сотрудничестве (ответ датирован 3 ноября того же года). Книга «Годы решений», о которой Февр отзывается весьма иронически, содержит, кроме нападок на последователей фашизма, насмешки над политической антисемитизма и пангерманистскими мечтаниями гитлеровцев. В 1935 г. Шпенглер порвал свои, до того весьма тесные, связи с архивом Ф. Ницше и хранительницей этого архива Э. Фестер-Ницше, сестрой философа. Этот разрыв был актом протеста против нацистской фальсификации творчества Ницше.
- <sup>9</sup> Здесь, скорее всего, игра слов: указанное название университетской должности, которую занимал О. Шпенглер, этимологически (*ober-lehrer*) можно понимать как «верховный учитель», «главный наставник». Видимо, Л. Февр вкладывает в уста нацистов насмешку над Шпенглером, претендовавшим на роль властителя дум.
- <sup>10</sup> В настоящее время на Ближнем Востоке существуют относительно немногочисленные общины православных христиан-арабов (мелькитов) — всего около 500 тыс. человек. Однако объединять в рамках одной культуры этих последних наследников христиан эпохи византийского Востока с иными народами, исповедующими или исповедовавшими православие, вряд ли правомерно.
- <sup>11</sup> В V в. н. э. по всему христианскому миру прокатились так называемые христологические споры о проблеме соединения в личности Христа божественного и человеческого. Несториане (по имени основателя течения епископа Константинопольского Нестория) настаивали на том, что в Христе сосуществуют Бог-Сын и человек Иисус, причем связь между ними условная и относительная. Их крайние противники утверждали, что Христос имеет единую природу (греч. *ἕνως φύσις* — отсюда название монофизитов) — божественную. Ортодоксальным было объявлено учение о том, что Христос двуприроден, что божественное и человеческое пребывает в нем нераздельно, но неслиянно. Сторонники осужденного в 431 г. на Эфесском соборе несторианства бежали в Иран, Среднюю Азию, Индию и Китай, где образовали небольшие, но сплоченные группы, объединявшие в основном купцов и ремесленников. В настоящее время несторианские церкви, называемые также халдейскими, имеются на Ближнем Востоке и в Индии и насчитывают около 100 тыс. прихожан. Монофизиты же, отколовшиеся от православия на Халкедонском соборе 451 г., создали существующие по сей день церкви в Армении (армяно-григорианская церковь), Египте (Александрийская коптская церковь), Эфиопии, Сирии (якобитская церковь) и Индии, где в XVI в. значительная часть халдейских общин приняла католическую унию, а после разрыва унии эти общины не вернулись к несторианству, а перешли к монофизитам. Всего монофизитов около 20 млн человек.
- <sup>12</sup> В Иране и Средней Азии до арабского завоевания и принятия ислама господствующей религией был зороастризм, названный по имени пророка Зороастра (иран. Заратустра), в основе учения которого лежало признание в мире двух равноправных и противоположных начал — Добра и Зла — и соответственно двух верховных божеств — Ормузда (Ахурамазды) и Аримана (Анхра-Майнью). Эта религия, оказавшая немалое влияние на христианство, как ортодоксальное, так и в особенности еретическое, в настоящее время представлена лишь небольшими группами в Иране (гебры — около 30 тыс. человек) и Индии (парсы, т. е. персы, — более 200 тыс. человек), а также курдской сектой йезидов (около 100 тыс. человек), достаточно отделившихся от ортодоксального зороастризма.
- <sup>13</sup> В I в. н. э. буддизм разделился на два течения — хинаяну (Малую колесницу, или в иной интерпретации Узкий путь) и махаяну (Большую колесницу, или Широкий путь). Сторонники первого течения считают Будду образцом и идеалом поведения, но при этом обычным человеком,

отличным от остальных лишь тем, что он открыл путь спасения. Достижение нирваны (трудноопределимого высшего состояния, характеризующегося прекращением всех желаний и разрывом цепи перерождений) возможно, по учению хинаянистов, для каждого человека, но лишь путем личных усилий, и никак иначе. В махаяне же Будда приобретает черты высшего божества, спасителя мира; в деле достижения нирваны возможны посредники — бодхисатвы (личности, получившие благодаря святой жизни возможность перейти в нирвану еще при земном существовании, но остающиеся в миру, чтобы помочь верующим) и — шире — вообще духовенство, отсутствующее в хинаяне, где признается лишь монашество, преданное делу исключительно личного спасения. В махаяне в отличие от хинаяны практикуется пышный культ Будды и бодхисатв. Оба эти направления вряд ли можно считать обломками агонизирующих обществ, ибо в мире ныне насчитывается около 250 млн буддистов в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме, Монголии — махаянисты, а также в Шри-Ланке и остальных Индокитае — хинаянисты.

- <sup>14</sup> Название религии — джайнизм — происходит от прозвища ее основателя Махавиры Вадхарманы — Джина, т. е. Победителя. Существовавший и существующий только в Индии джайнизм близок к хинаянистскому буддизму, но отличается более ригористическими требованиями: аскетизм общеобязателен, для некоторых течений общеобязателен также полный отказ от собственности, включая одежду (сторонники этих течений именуется «дигамбарам», т. е. «одетыми воздухом»); требование непричинения вреда ничему живому доведено до абсолютного предела — джайны пьют только процеженную воду, всегда носят марлевые повязки на рту, чтобы не проглотить случайно какое-либо крохотное насекомое, и ходят, подметая перед собой дорогу, дабы не наступить на подобное существо. Такие жесткие требования препятствовали широкому распространению джайнизма, его последователи рано образовали замкнутую касту, но он благодаря этому сохранился по сей день (число приверженцев — 3 млн), тогда как более толерантный буддизм в Индии исчез.
- <sup>15</sup> По мнению Л. Февра, термин «католическая цивилизация» не пригоден для целых групп обществ. Во-первых, его нельзя отнести к протестантским странам: Англии, где вождями Реформации были и монархи — Генрих VIII и Елизавета I, — и лидер Английской революции Оливер Кромвель; Германии — родине отца протестантизма Мартина Лютера; Швейцарии, откуда пошла кальвинистское и цвинглианское направления Реформации. Во-вторых, термин этот не подходит и для Франции, в общем-то католической, где, однако, были весьма влиятельные в культурном смысле антиклерикальные течения — деистическое, признававшее Бога-Творца как некий бытийственный и моральный первопринцип, но отрицательно относившееся к конфессиональной ограниченности и религиозной нетерпимости (яркий представитель — Вольтер), и просвещенско-атеистическое (Дидро). В-третьих, термин не подходит и для описания культурной ситуации в тех государствах, где мировоззрение значительного числа людей базируется на принципах атеизма (это символизируют имена Маркса и Ленина).
- <sup>16</sup> В ходе гражданской войны 747—750 гг. в Арабском халифате была свергнута династия Омейядов (они принадлежали к роду правителей доисламской Мекки, дальних родственников и вначале противников, а потом сторонников Мухаммеда; родоначальником их считался Омейя) и к власти пришли Аббасиды — потомки Аббаса, дяди пророка. Это событие — результат ряда причин: национальных, политических, религиозных и т. п. А. Тойнби акцентирует внимание на национальных истоках конфликта: опорой Омейядов были потомки первых арабских покорителей Сирии и Египта, стран, до того принадлежавших Византии, а Аббасидов — как жители Аравии, в основном Южной (Йемен) и Северо-Восточной (к западу от Месопотамии), так и население недавно завоеванных Ирана и

Средней Азии. Иран, Сирия, Египет и Северная Аравия входили с середины I тыс. до н. э., до походов Александра Македонского, в состав древнеперсидской державы, возглавляемой Ахеменидами, потомками полудегендарного царя Ахемена. После македонских завоеваний и распада империи Александра Сирия и Иран оказались в государстве Селевкидов, Египет — под властью Птолемеев (см. примеч. 1 к статье «Коллективные исследования и будущее науки»). Впоследствии Иран вошел (ок. 250 г. до н. э.) в Парфянское царство (собственно Парфия — относительно небольшая область к югу от Каспия), Сирия и Египет — Римское государство (соответственно в 64 г. до н. э. и 30 г. н. э.), мелкие княжества Северной Аравии являлись буферными государствами между Римом и Парфией, переходя то на ту, то на другую сторону. Борьбу продолжали наследники: Византия и государство Сасанидов — иранских шахов, пришедших к власти в 248 г. В VI — начале VII в. иранские правители установили власть над большинством небольших арабских государств Междуречья и даже превратили южноарабское Йеменское царство в свою провинцию. Однако их владычество над этими областями оказалось весьма непродолжительным. Аравия в целом не принадлежала ни Ахеменидам, ни Сасанидам, ни Риму и получила более или менее устойчивое государственное устройство лишь в результате вхождения в Халифат. Административно и Аравия, и Сирия, и Египет были частями этого государственного образования. Разрыв между ними произошел скорее в форме внутреннего раскола: старинная мекканская и мединская знать в эпоху Омейядов утратила власть, уступив ее состоящему из новой военной знати окружению халифов. Восстановление Аббасидами единства заключалось в том, что, опираясь на Иран, обладавший древними статистическими традициями, они превратили Халифат в государство скорее общемульманское, нежели арабское.

<sup>17</sup> Имеется в виду знаменитый французский акробат Морис Коллеано, выступавший в годы первой мировой войны с эффектным трюком: двойным сальто назад из партера (т. е. с поверхности арены, без помощи снарядов). Отечественные историки цирка утверждают, однако, что впервые этот номер исполнил на гастролях в Париже в 1889 г. русский цирковой артист Алеша Соснин.

<sup>18</sup> Первоначально А. Тойнби выделил двадцать одну локальную цивилизацию: западную, византийскую православную, русскую православную, арабскую, персидскую, индийскую, цивилизацию Дальнего Востока (древнекитайскую до II в. н. э.), античную, сирийскую, «индскую» (раннеиндийскую до II в. н. э.), китайскую, японо-корейскую, минойскую (крито-микенскую), шумерскую, хеттскую, вавилонскую, египетскую, андскую, мексиканскую, юкатанскую, майя (эпохи Древнего царства). Кроме того, по его мнению, существовали еще цивилизации, не развившиеся в силу внутренней окаменелости (пять цивилизаций, в том числе спартанская и полинезийская) или поглощения более передовой (например, скандинавская цивилизация, растворившаяся в западной), последних насчитывается еще четыре. В процессе работы над «Изучением истории» концепция Тойнби менялась. В последнем, двенадцатом томе, вышедшем в 1961 г., основных цивилизаций стало тринадцать: мезоамериканская, андская, шумеро-аккадская (т. е. вся цивилизация Двуречья), египетская, эгейская, цивилизация Инда (протоиндийская, до середины II тыс. до н. э.), китайская, индийская, сирийская, античная, православная, западная, исламская. Остальные полагаются цивилизациями-спутниками, например хеттская — шумеро-аккадской, японская — китайской, русская — сначала византийско-православной, а после Петра I — западной.

<sup>19</sup> Первоначальным центром древнекитайской цивилизации был бассейн реки Хуанхэ, и только в VIII в. до н. э. эта цивилизация распространилась к югу, до реки Янцзы.

- <sup>20</sup> «Островные» цивилизации — это, по мнению А. Тойнби, общества, господствующие над морем; их основой является морская торговля в противовес цивилизациям «речным», базирующимся на ирригационном земледелии. Минойская культура (от имени легендарного царя Миноса) расцвела на острове Крит (III—II тыс. до н. э.), бывшем гегемоном Средиземноморья благодаря мощному флоту («талассократия», т. е. моревладность). По этой же причине к «островным» цивилизациям относится и эллинская: наиболее развитые регионы греческого мира — Иония и Атика — лежат на побережье и включают ряд островов; одним из факторов экономического и культурного подъема Древней Греции была колонизация берегов Средиземного и Черного морей и активный товарообмен с колониями и иными прибрежными территориями; Афинское государство добилось на определенный период верховенства над всей Элладой по причине могущества своих морских сил.
- <sup>21</sup> Приводимый А. Тойнби перечень книг и людей, воплощающих в себе закон Призыва и Отклика, весьма велик и пестр. Здесь есть примеры вызова со стороны божества — как языческих богов, так и Яхве. К первой разновидности относятся эддическая песнь «Прорицание вёльвы», в которой вёльва, т. е. колдунья-пророчица, вещает о надвигающемся конце света, «Теогония» Гесиода с его учением о близящемся упадке мира, трагедия Еврипида «Ипполит» о неодолимой силе любви, вызванной разгневанной Афродитой. Ко второй разновидности — «Книга Бытия», суть которой — непрерывный диалог между Богом и избранным им народом, «Книга Иова», в которой Иов из глубин своего страдания вызывает самого Бога на суд, служение апостолов Матфея и Павла, которое началось в первом случае призывом из уст самого Иисуса (Мтф. 9, 9), во втором — видением Христа (Деян. 9,3 — 9), богословская деятельность Оригена, пытавшегося сочетать библейскую веру с греческой философией, аскета и мученика, позднее объявленного еретиком. В приведенном списке также герои и книги, вдохновленные пафосом земных задач: строительство великой державы («Энеида» Вергилия), познания мира и воздействия на него («Фауст» Гете), прогресса экономики и культуры (тезис о прогрессе как историческом законе был впервые четко сформулирован А. Р. Ж. Тюрго, просветителем, экономистом, министром финансов Людовика XVI), единства и мира между государствами (философ К. Ф. Вольей, граф при Наполеоне I и пэр при Реставрации, мечтал о соединении всей Европы в одно парламентское государство во главе с просвещенным монархом). Ирония Л. Февра отражает распространенное во французской исторической науке недоверие к глобальным историософским построениям: соединение столь разнородных текстов и деятелей в одном списке, вполне возможное при определенном уровне философского абстрагирования, он полагает совершенно недопустимым с позиций историка.
- <sup>22</sup> А. Тойнби имел в виду цивилизации, возникшие и погибшие в тропических лесах и пустынях. Что касается первого типа, то причины как стремительного взлета (рубеж н. э.), так и быстрого упадка (конец VIII — начало X в.) Древнего царства майя (большинство городов было покинуто их обитателями), располагавшегося в малонаселенной в наши дни сельве Северной Гватемалы (история государств майя, находившихся на засушливом Юкатане, иная), неясны по сей день как из-за отсутствия письменных источников (иероглифика майя в полной мере не расшифрована, но даже то, что мы знаем, свидетельствует, что в сохранившихся текстах нет хроникальной информации), так и ввиду недостаточной археологической изученности данного региона. Если же говорить о цивилизациях Цейлона (Шри-Ланки) и Камбоджи, то, во-первых, центры зарождения этих цивилизаций находятся вне зоны тропических лесов: сингалы и тамилы переселялись с середины I тыс. до н. э. из Индии, страны высокой культуры, на Шри-Ланку, где обитали лишь племена

веддов, малочисленные потомки которых и поныне ведут охотничье-собираТЕЛЬский образ жизни; камбоджийская цивилизация распространилась из государства Фувань (I—II вв.), лежавшего в дельте Меконга. Во-вторых, гибель ряда городов в джунглях (наиболее известный пример — столица камбоджийского государства Анкор со знаменитым храмовым комплексом Анкор-Ват, заброшенная в XIV—XV вв.) никак не равна гибели цивилизаций, развивавшихся и дальше. Причины того, что города в Кампучии и Шри-Ланке были покинуты, лежат во внутренних раздорах и вторжениях извне. Город же Пальмира возник в оазисе на перекрестке караванных путей между Сирией и Ираном; Пальмирское государство, зависимое от Рима, попыталось сбросить его власть, опираясь на царство Сасанидов, и, несмотря на первоначальные успехи, было завоевано императором Аврелианом, который после вторичного восстания приказал в 273 г. перебить всех жителей и разрушить город, поглощенный в конце концов песками пустыни.

- <sup>23</sup> Еще античные авторы считали одной из причин поражения Ганнибала в борьбе с Римской республикой то, что после победы при Каннах в 217 г. до н. э., когда римская армия была практически уничтожена, он не пошел на Рим, а занял Апулию, сделав своей основной базой богатую Капую, перешедшую на сторону Карфагена в 216 г. до н. э. По мнению древних историков, войско Ганнибала совершенно разложилось и утратило боевой дух под влиянием мягкого климата и обилия даров цивилизации. Современные исследователи в большинстве снимают с великого пунидца обвинение в ошибке и полагают, что у него не хватало материальных и людских ресурсов для активных действий против врагов.
- <sup>24</sup> Обитавшая, согласно Гомеру, на острове Эя в роскошном дворце среди лесов волшебница Цирцея (Кирка) заманивала к себе мореплавателей и, опоив их колдовским зельем, превращала в животных; лишь Одиссею с помощью богов удалось спасти себя и своих спутников от ее чародейства. Как повествуют греческие мифы, прекрасная нимфа Калипсо (между прочим, замечательная ткачиха), жившая на острове Огигия среди великолепной природы в увитом виноградными лозами гроте, в течение семи лет пыталась удержать у себя Одиссея. Прелестные дщери Ханаана (древнее название территорий Палестины, Финикии и Сирии, куда вторглись пришедшие с Синайского полуострова кочевые еврейские племена) стремились, по Писанию, свратить суровых воинов Яхве на путь служения ложным богам. Отметим, что с древних времен все приведенные примеры, включая историю Ганнибалова войска под Капуей (см. примеч. 23), считались свидетельствами разлагающего влияния не только далекого от суровости климата, но и благ цивилизации. Впрочем, вплоть до периода Романтизма природа и культура не противопоставлялись столь резко, как сейчас. Идеальной считалась как раз окультуренная природа.
- <sup>25</sup> Доколумбовы культуры Перу (Чавин, Чиму́, Мочика, Наска, Тиауана́ко, культура государства инков) базировались на поливном земледелии, но наиболее остро его проблемы стояли на северном побережье Перу (культуры Чиму, Мочика, Наска) или Боливийском нагорье (Тиауана́ко), в инкском же государстве Тауантинсуйу население концентрировалось в основном на склонах гор и в теплых долинах и котловинах, где условия орошения были лучше.
- <sup>26</sup> Аттика — территория Афинского государства — оценивалась и современниками и потомками как центр культуры («аттическая речь» в качестве символа высшей цивилизованности); сельскохозяйственная, в основном скотоводческая, Беотия считалась в древности неким античным Пошехоньем — страной дураков.
- <sup>27</sup> Историческим центром Прусского государства — объединителя Германии — была Бранденбургская марка на северо-востоке средневековой Священной Римской империи. Рост могущества этого государства может быть

во многом объяснен активной колонизацией края, но колонизация была вызвана не столько малой заселенностью суровых земель, сколько истреблением и вытеснением автохтонного славянского (город, давший название марке был первоначально славянской крепостью Бранибор, захваченной в 1157 г.) и прусского (прусская — балтийская народность, родственная литовцам) населения. Прирейнские области — культурно и экономически наиболее развитые регионы средневековой Германии, а также районы с самой высокой в Пруссии с середины XIX в. концентрацией промышленности — включались в состав государства бранденбургских курфюрстов и прусских герцогов (с 1701 г. — королей) Гогенцоллернов со времен Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. до окончания наполеоновских войн в 1815 г. Графы Габсбурги, будущие монархи огромного Австро-Венгерского государства, также во многом (хотя и менее, нежели Пруссия) обязанные колонизации, обладали первоначально лишь небольшими доменами в Эльзасе. В 1273 г. представитель этого рода Рудольф I был избран главой Священной Римской империи и благодаря этому присоединил в 1283 г. к своим владениям Австрию — будущее ядро государства Габсбургов. Дальнейшее развитие последнего шло в направлении захвата возможно больших территорий, в особенности на востоке Империи (Тироль, Каринтия, Крайна, Чехия), а также вне ее (Венгрия, позднее Польша и Югославские земли). Надо отметить, что многие германские историки — современники объединения Германии (например, К. Лампрехт) — полагали, что соединителями ее стали Гогенцоллерны, а не Габсбурги именно потому, что в состав владений первых входили рейнские области — часть исконной Германии, тогда как вторые еще в XVII в. потеряли все земли на западе Империи и центр тяжести их государства лежал вне собственно немецкой страны.

- <sup>28</sup> Заявление о том, что вавилонская цивилизация возникла в Ассирии (принадлежащее скорее Л. Февру, нежели А. Тойнби), не совсем точно. По А. Тойнби, вавилонская культура возникает в XV в. до н. э. после распада шумерского общества, в которое он включает и так называемое Царство Шумера и Аккада, и древнеавилонское государство. Ассирия, по мнению Тойнби, была последним островком шумерского мира, но позднее стала ядром последующей цивилизации, названной им вавилонской. Опираясь на исследование современных ученых, можно считать, что Верхняя Месопотамия, где находилась Ассирия, была в V—IV тыс. до н. э. экономически более развита и гуще заселена, чем Нижняя Месопотамия, еще покрытая болотами. Позднее же, в III тыс. до н. э., с созданием на Юге значительных ирригационных сооружений этот регион вырывается вперед. Но основы месопотамской культуры были заложены еще в V тыс. до н. э. шумерами. Происхождение их неясно, но все свидетельствует о том, что родина этого народа находилась где-то на юго-западе по отношению к Междуречью. Шумерские государства были позднее завоеваны аккадцами — семитским народом, жившим в Южной Месопотамии, но севернее шумеров. Смешанная культура распространилась по всему Двуречью, и жители Ассирии — видимо, хурритские племена (по мнению ряда лингвистов, отдаленно родственные современным северокавказским народам) — приняли аккадский язык.

Много позднее победы Ассирии над Вавилонией с IX в. до н. э. и даже включение последней в состав Ассирийской державы в 689 г. до н. э. не привели не только к долговременному подчинению побежденных (Вавилон отпал в 626 г. до н. э.), но и к сколько-нибудь заметному культурному преобладанию победителей. Наоборот, ассирийская культура (насколько мы можем о ней судить) была лишь локальным вариантом вавилонской, поэтому принято говорить, может быть не совсем точно, об ассиро-вавилонской цивилизации.

- <sup>29</sup> Индийская цивилизация представляет собой смешение так называемой протоиндийской (видимо, дравидского происхождения) цивилизации в

- Северной Индии, в основном в долине Инда, и той культуры, которую принесли с собой завоеватели-арьи, вторгшиеся в середине II тыс. до н. э. на Индостанский полуостров с северо-запада, скорее всего с Иранского нагорья. Ядром этой новой культуры явился бассейн Ганга, откуда она распространилась на юг, вступая в сложные отношения с автохтонными культурами. А. Тойнби делит индийскую цивилизацию на две: «индскую», возникшую в долине Инда (английский историк писал соответствующие страницы своего труда, не зная о протоиндийской культуре, и полагал «индское» общество наследником колониальной периферии шумерского) и собственно индийскую, центр которой он видел на севере (а не на юге) субконтинента.
- <sup>30</sup> К середине IV в. до н. э., примерно через сорок лет, прошедших с 18 июля 390 (или 389) г. до н. э., когда римские войска потерпели сокрушительное поражение от галлов на реке Аллии, притоке Тибра, результатом чего было взятие и сожжение города (кроме Капитолия — его цитадели), Рим стал самым сильным государством Италии.
- <sup>31</sup> В течение полувека после битвы под Анкарой (28 или 30 июня 1402 г.), приведшей к временному распаду турецкого государства, Османская империя восстановила свою целостность и мощь и увенчала успехи взятием Константинополя 29 мая 1453 г.
- <sup>32</sup> 19 октября 202 г. до н. э. около г. Замы в Северной Африке римская армия нанесла поражение карфагенским войскам, решив исход Второй пунической войны в пользу Рима.
- <sup>33</sup> Битвой при Вердене обычно именуют длившуюся с 21 февраля по 21 декабря 1916 г. значительную операцию, в ходе которой немецкие войска безуспешно пытались прорвать фронт французских войск под г. Верденом в Северной Франции. Неудача германской армии в этом сражении, вызванная среди прочего тем, что ряд соединений пришлось перебросить на помощь Австро-Венгрии в Галицию, где развернулось наступление русских войск, была одним из факторов, приведших к поражению Германии в первой мировой войне.
- <sup>34</sup> Древний Египет четко делился на две части: северный Нижний Египет в дельте Нила и южный Верхний Египет в долине Нила до первого порога. Эти два региона были до 3000 г. до н. э. самостоятельными государствами, и воспоминания об этом сохранились на протяжении всего существования древнеегипетской державы в административном делении, титулатуре фараонов и пр. На границе обоих Египтов находилась древняя столица — Мемфис (греческое название, по-египетски Мен-Нофр). Со времени правления XI династии (XXII—XX вв. до н. э.) до приблизительно VIII в. до н. э. столицей страны были (с перерывами) Фивы (тоже греческое наименование, туземное Уаси, или Уасет), лежащие в центре Верхнего Египта.
- <sup>35</sup> Пенджабы, особенно из этнорелигиозной группы сикхов, традиционно составляли значительную часть туземной армии в Британской Индии.
- <sup>36</sup> С 1562 г. Дели был столицей Империи Великих Моголов — сильнейшего индийского государства, с 1804 г. находившегося под английским протекторатом и упраздненного в 1857 г. Административным центром британских владений в Индии в 1771—1911 гг. была Калькутта, с 1911 г. — Дели, который в 1947 г. стал столицей независимой Индии. Бомбей же всегда был крупнейшим городом страны, ее промышленным центром.
- <sup>37</sup> Самое крупное из основанных германцами в начале средних веков государств — Франкское — выросло из небольшого королевства салических франков, где правила династия Меровингов, созданная в первой половине V в. Клодионом (Хлоей) Волосатым (династия получила название по имени сына Клодиона, полудеянного Меровея). Область первоначальных владений этой династии в бассейне Среднего и Нижнего Рейна позднее получила название Австразии (от герм. Oster — восточный), так как она находилась к востоку от завоеванных франками римских

провинций в Галлии. Иногда Австразией именовали всю германскую часть Франкского королевства. Королевство это в целом сложилось к началу VI в. Набег на него тюркоязычных аварских племен начались с середины VI в., когда авары, захватив Паннонию, основали там свой каганат. Саксы оставались язычниками после христианизации франков, и войны между этими двумя германскими народами длились от основания Франкского королевства до периода 772—804 гг., когда Саксония была завоевана Карлом Великим, происходившим из сменившей Меровингов династии Каролингов, или Пипинидов. Позднее, в 919—1024 гг., герцоги Саксонские были германскими королями, а с 926 г. — одновременно императорами. Самым крупным представителем этой династии был первый из нее император — Оттон I.

<sup>38</sup> Столица государства Тауантинсуйу (см. примеч. 25 к данной статье) находилась в центре Андского нагорья. Теночтитлан, столица расположенного на Мексиканском нагорье государства ацтеков, лежит в глубине континента, а подвластные ацтекам города Тлашкала и Чоула были расположены неподалеку. Города Мексиканского нагорья часто подвергались набегам и завоеваниям как из лесных районов на побережье Мексиканского залива, так и в особенности с севера, где одним из самых сильных было племя чичимеков (ацтеки — одна из ветвей этого племени), охотников и примитивных земледельцев засушливых степей.

<sup>39</sup> Фанариоты (название произведено от Фанара, квартала в Стамбуле, где расположена резиденция патриарха Константинопольского) — представители греческого духовенства и купечества, которые пользовались значительными привилегиями в империи Османов и даже занимали достаточно высокие административные посты, особенно в районах с христианским населением. Это было возможно потому, что патриарх обладал не только духовной, но и до некоторой степени административной властью над христианскими подданными Османского государства.

<sup>40</sup> Наиболее яркие достижения скандинавской цивилизации — поэзия, саги — были созданы в Исландии, заселенной в 870—930-х годах из Норвегии, бывшей в противовес сказанному А. Тойнби страной с наименее плодородными землями из всех государств Скандинавского и Ютландского полуостровов. Колонизация Исландии, а позднее и Гренландии (открыта в 877 г., заселение началось в 982 г.) была возможна в связи с общим потеплением в VI—XIII вв. Изменения климата в худшую сторону привели к тому, что контакты Гренландии с остальным миром прервались около 1410 г. и потомки переселенцев из Исландии и Норвегии вымерли или ассимилировались местным населением. Что же касается культурных завоеваний исландцев, то их вряд ли можно связывать с климатом. Скорее причины столь значительного взлета творчества лежат в том, что в Исландии не было государства: после подчинения острова Норвегии в 1262—1263 гг. начинается упадок поэзии и сагописания.

<sup>41</sup> Спартакское государство было основано в XI—X вв. до н. э. племенами дорийцев, выходцев из Северной Греции. Первоначально они завоевали Лаконию, область в Пелопоннесе, заселенную ахейцами; позднее, в VIII—VII вв., лаконцы захватили соседнюю Мессению, тоже дорийское государство. Результатом этих завоеваний стало своеобразное общественное устройство: полноправными гражданами считались лишь потомки завоевателей — спартиаты, местное же население — ахейцы и мессенцы — не было уничтожено, изгнано или обращено в рабство; оно продолжало — под названием илотов — обрабатывать землю, отдавая победителям половину урожая, но было разоружено и полностью лишено каких-либо политических прав. Общество спартиатов было ориентировано в первую очередь на войну и подавление илотов, массовое избивание которых, так называемую криптию, спартанские юноши проводили ежегодно.

<sup>42</sup> Великая Греция — название колонизованных эллинами областей в Южной Италии.



- <sup>43</sup> Пелопоннесская война 431—404 гг. до н. э. между Афинским и Пелопоннесским во главе со Спартой союзами закончилась полным поражением Афин и установлением гегемонии Спарты в Элладе. Но уже в 371 г. до н. э. спартанцы были разбиты войсками Беотийского союза во главе с Фивами около г. Левктры, что положило конец политическому верховенству Лакедемона в Греции.
- <sup>44</sup> Жан Мабийон опубликовал «Деяния святых ордена св. Бенедикта» (1668—1710, в 9 томах), проявив себя как тщательный собиратель и издатель текстов, но основной его труд — «О дипломатике», где приведены данные о происхождении, почерке, стиле и других особенностях средневековых документов, сформулированы принципы установления их подлинности и тем самым заложены основы вспомогательных исторических дисциплин — дипломатики и палеографии.
- <sup>45</sup> По современным данным, возраст Земли — 4,6 млрд лет; жизнь на ней существует от 3,1 до 3,4 млрд лет; останки древних обезьян, обладавших некоторыми чертами, свойственными только человеку, насчитывают около 14 млн лет; австралопитеки (несмотря на название — «южные обезьяны», — они относятся к семейству Номо) появились 5÷5,5 млн лет назад; архантропы (питекантропы и др.) — 1 млн лет назад; палеоантропы (неандертальцы) — около 300 тыс. лет назад; люди современного типа (неоантропы) — примерно 40 тыс. лет назад; самые ранние орудия труда — оббитые гальки — употреблялись уже около 2 млн лет назад; древнейшая из известных цивилизаций (фиксируется по наличию поселений городского типа) — Иерихон в Палестине — сложилась в конце VII тыс. до н. э.
- <sup>46</sup> Э. Оливье — французский государственный деятель Второй империи и историк — прославился фундаментальным семнадцатитомным трудом «История либеральной Империи», где скрупулезнейшим образом описал все произошедшее во Франции в 1867—1870 гг., когда Наполеон III в качестве уступки общественному движению осуществил ряд политических реформ, направленных на смягчение единовластия императора, — отсюда и название этого периода.
- <sup>47</sup> Социолог и антрополог Ж. А. де Гобино, основоположник антропологической школы в социологии, выводил характерные черты культурного развития различных народов из их расовых особенностей, причем пытался сочетать идеи культурной относительности, т. е. принципиальной несопоставимости различных этнических культур, с представлениями о безусловном превосходстве арийской расы.
- <sup>48</sup> Сезострис — так античные авторы именовали фараона Рамсеса II, длительное время правления которого (1317—1271 гг. до н. э.) представлялось им эпохой наивысшего могущества Древнего Египта; на деле это был последний период политического подъема страны.
- <sup>49</sup> Л. Февр перечисляет народы Африки: зулу (амазулу) и коса (амакоса, старое название — кафры, от араб. «кафир» — неверный) населяют Южную Африку (в основном ЮАР); тукулер живут в Западной Африке (Сенегале, Мавритании, Гамбии).
- <sup>50</sup> «Диалоги мертвых» (у Лукиана «Разговоры в царстве мертвых» — середина II в., у Фонтенеля «Диалоги мертвых» — 1683 г.) — особый жанр, часто сатирический: происходящие в загробном мире беседы людей, обычно знаменитых поэтов, государственных деятелей, философов и т. п., живших в разное время.
- <sup>51</sup> Л. Февр достаточно вольно излагает притчу, рассказанную А. Франсом в «Суждениях аббата Жерома Куаньяра». По этой притче, шах, взойдя на престол, повелевает написать полную историю всех времен и народов. Первый ее вариант ученые во главе с непрямым секретарем Персидской академии привозят через двадцать лет на двенадцати верблюдах — по пятнадцать томов на каждом. Шах заявляет, что это слишком длинно для него. Второй вариант (опять через двадцать лет) зани-

мает уже 1500 томов и отвергается по тем же причинам. Третий (через десять лет), снова отвергнутый, — 500 томов. Четвертый (через пять лет) — это один огромный том, который непременный секретарь привозит на спине осла к умирающему владыке. Последний высказывает сожаление, что так и умрет, не узнав истории людей, и получает ответ: «Они рождались, страдали и умирали».

## ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

- <sup>1</sup> «Старый режим» (или «старый порядок») — принятое по французской историографии название периода XVI—XVIII вв., от более или менее условного конца средневековья до Великой французской революции.
- <sup>2</sup> В последние десятилетия проблема эволюции отношения к смерти стала предметом пристального изучения историков, в том числе школы «Анналов».
- <sup>3</sup> Дюран и Дюпон — весьма распространенные французские фамилии, употребляемые для обозначения среднего француза (ср. наше — Иванов, Петров, Сидоров).
- <sup>4</sup> Название вышедшей в 1919 г. книги Й. Хейзинги — «Herfsttij der Middeleeuwen», т. е. «Осень средневековья»; также и в немецком переводе — «Herbst der Mittelalter». В авторизованном английском переводе (1-е изд. — 1924 г.) этот труд именуется «The waning of Middle ages» — «Упадок средних веков», во французском переводе (1932 г., переизд. — 1948 г.) — «Le déclin du Moyen âge» — «Закат (или упадок) средних веков» (может быть, не без влияния «Заката Европы» О. Шпенглера). Новый перевод 1975 г. вышел под заглавием «L'automne du Moyen âge» — точное название сочинения.
- <sup>5</sup> См. в наст. издании «Главные аспекты одной цивилизации».
- <sup>6</sup> Отметим, что в первой главе «Осени средневековья» есть строки, посвященные контрасту в восприятии тепла и холода в позднем средневековье в сравнении с нашим временем.
- <sup>7</sup> Лакандоны — небольшой (менее 1 тыс.) индейский народ, бродячие охотники и собиратели, кочующие в непроходимых лесах на границе Мексики и Гватемалы. Тупи-гуарани — группа индейских народов и племен в Парагвае, Боливии, Бразилии, Перу, Гайане и других странах тропической части Южной Америки; часть сохранила традиционный быт, верования, хозяйственную жизнь: охоту, примитивное земледелие и т. п.

## ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИСТОРИЯ

- <sup>1</sup> Мария Стюарт была, скорее всего, соучастницей убийства своего мужа Генриха Дарнлея, которое организовал граф Босуэл, фаворит, а позднее супруг королевы. Эти события послужили поводом к восстанию шотландского дворянства, и при спешном бегстве Марии в руки ее врагов попал ларец, где находились стихи и письмо к Босуэлу, из которых явствовало, что она согласилась на мужеубийство из страстной любви к всеильному временщику. Сама шотландская королева и многие позднейшие историки отрицали подлинность этих документов.
- <sup>2</sup> Среди сочинений Стендала есть «История Наполеона»; французский историк И. Тэн посвятил императору одну из книг своего одиннадцатитомного труда «Происхождение современной Франции».
- <sup>3</sup> Французский философ и филолог Э. Литтре известен как составитель авторитетного «Словаря французского языка» в четырех томах (1863—1872).

- <sup>4</sup> «История франков» Григория Турского охватывает V—VI вв. и повествует в основном о событиях в государстве Меровингов. Кровавые распри, притом не только в королевском семействе, но и между свободными франками, занимают немалое место в писаниях Турского епископа. Заметим, что И. Хэйзинга не противопоставляет изучаемую им эпоху другим периодам средневековья или началу нового времени.
- <sup>5</sup> Бувар и Пекюше — герои одноименного романа Г. Флобера, для француза символ обывателей. Возможно, Л. Февр намекает на то место в книге, где описано, как эти персонажи устраивают в своем доме археологический музей, среди экспонатов которого есть балка, выданная продавшим ее столдаром за старинную виселицу.
- <sup>6</sup> Хильдерик II, из династии Меровингов, король Австразия, а с 670 г. — всего Франкского государства, был убит в результате заговора, причем в качестве поводов к заговору фигурировали нарушения прав аристократии и случаи насилия над знатными женщинами. Л. Февр иронизирует здесь над историками XVIII в., да и более поздних времен, приписывавших мысли и чувства своих современников людям всех времен и народов (например, переносящих привычные им любовные чувства на отношения французских королей и их официальных фавориток).
- <sup>7</sup> «Rivalitas» (соответствует фр. «rivalité») означает по-латыни не столько «ревность», сколько «соперничество в любви».
- <sup>8</sup> «Размышления о жизни Христа» — анонимный трактат XIV в. (?), около 1400 г. приписанный знаменитому францисканскому теологу-мистику св. Бонавентуре. В этом сочинении весьма пластично и даже кое-где натуралистически описаны события жизни Христа от рождения до крестной драмы.
- <sup>9</sup> На рубеже XIII—XIV вв. во Франции возник особый театральный жанр — мистерии. Произведения этого жанра являют собой драматизацию евангельских текстов (позднее они вобрали и другую библейскую тематику), написаны в стихах на народных языках, весьма значительны по объему (до 50 000 стихов). Представление длилось несколько дней, а порой и недель.
- <sup>10</sup> Символика иконографических композиций, изображающих Деву Марию в цветущем саду среди виноградных лоз около Источника Жизни, восходит к «Песни Песней», где возлюбленная, живущая в виноградниках, сравнивается с плодоносящим садом и животворным источником (ср.: «Садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана». — Пес. II. 4,15). Средневековая экзегеза трактует этот образ любимой как провозвестие Богородицы. Помимо этого, в фольклоризованных, народных формах христианства Богоматерь понималась как богиня земли, природы, богиня-мать, а в доктринальных представлениях — как символ преображенной, райской природы.
- <sup>11</sup> Гимн «Stabat Mater» возник во францисканской среде в XIII или начале XIV в. За этим гимном закрепились определенная мелодия, впоследствии обрабатывавшаяся различными композиторами.
- <sup>12</sup> Известная визионерка св. Тереза Авильская (Тереза Иисусова) достигала высот мистического экстаза, размышляя о страстях Спасителя, которые зримо присутствовали перед ней. «Ответ» Кампанелле, для которого муки Христа менее значимы, нежели Его торжество (наследие ренессансных представлений), следует понимать как метафору борьбы тенденций в религиозной мысли Барокко, а не как реальный диалог, ибо на деле св. Тереза умерла, когда Кампанелле было 14 лет.
- <sup>13</sup> Начиная с 60-х годов нашего века, появилось немало работ, посвященных названному проблемат: например, труды Ф. Арнеса и М. Вовеля о восприятии смерти, М. Фуко об эволюции сексуальности и об истории тюрем, Ж. Делюмо о страхе и о чувстве вины, Н. Элиаса о стыдливости (последняя книга была написана перед второй мировой войной, но широкий резонанс получила только в наши дни).

- <sup>14</sup> Праздник «пилу» (или «пилу-пилу») справлялся обычно ночью по случаю сбора урожая ямса или в воспоминание некоего знаменательного события.
- <sup>15</sup> Д. Причард — протестантский миссионер и английский консул на Таити, активно агитировал за установление британского протектората над островом. После его изгнания в 1843 г. французами, также претендовавшими на независимое тогда королевство Таити, Великобритания заявила протест, и возникла угроза вооруженного столкновения. Французское правительство согласилось выплатить Причарду 25 000 франков, что вызвало сильное общественное негодование во Франции; депутаты, голосовавшие за компенсацию, получили прозвище «причардисты».
- <sup>16</sup> Под вопросом о Святой Земле подразумевается конфликт между Францией и Россией о праве покровительства над святыми местами — некоторыми объектами и сооружениями в Палестине, связанными с событиями земной жизни Христа, причем места эти находились под присмотром различных Церквей, соперничавших друг с другом. Россия защищала интересы православных, Франция — католиков, что позволяло скрывать истинные устремления обеих стран на Ближнем Востоке, принадлежавшем Турции. Этот спор послужил внешним поводом к Восточной (Крымской) войне.

#### ДАНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ АНРИ БЕРРУ

- <sup>1</sup> «Пасхальный Матфей», «Матфей Паскаля», т. е. ученик знаменитого философа, физика и математика Б. Паскаля, — прозвище первокурсников математических факультетов.
- <sup>2</sup> Л. Февр имеет в виду М. Блока, чье «внерийское» происхождение и участие в движении Сопротивления не позволяли открыто появляться в оккупированном гитлеровцами Париже, где в 1943 г. произносил свою речь в честь А. Берра Л. Февр.

#### МАРК БЛОК И СТРАСБУР

- <sup>1</sup> Намек на писавшуюся в годы оккупации книгу «Апология истории, или Ремесло историка», в которой М. Блок размышляет над нравственным смыслом исторической науки и над ее исследовательскими методами.
- <sup>2</sup> Книга М. Блока «Короли-чудотворцы», или «Короли-целители», вышедшая в 1924 г. и посвященная исследованию веры в способность королей Англии и Франции исцелять золотушных простым прикосновением, встретила тогда довольно прохладный прием в среде историков. Однако ныне это сочинение считается основополагающим в области изучения истории ментальностей.
- <sup>3</sup> Имеется в виду докторская диссертация Л. Февра «Филипп II и Франш-Конте».
- <sup>4</sup> В ночь с 4 на 5 августа 1789 г. Национальное собрание Франции упразднило все феодальные повинности и привилегии: личную зависимость, барщину, судебные права помещиков, десятину церкви, все податные изъятия и т. п. Это было оформлено как добровольный отказ высших сословий от своих прав. Наиболее тяжелые повинности отменялись безвозмездно, остальные, связанные с поземельными отношениями, — за выкуп, выплата которого была прекращена лишь по принятому якобинским Конвентом закону от 17 июня 1793 г.
- <sup>5</sup> В данном контексте термин «нордические» — ныне он стал однозным ввиду активного употребления в нацистском лексиконе — использован

- по отношению к обществам, созданным германскими народами (здесь англосаксами) в отсутствие или при слабом влиянии римской цивилизации.
- <sup>6</sup> Немецкий экономист А. Мейцен прославился вышедшей в 1895 г. книгой «Аграрные учреждения и установления у германских, кельтских, романских, финских и славянских народов».
- <sup>7</sup> Леман — иное название Женевского озера.
- <sup>8</sup> М. Блок посвятил исследованию названных локальных форм феодального землевладения книгу с аналогичным названием, которая вышла в свет после второй мировой войны. По мнению Блока, сеньория есть в основном совокупность прав владельца на власть над зависимым от него населением, прав личных, поземельных, административно-судебных. Манор (мэнор) же — главным образом хозяйственный организм, ближе к русскому поместью XVIII—XIX вв.
- <sup>9</sup> Пути развития государства и общества в средневековых Франции, Германии и Англии при общих чертах все же довольно сильно различались. Во Франции существовала более или менее стройная иерархия феодальных чинов, где низшие подчинялись высшим: простые рыцари — владельцам замков (шателенам), шателены — сюзеренам более высокого ранга (баронам, графам) и т. д. Венчал эту пирамиду король, властвовавший только над непосредственными вассалами, тогда как их ленники ему не подчинялись. Централизация государства происходила в основном за счет присоединения тех или иных земель к королевскому домену. С XIV в. монарх должен был считаться с сословиями — духовенством, дворянством и так называемым третьим сословием, формально включавшем в себя все свободное непривилегированное население страны, но на деле лишь верхушку горожан. Представители сословий собирались на общенациональные ассамблеи — Генеральные штаты, которые были высшим законосовещательным органом государства. В Германии централизаторскую политику осуществляли в основном территориальные князья, а не императоры, власть которых со временем делалась все более номинальной и распространялась в полной мере лишь на собственные родовые владения. В имперские сословия входили имперские князья и имперские города. Духовенство не составляло отдельного сословия в масштабах всей страны, и его представители занимали место в палате князей лишь в том случае, если они обладали светской властью в своих епархиях. В княжествах же существовали свои земские сословия — дворянство, духовенство, бюргерство. В Англии государство со времен нормандского завоевания в 1066 г. было централизованным, все свободное его население непосредственно подчинялось королю; сословное собрание — парламент — с XIV в. делилось на две палаты: палату лордов, где заседали светские и духовные аристократы по наследственному праву или по должности, и палату общин, куда избирались представители рыцарства и городов; благородные не были резко отделены от простых свободных, клир не образовывал особого сословия, а высшая знать противостояла монарху как корпорация, а не союз крупных территориальных владельцев.
- <sup>10</sup> Речь идет о так называемом Мюнхенском соглашении, заключенном премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, французским премьером Э. Даладьё, Гитлером и Муссолини 29—30 сентября 1938 г., когда европейским державам, не осмеливаясь вступить в противоборство с нацистской Германией, согласились на отторжение Судетской области от Чехословакии, само создание которой в 1918 г. Англия и особенно Франция всячески приветствовали — так, известный французский историк Э. Дени, специалист по истории Чехии и основатель в 1920 г. Института славянских исследований, во время первой мировой войны активно поддерживал чешских эмигрантов и издавал журнал «Чешская вацья».

- <sup>11</sup> В системе Генерального штаба Французских вооруженных сил и в повторяющейся ее структуре штабов армий было четыре управления (бюро): Первое – стратегическое, Второе – разведка и контрразведка, Третье – тактическое, Четвертое – снабжение.
- <sup>12</sup> «Странная война» – название начального периода второй мировой войны на Западном фронте, когда в течение первых девяти месяцев – сентябрь 1939 – май 1940 г. – сосредоточившиеся друг против друга англо-французские и немецкие войска бездействовали. «Странная война» закончилась прорывом германской армии и окружением под Дюнкерком в Северной Франции сил союзников, основную часть которых удалось эвакуировать в Англию. Большинство французских военнослужащих вернулись оттуда на родину после капитуляции Франции.
- <sup>13</sup> После высадки союзников в Нормандии немецкие войска в августе 1944 г. заняли так называемую свободную зону, неоккупированную часть Франции, номинально находившуюся под властью вишистского правительства.
- <sup>14</sup> Фран-Тирёр (фр. «Le Franc Tigeur» – вольный стрелок) – в 1940–1943 гг. организация Французского движения Сопротивления на юге Франции, в свободной зоне (см. примеч. 13).

### ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

- <sup>1</sup> По мнению М. Блока, который разделял взгляды А. Пиренна, средние века начинаются не с распада Римской империи в результате варварских завоеваний в V–VI вв., а с нападений арабов в Европе в начале VIII в., прервавших торговлю между Восточным и Западным Средиземноморьем и сделавших тем самым неизбежным распространение натурального хозяйства. Говоря об «арабах и исламе», М. Блок имеет в виду, что в арабском войске были, кроме основного народа, исламизированные сирийцы и берберы. Причины перехода от первого ко второму феодальному периоду (по мысли М. Блока, средневековье делится на две эпохи: VIII – середина XI в. и примерно 1050–1250 гг.) М. Блок видел в прекращении не только арабских набегов, закончившихся в VIII в., но также венгерских (происходивших в IX–X вв.) и норманнских (скандинавских викингов от рубежа VIII–IX вв. до середины XI в.). Многие из современных историков не согласны с данными взглядами.
- <sup>2</sup> Открытая в 1534 г. Канада (строго говоря, только юго-восточная часть современного государства, носящего это название) особенно активно колонизовалась Францией в XVII в. Но темпы этой колонизации были все же невелики в сравнении со скоростью заселения английских колоний в Северной Америке, и, кроме того, значительные феодальные пережитки в землевладении, отсутствие самоуправления поселенцев препятствовали свободному развитию капиталистических отношений и экономическому подъему, как это произошло в будущих Соединенных Штатах.
- <sup>3</sup> В течение X–XI вв. происходило сложение рыцарства – в узком смысле последственного сословия тяжело вооруженных конных воинов. Церковь в значительной степени воздействовала на этот процесс: именно в это время возникает движение за установление «божьего мира», т. е. за прекращение междоусобиц на определенной территории или по крайней мере за запрет нападений на всех невооруженных – клириков, женщин, стариков, детей и т. п., при том что поддержание этого мира возлагалось на рыцарство, оазызающеся, таким образом, жизненно необходимым сословием, основной функцией которого являлась защита Церкви и слабых. Кроме того, крестовые походы усилили представления о войнах за веру, и войны эти тоже должны были вести рыцари. Ввиду этого обряд посвящения в рыцари превратился в религиозную церемонию: новопосвященный должен был совершить омовение в купели, облачиться в бе-

дые одежды в знак чистоты помыслов, провести ночь в церкви в посте и молитвенном бдении, возложить свой меч на алтарь, дать во время самого обряда клятву защищать религию, церковь, вдов, сирот и т. п.

- <sup>4</sup> Недоверие Л. Февра к употреблению понятия «класс» по отношению к феодальному обществу базируется на том, что, во-первых, в западной историографии это понятие не всегда имеет четкое наполнение (отсюда рассуждения о «юридических» и «социологических» классах), а во-вторых, термин «класс» возник при изучении капитализма, в сознании же людей средневековья ни этот термин, ни даже его прототип не существовали. Но это не исключает применение данного слова в социальной структуре средних веков, хотя следует помнить, что классы современные и классы феодального общества — социальные явления не вполне однородные. Блок употребляет понятие «класс» и в социально-экономическом смысле («класс фактический») и в смысле юридическом.

### ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ»

- <sup>1</sup> Lagenaria (лагенария, горлянка, бутылочная, или посудная, тыква) — однолетнее растение семейства тыквенных, из высушенных плодов которого делают высокогорные кувшины — калебасы.
- <sup>2</sup> Каяк — распространенная в недавнем прошлом у многих народов Севера (у части эскимосов — до сего дня) лодка-байдарка с двухлопастным веслом, состоящая из деревянного или костяного каркаса, обтянутого кожей; в верхней части люк, отверстие которого затягивается вокруг пояса гребца.
- <sup>3</sup> «Несесситаризм» (от фр. *nécessité* — крайняя необходимость, неизбежность) — введенный Л. Февром неологизм, означающий убеждение в том, что существует лишь то, что абсолютно неизбежно должно было возникнуть или появиться.
- <sup>4</sup> Заявление К. Валло о невозможности собственной политической истории в арктических районах можно оспорить, указав на то, что в настоящее время происходит весьма интересное именно политическое развитие самоуправляющейся части Дании — острова Гренландия (по решению местного парламента называющегося ныне Каладит Ханут — «Наша страна» по-эскимосски), причем развитие, достаточно независимое от метрополии. Что же касается экваториальных районов Земли, то там все же существовали довольно развитые цивилизации — например, средневековые Камбоджа или Ява, Древнее царство майя, хотя родина их (кроме культуры майя, о генезисе которой нет надежных сведений) находилась вне зоны влажных тропических лесов (см. примеч. 22 к статье «От Шпенглера до Тойнби», а также следующие ниже рассуждения Л. Февра).
- <sup>5</sup> В своем сочинении «О духе законов», вышедшем в 1748 г., Монтескьё подробно и систематически развил идеи (впрочем, отрывочно высказывавшиеся и ранее Ф. де Коминю в XV в., Ж. Боденом в XVI в.) о решающем влиянии географических условий, и в первую очередь климата, на государственное устройство и законодательство; например, он утверждал, что в жарких странах должен царить деспотизм.
- <sup>6</sup> Туареги — североафриканский берберский народ, кочующий на огромных пространствах Сахары; сенусси (или сенусситы) — не этнос, а религиозно-политический орден, весьма влиятельный среди арабоязычных скотоводческих племен Киренаики — исторической провинции Ливии, расположенной на востоке страны (в этой области до 30% населения принадлежит ордену); киргизами до середины 20-х годов нашего века именовали не только национальность, носящую это имя ныне, но и казахов (и те, и другие только во второй половине XIX — первой половине XX в. совершили переход к оседлости). Однако политические образования номадов все же вряд ли можно отнести к государствам в точном смысле этого слова.

- <sup>7</sup> В XIV в. в центре Мадагаскара возникло основанное хова — этнографической группой аборигенного населения страны малагасийцев, или мальгашей, — государство Имерина. В 1830 г. под его верховенством и остальные государства острова объединились в Малагасийское королевство, причем развитие этого королевства происходило не без влияния европейцев, пытавшихся в той или иной мере завладеть Мадагаскаром еще с XVI в. В 1875 г. страна попала под протекторат Франции, в 1896 г. стала ее колонией, а в 1960 г. была провозглашена независимая Малагасийская республика (с 1975 г. Демократическая Республика Мадагаскар).
- <sup>8</sup> Австралия — устаревший и не очень четкий географический термин, обозначающий то Малайский архипелаг, то Австралию с прилегающими островами (видимо, это значение имеется здесь в виду), то южные области Океании, то все три региона вместе.
- <sup>9</sup> Европейская колонизация Южной Африки началась в XVIII в. из Голландии, причем первой была основана Капская колония на крайнем юге континента. После того как Англия завладела Капской колонией на рубеже XVIII—XIX вв., потомки первопоселенцев — буры — создали в глубине материка несколько независимых республик, из которых одна — Наталь — была захвачена Великобританией в 1843 г., а две другие — Оранжевая (по названию реки) и Трансвааль — присоединены к британским владениям после поражения в англо-бурской войне 1899—1902 гг. Отличие развития этих территорий от иных колоний в том, что здесь колонисты — буры и англичане — не только эксплуатировали местное население, но также и непосредственно осваивали земли, как необработанные, так и отнятые у туземцев.
- <sup>10</sup> Вавилон располагался под 33° северной широты, столица Ассирийского царства Ниневия находилась примерно на 37° северной широты.
- <sup>11</sup> Семитские скотоводческо-земледельческие племена появились в Передней Азии, по всей видимости, в VI—IV тыс. до н. э., пройдя из Африки через Суэцкий перешеек и Синайский полуостров; причиной переселения было высыхание Сахары и превращение степей в пустыни. Впрочем, существуют и иные теории: некоторые считают колыбелью семито-хамитских (афразийских) народов как раз Переднюю Азию; другие, принимая в целом первую из гипотез, полагают, что миграции шли сначала на Аравийский полуостров, а оттуда уже в северные регионы.
- <sup>12</sup> Прародина индоевропейских этносов точно не локализована: ее ищут в степной и лесостепной полосе Причерноморья, особенно в бассейне Дуная, на Балканском полуострове, в Малой Азии, в Закавказье. Во всяком случае, центром, откуда древние индоевропейцы в III—II тыс. до н. э. распространились по всей Западной Европе вплоть до берегов Атлантики, Северного и Балтийского морей, по югу Восточной Европы, по Передней и Средней Азии до Южной Сибири, по Иранскому нагорью и далее до Индии, — центром этим Сибирь не была.

## СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ МИР В ЭПОХУ ФИЛИППА II

- <sup>1</sup> «Ноктюрны» (от фр. *postigne* — ночной) — картины Жоржа де Латура с изображением ночных сцен; в них художник использует контрастную светотень, противопоставляя яркое сияние огня ночному мраку (см., например, «Магдалина со свечильником», 1634—1635, Лувр).
- <sup>2</sup> Филипп II Испанский получил прозвище Осторожный как за свою нерешительность, заставлявшую его все время колебаться и отменять уже принятые решения, что нередко приводило к политическим неудачам, так и из-за сильно развитой подозрительности. Последнее качество, с од-



ной стороны, побуждало его вникать и вмешиваться во все мелочи управления огромным государством, куда входили Испания, Португалия (с 1581 г.), Неаполь, Сицилия, Миланское герцогство, Франш-Конте, колонии в Америке и Юго-Восточной Азии, — в этом причина неимоверного объема его переписки. С другой стороны, его недоверживость переросла в манию преследования: он заточил и довел до смерти (если прямо не приказал убить) своего сына дона Карлоса; возможно (но не точно), повинен в отравлении своего сводного брата дона Хуана Австрийского, известного полководца; перенес престол из Толедо в Мадрид, ибо боялся старой столицы с ее вольностями, но сам жил либо в Сеговии, либо в построенном по его приказу и в его вкусе огромном мрачном дворце Эскориале близ новой столицы. Среди владений, доставлявших ему наибольшее беспокойство, было так называемое бургундское наследство, то есть земля, которые после смерти Карла Смелого, последнего герцога Бургундского, разделили между собой Франция (Карл был вассалом французской короны) и Империя (император Максимилиан I Габсбург был женат на Марии Бургундской, единственной дочери и наследнице Карла). Обе страны стремились захватить это наследство целиком, и Филипп (которому завещал и земли и претензии отец, император Карл V, внук Максимилиана и Марии), испытавший значительные трудности в одной из принадлежащих ему частей этого наследства — Нидерландах, где началась антииспанская освободительная борьба, старался всеми силами сохранить другую часть — Франш-Конте.

- <sup>3</sup> Во время первой мировой войны знаменитый бельгийский историк А. Пиренн за враждебность к немцам, оккупировавшим большую часть Бельгии, был арестован и отправлен в Германию, где содержался в лагере для военнопленных и депортированных. В Тюрингии он начал работать над «Историей Европы», в основу которой положил лекции, читанные им русским военнопленным офицерам, находившимся с ним в одном лагере.
- <sup>4</sup> Среди трудов немецкого историка М. Филиппсона были книги, посвященные тем же периодам и регионам, что и работы Л. Февра и Ф. Броделя, например «Западная Европа во времена Филиппа II, Елизаветы и Генриха IV» (1883), «Правительство Филиппа II. Кардинал Гранвелла при испанском дворе» (1895) и др.
- <sup>5</sup> Секта вальденсов, основанная в XII в. лионским купцом Пьером Вальде, чьи сторонники выступали против обмирщения Церкви, за добровольную бедность, пережила расцвет в XII в., испытала упадок в XIII в., а к XIV в. сохранилась лишь в глухих альпийских деревнях (впрочем, эта секта дожила до наших дней). После отмены в 1685 г. Нантского эдикта, дававшего протестантам определенные права, и изгнания их из Франции кальвинизму удалось удержаться более или менее компактно лишь среди пастушеского населения Севенн — горной области на юге страны близ долины Роды. Однако ввиду давления правительства на гугенотов и усиления финансового гнета в связи с войной за Испанское наследство (1701—1714 гг.) в Севеннах в 1702 г. вспыхнуло восстание камизаров (от «camise», диалектной формы фр. «chemise» — рубаха, подразумевается крестьянская рубаха). Сопровождавшееся жестокостями с обеих сторон, оно пошло на убыль лишь в 1705 г., когда повстанцы добились некоторых налоговых послаблений, хотя отдельные вспышки его продолжались до 1715 г. После подавления этого движения позиции протестантов в Лангедоке сильно пошатнулись, но полностью искоренить их французским властям все же не удалось. Приведенные факты показывают лишь то, что ереси лучше всего выживают в горных районах. Секты, во всяком случае со времен развитого средневековья, возникали в основном в городах. Что же касается христианизации Европы, то этот процесс в целом полагается современными исследователями далеко не прямым и линейным. Собственно язычество прекратило существование еще

- в раннем средневековье; распространившееся в глухих углах и среди широких слоев сельского и даже в определенной мере городского населения «народное» христианство далеко не совпадало с религией клира на протяжении всех средних веков, и некоторые ученые считают полноценной христианизацией масс лишь Реформацию и Контрреформацию.
- <sup>6</sup> Лузиньяны, выходцы из Центральной Франции, занимали престолы созданных крестоносцами государств — Иерусалимского королевства и Кипра. Кроме того, благодаря брачным связям царствовали в Малой (Киликийской) Армении — страны на юге Малоазийского полуострова. Описанные выше моды — обувь с заостренными и очень длинными носами, высокие женские прически в виде валиков по обе стороны головы, так что при взгляде в фас создается впечатление рогов, — появились во второй половине XIV в. и принадлежали не столько Франции, сколько Бургундии; одеваться и причесываться подобным образом означало поступать «à la mode de Bourgogne» — «по бургундскому образцу», «на бургундский лад», отсюда и современное слово «мода». Китайские же моды, по мнению Ф. Броделя, привезли на Кипр каталонские купцы, заимствовавшие их в Волжской Булгарии, куда те были занесены из Танского Китая через посредство кочевников.
- <sup>7</sup> «Деревенские (или «Сельские») беседы» — вышедший в 1547 г. сборник новелл Ноэля дю Файля, организованный по принципу «Декамерона», только рассказчики в нем не молодые флорентийские патриции, а старые бретонские крестьяне.
- <sup>8</sup> Ормуз (Хормуз) — порт в Иране (ныне Бендер-Аббас) в Ормузском проливе при входе в Персидский залив; Алеппо (Халеб) — город в Сирии (в XVI в. в составе Османской империи), узел караванных путей, ведущих от берегов Персидского залива к Средиземному морю или в Малую Азию. Ф. Бродель утверждал, что в течение XVI в. торговля пряностями с Европой осуществлялась двумя путями: старым, средневековым, с Молуккских островов в Малакку морем, оттуда, тоже морем, арабскими или иранскими купцами в Персидский залив, далее караванами к портам Леванта или в Стамбул и, наконец, венецианцами — в Европу; и новым, с Островов Пряностей в Лиссабон на португальских кораблях морем вокруг Африки.
- <sup>9</sup> 7 октября 1571 г. около города Лепанто (нынешнее название — Нафпактос) в Греции у входа в залив Патраикос испано-венецианская эскадра под командованием дона Хуана Австрийского наголову разбила турецкий флот. Это сражение — кстати сказать, последняя в истории крупная битва гребных флотилий — положило конец гегемонии Турции в Средиземном море.

## ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ КАПИТАЛИЗМА

- <sup>1</sup> Спор А. Пиренна с К. Марксом кажется недоразумением. Для Маркса капитализм — общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом; последний же есть стоимость, приносящая прибавочную стоимость в результате указанной эксплуатации, и возникает он лишь тогда, когда рабочая сила становится товаром. Для А. Пиренна (и частично для солидаризирующегося с ним Л. Февра) капитализм — определенный вид деятельности, базирующийся на денежном обороте (или даже просто на денежном богатстве), причем к производству этот оборот может не иметь никакого отношения (ср. выше: капитал — «накопление ценностей с целью приобретения новых ценностей»). На деле и Пиренн, и Февр протестуют

- против наверного, с их точки зрения, представления о безраздельном господстве натурального хозяйства в средние века. Вообще, труд А. Пиренна — это история капитализма, а не капитализма.
- <sup>2</sup> Справедливая цена — широко распространенное в средние века понятие, имевшее одновременно экономический, социальный и моральный смысл, во всех трех случаях весьма расплывчатый. С первой из точек зрения — это ходовая цена на рынке при благоприятной конъюнктуре и отсутствии спекуляторских махинаций; со второй — цена, определяемая советом уважаемых людей, а не произволом купца; с третьей — цена, обеспечивающая справедливое вознаграждение за труд производителя и продавца. В любом случае искусственное взвинчивание цен с целью получения «неправой» прибыли резко осуждалось церковными установлениями, включенными в так называемый декрет Грациана, сборник канонического права, составленный в сер. XII в. итальянским юристом Грацианом и содержащий различные постановления со времен раннего христианства. Этот свод оставался основным источником изучения церковного права до середины XVI в.
  - <sup>3</sup> Причины упадка Брюгге и возвышения Антверпена лежат в комплексе обстоятельств. Кроме упомянутого выше захирения цехового ремесла, влявшего некогда основой могущества первого из городов и расцвета свободной от опеки мануфактуры во втором, был еще один повод к тому, чтобы Антверпен вырвался вперед: с середины XV в. залив Звин, связанный с Брюгге коротким рукавом реки, начал мелеть, и город утратил свои преимущества центра морской торговли, а по реке Шельде корабли поднимаются от побережья до Антверпена по сей день.
  - <sup>4</sup> Меркантилизм — экономическая политика раннекапиталистической эпохи, заключающаяся во вмешательстве государства в хозяйственную жизнь: проведении протекционистских мер, т. е. установлении высоких пошлин на ряд ввозимых товаров, поощрения развития местных мануфактур и т. п.
  - <sup>5</sup> Это возражение вызвано не слишком внимательным чтением Маркса. Предпосылки капитализма лежат в сложении рынка рабочей силы, т. е. не только предложения ее, но и спроса. Именно относительно античного хозяйства и экономики Древнего Рима Маркс писал, что обезземеленные в результате роста латифундий крестьяне не находят сбыта своей рабочей силы в условиях рабовладения и становятся не пролетариями, а люмпенами.
  - <sup>6</sup> Видимо, намек на Ф. Ницше, полагавшего, что существуют две морали: героическая мораль аристократической элиты и рабская мораль масс.
  - <sup>7</sup> Таковы, например, исследования В. Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь» (1911); «Буржуа» (1913) и М. Вебера «Социология религии» (1920—1924), в которую включены «Протестантская этика и дух капитализма» и неоконченная «Хозяйственная этика мировых религий».

## КАПИТАЛИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ

- <sup>1</sup> Об А. Пиренне и М. Вебере см. статью «Общий взгляд на историю капитализма» и примеч. 7 к ней. Немецкий протестантский теолог, философ, историк и социолог религии Э. Трёльч под влиянием идей М. Вебера издал книгу «Социальные учения христианских церквей и групп» (1912), где, в частности, рассматривал роль кальвинизма в становлении капитализма.
- <sup>2</sup> Имеются в виду франкоязычная Швейцария с культурным центром в Женеве, где активным проводником реформационных идей был еще до Кальвина выходец из Франции Гийом Фарель, и Швейцария германоязычная, в которой основателем Реформации явился проповедовавший в Цюрихе Ульрих Цвингли.

- <sup>3</sup> Говоря о передышке в западном мире (в остальных регионах между 1477 и 1525 гг. происходило куда как много событий: захват испанцами Вест-Индии с 1492 г. и государства ацтеков в 1521 г.; победа турок над Персией в 1513 г. и утверждение тогда же их суверенитета над частью Армении, покорение ими Сирии, Палестины и Египта в 1516–1517 гг., взятие в 1521 г. Белграда и в 1522 г. Родоса), Л. Февр имеет в виду Францию. Действительно, после того как самый могущественный и самый непокорный вассал французской короны пал от руки швейцарцев, страна наслаждалась внутренним миром и спокойствием границ. Что же касается остальных частей западного мира, то, даже если исключить жестокое разграбление турками в 1483 г. Штирии и Краины, лежащих все же на окраине этого мира, мы видим, что вся вторая половина указанного периода, с 1494 г., была занята итальянскими войнами, которые вела как раз Франция. Другое дело, что вплоть до битвы при Павии 24 февраля 1525 г., когда французская армия потерпела поражение, а король Франциск I был пленен войсками Империи, стремившейся утвердить в Италии свое владычество и не допустить там господства французов (или несколько ранее — до 1524 г., когда неприятельские силы во главе с изменившим своему монарху герцогом Карлом Бурбонским вторглись в Прованс), во Французском королевстве не очень ощущалась тяжесть этих войн.
- <sup>4</sup> Выведенный Макиавелли в его «Государе» идеальный правитель действительно свободен от каких-либо моральных принципов, и ему дозволены все средства для достижения цели, но цель эта — свобода и мощь Италии, а никак не личное обогащение.
- <sup>5</sup> Л. Февр намекает на довольно распространенный, особенно в XIX в., массовый этнический стереотип «честного немца» — туповатого, медлительного, сентиментального торговца (иногда ремесленника), доброго под маской напускной строгости и безупречно верного любимым обязательствам.
- <sup>6</sup> Примavera — это одновременно и весна (ит. *primavera*), и название известнейшей картины Сандро Боттичелли, являющейся одним из символов итальянского Возрождения. Влияние итальянского ренессансного искусства на французское впервые проявляется именно в эпоху итальянских войн, причем ярче всего в Турени, где в долине Луары располагались замки, служившие резиденциями французским монархам.
- <sup>7</sup> Развитие третьего сословия во Франции имело некоторые отличия от такового в других европейских государствах. С XIV в. административные, и особенно судебные, должности, вплоть до членов высшего судебного органа — Парижского парламента, заполнялись выходцами из городской верхушки. Пределом мечтаний французских буржуа было не денежное могущество, а знатность, и, занимая все более высокое место в чиновной иерархии, они становились аристократами, хотя и второго ранга — «рыцарями закона» (*chevaliers du loi*), «дворянством (судебной) мантис» (*noblesse du robe*).
- <sup>8</sup> Л. Февр несколько огрубляет учение Уильяма Оккама. Тот действительно отрицал возможность разумного постижения божественных истин, но был при этом горячим ревнителем рационального познания мира, в изучении которого божественное откровение никак не может помочь именно в силу своей иррациональности, сверхразумности (ср. наст. издание, статью «Главные аспекты одной цивилизации», часть IV, где дана более взвешенная оценка этого мыслителя).
- <sup>9</sup> Важнейшими чертами протестантизма были опора на Писание (в противовес католицизму, где не менее важным полагалось Предание: труды отцов Церкви, постановления соборов и пап) и утверждение права каждого верующего читать и толковать Библию (опять же наперекор католицизму, где это было привилегией клира). Поэтому все деятели Реформации стремились обеспечить перевод обоих Заветов с латыни на народ-

ные языки. Знаменитый перевод Лютера, над которым он работал в 1522–1534 г., был рассчитан на Германию; перевод Лефевра д'Этапля, опубликованный в 1530 г., — на Францию; перевод Пьера Робера Оливетана, выпущенный в 1534 г., — на франкоязычные кантоны Швейцарии.

## ТОРГОВЕЦ XVI СТОЛЕТИЯ

<sup>1</sup> Одним из важнейших способов, применявшихся римлянами для освоения захваченных территорий, была прокладка мощеных дорог. В средние века и даже позднее строительство древних путей сообщения во Франции связывалось либо с первым завоевателем Галлии Цезарем, либо с королевой Австразии Брунгильдой. Бурная биография королевы — она посвятила жизнь мщению за убитую сестру — надолго осталась в народной памяти, и многие старинные строения считались созданными по ее указанию. Римские дороги были гладкие, лошади шли ровно, носилки или карету не трясло — отсюда и выражение «дорога для дам».

<sup>2</sup> Итальянские войны велись за обладание полуостровом, и враждующие стороны — испанцы и немцы, с одной стороны, и французы — с другой, — мало обращали внимания на интересы населения и даже местных государей. После поражения при Павии (см. с. 205 и примеч. 3 к статье «Капитализм и Реформация») многие итальянские монархи, в том числе и папа, боясь усиления императора Карла V (он же испанский король Карл I), стали склоняться, хотя и тайно, на сторону Франции. В ответ на это император предоставил командующему имперскими войсками в Италии герцогу Карлу Бурбонскому, бывшему коннетаблю (главнокомандующему) Франции, право действовать самостоятельно. Армия жила поборами с жителей и в 1527 г. двинулась на Рим. Незадолго до штурма коннетабль Бурбон умер, и войско избрало своим главой принца Филибера Оранского, бывшего вассала французской короны, рассорившегося с Франциском I и перешедшего на сторону Карла V. В мае Рим был взят, папа заперся в неприступном замке св. Ангела, но город подвергся разграблению, а жители — неслыханным насилиям и избитию; Рим был подожжен, и множество бесценных произведений античного и ренессансного искусства погибло. Разнузданная солдатня оправдывала свои невероятные жестокости борьбой за истинную веру: немцы из войска императора, правоверного католика, непримиримого врага Реформации в Германии, были в основном протестантами. Разорение Рима произвело огромное впечатление на современников и потомков, и некоторые историки полагают это событие конечной вехой Ренессанса. Принц Филибер пал в бою три года спустя, в 1530 г.

<sup>3</sup> «Сто новых новелл» — анонимный сборник, созданный в Женаппе (Брабант) при дворе герцога Бургундского Филиппа Доброго между 1456 и 1461 гг. Это сочинение по числу новелл, по композиции (каждая история представляет собой как бы рассказ конкретного лица) и по духу близко к «Декамерону», но вместе с тем представляет собой вполне самостоятельный памятник французской культуры. Написанная живым и сочным языком, эта книга была популярна во всех слоях населения и в 1485 г. вышла из-под печатного станка.

<sup>4</sup> Термин «карат», кроме общепринятого значения — единица веса в ювелирном деле, равная 200 мг, — имеет еще один смысл:  $\frac{1}{24}$  часть веса сплава золота; встречающееся ниже слово «гран» также, кроме основного значения (62,2 мг, или — английский гран — 64,8 мг), понимается как  $\frac{1}{24}$  часть, но только серебряного сплава.

<sup>5</sup> Слово «billoneur» (букв. биллонщик) произведено от «billon» — низкопробное серебро, мелкие деньги и порченная монета; «Kirreg» — обрезок монет (поскольку, как сказано выше, средневековые монеты не изготов-

- лялись по строго установленному штампу, ловкие купцы и менялы обреза́ли их края специальными кривыми ножницами, невзирая ни на какие запреты); «Wipreg» — взвесчик монет.
- <sup>6</sup> На старинном гербе Франция были изображены три лилии — геральдический знак династии Капетингов, поэтому страну называли «королевство лилий». Кроме того, здесь игра слов, ибо «le lis» (фр. лилия) в выражении «tainte de lis» значит ослепительно белый, лилейный (цвет).
- <sup>7</sup> Карл V как император Священной Римской империи был сувереном Германии и Северной Италии; осуществлял верховную власть над Чехией (входившей в Империю) и Венгрией, короны которых добыл его брат, будущий император Фердинанд I; обладал родовыми землями Габсбургов — Австрией, Штирией, Каринтией, Крайной, Тиролем, Эльзасом; царствовал в Испании (с ее владениями в Италии и Новом Свете) как сын единственной наследницы королевства Хуаны (Иоанны) Безумной; владел Нидерландами, Франш-Конте и Шароле как внук также единственной наследницы бургундских владений (см. примеч. 10 к статье «Суд совести истории и историка»). Современники говорили, что во владениях Карла никогда не заходит солнце.
- <sup>8</sup> Соль — то же самое, что и су. Об эку и су см. примеч. 7 к статье «Суд совести истории и историка». Дука́т — венецианская (с XII в.), а флорин — флорентийская (с XIII в.) монеты, содержавшие 3,4 г золота и имевшие хождение до XVI в.
- <sup>9</sup> В конце XV в. папа даровал монархам объединенного в результате брака Испанского королевства Фердинанду Арагонскому и Изабелле Кастильской титул католических величеств, как бы уравнив их этим с французскими королями, носившими со времен средних веков звание христианнейших величеств.
- <sup>10</sup> Монфо́кон — местность вне городской черты старого Парижа; с XIII в. — место казней.
- <sup>11</sup> Ангулемский дом — потомки графа Иоанна (Жана) Ангулемского, младшего сына герцога Людовика Орлеанского (старшая лияния именовалась Орлеанским домом), который был братом короля Франции Карла VI Безумного. Внук основателя этого рода взшел в 1515 г. на французский престол под именем Франциска I.
- <sup>12</sup> В 1468 г. король Франции Людовик XI во время встречи в Перонне со своим заклятым врагом герцогом Бургундии Карлом Смелым был захвачен последним в плен и освобожден только после подписания крайне невыгодного договора. В этих бедах он обвинил (возможно, вполне обоснованно) своего доверенного советника кардинала Жана Балю. Опальный савонник завел сношения с бургундским герцогом и братом короля Карлом Французским, был арестован и посажен в 1469 г. в тюрьму, в изобретенную им самим клетку, где невозможно было разогнуться. Весьма значительное состояние кардинала отошло казне, и он оставался в заключении до 1480 г. Знаменитый историк и государственный деятель Бургундии и Франции Филипп де Коммин после смерти Людовика XI вмешался в борьбу между регентшей Анной Божье, сестрой малолетнего короля Карла VIII, и троюродным братом покойного короля и ближайшим наследником царствующего герцога Людовиком Орлеанским на стороне последнего. В 1487 г. Коммин был арестован, имущество его было конфисковано, он также попал в железную клетку, где провел, правда, менее своего предшественника — около пяти месяцев.
- <sup>13</sup> Лежащая в Пиренеях область Руссильон с центром в Перпиньяне была предметом раздора между Францией и Арагоном. В 1462 г. Иоанн (Хуан) II Арагонский, нуждаясь в военной помощи Франции и не имея возможности заплатить за нее, отдал в залог Руссильон. В 1473 г. он занял Перпиньян и область, не заплатив 300 000 лиров — сумму, в которую была оценена помощь, и даже отказался уйти за выкуп, но в 1475 г. все же принужден был вывести войска. В 1493 г. спорная территория

снова отошла к Испании и была окончательно включена в состав Франции лишь при Людовике XIV.

- <sup>14</sup> «Grenetier» (фр.) — буквально торговец семенами.

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВА И ГРУППЫ ИДЕЙ

- <sup>1</sup> А. Р. Ж. Тюрго в 1749 г. поступил в Сорбонну (это название в разное время давалось разным подразделениям Парижского университета и университету в целом; в 1554—1792 гг. — теологический факультет) для написания диссертации. В 1750 г. он был избран приором, т. е. ежегодно сменяемым председателем общего собрания преподавателей и студентов.
- <sup>2</sup> В 1793 г. Кондорсе был обвинен правительством Робеспьера в подготовке заговора и бежал из Парижа. Скрываясь, он писал свой «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Арестованный в 1794 г., принял в тюрьме яд, не желая публичной казни. Книга его увидела свет в 1795 г. уже после падения Робеспьера.
- <sup>3</sup> Название этой должности переводят обычно как «лейтенант полиции», что неточно. На деле «lieutenant» означает не только офицерское звание, но и «заместитель», «вместник». «Police» тоже не только «полиция», но и «поддержание порядка», «свод правил охраны общественного порядка и благочиния». Лейтенант полиции в XVIII в. был королевским чиновником в Париже и других крупных городах; круг его обязанностей был очень широк: надзор за порядком в подведомственном ему населенном пункте, за состоянием дорог, водопровода, канализации, за чистотой, за больницами и богадельнями, за соблюдением правил торговли и т. п.
- <sup>4</sup> Имеется в виду созданный в 1789 г. на базе Королевского ботанического сада Музей естественной истории, с 1793 г. — главное научно-исследовательское учреждение Франции в области естественных наук.
- <sup>5</sup> На рубеже XVII—XVIII вв. немецкий естествоиспытатель Г. Шталь выдвинул гипотезу о флогистоне, некоем присутствующем в телах огнетворном веществе, которое обеспечивает горение и в процессе его уничтожается. Ошибочность этой гипотезы была доказана в конце XVIII в. А. Л. Лавуазье. Основной труд Ж. Л. Бюффона «Естественная история, общая и частная», вышедший в 1749—1783 гг. в 36 томах, представляет собой колоссальную попытку всеобъемлющего описания Природы. Его книга «Эпохи природы» (1778) дает яркую картину развития всего Космоса. Сочинения Бюффона пользовались огромной популярностью у читающей публики во многом из-за красочного и пышного стиля, но и благодаря завораживающей идее единства и прогресса всего сущего. Но именно эта идея, доведенная до предела, вынуждала Бюффона отрицать любую систематику; поэтому многие ученые Франции соглашались с научным противником Бюффона, великим системосоздателем К. Линнеем. Распря между сторонниками и противниками учения о флогистоне, между приверженцами Бюффона и последователями Линнея была спором науки и натурфилософии. Другое дело, что, ратуя за экспериментальную точность в противовес умозрительным рассуждениям, за строгость в противовес риторическим красотам, новая генерация исследователей третировала все созданное ее предшественниками как химеру, а ведь гипотеза Штала была первой общей химической теорией, взглядами Бюффона закладывались идеи эволюционизма.
- <sup>6</sup> Иль де Бурбон, т. е. остров Бурбон, — колония Франции в Индийском океане близ берегов Африки в группе Маскаренских островов. С 1792 г.

- (фактически с 1842 г.) называется Режуньон (Воссоединение). Ныне — заморский департамент Французской Республики.
- <sup>7</sup> Пали — литературный язык средневековой Индии, язык буддийского канона. В наши дни используется исключительно в религиозной сфере в Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме.
- <sup>8</sup> Аракан — горный регион (ныне — национальная область) на юго-западе Бирмы, населенный *ракхайн*, особой этнографической группой бирманцев, ныне исповедующих ислам. С рубежа н. э. до 1785 г. в Аракане существовало одноименное государство, так что говорить об араканцах как о дикарях было вряд ли правомерно.
- <sup>9</sup> Веды (от санскр. веда — знание) — древнейший памятник индийской письменности, собрание религиозных гимнов, молитв и заклинаний. Сложилось в Индостане в конце II — середине I тыс. до н. э. Ведические тексты содержат как пережитки представлений, существовавших у племен ариев до их прихода в Индию, так и элементы верований аборигенов субконтинента. Однако в первой половине XIX в. в научных кругах (а в околонаучных — чуть ли не по сей день) бытовало представление об индоарийской цивилизации как о некоей працивилизации, всеобщем источнике и сокровищнице культуры, знаний, мудрости.
- <sup>10</sup> Имеется в виду XII год Республики по французскому календарю, введенному 5 октября 1793 г. Календарь этот отменял христианское летоисчисление и вводил названия месяцев и дней, решительно порывавшие с общепринятыми. Первым днем первого года новой эры стало 22 сентября 1792 г. — дата провозглашения Республики. Год делился на 12 месяцев по 30 дней: вандемьер (от лат. «vindemia» — сбор винограда), брюмер (от фр. «brume» — туман), фример (от фр. «frimas» — изморозь, нивоз (от лат. «nivorus» — снежный), плювиоз (от лат. «pluviosus» — дождливый), вантоз (от лат. «ventosus» — ветренный), жерминаль (от лат. germen — росток), флореаль (от лат. «floreus» — изобилующий цветами), прериаль (от фр. «prairie» — луг), мессидор (от лат. «messis» — жатва и греч. δῶρον — дар), термидор (от греч. θερμῆ — жар и δῶρον), фрюктидор (от лат. «fructus» — плод и δῶρον). В конце года добавлялись 5 (или 6) дополнительных дней. Каждый месяц делился на три декады, дни которых именовались порядковым номером (например, «septidi» — седьмой день), выходным днем объявлялся декады, последний день декады. Календарь этот, действовавший до 1 января 1806 г., был отменен Наполеоном I.
- <sup>11</sup> «Натчезы» — раннее, но опубликованное лишь в 1825 г. сочинение («поэма в прозе») Ф. де Шатобриана, где в сильно романтизированном духе описана жизнь индейцев племени натчезов. Одно из главных действующих лиц — француз Рене, покинувший Европу ради девственных лесов Северной Америки. Многие персонажи и ситуации в «Натчезах» созданы под явным влиянием «Илиады», что дало критикам основание назвать творение Шатобриана «Гомером в понятиях прокезов».
- <sup>12</sup> Кави (санскр. «поэт») — древнеяванский литературный язык с преобладанием санскритской и палийской лексики. Возникший на рубеже VIII—IX вв., он был живым до XIV в., но и позднее, до исламизации острова, оставался языком культуры и в этом качестве сохранился донныне среди индуистского населения острова Бали.



## ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ ОДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

- <sup>1</sup> Здесь перечислены известные немецкие и французские картографы и издатели географических карт и планов в XVI в.
- <sup>2</sup> Имеется в виду Элеонора Толедская, супруга герцога Козимо с 1539 г.
- <sup>3</sup> Ниже названы наиболее известные резиденции французских монархов. Лувр, первоначально охотничий замок, был переделан и превращен во дворец при Карле V; Франциск I приказал сломать его, и с 1541 г. (до 1857 г.) Лувр строился и перестраивался, долгое время он служил одной из основных резиденций королей; с 1791 г. — музей. Сен-Жермен, дворец эпохи Ренессанса, названный по месту расположения — Сен-Жермен-ан-Ле около Парижа, известен тем, что в нем родились Генрих II и Людовик XIV; ныне Музей галльских древностей. Фонтенбло — загородная резиденция королей к югу от Парижа, место рождения Филиппа IV Красивого, Франциска II, Генриха III, Людовика XIII. Шамбор — замок на Луаре, воздвигнутый при Франциске I. Версаль — город близ Парижа, ныне — пригород последнего; обычно под Версалем понимается дворцово-парковый комплекс, служивший постоянным местом пребывания государей Франции с 1682 по 1789 г.
- <sup>4</sup> См. примеч. 3 к статье «Капитализм и Реформация».
- <sup>5</sup> Вечный Жид — персонаж позднесредневековой легенды, известен обычно под именем Агасфер (встречаются и иные имена: Эспера-Дюс, т. е. Надейся-на-Бога; Бутадеус — Ударивший Бога; Картафил). Согласно преданию, он отказал Христу на Крестном пути в отдыхе у своего дома, велел идти дальше; за это обречен скитаться до второго пришествия, не имея возможности ни остановиться, ни умереть. Эта легенда была чрезвычайно популярна во Франции в XIX в. благодаря авантюрному роману Э. Сю «Агасфер» (1844—1845), в котором мудрый Агасфер, осознавший свой грех, творит во искупление его добрые дела, выступает как таинственный благодетель героев и противник стремящихся погубить их иезуитов.
- <sup>6</sup> В средневековой Франции королевский домен делился на округа, во главе которых стояли прево (от лат. «praepositus» — надзиратель) — чиновники, обычно невысокого происхождения, обладавшие административными, финансовыми, военными и судебно-полицейскими функциями. Главным среди этих лиц был прево Парижа. С XV в. за ними были оставлены только последние из перечисленных функций, но главный прево был обычно и прево королевского дворца, т. е. начальником административно-хозяйственных служб двора.
- <sup>7</sup> Маршал Одон де Фуа виконт Лотрек был очень талантливым полководцем, но весьма нередко терпел поражения в Итальянских войнах, так как наемные войска, состоявшие под его командованием, передавались противнику за деньги.
- <sup>8</sup> Сенешаль — в средние века во Франции и Англии высшее должностное лицо на службе у феодала, вершившее суд от его имени; сенешальские должности занимались лицами благородного происхождения. Великий сенешаль (в данном случае — Луи де Брезе, великий сенешаль Нормандии) исполнял эти обязанности от имени самого монарха по всей стране либо в той или иной ее части.
- <sup>9</sup> Пьер де Бурдей съёр де Брантом, блистательный придворный и талантливый литератор, известен как автор наукообразного трактата «Галантные дамы» и мемуаров, написанных под сильным влиянием итальянской и французской ренессансной новеллы. И мемуары, и трактат наполнены историями весьма рискованного свойства о похождениях придворных дам.
- <sup>10</sup> Подмастерье средних веков и начала нового времени прежде сдачи экзамена на звание мастера должен был провести определенное время в странствиях, демонстрируя свое ремесло и совершенствуясь в нем.

- Во Франции это называлось «faire son tour de France» – совершить поездку (прогулку, тур) по Франции.
- <sup>11</sup> Сантьяго-де-Компостела, небольшой город в Галисии (Испания) был в западном мире самым значительным, после Иерусалима и Рима, местом паломничества. Толпы богомольцев стекались к гробнице св. Иакова (Сант-Яго), Брата Господня, небесного покровителя испанских государств в борьбе с маврами. Останки апостола были, по преданию, перенесены из Иерусалима в Компостелу в 829 г.
- <sup>12</sup> Первая половина Итальянских войн (до битвы при Павии) была в целом благоприятна для Франции (см. примеч. 3 к статье «Капитализм и Реформация»). Во всяком случае, терпя иногда военные неудачи, эта держава не испытала решительных поражений. В сражениях при местных победах (хотя бой при Форново был успехом при отступлении, позволившем армии Карла VIII уйти из Италии, избежав полного разгрома), венцом которых стала баталия при Мариньяно, где войско Франциска I рассеяло непобедимых дотоле швейцарцев, бывших на службе у Карла V.
- <sup>13</sup> Пьер Террель сеньор де Байрд остался в памяти поколений как идеал рыцаря. Еще при жизни он был прозван «chevalier sans peur et reproche» – рыцарь без страха и упрека.
- <sup>14</sup> Инкунабулы – первопечатные книги, вышедшие в свет от времени возникновения книгопечатания (середина XV в.) до 1 января 1501 г. – дата, разумеется, условная, но принятая в книговедении.
- <sup>15</sup> «Донатом» в средние века назывался популярнейший учебник латинской грамматики, названный так по имени сочинителя Элия Доната (IV в.).
- <sup>16</sup> «Катомом» обычно называли широко известный и весьма популярный в средневековье сборник стихотворных поучений морально-дидактического характера «Дистихи Катона», составленный в III или IV в. неким Дионисием Катомом (о нем ничего не известно) и дополнявшийся позднее.
- <sup>17</sup> Так называемые народные книги представляли собой переработки для широкого читателя как фольклорных (уже не существовавших в первоначальном виде), так и литературных произведений. Сказочный великан Гаргантюа именно из этой низовой литературы попал в знаменитый роман Рабле; герой древних кельтских эпических сказаний, потом рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, великий маг и мудрый советник Мерлин превратился в этих книгах в довольно заурядного волшебника; в переложениях возникшего еще в XIII в., но получившего широкое распространение в XVI в. романа об Амадисе Галльском (как и в иных подобных пересказах рыцарских романов) нравственная проблематика элиминирована и центр тяжести переместился в сферу галантной любви и безудержной авантюриной фантастики.
- <sup>18</sup> В главе XV первой книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле повествует о том, как дон Филипп де Марэ, вице-король некой вымышленной Пачелигоссы, желая доказать Грангузье, что сын того, Гаргантюа, неправильно воспитывается, приглашает своего пажу, одиннадцатилетнего Эвдемона (от греч. εὐδαίμων – букв. имеющий хорошее божество, т. е. счастливый), который обращается к Гаргантюа на цicerоновой латыни. В ответ юный великан не может произнести ни слова. В результате Грангузье изгоняет учителей сына и дает ему в наставники педагога-гуманиста Понократа (от греч. πόνος – труд и κράτος – сила, власть, могущество), воспитателя Эвдемона.
- <sup>19</sup> Великий французский ученый, основатель египтологии Ф. Шампольон, увидев впервые в одиннадцатилетнем возрасте египетские иероглифы, дал, по собственному признанию, себе клятву прочесть их. Двадцать один год спустя, 14 сентября 1822 г., он вбежал в библиотеку Фран-

- цузского института, где работал его брат, и, воскликнув: «Я добился своего!» — потерял сознание.
- <sup>10</sup> В средние века бродячих клириков, а студентов причисляли к ним, называли вагантами (лат. «vaganti» — бродячие). Позднее не без влияния античных реминисценций это слово преобразовалось в «ваханты» (фр. «bacchantes»), т. е. участники вакханалий, оргиастических праздников в честь бога Диониса-Вакха. Но уже тогда, как и поныне, слово «ваханалия» употреблялось не в буквальном историко-религиозном значении, а в смысле — разгул пьянства и разврата, чему нравы странствующих школяров давали основание.
- <sup>11</sup> Себастьян Шатийон (в латинизированной форме — Кастельон, Кастеллион), последователь Эразма, бежавший из Франции в Швейцарию, а уже в Швейцарии переехавший из Женевы в Базель из-за распри с Кальвином, в 1553 г. выступил с резким протестом против свершенной по приказу женевского реформатора казни Сервета (см. примеч. 51 к наст. статье), в защиту свободы, справедливости, независимости научной мысли, за самую широкую религиозную терпимость. Книга Кастельона вышла под псевдонимом «Мартин Беллий», и слово «беллианизм» стало синонимом свободомыслия. Кальвин и его соратники всечески травили автора. Ему грозил процесс в базельском суде, от которого его избавила смерть.
- <sup>12</sup> Слово «mésanique» (именно так в орфографии XVI в.) означало не только «механизм», но и человека, занимавшегося «механическими искусствами», т. е. ремеслами, к которым, впрочем, иногда присоединяли и медицину, и то, что ныне именуется художественной деятельностью (кроме литературы), и многое другое, связанное более с умением, нежели с познаниями. Представители этих «искусств» считались обществом социально низкими в сравнении с теми, кто был предан «свободным искусствам», т. е. тому, что мы ныне называем с соответствующими поправками наукой.
- <sup>13</sup> Поскольку средневековые университеты не имели особых помещений, со второй половины XIII в. на благочестивые пожертвования стали создаваться общежития для студентов и магистров — коллегии (лат. «collegium», фр. «college»), представлявшие собой автономные общины со своим уставом. В коллежах не только жили, но там же протекала вся университетская деятельность, включая занятия. Они назывались именами их основателей: Коллеж де Наварр, учрежденный в 1305 г., — по титулу жены короля Филиппа IV Красивого Жанны Наваррской; Коллеж де Прель, организованный в 1319 г., — по имени известного юриста и советника Филиппа IV Рауля дю Преля; упоминаемый ниже Коллеж Монтэгу, возникший в 1314 г., — по имени архиепископа Руанского Жюль Эселина де Монтэгу.
- <sup>14</sup> Дивинация — прорицание, предсказание, например, по снам, по полету птиц, по внутренностям жертвенных животных, а также основанное на разного рода гаданиях; считалась проявлением воли или помыслов богов (лат. «divi»).
- <sup>15</sup> В заметках Леонардо да Винчи есть слова, дающие основание полагать, что он считал Солнце, а не Землю центром мироздания. Однако это было скорее натурфилософским убеждением, восходящим к платонизму и, возможно, писаниям Марсилио Фичино, а не астрономической гипотезой. Впрочем, вряд ли стоит отрицать воздействие античных идей и на Коперника при всем значении для него наблюдений и расчетов.
- <sup>16</sup> Имеется в виду искусство французского классицизма, вскормленное античными реминисценциями под немалым влиянием итальянского Ренессанса и достигшее расцвета в эпоху Людовика XIV, время правления которого именуют «великим веком», ибо именно тогда Франция достигла наивысшего политического могущества, стала всеевропейской законодательницей мод, а ее словесность и искусства виделись единственным образцом для подражания.

- <sup>27</sup> В 1525 г. плененный в битве при Павии Франциск I подписал Мадридский договор, по которому все бургундское наследство (см. примеч. 2 к статье «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II») отходило к Империи. По Камбрейскому миру 1529 г. французскому королю удалось удержать собственно Бургундию за своей страной, но графство Артуа было потеряно надолго, и французская корона лишилась даже формального сюзеренитета над ним.
- <sup>28</sup> Большинство названных территорий входило в Бургундское государство, о судьбе которого, а также об истории Лотарингии см. примеч. 10 к статье «Суд совести истории и историка». Герцогство (до 1416 г. — графство) Савойя было тесно связано, с одной стороны, с Францией, в том числе из-за этнического состава населения, а с другой — с Италией, ибо савойские правители, бывшие вассалами Империи, владели также княжеством Пьемонт, ядром будущей объединенной Италии. Во время Великой французской революции собственно Савойя отошла к Франции, после падения Наполеона была снова передана Сардинии (с 1702 г., после приобретения острова Савойской династией, объединенное государство именовалось Сардинским королевством) и лишь в 1860 г. окончательно соединилась с Францией.
- <sup>29</sup> Вальраф-Рихард — художественный музей в Кёльне.
- <sup>30</sup> Так называемый «Роскошный часослов» герцога Беррийского иллюминирован художниками из Нидерландов братьями Лимбург — Полем, Жаннекенон (Жаном) и Эрманом. Календарь этого часослова иллюстрирован в большинстве картинами природы, соответствующими каждому месяцу.
- <sup>31</sup> Искусствоведы относят художественные творения, созданные в определенной стилистической манере в конце XIV — начале XV в., к так называемой интернациональной готике. Термин этот означает, что данный стиль едѣн на большей части Западной Европы.
- <sup>32</sup> «Прекрасный Бог» (иначе Благой амьенский Бог) — статуя благословляющего Христа с центральных врат западного портала Амьенского собора.
- <sup>33</sup> В средневековой и ренессансной живописи весьма часто изображались разновременные события в едином пространстве картины. В картине Гирландайо симультанно даны: явление ангела пастухам с вестью о рождении Спасителя (Лк. 2, 8—14), их поклонение новорожденному Иисусу (Лк. 2, 16—17) и шествие царей-волхвов с дарами младенцу Христу (Мтф. 2, 9—11).
- <sup>34</sup> Фрески в падуанской Капелле дель Арена (или Капелле дельи Скровеньи) посвящены житиям Марии и Христа; в Верхней церкви в Ассизи — св. Франциска Ассизского.
- <sup>35</sup> Многочисленные эксперименты Леонардо да Винчи в области техники живописи не всегда увенчивались успехом. Так, желание написать «Тайную вечерю» масляными красками на стене привели к тому, что роспись осыпается, несмотря на многочисленные и непрекращающиеся попытки спасти этот шедевр.
- <sup>36</sup> Большинство современных исследователей полагают, что на портрете изображен не кардинал Альбергати, а какой-то неизвестный деятель церкви.
- <sup>37</sup> Имеется в виду Гентский алтарь, именуемый также «Поклонение мистическому агнцу», принадлежит кисти Яна ван Эйка (или братьев ван Эйков — Яна и Хуберта) и находится в церкви св. Бавона в Генте.
- <sup>38</sup> Эти картины созданы Хансом Мемлингом, вся творческая жизнь которого была связана с госпиталем св. Иоанна в Брюгге.
- <sup>39</sup> Подразумеваются последователи так называемого романизма — течения в нидерландской живописи, стремившегося подражать итальянскому искусству. Представителями этого течения были Ян Госсарт, Берядт ван Орлей и др.

- <sup>40</sup> В средневековой церковной жизни бенефициями называли приходы и должности, а также доходы с них. Бенефицианты (среди них бывали даже миряне) не всегда выполняли связанные с этими должностями обязанности священнослужителей, нанимали для церковных служб других лиц духовного звания, и бенефиции превращались в синекуры, вид пенсий.
- <sup>41</sup> В позднем средневековье возник обычай молиться и медитировать перед каждым из находящихся в церкви изображений Крестного пути Христа. Любое из этих изображений связывалось с определенным событием, свершившимся при шествии на Голгофу. Таких изображений было четырнадцать, и они назывались «stationes» (лат. остановки).
- <sup>42</sup> Слова из английской баллады XIV в., приобретшие значение боевого лозунга во время восстания Уота Тайлера и распространившиеся по всей Европе.
- <sup>43</sup> Жак или Жак-простак — насмешливое прозвище французского крестьянина, возникшее в середине XIV в. Отсюда и название восстания 1358 г. — жакерия
- <sup>44</sup> Ж. Мишле и его последователи считали, что в основе феномена охоты на ведьм лежала борьба Церкви против тайных языческих сект — приверженцев культа плодородия, поклонников и поклонниц «рогатого бога». Большинство же исследователей ныне полагают, что в этом явлении проявилось не столько наследие народной культуры (ибо существование упомянутых сект все же весьма маловероятно), сколько ее крушение, распад под напором социальных перемен вообще всего привычного мира — это и вызывало различные коллективные страхи и психозы.
- <sup>45</sup> По мнению У. Оккама, общие понятия суть лишь слова (nomina), термины, устанавливаемые людьми, — отсюда выражения «терминизм» и «номинализм».
- <sup>46</sup> Этот иконографический сюжет связан с известными словами Пилата (Ио. 19, 5).
- <sup>47</sup> Выборы Карла Габсбургского и Джованни Медичи на императорский и папский престолы сопровождалась подкупом в огромном размере курфюрстов (князей-избирателей, ибо императорский престол передавался, по крайней мере в теории, не по наследству, а по избранию) в первом и кардиналов во втором случае. Деньги будущим императору Карлу V и папе Льву X (это имя выбрал при интронизации Джованни Медичи) для этих взятков дал банкирский дом Фуггеров.
- <sup>48</sup> Мартин Лютер в 1505 г. по личному стремлению ушел в монастырь; сложил монашеский сан лишь в 1524 г., семь лет спустя после своего открытого выступления против Церкви. Ульрих Цвингли в 1506 г. сделался приходским пастором, в 1512 и 1515 гг. был полковым капелланом, но в 1522 г. расстался со званием священнослужителя.
- <sup>49</sup> Согласно Рабле, член Сорбонны достопочтенный Ианотус де Брагмардо был послан гражданами Парижа к Гаргантюа с прошением вернуть городские колокола, каковые тот взял, дабы использовать их в качестве колокольчиков для своей кобылы. Чтобы обеспечить успех своей миссии, мэтр Ианотус произносит длинейшую и бессмысленнейшую речь на смеси латинизированного французского и кухонной латыни (Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. XVII—XX). Магистр Олоферн обучал маленького Гаргантюа грамоте, причем за шесть лет и три месяца зонный великан под руководством многоумудрого наставника сумел лишь затвердить азбуку, но зато в обратном порядке (Там же. Гл. XIV). В глазах Рабле и иных гуманистов люди, замкнувшиеся в университетской схоластической науке, бесконечно далекой от жизни, были смешны. Как показывает ниже Л. Февр, они были еще и страшны, возглавляя преследования еретиков.
- <sup>50</sup> Общая атмосфера страха в конце средневековья (см. примеч. 42 к наст. статье), заставлявшая людей чувствовать себя в осажденном городе,

приводила к тому, что все враги истинного христианства — еретики, иудеи, язычники, колдуны, свободомыслящие и т. п. — рассматривались как целое, как воинство Сатаны, и потому ведовство смешивали с ересью, а гуманистов упрекали в чернокнижии. Но все же, согласно исследованиям современных ученых, охота на ведьм не была впрямую связана с борьбой с инакомыслием.

- <sup>51</sup> Мигель Сервет, уроженец Испании, по профессии врач, известный открытием малого круга кровообращения, был одним из ведущих идеологов антиринитаризма, реформационного течения, последователи которого отрицали троичность Бога, видели в Христе человека, хотя и совершенного, настаивали на изучении Писания при помощи собственного разума и т. п. Сервет скитался по всей Европе, преследуемый католической инквизицией, от которой бежал в оплот протестантизма — Женеву, но там был сожжен как еретик по настоянию Кальвина.
- <sup>52</sup> Даниэль Бертелье, сын Филибера Бертелье Старшего, национального героя Женевы, отдавшего жизнь за независимость родины, принадлежал к партии перренистов (т. е. сторонников одного из отцов города — Ами Перрена), или либертинов (вольнодумцев), местных противников Кальвина, по большей части выходцев из патрициата, выступавших не столько против учения Кальвина, сколько против духовной диктатуры «женевского папы», в основном против принятого под его давлением закона, лишившего гражданских прав любого отлученного консисторией (собранием проповедников, высшим органом церковной общины) или хотя бы одним пастором до принесения покаяния; в случае отказа отлученный подлежал изгнанию или даже казни. Связанные с этим внутригородские раздоры приводили к уличным схваткам; демонстрация перренистов в мае 1555 г. была объявлена приверженцами Кальвина попыткой государственного переворота, ее участники, не успевшие бежать, в том числе Бертелье, были арестованы, обвинены в государственной измене и казнены.

## ФОЛЬКЛОР И ФОЛЬКЛОРИСТЫ

- <sup>1</sup> Дореволюционная Франция традиционно делилась на 37 областей (это деление не вполне совпадало с административным) — бывших более или менее крупных феодальных владений с относительно автономной историей развития. Некоторые из этих областей имели свое обычное право, кое в чем отличавшееся от общегосударственного, и определенные привилегии и вольности. В эпоху Революции провинциальный сепаратизм квалифицировался как наследие феодализма, и декретом Национального собрания от 15 января 1790 г. страна была разделена на 83 департамента, границы которых проводились безотносительно к географическому положению областей. Во внимание принималось лишь следующее: площади и численность населения новых административных единиц должны были быть примерно равными, но размеры их определялись с таким расчетом, чтобы избиратели, отправляясь в департаментский центр для участия в общем собрании, тратили на дорогу туда и обратно не более дня. Указанное членение сохранило силу до сего дня (во Франции 96 департаментов, 5 заморских департаментов и 5 заморских территорий), хотя в 1956 г. страна была поделена на 22 экономических района, которые частично вписались в границы прежних областей.

## КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

- <sup>1</sup> «Золотая легенда» — составленный в XIII в. доминиканцем Иаковом Ворагинским сборник житий святых, обработанный не для церковных служб, а для индивидуального чтения; он пользовался невероятной популярностью, был переведен с латыни практически на все народные языки (с обильными дополнениями) и издавался 90 раз за 50 лет книгопечатания.
- <sup>2</sup> Монашеский орден кармелитов (женская ветвь — кармелитки) называется так потому, что центром его был основанный в XII в. (орденские предания возводят учреждение его к Илье Пророку или Иоанну Крестителю) монастырь в горном массиве Кармел (Кармил) в Палестине. С 1245 или 1247 г. ницнествующий орден.
- <sup>3</sup> Великий бунт (la Grand rebeune) — выступление городских низов в Лионе в 1529 г. из-за повышения цен на хлеб. Подобные продовольственные волнения были столь часты в этом городе в XV—XVII вв., что получили особое название, имеющее почти терминологическое значение, — rebeune. Некоторые историки полагают, что этот мятеж был вызван не только экономическими причинами, но и то ли деятельностью какого-то неизвестного тайного общества, то ли проповедью протестантов. Впрочем, последние объяснения многие специалисты не считают слишком доказательными.
- <sup>4</sup> Перечисленные представления действительно пережили столетия. В античные времена гадали по книгам Гомера или Вергилия, а именно открывали книгу наугад и наугад же выбирали любую строку или фразу, в которой находили некое предсказание. В средние века таким же образом прорицали по святым, только за основу брали Писание или какое-либо житие. В эпоху Ренессанса снова вернулись к греческим и римским авторам. За всем этим стоит одновременно вера в святость богодухновенных или близких к ним текстов (в античности, особенно поздней, сочинения Гомера почитались как священные, хотя и не в той мере, как Библия для христиан; то же можно сказать о деятелях Возрождения, присоединивших к «Илиаде» и «Одиссее» «Энейду», впрочем и ранее популярную) и в то, что кажущаяся случайность (например, жребий, взятое наугад слово и т. п.) есть на деле знамение высших сил.
- «Появление вод» есть чудо, свершенное в IV в. св. Марцелином, епископом Эмбренским, который построил рядом со старым водоемом для крещения новый, и в этом новом вода дважды в год — на Рождество и на День Тайной вечери (в православии — Чистый четверг на Страстной неделе) — поднимается и перетекает в старую купель. Чудо это происходило регулярно вплоть до XIX в. П. Сентив связывает это поверье с так называемыми народными литургиями, богослужениями, представляющими собой мифологизированное оформление христианского материала.
- Св. Гинефор, культ которого известен в местности Домб, севернее Лиона, от середины XIII в. до последней четверти XIX в. был собакой, убитой хозяином по ошибке. Этот святой являлся покровителем младенцев, излечивая их от болезней; поклонявшиеся ему прекрасно знали, что чудотворец — обыкновенная борзая. Преследуемый церковью, как чудовищное суеверие, культ этот просуществовал все же более 600 лет.
- Мощи святых на протяжении всего средневековья (а в католических странах и позднее) рассматривались как источник благой силы. Отсюда столь частые похищения мощей, ибо считалось, что перемещение (любо! — почтенных останков невозможно без согласия самого святого, поэтому в случае успеха похищения они даже не скрывались.
- <sup>5</sup> Обычно под пелагианством понимают учение христианского богослова V в. Пелагия (настоящее имя — Морган, что по-ирландски значит «мор-

ской», то же самое означает и его прозвище по-гречески), утверждавшего, что человек может достичь небесного блаженства собственными силами, без Божьей помощи, что воля человека совершенно свободна и Божественное предопределение есть лишь предзнание будущих событий, но не вмешательство в них. Против этих идей резко выступил Августин. Однако здесь под пелагианством подразумевается отмеченное выше учение ирландского богослова о судьбе некрещенных детей.

<sup>6</sup> Проблема участи детей, умерших некрещеными, волновала христиан на протяжении многих веков. Для св. Августина все, не удостоившиеся крещения, осуждены на погибель независимо от степени греховности. Фома Аквинский сильно смягчает это положение и сводит к минимуму страдания младенцев, не прошедших спасительной купели. У Данте души их помещены вместе с добродетельными нехристианами в Лимб, где они не подвергаются мучениям, но не могут лицезреть Бога, ибо с них не смыт первородный грех. В протестантизме существуют разные мнения на этот счет. Лютеранская церковь требует обязательного крещения детей; вообще этот акт рассматривается как таинство, но одновременно высказывались мысли о том, что никакое таинство не имеет силы само по себе, без личной веры; тем самым ставилась под сомнение действительность крещения малолетних. Еще дальше идет кальвинизм с его идеей абсолютного предопределения и отношением к крещению как действию скорее символическому, нежели сакраментальному, хотя и в этом течении протестантизма данный обряд свершают над новорожденными. Решительный шаг сделали приверженцы анабаптизма (позднее и другие секты — баптисты, методисты и др.): они, полагая крещение исключительно символическим актом вступления в общину, свершали его только над взрослыми, а первое поколение подвергалось повторному крещению — отсюда и название «анабаптисты» — «перекрещенцы».

#### ТРУД: ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВА И ПОНЯТИЯ

<sup>1</sup> В синодальном переводе: «Но рожден человек на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх» (иначе в переводе С. С. Аверинцева: «Но рожден человек страдать, как искры — взлетать вверх»). Разночтения объясняются следующим: во-первых, в подлиннике стоит «сыны Рэшэфа», что в разных интерпретациях понимают либо как «искры», либо как «птицы»; во-вторых, в соответствующем месте Вульгаты стоит слово «labog», означающее и «труд» и «страдание». Следует отметить, что Л. И. Леместр де Саси взял за основу собственного, сделанного в середине XVII в. перевода именно канонизированный католической церковью текст, чтобы противопоставить свой труд французским Библиям, вышедшим из протестантских кругов (см. примеч. 9 к статье «Капитализм и Реформация»).

<sup>2</sup> Пор-Руаяль — парижское аббатство, ставшее во второй половине XVII в. центром янсенизма — течения во французском и нидерландском католицизме, близкого в определенных отношениях к протестантизму и названного по имени основателя — голландского теолога Корнелия Янсена (Янсена). Янсенисты критиковали оптимистические воззрения на свободу воли, за что тезисы Янсена подверглись церковному осуждению еще в середине XVII в. Обостренное чувство личной греховности, готовность к мученичеству, противостояние королевскому деспотизму (Людовик XIV считал янсенистов личными врагами) и безразличной политике и практике главных своих оппонентов — иезуитов — все это делало данное течение привлекательным для людей с чуткой совестью и сильным интеллектом. Физики Б. Паскаль и А. Арно, логик



П. Николь, педагог К. Лансло были членами общины Пор-Руаяль, к ней тяготел великий драматург Ж. Расин. Янсенисты, глубоко озабоченные проблемой греха и искупления, выступали против мягкой исповедальной практики иезуитов, требовали публичного покаяния, а также длительных и унижительных аскетических упражнений для грешников.

### КАК ЖЮЛЬ МИШЛЕ ОТКРЫЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ

- <sup>1</sup> Высшая нормальная школа — основанный в 1794 г. и преобразованный в 1808 г. Парижский педагогический институт.
- <sup>2</sup> Имеется в виду Коллеж св. Варвары Парижского университета.
- <sup>3</sup> Мишле был лишен университетской кафедры и должности в Национальном архиве после переворота, приведшего к власти Наполеона III: верный демократическим убеждениям, знаменитый историк отказался принести присягу новому правительству.
- <sup>4</sup> *Vita nuova* — здесь не только название юношеского произведения Данте, но и лежащий в основе его психологический феномен (у самого Данте, впрочем, не только психологический — за ним скрываются реминисценции обновления мира в христианском духе) — пробуждение чувств после тяжелой утраты: вслед за жестоким потрясением, вызванным смертью возлюбленной (Беатриче), сердце поэта открывается для новой любви (позднее в трактате «Пир» Данте скажет, что эта новая любовь, «сострадательная донна», есть лишь аллегория философии).
- <sup>5</sup> Мишле упоминает факты из истории Великой французской революции: сентябрьские события и деятельность революционного трибунала. В конце августа — начале сентября 1792 г. вражеские войска перешли границу и двинулись к Парижу. Тогда же в столице пронесся слух, что заключенные в тюрьмах «аристократы» (в их числе были действительные противники революции, лица дворянского происхождения, не присягнувшие конституции священники, а также фальшивомонетчики, девицы легкого поведения и т. п. и просто случайно арестованные люди) составили заговор с целью вырваться на свободу и перебить семьи ушедших на фронт патриотов. Толпы ринулись к тюрьмам (прежде всего к учрежденной в 1789 г. в помещении аббатства Сен-Жермен-де-Пре так называемой тюрьме Аббатства), где произошел массовый самосуд над заключенными. Всего, по разным подсчетам, было убито от 1090 до 1395 человек из 2626 официально числившихся в парижских тюрьмах. Революционный трибунал был учрежден 17 августа 1792 г. под названием «Высший чрезвычайный уголовный трибунал». 9 и 28 марта 1793 г. он подвергся реорганизации, судопроизводство в нем было упрощено, апелляции на его приговоры не допускались, основным наказанием становилась смертная казнь. В соответствии с декретом от 22 прериала II года Республики (10 июня 1794 г.) в революционном трибунале отменялся институт защитников, упразднялся допрос обвиняемых, судебные решения выносились без прения сторон исключительно на основании обвинительного заключения и внутреннего убеждения присяжных, причем вариантов этого решения могло быть лишь два: оправдание или гильотина. В 1795 г. революционный трибунал был распущен.
- <sup>6</sup> Карл Смелый, с его неумной жаждой власти, стремлением к территориальным приобретениям, намерением воплотить в жизнь умирающий рыцарский идеал, делал, хотя и в уменьшенных размерах, то, что в масштабе всей Европы творил его правнук Карл V, желавший быть императором в средневековом духе, т. е. светским главой всего христианского мира, и претендовавший на раздаваемый потомками и современниками титул «последнего рыцаря». Начинания обоих потерпели крах, ибо они основывали свои государства на принципах вассальной верности, не учитывая резко возросших национальных устремлений народов.

- <sup>7</sup> Строго говоря, Великим герцогом Запада называли отца Карла Смелого, герцога Бургундского Филиппа Доброго, не только ввиду его богатства и могущества, но и потому что он властвовал над землями большими, чем любой другой запад. Каролингский государь, не имевший королевского титула, и даже иной обладатель короны (например, король Наварры).
- <sup>8</sup> См.: Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. 36–49. Существует вполне правдоподобная гипотеза о том, что под именем короля Пикрохола III, противника Грангузье и Гаргантюа, лихого вояки, переполненного планами всемирного господства, но терпящего сокрушительное поражение, Рабле и образил Карла V.
- <sup>9</sup> Знаменитый французский историк Ф. Гизо во времена так называемой Июльской монархии (царствования короля Луи-Филиппа I Орлеанского, посаженного на престол революцией 27–29 июля 1830 г.), эпохи правления крупной буржуазии, занимал неоднократно министерские посты, а с 1847 г. до революции 1848 г. был премьер-министром. В ответ на угрозы в адрес правительства, установившего высокий имущественный ценз, т. е. право участвовать в выборах лишь состоятельным лицам, он говорил: «Обогащайтесь, и вы станете избирателями». Эти слова стали символом времени правления Орлеанской династии и употреблялись как поговорка, вне первоначального смысла, как лозунг значительной части населения, охваченного в те годы жаждой обогащения.
- <sup>10</sup> «Пателен» — появившийся в XV в. анонимный «Фарс о господине Пателене», герой которого — ловкий адвокат, надувший богатого купца, но сам обманутый своим клиентом — простым пастухом.
- <sup>11</sup> «Маленький Жан из Сентре» (полное название — «История и забавная хроника Маленького Жана из Сентре») — сочинение Антуана де Ла Салля, написанное на основе биографии известного странствующего рыцаря Жака де Лалена. В этой книге, знаменующей конец классического куртуазного романа и являющей собой зачатки романа нового типа, в частности плутовского, достаточно четко отражен упадок рыцарской эпохи.
- <sup>12</sup> Гаргантюа рондился с криком «Пить!» (см.: Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I. Гл. 6).
- <sup>13</sup> Для европейских романтиков, одним из ярких представителей которых был Ф. де Шатобриан с его трактатом «Гений христианства» и эпопеей «Мученики», средневековые — своеобразный «золотой век», идеи которого противопоставлялись как революционным атеистическим и эгалитаристским воззрениям, так и меркантильному духу буржуазной эпохи.
- <sup>14</sup> Принятое доныне членение истории было введено в конце XVII в. немецким историком Х. Келлером (Целлариусом), автором «Тройственной истории», в которую входили «Древняя история» (до Константина I, т. е. до перенесения столицы Империи из Рима в Константинополь), «История средневековья» (до падения Константинополя) и «Новая история». Ранее (и даже позднее, вплоть до Вольтера) новая история начиналась с принятия христианства.

## НАУЧНЫЙ ПОРЫВ ВОЗРОЖДЕНИЯ

- <sup>1</sup> Пифагорейские представления о Солнце как центре Вселенной, представления скорее общеполитические, нежели научные, действительно влияли на творцов гелиоцентрической теории, хотя последние в отличие от их античных предшественников строили свои гипотезы на основе наблюдений и математических вычислений, а не умозрительных предположений (ср. примеч. 23 к статье «Главные аспекты одной цивилизации»). Так, коперниканская модель Солнечной системы была не вполне удовлетворительной ввиду того, что польский ученый считал орбиты пла-

- нет круговыми, исходя из пифагорейского утверждения, что окружность есть идеальная фигура. Кеплер усовершенствовал эту модель, обосновав эллиптичность орбит. Дальнейшие исследования в том же гелиоцентрическом ключе проводились Галилеем.
- <sup>2</sup> Основоположник анатомии Андрей Везалий активно ввел в медицину экспериментальный метод в противовес предшествующей науке, базировавшейся сугубо на изучении текстов, признанных каноническими, — трудов Галена и Гиппократов.
  - <sup>3</sup> Современные исследования показывают, что научные достижения создателей готических соборов несколько преувеличены. Строительное мастерство было скорее искусством, а не инженерной дисциплиной. Здания возводились на глазок, по опыту, по интуиции, а не на основании точных расчетов — отсюда нередкие разрушения.
  - <sup>4</sup> Перед нами список технических достижений (или заимствований) западноевропейского средневековья. Лошадиная упряжь, подкова и стремя распространились в V—VIII вв.; пуговицы появились только в XIV в. — до этого использовались пряжки и завязки; водяные мельницы, известные с римских времен, стали активно эксплуатировать в V—VI вв.; ветряные, заимствованные, видимо, из Ирана, — в конце XI — начале XII в.; прялку, пришедшую, кажется, из Индии, — в VII—IX вв.; древнейшие рубанки датируют I в., но повсеместным этот инструмент стал лишь в XV в.; компас был знаком европейцам еще в XII в., но широкая надобность в нем возникла лишь в эпоху Великих географических открытий; порох начал менять лицо войны с XIV в.; бумага появилась в XI в. в Италии, а с XIII в. — во всей Европе; книгопечатание, использующее принцип наборной кассы (печатание с досок было уже в XIII в.), изобретено Иоганном Гутенбергом в середине XV в.
  - <sup>5</sup> «Сельская глина» (строго говоря, сельские глины — фр. «rustiques figures») представляет собой не вещество определенного состава, как иногда считают, а вид керамических изделий — овальное блюдо из глины, покрытое цветной глазурью, с рельефами, сделанными на основе слепков с природы, изображающими рыб, раковины, змей, ящериц, лягушек, растения (обычно зеленые или водоросли).
  - <sup>6</sup> Известный рассказ о том, что Галилей, желая проверить выдвинутое им положение о независимости скорости падения тел от их веса, сбросил с Пизанской башни два ядра разной массы, скорее всего, легенда. Во первых, из текстов самого Галилея не явствует со всей очевидностью, что он проводил этот опыт. Во вторых, и это главное, оба ядра не упадут на деле одновременно (а повествование настаивает на этом) и скорость этих ядер не будет такой, какой она должна бы быть по Галилееву закону, ибо флорентийский естествоиспытатель не учитывал в своих расчетах сопротивления воздуха.

## ИКОНОГРАФИЯ И ПРОПОВЕДЬ ХРИСТИАНСТВА

- <sup>1</sup> Лигуры — собирательное название группы племен, населявших в первой половине I тысячелетия до н. э. Северо-Западную Италию и Юго-Восточную Галлию. Ранее, во II — начале I тысячелетия до н. э., область их обитания была, возможно, шире — весь Апеннинский полуостров и южные районы современной Франции. Анализ весьма незначительных остатков их языка (в топонимике) позволяет предположить неиндоевропейское происхождение этого народа. Ряд современных ученых полагают, что лигуры являлись последними представителями древнейшего автохтонного населения Европы.
- <sup>2</sup> Распространение христианства среди ряда германских племен (готов, бургундов, лангобардов и др.) произошло в то время, когда арианство — учение, названное по имени св.младенника Ария, утверждавшего,

- что Бог-Сын не единосущен, а лишь подобосущен Богу-Отцу, что он есть не равное последнему во всем лицо Троицы, но творение, хотя и высшее, — получало сильную поддержку императорского двора в Константинополе. Поэтому и варвары, служившие при дворе, а потом распространявшие принятое ими христианство среди соплеменников, и миссионеры, посылаемые правительством, были по большей части арианами.
- <sup>3</sup> Фесценнинский стих (от г. Фесценния в Этрурии) — исполнявшиеся на народных празднествах и свадебных торжествах шуточно-бранные песенки, для которых характерно ритуальное срамословие.
  - <sup>4</sup> Уроженец Южной Галлии галло-римский поэт и епископ г. Арверны (совр. Клермон-Ферран) Сидоний Аполлинарий в период завоевания своей родины вестготами писал и панегирики, и свадебные эпиграммы как различным недолговечным императорам доживавшей последние дни Западной Римской империи, так и варварским королям, захватившим земли этой Империи.
  - <sup>5</sup> До походов Цезаря Риму принадлежали две Галлии: Цизальпийская (Северная Италия) и Нарбоннская, иначе называемая Провинцией (ныне — Прованс). Остальные галльские области были свободны от римской власти, хотя Рим и стремился распространить там свое влияние. Так, жившее близ границ Провинции племя эдуев (их верховным жрецом-друидом, а по некоторым данным, еще и вождем был Дивициак) традиционно придерживалось проримской ориентации; извечные же враги эдуев — секваны пытались опереться в борьбе с соперниками на германцев. Распри среди галлов облегчили завоевание их страны.
  - <sup>6</sup> По словам Григория Турского, пение петухов предвещает беду (История франков, V, 41). Голубка слетает на плечи юноше-монаху Аредию во время богослужения, и настоятель монастыря предсказывает, что именно этот юноша станет в будущем аббатом (X, 29). Войну, смерть и мор предвещает не только раннее, но и очень позднее (в декабре или январе) созревание плодов (VII, 11); ранние цветы знаменуют не только богатую жатву, но и опять же беды (VI, 14).
  - <sup>7</sup> Винсент (Винцентий) из Бове составил во второй половине XIII в. гигантскую энциклопедию (около 10 000 глав, целиком состоящих из цитат различных авторов; выписки эти четко систематизированы, но почти не отредактированы) «Великое зеркало», включающую три раздела: «Зерцало природы», «Зерцало истории», «Зерцало учения», т. е. философии. Этот колоссальный свод являет собой как бы обзор всего сущего с позиций христианства, которое для Винсента давно уже было не внешним учением, а внутренней идеей.
  - <sup>8</sup> Во второй половине III в., во времена тяжелого социального и политического кризиса Римской империи, Галлию сотрясло антиримское восстание багаудов (это слово означает по-галльски, видимо, «борцы»). Повстанцы — среди них были крестьяне из местных племен, беглые рабы, воины из частей, укомплектованных здешними уроженцами, — контролировали значительную часть центральных районов страны, создали собственную организацию управления и даже избрали своих императоров — Элиана и Аманда. Центром территорий, находившихся под властью багаудов, был укрепленный лагерь на острове при слиянии Секваны (Сены) и Матроны (Марны), близ того места, где позднее находился г. Сен-Мор, ныне уже вошедший в Большой Париж. Именно там в 286 г. восставшие потерпели решившее исход всего движения поражение, нанесенное им полководцем императора Диоклетиана Максимианом, который за эту победу удостоился титула августа, став таким образом соправителем государства.
  - <sup>9</sup> Согласно последним исследованиям, Отен (Auten) не тождествен Августодунуму (Augustodunum), по которому поименован известный богослов Гопорий Августодунский — как видим, не вполне точно называемый Отенским.

- <sup>10</sup> Второй Никейский (Седьмой Вселенский) собор, начавшийся в 786 г. в Константинополе и закончившийся в 787 г. в Никее, в Малой Азии, осудил как ересь иконоборчество – движение, отрицавшее поклонение иконам на том основании, что икона есть лишь подобие божества и по-сеому культ ее есть идолопоклонство, что, преклоняясь перед изображением Иисуса, верующий обращается лишь к плотской форме Христа, а не к его божественной природе (в противовес этому иконопочитатели признавали реальное присутствие божественного в иконе).
- <sup>11</sup> «Ойль» (oil) и «ок» (oc) – так звучит слово «да» на северофранцузском (старофранцузском) и южнофранцузском (старопровансальском, окситанском) языках соответственно. По этим словам сами языки и области их распространения именуются Ланг/е/дойль и Ланг/е/док (от фр. langue d'oïl – язык ойль и langue d'oc – язык ок). Эти области отличались одна от другой не только лингвистически, но также в историческом и культурном отношении. Южная Франция была более романизирована и значительно меньше подверглась варварским нашествиям, нежели Северная; в Лангдоке было распространено писаное римское право, в Лангдойле – обычное и т. д.
- <sup>12</sup> В 1098 г. был основан орден цистерцианцев, названный по бенедиктинскому монастырю, где впервые был принят соответствующий устав, – Цистерциум (фр. Сито). Виднейшим идеологом ордена был св. Бернар Клервоский, весьма отрицательно относившийся к пышному убранству церквей, к изображениям в них, не связанных напрямую с богослужением. Под его влиянием развился так называемый цистерцианский стиль – довольно сухой и упрощенный вариант ранней готики.
- <sup>13</sup> Имеется в виду Лис-Ренар (Рейнеке Лис) – герой сатирического животного эпоса средневековья.
- <sup>14</sup> Симпатическая магия – магия, основанная на идее внутреннего родства, соединения (симпатии) разнородных явлений: объекта и его изображения, предмета и его части. Воздействуя на одно, например на ногти или волосы, мы воздействуем на другое – на человека, которому они принадлежали.

### ГИГАНТСКИЙ ЛЖИВЫЙ СЛУХ: ВЕЛИКИЙ СТРАХ ИЮЛЯ 1789 ГОДА

- <sup>1</sup> Имеется в виду вандоз II года Республики (см. примеч. 9 к статье «Цивилизация: эволюция слова и группы идей»), когда был принят ряд законов, предусматривавших улучшение положения неимущих.
- <sup>2</sup> Мерседеры – члены ордена Милосердия (лат. Ordo Misericordiae; фр. l'Ordre de la Merci), основанного в 1218 г. в Барселоне, но позднее распространенного в основном во Франции. Главной целью деятельности ордена был выкуп пленных. В 1690 г. преобразован в конгрегацию нищенствующих монахов, во Франции упразднен во время Революции.
- <sup>3</sup> Право охоты было исключительной привилегией знати: дворянин мог преследовать дичь даже на крестьянских полях, крестьянин считался браконьером, если убивал ее на собственной земле.
- <sup>4</sup> Столетняя война, которая здесь подразумевается (с наложением воспоминаний о Тридцатилетней – откуда появились шведы, бывшие, правда, союзниками французов в этой войне), являлась периодом страшного обнищания французских крестьян, разоряемых обеими армиями, английской и французской; так называемыми «вольными», или «белыми», отрядами наемников, служивших то одной, то другой стороне; просто шайками мародеров; при этом все разновидности грабителей мало чем отличались и легко переходили из одной категории в другую.

## НЕВЕРНО ПОСТАВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

- <sup>1</sup> После принятия в 1438 г. Буржской прагматической санкцией урегулировавшей отношения между Францией и папской курией, а особенно после заключенного в 1516 г. между Франциском I и Львом X Болонского конкордата французская Церковь стала практически независимой от Святого престола: король назначал кандидатов на все высшие духовные посты — кардиналов, архиепископов, епископов. Среди духовенства существовали два течения: галликанское — от древнего названия Франции, поддерживавшее самостоятельность национальной Церкви, и ультрамонтанское (от лат. «ultra montes» — за горами, т. е. за Альпами, в Италии), которое настаивало на подчинении Риму не только в вопросах догматики (галликанская Церковь не отклонялась от католического вероучения), но и в организационно.
- <sup>2</sup> В начале XVI в. в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре возникла группа христианских гуманистов вокруг Жака Лефевра д'Этапля и его друга и ученика аббата этого монастыря Гийома Брисонне, впоследствии епископа Мо. Здесь Лефевр приступил к критическому изучению библейских текстов и переводу Библии на французский язык. Жизнь и деятельность Мартина Лютера с 1507 г. была тесно связана с Виттенбергским университетом; именно в этом саксонском городе к двери дворцовой церкви он прибыл 31 октября 1517 г. свои 95 тезисов против индульгенций — это событие считается началом Реформации.
- <sup>3</sup> «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был несшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,— да сбудется реченное в Писании: „разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий“». Так поступили воины» (Ио. 19, 24, ср. Пс. 22, 19). Экзергега этого места разъясняет, что нешвенный хитон есть единство церкви, нарушение же единства — раздирание цельнотканых одежд, на что не решились даже палачи Христа. Образ этот прилагался к еретикам, раскольникам-схизматикам, к антипапам и т. п.
- <sup>4</sup> Слово «симоเนีย», обычно означавшее продажу и покупку церковных должностей, происходит от имени Симона Волхва, пытавшегося, согласно Писанию, приобрести апостольское достоинство за деньги (Деян. 8, 9—24). В средние века Церковь отвергала и проклинала практику передачи церковных титулов светским лицам в лен именно как симионию; но в предреформационную и реформационную эпоху сторонники очищения Церкви рассматривали продажу индульгенций (письменных отпущений грехов папой), введение чрезвычайных церковных налогов, когда уплатившим обещалось небесное блаженство, и многое другое в качестве раздачи благодати в обмен на материальные блага, т. е. симиони в ее первоначальном смысле.
- <sup>5</sup> В 1536 г. Жан Кальвин переехал в Женеvu, где, собственно, и началась его реформационная деятельность; там он создал свое течение в протестантизме, отсюда он руководил приверженцами во всей Европе, и жил безвыездно (кроме 1538—1541 гг.) до самой смерти.
- <sup>6</sup> В 1511 г. Лютер, бывший тогда монахом-августинцем, по делам своего ордена находился в Риме и, по его словам, «собежал все церкви и святыни, уверовав во все, что там налгано и насорено», т. е. тогда он и не помышлял о каких-либо отклонениях от католического вероучения. Поводом же к его заявлению, что грехи раскаявшемуся грешнику может отпустить лишь Бог и что церковь вряд ли правомочна разрешать от прегрешений, особенно путем покупки индульгенций, была расширявшаяся практика их продажи, которую в Германии осуществляли агенты архиепископа Майнцского, ему же ее поручил сам папа Лев X. Главным агентом был Тецель, и именно его Лютер вызвал на диспут своими

- 95 тезисами (см. примеч. 2 к наст. статье). Ответ Тецеля был сожжен студентами Виттенбергского университета.
- <sup>7</sup> Жан Кальвин был родом из французского города Нуайон.
- <sup>8</sup> Разногласия между Лютером и Цвингли, из которых последний пришел к Реформации все же несколько позднее первого, касались ряда идей. В планах организации новой церкви, во взглядах на светские власти Цвингли был исполнен республиканского духа в отличие от монархически ориентированного Лютера; в богословских вопросах он был рационалистичнее последнего. За спором о претворении, который привел к разрыву между ними, стоял значительный комплекс проблем. В этом споре, как в капле воды, отразились позиции обоих реформаторов: умеренная и частично компромиссная по отношению к католицизму у Лютера и более радикальная у Цвингли. С ортодоксально католической точки зрения хлеб и вино при таинстве причастия действительно и полностью пресуществляются в тело и кровь Христовы; по Лютеру, никакого претворения не происходит, но тем не менее тело и кровь эти субстанционально присутствуют в евхаристии; для Цвингли весь обряд — лишь символическое напоминание о Тайной вечере.
- <sup>9</sup> Коппе — город в Швейцарии на Женевском озере, где жила Жермена де Сталь, изгнанная Наполеоном из Франции.
- <sup>10</sup> Сестра короля Франциска I, писательница и поэтесса, королева Наваррская Маргарита держала свой двор в Нераке в графстве Арманьяк (наваррские короли из династии д'Альбре обладали значительными владениями на юге Франции). При этом дворе сложилась группа христианских гуманистов, которым покровительствовала сама Маргарита, склонявшаяся к реформационным идеям. У нее находили убежище многие гугеноты и иные преследуемые за отклонения от ортодоксии.
- <sup>11</sup> В 1511 г. папа Лев X разорвал союз с Францией и направил против находившихся в Италии французов наемные им в Швейцарской конфедерации войска численностью 150 000 человек. Среди них в качестве полкового капеллана находился Ульрих Цвингли.
- <sup>12</sup> Под реформаторами здесь понимаются сторонники не Реформации, а движения за реформу церкви в конце XIV — начале XV вв., вызванного тем, что во главе ее стояли одновременно два первосвященника — римский и авиньонский. Приверженцы этого движения, к которому принадлежали в основном духовные лица, выступали за церковное единство, за ограничение власти пап в пользу Вселенского собора, за искоренение коррупции в среде клира, но не посягали на вероучение.
- <sup>13</sup> В цитируемое стихотворение вложен смысл: простолудины возмущаются непотребствами клира.
- <sup>14</sup> Кватроченто (ит. «quattrocento» — четыреста, т. е. 1400-е годы) — принятое в первую очередь в итальянской, но и в мировой историографии обозначение периода истории итальянской культуры — XV в. Использование этого термина вызывает определенные трудности. В истории искусств это раннее Возрождение, хотя, например, творчество Леонардо, относящееся к Высокому Возрождению, начинается в 1480-е годы, а Микеланджело (представитель не только Высокого, но и позднего Ренессанса) — в 1490-е годы; зато один из крупнейших художников-кватрочентистов — Боттичелли умирает в начале XVI в. Для историков литературы раннее Возрождение — это XIV в., во всяком случае вторая его половина (Петрарка и Боккаччо), а XV в. они обозначают именно словом «кватроченто», не относя его ни к раннему, ни к Высокому Ренессансу. Историк философии завершает то же Кватроченто как культурную эпоху второй третьей XV в., когда во Флоренции на смену так называемому гражданскому гуманизму пришла школа неоплатоников. Так что указанное понятие, как впрочем, и другие, основанные на сугубо хронологическом членении, — это и подчеркивает Л. Февр — достаточно условно.

- <sup>15</sup> Мистагог — в античной Греции лицо, посвящающее в таинства (Диониса, Кибелы, Митры и других богов); здесь — в переносном смысле, руководитель некоего ритуала.
- <sup>16</sup> Увидевший свет в 1484 г. демонологический трактат монахов-доминиканцев Якоба Шпренгера и Генриха Инститориса «*Malleus maleficarum*» (принятый в отечественной литературе перевод названия — «Молот ведьм», в последнее время употребляется более точный — «Молот против ведьм»), не будучи ни первым, ни последним в этом ряду, особо знаменит как тем, что связан с антиведовской буллой папы Иннокентия VIII «*Summis desiderantes affectibus*» (лат. «Всеми силами души» или «Всеми помыслами души») — это придало трактату более официальный характер, нежели иным книгам подобного рода, — так и тем, что с его появлением начался подъем преследования ведьм. По числу изданий — 29 менее чем за полтора столетия — он превосходит все другие антиведовские тексты и является как бы теоретическим обоснованием «охот на ведьм».
- <sup>17</sup> Страдания Христа приковывали внимание верующих на протяжении всего средневековья, особенно позднего. Но собственно культ Сердца Иисусова возник во Франции в XVII в. вначале в народной среде, и в первую очередь в женских монастырях. Есть свидетельство о некой нормандской крестьянке, получившей повеление от представшей перед ее взором самой Девы Марии поклоняться Сердцу Богоматери. Среди монахинь распространился обычай называть себя дочерьми Сердца Иисусова. Прочное основание этому культу положила св. Мария (монашеское имя, настоящее — Маргарита) Алакок. Ей явился Иисус, и она увидела его разверстую грудь и кровавое сердце. Затем Христос взял ее сердце и дал взамен свое. Она же официально засвидетельствовала свое дарение и написала собственной кровью данную ей в видении дарственную Иисуса на его Сердце. Культ Сердца Иисусова активно поддерживали иезуиты. Курия колебалась: культ этот представлялся ей чрезмерно чувственным, богословы спорили — считать ли Сердце действительным или символическим. В 1786 г. Пий VI осудил такое разделение. Массы же верующих с самого начала понимали Сердце как материальное. В 1765 г. культ Сердца Иисусова был утвержден официально, в 1873 г. ему посвящена Франция, а в 1875 г. (папой Пием IX) — вся Вселенная.
- <sup>18</sup> Святой Дом (Santa Casa) в Лорето, маленьком городке в провинции Анкона в Италии, — по преданию, дом, в котором Богоматерь жила в Иерусалиме. Когда в 1241 г. возникла угроза его разрушения турками, он был перенесен ангелами по воздуху сначала в Терзатто в Далмацию, а потом в 1293 г. — также чудесным образом — через Адриатику на Апеннинский полуостров в лавровую рощу (лат. «*lauretum*») — отсюда и название. Несмотря на широчайшую популярность Святого Дома, чудо это, равно как и другие, связанные с ним чудеса, было утверждено довольно поздно: сначала Сикстом IV в 1491 г., затем Юлием II в 1507 г., причем в достаточно осторожных выражениях («как верят благочестивые люди и гласит молва»), и окончательно — Иннокентием XII в конце XVIII в., тогда же был установлен соответствующий праздник (10 декабря). В XX в. Бенедикт XV провозгласил Мадонну из Лорето покровительницей авиаторов.
- <sup>19</sup> 8 декабря по католическому календарю — праздник Зачатия Пресвятой Девы.
- <sup>20</sup> Имеются в виду представления о непорочном зачатии Девы Марии ее матерью св. Анной (не смешивать с непорочным зачатием Богоматерью Иисуса), которые были распространены еще в раннем средневековье. Благодаря такому чудесному рождению Мария оказывалась почти также неподвластной первородному греху, как и Христос. Орел непорочного зачатия возвышал святость Анны, хотя она и не полагалась дев-



ственницей. Эти воззрения, популярные в массах и распространившиеся на исходе средневековья среди францисканцев, вызывали возражения ряда теологов, особенно соперников францисканцев — доминиканцев, и были приняты в качестве полноправного догмата в католичестве (но не в православии) лишь в 1854 г.

- <sup>21</sup> Испанский теолог Гвидо из Монте-Рочери (во французских переводах его имя дано в галлицизированной форме) написал в 1333 г. ставшее надолго популярным руководство для священников «*Manipulus curatorum, liber illustrissimus*» (Манипул наставников, знаменитейшая книга). В изначальном смысле манипул — подразделение римского легиона, значком подразделения служил пучок сена (лат. *manipulus*). Позднее слово это стало употребляться в значении «сплоченный отряд».
- <sup>22</sup> Викторинцы — члены авторитетной богословской школы, основанной в начале XII в. при монастыре св. Виктора в Париже. Стремилась сочетать мистику с элементами логики и создать своеобразную мистико-схоластическую систему. Наиболее известны Вильгельм (Гийом) из Шампо, Гуго Сен-Викторский, Рихард (Ришар) Сен-Викторский.
- <sup>23</sup> «*Imitatio Christi*» (лат. Подражание Христу), точнее, «*De imitatione Christi*» (О подражании Христу) — популярнейший трактат позднего средневековья, в котором истинное благочестие полагается не в исполнении служб, не в следовании схоластическим авторитетам, не в умственных спекуляциях, не в визионерском экстазе, не в аскезе (все названное не столько резко отвергается, сколько мягко, но решительно отклоняется), а в сдержанном и несколько меланхолическом самоуглублении и размышлении о житии и страданиях Христа. Трактат получил распространение около 1418 г. анонимно в соответствии с выдвинутым в нем тезисом: «Не спрашивай, кто сказал, но направь внимание на то, что сказано». Скорее всего, это сочинение принадлежит перу Фомы Кемпийского, нидерландского религиозного мыслителя, хотя назывались и другие имена. Книга выдержала более 2000 изданий и переведена на языки почти всех христианских народов, в том числе православных.
- <sup>24</sup> Страсти Богоматери (в отечественной традиции — Семь скорбей Богоматери) вызваны болью и тревогой за сына и связаны со следующими событиями: 1) обращенное к Марии пророчество Симеона Богоприимца при принесении младенца Иисуса во храм: «...и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35) — предвестие будущих страданий Богородицы; 2) бегство в Египет, дабы спастись от царя Ирода, повелевшего истребить всех новорожденных (Мтф. 2, 13–21); 3) поиски двенадцатилетнего Иисуса, исчезнувшего в Иерусалиме, куда семья его приходила на Пасху; Мария находит сына во храме беседующим с законоучителями, и на ее упреки он отвечает: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 42–49); 4) разлука с Иисусом после начала его служения (по Евангелиям, Мария видится с сыном до суда и казни его всего лишь раз в Капе Галилейской — Ио. 2, 1–10); 5) встреча на Крестном пути (Лк. 23, 27 — хотя там говорится только о женщинах, шедших за Иисусом); 6) присутствие на Голгофе (Ио. 19, 25); 7) погребение сына (в Евангелиях об участии Марии в похоронах прямо не упоминается).
- <sup>25</sup> Позднесредневековые мистики уделяли большое внимание крови Христовой. Духовидцы и особенно духовидицы в своих видениях обоняют благоухание этой крови, пьют ее, иногда прямо из ран, оказывающихся источником этой божественной субстанции, дающей вечную жизнь. При всем экстатическом характере этих видений они коренятся в идее евхаристии: «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все: ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мтф. 26, 27–29). Отсюда же сравнение Христа

с виноградной лозой, а мук его – с выжиманием сока в давяльне. Сущест­вуют изображения Распятого на дереве (или кресте). увитом лозой с гроздьями, и виноградного пресса рядом.

- <sup>26</sup> «Подражание Христу» – здесь не только название трактата (см. примеч. 23 к наст. статье), но и воплощение его идей в жизни, в первую очередь в деятельности распространяемого в Нидерландах и Нижней Германии предреформационного духовного течения «*devotio moderna*» (лат. новое благочестие). Его сторонники не отрицали прямо церковной обрядности, однако относились к ней с определенной настороженностью, считая ее несущественной по сравнению с внутренним религиозным чувством; проповедовали мирской аскетизм, т. е. полагали спасение не в бегстве от мира, а в исполнении земных обязанностей как религиозных заповедей. Одним из центров течения была конгрегация (объединение белого духовенства – каноников, приближенное по форме к монастырю) в Виндесхейме. Последователи «нового благочестия» организовались в XIV в. в Братство общей жизни, практиковали совместное проживание, общие трапезы и труд, отвергали владение личным имуществом. В отличие от монашеских орденов и конгрегаций в Братство могли входить и миряне, все члены не принесли никаких формальных обетов и имели право выйти из него в любое время. Общины Братства располагались в частных домах, не имели единого центра (первая по времени основания община в г. Девентере обладала лишь повышенным духовным авторитетом) и официально утвержденного устава. Идея «нового благочестия» впитали в себя многое из учений нидерландских и немецких мистиков: Экхарта, Таулера, Сузо, Рюйсбрука.
- <sup>27</sup> Эти слова произнес в ответ на призыв отречься от заблуждений Мартин Лютер, вызванный в 1521 г. в Вормс, где заседал рейхстаг (высший законосовещательный орган Империи, собрание имперских князей и представителей имперских городов), на котором среди прочего должен был решаться вопрос о церковной реформе.
- <sup>28</sup> Это слово (в итальянском написании – «*virtù*») в ренессансном употреблении было чрезвычайно многозначно, включая в себя понятия доблести, добродетели, гуманистической образованности, короче – всех духовных качеств в превосходной степени; притом термин этот не имел узко-морального смысла и мог прилагаться как к любому из гуманистов, так и к Чезаре Борджа.
- <sup>29</sup> Моралите – распространенный в XIV–XVI вв. жанр западноевропейского театра, небольшая назидательная пьеса, где наряду с героями или чаще вместо них – действуют аллегорические персонажи: Скупость, Дружба, Истина и т. п.
- <sup>30</sup> Название трактата представляет собой латинское выражение, в православной традиции передаваемое как «четыре последняя человека», т. е. четыре (священное число, соотносимое с четырьмя зверями из видения пророка Иезекииля (Иез. 1, 5–14) – с четырьмя евангелистами и т. п.) крайних предела человеческого бытия, к которым должны быть обращены все помыслы: Смерть, Страшный Суд, Ад, Рай.
- <sup>31</sup> В церковной терминологии «экзамологесис» – публичная исповедь.
- <sup>32</sup> Отношение к папскому престолу было неодинаковым в разных странах в зависимости от наличия или отсутствия Реформации и ее направления. Во Франции католицизм всегда являлся господствующей религией, и папа даже после Болонского конкордата (см. примеч. 1 к наст. статье) оставался духовным главой церкви. В Англии Генрих VIII, в целом отрицательно относившийся к реформационным идеям, пошел на разрыв с Римом из-за отказа Святого Престола признать его развод с Екатериной Арагонской. Разрыв этот происходил относительно медленно: в 1529–1530 гг. были внесены некоторые изменения в правила сношения с курией для английских прелатов и отвергнуто папское право отлучения

и интердикта (запрета на богослужения и отправления таинств): в 1532–1533 гг. было заявлено, что для духовных дел в Англии достаточно собственного духовенства, устройство которого определяет король — светский и духовный глава государства; в 1534 г. уничтожено всякое влияние папы на рукоположение местных архиепископов и епископов, и в том же году специальным парламентским Актом о верховенстве король был объявлен единственным на Земле верховным главой англиканской церкви; наконец, в 1536 г. вместо молитвы за папу было введено прошение: «от тирании римского епископа избави нас, Господи». В Саксонии курфюрст Фридрих III Мудрый покровительствовал Лютеру, хотя и не отошел открыто от католицизма; это сделал его сын Иоанн Твердый, введя лютеранство в 1525 г.; папа для приверженцев новой веры был воплощением Антихриста, впрочем, слугами Сатаны объявлялись также приверженцы конкурирующих реформированных церквей. Ландграф Гессенский Филипп I Великодушный стремился к объединению всех протестантов, признавал права не только лютеран, но и цвинглианцев, кальвинистов, анабаптистов и даже допускал веротерпимость по отношению к католикам.

- <sup>33</sup> Во времена поздней античности возник культ Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего), синкретического греко-египетского божества, соединяющего в себе хитроумного Гермеса греков и хранителя мудрости Тота египтян. Трисмегист считался даже исторической личностью, древним царем Египта, и ему приписывались многочисленные сочинения (герметические книги) в области оккультных наук, алхимии, астрологии, появлявшиеся от времен поздней античности до Ренессанса. Эти книги обрели особую популярность в конце средних веков, притом и для образованных, даже гуманистически ориентированных людей, ввиду заложенных в них идей единства всего сущего, взаимозависимости всех частей Вселенной.
- <sup>34</sup> Учение христианского неоплатоника V в., писавшего под псевдонимом Дионисия Ареопагита, учение ортодоксальное в отличие от герметических воззрений, пронизано идеей всеобщего единства, выраженного в стройной иерархии с Богом на вершине и земным миром в основании.
- <sup>35</sup> Раймунд Луллий известен созданным им логическим «механизмом», т. е. системой концентрических кругов, на секторах которых были написаны понятия, или логические категории; с помощью перемещения этих кругов Луллий намеревался получить новые понятия, в пределе — вообще все понятия. Луллию, вряд ли основательно, приписывали, кроме того, ряд алхимических сочинений. Его влияние на последующих мыслителей определялось, во первых, положением о доказуемости с помощью разума всех истин, в том числе и божественных, и, во-вторых, убеждением, что логическая структура бытия соответствует реальному миру. Эти идеи, а также тонко разработанную диалектику частного и общего развил Николай Кузанский.
- <sup>36</sup> Гуситы — участники предреформационного национального и религиозного движения в Чехии, направленного против немецкого господства и католической церкви. Названо именем духовного предводителя движения — магистра Пражского университета Яна Гуса, сожженного за ересь по приговору Констанцкого собора. Основные религиозные положения гуситов: уравнение в правах мирян и духовенства (это выразилось в требованиях богослужения на народном языке и — главное — причащения мирян под обоими видами — хлебом и вином, тогда как в ортодоксальном католицизме подобным образом свершалась евхаристия только для духовенства, а для прихожан — одним хлебом); возвращение к принципам раннего христианства, причем для некоторых течений — и имущественным; запрет индульгенций, т. е. непризнание за духовенством права

отпущения грехов; неприятие церковной иерархии, в частности светской власти папы, и вообще оставление за ним лишь духовного первенства, но не абсолютной власти в Церкви; протест против обогащения и обмирщения духовенства. Движение вызвало реакцию Империи и Церкви — так называемые гуситские войны, в которых чехи вышли победителями, но позднее все же гуситы потерпели неудачу из-за внутренних раздоров.

- <sup>37</sup> Лоллардами называли членов несколько различающихся религиозных группировок. Само название происходит либо от некоего англичанина Уолтера Лолларда (скорее всего, народная этимология), либо от нижне-немецкого «lullen» (lollen) — тихо петь, подразумевается напевать погребальные молитвы, или нидерландского «lollaert» — бормотать, имеется в виду «бормотать молитвы». Первое упоминание о них относится к 1300 г., когда это прозвище было отнесено к организованному в Антверпене в основном мирянами обществу для ухода за больными и погребения умерших от моровой язвы. Его члены называли себя бедняками, алексианцами (от Алексея Божьего Человека, житийного прообраза всех добровольных нищих), целлитами (от лат. «cella» — келья) и лоллардами (видимо, из-за участия в отпевании). В Нижней Германии и Нидерландах лолларды слились с бегардами (бегинками) — мужскими и женскими общинами, посвятившими себя милосердию, но не приносившими формальных обетов и не подчинявшимися церковным властям. Хотя папа Иоанн XXII в 1318 г. признал общины лоллардов, Церковь относилась к ним и к бегардам настороженно, обвиняя их в ереси (в своей среде они действительно культивировали идеи внецерковной мистики), а также — ввиду отсутствия обетов безбрачия — в свальном грехе. В Англии же движение лоллардов — там они назывались «бедными священниками» — возникло в 60–70-х годах XIV в. как крайнее течение среди последователей Джона Уиклифа, английского реформатора, высказывавшего идеи, которые позднее развил Ян Гус. К лоллардам примыкал Джон Болл, духовный вождь народного восстания Уота Тайлера. После подавления восстания движение не прекратилось, и в 1395 г. лолларды подали в парламент петицию, требуя уничтожить светские владения Церкви, упразднить целибат, упростить обрядность и т. п. Позднее активно преследовались вплоть до сожжения, подвергались насмешкам из-за пацифистской позиции в период успехов Англии в Столетней войне в 10–20-х годах XV в. и все же пользовались значительным влиянием в массах и продолжали действовать до середины XVI в., когда слились с другими реформационными течениями.

- <sup>38</sup> Одной из главных проблем Реформации был вопрос о том, что необходимо для спасения. С позиций ортодоксального католицизма — истинная вера и добрые дела. Оба компонента находят истоки в Писании: «человек оправдывается верою независимо от дел закона» (Рим. 3, 28 — эта точка зрения именуется павлинизмом по имени апостола Павла, считающегося автором этих строк); «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2, 17). Реформация решительно встала на первую точку зрения, считая, что оправдание происходит единственно верою; отсюда оказывалось ненужным то, что в средние века полагалось «делами» наряду с собственно акциями милосердия: паломничество, дары церкви, многие молитвы и обряды. Подобные идеи были популярны не только у собственно реформаторов вроде бывшего монаха-доминиканца, а затем проповедника реформатской общины итальянских эмигрантов в швейцарском городе Локарно Бернардо Окино, но и среди тех, кто, ставя внутреннюю приверженность Богу выше обрядности, полагал возможным реформу католической Церкви изнутри, оставаясь в лоне ее; таковыми были христианские гуманисты-эразмианцы, например Хуан де Вальдес. В Италии эти люди группировались вокруг знатной римлянки Виттории Колонна, немолодой высокообразованной и благочестивой вдовы, близко-

- го друга Микеланджело, который посвятил ей ряд советов. Кружок Виттории Колонна был весьма подозрителен для ревнителей церковной ортодоксии и находился под наблюдением инквизиции.
- <sup>39</sup> Название образовано от имени Амброджио Катариньо (так он назвал себя, вступая в орден доминиканцев, настоящее имя — Ланчелотто Полити), итальянского юриста и теолога, произнесшего речь на открытии третьей сессии Тридентского собора в 1547 г. В этой речи, как и в многочисленных трактатах, он весьма резко поставил вопросы, волновавшие тогда христианский мир: о предопределении и благодати, о непорочном зачатии, о культе святых, об авторитете Церкви. У консервативно настроенных участников собора, особенно среди старшего поколения доминиканцев, неприязнь и даже возмущение вызвали не идеи Катариньо — они были вполне ортодоксальными, а скорее острота, новизна и необычность формулировок и аргументации; так что катаринизм — это не столько теологическое направление, сколько довольно радикальная методика разрешения богословских проблем.
- <sup>40</sup> Кордельеры — принятое во Франции название францисканцев, происходящее от фр. «corde» — веревка, ибо монахи этого ордена подпоясывались веревками.
- <sup>41</sup> Капуцины (от ит. «саруссио» — капюшон) — члены монашеского ордена, возникшего в Италии в 1515 г. как ветвь францисканцев и самостоятельного с 1619 г.
- <sup>42</sup> Андреас Карлштадт был сначала пламенным сторонником Лютера и защищал его от нападок яркого приверженца ортодоксии Иоганна Эка на диспуте в июне—июле 1519 г. В дальнейшем предлагал реформы более радикальные, нежели Лютер, ввиду чего между ними произошел разрыв; Лютер называл Карлштадта не иначе как «орудием Сатаны».
- <sup>43</sup> Томас Мюнцер, один из руководителей и духовных вождей Крестьянской войны в Германии, человек с политической программой, по словам Ф. Энгельса «близкой к коммунизму», с пантеистическими идеями; первоначально был активным последователем Лютера.
- <sup>44</sup> Анабаптисты (см. примеч. 6 к статье «Как и почему возникают агиографические темы»), воспринявшие во многом положение Томаса Мюнцера, стремившиеся построить Царство Божие на Земле и предпринимавшие попытки добиться этого во время Крестьянской войны 1525 г. и восстания в Мюнстере в 1534—1536 гг., резко отвергая Лютеровы идеи как недостаточно радикальные, все же отправным пунктом своих взглядов имели эти идеи.
- <sup>45</sup> Христианский гуманист, последователь Лефевра д'Этапля Пьер Кароли, из-за своих реформационных убеждений покинувший в 1535 г. Францию и скитавшийся по городам Швейцарии, в октябре 1536 г. участвовал совместно с Вире, Фарелем и Кальвином в большом диспуте с католиками в Лозанском соборе. Но после победы протестантов Кароли выступил против своих недавних соратников, обвиняя их в антитринитаризме (принятия судьбы заложается в том, что в 1553 г. Кальвин пошел Сервета на костер именно по этому обвинению — см. примеч. 51 к статье «Главные аспекты одной цивилизации»). Богословы Берна и Лозанны приняли сторону Кальвина и его друзей, и тогда Кароли в 1537 г. отправился назад во Францию, вернулся в лоно католицизма и до конца дней своих продолжал яростную полемику с кальвинистами.
- <sup>46</sup> Термин «либертины» употребляется в разных смыслах. В самом широком — это люди, не являющиеся атеистами, но ставящие под сомнение конкретные формы религий и склоняющиеся чаще всего к неопределенному теизму или пантеизму; в более узком — см. примеч. 52 к статье «Главные аспекты одной цивилизации». Однако ни политические оппоненты Кальвина, ни он сам не употребляли этого термина в последнем значении, которое ему придали позднейшие историки. Кальвин в своем сочинении «Против ужасной секты либертинов, именуемых спиритуала-

ми» назвал либертинами небольшую протестантскую группу пантеистического направления в Южных Нидерландах. Эти «духовные вольнодумцы» сделали крайние выводы из Кальвинова положения об абсолютном предопределении (т. е. о том, что каждый человек изначально, еще до сотворения мира, предназначен от Бога к спасению либо к гибели и ничто этого приговора изменить не может) и утверждали, что в таком случае допустимо и оправдано любое поведение, которое все равно ничего не значит.

- <sup>47</sup> Никодимитами, поименованными так по Никодиму, фарисею и «начальнику Иудейскому», тайному приверженцу Христа, «приходившему к Нему ночью» (Ио. 3, 1–9; 7, 51–52; 19, 39), называли тех, кто, наружно соблюдая все ритуалы господствующей Церкви – в данном случае кальвинистской, в глубине души придерживался иных убеждений.

### КОЛДОВСТВО: ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ В СОЗНАНИИ?

- <sup>1</sup> В средние века и позднее адские силы представлялись как темные двойники сил небесных. Во главе этих дьявольских полчищ стоит царь Ада Сатана (от евр. «Sātān» – противоречащий, «подстрекатель», «наушник»), окруженный сонмом приспешников, среди которых – Вельзевул, названный в Писании (Мтф. 12, 24; Мк. 3, 22; Лк. 11, 15) «князем бесовским». Имя Вельзевула, включающее в себя «Баал» – финикийское «бог», «господин», «повелитель», происходит то ли от упоминаемого в Библии (4 Цар. 1, 2–3 и 6) бога филистимлян Баал-Зебуба, т. е. Повелителя мух, то ли от «Zabulus», искаженного греч. οὐδολος – дьявол, и тогда означает Господин Дьявол – синоним Сатаны, то ли от евр. «zabal» – вывозить нечистоты и в этом случае расшифровывается как Владыка Скверны. Имена демонов множились на протяжении всего средневековья. Персен и Верделе – местные лотарингские названия духов зла, употреблявшиеся как минимум до XIX в.
- <sup>2</sup> Юрбен Грандьё – исповедник монастыря урсулинок (основанный в 1537 г. и утвержденный в 1572 г. женский орден, назначением которого было воспитание девочек из малоимущих семей) в Лудене (Южная Франция), человек молодой, изящный и весьма красноречивый – вызвал среди своих духовных дочерей прилив массовой влюбленности и соответственно ревности. Эти эмоции в условиях затворничества и подавления чувств привели к настоящему коллективному психозу, сопровождавшемуся взрывами истерии, эпилептическими припадками, сомнамбулизмом, видениями и т. п. Грандьё был обвинен церковными властями в колдовстве и организации шабашей. Самой активной из свидетельниц обвинения была настоятельница монастыря мать Иоанна от Ангелов, в миру Жанна де Бельсьёль. Среди прочего она заявила, что Грандьё проник к ней и иным монахиням через запертую дверь и творил с ними блуд (медицинское освидетельствование доказало их девственность). Она же во время изгнания из нее дьявола устами этого дьявола излагала договор между Грандьё и Вельзевулом. На основании этих и иных показаний Грандьё был приговорен к смертной казни. Узнав об этом Жанна заявила, что оговорила злосчастного из ревности и даже попыталась покончить с собой. Ее слова не были приняты во внимание, и бывшего исповедника сожгли в 1634 г. Одни историки, учитывая, что Грандьё был ранее уличен в любовной связи с молодой женщиной из числа своих прихожанок в городе, считают его обыкновенным женолюбцем, хотя и слишком жестоко наказанным; другие, ссылаясь на обнаруженное в его бумагах сочинение против celibата, объявляют его вольнодумцем, павшим жертвой церковной ортодоксии.

- <sup>3</sup> Кардинал Пьер Берюль, создатель в 1611 г. во Франции Общества ораторианцев (основанной в 1558 г. в Риме Филиппом де Нери и утвержденной в 1572 г. конгрегации белого духовенства), посвящал заседания этой конгрегации чтению и толкованию текстов Писания. Основной задачей общества он полагал «особо любить и почитать душевно и страстно Господа Нашего Иисуса Христа», причем в фокусе должна быть в первую очередь человеческая личность Иисуса. «Коперниканским переворотом» это названо потому, что как Коперник в центр мироздания поставил Солнце вместо Земли, так и Берюль в центр богопознания поставил человеческое вместо божественного.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аббас (566–652), дядя пророка Магомета (Мухаммеда) 552
- Аббасиды, династия арабских халифов в 750–1258 гг. 80, 552, 553
- Абель Нильс Хенрик (1802–1829), норвежский математик 151
- Абелар Пьер (1079–1142), французский философ, поэт 31, 362, 385, 545
- Август (до 44 до н. э. Гай Октавий, до 27 до н. э. Гай Юлий Цезарь Октавиан, затем – император Цезарь, Сын Бога, Август) (63 до н. э. – 14 н. э.), римский государственный деятель, император с 27 г. до н. э., фактически с 31 г. до н. э. 378
- Августин Аврелий, св. (354–430), христианский философ и писатель один из отцов Церкви 362, 363, 404, 407, 408, 413, 465, 484, 587
- Аверинцев Сергей Сергеевич (р. 1937), советский филолог и историк культуры 582
- Авит Алцим Экцидий, св. (ум. ок. 518 или 525), галло-римский поэт и церковный деятель, епископ Вьеннский с 490 г. 398
- Аврелиан (император Цезарь Домициан Аврелиан Август) (214 или 215–275), римский император с 270 г. 555
- Авсоний Децим Магн (нач. IV в. – ок. 394), римский поэт 401, 403
- Агрикола (наст. фамилия Бауэр), Георг (1494–1555), немецкий ученый, гуманист 391
- Агрикола (наст. фамилия Хюсман) Рудольф (1443–1485), философ и гуманист, родом из Нидерландов 452
- Аделунг Иоганн Христофор (1732–1806), немецкий филолог и лексикограф 275
- Азар Поль (1878–1944), французский историк 23
- Александр VI (Родриго Борджа) (1451–1503), папа с 1492 г. 546, 547
- Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 г. до н. э. 52, 80, 546, 553
- Александр I (1777–1825), российский император с 1801 г. 65, 549
- Александр II (1818–1881), российский император с 1855 г. 62
- Ален де ла Рош (Алан ван дер Клип Аланус де Рупе) (1428–1475), проповедник-доминиканец, родом из Нидерландов 448, 449
- Алигре, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 342
- Аликс Андре (р. 1889), французский географ 137
- Альбергати Никколо (ок. 1375–1443), итальянский государственный и церковный деятель, кардинал 326, 578
- Альберт Великий (Альберт фов Больштедт) (ок. 1193–1280), философ и теолог, родом из Германии 406
- Альберт IV Бранденбургский (1490–1545), архиепископ Майнцский с 1514 г. 588
- Альберти Леон Баттиста (1404–1472), итальянский гуманист, архитектор, теоретик искусства 328
- Альтман Жорж (1884–1962), французский искусствовед, участник Сопротивления 145
- Альфан Луи (1880–1950), французский историк 67, 68, 70, 542
- Аманд (ум. 286), руководитель восстания багаудов, провозглашен императором в 284 г. 586
- Амвросий Медиоланский, св. (ок. 340–397), христианский писатель, один из отцов Церкви 404, 465
- Амио Жак (1518–1593), французский гуманист, переводчик, приближенный королей Франции Франциска I, Генриха II и Карла IX, епископ Оксеррский 251
- Амман Йост (1539–1591), нидерландский художник 227
- Ампер Андре Мари (1775–1836), французский ученый 33
- Анджелико (фра Беато Анджелико, наст. имя Джованни ди Фьезоле) (ок. 1400–1455), итальянский художник 325
- Ангулемский дом, французский



- графский род в 1402–1515 гг., французская королевская династия в 1515–1589 гг. (Валуа-Ангюлемы) 235, 236, 572
- Андреа дель Сарто (1486–1513), итальянский художник 378
- Андрей Испанский (Иберийский) (1534–1602), проповедник и теолог 477
- Анжели Жан (XV в.), французский проповедник 481
- Анжез Анри Луи Леоне (1821–1889), французский историк 437
- Анна Австрийская (1601–1666), королева Франции, жена Людовика XIII с 1615 г., регентша Франции в 1643–1651 гг. 250
- Анна Боже (1462–1522), дочь короля Франции Людовика XI, регентша Франции в 1483–1494 гг. 572
- Анна Бретонская (1477–1514), герцогиня Бретани с 1488 г., королева Франции в 1491–1498 гг. и с 1499 г. 236
- Анри Эжен Луи Филипп Орлеанский (1822–1892), пятый сын короля Франции Луи Филиппа I, герцог Омальский, историк и коллекционер 316
- Ансей Альфред (р. 1871), бельгийский историк 190
- Ансель Жак (1882–1943), французский географ 59
- Антигон II Гонат (ум. 240 или 239 до н. э.), царь Македонии с 283 (фактически с 276) г. до н. э. 546
- Антигониды, династия царей Македонии в 306–168 гг. до н. э. 546
- Антонелло да Мессина (ок. 1430–1479), итальянский художник 314
- Антонин, св. (1389–1465), доминиканец-проповедник, архиепископ Флорентийский с 1441 г. 477
- Арбос Филипп (р. 1882), французский географ и историк 137
- Аредий (VII в.), аббат монастыря в Туре 586
- Арий (ум. 336), священник из Александрии, ересиарх 474, 585
- Арьеас, Филипп (1914–1984), французский историк 528, 529, 531, 561
- Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ 388, 390, 391, 443, 548
- Аристофан (ок. 445–ок. 385 до н. э.), древнегреческий комедиограф 307
- Арно Антуан (1612–1694), французский теолог и философ, янсенист 582
- Арно (Арнольд) Беат (1485–1532), швейцарский гуманист, деятель Реформации 432
- Арнольфини Джованини (ум. 1472), купец из Лукки, представитель банка Медичи в Брюгге, приближенный герцога Бургундского Филиппа Доброго 326
- Арнуль Никола (изв. кон. XV в.), французский купец 235
- Архимед (ок. 287–212 до н. э.), древнегреческий ученый 388, 390
- Архит Тарентский (ок. 428–365 до н. э.), древнегреческий математик 370
- Ассеза, купеческая семья во Франции в XV–XVI вв. 238
- Ахемен (ум. 675 до н. э.?), полулегендарный царь Персии с 700 г. до н. э.?) 553
- Ахемениды, царская династия в Персии в 700–331 гг. до н. э. фактически с 558 г. до н. э. 80, 553
- Ашшурбанипал (Ашшур-бану-апли) (ум. между 635 и 627 до н. э.), царь Ассирии с 669/668 г. до н. э. 94
- Бабелон Эрнст Шарль Франсуа (1854–1923) французский библиограф и нумизмат 455
- Баву Франсис (р. 1898), французский историк 493
- Баде Йосс (ок. 1461–1531), французский издатель, родом из Гента 464, 465
- Базельский епископ, см. Утенхайм, Кристоф д'
- Байль Жан (1435–1494), епископ Эмбренский с 1470 г. 453
- Балланш Пьер Симон (1776–1847), французский писатель 40, 262, 263, 268
- Баллок Генри (ок. 1497–1526), английский гуманист и церковный деятель 462
- Бальденспрегер Фернан (р. 1871), немецкий историк церкви 267
- Бальдовинетти Алессио (1425–1499), итальянский художник и витражист 326
- Балю Жан (1421–1491), епископ Эврё, кардинал, приближенный короля Франции Людовика XI 235, 572
- Барбаро Эрмолао (ок. 1453–1493), итальянский гуманист, государственный деятель Венеции 443
- Барбе де Монто Ксавер Мари Жозеф (1830–1901), французский археолог 448

- Барно Жак (р. 1873), французский историк 424
- Баррер де Вьезак Бертран (1755–1841), деятель Великой французской революции 267
- Басиньяна Этьен де (изв. 1516), монах-кармелит из Лиона 453
- Баснаж де Боваль Жак (1653–1723), французский историк и государственный деятель, протестант 429, 432, 438, 440
- Батайон Марсель (р. 1895), французский филолог-испанист 121, 464, 485
- Баталье Жан (изв. 1476), французский теолог, доминиканец 455
- Батиста Спаньюоли, блаж. (1448–1516), итальянский поэт, кармелит 450
- Баум Жан Гийом (1809–1878), французский историк, родом из Эльзаса 422
- Бауэр Анри Эдмон Жорж, французский физик 128
- Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975), советский филолог и философ 514–517, 539
- Баярд Пьер Террель, сеньор де (по прозвищу Рыцарь без страха и упрека) (1475–1524), французский военачальник 299, 576
- Беатис Антонио де (изв. 1517–1519), испанский дворянин, секретарь кардинала Арагонского 446–448
- Беатриче Портинари (ок. 1266–1290), возлюбленная Данте 583
- Беда Ноэль (ок. 1470–1537), французский католический богослов, член Сорбонны 438, 459
- Без (Беза) Теодор де (1519–1605), деятель Реформации во Франции и Швейцарии 346, 422, 425
- Бейль Пьер (1647–1706), французский философ и публицист 435
- Беллармин (Беллармино) Роберто (1542–1621), итальянский теолог, иезуит, кардинал 362
- Белон Пьер (ум. 1565), французский натуралист и путешественник 310, 391
- Бельфоре Франсуа де (1530–1581), французский писатель, историк и издатель 286
- Бenedикт Нурсийский, св. (480–547), основатель ордена бенедиктинцев 86
- Бenedикт XV (Джакомо делла Чьеза) (1854–1922), папа с 1914 г. 590
- Бенуа Жозеф Поль Огюстен (1850–1913), французский историк Церкви, публицист, священник 361
- Бенуа Фернан (р. 1892), французский историк 354
- Бергсон Анри (1859–1941), французский философ 74, 550
- Бёрк Питер, английский историк 537
- Бернар из Анжера (ум. до 1054), теолог 409, 410
- Бернар Клод (1813–1878), французский физиолог 11, 23, 31, 47
- Бернар Клервоский, св. (ок. 1091–1153), церковный деятель, теолог 454, 460, 465, 587
- Бернье (изв. сер. XI в.), слуга Бернара из Анжера 410
- Берр Анри (1863–1954), французский философ 7, 17, 67, 68, 88, 123, 126, 128, 132, 146, 150, 248, 349, 504, 505, 562
- Берр, госпожа, жена Анри Берра 128
- Беррийская герцогиня, см. Мария Каролина
- Бертело, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 236
- Бертелье Филибер Старший (ок. 1470–1519), женеvский политический деятель 580
- Бертелье, Франсуа Даниэль (1519–1555), женеvский политический деятель 345, 580
- Бертло Пьер Эжен Марселен (1827–1907), французский химик 35, 68
- Берюль Пьер (1574–1629), французский теолог и церковный деятель, кардинал 499, 597
- Беш Эмиль (1884–1919), французский историк 135
- Бийо-Варенн Никола (1756–1819), деятель Великой французской революции 245, 269
- Биль Габриель (1418–1495), немецкий теолог 451
- Бланше Леон (1884–1919), французский историк 486
- Блок Гюстав (1848–1923), французский историк, отец Марка Блока 7, 130
- Блок Жюль (1880–1953), французский лингвист 7
- Блок Марк (1886–1944), французский историк 8, 22, 25, 39, 46, 60, 68, 130–154, 156–158, 186, 347, 348, 350, 353, 355, 357, 365, 420, 503–505, 509–512, 518–520, 523, 524, 533–537, 541, 562–564
- Блондель Шарль (1876–1939), фран-

- пузский психолог 7, 102, 103, 111, 137, 505
- Богс Анри (ум. 1619), французский юрист 357, 494
- Боден Жан (1530–1596), французский гуманист, юрист, политический мыслитель 226, 486, 497, 498
- Бодо Никола (1730–1792), французский экономист, теолог, священник 260
- Бозе Никола (1717–1789), французский филолог 110, 250
- Бокеры, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 342
- Боккаччо Джованни (1313–1375), итальянский писатель, гуманист 589
- Болдуин Джеймс Марк (1861–1934), американский философ и историк 97
- Болиг Анри (1877–1952), французский географ 137, 505
- Болл Джон (ум. 1381), английский священник, проповедник, участник восстания Уота Тайлера 594
- Бон Гийом (ум. ок. 1530), французский финансист 236
- Бон Жан де (ум. ок. 1480), французский финансист и государственный деятель 235, 236
- Бон, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 236, 238
- Бонавентура (наст. имя Джованни да Фиданца), св. (1221–1274), философ-схоласт и мистик, генерал францисканского ордена 319, 561
- Бональд, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 238
- Бонапарт, см. Наполеон I
- Бонивар Франсуа (1493–1570), швейцарский поэт и хронист 481
- Бонниве Гийом Гуффье, сеньор де (1488–1525), французский военачальник, адмирал, фаворит короля Франции Франциска I 293
- Борджа (Борха), знатный итальянский род испанского происхождения 53, 546
- Борджа Чезаре (1475–1507), сын папы Александра VI, герцог Валентино, правитель Романьи 546, 592
- Борджа Лукреция (1480–1519), дочь папы Александра VI, герцогиня Феррарская 378, 546
- Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), французский философ, историк, писатель и церковный деятель 268, 271, 363, 364, 426, 428, 429, 431, 433, 436, 438
- Босуэл Джеймс Хепберн (1536–1575), граф, позднее герцог Оркнейский, третий муж Марии Стюарт 560
- Босуэлл Джеймс (1740–1795), английский писатель 246
- Боттичели Сандро (наст. имя Алессандро Филлиппи) (1445–1510), итальянский художник 320, 570, 589
- Боутс Дирк (1410–1474), нидерландский художник 325
- Бранкаччи, знатный неаполитанский род 322
- Брантом Пьер де Бурдей сеньор де (1540–1614), французский писатель, придворный и военный деятель 293, 575
- Браун Георг (ум. нач. XVII в.), немецкий картограф, священник 284
- Бреаль Мишель Жюль Альфред (1832–1915), французский филолог 19, 75
- Брезе Луи де (ок. 1475–1531), великий сенешаль Нормандии, муж Дианы Пуатье 293, 575
- Бремон Анри (1865–1933), французский историк 103, 122, 123, 499
- Брига-Саварен Ангельм (1755–1826), французский писатель, автор повременной книги 269
- Брисонне Гийом (1472–1534), французский гуманист, епископ Мо 431, 434, 435, 437, 443, 449, 471, 477, 481, 588
- Брисонне Гийом Туранжо де (ум. 1514), французский финансист и государственный деятель 236, 237
- Брисонне Жан Туранжо де (ум. 1493), французский финансист и государственный деятель 235
- Брисонне, французская семья купцов и финансистов в XV–XVI вв. 236, 238
- Бриссо Жак Пьер (1754–1793), деятель Великой французской революции 542, 544
- Бродель Фернан (1902–1985), французский историк 8, 176–186, 503, 506, 533, 538, 541, 568
- Бройль Луи Виктор Пьер Раймон, герцог де (1892–1987), французский физик, лауреат Нобелевской премии 32
- Бройль Морис принц де (1875–1960), французский физик 32
- Брудерлам Мельхвор (изв. 1381–

- 1409), нидерландский художник 218, 408, 571
- Брунгильда (ок. 534–613), королева Австразии с 566 г., правительница королевства с 575 г. 218, 571
- Брунеллески, Филиппо (1377–1446), итальянский архитектор и скульптор 385
- Бруно Джордано (1548–1600), итальянский философ и поэт 486
- Брунфельс Отто (1488–1534), немецкий естествоиспытатель, ботаник 390
- Брюйн Старший Бартоломей (Бартель) (1493–1555), немецкий художник, родом из Нидерландов 316
- Брюн Жан (1869–1930), французский географ 30, 159, 165, 166
- Брюн Шарль (1870–1946), французский краевед 352
- Брюнетьер Фердинанд (1849–1906), французский критик и литературовед 425
- Брюно Фердинанд (1860–1938), французский филолог 108, 241, 401
- Брюнsvик, Леон (1869–1944), французский философ 128
- Буайе Мари Франсуа Ксавье Валантен (1801–1863), французский историк 366
- Буало-Депрео Никола (1636–1711), французский поэт, теоретик литературы 365
- Буасс Жан (р. 1911), французский физик 20
- Буассель Франсуа (1728–1807), французский политический мыслитель и публицист 245, 267
- Буасси мадам де (псевдоним, настоящее имя и фамилия Мари Элизабет Генар де Броссен, баронесса де Мере) (1751–1829), французская писательница, библиофил, коллекционер 293
- Буассье Гастон (1823–1908), французский историк 396, 404
- Бугенвиль Луи Антуан де (1729–1811), французский мореплаватель 263
- Буйе Огюст (1852–1904), французский историк и археолог, священник 409
- Буланже Жорж Эрнест (1837–1891), французский военный и политический деятель, генерал 549
- Буланже Никола Антуан (1722–1759), французский писатель, философ, инженер 243, 246
- Буржуа Эмиль (1857–1934), французский историк 7, 24
- Буркхардт Якоб (1818–1897), швейцарский философ и историк культуры 6
- Буцер Мартин (1491–1551), теолог, деятель Реформации, родом из Германии 93, 209, 431, 486
- Буше Жан (1476–ок. 1550), французский поэт и писатель 439
- Бушо Анри (1849–1906), французский историк искусств 493
- Бэкон Френсис барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский (1561–1626), лорд-канцлер в 1617–1621 гг. 255
- Бюиссон Фердинанд Эдуар (1841–1932), французский историк религии 438
- Бюйе Бартелеми (ум. 1492), французский печатник 455
- Бюре Антуан Эжен (1810–1842), французский социолог и экономист 366
- Бюрнуф Эжен (1801–1852), французский востоковед 265
- Бюффон, Жорж Луи Леклерк (1707–1788), французский естествоиспытатель 244, 255, 257, 260, 573, 574
- Бюхер Карл (1847–1930), немецкий экономист и историк 131, 190–192, 196, 199
- Вадхармана Махавира (прозвище — Джина) (VI в. до н. э.), древнеиндийский религиозный реформатор, основатель джайнизма 552
- Вазари Джорджо (1511–1574), итальянский художник, архитектор и историк искусств 323
- Валентен Луи, французский историк Церкви, священник 399
- Валери Поль (1871–1945), французский поэт и писатель 29, 40
- Валла Лоренцо (между 1405 и 1407–1457), итальянский гуманист 483
- Валло Камилл (1870–1945), французский географ 159, 165–173, 399, 565
- Валлон Анри (1879–1962), французский психолог 7, 101, 107, 110, 111, 113
- Валльер Жан (ум. 1523), французский монах, еретик 431
- Вальде (Вальдо, Во) Пьер (Петр Вальдус) (изв. кон. XII в.), лионский купец, основатель секты вальденсов 567

- Вальдес Хуан (ум. 1541), испанский религиозный философ, христианский гуманист 464, 476, 485, 486, 594
- Ван Геннеп, Арнольд (1873—1957), французский этнограф и социолог 348, 355—357
- Ван Гог Винсент (1853—1890), французский художник, родом из Нидерландов 134
- Вараньяк Андре, французский этнограф 347—352, 355
- Варне Тома (изв. 1491—1509), французский теолог, священник 459
- Васконселъос Иоахим Антонио де Фонсека (1849—1929), португальский искусствовед 326
- Вебер Макс (1864—1920), немецкий социолог, историк, экономист и юрист 203, 569
- Веере Адриан де (изв. нач. XVI в.), нидерландский гуманист 452
- Веере Анна де (изв. нач. XVI в.), жена Адриана де Веере 452
- Везалий Андрей (1514—1564), естествоиспытатель, основоположник анатомии, родом из Нидерландов 311, 388, 391, 392, 585
- Вейден Рогир ван дер (Патюр Роже де ла) (ок. 1400—1464), нидерландский художник 314, 542
- Вейль Анри (1818—1909), французский филолог-классик 5
- Вейсс Натаниель (1845—1928), французский историк Церкви 422, 425, 440, 441
- Великие Моголы, правящая династия в Северной Индии в 1526—1857 гг. 557
- Великий сенешаль, см. Брезе Луи де
- Велли Поль Франсуа (1709—1759), французский историк, священник, иезуит 117
- Вера Аженская, св. (ум. 304), мученица 409
- Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт 81, 307, 361, 554, 581
- Вержи Антуан де (1488—1541), епископ Безансонский с 1502 г. 450
- Вернер Захарияс (1768—1823), немецкий поэт 433
- Верроккьо (наст. фамилия ди Микеле Чони) Андреа дель (1435 или 1436—1488), итальянский художник, скульптор, ювелир 326
- Вессель Гансфорст (Иоганнес) (ок. 1419—1483), народный проповедник, родом из Нидерландов 486
- Вессьер Пьер де (р. 1867), французский историк 424
- Виаль Эжен, французский историк 234
- Вигуру, французская купеческая семья в XV—XVI вв. 238
- Видале де ла Блаш Поль (1845—1919), французский географ 7, 30, 132, 159—164, 173, 174, 505, 543
- Вийон (Монкорбье), Франсуа (1431 или 1432—после 1462 или 1484?), французский поэт 413
- Вико Джамбаттиста (1668—1744), итальянский философ 270, 271
- Вилар Пьер (р. 1906), французский историк 537
- Вильгельм (Гийом) из Шампо (ок. 1068—1121), теолог и философ, епископ Шалонский 591
- Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), германский император и король Пруссии в 1888—1918 гг. 17, 544
- Вилье Шарль Франсуа Доминик (1767—1815), французский писатель 276
- Вимпфелинг Якоб (1450—1528), немецкий гуманист 459
- Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), русский историк, с 1911 г. в Англии 501
- Винсент (Винцентий) из Бове (ок. 1190—между 1259 и 1264), энциклопедист 401, 586
- Винсент (Винцентий) Помпейякий, св. (изв. нач. IV в.), мученик 409
- Винсент (Винцентий) Сарагосский, св. (ум. 304), мученик 409
- Вио Томмазо де (1489—1534), генерал доминиканского ордена, кардинал, философ-томист, родом из Италии 487
- Виолле-ле-Дюк Эжен (1814—1879), французский архитектор, историк и теоретик архитектуры 460
- Вире Пьер (1511—1571), деятель Реформации в Швейцарии 299, 595
- Витория Франсиско де (1483—1546), испанский философ-томист, доминиканец, профессор Саламанкского университета 487
- Витрие Жан (изв. I пол. XVI в.), швейцарский гуманист 484
- Витрувий Поллион Марк (II пол. I в. до н. э.), римский архитектор и инженер 328
- Вовель Мишель Люк (р. 1933), французский историк 528, 531, 537, 561

- Вольней Константен Франсуа (1757—1820), французский философ-просветитель 81, 254, 264, 268, 278, 554
- Вольтер (наст. имя и фамилия Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778), французский философ-просветитель, историк и писатель 79, 241, 245, 248, 250, 252—254, 260, 269, 276, 378, 392, 552
- Вьено Жоан (1859—1933), французский историк Церкви 423—425, 443
- Верж Даниель Урабетта (1851—1904), французский художник-иллюстратор, родом из Испании 5
- Вьяллане Поль, французский историк и литературовед 379
- Вьюар Гийом (изв. II пол. XV в.), французский народный проповедник 477
- Габсбурги, правящая династия в Австрии, с 1282 г.—герцогская, с 1453 г.—императорская, в 1804—1918 гг.—императорская, императоры Священной Римской империи (постоянно 1437—1806, кроме 1742—1748), короли Чехии и Венгрии (1526—1918) и Испании (1516—1700) 82, 543, 556
- Гадди Таддео (изв. 1327—1366), итальянский художник 317
- Гайом Гийом (изв. 1531), швейцарский священник 343
- Гален (ок. 130—ок. 200), римский врач 388, 391, 585
- Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый 216, 388, 392, 498, 500, 510, 526, 585
- Галлуа Огюст Альфонс Этьен (1809—1890), французский историк 379, 380
- Ганнибал Барка (247 или 246—183 до н. э.), карфагенский полководец и государственный деятель 82, 555
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882), итальянский революционер и политический деятель 86
- Гарнак Адольф (1851—1930), немецкий протестантский теолог и историк религии 131
- Гарсон Морис (1889—1967), французский историк 493
- Гассенди Пьер (1592—1655), французский философ, математик и астроном 499
- Геббельс Йозеф (1897—1945), один из руководителей нацистской партии Германии, министр пропаганды и культуры Германии в 1933—1945 гг. 551
- Гейер из Кайзерсберга, Иоганн (1455—1518), немецкий народный проповедник 458, 459
- Гельвеций Клод Адриан (1715—1774), французский философ-просветитель 242, 244, 259
- Гено Луи, французский биолог 128
- Генрих VIII Тюдор (1491—1547), король Англии с 1509 г. 79, 480, 552, 592
- Генрих II (1519—1559), король Франции с 1547 г. 293, 575
- Генрих III (1551—1589), король Франции с 1574 г. 330, 575
- Генрих IV Бурбон (1553—1610), король Франции с 1589 (фактически с 1594) г., король Наварры с 1562 г. 14, 499, 543, 567, 575
- Генрих Стюарт лорд Дарлей (1541—1567), король Шотландии с 1565 г., муж Марии Стюарт 560
- Генрих II (1563—1624), герцог Лотарингский с 1609 г. 496
- Гент Йосс ван (Йосс ван Весенхове) (до 1435—1475), нидерландский художник 326, 327
- Гераклит Эфесский (кон. VI—нач. V вв. до н. э.), древнегреческий философ 73
- Геральд, св. (ум. 959), аббат монастыря в Блоне (Франция) 410
- Геремек Бронислав (р. 1932), польский историк и политический деятель 537
- Гердер Иоганн Готфрид (1744—1809), немецкий философ-просветитель 270, 271, 275, 176
- Геродот (между 490 и 480—ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк 68
- Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.?), древнегреческий поэт 81, 554
- Геснер Конрад (1516—1565), швейцарский естествоиспытатель 390
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт и писатель 81, 554
- Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк 73, 550
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и государственный деятель 271—274, 278—280, 380, 384, 584
- Гинденбург Пауль фон (1847—1934), немецкий военный и государственный деятель, президент Германии в 1925—1934 гг. 86

- Гинзбург Карло (р. 1939), итальянский историк 537
- Гиппократ (ок. 460—ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач 388, 390, 391, 585
- Гирландайо (наст. фамилия ди Томмазо Бигори) Доменико (1449—1494), итальянский художник 322, 323, 325, 326, 578
- Гитлер (наст. фамилия Шикльгрубер) Адольф (1889—1945), с 1921 г. глава нацистской партии Германии, с 1933 г. глава правительства (рейхсканцлер), с 1934 г. глава государства 544, 563
- Гобино Жозеф Артур граф де (1816—1882), французский историк и писатель 93, 269, 272, 278, 279, 559
- Гоге Антуан Ив (1716—1758), французский историк 244, 260, 261, 263
- Гогенберг Франц. (ум. 1590), немецкий картограф 284
- Гогенцоллерны, династия курфюрстов Бранденбурга в 1415—1701 гг., королей Пруссии в 1701—1918 гг., германских императоров в 1871—1918 гг. 556
- Годрик из Финшала, св. (кон. XI—нач. XII в.), английский купец, впоследствии монах 193, 194, 197
- Годфруа Фредерик Эжен (1826—1897), французский филолог 249
- Гольбах Поль Анри барон де (1723—1789), французский философ-просветитель 243, 259, 261, 262
- Гольбейн Ганс Младший (1497—1543), немецкий художник 206
- Гомер (VIII в. до н. э. — ?), полудеянный поэт Древней Греции 306, 361, 574, 581
- Гонорий Августодунский (Отенский) (конец XI—I пол. XII в.), церковный писатель и теолог 405, 586
- Гонсет Ферран (р. 1890), швейцарский математик, логик 128
- Гораций Фланк Квинт (65—8 до н. э.), римский поэт 307
- Гори Ян Альберт (р. 1899), бельгийский историк 457
- Госсарт Ян (между 1478 и 1480—между 1533 и 1536), нидерландский художник 578
- Готье Мари Жюль (1848—1905), французский историк и археолог 448, 450
- Гоэн Фердинанд (р. 1867), французский лингвист 241, 242, 245
- Гранвелла Никола Перрено де (1517—1586), приближенный императора Карла V, короля Испании Филиппа II и правительницы Нидерландов Маргариты Пармской кардинал 185, 467, 493, 567
- Грандые Юрбен (1590—1634), французский священник, обвиненный в колдовстве 497, 596
- Граве Марсель (1884—1940), французский синолог 103
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), русский историк 502
- Граус Франтишек (ум. 1989), чехословацкий историк 537
- Граф Карл Генрих (1815—1869), французский историк 434—436, 483
- Граффины Франсуаза д'Иссембург д'Аппонкур (1695—1758), французская писательница 242
- Грациан (изв. сер. XII в.), юрист, родом из Италии 194, 569
- Грацианский, Николай Павлович (1886—1945), советский историк 502
- Григорий I Великий, св. (ок. 540—604), папа с 590 г. 86, 405, 406, 449
- Григорий Турский (ок. 538—594), франкский историк, епископ Турский 114, 394, 400, 401, 520, 561, 586
- Гримм Фридрих Мельхиор барон (1723—1807), французский писатель, философ-просветитель, родом из Германии 247
- Гуго Сен-Викторский (ок. 1096—1141), теолог и философ 591
- Гуго Луи (1877—1941), французский историк Церкви, священник 449
- Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник 264, 265, 268, 277
- Гумбольдт Вильгельм (1767—1835), немецкий филолог, государственный деятель и дипломат 265, 277
- Гус Гуго (Хуго) ван дер (между 1435 и 1440—1482), нидерландский художник 322—324, 542
- Гус Ян (1371—1415), религиозный реформатор, руководитель чешского национального движения 593, 594
- Гутенберг, Иоганн (ок. 1399—1468), изобретатель книгопечатания, родом из Германии 585
- Гюго Виктор Мари (1802—1885), французский писатель 378, 392

- Давид (ум. 965 до н. э.), царь Иудейский с ок. 1004 г. до н. э. 86
- Дадреус, Иоанн (Дадре, Жан) (сер. XVI в.—1617), французский церковный писатель и теолог 465
- Даладьё Эдуар (1884—1970), французский государственный деятель, премьер-министр в 1933—1934 гг. с перерывами и в 1938—1940 гг. 563
- Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783), французский философ-просветитель и математик 255
- Д'Альбре, французский дворянский род, с 1522 г.—герцогский, короли Наварры в 1527—1607 гг. 589
- Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт 86, 582, 583
- Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой Французской революции 544
- Даранбер Шарль Виктор (1817—1872), французский издатель, врач, историк медицины 5, 402
- Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель 100, 372
- Д'Аржантре Шарль дю Плесси (1673—1740), французский церковный деятель, историк 451, 481
- Дармстеттер Арсен (1846—1888), французский филолог-медиевист 249
- Дармстеттер Джеймс (1849—1894); французский востоковед 19, 75
- Д'Арси Даниель (XVI в.), французский печатник 465
- Дастр Альбер Луи Франсуа (1844—1917), французский физиолог и психолог 51
- Деборд Абрахам (прозвище — Андре) Расино (1582—1625), лотарингский военачальник 496
- Дей Розе Жозеф Аристид (1807—1882), французский историк 357
- Декарт Рене (1596—1650), французский философ, математик, физик 248, 255, 494, 500, 508, 520
- Деламар Никола (1639—1723), французский писатель и администратор 251, 252
- Делиль Леопольд Виктор (1826—1919), французский историк, палеограф, архивист 411
- Делоне Поль (1878—1958), французский историк медицины 310
- Де л'Орм (Делорм) Филибер (между 1510 и 1515—1570), французский архитектор 328
- Делош Максимин (1859—1923), французский историк 292
- Делюмо Жан (р. 1923), французский историк 561
- Демавжоп Альбер (1872—1940), французский географ 30, 137, 186, 353
- Демаре Гийом (1870—1931), бельгийский историк 347
- Деменье Жан Никола (1751—1814), французский политический деятель, переводчик 244, 263
- Деметрий I Полиоркет (ок. 337—283 до н. э.), царь Македонии в 306—286 гг. до н. э. (с перерывами) 546
- Демосфен (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор и политический деятель 307
- Дени Эрнест (1849—1920), французский историк-славист 140, 563
- Деперьё Бонавентюр (ок. 1500 или 1510—1544?), французский писатель и публицист, гуманист 503, 506, 508
- Дер Луи Франсуа Эжен (1798—1847), французский экономист, издатель, редактор 242
- Деффонтен Пьер (р. 1894), французский географ 354
- Джонсон Сэмюел (1709—1784), английский писатель и лексикограф 246
- Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337), итальянский художник 324
- Джустиньяни, здесь — неизвестный член этой неаполитанской семьи, заказавший алтарь Яну ван Эйку 326
- Джустиньяно Марино (изв. ок. 1535), венецианский посол во Франции 294
- Дивинциак (изв. 61 до н. э.), верховный жрец и вождь галльского племени эдуев 400, 586
- Дидро Дени (1713—1784), французский философ-просветитель и писатель 79, 244, 255, 260, 266, 365, 392, 552
- Дидрон Эдуар Эме (1836—1902), французский историк 408
- Дизраэли Бенджамен граф Биконсфилд (1804—1881), английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг. 54, 567
- Диль Мишель Шарль (1859—1944), французский византинолог 412
- Димье Луи (1865—1943), французский



- ский историк и искусствовед 293, 330
- Диоген Синопский (ок. 400—ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ 514
- Диоклетиан (до 284 г. Диокл, затем — император Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Август) (243—между 313 и 316), римский император в 284—305 гг. 586
- Дион Роже Пьер (р. 1896), французский историк 137
- Дионисий Ареопагит, псевдоним грекоязычного христианского философа У или нач. VI вв. 482, 593
- Дионисий Картезианец (ван Рейк, ван Рейкл), св. (1402—1471), философ и теолог, родом из Нидерландов 451, 477
- Добиапш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939), советский историк 502
- Доден Анри Жан (1881—1947), французский историк науки 256, 258
- Доменико Венециано (до 1410—1461), итальянский художник 326
- Донат Элий (IV в.), римский грамматик 302, 305, 576
- Донателло (наст. имя и фамилия Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (ок. 1386—1466), итальянский скульптор 385
- Дону Пьер Клод Франсуа (1761—1840), французский историк и политический деятель, участник Великой французской революции 10
- Дорез Леон Луи Мари (1864—1922), французский филолог, 486
- Дорибюс Поль, французский историк Церкви 490
- Дриар Пьер (1484—1555), французский хронист 360
- Думерг Эмиль (1844—1937), французский историк Церкви 423—425, 438
- Дуччи Гаспар (изв. I пол. XVI в.), французский купец и банкир, родом из Италии 198
- Дуэн Эмманюэль Орентен (1830—1896), французский историк 436, 437
- Дэвис Натали Энн Земон (р. 1928), американский историк 537
- Дюбарри Мари Жанна Бекю Вобернье, графиня (1744—1793), фаворитка короля Франции Людовика XV 546
- Дюби Жорж Мишель Клод (р. 1919), французский историк 512, 527, 529, 532, 536, 537
- Дюкло Шарль Пино (1704—1772), французский писатель, философ-просветитель 242, 248, 252
- Дюма-отец Александр (1802—1870), французский писатель 550
- Дюма Жорж Альфонс (1866—1946), французский психолог 30
- Дюмениль Альфред Фердинанд Пулэн (1821—1894), французский историк искусств 382, 384, 385
- Дюмениль Атенаис Миолара (1826—1899), вторая жена Жюля Мишле 382
- Дюпон де Немур Пьер Самюэль (1739—1817), французский публицист, экономист и политический деятель 242
- Дюпра Антуан (1463—1535), канцлер короля Франции Франциска I, кардинал 467
- Дю Пре (Дюпре) Жан (изв. кон. XV в.), парижский печатник 453
- Дюпрон Альфонс, французский историк 527, 529
- Дюран де Сен-Пурсен Гийом (Гиллельмус Дурандус) (ок. 1275—1334), философ, епископ Менде 405, 406
- Дюрер Альбрехт (1471—1528), немецкий художник 328
- Дюркгейм Эмиль (1858—1917), французский социолог 30, 131, 505
- Дюррьё Жан Мари Поль граф (1879—1925), французский историк искусств 316
- Дюрюи Жан Виктор (1811—1894), французский историк 5
- Дюссар Ипполит (1798—1876), французский экономист 242
- Дю Шатле Габриэла Эмилия ле Тоннелье де Бретей, маркиза (1706—1749), французская писательница 248
- Дюшен Андре (1584—1640), французский историк 394
- Дюзм Пьер (1861—1916), французский философ и историк науки, физик 445
- Евгений IV (Габриэле Кондильяно) (1383—1447), папа с 1431 г. 323
- Евдокс Книдский (ок. 406—ок. 335 до н. э.), древнегреческий математик и астроном 370
- Евклид (изв. 323—283 до н. э.), древнегреческий геометр 75, 388, 390
- Еврипид (ок. 480—406 до н. э.), древ-

- негреческий драматург 81, 307, 554
- Евсевий Памфил Кесарийский (между 260 и 265—338 или 339), церковный писатель и историк 413
- Евстазий, св. (ум. 625), аббат монастыря в Люксеиле (Франция) 398
- Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684—1727), вторая жена Петра I, российская императрица с 1725 г. 65, 549
- Екатерина II Алексеевна (София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) (1729—1796), российская императрица с 1762 г. 65, 549
- Екатерина Арагонская (1485—1536), первая жена короля Англии Генриха VIII в 1509—1533 гг. 592
- Елизавета I Тюдор (1533—1603), королева Англии с 1558 г. 79, 552, 567
- Елизавета Петровна (1709—1761/62), российская императрица с 1741 г. 546
- Жак де Берзе** (изв. кон. XIV в.), бургундский резчик и скульптор, 318
- Жан Беррийский**, см. Иоанн (Жан) Беррийский
- Жане Пьер** (1859—1947), французский психиатр 30
- Жанна д'Арк** (ок. 1412—1431), участница Столетней войны, национальная героиня Франции 383
- Жанна** (Иоанна) Наваррская (1270—1305), королева Наваррская с 1274 г., жена короля Франции Филиппа IV Красивого 577
- Жантон Габриэль Франсуа Жюль** (1881—1943), французский историк 348
- Жарри Альфред** (1873—1907), французский драматург 549
- Жерандо Огюст Бенуа де** (1819—1849), французский историк 383
- Жерен** (Геринг) Ульрих (ум. 1510), парижский печатник, родом из Швейцарии 454
- Жерсон Жан** (1363—1429), французский теолог, церковный и государственный деятель, канцлер Парижского университета 422, 451, 460, 477
- Жиар Альфред Матьё** (1846—1908), французский биолог 52
- Жид Андре** (1869—1951), французский писатель 67
- Жидон Фердинанд** (1874—1944), французский историк 354, 355
- Жильсон Этьен Анри** (1884—1978), французский философ и историк философии 130
- Жирар Габриэль** (1677—1748), французский грамматик, священник 110, 122, 250
- Жорес Жан** (1859—1914), французский политический деятель, историк 6, 415
- Жуайез Анн герцог де** (1561—1587), адмирал, приближенный короля Франции Генриха III 452
- Жуффруа Теодор** (1796—1842), французский философ 271, 272
- Жье Пьер де Роган**, маршал де (1450—1513), французский военачальник 237
- Жюлиан Камилл** (1859—1933), французский историк 7, 70, 117, 395
- Жюрье Пьер** (1637—1713), французский протестантский теолог 428, 430—432
- Зиберт Херман**, немецкий теолог 450
- Зомбарт Вернер** (1863—1941), немецкий экономист, историк и социолог 190, 200, 569
- Иаков Ворагинский** (ум. 1298), агрограф, родом из Италии 581
- Иаков из Клузы** (1385—1465), немецкий теолог 477
- Ибн Хальдун** (1332—1406), арабский историк и философ 86
- Иван IV Васильевич Грозный** (1530—1584), великий князь Московский с 1533 г., русский царь с 1547 г. 62
- Игнатий Лойола**, св. (1491?—1556), основатель ордена иезуитов 86, 462, 488
- Иероним Евсевий Софроний**, св. (ок. 340—419 или 420), христианский писатель, один из отцов Церкви 465
- Изабелла Баварская** (1371—1435), жена короля Франции Карла VI Безумного 181
- Изабелла Кастильская** (1451—1504), королева Кастилии с 1474 г. 572
- Изабелла-Клара-Евгения Австрийская** (1566—1633), дочь короля Испании Филиппа II 496
- Измаил (Исмаил)-паша** (1830—1895), правитель (с 1869 г.—хе-

- див) Египта в 1863—1879 гг. 54, 547
- Имбар де ла Тур Пьер Жильбер Жан Мари (1860—1925), французский историк 398, 435, 442, 483
- Иннокентий VIII (Джанбаттиста Чибо) (1432—1492), папа с 1484 г. 590
- Иннокентий XII (Антонио Пиньятелли) (1615—1700), папа с 1691 г. 590
- Институторис Генрих (1430—1505), инквизитор, доминиканец, родом из Германии 590
- Иоанн Златоуст (Хризостом), св. (ок. 350—407), христианский проповедник и писатель, один из отцов Церкви 465
- Иоанн Креста (Хуан де ла Крус, Хуан де Йепес-и-Альварес), св. (1542—1591), испанский поэт, аскет-мистик 488
- Иоанн XXII (Жак Дюзэ или д'Ээ) (ок. 1244—1334), папа с 1316 г. 594
- Иоанн (Хуан) II Арагонский (1397—1479), король Наварры с 1425 г., король Арагона и Сицилии с 1458 г. 572
- Иоанн (Жан), граф Ангулемский (1404—1467), французский писатель, внук короля Франции Карла V, дед короля Франции Франциска I 572
- Иоанн (Жан), герцог Беррийский (1340—1416), меценат и коллекционер, сын короля Франции Карла V 314, 316, 317
- Иоанн Твердый (1467—1532), курфюрст Саксонский с 1486 г. (до 1525 г. в соправительстве с братом) 593
- Иоанна от Ангелов (Жанна Бельсьель или Бельсьёр) (1602—1665), монахиня 467, 596, 597
- Иона из Боббио (ок. 600—после 642), монах, церковный писатель, агнограф, родом из Италии 398
- Иосиф Флавий (37—после 100), древнееврейский историк 86
- Кабе Этьен (1788—1858), французский писатель, философ и общественный деятель 366
- Калликст II (Ги Бургундский) (кон. XI в.—1124), папа с 1119 г. 493
- Калликст III (Алонсо Борджа) (1378—1458), папа с 1455 г. 540
- Кальер Франсуа де (1645—1717), французский дипломат и публицист 249
- Кальвин Жан (1509—1564), швейцарский религиозный реформатор, родом из Франции 79, 93, 100, 115, 116, 204, 209, 210, 212, 213, 216, 306, 345, 346, 363, 370, 423—426, 430, 431, 436, 464, 467, 468, 470, 471, 477—479, 489, 569, 577, 580, 588, 589, 595, 596
- Кальман, семья парижских издательей 6
- Камбре Жан де (изв. II пол. XV в.), французский купец и финансист 235
- Кампанелла Томмазо (1568—1639), итальянский философ, поэт, политический мыслитель, доминиканец 121, 486, 561
- Кампен Робер (Флемалльский Мастер) (ок. 1378—1444), нидерландский художник 319, 456
- Кано Мельчор (1509—1560), испанский теолог 487
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ 86, 276
- Кантен Жан (II пол. XV в.), французский теолог 459
- Капетинги, французская королевская династия в 987—1328 гг. 131, 572
- Капитон Вольфганг Фабрициус (1478—1542), швейцарский гуманист, деятель Реформации, ректор Базельского университета 458, 461
- Кареев Николай Иванович (1850—1931), русский историк 501
- Карл I Великий (742—814), император с 800 г., король франков с 768 г. 8, 104, 318, 507, 543, 558
- Карл V Габсбург (1500—1558), император Священной Римской империи в 1519—1556 г., король Испании в 1516—1556 гг. 185, 223, 226, 227, 232, 234, 246, 328, 342, 383, 467, 567, 571, 572, 576, 579, 583
- Карл V Мудрый (1338—1380), король Франции с 1364 г., регент в 1356—1360 гг. и нач. 1364 г. 320, 383, 575
- Карл VI Безумный (1368—1422), король Франции с 1380 г. 181, 320, 383, 572
- Карл VII (1403—1461), король Франции с 1422 г., коронован в 1429 г. 117, 320, 383
- Карл VIII (1470—1498), король Франции с 1483 г. 235, 284, 290, 312, 313, 320, 321, 331, 384, 572, 576-

- Карл IX (1550—1574), король Франции с 1560 г. 330, 498
- Карл III герцог Бурбонский (1490—1527), коннетабль Франции, военачальник на службе императора Карла V 570, 571
- Карл Смелый (1433—1477), герцог Бургундский с 1467 г. 205, 315, 383, 384, 385, 567, 572, 583, 584
- Карл Французский (1446—1470), брат короля Франции Людовика XI, герцог Нормандский, Гюйеннский и Беррийский 572
- Карлос (дон Карлос) (1545—1568), наследный принц Испании, сын короля Филиппа II 567
- Карлштадт Андреас Боденштейн (ок. 1480—1541), деятель Реформации в Германии 489, 595
- Кароли Пьер (1480—после 1545), деятель Реформации и Контрреформации в Швейцарии, Франции и Италии, родом из Франции 489, 535
- Каролинги (Пипиниды), правящая династия во Франкском королевстве с 751 г., во Франции до 987 г., в Германии до 911 г., в Италии до 905 г. 8, 558
- Кассини Жак Доминик (1747—1845), французский астроном и картограф 416
- Кастаньо Андреа дель (1421—1457), итальянский художник 325, 326
- Кастельон (Кастеллио, Шатийон), Себастьян (1515—1563), деятель Реформации во Франции и Швейцарии, гуманист, родом из Франции 306, 556
- Катарина Амброджо (наст. имя и фамилия Ланчелотто Полити) (1484 или 1487—1553), итальянский теолог, деятель Контрреформации 595
- Катон Дионисий (III или IV в.), римский поэт-моралист 302, 576
- Каффен (XVII в.), французский издатель 465
- Келлер (Целлариус), Христофор (1637—1707), немецкий историк 388, 584
- Кельс (Цельс) (II в.), древнегреческий философ 508
- Кеплер Иоганн (1571—1630), немецкий астроном и математик 216, 388, 585
- Кёр Жак (1400—1456), французский купец и финансист, казначей ко-  
роля Франции Карла VII 198, 235, 342
- Кёткен Ренье (изв. на рубеже XV и XVI вв.), нидерландский теолог, августинец 462
- Кинэ Эдгар (1803—1875), французский философ, историк и поэт 270, 275
- Клавазю Ангелус де (Анджело Карлетти ди Чивассо), блаж. (ум. 1495), итальянский теолог 477
- Клавдий, св. (ум. 697), епископ Безансонский 361
- Кларендон Эдуард Хайд, граф (1609—1674), английский историк и государственный деятель, лорд-канцлер в 1660—1667 гг. 86
- Клебергер Ганс (Жан) (1486—1546), немецкий купец 206, 234
- Клеве Йосс ван (ок. 1485—1541), нидерландский художник 316
- Клихтуэ Йосс (ум. 1543), католический теолог и математик, родом из Фландрии 435, 458, 461, 471, 472, 481
- Клод Жан (1619—1687), французский историк и публицист, протестантский священник 438, 440
- Клодион (Хлойо) Волосатый (ум. 448?), вождь (король) салических франков с 428(?) г. 557
- Клуэ Жан (ок. 1475—1540 или 1541), французский художник 330
- Ключевский Василий Осипович (1841—1911), русский историк 501
- Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), русский историк, социолог и юрист 501
- Козимо I Медичи (1519—1574), герцог Тосканский с 1537 г., великий герцог с 1569 г. 286, 575
- Кокрелл Джон (1790—1840), бельгийский промышленник и инженер 199
- Кокрелл Атаназ (1820—1875), французский публицист, протестантский священник, родом из Нидерландов 437
- Колет Джон (1467?—1519), английский гуманист 484
- Колен Арман (1842—1900), французский издатель 58
- Колиньи Гаспар де Шатийон (1519—1572), адмирал Франции, политический руководитель гугенотов 425
- Коллеано Морис (ум. после 1924), французский акробат 80, 553

- Коломб Мишель (ок. 1430—ок. 1513), французский скульптор 341
- Коломб Ромен (1784—1859), французский литератор, издатель Степ-даля 6
- Колонна Виттория (1492—1546), итальянская поэтесса 485, 594
- Колумб (Колон), Фернандо (1488—1539), внебрачный сын Христофора Колумба 455
- Колумб Христофор (Колон Кристо-баль) (1451—1506), мореплаватель 526
- Коммерсон Филибер (1727—1773), французский натуралист 263
- Коммин Филипп де (1447—1511), французский историк и государ-ственный деятель 235, 565, 572
- Кондорсе Мари Жан Антуан Нико-ла, маркиз де (1743—1794), фран-цузский философ-просветитель, математик и политический дея-тель 241, 245, 247, 260, 276, 573
- Константин V (749—775), византий-ский император с 741 г. 412
- Конт Огюст (1798—1857), француз-ский философ и социолог 11, 35, 268, 270
- Конт Пьер (изв. I пол. XVI в.), французский купец, меховщик 222
- Конфуций (Кун Фуцзы, Кун Цзы) (ок. 551—479 до н. э.), древнеки-тайский мыслитель 86
- Копены, французская купеческая семья в XVI в. 342
- Коперник Николай (1473—1543), польский астроном 31, 33, 73, 311, 388, 391, 392, 499, 597
- Корделье Жак (1570—1637), горожа-нин из Клерво (Франция) 335
- Корнель де Лион (ок. 1505—1574), французский художник 227, 330
- Косминский Евгений Алексеевич (1886—1959), советский историк 502
- Кошут Лайош (1802—1894), руково-дитель Венгерской революции 1848—1849 гг., глава правительст-ва с сент. 1848 г., верховный пра-витель Венгрии в мае—авг. 1849 г. 366
- Коэн Гюстав (1879—1958), француз-ский историк искусств 456
- Крафт Адам (ок. 1460—1508 или 1509), немецкий скульптор 447
- Креспен Жан (ум. 1572), француз-ский и швейцарский печатник, историк, протестант 431
- Крокерт Пьер (ум. 1514), теолог, ро-дом из Брюсселя 487
- Кромвель Оливер (1599—1658), ру-ководитель Английской револю-ции, лорд-генерал (главнокоман-дующий) с 1650 г., лорд-протектор (глава государства) с 1653 г. 79
- Крупн Альфред (1812—1887), немец-кий промышленник 199
- Крюднер Варвара-Юлия (1766—1824), русская писательница 65, 549
- Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н. э.), древнегреческий историк, военный и политический деятель 86
- Ксеркс (ум. 465 до н. э.), царь Пер-сии с 486 г. до н. э. 498
- Куниц Огюст Эдуар (1812—1886), французский протестантский тео-лог, историк Церкви 422
- Куражо Луи Шарль Леон (1841—1896), французский историк искусств 6, 30
- Курбе Гюстав (1819—1877), фран-цузский художник 6
- Курно Антуан Огюстен (1801—1877), французский философ, экономист, математик 373, 375
- Кутен Пьер, французский историк 354
- Кутюрье Пьер (Сутор Петр) (ум. 1537), французский теолог 461, 463, 466
- Кювье Жорж (1769—1832), француз-ский естествоиспытатель 256, 258, 266
- Кюри, супруги: Пьер (1859—1906) и Мария (урожд. Склодовская) (1867—1934), французские физики 32, 374
- Лабриола Артуро (1873—1959), итальянский общественный дея-тель, экономист 187
- Лабрусс Эрнест Камилл (1895—1989), французский историк 537
- Лаваль Пьер (1883—1945), француз-ский государственный деятель, премьер-министр Франции в 1931—1932 гг. и 1935—1936 гг., гла-ва «правительства Виши» в 1942—1944 гг. 60, 548, 549
- Лависс Эрнест (1842—1922), фран-цузский историк 549
- Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794), французский естествоиспы-татель 256, 573

- Лакомб Поль (1833—1919), французский историк 126
- Ла Ланд (Лаланд) Жозеф Жером (1732—1807), французский астроном 263
- Лален Жак де по прозвищу Славный Рыцарь (1421—1453), странствующий рыцарь, родом из Франции 583
- Ламарк Жан Батист (1744—1829), французский естествоиспытатель 245, 256, 258, 374
- Ламбер Жак, французский историк 180
- Лампрехт Карл (1856—1915), немецкий историк 108, 556
- Ланглуа Шарль (1863—1929), французский историк 68, 542
- Ланжевен Поль (1872—1946), французский физик и общественный деятель 32, 128, 144
- Лансло Клод (1615—1695), французский педагог, янсенист 583
- Лансон Гюстав (1857—1934), французский литературный критик 30
- Лаперуз Жан Франсуа (1741—1788?), французский мореплавател 264
- Лапик Луи (1866—1952), французский хирург и физиолог 51
- Ла Плэ (Ле Пле) Фредерик (1806—1882), французский экономист и социолог, основатель социологической школы 357
- Ла Салль Антуан де (ок. 1390—после 1461), французский писатель 584
- Лассен, Христиан (1800—1876), немецкий ориенталист 265
- Ла Тремуй (Ла Тремой), французский дворянский род 236
- Ла Тремуй Луи де (1460—1525), французский военачальник 299
- Латур (Ла Тур) Жорж де (1593—1652), французский художник 176, 566
- Лаффит Жак (1767—1844), французский банкир и государственный деятель, премьер-министр и министр финансов Франции в 1830—1831 гг. 199
- Лебег Анри (1875—1941), французский математик 24
- Ле Блан (Леблан) Эдмон (1818—1897), французский археолог и филолог 394
- Лебра Габриэль (1891—1970), французский юрист 138, 505
- Ле Бре Карден де Флакур (1598—1665), французский юрист 251, 252
- Лев Х (Джованни Медичи) (1475—1521), папа с 1513 г. 342, 378, 449, 579, 588, 589
- Лев III Сирин (ок. 675—741), византийский император с 717 г. 86
- Леваль Андре, французский историк Венгрии 451
- Левассер Пьер Эмиль (1828—1911), французский историк и экономист 227
- Леви Сильвен (1863—1925), французский индолог 52, 138
- Леви Эрнест (р. 1881), французский историк 137
- Леви-Брюль Люсьен (1857—1939), французский этнолог, социолог и психолог 103, 514, 518, 519
- Леви-Стросс Клод (р. 1908), французский этнолог и социолог 514, 519
- Левро Лоран Франсуа Ксавье (1763—1821), французский издатель и политический деятель 266
- Ле Гофф Жак Луи (р. 1924), французский историк 527, 535, 537, 538
- Ле Гоффик Шарль (1863—1933), французский историк и филолог 352
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, филолог, 8, 269
- Лейдио Поль (1897—1983), французский историк 8
- Ле Киньо Жозеф Мари (1740—1813), деятель Великой французской революции 357
- Леклерк Жан (ум. 1525), французский протестант 467
- Леклерк Макс (1864—1932), французский издатель 137
- Ле Менан Гийом (изв. ок. 1490), французский переводчик, францискапец 454, 464
- Леместр Антуан (1608—1658), французский писатель и юрист, янсенист 364, 365
- Лемонье Жозеф Анри (1842—1905), французский историк 64
- Лемперёр Мартин (изв. 1534), французский католический теолог 474
- Лемуан Пьер (1602—1672), французский писатель, иезуит 498
- Ле Нен де Тиллемон Луи Себастьян (1637—1698), французский историк 403
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924), 79, 85, 86, 94, 552

- Менорман Франсуа (1835—1885), французский археолог 402
- Леонардо да Винчи (1452—1519), итальянский художник, скульптор, ученый, инженер 311, 312, 325, 329, 341, 577, 578, 589
- Лериш Рене (1879—1955), французский хирург 43, 546
- Лерминье Жан Луи Эжен (1803—1857), французский историк и публицист 434
- Леру Эмманюэль (1883—1942), французский издатель 62
- Ле Руа Гийом (изв. кон. XV в.), французский печатник 455
- Леруа, французская купеческая семья в XV—XVI вв. 342
- Леруа Эдуар (1870—1954), французский философ, математик, палеонтолог и антрополог 550
- Леруа Ладюри Эмманюэль (р. 1929), французский историк 527, 536, 537
- Ле Руж (изв. 1489), французский печатник 453
- Лесен Поль (1878—1929), французский историк медицины 372
- Лескен Тома де Фуа, сеньор де (1493—1525), французский военачальник, маршал Франции 293
- Леспарр Андре де Фуа, сеньор де (ум. 1547), французский военачальник 293
- Лестранж Мария де (ум. после 1533), фаворитка короля Франции Франциска I 293
- Летар Этьен (р. 1890), французский историк 354
- Лефевр Жорж (1874—1959), французский историк 70, 138, 143, 355, 414—417, 419—421
- Лефевр д'Этапль Жак (ок. 1450—1536), французский гуманист, теолог, церковный деятель 210, 341, 423—425, 430, 431, 432, 434—438, 442, 443, 451, 461, 463, 471—473, 475, 482, 483, 486, 490, 571, 588
- Лефран Абель Жюль Морис (1863—1952), французский историк литературы 285, 508, 515
- Лефран (изв. сер. XVI в.), французский печатник 467
- Лимбург (наст. фамилия Малуэль), братья Поль, Жаннекен и Эрман (изв. 1402—1416), французские художники, родом из Нидерландов 578
- Линданус (наст. имя и фамилия Вильгельм Дамаз Линда) (1525—1578), нидерландский католический теолог, епископ Гентский 458
- Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель 573
- Линхардт Морис (1878—1954), французский этнолог 124
- Линни Филиппо, фра (ок. 1406—1469), итальянский художник 326
- Литтре Эмиль (1801—1881), французский филолог, лексикограф и философ 110, 241, 245, 282, 560
- Локк Джон (1632—1704), английский философ 255
- Лотарь I (795—855), внук Карла Великого, император с 840 г. (с 817 г.— номинально, в соправительстве с отцом) 544
- Лотрек Одон де Фуа, виконт де (1496—1528), французский военачальник, маршал Франции 293, 547
- Лохнер Стефан (ок. 1410—1451), немецкий художник 316
- Луазо Шарль (1566—1627), французский юрист 367
- Лудольф Картезианец (ум. 1370 или 1378), теолог-мистик 454, 464, 465
- Лузиньяны, знатный французский род, короли Иерусалима в 1186—1291 гг. (с перерывами), Кипра в 1192—1489 гг., Малой Армении в 1342—1375 гг. 181, 568
- Луи Филипп I Орлеанский (1773—1850), король Франции в 1830—1848 гг. 584
- Луиза Мария Терезия Бурбонская (1819—1864), дочь герцога Беррийского, принцесса Луккская в 1845—1849 гг., герцогиня Пармы и Пьяченцы в 1849—1859 гг., регентша Пармы в 1854—1859 гг. 379
- Лукиан Самосатский (ок. 120—ок. 190), античный писатель-сатирик 94, 310, 559
- Лукреций Кар Тит (между 99 и 95—между 55 и 51 до н. э.), римский философ и поэт 310
- Луллий Раймунд (1235—1315), философ и теолог, родом из Каталонии 482, 484, 593
- Лучинский Иван Васильевич (1845—1918), русский историк 501
- Льюис Синклер (1885—1951), американский писатель 550
- Людовик I Благочестивый (778—840), франкский император с 814 г. 543, 544
- Людовик IX Святой (1214—1270), король Франции с 1226 г. 94, 490, 498, 520

- Людовик XI (1423–1483), король Франции с 1461 г. 235, 300, 313, 320, 323, 331, 383–385, 460, 572  
 Людовик XII (1462–1515), король Франции с 1498 г. 237, 284, 290, 295, 300, 320, 321, 361, 449, 490, 572  
 Людовик XIII (1601–1643), король Франции с 1610 г. 497, 543, 575  
 Людовик XIV (1638–1715), король Франции с 1643 г. 24, 74, 104, 111, 117, 288, 356, 378, 499, 507, 545, 573, 575, 577, 582  
 Людовик XV (1710–1774), король Франции с 1715 г. 53, 253, 279, 546  
 Людовик, герцог Орлеанский (1371–1407), брат Карла VI Безумного, короля Франции 572  
 Люнель Адольф, французский историк 354  
 Лютер Мартин (1483–1546), основатель Реформации в Германии 79, 93, 100, 204, 209–214, 216, 305, 332, 333, 343–346, 361, 377, 423–425, 427–438, 441–443, 458, 461, 463, 466, 470–473, 475, 476, 478, 481, 483–486, 489, 491, 503, 506–508, 552, 571, 588, 589, 592, 595  
 Мабийон Жан (1632–1707), исследователь и издатель средневековых рукописей, бенедиктинец 88, 559  
 Маго д'Артуа (ок. 1274–1329), графиня Артуа и Франш-Конте 493  
 Магомед (Мухаммед) (ок. 570–632), основатель ислама 8, 86, 90, 474, 552  
 Мадзини Андре Луи, французский фольклорист 241  
 Мажанди Франсуа (1783–1855), французский физиолог 47, 51, 348  
 Маже Марсель, французский историк 355  
 Мазаччо (наст. имя и фамилия Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи) (1401–1428), итальянский художник 321, 322, 326  
 Майар Оливье (ум. ок. 1508), французский народный проповедник 458  
 Майнцский архиепископ, см. Альберт IV Бранденбургский  
 Макнавелли Никколо (1469–1527), итальянский писатель, политический мыслитель, флорентийский государственный деятель 86, 570  
 Максвелл Джеймс Клерк (1831–1879), английский физик 33  
 Максимиан (240–310) (император Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан Август), римский император в 286–305 гг. (в соправительстве с Диоклетианом) и с 307 г. 586  
 Максимилиан I Габсбург (1459–1519), император Священной Римской империи с 1493 г. 567  
 Малетруа Жан Жеврюн де (изв. 1566), французский государственный деятель 226, 497  
 Маль Эмиль (1862–1954), французский историк искусств 119–121, 318–320, 341, 445, 456  
 Мандонне Пьер Феликс (1858–1936), французский историк философии и религии, священник 445  
 Мандру Робер (ум. 1989), французский историк 513, 525–527, 537  
 Мантенья Андреа (1431–1506), итальянский художник 322, 326, 329  
 Мануцио Альдо (Мануций Альд), Старший (ок. 1450–1515), венецианский типограф, гуманист 390  
 Мар Пьер де (изв. нач. XVI в.), немецкий художник, родом из Франции 316  
 Марбах Иоганн (1829–1905), немецкий историк Церкви 490  
 Маргарита Наваррская (1492–1549), королева Наваррская с 1522 г., сестра короля Франции Франциска I, французская писательница 340, 436, 503, 589  
 Маринус ван Реймерсвелде (ок. 1493–после 1567), нидерландский художник 227  
 Мариньян Альбер (1859–?), французский историк 397–399, 400, 402  
 Мария Алакок, св. (наст. имя Маргарита) (ум. 1690), духовидица 590  
 Мария Каролина Фердинанда Луиза Бурбонская, герцогиня Беррийская (1798–1870), жена второго сына короля Франции Карла X 379  
 Мария Бургундская (1457–1492), дочь и наследница герцога Бургундского Карла Смелого, жена императора Максимилиана I 567  
 Мария Лещинская (1703–1768), жена короля Франции Людовика XV, дочь короля Польши Станислава Лещинского 546  
 Мария Медичи (1573–1642), жена короля Франции Генриха IV 543  
 Мария Стюарт (1542–1587), королева Шотландии с 1542 г. (фактиче-



- ски с 1561 по 1567 г.) и Франции в 1559—1560 гг. 45, 109, 546, 560
- Мария I Тюдор (1516—1558), королева Англии с 1553 г. 378
- Маркс Карл (1818—1883) 79, 100, 191, 199, 203, 204, 373—375, 509, 512, 528, 529, 552, 568, 569
- Маро Клеман (1496—1544), французский поэт 469
- Марникс Филипп, барон ван Синт Алдехонде (1540—1598), нидерландский поэт, писатель и дипломат 467
- Марсден Уильям (1754—1838), английский востоковед 264
- Мартен Жан (ум. ок. 1553), французский переводчик 328
- Мартин Турский, св. (ум. ок. 396), епископ Турский 396, 397
- Мартовн Эмманюэль де (1873—1955), французский географ 160, 161
- Марцелл Марк Клавдий (ум. 208 до н. э.), римский государственный деятель и военачальник 370
- Марцеллин Эмбренский, св. (ум. 374), епископ Эмбренский 581
- Маршан Проспер (ок. 1675—1756), французский библиограф 435
- Массон Поль (1863—1938), французский историк 228
- Мастер Успения Марии (изв. ок. 1515), кельнский художник, иногда отождествляемый с Йоссом ван Гентом 316
- Матсейс Квентин (1466—1530), нидерландский художник 227
- Матьё Феликс, французский математик 126
- Маурицио Адам (1862—1936), немецкий историк 354, 357
- Машо Жюльен (изв. кон. XV в.), французский поэт и переводчик, священник 455
- Медичи, флорентийский купеческий род, правящая династия во Флоренции в 1434—1737 гг. (с перерывами 1494—1512 и 1527—1530 гг.) 322, 443
- Мёйе Антуан (1866—1936), французский лингвист 20, 108, 134
- Мейцен Август (1822—1910), немецкий экономист и историк 135, 563
- Меланктон (наст. фамилия Шварцберде) Филипп (1497—1560), немецкий философ, гуманист, деятель Реформации в Германии 93, 346, 431, 434
- Мели Фернан де (1851—1935), французский историк искусств 227
- Мембург Луи (1610—1686), французский историк Церкви, иезуит 428, 430, 431
- Мемлинг Ханс (Ханс) (ок. 1440—1494), нидерландский художник 578
- Мениль Жак, бельгийский историк искусств 325, 326
- Менан Гийом де (изв. ок. 1490), французский теолог, переводчик, францисканец 464
- Мено Мишель (ок. 1440—1518), французский проповедник, францисканец 458
- Мере Антони (1817—после 1878), французский историк 458
- Мерль д'Обинье Жан Анри (1794—1872) швейцарский писатель, историк и теолог 434, 436
- Меровей (ум. 458?), вождь (король) салических франков с 448 г. (?) 557
- Меровинги, династия франкских королей в V в.—751 г. 7, 83, 450, 557, 561
- Мерсени Марен (1588—1648), французский ученый, священник 499
- Месм Анри де (1532—1596), французский военачальник и государственный деятель 307
- Метро Альфред (1902—1963), французский этнолог 108
- Мехмет-Али (Мухаммед Али) (1769—1849), турецкий наместник Египта, родом из Албавии 547
- Микеланджело Буонаротти (1475—1564), итальянский художник, скульптор, архитектор и поэт 326, 485, 589, 595
- Миконнус (наст. фамилия Гайсхюллер) Освальд (1488—1552), деятель Реформации в Швейцарии, гуманист 468
- Миле де Мюро (Миле-Мюро) Луи Антуан Детуф, барон де (1756—1825), французский военачальник и государственный деятель, издатель Лаперуза 264
- Миллар Джон (1735—1801), английский публицист, историк, экономист, философ и издатель 247, 260
- Миллен Обен Луи (1759—1818), французский археолог и естествоиспытатель 257
- Милюков Павел Николаевич (1859—1943), российский политический деятель, историк, публицист 62, 65, 66

- Минёр Анри (1899–1954), французский астроном 128
- Мивь, Жан Поль (1800–1875), французский теолог, издатель собрания богословских трудов 403
- Минье Франсуа Огюст Мари (1796–1884), французский историк и публицист 433, 437
- Мишель Андре (1853–1925), французский историк искусств 30
- Мишле Адель, дочь Жюля Мишле от первого брака 381
- Мишле Жюль (1798–1874), французский историк 5, 7, 9, 10, 15, 23, 27, 31, 160, 270, 333, 335, 337, 346, 365, 377, 379–387, 392, 423, 433, 437, 439, 467, 503, 545, 579, 583
- Мишле Лазар (1850–1851), сын Жюля Мишле от второго брака 382
- Мишле Шарль, сын Жюля Мишле от первого брака 381
- Мишлен, братья Андре (1853–1931) и Эдуар (1859–1940), французские промышленники 69, 550
- Мольд ла Клавьер Мари Альфонс Рене де (1848–1902), французский историк 299
- Мольер (наст. фамилия Поклен) Жан Батист (1622–1673), французский драматург и актер 350, 550
- Момбер Жан (ум. 1503), французский теолог, августинец 462
- Моммзен Теодор (1817–1903), немецкий историк античности 68, 88
- Монгло Андре, французский историк литературы 122
- Моне Франсуаза (сестра Франсуаза от Св. Иосифа) (изв. 1626–II пол. XVII в.) французская монахиня 360
- Монзи Анатолий де (1876–1947), французский государственный деятель 357
- Моника, св. (337–382), мать св. Августина 479
- Монмор Мари Луи Абер де (ум. 1679), французский коллекционер 292
- Монморанси Анн де (1492–1567), маршал Франции 452
- Моно Габриэль (1844–1912), французский историк 7, 379
- Моно Гюстав, французский педагог и общественный деятель 42
- Монроше Ги де (Гвидо из Монте-Рочери) (изв. 1333), церковный писатель, родом из Испании 454, 591
- Монтарло Этьен (изв. 1480-е гг.), французский паломник 448
- Монтень Мишель де (1533–1592), французский философ и писатель 247, 392
- Монтесино Амбросио де (ок. 1448–1512), испанский религиозный поэт 464
- Монтескье Шарль Луи де Сегонда, барон де Ла Бред де (1689–1755), французский философ, историк, правовед и писатель 170, 174, 241, 250, 255, 365, 565
- Монтеспан Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Тонне-Шарант, маркиза де (1641–1707), фаворитка короля Франции Людовика XIV 117
- Монтэгу Жиль Эсселин де (1252–1318), советник короля Франции Филиппа IV Красивого, архиепископ Руанский 577
- Монье Рене (р. 1887), французский социолог 348
- Моо Жан Батист Луи Монтъон, барон де (1733–1820), французский статистик 262
- Мор Томас (1478–1535), английский гуманист, государственный деятель и писатель 370, 483, 486
- Моразе Шарль (р. 1913), французский историк 8, 506
- Морган Жак де (1857–1924), французский археолог 174
- Морган Джон Пирпонт (Старший) (1837–1913), американский филолог 194
- Мори Альфред (ум. 1892), французский историк 10
- Моррас Шарль (1868–1952), французский публицист, критик, поэт 63
- Мосс Марсель (1872–1950), французский этнолог и социолог 30, 514
- Мускулюс (Мюсси, Мейссель) Вольфганг (1497–1563), немецкий протестантский теолог 468
- Муссолини Бенито (1883–1945), лидер итальянский фашистской партии с 1919 г., премьер-министр Италии в 1922–1943 гг., президент «Итальянской социальной республики» в 1943–1945 гг. 548, 563
- Мэррей Джеймс Огастес Генри (1837–1915), английский филолог и лексикограф 246, 247
- Мюллер Альфонс Виктор, немецкий историк Церкви 484
- Мюнстер Себастьян (1489–1552),

- немецкий и швейцарский картограф и математик, гуманист 284
- Мюнцер Томас (ок. 1490—1525), деятель Реформации в Германии, участник Крестьянской войны 489, 595
- Мюссе Альфред де (1810—1857), французский поэт 378
- Мюссе Рене (р. 1881), французский географ 137
- Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), русский историк и публицист 62
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император в 1804—1814 гг. и марте — июне 1815 г., первый консул (глава государства и правительства) Франции в 1799—1804 гг. 109, 111, 245, 544, 549, 554, 560, 574, 589
- Наполеон III (Луи Наполеон) Бонапарт (1808—1873), французский император в 1852—1870 гг., президент Франции в 1848—1852 гг., племянник Наполеона I 544, 548, 549, 559, 583
- Немурский герцог, см. Фуа Гастон де
- Нери Филипп де, св. (1515—1595), основатель ордена ораторианцев, церковный деятель, родом из Италии 597
- Несторий (ум. 439), ересиарх, епископ Константинопольский в 428—431 гг. 551
- Нидер Иоганн (кон. XIV в.—1438), немецкий теолог, доминиканец 454, 477
- Низар Дезире (1806—1888), французский писатель, историк 433
- Николаи Никола де (1517—1583), французский путешественник 220
- Николай Кузанский (Кребс) (1401—1464), философ, теолог, церковный деятель, родом из Германии 483, 486, 593
- Николай Орезм (ок. 1323—1382), французский философ, математик и астроном 249
- Николь Пьер (1625—1695), французский философ и моралист, логик, янсенист 440, 583
- Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий философ 71, 241, 551, 569
- Ничефоро Альфредо (1876—1960), итальянский социолог, статистик и криминолог 265
- Ницши из Ассизи, см. Франциск Ассизский
- Ногароле Леонардо (изв. II пол. XV в.), итальянский теолог 451
- Нозль Эжен (1755—1841), французский лексикограф 383
- Нурри см. Сентив П.
- Ньютон Исаак (Айзек) (1643—1727), английский математик, физик и астроном 33, 255, 269, 543
- Озе Анри (1866—1945), французский историк 54, 139, 143, 186, 187, 378, 422, 428, 438
- Окино Бернардо (1487—1564), деятель Реформации в Италии и Швейцарии 485, 594
- Оккам Уильям (ок. 1285—1349), философ, логик, церковный деятель, родом из Англии 208, 339, 340, 484, 570
- Олар Альфонс (1849—1928), французский историк 68, 415
- Оливетан Пьер Робер (1506—1538), деятель Реформации в Швейцарии, переводчик Библии 270, 571
- Оливье Эмиль (1825—1913), французский государственный деятель, историк 86, 90, 93, 559
- Ольянда Франческо де (Оланда Франшишку ди) (1518—1584), португальский художник и миниатюрист, работал в Италии 326
- Омальский герцог, см. Анри Эжен Луи Филипп Орлеанский
- Омейя (VI в.?), родоначальник Омейядов 552
- Омейяды, династия арабских халифов в 661—750 гг. 80, 552, 553
- Омон Анри Огюст (1857—1940), французский библиограф 302
- Опорин (наст. фамилия Хербст), Иоганн (1507—1568), швейцарский печатник и филолог, гуманист 306
- Ориген (ок. 185—254), раннехристианский философ и теолог 81, 506, 554
- Орлеанский дом, французский герцогский род, королевская династия в 1498—1515 гг. (Валуа-Орлеаны, единственный представитель Людовик XII) и 1515—1589 гг. (Валуа-Ангюлемы, или Орлеаны-Ангюлемы) 236, 572
- Орлеаны, французская королевская династия в 1830—1848 гг. (единственный представитель Луи Филипп I), младшая ветвь дома Бур-

- бонов, потомки Людовика XIII 548  
 Орлей Бернт (Бернард, Барент) ван (между 1488 и 1492–1541 или 1542), нидерландский художник 578  
 Оттон I (912–973), германский король с 936 г., император Священной Римской империи с 962 г. 83, 558  
 Павел I (1754–1801), российский император с 1796 г. 549  
 Павлин Нолаванский (353–431), христианский поэт, родом из Италии 396, 403–406  
 Палисси Бернар (ок. 1510–1589), французский художник-керамист и естествоиспытатель 391  
 Парацельс (наст. имя и фамилия Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541), немецкий врач и естествоиспытатель 391  
 Парижский горожанин (I пол. XVI в.), автор мемуаров, настоящее имя неизвестно 360  
 Париже Жорж Огюст (1865–1927), французский историк 138  
 Парк Мунго (1771–1805), английский путешественник 264  
 Парэн Шарль, французский историк 354  
 Паскаль Блез (1623–1662), французский религиозный философ, писатель, математик и физик, явсенист 216, 365, 562, 583  
 Пастер Луи (1822–1895), французский биолог 7  
 Патен Ги (1602–1672), французский медик и писатель 499  
 Пегй Шарль (1873–1914), французский поэт и публицист 11, 542  
 Пежо, братья Жан Пьер (1768–1852) и Жан Фредерик (1770–1822), французские промышленники 199  
 Пейра дю, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 222, 238  
 Пелагий (наст. имя Морган) (ок. 360 – после 418), философ, основатель еретического учения, монах, родом из Ирландии 362, 581  
 Пелетье Жак (1517–1582), французский писатель, врач и математик 369  
 Пенсе французская купеческая семья в XV–XVI вв. 238  
 Перес Антонио (1539–1611), испанский государственный деятель, министр Филиппа II 183  
 Пердризе Поль (1870–1938), французский археолог 138  
 Перикл (ок. 490–429 до н. э.), афинский государственный деятель, стратег (командующий) с 443/2 г. (кроме 430) до н. э. 44  
 Перрен Ами (ум. 1553), женеvский государственный деятель 580  
 Перрен Жан Батист (1870–1942), французский физик 32  
 Перрен Шарль Эдмон (р. 1887), французский историк 138  
 Петен Анри Филипп (1856–1951), французский государственный и военный деятель, премьер-министр «правительства Виши» в 1940–1942 гг., «глава государства» в 1942–1944 гг. 549  
 Пето Поль (1568–1614), французский антиквар и хронист 362  
 Петр Коместор (т. е. Едок) (II пол. XII в.), философ и теолог 406  
 Петр I Великий (1672–1722), русский царь с 1682 г. (самостоятельно правил с 1689 г.), российский император с 1721 г. 62, 65, 86, 111, 248, 549, 553  
 Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт, гуманист 589  
 Пеше Жак (1758–1830), французский статистик, историк и правовед 264  
 Пиаже Артюр (1865–?), швейцарский историк 441, 473  
 Пиганьоль Андре (1883–1968), французский историк 138  
 Пий V, св. (Микеле Гиольери) (1504–1572), папа с 1566 г. 185, 487  
 Пий VI (Джованни Анджело Браски) (1717–1799), папа с 1775 г. 590  
 Пий IX (граф Джованни Мария Маджани-Феретти) (1792–1878), папа с 1846 г. 590  
 Пикар Огюст Виктор Мари (р. 1887), французский издатель 355  
 Пикар Шарль (1883–1965), французский археолог, историк искусств 407  
 Никко делла Мирандола Джованни (1463–1494), итальянский философ, гуманист 443, 482, 483, 486  
 Пине Антуан де Норуа дю (ок. 1515–ок. 1584), французский писатель, переводчик, картограф, издатель 284  
 Пиренн Анри (1862–1935), бельгийский историк 8, 26, 63, 68, 70, 89,

- 133, 136, 138 178, 186—194, 196, 199, 203, 301, 422, 564, 567—569
- Пифагор Самосский (VI в. до н. э.), древнегреческий философ и математик 388
- Пила Жан (изв. кон. XV в.), купец из Брюгге 235
- Плантен Кристоф (1520—1589), нидерландский финансист, издатель и типограф, родом из Франции 198
- Платон (428 или 427—348 или 347), древнегреческий философ 44, 369, 370
- Платтар Жан (1873—1939), французский историк литературы 31, 285
- Платтер Томас (1499—1582), швейцарский гуманист 297, 304—307, 309, 370, 468
- Платтер Феликс (1536—1614), швейцарский медик, сын Томаса Платтера 307, 309
- Пленьяр Пьер Эжен (XVII в.), французский издатель 465
- Плесси (Дюплесси) Франсуа де Ришелье дю (1548—1590), французский военачальник и государственный деятель 292
- Плиний Секунд Старший Гай (23 или 24—79), римский естествоиспытатель и писатель 310, 390
- Плутарх (ок. 45—ок. 127), древнегреческий писатель, историк и философ 370
- Плюме (изв. кон. XV в.), каноник из Шартра 453
- Полен, Жан Батист Александр (1793—1859), французский издатель и библиотечарь 273
- Полюбий (ок. 200—ок. 120 до н. э.), древнегреческий историк 86
- Полициано (наст. фамилия Амброджини), Анджелио (1454—1494), итальянский поэт, гуманист 485
- Поллайоло (Поллайuolo) Пьетро (1462—1525), итальянский художник, скульптор и ювелир 326
- Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721—1764), фаворитка короля Франции Людовика XV 546
- Понше, французская купеческая семья в XV—XVI вв. 238
- Порселе де Майян, Жан VII (ум. 1624), епископ Туля с 1608 г. 495
- Портинари Томазо, граф (1428—1501), представитель дома Медичи в Брюгге 322, 324
- Посталь Гийом (1505—1581), французский религиозный писатель, визионер 307, 486
- Прель Рауль дю (ок. 1270—ок. 1330), французский государственный деятель, секретарь короля Филиппа IV, советник парламента 577
- Приматиччо, Франческо (1490—1570), итальянский художник, скульптор и архитектор 312, 330
- Пристли Джозеф (1733—1804), английский физик и химик, философ 243
- Причард Джордж (1796—1883), английский миссионер 125, 562
- Проспер Аквитанский, св. (ок. 390—455 или ок. 403—после 463), христианский теолог и поэт 398
- Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский социальный мыслитель и общественный деятель 6, 7, 345, 542
- Пруст Марсель (1871—1922), французский писатель 442, 518
- Пти Жан (XVI в.), французский издатель 465
- Птолемай, царская династия в Египте в 305—30 гг. до н. э. 546, 553
- Птолемай I Лаг (Сотер) (ум. 282 до н. э.), царь Египта с 305 г. до н. э. (официально с 323 г. до н. э.) 546
- Птолемай Клавдий (ок. 90—ок. 160), древнегреческий астроном 388, 390, 391
- Пуанкаре Жюль Аври (1854—1912), французский математик, физик и философ 22
- Пуаро Шарль (ум. 1621), врач из Лотарингии 495, 500
- Пуатье Диана де, герцогиня Валентинуа (1499—1566), фаворитка королей Франции Франциска I и Генриха II 293
- Пурра Анри (1887—1959), французский историк 464
- Пфистер Кристиан (1857—1933), французский историк 7, 131, 494, 497
- Пюэш Альбер (1833—1895), французский историк 396
- Рабле Франсуа (1494—1553), французский писатель, гуманист 57, 189, 304, 312, 328, 369, 384, 391, 392, 468, 469, 503, 506—508, 510—517, 520, 521, 526, 539, 541, 548, 576, 579
- Равальян Франсуа (1578—1610), французский католик, убийца Генриха IV, короля Франции 14, 543

- Рамбо Альфред (1842—1905), французский историк 62
- Рамсес II (ум 1251 до н. э.), египетский фараон с 1317 до н. э. 92, 94, 104, 507, 559
- Рамус Петр (Раме Пьер де ла) (1515—1572), французский философ, логик и математик, гуманист 307
- Рандуэн Люси (1888—1960), французский биолог 106
- Ранке Леопольд фон (1795—1886), немецкий историк 45, 50, 430, 434
- Расин Жан (1639—1699), французский драматург 583
- Ратгелль Фридрих (1844—1904), немецкий натуралист, географ, социолог 168, 169, 548
- Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский художник и архитектор 322
- Ребельо Альфред (1858—1934), французский историк 426
- Рей, семья нидерландских издателей 243
- Рей Абель (1873—1940), французский математик, философ, филолог и историк науки 126, 128
- Рей Марсель, французский историк 7
- Рейнак Соломон (1852—1932), французский историк искусств, археолог и филолог 395
- Рейналь Гиюм Тома Франсуа (1713—1796), французский историк и литератор, священник 244, 260, 261
- Рейно Луи (р. 1876), французский историк литературы и искусств 120, 424, 436
- Рейсс Эдуард (1804—1891), протестантский теолог из Эльзаса 422
- Рекен Пьер Анри (1851—1917), французский историк искусств, священник 316
- Реклю Жан Жак Элизе (1830—1905), французский географ, социолог и общественный деятель 6
- Реми Никола (1554—1600) французский юрист и писатель 494
- Ремон Флоримон де (1540—1602), французский писатель, деятель Реформации и Контрреформации 431—433, 440, 441, 468, 469
- Ренаус Беатус (Беат Ренав, Бильд из Рейнау) (1485—1547), швейцарский гуманист, родом из Эльзаса 306
- Ренар Жорж Франсуа (1847—1930), французский историк 368
- Ренар Жюль (1864—1910), французский писатель 367
- Рене I (1409—1480), титулярный король Иерусалимский, король Неаполя с 1435 (фактически в 1438) г. и Сицилии с 1415 г. (фактически в 1415—1438 гг.), герцог Анжуйский и Лотарингский, граф Прованский, французский поэт 314
- Реноде Огюстен (р. 1880), французский историк 7, 340, 422, 423, 435, 443, 454, 483, 485, 486
- Рец Жан Франсуа Поль де Гонди, кардинал де (1614—1679), французский политический деятель и писатель 498
- Рибо Теодюль Арман (1839—1916), французский психолог и психопатолог 30
- Риве Поль (1876—1956), французский историк и этнолог 347, 348, 351
- Ривьер Жорж Анри, французский фольклорист и историк 348
- Ришар (Ричард) Сен-Викторский (ум. 1173), философ и теолог 482, 591
- Ричи Альфонсо (изв. 1509—1512), итальянский теолог 477
- Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог де (1585—1642), кардинал, первый министр Франции с 1624 г. 292, 500
- Ро Фредерик (1851—1909), французский философ 18
- Робер Улисс Леонар Леон (1845—1903), французский историк 220
- Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794), деятель Великой французской революции 573
- Робертсон Уильям (1721—1793), английский историк 246, 247
- Роде Иоганн (1388—1439), немецкий теолог 486
- Родригес Санчес де Аревало (1404—1470), церковный писатель, испанский и папский дипломат, епископ Саморский 455
- Ройе Ги де (ум. ок. 1409), французский церковный деятель, епископ Санский, с 1390 г. архиепископ Реймский 454
- Рокетт (изв. 1502), купец из Тулузы 222
- Рокетты, французская купеческая семья в XV—XVI вв. 238
- Ромье Анри Люсьен (1885—1944), французский историк 425

- Ронделе Гийом (1507—1556), французский медик и естествоиспытатель 391
- Ронсар Пьер де (1524—1585), французский поэт 369, 497
- Россо Джан (Джованни) Баттиста (1496—1541), итальянский художник 330
- Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), русский историк и археолог 501
- Ротшильд Майер Ансельм (1743—1812), французский банкир, родом из Германии 199
- Ротшильды, французская банкирская династия 210
- Рубо Альфонс (р. 1877), французский историк 58
- Рудольф I Габсбург (1218—1291), германский король с 1273 г. 556
- Руис де Медина Хуан (ум. 1507), испанский писатель и государственный деятель, священник 464
- Руссель Жерар (ум. ок. 1550), деятель Реформации во Франции, епископ Олоронский, духовник Маргариты Наваррской 422, 432, 435, 436, 468, 472, 473, 475, 483
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ 122, 241, 242, 248, 251, 252, 260, 266, 267, 269, 270, 278, 375, 392
- Руссо Полина (ум. 1839), первая жена Жюль Мишле 381, 382
- Руше Жан Антуан (1745—1794), французский издатель и переводчик 247
- Рюзе Жанна (I пол. XVI в.), жена Жака Самбланса 236
- Рюзе, французская купеческая фамилия в XV—XVI вв. 236
- Руйсбрук Ян ван (1293—1381), нидерландский религиозный философ 482, 592
- Рюффи Робер (ум. 1542), деятель Реформации во Франции 434
- Савонарола Джироламо (1452—1498), флорентийский социально-религиозный реформатор, проповедник, доминиканец 477, 585
- Савони (по прозвищу Талон) Пьер (изв. 1571), французский математик и экономист 228, 229
- Сайу Андре Эмиль (1873—1945), французский историк 186
- Салазар Этьен Тристан (1474—1518), архиепископ Санский 361
- Сальванди Нарсис Ашиль, граф де (1795—1856), французский писатель, историк и государственный деятель 380
- Сальо Эдмон (1828—1911), французский историк искусств, лексикограф 5, 402
- Самбланс Жак де Бон, сеньор (1445—1527), французский финансист и государственный деятель, суперинтендант финансов при короле Франциске I 235—238
- Санский архиепископ, см. Салазар Этьен Тристан
- Саньяк Филипп (1868—1954), французский историк 67
- Сапидус Иоанн (наст. имя и фамилия Иоганн Витц) (1490—1550), гуманист, новолатинский поэт, родом из Эльзаса 305
- Сарделья Пьер, французский историк 183
- Сасаниды, династия иранских шахов в 224—651 гг. 553, 555
- Сасн Луи Исаак Леместр де (1613—1684), французский писатель, переводчик, церковный деятель 364, 582
- Сатурнин, св. (сер. III в.), епископ Тулузский, мученик 394
- Север, св. (ум. 430), священник из Вьенны, проповедник, мученик 394
- Севинье Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626—1696), французская писательница 253
- Сезар Пьер Антуан (изв. XV в.), французский печатник 454
- Селевк I Никатор (ум. 281 до н. э.), царь Сирии, Вавилонии и Персии с 311 г. до н. э. 546
- Селевкиды, царская династия на Ближнем и Среднем Востоке в 311—64 гг. до н. э., правившая Персией (до сер. III в. до н. э.), Месопотамией (до сер. II в. до н. э.) и Сирией 546, 553
- Семприни Джованни, итальянский историк 486
- Сенеан Лазар (1859—1934), французский историк литературы, родом из Румынии 329
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф де (1760—1825), французский социальный мыслитель 268
- Сент-Бев Шарль Огюстен (1804—1869), французский критик и историк литературы 377
- Сентив П. (наст. имя и фамилия Эмиль Нурри (1870—1937), фран-

- цузский фольклорист 348, 349, 359—363, 581
- Сеньобос Шарль (1854—1942), французский историк 7, 62, 63, 68, 542
- Сервет Мигель (1509 или 1511—1553), религиозный мыслитель, медик, деятель Реформации, родом из Испании 345, 577, 580, 595
- Серенус (ум. ок. 600), епископ Марсельский 405
- Серлио Себастьяно (Бастьяно ди Болонья) (1475—1552), итальянский художник и архитектор 328
- Сиврие Жоффрау де (изв. кон. XV в.), купец из Монпелье 235
- Сидоний Аполлинарий (ум. ок. 483), галло-римский поэт, епископ Арверны (совр. Клермон-Ферран) 398, 586
- Сикст IV (Франческо д'Альбескола делла Ровере) (1414—1484), папа с 1471 г. 448, 451, 590
- Сильон Жан де (1596—1667), французский писатель, ученый, государственный деятель 499
- Симнан Франсуа (1873—1935), французский социолог и экономист 11, 12, 30, 128, 368
- Симон Ришар (1638—1712), французский историк 435
- Синьорелли Лука (между 1445 и 1450—1523), итальянский художник 325
- Сион Жюль (1878—1940), французский географ 7, 136, 137, 186, 356
- Сираво де Бержерак Савиньен (1619—1655), французский писатель 500
- Сирвен Поль (1865—?), французский литературовед и биограф 383
- Слейдан Иоанн (наст. имя и фамилия Иоганн Филиппсон) (ок. 1506—1556), немецкий гуманист, историк 427
- Слонимский Леопольд (Людвиг) Зиновьевич (1850—1918), российский экономист 199
- Слютер Клаус (между 1340 и 1350—1406), бургундский скульптор, родом из Нидерландов 315
- Смит Адам (1723—1790), английский экономист 247, 260
- Соетбеер Адольф (1814—1892), французский экономист 226
- Сократ (469—399 до н. э.), древнегреческий философ 43
- Солон (между 640 и 635—ок. 559 до н. э.), афинский государственный деятель 86
- Сорель Агнесс (изв. 1444—1450), фаворитка короля Франции Карла VII 117
- Сорель Альбер (1842—1906), французский историк 7
- Сосия Иосиф Ефимович (цирковой псевдоним Алеша) (1867—1910), артист цирка 553
- Сото Доминго де (1494—1560), испанский теолог 487
- Софокл (ок. 496—406), древнегреческий драматург 307
- Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677), голландский философ 8
- Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817), французская писательница 270, 275, 433, 434, 589
- Стандонк Жан (1453—1504), французский теолог 307
- Станислав I Лещинский (1677—1766), король Польши в 1701—1711 гг. и 1733—1734 гг., герцог Лотарингский и Барский 546
- Стендаль (наст. имя и фамилия Анри Мари Бейль) (1783—1842), французский писатель 6, 377, 378, 560
- Стерн Лоренс (1713—1768), английский писатель 31
- Столь Жан (Штоль Иоганн) (изв. 1474—1480), парижский печатник, родом из Германии 454
- Стоянович Траян, американский историк 533
- Стриндберг Август Юхан (1849—1912), шведский писатель 241
- Сузо (Зойзе) Генрих (ок. 1295—1366), философ и проповедник, доминиканец, родом из Германии 592
- Сульшиций Север (365—425 или 363—406), церковный историк 395, 398
- Сустель Жак (р. 1912), французский этнолог и государственный деятель 107
- Сю Эжен (1804—1857), французский писатель 575
- Тайлер Уот (ум. 1381), руководитель восстания в Англии 579, 594
- Талейран-Перигор Шарль Морис, князь де (1754—1838), французский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел в 1797—1799 гг., 1799—1807 гг., 1814—1815 гг. 268, 544
- Таулер Иоганн (ок. 1300—1361), немецкий религиозный философ и проповедник, доминиканец 592



- Гевене Жан (изв. 1577), начальник почты в Доле 218
- Тереза Авильская (Тереза Инсусова, Тереса Сачес де Сепеда-и-Аумада), св. (1515–1582), испанская религиозная писательница, духовидица, кармелитка 121, 488, 561
- Тертуллиан Квинт Септимиус Флоренс (ок. 160–после 220), христианский теолог и писатель 406, 407, 413
- Тецель Иоганн (ок. 1455 или 1470–1519), немецкий теолог, доминиканец 429, 435, 443, 589
- Тимур (Тимур Ленг, т. е. Тимур Хромец, европеизированная форма – Тамерлан) (1336–1405), среднеазиатский государственный деятель и полководец, эмир с 1370 г. 82
- Тициан (Тициано) Вечеллио (ок. 1476 или 1480–1576), итальянский художник 328, 378
- Тойнби Арнольд Джозеф (1889–1975), английский историк и философ 72, 73, 78–84, 86–96, 550, 553, 554, 556–558, 565
- Токвиль Алексис, граф де (1805–1859), французский историк, социолог и политический деятель 268
- Тома Антуан (1857–1935), французский филолог 249
- Госканская герцогиня, см. Элеонора Толедская
- Трёлч Эрнст (1865–1923), немецкий протестантский теолог, философ, социолог и историк религии 203, 569
- Тривульцио Джанджакомо (1448–1518), итальянский кондотьер, на французской службе, маршал Франции 299
- Троншон Анри (ум. 1941), французский историк литературы 271
- Труссо, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 342
- Туля епископ, см. Порселе де Майян, Жан VII
- Тури Жан де (1539–1615), французский издатель 229
- Турнеб Огюст де (ум. 1581), французский писатель 247
- Тьер Адольф (1797–1877), французский государственный деятель, президент Франции в 1871–1873 гг., историк 9
- Тьерри Амедей Симон Доминик (1797–1873), французский историк и государственный деятель 384
- Тьерри Жак Никола Огюстен (1795–1856), французский историк 384
- Тэн Ипполит (1828–1893), французский философ и историк 11, 109, 378, 560
- Тюазн Луи (1854–?), французский историк литературы 486
- Тюльсье, французская купеческая семья в XV–XVI вв. 342
- Тюрго Анн Робер Жак (1727–1781), французский философ, экономист и государственный деятель 81, 241, 242, 248, 252–254, 554, 573
- Тюро Шарль (1823–1882), французский филолог 5
- Уиклиф Джон (между 1320 и 1330–1384), английский религиозный реформатор 594
- Уплинд Гийом (ум. 1492), французский теолог 477
- Утенхайм Кристоф д' (ум. 1527), епископ Базельский 461
- Учелло Паоло (Паоло ди Дово) (1396 или 1397–1475), итальянский художник 326
- Фаже Огюст Эмиль (1847–1916), французский литературовед 464
- Файль Ноэль дю (ок. 1520–1591), французский писатель и юрист 182, 568
- Фарадей Майкл (1791–1867), английский физик 33
- Фарель Гийом (1489–1565), деятель Реформации в Швейцарии 205, 209, 210, 343, 344, 422, 432, 434, 435, 441, 443, 462, 473, 481, 569, 595
- Фарнезе Алессандро (1545–1592), герцог Пармский и Пьяченцкий, испанский полководец и государственный деятель, наместник Нидерландов с 1572 г. 185
- Фацио Бартоломео (ок. 1400–1457), итальянский гуманист, историкограф неаполитанского двора 314
- Февр Люсьен (1878–1956), французский историк 348, 484, 501–529, 532–537, 539–541, 543, 544, 546, 548, 549, 551, 554, 556, 559, 561, 562, 565, 568, 570, 576, 579, 589
- Федерико де Монтефельтро (ок. 1410–1482), герцог Урбинский с 1479 г. 326, 327

- Феликс Ноланский, св. (ум. ок. 266), мученик 403
- Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мотт (1651—1715), французский писатель, религиозный мыслитель и педагог, епископ Камбре 251
- Феодосий II (401—450), император Восточной Римской империи с 408 г. 88
- Фердинанд I (1507—1564), император Священной Римской империи с 1556 г., король Чехии и Венгрии с 1526 г. 572
- Фердинанд II Арагонский (1452—1516), король Арагона с 1479 г., Кастилии в 1479—1504 г. регент Кастилии с 1504 г., король Неаполя с 1504 г., Сицилии с 1468 г. 572
- Фере Пьер (1830—1912), французский историк Церкви, священник 461
- Фестер-Ницше Элизабет (1846—1935), сестра Фридриха Ницше 551
- Фидий (нач. V в. до н. э.—432 или 431 до н. э.), древнегреческий скульптор 44
- Филандрье Гийом (1505—1565), французский архитектор и археолог 328
- Филибер де Шалон принц Оранский (1502—1530), полководец на службе императора Карла V 220, 571
- Филиберта Люксембургская (ум. ок. 1540), принцесса Оранская 220
- Филипп II (1527—1598), король Испании с 1556 г., Неаполя и Сицилии с 1555 г. 104, 176, 177, 183, 185, 219, 496, 507, 522, 562, 566, 567
- Филипп IV Красивый (1268—1314), король Франции с 1285 г. 383, 575, 577
- Филипп Добрый (1396—1467), герцог Бургундский с 1419 г. 314, 571, 584
- Филипп I Великодушный (1504—1567), ландграф Гессенский с 1509 г. 593
- Филиппсон Мартин (1846—1916), немецкий историк 180, 567
- Филопмен (253—183 до н. э.), древнегреческий полководец 86
- Фичино Марсилио (1433—1499), итальянский философ, гуманист 443, 482, 486, 577
- Фише Гийом (1433—до 1480), французский церковный и государственный деятель, ректор Сорбонны, основатель первой французской типографии 453
- Фламмарин Жюль Эрнест (1846—1936), французский издатель 8
- Флемальский мастер, см. Кампен Робер
- Флобер Гюстав (1821—1880), французский писатель 561
- Фококке Андре (р. 1881), французский философ 73
- Фома Аквинский, св. (1225—1274), философ и теолог 338, 362, 582
- Фома Кемпийский (Томас Хаммеркен, Хаммерлейн, Маллеолус, т. е. Молоточек) (ок. 1380—1471), теолог, родом из Нидерландов 487, 591
- Фонтенель Бернар де Бовье де (1657—1757), французский писатель, ученый, популяризатор 95, 559
- Форд Генри (1863—1947), американский предприниматель и инженер 85
- Фраде, французская купеческая семья в XV—XVI вв. 342
- Франс Анатолий (наст. имя и фамилия Анатолий Франсуа Тибо) (1844—1924), французский писатель 24, 46, 168, 504, 545, 546, 559
- Франциск Ассизский, св. (1182—1226), религиозный проповедник и поэт, родом из Италии, основатель ордена Францисканцев 370
- Франциск I (1494—1547), король Франции с 1515 г. 205, 232, 233, 284, 290—295, 312, 330, 340, 378, 467, 470, 480, 508, 570, 571, 572, 575, 576, 578, 588, 589
- Франциск II (1543—1560) король Франции с 1559 г. 575
- Фрей Макс (р. 1898), французский филолог 241, 248
- Фрейденаберг Ольга Михайловна (1890—1955), советский филолог-классик 516
- Фридман Жорж (1902—1977), французский социолог 8
- Фридрих III Мудрый (1463—1525), курфюрст Саксонский с 1486 г. 361, 593
- Фрэрер (Фрейзер) Джеймс Джордж (1854—1941), английский этнолог и историк религии 72, 103, 412, 550
- Фрэрер Джон Фостер (1868—1936), американский географ 172
- Фрэзон Шарль, французский биолог 31

- Фуа Гастон де герцог Немурский (1489–1512), французский военачальник 237, 299
- Фуггер Якоб Младший (1459–1526), немецкий банкир 198, 234
- Фуггеры, немецкая банкирская династия в XV–XVI вв. 204, 206, 210, 234, 342, 579
- Фуке Жан (ок. 1420–1481), французский художник 323
- Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк 68, 86, 90
- Фуко Мишель Поль (1926–1984), французский философ, историк науки и культуры 514, 561
- Фукс Леонард (1501–1566), швейцарский ботаник 390
- Фуркруа Антуан (1755–1809), французский химик и государственный деятель 256, 266
- Фурье Шарль (1772–1837), французский социальный мыслитель 40, 269, 274, 367, 368
- Фюре Франсуа (р. 1927), французский историк 522
- Фюретьер Антуан (Антуанет) (1620–1688), французский писатель и лексикограф 241, 249, 251, 253
- Фюстель де Куланж Ньюа Дени (1830–1889), французский историк 68, 543
- Хааг, братья: Эжен (1808–1861) и Эмиль (1810–1865), французские протестантские теологи и историки Церкви 436
- Хайн Людвиг (1781–1836), немецкий книговед и библиограф 451, 477
- Хальбвакс Морис (1877–1945), французский социолог 128, 505
- Хавгест Жером де (ум. 1538), французский теолог 420, 462, 463, 466
- Харрис Джон (1666?–1719), английский философ, теолог и лексикограф 247
- Хаусхофер Карл (1869–1946), немецкий социолог, геополитик 548
- Хацфельд Адольф (1824–1900), французский филолог 249
- Хейгеберт Леонард, голландский историк 354
- Хейзинга Йохан (1872–1945), голландский историк и культуролог 104, 113, 114, 116, 117, 149, 157, 503, 519, 560, 561
- Хёпфнер Эрнест (1879–1956), французский филолог 138
- Херн Хендрик ван (нач. XV в.–1455), нидерландский религиозный писатель и теолог 479
- Хильдерик II (ум. 674), король Австразии с 656 г., объединенного королевства франков с 670 г. 117, 561
- Хисман Михаэль (1752–1784), немецкий медик и литератор 263
- Хрооте Херарт (Хеерт) (1340–1384), нидерландский религиозный деятель 484
- Хуан Австрийский (1540–1578), побочный сын императора Карла V, правитель Нидерландов с 1576 г., испанский полководец 185, 217, 218, 567, 568
- Хуана (Иоанна) Безумная (1479–1555), королева Кастилии с 1504 г. и Арагона с 1516 г. (фактически не правила) 572
- Хуффер Георг (1851–1922), немецкий историк Церкви 450
- Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский писатель 546
- Цвингли Ульрих (1484–1531) деятель Реформации в Швейцарии 79, 93, 205, 209, 306, 343, 431–433, 436, 468, 481, 486, 569, 579, 589
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.) римский полководец и государственный деятель, диктатор с 49 г. до н. э. 15, 16, 59, 86, 104, 218, 395, 507, 571, 586
- Цельс см. Кельс
- Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.) римский оратор, государственный деятель, писатель и философ 148, 307, 310, 400
- Челлен Юхан Рудольф (1864–1922), шведский социолог и политолог 548
- Челлини Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор и ювелир, писатель 286, 287, 312
- Чемберлен Невилл (1869–1940), английский государственный деятель, премьер-министр в. 1937–1940 гг. 563
- Чемберс Эфраим (ум. 1740), английский лексикограф и издатель 247
- Черны Вацлав (1905–1987), чехо-словацкий историк 347
- Шайбе Макс (р. 1897), немецкий историк Церкви 424

- Шампольон Жан Франсуа (1790–1832), французский ученый, основатель египтологии 304, 576
- Шамфор Себастьян Рош Никола (1741–1794), французский писатель 269
- Шансоннет (лат. прозвище Кантикула) Клод (ок. 1500–между 1550 и 1560), французский гуманист, родом из Меца 478
- Шаппей Жозеф, французский экономист и социолог 61
- Шарко Жан Мартен (1825–1893), французский невропатолог и психотерапевт 495
- Шарнасе Эржюль Жорж, барон де (1558–1637), французский дипломат 24, 545
- Шаррон Пьер (1541–1603), французский философ и теолог 486
- Шастеллю Жан, маркиз де (1744–1788), французский писатель и военачальник, впоследствии монах 244, 251, 259
- Шастель Пьер дю (1480–1552), французский ученый и церковный деятель, епископ Туля 306
- Шатобриан Франсуа Рене, виконт де (1768–1848), французский писатель 267, 386, 574, 584
- Шатобриан Франсуаза де Фуа, графиня де (1475–1536), фаворитка короля Франции Франциска I 293
- Шваб Иоганн Баптист (1811–1872), немецкий историк и теолог 460
- Шевайон Клод (1479–1537), парижский печатник 465
- Шевалье Кир Улисс Жозеф (1841–1923), французский историк Церкви, священник 268, 450
- Шевалье Мишель (1806–1879), французский экономист 366
- Шеврёй (лат. форма Капреолус) Жак (1595–1649), французский писатель и философ, профессор Парижского университета 499
- Шеймейер Пауль (р. 1888), немецкий филолог 354
- Шекспир Уильям (1564–1616), английский поэт и драматург 100
- Шелль Гюстав (1845–1927), французский историк и экономист 242
- Шмидт Шарль Гийом Адольф (1812–1895), французский историк Церкви 422
- Шмитт Жан Клод (р. 1942), французский историк 532
- Шнайдер Йозеф Эйген (Жозеф Эжен) (1805–1875), французский промышленник, родом из Германии 199
- Шоу Джордж Бернард (1856–1950), английский писатель и драматург 18
- Шпенглер Освальд (1880–1836), немецкий философ 72–79, 81, 87–89, 550, 551, 560, 565
- Шпрандель Рольф (р. 1931), немецкий историк 537
- Шпренгер Якоб (ок. 1436–1495), немецкий теолог, доминиканец 448, 590
- Шталь Георг Эрнест (1659–1734), немецкий химик и врач 573
- Штроль Анри (1874–1954) французский историк Церкви 484
- Эгидий из Витербо (Эджидио да Витербо, Эджидио Антонини) (1469–1532), церковный деятель, генерал ордена августинцев в 1507–1518 гг., кардинал с 1517 г. 484
- Эйзенман Шарль, французский историк 62
- Эйк Хуберт ван (ок. 1370–1426), нидерландский художник 578
- Эйк Ян ван (ок. 1390–1441), нидерландский художник 314, 326, 542, 578
- Эйлен (изв. кон. XV в.), французский печатник 453
- Экк Иоганн (1486–1543), немецкий теолог 595
- Эколампадий (наст. фамилия Хаусшайн) Иоганн (1452–1531), швейцарский гуманист, деятель Реформации 209, 431, 486
- Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт) (ок. 1260–1327), немецкий религиозный философ и проповедник 592
- Элеонора Толедская (ум. ок. 1550), герцогиня Тосканская, жена Козимо I 286, 575
- Элиан (ум. 286), руководитель восстания багаудов, провозглашен императором в 284 г. 586
- Элиас Норберт (1897–1989), немецкий историк 561
- Элизабет (Мари Элизабет) из Ранфена (1592–1649), французская монахиня 495–497, 499, 500
- Эмбренский епископ, см. Байль Жан
- Энлар Дезире Луи Камилла (1862–1927), французский археолог и историк искусств 447
- Энтони Кован (р. 1886) французский биолог 51

- Эон де Бомон Шарль Женеви́ев Луи  
Огюст Андре Тимоте, шева́лье Д'  
(1728–1810), французский аван-  
тюрист и шпион 45, 546
- Эразм (Дезидерий, Дидье) Роттер-  
дамский (наст. имя и фамилия  
Хеерт Хеертсен) (1466 или 1469–  
1536), гуманист, писатель, родом  
из Нидерландов 121, 297, 304, 306,  
316, 370, 390, 423, 432, 433, 450,  
452, 462–464, 468, 469, 475, 477,  
478, 483, 484, 486, 577
- Эрве Женсьен (ум. 1584), француз-  
ский переводчик и публицист, дея-  
тель Контрреформации 440
- Эренберг Рихард (1857–1921), не-  
мецкий историк 234
- Эрик Лотарингский (изв. сер.  
XVII в.), епископ Верденский 495
- Эрминьярд Эме Луи (1817–1900),  
швейцарский историк 422, 437,  
461
- Эсперандье Эмиль Жюль (1857–  
1939), французский археолог, эпи-  
графист 399
- Эспинас Жорж (1869–1948), фран-  
цузский историк, палеограф, архи-  
вист 186
- Этар Поль (1884–1962), французский  
филолог-классик 143
- Этцель (наст. фамилия Шталь)  
Пьер Жюль (1814–1886), фран-  
цузский издатель 5
- Этьен Анри (ок. 1460–ок. 1520),  
французский писатель и издатель  
453, 471
- Этьен Робер (1503–1559), француз-  
ский издатель и типограф 249,  
251
- Эшли Уильям Джеймс (1860–1927),  
английский экономист 136
- Юлий II (Джулиано делла Ровере)  
(1443–1513), папа с 1503 г. 450,  
590
- Юрсен Жан (изв. ок. 1485), настоя-  
тель монастыря августинцев 454
- Янсений (Янсен), Корнелий (1585–  
1638), голландский теолог 582

# СОДЕРЖАНИЕ

## БОИ ЗА ИСТОРИЮ

Предисловие (1952) . . . . .	5
Суд совести истории и историка (1933) . . . . .	10
Как жить историей (1941) . . . . .	24
Лицом к ветру (1946) . . . . .	39
Коллективные исследования и будущее науки (1936) . . . . .	48
История или политика? (1930, 1945) . . . . .	54
История современной России (1933) . . . . .	62
Историзирующая история (1947) . . . . .	67
От Шпенглера к Тойнби (1936) . . . . .	72
История и психология (1938) . . . . .	97
Чувствительность и история (1941) . . . . .	109
День признательности Анри Берру (1947) . . . . .	126
Марк Блок и Страсбург (1946) . . . . .	130
Феодальное общество (1940, 1941) . . . . .	146
Проблема «человеческой географии» (1923) . . . . .	159
Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II (1950)	176
Общий взгляд на социальную историю капитализма (1922) . . . . .	187
Капитализм и Реформация (1934) . . . . .	203
Торговец XVI столетия (1921) . . . . .	217
Цивилизация: эволюция слова и группы идей (1930) . . . . .	239
Главные аспекты одной цивилизации (1925) . . . . .	282
Фольклор и фольклористы (1939) . . . . .	347
Как и почему возникают агнографические темы (1932) . . . . .	359
Труд: эволюция слова и понятия (1948) . . . . .	364
Размышления об истории техники (1935) . . . . .	372
Как Жюль Мишле открыл Возрождение (1950) . . . . .	377
Научный порыв Возрождения (1937) . . . . .	388
Иконография и проповедь христианства (1914) . . . . .	393
Гигантский лживый слух: Великий страх июля 1789 года (1933) . . .	414

---

Неверно поставленная проблема: истоки французской Реформации и ее причины (1929) . . . . .	422
Колдовство: глупость или переворот в сознании? (1948) . . . . .	493

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Уроки Люсьена. Февра (А. Я. Гуревич) . . . . .	501
Комментарии (Д. Э. Харитонович) . . . . .	542
Указатель имен . . . . .	598

Научное издание

«Памятники исторической мысли»

ЛЮСЬЕН ФЕВР  
БОИ ЗА ИСТОРИЮ

Утверждено к печати  
редколлекцией серии  
«Памятники исторической мысли»

Редактор издательства Л. А. Зуева  
Художественный редактор Н. Н. Михайлова  
Технический редактор З. Б. Павлюк  
Корректоры Р. С. Алимova, В. А. Бобров,  
Ф. И. Грушниковская

ИБ № 46594

Сдано в набор 17.04.90  
Подписано к печати 24.12.90  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>  
Бумага типографская № 1  
Гарнитура обыкновенная  
Печать офсетная  
Усл. печ. л. 39,6. Усл. кр. отт. 40,6. Уч.-изд. л. 47,3  
Тираж 13 000 экз. Тип. зак. 649  
Цена 12 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Наука»  
117364 ГСП-7, Москва В-485  
Профсоюзная ул., 90.  
2-я типография издательства «Наука»  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.



## В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА» ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Ю. Л. Бессмертный

### ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА.

17 л.

На материале истории Франции IX—XVII вв. в книге анализируются восприятие людьми средневековья брака, любви, секса, семьи, прослеживаются изменение взглядов на роль женщины в жизни средневекового общества, рассказывается о половозрастных проблемах, об отношении к детству и старости, о самосохранительном поведении в разных социальных слоях, воспроизводятся средневековые представления о болезни и смерти. Автор исследует изменение важнейших демографических параметров — брачности, рождаемости, смертности, естественного прироста населения. Книга снабжена иллюстрациями.

Для историков, демографов и более широкого круга читателей.

### ОДИССЕЙ. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ, 1991.

15 л.

Центральная проблема сборника — раскрытие человеческого содержания истории — в огромной мере является проблемой истории культуры, понимаемой антропологически. Деятельность представителей школы «Анналов» анализируется в статьях Ю. Н. Афанасьева, Ю. Л. Бессмертного, А. Я. Гуревича, Ж. Ле Гоффа и др. В разделе «Картина мира в обыденном сознании» читатель найдет статьи о различных социальных и культурных феноменах (личность, семья, народное празднество) античности, средневековья и русского общества нового времени и их восприятие современниками.

Для широкого круга читателей.

**Для получения книг почтой  
заказы просим направлять по адресу:**

117192 Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

**Адреса магазинов «Академкнига»:**

480091	Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);	194064	Ленинград, Тихорецкий проспект, 4;
370001	Баку, ул. Коммунистическая, 51 («Книга — почтой»);	220012	Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга — почтой»);
232600	Вильнюс, ул. Университето, 4;	103009	Москва, ул. Горького, 19а;
690088	Владивосток, Океанский проспект, 140 («Книга — почтой»);	117312	Москва, ул. Вавилова, 55/7;
320093	Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»);	117192	Москва, Мичуринский проспект, 12 («Книга — почтой»);
734001	Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»);	630076	Новосибирск, Красный проспект, 51;
375002	Ереван, ул. Туманяна, 31;	630090	Новосибирск, Морской проспект, 22 (Книга — почтой»);
664033	Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);	142284	Протвино Московской обл., ул. Победы, 8;
420043	Кааань, ул. Достоевского, 53 («Книга — почтой»);	142292	Пушино Московской обл., МР, «В», 1 («Книга — почтой»);
252030	Киев, ул. Ленина, 42;	620151	Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
252142	Киев, проспект Вернадского, 79;	700000	Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1;
252030	Киев, ул. Пирогова, 2;	700029	Ташкент, ул. Ленина, 73;
252030	Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);	700070	Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
277012	Кишинев, проспект Ленина, 148 («Книга — почтой»);	700185	Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
343900	Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);	634050	Томск, наб. реки Ушайки, 18;
660049	Красноярск, проспект Мира, 84;	634050	Томск, Академический проспект, 5;
443002	Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);	450059	Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
191104	Ленинград, Литейный проспект, 57;	450025	Уфа, ул. Коммунистическая, 49;
199164	Ленинград Таможенный пер., 2;	720006	Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
196034	Ленинград, В/О, 9 линия, 16;	310078	Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»);
197345	Ленинград, Петрозаводская ул., 7 («Книга — почтой»);		

